

Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ХРОМАЯ
СУДЬБА

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ

РУССКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ



Аркадий и Борис
СТРУГАЦКИЕ



Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ



Том 1. СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ

Том 2. ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА

Том 3. ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

Том 4. ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Том 5. ПОНЕДЕЛЬНИК

НАЧИНАЕТСЯ В СББОТУ

**Том 6. ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА»**

Том 7. ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ

**Том 8. ЗА МИЛЛАРД ЛЕТ
ДО КОНЦА СВЕТА**

Том 9. БЕССИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО

Том 10. ХРОМАЯ СУДЬБА



Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ



ХРОМАЯ СУДЬБА

Москва

ЭКСМО

Санкт-Петербург
TERRA FANTASTICA

2007

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
С 87

Книга подготовлена при содействии группы «Людены»

Оформление *А. Саукова*

Стругацкий А., Стругацкий Б.

С 87 Хромая судьба: Фантастические произведения / А. Стругацкий, Б. Стругацкий; [коммент. В. Курильского]. — М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2007. — 1056 с.

ISBN 5-7921-0718-8 (ТФ)

ISBN 978-5-699-21117-3 (Эксмо)

ISBN 978-5-699-21118-0 (Эксмо)

В последний том собрания сочинений братьев Стругацких вошли известный роман «Хромая судьба» и ранние рассказы, а также пьесы и сценарии к популярным фильмам — «Чародеи», «Сталкер», «Отель «У погибшего альпиниста», — созданные ими в разные годы.

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-7921-0718-8

ISBN 978-5-699-21117-3 (ООрп)

ISBN 978-5-699-21118-0 (Стругацк)

© Стругацкий А., Стругацкий Б.,
1958—2001

© Курильский В., комментарии, 2007

© TERRA FANTASTICA, 2007

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2007



ХРОМАЯ СУДЬБА

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.

Райдзан

Пурга

В середине января, примерно в два часа полудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагрэбателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «Тип-па» с заедающей от рождения буквой «э», и вставлена в нее незавершенная страница, и на странице читается:

«...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Отступ.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь,

строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заматаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека — пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно снят был телевизионный сериал «Адъютант Его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно

не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Гарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей грудке агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазы, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые ключья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»...

а-а, все равно: ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе «Коньэй-мару» было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, выходи», — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды», — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен», — приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — приказал майор. Я перевел.

Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. “Что он говорит?” — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо “ки” говорил “кси”, вместо “цу” говорил “ту”, понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хирай Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбежном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по несколько страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теревит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» — «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листьев, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в крошечной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!». Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню

очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт сэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю-Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю-Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски эlegantный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому, что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантазмагии.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии... Действие происходит в Москве, в наши дни.

«А н я. Слушай, можно задать тебе один вопрос?

Н и к о л а й. Попробуй.

А н я. А ты не обидишься?

Н и к о л а й. Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

А н я. Да. Почему ты с нею развелся?»

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» — потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

«2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...»

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропась. Впрочем, 7.04 — странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окурок в писсуаре». И 3.05: «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

«21 мая 72 года. История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказок» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовый? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

«28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего — короткая запись: «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей. «Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для «Современных сказок»:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает “Кубические формы” Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Святыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: “Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание”».

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит...»

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.». А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и

друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слезка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще» — а она ответила: «А вы пишете побольше».

Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Есри вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство «Хаякава» и журнал «Эс-Эф магадзин», но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомиться Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением» (подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе

усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живой симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто итадакимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего «Современные сказки»?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь попсовый вид», «полные штаны удовольствия», «начистить ряшку» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках — оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фигу, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное,

нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутойарский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Леня.

— Леня, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Леня. — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Леня грустно. — Что вы такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, в пору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не делается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не делается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в

кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбежал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфельносы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений брата по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутойрскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а

если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпитаф:

Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится...

.....
Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полное бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел, кроме меня, и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет

дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незванный гость на этих улицах, и дождь его не жалуется.

У меня их здесь десять тысяч человек в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпииков. Детей. И неопишное наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душевное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

Приключение

С вечера я не принял сустан, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сустан нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и,

наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же, тут же позвонила Катька и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала все пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк. Изпод очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полюбрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомоллов, и поразительный «Сашка» есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, — не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской дуге, — не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, — если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и при-

нялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...» — бормотал я, с кряхтением натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..» — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!» — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настезь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять», — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другом Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено

равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в подготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин». То есть мне предстояло сейчас перетечь на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый, упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, куда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастливого Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталаный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать — ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуобморочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рывтинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси напрямик в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной

не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покоился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что ползет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе

через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов—Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рывкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтoб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру! — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вихорцы попеременно с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулос... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сра-

зу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?.. нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками «адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки, — средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодно-го цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на «Кропоткинской», и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой коcherыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой, Марья Трофимовна!» — и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибаваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Виды на урожай на юге, оказывается, хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: «Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая (пауза) за группу писателей Уругвая...» А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: «Ну, и что же ты?» — «А что я? — агрессивно произнес Жора. — Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног...» — «Но потом, — сказал Гарик, — когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?» — «А как же! Даже стихи мне посвятил. В “Литературке”. На манер Пушкина, про лицейскую дружбу...» — «Пожалуй, будь себе татарин?» — ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС-1020, а может быть, и вовсе какой-нибудь «Минск» поплосе. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы,

тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гириш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пога.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеды, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валу, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза! — проникновенно произнес Валя. — В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами «жопа», а на бумаге выходит: «окорока», «пятая точка», «афедрон» и уж в самом крайнем случае «ж» с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валей и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он расpiraем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Голоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматши пять страниц из «Тихого Дона»! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка — что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац! — ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: «Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?..»

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович

однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! «Испитал!» «Измеритель писательского таланта». Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензурку Зоили» Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— «С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной,— всем им теперь крышка!»

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катя с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно,— сказал я.— А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то... — промямлил я.— Завтра, пожалуй, в это время.

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил — непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно... — сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут — я не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутойрский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика? — спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак.— Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь;

и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из фужеров.

— Критика — это наука, — продолжал Слава, глядя на Жору в упор. — Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здравой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счета. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все

равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши все и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы он расплатился за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке возглашал стихи диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навытяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, — выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеванный, похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашения подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание, растекалась, спустившись, между

столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь была ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан — манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься? — сказал я наконец уже в коридоре.

— Пойдем присядем, — пригласил он. — Вон там, скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, по-

мнится: «Надо же, животное — а ведь чувствует!» И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно? — спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да! — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. — Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают... Верить, у меня глаза на лоб полезли, впору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу: как его рвало, и как его несло, и так далее. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — Я растерялся. — Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак... — уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело, — сказал я и, не удержавшись, добавил: — Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего! — произнес он, делая легкомысленный жест. — Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые,

этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай,— сказал я решительно.— Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно! — воскликнул он.— Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полупшепотом:

— Ты чего?

Это опять был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

— Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди,— пробормотал Костя.— Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спросил я.

— Насчет чего? — спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение.— Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал? — спросил Костя, и глаза его снова заметались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно,— сказал я, махнув рукой.— Не поняли так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака, Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Пстой, да ты что? — пробормотал я, пытаюсь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы заостреневшие.— Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? — заорал я в полный голос, оторвал наконец от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: — Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо...

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: «Не было ничего, понял? Не было!..» — а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на самом деле. Понимал

только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо, — произнес я как можно спокойнее. — Ну чего ты дергаешься? Ну какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну не было так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с невозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: «О себе подумай! Сорокин! Серьезно тебе говорю!» Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к Синей Папке!

В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, — сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

«... и животноводство!»

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это

мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левое предплечье, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бачком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрал глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами, вроде: «Ни кадра на родной земле» или «Сойдет за мировоззрение»... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я

буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда теперь уже не стану никем другим, напиши я еще хоть сто «Современных сказок», потому что откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, — тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну, ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она ни была, эта моя слава. Деньги добывать проще халтурою, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф А? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятиmillionной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль

Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по «Войне и миру»... Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта, такая простенькая и такая мертвящая мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты государство или построил дачу из ворованного материала, к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибежал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей

пламень, — пусть даже небольшой, местного значения, — вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего, я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека одновременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые, Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умиленное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно: наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И водочка под соленые грузди в Клубе... Банально, я понимаю, — водочка; так ведь и все радости банальны! А безответственный, вполпьяна, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает...

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), крях-

тя поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово, — произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. — Как дела?

— Охайю, — отозвался я. — Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу, — сказал я с готовностью. — Эврисинг из окэй.

— Так бы сразу и сказал. — Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я наконец сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

— М-мать... — сказал я. — Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бесмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд,

— Слушай, — сказал я. — Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустовичьи глаза Ивана Давыдовыча и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта; и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня, — сказал я решительно. — Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Барина. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по несколько слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не поленившись и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь наконец что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до по-

мутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: «она тронула его руку» или «она притронулась к его руке»... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...» И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете не понял бы и не принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, — про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать живо. И вот он получает призы, мировую известность, почести — и все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и недовыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение.

Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы недовыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. «Молодая пешеход добежал до переход...»

У меня вот в «Товарищах офицерах» любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспекает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу? — произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: «А, сойдет за мировоззрение!» А что касается другого его афоризма — «Ни кадра на родной земле», — то пусть-ка он попробует отснять кадры моей танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получится моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела

место хор-р-рошая танковая атака, желательна массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип «ко», немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин, — ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежья хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Советише Гэймланд» он прочитал повесть «Поезд надежды», переве-

денную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежья хлопоты»! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подsunул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярека осуществил якобы его прикованный к постели друг и т. д., и т. д., и т. п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т. д., и т. д., и т. п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня неубедительны. Превращение басни в повесть, даже если такое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченке удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и

ублагодаренным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет пришло мне два письма. Одно официальное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке — может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением «лично, в собственные руки!» написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят нечасто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость, или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: «Чур меня, чур!» Общий пафос докладчика: «Где же здесь литература?» Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепзорории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство

в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТС (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеевич... Сортир Сортирыч... Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с одним-единственным «за».

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с неспящими глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг — тигр. (Рязанская область, село Мясное.) Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную принесли повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преобразуются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех «за». Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет мне: «Ну, не знаю. Я как был “за”, так и голосовал “за”...»

Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде «Развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней».

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как, вчера — на Банной был?

— Да, — сказал я. — А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и по замыслу архитекторов должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: «Институт лингвистических исследований АН СССР».

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снега, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись наконец на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки,

сверху, через решетчатую стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: «Ну, чего встал, стояло?», и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили.

Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет,

так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: «Только там собрание...», — и я, хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Не часто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, высланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери ошестиниваются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь дошел до меня смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим измерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озирал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: «Писатели — сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то, скорее всего, через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общестственности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к местному. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания, и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряшку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова, и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала,

прочно и по праву. Бильярдист сидел смиренно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади.

С трибуны неслось:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем безусловно есть. Невзирая на его поросычьи, вечно неспящие глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи

любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...» Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегают взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): «Однако же, какая у него струя!»

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись,

заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валяются друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается продемонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. «Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?» Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к Вам равнодушен!» Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас «И животноводство!» вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки, — напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покорило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: «Вы писатель, наверное?» — «Увы», — сознался я. «А как ваша фамилия?» — с юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин», — сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно-все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большой частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросики, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекала их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно, один за другим мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простиранья дланей, задирания очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если за бугром снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало.

— Чушь проклятая! — гаркнул я. — Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать, — сказала Катька. — Я, может быть, в Ганду поеду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Шукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать со-

брания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамыши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют!

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крикнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего ж? — как обычно спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже, — как обычно ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, — сказала Катька, нарезая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были, — произнесла Катька тихо. — Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о «Современных сказках», когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченая. И сейчас вот — улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Skorobогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрехала тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О. Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какого содействия, конечно же, немислима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот невероятный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сустан. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его за обыкновенного зоологического антисемита вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы — хватает то, что плохо лежит, тят-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, упоная на то, что читать на нем все равно никто не умеет...

Дурак он, этот О. Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть и две, трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным?..

И он затынул все сначала.

В общем мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливого Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасения, крутилось у меня в голове. Нет им спасения, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков, аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича, будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: «Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!»

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... «МЫ позвоним...» Каткин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем... «Да. Было какое-то письмо. Чуть какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждый, знаете, чих не наздравствуешься...»

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

«Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно».

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

«Испитал»

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив районного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот «Миллионный», разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими, по замыслу архитектора, изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бифштексов и фирменное мясо в горшочке, а вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать — когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подоспел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. И курили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почувствовал во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих «Современных сказках».

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на «Современные сказки», болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца; как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслоненный окурочек от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, заноса над головой голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) «Где автор увидел таких героев?» — спрашивали они кого-то. «Чему может научить нашего читателя такая литература?» — вопрошали они друг друга. «И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина...»

А потом грянул обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в «Добровольном информаторе», и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще «Марсианских хроник» и даже не слышал, что такая книга существует. Я писал свои «Сказки», представления не имея, что у меня получаются «Марсианские хроники» навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную

жизнь, на наши страсти и надежды, со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей-богу забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, — одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и принялся есть.

— Вы разрешите? — произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным выющими золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: «Мне то же самое, если можно...» Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли, — сказал он, — мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так, — сказал я. — А кто посоветовал?

— Да вот... — Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. — Странно, только что вон там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высовывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно немыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрисой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него — птичьим двором, этакой неопрятной кислятинкой. Станный он был

тип: для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, rispetабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то, — сообщил он виноватым голосом. — Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то по крайней мере понять.

— Слушаю вас, — сказал я, откровенно вздохнув.

— Собственно... вот! — Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините, — сказал я решительно, — но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись, — сказал он быстро. — То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно, — сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует! — И видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте... — сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую к тому же очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... Одиночество... Никчемность... Бесперспективность... Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну, хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории

давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с невозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г. Дж. Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в Парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар,— сказал я.— Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет,— тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите! — крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: «пр. Грановского 19, «Жемчужница», клетч. пальто».

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе: уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про клетч. пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения.

Я опустил на стул и припал к кружке.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: «Что я скажу Федору моему Михеичу?»

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью «Писатели — сюда» и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение

вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входите!». Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: «Это надо же, жив! Опять жив!»

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбираются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это — мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то все это делается совсем не так, да и времена уже не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, — гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он по-

лагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде.

Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны, любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и заверещать: «Разговаривает!...»

Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло (словно холодной водой окатило), что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпитаграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший, — добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади...

И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос: как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками; хуже того — палачами; хуже того — предателями! Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза. По слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое — выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик банальнейший, закрытая, но ставшая открытою недоброжелательная рецензия.

Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью, — наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов. И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они

были стары, и дряблые их, отечные щеки были изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных; нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеены, они уже на свалке и никогда больше не поднимут головы. В назидание потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится, и разве такие назидания нужны потомству? И вообще казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться...

Но прошел год и прошел другой, и как-то неуловимо все переменялось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало, они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а что несвоевременно.

И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имяреку. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Рабиновичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и скорее всего, обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше?

Не суди и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А паче всего — не плюй в колодец и не мочись против ветра.

Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала.

Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной все. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или уверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева, — описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой? — воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. Да что же это они с ним сделали? — с ужасом подумал я.

Впрочем, тут же выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Трех увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло,

понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — А! Так ты и музыкой балуешься? — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую. Мертвый номер. — Он сунул папку обратно мне в руки. — Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. «Не отдам, — говорит. — Эталон». Я ему говорю: «Какой там эталон, писано между делом, случайный заказ». А он отвечает: «Для вас — случайный заказ, а для нас — эталон». Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навывкате.

— Как же так? — прошипел он, вполне, впрочем, явственно. — Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы подержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично... — свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. — Лично... Сам!

— Пустяки, — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью. — Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирилыч...

— Да вы понимаете ли, что говорите? — спросил его Мефодий Кирилыч с каким-то даже отчаянием. — Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни! — возразил Петенька. — Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кирилыч, и маленько отдышимся...

— Лично!.. — проскрипел старик, послушно усаживаясь. — А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кирилыч, строчки читали, а надо было между, — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. — Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидящий за столом, заваленным рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно, — произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность, вроде: «А ничего себе живут ученые, лихо устроились!»

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смиренно, прилично и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт павшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадают в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих

переводов из японских технических журналов и прочих хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой гряде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ошетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же? — Он постучал ногтем по папке. — Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: «Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны...» Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы, — произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. — Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте, — проговорил я, почему-то понизив голос. — Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом, — ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же — надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет? — повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я, горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого быть не может!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше. Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации...

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро

возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель «Испитала» — «Измерителя писательского таланта»; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение «Испитала», никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор»; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из Клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, — предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад крошечный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще

через день Мефодий Кириллыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется! — ответил он с некоторым даже удивлением. —

А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну, как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да,— произнес он, как бы вспомнив.— Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

— Что значит — написал? — возразил я.— Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал!

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Изпитал».

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удаивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидой испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно хотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть «Изпитал»? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно,— проговорил он.— То есть, в каком-то смысле,— да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социо-психологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических.

— Впрочем,— сказал он,— проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное

отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием «Рождение голубки»... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листов намертво прижавшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заняли всякие там кистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все, — произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру, — сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. — Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называется ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное, — пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называ-

ет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубеждался, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? — с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, — он снова постучал пальцем по моей четверке, — есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста... — заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае «читатель текста» — это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага... — сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я спросил с возмущением: — Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное! — прервал я его, набирая обороты. — Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, знаете,— сказал я,— уже мне-то вы не рассказывайте. Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин — почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст,— он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии,— показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выпветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим? — спросил он.

Мы здесь видели шемяще-знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: «Как ныне сбирается Вещий Олег...»

— В чем дело? — спросил я с вызовом.— Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно,— сказал он.— Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну... — промямлил я,— много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять-двадцать?

— За миллиард,— жестко произнес он.— За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард,— сказал я покорно.— Я же говорю — много...

— Итак,— произнес он,— тривиальная рецензия — НКЧТ равно четырем. «Замечательные, превосходные стихи» — НКЧТ превосходит миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь... — Я замахал руками и защелкал пальцами.— «Песня-то... о Вещем Олеге»... Она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют.— Он покивал.— И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну, вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому что НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгинет никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания: «Открой! Впусти!» Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну и правильно... — сказал я нерешительно.— И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович,— сказал вдруг он почти виновато.— Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаюсь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль шуток. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну, что же... я пойду, пожалуй?

— Да-да, конечно, большое вам спасибо.

— Папку я возьму?

— Разумеется, прошу вас.

— А может быть, она вам...

— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

— Так что мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склонки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами и принял за завязывание тесемки на папке, и тут он сказал:

— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запикиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Слово бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну, ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?..

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой резиновые камеры для «Москвича»), я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: «Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло».

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне слышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал даже — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, «избрали часть благую». В сущности он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груды нераспечатанных папок с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостоенной всех мыслимых лавров, — он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слышал об «Испитале». А нынешний мой знакомец не только слышал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же бы они успели?..

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбегалось шестеро, и порядочно было тут кряхтения, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных

ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно права на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало... бардак... конец света... страшный суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил павшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомого. «Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли...» А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? «Боже царя храни»? Или «Хорст Вессель»? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партия Труб Страшного Суда.

Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикурец и неистовый трудяга, с которым мы были на «ты» чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

Из-за обитой дерматином двери гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. Из-за двери грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось? — осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось, — ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. — Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай, — произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое, — сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. — Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно... — произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листков. — Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу, — сказал я, отступая от двери.

— Да, дорогой, — сейчас же согласился Чачуа. — Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня всего на час работы, потом «Спартак» будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется. Есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... И коньячок. Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих

знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко промороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик хотя бы и прозы и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирыча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу? А, вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не

надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Кокран.

Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключился. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пильщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травил ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели КПД

ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам безусловно был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Аганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

«Война и мир». Не сегодня. Полугодом еще не прошло.

«Письма Чехова». Не то настроение.

Чуковский. «От Чехова до наших дней». Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. «Скучную историю» перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции — второй...»

— Нет, — сказал я вслух. — Я сейчас «Театральный роман» почитаю. Ничего на свете нет лучше «Театрального романа», хотите бейте вы меня, а хотите режьте...

И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полусе материального благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со «Старым дураком». Валя ответил, что в «Ежеквартальном надзирателе» после давешних неприятностей и читать не стали, шархнулись, как от прокаженного, а в «Губернском вестнике» да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть, в Швейцарии, а может быть, и в Швамбрании. Поэтому никто в «Губернском вестнике» мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену соращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. Ах не звонил? Ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится,

хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы были деньги, рубликов триста пятьдесят — в «Планете» продается «Вашингтонская галерея», умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. «Кровавый урожай» там есть, и «Мальтийский сокол», и «Стеклянный ключ»... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля «тхюен жонг», на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек «The Novels of Dashiell Hammett». Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на «Мальтийском соколе».

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэйду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невозможно. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют сакэ.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвинул меня лукавый рискнуть съехать на финских санях по крутому склону до самого залива. Все

съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. «Сломали ребрышко-то», — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озираясь в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивновосторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. «Ты знаешь, трещина у тебя, старик», — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что поскольку бог любит именно троицу, злоключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба не строится без четырех углов...

Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки

и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро! Горько, товарищи. Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан «Ла Паломы», в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты павшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно

никогда не кончится и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил:

— Слушай! — просипел он, отрывая руки от лица и запустив пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять «Спартак» пропер! Ну, что ты будешь делать, а?

«...Для чего ты все дуешь
в трубу, молодой человек?»

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадёжности, будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатипятиэтажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя!» — закричал я, и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров и придется мне внять все-таки убеждениям Катьки и лечь на обследование... и сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение — чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разматывает мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка

не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда слово сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: «Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно...»

Умленькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться, или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вмести этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном обязательном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: «А дела твои, Феликс Александрович, говно. Три читателя у тебя будут, и утрись...»

Я отбросил одеяло и стал на шаривать ногами тапочки.

А ведь и не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем это мне знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но, с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не онанизмом занимаюсь — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я и последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Была всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгнуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду, и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было

бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, не-написанную строчку и под нею слово «КОНЕЦ». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой: «Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!» — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

«Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос».

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным-черно»: «и в черноте сверкал дождь». Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский, механический, до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков. Никакого трепанья. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полужанскими братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...», то ты вернешься через двадцать шесть суток домой как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем... А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдташе!..

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!..». А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки почтовый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

Она жила в квартире № 19, занимала там крошечную комнатушку бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф. Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в сорок третьем) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопливом и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась невероятной, тягостное и безрезультатное перешушывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между

его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзе не знал еще тогда Ф. Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обычно пятнадцатилетние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам на возраст, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф. Сорокину было лестно.

Однако тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру № 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал.

И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать сломя голову, либо свалился бы в обмороке...

Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурочек, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух.

...Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф. Сорокина за руку и ввела в свою комнатку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф. Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф. Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядам в августе сорок первого года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф. Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры № 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатку, и они запирались там и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф. Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в

полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной — для Ф. Сорокина несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры № 19, Ф. Сорокин уже начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, — а затем снова тоска, нетерпение, радость и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето сорок первого. И ни разу Ф. Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф. Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе сорок второго года) вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто полая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания

настоящей женщиной и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф. Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда запрещаю себе вспоминать это? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад.

И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек: «Перебьемся!» И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намек на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкапам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил «скайдрой» ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-ответственного вопроса «как дела» не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведаль ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда.

Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм со значком лауреата единственной моей премии и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня

и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, укладывая сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: «Да не спеши ты, куда нам спешить?»...

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из Гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеваный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. — Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, — я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится

шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придаться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки «Современных сказок» и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рискованный мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремение, а?

Он кокетливо шурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съезживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как его там... с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на

голову... Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же, припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из «Московского плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не бойсь, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в предынфаркте». Повесть действительно была чудовищная, и я врзал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный «Московского плейбоя». Нет, поперли его за то, что он «ел хлеб беззакония и пил вино хищения». И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло вернуться и так и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал — не без оснований, впрочем, — что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с

таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.

И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в его недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тшилось отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, — ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймащцу!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович, — произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. — Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера «Прапорщика» с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием «Стережем небо!».

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказами и одной повестушкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположения снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмоскowie...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстукке бабочкой и при газете «Морнинг Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные, — то ли дописы, то ли жописы, по классификации Жоры Наумова.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению

окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александрычем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и конечно же: «Их сиятельство уехали в Цека...» Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. «А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врассыпную за кусты и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, бывало: «Побежали в лес по ягодицы»...» Константин Сергеевич... «Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович...» Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман сава, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу, в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в партком.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантазмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни

одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет более раскрывать мою Синюю Папку.

Как во сне услышал я брызгливое барственное бляение:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брызгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и краснотубый и вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — «...в архитектуре и в животноводстве...» Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер «Ежеквартального надзирателя». Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся.

— А! Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. — «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Он закрыл журнал, заложивши его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него, и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович, — сказал он наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне. — Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытаскивал платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя как во сне.

— Однако давайте наконец приступим к вашему делу, — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. — Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только

поганые, так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сильным голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту:

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал. Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унижительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще — единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, невесть что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицеры», как я мог

представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синей Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тыс., означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня,— закончил он с сочувствием в голосе.— Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней,— продолжал Михаил Афанасьевич,— то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта кажется мне серьезной, и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение, и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня — насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович,— сказал он.— Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который мо-

жет дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желая давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует,— это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой — я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарьша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

«...Город смотрел на них пустыми окнами — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря и вот наконец его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жечь и черепица дымились

ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, истаявали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало...»

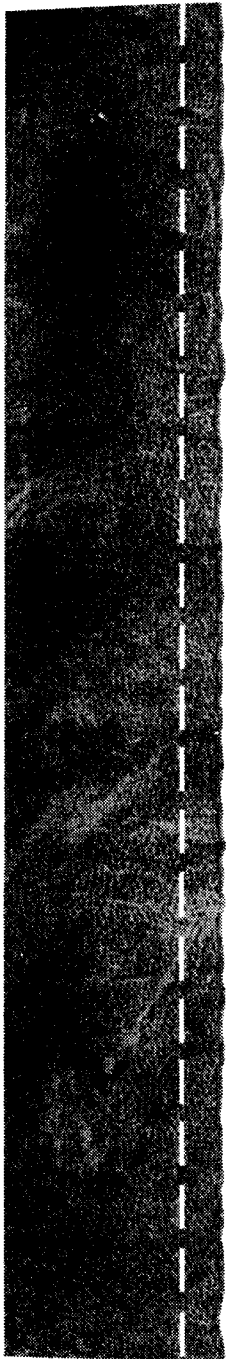
Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это читал и почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки, но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова «конец» и, может быть, даты.

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашьей головкой, пробормотал: «Странно... Когда это он успел?..»

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.



ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА, ИЛИ НЕВЕСЕЛЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ СВЕЧАХ

Комедия в двух действиях

Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами.

Р. Акутагава

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кирсанов Станислав Александрович, 58 лет.

Зоя Сергеевна — его жена, 54 года.

Александр — их старший сын, 30 лет.

Сергей — их младший сын, 22 года.

Пинский Александр Рувимович — старый друг, 58 лет.

Базарин Олег Кузьмич — добрый знакомый, 55 лет.

Артур — друг Сергея, 22 года.

Егорыч — сантехник, 50 лет.

Черный Человек.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвигаемыми ящиками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок.

Посредине комнаты — овальный стол, на нем скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета:

хозяин дома профессор Станислав Александрович Кирсанов, рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородицей, с подчеркнута-величавыми манерами потомственного барина, в коричневой домашней толстовке и спортивных брюках с олимпийским кантом;

супруга его, Зоя Сергеевна, маленькая, худощавая, гладко причесанная, с заметной сединой, нрава тихого и спокойного, очень аккуратная и изящная (в далекой молодости — балерина), — она в строгом темном платье, на плечах — цветастая цыганская шаль;

их сосед по лестничной площадке и приятель дома Олег Кузьмич Базарин, толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плечи — серебристый генеральский бобрик, много и охотно двигает руками, когда говорит — для убедительности, когда слушает — в знак внимания, одет совершенно по-домашнему — в затрапезной куртке с фигурными заплатами на локтях, в затрапезных же зеленых брючках и в больших войлочных туфлях.

Из телевизора доносится: «Итак, товарищи... Теперь нам надо посоветоваться... Вы хотите выступить? Пожалуйста... Третий микрофон включите...»

Кирсанов. Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу... Базарин. Бывают и похуже... Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно...

Зоя Сергеевна (наливая чай). Вам покрепче?

Базарин. Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе...

Кирсанов (с отвращением). Нет, но до чего же мерзопакостная рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!

Разговор этот идет на фоне телевизионного голоса — рывающего, взрывающегося, митингового: «Я говорю здесь от имени народа... Четверть миллиона избирателей... И никто здесь не позволит, чтобы бесчестные дельцы наживались, в то время как трудящиеся едва сводят концы с концами...» Голос Нишанова: «То есть я вас так понимаю, что вы предлагаете голосовать сразу? Очень хорошо. Других предложений нет? Включите режим регистрации, пожалуйста...»

Кирсанов. Сейчас ведь проголосуют, ей-богу.

Зоя Сергеевна. А это с самого начала было ясно. Неужели ты сомневался?

Кирсанов. Я не сомневался. Но когда я вижу, что они сейчас проголосуют растратить шестнадцать миллиардов только для того, чтобы неведомый нам Сортир Сортирыч получил возможность за мой счет ежемесячно ездить в Италию... и даже не сам Сортир Сортирыч, а его зять-внук-племянник... Только для этого заключается контракт века, который по сю сторону никому решительно, кроме Сортир Сортирыча, не нужен... загадят территорию величиной с Бенилюкс... отравят двадцать четыре реки... завоняют всю Среднерусскую возвышенность... Но зато племянник Сортир Сортирыча на совершенно законном основании сможет теперь поехать за бугор и купить там себе «тойоту»...

И в этот момент в квартире гаснет свет.

Кирсанов. Что за черт! Опять?

Базарин (*уверенно*). Пробки перегорели. Говорил я вам, что не надо этот подозрительный самовар включать...

Кирсанов. Да при чем здесь самовар?.. Подождите, я сейчас пойду посмотрю... Ч-черт, поставили стульев...

Зоя Сергеевна. Нет, это не пробки перегорели. Это опять у нас фаза пропала.

Базарин (*с недоумением*). Куда пропала? Фаза? Какая фаза?

Слышны какие-то шумы и неясные голоса с лестницы (из-за кулис справа), голос Кирсанова: «А в том крыле? Что?.. Понятно... Ну и что мы теперь будем делать?..» Базарин, подбравшись в темноте к окну, отдергивает штору. За окном падает крупный снег, там очень светло: отсветы уличных фонарей, низкое светлое небо, в огромном доме напротив — множество разноцветно освещенных окон.

Кирсанов (*появляется из прихожей справа*). Поздравляю! По всей лестнице света нет. И по всему дому, кажется...

Зоя Сергеевна. Ну, по крайней мере, не так обидно. Фаза опять пропала?

Кирсанов. Она, подлая... (*Подходит к окну.*) Живут же люди, горюшка не знают! (*Зое Сергеевне.*) Лапа, а где у нас были свечки?

Зоя Сергеевна. По-моему, мы их на дачу увезли...

Кирсанов. Ну вот! За каким же дьяволом? Это просто поразительно — никогда в доме ни черта не найдешь, когда надо!..

Базарин. Станислав, побойся бога. Зачем тебе сейчас свечки? Второй час уже, спать пора... (*Спохватывается.*) Тьфу ты, в самом деле! У меня же в холодильнике суп, на три дня сварено. И голубцы! Теперь, конечно, все прокиснет...

Зоя Сергеевна. Ничего у вас не прокиснет, Олег Кузьмич, вынесите на балкон, и все дела.

Кирсанов (*от бюро, с торжеством*). Вот они! Видала? Вот они, голубчики... (*Передразнивает.*) «На дачу, на дачу...»

Зоя Сергеевна. Ой, а где же они были?

Кирсанов. В бюро они у меня были. В бюро! Очень хорошее место для свечей. Интересно, как бы ты без меня существовала в этом мире?.. Где спички?

Зоя Сергеевна. А в бюро их у тебя нет? Замечательное место для спичек...

Кирсанов (*укрепляет свечи в канделябрах на бюро и расставляет по столу*). Ладно, ладно, лапа, сходи на кухню, все равно стоишь...

Базарин (*чиркает спичкой, свечи загораются одна за другой*). Да на кой ляд вам это понадобилось, в самом деле? Спать давно пора...

Кирсанов. Ну куда тебе спать, ты же сейчас человек одинокий и даже в значительной степени холостой... Сиди, пей чай, наслаждайся беседой с умными людьми...

Из-за кулис справа появляется длинная черная фигура — рослый человек в блестящем мокром плаще до пят с мокрым блестящим капюшоном.

Черный Человек (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов (*ошеломленно*). Да... Я...

Черный Человек. Станислав Александрович?

Кирсанов. Да! А в чем дело? Как вы сюда попали?

Черный Человек (*зычно*). Спецкомендатура Эс А! (*Обыкновенным голосом.*) У вас дверь приоткрыта, а звонок не работает. Паспорт ваш, будьте добры...

Кирсанов. Какая еще комендатура? (*Достает из бюро паспорт и протягивает Черному Человеку.*) Какая может быть сейчас комендатура? Ночь на дворе!

Черный Человек берет паспорт, и тотчас же во лбу у него загорается электрический фонарь наподобие шахтерского. Внимательно перелистав паспорт, он молча возвращает его Кирсанову, а сам распахивает большой черный дипломат и, держа на весу, некоторое время роется в нем.

Черный Человек. Распишитесь... Вот здесь...

Кирсанов (*расписываясь*). А в чем, собственно, дело? Вы можете толком мне объяснить — что, куда, откуда? Войну, что ли, объявили?

Черный Человек (*вручает Кирсанову какую-то бумажку*). Получите.

Кирсанов (*смотрит в бумажку, но ничего не видит, света не хватает*). Я ничего здесь не вижу! В чем дело? Вы что — объяснить не можете по-человечески?

Черный Человек. Там все сказано. Будьте здоровы.

Фонарик его гаснет, а сам он как бы растворяется во тьме.

Базарин. Ну и дела!

Кирсанов (*раздраженно*). Не вижу ни черта... Зоя! Где мои очки?

Зоя Сергеевна. Дай сюда... (*Отбирает у мужа бумажку и читает вслух.*) «Богачи города Питера!...»

Базарин и Кирсанов (*одновременно*). Что-о?

Зоя Сергеевна (*после паузы*). «Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь с собой документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель-комендант спецкомендатуры Эс А»... Подписи нет, какая-то печать. Господи, что это значит?

Базарин. Это значит, что документы надо сразу же спрашивать, вот что! Извините... (*Осторожно берет бумажку из рук Зои Сергеевны.*) Печать!.. Я вам такую печать из школьной резинки за десять минут сварганю... (*Переворачивает бумажку.*) Так... Кирсанову Станиславу Александровичу... адрес... Правильный адрес... Ну и как прикажете это понимать?

Кирсанов (*нервно*). Дай сюда... (*Он уже нашел и нацепил очки.*) Не понимаю, что это может означать — Эс А? Советская Армия?

Базарин. Социалистическая Антарктида... Судорожная Аккредитация... Чушь это все собачья, и больше ничего! Двери надо за собой запирать как следует. Интересно, Зоя Сергеевна, как там ваша шубка в передней поживает? Я у вас там, помнится, шубку видел...

Зоя Сергеевна, подхватившись, выходит в прихожую.

Кирсанов (*озаренно*). Эс А — это Штурмбтайлунг!

Базарин (*непонимающе*). Ну?

Кирсанов. Штурмовые отряды! Эс А. Ну, помнишь — у Гитлера?

Базарин. При чем здесь Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время?

Зоя Сергеевна (*возвратившись*). Шуба цела... И вообще все как будто цело... Нет, это был никакой не жулик...

Базарин. А кто же тогда?

Зоя Сергеевна. Откуда мне знать? А только это был не жулик и не шутник. Может быть, военный... или милиция... или органы...

Базарин. Удивительно знакомая рожа лица! Станислав, а? Тебе не показалось? По-моему, у тебя аспирант такой есть... как его... Моргунов... Моргачев... Ну, на Новый год у вас был, длинный такой, сутулый... Зоя Сергеевна!

Кирсанов, ничего не слыша, читает и перечитывает повестку, сдвигнув к себе все канделябры.

Кирсанов. Какой я им богач! Что они — совсем уже с ума посходили? Нашли богача, понимаете ли. Драгоценности им подавай... Валюту... Идиоты!

Базарин. Ты что? Серьезно все это воспринимаешь?

Кирсанов. Замечательно интересное кино! А как ты мне еще прикажешь все это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает, понимаете ли, повестку... явиться, понимаете ли, со сменой белья... Послушай, дай-ка я радио включу.

Он подбегает к бюро и включает репродуктор. Комната оглашается сухим мертвенным стуком метронома.

Кирсанов. Ну вот, пожалуйста! А это как прикажете понимать?

Базарин. А что тут такого? Два часа ночи.

Кирсанов. Ну и что же, что два часа ночи? Где это ты слышал, чтобы метроном по радио передавали в мирное время?

Базарин. А что, разве не полагается? Я, честно говоря, трансляцию и не включаю никогда...

Кирсанов. Я, честно говоря, тоже никогда не включаю... Может быть, так оно и должно быть, но, когда я эту хренацию слышу, я сразу же блокаду вспоминаю... Ну его к черту! (*Выключает репродуктор.*) Испортили все-таки настроение, подонки... Так хорошо сидели...

Базарин. Зоя Сергеевна, можно, я еще одну штучку выкурю?

Зоя Сергеевна (*рассеянно*). Курите.

Кирсанов. Дай-ка и мне, пожалуйста, тоже...

Базарин (*укоризненно*). Станислав!

Кирсанов. Ничего, ничего, давай... Сегодня можно. Гляди, как руки трясутся, смех и грех, ей-богу!

Базарин. Ты бы лучше корвалола выпил, чем закуривать.

Кирсанов (*закуривает от свечи*). Нет, но как тебе это нравится! Богача отыскали!.. Только ты мне не говори, что это чьи-то шутки. За такие шутки сажать надо! За такие шутки я бы...

Зоя Сергеевна (*прерывает его*). Позвони Сенатору.

Кирсанов. Что?

Зоя Сергеевна. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Да ты что — сдурела? Лапочка!

Зоя Сергеевна. Позвони Сенатору, я тебя прошу.

Кирсанов (*тыча пальцем в сторону телевизора*). Он же на сессии сейчас сидит!

Зоя Сергеевна. Он должен был сегодня прилететь, мне Анюта говорила. Позвони, прошу тебя!

Кирсанов (*нервно*). И не подумаю. Стану я среди ночи беспокоить человека из-за какой-то дурацкой ерунды!

Базарин. Да, Зоя Сергеевна, тут вы, знаете ли... В самом деле — неловко. Конечно, это очень удобно — иметь среди своих добрых знакомых члена Верховного Совета, но согласитесь, что это все-таки не тот случай...

Зоя Сергеевна. Откуда вы знаете, какой это случай?

Базарин. Н-ну... Как вам сказать... Лично я не могу к этому серьезно относиться, как хотите. И вам не советую.

Кирсанов. Главное, что я ему скажу, ты подумала? (*Языительно.*) «Богачи города Питера!» Да он пошлет меня к чертовой матушке и будет прав. Если уж звонить, то тогда в милицию. Там, по крайней мере, хоть дежурный не спит. Во всяком случае, не должен спать, раз он за это деньги получает...

Базарин (*решительно*). Никуда звонить не надо. Совершенно очевидно, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Сегодня же старый Новый год, вот и развлекаются какие-то кретины!

Зоя Сергеевна (*тихо*). Старый Новый год завтра.

Кирсанов (*он снова внимательно изучает повестку*). Это рэкетеры какие-нибудь! Знаете, что у них здесь на печати написано? «Социальная ассенизация»! Идиоты! И рассчитывают на полнейших идиотов!.. Кстати, что это такое — СКК имени Ленина?

Базарин. Спортивно-концертный комплекс. Это где-то на юге, возле Парка Победы.

Кирсанов. Ну вот! Оставлю им все на столе, а сам поскачу с бельем на другой конец города...

Базарин (*с большим сомнением*). М-да, это вполне возможно. Только, по-моему, он очень похож на твоего Моргачева...

Кирсанов. На какого Моргачева?

Базарин. Ну на Моргунова... На аспиранта твоего, как его там...

Кирсанов. Ты, кажется, всерьез полагаешь, будто я уже не способен узнать собственного аспиранта?

Базарин. Извини, но я ничего не полагаю. Я только тебе говорю, что он очень похож...

Кирсанов. У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо жулик, черт его подери, либо идиотский шутник!

Базарин (*кратко*). Ну извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я тоже считаю, что это идиотская шутка и что нам всем надо успокоиться. Зоя Сергеевна, я вас умоляю: успокойтесь и не берите в голову. Хотите, я чайник пойду поставлю? Газ, я надеюсь, еще не выключили?..

В прихожей хлопает дверь, и в комнате появляется Александр Рувимович Пинский. Это длинный, невообразимо толстый человек,

долговолосый, взлохмаченный, с огромным горбатым носом и с неухоженной бородачкой. Он старый друг семьи Кирсановых, живет двумя этажами выше по той же лестнице, поэтому он в пижаме и тапочках, а поверх пижамы — в некогда роскошном восточном халате. В руке у него листок бумаги.

П и н с к и й (возбужденно). Слава богу, вы не спите... Как вам это понравится? (Он швыряет бумажку на стол.) По-моему, это уже переходит все пределы!

К бумажке тянутся все трое, но быстрее всех оказывается Зоя Сергеевна.

Зоя Сергеевна (читает высоким ненатуральным голосом). «Жи́ды города Питера!..» Что это такое?

П и н с к и й. Читай, читай, дальше там еще интереснее.

К и р с а н о в (отбирает у жены листок). Позволь. Дай мне. (Читает.) «Жи́ды...» Так. «Все жи́ды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион «Локомотив». Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонементные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции — оставить дома в надлежащем порядке. Жи́ды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию...» Так. Тут у них что-то зачеркнуто... А, понятно. «Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны...» Но это как раз вычеркнуто. То есть в оставленные квартиры проникать можно... Ну и, конечно, председатель-комендант-ассенизатор. Подписи опять нет, а печать есть. Та же самая...

П и н с к и й (кипя). Ну что — узнаете? Что вы на меня вытирались? Неужели не узнаете? Олег Кузьмич, вы же у нас в некотором роде историк, вы же у нас специалист по международным отношениям!.. Вижу, что ни хрена вы не узнаете и не помните ни хрена. В сорок первом году в Киеве немцы такое же вот расклеивали по стенам, почти слово в слово... «Жи́ды города

Киева»... А потом — Бабий Яр! Неужели не помните?.. (Торжественно.) Вот они, наконец, высунулись ослиные уши, хулиганье фашистское, доморощенное! И ведь главное — совершенно уверены, что какой-нибудь еврей обязательно с перепугу попрется к восьми часам, а они там будут на него глазеть и ржать, как жеребцы, и пальцами на него указывать...

Зоя Сергеевна (Кирсанову). В последний раз тебя прошу. Позвони Евдокимову.

К и р с а н о в. Погоди, лапа. Дай разобраться. (Пинскому.) Откуда у тебя эта бумажка?

П и н с к и й. Да только что принес какой-то гад. Наглец хладнокровный, еще расписаться заставил. Откуда я мог знать, что он мне подсовывает? Я думал, это из военкомата. Он ведь, подлец, представился: «Спецкомендатура»...

К и р с а н о в. Рослый такой парень, в черном плаще?

П и н с к и й. Ну!

К и р с а н о в. И фонарь во лбу?

П и н с к и й. Да! А ты откуда...

К и р с а н о в (сует ему в руку свою повестку). На, почитай.

П и н с к и й. Зачем?

К и р с а н о в. Читай, читай, увидишь.

Б а з а р и н. Так-так-так. Это уже серьезно.

К и р с а н о в (ехидно). А чего тут серьезного? Ну, ходят мои аспиранты, ну, разносят шуточные повестки...

Б а з а р и н. Перестань. Может быть, и в самом деле позвонить Евдокимову?

К и р с а н о в. Но я же не знаю, что ему говорить! Как это все расскажешь? Свежему человеку... в третьем часу ночи...

П и н с к и й (прочитав кирсановскую повестку). Что за чертовщина! Откуда это у тебя?

К и р с а н о в. Спецкомендатура социальной ассенизации. Здоровенный громила с кейсом и с шахтерским фонарем между глаз.

П и н с к и й. Какой же ты, к едрене фене, богач?

К и р с а н о в. Да уж какой есть, извини, если не угодил.

Б а з а р и н. Вот что. Надо немедленно позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица.

Кирсанов (*раздраженно*). Подожди. Давай сначала разберемся. Если это хулиганские действия какого-то идиотского лица, тогда звонить совершенно незачем. Ну, дурак, ну, ходит по квартирам и разносит дурацкие повестки. Ну, напугает дюжину дураков вроде нас... Если дело обстоит таким образом, тогда звонить в милицию — сами звоните. Мне уже повестку принесли, меня уже один раз одурачили, и теперь можно спокойно ложиться спать. Вторую не принесут!

Базарин (*задумчиво*). Логично.

Кирсанов. А раз логично, тогда давайте ложиться спать. Хватит. Всё.

Пинский (*алчно*). Догнать бы сейчас этого жлоба и накидать бы ему пачек, чтобы кровавыми соплями умылся, падло позорное...

Кирсанов. Сиди уж, старое дреколье. Да смотри, случайно не пукни, а то развалишься. Догнал он... пачек он накидал...

Пинский. Ничего, ничего, не беспокойся, мне бы его только поймать, а там бы я с ним разобрался, не впервой... Меня ведь, главным образом, что поражает? Меня наглость эта первобытная поражает. Вот они уже по квартирам пошли. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что они адрес мой — знают. Спрашивается: откуда? Кто им дал? Зачем? Чувствуете?..

Кирсанов. Между прочим, мой адрес они тоже знают...

Пинский (*отмахивается*). Да перестань ты! Ты-то здесь при чем? Подумаешь, богачом его обозвали! В первый раз в жизни. Меня жидом всю мою жизнь обзывают! Устно. А теперь вот и письменно начали...

Кирсанов. Знаешь, когда в нашей стране человека обзывают богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже.

Пинский. Ах, тебе неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом?

Кирсанов. Я бы предпочел, чтобы на меня не наклеивали ярлыков. Никаких.

Пинский. А жид — это вовсе не ярлык. Жид — это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, а жидом — нет.

Базарин. Да не о том вы говорите, не о том! Оба хуже, вот в чем беда! Так уж у нас сложилось, что миллионы людей это думают. Что еврей, что богач — плохо. Плохо, и все! И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть все основания так думать. Их так воспитали...

Кирсанов. Но позволь, в самом деле! Какой же я, к черту, богач?

Базарин. Да. Ты богач. С точки зрения тети Моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... с точки зрения этой тети Моти, ты — богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...

Кирсанов. Так у тебя, наверное, не пять тысяч, у тебя, может быть, двадцать тысяч на книжке... Я же знаю, что ты на вторую квартиру копишь...

Базарин. И я богач! И Александр Рувимович богач. Хотя у него «Жигулей» и нет пока...

Кирсанов. У меня «Жигули» второй год под брезентом стоят, резину не могу купить ни за какие деньги!..

Базарин. «Жигулей» у него пока нет, но он зато дочку отправил в Америку, и она ему оттуда подбрасывает... и не трешку в месяц, уж будьте уверены!

Пинский (*рвывает*). Я дочку в Америку не отправлял! Это ваш Госконцерт говенный ее туда выжил!

Базарин. Этого тетя Мотя ничего не знает. И знать не хочет. Она одно знает: всю жизнь вкалывала как проклятая, а сейчас, старуха, по помойкам бутылки собирает.

Пинский. И виноват в этом, конечно, еврей Пинский.

Кирсанов. И богач Кирсанов.

Базарин. Да! Еврей Пинский и богач Кирсанов! Потому что никаких других объяснений у тети Моти нет!..

Пинский. Как это — нет! А куда же смотрит работник политпросвещения товарищ Базарин Олег Кузьмич?

Базарин (*не слушая*). Потому что сначала ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер... Да только она не дура. Сорок

лет уже нет ни Гитлера, ни вредителей, а жить-то все хуже и хуже... И всю свою жизнь она видит где-нибудь то барина в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли...

П и н с к и й. А еврея, который в говенном котле всю смену лежит и заклепки хреном выколачивает, — такого еврея она не видела? Так пусть посмотрит! *(Тычет себя большим пальцем в грудь.)*

Б а з а р и н. Представьте себе — такого еврея она не видела. Потому что, простите меня, Александр Рувимович, такой еврей и в самом деле большая редкость...

К и р с а н о в. Ну ладно, хватит вам, что вы опять сцепились... Не об этом же речь идет. Ей-богу, Олег Кузьмич, ну что ты, в самом деле... Ты что же хочешь мне сказать — сидит где-то какая-то тетя Мотя и сочиняет эти повестки?

П и н с к и й. Не-ет, это не тетя Мотя сочиняет. Это сочиняет сытый, гладкий, вчерашний молодежный жокак, и «Жигули» у него есть, и квартира с телефоном, да только вот бездарный он, к сожалению, серый, как валенок, а потому — убежденный юдофоб... У нас же юдофобия спокон веков — бытовая болезнь вроде парши, ее в любой коммунальной кухне подхватить можно! У нас же этой пакостью каждый второй заражен, а теперь, когда гласность разразилась, вот они и заорали на весь мир о своей парше... Вы, Олег Кузьмич, всегда их, бедненьких, защищаете! Я вас понимаю, сами-то вы выше этого, сами вы все норовите с высоты пролетарского интернационализма проблему обозреть, поэтому у вас всегда и получается, что все кругом бедненькие... даже богатенькие... Мне иногда кажется, Олег Кузьмич, что вы мне просто простить не можете... Это ж надо же, ведь такой был образцово-показательный еврей-котельщик, рыло чумазое, каждое второе слово — мат, подлинное воплощение пролетарского интернационализма, — так нет же, в институты полез, изобретателем заделался, начлабом, дочку в консерваторию пристроил...

Б а з а р и н. Перестаньте, Александр Рувимович! Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не думаю и что ничего подобного я не говорил. Я только одно хотел сказать: что в каждой шутке есть доля истины. Даже в самой дурацкой. Мы вот с вами возмущаемся по поводу этих бумажек, а нам бы не возмущаться

надо, а задуматься, потому что солома показывает, куда дует ветер...

Пинский хочет ему что-то ответить, но тут Зоя Сергеевна резко поднимается и берет ближайший канделябр.

К и р с а н о в *(всполошившись)*. Лапа, ты куда? *(Пинскому и Базарину.)* Да заткнитесь вы наконец! Хватит! Что вы опять сцепились, как цепные собаки! *(Зое Сергеевне.)* Лапа, не уходи, они больше не будут.

З о я С е р г е е в н а. Три часа уже. Я пойду вещи соберу.

К и р с а н о в. Какие вещи?

З о я С е р г е е в н а. Я еще сама толком не знаю, надо посмотреть... Что они там глупости пишут — смена белья. Зима на дворе. Носки надо шерстяные обязательно взять, рейтузы теплые...

Б а з а р и н. Позвольте, Зочка Сергеевна...

З о я С е р г е е в н а. Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто развлекается кто-то. Будто вы не чувствуете, что это всем нам конец, начало конца...

К и р с а н о в *(беспомощно)*. Ты что же — серьезно считаешь, что я должен туда идти?

З о я С е р г е е в н а. Я ничего не считаю. Я знаю только, что идти придется и что ты пойдешь, и я бога молю, чтобы меня пустили с тобой, потому что без меня ты там погибнешь на третий день...

К и р с а н о в. Лапушка, опомнись! Ну что ты такое говоришь? Ведь это же все ерунда! Ну хочешь, я в милицию позвоню? Подожди, я сейчас же позвоню! *(Он подсакивает к телефону, торопливо набирает 02.)* Алло... Товарищ лейтенант, с вами говорят из дома шестнадцать по Беломорской улице. У нас тут по лестницам ходит какой-то деятель и вручает гражданам хулиганские повестки... *(Замолкает, слушает.)* Так почему же вы ничего не предпринимаете? *(Слушает.)* То есть как это так? А кто же, по-вашему, должен этим хулиганством заниматься? Что? *(Слушает.)* Да, получил... *(Слушает.)* В каком смысле, простите? *(Слушает.)* Позвольте, вы что же хотите мне сказать... *(Слушает, потом медленным движением опускает трубку и поворачивается к остальным.)*

Базарин. Ну?!

Кирсанов. Он говорит: получили предписание — выполняйте...

Базарин. Та-ак. Этого и следовало ожидать.

Кирсанов. Он говорит: это не только у нас в доме, это везде. Милиции это, говорит, не касается.

Зоя Сергеевна, не сказав ни слова, уходит из комнаты в спальню, налево.

Базарин. Проклятье. Я тебе тысячу раз говорил, Станислав: не распускай язык! Тебе не двадцать лет. И даже не сорок. В твоём возрасте нельзя быть таким идиотом и горлопаном!

Пинский. Золотые слова! И главное, такие знакомые... Всю жизнь я их слышу. Иногда с добавлением «жидовская морда».

Кирсанов. Какой я вам горлопан? Что вы городите?

Базарин. На митинге Народного фронта ты речи произносил или папа римский? Кто тебя туда тянул? Что они — не обошлись бы без тебя там?..

Кирсанов. Так это когда было... А потом, при чем здесь Народный фронт? Ведь я же богат! Богач я! У меня же драгоценности! У меня меха!

Пинский. Э! Э! Не примазывайся! Меха — это у меня.

Базарин. Вот теперь и я считаю — хватит. Звони Сенатору.

Кирсанов молчит, выкапывает из пепельницы окурок, затягивается.

Кирсанов. Не хочу. Сам звони.

Базарин. Ну, знаешь ли!.. Как угодно. Только я с ним за одной партой не сидел...

И тут за окном, в доме напротив, разом гаснут все оставшиеся еще освещенными окна. И сейчас же гаснут фонари на улице. Остается только светлое низкое небо над крышами. В комнате делается заметно темнее.

Пинский (*подбежав к окну*). Ого! И в доме десять тоже погасло... Так... И в доме восемь... А вы знаете, панове, во всем

квартале, пожалуй, света нет! Знаешь что, Слава, кончай-ка ты выбивать грудь колесом и звони-ка ты своему Евдокимову... если, конечно, он захочет теперь с тобой разговаривать, в чем я вовсе не уверен.

Кирсанов. Нет. Я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет что будет.

Пинский. А кто говорит, чтобы просить? Спросить надо, а не просить...

Кирсанов. А что, собственно, спрашивать? Тебе вполне определенно сказано: предписание получили? Выполняйте! Старший лейтенант милиции Ксенофонов...

Из передней доносится стук дверей, топот, приглушенное ржание. Шипящий голос произносит: «Ш-ш-ш! Тихо ты, сундук африканский!..» Щелкает выключатель. «И здесь света нет...» Другой голос отзывается нарочитым баском: «Взлзаеть... но так — нэвысоко!..» И снова раздаётся сдавленное ржание. Из прихожей появляется Сергей Кирсанов, младший сын профессора, ладный, сухощавый, среднего роста молодой человек в мокрой кожаной куртке, в «варенках», на голове огромная меховая шапка. И сразу видно, что он основательно навеселе.

Сергей. О, веселые беседы при свечах! Старшему поколению!.. (*Срывает с головы шапку и отвешивает низкий поклон. Говорит через плечо в прихожую.*) Заходи смело, они, оказываются, не спят. Причем их тут навалом.

Появляется Артур — тоже ладный, тоже сухощавый, но на голову выше ростом. Одет он примерно так же, но на первый взгляд производит впечатление странное: он негр, и лица его в сумеречном свете почти не видно.

Артур (*отряхивая о колено свою огромную шапку*). Здравствуйте. Извиняюсь за вторжение. Мы почему-то думали, что вы уже спите.

Сергей (*в прежней шутовской манере*). Олег Кузьмич! (*Кланяется.*) Дядя Шура Пинский! (*Кланяется.*) Батюшка!

(Кланяется.) А это, позвольте вам представить, Артур Петров. Артур Петрович! Мой друг! Вернее, мой боевой соратник. А еще вернее — мой славный поделщик...

К и р с а н о в (очень неприветливо). Так. Иди-ка ты к себе.

С е р г е й. Незамедлительно! Мы ведь только представить-ся. Акт вежливости. А где мамуля?

К и р с а н о в. Она занята.

С е р г е й (Артуру). «А глаза добрые-добрые!..»

Оба ржут — довольно неприлично. Из спальни слева появляется Зоя Сергеевна.

С е р г е й. О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а? Немудрящей какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, мороз, транспорт отсутствует, в такси не содют...

З о я С е р г е е в н а. Хорошо, хорошо, пойдемте.

Слегка подталкивая, она вытесняет обоих приятелей в прихожую и выходит за ними.

К и р с а н о в (Пинскому, неприязненно). Вот оно, твое потакание!

П и н с к и й. А в чем, собственно, дело? Парню двадцать лет. Попытайся вспомнить, каким ты сам был в двадцать лет...

К и р с а н о в. В двадцать лет у меня не было денег на выпивку.

П и н с к и й. А у него есть! Потому что он работает! Ты в двадцать лет был маменькин сынок, а он работяга. И работа у него, между прочим, достаточно поганая. Ты бы в такой цех не пошел, носом бы закурил...

К и р с а н о в. Цех! Ты еще мне скажи — промышленный гигант! Кооперативная, понимаешь, забегаловка на три станка...

П и н с к и й. Ну, конечно! Ну, разумеется! Ведь наши дети могут подвизаться только на великих стройках! Все-таки ты, Станислав, иногда бываешь поразительно туп. Воистину, профессор — это всегда профессор...

Б а з а р и н. Мне другое не нравится. Что это за манера такая — водить в дом иностранцев! Нашел время...

П и н с к и й. Э, у них — свое время. А на наше время они поплевывают. И правильно делают...

К и р с а н о в. Боже мой, какое счастье, что электричества нет! Ведь он, едва только приходит, как сейчас же включает этот свой громоподобный агрегат... эту свою лесопилку!.. Особенно когда поддаты...

И тут же, словно по заказу, взрывается оглушительная музыка. Словно заработала вдруг гигантская циркулярная пила. Впрочем, некая милосердная рука тотчас сводит этот рев почти на нет. Все трое смеются, даже Кирсанов.

П и н с к и й. У него же портативный есть, на батарейках!

К и р с а н о в (Базарину). Да, Кузьмич, оставляем мы тебе команду не в добром порядке.

Б а з а р и н. Ты что, собственно, имеешь в виду?

К и р с а н о в. А то я имею в виду, что меня вот забирают, Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты этого или не хочешь, у тебя на шее.

Б а з а р и н. Перестань. Никуда вас особенно не забирают... и потом позволь напомнить тебе, у Сергея же еще Александр остается. Как-никак старший брат...

К и р с а н о в. Александр... Александра тоже придется тебе тянуть. Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка не пропадет — он в этом мире как рыба в воде. А вот Александра тебе придется тащить на себе. И двух его детей. И двух его бывших жен. И третью жену, между прочим. У меня, честно говоря, такое впечатление, что там уже третья намечается...

П и н с к и й. Да, Олег Кузьмич, вы еще сто раз пожалеете, что сами повестки не получили. Представляете? «Словоблуды города Питера!» И — никаких вам хлопот с чужими детьми...

Вбегают Сергей.

С е р г е й. Пардон, пардон и еще раз пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя свечки лишние найдутся. Дай парочку, не пожалей для любимого сына!

К и р с а н о в (*рояль в бюро*). Обязательно надо перед приходом домой надраться...

С е р г е й. Да кто надрался-то? Пивка выпили, и все.

К и р с а н о в. Тысячу раз просил не являться домой в пьяном виде!.. Кто этот негр, откуда взялся? Зачем таскаешь в дом иностранцев?

С е р г е й. Да какой же он иностранец? Петров, Артур Петрович, наш простой советский человек. Мы с ним под Мурманском служили. Я ведь тебе рассказывал. Он же меня в эту фирму пристроил...

Б а з а р и н. А почему он тогда такой черный?

С е р г е й. А потому, что у него папан — замбийский бизнесмен. Он тут у нас учился. В Лумумбе. А потом, натурально, уехал — удалился под сень струй.

Б а з а р и н. Ах вот оно как. То есть он, получается, замбиец...

С е р г е й. Ну, положим, не замбиец, а га...

Б а з а р и н. Что? В каком смысле — га? Не понимаю.

С е р г е й. Объясняю. Папан у него из племени га. Есть такое племя у них в Замбии. Га. Но на самом деле Артур, конечно, никакой не га, а самый обыкновенный русский.

Б а з а р и н (*глубокомысленно*). Ну да, разумеется, поскольку мать у него русская, то вполне можно считать...

С е р г е й. Мать у него не русская. Мать у него вепска.

П и н с к и й (*страшно заинтересовавшись*). Кто, кто у него мать?

С е р г е й. Вепска. Ну карелка!.. Ну я не знаю, как вам еще объяснить. Народ у нас есть такой — вепсы...

К и р с а н о в. Ладно. Бери свечи и удались с глаз долой.

С е р г е й. Слушаюсь, ваше превосходительство! Премного благодарны, ваше высокопревосходительство! (*Уходит.*)

Б а з а р и н. Ну и поколение мы вырастили, господи ты боже мой!

П и н с к и й. Да уж. С чистотой расы дело у них обстоит из рук вон плохо. По-моему, все они русофобы.

Б а з а р и н. Ах да перестаньте вы, Александр Рувимович! Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Нельзя жить только для себя. А они живут так, будто кроме них никого на свете нет...

К и р с а н о в. Жестоки они — вот что меня пугает больше всего. Живодеры какие-то безжалостные... Во всяком случае, так мне иногда кажется... Без морали. Ногой — в голову. Лежачего. Не понимаю...

П и н с к и й. Не понимаешь... Мало ли чего ты не понимаешь. А понимаешь ты, например, почему они при всей своей жестокости так любят детей?

К и р с а н о в. Не замечал.

П и н с к и й. И напрасно. Они их любят удивительно нежно и... не знаю, как сказать... бескорыстно, что ли! Любят трогать их, тискать, возиться с ними любят. Радуются, что у них есть дети... Это совершенно естественно, но согласись, что у нашего поколения все это было не так... А то, что ты их не понимаешь... так ведь и они тебя не понимают.

К и р с а н о в. Не собираюсь я с тобой спорить, я только вот что хочу сказать: я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но мне становится очень неудобно, когда я не понимаю людей. Особенно своих детей.

Пауза.

П и н с к и й (*ни с того ни с сего*). Был бы я помоложе, взял бы сейчас ноги в руки, только бы меня здесь и видели. Вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в гараж, и хрен вам в зубы...

К и р с а н о в. Ну да — без паспорта, без документов. Всю жизнь скрывайся, как беглый каторжник...

П и н с к и й. Да что ты понимаешь в документах, профессор? Тебе какой документ нужен? Давай пять сотен, завтра принесу.

Пауза.

К и р с а н о в. Ноги в руки тебе надо было в прошлом году брать. Сидел бы сейчас в Сан-Франциско — и кум королю!

П и н с к и й. Нет уж, извини. Я всегда тебе это говорил и сейчас скажу. Они меня отсюда не выдавят, это моя страна. В самом крайнем случае — наша общая, но уж никак не ихняя. У меня

здесь все. Мать моя здесь лежит, Маша моя здесь лежит, отца моего здесь расстреляли, а не в Сан-Франциско... Я, дорогой мой, это кино намерен досмотреть до конца! Другое дело — голову под топор подставлять, конечно, нет охоты. Вот я и говорю: молодость бы мне. Годиков ну хотя бы пятнадцать скинуть... дюжину хотя бы...

Звонит телефон. Все вздрагивают и смотрят на аппарат. Затем Кирсанов торопливо хватается трубку.

Кирсанов. Да!.. Это я... Ну? *(Слушает.)* А что случилось? *(Слушает.)* Ты мне скажи, дети в порядке?.. Ну, спускайся, конечно... *(Вешает трубку.)* Это Санька. У него какой-то нетелефонный разговор. Посреди ночи. *(Замечает, что в дверях стоит Зоя Сергеевна.)* Это Санька звонил, лапонька. С детьми все в порядке, но есть какой-то нетелефонный разговор. Сейчас он спустится.

Зоя Сергеевна. Повестку получил.

Кирсанов *(ошеломленно)*. Откуда ты взяла?

Зоя Сергеевна, не отвечая, подходит к столу и протягивает что-то Кирсанову.

Зоя Сергеевна. На, прими нитронг.

Кирсанов. Чего это ради? Я нормально себя чувствую. *(Кладет таблетку на язык, запивает из чашки.)* Я совершенно спокоен. И тебе советую.

Входит Александр Кирсанов, старший сын. Такой же, как отец, рослый, рыхловатый, русокудрявый, но без бороды и без какого-либо апломба. Живет он на последнем этаже по этой же лестнице. Видимо, только что разбужен — лицо помятое, волосы всклокочены, он в пижаме, в руке его листок бумаги.

Александр. Папа, я ничего не понимаю! Посмотри, что мне принесли. *(Протягивает отцу листок. Базарину и Пинскому.)* Здравствуйте.

Зоя Сергеевна со словами «дай сюда» перехватывает листок и склоняется у свечки. Все молчат. Зоя Сергеевна читает, потом молча возвращает листок мужу, а сама садится у стола и роняет лицо в ладони.

Кирсанов *(плачущим голосом)*. Ну что же это за мерзость, в самом деле! «Распутники города Питера...» Ну как вам это нравится?

Базарин. Распутники?!

Кирсанов. «Распутники города Питера! Явиться к восьми утра на стадион “Красная Заря”...»

Александр *(ноет)*. Я не понимаю, как я это должен понимать... Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то... Но ведь приходил настоящий посыльный в какой-то черной форме... расписаться потребовал...

Зоя Сергеевна *(не отнимая рук от лица)*. Дети проснулись?

Александр. Да нет, они спят. И потом, там у меня... В общем, там есть человек... Папа, ты что, считаешь, что это серьезно?

Пинский. Понимаешь, Саня, мы с папой тоже такие повестки получили. Во всяком случае, похожие.

Александр. Да? Ну, и что теперь надо делать? Идти туда надо, что ли? За что? Папа, ты бы позвонил кому-нибудь...

Кирсанов. Кому?

Александр. Ну я не знаю, у тебя же полно знакомых высокопоставленных... Объясни им, что у меня двое детей, не могу же я их бросить, в самом деле... Как же это можно? Что у нас сейчас — тридцать седьмой год? Тогда — враги народа, а тут вот распутником объявили ни с того ни с сего... Какой я им распутник? У меня двое детей маленьких! Пап, ну позвони хотя бы ректору! Он же все-таки член бюро горкома...

Пинский. Саня, сядь. Вот выпей чаю. Он остыл, но это ничего, хороший чай, крепкий... Не унижайся. Не унижайся, пожалуйста. И отца не заставляй унижаться. Они ведь только этого и хотят — чтобы мы перед ними на колени встали. Им ведь мало, чтобы мы им просто подчинялись, им еще надо, чтобы мы у них сапоги лизали...

А л е к с а н д р. Так ведь надо что-то делать, дядя Шура... Может быть, это ошибка какая-нибудь вышла... Может, можно как-то договориться. В крайнем случае отсрочку какую-нибудь получить... Ну позвони, пап!

З о я С е р г е е в н а. У тебя там Галина сейчас?

А л е к с а н д р. (расстроено). Да.

З о я С е р г е е в н а. Она завтра сможет побыть с детьми?

А л е к с а н д р. Откуда я знаю? Сможет, наверное...

З о я С е р г е е в н а. (поднимается). Пойдем со мной, я тебе дубленку отдам.

А л е к с а н д р. Зачем? Какую еще дубленку?

З о я С е р г е е в н а. Твою. На которой я пуговицы перешила. (Направляется к двери в спальню.)

П и н с к и й. Не надо ему дубленку. Отберут у него эту дубленку в первый же день.

А л е к с а н д р. (безвольно следуя за матерью). Да кому она нужна, старая, облезлая... Папа, ты пока позвони... Ну надо же что-то делать... (Уходит.)

К и р с а н о в. Мерзость... Мерзость!!! Ну хорошо, не угодили вам, не потрафили — посадите в тюрьму, к стенке поставьте, но ведь этого вам всегда мало! Надо сначала в лицо наплевать, вымазать калом, в грязи вывалить! Перед всем честным народом — обгадить, опозорить, в парию обратить! «Богач!» «Распутник!» Это Санька-то мой — распутник! Да он же ни с какой бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте, для него же половой акт — это таинство, освященное законом, а иначе — порок, срам, грех! Нет, он, видите ли, распутник... Ну какая же все-таки подлая страна! Ведь силища же огромная, ни с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно, из целого народа может сделать мокрое пятно!.. Но почему же обязательно не просто, не прямо, а с каким-нибудь подлым вывертом?..

Б а з а р и н. Станислав, прекрати.

К и р с а н о в. Нет уж, я скажу. Я и тебе скажу, и завтра им все это скажу! Ведь я чего-нибудь вроде этого ждал. Мы все этого ждали. «Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!..» Прекрасно знали! Что не может у нас быть все путем, обязательно

опять начнут врать, играть мускулами, ставить по стойке смирно! Но вот такого! Презрения этого... унижения!.. Я давно пытаюсь представить себе, как должен выглядеть человек, отдельный человек, личность, но обладающий теми же свойствами, что наша страна... Вы только подумайте, какой это должен быть омерзительный тип — чванный, лживый, подлый, порочный... без единого проблеска благородства, без капли милосердия...

Б а з а р и н. Перестань сейчас же, я тебе говорю! Как тебе не стыдно? Это уже действительно чистая русофобия!

П и н с к и й. Ах-ах! Ну конечно же — русофобия. Обязательно! Везде же русофобы! Я только теперь понимаю, почему меня в пятидесятом на физфак не приняли! Русофобы! Пронюхали подлецы, что у меня бабушка русская... Стыдитесь, Олег Кузьмич! При чем здесь русофобия? Он же слова дурного про русских не сказал! Зачем же передергивать? И так тошно.

Б а з а р и н. Нет уж, голубчики! Это уж вы не извольте передергивать, Александр Рувимович и Станислав Александрович! Я и без вас все прекрасно понимаю! Точно так же, как и вы, я полагаю, что происходящее недостойно, но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас, — недостойно нашей страны. Это разные вещи, и путать их не надо. Проще простого — свалить в одну кучу и страну, и всех дураков с негодяями, которые в ней водятся... Я понимаю, мы с вами не в равном положении сейчас. Вы — под ударом, а я как бы выхожу чистенький... Но, уверяю вас, если бы эта молния ударила и в меня тоже, я бы закричал, конечно, потому что больно, потому что обидно, понимаю, но я бы заставил себя задуматься: почему? Почему выбрали именно меня? Может быть, все-таки не зря выбрали? Может быть, я жил как-то неправильно?.. Ведь все наши дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились, они же из нас, из гущи нашей, они глупые, однако нутром своим они всегда выражают именно гущу, ту самую, от которой мы все оторвались, отгородились своими окладами, своей чистенькой работкой, и, когда нам говорят: ну, ты, гад, выйди из строя, на колени! — может быть, не об унижении своим барском думать надо, а о том надо думать, что это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться... Не перед

дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а перед строим...

К и р с а н о в. Да каяться-то в чем? В чем каяться? И перед каким таким строим? Перед общественным, что ли?

Б а з а р и н. Я не знаю, в чем ты должен каяться. Это тебе виднее. Я тебе уже говорил, что с определенной точки зрения и ты, и я, и он, мы все — зажавшиеся баре, которые берут много, а отдают мало. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что так и должно быть. Мы сами построили себе свой модус вивенди, мы сами построили себе удобную в употреблении мораль... Ты вот защищаешь Саньку, что он у тебя бабник не простой, а законопослушный, но ты пойми, что, с точки зрения тети Моти, он и есть самый настоящий распутник! В тридцать лет — две жены, каждой по ребенку заделал, а теперь пожалуйста — у него еще и какая-то Галина... Ну что это — не распутство?

П и н с к и й. Ну хорошо. Положим, Саньку можно кастрировать, в крайнем случае. А со мной что вы прикажете делать? Тетя Мотя ведь не еврей, а я — еврей, дрянь этакая...

Б а з а р и н. Перестаньте, Александр Рувимович! При чем здесь опять еврей? Вы меня знаете, я не антисемит, но эта ваша манера сводить любую проблему к еврейскому вопросу...

П и н с к и й. Ну да, конечно! А как насчет вашей манеры — все сводить к мнению тети Моти?..

Б а з а р и н (*проникновенно*). Когда я говорю о тете Моте, я имею в виду мнение большинства. Того самого большинства, к которому все мы склонны относиться с таким омерзительным высокомерием... Я подчеркиваю: я тоже грешен! Но я хотя бы пытаюсь хотя бы иногда встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы...

П и н с к и й (*с нарочитым еврейским акцентом*). Таки себе хорошенький пейзажик, наверное, открывается с этой вашей горы!

Б а з а р и н. Вы, Александр Рувимович, совершенно напрасно все время стараетесь меня вышутить. Остроты отпускать — самое простое дело. И самое пустое! Вы понять попытайтесь. Понять! Не до шуток сейчас, поверьте вы мне...

П и н с к и й. А это уж позвольте мне самому решать. По мне так с петель на шее лучше уж шуточки шутить, чем каяться... А если

уж и каяться, то никак уж не перед вами и не перед загадочной вашей тетей Мотей!

Б а з а р и н (*бормочет*). Гордыня, гордыня... Все мимо ушей...

К и р с а н о в (*вдруг*). Да, гордыня. Это верно. Хватит. (*Подходит к телефону, набирает номер*.) Сенатор? Ох, слава богу, что ты не спишь... Это Слава говорит. Слушай, мы здесь попали в какую-то дурацкую переделку. Представь себе: моему Саньке вдруг приносят повестку... (*Замолкает, слушает*.) Нет... нет-нет... «Распутники города Питера»... (*Слушает*.) Понятно... Понятно... И что ты намерен делать? (*Слушает*.) Нет, Зоя не получила, а я получил... (*Слушает*.) Понятно... Ну, значит, все будет как будет. Прощай. (*Вешает трубку*.) Он уже упаковался. Он у нас отныне «политикан города Питера»!

Освещенное небо за окном гаснет. Город погружается в непроглядную тьму.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Два часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. К и р с а н о в за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. З о я С е р г е е в н а пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом предделе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов.

З о я С е р г е е в н а. Что ты пишешь?

К и р с а н о в (*раздраженно*). Да опишь эту чертову составляю...

З о я С е р г е е в н а. Господи! Зачем?

К и р с а н о в (*раздраженно*). Откуда я знаю? (*Перестает писать.*) Надо же чем-то заняться... (*Пауза.*) А эти молодцы все развлекаются?

З о я С е р г е е в н а. Надо же чем-то заняться...

К и р с а н о в. Надрались?

З о я С е р г е е в н а. Нет. Во всяком случае, в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру. На специальной доске.

К и р с а н о в. В нарды, что ли?

З о я С е р г е е в н а. Нет. Какое-то коротенькое название. То ли японское, то ли китайское...

К и р с а н о в. В го?

З о я С е р г е е в н а. Да, правильно. В го.

Пауза. В отдалении Гребенищikov стонуце выводит:

Этот поезд в огне — и нам не на что больше жать,

Этот поезд в огне — и нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе...

К и р с а н о в. Вождь из племени га сидит и играет в го.

З о я С е р г е е в н а. Сережка деньги отдал. Двести рублей.

К и р с а н о в. Что еще за двести рублей?

З о я С е р г е е в н а. Говорит, ты ему давал в долг. В прошлом году.

К и р с а н о в. Гм... Не помню. Но похвально. (*Пауза.*) Ты ему все рассказала, конечно...

З о я С е р г е е в н а. Конечно.

К и р с а н о в. Ну и как он отреагировал?

З о я С е р г е е в н а. Сначала заинтересовался, стал расспрашивать, а потом ехидно спросил: «Веревку велено свою приносить, или казенную там на месте дадут?»

К и р с а н о в. Замечательное все-таки поколение. Отца забирать черт-те знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го...

З о я С е р г е е в н а. Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить...

К и р с а н о в (*раздраженно*). Ну да, конечно! Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники,

по морде надавали... (*Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голосом.*) «Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!»

З о я С е р г е е в н а (*утешающе*). Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение, будем работать в школе или в детском доме... Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабутке в сорок девятом году. Была мазанка, печку кизяком топили... Но холодина была зимой ужасная... А вместо сортира — ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она языкастая была... вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом»... Две женщины немолодые, девчонка — и ничего, жили...

К и р с а н о в (*с нежностью*). Бедная ты моя лапа... (*Слышится стук в наружную дверь.*) Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич, совесть его заела...

Он выходит в прихожую и возвращается с Пинским. Пинского не узнать: он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове — невообразимый трехух, на ногах — огромные бахилы. В руке у него толстый облезлый рюкзак типа «сидор».

П и н с к и й. Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не прислали?

К и р с а н о в. Еще не прислали, но могут и прислать. «Разгильдяи города Питера!»...

П и н с к и й. Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь непредсказуема.

К и р с а н о в. Правильнее говорить не «тетя Мотя», а «Софья Власьевна».

П и н с к и й. А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуха у ей — тетя Мотя.

К и р с а н о в. Да-а, юморок у нас с тобой, Шурик... предсмертный.

Пинский. Типун тебе на язык, старый дурень! Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония! Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги два-три года максимум...

Кирсанов. Знаешь, в наши годы — это срок.

Пинский. Зоя, что это ты делаешь?

Зоя Сергеевна. «Молнию» пришиваю.

Пинский. Ну и глупо. Завтра она у него сломается, и что тогда прикажете делать? Пуговицы надо! Самые здоровенные... И никаких «молний», никаких кнопочек... Слушай, пойдём посмотрим, что ты там ему упаковала... Пошли, пошли!

Кирсанов. Тоже мне — старый зек нашелся.

Пинский. Давай, давай, поднимайся... Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся — я с ними две стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!..

Все трое уходят в спальню налево, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя:

Мы хотели пить — не было воды,
Мы хотели света — не было звезды,
Мы шли под дождь и пили воду из луж...
Мы хотели песен — не было слов,
Мы хотели спать — не было снов...

Из прихожей справа появляется Базарин.

Базарин. Можно? У вас там опять замок заклинило...

Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает трубку. Из спальни выходит Кирсанов.

Кирсанов. А, это ты... Куда звонишь?

Базарин. Да так... Занято все время... Ну, можешь меня поздравить. «Дармод города Питера».

Кирсанов (*не поняв*). То есть? (*И тут до него доходит.*) Ну да?! Тоже получили?

Базарин. Пожалуйста, прошу полюбоваться... (*Вынимает из нагрудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку.*)

Кирсанов (*кричит*). Шурка! Зоя! Идите сюда! Кузьмич повестку получил!

Первым выскакивает Пинский, за ним появляется Зоя Сергеевна с теплыми кальсонами в руках.

Пинский. Что такое? Что случилось? Епиходов кий сломал?

Кирсанов. Нашего полку прибыло. (*Читает с выражением.*) «Дармоды города Питера! Все дармоды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед городским крематорием...» Ого! Ничего себе, выбрали местечко!

Пинский. Какие все-таки подонки!

Кирсанов (*продолжает читать*). «...иметь при себе документы, в том числе: аттестат, диплом и удостоверение об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности...» Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях — ни слова. «Дармоды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель-комендант...» Ну и так далее. Что ж, все как у людей.

Пинский (*глубокомысленно*). Это они, видимо, придурков набирают.

Кирсанов (*с укоризной*). Шура!

Пинский. Ничего не Шура! Ты не понимаешь! Придурок в лагере — фигура почетная, дай нам бог всем стать придурками... Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?

Базарин. Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенный, немолодой уже... В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает.

Пинский. Ясно. Ну что ж, Олег Кузьмич, надо вам собираться... Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные, но самые неказистые. Никакого новья,

никакой «фирмы», вообще лучше никакого импорта... Сало есть у вас дома? Возьмите сала.

Б а з а р и н. Да откуда у меня сало?

П и н с к и й. А что — вы не любите сало? Вот странно! Глядя на вас, никогда бы не подумал...

Б а з а р и н. Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем.

К и р с а н о в (*мрачно усмехаясь*). «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины...»

З о я С е р г е е в н а (*из спальни*). Слава, иди сюда!

К и р с а н о в. Иду! (*Уходит.*)

П и н с к и й. Прошу прощения, Олег Кузьмич, я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят... Этот обалдуй электробриту хотел с собой взять, еле-еле я успел перехватить. (*Уходит.*)

Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято.

Б а з а р и н. Ч-черт...

Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка и Юрий Шевчук хрипло кричит: «Предчувствие-е-е... гражданской войны!» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настороженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер.

Б а з а р и н. Алло. Семьсот два дайте, пожалуйста... Николай Степанович? Ах, это Сергей Сергеевич... Пардон, не узнал вас... Да, богатым будете... Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому разрешите, я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые, мне бояться нечего, но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения, это оскорбительно... мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие... что это за организация такая — «Соци-

альная Ассенизация»? И что это за должность такая — «председатель-комендант»? Это же несерьезно, это же оперетта какая-то! Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель — оскорбить человека... Что?.. Представьте себе: в крематорий! Это же просто издевательство какое-то... Что?

Входит Александр, волоча за ляжку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит — все внимание его приковано к разговору.

Б а з а р и н. Это я понимаю... Это я п... Да, все это правильно, но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что?.. Ах, вы так ставите вопрос... Ну, тогда конечно... хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. (*С расстроенным видом кладет трубку.*) Канцелярия чертова, аппаратчики...

А л е к с а н д р (*жадно*). А что они вам сказали?

Б а з а р и н. Что они мне сказали? Хе! Что они мне могли сказать? (*Словно очнувшись.*) Кто это — «они»? Ты про кого спрашиваешь?

А л е к с а н д р. Ну эти... с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство...

Б а з а р и н (*неприязненно*). Начальство, мочальство... Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано еще.

А л е к с а н д р. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу... Так что они вам сказали?

Б а з а р и н (*язвительно*). Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем! Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в свой крематорий.

А л е к с а н д р (*тупо*). Мне не в крематорий назначено, мне на стадион «Красная Заря»... А может быть, вы еще кому-нибудь позвоните, Олег Кузьмич?

Б а з а р и н. Все. Больше некому.

А л е к с а н д р (*нещадно хрустя суставами пальцев*). Я все-таки никак не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что — мобилизация

какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще чего-то? Что мы там — каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно — за что? У нас же сейчас не тридцать седьмой год! Даровая рабсила понадобилась? Опять же не те времена: мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен... И вообще, как это можно — всех под одну гребенку? А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма... Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось? Зачем? Это же просто экономически не выгодно! И без того вся экономика по швам трещит, а они тут разыгрывают такие мероприятия... Я, между прочим, системный программист, какой же смысл меня на лопату ставить, на киркомотыгу какую-нибудь?

Б а з а р и н (*проникновенно*). Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу! Ну хорошо: евреи. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять...

А л е к с а н д р. А что они? Вы знаете что-нибудь?

Б а з а р и н. Подожди, не отвлекайся... Я могу понять экспроприацию. В конце концов, финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же! Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая... Пусть будет налоговая система, самая беспощадная... И даже не в этом дело! В конце концов, есть же люди, которые, так сказать, являются опорой! Так сказать, костяком! Нельзя же опору подрубать! Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю... и призываю... Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот! Усекновение головы — лучшее средство от мигреней...

А л е к с а н д р (*вставляет*). Главное, непонятно, чего они этим хотят добиться...

Б а з а р и н (*отмахивается от него*). Чего они хотят добиться — это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом, неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях... Крутые меры необходимы! Ассенизация необходима! Вот оно — откуда у них это слово! Слишком далеко мы зашли —

понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и поделом нам всем — по вору и мука!

А л е к с а н д р. Ну да... А я-то здесь при чем? Тоже мне — нашли вора... Сами напахали невесть чего, а я должен за это расплачиваться?

Б а з а р и н. Конечно, должен! Тебе, Саня, между прочим, уже тридцать годиков миновало, не маленький! Не только мы пахали, но и вы пахали!

А л е к с а н д р. А дети мои при чем?

Б а з а р и н. Это несерьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все — и виновные, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан, не жди, никто не скажет: «Счет — мне, пожалуйста».

Из спальни, слева, выходят Пинский, Зоя Сергеевна и Кирсанов.

П и н с к и й (*втолковывает*). ...а самое правильное — взять сейчас твой «Жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше...

К и р с а н о в. Ну что ты за глупости опять порешь! Ну поймают же, мерзко, за ухо приволокут, как поганых щенков...

П и н с к и й (*орет*). Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишься у себя в Псковской — и вася-кот!

К и р с а н о в (*орет*). Сам ты дурак! Я же тебе объясняю: колес нет, ни одной целой покрышки нет, ни одной!

П и н с к и й. У тебя никогда ничего нет, когда нужно.

К и р с а н о в. Да! У меня никогда ничего нет! И отстань от меня! Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен! Ты второй раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю: не желаю слушать!

П и н с к и й (*с отчаянием*). Господи ты боже мой, ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унижительно, позорно... Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!

К и р с а н о в (*топает в бешенстве ногами*). Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще

посмотрим! Вот соберется нас пятьдесят тысяч на площади, мы еще посмотрим, что из этого получится! Это тебе не прежние времена! Рабов больше негу! Я на этой площади уже один раз выступал, я и второй раз выступить могу! Они еще пожалеют, что согнали нас всех в одно место!..

Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отстраняет эту чашку и все тичит провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может.

Пинский (*перепугавшись*). Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога... (*Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки.*) Черт знает что они с нами делают...

Зоя Сергеевна (*сердито*). А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать...

Пинский. Ну, хорошо, ну, виноват, не буду больше... (*Базарину.*) Ну, как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?

Базарин (*с изумлением*). Я? Про рестораны?

Пинский (*поспешно*). Наверное, мне послышалось. Виноват... (*Александру.*) Что, Саня, собрался уже? Это хорошо. Молодец. (*Решительно.*) Знаешь что? Пойдешь со мной.

Александр. У меня же «Красная Заря»...

Пинский. А наплевать на «Красную Зарю». Давай мне твою повестку, сейчас я там все переправлю и напишу «исправленному верить»... (*Спохватывается.*) Нет, это я чепуху говорю. С жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить — это хорошая идея! Ты как считаешь, Станислав Александрович?

Александр (*тупо повторяет*). У меня же «Красная Заря», дядя Шура. «Красная Заря»...

Пинский (*нетерпеливо*). Господи, да неважно это. Кому какое дело? Давай повестку, я тебе сейчас же все переправлю...

Александр (*отступая на шаг*). Ну нет, не надо... Еще хуже будет. Зачем это мне?.. Вот если бы папа со мной пошел...

Пинский (*некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке*). Да, это замечательная идея. Там, в твоей компании, папа будет как раз на месте — самый старый распутник города Питера.

Кирсанов (*севшим голосом*). Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы! Неужели непонятно, что сейчас не те времена? Настоящий террор невозможен — я утверждаю это с полной ответственностью. Все это — очередная глупость нашего начальства, и ничего больше. Сегодня же вечером все мы будем дома. (*Жадно пьет остывший чай из стакана.*) А если и не будем, то все равно не пропадем...

Голос из прихожей. Хозяева! Есть тут кто?

В дверях появляется Егорыч, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджачке и изжованных брюках. В руке у него мотается зажженная свечечка, на ногах он держится нетвердо.

Егорыч. Я извиняюсь, я звоню, звоню, никто не выходит, а дверь открытая... С-нислав С-саньч, я извиняюсь, конечно, я тебя спросить х-чу... Х-глупость какая-то. Прихожу домой, супруга моя не спит, говорит: повестку т-бе принесли, доигрался. Фамилие мое, адрес мой. Явиться на Вторую сортировочную. Ладно. Все понятно. Одно непонятно: какие-то удивительные слова попадают... какой-то мздоним... нзданием... Посмотри, пожалуйста. Может, это вообще не ко мне?

Пинский (*берет у него повестку*). Какой еще там бздоним... Гм... Действительно, какое-то странное слово. И еще вдобавок от руки накорябано... А-а-а! (*Хохочет.*) Ну, так все правильно, Егорыч! «Мздоимцы города Питера»!

Егорыч. Какие?

Пинский. Мздоимцы! Которые мзду имут, понимаешь?

Егорыч. Ну?

Пинский. Ну вот и явился. Куда там тебе? Вторая сортировочная?

Базарин. Перестаньте издеваться над человеком, Александр Рувимович! (*Раздраженно выхватывает повестку из руки Пинского.*) Дайте сюда... (*Читает про себя.*) Черт знает что...

Пинский. Вот именно, Олег Кузьмич! Только не черт знает что, а правильное сказать: мать их так. Как видите, и до тети Моти добрались.

Егорыч. Я извиняюсь...

Пинский (*обнимая его за плечи*). Не надо, Егорыч, не извиняйся. Иди ты к себе домой и собирай манатки. Теплое бери и курева дня на три... А драгоценности, которые ты стяжал, оставь на столе. Да опись не забудь приложить... в трех экземплярах.

Егорыч (*бубнит*). Я, Александр Рувимыч, все понимаю. Я ведь насчет слова пришел... Слово какое-то непонятное. И супруга моя не знает...

Егорыч и Пинский удаляются в прихожую.

Базарин (*ни с того ни с сего*). Сантехник — это еще не народ.

Кирсанов (*сморщившись*). Я только умоляю тебя, Олег. Не надо никаких высокопарностей. Народ, не народ... Одна половина народа погонит другую половину народа рыть канал. Так у нас всегда было, так у нас и будет. Вот и все твое политпросвещение.

Базарин. Ты, кажется, призывал не паниковать.

Кирсанов. А я и не паникую. Я высокопарностей не люблю. Ты еще нам про родниковые ключи истоков расскажи... или про почву исконную, коренную... (*Обрывает себя и обращается к Александру.*) Александр, тебе денег дать?

Александр (*уныло*). Мне уже мама дала.

Кирсанов (*роется в бюро*). Хорошо, хорошо... Не помещает. Вот тебе еще сотня. Сунь ее куда-нибудь... в носок, что ли...

Пинский (*вернувшись*). Подожди, подожди... Ты что ему — одной бумажкой даешь? Совсем сдурел на старости лет! Мелкими давай! Мелкими! Есть у тебя?

Кирсанов. Есть тут что-то... Мало.

Пинский. Ничего, ничего, зато целее будут... (*Александр.*) Возьми. Рассуй по разным карманам.

Александр (*уныло*). Спасибо... Папа, так ты, может быть, действительно со мной пошел бы?

Кирсанов. Нет. Ты пойдешь со мной. И не спорь. И перестань ныть! Дай твою повестку... (*Берет у сына повестку и рвет ее на клочки.*)

Александр (*ужасным голосом*). Что ты наделал?!

Кирсанов. Все! Ты свою повестку потерял! И не ныть! Взрослый мужик, стыдись!

Зоя Сергеевна (*Александру*). Хорошо, хорошо, правильно. За отцом присмотришь. И вообще вдвоем вам будет легче...

Александр (*ноет*). Ну а если спросят? Что я им скажу тогда? Что?

Пинский. Скажешь, что подтерся по ошибке... (*Взрывается.*) Да кто там тебя спросит, обалдуй с Покровки? Кому ты там нужен? Паспорт отберут, и весь разговор... Слушайте, панове, а может, паспорт не брать с собой? Ну потерял я паспорт, начальник! Еще в прошлом году потерял! По пьяному делу! А?..

Базарин (*неприятно*). По-моему, это противозаконно. Обман властей.

Пинский. Ах-ах-ах! Власти обманул, гадкий мальчик! Власть к нему со всей душой, а он, пакостник, взял ее — и обманул! Дед плачет, бабка плачет...

Кирсанов. Да нет, не в этом же дело, Шура. Противно же это, мелко... Лганье какое-то семикопеечное... У тебя получается, что если власть у нас подночная, так и мы все должны стать подонками...

Пинский. Ну нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький, подлинненький паспортишко где-нибудь в хорошеньком заглавнике — это вещь архиполезная, государи мои!..

Из прихожей, из коридора, ведущего в комнату Сергея, доносятся топот и шарканье, слышится голос Артура: «Ничего, ничего, пошли, не упирайся...» И вот Артур появляется в гостиной, таща за собой за руку вяло сопротивляющегося Сергея.

А р т у р. Вот, я его вам привел. (*Сергею.*) Говори, закаканец! Ведь тебе же хочется это сказать. Ну! Говори!

С е р г е й (*смущенно и сердито*). Отстань, африканец, отпусти руку! Не делай из меня попугая.

А р т у р (*отпускает его*). Я тебя прошу: скажи. Думай что хочется; делай что хочется; и говори что хочется!..

К и р с а н о в. Сергей, что ты еще натворил?

С е р г е й (*моментально окрысившись*). Да ничего я не натворил! Сразу — натворил! (*Артуру.*) Говорил же я тебе, сундук кучерявый!..

А р т у р. Станислав Александрович, я вас очень прошу: ну помолчите вы несколько минут! Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы все норвите поскорее принять меры, даже и не попытавшись узнать, в чем дело... (*Сергею.*) Будешь говорить? Нет? Тогда я скажу. Понимаете, он испытал жалость. Мы там сидели как люди, ловили кайф, и было все нормально, и вдруг он сказал: мы вот сидим здесь с тобой, а они там — одни, и помирают со страху, и у них ведь теперь ничего не осталось... Я удивился, а он сказал: у них на старости лет осталась одна погремушка — ихняя демократия и гласность, а теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и тут же отобрали. Насовсем. Он сказал: мне их жалко, мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И я увидел, что он плачет!..

С е р г е й. Не было этого! Хватит ерундить-то!

А р т у р. Было это, Серый, было! Ты уже этому не веришь, я и сам-то не верю, хотя ведь и пяти минут не прошло, да только — было! И я тогда вдруг понял: это минута добра. Бывает момент истины, знаете? — а это была минута добра. И я опять удивился: как же так? Откуда же оно взялось, это добро? Да еще целая минута! Через какую щель оно проползло? И кто его сюда пропустил? И вообще, при чем тут я? И я сказал ему: не бери в голову, Серый! Они получили только то, что сами хотели получить, — ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. А он мне сказал: ну и что же? Тем более они несчастны, и еще больше их от этого жалко... Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой вы-

бор... неважно — почему, неважно — как... но сделали! И тогда он сказал... Он согласился со мной и сказал: да, сделали, но, боже мой, до чего же это жалкий выбор! И тут жалость охватила и меня тоже. Я схватился было за бутылку, но сразу же понял: нельзя. Я подумал: вы тоже должны узнать об этом... Теперь-то я вижу, что сделал глупость, никому из вас этого не надо, но — все равно. Это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни.

Воцаряется неловкое молчание. И вдруг Зоя Сергеевна подходит к Артуру и целует его, а затем целует Сергея.

С е р г е й. Ну... что ты, мама? Ну что ты? Ничего! Все будет нормально.

Б а з а р и н (*сварливо*). Минуточку, минуточку...

П и н с к и й. Олег Кузьмич, помолчите, ради бога.

Б а з а р и н. Нет уж, пардон! Я благодарен молодому поколению за те добрые чувства, которые вызывал у него целую минуту!..

К и р с а н о в. Боже мой, какая зануда!.. Кузьмич!

Б а з а р и н. Нет уж, позволь. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. Оч-чень хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? «Нигилисты города Питера»!

С е р г е й. Но ведь не принесли же!

Б а з а р и н. Но ведь могли принести? И может быть, еще принесут!

С е р г е й. А вот не могли! И не принесут! Вы этого не понимаете. Приносят тем, кто сделал выбор раньше, — ему еще повестку не принесли, а он уже сделал выбор! Вот маме повестку не принесли. Почему? Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы в пятьдесят пятом, она сказала им: нет! Знаете, что она им ответила? Глядя в глаза! «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро...» И вся вербовка! И когда в партию ее загоняли в шестьдесят восьмом, она снова сказала им: нет! «Да почему же нет, Зоя Сергеевна? Что же, в конце концов, для вас дороже — Родина или семья?» А она им, ни секунды

не размышляя: «Да конечно же семья». И все. А вот вы, Олег Кузьмич, в партию рвались, как в винный магазин, извините за выражение...

К и р с а н о в (*грозно*). Сергей!

С е р г е й. Папа, я же извинился. И я вообще ничего плохого сказать не хочу. Ни про кого. Я только одно вам объясняю: выбор свой люди делают ДО повестки, а не ПОСЛЕ.

К и р с а н о в. Это я, спасибо, понял. Откуда только ты все это про нас знаешь, вот чего я не понял.

С е р г е й. Знаю. Мы вообще много про вас знаем. Может быть, даже все. Мы же всю жизнь ходим возле вас, слышим вас, наблюдаем вас, хватаем ваши подзатыльники и поэтому знаем все. Про ваши ссоры, про ваши тайны, про ваши болезни...

А р т у р. Про ваши развлечения...

С е р г е й. Про ваши неудачи, про ваши глупости...

А р т у р. Про ваши аборт...

С е р г е й. Мы только стараемся все это не брать в голову, не запоминать, но оно само собой запоминается, лучше любого школьного урока, хоть сейчас вызывай к доске...

П и н с к и й (*вкрадчиво*). Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла...

С е р г е й. Дядя Шура, я ведь извинился... Артур, пойдем отсюда. Я же говорил тебе, что все кончится скандалом...

К и р с а н о в. Да сиди уж ты... жалостливый. Не будет тебе никакого скандала. Не до скандалов нам сейчас.

Б а з а р и н (*отдуваясь*). Да уж какие тут могут быть скандалы... Я только хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток.

П и н с к и й. Представляете, открывается вот эта дверь, и входят трое в штатском...

А р т у р (*мотаает головой*). Нет. Не входят.

П и н с к и й. Почему же это?

Вместо ответа Артур молниеносным движением выхватывает из-за спины большой никелированный револьвер и становится в классическую позу: широко расставленные, согнутые в коле-

нях ноги, обе руки, сжимающие револьвер, вытянуты вперед и направлены в зрительный зал. «Пух, пух, пух», — произносит он, поворачиваясь корпусом слева направо и посылая воображаемые пули веером. Потом тем же неуловимым движением забрасывает револьвер за спину и выпрямляется.

А р т у р. Вот почему. Зачем, спрашивается, им с нами связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее снять деньгами.

Б а з а р и н (*ошеломленно*). Позвольте, откуда у вас оружие?

А р т у р (*широко улыбаясь*). Из республики Замбия. Папа прислал.

П и н с к и й (*настороженно*). Настоящий?

А р т у р. Нет, конечно. Пугач.

П и н с к и й (*многозначительно*). Гм... Ну естественно... Рэкетиров отпугивать... Да и вообще...

С е р г е й (*с чувством*). Дядя Шура Пинский! Я вас люблю.

П и н с к и й. Да. Я тебя тоже люблю. Лоботряс.

С е р г е й. Я вас всех люблю. Я даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Не ходите вы никуда утром. Повестки эти свои порвите, телефон выключите, дверь закройте... Мы с Артуром сейчас вам замок, наконец, починим. И ложитесь все спать. Не поддавайтесь вы, не давайте вы себя сломать!

К и р с а н о в (*горько*). Ах, какие вы у нас смелые, какие несломленные! И ничего-то вы не понимаете! Ведь это сейчас они не нас ломают, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Сейчас они вас ломают! Это ведь они не нам повестки прислали — они вам повестки прислали, чтобы вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин...

Он замолкает. Слышны тяжелые удары в дверь.

С е р г е й. Спокуха! Говорить буду я. Артур, встань тут, в тенецек.

В дверях возникает знакомая фигура — давешний рослый человек в блестящем мокром плаще.

Черный Человек (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов поднимается, издаёт горлом сдавленный жалкий писк.

Черный Человек. Станислав Александрович?

Кирсанов (*справившись наконец с голосом*). В чем дело?! Кажется, наше время еще не вышло!

И тут Сергей подхватывает Черного Человека под локоток и ловко выводит его на авансцену.

Сергей. Старик. Давай по-доброму. Что мы, не люди? Давай спокойненько договоримся...

Черный Человек (*обычным голосом*). Чего договоримся? Насчет чего?

Сергей. Спокуха! Все будет нормалек. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Дверь заперта, хозяев нет, уехали... Два стольника. И все тихо.

Черный Человек. А... Нет, не получится.

Сергей. Ну почему не получится? Тихо, мирно, по-доброму... Ну три стольника — пойдет?

Черный Человек. Нет. Не хочу. Брось.

Сергей. Три стольника за минуту молчания. Соображаешь, нет?

Черный Человек (*пытаясь высвободиться*). Пусти. Я же тебе сказал: нет!

Сергей (*уже другим голосом — злым и напряженным*). Четыре!

Черный Человек. Нет.

Сергей. Четыре стольника, козел!

Черный Человек. Пусти! Я же тебе сказал — нет!

Сергей отпускает его, отшатывается и, как бы падая, вдруг выбрасывает ногу, сделавшуюся невероятно длинной и прямой. Тяжелый ботинок попадает Черному Человеку прямо в голову. Кейс вылетает у него из-под мышки и кувыркком катится по полу, извергая кипы белых листков. Черный Человек с трудом удерживает равновесие, фонарь вдруг вспыхивает у него во лбу, и он ста-

новится похож на неуклюжего испорченного робота. И тут из тьмы вылетает Артур, и они вдвоем с Сергеем, издавая устрашающие кошачьи вопли, складываясь и раздвигаясь, как огромные циркули, принимаются избивать Черного Человека ногами. Это длится всего несколько секунд. Слышны только кошачьи вопли и ежающие плотные удары. Потом Зоя Сергеевна кричит страшно, отчаянно, как будто бьют ее самое.

Зоя Сергеевна. Перестаньте! Прекратите! Не смейте!

Черный Человек мокрой блестящей кучей валяется на полу среди разбросанных листков, Артур и Сергей нависают над ним, еще напряженные, еще готовые бить и убивать, — Зоя Сергеевна подбегает к ним и хлещет по физиономии — сначала одного, затем другого.

Зоя Сергеевна. Звери! Зверье! (*Падает на колени возле избитого, кричит.*) Свет! Свет мне дайте!

И в тот же миг вспыхивает электрический свет. Все остолбенело стоят, ошеломленные, подслеповато моргающие. Пол сплошь усеян белыми листочками, высыпавшимися из распахнувшегося кейса.

Зоя Сергеевна. Сергей! Неси аптечку из ванной! Саня! Воду мне сюда холодную! Таз!..

Она поднимает избитому голову, кладет к себе на колени.

Черный Человек (*жалобно и хрипло бормочет сквозь стоны*). За что? Ну за что? Что я тебе сделал? За что?..

Базарин опускается на корточки и принимается торопливо собирать рассыпанные листки, складывает их в пачку, старательно подравнивает дрожащими пальцами, потом читает один листок, садится на пятки, читает другой...

Базарин. Слушайте! Они же все отменили! (*Падает на четвереньки, ползает, ища что-то, наконец находит и садится*

задом на пол. Читает срывающимся голосом.) «Базарину... Олегу Кузьмичу... Во изменение нашего предыдущего распоряжения... предписание вам прибыть... отменяется...» Отменяется! «Впредь до специального распоряжения. Председатель-комендант...» *(Трясет перед собой пачкой мятых листков.)* Всем отменяется! Станислав! Александр Рувимович! И вам тоже отменяется!..

Черный Человек *(стонет)*. За что? Ой, больно... Осторожнее!..

Базарин *(поднявшись на ноги и потрясая листками)*. Ведь я же говорил! Невозможно это! Я же сразу вам сказал! Невозможно это! Невозможно это! Невозможно!..

Начинает звонить телефон, и звонит долго, но все стоят в полном ошолоблении, и никто не берет трубку.



РЕТРОСПЕКЦИЯ

ИЗВНЕ

(повесть в трех рассказах)

1. ЧЕЛОВЕК В СЕТЧАТОЙ МАЙКЕ

Рассказ офицера штаба Н-ской части майора Кузнецова

Вот как это было. Мы еще летом собирались совершить восхождение на Адаирскую сопку. Многие наши офицеры и солдаты и даже некоторые из офицерских жен и штабных машинисток с прошлого года щеголяли эмалевыми синеватыми значками альпинистов первой ступени, и эти значки, украшавшие кители, гимнастерки и блузки наших товарищей, не давали спокойно спать Виктору Строкулеву. Лично я за значком не гнался, но заглянуть в кратер потухшего вулкана мне очень хотелось. Коля Гинзбург, глубоко равнодушный и к значкам, и к кратерам, питал слабость ко всякого рода «пикникам на свежем воздухе», как он выражался. А майор Перышкин... Майор Перышкин был помощником начальника штаба по физической подготовке, и этим все сказано.

Итак, мы собирались штурмовать Адаирскую сопку еще летом. Но в июне Строкулев вывихнул ногу в танцевальном зале деревенского клуба, в июле меня отправили в командировку, в августе жена Перышкина поехала на юг и поручила майору детей. Только в начале сентября мы смогли наконец собраться все вместе.

Было решено отправиться в субботу, сразу после занятий. Нам предстояло до темноты добраться к подножию сопки, заночевать

там, а с рассветом начать восхождение. Виктор Строкулев вылянчил у начальника штаба «газик» и умолил отпустить с нами и шофера — сержанта Мишу Васечкина, сверхсрочника, красивого молодого парня; майор Перышкин взял вместительный баул, набитый всевозможной снедью домашнего приготовления, и — на всякий случай — карабин; я и Коля закупили две бутылки коньяку, несколько банок консервов и две буханки хлеба. В шесть вечера «газик» подкатил к крыльцу штаба. Мы расселись и, провозжаемые пожеланиями всех благ, тронулись в путь.

От нашего городка до подножия сопки по прямой около тридцати километров. Но то, что еще можно называть дорогой, кончается на шестом километре, в небольшой деревушке. Дальше нам предстояло петлять по плоскогорью, поросшему березами и осинами, продираться через заросли крапивы и лопухов, высотой в человеческий рост, переправляться через мелкие, но широкие ручьи-речушки, текущие по каменистым руслам. Эти удовольствия тянулись примерно два десятка километров, после чего начиналось широкое «лавовое поле» — равнина, покрытая крупным ржавым щебнем выветрившейся лавы. Лавовое поле использовалось соседней авиационной частью как учебный полигон для тактических занятий. Осторожный Коля Гинзбург накануне дважды звонил летчикам, чтобы наверняка удостовериться в том, что в ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье вечером они практиковаться не будут, — предосторожность, по-моему, совсем не лишняя. Легкомысленный Строкулев не преминул, однако, слегка пройтись по поводу малодушной «перестраховочки». Тогда Коля без лишних слов расстегнул китель, поднял на груди сорочку и показал под ребрами с правой стороны длинный белый шрам.

— «Мессер», — с выражением сказал он. — И я не желаю получить еще одну такую же от своего... Тем более в угоду некоторым невоенным военным...

На этом разговор окончился. Витька страшно не любил, когда ему напоминали о том, что в войне он по молодости не участвовал. Он был зверски самолюбив. Впрочем, через четверть часа Коля спросил у надувшегося Витьки папиросу, и мир был восстановлен.

Значит, лавовое поле не грозило нам никакими неожиданностями. Оно плавно поднималось к сопке и заканчивалось крутыми, обрывистыми скалами. Дальше машина уже пройти не могла. Там, под этими скалами, мы рассчитывали разбить наш ночной лагерь.

Итак, мы тронулись в путь. Погода была чудесная. Вообще осень в наших местах, «на краю земли», — самое лучшее время года. В сентябре и октябре почти не бывает ни туманов, ни дождей. Воздух прозрачный, тонкий, мягкий. Пахнет увядающей зеленью. Небо днем — бездонно-синее, ночью — черное, бархатное, усыпанное яркими немигающими звездами. Мы не торопясь тащились по развороченной еще летними дождями дороге. Впереди над щетиной леса призрачным сизым конусом возвышалась Адаирская сопка. У вершины конус был косо срезан. Если приглядеться, можно заметить, что склоны сопки отливают рыжеватым оттенком, кое-где поблескивают пятна снега. Над вершиной неподвижно стынет плотное белое облачко паров.

Через полчаса мы въехали в деревню, и тут Виктор Строкулев попросил остановиться. Он сказал, что хочет забежать на минутку к одной знакомой девушке. Мы великодушно не возражали. В радиусе восемнадцати километров от нашего городка я не знаю ни одного населенного пункта, где бы у Строкулева не было «одной знакомой девушки».

Не прошло и пяти минут, как он выскочил из домика с довольным видом и с объемистым свертком под мышкой.

— Поехали, — сказал он, усаживаясь рядом с шофером и перелбрасывая сверток Коле Гинзбургу на колени.

Машина снова тронулась. Витька высунулся и грациозно помахал рукой. Я заметил, что занавеска в маленьком квадратном окне слегка отдернулась. Мне даже показалось, что я увидел блестящие черные глаза.

— Что это он приволок? — равнодушно осведомился майор Перышкин.

— Посмотрим, — сказал Коля и развернул сверток.

В свертке оказалось целое сокровище — десяток мятых соленых огурцов и большой кусок свиного сала. Строкулев обернулся к нам, облокотившись на спинку сиденья.

— Если Строкулев что-нибудь делает... — небрежно начал он, но тут машина подпрыгнула, Витька ударился макушкой о раму крыши, лягнул зубами и моментально замолк.

Началась самая трудная часть пути. К счастью, на плоскогорье сохранились тропы, оставленные нашими альпинистами летом. В лесу, в чаще берез и осин, исковерканных свирепыми зимними ветрами, были проделаны просеки, и нам почти не пришлось пользоваться топором. Временами «газик» с жалобным ревом увязал в путанице полусгнивших ветвей, переплетенных прочными прутьями молодых побегов и густой порослью высокой травы. Тогда мы вылезали, заходили сзади и с криком «Пошла, пошла!» выталкивали машину на ровное место. При этом Коля Гинзбург, упиравшийся спиной в запасное колесо, неизменно валился на землю, а встав и почистившись, произносил древнюю военную поговорку: «Славяне шумною толпою толкают задом “студебеккер”». Через четверть часа все повторялось снова.

Уже темнело, когда мы, взмокшие и грязные, выбрались наконец на лавовое поле. «Газик», трясаясь и подпрыгивая, покатился по хрустящему щебню. В небе загорались звезды. Коля задремал, навалившись на мое плечо. Огни фар прыгали по грудам щебня, поросшим местами редкой сухой травой. Стали попадаться неглубокие воронки от бомб — следы учебы летчиков — и мишени — причудливые сооружения из досок, фанеры и ржавого железного лома.

Над плоскими холмами справа разгорелось оранжевое зарево, выкатилась и повисла в сразу посветлевшем небе большая желтая луна. Звезды потускнели, стало светло. Миша прибавил ход.

— Через часок можно будет остановиться, — сказал майор Перышкин. — Возьми чуть правее, Миша... Вот так.

Он сунул в рот сигарету, чиркнул спичкой и сразу же обнаружил, что Строкулев, воспользовавшись темнотой в машине, запустил пальцы в сверток, лежавший на коленях у сладко спящего Гинзбурга. Порок был наказан немедленно: майор звонко щелкнул Витьку в лоб, и тот, жалобно ойкнув, убрался на свое сиденье.

— А я слышу, кто-то здесь бумагой шуршит, — спокойно сказал Перышкин, обращаясь ко мне. — А это, оказывается, вот кто...

— Я хотел только проверить, не вывалились ли огурцы, — обиженно заявил Строкулев.

— Ну и как? Не вывалились? — с искренним интересом спросил майор.

Мы — я и Миша, согнувшийся за рулем, дружно хихикнули. Строкулев промолчал, а затем вдруг принялся рассказывать какую-то длинную историю, начав ее словами: «В нашем училище был один...» Он еще не дошел до сути, и мы даже не успели сообщить, имеет ли эта история какую-либо связь с попыткой похитить огурец, когда лучи фар уперлись в огромные валуны и «газик» затормозил.

— Приехали, — объявил Перышкин.

Мы выбрались из машины в прозрачный свет луны. Стояла необыкновенная, неестественная тишина. Склоны сопки полого уходили в небо, вершины не было видно — ее заслоняли почти отвесные стены застывшей лавы, четко рисовавшиеся на фоне бледных звездных россыпей.

— Ужинать и спать, — приказал майор Перышкин.

Были раскрыты заветный баул и сверток «одной знакомой девушки». На разостланной плащ-палатке постелили газеты. Коля очень ловко раскупорил бутылку и содержимое «расплескал» по кружкам.

Поужинав, мы уложили остатки провиантских запасов в баул и рюкзаки, завернулись в шинели и улеглись рядком на плащ-палатках, стараясь потеснее прижаться друг к другу, потому что ночь была весьма прохладная. Строкулев, оказавшийся с краю, долго вздыхал и ворочался. Позже, уже сквозь сон, я почувствовал, как он ввинчивается между мной и Николаем, но проснуться и отругать его я так и не смог.

Майор разбудил нас в шесть часов. Утро было чудесное, такое же, как вчерашний вечер. Солнце только что взошло. В глубоком, чистом небе на западе, над зубчатыми вершинами Калаканского хребта, едва проступающими в туманной дымке, бледным, белесым пятном висела луна. Неподалеку от нас журчал ручей. Мы умылись и наполнили фляги, а когда вернулись, то увидели, что Строкулев по-прежнему валяется на плащ-палатках, натянув на себя все наши шинели. Тогда Коля аккуратно

плеснул из своей фляги немного ледниковой воды за шиворот блаженно всхрапывающего лентяя. И тихое безмятежное утро огласилось...

Словом, через полчаса мы, в ватниках, навьюченные рюкзаками, с лыжными палками в руках, стояли, готовые к подъему, а майор Перышкин давал шоферу Мише последние указания:

— От машины — ни шагу! Спать захочешь — спи на сиденье. А лучше всего сиди и читай. Карабин не трогай. Ясно?

— Так точно, товарищ майор, ясно! — ответил Миша.

И наше восхождение началось.

Сначала подъем был сравнительно пологим. Мы шли гуськом по краю глубокого оврага — должно быть, трещины в многометровой толще лавы, — на дне которого густо росла исполинская крапива и протекал, весело журча, ручей снеговой воды. Первые несколько километров мы чувствовали себя сильными, бодрыми, уверенными и даже разговаривали.

Прошло два часа, и мы перестали разговаривать. Подъем стал значительно круче. Впереди перед нашими глазами чуть ли не в зенит упирался красно-бурый склон конуса Адаирской сопки. Никогда я не думал, что альпинизм окажется таким трудным делом. Нет, мы не карабкались по ледяным скалам, не тянули друг друга на веревках, ежесекундно рискуя сорваться с километровой высоты. Нет. Но приходилось ли вам взбираться на огромную кучу зерна? Вот на что больше всего походило наше восхождение. Щебень — и мелкий, как песок, и крупный, как булыжник, — осыпался под ногами. Через каждые два шага мы сползали на полтора шага назад. Громадные потрескавшиеся глыбы лавы, тронутые осыпью, начинали угрожающе раскачиваться и сползать. Одна из таких глыб, величиной с хороший семейный комод, более округлая, чем другие, вдруг сорвалась с места, прокатилась мимо бросившегося в сторону Гинзбурга и понеслась, высоко подскакивая, куда-то вниз, увлекая за собой целые тучи камней поменьше. Подул ледяной ветер, запахло — сначала слабо, затем все сильнее и сильнее — тухлыми яйцами.

— Вулканические пары, черт бы их взял! — чихая, пояснил майор Перышкин и тут же успокоил нас: — Ничего, здесь еще терпимо, а вот что наверху будет!..

Около двенадцати Перышкин объявил большой привал. Мы выбрались на обширное снеговое поле и расселись на камнях, выступающих из-под обледеневшей снежной корки. Я взглянул вверх. Глыбы застывшей лавы, окружавшие кратер, казались такими же далекими, как и снизу, от машины. Зато внизу открывалось великолепное зрелище. Воздух был чист и прозрачен, мы видели не только все лавовое поле, плоскогорье и пестрое пятнышко нашего городка, но и ряды сопок, темные дымы над бухтой Павлопетровска и за ними — серо-стальной, мутно отсвечивающий на солнце океан.

Мы все очень устали, даже майор Перышкин. Все, кроме Строкулева. Во время подъема он резло лез впереди, останавливался, поджидая нас, и однажды даже суконно-жестяным голосом запел дурацкую песенку. Песенный репертуар Строкулева был известен всей бригаде, и душа радовалась при мысли, что Адаирская сопка представляет собой такое дикое и пустынное место.

На привале мы молчали, грызли сухари и выпили немного воды. Строкулев ползал вокруг и шелкал фотоаппаратом. Перышкин громко сосал кубик рафинада. Коля критически рассматривал подошвы своих сапог, время от времени меряя взглядом расстояние до вершины сопки...

Было уже около трех часов дня, когда мы наконец добрались до цели. Строкулев, свесившись с обломка лавы, вытянул нас наверх одного за другим, и, тяжело отдуваясь, мы сгрудились на краю кратера. Под ветром мотались клочья не то дыма, не то тумана, отвратительно пахло какими-то испарениями.

Поднялся туман. Он стремительно несся снизу. Время от времени сквозь его разрывы открывалась изумительная панорама гор, зеленых долин и океана. Но мы так вымотались, что это нас уже не интересовало. И только отдохнув немного, мы заставили себя подползти к обрыву и заглянуть в кратер.

Именно таким представлял я себе вход в ад. Под нами зияла пропасть глубиной в несколько десятков, а может быть в сотню, метров. Стены пропасти и ее плоское дно были серо-желтого цвета и казались такими безнадежно сухими, такими далекими от всякого намека на жизнь, что мне немедленно захотелось пить. Честное слово, здесь физически ощущалось полное отсутствие

хотя бы молекулы воды. Из невидимых щелей и трещин в стенах и в дне поднимались струи вонючих сернистых паров. Они в минуту заполняли кратер и заволакивали его противоположный край.

Строкулев в последний раз нацелился аппаратом, щелкнул затвором и сказал, с надеждой глядя на майора Перышкина:

— Хорошо бы туда спуститься...

Перышкин только хмыкнул в ответ и полез в карман за сигаретами. Коля задумчиво сплюнул. Мы с интересом следили за падением плевка, пока он не скрылся из виду. Восхождение было окончено. Теперь оставалось выполнить кое-какие формальности.

Майор Перышкин снял рюкзак и извлек из него две тяжелые черные банки — дымовые шашки.

— Строкулев,— строго сказал он,— возьми одну шашку и отойди вон туда, за выступ. Там подожги.

Строкулев козырнул, взял банку и скрылся за стеной застывшей лавы, нависшей над кратером.

— Коля,— продолжал майор,— напиши что-нибудь о нас на листке бумаги, вложи листок в консервную коробку и сложи над ней пирамиду из обломков покрупнее. Ну, хотя бы здесь, где стоишь.

Пока майор поджигал шашку, мы с Гинзбургом сочинили такой текст: «Второго сентября 19... года на вершину Адаирской сопки поднялись в порядке сдачи нормы на звание альпиниста первой ступени майор Кузнецов, капитан Гинзбург и старший лейтенант Строкулев. Руководил группой майор Перышкин». Затем мы открыли банку «лосоя в собственном соку», содержимое съели, банку насухо вытерли, вложили в нее записку и соорудили пирамидку.

— Готово,— сказал Коля. Он подумал и добавил: — Вот теперь мы альпинисты. Подумать только!

— Это что,— пренебрежительно заметил майор Перышкин,— вот у нас на Алаконе было однажды...

Он стал рассказывать, что было однажды у них на Алаконе.

Мы слушали рассеянно, развалившись под скалами и наслаждаясь приятным гудением в ногах. Все рассказы Перышкина о том, что было на Алаконе, походили друг на друга, как две капли воды.

Гвоздем каждого была фраза: «Я поднимаю карабин, и — бах! — точка. Полный порядок! Вот это была охота!» Мы с Гинзбургом звали Перышкина Тартарен из Алакана — он не обижался.

Давно уже из подоженной шашки плотными клубами валит густой, тяжелый бело-розовый дым, а Строкулев не возвращался. Выслушав очередное «бах! — точка», я предложил посмотреть, чем занят сейчас этот мальчишка.

Мы обогнули лавовую стену и увидели, что Строкулев прыгает вокруг банки, дуя в растопыренные ладони и ругаясь. Оказывается, он истратил полкоробка спичек, пытается зажечь хотя бы одну. Спички на ветру гасли. Тогда он взял и чиркнул все сразу. Спички разгорелись очень охотно, но при этом обожгли ему ладони. Перышкин назвал Строкулева слабаком, сел над банкой, прикрыв ее полами ватника, и через минуту струя белого дыма взметнулась вверх, изогнулась на ветру и поплыла в сторону, утолщаясь и густея на глазах.

— Вот как надо,— удовлетворенно сказал майор.

Наш сигнал — два столба дыма — должны были наблюдать в бинокли из городка.

— А теперь — спуск! — скомандовал Перышкин.

Он показал нам, как это делается. Нужно было всего-навсего сесть верхом на палку и смело прыгнуть вниз.

Так мы и сделали. Кучи камней, больших и маленьких, сыпались нам вслед, пролетали вперед, стучали — иногда довольно чувствительно — в ноги и спину. Да, спускаться было одно удовольствие. Правда, Коля, споткнувшись, перевернулся и стал на голову, а затем метров пятьдесят скользил на спине и еще метров сто на животе после неудачной попытки догнать свою палку. Но в общем все обошлось благополучно. И если на подъем по конусу нам потребовалось около пяти часов, то спуск продолжался не более получаса, и в половине пятого мы уже шагали вдоль того самого обрыва, с которого начинали подъем.

Я описываю восхождение на Адаирскую сопку так подробно по двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что странные события вечера того же дня произошли без всяких предзнаменований. Мы ничего ровным счетом не подозревали заранее. Во-вторых, я хочу подчеркнуть ясность своего сознания и показать, что

помню все, даже самые мелкие подробности нашего маленького путешествия. А теперь я приступаю к главному — к рассказу о том, что случилось в тумане.

Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы добрались до «газика». Миша Васечкин, завидев нас издали, приготовил ужин, и когда мы подошли к машине, «стол» был накрыт: хлеб нарезан, консервы вскрыты. Это было как нельзя более кстати, ибо мы проголодались и вместе с тем очень торопились домой — хорошенько отдохнуть и выспаться перед новой неделей напряженной работы.

Мы с примерной жадностью набросились на еду и, только утолив первый голод, заметили, что сержант чем-то озабочен и то и дело поглядывает на небо.

— Ты что это? — осведомился Перышкин.

Миша ответил хмуро:

— Здесь, товарищ майор, самолет недавно пролетал.

Мы сразу перестали жевать.

— Где? — спросил Коля.

— Я его не видел, товарищ капитан, но, кажется, где-то неподалеку, над лавовым полем. Слышал, как он гудит. Низко-низко...

Майор Перышкин чертыхнулся.

— Надо нажимать, — сказал Коля и встал.

Мы собирались торопливо и молча, и только когда «газик» заворчал и, развернувшись, понесся в обратный путь, майор официальным тоном спросил Николая:

— Капитан, вам летчики точно сказали, что сегодня не бомбят?

— Точно, — ответил Коля.

— Если после темноты мы еще будем на полигоне, а у них ночные стрельбы... по локатору...

— Лучшей цели не придумаешь, — согласился я.

«Газик», подпрыгивая всеми колесами, крутился меж старых воронок и полуразбитых мишеней, когда притихший Строкулев вдруг сказал:

— Туман!

Впереди, со стороны плоскогорья, на лавовое поле надвигалась белесая, розоватая от лучей заходящего солнца стена тумана.

— Только этого не хватало! — с досадой проворчал майор Перышкин.

Слой тумана вначале был не очень высок, и иногда мы отчетливо видели над ним черную массу далекого леса на плоскогорье и темно-синее небо. Дальневосточные туманы по прозрачности и по плотности мало чем уступают молочному киселю. Мы неслись по бурому шлаку, и туман полз нам навстречу. Миша круто повернул баранку, объезжая широкую воронку, вокруг которой валялись обугленные щепки и клочья железа, затем сбавил ход, и мы медленно въехали в молочную стену. Мгновенно пропало все — синее небо, красное закатное солнце, лавовое поле справа и плоские холмы слева. Остались серые мокрые сумерки и капли сырости, оседающие на смотровое стекло, да несколько метров блестящей от влаги каменистой почвы. Теперь спешить было нельзя. Миша включил фары, и в желтых столбах света стали видны медлительные струи тумана, расплывшиеся в стороны по мере нашего продвижения вперед. Машину подбрасывало, она то кренилась набок, то карабкалась на холмики, то осторожно сползала с невысоких откосов.

— Вот так история! — начал майор Перышкин. — Совсем как у нас на Алакане...

И он принялся рассказывать очередную историю про Алакан. Не знаю, успокаивал ли он этим рассказом самого себя или честно пытался отвлечь нас от тоскливых мыслей и тревожных предчувствий, во всяком случае, ни то ни другое ему не удалось. Он то и дело замолкал, тянул «и вот, значит, это самое...», ежеминутно высовывался из машины. А мы, по крайней мере я и Строкулев, его совсем не слушали. Коля Гинзбург оставался внешне спокоен и даже вставлял в паузы вежливые «Ну и что дальше?» или «А что он?». Так прошло около часа. Ни туману, ни лавовому полю, ни рассказу про Алакан не было конца. Миша сбросил телогрейку, на напряженно двигавшихся лопатках его выступили пятна пота. Стало почти темно.

— Ну я, конечно, вижу, — сипло повествовал майор. — Вижу это я... да-а... вижу, значит, что стрелять он не того, значит, не умеет... значит, только... хвастает только...

Он вдруг замолчал и прислушался. Коля, клевавший носом, тоже поднял голову.

— Слышишь?

Я пожал плечами. Майор торопливо сказал Мише:

— Глуши мотор!

Двигатель кашлянул несколько раз и замолк. И тогда стал слышен звук, от которого мой желудок стремительно поднялся к горлу. Это был зловещий рев бомбардировщика, переходящего в пике. Он нарастал и усиливался с каждой секундой, и даже Строкулев и сержант, слышавшие этот рев, вероятно, только в кино, очутились шагах в десяти от машины еще прежде, чем успели сообразить, что происходит.

— Ложись! — рявкнул майор.

Мы бросились на землю, всем телом прижимаясь к колючему мокрому щебню. Строкулев вцепился в мою руку, и совсем рядом я увидел его широко раскрытые глаза, в которых светились дьявольское любопытство и детский страх. Помню, что на переносице его блестели капельки испарины.

Рев нарастал, заполнял весь мир, раздирал уши. Затем где-то невдалеке туман мгновенно озарился яркой белой вспышкой. Мы съезжились, ожидая громового удара, свиста осколков, града острых как бритва обломков камня. Но ничего подобного не случилось.

Вместо этого наступила тишина, такая же зловещая и нестерпимая, как и внезапно оборвавшийся рев. И в тишине сквозь бешеный звон крови в ушах мы услышали какую-то возню, жалобный вскрик, короткий, захлебывающийся говор, и что-то тяжело упало на щебень. Вновь взревели невидимые моторы, пахнуло горячим ветром, и рев стал удаляться. Он удалялся быстро и уже через несколько секунд превратился в едва слышное жужжание, а потом и совсем затих. И тогда из-за плотной стены тумана до нас донесся сдавленный, протяжный стон.

Все произошло необычайно быстро, и мы, по сути дела, ничего, кроме вспышки, не видели. Нарастающий рев пикирующего самолета, короткая вспышка в тумане, секунды непонятной мертвой тишины, звуки борьбы, тяжелое падение, затем снова рев мотора и снова тишина. И протяжный стон. Гинзбург уверял после, что в момент вспышки заметил невысоко над землей что-

то темное и продолговатое. Я не заметил, хотя лежал в двух шагах от Коли. Не заметили ничего и остальные.

Мы поднялись на ноги, машинально отряхиваясь и растерянно поглядывая то на небо, то друг на друга. Кругом было тихо.

— Что это может быть? — спросил Строкулев.

Никто не отозвался. Потом Николай сказал:

— Это не бомбардировщик. И, уж во всяком случае, не реактивный.

Майор Перышкин поднял руку:

— Послушайте! Никто ничего не слышит?

Мы замолчали, прислушиваясь. В тумане снова совершенно явственно раздался стон.

— Вот что, — решительно сказал майор Перышкин. — Там кто-то есть. Надо его найти. Мало ли что может быть... Погодите.

Он сбегал к машине и вернулся с карабином. Щелкнув затвором, взял карабин под мышку.

— Группа, слушай мою команду! — сказал он. — Сержант Васечкин!

— Я!

— Остаются на месте. Майор Кузнецов, капитан Гинзбург, старший лейтенант Строкулев, вправо в цепь... марш!

Мы растянулись цепочкой на расстоянии в три-четыре метра друг от друга и двинулись на поиски. Через минуту Строкулев крикнул:

— Нашел! Карманный фонарик нашел... Едва горит!

— Вперед! — приказал майор.

Я прошел еще несколько шагов и чуть не наступил на человека. Он лежал ничком, широко раскинув ноги и уткнувшись лохматой нечесаной головой в сгиб правой руки, грязной и тощей. Левая рука была вытянута вперед, ее исцарапанные пальцы зарылись в щебень. Никогда еще я не видел в наших краях человека, одетого так странно. На нем были фланелевые лыжные брюки, стоптанные тапочки на босу ногу и сетчатая майка-безрукавка. И это осенью, на Дальнем Востоке, в двадцати километрах от ближайшего населенного пункта!

Мы стояли над ним, изумленные и смущенные, затем майор передал Коле карабин и, опустившись на корточки, осторожно

потрогал незнакомца за голое плечо. Тот медленно поднял голову. Мы увидели невероятно худое лицо, покрытое густой черной щетиной, сухие, потрескавшиеся губы, мутные серые глаза — вернее, один глаз, потому что другой оставался плотно закрытым.

— Пить... — хрипло прошептал незнакомец. — Только глоток воды... и сразу назад...

Он снова уронил голову на руку.

Мы перетащили его к «газику» — он не казался тяжелым, но явно пытался, хотя и слабо, сопротивляться. В бутылке оставалось немного коньяку. Гинзбург налил в кружку воды, долил коньяком и поднес кружку к губам незнакомца. Видели бы вы, как он пил! Он опустошил все наши фляги и, вероятно, пил бы еще, но воды у нас больше не было. Пока мы возились с незнакомцем, Миша ходил вокруг машины и с опаской поглядывал на небо. Кажется, он был очень доволен, когда мы наконец втиснули нашу находку на заднее сиденье, кое-как втиснулись сами и майор приказал:

— Трогай!

— Мне надо назад, — пробормотал незнакомец. — Пустите меня назад, ведь я так ничего и не узнал...

— О чем? — спросил я.

Но он не ответил и уронил голову на грудь.

Стемнело, стало холодно. Мы набросили на незнакомца наши шинели и плащ-палатки, но он все трясся в ознобе и время от времени то громко и пронзительно, то едва слышно выкрикивал непонятные слова. Видно, у него начинался жар, от него несло теплом, как от русской печки.

Никогда не забуду этой поездки. Кругом кромешная тьма, лучи фар с трудом раздвигают туман. Машина движется медленно и воет тоскливо и угрожающе. На переднем сиденье вцепившийся в баранку шофер и Гинзбург со Строкулевым, сгорбленные, зябко ежатся от сырости и холода. На заднем сиденье — Перышкин и я, и между нами трясущийся в ознобе незнакомец, закутанный в шинели и шуршащие плащ-палатки. Он бормочет и вскрикивает. Иногда пытается высвободить руки, но мы с майором крепко держим его. Я наклоняюсь к нему, стараясь разобрать, что он говорит. А говорит он странные вещи:

— Не надо... Вы видите, я стою на двух ногах, как и ваши... Не надо со мной так... Не трогайте меня! Я не хочу уходить, я еще не знаю самого главного... Я не могу вернуться, пока не узнаю... Мне нужен только глоток воды. И я останусь... хоть навсегда, хоть на тысячи лет... как тот, в тоннеле... Не выбрасывайте меня!

Я слушаю, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Кто он? Сумасшедший? Преступник? Диверсант? Как он попал на лавовое поле? Видимо, он просил не выбрасывать его. Но его выбросили. Кто? Откуда?

А он шепчет страстно и убедительно:

— Хорошо... Мне не нужно воды. Я готов даже... Что угодно... по капле... Скормите меня вашим койотам... дракону, все равно, только отведите сначала к хозяевам... Человек всегда договорится с человеком...

Вскоре мы спустились в ложбину. Лавовое поле кончилось, и «газик» стал карабкаться на плоскогорье. Нам удалось сразу же найти просеку. И все же, если бы не незнакомец, мы, вероятно, заночевали бы в лесу. Миша сказал, что ни за что не ручается. Но Перышкин был непреклонен:

— Мы возьмем больного человека. Кто он такой, мы не знаем. А если он умрет за ночь? А если он может сообщить что-нибудь важное? Не разговаривать! Вперед!

И мы двигались вперед, продираясь через путаницу гнилых веток, с бою овладевая каждым метром дороги. Теперь, вытаскивая машину из ям, мы молчали. Никто не кричал больше: «Пошла, пошла!» Кажется, так я уставал только на фронте, во время осенних наступлений.

Но всему на свете бывает конец. Около часа ночи «газик» вкатился в деревню и, пофыркивая, остановился у домика «одной знакомой девушки». Майор решил оставить незнакомца здесь со мной и Строкулевым и привезти из бригады врача.

— Мы не имеем права рисковать. Вдруг он умрет как раз на пути в городок?

Майор был прав. Строкулев соскочил с машины и постучал в квадратное окно. Прошла минута, другая. В окне вспыхнул свет. Слегка охрипший со сна голос спросил:

— Кто там?

Строкулев что-то ответил. Дверь открылась, пропустила его и снова закрылась, но вскоре он выбежал и крикнул:

— Заносите!

Мы с трудом извлекли незнакомца из «газика». Тумана в деревне не было, луна стояла высоко, и его запрокинутое лицо казалось бледным, как у мертвеца.

В горнице было светло, чисто и сухо. «Одна знакомая девушка» оказалась маленькой полной женщиной лет двадцати пяти. Она смущенно куталась в халатик. Строкулев стелил на полу у печки постель. Он вытянул из-под матраца на широкой кровати тюфяк, из комода — простыни и одеяла. Хозяйка молча кивнула нам. Затем она наклонилась над незнакомцем, вгляделась в его лицо, подумала и неожиданно сказала, показав на кровать:

— Кладите сюда. Я уж на тюфяке переночую.

— Надо бы его раздеть, — нерешительно сказал майор Перышкин.

— Мы разденем, — сказал я. — Поезжайте, Константин Петрович.

Майор, Гинзбург и Миша попрощались и вышли, а мы со Строкулевым принялись раздевать незнакомца. Хозяйка возилась у печки — кипятила молоко.

Когда мы стягивали с него лыжные штаны, что-то вдруг со стуком упало на пол. Строкулев нагнулся.

— Погоди-ка, — пробормотал он. — Вот так штука! Смотри!

Это была маленькая металлическая статуэтка — странный скорченный человечек в необычной позе. Он стоял на коленях, сильно наклонившись вперед, упираясь тонкими руками в пьедестал. Меня поразило его лицо. С оскаленным кривоватым ртом, с тупым курносый носом, оно странно и дико глядело на нас выпуклыми белыми, видимо покрытыми эмалью, глазами. Лицо это было выполнено удивительно реалистично — измученное, тоскливое, с упавшей на лоб жалкой прядью прямых волос. На голой спине человечка громадными буграми выдавались угловатые лопатки, колени были острые, а на руках торчали всего по три скрюченных когтистых пальца.

— Божок какой-то, — вполголоса сказал Строкулев. — Тяжелый. Золото, как ты думаешь?

Я поставил статуэтку на стол.

— Не похоже. Возможно, платина...

Мы уложили незнакомца, закутали его в одеяло, попробовали напоить горячим молоком — он не разжал губ. Тогда мы напились сами, придвинули табуретки и сели рядом. Хозяйка, не говоря ни слова, не раздеваясь, легла на тюфячок.

Так мы сидели часа два или два с половиной, клевали носом и время от времени выходили на цыпочках в сени покурить. Незнакомец лежал неподвижно с закрытыми глазами и тяжело и часто дышал. Только один раз он вдруг крикнул:

— Не бойтесь! Это вертолет!

Я кое о чем подумал тогда, но Строкулеву не сказал. В самом деле, где это видано, чтобы вертолеты пикировали, как заправские бомбардировщики?

Хозяйка ворочалась на своем тюфячке и тоже, кажется, не спала. Божок стоял на столе, отливая странной зеленью, обратив к нам свое измученное белоглазое лицо.

Под утро, когда небо в окнах стало светлеть, на дворе послышалось фырканье мотора. В дверь постучали, вошел майор Перышкин, знакомый врач подполковник Колесников и особоуполномоченный капитан Васильев, маленький, сухой, с быстрыми глазами. Мы встали. Подполковник и капитан Васильев молча поздоровались с нами, сели у кровати и оглянулись на Перышкина. Тот поманил нас.

— Едем. Наше дело сделано.

Вот и все. Человек в сетчатой майке вместе с удивительным божком исчез из нашей жизни так же внезапно, как и появился. Днем, когда мы еще спали (начальник штаба разрешил нам отдохнуть до обеда), вездеход с незнакомцем, врачом и особоуполномоченным проехал через городок и свернул на шоссе, ведущее в Павлодемянск. Мы пытались осторожно навести справки у командования, но никто не мог сообщить нам ничего определенного. Виктор Строкулев так надоел начальнику штаба своими расспросами, что тот пригрозил немедленно назначить его в комиссию по снятию остатков на продовольственном складе. Витька терпеть не мог снимать остатки и расспросы прекратил. Так и остались мы, свидетели необыкновенного случая у подножия

Адаирской сопки, со своим неутоленным любопытством, неясным ощущением чего-то таинственного и подавляющего воображение, с богатейшими возможностями для всякого рода фантастических догадок.

Тайна, тайна... Сколько предположений было высказано вечерами за преферансом, за книгами и схемами, за шахматами и чаем! Вот мы сидим у Гинзбурга. Коля и майор Перышкин разыгрывают труднейший дебют, я покуриваю и читаю потрепанную книжку, уютно устроившись перед огнем в печке. Строкулев задумчиво перебирает гитарные струны, развалившись на кровати. Тихо. За окном воеет декабрьская выюга. И вдруг Коля поднимает голову и говорит:

— Слушайте, а может быть, он с другой планеты?

Мы обдумываем это предположение, затем Строкулев вздыхает и снова трогает струны, а майор ворчит:

— Чепуха! Ходи, твой ход...

Но не хочется верить, что мы так никогда и не узнаем о том, что произошло в вечернем тумане...

2. ПРИШЕЛЬЦЫ

Рассказ участника археологической группы «Апида»

К. Н. Сергеева

Недавно в одном из научно-популярных журналов появился пространный очерк о необычайных событиях, имевших место в июле—августе прошлого года в окрестностях Сталинабада. К сожалению, авторы очерка, по-видимому, пользовались информацией из вторых и третьих рук, причем рук недобросовестных, и поневоле представили суть и обстоятельства дела совершенно неправильно. Рассуждения о «телемеханических диверсантах» и «кремнийорганических чудовищах», равно как и противоречивые свидетельства «очевидцев» о пылающих горах и пожаренных целиком коровах и грузовиках, не выдержи-

вают никакой критики. Факты были гораздо проще и в то же время много сложнее этих выдумок.

Когда стало ясно, что официальный отчет Сталинабадской комиссии появится в печати очень нескоро, профессор Никитин предложил опубликовать правду о Пришельцах мне, одному из немногих настоящих очевидцев. «Изложите то, что видели собственными глазами,— сказал он.— Изложите свои впечатления. Так, как излагали для комиссии. Можете пользоваться и нашими материалами. Хотя лучше будет, если ограничитесь своими впечатлениями. И еще — не забудьте дневник Лозовского. Это ваше право».

Приступая к рассказу, я предупреждаю, что буду всеми силами придерживаться указаний профессора — стараться передавать только свои впечатления — и стану излагать события, как они происходили с нашей точки зрения, с точки зрения археологической группы, занятой раскопками так называемого замка Апида в пятидесяти километрах к юго-востоку от Пенджикента.

Группа состояла из шести человек. В ней были три археолога: начальник группы, он же «пан шеф», Борис Янович Лозовский, мой старинный друг таджик Джамил Каримов и я. Кроме нас в группе было двое рабочих, местных жителей, и шофер Коля.

Замок Апида представляет собой холм метров в тридцать вышиной, стоящий в узкой долине, стиснутой горами. По долине протекает неширокая река, очень чистая и холодная, забитая круглыми гладкими камнями. Вдоль реки проходит дорога на Пенджикентский оазис.

На верхушке холма мы копали жилища древних таджиков. У подножия был разбит лагерь: две черные палатки и малиновый флаг с изображением согдийской монеты (круг с квадратной дырой посередине). Таджикский замок III века нашей эры не имел ничего общего с зубчатыми стенами и подъемными мостами феодальных замков Европы. В раскопанном виде это две три ровные площадки, окаймленные по квадрату двухвершковой оградой. Фактически от замка остался только пол. Здесь можно найти горелое дерево, обломки глиняных сосудов и вполне современных скорпионов, полных самых ядовитых намерений, а если повезет — старую, позеленевшую монету.

В распоряжении группы была машина — старенький «ГАЗ-51», на котором в целях археологической разведки мы совершали далекие рейсы по ужасным горным дорогам. Накануне того дня, когда появились Пришельцы, Лозовский на этой машине уехал в Пенджикент за продуктами, и мы ждали его возвращения утром 14 августа. Машина не вернулась, начав своим исчезновением цепь удивительных и непонятных происшествий.

Я сидел в палатке и курил, дожидаясь, пока промоются чепки, уложенные в таз и погруженные в реку. Солнце висело, казалось, прямо в зените, хотя было уже три часа пополудни. Джамил работал на вершухе холма — там крутилась под ветром лёссовая пыль и виднелись белые войлочные шляпы рабочих. Шипел примус, варилась гречневая каша. Было душно, знойно и пыльно. Я курил и придумывал причины, по которым Лозовский мог задержаться в Пенджикенте и опаздывать вот уже на шесть часов. У нас кончался керосин, осталось всего две банки консервов и полпачки чая. Было бы очень неприятно, если бы Лозовский не приехал сегодня. Придумав очередную причину (Лозовский решил позвонить в Москву), я встал, потянулся и впервые увидел Пришельца.

Он неподвижно стоял перед входом в палатку, матово-черный, ростом с большую собаку, похожий на громадного паука. У него было круглое, плоское, как часы «молния», тело и суставчатые ноги. Более подробно описать его я не могу. Я был слишком ошеломлен и озадачен. Через секунду он качнулся и двинулся прямо на меня. Я остолбенело глядел, как он медленно переступает ногами, оставляя в пыли дырчатые следы, — уродливый силуэт на фоне освещенной солнцем желтой осыпающейся глины.

Учтите, я и понятия не имел, что это Пришелец. Для меня это было какое-то неизвестное животное, и оно приближалось ко мне, странно выворачивая ноги, немое и безглазое. Я попятился. В то же мгновение раздался негромкий щелчок, и внезапно вспыхнул ослепительный свет, такой яркий, что я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, то сквозь красные расплывающиеся пятна увидел его на шаг ближе, уже в тени палатки. «Господи!..» — пробормотал я. Он стоял над нашим продовольственным ящиком и, кажется, копался в нем двумя передними ногами.

Блеснула на солнце и сразу куда-то исчезла консервная банка. Затем «паук» боком отодвинулся в сторону и скрылся из виду. Сейчас же смолкло гудение примуса, послышался металлический звон.

Не знаю, что бы сделал на моем месте здравомыслящий человек. Я не мог рассуждать здраво. Помню, я заорал во все горло, то ли желая напугать «паука», то ли чтобы подбодрить себя, выскочил из палатки, отбежал на несколько шагов и остановился, задыхаясь. Ничего не изменилось. Вокруг дремали горы, залитые солнцем, река шумела расплавленным серебром, и на вершухе холма торчали белые войлочные шляпы. И тут я снова увидел Пришельца. Он быстро несся по склону, огибая холм, легко и бесшумно, словно скользя по воздуху. Ног его почти не было заметно, но я отчетливо видел странную резкую тень, бегущую рядом с ним по жесткой серой траве. Потом он исчез.

Меня укусил слепень, я хлопнул его мокрым полотенцем, которое, оказывается, держал в руке. С вершины холма донеслись крики — Джамил с рабочими спускался вниз и давал мне знак снимать с примуса кашу и ставить чайник. Они ничего не подозревали и были поражены, когда я встретил их странной фразой: «Паук унес примус и консервы...» Джамил потом говорил, что это было страшно. Я сидел у палатки и стряхивал папиросный пепел в кастрюлю с кашей. Глаза у меня были белые, я то и дело испуганно оглядывался по сторонам. Видя, что мой старинный друг принимает меня за сумасшедшего, я принялся торопливо и сбивчиво излагать ему суть события, чем окончательно укрепил его в этом мнении. Рабочие из всего происходящего сделали единственный вывод: чая нет и не будет. Разочарованные, они молча поели остывшей каши и уселись в своей палатке играть в биштокутар*. Джамил тоже поел, мы закурили, и он выслушал меня снова в более спокойной обстановке. Подумав, он объявил, что все это мне почудилось после несильного солнечного удара. Я немедленно возразил: во-первых, на солнце я выходил только в шляпе, а во-вторых, куда девались примус и банка консервов? Джамил сказал, что я мог в беспамятстве побросать все

* Биштокутар — таджикская карточная игра.

исчезнувшие предметы в реку. Я обиделся, но мы все-таки встали и, зайдя по колени в прозрачную воду, принялись шарить руками по дну. Я нашел Джамилевы часы, пропавшие неделю назад, после чего мы вернулись, и Джамил снова стал думать. А не почувствовал ли я странного запаха, спросил вдруг он. Нет, ответил я, запаха, кажется, не было. А не заметил ли я у паука крыльев? Нет, крыльев у паука я не заметил. А помню ли я, какое сегодня число и день недели? Я разозлился и сказал, что число сегодня, по всей вероятности, четырнадцатое, а день недели я не помню, но это ничего не значит, так как сам Джамил несомненно не помнит ни того ни другого. Джамил признался, что он действительно помнит только год и месяц и что мы сидим черт знает в какой глуши, где нет ни календарей, ни газет.

Затем мы осмотрели местность. Следов, если не считать ползатоптанных ямок у входа в палатку, нам обнаружить не удалось. Зато выяснилось, что «паук» утащил кроме примуса и консервов мой дневник, коробку карандашей и пакет с самыми ценными археологическими находками.

— Вот скотина! — произнес Джамил растерянно.

Наступил вечер. По долине пополз слоистый белый туман, над хребтом загорелось созвездие Скорпиона, похожее на трехпалую лапу, пахнуло холодным ночным ветром. Рабочие скоро заснули, а мы лежали на раскладушках и обдумывали события, наполняя палатку облаками вонючего дыма дешевых сигарет. После долгого молчания Джамил робко осведомился, не разыгрываю ли я его, а затем торопливо сказал, что, по его мнению, между появлением «паука» и опозданием Лозовского может быть какая-то связь. Я и сам думал об этом, но не ответил. Тогда он еще раз перечислил пропавшие предметы и высказал чудовищное предположение, что «паук» был искусно переодетым вором.

Я задремал.

Меня разбудил странный звук, похожий на гул мощных авиационных моторов. Некоторое время я лежал прислушиваясь. Почему-то мне стало не по себе. Может быть, потому, что за месяц работы здесь я не видел еще ни одного самолета. Я встал и выглянул из палатки. Была глубокая ночь, часы показывали по-

ловину второго. Небо было усеяно острыми ледяными звездами, от горных вершин остались только мрачные, глубокие тени. Потом на склоне горы напротив появилось яркое пятно света, поползло вниз, погасло и снова возникло, но уже гораздо правее.

Гул усилился.

— Что это? — встревоженно спросил Джамил, протискиваясь наружу.

Гудело где-то совсем близко, и вдруг ослепительный белоглазый свет озарил вершину нашего холма. Холм казался сверкающей ледяной вершиной. Это продолжалось несколько секунд. Затем свет погас, и гудение смолкло. Черная тьма и тишина упали, как молния, на наш лагерь. Из палатки рабочих донеслись испуганные голоса. Невидимый Джамил закричал что-то по-таджикски, послышался шум торопливых шагов по крупной гальке. Снова раздался могучий рев, поднялся над долиной и, быстро затихая, погас где-то вдали. Мне показалось, что я увидел темное продолговатое тело, скользнувшее между звездами в направлении на юго-восток.

Подошел Джамил с рабочими. Мы уселись в кружок и долго сидели молча, курили и напряженно прислушивались к каждому звуку. Честно говоря, я боялся всего — «пауков», непроглядной темноты безлунной ночи, таинственных шорохов, которые мерещились сквозь шум реки. Думаю, впрочем, что остальные испытывали то же самое.

Джамил шепотом сказал, что мы несомненно находимся в самом центре каких-то событий. Я не возражал. Наконец все мы озябли и разошлись по палаткам.

— Ну, как там насчет солнечного удара и переодетых воров? — осведомился я.

Джамил промолчал и только через несколько минут спросил:

— Что, если они придут снова?

— Не знаю, — ответил я.

Но они не пришли.

На другой день мы поднялись на раскоп и обнаружили, что не осталось ни одного черепка из найденных накануне: вся керамика исчезла. Ровные площадки пола в раскопанных помещениях оказались покрытыми дырчатыми следами. Холм выброшенной

земли осел и расплощился, словно по нему прошел асфальтовый каток. Стена была разрушена в двух местах. Джамил кусал губы и значительно поглядывал на меня. Рабочие переговаривались вполголоса, жались поближе к нам. Им было страшно, да и нам тоже.

Машина с Лозовским все еще не пришла. На завтрак мы жевали слегка заплесневелый хлеб и пили холодную воду. Когда с хлебом было покончено, рабочие, выразив пожелание, чтобы «такой дела к черту пошла», взяли кетмени и полезли наверх, а я, посоветовавшись с Джамилом, надвинул поглубже шляпу и решительно двинулся по дороге в Пенджикент, рассчитывая поймать попутную машину.

Первые несколько километров я прошел без происшествий и два раза даже присаживался передохнуть и покурить. Стены ущелья сдвигались и расходились, пылил ветер по извилистой дороге, шумела река. Несколько раз я видел стада коз, пасущихся коров, но людей не было. До ближайшего населенного пункта оставалось еще километров десять, когда в воздухе появился Черный Вертолет. Он шел низко вдоль дороги, с глухим гулом пронесся над моей головой и исчез за поворотом ущелья, оставив за собой струю горячего ветра. Он не был зеленым, как наши военные вертолеты, или серебристым, как транспортно-пассажирские. Он казался матово-черным и тускло отсвечивал на солнце, как ствол ружья. Цвет его, непривычная форма и мощное глухое гудение — все это сразу напомнило мне о событиях минувшей ночи, о «пауках», и мне снова стало страшно.

Я ускорил шаги, потом побежал. За поворотом я увидел машину «ГАЗ-69», возле нее стояли трое и смотрели в уже пустое небо. Я испугался, что они сейчас уедут, закричал и побежал изо всех сил. Они обернулись, потом один из них лег на землю и полез под машину. Остальные двое, широкоплечие бородатые парни, видимо геологи, продолжали смотреть на меня.

— Возьмете до Пенджикента? — крикнул я.

Они продолжали молча и сосредоточенно разглядывать меня, и я подумал, что они не расслышали вопроса.

— Здравствуйте, — сказал я, подходя. — Салам алейкум...

Тот, что был повыше, молча отвернулся и залез в машину. Низенький отозвался очень хмуро: «Привет», — и снова уставился в небо. Я тоже взглянул вверх. Там ничего не было, кроме большого неподвижного коршуна.

— Вы не в Пенджикент? — спросил я, кашлянув.

— А ты кто такой? — спросил низенький.

Высокий встал, перегнулся через сиденье, и я увидел на его широком поясе пистолет в кобуре.

— Я археолог. Мы копаем замок Апида.

— Что копаете? — переспросил низенький значительно вежливее.

— Замок Апида.

— Это где?

Я объяснил.

— Зачем вам в Пенджикент?

Я рассказал про Лозовского и про положение в лагере. Про «паука» и про ночную тревогу умолчал.

— Я знаю Лозовского, — сказал вдруг высокий. Он сидел, перекинув ноги через борт, и раскуривал трубку. — Я знаю Лозовского. Борис Янович?

Я кивнул.

— Хороший человек. Мы бы вас взяли, конечно, товарищ, но сами видите — загораем. Шофер начудил.

— Георгий Палыч, — раздался из-под машины укоризненный голос, — дык ведь поворотный вал...

— Трепло ты, Петренко, — сказал высокий лениво. — Выгоню я тебя. Выгоню и денег не заплачу...

— Георгий Палыч...

— Вот он, вот он опять!.. — сказал низенький.

Черный Вертолет вынырнул из-за склона и стремительно понесся вдоль дороги прямо на нас.

— Черт знает, что это за машина! — проворчал низенький.

Вертолет взмыл к небу и повис высоко над нашими головами. Мне это очень не понравилось, и я уже раскрыл рот, чтобы заявить об этом, как вдруг высокий произнес сдавленным голосом: «Он спускается!» — и полез из машины. Вертолет падал вниз,

в брюхе его открылась зловещая круглая дыра, и он спускался все ниже и ниже, прямо на нас.

— Петренко, вылезь к чертовой матери! — заорал высокий и бросился в сторону, схватив меня за рукав.

Я побежал, низенький геолог тоже. Он что-то кричал, широко разевая рот, но рев моторов вдруг покрыл все другие звуки. Я очутился в дорожном кювете, с глазами, забитыми пылью, и успел увидеть только, что Петренко на четвереньках бежит к нам, а Черный Вертолет опустился на дорогу. Смерч, поднятый могучими винтами, сорвал с меня шляпу и окутал все вокруг желтым облаком пыли. Потом вспыхнул все тот же ослепительный белый свет, затмивший блеск солнца, и я вскрикнул от боли в глазах. Когда улеглась пыль, мы увидели пустую дорогу. Машина «ГАЗ-69» исчезла. Черное тело вертолета уходило ввысь вдоль ущелья...

...Больше я не видел ни Пришельцев, ни их воздушных кораблей. Джамил и рабочие видели один вертолет в тот же самый день и еще два — 16 августа. Они прошли на небольшой высоте, и тоже вдоль дороги.

Дальнейшие мои приключения связаны с Пришельцами только косвенно. Вместе с обворованными геологами я кое-как добрался до Пенджикента на попутных машинах. Высокий геолог всю дорогу глядел на небо, а низенький ругался и повторял, что если это «шуточки парней из авиаклуба», то он на них управу найдет. Шофер Петренко был совершенно сбит с толку. Он несколько раз порывался объяснить что-то про поворотный вал, но его никто не слушал.

В Пенджикенте мне сказали, что Лозовский выехал еще утром 14-го, а шофер нашей группы Коля вернулся в тот же день вечером без Лозовского и его держат в милиции, потому что он, по-видимому, угробил машину и Лозовского, но не хочет говорить, где и как, и в оправдание несет несусветную чушь о воздушном нападении.

Я помчался в милицию. Коля сидел у дежурного на деревянной скамье и тяжело переживал людскую несправедливость. По его словам, километрах в сорока от Пенджикента «пан шеф» от-

правился осмотреть какое-то тепе* в стороне от дороги. Через двадцать минут прилетел вертолет и утащил машину. Коля бежал за ним без малого километр, не догнал и пошел искать Лозовского. Но Лозовский тоже пропал неизвестно куда. Тогда Коля вернулся в Пенджикент и честь по чести доложил обо всем, а теперь пожалте... «Будет врать-то!» — сердито сказал дежурный, но в эту минуту в милицию ввалились два моих геолога и Петренко. Они принесли заявление о пропаже машины и сухо осведомились, на чье имя нужно подать жалобу на воздушное хулиганство. Через полчаса Колю выпустили.

Замечу, между прочим, что Колины злоключения на этом не кончились. Пенджикентская прокуратура завела «Дело об исчезновении и предполагаемом убийстве гр-на Лозовского», по которому Коля был привлечен в качестве подозреваемого, а Джамил, рабочие и я — как свидетели. Это «дело» прекратили только после приезда комиссии во главе с профессором Никитиным. Рассказывать об этом я не хочу и не стану, потому что я пишу о Пришельцах, а тогда каждый день приносил о них новые данные. Но самые интересные данные оставил наш начальник, он же «пан шеф», Борис Янович Лозовский.

Мы долго терялись в догадках, силясь понять, откуда взялись и что собой представляют Пришельцы. Мнения были самые противоречивые, и все стало ясно только после того, как в середине сентября были обнаружены посадочная площадка Пришельцев и дневник Бориса Яновича. Ее нашли пограничники, проследив по показаниям очевидцев несколько трасс Черных Вертолетов. Площадка лежала в котловине, сжатой горами, в пятнадцати километрах к западу от замка Апида и представляла собой гладкую укатанную поверхность, заваленную по краям оплавленными глыбами камня. Ее диаметр составлял около двухсот метров, почва во многих местах казалась обгоревшей, растительность — трава, колючки, два тутовых деревца — обуглилась. На площадке нашли один из похищенных автомобилей («ГАЗ-69»), смазанный, помытый, но без горючего, несколько предметов из неизвестного материала и неизвестного назначения (переданы

* Тепе — холм, образовавшийся на месте древнего поселения.

на исследование) и — самое главное — дневник археологической группы «Апида» с замечательными собственноручными записями Бориса Яновича Лозовского.

Дневник лежал в машине на заднем сиденье и не пострадал ни от сырости, ни от солнца, только покрылся слоем пыли. Общая тетрадь в коричневой картонной обложке на две трети была заполнена описаниями раскопок замка Апида и отчетами о разведке в его окрестностях, но в конце ее, на двенадцати страницах, изложена короткая повесть, стоящая, по моему глубокому убеждению, любого романа и многих научных и философских трудов.

Лозовский писал карандашом, всегда (судя по почерку) торопливо и часто довольно бессвязно. Кое-что из написанного непонятно, но многое проливает свет на некоторые неясные детали событий, и все необычайно интересно, особенно те выводы, которые сделал Лозовский относительно Пришельцев. Тетрадь была передана мне как временно исполняющему обязанности начальника группы «Апида» следователем пенджикентской прокуратуры сразу же после того, как «Дело об исчезновении...» и так далее было прекращено «за отсутствием состава преступления». Ниже я полностью привожу эти записи, комментируя их в некоторых не совсем понятных местах.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА Б. Я. ЛОЗОВСКОГО

14 августа

(Изображено нечто вроде шляпки мухомора — сильно приплюснутый конус. Рядом для сравнения нарисованы автомобиль и человек. Подпись: «Космический корабль?» На конусе несколько точек, на них указывают стрелки и написано: «Входы». У вершины конуса надпись: «Сюда грузят». Сбоку: «Высота 15 м, диаметр у основания 40 м».)

Вертолет принес еще одну машину — «ГАЗ-69», номер ЖД 19-19. Пришельцы (это слово впервые употребил именно Лозовский) лазили по ней, разбирали мотор, потом погрузили на ко-

рабль. Люки узкие, но машина как-то прошла. Наша машина пока стоит внизу. Я выгрузил все продукты, и они их не трогают. На меня внимания совсем не обращают, даже обидно. Кажется, мог бы уйти, но пока не хочу... (Следует очень скверный рисунок, изображающий, по-видимому, одного из Пришельцев.)

Рисовать не умею. Черное дискообразное тело диаметром около метра. Восемь, у некоторых — десять лап. Лапы длинные и тонкие, похожи на паучьи, с тремя суставами. В суставах выгибаются в любом направлении. Ни глаз, ни ушей не заметно, но несомненно видят и слышат они прекрасно. Передвигаться могут невероятно быстро, словно черные молнии. Бегают по почти отвесному обрыву, как мухи. Замечательно, что у них нет деления тела на переднюю и заднюю части. Я наблюдал, как один из них на бегу, не останавливаясь и не поворачиваясь, помчался вдруг вбок и затем назад. Когда пробегают близко от меня, я чувствую легкий свежий запах, похожий на запах озона. Стрекочат, как цикады. Живое разумное... (фраза не окончена).

Вертолет принес корову. Толстая, пегая и очень глупая буренка. Едва оказалась на земле, как принялась щипать обгорелые колючки. Вокруг нее собрались шесть Пришельцев, стрекотали, время от времени вспыхивали. Поразительная сила — один ухватил корову за ноги и легко перевернул на спину. Корову погрузили. Бедная буренка! Запасаются продовольствием?

Пробовал завести разговор, подошел к ним вплотную. Не обращают внимания.

Вертолет принес стог сена и погрузил на корабль...

Не менее девяти Пришельцев и три вертолета...

Все-таки следят. Отошел за камни. Один Пришелец пошел за мной, стрекотал, затем отстал...

Несомненно, это космический корабль. Я сидел в тени обрыва, и вдруг Пришельцы побежали от корабля в разные стороны. Тогда корабль вдруг поднялся на несколько метров в воздух и снова опустился. Легко, как пушинка. Ни шума, ни огня, никаких признаков работы двигателей. Только камни хрустнули...

У одного, оказывается, есть глаза — пять блестящих пуговок на краю тела. Они разноцветные: слева направо — голубовато-

зеленый, синий, фиолетовый и два черных. Впрочем, может быть, это и не глаза, потому что большей частью они направлены не туда, куда движется их хозяин. В сумерках глаза светятся.

15 августа

Ночью почти не спал. Прилетали и улетали вертолеты, бегали и стрекотали Пришельцы. И все это в полной темноте. Только иногда яркие вспышки... Четвертая машина, опять «ГАЗ-69» ЖД 73-98. И опять без шофера. Почему? Выбирают момент, когда шофер отходит?..

Пришелец ловил ящериц — очень ловко. Бегал на трех лапах, остальными хватал сразу по две, по три штуки...

Да, я мог бы уйти, если бы захотел. Только что вернулся с кромки обрыва. Оттуда рукой подать до Пенджикентского тракта, не более трех часов хода. Но я не уйду. Надо посмотреть, чем все кончится...

Погрузили целую отару овец — штук десять — и огромное количество сена. Уже успели узнать, чем питаются овцы. Умные твари! Очевидно, хотят довести коров и овец живьем или запамятуются продовольствием. И все-таки непонятно, почему они так явно и упорно игнорируют людей. Или люди для них менее интересны, чем коровы? Нашу машину тоже погрузили.

...тоже понимают? Что, если мне полететь с ними? Попытаться договориться или тайком проникнуть в корабль. Не позволяют?..

...Два винта, иногда четыре. Число лопастей сосчитать не удалось. Длина кузова — метров восемь. Все из матового черного материала, без заметных швов. По-моему, не металл. Что-нибудь вроде пластмассы. Как попасть внутрь, не понимаю. Никаких люков не видно... (Это, вероятно, описание вертолетов.)

По-видимому, я — единственный человек, оказавшийся в таких обстоятельствах. Очень страшно. Но как же иначе? Надо, надо лететь, просто необходимо...

Опять на верхушке корабля появились ежи. (Непонятно. О «ежах» Лозовский больше нигде не упоминает.) Покрутились, вспыхнули и исчезли. Сильный запах озона...

Прилетел вертолет, в бортах — вмятины величиной с кулак. Сел, сложился (?), и сейчас же в стороне над горами прошли два наших реактивных истребителя. Что произошло?..

Пришельцы продолжают бегать как ни в чем не бывало. Если было столкновение... (Не окончено.)

...теоретически... (Неразборчивая фраза.) должен объяснить. Они, видимо, не понимают. Или считают ниже своего достоинства...

Поразительно! До сих пор не могу прийти в себя от изумления. Это машины?! Только что в двух шагах от меня двое Пришельцев разбирали третьего! Глазам не поверил. Необычайно сложное устройство, не знаю даже, как и описать. Жаль, что я не инженер. Впрочем, скорее всего, это не помогло бы. Сняли спинной панцирь, под ним звездообразный... (Не окончено.) Под брюхом резервуар, довольно вместительный, но как они туда складывают различные предметы, непонятно. Машины!..

Собрали, оставили только четыре лапы, зато приделали что-то вроде громадной клешни. Как только сборка была окончена, «новорожденный» вскочил и убежал в корабль...

Большая часть тела занята звездообразным предметом из белого материала, похожего на пемзу или на губку...

Кто же Хозяева этих машин? Может быть, Пришельцами управляют изнутри корабля?..

Разумные машины? Чепуха! Кибернетика или телеуправление? Чудеса какие-то. И кто может помешать Хозяевам выйти наружу?..

Понимают разницу между людьми и животными. Поэтому людей не берут. Гуманно. Меня, вероятно, подобрали по ошибке... Жена не простит...

...никогда, никогда не увижу — это страшно. Но я человек!..

Очень мало шансов остаться в живых. Голод, холод, космическое излучение, миллион других случайностей. Корабль явно не приспособлен для перевозки «зайцев». В общем, один шанс на сто. Но я не имею права упускать этот шанс. Связаться необходимо!

Ночь, двенадцать часов. Пишу при фонарике. Когда зажег, один из Пришельцев подбежал, вспыхнул и убежал. Весь вечер Пришельцы строили какое-то сооружение, похожее на башню.

Сначала из трех люков вытянулись широкие трапы. Думал, наконец-то выйдут те, кто управляет этими машинами. Но по трапам спустили множество деталей и металлических (?) полос. Шестеро Пришельцев принялись за работу. Того, с клешней, среди них не было. Я долго следил за ними. Все движения абсолютно точны и уверенны. Башню построили за четыре часа. Как согласованно они работают! Сейчас ничего не видно — темно, но я слышу, как Пришельцы бегают по площадке. Они свободно обходятся без света, работа не прекращается ни на минуту. Вертолеты все время в полете...

Предположим я... (Не окончено.)

16 августа, 16 часов

...Тому, кто найдет эту тетрадь. Прошу переслать ее по адресу: Ленинград, Государственный Эрмитаж, отд. Средняя Азия.

Четырнадцатого августа в девять часов утра меня, Бориса Яновича Лозовского, похитил Черный Вертолет и доставил сюда, в лагерь Пришельцев. До сегодняшнего дня я по мере возможности вел запись своих наблюдений... (несколько строк неразборчиво) и четыре автомашины. Основные выводы. 1. Это Пришельцы извне, гости с Марса, Венеры или какой-либо другой планеты. 2. Пришельцы представляют собой необычайно сложные и тонкие механизмы, и их космический корабль управляется автоматически.

Пришельцы рассмотрели меня, раздели и, по-моему, сфотографировали. Вреда они мне не причинили и в дальнейшем особого внимания на меня не обращали. Мне была предоставлена полная свобода...

Корабль готовится, по всей видимости, к отлету, так как утром на моих глазах были разобраны все три Черных Вертолета и пять Пришельцев. Мои продукты погружены. На площадке остались только несколько деталей от башни и один «ГАЗ-69». Два Пришельца еще копошатся под кораблем и два бродят где-то неподалеку. Я иногда вижу их на склоне горы...

Я, Борис Янович Лозовский, решил проникнуть в корабль Пришельцев и лететь с ними. Я все продумал. Продуктов мне

хватит по крайней мере на месяц, что будет потом — не знаю, но я должен лететь. Я рассчитываю, проникнув в корабль, найти коров и овец и остаться с ними. Во-первых, веселей, во-вторых, запас мяса на черный день. Не знаю, как насчет воды. Впрочем, у меня есть нож, и при нужде я воспользуюсь кровью... (Зачеркнуто.) Если останусь жив — а в этом я почти не сомневаюсь, — то приложу все усилия к тому, чтобы связаться с Землей и вернуться обратно с Хозяевами Пришельцев. Думаю, мне удастся договориться с ними...

Лозовской Марии Ивановне. Дорогая, любимая Машенька! Я очень надеюсь, что эти строки дойдут до тебя, когда все уже будет хорошо. Но если случится худшее, не осуждай меня. Я не мог поступить иначе. Помни только, что я всегда любил тебя, и прости. Поцелуй нашего Гришку. Когда он вырастет, расскажешь ему обо мне. Ведь я вовсе не такой уж плохой человек, чтобы моему сыну нельзя было гордиться своим отцом. Как ты думаешь? Вот и все. Только что один из Пришельцев, бегавших по обрыву, вернулся в корабль. Иду. Прощай. Целую, твой всегда Борис...

Пока я писал. Пришельцы втянули два трапа. Остался один. Надо... (Целый неразборчивый абзац; такое впечатление, словно Лозовский писал не глядя.) Пора идти. Но хорош я буду, если меня не пустят! Я должен прорваться! Вот еще один спустился со скалы и полез внутрь. Двое еще сидят под кораблем. Ну, Лозовский, марш! Страшновато. Впрочем, ерунда. Это машины, а я ведь человек...

На этом месте записи обрываются. Больше Лозовский к машине не возвращался. Не возвращался потому, что корабль взлетел. Скептики говорят о несчастье, но на то они и скептики. Я с самого начала был искренне и глубоко уверен, что наш славный «пан шеф» жив и видит то, что нам не дано видеть даже во сне.

Он вернется, и я завидую ему. Я всегда буду завидовать ему, даже если он не вернется. Это самый смелый человек, которого я знаю.

Да, далеко не всякий оказался бы способен на такой поступок. Я спрашивал об этом многих. Некоторые честно говорили:

«Нет. Страшно». Большинство говорит: «Не знаю. Все, видите ли, зависит от конкретных обстоятельств». Я бы не решился. Я видел «паука», и даже теперь, когда я знаю, что это всего лишь машина, он не вызывает во мне доверия. И эти зловещие Черные Вертолеты... Представьте себя в недрах чужого космического корабля, окруженным мертвыми механизмами, представьте себя летящим в ледяной пустоте — без надежд, без уверенности, — летящим дни, месяцы, может быть, годы, представьте все это, и вы поймете, что я имею в виду.

Вот, собственно, и все. Несколько слов о дальнейших событиях. В середине сентября из Москвы прибыла комиссия профессора Никитина, и всех нас — меня, Джамилу, шофера Колю, рабочих — заставили исписать уйму бумаги и дать ответы на тысячи вопросов.

Мы занимались этим около недели, затем вернулись в Ленинград.

Возможно, скептики правы и мы никогда не узнаем о природе наших гостей извне, об устройстве их звездолета, об удивительных механизмах, которые они послали к нам на Землю, а главное — о причине их неожиданного визита, но что бы ни утверждали скептики, я думаю, Пришельцы вернутся. Борис Янович Лозовский будет первым переводчиком. Ему придется в совершенстве изучить язык далеких соседей: только он сможет объяснить им, каким образом на Земле весьма совершенные автомобили высокой проходимости очутились рядом с черепками глиняных кувшинов шестнадцативековой давности.

3. НА БОРТУ

«ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»

Рассказ бывшего начальника
археологической группы «Апида»
В. Я. Лозовского

Почему я пошел на это? Сложный вопрос. Сейчас мне трудно разобраться в своих тогдашних мыслях и пе-

реживаниях. Кажется, я просто чувствовал, что должен лететь, не могу не лететь, вот и все. Словно я был единственным звеном, которое связывало наше земное человечество с Хозяевами Пришельцев. Хозяева легкомысленно доверились своим безмозглым машинам, и я был обязан исправить их оплошность. Что-то вроде этого. И, разумеется, огромное любопытство.

Я отчетливо сознавал, что у меня всего один шанс на тысячу, может быть, на миллион. Что, скорее всего, я навсегда потеряю жену и сынишку, друзей, любимую работу, потеряю свою Землю. Особенно тяжело мне было при мысли о жене. Но ощущение грандиозности задачи... Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Этот маленький единственный шанс заполнил мое воображение, он открывал невиданные, ослепительные перспективы. И я никогда не простил бы себе, если бы ограничился тем, что с разинутым ртом проводил глазами взлетающий звездолет другого мира. Это было бы предательством. Предательством по отношению к Земле, к науке, ко всему, во что я верил, для чего жил, к чему шел всю жизнь. Думаю, каждый на моем месте чувствовал бы то же самое. И все же — как трудно было решиться!

Как вы уже знаете, последнюю запись я сделал утром 16 августа. Было ясно, что Пришельцы не собираются грузить последнюю машину, вероятно, потому, что один такой «газик» уже был погружен. Я положил дневник на заднее сиденье, бросил карандаш и огляделся. На площадке было пусто, только под громадным тускло-серым конусом звездолета еще копошились двое Пришельцев. Вокруг поднимались красноватые и желтые скалы, над головой сияло яркое голубое небо, такое яркое и голубое, какого я не видел никогда в жизни. Но надо было собираться. Неподалеку из расщелины вытекал родничок чистой холодной воды, я наполнил флягу и сунул ее за пазуху. В моем распоряжении была эта фляга, две банки рыбных консервов и карманный фонарик с запасной батареейкой. Немного... Но я считывал сразу же отыскать в звездолете помещение, отведенное для овец и коров, и отсидеться там. Поскольку корма для скота Пришельцы взяли не очень много, я предполагал быть на другой планете не позже чем через неделю. Как я ошибся! Но об этом после.

Когда я подошел к трапу, Пришельцы, возившиеся с чем-то под днищем корабля, замерли и уставились на меня. По крайней мере, так мне показалось. Это их обычная манера — прекращать работу, когда к ним приблизишься, и замирать в самых нелепых позах. Зрелище, мягко выражаясь, не совсем обычное, я так и не сумел привыкнуть к нему. Я тоже остановился и тоже уставился. Я решил, что они угадали мое намерение и оно им не понравилось. Стыдно признаться, но я испытал тогда некоторое облегчение. Слишком горячим и ласковым было утреннее солнце, и слишком чужими — невероятно чужими — выглядели эти черные твари с изломанными ногами. И изрытая, обугленная земля. И зияющая дыра люка в сером незнакомом металле. И широкий упругий трап — настоящая дорога в иной мир...

Однако Пришельцы, наглядевшись, по-видимому, всласть, снова вернулись к своим занятиям, предоставив меня самому себе. Путь был снова открыт, отступление с честью было отрезано.

Помню, я пытался убедить себя, что очень важно вернуться и разыскать свою куртку, которую я сбросил полчаса назад, когда солнце начало припекать. Я стоял, поставив одну ногу на трап, и озирался по сторонам, ища ее глазами. И чем тщательней я обшаривал взглядом каждую рытвину на площадке, тем яснее мне становилось, что куртка — это необходимейший предмет туалета и что знакомиться с Хозяевами Пришельцев без куртки, в грязных фланелевых шароварах и сетчатой майке цвета весеннего снега будет просто неприлично. Черт знает, чем может быть занята голова человека в такой момент! Я стоял, бессмысленно глазел по сторонам и размышлял. Кругом царил тишина, только тихонько позвякивали и стрекотали Пришельцы. Потом перед моим лицом с басовитым жужжанием пролетел слепень, я очнулся и стал карабкаться по трапу, быстро перебирая ногами.

Трап был крутым и сильно пружинил, так что через несколько шагов я почувствовал непреодолимое стремление встать на четвереньки, но почему-то постыдился сделать это. Может быть, потому, что вид у меня — я отлично сознавал это — был и без того нелепый до крайности: обвисшие штаны, оттопырившаяся майка (я засунул консервы и прочий свой скудный скарб за па-

зуху) и застывшая улыбка на не бритой трое суток физиономии. Впрочем, наблюдать мое восхождение было некому, кроме Пришельцев, а им несомненно было наплевать. Согнувшись в три погибели, приседая на трясущихся от напряжения ногах, я преодолел наконец последние метры трапа и, тремя своим снаряжением, ввалился в люк.

Я оказался в довольно узком коридоре, наклонно уходившем в темноту, в глубь корабля. Рассеянный дневной свет проникал в люк и слабо озарял серые, шероховатые на ощупь стены. Пол, на который я уселся, был холодным и, как мне показалось, слабо вибрировал. Было сумеречно, очень тихо и прохладно.

Я поправил под майкой свою ношу, подтянул ремень на брюках, вытянул шею и выглянул наружу. Ничего не изменилось на площадке. Одинокий «газик», залитый солнечным светом, был похож издали на детскую игрушку. Я подумал, что люк находится гораздо выше, чем это представлялось снизу.

Вдруг я увидел одного из Пришельцев. Неторопливо переступая, он подошел к трапу, остановился, словно прицеливаясь, и вдруг стремительно побежал вверх, прямо на меня. Я прижался к стене коридора, подобрал ноги. От мысли, что он сейчас пройдет совсем рядом, может быть, коснется меня, мне стало не по себе. Но ничего не случилось. Свет в люке на мгновение померк, меня обдало теплом и странным свежим запахом, похожим на запах озона, и он промчался мимо, даже не задержавшись. Я услышал, как он удалялся в темноте, тихонько стрекоча и дробно постукивая лапами. Тогда я двинулся за ним, твердя себе, что оборачиваться не следует. Я очень боялся, что не выдержу и сбегу. Бегство было бы нестерпимым позором, это я знал твердо, и это меня сдерживало. Сначала я шел согнувшись, но потом решил, что это глупо, и выпрямился, но плечи и затылок уперлись в невидимый потолок, такой же холодный и шероховатый, как стены и пол. Тут я впервые рискнул оглянуться. Далеко позади и почему-то вверху голубел кусочек неба, и мне показалось, что я лежу на дне глубокого колодца. Я достал фонарик, чтобы посмотреть, что делается впереди. Результат обследования меня поразил. Коридор кончился. Прямо передо мной была стена, серая, шершавая, теплая на ощупь и совершенно глухая.

Я испытал нечто вроде разочарования, заметно разбавленного приятным чувством выполненного долга. Мне ужасно захотелось пожать плечами, повернуться и неторопливо двинуться обратно к выходу с выражением благородной горечи на лице, как делает солидный человек, огромным усилием воли заставивший себя зайти с большим зубом в поликлинику и узнавший, что зубной врач сегодня не принимает. Но мне было непонятно, куда девался Пришелец, пробежавший здесь минуту назад. Я еще раз осветил стену и сразу же обнаружил в нижней ее части большое круглое отверстие. Я мог поклясться, что за секунду до этого его не было, но теперь оно было, и я на четвереньках пролез в него, подсвечивая себе фонариком.

Если в коридоре было холодно и темно, как в погребке, то здесь было темно, как в могиле, но гораздо теплее. Я встал на ноги и вдруг почувствовал, что могу выпрямиться во весь рост. Потолок исчез. Свет фонарика тонул во тьме над головой и вырывал из мрака справа и слева какие-то странные нагромождения. Впереди была пустота. Я сделал несколько шагов и принялся осматриваться. Сначала я ничего не мог понять — мне показалось, что вокруг возвышаются огромные штабеля автомобильных покрышек. Похоже было, что я нахожусь на каком-то складе. Я медленно пошел по узкому проходу между штабелями, все время озираясь по сторонам. Только через несколько минут я решился пустить в ход пальцы и ощупал ближайший штабель. Это были Пришельцы! Собственно, не сами паукообразные машины, а только их плоские округлые тела. Они лежали друг на друге, совершенно неподвижные, мало чем напоминающие те стремительные черные механизмы, которые так поражали меня своей подвижностью и энергией. Ног я не видел, должно быть, они были отвинчены или втянуты. Это действительно был обширный, тихий и темный склад. Штабеля тянулись вверх по крайней мере на три-четыре метра. Сверху из темноты неподвижными гроздьями свисали странные острые стержни.

Пока я стоял, озираясь, шаря лучом фонарика, позади послышалось металлическое постукивание. Я повернулся и увидел Пришельца — вероятно, последнего из оставшихся, — который двигался ко мне вдоль прохода. В нескольких шагах от меня он

остановился, замер в луче света, затем ловко вскарабкался наверх прямо по стене штабеля и исчез из виду. С минуту что-то шуршало и пощелкивало у меня над головой, потом наступила полная тишина, и я совершенно инстинктивно ощутил, что во всем этом, вероятно, огромном помещении, кроме меня, нет ни одного живого существа.

Странно подумать, но именно тогда я впервые почувствовал себя по-настоящему одиноким. Я побежал — буквально побежал — обратно и скоро уперся в стену. Я лихорадочно шарил по ней лучом, стараясь отыскать лаз, через который проник сюда, но его не было. На этот раз действительно не было. Я крикнул. Мой голос задрожал в теплом воздухе и погас во тьме. И в то же мгновение пол подо мной качнулся и пошел вверх. Тело налилось нестерпимой тяжестью, я зашатался и сел, а потом лег прямо на жесткий горячий пол.

Все было кончено. Свершилось. Корабль поднимался и уносил меня в неведомое. Насколько я знаю, я был первым человеком, оторвавшимся от Земли и уходящим за пределы атмосферы. Помню, я подумал об этом и испытал странное чувство облегчения оттого, что дальнейшая моя судьба уже не зависит от моей воли. Скоро, однако, мысли мои стали путаться. Мой вес увеличился раза в два (нормально я вешу, кстати, около девяноста кило), и я чувствовал себя очень неважно: мне было жарко и тяжело.

Так продолжалось не менее четверти часа. Я лежал, распластавшись, словно раздавленная лягушка, уткнувшись лицом в ладони, и считал. До ста, до тысячи, сбивался и начинал считать снова. Края консервных банок за паузой больно впивались в тело, но у меня не было сил сдвинуть их в сторону и устроиться удобнее.

И вдруг меня подбросило в воздух. Мне показалось, что я падаю, с невероятной скоростью несусь куда-то во мрак, в пустоту. Видимо, корабль стал двигаться без ускорения и наступила невесомость. Когда я понял это, мне стало легко и хорошо, я даже, кажется, рассмеялся про себя. Ведь я был настоящим межпланетным зайцем-путешественником, совсем как в романах, с невесомостью и всем прочим! Но чувство радости быстро прошло. Я висел над полом на высоте двух метров. Вокруг возвышались

молчаливые штабеля разобранных машин, черные и бесформенные, колыхалась горячая тьма, а совсем рядом, на расстоянии чуть-чуть большем, чем длина протянутой руки, висел мой фонарик. И я никак не мог дотянуться до него, хотя дергался и извивался так, что мне позавидовал бы любой гимнаст. Фонарик светил мне прямо в лицо, ослепляя, доводя до бешенства. Но я ничего не мог сделать. К тому же у меня началось что-то вроде морской болезни. Вероятно, невесомость противопоказана моему организму так же, как и удвоенная тяжесть.

Меня тошнило, кружилась голова, и в конце концов я принялся браниться и бранился до тех пор, пока не обнаружил, что сижу на полу и фонарик лежит в двух шагах от меня. «Прибыли!» — подумал я. Фонарик горел по-прежнему ярко, значит, с момента старта прошло не больше часа. Даже при моих скудных познаниях из астрономии я не мог предположить, что это займет так мало времени.

Но удивляться и раздумывать было некогда. Тьма вокруг меня пришла в движение. Что-то трещало и стрекотало над моей головой, и, подхватив фонарик, я увидел в его свете фантастическую картину самосборки Пришельцев. Черные машины на глазах обрастали изломанными стержнями лап и стремглав бросались вниз, лязгая металлом о металл. Они одна за другой проносились мимо меня, наполняя воздух озоном и горячим ветром, и исчезали во мраке. Впрочем, их было не так уж много — не больше десятка. Остальные остались лежать молчаливыми, неподвижными штабелями. Снова наступила тишина, откуда-то потянуло резким, неприятным запахом. Тут меня осенила мысль, что атмосфера на чужой планете может оказаться непригодной для дыхания. Но делать было нечего, следовало подумать о предстоящей встрече с Разумом Иного Мира. И если межпланетник из меня явно не получился, то я льстил себя надеждой, что в качестве парламентаря Земли лицом в грязь не ударю.

Я встал, подтянул брюки, стараясь придать себе по возможности respectable вид, и стал ждать появления Хозяев Пришельцев. В том, что они появятся, я не сомневался. Я был настроен бодро и почти торжественно. Ведь я представлял земное человечество, а это не шутка!.. Но проходили минуты, никто

не появлялся. Меня по-прежнему окружали мертвая тишина и душный мрак, в нос бил резкий, неприятный запах. Тогда, несколько раздосадованный, я решил отыскать дверь и выйти наружу.

Я шел и шел, светя фонариком то вперед, то себе под ноги, но стены все не было. И вдруг я заметил, что нахожусь уже не на складе Пришельцев, а в широком сводчатом тоннеле. Это меня поразило: я совсем не заметил, когда окончились ряды штабелей. Видимо, я шел не в ту сторону, хотя мне казалось, что Пришельцы пробежали именно сюда и выходной люк должен быть где-то здесь. Возвращаться не имело смысла. Рано или поздно, думал я, Хозяева Пришельцев все равно попадутся мне навстречу. Кроме того, по моим расчетам, я был уже где-то у противоположного борта корабля. Но, только пройдя по тоннелю еще несколько десятков шагов, я наконец обнаружил люк и выбрался наружу, на шершавую покатуую броню.

Я ожидал увидеть небо с незнакомыми созвездиями, огромный пустырь ракетодрома, живых людей, встречающих свой звездолет-автомат. Ничего подобного не оказалось. Вокруг была непроглядная тьма, под ногами — теплая шершавая поверхность. Больше ничего не было. Я стал соображать, сопоставлять факты — если всю эту несурзаицу называть фактами — и в конце концов пришел к заключению, что нахожусь, скорее всего, в гигантском ангаре для межзвездных кораблей. Правда, такое заключение почти ничего не объясняло, но ведь я не мог знать нравы и обычаи обитателей неведомой планеты. И раз Магомет, по-видимому, не собирается идти к горе, то лучше всего будет, если гора сдвинется с места и побредет искать Магомета.

Я сдвинулся с места и, помогая себе свободной правой рукой (в левой я сжимал фонарик), стал сползать вниз. Как это ни странно, но я больше не испытывал ни страха, ни волнения, ни прежнего острого любопытства — только нетерпеливое и сердитое желание поскорее встретиться с кем-нибудь живым. Удивительное существо — человек! Я словно забыл обо всех испытаниях, о своем фантастическом положении и вел себя совершенно так же, как запоздавший гость, который запутался среди чужих пальто в неосвещенной прихожей. Помнится, я даже брюзжал

вполголоса, называя негостеприимных хозяев звездолета невестами. Тут ноги мои соскользнули в пустоту, и я упал. Я хорошо помнил, что бока корабля отлоги, сорваться с них немислимо. Тем не менее я упал, причем упал с изрядной высоты, больно стукнулся пятками и, гремя консервными банками, повалился на бок, инстинктивно подняв руку с драгоценным фонариком. Луч света скользнул по гладкой стене, метнулся вверх и озарил плоское шершавое днище звездолета.

«Что ж, могло быть и хуже», — бодро подумал я поднимаясь.

И вдруг я увидел свет. Он был слабым, едва заметным, но сердце мое запрыгало от радости. Я погасил фонарик и глядел во все глаза, боясь потерять из виду это тусклое зеленоватое пятнышко. Затем осторожно, но быстро пошел на него, время от времени зажигая фонарик, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму. К счастью, пол в «ангаре» был ровный и шероховатый, как и в звездолете, и я ни разу не споткнулся и не оступился. Вскоре оказалось, что я иду вдоль высокой, слегка наклонной стены, в которой через каждые десять-пятнадцать метров открывались круглые и квадратные люки. Я заглянул было в один из них, но оттуда торчали лапы Пришельца, и я счел за благо не задерживаться и двинуться дальше с наивозможной поспешностью. И вот световое пятно сделалось ярче и внезапно оказалось под ногами. Свет лился из высокого узкого прохода, прорезающего стену. Я втиснулся в него и остановился в изумлении.

Прямо передо мной был просторный тоннель, освещенный довольно ярко, но необычно. В первую минуту мне показалось, что вдоль стены непрерывными рядами тянутся разноцветные витрины магазинов, как на Невском вечером, — желтые, голубоватые, зеленые, красные... Глубина тоннеля тонула в туманной фосфорической дымке, стены были прозрачны, словно стекло. Впрочем, вряд ли это было стекло. Скорее, какой-нибудь неизвестный металл или пластмасса. За стенами располагались разделенные прозрачными же перегородками камеры размером примерно пятнадцать метров каждая, а в этих камерах...

Это был музей. Точнее, это был исполинский невообразимый зверинец. От первой же камеры я шархнул, как младенец от буки. Там, наполовину погруженная в зеленовато-розовую слизь,

восседала кошмарная тварь, похожая на помесь жабы и черепахи, величиной с корову. Тяжелая плоская голова ее была повернута ко мне, пасть распахнута, под нижней челюстью судорожно трясся мокрый кожистый мешок. Она была так омерзительна, что меня затоснило. Правда, потом я привык и смотрел на нее без отвращения, только с любопытством.

В камере напротив находилось нечто вообще не поддающееся описанию. Оно заполняло всю камеру — огромное, черное, колышущееся. Пульсирующий студень, покрытый мясистыми шевелящимися отростками, плавающий в густой, плотной атмосфере, которая то вспыхивала неровным сиреневым светом, то гасла, как испорченная неоновая лампа.

И в каждой из камер в этом удивительном тоннеле-зверинце копошилось, ползало, жевало, пульсировало, металось, таранилось какое-нибудь существо. Там были слоноподобные бронированные тараканы, красные, непомерной длины тысячоножки, глазастые полурыбы-полуптицы ростом с автомобиль, и что-то невероятно расцвеченное, зубастое и крылатое, и что-то вообще неразборчивых форм, погруженное в зеленое полупрозрачное желе, разлитое по полу. В некоторых камерах было темно. Там время от времени вспыхивали разноцветные огоньки, что-то шевелилось. Не знаю, кто там сидел, в этих клетках. Вообразить все это очень трудно, а описать и рассказать — еще труднее, невозможно. Зато вы можете сравнительно легко вообразить себе Бориса Яновича Лозовского, сотрудника Государственного Эрмитажа, археолога, семейного человека, как он, пораженный, озираясь, бредет по тоннелю, и блики необыкновенных расцветок падают на его сутулую фигуру в фланелевых штанах и оттопыренной майке, на волосатую физиономию с вытаращенными бегающими глазками...

Тоннель, казалось, был бесконечным. Я насчитал пятьдесят камер, потом перестал считать. Тоннель будто тянулся по спирали, время от времени в стенах справа и слева открывались узкие проходы, заглянув в которые, я видел все те же сплошные ряды то разноцветных, то темных витрин. Иногда пробегал Пришелец, делал передо мной стойку, нелепо задрал лапы, вспыхивал белым светом и удирал прочь, стрекоча и постукивая.

Я вдруг почувствовал смертельную усталость. Ноги мои заплетались, голова разламывалась от боли. Я давно уже хотел пить, но, поскольку овец и коров найти не удалось, решил не прикасаться к своим скудным запасам как можно дольше. Теперь жажда стала нестерпимой. Несомненно, сказывались и жара, и дурной запах, к которому я, правда, как-то привык, и волнения последних нескольких часов.

С момента старта не могло пройти более полусуток, но устал я так, словно не спал по крайней мере несколько ночей подряд. И когда я забрел в «незаселенный» участок тоннеля — это была целая галерея пустых камер, не закрытых прозрачной перегородкой, чистых, сухих и совершенно темных, — то решил остановиться. Для очистки совести я покричал. Мне все еще казалось, что Хозяева меня могут услышать. Но никто не откликнулся, только где-то в тоннеле дробно простучал лапами Пришелец.

Я с наслаждением растянулся на полу и выгрузил из-за пазухи свои сокровища. Выгрузил, полюбовался ими при свете фонарика и... похолодел. Я забыл нож в кармане куртки! Это была настоящая катастрофа. Я никогда не представлял себе, до чего жалок голодный человек, имеющий консервы и не имеющий консервного ножа. Сначала я попытался вскрыть банку пряжкой ремня. Потерпев неудачу, стал бить банкой об пол и об угол перегородки. Банка потеряла первоначальную форму и покрылась трещинами, которые мне, правда, удалось расширить пряжкой так, чтобы можно было выдавливать содержимое тоненькими листочками.

Я задумчиво сосал эти листочки и неожиданно заметил, что проблема консервного ножа занимает меня как-то больше, чем Хозяева и тайны зверинца. Я повздыхал, выпил несколько глотков из фляжки и уснул.

На следующий день — или на следующую ночь, или вечером того же дня, не знаю, — я снова принялся искать Хозяев. Кроме того, я надеялся попасть в помещение, где Пришельцы держали захваченные автомобили. Ведь там могло оказаться и продовольствие, которое я вез в лагерь из Пенджикента. И вода в радиаторе. Ни автомобилей, ни продовольствия мне найти не удалось, зато в одном из тоннелей-зверинцев я, к своей радости, обнару-

жил коров и овец. Напротив камеры с огромной муравьеподобной тварью, за толстой прозрачной стеной, возлежали пегие коровки, в соседней клетке толпились овцы. Эта находка доставила мне живейшую радость, причем радость совершенно бескорыстную, потому что добраться до этих «землян» было бы совершенно невозможно. Все они чувствовали себя неплохо, хотя овцам было, пожалуй, тесновато. Впрочем, вскоре я сообразил, в чем дело. В клетках рядом я увидел: в одной — огромного тигра, в другой — желтых, беспрестанно двигающихся животных, очень похожих на собак. По-видимому, это были койоты, степные волки. В камерах этих хищников на полу были разбросаны свежие на вид кости и куски шкур, несомненно овечьих. Отсюда я сделал три довольно очевидных вывода. Во-первых, что овец Пришельцы захватили в таком большом числе в качестве временной пищи для хищников; во-вторых, что корабль Пришельцев побывал не только в Таджикистане, где, как известно, не водятся ни койоты, ни тигры. Наконец, в-третьих, что в зверинце представлен животный мир нескольких, может быть даже многих, планет, и, возможно, планет не только нашей Солнечной системы.

Я решил действовать планомерно и стал обходить тоннели, коридоры и проходы по правилу правой руки. Этот метод очень хорош для лабиринтов на Земле, но он оказался никуда не годным для небесного лабиринта. Небесный лабиринт был подвижным! На месте уже знакомых проходов я обнаруживал глухие стены. Люки возникали и исчезали словно по волшебству. Я видел, как большой ряд камер вдруг мягко и беззвучно отъехал в сторону и открыл проход, через который минутой позже выскокил Пришелец.

Вскоре я сделал удивительное открытие. Я принимал этот мир, в котором, подобно древнему философу, бродил с огоньком в поисках Человека, за помещение на другой планете, за ангар для звездолетов, за музей и в конце концов понял, что это не так.

Этот мир оказался неустойчивым. Я ощущал его движение в пространстве. Иногда вес моего тела внезапно резко увеличивался, пол уходил из-под ног, меня несло в сторону и бросало на стену. Иногда наступала невесомость. Неловко шагнув, я взмывал в воздух и болтался в таком положении, изнывая от тошноты, до

тех пор, пока невесомость не исчезала. В такие минуты в камерах зверинца можно было наблюдать смешные и жуткие картины.

Представьте себе корову, обыкновенную колхозную буренку, висящую в воздухе растопыренными ногами вверх. Поразительное зрелище! Впрочем, коровы и овцы вели себя в такой ситуации довольно спокойно, но тигр!.. Он извивался и корчился в воздухе, пытаясь дотянуться когтистой лапой до чего-нибудь твердого... А повисшая между полом и потолком исполинская жаба, похожая скорее на нездоровый сон, чем на объективную реальность! Но в общем невесомость, по-видимому, не оказывала на животных особого влияния. Как только тяжесть становилась нормальной, все входило в обычную норму.

Некоторых гадов невесомость приводила в бешенство. Мне довелось наблюдать бунт огромной змееподобной твари. Она сворачивалась тугим клубком и, распрямляясь, с силой била покрытым роговой оболочкой хвостом в стену соседней камеры. Грохот ударов я услышал из другого конца коридора. Это было до жути красиво: в голубом мерцающем тумане разворачивался и свивался гигантский дракон. От ударов подпрыгивал пол под ногами. На моих глазах стена расседалась, покрываясь длинными, извилистыми трещинами.

Я увидел, как в соседнюю камеру, где сидели два больших черных существа, похожих на грибы с глазами, пополз голубой дым и «грибы» начали корчиться, судорожно и беспомощно скакать по камере. Затем в камере бунтовщика вдруг погасло голубое сияние, и в наступившей полутьме стали медленно опускаться, тяжело колыхаясь, клубы белесого пара. Тяжелые удары сразу стихли. Бунт окончился. Потом мне довелось увидеть этого змея еще раз. Его поместили в другую камеру, где он и сидел вполне тихо и прилично. А грибов с глазами я больше так и не видел. Их камера опустела, свет в ней погас. Заглядывая туда, я видел быстро перемещающиеся тени. По-моему, это были Пришельцы. Думаю, они чинили стену.

Но я отвлекся. Короче говоря, я довольно скоро заподозрил, что нахожусь на огромном межпланетном корабле, несущемся в пространстве. Особенно ясно мне это стало, когда однажды меня швырнуло вдоль коридора с «витринами» и я пролетел метров

двадцать, размахивая руками и тщетно пытаясь обрести равновесие, пока не споткнулся о какой-то предмет и не покатился по шершавому полу. Это событие напомнило мне аналогичный случай в ленинградском автобусе, где я совершенно так же летел вдоль прохода между креслами, срывая с сидящих шляпы. Аналогия была полная. Между прочим, предмет, о который я споткнулся, оказался Пришельцем, прильнувшим к полу. Ему удалось удержаться, хотя я до сих пор не понимаю, каким образом.

Проводив глазами Пришельца, бодро ускакавшего вдоль коридора, и потеряв свои садины, я уселся в позу Будды и стал думать. Все получалось как-то неутешительно.

Если бы это был ангар для звездолетов, как я думал вначале, или музей-зверинец, как я думал потом, мне в конце концов удалось бы выбраться отсюда под небо чужой планеты. Но нет, это был космический корабль в движении, корабль, все время меняющий режим полета, с необъяснимой для меня подвижной планировкой внутреннего пространства. За бортом его могла быть только пустота.

Оставалось еще два вопроса: есть ли на корабле мыслящие существа и сколь долго этот межзвездный скиталец (я имею в виду корабль) собирается витать в пространстве? Естественно, оба эти вопроса повисли без ответа.

У меня оставалось еще с четверть фляги воды и последняя банка консервов. Эту банку, кстати, еще предстояло открыть, а вода уже начала портиться. Во всяком случае, пахло от нее болотом и головастиками. Я сидел, скрестив ноги, посреди тоннеля, и справа от меня в полутемной камере фантастическими огнями мерцало какое-то чудовище, а слева корова с глупыми глазами задумчиво лизала прозрачную стену своей клетки.

Было очень тихо. Дальний конец коридора тонул во мраке, и на полу неподвижно лежали разноцветные яркие блики. Я впервые заметил, что потолок коридора тоже прозрачен: в одном месте его пересекала светящаяся полоса, и я успел заметить растопыренную тень Пришельца, скользнувшую поперек этой светлой полосы. Я попытался представить себе это грандиознейшее создание Разума — звездолет, управляемый механическим мозгом, заполненный сложнейшими механизмами, протянувшийся на

сотни метров от меня вверх и вниз, вправо и влево. «Неужели здесь нет ни одного живого носителя мысли? — подумал я. — Не может быть. Тысячи тонн прозрачного металла, сотни паукообразных машин — и ни одного Человека?» Это можно было вообразить, но в это было очень трудно поверить. Каких-нибудь десять дней назад я мог себе представить такой огромный космический корабль, но ни за что не поверил бы в него. Теперь я видел бесконечные прозрачные коридоры и трогал рукой шершавый, чуть теплый пол, доверял своей руке, но не мог представить себе, что, кроме меня, здесь, может быть, нет ни одного Человека.

От этих мыслей меня отвлекла корова, которая перестала вдруг облизывать стену, отошла в глубь камеры и принялась лизать из прозрачной лохани. Я с особой остротой почувствовал свое пересохшее горло и голод. И тут меня осенило. Я вскочил и побежал по коридору, ругаясь во весь голос. Я обзывал себя болваном и кретином. Мне нужно было подумать об этом раньше, гораздо раньше. Мне нужен был Пришелец. Любой. Но как можно скорее: у меня не хватало терпения ждать.

Я быстро нашел Пришельца. «Паук» стоял в полутемном зале у стены и копался передними ногами в черном нешироком отверстии. На меня он не обратил никакого внимания. Он имел вид очень занятой и неприветливый, но я все-таки позвал его и, когда это не помогло, шлепнул по спине и обжег руку. Пришелец поднял две ноги и принял свою обычную позу, не переставая в то же время копать в черной дыре, где время от времени вспыхивали и гасли длинные голубые искры. Совершенно нельзя было понять, где у него передние, а где задние ноги, и, немного поколебавшись, я решился. Я сунул руку за пазуху, вытащил консервную банку и поставил на пол.

Я сказал:

— Вот. Хватай, дружище, и тащи на склад.

Я надеялся, что Пришелец утащит банку и присоединит ее к прочим земным предметам, а уж я буду за ним бежать хоть по всему кораблю, но найду этот склад, и тогда все станет проще и легче. Но Пришелец некоторое время стоял неподвижно, потом взял банку, повертел ее в лапах и снова поставил на пол. Я был разочарован.

— Ну, что же ты? — сказал я.

Пришелец безмолвствовал.

— В чем дело? — спросил я.

Пришелец звонко щелкнул, захлопнул какую-то дверцу и, так сказать, не оборачиваясь, удалился. Тогда я взял банку и немедленно убедился, что она вскрыта. Собственно, она была перерезана поперек, и верхняя половина отделилась от нижней, а нижняя осталась на полу. Упоительный аромат лососины наполнил воздух, и я не выдержал. Я взял половину банки и опорожнил ее. Потом я хлебнул протухшей воды из фляжки и почувствовал себя самым довольным человеком во Вселенной. Можно было снова приниматься за поиски.

Для начала я двинулся вдоль стены, потому что в конце концов мне было все равно, куда идти, и скоро наткнулся на Пришельца, по-моему, на того же самого. Во всяком случае, этот тоже копался в стене, озаряемый голубыми искрами. Я подошел к нему и сказал: «Спасибо». Я сказал это совершенно серьезно, хотя мне больше понравилось бы, если бы Пришелец помог мне найти склад. Потом я сел рядом с ним на корточки и стал наблюдать.

Пришелец щелкал, вспыхивал, и я пытался понять, что он делает, но так и не понял. Пришелец кончил работу, и мы посмотрели друг на друга. То есть я посмотрел на него. Куда смотрел он, понять было трудно. И тогда я стал с ним говорить. Я говорил с ним так, как скучающий человек беседует с собакой. Сначала я болтал просто: экий ты, братец, умница, и какой же ты у нас послушный, и как же тебя зовут... и так далее. Он не уходил, и тогда я по какому-то вдохновению принялся ему рассказывать о Земле, о людях, о себе и об археологии. Я говорил долго, и он все стоял и слушал, неподвижный, как изваяние, и вдруг я заметил, что рядом стоят, собравшись вокруг меня, еще штук пять Пришельцев.

Тогда я понял. Они слушали и вели запись. И я встал. Я собрался с мыслями и заговорил. Это была не первая моя лекция, но такой лекции я еще не читал никогда. Впервые за несколько дней я чувствовал, что делаю действительно полезное. Еще бы — ведь через Пришельцев я обращался к неведомым Хозяевам всех этих машин.

Я рассказывал о Земле и о человечестве, о войнах и революциях, об искусстве и об археологии, о великих стройках и великих планах. Я попытался было рассказать о достижениях наших точных наук, но боюсь, что в этой части моя лекция имела несколько расплывчатый характер. И я не смог заставить себя рассказать об атомных и водородных бомбах и ядовитых газах. Почему-то мне стало стыдно... Обо всем остальном я рассказывал подробно и с увлечением. Я думаю, что, если Хозяева расшифруют эту запись — а в этом сомневаться не приходится, — они будут довольны. По крайней мере, они будут знать, что их машины столкнулись с братьями по Разуму.

Когда я кончил и сказал: «Вот и все», Пришельцы еще стояли немного, потом разом вспыхнули и, пока я протирал глаза, исчезли все до единого.

Некоторое время я ходил по коридорам под впечатлением этого события. Я был очень горд собой и перестал смотреть на Пришельцев с опаской. Для меня они теперь были чем-то вроде почтовых ящиков, которым я доверил свое послание другому человечеству. Это не значит, конечно, что я перестал восхищаться этими замечательными механизмами. Но я просто вдруг как-то всем существом своим осознал, что это всего лишь механизмы. Очень хитроумные, но неизбежно ограниченные, как и все механизмы.

Но, разумеется, выполнение моей миссии не облегчило моего положения. Я исходил, как мне казалось, весь этаж и не нашел ничего нового. Я даже не нашел способа подняться куда-нибудь выше. Зато я доел консервы и очень скоро начал голодать по-настоящему.

Я шатался у камер земных животных, подолгу простаивал перед ними, жадно глядя, как койоты раздирают куски чего-то бело-розового и лакают воду. Да, на корабле была пища и была вода. В загоне осталось всего три овцы, их, вероятно, решили сохранить, и теперь хищники питались какой-то другой пищей, может быть синтетической. Пища и вода были на корабле, это я твердо знал.

Однажды я попал в широкий и низкий коридор, в щель, по которой ходить можно было только согнувшись. Я заполз в нее

довольно далеко, и вдруг впереди послышались знакомое стрекотание и металлический лязг. Навстречу мне бежали двое Пришельцев. Обычно они ходили поодиночке, но меня поразило не это. Они тащили на себе какой-то предмет, длинный и белесый, похожий на обтесанное бревно. И от этого бревна пахло... — не знаю, как описать этот запах, да я уже и не помню его, — пахло пищей. Пришельцы несли пищу. И когда белый пахучий предмет поравнялся со мной, я прыгнул на него. Я рвал его к себе, мял, навалился на него всей тяжестью. Пришельцы продолжали нестись вперед, не обращая на меня внимания, и проволокли меня метров десять. Затем я упал. В руках у меня остался большой кусок мягкого ароматного вещества, похожего на брынзу. Пришельцы убежали своей дорогой, а я тут же, не сходя с места, устроил себе пиршество. Кажется, было очень вкусно.

Впоследствии я совершал такие грабежи еще несколько раз. Пришельцы этого, кажется, не заметили. Два раза я наедался до отвала. На третий раз мне досталась такая гадость... Она явно не предназначалась для «землян». Пахла нашатырным спиртом и еще чем-то вроде нефти. Так или иначе, особых мук голода я не испытывал. Зато жажда...

Я как зеницу ока хранил последние глотки воды. Но наступил час, когда я не выдержал и выпил все досуха. Я швырнул флягу в темноту. Она, я думаю, и сейчас еще лежит там. По моему подсчету, это случилось примерно на десятый или одиннадцатый день. У меня остался только фонарик с последней, наполовину использованной батареейкой и ком синтетической пищи, похищенной у Пришельцев.

Очень скоро мне стало совсем плохо. Я умирал от жажды. Кроме того, синтетическая пища была не очень доброкачественная. Во всяком случае, та, что воняла нефтью, мне не понравилась. Одним словом, случилось так, что у меня подкосились колени, закружилась голова и я повалился на пол прямо посреди коридора.

И тут произошла странная вещь. Меня с самого начала занимала мысль, почему Пришельцы, похитившие меня на вершине тепе, перестали обращать на меня внимание, как только рассмотрели получше. Вертолет утащил меня, когда я на четвереньках

взбирался по крутому склону. Я тогда не успел ничего понять: внезапный рев моторов, толчок в спину, жесткие клещи, стиснувшие мои бока, и тьма. Я успел только взреветь дурным голосом и ощутить запах озона, и потом — снова свет, я уже на посадочной площадке Пришельцев.

Но здесь, на огромном безжизненном корабле, я кое в чем разобрался. По-видимому, Пришельцы были натасканы, если можно так выразиться, только на неразумных существ, на все, что ползает, карабкается, бежит на четырех конечностях. Иначе я не берусь объяснить тот факт, что Пришельцы, совершенно не замечавшие меня, пока я был способен держаться прямо, проявили такую поразительную активность, стоило мне опуститься от слабости на карачки. Сквозь шум в ушах я слышал их топот и стрекотание, в луче фонарика я увидел, что они собрались небольшой группкой и вдруг бросились на меня. Они схватили меня за бока и куда-то потащили. Они обжигали, как раскаленная печка, к тому же от запаха озона мне стало лучше, я рванулся и попытался подняться. Это мне удалось, и как только я выпрямился, встал на обе ноги и заговорил с ними (не помню, что именно я сказал, кажется: «Да что вы, ребята!»), они меня сразу отпустили и стали кружком, оживленно стрекоча. Вот тут я начал кое-что понимать. Пока я держался на ногах, я для них был Хозяин, Хомо Сапиенс Эректус, существо, им не подотчетное, Властелин Всего Сущего. Но, опустившись на четвереньки, я моментально превращался в животное, которое надо хватать, заточать в клетку, изучать и... кормить и поить. Это последнее соображение заставило меня сильно призадуматься.

Но я не пошел на это. Мне страшно хотелось пить, я был голоден, я ослабел, но на это не пошел. Сидеть по соседству с коровами, жиреть и жевать жвачку?.. При всей соблазнительности этой мысли она внушала мне отвращение и ужас.

В тот момент я особенно сильно, как никогда сильно, почувствовал себя Человеком. Я выпрямился, выпятил грудь и рявкнул на Пришельцев. Я крикнул им, чтобы они убрались. И они убрались. Поглазели, пострекотали и убрались.

Жажда, нервное утомление, мерзкий запах, смертельная усталость делали свое дело. Кажется, у меня начался бред. Я вдруг

вообразил, что нахожусь на борту исполинского межпланетного «Летучего Голландца», что Пришельцы — это механические призраки своих давно умерших Хозяев, некогда проклятых за какое-то чудовищное преступление, что где-то в недрах этого корабля скрывается дух их капитана, марсианского ван Стратена или ван дер Декена, обреченного за непостижимые грехи свои на вечные скитания в космических безднах. Это было в последние дни моего пребывания на корабле. И именно в эти последние дни я сделал самые замечательные открытия.

В своих бесплодных поисках Человека и воды я забрел в одну из пустующих камер. Помню, это было в совершенно незаселенном тоннеле. Там было темно и жарко. Луч фонарика скользнул по стене, и меня словно током ударило. Мне показалось, что я сошел с ума окончательно. На стене я увидел грубое изображение большой птицы с распростертыми крыльями и короткую надпись. Надпись состояла всего из семи знаков, написанных строчкой, криво и небрежно. Птица была намалевана какой-то густой засохшей краской, она резко выделялась на серой стене. Буквы были выцарапаны чем-то острым. Представляете мои ощущения? Я стремглав бросился вон. Я бежал по коридорам. Я с новой силой и надеждой принялся за поиски себе подобного. Не знаю почему, но я был уверен, что найду его, хотя надпись и рисунок могли быть сделаны тысячи лет назад. Очень скоро я ослабел и свалился без памяти, а когда очнулся, то уже не мог найти ту камеру. Меня тянуло туда, но... Впрочем, меня ждало еще одно открытие, более значительное и более странное.

Не помню, как я забрался в низкий длинный тоннель, который привел меня к колодцу, к настоящей бездонной пропасти. Я лежал на краю и с тупым любопытством вглядывался в черную глубину, из которой поднимались волны горячего смрада. Мне казалось, что внизу двигаются огоньки, вспыхивают яркие белые искры. Я устроился поудобнее, раздвинув локти и положив подбородок на кулаки, и вдруг локоть мой погрузился во что-то мягкое. Я с трудом поднялся и осветил. Рядом лежал труп. Точнее, мумия — иссохшее черное тело человека. Он лежал на самом краю колодца, сжавшись в комок, подтянув колени к голове. Маленький, высохший, обутленный...

Я долго смотрел на него, стараясь сообразить, бред это или действительность. Потом решился и дотронулся дрожащей от слабости рукой до руки мертвеца. Она распалась в пыль, и под кучкой черного праха блеснул металл: это был странный амулет, маленькая тяжелая платиновая статуэтка, трехпалый человек. Я взял его, аккуратно очистил от пепла и сунул за пазуху. Он мало интересовал меня в тот момент. Я сидел и смотрел на черную мумию и видел свой собственный конец. Я понял, что надеяться мне больше не на что. Я мысленно видел этого маленького человечка, когда он еще был жив, полон сил и настоящего человеческого любопытства, когда он, так же как и я, попытался проникнуть в тайну чужого звездолета. Наверное, это случилось очень давно.

Когда? Кто он? Какие образы вставали перед его глазами? Кто не дождался его возвращения?..

О последних днях или часах моего пребывания на звездолете у меня сохранились только очень смутные воспоминания. Вероятно, уже тогда я был болен. И, возможно, то, что я сейчас расскажу, просто мерещилось мне.

Кажется, я сидел в огромном зале, полном каких-то сложных блестящих машин. Странные ощущения владели мною. Я слышал голоса и громкую, ритмичную музыку. И я чувствовал, что кто-то глядит мне в глаза. Не знаю, как объяснить это: я чувствовал взгляд, но я не видел глаз. Не знаю, почему я их не видел: может быть, они были за бесчисленные миллионы километров от меня, а может быть, их и вообще не было... Но взгляд был — внимательный, пристальный, удивленный. Не помню, сколько это продолжалось. Появились Пришельцы и осторожно подняли меня. Я повиновался. Я был ужасно слаб и едва держался на ногах. Меня понесли куда-то. Потом была тьма, невесомость, рев моторов и свежий, знакомый, бесконечно родной ветер Земли на лице...

В этот момент я ненадолго пришел в себя и понял, совершенно инстинктивно понял, что происходит. Я понял, что меня возвращали на Землю. Пришельцы по приказанию Хозяев возвращали на Землю двуногое разумное существо, проникшее к ним без спросу, не взвесившее своих сил и возможностей. И я решил, что всё — мои планы, намерения, — все, что мне удалось, шло к

черту. Я стал отбиваться. Ого, как я отбивался! Я кричал, я умолял вернуть меня на корабль, показать меня Хозяевам... Последнее, что я запомнил, — это рев моторов вертолета, ослепительная вспышка и ощущение сырости и холода.

Дальнейшее известно. Меня подобрала военная, случившись неподалеку, отправили в госпиталь. Это я узнал уже позже, когда очнулся и окончательно оправился. Я был без сознания почти полгода. У меня нашли сильное истощение организма, двустороннее воспаление легких, мозговую горячку и еще что-то. Врачи не могли определить эту болезнь. Подозреваю, что я подхватил ее на корабле.

Но я выздоровел. Выздоровел и вспомнил, когда мне кое о чем рассказали. Вот и все.

Мои приключения не пропали зря. Говорят, я очень помог Сталинабадской комиссии. Кроме того, я убедился, что меня любит жена, ценят друзья и не понимают машины. Думаю, это знание пригодится мне в дальнейшем... если мне посчастливится снова попасть в конус к Пришельцам. Между прочим, теперь я не расстаюсь с консервным ножом. Чертовски полезная вещь! Им, помимо всего прочего, весьма удобно разрезать книги.

Но какая жалость, что это были только машины!

Выдержки из протокола заключительного заседания Сталинабадской комиссии

...Не приходится сомневаться, что Пришельцы были посланы на Землю с чисто исследовательскими целями.

Черные Вертолеты и паукообразные машины либо не были вооружены, либо не пускали оружия в ход. Вообще следует подчеркнуть, что Пришельцы вели себя по отношению к людям чрезвычайно осмотрительно. Случаев ранений или увечий не было. Лозовского высадили на Землю очень осторожно. Реальный ущерб, причиненный Пришельцами, невелик, и неразумно было бы рассматривать похищение нескольких автомобилей, коров и овец как враждебные действия...

Пришельцы наблюдались на Земле три дня: четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого августа 19... года, причем «пауков»

видели немногие. Черные Вертолеты появлялись над всеми крупными населенными пунктами в радиусе ста пятидесяти—двухсот километров от посадочной площадки. Один из них был перехвачен нашими самолетами недалеко от афганской границы. На предложение следовать к аэродрому он, конечно, не ответил, и летчики были вынуждены обстрелять его. Они своими глазами видели вспышки бронебойных снарядов на его черном корпусе. Через несколько секунд вертолет вдруг с невероятной быстротой нырнул в сторону и камнем упал в какое-то ущелье, затанутое густыми облаками.

Летчики были убеждены, что он разбился, но из записок Лозовского известно, что ему удалось благополучно вернуться к звездолету. Это был единственный случай вооруженного столкновения с Пришельцами, причем огонь открыли люди...

В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое на территории Средней Азии и Северного Афганистана на несколько часов перестала действовать радиосвязь. Несомненно, что это следствие ночной деятельности Пришельцев, описанной Лозовским...

По-видимому, паукообразные машины представляют собой так называемые УЛМНП — Универсальные Логические Машины с Неограниченной Программой, то есть кибернетические механизмы, способные в любой ситуации совершать действия, наиболее логичные и целесообразные с точки зрения их основной программы. Гипотеза о возможности создания таких машин была недавно выдвинута Институтом теории информации АН СССР. Многие остаются неясным. Непонятно, каким источником энергии они пользуются, какова их принципиальная схема. Непонятно, каким образом удалось сочетать такую сложность и такую мощность с малыми габаритами. О таких совершенных механизмах мы можем пока только мечтать...

Следует отвергнуть мнение, что Хозяева Пришельцев строили паукообразные машины по своему образу и подобию. Исходя из самых общих соображений, а также из того, что эти машины реагируют на человека, следует считать, что Хозяева не очень отличаются от людей...

Обращается внимание на описание Пришельца с глазами. Каково бы ни было назначение этих приспособлений, два чер-

ных «глаза» должны быть окрашены в оттенки ультрафиолетового цвета, кажущиеся человеку черными. Вероятно, Хозяева различают только пять цветов, из которых мы, люди, видим только три...

Приходится признать, что создатели звездолета и паукообразных машин сильно обогнали нас в области техники и теории кибернетики...

Рассказ Лозовского приводит нас к представлению об исполинской космической лаборатории, запущенной в межзвездное пространство неведомо кем и неведомо когда. Эта лаборатория необитаема, она снаряжена весьма сложными кибернетическими устройствами с чрезвычайно сложной и подробно разработанной программой. Лаборатория передвигается от звезды к звезде, фиксирует ее физические характеристики и в том случае, если звезда имеет планетную систему, проводит исследование каждой планеты, забрасывая на ее поверхность автоматические разведчики-конусы с паукообразными машинами для сбора материала — проб атмосферы и почвы, образцов флоры, фауны, минералов. Для этого лаборатория становится временным спутником планеты и обращается вокруг нее до тех пор, пока не получены все сведения, запланированные программой. Если планета населена разумными обитателями, захватываются и образцы орудий труда, техники и культуры, но ни в коем случае не берутся сами разумные обитатели. Как машины отличают разумное существо от других видов животных, непонятно. Возможно, некоторый свет на это проливает мнение Лозовского, однако такое мнение неубедительно...

Радиометрическое исследование посадочной площадки Пришельцев не обнаружило никаких признаков повышенной радиоактивности. По-видимому, двигатели звездолета-конуса основаны на другом принципе, нежели ядерный распад или ядерный синтез. В общем, многие признаки говорят о том, что Хозяева используют виды энергии, еще неизвестные земному человечеству...

Наличие силы тяжести в космической лаборатории заставляет предполагать либо собственное вращение лаборатории, либо умение создавать искусственные гравитационные поля...

Тот факт, что звездолет был оснащен такими превосходными машинами, говорит о том, что Пришельцы прибыли издалека, скорее всего, с другой планетной системы. На ближайших планетах мы, наверное, смогли бы обнаружить следы цивилизации, способной создать подобные механизмы.

Вероятно, Пришельцы были посланы с одной из ближайших звезд, хотя не исключено, что гигантская лаборатория странствует в Космосе тысячелетия или даже десятки тысяч лет и запущена из весьма отдаленного уголка Вселенной. В пользу последнего предположения свидетельствует изобилие и разнообразие образцов флоры и фауны...

Пока неизвестно, с какого времени космическая лаборатория является спутником Земли и остается ли она спутником Земли в настоящее время. Не исключено, что именно ее обнаружили несколько лет назад астрономы Афинской обсерватории в созвездии Ориона. Почти наверняка ее наблюдала Тер-Марукян, молодая сотрудница Симеизской обсерватории. Лаборатория представлялась очень слабым объектом девятой звездной величины, была видна всего одну ночь и получила пророческое название — «Черный спутник». Тер-Марукян решила, что это обломок американской ракеты-носителя, взорвавшейся в мае в верхних слоях стратосферы. Данные наблюдений позволили определить, что орбита его сильно вытянута, перигейное расстояние составляет около десяти тысяч, апогейное — миллион километров, период обращения — около сорока суток. Однако на следующую ночь обнаружить его на вычисленной орбите не удалось...

Трудность наблюдения космической лаборатории заключается в том, что она, по-видимому, во-первых, время от времени производит передвижения собственным ходом, во-вторых, окрашена в серый или черный цвет. Вдобавок материал, из которого сделана ее оболочка (как и оболочка разведчика-конуса), несомненно поглощает радиоволны, что очень затрудняет наблюдение ее средствами радиоастрономии и радиолокации...

Не выяснено, почему в корабле существует атмосфера, состоящая в значительной степени из воздуха. Она спасла Лозовского, но механическим Пришельцам она, очевидно, не нужна.

Может быть, возможность появления на борту разумного существа была предусмотрена программой кибернетического «мозга», который управляет лабораторией?..

Чье тело нашел Лозовский в лаборатории? Как, когда и откуда попал в лабораторию человек с амулетом? Когда и где взяты странные существа, населяющие «зверинец»? Для чего они нужны Пришельцам? Куда направит путь лаборатория, покинув Землю (если она еще обращается вокруг Земли)? Не является ли она остроумно устроенным разведчиком, космическим лóтом, за которым последует визит Разума Другого Мира?..

Представляют интерес последние видения Лозовского, которые сам он считает бредом. Принимая во внимание исполнительский уровень техники звездолета и паукообразных машин, комиссия не считает совершенно невероятным наличие у Хозяев Пришельцев средств коммуникации, принципы которых нам пока неизвестны. И возможно, именно благодаря этому Разумные Хозяева Пришельцев открыли местопребывание Лозовского на корабле и вернули его на Землю...

На основании вышеизложенного Сталинабадская комиссия настоятельно рекомендует всем астрономическим обсерваториям мира, и прежде всего обсерватории СССР, немедленно организовать регулярные поиски неизвестного спутника Земли патрульными оптическими и радиоастрономическими средствами...

Героическая попытка Лозовского договориться с машинами в отсутствие их Хозяев была, конечно, заранее обречена на провал. Но он сделал громадное дело: он узнал и рассказал. Несомненно, это был большой подвиг, достойный советского ученого, представителя Человечества с большой буквы...

ШЕСТЬ СПИЧЕК

1

Инспектор отложил в сторону блокнот и сказал:

- Сложное дело, товарищ Леман. Очень странное дело.
- Не нахожу, — сказал директор института.
- Не находите?
- Нет, не нахожу. По-моему, все ясно.

Директор говорил очень сухо, внимательно разглядывая пустую, залитую асфальтом и солнцем площадь под окном. У него давно болела шея, на площади не происходило ровно ничего интересного. Но он упрямо сидел отвернувшись. Так он выражал свой протест. Директор был молод и самолюбив. Он отлично понимал, что имеет в виду инспектор, но не считал инспектора вправе касаться этой стороны дела. Спокойная настойчивость инспектора его раздражала. «Вникает! — думал он со злостью. — Все ясно, как шоколад, — но вникает!»

— А мне вот не все ясно, — вздохнул инспектор.

Директор пожал плечами, взглянул на часы и встал.

— Простите, товарищ Рыбников, — сказал он, — у меня через пять минут семинар. Если я вам не нужен...

— Пожалуйста, товарищ Леман. Но мне хотелось бы поговорить еще с этим... «личным лаборантом». Горчинский, кажется?

— Горчинский. Он еще не вернулся. Как только вернется, его сейчас же пригласят к вам.

Директор кивнул и вышел. Инспектор, прищурившись, поглядывал ему вслед. «Легковат, голубчик, — подумал он. — Ладно, дойдет очередь и до тебя».

ШЕСТЬ СПИЧЕК

Но очередь до директора еще не дошла. Сначала следовало разобраться в главном. На первый взгляд действительно все было как будто ясно. Инспектор Управления охраны труда Рыбников уже сейчас мог бы приняться за «Отчет по делу Комлина Андрея Андреевича, начальника физической лаборатории Центрального института мозга». Андрей Андреевич Комлин производил над собой опасные эксперименты и уже четвертый день лежит на больничной койке в полусне-полубреду, запрокинув щетинистый круглый череп, покрытый странными кольцеобразными синяками. Говорить он не может, врачи вводят в его организм укрепляющие вещества, и на консилиумах часто и зловеще звучат слова: «сильнейшее нервное истощение», «поражение центров памяти», «поражение речевых и слуховых центров...»

В деле Комлина инспектору было ясно все, что могло интересовать Управление охраны труда. Неисправность аппаратуры, небрежное с ней обращение, неопытность работников — все это здесь ни при чем. Нарушений правил безопасности — во всяком случае, в общепринятом смысле — не было. Наконец, Комлин проводил опыты над собой втайне, и никто в институте ничего об этом не знал, даже Александр Горчинский, «личный» комлинский лаборант, хотя некоторые сотрудники лаборатории держатся на этот счет другого мнения.

Инспектор был не только инспектором. Чутьем старого научного работника он ощущал, что за отрывочными сведениями о работе Комлина, которыми он располагал, за странным несчастьем с Комлиным кроется история какого-то необычайного откровения. Перебирая в памяти показания сотрудников лаборатории, он убеждался в этом все больше.

За три месяца до несчастья лаборатория получила новый прибор. Это был нейтринный генератор, устройство для создания и фокусировки пучков нейтрино. Именно с появлением нейтринного генератора в физической лаборатории и началась цепь событий, на которые своевременно не обратили внимания те, кому это следовало сделать, и которые привели в конце концов к большой беде:

Именно в это время Комлин с видимой радостью переложил всю работу по незаконченной теме на своего заместителя, заперся в комнате, где был установлен нейтринный генератор, и занялся,

как он объявил, подготовкой серии предварительных опытов. Это продолжалось несколько дней. Затем Комлин неожиданно покинул свою келью, совершил, как обычно, обход лаборатории, произвел три публичных разнosa, подписал бумаги и засадил заместителя писать полугодовой отчет. На другой день он вновь заперся в «нейтриннике», прихватив с собой на этот раз лаборанта Александра Горчинского.

Чем они там занимались, стало известно лишь недавно, за два дня до несчастного случая, когда Комлин (совместно с Горчинским) сделал замечательный, «потрясший основы медицины» доклад о нейтринной акупунктуре. Но в течение трех месяцев работы с генератором Комлин трижды привлек внимание сотрудников.

Началось с того, что в один прекрасный день Андрей Андреевич обринулся наголо и появился в лаборатории в черной профессорской шапочке. Сам по себе этот факт, возможно, и не запомнился бы, но через час из «нейтринника» выскочил всклокоченный и бледный Горчинский и, по чьему-то образному выражению, «роняя шкафы», кинулся к лабораторной аптечке. Выхватив из нее несколько индивидуальных пакетов, он в том же темпе вернулся в «нейтринник», захлопнув за собой дверь. При этом один из сотрудников успел заметить, что Андрей Андреевич стоял у окошечка, сияя голым черепом и придерживая правой рукой левую. Левая рука была измазана чем-то темным, вероятно кровью. Вечером Комлин и Горчинский тихо вышли из «нейтринника» и, ни на кого не глядя, прошли к выходу из лаборатории. Оба имели довольно удрученный вид, причем левая рука Комлина была обмотана бинтом.

Запомнилось и другое. Месяц спустя после этого происшествия младший научный сотрудник Веденеев встретил Комлина вечером в уединенной аллее Голубого парка. Начальник лаборатории сидел на скамейке с толстой, потрепанной книгой на коленях и что-то бормотал вполголоса, уставившись прямо перед собой. Веденеев поздоровался и присел рядом, Комлин сейчас же перестал бормотать и повернулся к нему, странно вытягивая шею. Глаза у него были «какие-то такие», и Веденееву захотелось немедленно удалиться. Но уходить сразу было неудобно, поэтому Веденеев спросил:

— Читаете, Андрей Андреевич?

— Читаю, — сказал Комлин. — Ши Най-ань, «Речные заводы».

Очень интересно.

Веденеев по молодости лет почти не был знаком с китайской классикой и почувствовал себя еще более неловко, но Комлин вдруг захлопнул книгу, сунул ее Веденееву и попросил раскрыть наугад. Слегка смущенный, Веденеев повиновался. Комлин взглянул на страницу («один раз, мельком»), кивнул и сказал:

— Следите по тексту.

И принялся обычным своим звонким и ясным голосом рассказывать о том, как некто Ху Янь-чжо, взмахнув стальными плетками, ринулся на неких Хе Чжэня и Се Бао и как некто «Коротколапый тигр» Ван Ин и его супруга «Зеленая»... Тут только Веденеев понял, что Комлин читает страницу наизусть. Начальник лаборатории не пропустил ни одной строчки, не перепутал ни одного имени, пересказал все слово в слово и букву в букву. Закончив, он спросил:

— Были ошибки?

Ошеломленный Веденеев потряс головой. Комлин захохотал, забрал у него книгу и ушел. Веденеев не знал, что подумать. Он рассказал об этом случае некоторым из своих товарищей, и те посоветовали ему обратиться за разъяснениями к самому Комлину. Однако Комлин встретил вопрос Веденеева с таким искренним изумлением, что Веденеев, замявшись, перевел разговор на другую тему.

Но наиболее странными казались события, имевшие место буквально за несколько часов до несчастья.

В тот вечер Комлин, веселый, остроумный, славный, как никогда, показывал фокусы. Зрителей было четверо: Александр Горчинский, небритый и влюбленный в начальника, как девчонка, и молоденькие девушки-лаборантки — Лена, Дуся и Катя. Девушки задержались, чтобы закончить сборку схемы для завтрашней работы.

Фокусы были занимательные.

Для начала Комлин предложил кого-нибудь загипнотизировать, но все отказались, и Андрей Андреевич рассказал анекдот о гипнотизере и хирурге. Потом он сказал:

— Леночка, сейчас я буду отгадывать, что ты спрячешь в ящик стола.

Из трех спрятанных вещей он отгадал две, и Дуся сказала, что он подсматривает. Комлин возразил, что он не подсматривает, но девушки принялись над ним подшучивать, и тогда он заявил, что умеет взглядом гасить огонь. Дуся схватила коробок, отбежала в угол комнаты, зажгла спичку, и спичка, разгоревшись, вдруг погасла. Все страшно удивились и посмотрели на Комлина: он стоял, скрестив руки на груди и грозно хмуря брови, в позе иллюзиониста-профессионала.

— Вот это легкие! — сказала Дуся с уважением.

От нее до Комлина было шагов десять, не меньше. Тогда Комлин предложил завязать ему рот платком. Когда это было сделано, Дуся снова зажгла спичку, и спичка снова погасла.

— Неужели вы задуваете носом? — поразились Дуся.

А Комлин сорвал платок, захотел и, подхватив Дусю, прошелся с ней вальсом по комнате.

Затем он показал еще два фокуса: ронял спичку, и она падала не вниз, а как-то вбок, каждый раз отклоняясь от вертикали вправо на довольно большой угол («Опять вы дуете...» — неуверенно сказала Дуся); положил на стол кусок вольфрамовой спиральки, и спиралька, забавно вздрагивая, ползла по стеклу и падала на пол. Все, конечно, были страшно удивлены, и Горчинский стал приставать к нему, чтобы он рассказал, как это делается. Но Комлин вдруг сделался серьезным и предложил перемножить в уме несколько многозначных чисел.

— Шестьсот пятьдесят четыре на двести тридцать один и на шестнадцать, — робко сказала Катя.

— Записывайте, — странным, напряженным голосом приказал Комлин и начал диктовать: — Четыре, восемь, один... — Тут голос его упал до шепота, и он закончил скороговоркой: — Семь — один — четыре — два... Справа налево.

Он повернулся (девушек поразило, что он как-то сразу сник, сгорбился, словно стал меньше ростом), волоча ноги пошел в «нейтринник» и заперся там. Горчинский некоторое время с тревогой смотрел ему вслед, а затем объявил, что Андрей Андреевич сосчитал правильно: если читать названные им цифры спра-

ва налево, то получится произведение — два миллиона четыреста семнадцать тысяч сто восемьдесят четыре.

Девушки работали до десяти, и Горчинский помогал им, хотя толку от него было мало. Комлин все не выходил. В десять они пошли домой, пожелав через дверь Комлину спокойной ночи. Наутро Андрея Андреевича отвезли в госпиталь.

Официальным результатом трехмесячной работы Комлина была нейтринная акупунктура — метод лечения, основанный на облучении мозга нейтринными пучками. Новый метод был необычайно интересен сам по себе, но какое отношение к нейтринной акупунктуре имела раненая рука Комлина? А необычайная память Комлина? А фокусы со спичками, спиральками и устным умножением?

— Скрывал, от всех скрывал, — пробормотал инспектор. — Не был уверен или боялся подставить товарищей под удар? Сложное дело. Очень странное дело.

Щелкнул видеофон. На экране появилось лицо секретарши.

— Простите, товарищ Рыбников, — сказала секретарша, — товарищ Горчинский здесь и ждет вашего вызова.

— Пусть войдет, — сказал инспектор.

2

На пороге появилась громадная фигура в клетчатой рубаше с засученными рукавами. Над могучими плечами возвышалась могучая шея, увенчанная головой, заросшей густыми черными волосами, сквозь которые, однако, просвечивала маленькая плешь (или даже две плещи, как показалось инспектору), — фигура двинулась в кабинет спиной. Прежде чем инспектор успел удивиться, обладатель клетчатой рубашки, продолжая пятиться, сказал: «Пожалуйста, Иосиф Петрович», — и пропустил в кабинет директора. Затем вошедший аккуратно затворил дверь, неторопливо повернулся и отвесил короткий поклон. Лицо обладателя клетчатой рубашки и странных манер было украшено короткими, но весьма пушистыми усиками и казалось довольно мрачным. Это и был Александр Горчинский, «личный» лаборант Комлина.

Директор сел в кресло и молча уставился в окно. Горчинский остановился перед инспектором.

— А вы... — начал инспектор.

— Спасибо, — прогудел лаборант и сел, упершись в колени ладонями и глядя на инспектора серыми настроженными глазками.

— Горчинский? — спросил инспектор.

— Горчинский Александр Борисович.

— Очень приятно. Рыбников, инспектор Управления охраны труда.

— Оч-чень рад, — сказал Горчинский с отягечкой.

— «Личный» лаборант Комлина?

— Не знаю, что это такое. Лаборант физической лаборатории Центрального института мозга.

Инспектор покосился на директора. Ему показалось, что у того в уголках глаз искрится ехидная улыбочка.

— Так, — сказал Рыбников. — Над какими вопросами работали последние три месяца?

— Над вопросами нейтринной акупунктуры.

— Подробнее, пожалуйста.

— Есть доклад, — веско сказал Горчинский. — Там все написано.

— А я все-таки попросил бы вас поподробнее, — сказал инспектор очень спокойно.

Несколько секунд они глядели друг на друга в упор: инспектор — багровея, Горчинский — шевеля усами. Потом лаборант медленно прищурился.

— Извольте, — прогудел он. — Можно и поподробнее. Изучалось воздействие сфокусированных нейтринных пучков на серое и белое вещество головного мозга, а равно и на организм подопытного животного в целом.

Горчинский говорил монотонно, без выражения и даже, кажется, слегка покачивался в кресле.

— ...Попутно с фиксацией патологических и иных изменений организма в целом производились измерения тока действия, дифференциального декремента и кривых лабильности — неустойчивости — в различных тканях, а также замеры относительных количеств нейроглобулина и нейростромина...

Инспектор откинулся на спинку кресла и с восхищенной яростью думал: «Ну, погоди ты мне...» Директор по-прежнему глядел в окно, дробно постукивая пальцами по столу.

— ...последние, равно как и нейрокератин... — гудел лаборант.

— А скажите, товарищ Горчинский, что у вас с руками? — спросил инспектор неожиданно. Он терпеть не мог обороны. Он любил наступать.

Горчинский глянул на свои лежащие на подлокотниках кресла исцарапанные, покрытые синими зарубцевавшимися шрамами руки и сделал движение, словно хотел сунуть их в карманы, но только медленно сжал чудовищные кулаки.

— Обезьяна ободрала... — сказал он сквозь зубы. — В виварии.

— Вы делали опыты только над животными?

— Да, я делал опыты только над животными, — сказал Горчинский, чуть выделяя «я».

— Что случилось с Комлиным два месяца назад? — Инспектор наступал.

Горчинский пожал плечами:

— Не помню.

— Я вам напомним. Комлин порезал руку. Как это случилось?

— Порезал, и все! — грубо сказал Горчинский.

— Александр Борисович! — предостерегающе сказал директор.

— Спросите у него самого.

Светлые, широко расставленные глаза инспектора сузились.

— Вы меня удивляете, Горчинский, — тихо сказал он. — Вы убеждены, что я хочу вытянуть из вас что-нибудь такое, что может повредить Комлину... или вам, или другим вашим товарищам. А ведь все гораздо проще. Все дело в том, что я не специалист по центральной нервной системе. Я специалист по радиооптике. Всего лишь. И судить по собственным впечатлениям не имею права. И поставлен на эту работу не для того, чтобы фантазировать, а для того, чтобы знать. А вы мне истерики закатываете. Стыдно...

Наступило молчание. И директор вдруг понял, в чем сила этого немолодого, упорного человека. Видимо, понял это и Горчинский, потому что он сказал наконец, ни на кого не глядя:

— Что вы хотите узнать?

— Что такое нейтринная акупунктура? — сказал инспектор.
 — Это идея Андрея Андреевича, — устало проговорил Горчинский. — Облучение нейтринными пучками некоторых участков коры вызывает появление... вернее, резкое возрастание сопротивляемости организма разного рода химическим и биологическим ядам. Зараженные и отравленные собаки выздоравливали после двух-трех нейтринных уколов. Это какая-то аналогия с акупунктурой — китайским лечением иглоукалыванием. Отсюда и название метода. Роль иглы играет пучок нейтрино. Конечно, аналогия чисто внешняя...

— А методика? — спросил инспектор.

— Череп животного выбривается, к голой коже пристраиваются нейтринные присоски... Это небольшие устройства для фокусировки нейтринного пучка. Пучок фокусируется в заданном слое серого мозгового вещества. Это очень сложно. Но еще сложнее было найти участки, точки коры, вызывающие фагоцитную мобилизацию в заданном направлении.

— Очень интересно, — совершенно искренне сказал инспектор. — И какие болезни можно так излечивать?

Горчинский ответил, помолчав:

— Многие. Андрей Андреевич полагает, что нейтринная акупунктура мобилизует какие-то неизвестные нам силы организма. Не фагоциты, не нервная стимуляция, а что-то еще, несравненно более мощное. Но он не успел... Он говорил, что нейтринными уколами можно будет лечить любое заболевание. Интоксикацию, сердечные болезни, злокачественные опухоли...

— Рак?

— Да. Ожоги... возможно, даже восстанавливать утраченные органы. Он говорил, что стабилизирующие силы организма огромны и ключ к ним — в коре головного мозга. Нужно только обнаружить в коре точки приложения уколов.

— Нейтринная акупунктура... — медленно, словно пробуя звуки на вкус, произнес инспектор. Потом он спохватился: — Отлично, товарищ Горчинский. Очень вам благодарен. (Горчинский криво усмехнулся.) А теперь будьте добры, расскажите, как вы нашли Комлина. Ведь вы, кажется, были первым, кто обнаружил его...

— Да, я был первым. Пришел утром на работу. Андрей Андреевич сидел... лежал в кресле за столом...

— В «нейтриннике»?

— Да, в помещении нейтринного генератора. На черепе у него была обойма с присосками. Генератор был включен. Мне показалось, что Андрей Андреевич мертв. Я вызвал врача. Все.

Голос Горчинского дрогнул. Это было так неожиданно, что инспектор задержался с очередным вопросом. «Так-так», — отстукивал директор, глядя в окно.

— А вы не знаете, какой эксперимент ставил Комлин?

— Не знаю, — глухо сказал лаборант. — Не знаю. На столе перед Андреем Андреевичем стояли лабораторные весы, лежало два спичечных коробка. Из одного спички были вынуты...

— Постойте. — Инспектор оглянулся на директора и снова взглянул на Горчинского. — Спички? Спички... При чем здесь спички?

— Спички, — повторил Горчинский. — Они лежали кучкой. Некоторые были склеены по две, по три. На одной чашке весов лежало шесть спичек. И там был листок бумаги с цифрами. Андрей Андреевич взвешивал спички. Это точно, я проверял сам. Цифры совпадают.

— Спички, — пробормотал инспектор. — Зачем это было ему нужно, хотел бы я знать... У вас есть хоть какие-нибудь соображения по этому поводу?

— Нет, — ответил Горчинский.

— Вот и сотрудники ваши рассказывали... — Инспектор задумчиво потер рукой подбородок. — Фокусы эти... с огнем, со спичками... Видимо, Комлин работал еще над какими-то вопросами, помимо нейтринной акупунктуры. Но над какими?

Горчинский молчал.

— И опыты над собой он делал неоднократно. У него кожа на черепе сплошь покрыта следами этих ваших присосков.

Горчинский молчал по-прежнему.

— Вы никогда прежде не замечали у Комлина способности быстро считать в уме? Я имею в виду — до того, как он показывал вам свои фокусы.

— Нет, — сказал Горчинский, — не замечал. Ничего подобного не замечал. Теперь вы знаете все, что знаю я. Да. Андрей Андреевич делал опыты над собой. Испытывал на себе нейтринную иглу-луч. Да, полоснул себя бритвой по руке... Хотел проверить на себе, как нейтринная игла заживляет раны. Не вышло... тогда. И он вел параллельно какую-то работу втайне от всех. От меня тоже. Что за работа, не знаю. Знаю только, что она связана с нейтринным облучением. Все.

— Кто-нибудь, кроме вас, знал об этом? — спросил инспектор.

— Нет. Никто не знал.

— И вы не знаете, какие эксперименты производил Комлин без вашего участия?

— Нет.

— Вы свободны, — сказал инспектор. — Можете идти.

Горчинский поднялся и, не поднимая глаз, повернулся к выходу. Инспектор глядел на его затылок. На затылке белели проплешины — не одна, а именно две, как и показалось ему в самом начале.

Директор смотрел в окно. Низко над площадью повис небольшой вертолет. Сверкая ргутным серебром фюзеляжа и тихонько покачиваясь, он принялся медленно поворачиваться вокруг оси. Сел. Откинулась дверца, из нее вылез пилот в сером комбинезоне, легко спрыгнул на асфальт и пошел к зданию института, на ходу раскуривая папироску. Директор узнал вертолет инспектора. «На заправку ходил», — рассеянно подумал он.

Инспектор спросил:

— А не ведет нейтринная акупунктура к поражению психики?

— Вряд ли, — ответил директор. — Комлин утверждает, что не ведет.

Инспектор откинулся на спинку кресла и стал глядеть в матово-белый потолок.

Директор сказал негромко:

— Горчинский уже не сможет работать сегодня. Напрасно вы так...

— Нет, — возразил инспектор, — не напрасно. И простите, товарищ Леман, вы меня удивляете. Сколько, по-вашему, у нормального человека может быть лысин? И эти шрамы на руках... До-остойный ученичок Комлина.

— Люди любят свое дело, — сказал директор.

Несколько секунд инспектор молча глядел на директора, как-то на скулах желваки.

— Плохо они его любят, — сказал он, — по старинке любят, товарищ Леман. И вы их, этих людей, плохо любите. Мы богаты. Самая богатая страна в мире. Мы даем вам любую аппаратуру, любых подопытных животных, в любом количестве. Работайте, исследуйте, экспериментируйте... Так почему же вы так легкомысленно транжирите людей? Кто вам позволил так относиться к человеческой жизни?

— Я...

— Почему вы не выполняете постановления Президиума Верховного Совета? Когда наконец прекратится это безобразие?

— Это первый случай в нашем институте, — сердито сказал директор.

Инспектор покачал головой.

— В вашем институте... А в других институтах? А на предприятиях? Комлин — это восьмой случай за последние полгода. Варварство! Варварский героизм! Лезут в автоматические ракеты, в автобатискафы, в атомные реакторы на критических режимах... — Он с трудом усмехнулся. — Ищут кратчайшие пути к истине, к победе над природой. И нередко гибнут. И вот ваш Комлин — восьмой. Разве это допустимо, профессор Леман?

Директор упрямо насутился.

— Бывают обстоятельства, когда это неизбежно. Вспомните о врачах, прививавших себе холеру и чуму.

— Эти мне исторические аналогии... Вспомните, в какое время мы живем!

Они помолчали. Близился вечер, в дальних от окон углах кабинета росли прозрачные серые тени.

— Между прочим, — сказал вдруг директор, не глядя на собеседника, — я распорядился вскрыть сейф Комлина. Мне принесли его рабочие записи. Думаю, вам тоже будет интересно ознакомиться с ними.

— Разумеется, — сказал инспектор.

— Только, — директор слабо улыбнулся, — в них слишком много... м-м... специального. Я мельком проглядел кое-что и боюсь, вам будет трудно. Я возьму их на сегодняшний вечер к себе и, если хотите, попытаюсь составить для вас конспект...

Инспектор откровенно обрадовался.

— Только не возлагайте на меня больших надежд,— поспешно предупредил директор.— Эти нейтринные иглы... Это было для всех как гром среди ясного неба. Никто и представить себе не мог чего-либо подобного. Комлин здесь пионер, первый в мире. Так что это может оказаться не под силу и мне.

Директор ушел.

Может быть, записи Комлина помогут? Инспектору очень хотелось, чтобы они помогли. Он представил себе Комлина с обоймой нейтринных присосок на голом черепе, взвешивающего склеенные спички. Нет, это не акупунктура. Это что-то совсем новое, и Комлин, видимо, сам не верил себе, если проводил такие страшные опыты над собой, таясь от товарищей.

Славное время, хорошее время. Четвертое поколение коммунистов. Смелые, самоотверженные люди. Они по-прежнему не способны беречь себя, напротив — они с каждым годом все смелее идут в огонь, и требуются огромные усилия, чтобы сдерживать этот океан энтузиазма в рамках мудрой экономии. Не по трупам своих лучших представителей, а по следам могучих машин и точнейших приборов должно идти человечество к господству над природой. И не только потому, что живые могут сделать много больше, чем сделали мертвые, но и потому, что самое драгоценное в мире — это Человек.

Инспектор тяжело поднялся и побрел к двери. Передвигался он без торопливости. Это, во-первых, было у него в крови, во-вторых, сказывался возраст, а в-третьих — нога.

«Нюют старые раны», — бормотал он себе под нос, когда ковылял через пустую приемную директора, сильно припадая на правую ногу.

3

Ранним утром следующего дня, как раз в тот час, когда врачи, так и не сумевшие разобраться в причинах заболевания, с радостью отметили, что к больному Комлину возвращается речь, — именно в этот час Рыбников и Леман снова сидели в ди-

ректорском кабинете за огромным пустынным столом. Инспектор держал на коленях блокнот, перед директором лежала пачка бумаг — записки, диаграммы, чертежи и даже рисунки — рабочие записи Андрея Андреевича Комлина.

Директор говорил быстро, иногда бессвязно, уставившись покрасневшими от бессонной ночи глазами куда-то сквозь инспектора и иногда останавливаясь, словно прислушиваясь с изумлением к собственным словам. Инспектор слушал, и связь событий становилась для него все более понятной. Вот что он узнал.

Облучением мозга нейтринными пучками Комлин занялся не случайно. Во-первых, этот вопрос был совершенно неясен. Методика получения пучков нейтрино «практической» плотности была разработана совсем недавно, и, получив нейтринный генератор, Комлин решил немедленно опробовать его.

Комлин многого ждал от этих опытов. Излучения высоких энергий (нуклоны, электроны, гамма-лучи) нарушают молекулярную и внутриядерную структуру белков мозга. Они разрушают мозг. Они не способны давать каких-либо изменений в организме, кроме болезненных, патологических. Эксперимент подтверждает это. Другое дело — нейтрино, крохотная, лишенная электрического заряда элементарная частичка без массы покоя. Комлин рассчитывал, что воздействие нейтрино не вызовет ни взрывных процессов, ни молекулярной перестройки, что нейтрино будет вызывать в ядрах мозговых белков умеренное возбуждение, будет усиливать ядерные поля и, быть может, вызовет в мозговом веществе совершенно новые, не известные еще науке силовые поля. Как оказалось, все предположения Комлина блестяще подтвердились.

— Я понял в записях далеко не все,— прервал свой рассказ директор,— а кое-чему просто не могу поверить. Поэтому я расскажу лишь о самом главном — и о том, что может пролить свет на таинственную историю с фокусами. Хотя это тоже достаточно невероятно.

Начав опыт над животными, Комлин сразу же натолкнулся на многообещающую идею нейтринной акупунктуры. Подопытная обезьяна поранила лапу. Рана затянулась и зажила необыкновенно быстро. Так же быстро исчезли у нее из легких темные

пятна — следы туберкулеза, столь обычного для обезьяны в умеренном климате.

Несколько собак было отравлено различными видами биологических ядов. Нейтринная «игла» вылечила животных очень быстро, причем хроматография показала, что почти весь яд был выделен животными в несвязанном виде. «Игла Комлина» (так Горчинский назвал этот метод) излечивала туберкулез у обезьян в десятки раз быстрее и успешнее самых мощных антибиотиков.

В своем известном докладе Комлин высказывал предположение о существовании в организме человека и животных скрытых целебных сил, еще не известных науке, но уже выявивших себя при опытах с нейтринной акупунктурой. Подробно излагалась программа перехода от опытов над животными к опытам над человеком — программа, предусматривающая переход от самых простейших и явно безопасных нейтринных уколов к более сложным и комбинированным. Предполагалось привлечение к опытам больших коллективов врачей, физиологов и психологов. Но...

Инспектор не ошибся, Комлин работал не только с нейтринной акупунктурой. Очень скоро опыты с нейтринным генератором показали, что необычайная мобилизация целебных сил организма — важное, но вовсе не единственное следствие облучения мозга пучками нейтрино. Подопытные животные вели себя странно. Правда, не все и не всегда. Излеченные кратковременным воздействием нейтринной иглы обычно не обнаруживали никаких отклонений в своем поведении, но «любимцы», над которыми производились многочисленные и разнообразные опыты, приводили обоих исследователей в изумление. И там, где молодой лаборант Горчинский видел только забавные или досадные шутки природы, интуиция большого ученого подсказала Комлину новое открытие.

Пес Генька (полное имя «Генератор») обнаружил вдруг склонность показывать цирковые фокусы, которым его никто никогда не учил: ходил на задних и даже на передних лапах, «здоровался», и Горчинский застал его однажды за странным занятием. Пес сидел на табуретке, уставившись в одну точку, и через правильные промежутки времени приподнимался и коротко гавкал, после чего садился снова. Горчинского он не узнал и зарычал на него.

Комлина поразила случай с павианом Кора. Кора сразу после облучения сидела в камере с Комлиным и мирно с ним «беседовала». Вдруг ее точно током ударило. Обезьяна увидела что-то в углу, грозно и жалобно заворчала и принялась пятиться. Ни уговоры, ни ласки не помогали. Кора, отбежав в противоположный угол, сжалась в комок и просидела так целый час, следя глазами за чем-то невидимым, и время от времени издавала резкий вопль — сигнал опасности. Затем это прошло, но Комлин с удивлением заметил, что с тех пор Кора, входя в камеру, прежде всего оглядывалась на злосчастный угол.

Однажды Горчинский прибежал к Комлину с криком: «Скорее! Скорее!» — и потащил его в обезьянник. В одной из камер обезьянника сидел молодой гамадрил и жевал банан. Ни в банане, ни в гамадриле ничего странного не было, но и сторож, и Горчинский в один голос утверждали, что были свидетелями чего-то совершенно фантастического. По их словам, гамадрила они застали в тот момент, когда он с видимым интересом наблюдал за кусочком бумаги, неторопливо, но уверенно ползущим по полу по направлению к нему, гамадрилу. Гамадрил потянулся к бумажке лапой, и Горчинский бросился искать Комлина. Сторож утверждал, что обезьяна съела бумажку, во всяком случае в камере ее обнаружить не удалось. Попытка воспроизвести удивительное явление не увенчалась успехом.

— Вот что Комлин написал по этому поводу, — сказал директор, протягивая инспектору кусок миллиметровки.

Инспектор прочел: «Массовая галлюцинация? Или новое? Массовая галлюцинация с участием гамадрила — сама по себе вещь удивительная. Но тут что-то есть. С этим зверьем — обезьянами и собаками — ничего не узнаешь. Надо самому».

Комлин начал проводить опыты над собой. Скоро об этом узнал Горчинский и не замедлил последовать примеру начальника. Кажется, по этому поводу у них даже был небольшой скандал. В конце концов Горчинский обещал больше не экспериментировать, а Комлин обещал пробовать только самые простые, непродолжительные и безопасные уколы. Горчинский так и не узнал до самого дня катастрофы, что Комлин больше не занимался нейтринной акупунктурой.

— К сожалению, — продолжал свой рассказ директор, — в записках Комлина сохранилось довольно мало сведений относительно поистине поразительных результатов его экспериментов. Записи становятся все более отрывочными и неудобочитаемыми, чувствуется, что зачастую Комлин не может подобрать слов для описания своих ощущений и впечатлений, выводы его теряют стройность и полноту.

Несколько страниц, вырванных из тетради, Комлин посвятил необычной способности запоминать, появившейся у него после одного из экспериментов. Он записал: «Мне достаточно взглянуть на предмет один раз, и я вижу его во всех подробностях, как наяву, отвернувшись или закрыв глаза. Мне достаточно бросить беглый взгляд на страницу книги, чтобы затем прочитать ее по “изображению”, отпечатавшемуся у меня в памяти. Кажется, на всю жизнь я запомнил несколько глав из “Речных заводов” и всю четырехзначную таблицу логарифмов от первой до последней цифры. Огромные возможности!»

Встречаются среди записей и соображения общего характера. «Память, мысль, рефлексы и навыки, — написал Комлин твердым почерком, словно раздумывая, — имеют определенную, пока неясную для нас материальную основу. Это азбука. Нейтринный пучок просачивается в эту основу и создает новую память, новые рефлексы, новые навыки. Так было с Генькой, Корой, со мной (мнемогенез — творение ложной памяти)».

Наиболее интересному и удивительному из всех открытий Комлина были посвящены последние несколько страничек, соединенных канцелярской скрепкой. Директор взял эти странички и поднял их над головой.

— Здесь, — сказал он очень серьезно, — ответ на ваши вопросы. Это нечто вроде конспекта или черновика будущего доклада. Прочсть?

— Читайте, — сказал инспектор.

— «Усилием воли нельзя даже заставить себя мигнуть. Нужна мышца. Нервная система играет роль датчика импульса, не больше. Ничтожный разряд, и сокращается мышца, способная передвинуть десятки килограммов, совершить работу, огромную в сравнении с энергией нервного импульса. Нервная система —

это запал в пороховом погребе, мышца — порох, сокращение мышцы — взрыв.

Известно, что усиление процесса мышления усиливает электромагнитные поля, возникающие где-то в клетках мозга. Это биотоки. Сам факт, что мы способны это обнаружить, означает, что процесс мышления воздействует на материю. Правда, не непосредственно. Я решаю дифференциальное уравнение, поле мозга усиливается и смещает стрелку прибора, измеряющего это поле. Чем не психодвигатель? Поле — мышца мозга!

Появляется способность считать чрезвычайно быстро. Как я это делаю, сказать не могу. Считаю, и все. $1919 \times 237 = 454803$. Считаю в уме в течение четырех секунд по секундомеру. Это прекрасно, но не совсем понятно. Электромагнитное поле резко усиливается, а как другие поля мозга, если они существуют? “Мышца” развита. Но как ею управлять?..

Получается! Вольфрамовая спираль. Вес 4,732 грамма. Подвешена в вакууме на нейлоновой нити. Я просто смотрел на нее, и она отклонилась от начального положения на пятнадцать с небольшим градусов. Это уже нечто. Режим генератора... Я говорил с Горчинским, — сказал директор, закончив чтение ряда цифр, — сегодня ночью. Он видел вакуумный колпак с подвешенной спиралькой. Потом прибор исчез. Видимо, Комлин разобрал его. «Психодинамическое поле — мышца мозга — работает. Не знаю, как это у меня получается. И ничего нет странного в том, что не знаю. Что нужно сделать, чтобы согнулась рука? Никто не ответит на этот вопрос. Чтобы согнуть руку, я сгибаю руку. Вот и все. А ведь бицепс — очень послушный мускул. Мышцу надо тренировать. Поля мозга тоже нужно научить работать. Вопрос — как?

Интересно, “усилием мысли” ни одной вещи я не могу поднять. Только передвигаю. И не по произволу. Спичку и бумагу — всегда вправо. Металл — к себе. Лучшее всего обстоит дело со спичками. Почему?

Психодинамическое поле действует через колпак из стекла и не действует через газету. Чтобы воздействовать на предмет, мне надо видеть его. Гашу свечу. Расстояние — в пределах “нейтринника”.

Убежден, что возможности мозга неисчерпаемы. Необходимо только тренировка и определенная активация, возбуждение белковых молекул и целых нейронов. Придет время, и человек будет считать в уме лучше любой счетной машины, сможет за несколько минут прочитать и усвоить целую библиотеку...

Это страшно утомляет. Раскалывается голова. Иногда могу работать только под непрерывным облучением и к концу весь покрываюсь потом. Не надорваться бы. Сегодня работаю со спичками».

На этом записи Комлина кончались.

Инспектор сидел зажмурившись и думал о том, что, быть может, идее Комлина суждено принести богатые плоды. Но все это еще будет, а пока Комлин лежит в госпитале. Инспектор открыл глаза, и взгляд его упал на кусок миллиметровки. «...С этим зверьем — обезьянами и собаками — ничего не узнаешь. Надо самому», — прочитал он. Может быть, Комлин прав?

Нет, Комлин не прав. Не прав дважды. Он не должен был идти на такой риск, и, уж во всяком случае, не должен был идти на такой риск в одиночку. Даже там, где не могут помочь ни машины, ни животные (инспектор снова взглянул на кусок миллиметровки), человек не имеет права вступать в игру со смертью. А то, что делал Комлин, было именно такой игрой. И вы, профессор Леман, не будете директором института, потому что не понимаете этого и, кажется, восхищаетесь Комлиным. Нет, товарищи, говорю я вам! Под огонь мы вас не пустим! В наше время мы можем позволить себе отмерять семьдесят семь раз, прежде чем отрезать. В наше время вы, ваши жизни дороже для нас, чем самые грандиозные открытия.

Вслух инспектор сказал:

— Я думаю, что можно писать акт расследования. Причина несчастья понятна.

— Да, причина понятна, — проговорил директор. — Комлин надорвался, пытаюсь поднять шесть спичек.

Инспектора провожал директор. Они вышли на площадь и неторопливо двинулись к вертолету. Директор был рассеян, задумчив и никак не мог приспособиться к неспешной, ковыляю-

щей походке инспектора. У самой машины их догнал Александр Горчинский, взлохмаченный и мрачный. Инспектор, уже пожав руку директору, взбирался в кабину — это было трудно ему.

— Ноют старые раны, — пробурчал он.

— Андрею Андреевичу уже значительно лучше, — негромко сказал Горчинский. — Через месяц он будет здоров.

— Знаю, — сказал инспектор, усаживаясь наконец с довольным кряхтеньем.

Подбежал пилот, торопливо вскарабкался на свое место.

— Будете писать рапорт? — осведомился Горчинский.

— Буду писать рапорт, — ответил инспектор.

— Так... — Горчинский, шевеля усиками, посмотрел инспектору в глаза и вдруг спросил высоким тенорком: — Скажите, пожалуйста, вы не тот Рыбников, который в шестьдесят восьмом году в Кустанае самовольно, не дожидаясь прибытия автоматов, разрядил какие-то штуки?

— Александр Борисович! — резко сказал директор.

— ...Тогда еще что-то случилось с вашей ногой...

— Прекратите, Горчинский!

Инспектор промолчал. Он крепко стукнул дверцей кабины и откинулся на мягком сиденье.

Директор и Горчинский стояли на площади и, задрав головы, смотрели, как большой серебристый жук со слабым гудением проплыл над семнадцатизэтажной бело-розовой громадой института и исчез в синем предвечернем небе.

ЗАБЫТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1

«Тестудо» остановился перед шлагбаумом.

Шлагбаум был опущен, над ним медленно мигал малиновый фонарь. По сторонам уходили в темноту ажурные решетки металлической ограды.

— Биостанция, — негромко сказал Беркут. — Давайте выйдем.

Полесов выключил двигатель. Когда они вылезли, фонарь над шлагбаумом потух, и вдруг густо взревела сирена. Иван Иванович вздохнул полной грудью и сказал, разминая ноги:

— Сейчас кто-нибудь прибежит и станет уговаривать не рисковать жизнью и здоровьем. Для чего мы здесь остановились?

Метрах в тридцати справа от шоссе в теплом сумраке смутно белели стены старых коттеджей. Через бурьян вела узкая тропинка. Одно из окон осветилось, стукнула рама, кто-то сиплым голосом осведомился:

— Новокаин привез? — И, не дожидаясь ответа, добавил сварливо: — Сто раз я тебе говорил — останавливайся подальше, не буди людей!

Снова стукнула рама, и стало тихо.

— Гм!.. — хмыкнул Иван Иванович. — Ты привез новокаин, Беркут?

Возле коттеджа появился темный силуэт, и прежний голос позвал:

— Валентин!

— Он нас, видно, с кем-то путает, — сказал Иван Иванович. — Так что же, будем отдыхать? Может быть, поедем дальше?

— Нет, — сказал Полесов.

— Это почему же — нет?

На тропинке зашумел бурьян, меж стволов сосен замелькал огонек папиросы. Огонек описывал замысловатые кривые, рассыпая длинные струи гаснущих искр.

— Сначала разведка, — сказал Полесов.

Человек с папиросой продрался наконец через бурьян, вышел на шоссе и сказал:

— Проклятая крапива! Ты привез новокаин, Валентин? Кто это с тобой?

— Видите ли... — снисходительно начал Иван Иванович.

— Дьявол! Это не Валентин! — удивился человек с папиросой. — А где Валентин?

— Представления не имею, — сказал Иван Иванович. — Мы из ИНКМ.

— Из... ага, — сказал незнакомец. — Очень приятно. Вы извините, — он стыдливо запахнул халат, — я несколько неглиже. Начальник биостанции Круглис... — представился он. — Но я думал, что приехал Валентин. Значит, вы геологи?

— Нет, мы не геологи, — мягко возразил Беркут. — Мы из Института неклассических механик. Мы физики.

— Физики? — Биолог бросил папиросу. — Позвольте... Физики? Так это вы едете в эпицентр?

— Совершенно верно, — подтвердил Беркут. — С вашего разрешения, это именно мы едем в эпицентр. Разве вас не предупредили?

Биолог перевел взгляд на исполинскую черную массу «Тестудо». Затем он обошел Беркута, приблизился к машине и хлопал ладонью по броне.

— Дьявол! — сказал он с восхищением и завистью. — Танк высшей защиты, да? Черт... Везет вам, физикам. А я бьюсь второй год и не могу получить разрешение на глубокую разведку. А мне она нужна позарез. Я бы там... Слушайте, товарищи, — проговорил он унылым голосом, — возьмите меня с собой. Что вам стоит, в конце концов?

— Нет, — сразу ответил Полесов.

— Мы не имеем права, — мягко сказал Беркут. — Нам очень жаль...

— Понимаю, — буркнул биолог и вздохнул. — Да, меня предупредили. Только я не ждал вас так скоро.

— До Лантанида нас подбросили по воздуху, — объяснил Беркут.

Наступила глубокая сонная тишина, от которой сразу стало темнее. Потом невдалеке кто-то крикнул несколько раз, странно и тоскливо. В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка, царапнула густые ветви и гулко ударилась о землю.

— Филин, — сказал биолог.

— Не похоже, — усомнился Полесов.

Биолог засопел.

— Мальчик, — сказал он, — вы когда-нибудь слышали, как кричит филин?

— Не один раз.

— А вы когда-нибудь слышали, как кричит филин с той стороны?

— То есть?

— Из-за кордона, из-за шлагбаума... с той стороны?

— Н-не знаю, — сказал Полесов неуверенно.

— Мальчик, — повторил биолог.

Все снова замолчали, и в темноте снова закричал странный филин.

— Что же мы стоим? — спохватился биолог. — До утра далеко. Пойдемте, я вас устрою на ночь.

— Может быть, все-таки... — сказал Иван Иванович.

— Нет, сначала разведка, — повторил Полесов. — Я думаю, там, впереди, очень плохая дорога...

— На той стороне вообще нет дороги, — заметил биолог.

— ...и вообще неизвестно, что делается, — продолжал Полесов. — Я пушу киберразведчиков в ночной рейд. Они соберут информацию, и утром мы тронемся.

— Правильно, — сказал биолог. — Вот это серьезный подход к делу.

Полесов забрался в танк и зажег фары. От ослепительного света мрак вокруг сгустился, зато ярко вспыхнули белые кольца на шесте шлагбаума и заискрились металлические прутья ограды. Боковой люк танка мягко отвалился. Послышался дробный стук, в полосу света на шоссе выскочили смешные серебристые фигурки на тонких ножках, похожие на огромных кузнечиков. Несколько секунд они стояли неподвижно, затем сорвались с места, нырнули под шлагбаум и пропали в высокой траве на той стороне.

— Это киберразведчики? — с уважением спросил биолог.

— Прекрасные машины, не правда ли? — сказал Беркут. — Петр Владимирович! — негромко позвал он. — Мы пошли. Догоняйте.

— Ладно, — отозвался из танка Полесов.

В коттедже биолога было три комнаты. Биолог сбросил халат, натянул брюки и свитер и отправился на кухню. Беркут и Иван Иванович устроились на диване. Иван Иванович сейчас же задремал.

— Значит, вы в эпицентр, — сказал биолог из кухни. — В эпицентре, конечно, есть на что посмотреть. Особенно сейчас. Кстати, вы имеете хоть какое-нибудь представление о том, что происходит в эпицентре?

— Очень смутное, — ответил Беркут. — Кое-что рассказывали летчики, но близко ведь никто туда не подходил.

— Я сам видел, собственными глазами. Вспышки... Ну, вспышки многие видели. А вот молнии, которые бьют из земли в небо, голубой туман... Вы слышали про голубой туман?

— Слышали, — сказал Беркут.

Иван Иванович открыл один глаз.

— Я видел его два раза с вертолета, — сообщил Круглис. — Месяц назад, еще до гибели «Галагеи». Туман возникает в эпицентре или где-то в районе эпицентра, расплывается таким широким кольцом и пропадает километрах в ста от кордона. Что это может быть, товарищи физики?

— Не знаю, товарищ Круглис.

— Значит, никто не знает. Мы, биологи, тем более. Очевидно только, что происходит нечто совершенно необычное. Сорок

восемь лет после взрыва! Уже уровень радиации снизился в десять раз, уже адгезивы, которыми связали активную пыль, и те распались начисто, и вдруг — пожалуйста! (Иван Иванович открыл второй глаз.) Начинаются какие-то вспышки, пожары, черт, дьявол... — Биолог помолчал, погромел посудой; стало слышно, как уютно свистит закипающий чайник. — Пожаров, правда, больше не бывает. Должно быть, все выгорело, что могло сгореть. Но вспышки... Первая случилась четыре месяца назад, в начале мая. Вторая — в июне. А теперь они повторяются чуть ли не раз в неделю. Яркие бело-голубые вспышки, и мощности, по-видимому, необычайной. Судите сами...

Биолог появился в дверях с подносом.

— Судите сами,— повторил он, ловко расставляя посуду. — От кордона до эпицентра больше двухсот километров, а полыхает на полнеба... Прощу к столу... И сразу за вспышкой идет голубой туман.

— Да, мы слыхали об этом,— сказал Беркут.

Биолог снова отправился на кухню, но остановился в дверях.

— Вам известно, что последняя вспышка была вчера ночью? — спросил он.

— Да, спасибо,— сказал Беркут.

— Должен же кто-нибудь начать!.. — проворчал Иван Иванович. — Слушайте, где Полесов?

Биолог пожал плечами, скрылся в кухне и вернулся с шумящим чайником.

— Давайте чай пить,— сказал он. — Подставляйте стаканы.

Иван Иванович допивал второй стакан, когда дверь распахнулась и вошел Полесов. Он был очень бледен и держался за правую щеку.

— Что с вами, Петр Владимирович? — спросил Беркут.

— Кто-то ужалил меня,— сказал Полесов.

— Вероятно, комар?

— Вероятно.— Полесов злобно оскалился.— Только у него пулемет вместо жала, у этого комара.

— Комар с той стороны,— сказал биолог.— Очень просто. Садитесь, пейте чай.

— А кто это орет в кюветах? Я думал, там кто-нибудь тонет.

— Лягушки,— сказал биолог.— Тоже с той стороны.

Иван Иванович со стуком поставил стакан на блюде, вытер багровое лицо и спросил:

— Мутации?

— Мутации,— подтвердил биолог.— Здесь настоящий заповедник мутаций. Во время взрыва и после, когда уровень радиации был высок, животные в зоне пострадали ужасно. Понимаете? Сразу после взрыва зону огородили, и они не успели разбежаться. Первое поколение сейчас уже вымерло, все последующие изуродованы. Мы здесь восьмой год наблюдаем за ними, иногда ловим, иногда ставим автокинокамеры. К сожалению, нам запрещают уходить на ту сторону глубже чем на пять километров... Один наш сотрудник все же рискнул. Принес фотографии, образцы и прихворнул немного. Нам здорово влетело тогда.

Биолог закурил.

— Вы сами увидите, что там творится. Возникли совершенно новые формы, странные и удивительные. Мы все-таки набрали большой материал. Многие виды просто вымерли. Например, медведи вымерли начисто. Другие приспособляются, хотя и не знаю, можно ли употреблять этот термин. Вернее сказать, дали мутации, жизнеспособные в условиях повышенной активности. Но, знаете ли...

— А как они реагируют на все это? — спросил Иван Иванович.— На вспышки и так далее?

— Скверно реагируют,— сумрачно ответил биолог.— Очень скверно. Боюсь, нашему заповеднику приходит конец. Раньше они очень редко подходили к ограде. Крупных животных мы почти и не видели. А вот прошлым месяцем сотни дьявольских уродов вдруг среди бела дня устремились прямо на шлагбаум. Зрелище не для слабонервных. Мы выловили несколько штук, остальных отпугнули ракетами. Не знаю уж, от чего они спасались: от вспышек, от голубого тумана или еще от чего-нибудь... Вероятно, от голубого тумана. Думаю, в конце концов они все вымрут. И комаров здесь за последние месяцы стало больше. И птиц, и лягушек. Вот тот филин, например... — Он ткнул окурком в пепельницу и закончил неожиданно: — Так что будьте осторожны там.

— Ничего,— сказал Полесов.— Все-таки у нас танк высшей защиты.

Биолог внимательно поглядел на его распухшую щеку и сказал:

— Знаете что? Давайте я вам укольчик небольшой сделаю. Чем черт не шутит...

Полесов поколебался секунду, взглянул на Беркута и встал.

— Пожалуй,— пробормотал он.

2

Утром Беркут проснулся оттого, что совсем близко кто-то заревел страшным ревом. Беркут отбросил простыни и подошел к окну. У соседнего коттеджа стоял начальник биостанции Круглис и незнакомый человек в белом халате. Круглис курил и морщился, а человек в халате говорил, размахивая руками.

Утро было солнечное. Между стволами сосен в розовой дымке темнела угловатая туша «Тестудо». Возле «Тестудо» возился Полесов. Вероятно, разведчики уже вернулись, подумал Беркут. Он аккуратно убрал постель в степную нишу, принял душ и со вкусом позавтракал: выпил два стакана крепкого чая и съел два ломтя ветчины. Ветчина была отличная — обезжиренная, розовая, как утренний туман, и такая же нежная.

На крыльце Беркут столкнулся с Иваном Ивановичем.

— Доброе утро,— приветствовал его Иван Иванович.— А я иду тебя будить. Разведчики вернулись.

— Что-нибудь интересное?

Иван Иванович раскрыл было рот, но позади коттеджа кто-то опять заревел глухо и протяжно. Беркут вздрогнул.

— Это дикий кабан,— сказал Иван Иванович.— Его поймали на той стороне.

— По-моему, это больше похоже на рев медведя.

— Что ты! — возразил Иван Иванович.— Медведи вымерли, как известно.

— Ладно,— сказал Беркут.— Пусть их. Что принесли разведчики?

— Опять неожиданность. В общем, пойдем к Полесову.

Они пошли по тропинке, и мокрый от росы бурьян хлестал их по ногам.

— Здесь такая крапива! — сказал Иван Иванович.— Сволочь, а не крапива!

Полесов стоял, прислонившись к броне, и рассеянно крутил в пальцах узкую ленту фотопленки. Правая щека у него была заметно полнее левой.

— Доброе утро, Петр Владимирович,— сказал Беркут.

— Доброе утро, товарищ Беркут,— ответил Полесов и осторожно потрогал щеку.

— Болит?

Полесов вздохнул и сказал:

— Киберы вернулись. Я просмотрел информацию, и она мне не нравится.

— Нет дороги?

— Не знаю...— Полесов опять потрогал щеку.— Здесь что-то очень странное. Вот...— Он протянул Беркуту пленку.

Пленка была совершенно черная.

— Засвечена? — спросил Беркут.

— Засвечена. С начала до конца. Слово ее со вчерашнего вечера держали в реакторе. Не понимаю, как это могло получиться. Максимальный уровень радиации, который зафиксировали разведчики,— полтора десятка рентген в час. Сушицы пустяки. Но самое главное — киберы почему-то не дошли до эпицентра.

— Не дошли?

— Они вернулись, не выполнив задания. Прошли всего сто двадцать километров и вернулись, словно получили команду «назад». Или испугались. Откровенно говоря, мне это не нравится.

Некоторое время все молчали и глядели за шлагбаум. Дорога там еще была, но бетон потрескался и густо пророс гигантским лопухом. Недалеко от шлагбаума из лопухов торчал большой красный цветок, над ним крутилась белокрылая бабочка. Дальше над дорогой нависала, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев, сухая осина с голыми растопыренными суцьями.

— Значит, информации у нас практически нет,— проговорил Беркут задумчиво.

Полесов смотал пленку и сунул ее в карман комбинезона.

— Можно послать разведчиков еще раз,— сказал он.

— Мы и так потеряли много времени,— нетерпеливо сказал Иван Иванович и поглядел на Беркута. — Давайте двигаться. На месте разберемся.

— Можно выслать разведчиков по пути.— Полесов тоже поглядел на Беркута.

— Ладно,— согласился Беркут.— Будем двигаться. Петр Владимирович, сходите, пожалуйста, к биологам и передайте, что мы уходим. И поблагодарите от всех нас.

— Слушаюсь, товарищ Беркут.

Полесов отправился к коттеджам и через минуту вернулся с Круглисом.

— Мы уходим,— сообщил Беркут.— Большое спасибо за приют.

— Пожалуйста,— медленно сказал биолог.— Счастливого пути.

— Спасибо. Здесь у вас было замечательно. Просто как на курорте.

Дикий кабан снова заревел по-медвежьему из-за деревьев.

— Вы извините,— сказал Беркут,— но мы, право же, не можем вас взять с собой. Не можем, не имеем разрешения.

— Понимаю.— Биолог усмехнулся.— Жаль, конечно... Ничего, придет когда-нибудь и наш черед.

— Наверное, после нас пошлют вас.

— Да, вполне возможно. Счастливого пути. Желаю удачи.

— Спасибо,— повторил Беркут и пожал биологу руку.

— До свидания, спасибо,— сказал Полесов.— Я постараюсь поймать для вас какого-нибудь филина.

Они залезли в танк, люк захлопнулся. Биолог помахал рукой и отступил к обочине. Медленно поднялся автоматический шлагбаум. Тяжелая машина дрогнула, загудела и двинулась вперед, оставляя в бурьяне широкие колеи. Биолог провожал ее глазами. Вот она прошла под завалившейся осиной и задела ее. Дерево треснуло, ломаясь пополам, и с глухим стуком рухнуло поперек просеки, которая когда-то была автострадой.

«Тестудо» стоял, сильно накренившись, тихий и совершенно неподвижный. После шестнадцати часов гула и сумасшедшей тряски тишина и неподвижность казались иллюзией, готовой исчезнуть в любую минуту. По-прежнему у них были стиснуты зубы и напряжены мускулы, по-прежнему звенело в ушах. Но ни Полесов, ни Беркут, ни Иван Иванович не замечали этого. Они молча глядели на приборы. Приборы безбожно вралли.

Два часа назад, в полночь, пеленгирующие станции дали Полесову его координаты. «Тестудо» находился в распадке в семидесяти километрах к юго-востоку от эпицентра. В ноль пятнадцать Лантанид впервые не послал очередного вызова. Связь прервалась. В ноль сорок семь репродуктор голосом Леминга гаркнул: «...немедленно!» В час десять пошел сильный дождь. В час восемнадцать погас экран инфракрасного проектора. Полесов пощелкал переключателями, выругался, включил фары и уперся лбом в замшевый нарамник перископа. В час пятьдесят пять он оторвался от перископа, чтобы попить, взглянул на приборы, зарычал и остановил машину. Приборы безбожно вралли.

Снаружи была черная сентябрьская ночь, лил проливной дождь, но стрелка гигрометра нагло стояла на нуле, а термометр показывал минус восемь. Стрелки дозиметра весело бегали по шкале и свидетельствовали о том, что радиоактивность почвы под гусеницами «Тестудо» колеблется очень быстро и в весьма широких пределах. И вообще, если судить по показаниям манометров, танк находился на дне водоема на глубине двадцати метров.

— Приборы шалят,— бодро сказал Беркут.

Никто не возразил.

— Какие-то внешние влияния...

— Хотел бы я знать какие,— сказал Полесов, кусая губу.

Беркут хорошо видел его лицо, смуглое, длинное, с красным пятном на правой щеке.

— Ах, как бы нам это помогло! — сказал Иван Иванович.

— Да,— сказал Полесов.

Это помогло бы, потому что позволило бы скорректировать приборы. И самое главное — скорректировать приборы на пульте управления. Для Ивана Ивановича их показания были, вероятно, филькиной грамотой, но Полесов видел, что они врут так же бессовестно, как и все остальные. Это было очень странно и опасно: приборы управления были отгорожены от всех и всяких внешних влияний тройным панцирем сверхмощной защиты «Тестудо». И люди были отгорожены от внешних влияний только тройным панцирем «Тестудо». На мгновение Полесов почувствовал скверную слабость под ложечкой.

— Что там снаружи? — спросил Иван Иванович.

— Ничего. Туман...

Иван Иванович встал, попросил Полесова подвинуться и прильнул к перископу. Он увидел изломанные, перекрученные стволы сосен, черные, словно обугленные ветви, густую поросль двухметровой травы. И туман. Серый неподвижный туман, повисший над мокрым миром в лучах прожекторов. В нескольких метрах от танка стояли киберразведчики. Они жались к танку и были похожи на дворняжек, почуявших волка. Они не хотели идти в туман. Точнее, не могли.

Иван Иванович сел.

— Голубой туман, — сипло сказал он.

— Ну и что? — спросил Полесов.

Иван Иванович не ответил. Беркут тоже поглядел в перископ. Затем он сел и расстегнул воротник куртки. Ему стало душно. Он выпрямился и глубоко вздохнул. Удушье исчезло.

— Что будем делать? — спросил Полесов.

— Слушайте, товарищи, — сказал вдруг Беркут, — вы ничего не чувствуете?

— Ничего... — ответил Иван Иванович, уставившись на приборы. Он запнулся. — Иголочки! — сказал он тонким голосом.

Только теперь Полесов ощутил неприятное покалывание в кончиках пальцев.словно микроскопические иглы, тонкие, как пчелиные жала. И почему-то было трудно дышать. Пальцы немели.

— Похоже... на горную болезнь, — с трудом выговорил он.

Иван Иванович вскочил, оттолкнул Полесова и снова прижался затылком к нарамнику перископа. Снаружи был только туман. Киберразведчики исчезли. Иван Иванович тяжело глотнул воздух и повалился на свое кресло. Его пухлые щеки блестели от пота.

— Ваш танк и ваши киберы!.. — сказал он. — Танк высшей защиты!..

— В таком танке, — медленно ответил Полесов, — я в прошлом году прошел через Горящее Плато на Меркурии.

— И ваши киберы! — продолжал Иван Иванович. — Трусят ваши киберы. В первый раз вижу киберов, которые трусят. И ваша высшая защита!

— Не надо, Иван Иванович, — сказал Беркут.

«Высшая защита не помогает, — думал Полесов. — То, что врут приборы, и трудно дышать, и колют иголки, — это еще полбеды. Беда будет, если сдаст двигатель, нарушится настройка магнитных полей реактора, которые держат кольцо раскаленной плазмы. Стоит разладиться настройке, и «Тестудо» превратится в пар со всей своей высшей защитой. Самое лучшее — поскорее убраться отсюда».

— И нам придется возвращаться, — продолжал Иван Иванович. — И мы ничего не узнаем, потому что понадеялись на ваш танк и на ваших киберов. Надо было рискнуть и прорываться на турболете.

Иголки кололи уже плечи и бедра.

— Хорошо, — сказал Полесов. — Пристегнитесь.

Иван Иванович замолчал. Физики пристегнулись к креслам широкими мягкими ремнями.

— Готовы? — спросил Полесов.

— Готовы...

Полесов выключил свет и положил ладони на рычаги управления. Глухо заворчал двигатель, танк качнулся. Что-то отвратительно захрустело под гусеницами. Впереди был плотный, непроглядный туман. Быстрые иголки бегали теперь в спине. Омерзительное ощущение. И не хватает воздуха. «Тестудо», гудя и дрожа, становится на корму. Выше, выше... Толчок, лязгают

челюсти. Впереди туман. Еще выше, к самому небу! Слепая машина взбирается по склону бесконечно высокой горы, а с той стороны — пропасть. А в реакторе с воем рвется из магнитных цепей лиловое пламя плазмы. Сейчас...

Полесов оторвался от перископа и мельком взглянул на приборы. Если показания приборов правильны, реактор «Тестудо» через секунду взорвется. Но приборы врут. Их сбивают внешние влияния, которые забираются под тройную шкуру высшей защиты.

Танк перевалил через вершину и начал спуск. Руки онемели, иголки пляшут где-то рядом с сердцем. Скоро одна уколется — и конец. Скоро плазма лизнет стенки реактора — и конец. Рядом болтается в своих ремнях Беркут, безвольный, как кукла.

Очнувшись, Беркут увидел освещенный экран, словно окно из темной комнаты на лесную поляну. Тумана больше не было. Экран работал прекрасно, были видны мокрые кусты, и мокрая трава, и мокрые голые стволы. Неба не было видно. На поляну вышло огромное животное и остановилось, уставившись на «Тестудо». Беркут не сразу понял, что это лось. У животного было тело лоса, но не было его горделивой осанки: ноги искривлены, голова гнулась к земле под чудовищной грудой роговых наростов. У лоса вообще очень тяжелые рога, но у этого на голове росло целое дерево, и шея не выдерживала многопудовой тяжести.

— Что это? — нехорошим голосом спросил Иван Иванович.

Беркут понял, что Иван Иванович тоже был в обмороке.

— Лось, — сказал он и позвал: — Петр Владимирович!

— Я, товарищ Беркут, — отозвался Полесов. У него тоже был нехороший голос.

— Выбрались, кажется?

— Кажется... Неужели это лось?

— Это лось с той стороны, — сказал Иван Иванович голосом биолога. Он удивительно хорошо умел подражать голосам других людей.

— Как вы себя чувствуете, товарищи? — спросил Беркут.

— Прекрасно, — ответил Иван Иванович.

— У меня болит щека, — ответил Полесов. — Но приборы опять в порядке.

Лось понуро подошел почти вплотную и теперь стоял, шевеля ноздрями.

— У него нет глаз, — сказал вдруг Полесов ровным голосом.

У лоса не было глаз. Вместо глаз белела скользкая плесень.

— Спугните его, Петр Владимирович, — прошептал Беркут. — Пожалуйста!

Полесов включил сирену. Лось постоял, шевеля ноздрями, повернулся и медленно, судорожно переставляя ноги, побрел прочь. Он шагал мучительно неуверенно, как будто вместо полного шага каждый раз делал только половину. Голова его была придавлена к земле, впалые бока влажно блестели.

— Как бог черепахи... — пробормотал Иван Иванович.

Они смотрели на лоса, как он бредет, путаясь в высокой мокрой траве. Потом лось скрылся за деревьями. Беркут сказал:

— Петр Владимирович, вы просто молодец!

— Что такое? — спросил Полесов.

— Вы нас вытащили из такого мешка...

— Чепуха, — сказал Полесов спокойно.

— Нет, в самом деле, я просто не представляю, как вам это удалось. Я, например, лежал без памяти, как девчонка.

Полесов промолчал. Он включил двигатель и выпустил разведчиков. Киберы выскочили, осмотрелись и поспешили вперед. Теперь они ничего не боялись. «Тестудо» с гулом покатился вслед за ними.

4

Поздним утром «Тестудо» разбросал последний завал и выкарабкался на край гигантской котловины. Тайга была позади — темно-зеленая, мокрая после ночного дождя, тихая и строгая под ослепительным солнцем. Там, где прошел танк, осталась широкая просека, по сторонам которой валялись обугленные, заляпаные белой плесенью стволы.

Внизу, в котловине, лежали развалины старинной лаборатории. Земля была голая и черная, от нее шел пар. Пар искажал перспективу, черные руины дрожали и расплывались в струях теплого воздуха.

— Боже мой! — дребезжащим голосом проговорил Иван Иванович. — Бож-же мой!

Он хорошо помнил это место, хотя прошло уже полвека. На обширной, залитой белым бетоном площади сверкало под солнцем великолепное чудовище — двухкилометровое кольцо мезонного генератора, окруженное стеклянными башнями регулирующих устройств. И в один день, в одну стомиллионную долю секунды всего этого не стало. Зарево видели на сотни километров, а удар отметили все сейсмостанции Сибири.

— Все-таки разрушения не так уж велики, — сказал Беркут, словно утешая. — Я думал, здесь ничего нет, только голая земля.

— Бож-же мой, — повторил Иван Иванович. Он потер пальцами небритый, скрипящий подбородок и сказал: — Вон там была релейная станция, я ее строил. Там — хозяйство Чебоксарова, светлая ему память... Ничего не осталось.

— Вот что, — сказал Полесов. — Я не знаю, где и что вы здесь собираетесь искать, но сейчас я пушу киберов. Вам все равно потребуется информация. Пусть киберы разведают, что и как.

— Ах да, информация... — Иван Иванович насмешливо выпятил нижнюю губу. — Как же...

— Хорошо, — согласился Беркут. — А мы тем временем позавтракаем.

Иван Иванович ерзал на месте и глядел на экран. Глазки его блестели. Полесов поиграл переключателями. На экране было видно, как разведчики соскочили на землю, побежали по склону котловины и скрылись в развалинах. Тогда Полесов вытащил консервы и хлеб в непроницаемой упаковке. Все трое принялись за еду, прихлебывая горячий кофе из термосов.

— Ты где был во время взрыва, Иван Иванович? — спросил Беркут.

— В Лантаниде.

— Тебе повезло.

— Ну, не одному мне, к счастью, — сказал Иван Иванович. — Людей здесь почти и не было. Ведь лаборатория была телемеханическая... Зато теперь все ядерные лаборатории перенесли на Луну и на спутники... Гляди-ка, водитель наш...

Беркут обернулся. Полесов спал, положив голову на пульт управления и зажав между коленями термос с кофе.

— Вымотался наш водитель, — сказал Иван Иванович.

Полесов проснулся, убрал тарелки, откинулся на спинку кресла и снова заснул. Через несколько минут Иван Иванович радостно заорал:

— Разведчики возвращаются!

Среди развалин показались блестящие живые точки. Полесов протер глаза, с хрустом потянулся. Затем он нагнулся над пультом и стал читать запись.

— Радиация не очень высокая: двадцать — двадцать пять рентген. Температура... Давление... Влажность... Все в обычных пределах... Так, белок. Бактерии...

— Молодцы бактерии, — сказал Иван Иванович. — Дальше!

— Дальше... Вот опять запретная зона. Площадь — около гектара. Киберы покрутились вокруг и отошли. И, конечно, опять засвечена пленка.

— Это что, опять голубой туман?

— Нет. То есть не знаю. Просто запретная зона.

— Дайте координаты, Петр Владимирович, — попросил Беркут и поглядел на Ивана Ивановича.

Иван Иванович поспешно достал и развернул на коленях схему.

Полесов стал диктовать.

— Точно, — сказал Иван Иванович. — Она. К югу от башни фазировки. Там был маленький бетонный домик. Будочка. Совершенно точно.

Некоторое время Иван Иванович и Беркут молча смотрели друг на друга. Полесов видел, как дрожащие пальцы Ивана Ивановича мяли и разглаживали плотную бумагу схемы. Наконец Беркут спросил:

— Приступим?

Иван Иванович встал, стукнувшись макушкой о низкий потолок кабины; мотнул головой и полез в шкафчик, где лежали защитные костюмы.

— погоди, куда ты? — остановил его Беркут. — Петр Владимирович, пожалуйста, подведите машину к этой... запретной зоне.

— К запретной зоне? — медленно переспросил Полесов.

Он поглядел на экран. Развалины лежали под высоким солнцем, молчаливые и черные, противоположный край котловины трясся в жарком мареве. Никаких признаков жизни, никаких признаков движения, только неуловимые токи горячего воздуха. Почему-то Полесов вдруг вспомнил скользкую белую плесень на глазах у лося.

— Надо же кому-то начинать, — сказал Беркут. — Начнем мы.

Через час «Тестудо» остановился в сотне метров к югу от башни фазировки — груды оплавленного камня с торчащими прутьями стальной арматуры. Экран работал прекрасно. На обугленной земле была видна каждая песчинка. Земля поднималась невысоким валом, окружавшим обнаженный свод какого-то подземного сооружения. Свод был серый, шершавый, и в центре его зияло круглое черное отверстие.

— Здесь? — спросил Беркут.

— Здесь, — сипло отозвался Иван Иванович.

Они торопливо натянули защитные костюмы. Перед тем как опустить спектролитовый наличник шлема, Беркут сказал Полесову:

— Сидите в машине и держите с нами радиосвязь. Если связи не будет, не паникуйте и не вздумайте лезть за нами.

Он сказал это очень жестким голосом, странно было слышать его. Беркут всегда казался Полесову немножко мямлей. Но на этот раз он сказал как надо.

— И еще... Если все-таки удастся связаться с Лемингом, расскажите ему, как идут дела. Скажите, что дела идут хорошо. До свидания.

Они вылезли из танка, впереди Беркут, за ним Иван Иванович с мотком троса через плечо. Полесов видел, как они перебрались через земляной вал, прошли по бетону и остановились над черным отверстием. Они были похожи на водолазов в желтых сморщенных спецкостюмах и головастых шлемах. Иван Иванович сбросил трос и заделал его конец в бетон. Беркут спросил:

— Как слышите меня, Петр Владимирович?

Полесов ответил, что слышит хорошо.

— Вы, Петр Владимирович, только не беспокойтесь! Все будет в порядке. Мы осмотрим внизу помещения и сразу вернемся.

— Пошли, пошли! — заторопил Иван Иванович.

Он полез первым, и Полесов слышал, как он кряхтит и бормочет вполголоса. Беркут стоял нагнувшись, оперев руки в колени.

— Есть! — послышался в наушниках голос Ивана Ивановича. — Я на полу. Спускайся, Беркут.

Беркут махнул рукой и тоже исчез в отверстии. Минут пять все было тихо. Потом голос Беркута спросил:

— Что это?

— Обыкновенный трансформатор, — ответил Иван Иванович. — Только очень старый.

— Такое впечатление, будто его жевали...

Физики замолчали. Полесову показалось, что кто-то тяжело дышит в микрофон. Он потрогал верньер. Кто-то с хрипом, словно астматик, равномерно втягивал и выпускал воздух.

— Как дела? — на всякий случай спросил Полесов.

Голос Беркута донесся глухо, как из-под подушки:

— Все хорошо, Петр Владимирович. Мы идем дальше.

В приемнике щелкнуло, и наступила тишина. Полесов достал из кармана тюбик со спорамином, проглотил таблетку и посмотрел на экран. По ту сторону земляного вала, недалеко от опушки тайги, валялись исковерканные обломки. Изломы металлопласта ярко искрились на солнце. Это была «Галатhea» — автоматический турболет, высланный в эпицентр для разведки месяц назад. «Галатhea» взорвалась над эпицентром по неизвестным причинам, и с тех пор Леминг запретил воздушные разведки. Полесов проговорил в микрофон:

— Товарищ Беркут, вы меня слышите? Иван Иванович!

Ему не ответили, и он подумал, что пора, пожалуй, вылезать. Но сначала он решил еще раз попробовать соединиться с Лантанидом. Он нажал клавишу настройки и был буквально отброшен от аппарата громopodobным рыком:

— «Тестудо»! «Тестудо»! Отвечай, «Тестудо»!

— «Тестудо» слушает, — сердито сказал Полесов.

— «Тестудо»? Я — Леминг. Куда вы запропастились? Почему не отвечали?

Полесов сказал, что не было связи.

— Где вы находитесь?

— В эпицентре.

Последовало короткое молчание, затем Леминг уже значительно спокойнее осведомился:

— Нашли?

— Что именно? — спросил Полесов.

— Как — что? Двигатель времени, конечно. Это ты, Беркут?

Полесов сказал, что он не Беркут, и что Беркут и Иван Иванович спустились в какое-то подземелье, и что он, Полесов, не понимает, о каком «двигателе времени» идет речь.

— Значит, спустились все-таки, поросята? — сказал Леминг. — Так. Ну, с ними я еще поговорю. Слушайте, водитель. Немедленно отведите машину подальше от этого... подземелья и ждите. Понятно? Отвести и ждать!

— Понял, — сказал Полесов. — Отвести машину и ждать.

— Действуйте. Связи с Беркутом нет?

Полесов подумал и выключил передатчик.

— Двигатель времени, — сказал он вслух. — Ладно...

Он встал, надел спецкостюм и вылез из машины. Ноги по щиколотку ушли в черный прах. Он перебрался на бетонный купол и подошел к люку. Тонкий трос уходил в крошечную темноту. Полесов оглянулся. «Тестудо» стоял за земляной насыпью и следил за ним блестящими выпуклыми глазами прожекторов. Полесов присел на корточки и полез в люк, напрягая все мышцы.

Внизу было совершенно темно. Полесов включил нашлаемную фару. Пятно света скользнуло по изрытым стенам, по остаткам развороченных приборов, по полу, покрытому слоем пыли, тонкой, как пудра. Затем Полесов увидел следы в пыли и быстро пошел, обходя нагромождения обломков, цепляясь ногами за оборванные провода. И он опять услышал, как кто-то хрипло и равномерно дышит в радиостанции.

Поворот. Длинный узкий коридор. Еще поворот. Полесов кубарем скатился по металлической лестнице. В кончиках пальцев появилось знакомое ощущение: сотни крошечных иголок вонзаются под кожу. Полесов побежал. Еще одна лестница, еще

один коридор. Ритмичный хрип в наушниках вырос в мощный свирепый рев. «О-о-о... А-а-а... О-о-о... А-а-а».

Пот заливал глаза, резало в груди. Иголки кололи локти и колени. Еще один поворот. Полесов остановился. Яркий голубой свет на секунду ослепил его. Затем он разглядел на голубом фоне две черные тени. Беркут стоял, склонившись над Иваном Ивановичем, а Иван Иванович сидел, по-турецки скрестив ноги и упираясь ладонями в голубой пол.

Полесов подбежал к ним и схватил Ивана Ивановича под мышки. Иван Иванович был необычайно тяжел. Ноги его волочились, и он то и дело выскальзывал из рук Полесова. Но Полесов подтащил его к двери, взвалил на спину и, протискиваясь в коридор, оглянулся на Беркута. Беркут неторопливо шел следом, и руки его болтались по сторонам тела, как рукава пальто, надетого внакидку. Позади него Полесов увидел две прозрачные колонны. В колоннах билось, медленно пульсируя, голубое пламя, и рев в радиостанции пульсировал вместе с ним.

5

Иван Иванович, багровый и благожелательный от стаканчика коньяка, сказал:

— Да, это было здорово, доложу я вам!

— Еще? — спросил Полесов.

— Нет, хватит.

— А вам, товарищ Беркут?

Беркут улыбнулся:

— Спасибо, Петр Владимирович, не хочу. Свяжитесь с Лемингом, если вам не трудно.

Полесов завинтил флягу и подсел к передатчику. Беркут откинулся на спинку сиденья, продолжая улыбаться. Тело было легким, свежим, даже следа не осталось от томительного бессилия, свалившего его на обратном пути из подземных коридоров. Иван Иванович блаженно пыхтел и поглаживал себя по животу. Должно быть, он тоже был доволен.

— Есть связь, — сообщил Полесов.

— Леминг! — крикнул Беркут в микрофон. — Леминг, я Беркут.

— Беркут? — рявкнуло в ответ. — Почему ты нарушил мои инструкции?

— Спокойно, Леминг. — Беркут попытался согнать с лица улыбку, но это ему не удалось. — Мы целы и невредимы. Леминг, мы не ошиблись. Слышишь, Леминг? Двигатель времени уцелел и работает вовсю. Двигатель времени работает, слышишь?

После паузы Леминг сказал:

— Слышу.

— Срочно доставь сюда энергоснимающее устройство, — продолжал Беркут. — Совершенно срочно. Миллионы киловатт уходят в воздух и заражают воздух, слышишь, Леминг?

— Слышу. Немедленно убирайтесь оттуда.

— Спокойно, Леминг! Убираться отсюда не надо. Пришли людей. Больше людей. Пришли Кузьмина, Еселеву, Акопяна. Обязательно пришли Акопяна. И поторопись, Леминг, надо предупредить следующий взрыв. Только через голубой туман на вездеходах не пройти. Попроси у межпланетников еще несколько танков высшей защиты. Они тоже не очень спасают, но все-таки...

— Представь себе, я уже подумал об этом, — сказал Леминг чрезвычайно язвительно. (Иван Иванович сделал большие глаза и поднял указательный палец.) — Танки с оборудованием находятся в пути и будут у вас завтра утром. А люди будут у вас через четверть часа. Я выслал три турболета.

— Не стоило бы. — Беркут покосился на экран, где у опушки тайги блестели под солнцем обломки «Галатеи». — Здесь уже есть один турболет.

— Чепуха. Они пройдут над бывшей автострадой на бреющем полете. Ничего им не сделается. — Леминг покашлял, затем нарочито небрежным голосом осведомился, есть ли у Беркута какие-нибудь соображения относительно этого... как его... голубого тумана.

Иван Иванович затрясся в беззвучном хохоте, широко разевая темно-розовую пасть с крепкими желтоватыми зубами. Беркут ответил:

— Есть соображения. Несомненно, это твоя возлюбленная неквантованная протоматерия. Вернее, продукт ее взаимодействия с воздухом или водяными парами.

— Я так и думал, — сказал Леминг. — Ладно. Ждите. Не рискуйте. До свидания!

Беркут отодвинулся от микрофона и тоже засмеялся. Только Полесов не смеялся. Он был бледен и осунулся от утомления. Он принял еще одну таблетку спорамина, поэтому спать ему не хотелось, но он чувствовал себя неважно. К тому же он впервые в жизни не понимал, что происходит вокруг него, и это его злило и мучило. Его злил самодовольный Иван Иванович и даже мягкий Беркут, хотя он сознавал, что это совсем никуда не годится. В конце концов он поборол гордость и резко спросил:

— Что такое «двигатель времени»?

Физики поглядели на него, затем друг на друга.

Беркут покраснел и, запинаясь, сказал:

— Мы совсем забыли... Простите, Петр Владимирович... Сначала мы не были уверены, а потом эта удача... Это было так неожиданно... Ах, как нехорошо получилось!

— Двигатель времени, — сказал Иван Иванович с усмешечкой, — есть не что иное, как вечный двигатель. Перпетуум, так сказать, мобиле.

— Не надо, Иван. Сейчас я вам все объясню, Петр Владимирович. Только вы не обижайтесь на нас, пожалуйста. Вы знакомы с тау-механикой?

Полесов угрюмо покачал головой. Он все еще злился, хотя Беркут опять нравился ему.

— Тогда это сложнее. Но я все-таки постараюсь объяснить.

Он очень старался объяснить. Полесов тоже очень старался понять. Речь шла о свойствах времени, о времени как о физическом процессе. По словам Беркута, это была необычайно сложная проблема. Много лет назад, при исследовании проблемы источников энергии звезд, была впервые выдвинута своеобразная, еще экспериментально не подтвержденная теория времени как физического процесса, связанного с энергией. В основу этой теории легли постулаты, рассматривающие время как материальный процесс, несущий определенную энергию. Потом были найдены

(сначала теоретически, а затем и экспериментально) количественные характеристики условий освобождения энергии, связанной с ходом времени. Так родилась механика «физического времени», иначе называемая тау- или Т-механикой.

Одним из замечательных следствий тау-механики явился вывод о принципиальной возможности использования хода времени для получения энергии. Был рассчитан ряд механических систем, позволяющих осуществить эту возможность на практике. К сожалению, производительность таких систем была ничтожна. Они дали только экспериментальное подтверждение основной теории, но не могли служить в качестве практических источников энергии. Это еще не были «двигатели времени». Задача была решена лишь после возникновения тау-электродинамики. И даже тау-электродинамическим системам требовались десятки лет, чтобы выход энергии в них стал положительным и сколько-нибудь существенным.

Семьдесят лет назад по решению Всемирного Ученого Совета были заложены и пущены в порядке эксперимента четыре такие системы, четыре псевдовечных двигателя, «двигатели времени». Один на Луне — в кратере Буллиальд, и три на Земле — на Амазонке, в Антарктиде и здесь, в тайге. Потом какой-то «умник в Ученом Совете» предложил отдать готовую строительную площадку в тайге под телемеханическую мезонную лабораторию. Предложение приняли, лабораторию построили, и сорок восемь лет назад она взлетела на воздух. Деятельность лаборатории, разумеется, не имела никакого отношения к «двигателю времени», но двигатель сочли разрушенным, потому что разрушения были действительно очень велики. Проникнуть на территорию, где размещалась опытная установка, оказалось невозможно, да и не было, казалось, надобности. Внимание исследователей сосредоточилось на остальных трех системах, и эксперимент в тайге был забыт. Но двигатель уцелел. Он работал, выжимал энергию «из времени», накапливал ее и вот четыре месяца назад выбросил первую порцию.

— Вот, в общем, и все. — Беркут нерешительно улыбнулся. — Теперь поняли?

— Спасибо, — сказал Полесов.

— А вы почитайте Леминга, — предложил Беркут. — Есть прекрасная монография Леминга «Тау-электродинамика».

Полесов кашлянул.

— Прозрачные колонны в подземелье, — сказал Беркут, — это энергоотводы. Двигатель расположен этажом ниже. Энергия стекает в эти колонны, накапливается в них и время от времени выбрасывается. А в каком виде выбрасывается, в общем-то никто не знает.

— Леминг знает, — ввернул Иван Иванович.

Беркут посмотрел на него и сказал:

— Леминг вот считает, что энергия выделяется в виде протоматерии — неквантованной основы всех частиц и полей. Потом протоматерия самопроизвольно квантуется — во-первых, на частицы и античастицы, во-вторых, на электромагнитные поля. Так вот, та часть протоматерии, которая не успела проквантоваться, может вступать во взаимодействие с ядрами и электронами окружающей среды. Так, возможно, возникает этот голубой туман. Эта протоматерия должна проникать всюду, для нее нет преград, и она воздействует на приборы, на киберов, как вы их называете, и на наши организмы. Я, наверное, не очень ясно объясняю.

— Нет, отчего же, — сказал Полесов. Он вспомнил, как дергались стрелки приборов, контролирующих настройку магнитных полей. — Отчего же, — повторил он, — я кое-что понял. Спасибо. А как остальные двигатели?

— Остальные пока молчат, — сказал Беркут. — Да нам пока хватит дела и с этим.

— Мы построим здесь город-лабораторию, — сказал Иван Иванович, жадно глядя на экран. — Мы зложим новые двигатели, более совершенные. Я еще доживу до того времени, когда мы забросим в Пространство первые корабли, которые будет нести само Время. — Он вдруг повернулся к Полесову и сказал: — А тау-механику нужно знать, юноша. Основам тау-механики уже учат в школе.

— Неправда, Иван Иванович, — сказал Беркут.

— Правда. Мне внук рассказывал. Но я не об этом. У меня есть к вам предложение, Полесов. Нам здесь понадобится водитель с крепкими нервами. Как вы на это смотрите?

Полесов покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Мне придется вернуться на Меркурий.

Там тоже нужны водители с крепкими нервами.

Иван Иванович насушился.

— Была бы честь предложена, — проворчал он.

— Вот они, — сказал Беркут.

Из-за тайги одна за другой беззвучно взлетели серебристые птицы, низко прошли над черной землей и сели, сложив крылья. Открылись люки, из них стали выскакивать люди в желтых защитных костюмах и больших шлемах.

— Акопян прилетел, — сказал Беркут. — Пошли, товарищи.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«...Исследователи сообщают о межзвездном планктоне, о спорах неведомой жизни в Пространстве. Протяженные скопления их встречаются только за орбитой Марса. Происхождение их до сих пор остается неясным...»

Титан не понравился Виктору Борисовичу. Планетка слишком быстро вращалась и обладала темной беспоконной атмосферой. Зато Виктор Борисович досыта налюбовался кольцами Сатурна и странной игрой красок на его поверхности. Планетолет разгрузился — продовольствие, сжиженный дейтерий, кибернетическое оборудование для планетологов, — принял на борт двадцать восемь тонн эрбия и биолога Малышева и сейчас же отправился в обратный рейс. Как всегда, в поясе астероидов планетолет потерял скорость и уклонился от курса. Пришлось помучиться. Вымотались все, и больше всех биолог Малышев. Бедняга не выносил перегрузок. Когда его вытащили из амортизатора, он был желтый, как сыр. Он ощупал себя, помотал головой и молча устремился в свою каюту. Он торопился поглядеть, как перенесла перегрузку его улитка — жирный синий слизняк в многостворчатой раковине, выловленный в нефтяном океане недалеко от Эрбиевой долины.

Теперь, как и всё на свете, плохое и хорошее, перелет подходил к концу. Меньше чем через сутки планетолет прибывал на ракетодром в кратере Ломоносова, затем неделя карантина — и

Земля, полгода отпуска, полгода синего моря, шумящих сосен, зеленых лугов, залитых солнцем.

Виктор Борисович улыбнулся, перевернулся на другой бок и сладко зевнул. До вахты оставалось два часа. Сейчас на вахте стоял Туммер, носатый и длинный, как палка. Виктор Борисович представил себе Туммера, как он сидит, сутулясь, у вычислителя и, выпятив челюсть, просматривает голубую ленту записи контрольной системы. Затем Туммер расплылся, а вычислитель стал похож на замшелый валун с шершавыми боками. Под валуном темнела глубокая вода, и, если присмотреться, — в шевелящихся водорослях стоит щука с черной спиной, неподвижная и прямая, как палка. И вдруг около уха загудел шмель. Виктор Борисович всхрипнул и проснулся. В каюте было темно. Он пожевал губами и замер. Где-то очень близко гудел шмель.

— Не может быть, — громко и уверенно сказал Виктор Борисович.

Он поднялся в постели и включил лампу. Шмель замолк. Виктор Борисович огляделся и увидел на простыне черное пятно. Это был не шмель. Это была муха.

— Мама моя, — сказал Виктор Борисович.

Муха сидела неподвижно. Она была совсем черная, с черными растопыренными крыльями. Виктор Борисович тщательно прицелился, подвел к мухе ладонь с подобранными пальцами и схватил. Он поднес кулак к уху. В кулаке шевелилось, шуршало и вдруг загудело так знакомо, что Виктор Борисович сразу вспомнил уроки рисования.

— Муха в планетолете, — сказал он и поглядел на кулак с изумлением. — Вот это да! Надо показать ее Туммеру.

Действуя одной рукой, он натянул брюки, выскочил в коридор и пошел в рубку, огибая выпуклую стену. В кулаке шуршало и щекотало.

В рубке стоял Туммер с темным тощим лицом. На экране телепроектора покачивались два узких серпа — голубой побольше, белый поменьше — Земля и Луна.

— Здравствуй, Тум, — сказал Виктор Борисович.

Туммер качнул головой и посмотрел на него запавшими глазами.

— А ну, угадай, что у меня здесь, — сказал Виктор Борисович, осторожно потрясая кулаком.

— Дирижабль, — ответил Туммер.

— Нет, не дирижабль, — сказал Виктор Борисович. — Муха. Муха, старый сыч!

Туммер сказал скучно:

— Ферритовый накопитель работает скверно.

— Я сменю, — сказал Виктор Борисович. — Ты понимаешь, она меня разбудила. Она гудит, как шмель на поляне.

— Меня бы она не разбудила, — сказал Туммер сквозь зубы.

— Шуршит, — нежно произнес штурман, — шуршит, скотинка.

Туммер посмотрел на него. Виктор Борисович сидел, приложив кулак к уху, и счастливо улыбался.

— Виктор, — сказал Туммер, — ну что у тебя за лицо?

В рубку вошел капитан планетолета Константин Ефремович Станкевич и следом бортинженер Лидин.

— Я же говорил — не спит, — сказал Лидин, тыча пальцем в штурмана.

— С ним что-то случилось, — ядовито сказал Туммер. — Поглядите на его физиономию.

Виктор Борисович объявил:

— Я поймал муху.

— Ну да? — удивился Лидин.

— Я спать пойду, Константин Ефремович, — сказал Туммер. —

Виктор, принимай вахту.

— Погоди, — сказал Виктор Борисович.

— А ну, покажи, — потребовал Лидин. У него был такой вид, словно он никогда в жизни не видел мух.

Виктор Борисович приоткрыл кулак и осторожно просунул туда два пальца левой руки.

— Откуда на корабле муха? — спросил капитан.

— Не знаю, — ответил штурман. Он разглядывал муху, держа ее за ножки двумя пальцами. — Она жужжит совершенно как шмель, — сообщил он.

— Осторожно, Витя,— с придыханием сказал Лидин,— ты сломаешь ей ногу. У-у, негодяйка... Жужжит!

— Все-таки откуда на корабле муха? — спросил капитан.— Это, между прочим, ваше дело, Виктор Борисович.

Штурман выполнял обязанности сантехника.

— Вот именно,— сказал Туммер.— Расплодил на корабле мух, и ферритовый накопитель работает отвратительно. Принимай вахту, слышишь?

— Слышу,— сказал штурман.— Мне еще десять минут осталось. Надо показать ее Малышеву. Он тоже давно не видел мух.

Он двинулся к выходу, держа перед собой муху, как тарелку с борщом.

— Мухолов,— сказал Туммер презрительно.

Капитан засмеялся. Дверь отворилась, и в рубку шагнул Малышев. Штурман отскочил в сторону.

— Осторожно,— сердито сказал он.

Малышев извинился. У него был встрепанный вид и растерянные глаза.

— Дело в том, что...— начал он и остановился, уставясь на муху в пальцах штурмана.— Можно? — спросил он, протягивая руку.

— Муха,— с гордостью сказал Виктор Борисович. Малышев взял муху за крыло, и она завопила на всю комнату.

— У нее восемь ног,— сказал Малышев медленно.

— Ай-яй-яй,— сказал Туммер.— И что же теперь будет? Виктор, принимай вахту.

— Это не муха,— сказал Малышев. Его брови поднялись чуть ли не до волос и снова опустились на глаза.— Я думал, что это траурница — антракс морио. Но это не муха.

— А что же это? — осведомился штурман несколько раздраженно.

— Послушайте,— сказал Малышев.— Какие у вас есть дезинсекторы? И потом, мне нужен микроскоп.

— Да в чем дело? — спросил штурман. Капитан нахмурился и подошел к ним. Лидин тоже подошел ближе.

— Послушайте,— повторил Малышев,— мне нужен микроскоп. Пойдемте в мою каюту. Я покажу вам кое-что.

Туммер сказал им вслед:

— Пожалуйста, не уроните муху.

В коридоре Лидин вдруг закричал: «Муха!» Они увидели муху, ползущую по стене под самым потолком. Муха была черная, с черными растопыренными крыльями.

В каюте биолога их было целых три. Одна сидела на подушке, две ползали по стеклам большого стеклянного баллона с синей титанианской улиткой. Лидин, войдя последним, хлопнул дверью, и мухи поднялись в воздух, гудя, как шмели.

— З-зabавные мухи,— неуверенно сказал Виктор Борисович и посмотрел на Станкевича.

Капитан стоял неподвижно и следил глазами за мухами. Лицо его наливалось краской.

— Дрянь,— сказал он.

— Что случилось? — сказал Лидин. Малышев повернул к нему хмурое лицо.

— Я же сказал: это не мухи. Это не земные мухи, понимаете?

— Мама моя,— проговорил Виктор Борисович и вытер правую ладонь о сорочку.

— Ах, вот оно что,— сказал Лидин. Черная муха закрутилась у него перед глазами, он отшатнулся и ударился затылком в закрытую дверь.— Пшла! — крикнул он, судорожно отмахиваясь.

— Нужен дезинсектор,— сказал капитан.— Что у нас есть?

— Есть леталь,— сказал штурман.

— Еще?

— Все.

— Хорошо,— сказал капитан.— Я сам это сделаю. Ступайте помойте руки, оботрите формалином.

Малышев все еще рассматривал муху, держа ее у самого носа. Виктор Борисович видел, как сильно дрожат его пальцы.

— Бросьте вы эту гадость,— сказал Лидин. Он уже стоял в коридоре и то и дело озирался.

— Она мне нужна,— ответил Малышев.— Вторую вы мне, что ли, поймаете?

В ванной Виктор Борисович торопливо стянул сорочку, бросил ее в мусоропровод и кинулся к умывальнику. Он мылил руки,

тер их губкой и намыливал снова. Руки стали красными и распухли, а он все тер, тер и снова намыливал.

Произошло самое страшное, что может произойти на корабле. Это бывает очень редко, но лучше бы этого не случилось никогда. У планетолета толстые стены, и все, что через эти стены проникает, смертельно опасно. Все равно что — метеорит, жесткие излучения или какие-нибудь восьминогие мухи. И опаснее всего мухи. Три года назад Виктор Борисович участвовал в спасении экспедиции на Каллисто. В экспедиции было пять человек — два пилота и трое ученых, — и они занесли в свой корабль протоплазму ядовитой планетки. Коридоры корабля были затянуты клейкой прозрачной паутиной, под ногами хлюпало и чавкало, а в рубке лежал в кресле капитан Рудольф Церер, белый и неподвижный, и лохматые сиреневые паучки бегали по его губам.

Виктор Борисович вытер опухшие руки формалином и вышел в коридор. По потолку ползали мухи. Их было много, штук двадцать. Навстречу шел Лидин. Лицо его было перекошено.

— Откуда они берутся? — спросил он шипло. — М-мерзость.

Из-под ног его с гудением взлетела муха, и он остановился, подняв над головой кулаки.

— Спокойно, — сказал Виктор Борисович. — Спокойно, бортинженер. Ты куда?

— Мыться.

— Как дезинсектор?

Лидин оскалится и молча прошел в ванную. Виктор Борисович забежал в свою каюту, надел свежую сорочку и куртку и отправился в рубку. У дверей мимо его лица с тонким воем пронеслась стайка черных мошек.

В рубке на столе перед вычислителем стояла стеклянная баночка, наполовину наполненная мутноватой жидкостью, от которой воняло даже через притертую пробку. В жидкости плавала муха. Малышев, видимо, помял-таки ей крылья, и она не могла взлететь, только время от времени гудела густым басом. Станкевич, Туммер и Малышев стояли у стола и глядели на муху. Виктор Борисович подошел и тоже стал смотреть на муху.

Мутная жидкость в баночке была дезинсектором «Леталь». Леталь убивал насекомых практически мгновенно. Он мог бы

убить и быка. Но восьминогая муха об этом, по-видимому, не знала и даже не догадывалась. Она плавала в летале и время от времени злобно гудела.

— Пять с половиной минут, — сказал Туммер. — Что же ты, голубушка? Пора.

— Может быть, есть какой-нибудь другой дезинсектор? — спросил Малышев.

Виктор Борисович покачал головой. Он оглядел потолок. Мух в рубке еще не было. Потом он заметил, что Туммер, ухмыляясь, рассматривает его опухшие руки. Он сунул руки в карманы и зашипел от боли. И все зря, подумал он, эту дрянь не берет даже леталь: «Кубический сантиметр на квадратный метр поверхности. Уничтожает все виды насекомых, их личинки и яйца». Он посмотрел на муху в банке. Муха плавала и отвратительно гудела. Виктор Борисович вздохнул, вынул руки из карманов и сказал:

— Сдавай вахту, Тум.

Он принял вахту и доложил капитану о смене. Станкевич рассеянно кивнул.

— Где Лидин? — спросил он.

— Моется.

— Дезинфицируется, — сказал Туммер.

— Слушать меня, — сказал капитан. — Всем надеть защитные спецкостюмы. Сделать прививку против песчаной горячки. Далее. Леталь не годится. Но не исключено, что на этих мух действует что-нибудь другое. Как вы полагаете, товарищ Малышев?

— Что? — сказал Малышев. Он оторвался от созерцания мухи в банке и поспешно сказал: — Да, возможно. Не исключено.

— У нас есть петронал, буксил, нитросиликель... сжиженные газы...

— Слюни, — тихонько сказал Туммер.

Станкевич холодно взглянул на него.

— Оставьте ваши острооты при себе, Туммер. Так. Опыты проведем в медицинском отсеке. Я могу рассчитывать на вас, товарищ Малышев?

— В вашем распоряжении, — быстро сказал Малышев. — Но мне нужен микроскоп.

— Микроскоп в медицинском отсеке. Вы остаетесь в рубке, Виктор Борисович. Спецкостюм вам принесут.

— Слушаюсь,— сказал Виктор Борисович. Послышалось звонкое бодрое гудение. Все посмотрели на банку и сейчас же, как по команде, подняли лица к потолку. Под потолком с победным воем носилась большая черная муха.

Спецкостюм Виктору Борисовичу принес Туммер. Он быстро приоткрыл дверь, козлом прыгнул через комингс и захлопнул дверь за собой. На секунду в рубку ворвался многоголосый стонущий вой. Туммер откинул с головы спектролитовый колпак.

— В коридоре мух — не протолкнешься,— сказал он.— Чер-но. Засучи рукав.

Он достал шприц и впрыснул штурману сыворотку против песчаной горячки — единственной внезапной инфекционной болезни, против которой имелось противоядие. Это было явно бессмысленно, потому что единственным местом, где были найдены возбудители песчаной горячки, была Венера, но капитан не хотел упускать ни малейшего шанса.

— Как там наши? — спросил Виктор Борисович, опуская рукав.

— Костя злой как черт,— сказал Туммер.— Этих мух ничего не берет. А Малышев в восторге. Прямо на седьмом небе. Режет мух и разглядывает в микроскоп. Говорит, что в жизни не представлял себе ничего подобного. Говорит, что у этих мух нет ни глаз, ни рта, ни пищевода, ни чего-то там еще. Говорит, что не может понять, как они размножаются...

— А он не говорит, откуда они взялись?

— Говорит. Он считает, что это споры неизвестной формы жизни. Он говорит, что они миллионы лет носились в Пространстве, а в корабле нашли благоприятную почву. Он говорит, что нам повезло. Таких случаев еще не бывало.

— Блуждающая жизнь,— сказал штурман и стал влезать в защитный спецкостюм.— Я слышал об этом. Но я как-то не считаю, что нам повезло. Кстати, как они могли попасть в корабль?

— Помнишь, неделю назад Лидин вылезал наружу. Кажется, это было в поясе астероидов.

— А может быть, они с Титана?

Туммер пожал плечами.

— Малышев говорит, что на Титане нет восьминогих мух. Да не все ли равно? Скажи спасибо, что это не осы.

Туммер ушел, снова прыгнув через комингс, и захлопнул за собой дверь. Виктор Борисович сел у пульта. В спецкостюме и спектролитовом колпаке он чувствовал себя в безопасности и даже принялся что-то напевать себе под нос. Под потолком уже носились десятки мух, некоторые крутились перед телеэкраном и ползали по лентам записи контрольной системы. Но их гудения не было слышно: спецкостюм обладал хорошей звукоизоляцией. Виктор Борисович оглядел пульт управления. На пульте у его локтя сидела муха. Виктор Борисович прицелился и крепко прихлопнул ее ладонью в силикетовой перчатке. Муха перевернулась, пошевелила лапками и замерла. Виктор Борисович, наклонившись, с любопытством оглядел ее. Дохлая черная муха. Восемь ног... Пакость, конечно, но почему они опасны? Ни одно насекомое не опасно, опасны инфекция или яд, а инфекции может и не быть и яда тоже. Впрочем, если представить, что несколько этих космических мух попало на Землю...

Штурман обернулся. Листок бумаги, лежавший на столе, соскользнул на пол и, крутясь, полетел к двери. Дверь в коридор была приоткрыта.

— Эй, кто там? — крикнул Виктор Борисович.— Дверь!

Он подождал немного, затем поднялся и выглянул в коридор. В коридоре ползали и летали мухи. Их было так много, что стены казались черными, а под потолком висела как бы траурная бахрома. Виктор Борисович передернул плечами и закрыл дверь. Взгляд его упал на листок бумаги у комингса. Какое-то смутное подозрение, тень догадки мелькнула у него в голове. Несколько секунд он стоял, соображая.

— Чепуха,— сказал он вслух и вернулся к пулту.

В рубке стало заметно темнее. Плотные мушинные тучи висели под потолком, заслоняя голубые осветительные трубки. Виктор Борисович поднес к глазам часы. С начала биологической атаки прошло полтора часа. Он поглядел на дохлую муху на пульте, почувствовал тошноту и зажмурился. И зачем я ее раздавил? — подумал он. Гадость все-таки, ядовитая или нет — все

равно. Сквозь полусомкнутые веки он увидел, что лента идет неровно. Он поправил ее, потом невольно поискал глазами раздавленную муху.

Сначала ему показалось, что она исчезла. Но он снова увидел ее. Раздавленная дрянь шевелилась. Штурман пригляделся и проглотил слюну. Он стал весь мокрый. Останки мухи были покрыты мельчайшей черной мошкой. Мошкара суетливо ползала по расплюсченному брюху — крошечные черные мошки с черными растопыренными крыльями. Их было штук тридцать, и они копошились, расползаясь в стороны по гладкой светлой поверхности пульта. Они еще не могли летать.

Это продолжалось минут десять, не меньше. Голубая лента ползла из вычислителя и ленивыми витками ложилась на пол. Вокруг нее вились большие черные мухи. Штурман сидел наклонившись, сдерживая дыхание, и глядел не отрываясь на дохлую муху. На бывшую дохлую муху. Было видно, как шевелится черная голая нога мухи. Если присмотреться — она вся покрыта мельчайшими порами, и из каждой поры торчит головка микроскопической мушки. Они вылезали прямо из тела. Вот почему они так быстро размножаются, подумал Виктор Борисович. Они просто вылезают друг из дружки. Каждая клетка несет в себе зародыш. Эту муху просто нельзя убить. Она возрождается стократно повторенная.

Мошкара ползала по пульта, по кнопкам и верньерам, по прозрачной пластмассе приборов. Мошек было много, и некоторые уже пытались взлететь. От дохлой мухи остался мелкий черный порошок, и штурман смахнул его с пульта, как на Земле смахивают со стола табачный пепел.

— Штурман проветривает рубку, — раздался в наушниках голос Туммера.

В рубку вошли четверо в блестящих силикетовых костюмах и серебристых шлемах.

— Зачем вы открыли дверь, Виктор Борисович? — спросил капитан.

— Дверь? — Виктор Борисович оглянулся на дверь. — Я не открывал ее.

— Дверь была открыта, — сообщил капитан.

Виктор Борисович пожал плечами. Он все еще видел, как черная мошкара вылезает из дохлой мухи.

— Я не открывал дверь, — повторил он.

Он снова оглянулся на дверь. Он увидел клочок бумаги у комингса, и снова смутная догадка мелькнула у него в голове.

Лидин сказал нетерпеливо:

— Давайте решать, что делать дальше.

— Штурман не в курсе дела, — сказал капитан. — Товарищ Малышев, повторите ваши выводы.

Малышев покашлял.

— Аппаратура у вас неважная, — сказал он. — Микротом, например, в полном запустении...

Он замолчал, и стало слышно, как Лидин втолковывает вполголоса кому-то, вероятно Туммеру: «...взять баллон со спиртом, ходить, поливать их и тут же поджигать...»

— Словом, так, — сказал Малышев. — Состав у них странный — кислород, азот и в очень малых количествах кальций, водород и углерод. Я делаю вывод, что это не белковая жизнь. И тогда, во-первых, опасность инфекции сомнительна; во-вторых, это открытие высокого класса. Я это подчеркиваю, потому что вот товарищ Лидин только и думает, как их уничтожить. Это неверный подход к проблеме.

— Пауков бы сюда, — сказал Лидин, — старых матерых крестовиков...

— Совершенно неясно, — продолжал Малышев, — чем они питаются. Совершенно неясен механизм их размножения. Я считаю, что есть основания полагать...

— Я все-таки не понимаю, — сказал Туммер. — Я убивал их, давил ногами, но покажите мне хоть одну дохлую муху.

— Не ищи, — сказал штурман, — даже не пробуй.

— Это почему же?

Виктор Борисович увидел, что дверь снова тихо приоткрылась. Бумажка на полу взлетела, словно пытаясь перепрыгнуть через комингс, и снова бессильно опустилась на пол.

— Я потом расскажу. Потом, когда все кончится.

Виктор Борисович подошел к двери, закрыл ее и вернулся к столу. Капитан легко хлопнул ладонью по столу.

— Слушать меня! — сказал он. — Я решил очистить корабль от мух.

— Каким образом? — осведомился Малышев.

— Мы наденем пустолазные костюмы, поднимем в корабле давление — можно использовать запасы жидкого водорода — и откроем люки...

— Мама моя! — пробормотал штурман.

— ...Впустим Пространство в корабль. Вакуум и абсолютный нуль. И ток сжатого водорода выбросит эту гадость.

— Идея, — сказал Лидин. Туммер сел в кресло и вытянул ноги.

— Все равно мы так не избавимся от спор, — сказал он.

— Спор, я думаю, на корабле не осталось, — сказал Малышев.

В голосе его слышалось сожаление. — Они все развились.

— Мы избавимся от мух, — сказал Лидин. — От этих омерзительных, проклятых, чертовых...

— Слушайте, — сказал Виктор Борисович, — я, кажется, понял.

Он подошел к двери, нагнулся и зачем-то потрогал пальцами клочок бумаги у комингса.

— Что ты понял? — спросил Туммер.

— Так, — сказал Станкевич. — Пойдемте за вакуум-скафандрами. Лидин, помогите Малышеву надеть скафандр.

— Мушки померзнут, — сказал Лидин, хихикая. Ему ужасно хотелось, чтобы мушки померзли.

Виктор Борисович огляделся. Стены были черными. Под потолком висели бархатистые фестоны. Пол был покрыт сухой шевелящейся кашей. Сгушались сумерки — кучи мух облепили осветительные трубки.

— Слушайте, — сказал Виктор Борисович. — Вы знаете, почему открывалась дверь?

— Какая дверь, штурман? — нетерпеливо спросил капитан.

— Которая дверь? — спросил Туммер.

— Вот эта, дверь в коридор. А теперь она больше не открывается.

— Ну?

— Вот в чем дело, — торопливо сказал Виктор Борисович. — Дверь отворяется наружу, так? В коридоре падает давление, так?

Избыток давления в рубке выталкивает дверь. Все очень просто. А теперь избытка давления нет.

— Ничего не понимаю, — сказал капитан.

— Мухи, — сказал Виктор Борисович.

— Ну, мухи, — сказал Туммер. — Ну?

— Мухи жрут воздух. Вот откуда они берут живой вес. Они жрут воздух, кислород и азот.

Биолог издал неясное восклицание, а капитан повернулся к приборам циркуляционной системы. Несколько минут он вглядывался в приборы, яростно смахивая мух. Все молчали. Наконец капитан выпрямился.

— Расходомеры показывают, — медленно сказал он, — что за последние два часа на корабле израсходовано около центнера жидкого кислорода.

— Великолепно, — проговорил Малышев.

— Ну и твари, — сказал Лидин. — Вот так твари.

— Я же говорил, — сказал Туммер. — Это всего-навсего восьминогие мухи.

— Логически рассуждая, — заметил биолог, — атмосфера из водорода должна быть для них летальной.

— Что ж, это упрощает, — сказал капитан. — Слушать меня. Лидин, помогите товарищу Малышеву облачиться в скафандр. Туммер, перекройте по кораблю циркуляционную систему. Штурман, подготовьте корабль к обработке вакуумом и сверхнизкими температурами. Готовность доложить через десять минут.

Виктор Борисович направился к выходу, размышляя, что произойдет, если хоть несколько мух попадет на Землю. Землю не обрабатываешь вакуумом и сверхнизкими температурами.

Он вздохнул, отворил дверь и нырнул головой вперед в черную мохнатую дыру, еле освещенную красноватым светом.

Они натянули вакуум-скафандры прямо на спецкостюмы. Затем они шли к рубке длинным тоннелем с черными стенами, сумрачным незнакомым тоннелем. Стены тоннеля медленно колыхались, словно дышали. Они пришли в рубку. Здесь тоже все было незнакомо и сумрачно. Капитан сказал:

— Туммер, циркуляция?

- Выключена.
- Штурман, люки?
- Открыты... За исключением внешних.
- Лидин, состояние вакуум-скафандров?
- Проверено, товарищ капитан.
- Начнем,— сказал капитан.

Виктор Борисович нагнулся к манометру. Давление в корабле упало на тридцать миллиметров, а ведь Туммер выключил циркуляционную систему всего несколько минут назад. Мухи пожирали воздух и размножались с чудовищной быстротой. Капитан открыл подачу водорода. Стрелка манометра остановилась, затем медленно поползла в обратную сторону. Атмосфера... Полторы... Две...

— Есть у кого-нибудь мухи в скафандре или в спецкостюме? — осведомился капитан.

— Пока нет,— сказал Лидин.

Снова наступила тишина. В наушниках было слышно только дыхание. Кто-то чихнул, кажется, Туммер.

— Будьте здоровы,— вежливо сказал Малышев.

Никто не ответил. Пять атмосфер. Черная каша на стенах тяжело заворочалась. «Ага!» — злорадно сказал Лидин. Шесть атмосфер.

— Внимание,— сказал капитан.

Виктор Борисович напрягся и ухватился за пояс Малышева. Малышев ухватился за Лидина, Лидин — за кресло, в котором сидел Туммер. Капитан согнал с пульта мушиную тучу и нажал кнопку. Четыре грузовых люка — широкие пластметалловые шторы, покрывающие грузовой отсек, — раскрылись мгновенно и одновременно.

Виктор Борисович ощутил мягкий толчок, сотрясший его с ног до головы. Кто-то ахнул. Водородно-воздушная смесь под давлением в шесть атмосфер устремилась к люкам и в пространство. В рубке закрутилась черная вьюга. И стало светло. Ярко, ослепительно светло. Рубка стала прежней стерильно-чистой рубкой. Только искрилась в отблесках голубых трубок изморозь на стенах да у комингса остался налет серой пыли.

— Как хорошо! — сказал незнакомый хриплый голос в наушниках.

— Внимание,— сказал капитан.— Второй этап!

Затем был третий этап, и четвертый, и пятый. Пять раз корабль наполнялся сжатым водородом, и пять раз вихри сжатого газа промывали каждый угол, каждую щель в корабле. Налет серой пыли перед комингсом рубки исчез, исчезла изморозь на стенах. Затем корабль наполнился водородом в шестой раз. Капитан на полную мощность включил пылеуловители, и только после этого в корабль был снова подан воздух.

— Вот и все,— сказал Станкевич.— Пока по крайней мере.

Он первым стащил с головы тяжелый шлем скафандра.

— Может быть, все это нам приснилось? — задумчиво сказал Лидин.

— Сладостное сновидение,— сказал Туммер.

Виктор Борисович помогал Малышеву освободиться от скафандра. Когда он стянул с правой руки биолога коленчатый рукав, капитан вдруг сказал:

— А это что у вас, товарищ Малышев?

В кулаке Малышева была пластмассовая коробочка, похожая на очешницу. Биолог спрятал руку за спину.

— Ничего особенного,— сказал он и сразу насупился.

— Товарищ Малышев! — ледяным голосом сказал капитан.

— Что, товарищ Станкевич? — отозвался биолог.

— Дайте сюда эту штуку.

— Мама моя,— сказал Виктор Борисович,— у вас там мухи!

— Ну и что же? — сказал биолог.

Лидин побледнел, затем покраснел.

— Немедленно уничтожьте эту гадость,— сказал он сквозь зубы.— В реактор ее, немедленно!

— Спокойно, бортинженер,— сказал Виктор Борисович.

Малышев стряхнул с себя пустолазный панцирь и сунул коробочку в карман. Брови его поднялись до волос и снова надвинулись на глаза.

— Мне стыдно за вас, товарищи,— объявил он.

— Ему стыдно за нас! — Лидин так и взвился.

— Да, стыдно. Я понимаю, это было неожиданно и... по-человечески страшно...

— Да вы представляете, — сказал Лидин, — что будет, если хоть одна муха попадет в земную атмосферу?

— Вы знаете, как они размножаются? — спросил штурман.

— Знаю. Видел. Это все чепуха. — Малышев перешагнул через скафандр и сел в кресло. — Выслушайте меня. Жизнь в Космосе иногда бывает враждебна земной жизни, это правда. Глупо это отрицать. Если бы мухи угрожали жизни или хотя бы здоровью человека, я бы первым потребовал отвести корабль подальше от Земли и взорвать его. Но мухи неопасны. Небелковая жизнь не может — не может, понимаете? — угрожать белковой жизни. Меня поражает ваша неосведомленность. И ваша, простите, нервозность.

— Малейшая ваша неосторожность, — упрямо сказал Лидин, — и они расплодятся на Земле. Они сожрут всю атмосферу.

Малышев презрительно щелкнул пальцами.

— Вот, — сказал он. — Пусть они даже расплодятся на планете, я берусь в два дня вывести двадцать две расы азотно-кислородных вирусов, которые уничтожат и мух, и споры, и двести двадцать поколений потомства. Это во-первых. А во-вторых, мы пробовали и леталь, и буксил, и петронал, и еще что-то. Но я уверен, что эффективнейшим средством против наших мух были бы простые слюни.

Туммер захохотал.

— Черт знает, что вы говорите, — проворчал Станкевич.

— Ну, не слюни, конечно, но простая вода. Обыкновенная аква дистиллята. Я уверен в этом.

Малышев обвел межпланетников торжествующим взглядом. Все молчали.

— Но вы по крайней мере понимаете, что нам повезло? — спросил он.

— Нет, — сказал Станкевич. — Еще нет.

— Нет? Ладно, — сказал Малышев. — Во-первых, в наших руках, — он похлопал себя по карману, — уникальнейшие экземпляры небелковых существ. До сих пор небелковая жизнь воспроизводилась только искусственно. Понимаете? Оч-чень рад.

Во-вторых. Представьте себе завод без машин и котлов. Гигантские инсектарии, в которых с неимоверной быстротой плодятся и развиваются миллиарды наших мух. Сырье — воздух. Сотни тонн первоклассной неорганической клетчатки в день. Бумага, ткани, покрытия... А вы говорите — в реактор.

Биолог замолчал, извлек пластмассовую коробочку и поднес ее к уху.

— Гудят, — сообщил он. — Уникальнейшие существа. Редчайшие... Редчайшие.

Глаза его вдруг округлились, на лице появилась растерянность.

— Моя улитка, — сказал он и кинулся из рубки.

Межпланетники переглянулись.

— Биология — царица наук, бортинженер, — сказал Туммер.

— Много я знаю о небелковой жизни! — сказал Лидин брезгливо.

Капитан поднялся.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал он, не глядя на Туммера. — Если мне еще кто-нибудь когда-нибудь станет болтать про угрозу из Космоса... Кто вахтенный?

Виктор Борисович поглядел на часы. «Мама моя, — подумал он, — еще не кончилась моя вахта! Неужели прошло всего три часа?»

Сменившись с вахты, он зашел к Малышеву. Биолог горестно вздыхал над доньшком стеклянного баллона. Во время вакуумной чистки внутреннее давление разорвало и баллон, и титанианскую улитку, и высушенные Пространством ключья слизняка присохли к стенам и потолку каюты.

— Это был такой экземпляр, — жалобно сказал Малышев, — такой экземпляр!

— Зато у вас теперь есть мухи, — сказал штурман. — А в следующий рейс я привезу вам другого слизняка. Пойдемте в медотсек и покажите мне, что там с микротомом. Понимаете, нам еще не приходилось им пользоваться.

ИСПЫТАНИЕ «СКИБР»

1

Ночь была ясная и лунная. Было очень холодно и тихо. Но они не замечали ни холода, ни тишины, ни лунного света. Потом Акимов увидел, что Нина сутулится и прячет ладони под мышки, и накинул на нее свою куртку. Нина остановилась.

— Ты рад, что я прилетела? — спросила она.

— Очень. А ты?

— Очень. Очень, милый! — Она встала на цыпочки и поцеловала его. — Я ужасно счастлива. Просто ужасно.

Акимов обнял ее за плечи и повернул лицом к долине.

— Смотри, — сказал он. — Это Серая Топь.

Над долиной висели седые полосы тумана. Вдали они сливались в плотное серебристое полотно, за которым застывшими волнами чернели холмы. Еще дальше в мутно-голубом небе были видны бледные тени вершин горного хребта. Было очень тихо, пахло росой на увядшей траве.

— Серая Топь, — повторил Акимов. — Наш полигон.

Нина прижалась к нему, пряча подбородок в куртку.

— Ты похудел, — сказала она. — Тебе не холодно?

— Нет.

— И ты стал выше.

— Не может быть, — сказал он. Он вытянул губы дудкой и выдохнул в лунный свет облачко пара. — Я себя отлично чувствую, малыш.

ИСПЫТАНИЕ «СКИБР»

Они пошли дальше. Акимов продолжал обнимать ее за плечи, и это было удивительно хорошо, хотя и немного неудобно, потому что он был гораздо выше ее. Нина смотрела под ноги и старалась наступить на толстую тень, скользившую впереди по тропинке.

«Нам пора быть вместе, — подумал Акимов. — Мы знаем друг друга два года, а вместе были всего несколько недель. Как будто я межпланетник! И мы начинаем забывать друг друга. Например, я забыл, как она сердится. Помню только, что она очень забавна, когда сердится. Просто прелесть. Завтра я прогоню скибров по Серой Топи, и мы вернемся домой».

Он остановил ее и сказал торжественно:

— Завтра мы вернемся домой. Завтра мы будем дома вместе и навсегда.

— Вместе и навсегда... — повторила она с наслаждением. — Вместе и навсегда! Даже не верится.

Потом она сказала:

— А вот Быков... — Она не знала, почему вспомнила Быкова. — Вот Быков вернется домой не скоро.

Он промолчал.

— Быков будет лететь долгие годы. День за днем, месяц за месяцем. Далеко впереди сверкает звездочка... — Она заглянула ему в глаза. — А ты бы полетел?

— Еще бы! — сказал он. Он даже усмехнулся. — Только меня не возьмут.

— Почему?

— Потому что я слишком узкий специалист. А в такие экспедиции отбирают людей с двумя, тремя специальностями... Мне не чета.

— Все равно, — сказала она. — Ты лучше всех.

Она улыбнулась и закрыла глаза. Можно было идти с закрытыми глазами. Он вел ее.

«Завтра мы вернемся домой, — подумала она. — А Быков улетит к звездам. Почему я думаю о нем? Большой, угрюмый Быков... Когда нас познакомили, он как-то странно поглядел на меня — словно прицеливался. Или мне показалось? У него широкое лицо и маленькие холодные глаза. Лицо, как у большинства

межпланетников, покрыто пятнистым коричневым загаром. В турболете Быков молчал и перелистывал журналы...»

Она поглядела на Акимова снизу вверх.

— Слушай,— сказала она,— эти твои... скибры, они очень важны для космолетчиков?

— Вероятно.

— Я тоже думаю, что важны. Иначе зачем было Быкову приехать за ними самому, правда?

— Правда.

«Действительно, почему Быков приехал сам?» — подумал он.

— Здесь ступеньки.

Она не заметила, как они поднялись на холм. Каменные ступеньки вели на широкую бетонную площадку. Посреди площадки темнел плоский купол из гофрированной пластмассы. Купол был мокрый от росы, и на нем лежали скользкие лунные блики.

— Что это? — спросила Нина.

Акимов сказал:

— Наша мастерская. Здесь мы держим наше Панургово стадо. Хочешь посмотреть?

— Конечно, хочу.

— Кстати, ты немножко согреешься.

Акимов повел ее к куполу. Толстая тень бежала теперь сбоку по бетону. Бетон был тоже мокрый от росы и блестел под лунной. Они обошли купол кругом. Акимов пошарил в кармане, достал плоский свисток и приложил к губам. Нина не успела зажать уши. Она ощутила неприятный толчок в барабанные перепонки и сморщилась. Сегмент купола, шурша, сдвинулся, открывая низкую прямоугольную дверь.

— Терпеть не могу ультразвук! — жалобно сказала Нина.— По-твоему, обыкновенный замок хуже?

— Это не я,— сказал Акимов.— Эту выдумки Сермуса. Входи.

Они вошли, и дверь сейчас же закрылась за ними. Мастерская осветилась. Нина тихонько ойкнула, попятилась и наступила Акимову на ногу. Акимов взял ее за плечи.

— Не бойся, малыш,— сказал он весело.

В нескольких шагах перед ними стоял странный механизм. Нина уже несколько лет работала мастером-наладчиком авто-

матов и видела немало странных машин, но таких чудовищ не видела никогда. Он был похож на гигантского муравья, вставшего на дыбы. Приплюснутое овальное брюхо покоилось на шести суставчатых рычагах, а над ним, как восклицательный знак, торчала не то грудь, не то шея, увенчанная тяжелой рогатой головой с крохотными тусклыми глазками. Перед грудью, словно передние лапы кенгуру, висели сложенные втрое мощные манипуляторы. Машина была величиной с годовалого теленка и выкрашена в сиреневый цвет. На спине ее четко выделялась черная двойка.

Нина огляделась. В стороне стояли еще два таких же чудовища. На их спинах были выведены единица и тройка. Она спросила:

— Это и есть скибры?

— Да,— сказал Акимов.— «СКИБР». Система кибернетических разведчиков. Собственно, это «кентавры». Хороши?

Она ответила шепотом:

— Хороши! Они похожи знаешь на кого? На богомолов.

— На богомолов? — Акимов с интересом оглядел машины, словно видел их впервые.— Пожалуй. Да, очень похожи на насекомых. Но мы называли их «кентаврами». Тоже похожи, правда? Пойдем.

Они направились к столу в глубине мастерской. Головы богомолов-кентавров словно по команде повернулись к ним. Это было неожиданно и как-то неправдоподобно. Нина остановилась.

— Они следят за нами? — спросила она вполголоса.

— Не за нами,— сказал Акимов.— За тобой. Меня они знают. И потом, это не они, а он.

— Кто?

— Он. «Оранг».

Только теперь Нина заметила позади «кентавров», занурованных единицей и тройкой, нечто вроде цистерны на широких гусеницах. В верхней части цистерны оживленно мигали разноцветные огоньки.

— «Оранг»? — сказала Нина.— Теперь, конечно, все понятно. Все очень просто и ясно.

— Я тебе объясню. Понимаешь...— Акимов подвел Нину к столу и усадил на единственную табуретку.

— Понимаешь, «СКИБР» — это система роботов, кибернетическая система. «Оранг» — управляющий орган системы, ее «большой мозг», а «кентавры» — ее эффекторы, исполнительные органы. Собственно, «Оранг» и три «кентавра» — это единый организм, части которого не связаны между собой механически. «Оранг» управляет «кентаврами», как мы управляем своими руками, ногами... глазами, скажем. Но управляет на расстоянии. Вот сейчас «Оранг» рассматривает тебя глазами своих «кентавров».

— Пусть бы уж он лучше не рассматривал,— сказала Нина, демонстративно поворачиваясь к роботам спиной. Но она не удержалась и спросила: — И это все ты изобрел сам?

— Нет, что ты! — Акимов даже засмеялся. — Конечно, нет. Я всего-навсего программист. Систему строили шесть заводских лабораторий и два института. Нам — Сермусу и мне — осталась только доводка — тонкое программирование. Правда...

Нина оглянулась и увидела, что «кентавр» с тройкой на спине как-то боком приближается к ним, неторопливо переступая шестью лапами-рычагами и тихонько покачивая головой.

— Вам что, товарищ? — спросила Нина.

«Кентавр» остановился.

— Видишь, «Оранг» хочет познакомиться с тобой поближе,— сказал Акимов. — Он очень любит знакомиться.

— В другой раз, если можно,— сказала Нина. — Когда-нибудь в другой раз.

Акимов засмеялся и достал из кармана ультразвуковой свисток. Нина зажала уши. Акимов свистнул, и «кентавр» прежним неспешным аллюром, не поворачиваясь, вернулся к «Орангу». Нина проводила его любопытным взглядом.

— Странная форма для машины,— заметила она. — Настоящий богомол.

Акимов сказал:

— По-моему, для эффекторного механизма форма очень рациональная. К тому же выдумали ее не мы.

— Кто же?

— «Оранг».

Нина прикусила губу и оглянулась на «Оранга». Сиреневая цистерна на гусеницах выглядела очень мирно.

— Слушай,— сказала Нина,— как устроен «мозг» этой системы? Ведь это не полупроводники, конечно?

— Ага,— засмеялся Акимов,— все-таки интересно? Специалист остается специалистом.

Нина и глазом не моргнула.

«СКИБР» представлял собой чрезвычайно сложный механизм, непрерывно воспринимающий обстановку и непрерывно реагирующий на нее в соответствии с требованиями основной программы — собирать и передавать самую разнообразную информацию об этой обстановке. Создание такого механизма потребовало отказа от классических форм кибернетической техники — полупроводников, губчатых металлов, волноводных устройств. Необходимо было принципиально новое решение. Оно было найдено в использовании замороженных почти до абсолютного нуля квантово-вырожденных сложных кристаллов с неперiodической структурой, способных претерпевать изомерные переходы в соответствии с поступающими сигналами. Были отысканы и средства регистрации этих переходов и превращения их в сигналы на эффекторы.

Нина вздохнула:

— Нет, для меня это слишком сложно. Вырожденные кристаллы... Изомерные переходы...

— Я всегда говорил тебе, чтобы ты занялась теорией,— назидательно сказал Акимов.

— А время? Ведь я рисую.

— Да... Конечно. Я совсем забыл.

Он наклонился, взял ее руки в свои и приложил ее ладони к своим щекам. Щеки были горячие и колючие.

— Тебе бриться надо,— шепнула она.

— Угу...

Он испытывал блаженство. «Навсегда и вместе,— подумал он.— Вместе и навсегда».

Сиреневые страшилища почтительно таранились на них, «Оранг» меланхолично мигал цветными огоньками.

— Слушай,— спросила Нина,— а почему они сиреневые? Акимов пожал плечами:

— Откуда я знаю? Если бы они были оранжевыми, ты спросила бы, почему они оранжевые. Это «Оранг» решает. Сегодня утром они были желтыми.

Нине стало смешно. Она прыснула и закашлялась. Акимов похлопал ее по спине.

— Я серьезно говорю,— сказал он.— Ведь это самоорганизующаяся система. И характеристики системы определяет сам «Оранг». И чем он руководствовался, окрашиваясь в сиреневый цвет, знает только он сам. Мы можем только догадываться. Может быть, это он из-за тебя.

— Поразительный нахал,— сказала Нина.— Интересно, что он этим хочет сказать? Подумай, ведь он и тебя мог бы выкрасить в сиреневый цвет. Или в желтый.

Она снова вспомнила Быкова и замолчала. Акимов сидел, закрыв глаза, и думал, какие у нее мягкие, теплые, сильные руки.

— Слушай,— сказала Нина,— ты думаешь, они помогут Быкову? Ты думаешь, Быков серьезно рассчитывает на них?

— Вероятно. Во всяком случае, с ними лучше, чем без них. Все-таки меньше риска. Вот Быков сажает корабль на неизвестной планете. О ней ничего нельзя сказать заранее. Сейчас нельзя даже наверняка сказать, что она существует. Он сажает корабль. Может быть, там камни взрываются под ногами. Или океаны из фтороводорода. Или электрические разряды в миллионы вольт. В общем, неизвестно и опасно. И Быков посылает на разведку роботов. Вот этих скибров. Роботы узнают все, расскажут, посоветуют, что делать. Так я себе это представляю.

— Тогда это очень важно,— проговорила Нина.

— Да...

«Если Быков решит садиться,— подумал Акимов.— Если вообще будет где садиться. Но главное — почему Быков приехал сам? Почему не приехал его кибернетист?»

— Мне уж-жасно хочется, чтобы Быкову понравились ваши скибры,— сказала Нина.

— Мне тоже. Завтра он посмотрит. Наше стадо в порядке генеральной репетиции пройдет по Серой Топи. Десять километров сюрпризов и развлечений.

— Каких сюрпризов?

— Всевозможных.— Он взглянул на часы.— Малыш, у нас еще целых шесть часов! Пойдем ко мне, я напою тебя чаем. Чудесным горячим чаем...

Они вышли из мастерской (сиреневые «кентавры» качнулись им вслед, но не двинулись с места) и остановились на краю бетонной площадки.

Ночь шла на убыль. Туман над Серой Топью стал плотнее, небо на востоке посветлело. Над бледными тенями далекого горного хребта висела яркая звезда — искусственный спутник «Цифэй», с которого фотонный исполин Быкова будет стартовать в межзвездное пространство.

2

Утром с юга приползли тяжелые тучи, и на землю посыпалась мелкая водяная пыль. Но туман над Серой Топью разошелся. Стали видны кусты с пожелтевшими листьями, кочковатые пригорки в щетинистой травке, темные болотные лужи.

Около одиннадцати к мастерской подъехал вездеход на шаровых шасси. Из вездехода вышел огромный грузный человек с темным, почти коричневым неподвижным лицом — Антон Быков, знаменитый межпланетник, сын и внук межпланетников, командир фотонного корабля «Луч». Он молча протянул руку — сначала Акимову, затем Сермусу — и медленно кивнул Нине, которая стояла в стороне, кутаясь в лиловый плащ.

— Здравствуйте, товарищ Быков. Можно начинать? — спросил Акимов.

— Можно,— сказал Быков. У него был глухой, бесцветный голос.

Сермус, очень взволнованный и поэтому непривычно суетливый, поднес к губам плоский свисток и беззвучно свистнул

три раза. Дверь мастерской отползла в сторону. Сермус свистнул еще раз.

Первыми, как скаковые лошади из конюшни, выбежали сиреневые «кентавры», гуськом спустились по склону холма, огляделись, забавно поворачивая рогатые головы, и замерли. Понеслось стрекотание, и из мастерской выкатился «Оранг». Быков крикнул: «кентавры», и «Оранг» вдруг словно по волшебству окрасился в серо-стальной цвет.

«Оранг» перевалился через край площадки, осторожно сполз с холма и остановился рядом с «кентаврами».

— Фот наши шелесные тетишки, — сказал Сермус.

Акимову стало смешно. Во-первых, в «детешках» не было ни одного атома железа — они были построены из кремнийорганических пластиков, а привод их был биохимический, энергия генерировалась и использовалась непосредственно в их рабочих деталях. Во-вторых, сентенция Сермуса звучала не к месту высокопарно. Сермус был хороший парень, но обожал прочувствованные слова. Акимов покосился на Быкова. Но Быков только кивнул, не отрывая взгляда от роботов.

Акимов кашлянул и сказал:

— Дано задание провести детальную разведку Серой Топи точно с севера на юг в полосе шириной пятьсот метров. Длина маршрута — десять километров. Маршрут осложнен различного вида искусственными препятствиями.

Он остановился, ожидая, что Быков спросит о препятствиях. Но Быков не спросил. Он смотрел на роботов и время от времени платком стирал с лица дождевую пыль. Акимов продолжал:

— При высадке на неизвестной планете рационально будет пускать скибров по спирали вокруг корабля. Здесь я не решился на это, так как в семи километрах к северу отсюда проходит шоссе. Большое движение.

— Вы опасаетесь, что роботы натворят на шоссе что-нибудь? — спросил Быков бесцветным голосом.

— Собственно... — Акимов посмотрел на Сермуса, оглянулся на Нину и улыбнулся. — Год назад у нас была небольшая неприятность.

Быков наконец отвернулся от роботов и уставился на Акимова. У Быкова были маленькие, без ресниц, острые бледные глаза.

— А именно? — спросил он.

Год назад, когда тонкая доводка программы была еще далеко не завершена, Акимов и Сермус выпустили систему в первый пробный поход. «Кентавры» должны были пройти через сосновый лес к шоссе, дойти до мачты релейной передачи и вернуться обратно, спилив предварительно дерево в тридцать сантиметров толщиной. Сначала все шло хорошо. «Кентавры» довольно аккуратно прошли через лес, понюхали шоссе, подошли к мачте... и спилили ее.

— Спилили мачту релейной передачи? — удивился Быков.

— Да. И у нас были неприятности с радистами.

Быков покачал головой и сказал:

— Это еще не так страшно. Вот если бы вместо мачты там оказался кто-нибудь из радистов... Радист, перепиленный пополам при исполнении служебных обязанностей.

Акимов ответил на эту вспышку межпланетного юмора вежливой улыбкой. Но Сермус, как всегда, все принял всерьез.

— О нет, — горячо сказал он. — Это нефосомшно. Роботы никогда не причинят фрета лютям.

— Теперь, разумеется, ничего подобного случиться не может, — сказал Акимов. — Но, знаете, уйти от зла... Все готово, Сермус?

— Котово.

— Пускай.

Сермус поднял к губам свисток, и испытание «СКИБР» началось. «Кентавры» неторопливо пошли вперед. Они шли зигзагами, то сходились, то расходились, шлепали по лужам и продирались через кусты. «Оранг», помигивая цветными огоньками, полз метрах в двадцати от них, подминая под гусеницы мокрую осоку.

Акимов повернулся к Быкову:

— В мастерской есть телевизоры. Можно наблюдать за системой со стороны или глазами «кентавров», как хотите.

— Я предпочел бы ехать вслед за ними.

— Можно и так, — согласился Акимов. — Но «Оранг» будет передавать данные разведки в мастерскую.

— Меня не интересуют данные разведки, — сказал Быков и пошел к вездеходу.

— Но метод перетачи информации... — растерянно начал Сермус.

— Меня не интересует метод передачи информации, — сказал Быков не оборачиваясь.

«Что же тебя интересует тогда, старая черепаха?» — подумал Акимов. Ему очень захотелось двинуть Быкова кулаком в толстую коричневую шею. Быков ему не нравился. Кроме того, теперь было очевидно, что Быков, космогатор и старый межпланетный волк, не сможет оценить по достоинству великолепные качества скибров. В лучшем случае Быков похлопает в ладоши и одобрительно улыбнется. Если он умеет улыбаться, черти бы его побрали!.. Но тут Акимов вспомнил, что через два-три часа испытание закончится и он с Ниной вернется домой, а Быков на долгие годы, если не навсегда, улетит к звездам. Он посадил Нину в вездеход, сел рядом и прижался к ней плечом. Она улыбнулась, но в ее улыбке было что-то неуверенное. Вездеход заворчал и медленно покатился, переваливаясь через кочки, за огоньками «Оранга».

Дождь продолжался, но спектролитовый колпак вездехода оставался чистым и прозрачным. Впереди, метрах в пятидесяти, маячили за пеленой водяной пыли серые фигурки «кентавров». «Оранг» сильно отстал от них и полз теперь рядом, справа от вездехода, удивительно похожий на мокрого серого слоненка, неуклюжего и добродушного. Акимов сказал в широкую спину Быкова:

— При необходимости «кентавры» могут удаляться от «мозга» на расстояние до пяти, шести и даже до восьми километров.

Широкая спина даже не шевельнулась. Акимов почувствовал, что краснеет.

— В случае нарушения связи, — сказал он, повысив голос, — «кентавры» сами возвращаются и ищут «мозг». Тогда они переходят на световую и звуковую сигнализацию. Сами ищут, — повторил он раздельно.

Нина положила пальцы на его руку. Сермус смущенно покашлял в пухлую ладошку. Вездеход круто накренился, объезжая замшелый пенек, и в этот момент Акимов увидел глаза Быкова. Он увидел их всего на одну секунду в овальном зеркале перед местом водителя. Глаза разглядывали Акимова с каким-то странным, напряженным выражением. Вездеход выпрямился, и в зеркале запрыгала полуседая щетина над коричневым лбом.

Сермус кашлянул еще раз и сказал, галантно наклонившись к Нине:

— Феликолепные машины, не прафта ли, Нина Ифановна?

Нина улыбнулась ему и поглядела на Акимова. Акимов хмурился и кусал губы. Во всяком случае, он больше не сердился. Нина сказала:

— Они слишком умны, эти ваши машины.

Сермус засиял и несколько раз кивнул головой.

— О, пока не столь утифительно, Нина Ифановна. Интересное путег посше.

Прошло минут сорок. Половина маршрута осталась позади. «Кентавры» бежали деловито и немного суетливо, словно борзые на сворке, временами останавливаясь, чтобы не то осмотреть, не то обнюхать почву под ногами. Длинные шеи-груды и рогатые головы плавно покачивались на ходу. «Кентавры» без задержки проламывались сквозь густой кустарник, расчищая широкие просеки для «Оранга», с ходу перебирались вброд через ручьи и топкие участки, оставляя за собой для «Оранга» надежные гати из высохших веток и охапок сухой травы.

На берегу рыжего заболоченного озера, самого скверного места Серой Топи, «кентавры» замешкались, запрыгали взад и вперед по брюхо в грязи. Затем они бросились в воду и поплыли, взбивая желтую пену, а «Оранг» пошел в обход, протиснулся между озером и границей пятисотметровой полосы и встретил их на противоположном берегу, облепленных тиной и скользкими водорослями.

Нина захлопала в ладоши. Сермус улыбнулся:

— Он перехитрил нас. Но это пока не столь утифительно.

Он огляделся, подумал и повернулся к Акимову:

— Время?

Акимов кивнул. Тогда Сермус достал из нагрудного кармана черный коробок радифона и нажал кнопку вызова.

— Архангельский слушает, — послышался слабый голос.

— Кофорит Сермус. Фремя, Коля.

— Есть, Эрнест Карлович!

Сермус спрятал радифон и стал глядеть вперед, вытянув шею, через голову водителя.

Вездеход шел почти бесшумно, поэтому они сразу же услышали доносившийся откуда-то прерывистый механический рев и скрежет и лязг металла. Нина почувствовала на спине неприятный холодок. Где-то в глубине ее подсознания эти звуки будили странные образы, жуткие и отвратительные. Вероятно, виноват был ее прадед, артиллерист, по семейным преданиям четыре года имевший дело с фашистскими танками на дымных полях Великой войны.

Да, это был танк. Старинная боевая машина, широкая и приземистая, вся в ярких пятнах оранжевой ржавчины. Танк появился сбоку на гребне холма и, разбрызгивая грязь, покатился на остановившихся «кентавров».

— Имитация активного нападения, — сказал Акимов. — На танке киберводитель, настроен на частоту управления системы.

— Где вы его откопали? — проворчал Быков. — Он не стреляет?

— Нет, — сказал Акимов.

«Действительно, где они его откопали?» — подумала Нина. Последние танки пошли в домны десятки лет назад, и раздобыть этот уникальный экземпляр было, вероятно, не просто.

«Кентавры» ждали. «Оранг» тихонько отполз ближе к вездеходу. Казалось, он колеблется, не зная, что предпринять. В искусственном мозгу с неуловимой быстротой менялись пространственные ориентации кристаллических решеток, возникали и мгновенно распадались диковинные, никем и никогда не зарегистрированные молекулярные связи, проносились электронные вихри и вихрики... «Оранг» думал — искал аналогии, сопоставлял, рассчитывал. Но ему еще не хватало данных. Нина подумала о настоящих живых людях, о тех, кто когда-то, давным-давно, впервые увидел перед собой танки.

— Танк раздавит их? — шепнула Нина.

— Тогда наша работа ни к черту не годится, — ответил Акимов. Чтобы лучше видеть, он привстал, держась за спинку сиденья. — Ага, наконец-то!

«Кентавры» перестроились, вытянулись цепочкой навстречу танку. Танк двинулся на крайнего слева, помеченного единицей. Сетка дождя искажала перспективу, и казалось, что он уже среди «кентавров». Нине бросилась в глаза удивительная легкость, пожалуй, даже грация шестиногих роботов рядом с громоздкой зловещей машиной. Они даже пританцовывали на месте, словно боксеры перед схваткой.

В последний момент, когда испачканные мокрой землей гусеницы нависли над «кентавром», тот прыгнул в сторону. Танк проскочил несколько метров, окатив «единицу» водопадом грязной воды, выпустил клуб сизого дыма и с ревом развернулся на одной гусенице.

«Кентавры» вновь перестроились. «Единица» затанцевала на месте, «двойка» и «тройка» перебежали, отрезая танку дорогу к «Орангу». «Оранг» неторопливо, даже как-то с ленцой, попятился еще немного. Огоньки на его корпусе погасли. Танк с громом и лязгом ринулся вперед, похожий на чудовищного носорога, ослепшего от ярости. «Кентавры», пританцовывая, дождались его и снова легко расступились. Тогда на серых боках «Оранга» вновь вспыхнул сложный рисунок огоньков. И в тот же момент танк остановился. Он остановился мгновенно, как вкопанный, надрывный рев двигателя стих, и все три «кентавра» мигом вскарабкались на него, активно шевеля манипуляторами. «Оранг» стоял, уютно пофыркивая и совершенно равнодушно мигая разноцветными огоньками.

— «Оранг» переменял частоту настройки, — сказал Акимов.

— Я думала, «Оранг» его уничтожит, — проговорила Нина, переводя дух.

— Сачем? — вскричал Сермус очень пронзительно. — «Оранк» просто всял на сепя управление! Сачем разрушать, если можно использовать? Молотец, «Оранк»! Умнитца, «Оранк»!

— И что теперь будет? — деревянным голосом спросил Быков.

— Посмотрим, — ответил Акимов сдержанно.

— А вы что — не знаете?

— Предполагаю, — сказал Акимов.

И Нина тотчас положила ладонь на его рукав.

«Кентавры» перестали возиться на танке, спрыгнули, выстроились в цепь и побежали дальше. «Оранг» двинулся следом, а танк вдруг затрясся, лягнул гусеницами, неуклюже развернулся и пополз в хвосте, уныло переваливаясь на кочках. По его ржавым бокам стекали дождевые струйки. У него был очень почкорный и смиренный вид.

— Мы отстаем, — сказал Быков. — Поехали.

Вездеход догнал «Оранга» и покатился рядом. «Оранг» деловито («как ни в чем не бывало», — подумала Нина) шлепал гусеницами по мокрой траве. Покоренный танк полз левее, расплескивая грязь, оставляя за собой длинный шлейф сизого дыма. «Кентавры» бежали метрах в тридцати впереди. Они были изумрудно-зеленого цвета.

Дождь немного усилился, когда впереди появилась длинная высокая стена, сложенная из огромных гранитных глыб. Стена пересекала поперек полосу маршрута и выглядела очень солидно. Сермус крепко потер ладошки и покашлял насмешливо.

«Кентавры» медленно подкрались к стене, пощупали ее манипуляторами и вдруг разбежались в разные стороны вдоль гранитной преграды — один направо, двое влево. «Оранг» повернулся к стене боком и стал ждать.

— Давайте отойдем немного, — сказал Акимов водителю, и вездеход отполз на несколько метров назад. — Так, хватит.

«Кентавры» снова собрались вместе и выстроились перед стеной в ряд. «Оранг» неторопливо подполз к ним и остановился рядом. Танк сиротливо торчал в стороне, всеми покинутый и забытый.

— Берегите глаза, — сказал Акимов.

Что-то треснуло, и по серому граниту скользнула ослепительная фиолетовая молния. Стена дрогнула. Друм! Друм! Над стеной взлетел фонтан серого дыма вперемешку с гранитной щебенкой. Друм! Друм! На граните вспыхивали малиновые пятна, и было видно, как разлетаются циклопические глыбы и стена оседает, разорванная широкими уродливыми трещинами.

Друм! Драх! «Кентавры» и «Оранг» стояли перед стеной и по очереди расстреливали ее крошечными ампулами с замкнутыми в магнитные кольца струйками дейтериевой плазмы. Расстреливали спокойно, деловито, не торопясь.

Через минуту все было кончено. Стрельба прекратилась, стало очень тихо, слышно было, как что-то шипит и трещит в раскаленном щебне. «Кентавры» двинулись в широкий пролом, окутанный серым облаком дыма и пыли. «Оранг» подождал немного, пропустил вперед себя танк и тоже нырнул в горячее облако.

— Хорошо! — коротко сказал Быков.

Но Акимов снова поймал в зеркальце его взгляд — странный, какой-то напряженный, словно межпланетник хотел и не мог себя заставить сказать что-то. Прославленный Быков был чем-то встревожен, и эта тревога была непонятным образом связана с ним, Акимовым, рядовым инженером-программистом. Это было очень странно.

Вездеход, тяжело скрипя по гранитным обломкам, миновал пролом. Стена была толстая, очень толстая — не менее двух метров.

— Фот, фитите, Нина Ифанофна, — торжествуя сказал Сермус. — Фот тот столпик. Это конец маршрута. Но сначала путет очень интересно.

Нина нашла глазами белый столбик, и в тот же момент «Оранг» остановился. «Кентавры» бежали еще некоторое время, потом тоже остановились и начали пятиться. Они пятились очень осторожно, остановились рядом с «Орангом» и медленно налились красным светом.

— Смотрите, — шепнула Нина. — Покраснели! Засмутились...

— Неушели он почувал? — благоговейно проговорил Сермус.

— Что почувал? — спросила Нина.

Видимо, «Оранг» принял решение. Покорный и утихший танк вдруг ожил. Взревел двигатель, комья грязи рванулись из-под гусениц, и огромная машина, грохоча и лягая, кинулась вперед к заветному столбику. Никто не успел сказать ни слова. Раздался громовой удар, из-под гусениц танка взлетел оранжевый веер огня, чудовище подпрыгнуло и застыло на месте, перекошенное, почерневшее, искалеченное. Густой черный дым повалил от него, пачкая топь жирной копотью.

— Опнарушил! — крикнул Сермус. — Опнарушил! Сейчас путет расминировать!

— Имитация икс-обстановки, — торопливо пояснил Акимов.

— Имитация чего? — спросил Быков.

— Икс-обстановки. Обстановки, которую невозможно предвидеть. Минное поле.

— Час от часу не легче, — пробормотал Быков. — Как в историческом фильме...

— «Оранг» обнаружил мины? — спросила Нина.

— Та, та, — сказал Сермус нетерпеливо. — Сейчас путет расминировать.

Но «Оранг» не стал разминировать. Во всяком случае, не стал разминировать так, как ожидал Сермус. «Кентавры» не полезли на минное поле, не стали выкапывать мины и вывинчивать их взрыватели. Они взобрались все трое на горящий танк и открыли пальбу. Прежде чем оглушенные и ослепленные наблюдатели успели прийти в себя, через минное поле к белому столбику — теперь уже не белому, а черному от огня и пыли — протянулась широкая полоса перевороченной земли и булькающей кипящей воды. «Кентавры» — на этот раз нежно-голубые — торопливо приблизились к столбику, обнюхали его, окрасились в серо-стальной цвет и вернулись к «Орангу». Испытание окончилось.

— Вот и все, — сказал Акимов устало. — Теперь можно домой.

Нина счастливо улыбнулась.

— Вместе и навсегда, — прошептала она.

И тут Быков обернулся.

— Мне нравятся ваши машины, — сказал он. — Они нам нужны. И вот что... — Он помолчал. — Мне нужно поговорить с вами, Акимов. Если нетрудно, зайдите ко мне после обеда.

3

Вероятно, Быков просто не знал, с чего начать. Он шурился на серое небо за прозрачной стеной, кряхтел, гладил колени и барабанил по подлокотнику кресла толстыми, сильными пальцами. Пальцы были коричневые, в неправильных белых пятнах — следах

космических ожогов. «Интересно, долго он будет молчать?» — подумал Акимов. Потом он подумал, что турболет в Новосибирск улетает через два часа. Потом он вспомнил, что оставил в мастерской подарок Нины — букет «вечных» цветов. Потом он подумал, что Нина, вероятно, уже упаковала чемоданы и теперь болтает с Сермусом. Сермус оставался в мастерской еще на неделю, и Акимову было немного неловко перед ним.

— Так вот, — сказал Быков бесцветным голосом. — Дело вот в чем...

После этого он опять замолчал на минуту, хрустнул пальцами и пожевал губами. Акимов нетерпеливо заерзал в кресле.

— Да. Дело вот в чем... — повторил Быков. — Скажите, Акимов, вы... Вы ведь работали над системой около двух лет, так?

— Так, — согласился Акимов.

— Сложное это дело — тонкое программирование?

Тонкое программирование «мозга» нового типа потребовало строжайшей изоляции места работы от всех внешних влияний. Поэтому работы пришлось проводить не в исследовательском центре, а здесь, вдали от крупных предприятий, от мощных линий силовых передач, от шума и гула большого города, в изолированных помещениях на глубине пятидесяти метров под холмом с пластмассовым колпаком. И поэтому Акимов провел здесь два года почти безвыездно, в напряженной ювелирной работе.

Но Акимов не стал говорить об этом Быкову. Он сказал только:

— Да, довольно сложное.

— Чем вы думаете заниматься дальше? — спросил Быков.

Акимов неохотно сказал:

— Буду работать в Новосибирском университете. Нельзя тратить по два года на каждую систему. У нас с Сермусом есть кое-какие идеи. Программирование программирования.

У них были «кое-какие идеи», и эти идеи очень увлекли их: рассчитать криотронные кристаллизаторы, выращивать готовый, запрограммированный «мозг»... привлечь к этому делу математиков, физиков, в первую очередь «гения кибернетики» профессора Сунь Си-тао из Кайфына. Но он не стал говорить и об этом.

Впрочем, Быков не настаивал. Он помолчал, побарабанил пальцами по подлокотнику и с трудом произнес:

— Дело, собственно, в том, что... Да. Видите ли, две недели назад наш кибернетист сломал позвоночник. Спортивные игры, несчастный случай. Да. Он лежит в госпитале... Говорят, он уже никогда не сможет летать.

«Турболет улетает через полтора часа»,— подумал Акимов. И вдруг он понял, о чем говорит Быков.

— Сломал позвоночник? — спросил он. — И никогда уже не сможет летать?

Быков кивнул, не поднимая глаз:

— Никогда. А мы стартуем через неделю.

Тогда Акимов вспомнил ночь, многие ночи, яркий спутник «Цифэй» над горизонтом. И маленькую, хрупкую Нину, которая так счастлива, что они будут вместе и навсегда.

— Я понимаю,— сказал Акимов.

Быков молчал, глядя себе в колени.

— Я понимаю,— сказал Акимов. — Я тоже кибернетист. Вы хотите, чтобы я...

— Да, да,— сказал Быков. — Мы стартуем через неделю. У нас совсем нет времени... Да, конечно. Я тоже понимаю, это тяжело. Шесть лет туда и шесть обратно... И большой риск, конечно... Только... — Он растерянно взглянул на Акимова. — Вы понимаете, экспедиция немыслима без кибернетиста.

Акимов медленно поднялся.

— Что касается работы,— поспешно заговорил Быков,— пожалуйста. Вы можете работать во время рейса. Книги, микрофильмы, консультации... У нас есть отличные математики... Я понимаю, это слабое утешение, но...

Не год, не два, а двенадцать. Это будет двенадцать лет без Нины.

Акимов не знал, как он скажет ей. Он знал только, что в его глазах сейчас то же выражение мучительного напряжения, какое он видел сегодня в глазах Быкова.

Он повернулся и пошел к двери. На пороге он обернулся и сказал с горьким удовлетворением:

— Вы, оказывается, совершенно обыкновенный человек.

Быков стоял лицом к прозрачной стене, глядел на серое небо и думал: «Сколько лет говорили и писали о конфликтах между чувством долга и тягой к личному счастью. Но кто говорил или писал о человеке, который заставлял сделать выбор?»

БЕДНЫЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ

Царь сидел голый. Как нищий дурак на базаре, он сидел, втянув синие пупырчатые ноги, прислонясь спиной к холодной стене. Он дрожал, не открывая глаз, и все время прислушивался, но было тихо.

В полночь он проснулся от кошмара и сразу же понял, что ему конец. Кто-то хрипел и бился под дверью спальни, слышались шаги, позвякивание железа и пьяное бормотание дядюшки Бата, его высочества: «А ну, пусти... А ну, дай я... Да ломай ее, стерву, чего там...» Мокрый от ледяного пота, он бесшумно скатился с постели, нырнул в потайной шкаф и, не помня себя, побежал по подземному коридору. Под босыми ногами хлюпало, шарахались крысы, но тогда он ничего не замечал и только сейчас, сидя у стены, вспомнил все: и темноту, и осклизлые стены, и боль от удара головой об окованные двери храма, и свой невыносимо высокий визг.

Сюда им не войти, подумал он. Сюда никому не войти. Только если царь прикажет. А царь-то не прикажет... Он истерически хихикнул. Нет уж, царь не прикажет! Он осторожно разжмурился и увидел свои синие безволосые ноги с ободранными коленками. Жив еще, подумал он. И буду жив, потому что сюда им не войти.

Все в храме было синеватое от холодного света лампад — длинных светящихся трубок, протянутых под потолком. Посередине стоял на возвышении Бог, большой, тяжелый, с блестящими мертвыми глазами. Царь долго и тупо смотрел, пока Бога не заслонил вдруг плюгавый служка, совсем еще сопляк. Раскрыв рот и почесываясь, он стоял и глазел на голого царя. Царь снова прикрыл глаза. Сволочь, подумал он, гаденыш вшивый, скрутить ублюдка — и собакам, чтобы жрали... Он сообразил, что не запомнил хама как следует, но служки уже не было. Сопливый такой, хлипкий... Ладно, вспомним. Все вспомним, дядюшка Бат, ваше высочество.

При отце небось сидел в уголке, пил себе потихоньку да помалкивал, на глаза боялся попасть, знал, что царь Простяга подлого предательства твоего не забыл...

Велик был отец, с привычной завистью подумал царь. Будешь великим, если у тебя в советниках ангелы Божьи во плоти. Все знают, все их видели: лики страшные, белые как молоко, а одежды такие, что не поймешь, голые они или как... И стрелы у них были огненные, как бы молнии, кочевников отгоняли этими стрелами, и хотя метали в небо, половина орды покалечилась со страху. Дядюшка Бат, его высочество, шептал как-то, пьяно отрыгивая, что стрелы те метать может каждый, нужны лишь особые пращи, которые у ангелов есть и которые у них хорошо бы взять. А он еще тогда сказал — тоже был пьяный, — что раз хорошо взять, то и надо взять, чего там... И вскоре после этого застольного разговора один ангел упал со стены в ров, поскользнулся, наверное. Рядом с ним во рву нашли дядюшкиного телохранителя с дротиком между лопаток. Темное это было дело, темное... Хорошо, что народ ангелов никогда не жаловал, страшно было на них глядеть, хотя и не понять, почему страшно, — ангелы были люди приветливые, веселые. Вот только глаза у них были страшные. Маленькие, блестящие, и все бегают да бегают... нечеловеческие глаза, немирные. Так народ и промолчал, хотя и дал ему отец, царь Простяга, такую волю, что вспомнить стыдно... и то сказать, отец до Переворота, говорят, шорником был. За такие разговоры я потом самолично глаза вырывал и в уши зашивал. Но помню, сядет он, бывало, под вечер на пороге Хрустальной Башни, примется кожу кроить — смотреть приятно. А я рядом примощусь, прижмусь к его боку, тепло, уютно... Из комнат ангелы поют, тихо так, слаженно, отец им подтягивает — он их речь знал, — а вокруг просторно, никого нет... не то что сейчас, стражников на каждом углу понатыкано, а толку никакого...

Царь горестно всхлипнул. Да, отец хороший был, только слишком долго не помирал. Нельзя же так при живом сыне... Сын ведь тоже царь, сыну тоже хочется... А Простяга все не стареет, мне уже за пятьдесят перевалило, а он все на вид моложе меня... Ангелы, видно, за него Бога просили... За него просили, а за себя забыли. Второго, говорят, прижали в отцовской комнате, в руках у него было по праще, но биться он не стал, перед смертью,

говорят, кинул обе пращи за окно, лопнули они синим огнем, и пыли не осталось... Жалко было пращей... А Простяга, говорят, плакал и упился тогда до полусмерти — первый раз за свое царствование, — искал все меня, рассказывают, любил меня, верил...

Царь подтянул колени к подбородку, обхватил ноги руками. Ну и что ж, что верил? Меру надо было знать, отречься, как другие делают... да и не знаю я ничего, и знать не желаю. Был только разговор с дядюшкой, с его высочеством. «Не стареет, — говорит, — Простяга». — «Да, — говорю, — а что поделаешь, ангелы за него просили». Дядюшка тогда ослабилась, сволочь, и шепчет: «Ангелы, — говорит, — нынче песенки уже не здесь поют». А я возьми и ляпни: «Уж это верно, и на них управа нашлась, не только на человеков». Дядюшка посмотрел на меня трезво и сразу ушел... Я ведь ничего такого и не сказал... Простые слова, без умысла... А через неделю помер Простяга от сердечного удара. Ну и что? И пора ему было. Казался только молодым, а на самом деле за сто перешел. Все помер...

Царь встрепенулся и, прикрываясь, неловко поднялся на корточки. В храм вошел верховный жрец Агар, служки вели его под руки. На царя он не взглянул, приблизился к Богу и склонился перед возвышением, длинный, горбатый, с грязно-белыми волосами до пояса. Царь злорадно подумал: «Конец тебе, ваше высочество, не успел, я тебе не Простяга, нынче же свои кишки жрать будешь, пьяная сволочь...» Агар проговорил густым голосом:

— Бог! Царь хочет говорить с тобой! Прости его и выслушай!

Стало тихо, никто не смел вздохнуть. Царь соображал: когда случился великий потоп и лопнула земля, Простяга просил Бога помочь, и Бог явился с неба комом огня в тот же вечер, и в ту же ночь земля закрылась, и не стало потопа. Значит, и сегодня так будет. Не успел дядюшка, ваше высочество, не успел! Никто тебе теперь не поможет...

Агар выпрямился. Служки, поддерживавшие его, отскочили и повернулись к Богу спиной, пряча головы руками. Царь увидел, как Агар протянул сложенные ладони и положил на грудь Бога. У Бога тотчас загорелись глаза. От страха царь стукнул зубами: глаза были большие и разные — один ядовито-зеленый, другой белый, яркий, как свет. Было слышно, как Бог задышал, тяжело, с потрескиванием, словно чахоточный. Агар попятился.

— Говори, — прошептал он. Ему, видно, тоже было не по себе.

Царь опустился на четвереньки и пополз к возвышению. Он не знал, что делать и как поступать. И он не знал, с чего начинать и говорить ли всю правду. Бог тяжело дышал, похрипывая грудью, а потом вдруг затянул тихонько и тоненько — жутко.

— Я сын Простяги, — с отчаянием сказал царь, уткнувшись лицом в холодный камень. — Простяга умер. Я прошу защиты от заговорщиков. Простяга совершал ошибки. Он не ведал, что делал. Я все исправил: смирил народ, стал велик и недоступен, как ты, я собрал войско... А подлый Бат мешает мне начать завоевание мира... Он хочет убить меня! Помогите!

Он поднял голову. Бог, не мигая, глядел ему в лицо зеленым и белым. Бог молчал.

— Помогите... — повторил царь. — Помогите! Помогите! — Он вдруг подумал, что делает что-то не так и Бог равнодушен к нему, и совсем некстати вспомнил: ведь говорили, что отец его, царь Простяга, умер вовсе не от удара, а был убит здесь, в храме, когда убийцы вошли, никого не спросив. — Помогите! — отчаянно закричал он. — Я боюсь умереть сегодня! Помогите! Помогите!

Он скрючился на каменных плитах, кусая руки от нестерпимого ужаса. Разноглазый Бог хрипло дышал над его головой.

— Старая гадюка, — сказал Толя. Эрнст молчал.

На экране сквозь искры помех черным уродливым пятном расплылся человек, прижавшийся к полу.

— Когда я думаю, — снова заговорил Толя, — что, не будь его, Аллан и Дерек остались бы живы, мне хочется сделать что-то такое, чего я никогда не хотел делать.

Эрнст пожал плечами и отошел к столу.

— И я всегда думаю, — продолжал Толя, — почему Дерек не стрелял? Он мог бы перебить всех...

— Он не мог, — сказал Эрнст.

— Почему не мог?

— Ты пробовал когда-нибудь стрелять в человека?

Толя сморщился, но ничего не сказал.

— В том-то и дело, — сказал Эрнст. — Попробуй хоть представить. Это почти так же противно.

Из репродуктора донесся жалобный вой. «ПОМОГИ ПОМОГИ Я БОЮСЬ ПОМОГИ...» — печатал автомат-переводчик.

— Бедные злые люди... — сказал Толя.

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

1

Поэт Александр Кудряшов

Валя Петров сам пришел ко мне сообщить об этом. Он стянул с головы берет, пригладил волосы и сказал:

— Ну вот, Саня, все решено.

Он сел в низкое кресло у стола и вытянул свои длинные ноги. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я спросил:

— Когда?

— Через декаду. — Он вертел в пальцах, складывал и разглаживал берет. — Все-таки назначили меня. Я было совсем потерял надежду.

— Нет, почему же, — сказал я. — Ведь ты опытный межпланетник.

— Здесь это не имеет значения.

Я достал из холодильника лимонный сок и мед. Мы смешали и выпили.

— Стартуем с «Цифэя», — объявил он.

— Где это?

— Внеземная станция. Спутник Луны.

— Вот как, — сказал я. — Я думал, Цифэй — это созвездие.

— Созвездие — это Цефей, — пояснил он. — А «цифэй» по-китайски значит «старт». Собственно, это стартовая площадка для фотонных кораблей.

Он поставил бокал на стол, надел берет, встал, протянул руку.

— Ладно, — сказал он. — Я пойду.
 — А Ружена? Ружена уже знает?
 — Нет. Она еще не знает. Я еще не говорил ей.
 Он снова сел в кресло. Мы помолчали.
 — Это надолго? — спросил я.
 Я знал, что это навсегда.

— Нет, не очень, — ответил он. — Собственно, мы рассчитываем вернуться через двести лет. Или двести пятьдесят. Ваших, земных, конечно. Очень большие скорости. Почти круглое «це». Ладно... Мне надо идти.

Но он не поднимался.

— Выпьем вина, — предложил я.
 — Давай.

Мы чокнулись, выпили по бокалу золотистой «Явы».

— Знаешь, — сказал он, — даже не верится. Что ж, перед нами стартовал Горбовский, а перед Горбовским — Быков. Я третий. Готовятся еще две экспедиции. И будет, наверное, еще несколько. Ведь для нас это пустяки. Десять лет рейса, от силы пятнадцать.

— Да-да, конечно, — пробормотал я. — Эйнштейновское сокращение времени и все такое...

Он встал.

— Пойду... Ты будешь провожать меня?

Я кивнул. Он поправил берет и пошел к двери. У дверей остановился.

— Спасибо, Саня, — сказал он.

Я не ответил. Просто не мог сказать ни слова.

С Петровым на «Муромце» уходили еще пять человек. Троих я знал: Ларри Ларсена, Сергея Завьялова и Сабуро Микими. Ларсен даже был моим другом, хотя и не таким близким, как Валя. Провожавших было человек десять. Когда до старта осталось около часа, все расселись в кают-компанию «Цифэя». На «Цифэе» не было тяжести, и нас обули в ботинки с магнитными подковами. Ружена и Валя держались за руки. Ружена сильно изменилась за это время. Она похудела, глаза ее стали еще больше, и она все время покусывала нижнюю губу. Она была очень красива, я даже не думал, что женщина может быть такой красивой. Валя держал ее за руку и улыбался. Мне показалось, что

мысленно он уже со страшной скоростью несется среди отдаленных звезд. Он и Ружена молчали. Только один раз она что-то сказала вполголоса, и он погладил ее по руке.

Остальные тоже молчали. Молоденькая девушка в оранжевом, провожавшая межпланетника, которого я не знал, время от времени всхлипывала. Он краснел и похлопывал ее по плечу ладонью. Я испытывал удивление и недоверие. Мне не раз приходилось провожать людей в Пространство. Другим, наверное, тоже. Но сейчас все было по-другому. С этими шестерыми мы прощались навсегда. Я подумал, что они вернутся, когда никого из нас не останется в живых — ни меня, ни Ружены, ни девочки в оранжевом. Их встретят наши потомки. Может быть, даже их собственные потомки. Через столетия Валя Петров познакомится с девушкой по фамилии Петрова. «Собственно, я знал одного Петрова, — скажет Валя. — Он был начальником Третьей звездной экспедиции. Мы были друзьями детства. Может быть, вы его внучка?» — «Кажется, — ответит девушка. — Только не внучка, а пра-пра-пра-пра...»

— Ты не огорчайся, — сказал Валя громко.

— Я не огорчаюсь, — ответила Ружена.

— Это ведь очень нужно.

— Я понимаю.

— Нет, — сказал Петров, — ты не понимаешь, Руженка! Ты совсем ничего не понимаешь. Вот и Александр не понимает. Сидит Александр и думает: «Ну зачем им это нужно?» Верно, Саня?

Он смеялся. Нет, он не угадал, о чем я думаю. Я знал Валентина с детства и очень любил его. Но он был совсем не такой, как я. Мне всегда казалось, что он издевается надо мной. Он принадлежал к другой породе людей. Он был немножко фанфарон и позер. И он был необыкновенный смельчак. Мало кто решался на штуки, которые он позволял себе, а те, кто решался, отступали или гибли. Но ему все удавалось. Он с улыбочкой шел над пропастями. Наверное, он очень любил себя такого — веселого, небрежного и неуязвимого. Другие тоже любили его. И Ружена любила его. Но что ему? Он и в двадцать четвертый век войдет, наверное, так же — весело улыбаясь и постукивая себя по изношенному ботинку тросточкой, вырезанной бог знает на какой планете.

В кают-компанию вошел беловолосый загорелый юноша и сказал:

— Пора, товарищи.

Мы встали. Девушка в оранжевом громко всхлипнула. Я поглядел на Ружену и Петрова. Они обнялись, и он зарылся носом в ее волосы.

— Все,— сказал он.— Прощай, ласонька.

Ружена молчала.

— Не огорчайся,— сказал он.

Она отстранилась от него и попыталась поправить прическу. Волосы не ложились.

— Иди,— попросила она.— Иди. Я не могу больше. Пожалуйста, иди.— У нее был низкий, непривычно ровный голос.— Прощай!

Он поцеловал ее и, не спуская с нее глаз, попятился к выходу. Он пятился, щелкая по полу магнитными подковами, и глядел на нее не отрываясь, словно боялся, что она выстрелит ему в спину. Лицо у него было белым, и губы тоже были белыми, но он улыбался. У люка его заслонили широкий Ларри Ларсен, затем незнакомый межпланетник, которого провожала девушка в оранжевом, затем другой незнакомый межпланетник, затем Сережа Завьялов.

— До свидания, Руженка! — крикнул Петров.

Я только позже вспомнил, что он сказал «до свидания», и подумал, что он оговорился.

Когда они вышли и люк за ними захлопнулся, беловолосый юноша нажал какие-то кнопки в стене. Оказалось, что сферический потолок кают-компания служил чем-то вроде стереотелеэкрана. Мы увидели «Муромца». «Муромец» был первоклассным кораблем с прямоточным фотонным приводом на аннигиляции. Он захватывал и сжигал в реакторе космический газ и пыль и еще что-то, что бывает в Пространстве, и имел неограниченный запас хода. Скорость у него тоже была неограниченной — в пределах светового барьера, конечно. Он был огромных размеров, что-то около полукилометра в длину. Но нам он казался серебряной игрушкой, повисшей в центре экрана на фоне частых звезд.

Мы глядели на него, как замороженные. Потом кто-то громко высморкался, кажется, девушка в оранжевом. Экран осветил-

ся. Свет был очень яркий, как молния, белый с лиловым. Этот свет ослепил меня. А когда разноцветные пятна уплыли из глаз, на экране остались только звезды.

— Стартовали! — крикнул беловолосый юноша.

По-моему, он завидовал.

— Улетел... — прошептала Ружена.

Она подошла ко мне, неуклюже переставляя ноги в подкованных ботинках, и положила руку на мой рукав. У нее дрожали пальцы.

— Мне очень тоскливо, Саня. Я боюсь.

— Если позволишь, я буду возле тебя,— сказала я.

Но она не позволила. Мы вернулись в Новосибирск и расстались. Я сел за поэму. Мне хотелось написать большую поэму о людях, которые уходят к звездам, и о женщине, которая осталась на прекрасной зеленой Земле. Как она стоит перед уходящим другом и говорит низким, ровным голосом: «Иди. Я не могу больше. Пожалуйста, иди». А он улыбается белыми губами.

Через полгода рано утром Ружена позвонила мне. Она была такой же бледной и большеглазой, как тогда на «Цифэе». Но я подумал, что в этом виноват сиреневый оттенок, какой иногда бывает у видеоэкрана.

— Саня,— сказала Ружена.— Я жду тебя на аэродроме, стратоплан ЛТ-347. Приезжай немедленно.

Я ничего не понял и спросил, что произошло. Но она повторила: «Жду тебя», и повесила трубку.

На ближайшей площади я сел в вертолет и помчался на аэродром. Утро было ясное и прохладное. Это немного успокоило меня. На аэродроме меня проводили к большому пассажирскому стратоплану, готовому к отлету. Стратоплан взлетел, едва я вскарабкался в кабину. Я больно стукнулся грудью о какую-то раму. Затем я увидел Ружену и сел рядом с ней. Она действительно была бледна и покусывала нижнюю губу.

— Куда мы летим? — осведомился я.

— На Северный ракетодром,— ответила она. Она долго молчала и вдруг сказала: — Валентин возвращается.

— Что ты?!

Что я мог еще сказать? Перелет длился два часа, и за эти два часа мы не сказали ни слова. Зато другие пассажиры говорили очень много. Все были очень возбуждены и настроены недоверчиво. Никто не понимал, почему «Муромец» возвращается. Я узнал, что вчера вечером была получена радиограмма от Петрова: начальник Третьей звездной сообщал, что на «Муромце» вышли из строя какие-то устройства и он вынужден идти на посадку на земной ракетодром, минуя внешние станции.

— Петров просто испугался,— сказал пожилой толстый человек, сидевший позади нас.— Это не удивительно. Это бывает в Пространстве.

Я глядел на Ружену и видел, как дрогнул ее подбородок. Но она не обернулась. Оборачиваться не стоило. Петров не умел пугаться.

— Так было с Конгом,— подтвердил кто-то.

— А параллельный прием? — спросил молодой межпланетник. У него было изуродованное лицо и злые глаза.

И все стали рассуждать относительно параллельного приема. Оказывается, и до и после радиограммы Петрова с «Муромца» почему-то продолжали поступать сигналы, отправленные еще в первую неделю после отлета. Сигналы были страшно искажены, но в каждом из них явственно проступало рутинное «ВТ» — «все благополучно». Спор был в самом разгаре, когда стратоплан стал снижаться.

Мы опоздали. «Муромец» уже сел, и мы сделали над ним два круга. Я хорошо разглядел корабль. Это уже не была елочная игрушка. Посреди тундры под синим небом стояло, накренившись, громадное сооружение, изъеденное непонятными силами, покрытое странными потеками. От него поднимался розовый пар.

— Это — трусость? — проговорил межпланетник с изуродованным лицом.

Стратоплан приземлился километрах в десяти от «Муромца». Ближе было нельзя — «Муромец» заразил местность при посадке. Мы вышли. Верхняя часть корабля черной тенью висела над горизонтом. От земли поднималось влажное тепло, время тянулось бесконечно долго. Прибыло еще несколько стратопланов. Мы ждали. Наконец послышалось стрекотание, и низко над

нашими головами прошел вертолет. Вертолет сел в сотне шагов от нас.

— Затем произошло чудо.

Из вертолета вышли трое и медленно направились к нам. Впереди шел высокий худой человек в поношенном комбинезоне. Он шел и похлопывал себя по ноге тростью изумрудного цвета. За ним следовал приземистый мужчина с пушистой рыжей бородой и еще один, сухой и сутулый. Мы молчали. Мы еще не верили. Трое подошли ближе, и тогда Ружена закричала:

— Валя!

Человек в поношенном комбинезоне остановился, отбросил трость и почти бегом кинулся к нам. У него было странное лицо: без губ. Не то лицо было таким красным, что губы не выделялись на нем, не то губы были слишком бледными. Но я сразу узнал Петрова. Впрочем, кто, кроме Петрова, мог прилететь на «Муромце»? Но этот Петров был почти стар, и у него не было левой руки — пустой рукав заправлен за пояс комбинезона. И все-таки это был Петров!

Ружена побежала к нему навстречу. Они обнялись. Человек с рыжей бородой и сутулый человек тоже остановились. Это были Ларри Ларсен и тот незнакомый пилот, которого полгода назад провожала девушка в оранжевом.

Мы молча окружили их. Мы смотрели во все глаза. Петров торжественно сказал:

— Здравствуйте, товарищи! Простите, многих из вас я, вероятно, забыл. Ведь мы виделись в последний раз семнадцать лет назад...

Никто не проронил ни слова.

— Кто начальник ракетодрома? — спросил Петров.

— Я,— сказал начальник Северного ракетодрома.

— Мы потеряли свои авторазгрузчики,— сказал Петров.— Будьте добры, разгрузите корабль. Мы привезли много интересного.

Начальник Северного ракетодрома смотрел на него с ужасом и восхищением.

— Только не трогайте шестой отсек, хорошо? В шестом отсеке две мумии. Сергей Завьялов и Сабуро Микими... Мы привезли

их, чтобы похоронить на Земле. Мы везли их пять лет. Так, Ларри?

— Так,— сказал Ларри Ларсен.— Сергея Завьялова мы везли пять лет. Микими мы везли четыре года. А Порта остался там.— Ларри улыбнулся, борода его затряслась, и он заплакал.

Петров повернулся к Ружене:

— Пойдем, Руженка. Пойдем. Мы вернулись и привезли Земле в подарок далекие миры. Ты видишь, я вернулся!

Она смотрела на него так, как никогда ни одна женщина не смотрела и не посмотрит на меня.

— Да...— сказала она.— Ты вернулся...

Она зажмурилась и помотала головой. Они пошли, обнявшись, через толпу, и мы расступились перед ними.

На «Цифэе» она прощалась с ним навсегда. А встретила его через полгода. Он ушел на двести лет. А вернулся через семнадцать. Ему удалось это. Ему все всегда удавалось. Но как?

Я не знаю, как это объяснить и можно ли это объяснить. Я ведь только поэт. Я не физик.

2

Артистка Ружена Наскова

— Будет дождь,— сказал Валя.

Мы сидели на диване перед балконом и глядели в низкое небо над матовыми крышами города.

— Дождь,— повторил он.— Я очень давно не видел дождя. Там не было дождей.

— Почему? — спросила я.

— Не знаю. Не было...

Быстро темнело, и мы сидели, не зажигая света. Я обняла его за плечи.

— Не надо, Руженка,— сказал он тихо.

Я почувствовала под пальцами его пустой рукав.

— Не говори глупостей!

— Но это, наверное, очень неприятно.

— Не говори глупостей,— повторила я.— Лучше помолчи.

— Мы и так все время молчим...

Ветер колыхнул поднятую штору, и было слышно, как сзади в комнате зашуршала бумага.

— Как здорово — ветер! — сказал Валя и закрыл глаза.

— Ветра там тоже не было? — спросила я. Я прижалась лицом к его плечу.

— Тебя там не было,— услышала я.

В городе зажглись огни, тучи стали красноватыми и опустились еще ниже. Сразу хлынул дождь и забарабанил по стеклам.

— Хочешь, я закрою балкон?

— Ой, не надо! Сиди! — сказал он и очень больно стиснул мои пальцы.

— Валька! — прикрикнула я.

Он отпустил мою руку.

— Прости, Руженка, я не хотел...

Я посмотрела ему в глаза.

— Ты стал какой-то железный,— сказала я.— Твердый, как полено. И ужасно сильный.

— Так и должно быть,— усмехнулся он.— Я стал невозможным сильным. Все калеки сильные.

— Какая чепуха! Это не оттого...

— Да, не оттого,— согласился он.— Это от перегрузок.

— Не надо,— попросила я.— Не надо рассказывать. Подожди...

Я снова прижалась лицом к его плечу. Дождь все шел. У балконных дверей скопилась лужица, и струйка черной воды медленно поползла в комнату. Я снизу вверх поглядела на Вальку. Он смотрел на черную струйку остановившимися глазами.

— Не надо,— прошептала я.— Не надо вспоминать. Постарайся сегодня ничего не вспоминать. Не будем сегодня вспоминать.

— Очень жалко Сергея,— медленно сказал он.

— Очень. Он был такой славный...

— Он был замечательный,— сказал Валя.

Я вспомнила Сергея, как всего год назад он приходил к нам, и другие межпланетники приходили к нам и ночи напролет кричали друг на друга на ужасном русско-французско-китайско-английском жаргоне, говорили о теории тяготения, о тау-механике, о каких-то специальных разделах математики. Я и не

пыталась понять что-либо, а ведь они тогда обсуждали планы этого необыкновенного опыта.

Нет, ничего нельзя забыть. Не забыть, как тот отвратительный толстяк сказал: «Петров просто испугался. Это бывает в Пространстве». Как приходил Саня Кудряшов и сидел вечерами, согнувшись у стола, жалкий и страшный. Я знала, что он так любит, что страшно сидеть с ним рядом, и думала, что это судьба. А Саня однажды сказал: «Ведь он мог просто погибнуть, Ружена. Просто погибнуть в самом обычном рейсе». Он сказал так, потому что хотел утешить меня, но я его до сих пор не могу простить. Я все время хотела быть одна. Рядом со мной кипела огромная прекрасная жизнь, мои родные люди учились, любили, строили, а я не могла быть с ними. Я перестала петь, никуда не выходила, ни с кем не разговаривала. Я завидовала. Или, может быть, я надеялась. Вероятно, с самого начала в глубине души я надеялась, что Валя может совершить невозможное. Разве это можно забыть? И вот он вернулся.

Валя встал, подошел к балкону и закрыл дверь. Я сказала:

— Будем пить чай. Хочешь?

— Угу... Еще как!

Он прошел через комнату и включил свет.

— Ничего не изменилось,— сказал он оглядываясь.— Будто и не было этих семнадцати лет.

— Только сто восемьдесят семь дней,— поправила я.— И семь часов в придачу.

— Да, конечно...

Глаза у него заблестели, и он стал похож на прежнего Валентина Петрова. Он был таким же много лет назад, в Дао-Рао, где мы познакомились во время подводной охоты. Никакой рыбы не было, мы просто постреляли из электрических ружей по водорослям, а потом долго сидели на песке и разговаривали. Он был веселый, стремительный и все время острил. Видно было, что он очень хочет понравиться, но понравился он не сразу. Он понравился, когда перестал острить.

Я принесла чайник, накрыла на стол и налила ему в его любимую чашку черного фарфора. Я села напротив и стала смотреть, как он пьет.

— Замечательный чай,— похвалил он.— Только ты умеешь делать такой.

— Я совершенно не умею делать чай,— сказала я.— Я в этом ничего не понимаю.

— Порта варил удивительный кофе,— сказал Валя.

И он стал рассказывать, как Порта варил кофе и они вшестером пили кофе из маленьких чашечек, которые Порта возил с собой во все свои экспедиции. Кофе был горячий и черный, и было удивительно вкусно отхлебывать его маленькими глотками и заедать сливовым вареньем, и Порта сокрушался, что на корабле нельзя курить. Он говорил, что кофе состоит из кофе, варенья и табачного дыма, но никто ему не сочувствовал, потому что из всех шестерых курил он один. Вахтенный загонял его в ванную и ставил под вентилятор, и Порта сидел там в мрачном одиночестве и злился. Но он ничего не мог поделать — таковы были правила.

— Он ужасно сердился,— повторил Валя.— А потом, когда начались перегрузки...

Он замолчал и уткнулся в чашку.

— Ну? — сказала я.

— Потом он уже не сердился...— проговорил Валя.— Налей мне еще.

— Нет уж,— сказала я,— теперь ты рассказывай. Ты ведь еще ничего не рассказывал. Рассказывай про перегрузки.

Валя уставился на мои руки, пока я налила ему чай.

— Слушай, ты сто лет не поила меня чаем.

— Рассказывай про перегрузки,— потребовала я.— Очень были большие?

— Перегрузки были ой-ей-ей,— сказал он.— Как об этом расскажешь? Это надо испытать.

— Очень интересная и исчерпывающая информация. Ой-ей-ей — это значит раза в три-четыре?

— Угу,— подтвердил он. Он сидел ссутулившись, глядя в скатерть.

— Валя! — окликнула я.

Он очнулся не сразу. Вероятно, он глядел на то, что мне никогда не увидеть. В раскрытом ворота рубашки темнела его сухая коричневая грудь с выступающими ключицами.

— Мы большие молодцы,— медленно проговорил он.— Мы настоящие звездолетчики.

— Валя,— сказала я,— как вам удалось вернуться так быстро? Он поднял голову и улыбнулся. У него снова заблестели глаза.

— Я очень хотел этого, Руженка,— сказал он.— Я очень люблю тебя, потому я вернулся так быстро. Ну и, конечно, немного физики.

— Меня интересует как раз физика,— сердито сказала я.

— А как ты сама думаешь?

Я стала вспоминать мою школьную физику. Я никогда после школы не интересовалась физикой, но я добросовестно пыталась вспомнить.

— Ты говорил, что локальное время перелета — семнадцать лет?

— Да.

— Но земное время перелета — шесть месяцев,— нерешительно сказала я.— И вы шли на возлесветовых скоростях. Значит, релятивистские эффекты были велики... Но ведь специальная теория относительности дает обратный эффект. На Земле должно было пройти больше времени, чем на вашем корабле. И потом... Погоди, по-моему, специальная теория относительности здесь вообще неприменима. Вы же шли с перегрузками, все время с ускорением. Поэтому вы все время находились в гравитационном поле. Так?

— Умница,— проговорил он с нежностью.— Нет, ей-ей, умница! Ты схватила самую суть.

Он полез через стол поцеловать мне руку и уронил чашку. Чашка покатила по скатерти, оставляя коричневую дорожку. Валя поднял чашку и уронил стул.

— А ну его к черту,— закричал он и пнул стул ногой.— Ты схватила самую суть, Руженка, и мне больше нечего тебе объяснять. Все равно ты больше ничего не поймешь, жалкая жрица муз.

Он все-таки поднял стул и уселся на него верхом, положив локоть на спинку.

— Я тебе только вот что скажу. Как ведет себя время в системах, движущихся ускоренно, не знал до нас никто. Были только разные частные случаи. Знаешь, как пишут: «Таким образом, при некоторых частных предположениях относительно силового

поля...» и так далее. А мы теперь знаем, доказали на опыте, что при больших ускорениях на возлесветовых скоростях можно управлять временем. Можно сделать так, что звездолет вернется через сто лет, а пилоты состарятся на год. Что-то в этом роде будет с Быковым и Горбовским. Они вернуться молодыми, но Земля состарится. У них очень мало ускорение. А если лететь так, как летели мы, все будет наоборот. Постаревший пилот возвращается к своей по-прежнему юной супруге. Здорово я тебе все объяснил?

— Здорово! — сказала я.

— Велик ли я?

— Велик! — сказала я.

Он снова стал Валею Петровым. Он смеялся радостно, весело и очень гордился собой.

— Не я ли глава семьи?

— Ну конечно же! — смиренно согласилась я.

— А ты понимаешь, как все это здорово?

Еще бы! Я понимала. Он никогда больше не уйдет от меня надолго. Он будет возвращаться постаревший и окаменевший от перегрузок, но он будет возвращаться скоро. Мириады миров разделят нас, но никогда больше не разделят нас годы.

— Завтра нагрянут гости,— вдруг вспомнил Валя и потянулся. Было очень странно и непривычно видеть, как он потягивается одной рукой.— И надо лететь в Совет космогации. И надо готовить доклад.

— Вы привезли много материала? — спросила я.

— Массу. Мы привезли фильм «Планета Ружена, на которой не бывает дождей».

— А там правда не бывает дождей? — спросила я. Мне было очень приятно.

Он ответил:

— Один раз мы там увидели облачко. По этому поводу Пор-та варил кофе. Но во всем другом Ружена — очень богатая планета. И там солнце не в пример нашему — белая звезда. По сравнению с ним наше солнце просто медный таз.

Он вскочил, выбежал из комнаты и вернулся с изумрудной тростью.

— Смотри,— сказал он.— Зеленая древесина. Это белковая растительность. Но Порта нашел там и небелковую жизнь.

Я прислонила трость к столу.

— А что случилось с Порты? — спросила я шепотом.

Валя не ответил, и я вспомнила, что он никогда не отвечал на такие вопросы.

— Мы привезли девятнадцать культур разных микробов,— сказал он.— Штук тридцать гербариев, такое вот зеленое дерево и целую батарею банок с заспиртованными организмами. И мы привезли такую коллекцию минералов! Я могу назвать тебе двадцать человек, которые облизнутся, увидев все это. Хотя бы Константин Робертович Ченчик.

Ченчик был председатель Комитета по внеземным ресурсам.

— Ты снова полетишь туда? — спросила я. Я старалась говорить совсем небрежно, как бы между прочим. Но он понял и засмеялся.

— Конечно, нет. Туда полетят другие. Там будет оборудована база. Ружена — отличное место для базы. С Ружены мы будем стартовать дальше — к системе ВК 902, а оттуда еще дальше — к красному гиганту ВК 1335. Это очень далеко.

Он вдруг вспомнил что-то и наморщил лоб.

— Руженка,— сказал он,— ты не знаешь, что это за блестящая башня стоит на ракетодроме?

Я не знала, о какой башне он говорит.

— Наверное, ее построили за эти полгода,— сказал Валя. Он засмеялся.— Знаешь, когда я понял, что опыт удался? Когда увидел тебя. А то мы глазели на эту башню, и Ларри божился, что это двадцать четвертый век. Теперь я вспоминаю и начальника ракетодрома, но тогда я не узнал его. Просто забыл за семнадцать лет, какой он, и мне показалось, что это новый.

— А ты меня сразу узнал? — спросила я.

— Ну еще бы!

— Я все время думала, что это сон,— сказала я.— Я и сейчас так думаю. Ты просто мираж...

— Твердый, как полено,— добавил он.

Я засмеялась, потом немножко поплакала и рассказала ему, как он год за годом летел один через черную пропасть, полную

холодных звезд. Впереди звезды, позади звезды, и больше ничего.

Валя покачал головой.

— Все это так,— протянул он.— Только звезд тоже нет — ни впереди, ни сзади.

— Почему? — спросила я сквозь слезы.

— Доплеровская слепота... При возлесветовых скоростях эффект Доплера смещает излучение звезд в невидимые глазом области. Звезды можно видеть только с помощью специальных преобразователей. А если смотреть в обыкновенные телескопы, то вокруг тьма. Беспросветная тьма. Это очень неприятно, Руженка,— смотреть в обыкновенные телескопы. Кажется, что, кроме тебя, никого нет во всем мире...

Мне стало холодно, и я прижалась к нему.

— Пойдем спать,— сказал он.— Завтра будет тяжелый день.

— А вдруг я проснусь, а тебя нет?

— Так, наверное, и будет. Завтра я рано-рано улечу в Москву. Я даже будить тебя не буду.

— Разбуди,— попросила я.

Он быстро уснул, а я еще долго сидела рядом и смотрела на его лицо. Лицо казалось темным, почти черным в полумраке. Он спал спокойно, только один раз вдруг сказал быстро: «Осторожно, Ларри... Это же адская боль». И через минуту: «Выгони вон Артура. Он не привык смотреть на это».

Никогда больше он не уйдет надолго. Он будет возвращаться постаревшим и когда-нибудь вернется совсем старым, но никогда больше не придется ждать годами. Человек, управляющий временем,— мой муж.

3

Звездолетчик Валентин Петров

Третья звездная началась. «Муромец», неторопливо набирая скорость, пошел прочь от Солнца по перпендикуляру к плоскости эклиптики. Теперь мне предстояло рассказать о своем замысле товарищам. На Земле я думал, что самое сложное — это

добиться согласия у Совета космогации. В том, что согласится экипаж, я не сомневался. Я посмотрел на Сережку — он сидел у пульта и жевал тянучки — и немного успокоился. Сережа согласился еще на Земле, и мы вместе отстаивали эту идею в Совете. Я кивнул ему, и мы вышли в кают-компанию. Там Ларри играл с Сабуро в шахматы, маленький Людвиг Порта копался в фильмотеке, а Артур Лепелье сидел прямой, как манекен, и глаза его были широко раскрыты. У него в глазах была девушка в оранжевом свитере. Я подумал, что он наверняка согласится.

— Вот что,— начал я.— Вы хорошо представляете себе, что такое звездная?

Они посмотрели на меня с изумлением. Конечно, они все хорошо представляли себе. Годы непрерывных будней и отрешение от людей и Земли своего времени, потому что к тому дню, когда мы вернемся, память о нас превратится в легенду. Они молча глядели на меня, затем Порта ответил неторопливо:

— О да, конечно, мы все представляем это хорошо.

Я сказал:

— Я хочу вернуться на Землю раньше чем через двести лет.

— Я тоже,— сказал Сабуро.

— Я тоже,— усмехнулся Ларсен.— Например, сегодня к ужину.

Артур Лепелье заморгал, а Порта с интересом спросил:

— Вы хотите уменьшить скорость?

— Я хочу вернуться домой гораздо раньше чем через двести лет,— повторил я.— Есть возможность проделать всю работу и вернуться домой не через двести лет, а через несколько месяцев.

— Это невозможно,— сказал Сабуро Микими.

— Фантастика,— вздохнул Артур.

Ларри положил подбородок на огромные кулаки и спросил:

— В чем дело? Объясни, капитан.

До выхода в зону АСП (абсолютно свободного полета) оставалось еще около суток. Я сел в кресло между Ларсеном и Артуром и сказал Сергею:

— Объясни.

Известно, что чем ближе скорость звездолета к скорости света, тем медленнее течет в звездолете время, подчиняясь законам теории тяготения. Но этот закон справедлив только при малых

ускорениях звездолета и при коротком времени работы двигателя. Если же на околосветовых скоростях звездолет идет с двигателями, работающими непрерывно, если ускорения при этом достаточно велики, если у светового барьера создаются перепады ускорений, тогда... Трудно сказать, что получится тогда. Современный математический аппарат бессилён дать общие результаты. Однако при некоторых частных предположениях относительно характера движения звездолета теория тяготения не исключает возможности явлений иного порядка. Не исключено, что время в звездолете ускорит свое течение. Десятки лет пройдут на корабле, и только месяцы на Земле. «Муромец» — первый в истории прямоточный фотонный корабль. На нем можно поставить этот эксперимент. Правда, это невыносимо трудно. Это потребует многих лет полета с чудовищными перегрузками — в пять-шесть раз.

— Фантастика! — вздохнул Артур. В его глазах снова появилась девушка в оранжевом свитере.

Я очень рассчитывал на Порту. Он был биолог, но знал, по моему, все, кроме дескриптивной лингвистики.

— Я слышал об этом,— сказал он.— Но это только теория. И это... — Он неопределенно пошевелил пальцами.

Но нет, это была не только теория. Три года назад я испытывал «Муромца» в зоне АСП. Я сорок дней просидел в амортизаторе, ведя звездолет с ускорением, вчетверо большим, чем ускорение силы тяжести на Земле. Когда я вернулся, оказалось, что бортовой хронометр ушел на четырнадцать секунд вперед. Я провел в Пространстве на четырнадцать секунд дольше, чем это зафиксировали земные часы. Я рассказал об этом Горбовскому накануне старта Второй звездной. Горбовский поднял палец и произнес нараспев:

Сегодня в Космос пущена ракета.

Она летит в двенадцать раз быстрее света.

И долетит до цели в шесть утра —

Вчера.

Сейчас в кают-компании я снова рассказал про свой эксперимент и соврал, что выиграл полторы минуты.

— О! — сказал Порта. — Это хорошо.

— Но это должны быть лютые перегрузки, — предупредил я.

Об этом надо было сказать непременно, хотя в состав экспедиции я отобрал только опытных межпланетников, с безукоризненным здоровьем, хорошо переносящих удвоенную и даже утроенную тяжесть.

— Какие? — спросил Ларсен.

— Раз в семь...

— О! — сказал Порта. — Это плохо.

— Значит, я буду весить полтонны? — сказал Ларсен и захохотал так, что все вздрогнули.

— А Совет знает? — осведомился Сабуро. Он обладал большим чувством ответственности.

— Они не верят, что из этого что-нибудь получится, — ответил Сергей. — Но они разрешили... Если вы согласитесь, конечно...

— Я тоже не верю, — заявил Артур очень громко. — Перегрузки, частные предположения...

Они разом заспорили, и я ушел в рубку. Конечно же, они не испугались перегрузок, хотя все отлично знали, что это такое. Они все согласились, возражал только Артур, которому ужасно хотелось, чтобы его убедили. Через полчаса они все пришли в рубку. Я посмотрел на них.

— Надо действовать, капитан, — сказал Ларри.

— Мы выполним работу и вернемся домой, — сказал Артур. — Домой! Не просто на Землю, но Домой.

— И какой эксперимент! — воскликнул Микими.

— Но семикратные перегрузки?.. — Порта пошевелил пальцами.

— Да, семикратные, — подтвердил я. — Или восьмикратные. Или десяти...

— Это тяжело, — спокойно заключил Порта.

Это было так тяжело, что иногда казалось, что мы не выдержим. Первые месяцы я медленно наращивал ускорение. Микими и Завьялов составили программу для кибернетического управления, и ускорение автоматически увеличивалось на один процент в сутки. Я надеялся, что мы сумеем хотя бы немного привыкнуть. Это оказалось невозможным. Кости трещали, мус-

кулы не выдерживали тяжести рук. Мы вынуждены были отказаться от твердой пищи и питались бульонами и соками. Через сто дней наш вес увеличился в три раза, через сто сорок — в четыре. Мы неподвижно лежали в эластичных гамаках и молчали, потому что очень трудно было двигать языком и челюстью. Через сто шестьдесят дней перегрузка превысила силу тяжести на Земле в пять раз. Только Сабуро Микими к тому времени мог пройти от кают-компания до рубки, не потеряв по дороге сознания. Не помогали амортизаторы, не помогал даже анабиоз. Попытка применить анабиотический сон в условиях такой перегрузки не привела ни к чему. Порта мучился больше всех, но, когда мы уложили его в «саркофаг», он никак не мог заснуть. Он мучился, и мы мучились, глядя на него.

Я весил три с половиной центнера, а Ларри — четыреста кило. На него было страшно смотреть. На любого из нас было страшно смотреть. Лицо отекло, не было сил поднять веки, позвоночник трещал при каждом движении. Мы лежали перед «саркофагом» и глядели на Порта.

— Хватит, Валя, — простонал Сережа.

Мы поползли в рубку. Там стоял — стоял! — Сабуро. Челюсть его отвисла на грудь, с губы тянулась слюна.

— Хватит, Сабуро, — сказал я чужим голосом.

Сережа попробовал встать, улыбнулся и снова припал щекой к полу.

— Хватит, — прохрипел он. — Порта плохо. Он может умереть. Выключай реактор, Сабуро.

— До трехкратного, — приказал я.

Сабуро, еле шевеля пальцами, царапал ногтями по пульту. И вдруг стало легче. Упоительно легко!

— Трехкратное ускорение, — сообщил Сабуро и сел рядом с нами на мягкий пол.

Мы полежали, привыкая, затем поднялись и пошли в кают-компанию. Нам было много легче. Но скоро мы переглянулись и снова стали на четвереньки. Мы весили по двести — двести пятьдесят килограммов. Это было на сто шестьдесят седьмой день полета. «Муромец», пожирая рассеянную материю, несся со скоростью двести двадцать тысяч километров в секунду.

Потянулись месяцы. Собственная скорость «Муромца» перевалила за световую* и продолжала увеличиваться на тридцать два метра в секунду за секунду. Нам было очень тяжело. Я думаю, никто по-настоящему не верил в успех опыта. Зато каждый по-настоящему знал, к каким последствиям может привести успех. Все люди — мечтатели. И мы тоже, поддерживая отвисающие подбородки, мечтали за срок одной только жизни обезжаты дальние окраины Вселенной и подарить эти окраины людям.

Порта стало лучше, он много читал и усиленно занимался теорией тяготения. Время от времени мы укладывали его на несколько недель в «саркофаг», но ему это не нравилось: он не желал терять время. Ларри и Артур вели астрономические наблюдения, Сергей, Сабуро и я стояли вахты. В промежутках между вахтами мы рассчитывали ход Времени в ускоренно движущихся системах при различных частных предположениях. Ларри заставлял нас заниматься гимнастикой, и к концу года я уже мог без особого труда подтягивать на перекладине свои два центнера.

Между тем Тайя разгоралась все ярче в перекрестии нитей курсового телескопа. Тайя была целью первых трех звездных. Она была одной из ближайших к нашему Солнцу звезд, у которой давно уже были отмечены неравенства в движении. Считалось, что Тайя может иметь планетную систему. Перед нами к Тайе шел Быков на «Луче» и Горбовский на «Тариале». Быков через каждые пятьдесят тысяч астрономических единиц сбрасывал мощные радиобакены. Новая трасса должна была быть отмеченной шестнадцатью такими радиобакенами, но мы уловили сигналы только семи. Может быть, бакены погибли, но скорее всего мы просто обогнали Быкова. Бакены были оборудованы воспринимающим устройством, работающим на определенной частоте. Можно было оставить запись, чтобы ее прочли те, кто пойдет вслед. Один из бакенов в ответ на наш вызов просигналил: «Был здесь. Четвер-

* Сверхсветовая скорость — это скорость, вычисленная по расстояниям, измеренным земным наблюдателем, и по промежуткам времени, измеренным по часам на ракете. Такая скорость, естественно, может превышать скорость света, но с точки зрения наблюдателя на ракете, она, разумеется, все равно останется в пределах 300 тыс. км/сек.

тый локальный год. Горбовский». Совершенно невозможно сказать, за сколько лет до нас он проходил.

Оказалось, что Тайя не имела планетной системы. Это была двойная звезда. Ее невидимый с Земли компонент оказался слабой красной звездой, почти погасшей, истощившей свои источники энергии. Мы были первыми землянами, увидевшими чужие солнца. Тайя была желтая и очень походила на наше Солнце. Спутник ее был очень хорош. Он был малиновым, и по нему ползли вереницы черных пятен. Вдобавок он не был обыкновенной звездой: Ларсен обнаружил медленную и неправильную пульсацию его гравитационного поля. Две недели мы крутились около него, пока Артур и Ларри вели наблюдения. Это были блаженные недели отдыха, нормальной тяжести, временами даже невесомости.

Затем мы пошли к соседней звезде — белой звезде ВК 71016. Этого потребовал Порта, и я не знаю, правильно ли я сделал, уступив ему. Порта был биолог, и его больше всего интересовали проблемы жизни. Он требовал планету — теплую, окутанную атмосферой, полную копошащейся жизни. Мы тоже хотели увидеть Новый Мир. Мы надеялись встретить себе подобных. Каждый из нас тайно мечтал об этом с того момента, как стал межпланетником. А до того, как стал межпланетником, мечтал во весь голос. И мы пошли к ВК 71016.

Мы летели к ней четыре года, и снова свирепые перегрузки прижимали нас к полу, и мы задыхались в амортизаторах, как раздавленные червяки. Но все же нам было гораздо лучше, чем в начале пути. Видимо, мы приспособливались. С нас слезала кожа, выпадали ногти, мы ели восемь раз в сутки и почти совсем не спали, но мы приспособливались. И мы долетели до белой звезды ВК 71016.

Да, она имела планетную систему. Четыре планеты, из которых одна обладала атмосферой и была немножко больше Земли. Это была прекрасная планета, зеленая, как Земля, покрытая океанами и обширными равнинами. Братьев по Разуму на ней не оказалось, но жизнь кишела на ней. Я сказал, что хочу назвать ее именем Ружены. Никто не возразил. Но планета встретила нас так, что мне не хочется вспоминать об этом. Она отвратительно

встретила нас. Порта остался там, мы даже не знаем, где его могила. И там осталась моя рука. А Сережа Завьялов и Сабуро Микими оставили там столько своей жизни, что не сумели дожить до возвращения.

Обратно мы летели шесть лет при максимально возможных перегрузках. Мы торопились попасть в наше время, потому что до самого конца не знали, удался наш опыт или нет. Мы три года шли с семикратной перегрузкой и сбросили ускорение только потому, что Ларсен, неудачно шагнув, проткнул ребром левое легкое. После этого мы год отдыхали на троекратном ускорении. «Муромец» плохо слушался управления, и мне пришлось отказаться от внеземной станции и сесть прямо на Землю. Конечно, это стыдно, но я не хотел рисковать. Мы приземлились удачно. Потом мы с Ларсеном держали Артура, который хотел целовать землю, зараженную фотонным реактором. Потом мы сели в свой вертолет и вылетели к людям. Но только увидев Ружену, я понял, что опыт удался.

Тяжелый, жестокий опыт, но он удался. Мы привезли людям своего времени чужие миры. Может быть, всю Вселенную, как мы мечтали в полете. Это славно — не отдаленным потомкам, не у памятников самим себе, а близким и родным людям своего века подарить ключи от Пространства и Времени. Конечно, мы были всего только исполнителями. Спасибо людям, которые создали теорию тяготения. Спасибо людям, которые создали прямоточную ракету. Спасибо людям, которые создали наш прекрасный мир и создали нас самих такими, какие мы есть.

Вот только Быков и Горбовский... Они вернуться, когда нас уже не будет, но я думаю, они не рассердятся на нас.



КИНОСЦЕНАРИИ

СТАЛКЕР

1. ДОМ СТАЛКЕРА

Грязная захламленная квартира. Ночь, за окном тьма. Сталкер выбирается из-под одеяла, тихонько поднимается с кровати. Берет в охапку одежду и на цыпочках выходит в ванную. Одевается, затем становится на колени перед ванной и начинает молиться вполголоса.

Сталкер. Пусть будет как всегда было. Пусть ничего не изменится. Пусть все останутся живы, пусть всем будет хорошо. А если для всех это невозможно, пусть я сумею быть жестоким с добрыми и пусть я сумею быть добрым с жестокими, а главное — пусть будет как всегда, пусть стена останется стеной, тупик останется тупиком, а дорога останется дорогой, и пусть никто не останется обделенным. Пусть каждый получит свое, я не так уж много прошу...

Он замолкает и резко оборачивается. В дверях стоит его жена, заспанная, в поношенной ночной рубашке.

Жена. Что же ты делаешь? Где твое слово?

Он встает и стоит перед ней, виновато опустив голову.

Жена. Ты же мне слово дал, ведь я тебе поверила...

Он молчит. Нелепо пожимает плечом, криво и жалко улыбается.

Ж е н а. Ну, хорошо, ты не хочешь думать о себе... Но ты о нас подумай! О дочке своей подумай, она же тебя не узнала, когда ты из тюрьмы вышел... она еще к тебе привыкнуть не успела, а ты опять уходишь! Обо мне — ты обо мне подумай, ведь я старуха в мои годы, ты меня доконал! Ведь я не могу больше тебя ждать, я умру! Ну зачем тебе сейчас идти? Пособие выдали, деньги есть, я устроюсь в магазин... Ну отдохни, ну побудь дома! Ты же обещал.

С т а л к е р. Как же — есть деньги... Нет денег...

Ж е н а. А пособие?

С т а л к е р. Я его... Я его потерял.

Ж е н а. Врешь!

С т а л к е р. Ну послушай, ну не надо так... Ну все будет хорошо! Я знаю! Я уверен!

Ж е н а. Ты же обещал!

С т а л к е р. Ну обещал, ну соврал... Мне такое дело предлагают, что нельзя отказываться... И люди такие хорошие, приличные... им нужно...

Ж е н а. Тебе люди важнее, чем жена с дочерью? Ты подумай, что с нами будет, если ты не вернешься!

С т а л к е р. Да вернусь я, вернусь, честное слово!

Ж е н а. В тюрьму ты вернешься! Там еще твое место не остыло, а ты уже вернешься, и дадут тебе не два года, а пять лет... И пять лет у тебя ничего не будет! Ты подумай об этом: ничего! А я эти пять лет не выдержу...

С т а л к е р (с *надрывом*). Ну не могу я! Не могу я здесь! Ну зачем все эти разговоры, ты же знаешь, что я не могу! Смерти я не боюсь, да и не верю я в смерть, не для того я на свет родился... И тюрьмой меня не испугаешь, потому что мне везде тюрьма... Ты тоже меня в тюрьме держишь разговорами этими... Ну я прошу тебя, это же всего одни сутки, завтра утром я вернусь, и снова все будет хорошо...

Ж е н а. Не верю, не верю! Ни во что не верю! Клялся, обещал! Что мне делать? Что мне делать? Не пушу!

Она опускается на порог, падает лицом вниз, колотит кулаками по полу.

Жена. Не пушу! Не пушу!

А он бочком, бочком, осторожно подбирается к порогу, переступает через лежащую женщину и устремляется к выходу. Женщина все повторяет бессильно: «Не пушу!», и где-то в комнате сначала тихо, а затем все громче плачет ребенок.

Сталкер открывает дверь и выскакивает на лестничную площадку.

Грязноватый пролет тускло освещен лампочкой без плафона, и Сталкер сбегает по лестнице.

2 . ПИСАТЕЛЬ

Подъезд. Сталкер сбегает с лестницы и останавливается в дверях.

У подъезда стоит роскошный «кадиллак». Двери раскрыты, рядом стоят Писатель и его приятельница. Писатель в длинном черном плаще и без шляпы, разглагольствует, делая широкие движения рукой с рюмкой. Приятельница внимает, опираясь на дверцу автомобиля. В одной руке у нее бутылка, в другой — рюмка.

П и с а т е л ь. Дорогая моя! Мир непроходимо скучен, и поэтому нет ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок.

П р и я т е л ь н и ц а. Но я читала меморандум Кемпбелла...

П и с а т е л ь. Кемпбелл — романтик. Рара авис ин террис. Таких больше нет. Мир управляется железными законами, и это невыносимо скучно. Серая чугунная скука железных законов... Они не нарушаются. Они не умеют нарушаться. Не надейтесь на летающие тарелки — это было бы слишком интересно...

П р и я т е л ь н и ц а. А как же Бермудский треугольник?.. Вы же не станете спорить...

П и с а т е л ь. Я стану спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник а бэ це, который равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим. Вы чувствуете, какая чугунная скука заключается в этом утверждении?.. Вот в Средние века было интересно. В каждом порядочном доме жил домовый, в каждой церкви — бог... Люди были восхитительно невежественны!

Как дети... И они были молоды! А сейчас каждый четвертый — старик. И все поголовно грамотные...

П р и я т е л ь н и ц а. Но вы же не будете отрицать, что Зона... порождение сверхцивилизации, которая...

П и с а т е л ь. Да не имеет Зона никакого отношения к сверхцивилизации! Просто появился еще один какой-то паршивый скучный закон, которого мы раньше не знали... А хотя бы и сверхцивилизация... Тоже, наверное, скука... Тоже чугунные законы, треугольники, и никаких тебе домовых и уж, конечно, никакого бога... Потому что если бог — это тоже треугольник, то я просто не знаю...

Сталкер выходит из парадного и кладет руку Писателю на плечо. Писатель оборачивается.

П и с а т е л ь. Ага. Это за мной. Пardon... (*Забирает у приятельницы бутылку.*) Прощайте, моя конфеточка...

С т а л к е р. Пойдемте.

П и с а т е л ь. Одну минуту. Вот эта дама любезно согласилась следовать за мной в Зону. Она — мужественная женщина, хотя и глуповата. Ее зовут... э-э... Простите, как вас зовут?

Приятельница немедленно загорается интересом.

П р и я т е л ь н и ц а. В Зону? Вы — сталкер?

Сталкер принужденно улыбается.

С т а л к е р. Ну какой я сталкер? (*Писателю.*) Вы все шутите. А нас тем временем уже ждут. Извините нас, мадам, нас ждут.

Он крепко берет Писателя за локоть и увлекает его по улице.

П и с а т е л ь (*оборачиваясь*). Прощайте, моя бабочка! Моя, в каком-то смысле, стрекозочка! (*Сталкеру.*) Послушайте, вы не знаете, кто она такая?

С т а л к е р. Вы все-таки напились.

П и с а т е л ь. Я? Ни в какой степени.

Сталкер увлекает его по улице.

П и с а т е л ь. Я просто выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — да! — напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил...

3. КАФЕ

Грязное темное помещение ночного кафе. За стойкой маячит сонный бармен. В сторонке у столика стоит Профессор.

Сталкер и Писатель входят.

П и с а т е л ь. Ну что ж, по стаканчику на дорогу? Как вы считаете? (*Смотрит на Сталкера.*)

С т а л к е р. Нет. Не надо.

П и с а т е л ь. Понятно. Сухой закон. Алкоголизм — это бич народов. Что ж, будем пить пиво.

Они подходят к Профессору, и тот спрашивает Сталкера.

П р о ф е с с о р. Это что? С нами?

С т а л к е р. Да. Ему тоже надо туда. Ничего, Профессор. Не беспокойтесь. Он протрезвеет.

П и с а т е л ь. Вы действительно профессор?

П р о ф е с с о р. Если угодно.

П и с а т е л ь. В таком случае разрешите представиться. Меня зовут...

С т а л к е р. Вас зовут Писатель.

П р о ф е с с о р. А как зовут меня?

С т а л к е р. Вас? Вас зовут Профессор.

П и с а т е л ь. Ага. Понятно. Я — писатель, и меня все почему-то зовут Писатель...

П р о ф е с с о р. Известный писатель?

П и с а т е л ь. Нет. Модный.

Профессор. И о чем же вы пишете?

Писатель. Да как вам сказать... В основном о читателях. Ни о чем другом они читать не хотят.

Профессор. По-моему, они правы. Ни о чем другом и писать, наверное, не стоит...

Писатель. Писать вообще не стоит. Ни о чем. А вы что — химик?

Профессор. Скорее, физик.

Писатель. Тоже, наверное, скука. Поиски истины. Она прячется, а вы ее повсюду ищете. В одном месте копнули — ага, ядро состоит из протонов. В другом месте копнули — красота, треугольник а бэ це равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим... Вы неплохо устроились. Мне хуже. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с нею что-то такое делается... Выкапывал я истину, а выкопал кучу дерьма. Возьмите вы какой-нибудь закон Архимеда. Он с самого начала был правильным, и сейчас он правильный, и всегда будет правильный. А вот стоит в музее античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а сейчас он стоит в музее и вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью форм... Все ахают и охают, и вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь жулик или шутник. И форма у него осталась неповторимой, и рисунок лаконичный, но аханье, как ни странно, стихает...

Профессор. Вы не правы. Вы говорите о профанах и снобах...

Писатель. Ничего подобного. Я говорю о горшках. Я сам двадцать лет леплю такие горшки. И поскольку я — писатель модный, они восхищают книголюбов лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. А через двадцать лет придет мальчик и заорет во все горло про голого короля!

Профессор. Господи. И вы об этом все время думаете?

Писатель. Первый раз в жизни. Я вообще редко думаю. Мне это вредно.

Профессор. Наверное, невозможно писать и при этом все время думать, как ваш роман будет читаться через сто лет.

Писатель. Натюрлих! Но с другой стороны, если через сто лет его не станут читать, то на кой хрен его сегодня писать?

Сталкер. А деньги? А слава?

Писатель. Деньги! Слава! Слушайте, давайте поговорим о чем-нибудь приятном! Кстати, Профессор, ради чего вы вступались в эту историю? Чего вам понадобилось в Зоне?

Профессор (несколько ошарашенно). Н-ну... Что может физику понадобиться в Зоне? А вот что может в Зоне понадобиться Писателю — это интереснее. Деньги у вас, как я понимаю, есть. Слава — тоже.

Писатель. Женщины гроздьями. Вилла.

Профессор. Вот именно. Чего же вам еще не хватает?

Писатель. Вдохновенья, Профессор! Куда-то запропастилось мое вдохновенье. Хочу попробовать вернуть.

Профессор. А может, оно бы само вернулось?

Писатель. Не думаю. Не похоже.

Профессор. То есть, вы исписались...

Писатель. Что?

Некоторое время он молчит, затем говорит брюзгливо.

Писатель. Ведь предлагали же вам поговорить о чем-нибудь приятном...

Сталкер смотрит на часы.

Сталкер. Простите. Пора.

4. ЗАСТАВА

Они выходят из кафе. За углом застыл у обочины большой черный автомобиль. Профессор открывает дверцы. На водительское место забирается Сталкер, а Профессор с Писателем усаживаются на заднее сиденье. Сталкер оборачивается, протягивает руку.

Сталкер. Ключ, пожалуйста.

Профессор молча кладет ему на ладонь ключ от зажигания. Сталкер заводит мотор, и машина стремглав уносится по темным предутренним улицам.

Они мчатся молча. Писатель дремлет, откинувшись головой в угол, холодно блестят очки Профессора, согнулся над рулем Сталкер, пожевывая потухшую сигарету. Мелькают за окнами машины редкие огни в окнах, мокрые кусты, мокрые решетчатые изгороди...

Машина притормаживает. Поперек широкой пустынной улицы — транспаранты со светящимися надписями на трех языках: «Стоп! Проезда нет! Только по специальным пропускам». И ниже: «До въезда в Зону — 300 м».

Сталкер сворачивает машину в узкий, заросший травой проулок, затормаживает. Открывает дверцу, выходит и, прокраившись до поворота, выглядывает.

Перед ним — застава войск ООН, охраняющих въезд в Зону. Бетонные стены, узкие, как амбразуры, окна. Проектора на крышах. Проектора и пулеметы на башнях. Броневики с мокрыми от дождя клепаными бортами. Часовые в мокрых от дождя металлических касках. Шоссе упирается в наглухо закрытые ворота. Далее в темноте блестят под дождем мокрые рельсы. Железнодорожная ветка упирается в наглухо закрытые ворота.

Сталкер некоторое время внимательно разглядывает заставу и ее окрестности, затем возвращается к машине. Осторожно выводит ее из переулка, пересекает шоссе и спускается в пространство между шоссе и железной дорогой, а там, дав задний ход, прячет ее в заросли мокрого кустарника. Выключает мотор и откидывается на спинку сиденья.

5. В МАШИНЕ У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В кустарнике у железнодорожного полотна прячется машина. За рулем, сгорбившись, сидит Сталкер. На заднем сиденье расположились Профессор и Писатель. Писатель спит, уткнувшись головой в угол. Тишина.

Сталкер оборачивается к Профессору.

Сталкер (вполголоса). Канистру вы не забыли?
Профессор. Полная. В багажнике.

Сталкер. А фонарик?
Профессор. Не забыл.

Писатель просыпается, мутно оглядывается по сторонам.

Писатель (звучным голосом). А? Приехали?

Сталкер. Тише, пожалуйста.

Писатель (шепотом). Понял... Понял... Молчу...

Пауза.

Писатель (вполголоса). А чего мы, собственно, ждем?

Никто не отвечает ему. Писатель нервно позевывает, крутится, потом вдруг поворачивается к Профессору.

Писатель (тихо). Никакого мне вдохновенья не надо. Я сам не знаю, что мне надо. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего не хочу? Это какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и смысл их исчезает, тает, расплывается. Как медуза на солнце. (Пауза.) Положим, я — убежденный вегетарианец. Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире. Подсознание мое изнывает по куску сочного мяса. Вопрос: а чего хочу я? Я, сложный сплав сознания и подсознания...

Профессор. А вы хотите мирового господства. Конфликты сознания с подсознанием даром не проходят.

Сталкер. Чш-ш-ш...

Слышится гул и постукивание приближающегося электровоза.

Сталкер (хрипло). Держитесь крепче! Упирайтесь. Сейчас!

Электровоз проходит.

Сталкер (кричит). Пошли!

Он с места рывком бросает машину вперед. Машина выскакивает на железнодорожное полотно и мчится следом за электровозом в распахнувшиеся ворота.

6. ПРОРЫВ

Сразу за воротами Сталкер круто бросает машину с железно-дорожного полотна влево, в темноту. Вытучив от ужаса глаза, разинув рот, прыгает на заднем сиденье Писатель, цепляясь то за спинку переднего сиденья, то за колени Профессора, а тот растопырился, утерся руками во все, что возможно, и только ежесекундно поправляет ползающие по лицу очки. Окостенел на водительском месте Сталкер, бешено работает руками, вцепившимися в руль.

А уже суматошно забегали во тьме прожектора, и вот ударила первая пулеметная очередь. Машина стремительно врывается в мертвые, давным-давно оставленные жителями кварталы. Мелькают в бегущем свете прожекторов запыленные стекла окон, стены с обсыпавшейся штукатуркой, повалившиеся заборчики. Теперь уже несколько пулеметов сразу вслепую лупят вслед нарушителям. Пули крошат ветхие стены, вдребезги разносят уцелевшие стекла и ставни, поднимают фонтаны воды в стоячих лужах...

Сталкер круто сворачивает в непроглядную тьму, резко тормозит.

Сталкер. Вылезай, живо! Канистру!

Распахиваются дверцы. Сталкер, Профессор и Писатель вываливаются в грязь.

Сталкер. Канистру, черт очкастый!

Профессор торопливо бежит на четвереньках к багажнику, распаковывает его, выволакивает тяжелую канистру.

Голос Сталкера (из темноты). Сюда, живее!

Профессор. Где вы там?

Снова грохочут пулеметы. В темноте под черным небом, в котором пляшут прожекторные лучи, на мгновение загорается фонарик.

Сталкер. Сюда! Давайте сюда! За мной ползком. Голов не поднимать. Канистру держите слева. Если кого-нибудь зацепит, не кричите, не метайтесь! Увидят — убьют. Потом, когда стихнет, ползите назад, к воротам. Утром подберут...

Сталкер ловко ползет на четвереньках, виляя тощим задом. Профессор, волоча канистру, ползет за ним. Пыхтя, ползет Писатель.

Они оказываются в полуразвалившемся сарае. Под его крышей проходят железнодорожные рельсы, а на рельсах красуется крошечная дрезинка с бензиновым моторчиком.

Сталкер, то и дело оглядываясь на треск пулеметных очередей, оскалившись, отвинчивает пробку.

Вдвоем с Профессором они заливают бак, затем Сталкер отбрасывает пустую канистру и принимается заводить мотор.

Сталкер. Садитесь. Скорее, пожалуйста!

Профессор и Писатель лезут на узкую платформу и кое-как рассаживаются, держась друг за друга. Мотор некоторое время не заводится. Сталкер рычит от бешенства и нетерпения. Но вот наконец мотор чихает и раздражается залпами выхлопов, от которых мигающая от прожекторов полутьма в сарайчике заполняется клубами дыма.

Сталкер. Поехали!

Дрезина трогается с места, проламывает ветхие воротца и мчится в темноту по мокрым рельсам. А позади по-прежнему бегают прожекторные лучи и грохочут пулеметные очереди.

Катится по рельсам в кромешной тьме дрезина, ровно и мощно гудя мотором. Впереди, навалившись на пульт управления, жуя потухшую сигарету, сидит по-турецки Сталкер. Позади Сталкера, прижавшись друг к другу спинами, держась за края узкой платформы, сидят Писатель и Профессор. Профессор придерживает на коленях неуклюжий угловатый рюкзак.

7. В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА

Дрезина замедляет ход. Впереди из тумана выдвигается какое-то полуразрушенное станционное здание.

Дрезина останавливается. Сталкер спрыгивает на шпалы.

Сталкер. Ну вот мы и дома. Прошу.

П и с а т е л ь. Ф-фу. Наконец-то...

Он тоже слезает с дрезины, за ним спрыгивает Профессор.

П р о ф е с с о р. Тихо как...

С т а л к е р. Здесь всегда тихо. Здесь некому шуметь. Это самое тихое место на Земле.

Сталкер очень возбужден, ноздри его раздуваются, глаза блещут.

С т а л к е р. Вы потом увидите. Здесь удивительно красиво... Странно! Цветами почему-то не пахнет... Или я отвык? Вы не чувствуете? Никто?

П и с а т е л ь. Болотом воняет — это я чувствую...

С т а л к е р. Нет-нет, это рекой, здесь река близко... (*Показывает в сторону здания.*) А вон там был огромный цветник, Дикобраз его засыпал, затоптал, с землей сровнял, но запах оставался много лет... А вот сейчас я его не чувствую...

П р о ф е с с о р. Зачем?

С т а л к е р. Что — зачем? Ах, затоптал? Не знаю. Дикобраз был очень странный человек. Я, помню, его тоже спрашивал: зачем? А он мне отвечал: потом сам поймешь. Но я так и не понял. До сих пор не понял... Наверное, он просто ненавидел Зону. Возненавидел ее.

П и с а т е л ь. Пардон! А кто это такой — Дикобраз? Это фамилия такая?

С т а л к е р. Нет, это кличка. Он был сталкер. Самый лучший из всех сталкеров. Двадцать лет он водил людей в Зону, и никто ему не сумел помешать. Он был моим учителем, он мне глаза открыл, и звали его тогда не Дикобраз, звали его тогда Мастер... А потом что-то с ним случилось, сломалось что-то в его характере, а может, и не сломалось, а переродилось. Я думаю, он просто поссорился с Зоной. С этого все началось... Ну, ладно, вы тут посидите, а я пройду, мне тут надо кое-что...

Он уходит в туман.

П и с а т е л ь. Куда это его?

П р о ф е с с о р. Не знаю. Наверное, хочет побыть один.

П и с а т е л ь. Зачем? Тут и втроем как-то неуютно...

П р о ф е с с о р. Свидание с Зоной. Он ведь сталкер.

П и с а т е л ь. Ну и что же?

П р о ф е с с о р. Настоящий сталкер — это не просто профессия. Это в каком-то смысле призвание.

П и с а т е л ь. Ну?

П р о ф е с с о р. Всё.

П и с а т е л ь. Спасибо. Было очень интересно.

П р о ф е с с о р. Перестаньте суетиться. Сядьте и посидите спокойно. Здесь не так уж много мест, где можно посидеть спокойно.

Писатель, зябко поеживаясь, садится на край дрезины. Озирается.

П и с а т е л ь (*брюзжит*). Удивительно красиво. Туман, и ничего не видно. Ну хорошо, а что там насчет Дикобраза? Что это значит — поссорился с Зоной? Это фигура речи?

П р о ф е с с о р. Не знаю. А Дикобраз кончил очень плохо. В один прекрасный день он дико, безобразно разбогател. Закапывал чудовищные кутежи. Завел гарем. Затеял несколько сумасшедших предприятий. А потом вдруг повесился.

П и с а т е л ь. Разорился?

П р о ф е с с о р. Нет. Так и повесился посреди своих миллионов, своего гарема и всего прочего.

П и с а т е л ь. Значит, следует понимать, что он таки дошел до терраски...

П р о ф е с с о р. Наш с вами шеф считает именно так...

П и с а т е л ь. Значит, терраска таки действительно исполняет желания...

П р о ф е с с о р. Дикобраз разбогател.

П и с а т е л ь. И повесился...

Из тумана появляется Сталкер.

С т а л к е р. А цветы снова цветут! Только не пахнут почему-то... Вы извините, что я вас тут бросил, но сейчас идти пока все равно... туман...

Длинный скрежещущий звук прерывает его. Все, даже Сталкер, вздрагивают.

П и с а т е л ь. Господи, что это?

Сталкер молча прислушивается. Лицо у него напряженное и испуганное.

П р о ф е с с о р (*нерешительно*). А может быть, это все-таки правда, что здесь живут?

С т а л к е р. Кто?

П р о ф е с с о р. Ну, вы знаете эту легенду... ну, туристы эти, которые стояли здесь в ту ночь, когда возникла Зона...

С т а л к е р. Нет. В Зоне никого нет и быть не может. Если бы здесь можно было жить!..

8. ЗОНА

Тумана больше нет. С высоты насыпи открываются просторы Зоны, озаренные зеленым заревом с востока — утренней зарей Зоны.

С т а л к е р. Я уже говорил с каждым из вас в отдельности, но сейчас хочу еще раз повторить некоторые вещи. Зона требует выполнения определенных правил. Этих правил очень много, и у меня нет возможности вам их изложить. Поэтому для вас существует только одно правило: беспрекословное выполнение всех моих указаний. Беспрекословное! Иногда то, что я вам прикажу, покажется очень странным. Очень прошу вас не спорить. Если вы моих приказов выполнять не будете, я ничего не смогу для вас сделать. До терраски мы не дойдем, а может, даже случится беда. Это понятно? Теперь о порядке следования...

П и с а т е л ь. А там что такое?

В километре от них в утреннем мареве виднеется бело-серое здание с черными провалами окон и входа.

С т а л к е р. А там и есть наша терраска. Нам — туда.
П и с а т е л ь. Так это же рукой подать.
С т а л к е р. Да. Но рука должна быть очень длинная. У вас такой нет. И у меня тоже.

Он достает из кармана горсть гаек.

С т а л к е р. Сейчас начнется очень утомительный участок. Поэтому будьте внимательны и не отвлекайтесь. У нас это называется «повешивание дороги».

И начинается работа. Сталкер бросает гайку, внимательно следит за ее полетом, затем посылает к месту ее падения Писателя. Писатель, дойдя до этого места, останавливается, после чего к нему подтягивается Профессор, а следом за ним и Сталкер. Отсюда Сталкер кидает новую гайку, посылает к ней Профессора, и так далее они движутся на манер зеленой гусеницы под названием «землемер».

9. ТЕРРАСКА, ВИД С ФАСАДА

Они стоят у растрескавшейся бетонной плиты шагах в пятидесяти от угрюмого бело-серого здания с ободранными стенами, и отчетливо виден ведущий в черноту широкий, как ворота, прямоугольный вход, и обвалившиеся цементные ступени, ведущие к нему, и — на высоте человеческого роста, там, где кончается верхняя ступенька, — площадка, заросшая разноцветными мхами: терраска, заколдованное место, где исполняются желания. Всего в пятидесяти шагах. Может быть, даже меньше.

П р о ф е с с о р (*вполголоса*). Это она?

С т а л к е р. Да. Близко, правда? Камешек можно добросить, верно?

Профессор, не спускающий с терраски взгляд, с недоумением поворачивается к Сталкеру. Он же видит, что до терраски рукой подать, ему кажется, что он уже пришел, он уже начинает стягивать со спины рюкзак, но что-то в интонации Сталкера его настораживает.

Сталкер. Я всегда тут останавливаюсь. Это очень поучительно. Смотрите: оттуда (*он показывает за спину*) сюда попасть можно. Например, тем путем, которым мы шли. Но вот оттуда (*он показывает на терраску*) сюда вы не попадете. Никто никогда на обратном пути сюда не возвращался. Это как время — оно всегда течет в одну сторону: оттуда сюда. (*Показывает руками.*) Теперь слушайте дальше. Расстояние здесь кажется метров пятьдесят, но прямо пройти невозможно, надо идти далеко в обход. А прямо идет дорога чистых душ. Так ее называют сталкеры. А поскольку чистых душ в мире немного, то никто еще пока этой дорогой не проходил...

Профессор. То есть, вы хотите сказать, что физическое расстояние отсюда до терраски больше пятидесяти метров?

Сталкер. Ну да! Много часов обходного пути!

Профессор. Нет, я не об этом... Я говорю о физическом расстоянии. Если я брошу сейчас камешек, долетит он до терраски?

Сталкер. Нет, что вы! Здесь ничего нельзя бросать! Здесь можно только смотреть.

Профессор (*нетерпеливо*). Подождите. Я говорю о мысленном эксперименте. Долетит отсюда камень до этих вот ступенек?

Сталкер. Вы не понимаете. Долетит отсюда камень в завтрашний день?

Профессор. Вы хотите сказать, что здесь нет пространства?

Сталкер (*пожимает плечами*). Откуда я знаю? Я знаю, что это — дорога чистых душ. Я знаю, что здесь ничего нельзя бросать... Я знаю, что нам с вами здесь не пройти. Физика здесь ни при чем. И геометрия здесь ни при чем... Здесь чудо!

Профессор, не говоря ни слова, снова взваливает на себя рюкзак и угрюмо защелкивает карабин.

Писатель. А откуда вы все это знаете? Кто-нибудь пробовал?

Сталкер. Пробовали.

Писатель. Ну и что?

Сталкер. Ну и шли обходной дорогой. Как мы сейчас пойдём.

Писатель. Много часов?

Сталкер. Много часов. И путь трудный.

Писатель. Ну вот что. Я бы предложил идти прямо.

Сталкер. Это дорога чистых душ.

Писатель. Ну, у меня душа не грязнее, чем у прочих.

Профессор (*ожесточенно*). Не валяйте дурака.

Писатель. Погодите, Профессор... Послушайте, Мастер, башку мне там не оторвет?

Сталкер. Это дорога чистых душ.

Писатель. Ну?

Сталкер. Чистые души не задают таких вопросов.

Писатель. А, ч-черт, с вашими иносказаниями! Ну бросьте вашу гаечку, я посмотрю, что там.

Сталкер. Туда ничего нельзя бросать...

Профессор. Перестаньте валять дурака!

Писатель. Это вы перестаньте валять дурака! Пятьдесят шагов пройти — и мы на месте! Травка, солнышко, все видно! Вы что, не понимаете, что он цену набивает? (*Сталкеру.*) Ну при-знайтесь, шеф, я же угадал!

Сталкер. Нет. Не угадали.

Писатель нерешительно мерит взглядом расстояние до терраски, а затем быстро делает несколько шагов вниз по склону. Профессор пытается схватить его за руку, но Сталкер его останавливает.

Сталкер. Пусть. Это очень поучительно. Я видел это только один раз.

Писатель почти бегом идет по склону к терраске, потом шаги его замедляются, ноги начинают заплетаться, он хватается обеими руками за голову, описывает замысловатую кривую и, шатаясь, как пьяный, возвращается обратно и садится на обломок бетона. Профессор встревоженно наклоняется над ним.

Профессор. Что с вами? Целы?

Писатель. Цел? Не думаю. Я весь изранен. Обругает какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — еще рана. Вы ведь хотите только одного — жрать! И вам все равно, что жрать. Ведь вы же все поголовно грамотные, и у каждого сенсорное голодание. Душу вложишь, сердце свое вложишь — жрете и душу, и сердце. Мерзость душевную вам вывалишь — жрете мерзость. И все клубитесь, клубитесь вокруг — журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные... и все требуют: давай, давай!..

Профессор (ошеломленно). Послушайте, Писатель...

Писатель. Да какой я, к черту, писатель! Я же ненавижу писать! Это же для меня мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания фурункула... Я ведь раньше думал, что вы становитесь лучше, я пишу, а вы становитесь от этого лучше. Но ведь я никому не нужен, у меня только одна вилла за душой. С финской баней. Я сдохну, и через два дня вы меня забудете и начнете жрать кого-нибудь другого. Я пытался переделать вас, а переделали-то вы меня — по своему образу и подобию...

Он замолкает и роняет голову на руки. Сталкер, с жадностью слушавший его, переводит дух и успокоительно кивает Профессору.

Сталкер. Ничего, не беспокойтесь, уже все. Сейчас мы пойдем в обход.

10. В ТУМАНЕ

Профессор, Писатель и Сталкер по колено в воде бредут по подземному тоннелю. Клубы тумана, озаренные серыми отсветами недалекого выхода, ползут над водой. Профессор и Писатель страшно утомлены, они спотыкаются и то и дело падают.

Сталкер. Ну, еще немного... еще чуть-чуть, выход уже виден... Сейчас все кончится...

Они выбираются из прямоугольной ямы на «Опасную площадку». Сталкер озабоченно озирается.

Сталкер. Ну, кажется, все в порядке... Рукомойник, гайка... Можно передохнуть немного...

Профессор стягивает с плеч рюкзак и устало усаживается на него. Писатель со стоном облегчения валится рядом. Один Сталкер остается стоять. Он озирается, задрав голову, словно бы пригнувшись. Над «Опасной площадкой» сгущается туман.

Сталкер. Туман... Ах, как неудачно! Ну ничего... Вы сидите, отдохните, я тут схожу... А вы сидите на месте, особенно не вздумайте подходить к той двери... (показывает на дверной проем, в котором раскачивается на шнурке гайка).

Писатель (вяло). А что там такое?

Сталкер. Туда нельзя. Видите, здесь Дикобраз специально повесил гайку... Туда нельзя.

Писатель (ложится на спину, закинув руки за голову). Ну, нельзя — и слава богу...

Сталкер уходит.

Писатель. Что он нас все пугает? Станный какой-то человечек... По-моему, он похож на паука. Он смотрит и слушает, как будто тебя высасывает. И пугает, пугает, пугает... Мы тут целый день уже ползаем на карачках, и ничего опасного, кроме вони, я не видел...

Профессор. Во-первых, не целый день, а всего-навсего два часа... А во-вторых, благодарите бога, что вы ничего не видели. Здесь всё есть, на все вкусы: и электрические разряды, и жаровни, когда воздух вокруг ни с того ни с сего раскаляется, как в домне... Пугает! Вам что — так уж понравилось на дороге чистых душ?

Писатель. Нет. Совсем не понравилось. Но это другое дело...

Профессор. Я же говорю: здесь есть всё, на все вкусы. Кому что нравится.

Из тумана раздается голос Сталкера.

Сталкер. Эй, Профессор! Писатель! Идите-ка сюда!..

Писатель. О господи! Опять будет лекцию читать про свою Зону...

Они поднимаются и нерешительно идут в туман.

Сталкер. Сюда, сюда! Я здесь! Писатель, давайте руку... Понимаете, положение немножко осложнилось... Обычно я иду этой дорогой, но сейчас, во-первых, туман, а во-вторых, видите, вода... Обычно этого нет, обычно здесь радуга... две, три, четыре радуги... Ослепительное зрелище... Пройдемте-ка дальше... Осторожно, держитесь друг за друга! Здесь под ногами консервные банки, это обычное место привала... Вон там наверху очень забавные надписи... Кто-то когда-то оставил, не знаю, давно... Теперь сюда... Здесь должна быть моя палка... Ага, вот она!

Писатель. Какая-нибудь знаменитая палка?

Сталкер. Нет, обычная палка. Можете убедиться.

Писатель. Спасибо, я верю...

Сталкер. Профессор, вы держитесь за Писателя? Возьмите его за полу, так удобнее... А вы держитесь за меня, да крепче, не стесняйтесь... На самом деле нам очень повезло: если бы мы в таком тумане вышли на «Опасную площадку», то могли бы угодить прямо под гайку, такие случаи бывали...

Все это время они движутся через волны густого тумана. Сталкер, не переставая говорить, ощущивает перед собой землю палкой и все время поводит головой справа налево, как бы прислушиваясь и приносясь. Шум воды становится все мощнее.

Сталкер (*удовлетворенно*). Очень удачно мы проскочили. Я так и знал, что водопад усилится... Сейчас будет Сухой тоннель, и туман нам больше не страшен...

И тут Профессор вдруг останавливается.

Профессор. Подождите! Мы что — уже идем?

Сталкер. Да, конечно... А что случилось?

Профессор. Позвольте! Я же понял, что вы хотите нам что-то сказать! А как же мой рюкзак?

Сталкер. А что случилось с рюкзаком?

Профессор. То есть как что случилось? Я же не знал! Я его снял! Я его там оставил!

Писатель киснет от смеха.

Профессор. Перестаньте ржать, идиот! Надо вернуться!

Сталкер. Куда вернуться? Там же теперь вода, вы же видели...

Профессор. Какая вода? Мне нужен мой рюкзак!

Писатель (*задыхаясь от смеха*). Ему нужно срочно сменить подштанники!

Профессор. Молчите, идиот! (*Его трясет.*) Слушайте, мне надо обязательно вернуться за рюкзаком!

Сталкер (*растерянно*). Но это же невозможно! Там водопад, он вырос и продолжает расти... И я не знаю, сколько времени он будет расти...

Профессор со всхлипом опускается на землю. Писатель наконец понимает, что смешного здесь — чуть.

Писатель. Господи, да что у вас там такое было? Золото, брильянты?

Сталкер. Успокойтесь, Профессор, вы же идете на терраску! Она вам все вернет!

Вместо ответа Профессор раздражается истерическим хохотом.

Профессор. Да, это было бы ловко! Это была бы штука! Ну надо же, ну надо же! Значит, не судьба? Значит, они правы, а я нет? Слушайте, туда точно нельзя вернуться?

Сталкер. Мы отрезаны водопадом, нас просто смоем...

Профессор. Ну и плевать. Значит, так и должно было случиться. (*Вскакивает.*) Пошли. Пошли, нечего тут сидеть. Куда вы там хотели идти? В тоннель? Прекрасно! Где он, ваш тоннель? Голубчик, теперь уж позвольте, я пойду впереди. Теперь я больше ни на что не годен. Теперь уже все равно!..

Сталкер (*внимательно поглядев на него*). Успокойтесь, Профессор. Возьмитесь за полу Писателя и держитесь крепче... В тоннеле я опять пушу вас первым.

И они идут дальше. Сталкер молчит. Испуганно молчит Писатель. Только Профессор время от времени раздражается судорожным хохотом и, мотая головой, приговаривает: «Ну и ну! Ай да я!»

Потом впереди в тумане возникает темное пятно, и они вступают по колено в бегучую воду под гулкие своды нового тоннеля. Туман здесь гораздо реже, в сероватом свете поблескивают бетонные стены, по которым струится влага. Они бредут по воде, и несколько оправившийся Писатель бормочет: «Ничего себе — сухой тоннель!», Сталкер отвечает ему: «Это шутка. Обычно здесь по пояс, даже выше».

Профессор, который идет впереди, вдруг останавливается.

Профессор. Там свет...

Сталкер. Свет? Это выход... Подождите, пропустите меня вперед!

Они осторожно приближаются к выходу, выбирают из тоннеля и останавливаются в остолбенении.

Они снова на «Опасной площадке», и стоит, покосившись, рюкзак Профессора. Сначала они не понимают, куда попали.

Писатель. Смотрите-ка, рюкзак!

Сталкер. Подождите, как же так? Рукомойник... Гайка... Это же «Опасная площадка»! (*Торжественно.*) Мы прошли под гайкой! Она вернула нас и пропустила под гайкой!

Профессор на негнущихся ногах подходит к рюкзаку, ощупывает его, затем садится и кладет себе на колени, держа обеими руками.

11. ОТДЫХ ПОСЛЕ ТУМАНА

Сталкер, Писатель и Профессор расположились на отдых. По-прежнему туман.

Сталкер. Вы представить себе не можете, как все это получилось хорошо. Вы ей понравились, теперь я это знаю. Наверное, вы — хорошие люди. Я ведь никогда не знаю заранее, угадал я или нет. Тех ли я людей выбрал. Наверное, это вообще нельзя угадать, и все выясняется только здесь, когда уже поздно. У меня иногда руки опускаются из-за своего бессилия, от своего неумения разобраться в человеке... Но Зона не ошибается. Никогда. Смотрите, как мягко она с вами обошлась. Пропустила через водопад. Повернула — осторожно повернула! — не ушибла, не испугала, просто вывела нас обратно, и где вывела? — под гайкой, откуда вообще никогда никто не возвращался... а мы невредимы...

Писатель. Мы-то ладно! Главное — подштанники профессорские целы остались...

Профессор. Послушайте, заткнитесь. Не суйте вы свой нос в дела, в которых вы ничего не понимаете.

Писатель. А чего здесь такого понимать? Подумаешь — психологические бездны... В институте мы на плохом счету, средств на экспедицию нам не дают, набьем-ка мы наш рюкзак всякими там манометрами-дерьмометрами, проникнем в Зону нелегально и все здешние чудеса проверим алгеброй... Никто в мире ничего про Зону не знает, а тут выходит наш Профессор весь в белом и объявляет: мене, текел, фарес... И все рты раскрывают и хором кричат: «Нобелевку ему! Две!»

Профессор. Писателишка вы задрипанный, трепло бездарное... Вам бы стены в сортирах расписывать, психолог домогренный...

Писатель. Вяло. Вяло! Не умеете. Не знаете вы, как это делается. А потом, психология — это не моя сфера. Мое дело — улавливать социальные тенденции повышенным чутьем художника. Вы, ученые, эти тенденции создаете. Не спорю. Но сами вы в них ничего не понимаете.

Профессор. Чего же это мы, например, не понимаем?

Писатель. Главного не понимаете. Это раньше будущее было только повторением настоящего. Великие перемены маячили где-то за далекими горизонтами. А теперь вашими трудами нет уже никакого будущего. Оно слилось с настоящим. Завтрашний

день здесь, рядом, он держит нас за горло, а вы этого не понимаете...

Профессор. Ну, хорошо. Я иду за нобелевкой. А вы зачем? Хотите подарить человечеству сокровища своего попушно-го вдохновенья?

Писатель. Кашлял я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек — вот этот. (*Тычет себя в грудь пальцем.*) А в этом человеке меня интересует только одно: стоит он чего-нибудь или он такое же дерьмо, как и все прочие.

Профессор. Ну и что будет, если узнаете вы, что дерьмо?

Писатель. Знаете что, господин Эйнштейн? Занимайтесь своей наукой, занимайтесь своим человечеством. Но только человечеством минус я. И вообще я не желаю с вами спорить. В спорах рождается истина, будь она проклята. (*Он поворачивается к Сталкеру.*) Вот, кстати, шеф, вы ведь приводили сюда множество людей...

Сталкер. Не так их было много, как мне бы хотелось...

Писатель. Ну, все равно, не в этом дело... Зачем они шли сюда? Чего они хотели?

Сталкер. Счастья...

Писатель. Это-то понятно, за несчастьем никто не поидет... Но конкретно, какого именно счастья?

Сталкер. Я не могу об этом говорить. По-моему, это было бы нехорошо, если бы я рассказывал о том, что я знаю... Это ведь не касается ни вас, ни меня... Да и знаю я очень мало. Люди не любят говорить о сокровенном...

Писатель. Да, пожалуй, вы правы... Я глупость спросил. Но что же это получается? Значит, вы на своем веку повидали множество счастливых людей... Я вот, например, не видал за всю свою жизнь ни одного...

Сталкер. А я тоже. Они возвращаются с терраски, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся... Ведь желания исполняются не мгновенно... Наверное, дни проходят, прежде чем каждый получит свое...

Писатель. А сами вы... никогда?

Сталкер. А я и так счастлив. Больше мне ничего не надо.

Все молчат.

Писатель. Нет, все это как-то непонятно. Есть во всем этом какое-то недоразумение... Желания, счастье... Ну, предположим, вступлю я на эту терраску и вернусь завтра на свою виллу самым гениальным писателем нашего времени. Я же знаю, чем это кончится. Все, что я с этого момента напишу, будет казаться мне особенно скверным и ни к черту не годным. Критики примутся рвать меня в клочки, как это они всегда делали со всеми гениями. А то, что я гений, выяснится лет через сто. Ничего себе счастье! Значит, нельзя желать гениальности? А ради чего еще идти на терраску? Как вы считаете, Профессор?

Никто ему не отвечает.

12. ПРОБУЖДЕНИЕ

Сталкер открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Тумана как не бывало. Сталкер бесшумно поднимается, мягко ступая, подходит к спящим спутникам и останавливается над ними. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, взгляд оценивающий.

Он явно выбирает одного из двоих и явно не знает, на ком остановит выбор. На лице его появляется выражение растерянности. И тогда он начинает молиться, как давеча в ванной. Губы его шевелятся, но слов почти не слышно. Можно расслышать только: «...Сумею быть жестоким с добрыми... пусть я не ошибусь, пусть я выберу правильно...»

Затем он проводит по лицу ладонью и, наклонившись над спящими, говорит негромко: «Вставайте, пора»...

13. ИСПЫТАНИЕ

Профессор, за ним Писатель и Сталкер выбираются, изгнувшись, из трубы и останавливаются у края узкого прямого рва,

выложенного бетоном. Перед ними обширный мрачный зал — бетонные плиты пола, бетонные стены, обшарпанные бетонные колонны.

Сталкер. Дальше нам предстоит пройти через этот зал. Но здесь я не могу приказывать. Первым должен пойти доброволец. Поэтому, пожалуйста, решите сами, кто из вас пойдет.

Писатель (раздраженно). Что это за военные игры? Вот вы сами идите. В конце концов, вам за это деньги платят...

Профессор. Перестаньте!

Писатель. Почему — перестаньте? Плевать я хотел на эти психологические этюды! Почему это мы с вами должны определять смертника? Сам я идти не хочу, но и вас посылать не намерен!

Профессор. Да перестаньте вы. Я пойду.

Писатель. Нет, вы не пойдете! Я не нуждаюсь в благотворительности! Пусть он идет!

Сталкер. Я не могу идти. Это бессмысленно. И бесполезно.

Писатель. Ах, бесполезно? Откуда вы знаете? Черт бы побрал ваше надутое смиренное всезнание! (Профессору.) Вы посмотрите на него! Ему же удовольствие доставляет — ставить нас в идиотское положение!

Сталкер (терпеливо). Поймите: если со мной что-нибудь случится, то вы здесь погибнете оба. Поэтому мне идти бесполезно.

Профессор. Да давайте я пойду, что вы все спорите?

Писатель. А вы перестаньте строить из себя героя! Он, видите ли, пойдет, а мне всю жизнь сидеть в дерьме от срама... Тогда извольте жребий! Пусть жребий решит!

Профессор. Да не надо никакого жребия. Со мной ничего не случится, я уверен...

Писатель. В чем вы уверены?

Профессор. Я уверен, что я пройду через этот зал и со мной ничего не случится. Все дело вот в этом моем горбу... (Он хлопает ладонью по рюкзаку.) Зона совершенно явно хочет, чтобы я донес его до самой терраски. А значит — со мной ничего не случится.

Писатель. Господи, ну и логика! Вы что — свихнулись? Профессор. Нисколько. Логика, конечно, странная. Но ведь мы имеем дело с чудом... Само чудо вне логики, но внутри чуда есть логика, хотя и своя... Давайте будем логичны, Писатель!

Писатель открывает и закрывает рот, а Профессор перешагивает через ров и неторопливо движется по залу. Шаг, второй, третий... и вдруг пронзительный крик: «Стой!»

Профессор застывает на месте. Сталкер смотрит на Писателя, Писатель смотрит на Сталкера.

Сталкер. Зачем вы это сделали?

Писатель. Я?

Сталкер. Здесь нельзя кричать.

Писатель. Я не кричал!

Профессор. Мне вернуться?

Сталкер (помолчав). Да, возвращайтесь. Все ясно.

Профессор возвращается.

Профессор. Что случилось? Зачем вы меня остановили?

Сталкер. Это не я вас остановил.

Профессор поворачивается к Писателю. Тот молча мотает головой. Затем вдруг ухмыляется и грозит Профессору пальцем.

Писатель. Ай да химик! Сам себе крикнул, сам себя остановил и вернулся героем...

Сталкер. Так. Здесь нам делать больше нечего. Идите за мной.

Они идут за ним некоторое время молча, затем Профессор говорит Писателю вполголоса: «Вы очень хорошо все объяснили, но вы знаете, я ведь не кричал...»

14. КОРИДОРЧИК

Они стоят перед прямоугольным жерлом коридора, черного, закопченного, и под ногами у них черная обугленная земля.

Писатель. Это что же — туда идти?

Сталкер. Да, к сожалению. Другого пути нет.

Он очень напряжен и несчастен.

Писатель. Как-то там... тускло, а, Профессор?

Профессор подавленно молчит.

Писатель. Ну, что, может, и здесь добровольцы найдутся? Профессор, вы там что-то говорили насчет логики чуда...

Сталкер. Не надо. Будете тащить жребий. Вы ведь предлагали тащить жребий?

Писатель. Здесь я бы предпочел какого-нибудь добровольца.

Сталкер достает спички, отвернувшись, что-то делает с ними, потом выставляет зажатые между пальцами две спичечные головки.

Сталкер. Пойдет длинная. Тащите, Писатель.

Писатель вытаскивает спичку.

Сталкер. Длинная. Сожалею.

Он отбрасывает оставшуюся спичку далеко в кучу мусора. Писатель несколько секунд смотрит на него, затем поворачивается к входу в коридор. Вглядывается, гоняя свою спичку из одного угла рта в другой.

Писатель. Вы бы хоть гайку туда бросили, проверили бы...

Сталкер. Да, конечно. Пожалуйста.

Он торопливо вытаскивает гайку, швыряет ее в черное жерло. Слышно, как она прыгает там по цементному полу.

Писатель. Ну?

Сталкер. Могу бросить еще одну. Хотите?

Писатель. Эх, начальник!

Он решительно шагает к входу в коридор, на ходу вытаскивая из кармана маленький пистолет. Сталкер прыжком нагоняет его и хватается за плечо.

Сталкер. Стойте! Что вы делаете?

Писатель. А что вы мне еще прикажете делать?

Сталкер. Отдайте.

Писатель. Какого черта?

Сталкер. В Зоне нельзя с оружием! Вы погибнете! Если у вас будет оружие, вы здесь не пройдете! Никогда, ни за что!

Писатель. А если не будет?

Сталкер. А если не будет — может быть... Я очень прошу вас — отдайте. Ну в кого вы там будете стрелять? В судьбу?

Писатель. И то верно...

Он отдает пистолет Сталкеру, тот брезгливо берет его двумя пальцами и осторожно кладет в сторонку.

Сталкер. Ну идите же, идите, пожалуйста.

Писатель засовывает руки в карманы и, ернически посвистывая, поминутно оборачиваясь и подмигивая остекленелым от ужаса глазом, входит в коридор.

Сталкер хватается Профессора за плечо и силой оттаскивает его в сторону с полосы обугленной земли. Замерев, они слушают стук, гул, лязг и прерывающееся посвистывание, доносящиеся из коридора. Потом оттуда раздается пронзительный скрип открываемой двери.

Сталкер. Скорее! За мной!

Он бросается в коридор, и Профессор, придерживая на носу очки, бежит следом.

15. КОМНАТА С ТЕЛЕФОНОМ

Насквозь пропыленная комната, заставленная старинным мебельным хламом. У входа на стене висит обросший пылью телефон. Профессор, стащив со спины рюкзак, тяжело опускается в откровенно скрипящее ободранное кресло под телефоном. Писатель с руками в карманах, присев на край замызанного стола, усмехаясь, наблюдает за Сталкером, который всячески суетится

вокруг него — достает из полуразвалившегося комода бутылку, стакан, тщательно все это протирает, откупоривает, наливает, предлагает...

Сталкер. Ах, как все хорошо получилось — просто чудо! Вы сядьте, сядьте поудобнее. Вон еще одно кресло. Ничего, все мы перенервничали, но теперь все позади... Выпейте, выпейте, пожалуйста, теперь можно... Прекрасный вы мой человек, как же я за вас рад! Сомневался, сомневался, каюсь, но вы такую проверку выдержали! Это же страшное место, самое страшное! У нас его зовут мясорубкой, но это хуже любой мясорубки! Сколько людей здесь погибло! И брат Дикобраза здесь погиб, синеглазый поэт... Такой был милый мальчишка, кто бы мог подумать! А у нас так прекрасно все получилось! Это ведь не часто, ох как не часто бывает, чтобы все дошли и все вернулись...

Писатель пьет, смотрит на него. Молчит, потом вдруг взрывается.

Писатель. Да что вы все юлите! Что вы суетитесь? Сядьте, смотреть на вас тошно!

Сталкер послушно садится в углу. Улыбается сконфуженно и заискивающе.

Писатель. Черт бы вас побрал с вашей болтовней! Рад он, видите ли, что все хорошо получилось! Я, видите ли, ему прекрасный человек! Вы думаете, я не видел, как вы мне две длинные спички подсунули? Судьба! Зона! А сам жульничает, как последняя дешевка...

Сталкер. Нет-нет! Вы не понимаете...

Писатель. Опять я не понимаю! Опять психологические бездны! (*Профессору.*) Вы меня извините, Профессор, я ничего плохого не хочу о вас сказать, но вот этот поганый гриб почему-то именно вас выбрал своим любимчиком, а меня, как существо второго сорта, сунул, видите ли, в мясорубку! (*Сталкеру.*) Да какое вы имеете право, сморчок поганый, выбирать, кому жить и кому умереть?

Сталкер. Я ничего не выбираю, поверьте! Вы сами выбрали!

Писатель. Что я сам выбрал? Одну длинную спичку из двух длинных?

Сталкер. Спички — это пустяк, это результат! Вы сами выбрали еще там, в зале, когда отказались идти, когда требовали жребия, когда позволили идти Профессору!

Писатель. Ну, знаете!..

Сталкер. Я никакая не судьба, я только рука судьбы! Я никогда никого не выбираю, я всегда боюсь ошибиться. Вы не можете себе представить, как это страшно... Но кто-то же должен идти первым!

В этот момент гремит телефонный звонок. Все вздрагивают, испуганно глядят на телефон. Снова гремит звонок. Профессор и Писатель вопросительно смотрят на Сталкера. Тот явно не знает, что делать.

Профессор поднимается и берет трубку.

Профессор. Да!.. Нет, это не клиника. (*Он вешает трубку, медлит насколько секунд и вдруг снова берет трубку и набирает номер.*)

Женский голос. Вас слушают.

Профессор. Девятую лабораторию, пожалуйста.

Женский голос. Одну минуту...

Мужской голос. Слушаю.

Профессор. Надеюсь, не помешал?

Мужской голос. Что тебе надо?

Профессор. Всего несколько слов. Вы спрятали, я нашел. Старое здание, четвертый бункер, справа под стеной. Ты меня слышишь?

Мужской голос. Я немедленно сообщая в корпус безопасности.

Профессор. Можешь. Можешь сообщать, можешь писать на меня свои доносы, можешь натравливать на меня моих же сотрудников... Только поздно. Я уже здесь. Я уже в двух шагах. Ты меня слышишь?

Мужской голос. Ты понимаешь, что это конец тебе как ученому?

Профессор. Ну так радуйся!

Мужской голос. Ты понимаешь, что будет? Ты понимаешь, что произойдет, если ты осмелишься?

Профессор. Только не надо меня пугать. Я всю жизнь чего-то боялся. Я даже тебя боялся. Но сейчас мне совсем не страшно! Уверю тебя!

Мужской голос. Боже мой! Ты ведь даже не Герострат... Ты... Тебе просто всегда хотелось мне нагадить, и теперь ты в восторге от того, что это тебе наконец удалось... Да ты вспомни, черт тебя подери, с чего все началось! А сейчас ты думаешь только обо мне и о себе! А как же люди, о которых мы говорили? Как же миллионы и миллионы ничего не ведающих душ? Ладно, иди, иди! Совершай свою гнусность! Но я тебе все-таки напому. Ты — убийца. Новые поколения придут за нами, и каждое будет тебя проклинать за то, что ты уничтожил их надежды. Сейчас тебе наплевать, сейчас ты на коне... Не смей вешать трубку! Тюрьма — не самое страшное, что тебя ожидает. Ты сам себе никогда не простишь, и я знаю... да я просто вижу, как ты висишь над тюремной парашей на собственных подтяжках!..

Профессор бросает трубку.

Писатель. Что это вы там такое затеяли, а, Профессор?

Профессор. А вы представляете себе, что будет, когда в эту комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда... Ведь это только вопрос времени, не сегодня, так завтра... И не десятки — тысячи! Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Все эти благодетели рода человеческого! И не за деньгами они сюда кинутся, не за вдохновением — мир переделывать!.. По своему отвратительному образу и подобию!

Сталкер (*торопливо*). Нет-нет! Я таких сюда не беру! Я же понимаю!

Профессор. Да что вы можете знать, смешной вы человек! Да и не один вы на свете сталкер! И не все сталкеры такие, как вы! И никто из сталкеров не знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят люди, которых они ведут... Вы же сами признались, что не знаете! А уровень мотивации преступлений па-

дает! Из-за медяка могут резать человека! Может быть, это ваша работа? А военные перевороты, «гориллы» у власти, мафия в правительствах — может быть, это тоже ваши клиенты! Откуда вы можете это знать? Ослепляющие лазеры, чудовищные сверхбактерии, вся эта угрюмая мерзость, запрятанная пока в бронированных сейфах...

Писатель. Да прекратите вы эту социологическую истерику! Неужели вы сами способны поверить в эти сказки?

Профессор. В страшные сказки я верю! В добрые — нет. А в страшные — сколько угодно!

Писатель. Бросьте, бросьте! Что такое фюрер, в конце концов? Это же всего-навсего несостоявшийся живописец, да еще импотент вдобавок... Неужели вы думаете, что, придя на терраску, он получил бы свое мировое господство? Чушь! Он получил бы прекрасную потенцию, ну и, может быть, умение малевать пейзажи лучше, чем у него получалось прежде... Не может быть у отдельного человека такой любви или такой ненависти, которые касались бы всего человечества! Хороший куш на бирже, женщина, ну месть какая-нибудь — начальника своего под машину загнать... Это еще туда-сюда, а власть над миром! Справедливое общество! Царство божие на земле! — это ведь не желания, это слова, идеология, лозунги...

Сталкер. Вот-вот! Правильно. Счастье — это очень личное. Не может быть счастья за счет несчастья других...

Писатель (*не слушая*). Вот я совершенно ясно вижу, что вы замыслили сокрушить человечество каким-то невообразимым благодеянием. Но я совершенно спокоен! Спокоен за вас, за себя и уж тем более за человечество. Ничего у вас не выйдет. Ну, в лучшем случае получите вы свою нобелевку, а скорее всего, и нобелевки вам не будет, а будет вам что-нибудь совсем уж несообразное, о чем вы вроде бы и думать-то не думаете... Это же закон жизни! Мечтаешь об одном, а получаешь совсем-совсем другое.

Он замолкает, отдуваясь.

Сталкер (*робко*). Может быть, пойдем на терраску? Скоро вечер, темно будет возвращаться...

Профессор. Да, пора кончать это дело.

16. ТЕРРАСКА

И вот они стоят в широком, как ворота, дверном проеме недалеко от края заросшей мхами терраски, а дальше за терраской — залитый вечерним солнцем зеленый пейзаж Зоны, и видна бетонная плита, у которой они топтались утром.

Профессор опускает к ногам рюкзак. Писатель делает несколько шагов к терраске, но Сталкер движением руки останавливает его.

Сталкер (мягко). Одну минуточку, не надо так спешить.

Писатель. А я и не спешу никуда.

Сталкер. Да-да, спешить не надо. Позвольте мне сначала сказать вам несколько слов. (Прокашливается в волнении.) Друзья мои! Вы знаете, идти сюда нам было нелегко. Но мы все вели себя хорошо. Мы себя правильно вели. Именно поэтому мы благополучно миновали все опасности и теперь стоим на этом пороге. Я сделал для вас все, что я мог... все, что было в моих силах. Я очень рад за вас. Вы — добрые, честные, хорошие люди, и я бесконечно рад, что выбрал именно вас и не ошибся в выборе. Теперь слово за вами. Я прошу вас помнить, что Зона выполнит только самое заветное ваше желание, самое искреннее, самое глубокое. Самое выстраданное. Поэтому отнеситесь к предстоящему со всей серьезностью. Не надо шутить, не надо быть грубым, вообще не надо ничего показного. Никакие слова вам не помогут. Вам ничего не надо говорить. Вам нужно просто сосредоточиться и вспоминать свою жизнь. Когда человек вспоминает свою жизнь, он становится добрее. Вам нужно быть очень добрыми сейчас. И тогда счастье, которое вы обретете, не станет источником несчастья для других. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь — идите. Кто хочет первым? Вы?

Писатель. Я? Нет. Не хочу.

Сталкер. Понимаю. Это очень непросто. Но вы не беспокойтесь, это пройдет...

Писатель. Вряд ли это пройдет. Во-первых, если я стану вспоминать свою жизнь, вряд ли я стану добрее... А потом, разве

вы не чувствуете, как все это срамно? Клянуть, вымалывать, сопли распускать, унижаться...

Сталкер. Ну, ведь это не надо делать сразу... Вы успокойтесь, это пройдет. Вы просто еще не готовы. Это бывает... довольно часто... (Профессору.) Может быть, вы?

Профессор сидит на корточках и расшнуровывает рюкзак. Обнажается массивный металлический цилиндр.

Писатель. Господа! Перед вами новое гениальное изобретение! Прибор для измерения параметров чуда! Чудомер!

Профессор (не поднимая головы). Нет. Это атомная мина.

Пауза. Сталкер ничего не понял. Писатель думает, что это шутка.

Профессор. Двадцать килотонн.

Писатель (глухо). З-зачем?

Профессор. Теперь я уже и сам не знаю — зачем. Я могу объяснить, зачем мы ее собрали. Мы решили тогда, что Зона, если она попадет в дурные руки, способна принести человечеству неисчислимые беды. Это казалось таким очевидным... столько примеров... А потом их осенило, что Зона — это чудо и что чудо нельзя убивать, оно неповторимо. Я не согласился, и мы поссорились. Они ее спрятали от меня... в четвертом бункере котельной. Они думали, что я не найду. А я нашел. Здесь все очень просто: надо набрать четыре цифры, и через сутки Зоны не станет...

Сталкер (в ужасе). Вы... вы хотите...

Профессор. Ничего я не хочу. Ведь я же не идиот, не маляк. Я же понимаю: нельзя совершать необратимые поступки. Чудо неповторимо. Мы ничего не успели узнать про Зону. Но я боюсь опоздать! Зона — это тоже бомба — и страшнее всех существующих... Может быть, она взорвет этот мир, и я не знаю — когда...

Сталкер кидается к Профессору и вцепляется в мину. Профессор тоже вцепляется в мину, тогда Сталкер с визгом принимается

неумело, по-бабски, его избивать, валит, царапает, пинает колленками. Профессор почти не сопротивляется. Набегает Писатель, отрывает Сталкера от Профессора, бьет его — расчетливо, профессионально, и после каждого удара Сталкер летит на землю, но каждый раз, как заведенный, вскакивает и слепо бросается к Профессору. В конце концов Писатель скручивает Сталкеру руки и приводит его в относительную неподвижность.

П и с а т е л ь. Ишь ты, хорек вонючий... задело-таки тебя за живое... смиренная крыса... А ну, стой смирно!

С т а л к е р (*всклипывая*). Вы подумайте... Вы подумайте... Почему вы меня?.. Он же хочет все это уничтожить... счастье, надежду... Он ведь и вашу надежду хочет уничтожить... Мне помогите! Мне!

Писатель отшвыривает его в угол. Сталкер оглушен. Он еле жив, но продолжает лихорадочно бормотать.

С т а л к е р. Ведь в этом мире у людей больше ничего не осталось... Только этот маленький родничок... Только сюда можно прийти, когда надеяться больше не на что... Неужели вы хотите этот родничок засыпать? С чем же человек тогда останется? С чем же вы тогда останетесь? Ведь вы же сами сюда пришли!..

П и с а т е л ь. Молчи, лицемер! Перестань врать! Я же вижу тебя насквозь! Плевать ты хотел на человеческое счастье! Ты же себе бизнес сделал на наших надеждах! И не в деньгах даже дело... Ты же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и бог, ты, мелкая лицемерная крыса, решаешь, кому здесь жить, а кому умереть... Ты выбираешь! Ты решаешь! Теперь я понимаю, почему ваш брат сталкер сам никогда не ходит на терраску... Вы такие глубины нечистых ваших душ здесь услаждаете властью, тайной, авторитетом, что у вас больше и желаний не остается!..

С т а л к е р (*исступленно*). Нет! Это неправда! Вы ошибаетесь! Не так все это, не так! Сталкеру нельзя ходить на терраску! Сталкеру вообще нельзя приходить в Зону с корыстной целью! Он погибнет! Вы вспомните Дикобраза! (*Поднимается на колени.*) Вы правы, я — маленький крысенок, я ничего не сделал в

том мире и ничего не могу сделать... И счастья я не сумел дать даже жене и дочери... Друзей у меня нет и быть не может. Но моего вы у меня не отнимайте. У меня и так уже все отняли — там, в том мире. Все мое — здесь, в Зоне. Свобода моя — в Зоне, счастье мое — в Зоне... Ведь я привожу сюда людей таких же несчастных, как я, замученных, израненных. Они ни на что больше не надеются — только на Зону! А я могу! А я могу им помочь! У меня сердце кровью обливается, когда я на них смотрю, я от счастья плакать готов, что я им могу помочь! Весь этот огромный мир не может, а я — могу! Вот и вся моя жизнь. И я больше ничего не хочу. А когда придет мне пора умирать, я приползу сюда, на терраску, и последняя мысль моя будет — счастье для всех! Даром! Пусть никто не уйдет обиженным!

Писатель с кряхтением опускается на пол.

П и с а т е л ь. Ну, извините... Ну, может быть... Просто я терпеть не могу смиренных всезнаек. Но все равно — глупо! Вы меня извините, но все, что вы сейчас говорили здесь, — глупо. Вы просто блаженный. Вы не понимаете и не хотите понимать, что здесь делается. Почему, по-вашему, повесился Дикобраз?

С т а л к е р. Он пришел в Зону с корыстной целью. Он загубил в мясорубке своего брата, чтобы получить богатство...

П и с а т е л ь. Это я понимаю. Я вас спрашиваю — почему он повесился? Почему он не пришел на терраску снова и не выпросил у нее для брата новую жизнь?

С т а л к е р. Он хотел, он все время говорил об этом... Он даже пошел, но... Не знаю. Через несколько дней он повесился.

П и с а т е л ь. Неужели вы не понимаете? Вы же сами нам сказали: только самые заветные желания, самые искренние, самые выстраданные... А Дикобраз — он и есть Дикобраз. Стоял он там на терраске на коленях, кричал до хрипоты: брата-де хочу вернуть единственного, жизнь свою вспоминал, все тщился сделаться добрее. Но он не был добрым, и выстраданные желания у него были Дикобразовы: власть, деньги, роскошь... Вот вернулся он к себе в апартаменты, нашел там вместо брата еще один мешок с золотом и понял, что жить больше незачем, что он — дрянь, мерзость,

дерьмо... Не-ет, туда нам ходить нельзя. Я понимаю: ходят, лезут, как мошки на огонь, но ведь это от глупости, от недостатка воображения! Я туда не пойду. Я за этот день здорово поумнел. А профессор, умный человек, он и вовсе не собирался... Зачем это мне надо? Что у меня выстрадано? Ненависть? Гадливость? Неприятие? Как я туда полезу со своей израненной душой? Ведь одно из двух. Либо душа моя хочет покоя, тишины, безмыслия, беспамятства, забвения — и тогда я вернусь идиотом, счастливым кретином, пускающим пузыри... Либо душа моя отмщения жаждет. И тогда мне страшно даже подумать, сколько судеб окажется на моей совести... Нет, дружище, паршиво вы в людях разбираетесь, если таких, как я, водите в Зону...

Наступает долгое молчание. Сталкер плачет.

Сталкер. Это жестоко... Это неправда... Я всю жизнь положил здесь... У меня ведь больше ничего нет... Зачем я теперь буду жить?.. Я ведь не ради денег сюда приводил... и шли они сюда не ради денег... как в церковь... как к богу... (*Профессору.*) Профессор, скажите же что-нибудь ему! Почему вы молчите?

Профессор вздрагивает, словно очнувшись. Потом он начинает говорить, и пока он говорит, руки его как бы механически с натугой отвинчивают верхнюю часть цилиндра, приподнимают металлический колпак, обрывают тянущиеся провода и продолжают разбирать, рвать, ломать мину, разбрасывая деталь за деталью во все стороны.

Профессор. Я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, прав он или нет. Наверное, прав. Наверное, сегодняшний человек действительно не умеет использовать Зону. Она попала к нам не вовремя, как и многое другое. Как самый роскошный телевизор в пещеру к неандертальцам. Он смотрит в огромный мертвый экран и ничего в нем не видит, кроме своей волосатой рожи... Не знаю, не знаю. Я знаю только одно. Все, что вокруг нас, и мы сами, и дела рук наших — все это не вечно. Все меняется. Все изменится. И, может быть, через века люди дорастут до Зоны и научатся

извлекать из нее счастье, как научились извлекать энергию из каменного угля. Или произойдет такое потрясение на земном шаре, такая катастрофа, что у нас не останется никаких надежд на спасение, кроме Зоны. Пусть мы еще не успеем научиться пользоваться ею, но у нас будет надежда. Человек может обойтись без всего. Но надежда у него должна быть всегда.

Долго и молча сидят они на пороге комнаты. Сумерки сгущаются. Становится все темнее и темнее. Наступает тьма.

17. СНОВА КАФЕ

Они сидят за столиком в том же самом кафе, грязные, оборванные, заросшие. Они так устали, что говорят с трудом. Перед каждым кружка с остатками пива.

Писатель (*допив свою кружку*). Давайте еще по одной.

Профессор. У меня больше нет денег.

Писатель (*упавшим голосом*). И у меня нет...

Профессор. Вы же хвастались, что у вас везде кредит.

Писатель. Да! Везде! А в этой дыре — нет!

Сталкер шарит в кармане, высыпает на стол несколько мелких монет пополам с мусором, двигает монетки пальцем, пересчитывая.

Сталкер. Вот. На две кружки еще хватит. А на три — не хватает.

В кафе входит Жена Сталкера. Останавливается возле столика.

Жена (*Сталкеру*). Ну что ты здесь сидишь? Пошли.

Сталкер. Сейчас. Ты присядь. Присядь с нами, посиди немножко.

Она охотно присаживается, берет его руку и обводит взглядом Писателя и Профессора.

Ж е н а. Вы знаете, мама была очень против. Вы теперь, наверное, поняли — он же блаженный. Над ним вся округа смеялась, а он растяпа был, жалкий такой. Мама говорила: «Это же сталкер, это же смертник, это же вечный арестант! А дети? Ты посмотри, какие дети у сталкеров!» И знаете, я даже не спорила! Я ведь и сама это понимала: и что смертник, и что арестант, и про детей тоже... А только что я могла сделать? Я была уверена, что мне с ним будет хорошо. Я была уверена, что лучше уж горькое счастье, чем серая, унылая жизнь... А может, я все это уже потом придумала... А тогда он просто подошел ко мне и сказал: «Пойдем!» И я пошла, и никогда потом не жалела. Никогда. Горя было много, страшно было, стыдно было, больно было... А только я никогда ни о чем не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. И если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы от этого не стало. Хуже стало бы, потому что тогда и счастья бы тоже не было, и не было бы надежды... (Сталкеру.) Ну, пойдем, Мартышка там одна.

Они встают. Сталкер что-то силится сказать на прощанье. Губы его шевелятся, потом он неукложе произносит: «Это вот мои друзья. А больше у нас пока ничего не получилось».

Они уходят. Писатель и Профессор смотрят им вслед.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ

(ОТЕЛЬ

«У ПОГИВШЕГО АЛЬПИНИСТА»)

Как сообщают, в округе Винги близ местечка Мюр опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из Космоса...

(Из газет)

По обеим сторонам дороги тянулась нетронутая снежная долина, стиснутая отвесными скалами, — сизые, жуткого вида иззубренные гребни казались нарисованными на сочно-синей поверхности неба. Впереди уже был виден отель — приземистое двухэтажное здание с плоской крышей. Уютный дымок белой свечкой упирался в небо.

Солнце било в ветровое стекло, весело отражалось от приборов и наполняло машину душным зноем. Водитель открыл ветровик, и сейчас же стал слышен трескучий рев, словно шел на посадку спортивный биплан. Водитель едва успел подать машину вправо, как огромный мотоцикл с ревом пролетел мимо, залепив стекла ошметками снега, так что водитель успел разглядеть только тощую, согнутую в седле фигуру, развевающиеся черные волосы, торчащий, как доска, конец красного шарфа и еще одну фигуру — лыжника в ярком свитере, несущегося следом на туго

натянутом блестящем тросе. Искрящееся снежное облако поднялось над дорогой, заволакивая солнце.

Перед зданием отеля водитель остановил машину, вылез и снял темные очки. Отель был уютный, старый, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У Погибшего Альпиниста».

С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. Огромный мотоцикл остывал у крыльца, рядом, на снегу, валялись кожаные перчатки с раструбами.

Водитель извлек из машины тяжелый портфель и направился к крыльцу. Высокие ноздреватые сугробы вокруг крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Одна лыжа была с ботинком. Водитель остановился, внимательно оглядел лыжи, выдернул одну из сугроба, подержал на весу и воткнул обратно в снег. Потом он повернулся к двери и остолбенел.

В дверном проеме у самой притолоки, упираясь ногами в одну филёнку, а спиной — в другую, висел невесть откуда взявшийся молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на водителя сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал водитель, помолчав. — Вам помочь?

Незнакомец мягко спрыгнул вниз и, продолжая отдавать честь, стал во фрунт.

— Честь имею, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне.

— Вольно, — сказал водитель.

Они пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сказал Симоне. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как от «инфантерии». Получается смешно!.. — И он неожиданно разразился ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы делали там, наверху? — осведомился водитель, преодолевая некоторую оторопь.

— Тренировался, — объяснил Симоне, любезно распахивая перед водителем дверь. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил водитель и сейчас же пожалел об этом: на него вновь обрушилась лавина замогильного хохота.

Они вошли в холл.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил Симоне, вытирая глаза. — Я чувствую, мы с вами подружимся...

В сумрачном холле тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, на одном негромко мурлыкал транзистор, а рядом, развалившись в креслах, неподвижно застыли давешний мотоциклист и лыжник. Лыжник оказался румяным гигантом, этским белокурый викинг, а что касается мотоциклиста, то это было на редкость топшее гибкое существо, то ли мальчик, то ли девочка. Маленькое бледное личико было наполовину скрыто черными очками. К губе прилипла потухшая сигарета.

— Тс-с-с! — сказал Симоне, понизив голос и подмигивая. — Вам сюда... Жду в бильярдной. Играете?..

И Симоне на цыпочках вышел из холла.

Инспектор отогнул портьеру, вышел в коридор и толкнул дверь с табличкой «Контора». В залитой солнцем комнате, небрежно опираясь на тяжелый сейф, стоял с дымящейся сигарой невообразимо длинный, очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. У него был галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо с печальными водянистыми глазами и аристократическими брылями. Рядом с сейфом, положив морду на лапы, лежал великолепный сенбернар, могучее животное ростом с теленка.

А за столом сидел лысый коренастый человек в меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса.

— Разрешите представиться, — сказал человек в жилете. — Алек Сневар — владелец этого отеля, этой долины, близлежащих гор и ущелий... Господин Мозес — наш гость.

Господин Мозес любезно улыбнулся и покивал, тряхнув брылями.

— Очень рад, — сказал водитель сухо.

Господин Мозес понимающе развел руками, и сигара вдруг исчезла из пальцев его левой руки и оказалась в пальцах правой.

Водитель растерянно мигнул, но тут же решил, что это ему показалось.

— Не буду вам мешать, — сказал господин Мозес, направляясь к дверям. — Боже! — воскликнул вдруг он, и взгляд его просветлел. — Какая прелесть! Где вы это взяли, сударь? — Он схватил водителя за лацкан, и в пальцах у него вдруг оказалась маленькая фиалка. Он посмотрел на водителя, удовлетворенно рассмеялся и вышел.

— У вас занятые постояльцы, — заметил водитель, усаживаясь в кресло.

— О да! — сказал хозяин многозначительно. — За обедом вы их всех увидите. — Он раскрыл громоздкий грессбух и принялся сосредоточенно оскабливать ногтями кончик пера. — Итак?

— Я инспектор полиции Петер Глебски, — сказал водитель. — Что тут у вас случилось?

Хозяин поднял на него удивленные глаза.

— Простите?..

— Вы вызывали полицию?

— Я?! — Пораженный хозяин даже приподнялся со стула.

— Та-ак... — протянул инспектор. — Понятно... Лыжи у вас никто топором не рубил и шины у автомобилей не протыкал?

— Помилуйте, инспектор! — вскричал потрясенный хозяин. — Это какая-то ошибка!..

— Ясно. — Инспектор поглядел на часы и подтянул к себе телефонный аппарат. — Вижу, что ошибка. — Он набрал номер. — Капитан? Это инспектор Глебски. Я прибыл на место и рад сообщить, что здесь ничего не произошло... Да, ложный вызов... Слушайте, дружище, я охотно верю, что вы проверяли, и тем не менее... Что? Да, это было бы неплохо, но для того чтобы этого типа оштрафовать, надо его сначала выловить... Что? — Он снова посмотрел на часы. — Нет, скоро стемнеет, а дорога дрянь. Завтра? Часам к двум... Хорошо... Какая-какая настойка? Ах, вот как... Ладно. Привет.

Он повесил трубку и откинулся в кресле, с наслаждением вытянув ноги.

— Насколько я понимаю, — сказал хозяин с достоинством, — кто-то из моих гостей...

— Увы, — сказал инспектор.

— Я приношу глубочайшие извинения, господин инспектор, — сказал хозяин, прижимая руку к жилету. — У меня нет слов...

— И не надо, — сказал инспектор добродушно. — Я, знаете ли, давно уже вышел из того возраста, когда огорчаются ложному вызову. С удовольствием проведу у вас вечер и ночь за казенный счет. Что это у вас тут за знаменитая эдельвейсовая настойка?

— Господин инспектор! — торжественно произнес просящийся хозяин. — Мои подвалы — к вашим услугам! — Он захлопнул грессбух и приказал: — Лель! В шестой номер багаж господина инспектора!

Сенбернар поднялся, цокая когтями по линолеуму, подошел к портфелю, взял его в зубы и вынес в коридор.

У себя в номере инспектор симметрично расположил на лакированной поверхности стола чернильный прибор и пепельницу, рассеянно огляделся, подошел к окну и закурил сигарету. За окном расстилалась долина, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Солнце стояло еще высоко, синяя тень отеля лежала на снегу, и видны были тени двух людей на крыше — один сидел, а другой неподвижно стоял рядом. Потом тень сидящего шевельнулась — человек поднял руку с бутылкой, основательно присосался, запрокинув голову, и вдруг сделал резкое движение. Пустая бутылка пролетела мимо окна и бесшумно канула в сугроб. Инспектор усмехнулся, раздавил в пепельнице окурок и прошел в спальню.

Там он оглядел себя в зеркале, поправил галстук, причесался и опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы-ы». Ни одно выражение не показалось ему подходящим, поэтому он не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты и вышел в коридор.

В коридоре было пусто. Откуда-то доносилась музыка, резкие щелчки бильярдных шаров и рыдающий хохот лейтенанта от кибернетики.

На лестничной площадке инспектор столкнулся с незнакомым человеком, который по железной чердачной лестнице спускался, по-видимому, с крыши. Он был гол до пояса и лоснился от пота, лицо у него было бледное до зелени, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

— Неужели до сих пор загорали? — удивился инспектор. — Этак и простудиться недолго...

Не дожидаясь ответа, он пошел вниз. Станный человек топал по ступенькам следом.

— Да ничего! — проговорил он хрипловато. — Выпью вот, и ничего.

— Вы бы оделись, — посоветовал инспектор. — Вдруг там дамы...

— Да. Натурально. Совсем забыл.

Станный человек остановился и принялся напяливать рубашку, а инспектор прошел в буфетную, где пышная горничная, с лицом миловидным и порядком глупым, подала ему кофе и тарелку с холодным ростбифом. Станный человек, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился к нему.

— Бренди, господин Хинкус? — спросила горничная.

— Да, — сказал господин Хинкус.

— Ваш приятель не пьет? — осведомился инспектор из вежливости.

— Какой приятель? — спросил господин Хинкус, наливая себе рюмку.

— Ну, вы же там не один?..

— Где? — отрывисто сказал Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Почему не один? Один...

Инспектор с удивлением посмотрел на него.

— Странно, — сказал он. — Мне показалось, что там вас двое.

— А вы перекреститесь, чтоб не казалось, — грубо сказал Хинкус, наливая себе вторую рюмку.

— Что это с вами? — холодно спросил инспектор.

Некоторое время Хинкус молча смотрел на полную рюмку, потом сказал:

— Так. Неприятности. Могут быть у человека неприятности?

— Да, конечно, — сказал инспектор, смягчаясь. — Прошу прощения.

Хинкус хлопнул вторую рюмку.

— Послушайте, — сказал он. — А вы не хотите позагорать?

— Какое там — загорать! Солнце вот-вот сядет...

— Воздух там хорош, — сказал Хинкус как-то жалобно. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони... Горы... А?

— Я лучше сыграю в бильярд, — сказал инспектор.

Хинкус впервые посмотрел ему прямо в лицо маленькими большими глазками, потом завинтил колпачок, взял бутылку под мышку и направился к двери.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал инспектор через плечо.

Хинкус задержался в дверях, оглянувшись, молча покачал головой и вышел.

Ориентируясь по стуку бильярдных шаров, инспектор прошел по мягкому ковру коридора и оказался в столовой. Там было темно, только из бильярдной через приоткрытую дверь падала узкая полоска света. В этой полоске стоял хозяин. Лицо его выражало какое-то недоумение, нижняя челюсть отвисла, мохнатые брови были высоко задраны. Он с таким увлечением рассматривал что-то в бильярдной, что даже не услышал, как инспектор подошел вплотную к нему. Инспектор кашлянул. Хозяин быстро повернул голову, закрыл рот и несколько смущенно улыбнулся.

— Феноменально... — пробормотал он. — Я... я о господине Олафе... Никогда не видел таких игроков...

Не переставая смущенно улыбаться, он боком отошел от инспектора, пересек столовую и скрылся в коридоре. Из бильярдной доносились хлесткие трески удачных клапшотсов и досадливые возгласы Симоне. Инспектор тоже заглянул в щель. Ни Олафа, ни Симоне видно не было. У стены стояло кресло, а в кресле уютно расположилась женщина ослепительной и странной красоты.

Ей было лет тридцать, у нее были нежные, смугло-голубоватые открытые плечи и огромные томно полузакрытые глаза. В высоко взбитых роскошных волосах сверкала диадема. Инспектор приосанился и вошел в бильярдную.

В бильярдной было полно народу. Красный и взерошенный Симоне жадно пил содовую. Румяный викинг Олаф, добродушно улыбаясь, неторопливо собирал шары в треугольник. На подоконнике, поставив рядом с собой бутылку с яркой наклейкой, сидело с ногами давешнее существо — не то мальчик, не то девочка, — странное чадо XX века. Устроившись в кресле неподалеку от прекрасной дамы, господин Мозес рассеянно развлекался колодой карт — пускал ее веером из руки в руку. Завидев инспектора, он благосклонно покивал и сказал роскошной женщине:

— Ольга, позволь представить тебе нашего нового друга — господина инспектора полиции Петера Глебски.

Инспектор поклонился сначала госпоже Ольге, а потом всем прочим.

— Какая прелесть! — пропела Ольга, широко раскрывая глаза. — Я обожаю полицию! Этих героев, этих смельчаков... Вы ведь смельчак, инспектор?

Повинуясь приглашающему жесту Олафа и стараясь держаться непринужденно, инспектор взял кий и принялся мелить наклейку.

— Увы, мадам, — сказал он. — Я обыкновенный полицейский чиновник...

— Не верю, — сказала мадам, закатывая глаза. — Человек с такой внешностью не может не быть героем и смельчаком!..

— А вы знаете анекдот про полицейского инспектора, который сел на кактус? — ревниво спросил Симоне. — Он тоже приехал по ложному вызову...

— Ах, Симоне, перестаньте, — сказала мадам, не поворачивая головы. — Все равно вы не знаете ни одного приличного анекдота... Инспектор, покажите, что вы настоящий мужчина, — разбейте, наконец, этого противного Олафа.

— Ольга, — сказал господин Мозес, — с твоего позволения я откланяюсь... Господа, пусть победит сильнейший!

Он вышел. Инспектор улыбнулся Олафу в ответ на его приветливую улыбку и разбил пирамиду. Тут Симоне вдруг улегся на пол в неглубокой, но широкой нише и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Симоне! — в ужасе воскликнула госпожа Мозес. — Что вы делаете! Вы убьетесь!

В ответ Симоне заклекотал, повисел некоторое время, все больше наливаясь кровью, потом легко спрыгнул на пол и отдал ей честь.

— Ну, Олаф, — сказал он, чуть задыхаясь, — молитесь! Вот теперь я сделаю из вас бифштекс.

— Трепло, — кратко сообщило с подоконника чадо XX века, а Олаф, внимательно рассматривая наклейку на своем кие, заметил:

— Бифштекс — это еда.

— Вот я и сделаю из вас еду! — заявил Симоне, бросая страстные взгляды на госпожу Мозес.

— Зачем? — спросил Олаф.

— Чтобы съесть! — гаркнул Симоне.

— Обед через два часа, — заметил Олаф, посмотрев на часы.

— Я не могу больше разговаривать с этой игровой машиной! — жалобно заревел Симоне, хватаясь за голову.

Госпожа Мозес залилась серебристым смехом, чадо на подоконнике бросило окурок на пол и закурило новую сигарету, а Олаф улыбнулся и, почти не целясь, с треском залепил шар в лузу через все поле.

— А по-моему, мы очень хорошо с вами беседуем, — сказал он. — Вы очень хороший собеседник, Симоне. — Он прицелился и закатил еще один шар. — Но бифштекс — это все-таки еда. И сделать из меня зайца вы не можете, хотя и обещали. И разукрасить меня, как бог черепаху, тоже нельзя. Бог вообще не красил черепах. Они серые...

Он неторопливо шел вокруг стола и, не переставая говорить, забивал шар за шаром — тихие, аккуратные шары, и шары стремительные, как выстрел, и шары, влетающие в лузы по каким-то фантастическим траекториям. С каждым ударом лицо инспектора все больше вытягивалось, госпожа Мозес ахала и ужасалась, а Симоне застонал и, обхватив руками голову, уселся в углу.

* * *

— С ума сойти, какая женщина! — заявил Симоне, отряхивая мел с рукавов. — Вы заметили, как она на меня смотрела?

— Никак она на вас не смотрела, — возразил инспектор.

Они шли по коридору из бильярдной, направляясь по своим номерам. Оба были возбуждены игрой и перепачканы мелом.

— Что вы понимаете! Вы старый полицейский тюфяк! Вы приходите с работы и идете гулять с собачкой... У вас есть собачка?

— У меня есть собачка. Но госпожа Мозес смотрела все-таки на меня и говорила, что я герой.

— Э, нет, — сказал Симоне. — Так у нас не пойдет! Не хватало мне еще конкурента в виде престарелого полицейского инспектора! Учтите, я четыре года без отпуска, и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий!..

Навстречу им из пустого номера вышла пухленькая Кайса, держа в охапке кучу простынь и наволочек. Симоне замер.

— Пардон! — воскликнул он и, не говоря больше ни слова, устремился вперед. Кайса взвизгнула не без приятности и скрылась в номере. Симоне исчез там же, и через секунду оттуда донесся новый взвизг и раскат леденящего душу хохота. Инспектор усмехнулся и, вытирая испачканные мелом руки, вошел в свой номер.

В номере было нехорошо.

Кресло опрокинуто. Письменный стол залит уже застывшим клеем — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. На листке корявыми печатными буквами было написано: «Инспектора Глебски извещают, что в отеле под именем Хинкус находится опасный гангстер, маньяк и убийца, известный в преступных кругах под кличкой Филлин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Примите меры».

Не отрывая глаз от листка, инспектор вытащил сигарету, закурил, потом подошел к окну. Тень отеля синела на снегу. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и убийца господин Хинкус. Он был не один. Кто-то опять стоял рядом, в нескольких шагах от него.

* * *

К обеду в столовой собрались все, кроме Хинкуса. Столовая была большая, посредине стоял огромный овальный стол персон на двадцать. Роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Было весело. Симоне рассказывал анекдоты. Олаф и мадам Мозес их не понимали.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — говорил Симоне. — Останавливается он в гостинице и велит позвать хозяина... — Тут он замолчал и огляделся. — Впрочем, пардон... — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам... — он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества... — Он посмотрел на чадо. — Э-э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказала чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам» — этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симоне и разразился хохотом.

— Делится пополам? — добродушно улыбаясь, осведомился Олаф.

— НЕ делится, — сердито поправило чадо.

— Не делится? — удивился Олаф. — А что именно не делится?

Чадо открыло было рот, но господин Мозес сделал неумолимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого чадо тут же сочно откусило.

— Не делится пополам, — очаровательно улыбаясь, объяснила госпожа Мозес. — Как вы не понимаете, Олаф! Это — из алгебры. Ах, алгебра! Алгебра — это царица наук!..

Симоне зарычал, схватил свою тарелку и пересел к инспектору. Тут в столовой объявилась Кайса и принялась тарыхтеть, обращаясь к хозяину:

— Он не желает идти. Он говорит: раз не все собрались, говорит, так и он не пойдет. А когда все соберутся, говорит, тогда и он спустится. И две бутылки у него там пустые...

— Так походи и скажи, что все уже давным-давно собрались, — приказал хозяин.

— Я так и сказала, что все собрались, что кончают уже, а он мне не верит...

Инспектор встал.

— Я его приведу, — сказал он.

Хозяин всполошился.

— Ни в коем случае, — вскричал он. — Кайса, быстро!

— Ничего, ничего, — сказал инспектор, направляясь к двери. — Я сейчас.

Выходя из столовой, он услышал, как Симоне провозгласил: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом.

Инспектор поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками вдоль стен. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была закрыта. Инспектор осторожно потянул за ручку, раздался пронзительный скрип несмазанных петель. Инспектор открыл дверь и увидел Хинкуса. Лицо Хинкуса было ужасно — белое в свете низкого солнца, застывшее, с перекошенным ртом, с выкатившимися глазами. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазуху, должно быть отогревал.

— Это я, Хинкус, — осторожно сказал инспектор. — Что вы так испугались?

Хинкус сделал судорожное глотательное движение, потом сказал:

— Я тут задремал... Сон какой-то поганый...

Инспектор украдкой огляделся... Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. Вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка. В конце этой тропинки и сидел в шезлонге Хинкус, закутанный в шубу. Отсюда, с крыши, вся долина была как на ладони — тихая и синяя, без теней.

— Пойдемте обедать, — сказал инспектор. — Вас ждут.

— Ждут... — сказал Хинкус. — А чего меня ждать? Начинали бы.

Инспектор выдохнул клуб пара, поежился и сунул руки в карманы.

— Туберкулез у меня, — с тоской объяснил Хинкус и покашлял. — Мне свежий воздух нужен. Все врачи говорят. И мясо черномысой курицы...

— Зачем же вы так пьете, если у вас туберкулез...

Хинкус не ответил. В наступившей тишине инспектор услышал, как кто-то поднимается по железной чердачной лестнице. Протяжно заскрипела дверь тамбура.

— Видите еще кто-то... — начал инспектор и осекся. Лицо Хинкуса снова стало похоже на уродливую маску — рот перекошился, белое гипсовое лицо покрылось крупными каплями пота. Дверь павильончика отворилась — и на пороге появился хозяин.

— Господа! — провозгласил он жизнерадостно. — Что такое прекрасная, но холодная погода по сравнению с прекрасной и горячей пуляркой?..

Инспектор натянуто улыбнулся. Он все смотрел на Хинкуса. Хинкус совсем ушел в воротник своей шубы, только глаза поблескивали, как у тарантула в норке.

— Господин Хинкус, — продолжал хозяин, — пулярка изнемогает в собственном соку.

— Ну ладно, — сказал вдруг Хинкус неожиданно жестко. — Поговорили, и хватит! Деньги мои — как хочу, так и трачу. Обедать не буду. Понятно? Всё.

— Но, господин Хинкус... — начал несколько ошеломленный хозяин.

— Все! — повторил Хинкус.

Тогда инспектор взял хозяина под руку и повернул к двери.

— Пойдемте, Алек, — сказал он негромко. — Пойдемте...

Инспектор, устроившись у окошка со стаканом и сигаретой, рассеянно наблюдал, как хозяин, грузно ступая, ходил по залу, выключал лишний свет, переставлял в буфете бутылки. Лель, опустив голову, ходил за ним по пятам.

Инспектор поглядел в окно. Тень закутанного в шубу Хинкуса четко рисовалась на освещенном лунной снегу. Инспектор поднялся и подошел к хозяину.

— Алек, — сказал он. — У меня к вам просьба. Проводите меня к номеру Хинкуса.

Хозяин удивленно поднял брови.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом хозяин поставил бутылку, с которой стирал пыль, и, не говоря ни слова, пошел из столовой. Они вышли в коридор и повернули направо. Инспектор успел заметить, что в конце коридора стоят, держась за руки, чадо и Олаф. Хозяин остановился перед дверью с номером одиннадцать и сказал: «Здесь». Инспектор повернул ручку и вошел в номер.

Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста. Посредине комнаты стояли два закрытых баула. Инспектор, присев рядом с ними на корточки, достал пилочку для ногтей.

— Вы будете свидетелем, Алек,— сказал он и открыл баул.

Баул оказался набит каким-то рваным тряпьем, старыми газетами и мятыми журналами. Хозяин тихонько свистнул.

— Что это? — сказал он. — Что это значит?

— Это называется «фальшивый багаж», — объяснил инспектор.

Инспектор открыл второй баул. Здесь тоже был фальшивый багаж, только поверх тряпья и мятой бумаги здесь лежал маленький дамский браунинг. Инспектор и хозяин переглянулись. Потом инспектор взял браунинг, вынул обойму и выщелкал патроны в ладонь.

— Значит, вызов был не ложный, — сказал хозяин медленно. — Ну и что все это значит?

Инспектор не успел ответить. Пол в номере дрогнул, жалобно звякнули оконные стекла, и послышался отдаленный мощный грохот.

— Ого! — сказал хозяин, поднимая голову. — А ведь это обвал. И недалеко...

Грохот затих, и тут где-то в коридоре хлопнула дверь.

В каминной жарко полыхал уголь, кресла были старинные, уютные, ярко светила большая люстра, в трубе посвистывало.

Инспектор стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на тень Хинкуса, скрючившегося на крыше. Потом он огляделся, взялся за ближайшее кресло и поставил его так, что-

бы можно было одновременно следить и за тенью Хинкуса, и за отражающейся в большом зеркале тускло освещенной лестницей на крышу в конце полутемного коридора. Свет в каминной инспектор выключил, а сам сел в кресло и закурил.

Послышались шаги, вошел хозяин с кувшином горячего портвейна и двумя стаканами.

— Дело швах, Петер,— сказал он. — Связи с городом нет. Это значит, что обвалом засыпало дорогу и забило ущелье. Нас откопают не раньше чем через неделю.

— Рация у вас есть? — спросил инспектор, отхлебывая из стакана.

— Нет. Но вы не беспокойтесь. Все остальное есть в избытке. А если мы захотим разнообразить меню, то съедим этого Хинкуса... Кстати, вы знаете, что нынче утром Хинкус отправил телеграмму?

Инспектор вопросительно взглянул на него.

— «Жду. Поторопитесь...» Или что-то в этом роде. Я слышал, как он диктовал ее по телефону.

Инспектор хмыкнул.

— Между прочим, Петер,— осторожно сказал хозяин,— почему бы нам не арестовать его сейчас? Все спят... Мне бы не хотелось волновать гостей...

Инспектор отхлебнул из стакана.

— Я не уверен, что его вообще надо арестовать,— сказал он. — Я лучше здесь посижу и посмотрю, кто это так хочет выдать Хинкуса за гангстера. Сдается мне, что этот Хинкус — не охотник, а дичь. Охотник, Алек, не станет возить с собой дамский пистолетик. У него будет «люгер» 0,45 с приставным прикладом... — Он замолчал.

Около чердачной лестницы появилась темная тоненькая фигурка — постояла в кругу желтого света, словно в нерешительности, а потом неуверенными шагами двинулась по коридору, ведя рукою по стене. Это было чадо. Войдя в каминную, оно, не говоря ни слова, подошло к огню, присело на корточки рядом с Лелем и принялось гладить его по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в его огромных черных очках. Чадо было очень одинокое, всеми забытое и маленькое.

— Холодно что-то...— сказала оно жалобно.— И выпить нечего...

— Ну почему же нечего, Брюн,— радушно сказал хозяин, берясь за кувшин.— Хотите горячего портвейна?

— Да. И хочу домой.

— Брюн,— сказал инспектор,— дитя мое, снимите ваши ужасные очки.

— Зачем? — спросило чадо.

— Мне бы очень хотелось, наконец, понять: мальчик вы или девочка?

— Идите вы знаете куда... Лучше бы рассказали что-нибудь.

— Расскажите, Алек,— сказал инспектор со вздохом,— что-нибудь таинственное.

Хозяин задумчиво посмотрел стакан на просвет.

— Таинственное...— повторил он.— Что ж, слушайте. В сырых и жутких джунглях Центральной Африки существует странное и страшное поверье...

В холле часы начали бить одиннадцать.

К полуночи хозяин с инспектором прикончили кувшин горячего портвейна. Все было тихо, Хинкус по-прежнему торчал на крыше. Чадо заснуло в кресле, и было решено его не трогать — пусть спит.

— Вы ничего не поняли, Петер,— тихонько объяснял хозяин.— Зомби — это не мертвец. Но зомби — это и не живой человек. Понятно?

— Нет.

— Вы берете мертвеца и оживляете его. Он ходит, ест, пьет и выполняет все ваши приказания.

— Пьет?

— Вы напрасно смеетесь над этим, Петер. Это не смешно. Это страшно. И не приведи господь вам встретиться с зомби...

— Но ведь это в Африке. У нас они не водятся...

— Как знать, Петер, как знать! Я мог бы кое-что рассказать вам о таких вещах...

Тут Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понимаю,— сказал он строго.

Лель гавкнул снова и ворча бросился по лестнице в холл.

— Ага,— сказал хозяин, поднимаясь.— Кто-то пожаловал.

Инспектор тоже поднялся, и они последовали за Лелем.

Собака стояла перед парадной дверью и вела себя как-то странно. Она была явно испугана — хвост поджат, голова опущена, шерсть на загривке поднялась дыбом. Из-за двери доносились непонятные скребущие и скулящие звуки.

Хозяин с инспектором переглянулись, потом хозяин протянул руку и отодвинул засов. Дверь открылась, и к их ногам сползло облепленное снегом тело. Хозяин и инспектор бросились к нему, втащили его в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел. Одет он был явно не по сезону: кургузый пиджачок, брюки дудочками, модельные туфли.

— Слушайте,— сказал инспектор.— Он попал под обвал...

— В душевую! — скомандовал хозяин.— Берите его под мышки...

В душевой они положили незнакомца на топчан, и хозяин торопливо принялся его раздевать.

— А ведь это, наверное, приятель Хинкуса,— сказал инспектор.— Ну, тот, которому он давал телеграмму...

— Возможно,— отрывисто сказал хозяин.

— Пойду приведу Хинкуса,— сказал инспектор. Он выскочил из душевой, взбежал на второй этаж и бросился к чердачной лестнице.

Хинкус сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в воротник, сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул инспектор.

Хинкус не шевелился, и тогда инспектор подскочил к нему, схватил за плечо, потряс. Хинкус вдруг как-то странно осел и повалился набок.

— Хинкус! — растерянно воскликнул инспектор, непроизвольно подхватывая его. Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, упала меховая шапка — Хинкуса не было, было снежное чучело, облаченное в шубу Хинкуса.

Инспектор схватил горсть снега, яростно растер лицо и огляделся. На крыше было много следов — то ли здесь боролись,

то ли собирали снег для чучела. В двух метрах от тропинки из снега торчало что-то черное. Инспектор наклонился, протянул руку и с усилием поднял тяжелый железный швеллер — обрезок рельса, странно скрученный, словно завязанный узлом. Неподалеку, припорошенная снегом, лежала гряда таких швеллеров, только прямых. Инспектор оглядел долину. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, долина была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север, теряясь в голубой дымке.

Инспектор бросил гнущее железо, повернулся и медленно направился вниз. В душевой уже никого не было. Посредине холла стояла с обалделым видом сонная Кайса в ночной рубашке, держа охалку мокрой, смятой одежды незнакомца. Инспектор отобрал у нее одежду и вывернул карманы. В карманах не оказалось ничего: ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

Незнакомец уже лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим и приговаривал:

— Надо, сударь, надо... Пропотеть надо хорошенько.

Один глаз у незнакомца был болезненно сощурен, другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе.

— Вы один? — спросил его инспектор. — Кто-нибудь еще остался в машине?.. Или вы ехали один?..

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка.

— Вы — друг Хинкуса? — раздельно спросил инспектор.

И тут незнакомец заговорил.

— Олаф... — сказал он без выражения. — Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите...

— Ага... — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол.

Хозяин торопливо вышел, а инспектор сел на его место. Он ничего не понимал.

— Кто-нибудь еще пострадал? — спросил он снова.

— Один... — простонал незнакомец. — Где Олаф Андварафорс?..

— Здесь, здесь, — сказал инспектор. — Сейчас придет.

Незнакомец закрыл глаза и затих. Инспектор откинулся на спинку стула.

Вернулся хозяин. Брови у него были высоко подняты, губы поджаты, в руке он держал связку ключей.

— Странное дело, Петер, — сказал он негромко. — Дверь заперта изнутри, Олаф не отвечает. Пойдем-ка вместе.

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?..

— Сейчас, сейчас... — сказал ему инспектор, поднимаясь. — Вот что, Алек. Позовите Кайсу — пусть сидит около этого парня, пока мы не вернемся...

Они вышли в коридор.

— Ага, — сказал хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как!.. Лель, ко мне!.. Сиди здесь. Сидеть! Никого не впускать, никого не выпускать!

Они поднялись по лестнице, остановились перед дверью Олафа, и инспектор отобрал у хозяина связку ключей. Пока он возился, вытаскивая ключ из скважины, в коридоре появился господин Мозес.

— Что происходит, господа? — благодушно осведомился он, затягивая пояс халата. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин Мозес, — сказал хозяин. — Но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес Мозес с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Инспектор наконец расчистил путь для своего ключа, отпер и распахнул дверь. В прихожей на полу лежал человек. Света в номере не было, и видны были только его огромные подошвы.

Инспектор наклонился над ним. Это был Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

Инспектор зажег свет. Олаф лежал ничком, руки его были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, лежавшего у стены. Кресло, обычно стоящее в таких номерах у стола, было выдвинуто на середину комнаты. Окно настежь распахнуто, покрывало на кровати смято.

— Боже мой... — прошептал Мозес за спиной инспектора.

— Что с ним? — спросил хозяин.

— Он мертв, — сказал инспектор, — насколько я понимаю, задушен... Оставайтесь в коридоре, — сказал он через плечо, перешагнув через тело, обошел комнату и выглянул в окно.

На карнизах лежал нетронутый снег. Внизу под окном на снегу тоже не было никаких следов.

— Вот что, Алек, принесите мне клей и несколько листов бумаги... Подождите. Это его чемодан?

— Да, — сказал хозяин.

— Был у него еще какой-нибудь багаж?

— Нет.

— Хорошо. Тащите бумагу и клей.

Инспектор взял чемодан, поставил его на стол и открыл. В чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры.

Инспектор тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал его с клеем и бумагой. Инспектор запер дверь, опечатав ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Больше ключей нет? — спросил он у хозяина и спрятал ключи в карман. — У меня к вам просьба, Алек. Осмотрите гараж — все ли машины на месте. Если увидите Хинкуса... Впрочем, вряд ли вы его увидите. И никому ни слова, поняли? Особенно этому... потерпевшему.

Хозяин кивнул и пошел вниз. Инспектор направился было к себе, но тут заметил, как в конце коридора была приоткрыта и бесшумно захлопнулась дверь номера Симоне. Инспектор немедленно двинулся туда.

Он вошел не постучавшись. Через открытую дверь спальни было видно, как Симоне, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки.

— Не трудитесь, Симоне, — произнес инспектор угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симоне обессиленно опустился на кровать. Инспектор вошел в спальню, аккуратно поставил чемодан и остановился пе-

ред Симоне, засунув руки в карманы. Некоторое время они молчали, потом Симоне не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии моего адвоката, — заявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симоне, — сказал инспектор с отвращением. — А еще физик... Какие здесь, в задницу, адвокаты?

Симоне вдруг схватил его за полу пиджака и, заглядывая ему в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте что хотите, Петер... Но я вам клянусь... я клянусь вам, что я не убивал ее!

Теперь наступила очередь присесть инспектору. Он нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами: зачем это мне? — страстно продолжал Симоне. — Ведь должны быть мотивы... никто не убивает просто так... Клянусь вам, она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!..

Инспектор закрыл глаза.

— Разве я похож на убийцу?.. — горячо бормотал Симоне.

— Стоп, — сказал инспектор. — Заткнитесь на минуту. Подумайте и расскажите все по порядку.

— Пожалуйста! — с готовностью сказал Симоне. — Дело было так... Она и раньше давала мне понять, только я не решался... А сегодня решил: почему бы и нет? У Моисея света не было, у нее тоже. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул — она не ответила. Тогда я, сами понимаете, сел рядом и, сами понимаете, ее обнял... Бр-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. Лед! Окаменевшая, как дерево! Не помню, как я оттуда вылетел... По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер...

— Надевайте брюки, — сказал инспектор с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил Симоне с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул инспектор. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал Симоне. — Сюю минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Они спустились вниз и остановились у номера госпожи Моисе. Инспектор решительно толкнул дверь и остолбенел. В комнате

горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала очаровательная Ольга и читала книгу. Увидев инспектора, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за спиной инспектора издал странный звук — что-то вроде: «А-ап!».

— Прощу прощения... — еле ворочая языком, проговорил инспектор и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем он повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь!.. — одними губами произнес Симоне. Он был на грани обморока.

В номере инспектора Симоне повалился в кресло и принялся стучать себе по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь... Ура!

Потом он положил руки на край стола, уставился на инспектора круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва! Я клянусь вам, Петер!

— Пили после ужина? — холодно спросил инспектор.

— Да, но...

— Сколько?

— Слушайте, Петер, я был здорово навеселе, но...

— Хватит об этом. И хватит пить. Мне не нужны пьяные свидетели.

Некоторое время Симоне молча глядел на инспектора.

— Постойте-ка... — сказал он наконец. — Но ведь она жива! Зачем вам свидетели?

— Убит Олаф, — сказал инспектор.

Симоне отшатнулся.

— Олаф? — пробормотал он ошеломленно. — Как так? Я слышал, как вы только что с ним разговаривали...

— Я разговаривал не с ним. Олаф мертв.

Симоне вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то... — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Кто убил?

— По-видимому, Хинкус.

— Хинкус? А, это который все время на крыше... Вы его арестовали?

— Нет, он сбежал, — сказал инспектор. — Оставим это. У меня к вам вопрос как к специалисту. — Он поднял и раскрыл чемодан Олафа. — Что это, по-вашему?

Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно положил обратно.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это либо военное, либо космическое... Даже догадаться не могу. Где вы это взяли?

— У Олафа.

— Подумать только, — пробормотал Симоне. — У такой дубины... Впрочем, пардон... Я, конечно, могу понажимать клавиши и покрутить ручки, но предупреждаю — это весьма нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал инспектор, закрывая чемодан. — Идите к себе и ложитесь спать.

Симоне хотел что-то сказать, но только махнул рукой и направился к двери. В дверях он столкнулся с хозяином, извинился и вышел. Хозяин подошел к столу и поставил перед инспектором стакан с горячим кофе и сэндвичи.

— Машины на месте, — объявил он. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде нет. На крыше валяется его шуба...

— Знаю, — сказал инспектор. — Что же он — пешком ушел, что ли?

— Из долины ему все равно не выбраться...

— Да, — сказал инспектор. — Ничего не понимаю... Знаете, Алек, мне надо подумать...

Хозяин молча кивнул и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Если не секрет, — сказал он, — что это вы с Симоне врывались к госпоже Мозес?

Инспектор сморщился.

— А, чушь! — сказал он. — Физику спьяну почудилась какая-то ерунда...

— Ах, ерунда?.. — неопределенным тоном произнес хозяин и вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Некоторое время инспектор неподвижно сидел, прихлебывая кофе и глядя перед собой. Потом вдруг вздрогнул и резко повернул голову. В стену ударили чем-то тяжелым — раз и еще раз. Вздрогнула и чуть покосилась картина, изображающая утро в горах. Инспектор быстро выскочил в коридор, распахнул дверь в соседний номер и включил свет. Номер был пуст, стук прекратился, но под столом кто-то возился и сопел. Инспектор отшвырнул тяжелое кресло и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревками и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и тарачил из сумрака слезящиеся мученические глаза.

Инспектор выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил он.

В ответ Хинкус принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, и, пока он кашлял, инспектор заглянул в туалетную, взял бритву и разрезал на Хинкусе веревки. Бормоча ругательства, Хинкус принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Кто это вас? — спросил инспектор.

— Почем я знаю! — буркнул Хинкус. — Схватили сзади... Я и охнуть не успел... — Он поднял левую руку и отогнул рукав. — А, черт! Часы раздавил, сволочь... Сколько сейчас, инспектор?

— Час ночи.

— Час ночи... — повторил Хинкус. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он, — надо выпить.

Он поднялся. Легким толчком инспектор усадил его снова.

— Успеется, — сказал он.

— А я хочу выпить! — сказал Хинкус, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю: успеется! — сказал инспектор, пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул Хинкус.

— Тихо! — крикнул инспектор. — Произошло убийство. Вы на подозрении, Хинкус! Поэтому отвечайте на вопросы!

— Убийство?.. — Хинкус приоткрыл рот. — А я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили...

— Кто? — быстро спросил инспектор.

Хинкус молча смотрел на него, потом его страшно передернуло, прямо-таки перекосило на сторону.

— Кто вас связал? Кого вы подозреваете?

И тут Хинкус заплакал. Сначала тихонько, весь содрогаясь, кусая пальцы, потом все громче, навзрыд, истерически взвизгивая и подскуливая. Инспектор, сунув руки в карманы, ошеломленно глядел на него, потом сказал:

— Ну, хватит. Пойдемте.

Он привел Хинкуса в свой номер, взял с подоконника бутылку и отдал ему. Хинкус жадно схватил спиртное и надолго присосался к горлышку.

— Господи... — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

— Вы можете хотя бы примерно сказать, когда вас схватили? — спросил инспектор.

— Что-то около девяти, — сказал Хинкус, всхлипывая.

— Дайте часы.

Хинкус послушно отстегнул часы, прижимая бутылку к груди. Часы были раздавлены, стрелки показывали восемь сорок три.

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал инспектор. — Тот, кто вас схватил... Ведь вы видели его и раньше? Днем? На крыше?

Хинкус только дико глянул на него и снова присосался к бутылке. Лицо его перекопилось, по серым щекам снова поползли слезы.

Хозяин расположился в холле за журнальным столиком. Перед ним лежали какие-то счета, он сосредоточенно нажимал клавиши калькулятора. Рядом, прислоненный к стене, стоял тяжелый многозарядный винчестер.

— Алек, — сказал инспектор. — Дайте ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда эту штуку... — Он показал хозяину чемодан.

— Пойдемте, — сказал хозяин, поднимаясь.

* * *

Чадо, свернувшись клубочком, безмятежно посапывало в глубоком кресле перед полупогасшим камином. Инспектор окликнул его, потом потряс за плечо. Чадо не желало просыпаться, оно неразборчиво чертыхалось, жалобно мычало и отчаянно отлягивалось. В конце концов инспектор усадил его прямо и трянул так, что оно проснулось.

— Какого дьявола? — спросило оно сонным баском.

— Снимите очки! — приказал инспектор.

— Еще чего!..

Инспектор протянул руку и снял очки сам. Конечно, это была девушка — и премилая, хотя глаза у нее и припухли со сна.

— Чего вы хамите! — сказала она, закрываясь. — Отдайте! Фараон чертов!

— А ну! — свирепо сказал инспектор. — Быстро и немедленно говорите: когда и где вы расстались с Олафом? Живо!

— С каким еще Олафом? Отдайте очки!

— Олаф убит, и вы последняя, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, ну!

Брюн отшатнулась и, словно защищаясь, вытянула руки ладонями вперед.

— Неправда!.. Не может быть!.. — прошептала она.

— После ужина, — сказал инспектор спокойно, — вы вышли с ним из столовой и направились — куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

— А потом... мы вышли в коридор... я плохо помню... память у меня паршивая... Он что-то сказал... а я... это...

Инспектор покачал головой:

— Попробуйте еще раз.

— Ну... ну, дело было так. Мы вышли в коридор, и он принялся меня хватать. Пришлось дать ему по морде... по лицу. Ну, он обиделся, обругал меня и ушел...

— Где это было?

— В коридоре... у столовой...

— Хватит врать, скверная девчонка! — гаркнул инспектор. — Я видел вас у дверей Олафа! Если вы будете лгать и изворачиваться, я надену на вас наручники, — инспектор сунул руку в карман, — и отправлю в тюрьму! Дело идет об убийстве. Это вы понимаете?!

Брюн молчала. Она сидела съежившись, забившись в уголок кресла. Потом опустила голову и закрыла лицо руками.

— Он мне нравился, — прошептала она. — Он был такой добрый... сильный. Глупый... Мы пошли к нему в номер... Мне очень хотелось, чтобы он меня поцеловал... Мы просто болтали... Он был очень смешной, ничего не понимал... А потом я уже собиралась уходить, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте, лавина!» Он вдруг схватился за голову, как будто что-то вспомнил... и бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выбросил в коридор. Я чуть не полетела... И разозлилась ужасно... Все настроение пропало... Вот и все.

— Так, — сказал инспектор. — Он кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

— Нет, я не слышала.

— А в коридоре вы кого-нибудь видели?

— Никого. А еще до того, как мы вошли в номер, многих видела. Симоне видела, вас с хозяином... Еще этого видела... маленького такого... сутулого... Хинкуса!

— Стоп! — сказал инспектор. — Когда вы вышли из столовой?

— Часов в девять... Да, я точно помню — часы пробили девять, и я сказала Олафу: пошли...

— И после этого вы видели Хинкуса? Вы не ошибаетесь?

— Да нет... Правда, он сразу свернул на лестничную площадку... Но это был он — маленький, в этой своей дурацкой шубе до пят... А что такое? — Брюн перешла на шепот. — Это он убил? Хинкус, да?

Инспектор отпер дверь номера Хинкуса и остановился на пороге. Везде горел свет — в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся поломанный стул, а Хинкус сжимал в кулаке одну из ножек.

— Это вы... — сказал Хинкус хрипло и выпрямился.

— Вот что, — сказал инспектор, надвигаясь на него. — Вы скажите, что вас схватили в восемь сорок, но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице Хинкуса промелькнула растерянность.

— Меня?.. После девяти?..

— Да. Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Хинкус вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору?.. — Он снова хихикнул. И еще раз. И еще. — Я? Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор, — проговорил он, захлебываясь. — Вот то-то и оно! Меня видели в коридоре... И я тоже видел меня! И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня! Понимаете? Я — меня!..

В котельной инспектор спросил, указывая на большую железную дверь:

— А здесь что?

— Склад солярки.

Инспектор, поднатужившись, откатил дверь.

— Включите-ка свет, — попросил он.

— Лампочка перегорела. Все не соберусь ввинтить новую...

— А, ч-черт... Дайте фонарик.

— Пожалуйста. — Хозяин дал ему фонарик. — Но двойника Хинкуса там нет.

Они вошли в темное помещение. Луч фонарика скользнул по рядам грязных железных бочек, по затоптанному полу, по штабелям каких-то ящиков.

— Вы заблуждаетесь в самой основе, Петер, — продолжал хозяин. — Вы решили, что в отеле скрывается какой-то незнакомый нам человек. Вы идете по самому естественному пути, именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно.

— Что вы предлагаете? — упрямо спросил инспектор.

— Я ничего не предлагаю, Петер. Пока. Я все жду, когда вы созреете.

— Я уже перезрел. Я скоро упаду.

Хозяин хмыкнул и ничего не сказал. Некоторое время они молчали. Инспектор, чертыхаясь, освобождал полу пиджака.

— Хотите, для начала я расскажу вам, что именно почудилось нашему любвеобильному физику? — спросил хозяин.

— Ну, попробуйте.

— Наш любвеобильный физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен...

Инспектор резко обернулся и осветил фонариком лицо хозяина.

— Куклу, Петер, — сказал хозяин, щурясь от яркого света. — Мертвую, холодную куклу...

В холле хозяин поставил перед инспектором большую, исходящую паром кружку с кофе и сам опустился в кресло напротив.

— ...Если использовать терминологию современной науки, — неторопливо говорил он, — то зомби — мертвый человек, имеющий внешность живого, — представляет собою очень точный биологический механизм...

— Хватит, Алек, — с бешенством сказал инспектор. — К черту теорию. Я вас спрашиваю: откуда вы знаете, что увидел Симоне в номере госпожи Мозес? Вы что — тоже залезали к ней в постель?!

Хозяин смотрел на него грустными глазами.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Вы еще не созрели. Ну, хорошо... — Он вздохнул. — Пусть будут одни факты. Шесть дней тому назад я отправился в номер к господину Мозесу, чтобы вернуть ему паспорта. Я был несколько рассеян и, постучав, отворил дверь, не дождавшись разрешения. В кресле посредине комнаты я увидел то, что при желании можно было бы назвать госпожою Мозес. Это была большая в натуральную величину кукла, похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. Это длилось считанные секунды. Сзади ко мне подошел господин Мозес и твердой рукой оттянул от двери...

— Кукла... — сказал инспектор задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил его хозяин.

— Кукла... — повторил инспектор, не обращая на него внимания. — А какой у Мозеса багаж?

— Несколько обычных чемоданов и гигантский, окованный железом дорожный сундук.

Инспектор разочарованно вздохнул.

— Я знал миллионера, который везде таскал с собой коллекцию ночных горшков. А Мозесу, как видно, нравится возить с собою куклу своей жены. — Инспектор ухмыльнулся. — В конце концов, такой способ отваживать ухажеров ничем не хуже других. Даже еще смешнее. Ей-богу, славная шутка!..

— Ну вот вы все и объяснили, — тихонько проговорил хозяин. Он вдруг перегнулся через ручку кресла и принялся шарить между креслом и стеной. — Я вам уже рассказывал, Петер, что зомби обладает нечеловеческой силой... — Он не без труда вытащил и положил прямо на счета перед инспектором скрученный, завязанный узлом, еще влажный от растаявшего снега швеллер.

— Ну? — сказал инспектор без особого интереса. — Я уже видел эту штуку. На крыше.

— И, вероятно, решили, что Алек Сневар на досуге занимается абстрактной скульптурой. Так вот, Алек Сневар искусством не занимается. Алек Сневар под присягой готов показать, что еще вчера это был обыкновенный прямой швеллер.

Инспектор помолчал, глядя на хозяина исподлобья, потом сказал негромко:

— Вот смотрю я на вас, Алек, и никак не могу понять: почему это вы так стараетесь запутать следствие? Зачем это вам? Ведь у вас стопроцентное алиби...

Хозяин вздернул голову, но ответить не успел — в коридоре глухо загавкал Лель.

— Так, — сказал хозяин, поднимаясь. — Мы еще продолжим этот разговор, а сейчас пойдёмте — наш бедняга проснулся и зовет маму.

Незнакомец сидел на кровати, до пояса закрывшись одеялом. Чужая ночная рубашка была ему явно велика — ворот висел хомутом, обнажая острые ключицы. На лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, откинувшись на подушку, но, увидев инспектора, живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса инспектор не ожидал. Он поискал глазами стул, придвинул его к кровати, уселся и только тогда ответил:

— Нет, я инспектор полиции Петер Глебски.

— Да? — сказал незнакомец удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

— Прошу прощения, — сказал инспектор. — Прежде всего мне хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал незнакомец.

— А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

— Да.

— Хорошо. Кто вы?

Незнакомец уставился на него немигающими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Луарвик, — сказал он. — Я — Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик.

— Вы иностранец? — спросил инспектор.

— Очень. В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Дверь за спиной инспектора скрипнула. Он обернулся. На пороге, добродушно улыбаясь, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — резко сказал инспектор. Мозес, продолжая улыбаться, внимательно рассматривал незнакомца. Инспектор вскочил и пошел на него грудью. — Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес... Прошу...

— Да-да... — проговорил Мозес, вытесняемый в коридор. — Конечно... Извольте... — Он все глядел на незнакомца.

Инспектор снова закрыл дверь и повернулся к Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил тот.

— Нет, — сказал инспектор. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит... — повторил Луарвик. В голосе его не было ни удивления, ни страха, ни горя. — Я хочу его видеть.

— Зачем?

— Я хочу надеть одежду, — заявил Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать?.. Узнать?

— Как вы можете его узнать, — сказал инспектор, — если не знаете его в лицо?

— Какое лицо?! Зачем лицо? — удивился Луарвик. — Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс. Что это есть другой.

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил инспектор.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил Луарвик.

Несколько секунд инспектор молча смотрел на него, потом встал и, сказав: «Одевайтесь», подошел к окну. Он смотрел на зубчатые скалы, уже озаренные розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у него раздавалось какое-то шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом. Потом Луарвик сказал: «Я одел».

Инспектор обернулся и удивился. Он очень удивился, но тут же подошел к Луарвику, поправил и застегнул ему воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы. Пока инспектор все это делал, Луарвик покорно стоял, растопырив руки. Потом он с сомнением посмотрел на шлепанцы и проговорил:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли, — сказал инспектор. — Обувайте это.

Можно было подумать, что Луарвик никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Поэтому, пока они шли через холл и поднимались по лестнице, инспектор на всякий случай придерживал его за локоть.

Хозяин проводил их задумчивым взглядом. Он устроился в холле за журнальным столиком. Тяжелый многозарядный винчестер стоял рядом, прислоненный к стене.

Перед дверью номера Олафа они остановились. Инспектор внимательно оглядел наклейки, достал ключ и распахнул дверь. Затем он посторонился, пропуская Луарвика вперед. Луарвик остановился над трупом и, закинув руку за спину, наклонился над ним. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — его лицо было абсолютно равнодушно.

— Я удивлен, — сказал он, наконец, без всякого выражения. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил инспектор.

Луарвик, не распрямляясь, повернул голову и посмотрел на инспектора снизу вверх. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на инспектора и молчал. Потом он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше.

— Где вы его видели раньше?

— Там. — Луарвик, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное. — Он разогнулся и заковылял по комнате, странно вертя головой. Инспектор весь подобрался, не спуская с него глаз.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил инспектор вкрадчиво.

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал Луарвик. — Где?

— Вы ищете чемодан? Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня.

— Это хорошо, — сказал Луарвик. — Я хочу его иметь здесь. Принесите.

— Ладно, — сказал инспектор. — Но сначала вы ответите на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным удивлением спросил Луарвик. — Зачем снова вопросы?

— Вы получите чемодан только в том случае, — терпеливо объяснил инспектор, — если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю.

— Если чемодан ваш, — сказал инспектор, — если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

И тут Луарвик вдруг как-то обмяк, словно из него выпустили воздух.

— Не надо,— сказал он.— Не хочу. Хочу лежать. Где можно? Он часто и тяжело дышал.

Ослепительное солнце заливало долину, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня, инспектор попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, и встречный ветер развеивал его шарф, а где-то сзади таял и растворялся в кристально чистом воздухе проклятый отель, черный как гроб, мрачная развалина, населенная призраками и мертвецами, и только Лель, весело и яростно лая, мчался следом, то обгоняя, то скача рядом, и все норовил схватить за ногу, и лаял, лаял, весело, звонко, оглушительно, и наконец ему удалось схватить инспектора за штанину, и инспектор проснулся.

Лель облизывал ему уши и щеки, теребил штанину, толкался и легонько покусывал за руку. Инспектор с досадой отпихнул его и сел в кресле.

— Ты что мне спать не даешь!..— проговорил он и осекся.

На блестящей лакированной поверхности столика, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его, и пока инспектор смотрел, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Инспектор оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на инспектора. Из кухни доносился звон кастрюль и слышался негромкий басок хозяина.

— Это ты принес? — шепотом спросил инспектор Леля.

Лель продолжал смотреть на инспектора. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Инспектор облизнул пересохшие губы и взял пистолет в руки.

— Где ты это нашел, старик? — пробормотал он.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно,— сказал инспектор.— Подожди минутку.

Он еще раз огляделся и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, торопливо пошел к выходу.

За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскокал вдоль фасада. Инспектор схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом. Они обогнули гостиницу, и Лель устремился прочь и остановился метрах в тридцати. Инспектор подъехал к нему и огляделся. Он увидел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, борозды, которые оставил пес, прыгая через сугробы, и следы своих лыж позади. В остальном пелена снега вокруг была нетронута. В тридцати метрах возвышалась гладкая, без окон, стена отеля, и были отлично видны беседка на крыше, радиоантенна и раскрытый шезлонг Хинкуса.

— Что-нибудь новенькое, Петер? — спросил хозяин.

Они разговаривали в буфетной. Перед инспектором стояла тарелка с бутербродами. Инспектор кивнул, проглотил и сказал:

— Да, есть кое-что... Кстати, вы интересовались, Алек, что такое настоящее гангстерское оружие... полюбуйтесь.— Он вытащил из кармана и положил на стойку пистолет.

Хозяин оглядел пистолет, прищурившись, тихонько присвистнул.

— Между прочим,— продолжал инспектор,— вы слышали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Хозяин молчал, выпятив челюсть. Инспектор вынул обойму и выщелкал из нее несколько патронов. Хозяин взял один, повертел перед глазами и снова положил на место.

— Я читал об этом...— проговорил он.— Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам... (Инспектор хмыкнул.) Вурдалака не убьешь обычной пулей. И вервольфа... и жабью королеву... и зомби... Вы уж извините, Петер, но так пишут в книгах.

Инспектор пожал плечами и снова принялся за еду.

— При чем здесь «извините»...— проворчал он.— Понимаете, Алек, потусторонний мир — это все-таки ведомство церкви, а не полиции...

— Да нет, пожалуйста...— сказал хозяин.— Вы спросили, я ответил...— Он помолчал.— Вы узнали, чей это пистолет?

— Да есть тут у нас один охотник за зомби, — сказал инспектор. — Хинкус его фамилия. Дело в том, Алек...

Лель, лежавший у ног инспектора, вдруг грозно зарычал, вскочил и забился в углу под стол. Шерсть на нем встала дыбом. Инспектор замолчал и оглянулся.

В дверях, весь какой-то корявый и неестественный, стоял господин Луарвик Луарвик. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли и имели такой вид, словно их жевала корова.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— В чем дело? — спросил инспектор, собирая патроны и вставляя обойму в пистолет. Луарвик, по-птичьи наклонив голову, осматривал комнату. — Не ищите, чемодана здесь нет. Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Не надо вопросов, — сказал Луарвик. — Надо быстро убрать чемодан. Это не чемодан. Футляр. Внутри прибор. Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный — угроза для всех. Олаф дурак — он умер. Мы умные — мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

— Так, — сказал инспектор. — Хорошо. Я вам дам чемодан. Что вы станете с ним делать?

— Увезу подальше. Попробую разрядить.

— Прекрасно, — сказал инспектор. — Поехали. — Он шагнул к двери. — Ну? Что же вы стоите?

Луарвик молчал.

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. — Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. — Я даю деньги. Много денег. Вы даете мне чемодан. — Он положил пачку на стойку.

— Сколько здесь? — спросил инспектор.

— Мало? Тогда еще вот. — Луарвик полез в боковой карман, вытащил еще одну такую же пачку и бросил ее рядом с первой.

— Господи!.. — пробормотал хозяин ошеломленно.

— Сколько здесь денег? — повторил инспектор, повысив голос.

— Я не знаю, но все ваши, — ответил Луарвик.

— Ах, не знаете? А где вы их взяли? Вы явились сюда с пустыми карманами. Кто вам их дал? Мозес?

Луарвик молча попятился к двери.

— Вот что, Луарвик, — сказал инспектор. — Эти деньги я конфискую. Алек, вы свидетель: попытка подкупа.

Он взял обе пачки и, сложив в одну, взвесил на ладони.

— Вы взяли деньги? — оживился Луарвик. — А где чемодан?

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо. А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — сказал инспектор. — Так вот пойдите и спросите у Мозеса...

Луарвик пятясь вышел. Инспектор отдернул штору — за окном было утро.

— Здесь, наверное, тысяч сто, — сказал хозяин. — Неужели этот чемодан столько стоит?

— Наверное, гораздо больше, — сказал инспектор. — Мозес... Мозес или Хинкус... — Он помолчал. — Ну ладно. Сейчас я попробую запустить хорька в этот курятник...

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Инспектор выбрал себе место спиной к буфету, лицом — к входной двери, взял сэндвич и, нехотя жуя, стал ждать. Часы пробили девять, и вошел Симоне — в толстом пестром свитере, свежесвыбритый, но с помятым лицом.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он, усаживаясь. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой по дому... Нашли что-нибудь?

— Смотря что, — сказал инспектор мрачно.

— Ага... — сказал Симоне и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

Вошла Брюн, по-прежнему в очках, с прежним нахально задраным носом. Она буркнула неразборчиво: «Привет» — и села, нахохлившись, уткнувшись в тарелку.

— Коньяку бы сейчас выпить... — сказал Симоне с тоской. — Но ведь неприлично... Или ничего? А, инспектор?

Инспектор пожал плечами и отхлебнул кофе.

— Жаль, — сказал Симоне. — А то бы я выпил...

В коридоре послышались шаги, инспектор весь поджался, уставясь в дверь. Вошли Мозесы. Эти были как огурчики. То есть

это госпожа Мозес была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Но и старик был по-своему хорош: в петлице у него шевелилась астра, благородные кудри пушисто серебрились вокруг маковки, аристократический нос был устремлен вперед и вниз.

— Доброе утро, господа! — хрустально прошептала мадам.

Инспектор покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро! Так тепло, солнечно... Бедный Олаф — он не дождал до этого утра.

— Как ваши дела, дорогой инспектор? — осведомился господин Мозес, искательно глядя на инспектора.

— Следствие напало на след, — сообщил тот. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. Дверь открылась, и на пороге появился Луарвик Луарвик в сопровождении хозяина.

— Доброе утро, господа! — произнес хозяин. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью...

— Очень приятно, господин Луарвик, — сказал Мозес, покровительственно улыбаясь.

Хозяин усадил Луарвика за стол и вопросительно посмотрел на инспектора. Инспектор наклонил голову, и хозяин тотчас же вышел.

Луарвик оглядел стол, выбрал крупный лимон и стал его есть, откусывая вместе с кожурой. По узкому подбородку его потек на пиджак желтоватый сок. У инспектора свело скулы, и он снова стал смотреть на дверь. А в дверь уже осторожно протискивался Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Мозес равнодушно-приветливо покивал ему и вновь обратился к своему кофе. А вот Хинкус с лицом совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, затем на лице явственно проступила радость, он даже заулыбался совершенно по-детски, потом перехватил удивленный взгляд инспектора, потупился и направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, Хинкус? — спросил Симоне. Хинкус вскинул на него вдруг ставшие бешеными глаза.

— Я-то себя ничего чувствую, — сказал он, усаживаясь. — Вы кое у кого другого спросите, как он себя чувствует...

— То есть как это? — удивился Симоне.

— А вот так... — Хинкус бешено уставился на Мозеса. — Что — не выгорело дельце? Сорвалось, а, старина?

До крайности изумленный господин Мозес откинулся на спинку кресла.

— Это вы мне? — спросил он.

— Ладно, ладно, — пробормотал Хинкус, с остервенением запихивая салфетку себе за ворот. — Замнем для ясности... — Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся жевать.

— Господин Хинкус сегодня встал с левой ноги, — безмятежно улыбаясь, сказала госпожа Мозес. — Он, наверное, плохо спал, и ему приснилось что-нибудь нехорошее...

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел глаза. За столом воцарилось неловкое молчание. Неловко было всем, кроме Луарвика. Луарвик, казалось, ничего не видел и не слышал. Он ел второй лимон. Хозяин поспешно сказал:

— Господа, я понимаю — нервы напряжены. Но мы должны помнить, что следствие находится в надежных руках господина инспектора Глебски, а тот факт, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

— Одну минуточку, — сказал инспектор. — Я имею сообщить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Предупреждаю, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Снеvara и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь с часу на час. А потому я предлагаю упомянутым мерзавцам прекратить всякую преступную деятельность, дабы не ухудшать своего и без того безнадежного положения. Благодарю за внимание, господа.

— Ах, как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы пойдем!..

Инспектор не ответил. Разговор больше не возобновлялся, тихонько звякали ложечки в стаканах, все продолжали завтракать в молчании, не глядя друг на друга.

Первым поднялся Симоне. Он предложил руку госпоже Мозес, и они вместе покинули столовую. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. Потом ушла и Брюн. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться на долгий срок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. Инспектор неторопливо курил, разглядывая Хинкуса прищуренными от дыма глазами. Когда тот наконец поднялся тоже, инспектор сказал:

— Подождите-ка, Хинкус. Нам надо поговорить.

— Это насчет чего? — угрюмо осведомился Хинкус.

— Да насчет всего.

— Не о чем нам говорить. Ничего я по этому делу не знаю.

— А это мы сейчас увидим, — сказал инспектор. — Пойдемте-ка в бильярдную... Алек, будьте добры, спуститесь в холл и посидите там, как сидели ночью. Понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Инспектор распахнул дверь в бильярдную, залитую ярким утренним солнцем, и пропустил Хинкуса вперед. Хинкус вошел и остановился на жарких солнечных квадратах, сунув в карманы руки и жуя спичку. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким голоском. Инспектор взял у стены стул, поставил его на самое солнце и сказал: «Сядьте». Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал инспектор и присел перед Хинкусом на край бильярда, в тени. — Ну, Хинкус, так что там у вас произошло с Мозесом?

— С каким еще Мозесом? Я его и знать-то не знаю.

— Это вы тоже знать не знаете? — Инспектор вытащил пистолет, показал издали и положил на бильярд рядом с собой.

Хинкус быстрым движением перебрал изжеванную спичку из одного угла рта в другой. Он молчал. В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать что-нибудь?

— Идите, идите, Кайса, — нетерпеливо сказал инспектор. — Ступайте... Ну? — сказал он Хинкусу.

Хинкус проворчал:

— Ничего я по этому делу не знаю. А вот точно знаю, что жалобу на вас подам — за истязание больного человека.

— Хватит болтать, Филин! — гаркнул инспектор. — Ты гангстер! Тебя разыскивает полиция! Ты влип, Филин! Твои ребята не успели, потому что случился обвал! А полиция будет здесь самое большее через два часа. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тyani на пункт «це» — чистосердечное признание до начала официального следствия! Понял, какая картинка?!

Хинкус выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. Инспектор сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, курил и, зло усмехаясь, разглядывал струйки дыма в солнечном свете.

И тут Хинкус вдруг наклонился вперед, поймал его за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и повернул. Инспектора снесло с бильярда, и он всеми своими девяноста килограммами, плашмя, физиономией, животом, коленями грянулся об пол.

Первое, что инспектор увидел, придя в себя, был плафон над бильярдом. По плафону бегали солнечные зайчики. Инспектор застонал и сел, прислонившись к ножке бильярда. Хинкус валялся неподалеку, скорчившись, обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змием, возвышался Симоне с обломком тяжелого кия в руке.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Куда вам досталось? По плечу?

Инспектор кивнул. Говорить он не мог. Здоровой рукой достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все еще держался за голову. Инспектор взял с подоконника графин, добрался к Хинкусу и облил его водой. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Симоне присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке, — сказал инспектор. — Сейчас мы его живо приведем в порядок. Принесите-ка еще воды.

— И бренди! — с энтузиазмом подхватил Симоне.

— Правильно, — сказал инспектор.

Симоне принес еще воды и бутылку спиртного. Инспектор разжал Хинкусу рот и вылил в него полстакана коньяку. Остальные полстакана он выпил сам. Потом Хинкуса оттащили к стене, прислонили спиной, инспектор снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Хинкус открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил инспектор.

— Да... — сипло выдохнул Хинкус. Он выпил, облизнулся и спросил: — Так что вы там говорили насчет семьдесят второй «це»?

— Признания пока еще не было, — напомнил инспектор.

— Сейчас будет, — говорил Хинкус. — Но семьдесят вторую «це» вы мне обещаете? Вот в присутствии этого физика-химика?

— Ладно, — сказал инспектор. — Рассказывай... И смотри, если ты хоть слово соврешь... Ты мне два зуба расшатал, сволочь...

— Значит, так... — начал Хинкус. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слышать... Так вот, полгода назад пригребся в нашу компанию один тип. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, работал он Второй Национальный банк — помните? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками... В общем, красиво работал, чисто, но вдруг решил завязать. Почему — не знаю, я человек маленький, но говорят, что поцапался он с самим Чемпионом и рванул когти. Вот Чемпион и намылил нас кого куда — ему наперехват. Приказ был такой: засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиона. Вот я его и засек здесь. Тут и все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал инспектор. — Ну и кто же у нас здесь Вельзевул?

— Ясно кто — Мозес.

— Та-ак. А кто такой Луарвик?

— Какой Луарвик? А, это который все лимоны жрал... Первый раз вижу.

— А Олаф? Тоже из вашей банды?

Хинкус прижал руку к сердцу.

— Вот тут, шеф, как на духу! Как в церкви, шеф! Сам ничего не знаю и ничего не понимаю. Я его не трогал. Одно скажу, шеф, — Вельзевул на мокрое дело ни за что не пошел бы: у него зарок такой — не убивать. У него тогда вся чародейская сила пропадет, если он живую душу загубит...

— Какая еще чародейская сила?

— Ха! — сказал Хинкус. — То-то и оно! Вельзевул, он что? Тьфу! Его соплей перешибить можно. А вот баба его... Ясное дело, кто сам не видел, тот не поверит, но я-то своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом по карнизу несла...

— Ну-ну, Филин... — сказал инспектор.

— Что, не верите? — сказал Хинкус, криво усмехаясь. — Ну ладно, пускай я вру. А как броневик с золотом брали, знаете? Подошел человек, перевернул броневик на бок — голыми руками, — и пошло дело... В газетах же писали.

— Газеты врут, а ты повторяешь, — сказал инспектор.

— Повторяю... Чего мне повторять, когда я сам это видел... Да чего там: вот сейчас я вас, извиняюсь, как ребенка положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Сами посудите, кто ж это меня мог таким манером скрутить и под стол засунуть?

— Кто? — спросил инспектор.

— Она! — В глазах Хинкуса плеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а она стоит передо мной... то есть я сам и стою — голый, мертвый и глаза вытекли... Как я там с ума не свихнулся — не понимаю! Пью, пью и ведь не пьянею — как на землю лью!.. Господи, матерь пресвятая!.. Как она этот рельс взяла...

Хинкус сделал движение руками, словно завязывал что-то в узел. Лицо задергалось.

— Какой рельс? — ошеломленно пробормотал инспектор.

Симоне быстро налил полстакана и подал Хинкусу. Тот жадно высосал спиртное, утерся, глядя перед собой стеклянными глазами.

— Я ведь как думал: сяду на крыше, все вокруг видно, живьем, думаю, не выпущу ни за что. Пули, думаю, серебряные — возьмут... Тут-то он ее на меня и наслал... Она ведь любой вид принимать может... Думали, гады, меня с ума свести, да не вышло у них! Тогда

она меня и скрутила. — Хинкус безнадежно махнул рукой. — «Люгер» отобрала — я ей сам отдал, на, думаю, возьми, отпусти только душу на покаяние...

— Какой рельс? — гаркнул инспектор.

— Хе!.. — сказал Хинкус. — Вы думаете, она кто? Баба? Она и не человек вовсе.

Инспектор свирепо глядел на него.

— Покойник она, — шепотом сказал Хинкус. — Днем живая ходит, а ночью мертвая лежит!

Симоне, только что хлебнувший бренди, поперхнулся и закашлялся. Инспектор растерянно поглядел на него. Кашляя, Симоне выпученными глазами смотрел на Хинкуса. Тогда инспектор сильно потер ладонями щеки и сказал сквозь зубы:

— Стоп, Филин. Оставим это. Объясни лучше, почему они тебя просто не шлепнули?

— Так я же говорю: нельзя ему людей убивать, нельзя. Это же все знают. Господи, да разве я взялся бы его выслеживать, если бы этого не знал?

— Пусть так. Хорошо... Ну а почему они не смылись, когда тебя связали?

Хинкус замотал головой.

— Не знаю. Тут я сам ни черта не понимаю. Я уверен был — все: открутит мне теперь башку Чемпион. Смотрю — а они здесь! Не знаю... Может быть, дорогу завалило? Так ведь этой ведьме завал разбросать — раз плюнуть.

— Каким образом? — вдруг спросил Симоне. Он был необычайно серьезен и даже как-то хмур.

— Что? — сказал Хинкус.

— Как она может разбросать завал?

— Ну как... Как бульдозер! Как она подкоп под музей делала. Только дым шел... Она и на человека-то похожа не была — машина и машина...

— Слушайте, Симоне, — сказал инспектор. — Может быть, это гипноз?

Симоне не ответил, а Хинкус обиделся.

— Ладно-ладно, — сказал он. — Гипноз... Мне-то что, я свою игру отыграл. А вот вам, шеф, еще придется с ней встретиться...

— Хватит об этом, — резко сказал инспектор. — Чемпион должен приехать один?

— Ну зачем один. При нем всегда трое, сами знаете...

— Что он собирается делать с Вельзевулом?

— Откуда мне знать, — угрюмо сказал Хинкус. — Шлепнуть он его собирался, — добавил он. — От Чемпиона не завяжешь.

— Так, — сказал инспектор. — Ну ладно... Симоне... Я вас попрошу... — Он осекся. Симоне в комнате не было. Рядом с его стулом стоял недопитый стакан.

В конторе инспектор, залепленный пластырем, морщась от боли в поврежденном плече, рассматривал оружие, разложенное на столе: тяжелый многозарядный винчестер, две охотничьи двустволки, облезлый старинный «смит-вессон». Хозяин, притихший и испуганный, с виноватым видом стоял рядом.

— Н-да... — процедил инспектор, щелкая расхлябанным механизмом «смит-вессона». — Не густо... Это все?

— Но ведь, Петер, — осторожно сказал хозяин, — на машине сюда не проедешь — обвал...

— Вы воображаете, что вертолеты есть только у полиции? Я удивляюсь, почему его до сих пор нет... — Инспектор с отвращением швырнул револьвер в угол. — Черт бы вас подрал, Алек! Надо быть полным идиотом, чтобы не завести в этом отеле рацию!

— Понимаете, — виновато сказал хозяин, — мне это невыгодно...

— Ах, это вам невыгодно! А то, что через два часа нас всех сожгут из огнемета, — это вам выгодно? Чемпион свидетелей не оставляет. Мы даже в горы не можем удрать — он найдет нас по следу!.. Ладно. Берите свою пушку и пошли к Мозесу.

— Зачем? — спросил хозяин, поднимая голову.

— Попробую взять его за глотку.

Инспектор вытащил из кармана «люгер», оттянул ствол и положил пистолет за пазуху.

— Сволочь... — прошипел он сквозь зубы, ощупывая плечо. — Сломал-таки мне ключицу.

Хозяин нехотя взял винчестер, прислоненный к сейфу, но не тронулся с места.

— В чем дело? — спросил инспектор жестко.

— У меня нет серебряных пуль, Петер, — негромко сообщил хозяин.

— Так будете стрелять свинцовыми, мать вашу так... — гаркнул инспектор. — И прекратите этот срам — нет там никакого зомби! Там всего-навсего, — он сказал это с огромной язвительностью, — всего-навсего гангстер первого класса и гипнотизер невероятной силы. Ясно?

— Ясно, — кротко сказал хозяин.

Они вышли в коридор, хозяин запер дверь в контору, позвал Леля и велел ему сидеть у порога. В доме было тихо, только Кайса на кухне звякала посудой.

Когда они вышли в холл, инспектор сказал:

— Подождите меня здесь, я сбегая за Симоне. Лишний человек не помешает.

Он вбежал по лестнице на второй этаж и постучал к Симоне. Никто не откликнулся. Инспектор открыл дверь и заглянул в номер. Номер был пуст. Инспектор снова вышел в коридор, миновал опечатанный номер Олафа, заглянул в следующий номер, нежилой, и без стука ввалился в номер к Брюн. Брюн, пригрозившись, сидела за столом с дымящейся сигаретой на губе. Перед ней стояла основательно початая бутылка и включенный транзистор. Из транзистора тянулась приглушенная сладенькая мелодия.

— Прошу прощения, — сказал инспектор. — Симоне здесь нет? — Он и сам видел, что нет.

Брюн медленно повернула голову, уставилась черными очулярами и произнесла хрипловато:

— Дверь закройте... Или туда, или сюда...

Инспектор затворил дверь и, все ускоряя шаг, двинулся по коридору. Он заглядывал в нежилые номера, сунулся к Хинкусу, миновал столовую и осмотрел бильярдную. Симоне нигде не было. Закусив губу, он уже почти бегом вернулся к Брюн. Она сидела все в той же позе, только сигарета докурилась почти до губ.

— Простите, Брюн, — сказал инспектор. — Вы Симоне не видели?

Брюн сунула окурочек в пепельницу, пьяно хихикнула и сказала:

— Что — и этого стукнули? Правильно, чего время терять...

— Вы видели его после завтрака?

— Нет, — сказала Брюн. — И видеть не хочу...

Некоторое время инспектор молча глядел на нее, потом сказал:

— Слушайте, Брюн. Нам всем грозит очень большая опасность. Я вас прошу: возьмите свой транзистор и идите на крышу. Как только увидите какой-нибудь вертолет, или самолет... или, может быть, людей на дороге, сразу бегите ко мне. Я буду в номере у Мозеса.

— А на кой черт все это?

— Я вам потом объясню. В общем, нас всех могут перебить, если мы зазеваемся... Так можно на вас надеяться?..

Вряд ли на нее можно было особенно надеяться, но она поднялась, взяла под мышку транзистор и стала искать пальто.

Инспектор повернулся и побежал вниз, в холл. Хозяин стоял там, как часовой у денежного ящика — с винчестером у ноги. Увидев лицо инспектора, он сразу спросил:

— Что случилось?

— Симоне пропал, — сказал инспектор сквозь зубы. — Ладно, пошли...

По дороге к номеру Мозеса инспектор заглянул еще в комнату Луарвика, но там тоже было пусто. Бормоча проклятия, инспектор двинулся дальше по коридору и остановился перед дверью с номером один. Здесь он оглянулся на хозяина. Хозяин держал винчестер наизготовку, лицо у него потемнело от нервного напряжения. Инспектор кивнул ему, чтобы ободрить, и рывком распахнул дверь.

Прямо перед ним, спиной к нему, стоял какой-то человек, мучительно знакомый и в то же время совершенно неуместный, совершенно невозможный здесь. Инспектор застыл на пороге. Человек быстро обернулся и отступил в сторону. Инспектор узнал его: это был инспектор полиции Петер Глебски.

— К стене, — севшим голосом сказал инспектор, тяжело шагнув вперед. Пистолет он держал в руке, изо всех сил сжимая рукоять. Ноги плохо слушались его. Как в тумане он видел перед

собой строгое с поджатыми губами лицо Мозеса, стоявшего за столом; белое с закаченными глазами лицо Луарвика, лежавшего в кресле, и свое собственное лицо, равнодушное, равнодушно улыбающееся, невозможное, совершенно невероятное, — у него кружилась голова, когда он глядел на себя самого, и слабели ноги.

— Всем к стене! — повторил он хрипло.

— Уберите оружие, Петер, — сказал голос Симоне.

Инспектор дернулся. Симоне тоже был здесь — сидел верхом на стуле в сторонке, тоже сумрачный, строгий, сосредоточенный.

— Оружие здесь не понадобится, — сказал он. — Никто не собирается на вас нападать.

Инспектор покосился на своего двойника и испытал новый шок. Двойника не было: у стены, приветливо улыбаясь, стояла госпожа Мозес во всей красе.

— Так, — сказал инспектор. Он чувствовал, что рубашка прилипла ему к лопаткам. — Значит, вы тоже из этой банды, господин физик... Не двигаться! — гаркнул он, заметив, что госпожа Мозес намеревается отойти в сторону, к свободному креслу.

— Здесь нет никакой банды, — сказал Симоне. — Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, Петер. Это не люди...

— Помолчите, — сказал ему инспектор, не сводя глаз с Мозеса.

— Это не люди, — повысив голос, сказал Симоне. — Это пришельцы с другой планеты...

— Я вам сказал, помолчите! — сказал инспектор. — С вами я поговорю потом!

— Черт бы вас подрал! — рявкнул Симоне. — Вы дадите мне сказать хоть два слова, полицейская вы балда! Это пришельцы с другой планеты, понимаете! Они попали в беду, им надо помочь, а не размахивать «люгером»!

— Всё? — сказал инспектор. — Теперь сядьте и заткнитесь... Мозес, вы арестованы по обвинению в принадлежности к гангстерской шайке Джона О'Хара, известного по кличке Чемпион, а также в убийстве доброго гражданина Олафа Андварафорса.

— Слушайте!.. — в отчаянии воскликнул Симоне. Инспектор не обратил на него внимания.

— Предлагаю сдать оружие и прекратить все ваши гипнотические упражнения. Предупреждаю, что все, что вы с этого момента скажете, может быть использовано против вас на суде.

Мозес молчал. Он стоял, ссутулившись, тяжело опершись руками на стол, заваленный исписанной, исчерканной бумагой, лицо его обвисло, глаза полузакрыты. Потом он медленно сказал:

— Оружия у меня нет. И я не совершил никаких преступлений. Вы заблуждаетесь, инспектор. Я не участвовал в гангстерской шайке. Я помогал людям, которые боролись за справедливость. Ваша жизнь оказалась слишком сложной для меня. Когда я увидел, как вы здесь живете, я понял, что не могу быть просто наблюдателем. Я хотел помочь, я задыхался от жалости...

— Он был наблюдателем, понимаете! — вмешался Симоне. — Ему было запрещено вступать в контакт!

— Да, — сказал Мозес. — Мне было запрещено. Я нарушил запрет, и оказалось, что меня обманули. Оказалось, что это бандиты. Мафия или что-то в этом роде... Как только я понял это, я бежал. Часть убытков я уже возместил. Вот... — Он порылся в куче бумаг, вытащил чековую книжку, протянул ее инспектору. — Миллион крон я уже внес в Государственный банк. Остальное будет возмещено золотом, когда я вернусь домой. Чистым золотом...

Инспектор взял книжку, не глядя сунул ее в карман.

— Продолжайте, — сказал он.

— Теперь об Олафе, — сказал Мозес. — Олаф не убит. Олаф не может быть убит, потому что он вообще не живое существо. Олаф и вот Ольга — это, как у вас называется, кибернетические устройства, роботы, запрограммированные так, чтобы походить на среднего человека соответствующего социального положения... Мы должны были покинуть Землю прошлой ночью. Здесь в горах наша стартовая площадка. Но случилась авария... Вот Луарвик — он наш пилот, он сильно пострадал, видите. И еще при взрыве погибла энергетическая станция, которая питала наших роботов. Ольгу я подключил к переносному аккумулятору... — он двумя пальцами поднял со стола и показал инспектору черную коробочку, — аккумулятор Олафа, чемодан — помните? — оказался у вас. Олаф почему-то не успел включить свой аккумулятор... И вот мы здесь застряли. Я очень прошу вас помочь нам.

Все молчали. Госпожа Мозес любезно улыбалась, стоя у стены. Потом Луарвик что-то пробормотал и неуклюже заворочался в кресле. Мозес положил ему руку на лоб, и он затих. Инспектор сказал:

— Это вы меня вызвали сюда?

— Да. Я надеялся, что вы отвлекете Хинкуса.

— Записка — тоже ваша работа?

— Да. И браунинг.

— Плохо, — сказал инспектор. — Неуклюже.

— Да, — сказал Мозес. — Не умею я такие вещи... Поймите, я не преступник. Я виноват, конечно, но ведь еще не все потеряно. Вместо меня пришлют другого, и со временем мы установим с вами официальный контакт, поможем вам — поможем вам уничтожить на Земле горе, страх, нищету, ненависть... Дайте нам возможность вернуться домой, инспектор!..

— Вы могли уже двадцать раз уйти отсюда, — угрюмо сказал инспектор. — Мне понадобилось вас арестовать, чтобы узнать об этом вашем желании.

— Мы не можем уйти. Только Олаф умеет исправлять повреждения. Он механик. Без него мы как без рук. А аккумулятор у вас. Отдайте нам чемодан, и мы уйдем.

— Ах, чемодан!.. — неприятно улыбаясь, сказал инспектор.

— Слушайте, Петер, — снова вмешался Симоне. Видно было, что он изо всех сил сдерживается и очень старается говорить спокойно. — Ведь вы хотели бы, чтобы никакого убийства не было? Отдайте им чемодан, они на ваших глазах снова включат Олафа и уйдут... Поймите, если бы не эта авария, их бы здесь уже давно не было и не было бы убийства...

— Не пойдет, — коротко сказал инспектор и встал.

— Да почему же! — в полном отчаянии заорал Симоне, потрясая кулаками.

— Слишком много вранья наворочено вокруг этого чемодана, — жестко сказал инспектор. — Хватит на эту тему!.. Господин Вельзевул, повторяю: вы арестованы. Имейте в виду, Чемпион ищет вас, чтобы убить. Имейте это в виду, когда начнется стрельба. В ваших показаниях будет разбираться суд, и я могу вам только обещать, что буду защищать вас силой оружия до последнего. Всё.

Он шагнул к двери, и тут Симоне, налившись кровью, заорал во все горло:

— Да подождите же, черт вас дерит!.. Стойте!.. Вот... Вот... Вот чертеж их корабля! — Он хватал со стола и тыкал в лицо инспектору смятые бумаги. — Вот траектория их полета... Вот схема робота... Вы можете понять: Ольга не человек. Это робот. Вы понимаете, каких высот в науке они достигли, если умеют создавать таких роботов!.. Вы понимаете, что мы потеряем, если они погибнут? Боже мой, Мозес, не стойте столбом! Покажите этому болвану хотя бы то, что вы показывали мне!..

Мозес схватил черную коробочку и завертел ее в длинных белых пальцах. Инспектор попятился, выставив перед собою «люгер». Он не отрываясь смотрел на госпожу Мозес. А госпожи Мозес уже не было — вместо нее хихикал, показывая плохие зубы, Филин-Хинкус. Потом он расплылся, потерял очертания и вдруг превратился в Симоне. Потом — в хозяина, потом — в инспектора, потом в какого-то незнакомого человека с толстой сигарой в зубах, потом — в Кайсу и, наконец, снова в госпожу Мозес, которая подхватила с пола скрученный узлом швеллер и легко, как пластилин, развязала его.

Инспектор медленно вытер с лица выступившую испарину. Он хотел заговорить и не мог. А Симоне кричал, брызгая слюной:

— Ну!.. Ну!.. Вы видели? Теперь вы верите?.. Ну!..

— Всем арестованным оставаться в комнате, — проговорил наконец инспектор и повернулся к двери.

— Инспектор, — сказал вдруг Мозес ему в спину. — Ну хотя бы Луарвика. Я — ладно... Пусть... Но отпустите хотя бы Луарвика. Он ни в чем не виноват. И он не приспособлен долго жить у вас, на Земле. Его не тренировали специально, как меня. Он умирает. Я прошу уже не за себя, инспектор...

Инспектор, не оборачиваясь, шагнул в дверь. Хозяин молча последовал за ним, и уже в коридоре огромными прыжками их нагнал Симоне.

— Вы понимаете, что вы делаете? — сказал он задыхаясь. — Ведь вы наврали насчет почтовых голубей?.. Если поможем им бежать, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал инспектор угрюмо. — У меня будет замарана по самые уши...

— Но они же ни в чем не виноваты! Их обманом втянули в эту историю.

— В этом будут разбираться другие инстанции.

Они вышли через холл и остановились у дверей конторы.

— Вот тебе и первый контакт... — бормотал Симоне, голова его была опущена, плечи ссутулились. — Вот тебе и встреча двух миров!..

— Не капайте мне на мозги, — сказал ему инспектор. — Алек, отправляйтесь в холл, это будет ваш пост. Симоне, перестаньте ныть. Поднимитесь на крышу и следите за небом. Я буду здесь, в конторе.

Он достал ключ и отпер дверь.

— Алек, — в отчаянии сказал Симоне. — Попробуйте вы. Помогите мне убедить этого кретина!..

Инспектор вошел в контору, с грохотом захлопнул за собой дверь и повернул ключ. Симоне ударил в дверь обоими кулаками и заорал:

— Вы, мелкая полицейская пешка! Вы понимаете, что единственный и последний раз в жизни судьба бросила вам кусок! В ваших руках действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый!..

Инспектор не слушал его. Он подошел к окну, оглядел пустую равнину, опустил железные жалюзи и сел за стол. Он осторожно взялся обеими руками за голову и несколько секунд сидел неподвижно, постанывая сквозь зубы. Потом снял телефонную трубку. Трубка молчала. Инспектор постучал по рычагу, оскалился, швырнул трубку и яростно ударил кулаком по аппарату. Потирая ушибленную руку, встал, прошелся по комнате, остановился у стены, постоял, прислонясь лбом к холодной облицовке, потом вернулся к двери. За дверью было тихо. По-видимому, Симоне и хозяин уже ушли. Инспектор отпер дверь, выглянул. В коридоре было пусто, только у выхода в холл сидел, откинув хвост, Лель, неподвижный, как изваяние. Инспектор тихонько прикрыл дверь и снова сел за стол. Лицо у него осунулось, глаза стали бессмысленными. Некоторое время он сидел не двигаясь, потом произнес:

— Ну, хорошо... Ну а что делать-то? Делать-то что?.. — Он положил голову на руки.

Дверь скрипнула, и инспектор поднял голову. Бесшумно ступая, вошла Брюн, чуть пошатываясь, остановилась у стола. Одной рукой она прижимала к груди початую бутылку, в другой был стакан. Она поставила все это на стол перед инспектором, а сама повалилась в кресло для посетителей.

— Ну, хорошо, — сказал инспектор. Он думал вслух. Он почти не замечал Брюн. — Пусть он пришелец. Пусть... Дальше-то что? Проходу же не будет... Поймал, в руках держал — и выпустил. Все отдал, нате, пользуйтесь, и — выпустил... Поверил краснобаю.

— Не верьте, — решительно сказала Брюн. — Нельзя.

— Просто он гипнотизер... Блестящий, невиданный мастер... Водит вокруг пальца, а мне два года до пенсии. — Инспектор застонал. — Какого черта я не уехал отсюда сразу же... Настойки эдельвейсовой ему захотелось, идиоту... — Он снова застонал и взялся за голову. — А если даже пришельцы? Мне-то какое дело? Какое мне до них дело?.. Не хочу я за них отвечать...

— Главное — не верьте, — снова сказала Брюн. — Никому нельзя верить. Я один раз поверила, всего один раз, и вот сижу в этой дыре — одна, и никому не нужна... В нашем прекрасном, замечательном, вонючем, гадском мире... Никому!

Она налила полстакана бренди, отхлебнула и передала стакан инспектору. Тот машинально допил остальное.

Тут дверь отворилась, и вошли Симоне с хозяином. Хозяин поставил перед инспектором кружку кофе, а Симоне, не обращая внимания на Брюн, взял у стены стул и уселся напротив инспектора.

— Луарвику совсем плохо, — сказал он. — Он задыхается. Мозес говорит, что больше часа ему не выдержать. Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок...

Держа «люгер» одной рукой, инспектор взял кружку другой, поднес ко рту и поставил обратно.

— Отстаньте от меня, — сказал он устало. — Все вы болтуны. Алек заботится о целостности своего заведения, а вы, Симоне, просто интеллект на отдыхе.

— А вы-то, — сказал Симоне, — вы-то о чем заботитесь? Лишнюю бляху захотелось на мундир?

Брюн вдруг встала, неуверенным движением подхватила бутылку и вышла, бормоча: «Везде одно и то же... Скучища... Вранье».

— Нет, — сказал инспектор, покачав головой. — Не в этом дело, хотя лишняя бляха полицейскому не помешает... Я не эксперт, Симоне. Я полицейский чиновник. Вы ни черта не смыслите в законе, Симоне. Вы воображаете, что существует один закон для людей, а другой — для вурдалаков и пришельцев. Мозес — бандит. Моя обязанность — передать его суду... Даже если он прищелец... Вот все, что я знаю.

Симоне молча шерился, глядя на него. Хозяин подошел к окну и поднял шторы. Инспектор оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Прижимаясь лицом к стеклу, хозяин оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер... — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер... Жду...

Инспектор положил «люгер» на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. И тут он ощутил, как сильные руки взяли его сзади за локти. Он открыл глаза и дернулся, и застонал.

— Ничего, Петер, ничего... — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал «люгер» себе в карман.

— Предатели!.. — сказал инспектор с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая...

Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал инспектора по карманам. Звякнули ключи. Инспектор рванулся изо всех сил и потерял сознание от страшной боли в поврежденном плече. Когда он пришел в себя, Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке, а хозяин, все еще придерживая инспектора за локти, тревожно говорил:

— Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь. Ему плохо...

Инспектор хотел заговорить, но у него перехватило горло, и он только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился над ним.

— Господи, Петер... — проговорил он. — На вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел инспектор. — Арестанты...

— Да-да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, я вас пока все равно не выпущу...

Но инспектор рванулся снова, и все завертелось у него перед глазами, все застала мутная звенящая пелена, и в этом тумане, сквозь этот звон раздавались какие-то неразборчивые голоса, кто-то кричал, кто-то торопил, что-то трещало и гремело, звенело разбиваемое стекло, и когда инспектор опомнился, он лежал на полу, а хозяин стоял рядом с ним на коленях и смачивал ему лоб мокрой тряпкой. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — прохрипел инспектор. Хозяин повиновался.

Дверь была распахнута настежь, слышались возбужденные голоса, потом что-то снова грохнуло и затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Пр-роклятуший сундук! — произнес он сдавленным голосом. — Опять косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста, и стало тихо. Инспектор поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом. Он беззвучно шевелил губами, кажется, молился. По широкому лицу его стекали капли пота.

Они вышли в пустой холл, по которому гулял ветер. Входная дверь была снесена, журнальный столик перевернут и раздавлен. Инспектор направился к лестнице, но на первых же ступеньках ему стало дурно, и он остановился, вцепившись в перила. Хозяин кинулся поддержать, но инспектор отпихнул его и сказал:

— Убирайтесь к черту! Слышите?..

Он медленно побрел по лестнице, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и направился в свой номер. Дверь номера Олафа тоже была

распахнута, там было пусто. И тут внизу кто-то закричал — отчаянно, истошно, страшно:

— Вот они!.. Поздно!.. Будь оно все проклято! Поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покапало, и вдруг все эти звуки перекрыло ровное далекое гудение. Тогда инспектор повернулся и, спотыкаясь, побежал к черной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась перед ним. Вдаль, к синееющим горам, уходили две голубоватые совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, видны были черные, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским сундуком под мышкой, а на плечах у нее нелепо и дико моталась длинная, как удилице, фигура Мозеса. Правее, чуть отставая, ровным финским шагом неся Олаф с Луарвиком на спине. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбoku, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена ровным мощным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на инспекторе воротник и рыдал ему в ухо: «Видишь!.. Видишь!..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти. Снег закрутился вихрем, и сверкающая снежная туча встала горбом на фоне сизых отвесных скал. Снова слышался злобный треск пулемета, и хозяин сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал, все кричал: «Добился?.. Добился своего? Дубина... Мерзавец!..»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

ДЕНЬ ЗАТМЕНИЯ

Жара.

Раскаленный воздух дрожит над выгоревшим пористым шифером крыши, над размягчившимся асфальтом прямых пустынных улиц. В жарком мареве колышутся бледно-желтые стены сейсмостойких домов, редкие колючие деревья, заросли телеантенн над домами. Улицы пусты, город словно бы заброшен.

Вот на панель выбежал из пыльного палисадника еж, большой, ушастый. Повел носом, поджался и кинулся прочь, оставя на асфальте цепочку вдавненных птичьих следов.

И тихо. Только подвывают — почти мелодично — торчащие из окон мелкоребристые ящики кондиционеров, истекающие струйками водяного конденсата.

Жара.

Дмитрий Алексеевич Малянов, полнеющий мужчина лет тридцати с небольшим, сидел в одних трусах за столом и довольно бойко перепечатывал на машинке свою статью. В комнате стоял желтоватый от задернутых штор сумрак, было жарко, душно и накурено. Волосатый торс Малянова и небритая его физиономия были покрыты крупными каплями пота. На столе дымилась последним окурком набитая до отказа пепельница, горой лежали справочники, свернутые в трубочку чертежи и графики, папки с бумагами, картотечные ящики.

Впрочем, Малянов чувствовал себя отлично. Он тархтел клавишами, вслух зачитывал избранные абзацы, время от времени затягивался окурком и что-нибудь поправлял в рукописи. Он работал и был доволен своей работой. Жары и духоты он не замечал.

— Из уравнения четырнадцать, — диктовал он сам себе, — и системы неравенств легко видеть... легко видеть...

Очевидно, видеть было не легко, потому что Малянов прекратил печатать текст, взял листок черновика и глубоко над ним задумался.

Грянул телефон.

— Легко видеть! — сказал Малянов телефонному аппарату.

Телефон гремел. Малянов взял трубку.

— Это база? — осведомился квакающий телефонный голос.

Малянов высоко задрал брови и вытянул толстые губы дудкой.

— А вам какую именно? — вкрадчиво поинтересовался он. — У нас здесь, знаете ли, военно-воздушная. Интересует?

— Чего? — квакнул голос недоуменно. — Это ты, что ли, Печкин?

— Какой я Печкин? Я Спичкин! — провозгласил Малянов и повесил трубку. — Легко видеть... — снова пробормотал он, глядя в листок.

Телефон зазвонил опять.

— Спасу нет от вас, — сказал Малянов аппарату, вылез из-за стола и, подсмыкнув трусы, прошел на кухню. Там он опустился на корточки перед холодильником и отворил дверцу. В холодильнике было пусто, если не считать мятой алюминиевой кастрюли да крошечного кусочка сала, устроившегося на зимовку в морозильнике среди сугробов инея.

Телефон все звонил.

Малянов захлопнул дверцу холодильника и все тем же манером вернулся к письменному столу. Действовал он совершенно механически — глаза его были обращены вовнутрь, губы шевелились.

Он взял трубку.

— Да?

— Это комиссионный? — спросил другой голос, скорее даже приятный.

— Да, это комиссионный, — проговорил Малянов без всякого выражения.

— Скажите, пожалуйста, моя вещь продана?

— Да, ваша вещь продана.

— Можно получить деньги?

— Можно. Можно получить.

— Огромное спасибо! Сейчас приеду!

— Приезжайте-приезжайте... — пробормотал Малянов, кладя трубку. Он покопался в хаосе на столе, развернул черновой график на миллиметровке и погрузился в него.

— Ничего себе — легко видеть! — произнес он с горечью.

Снова зазвонил телефон.

— Пошел к черту! — сказал ему Малянов. — К дьяволу тебя. К свиньям. К собачьим. К свинячьим... — Мысли его были далеко.

Телефон замолк ненадолго, потом зазвонил опять. Малянов снял трубку.

— Алло.

— Димка? Это Захаров говорит. Ну как ты там? Нетленку лепишь?

— Нетленку, нетленку... Чего тебе надобно, Захаров?

— А что так не приветливо?

— Слушай, отец. Я специально отпуск взял. За свой счет. Чтобы поработать как следует. В приятном далеке. Так ведь нет же!..

— Ну извини. Я хотел узнать, ключ от восемнадцатой не у тебя?

— Нет, не у меня. На доске ищи, в проходной.

— Я искал, там нет...

Брови Малянова пошли вверх, губы вытянулись дудкой.

— Так ты что же, отец, хочешь, чтобы я работу свою бросил, вернулся из отпуска, и все для того, чтобы найти тебе ключ?

— Ну ладно, ладно! Ну извини. Тут, понимаешь, слух проносится, что тебе предложили филиал и ты нас покидаешь.

— Не верь.

— А я и не поверил.

— Но, однако же, решил проверить...

— Так если вся контора гудит! Малянова академик вызывал, Малянову филиал дают, Малянов уходит...

— Все правильно, Захарыч, но я отказался.

— Ну и дурак.

— Тебя не спросили... — сказал Малянов и повесил трубку.

* * *

Он стоял в ванной и ждал. Смеситель тряся, грозно рычал, хрипел, плевался брызгами. В ванне воды не было и наполовину. Водопровод в последний раз заворчал на весь дом и затих окончательно.

Тогда Малянов нагнулся над ванной и принялся ополаскиваться. При этом он брызгался и рычал — почти как водопровод. Пока он вытирался обширным полотенцем, в комнате опять зазвонил телефон.

— Это родильный дом? — нарочитым басом спросил Малянов у полотенца и сам себе ответил тоненьким голоском: — Нет, это зоологический магазин. — И снова басом: — А можно у вас купить красные кровяные тельца? — И снова пискляво: — Нет, у нас в продаже только желтые, синие и зеленые...

Не помогло. Телефон надрывался. Широко шагая, Малянов вернулся в комнату и схватил трубку. Сыроватые его волосы сбились в косматый колтун, и он стал похож на толстую, не совсем нормальную ведьму.

— Вторая образцово-показательная психиатрическая клиника! — объявил он и, поскольку трубка молчала в ошеломлении, добавил: — В чем дело, клиент? Сообщите ваш адрес!

— Дима, это ты? — осторожно осведомился низкий размеренный голос.

— Да... Это кто?

— Вечеровский. Здравствуй.

— Тьфу ты, дьявол! Извини, Фил. С утра, понимаешь, наяривают...

Раздался звонок в дверь — длинный и настойчивый.

— Ч-чер-рт! С цепи сорвались, ей-богу! Подожди минутку, Фил, теперь в дверь наяривают...

— Дима! Стой!..

Но Малянов уже бросил трубку на стол в грудку бумаг, а сам устремился в прихожую.

— Дима, алло. Дима, Дима, алло, Дима... — монотонно повторяла брошенная трубка.

* * *

На кухонном столе возвышалась среди недопитых стаканов с чаем внушительная картонная коробка, обклеенная тонкими полосками липкой ленты. Из-за коробки выглядывал плюгавый мужичонка в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый, потный и несчастный видом. Он искательно улыбался и протягивал Малянову обширные квитанции, переложенные фиолетовой копиркой. Малянов квитанции отвергал.

— Ты способен понять, отец, что я ничего не заказывал? — втолковывал он плюгавому.

— Ну, может, жена заказывала... — лепетал плюгавый.

— Нет у меня жены! Два года как нет! И денег у меня нет и никогда не было — такие заказы делать!

— Так денег же и не надо! — оживился плюгавый. — Заплочено!

И точно, наискосок по квитанциям шла большими фиолетовыми буквами надпись: «Оплачено».

— Отец! Это ошибка какая-то!

— Не может быть никакой ошибки. Распишитесь вот тут...

— Отец! Из своего кармана вложишь!

— Расписывайтесь, расписывайтесь...

Малянов расписался, и плюгавый тотчас выхватил у него из рук квитанцию и упрятал ее за пазуху. Потное лицо его выражало теперь полнейшую растерянность — он словно перестал понимать, где находится, почему и зачем. Он воровато оглядел кухню, втянул голову в плечи и принялся пятиться, глядя на Малянова исподлобья.

Малянов тоже оглядел кухню, но ничего особенного в ней не обнаружил.

— Гос-споди... — слабо проскрипел вдруг плюгавый и опрометью кинулся вон. Ахнула входная дверь, что-то просыпалось за обоями, и стало тихо.

— Ну и денек, — сказал Малянов и посмотрел на коробку. Оказывается, коробка успела за это время покрыться инеем. Иней неестественно сверкал на солнце, над коробкой дымился парок. Малянов решительно разорвал картон и, выкативши глаза, извлек

на свет громадный полиэтиленовый пакет с глубокозамороженным вареным омаром, пламенеющим красно-коричневым панцирем.

Малянов грохнул на стол окаменелое членистоногое, схватил квитанцию и принялся заново изучать ее.

А день потихоньку катился на убыль, но солнце стояло еще высоко. Воздух над городом раскалился до предела. Все живое замерло, расползлось, попряталось...

По кривым узким улочкам старого города, мимо раздражающе, ослепительно белых глинобитных домиков, пыля брезентовым верхом, катился грязно-зеленый УАЗ-469, в просторечии именуемый «газик».

Очередная улочка вывела его на довольно широкую дорогу, и по сторонам пошли новые здания — дома, выстроенные в период так называемых архитектурных излишеств, и странные дома в восточном стиле, — рядом с ними особенно нелепо выглядели старые корпуса производственных зданий с блеклыми разводами на глухих бетонных стенах.

Коротко остриженный лопухий мальчишка-шофер переключил скорость, и газик, завывая коробкой передач, резво покотился в гору. Выскочив на холм — город сверху казался совершенно покинутым, — шофер лихо заложил вираж, и машина на хорошей скорости понеслась под уклон... Поворот, еще поворот, открылась новая улица, уставленная однообразными аккуратными пятиэтажными домами, у подъезда одного такого дома газик затормозил.

Пассажир распахнул дверцу и неторопливо выбрался наружу, стараясь не слишком испачкаться о пыльный борт. Он был высок ростом и вообще обширен во всех измерениях. Все у него было крупное, массивное — руки, ступни, мясистое грубое лицо, изуродованное старыми шрамами и ожогом.

Он осторожно огляделся — довольно странное движение, совсем, казалось бы, этому человеку не свойственное, — и скользнул взглядом по фасаду дома. В окне второго этажа виднелся Малянов, сидящий на подоконнике. Седой человек приветствовал его, подняв растопыренную пятерню. Малянов с готовностью ответил ему тем же.

* * *

Он сидел на подоконнике. Солнце уже ушло в другую сторону дома, и шторы теперь можно было раздвинуть. В руке Малянов держал гигантский бутерброд, пышно разукрашенный зеленью. Зелень торчала во все стороны, и, откусывая от бутерброда, Малянов погружался в эту зелень, как лошадь в сено.

— ...Представляешь? — говорил он, не переставая жевать. — Моам? Моуа... И причем жратва первоклассная! Омары, например. Кстати, ты не знаешь, что с омарами делают?

Сидя в единственном кресле, его внимательно слушал Филипп Вечеровский, элегантный, как дипломат на приеме, в великолепном костюме, ослепительной сорочке... галстук единственно возможной расцветки... запонки... в руке трубка, и, разумеется, не какое-нибудь там ширпотребовское барахло за три пятнадцать, а настоящий «Данхилл» с белой точкой. Бледное вытянутое лицо его было непроницаемо спокойно, белесые ресницы помаргивали.

— Знаю, — сказал он, и это прозвучало, как приговор.

— Это я и сам знаю, — сказал Малянов. — Но как его приготовить? Он же, подлец, глубокозамороженный...

За окном Малянов видел лопухого мальчишечку-шофера и седого человека с изуродованным лицом. Они стояли возле газика и разговаривали, причем седой поминутно и очень неумело озирался по сторонам. Оба — в черных мешковатых костюмчиках и в старомодных бобочках с отложными воротничками. Седой держал в руке объемистый кожаный портфель.

— Дима, — сказал Вечеровский, помолчав, — это правда, что тебе предложили филиал?

— Да. А ты откуда знаешь? Уже и до твоего, значит, института...

— Ты согласился?

— Нет.

— Почему?

Малянов отвернулся и стал смотреть в окно. Седого уже не было около газика. Шофер в одиночестве стоял, рассматривая обширную грязную тряпку, которую держал, расправив перед

собой. Потом он пошел вокруг машины, отряхивая от пыли брезентовый кузов.

— Не хочу, — сказал Малянов, все еще глядя в окно. — Я, извините за выражение, ученый. Я не хочу быть директором.

— У тебя не осталось идей?

— У меня есть идеи, Фил. Именно поэтому я не хочу превращаться в администратора. Пока что-то еще шевелится здесь... — Он стукнул себя кулаком в потный лоб. — Пока еще не омертвело напрочь...

— Насколько я знаю, филиалу будут выделены большие деньги. Это задумано как очень серьезное предприятие, и человек, имеющий идеи...

— Ты, кажется, тоже вознамерился уговаривать меня, как девушку красную?

— Нет. Я просто хотел бы понять, почему ты отказался.

Малянов смотрел, как шофер, прекратив пыльное свое занятие, заталкивает тряпку за противотуманную фару. Седой вышел из парадной и двинулся к машине. Портфеля с ним не было — он держал под мышкой толстенькую ядовито-зеленую папку. Вторая папка, тоже зеленая, но еще более толстая, висела у него в авоське в другой руке. Шофер кинулся ему помогать, они погрузились в автомобиль и уехали.

— А черт его знает, почему я отказался, — проговорил наконец Малянов. — Зло взяло. Какого дьявола? В прошлом году о Малянове и разговаривать не хотели — молод, видите ли, недостаточно зрел и вообще — участник бракоразводного процесса. Ладно, отцы! Я на это наплевал и забыл. А теперь вот, когда у меня самое что ни на есть пошло... Ты помнишь, я тебе рассказывал про полости макроскопической устойчивости?

— Полости Малянова? — сказал Вечеровский, усмехнувшись.

— Ладно-ладно! Нечего!.. Так вот, я доказал, кажется, что они существуют. Ты понимаешь, что это означает и что отсюда следует?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Не совсем!.. Я и сам еще не совсем понимаю, но я тебе гарантирую, что это — новая теория звездообразования как мини-

мум, а может быть, и вообще самая общая теория образования материи в физическом понимании этого слова. Сечешь?

— Секу помаленьку, — сказал Вечеровский. Он произнес эти слова так, как мог бы их произнести просвещенный дворянин девятнадцатого века.

— Это — нобелевка, отец! — сказал Малянов, выкатывая глаза и понизив голос. — Это нобелевкой пахнет! А они хотят, чтобы я все бросил и занялся ихним дурацким филиалом? Да гори он огнем! Я и без всяких филиалов работать не успеваю. Отпуск взял. Представляешь, за свой счет. Чтобы никакая собака не мешала. Нет же — звонят с утра: почему не хочешь быть директором? И вообще все как с цепи сорвались — телефон обезумел, дядьки какие-то прутся с доставкой на дом...

Вечеровский немедленно встал, и Малянов спохватился:

— Стой! Я же не про тебя, Фил!.. Давай кофейку сейчас сварганим...

— Спасибо, нет... Да и не умеешь ты кофе варить, если откровенно...

— Ну, ты заваришь! По-венски, а? А потом омара будем тушить. С картошкой!

Но Вечеровский уже неудержимо продвигался к двери.

— Я ведь, собственно, забежал к тебе на минутку. У меня же лекция сегодня... Да, кстати, фамилия Снеговой тебе ничего не говорит?

— Арнольд Палыч? — удивился Малянов. — Он вот в той квартире живет. Дверь дерматином обита.

Они стояли на пороге маляновской квартиры и через лестничную площадку смотрели на обитую дерматином дверь. Потом Вечеровский проговорил медленно:

— Вот как?

— А в чем дело? — спросил Малянов. Реакция Вечеровского была ему непонятна и показалась странной. — Он тебе нужен? Так он уехал только что, я видел в окно...

Вечеровский пару раз моргнул, все еще глядя на дерматиновую дверь, потом спросил:

— А кто он, собственно, такой?

— Инженер, по-моему. А что?

— А где работает?

— Не знаю. Кажется, на объекте. Знаешь объект на Южном мысе? По-моему, там. А что случилось, Фил?

— Где? — странно спросил Вечеровский, обратив наконец на Малянова свои белесые глаза. Малянов от такого вопроса смешался, и Вечеровский, отдав ему что-то вроде чести указательным пальцем, направился к лестнице.

Малянов работал. Пишмашинка с вставленным полуисписанным листом стояла теперь на полу в стороне. Ее место на столе занял микрокалькулятор, и Малянов, нависая над ним, пыхтя и обливаясь потом, пальцем левой руки набирал программу, считывая ее с длинного листка бумаги. Набрал, запустил счет. Калькулятор замигал красным окошечком дисплея, а Малянов удовлетворенно откинулся на спинку стула, отдуваясь и слизывая пот с верхней губы.

Затрещал телефон. Малянов приподнял и тут же опустил трубку жестом совершенно механическим.

За окном уже надвигался вечер. Люди появились на улице. У подъезда на скамеечке сидели неподвижные черные старухи. Жара спадала. Медно-красное солнце тяжело висело над голыми скалами-сопками, окружившими город.

Малянов быстро писал формулы, строчка за строчкой, густо, ровно, как по линейке. Потом вывел с особой тщательностью: «Легко видеть». Обвел рамкой. Второй. Третьей... Нервно захихикал, подсигивая на стуле. Застыл с идиотской улыбкой, выкатив невидящие глаза.

— Легко видеть! — провозгласил он.

Голос у него был хриплый, и он откашлялся. Телефон брякнул неуверенно. Малянов строго посмотрел на него и сказал:

— Теперь, на самом деле, надо насчет пучностей уточнить... На самом деле, насчет пучностей чушь какая-то у нас получилась, Малянов... — Он принялся перебирать листочки, разбросанные по столу и по полу. — «Отсюда ясно...» — прочитал он. — Вот тебе и ясно. Ясно, что ничего не ясно...

И тут раздался звонок в дверь.

* * *

За порогом квартиры стояла понуро, словно отбывая некое неведомое наказание, нескладная молоденькая девица в унылой длинной юбке и затрапезной кофте неопределенного фасона. Испуганные, слегка косящие глаза за толстыми стеклами очков. Костлявые лапки прижимают к животу тоскливого вида ридикуль. И возвышается у ног чудовищный полуторный чемодан, обвязанный белой бечевкой...

Малянов, свирепо хмурясь и играя желваками, еще раз перечитал записку.

— Узнаю свою первую жену, — произнес он с горечью.

— Она сказала, что вы будете только рады... — пролепетала девица.

— Ну еще бы! — сказал Малянов саркастически. — «Она тебе оч. понрав.», — процитировал он из записки. — Это вы. Вы мне оч. понрав.

— Да... — угасающим голосом проблеяла девица. — Но я не буду мешать.

Малянов глянул на нее почти злобно, но тут же спохватился. В сущности, он был человек добрый и склонный к сочувствию.

— Ладно, — сказал он. — Победила дружба. Заходите. Лидочка?

— Да, — сказала девица, счастливо заулыбавшись. У нее даже глаза за очками увлажнились подозрительно. Она подхватила свой чудовищный чемодан и двинулась вперед. Малянов еле-еле успел перехватить.

— Ого! — крикнул он. — Что у вас там? Походная библиотека? Нет, вот сюда, налево...

Он почти протолкнул растерявшуюся Лидочку в бывшую детскую.

Здесь в углу пестрели заброшенные и забытые игрушки. Стены были увешаны яркими детскими картинками. Кое-где темнели квадраты невыгоревших обоев — там, где какие-то картинки были сняты...

Малянов грохнул чемодан в угол и приказал Лидочке сесть. Она поспешно и послушно опустилась на кушетку, глядя на Малянова овечьим взглядом.

— Спать будете здесь! — распорядился Малянов. — Окно можете открыть. Белье — в шкафу. Сортир — налево за углом. Найдете. Ванна там же. Очень удобно. Я буду работать. Пока я работаю, в доме должна царить абсолютная тишина. Ваша подруга, она же моя первая жена, этого не понимала, поэтому я ее выгнал. Сечете?

В косеньких глазах появился ужас. Малянову это очень понравилось.

— Можете лежать, сидеть, читать. Можете играть вот с тем зайцем. Но тихо! Никакой беготни, никаких этих считалок, песенок и тэ дэ...

Внезапно чудовищный чемодан поехал сам собою по полу и повалился набок. Загудело за окном. Качнулась люстра. Лидочка ошеломленно ойкнула и вцепилась обеими руками в кушетку.

— Спокойно! — сказал Малянов. — Это маленькое землетрясение. В вашу честь. У нас тут бывает... А завтра ожидается даже небольшое солнечное затмение. Тоже — в вашу, как я понимаю, честь...

За окном было уже совсем темно. Малянов включил настольную лампу и сидел за столом, положив волосатые кулаки по обе стороны от чистого листка бумаги, набычившись, выдвинув челюсть, словно собирался наброситься на кого-то, кто сидит по другую сторону стола. Но там никого не было. И в комнате никого не было. Дверь закрыта. Слышно, как ворчит вода в ванной и позвякивает посудой Лидочка на кухне. Потом там раздается отчаянный сдавленный вопль, дребезг стекла, и наступает мертвая тишина.

Малянов вздрогнул и посмотрел на закрытую дверь. Выражение его лица переменялось. Он вытянул губы дудкой, повел носом, как всегда, когда намеревался состричь, но тут же забыл обо всем, схватил фломастер и нарисовал на листке жирный красный контур, а на контуре — стрелку. Взял другой фломастер — зеленый. Рядом со стрелкой красиво вывел «е». Откинулся на спинку, чиркнул спичкой, закурил удовлетворенно, но тут скрипнула дверь, и Лидочка, просунувшись в комнату половинкой жалкой физиономии, пролепетала горестно:

— Дмитрий Алексеевич, я чашку разбила.

— Как! — театрально провозгласил Малянов, развлекаясь. — Еще одну?

— Да. Синюю. С корабlichem.

Малянов встал.

— Черт побери! — сказал он уже без всякой театральности. — Извините, Лидия, но вы все-таки поразительная корова!

— Я нечаянно, Дмитрий Алексеевич!..

Малянов проследовал на кухню. Стол там был накрыт к ужину, и со вкусом. Кушанья разложены по тарелочкам. Салат. Зелень. Капельки воды весело искрились на свежeweымытой редиске...

А на углу стола лежала синяя чашка в трех частях. Малянов взял в руку одну из частей и бережно покрутил ее в пальцах. Взял вторую. Попытался сложить. Части сложились охотно, и образовалась золотистая надпись: «...ому папе на день рожде...».

Малянов посмотрел на Лидочку. Та обессиленно опустила под его взглядом на табуретку, и поза ее выразила такое отчаяние, что он смягчился.

— Ладно уж, — сказал он. — Долой сантименты! Где ведро?

— Не надо в ведро, — сказала Лидочка. — Я сама склею.

— С вашими способностями вам знаете что надо склеивать?

— Не знаю, — сказала Лидочка отчаянно. — Я вам еще доску расколола.

— Какую доску?!

— Деревянную. Для хлеба.

Малянов картинно развел руки.

— Ну, это уже все! — провозгласил он. — Вызываю специалиста. Пора.

— Не смейтесь! — сказала Лидочка. — Ничего смешного здесь нет! Вы просто ничего не понимаете... Вы как каменный... Шуточки, прибауточки, а глаза — мертвые, пустые, и весь вы там... — Она ткнула пальцем в сторону кабинета. — С вашими дурацкими проклятыми формулами!.. Вы же не соизволили узнать меня. Я для вас сейчас чучело гороховое, посмешище, а тогда ухаживали, руки целовали... цветы...

Малянов не глядя нащупал стул и уселся.

— Какие цветы? — сказал он растерянно. — Когда?

— Четыре года назад. В Гаграх. Вы еще ходили в такой желтенькой рубашке с надписью: «Дельта сайнс фикшн»... — Она вдруг улыбнулась сквозь слезы. — Помните, как вы меня тогда дразнили: «Лидия! Отвратительная мидия!..» Мы с вами мидий

собирали и варили из них похлебку с луком. Ну неужели вы совсем ничего не помните?!

Малянов, растерянно таращивший на нее глаза, не успел ничего ответить, потому что в дверь забарабанили и затрещонили разом, будто целая толпа хулиганов рвалась в квартиру, но оказалось, что это всего-навсего один тощий старикашка — сосед с нижнего этажа.

— Вы что тут — с ума все сошли! — ужасным фальцетом вопил он. — Ведь у меня же там все затопило! Что вы тут делаете? Куда смотрите? Потолок же обваливается... обои! Книги!..

Малянов метнулся в ванную. Ванна была переполнена, на полу — по щиколотку воды. Горячей. С паром.

— Лидия! — загремел Малянов. — Ведь я же предупреждал вас, что сток не работает!..

Он схватил тряпку, пустое эмалированное ведро и шагнул в ванную.

Он собирал воду тряпкой и отжимал ее в ведро. Она работала мусорным совком, и довольно ловко. Оба они были мокрые от пота, воды и пара, а старикашка реял над ними, не переставая браниться и жаловаться.

— Надо быть самой фантастической короной...

— Не предупреждали вы меня! Не предупреждали, и все!

— Самой надо соображать! Самой! Голова вам на что?

— Нет, таких людей нельзя селить в современном доме! — Это уже старикашка. — Это же дикие люди! Таким надо жить в деревне, в кишлаке... Из шайки мыться!..

— Я вам говорил, что струя слишком сильная?

— Нет, не говорили!

— Я вам...

— Не говорили, не говорили, не говорили!!!

— Из шайки, из корыта мыться, но не в ванне...

— Второе ведро возьмите, я вам говорю! В кладовке!

— Откуда мне знать, где тут у вас кладовка!..

— Нет, я все понимаю! — Это — старикашка. — Я сам интеллигентный человек. Но ежегодно устраивать потоп... Ежегодно!

И звенит совок о край ведра, и всхлипывает залитая слезами Лидочка, и ужасно кряхтит Малянов, ползая на коленках по мокрому кафелю пола.

Малянов стоял над своим рабочим столом, тщательно утирался большим махровым полотенцем и туло рассматривал огненно-красный контур на чертеже, забытом на столе. По всей квартире было натоптано мокрыми ногами, входная дверь распахнута настежь, гремел мусоропровод с лестницы, и доносились из кухни душераздирающие рыдания.

Малянов тяжело вздохнул, смял чертеж с красным контуром, бросил бумажный комок на пол и, растирая полотенцем спину, направился в кухню.

... Все уладилось, впрочем, наилучшим образом. Они вкусно и с аппетитом поужинали, выпили водочки из роскошной импортной бутылки, потом откупили хвanchкару. Лидочка раскраснелась, развеселилась и чудо как похорошела. Малянов в свежей белой сорочке и причесанный выглядел почти элегантно — мешала, однако, трехдневная щетина. Разговоры велись самые легкомысленные. Например, о ложной памяти.

— Да нет же, Дмитрий Алексеевич! Я все помню совершенно отчетливо! И эту вашу ярко-желтую рубашечку, и голос ваш, и какие стихи вы мне читали над морем...

— Какие же?

— «Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоровший многие племена...»

— Гм. Мо-от быть, мо-от быть... Но, золотко мое...

— Ирина нас познакомила, а потом сама же и ревновала ужасно...

— Вполне! Вот это — вполне! Очень похоже на мою первую жену. Но, Лидочка, поймите... Да, я люблю женщин. К чему скрывать? И они меня любят. И у меня было их много. И моей первой жене это чертовски не нравилось... Но, деточка, не настолько же много их у меня было, чтобы я забывал целые эпизоды!

— А как пограничники за нами гнались, тоже не помните?

— Нет. А почему это за нами вдруг погнались пограничники?

— Мы сидели с вами на пляже поздно вечером. Они прошли мимо, а вы прошептали им вслед таким зловещим шепотом, на весь пляж: «Место посадки обозначьте кострами...»

Малянов радостно ржал, мотал щеками и приговаривал:

— И все-таки не было этого ничего. Не было! Ложная память, дитя мое, ложная память... Это все вам приснилось...

Лидочка с почти священным трепетом рассматривала пустой уже панцирь омара, в то время как Малянов излагал ей предысторию сегодняшнего ужина.

— ...И вино, и водка, и зелень, и все эти вкусности... Представляешь, мать? — Они уже были на «ты».

— И все оплачено?

— И все оплачено! Кем? Не знаю. Как все это получилось? Представления не имею...

— Но ведь ты понимаешь, Митя, что так не бывает. Даром ничего не бывает. За все приходится когда-нибудь платить. И хорошо, если деньгами. Потому что если не деньгами, то чем же?

Лидочка говорила все это так серьезно, с такой неожиданной печалью и горечью в голосе, что Малянов, убравший столовой ложкой остатки салата, приостановил свое занятие и посмотрел на нее с сомнением.

Строгая и грустная девушка сидела перед ним. Красивая. Очень чужая и странная. За спиной ее качалась и шевелилась на стене огромная бесформенная тень. А омар в тонких пальцах шевелился как живой и словно пытался вырваться, освободиться, уползти куда-нибудь подальше.

В легком разговоре возник явный и неприятный перебой. Оба молчали. Оба искали, что сказать, и не находили. Малянов несколько судорожно схватил бутылку и принялся старательно подливать вино в стаканы, и без того полные.

— Ну-ну уж, прямо-таки... — промямлил он. — С-слушай... Да! А какие у тебя, мать, планы в нашем прекрасном городишке?

— Планы? — Этот простой вопрос привел, по-видимому, Лидочку в полное недоумение. Она явно не знала, что на него ответить. — У меня?

— У тебя, у тебя.

— А что тут у вас есть?

— Н-ну, как что? Море. Пустыня вон, за сопками... Все есть. Обсерватория. Старый город... Мечеть одиннадцатого века... Слушай, старуха, ты все равно стоишь, достань-ка вон там, с полки, альбом...

Лидочка сейчас же послушно вскочила за альбомом, и Малянов, оживившись, принялся рассказывать про мечеть и про обсерваторию, иллюстрируя свою импровизированную лекцию фотографиями из альбома.

Потом, когда со стола было убрано, сели пить чай с вареньем. Малянов все порывался рассказать о своей работе, но Лидочку это совсем не интересовало. Более того, разговоры о маляновской работе не то злили, не то раздражали ее.

— Не надо, Митя! Не хочу!

— Нет, мать. Ты попробуй представить себе эту картину: жуткая черная бездна, пустота... пустота абсолютная, человек не может себе такую даже вообразить — ни пылинки, ни искорки, ничего! И ледяной холод. Мрак и холод. И вдруг, словно судорога, — взрыв, беззвучный, конечно, звуков там тоже нет... И эта мрачная пустота... это пустое пространство содрогается и сминается, как пластилиновая лепешка...

— Ну не надо, Митя! Я прошу вас, пожалуйста... Не могу я, когда вы об этом говорите и даже думаете... Я не шучу, не смеяться...

— Старуха! — возмутился Малянов. — Ведь мы с тобой выпили на брудершафт!

— Ну, хорошо, ну, «ты»!.. Только не надо больше про это...

— Эх, Ньютону бы об этом рассказать! Вот бы старик воспламенился! Это он только языком трепал: гипотез, мол, не измышляю. Гордое смирение! А у самого воображение работало ого-го!

— Я, слава богу, не Ньютон.

— Старушечья! Я же популярно... без математики...

— И популярно не надо. Не думай об этом.

— Невозможно, мать. Когда я работаю, я думаю только о работе.

— А ты не думай. И не работай. Черт побери, Дмитрий! Ты ведь сидишь рядом с женщиной!.. И что это за мужики пошли...

— Дети и книги делаются из одного материала, — процитировал Малянов не без скабрёзности.

— Что это такое?

— Бальзак. Или Флобер. Не помню точно.

— Не понимаю.

— А что тут понимать? Либо детей делать, либо книги. Одновременно — не пойдет. Материала не хватит.

— Глупости какие!

— Безусловно. Но сказано элегантно. А может быть, не так уж и глупо, если призадуматься.

— Не надо призадумываться!

— Ох, до чего же вы, бабы, не любите призадумываться!

— А нам это ни к чему. Мы и так все знаем. Наперед. Ведь Ева съела яблоко, а Адам, бедняжка, только надкусил.

Малянов посмотрел на нее критически. Да, она явно кокетничала. Она пыталась ему понравиться, бедняжка. Старалась показаться значительнее и умнее. Но слишком уж она была непривлекательна в дурацком своем наряде и безобразных очках. И косая вдобавок!

— Эх, мать... — Малянов поднялся и налил еще чаю, себе и ей. — Жаль мне вас. Думать — это, брат, прекрасно! Это единственное, что отличает нас от обезьяны. Иногда меня вдруг осеняет: вот сижу я за столом, такой маленький, такой жалкий, ничтожный, крошка, пылинка, полпылинки... а в мозгу у меня — вспыхивают и гаснут вселенные!.. Когда я осознаю это... Старуха! Это ощущение я не променяю ни на какую женщину!.. Вот дети, это — да! Ребенок — это сгусток будущего. Это, мать, будит воображение... Это, знаешь ли... На самом деле... — Он вдруг ожил. — На самом деле, настоящие идеи, они похожи на детей, честное слово. Они зарождаются под черепушкой, как дети во чреве, и копошатся там, и сладко так толкаются... Ты рожала когда-нибудь, старуха? Нет? Ну, ты тогда не поймешь...

Все это он говорит без тени юмора. Ему и в голову не приходит, что в его устах это звучит забавно. Аналогия только что пришла ему в голову и страшно его увлекла.

— ...Заметь, они требуют усиленного питания — духовного, конечно, в первую очередь... и всяческого внимания, и бережного отношения, и времени... Упаси бог поторопиться — будет выкидыш!.. А потом происходит таинство... акт появления на свет... роды, если угодно... Бог ты мой, как это на самом деле мучительно! Если бы ты понимала! Роды ее, перенеси на бумагу, дай ей

словесную, знаковую плоть... И какая она жалкенькая сразу после рождения — даже самая могучая идея! — какая она беспомощная, сырая, уродливая...

Тут вдруг Лидочка посмотрела Малянову через плечо и отчаянно взвизгнула. Малянов резко повернулся, повалив табурет. В полусумраке коридорчика страшно светилось изуродованное лицо Снегового.

Секунду стояла напряженная тишина, а потом Снеговой проговорил хрипло:

— Извините меня, Дмитрий Алексеевич, но дверь у вас была настежь...

— Бога ради, бога ради! — зачастил опомнившийся Малянов. — Замок дрянь, не защелкивается... Да вы заходите, Арнольд Палыч, садитесь.

— Нет-нет! Ни в коем случае, Дмитрий Алексеевич... — Снеговой был вполне корректен и вел себя совсем по-светски, но странно было, что, разговаривая с Маляновым, он почти неотрывно глядел на Лидочку. — Ни в коем случае! Я ведь почему зашел? Книгу! Книгу же я вам обещал и совсем забыл... Вы, может быть, заглянете сейчас ко мне?

— Какую книгу? — ошеломленно бормотал Малянов. — Что-то я не прип...

— А то я, знаете ли, завтра убываю, и надолго... — продолжал вещать Снеговой, беря Малянова за рукав халата и увлекая его за собой. — Я забираю его у вас буквально на минутку, — обратился он к Лидочке. — Извините меня... — И снова к Малянову: — Было бы глупо, если бы я забыл... Сам же обещал, даже навязывал, и сам же забыл... Однако же, слава богу, вспомнил в последнюю минуту...

Продолжая молотить одно и то же, как заведенный, он протаскивал Малянова через прихожую, а на лестничной площадке, когда Малянову удалось наконец освободить свой рукав и он уже рот раскрыл, чтобы разразиться негодующей речью, Снеговой близко глянул ему в глаза и вдруг поднял и прижал к своим губам толстый корявый палец.

После этого немыслимого жеста Малянов, потрясенный и заинтригованный, полностью покорился, и они осторожно, почти

на цыпочках, прокравшись через лестничную площадку к обитой дерматином двери.

В квартире Снеговой свет горел повсюду — в прихожей, в обеих комнатах, в кухне и даже в ванной. Все мыслимые источники были включены. И вообще квартира производила довольно-таки странное впечатление. Повсюду — на полках, на столах, на стенах — располагались десятки и сотни разнообразнейших раковин и улиток — от огромных тропических, рогатых и многоцветных, до самых невидных, маленьких и скромных, россыпью наваленных в огромное блюдо на журнальном столике. И не только улитки — самые неожиданные спирали и их красочные изображения наполняли квартиру. Винты, шурупы (и среди них — гигантские!), спиральные пружины, шнеки, яркие схемы каких-то спиральных образований и даже великолепные цветные фотографии спиральных галактик чуть ли не в полстены размером...

— Кто эта женщина? — негромко, но как-то очень напористо и с непонятной неприязнью спросил Снеговой, едва они вошли в комнату.

— Лидочка. Знакомая... Просто знакомая.

— Давно знакомы?

— Н-нет... Сегодня приехала... с запиской от жены...

— Вы же в разводе.

— Да. Но не могу же я отказать... — Малянов спохватился. — Арнольд Палыч, в чем дело? Вы ее знаете? Она что?..

— Стойте. Спрашивать буду я. Времени у нас нет, Дмитрий Алексеевич, вот что. Давайте по порядку. Во-первых, возьмите книгу.

— Какую?

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтоб потом не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Снеговой сел рядом и тотчас закурил. На Малянова он не глядел.

Снеговой, видимо, и в самом деле собирался уезжать. На полу и на стульях были расставлены раскрытые чемоданы, наполовину забитые одеждой, книгами и какими-то папками. На распах-

нутой дверце шкафа висел на распялочке темно-синий парадный костюм с орденскими ленточками, сорочка, галстук... Сам Снеговой был в обширной полосатой пижаме, в домашних стоптанных тапочках.

— Значит, по порядку... — прогудел он, глядя в угол и поминутно затягиваясь папиросой. — Во-первых. Над чем вы сейчас работаете?

— Я? А что?

— Вы ведь, кажется, астроном? Так?

— Так.

— Наблюдатель?

— Нет. Теоретик.

— А такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Губарь... Нет. Арнольд Палыч, что случилось?

Снеговой раздавил окурочек в пепельнице и тут же закурил снова.

— А фамилия Глухов?

— Глухов? Тоже нет... Хотя подождите, у Вечеровского есть же приятель Глухов... Владлен... Владлен...

— Историк?

— Д-да... кажется.

— Так! — Снеговой поднялся и, жуя окурочек, прошелся по комнате, засунув огромные свои лапы в карманы пижамы. — А Вечеровский?..

— Да я же вас с ним знакомил! Он биолог, очень крупный, с европейским именем...

— Да-да... Помню... Вечеровский... — прогудел Снеговой. — Помню, конечно... Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Это очень ценно, что вы мне сообщили... Да! Так над чем вы сейчас работаете?

И тут Малянову стало страшно. Снеговой был не похож на себя. Вопросы его скрывали какую-то тайную угрозу... И Малянов разозлился:

— Слушайте, Арнольд Павлович! — сказал он. — Я не понимаю!..

— Я тоже! — сказал Снеговой резко. — Я тоже не понимаю, а понять надо! Пока не поздно. Рассказывайте. Подождите!.. У вас закрытая тема?

— Какого черта закрытая! — сказал Малянов раздраженно. — Общая космология, немного астрофизики и звездной динамики... теория гравитации... Я доказываю, что некоторые виды сингулярностей устойчивы. Да вы все равно ничего не поймете, Арнольд Павлович.

— Сингулярности... — медленно проговорил Снеговой и пожал плечами. — В огороде бузина, а в Киеве дядька... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой засмолил третью папиросу. Он стоял перед Маляновым, нависая над ним, — огромный, сгорбившийся, страшный — и молчал. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. Извините меня, Дмитрий Алексеевич. У меня все.

— Да, но у меня не все! — сварливо сказал Малянов, поднимаясь. — С вашего позволения, Арнольд Павлович, я бы хотел узнать...

— Не могу, — сказал Снеговой, как отрезал. — Не имею права.

И, не обращая более никакого внимания на Малянова, он подошел к столу и принялся разгружать карманы пижамы. Носовой платок, грязный, мятый, — в угол. Пачка «Беломора». На стол. Коробок спичек. Еще один коробок спичек... Какие-то сложенные бумажки... авторучка...

Потом он извлек на свет огромный пистолет и сунул его небрежно в правый ящик стола.

Увидев этот пистолет, Малянов приоткрыл рот и тихонько попятился к двери.

На пороге своей квартиры Малянов задержался и прислушался. Дверь была приоткрыта, виднелся свет в щели, но звуков никаких слышно не было, кроме, впрочем, ворчания водопровода. Тогда Малянов осторожно прошел в прихожую. Дверь при этом отчаянно заскрипела, и Малянова всего перекосило от этого скрипа.

В кухне было пусто. Стол прибран, чисто протерт. Вся грязная посуда — в мойке. Пол подметен. Газ выключен. И никого.

И в ванной тоже никого. Висят на бельевой веревке розовые трусики и такой же лифчик.

Малянов прошел в кабинет, положил на край стола толстый справочник Снеговой и некоторое время стоял в нерешительности, озирая свое хозяйство: включенный калькулятор с красными цифрами на дисплее, груды исписанной бумаги, рулоны графиков, бумажные листы, разбросанные по всему полу...

Потом он вытянул губы дудкой, задрал брови повыше, словно собирався отмотать какую-нибудь шутку, повернулся и на цыпочках, но решительно направился в бывшую детскую.

Лидочка мирно спала. Мигающий фонарь за окном выхватывал из темноты контуры ее тела, закутанного в простыню, бледное, без кровинки лицо с поджатыми губами. Лицо это было сейчас таким непривлекательным и даже страшноватым, что Малянов, казалось, оставил свои решительные намерения и остановился на полдороге, неспособный решить, так ли уж ему нужно то, за чем он сюда приперся.

И вдруг давешний гул прокатился за окном, снова подпрыгнул и повернулся на месте огромный Лидочкин чемодан, и фонарь на улице сперва замигал и задергался, словно припадочный, а потом вдруг разгорелся в полную силу.

Всю комнату залило ртутным мертвенно-синим светом, и в этом свете Лидочка вдруг поднялась с постели, села, придерживая на груди простыню, и уставилась на Малянова ясными, широко раскрытыми глазами. Будто и не спала вовсе.

— Трясет... — сказал Малянов, словно оправдываясь. — Кому-то мы очень не нравимся...

— Дмитрий Алексеевич, — сказала Лидочка негромко, — идите сейчас же спать.

Голос у нее был, что называется, «железный», и опытное ухо Малянова не улавливало в нем ни тени надежды. Само по себе это, может быть, и не остановило бы его, но... Все было не так, как должно быть и бывает обычно в подобных случаях. И резкий беспощадный свет в окно — словно любопытствующий прожектор. И подрагивающие стены, и шорох штукатурки, осыпающейся где-то от подземных толчков. И женщина в постели... Не женщина сидела там, выпрямившись, прижавшись лопатками

к стене, — ведьма это сидела, кутаясь в простыню. Сухая кожа туго обтягивала лицо, и обнажились верхние зубы — то ли в улыбке, то ли в оскале каком-то.

— Так уж прямо и спать... — глупо сказал Малянов, переминаясь с ноги на ногу. — Рано еще спать. Пусть дети спят.

Лидочка молча смотрела на него. Ведьма на допросе.

— Ну что ты в самом деле! — сказал он, слегка приободрясь. — Лидия! Отвратительная мидия!

Лицо ее дрогнуло, она словно бы расслабилась мгновенно.

— Что ты глядишь на меня, как ведьма на допросе? — Он шагнул вперед и оказался на краешке кушетки. Женщина снова напряглась и чуть отодвинулась. — Ну ладно. Ну не буду. Как хочешь. Пойду тогда работать. Сегодня весь день не давали работать. Как с цепи сорвались, честное слово. Сначала — телефонные звонки. Потом этот деятель с замороженным омаром. Потом Вечеровский приперся...

— Потом я, — сказала Лидочка тихо.

— Потом ты, — согласился Малянов.

— А кто это сейчас приходил?

— Сосед.

— Зачем?

— Да так... Ерунда разная. Про тебя расспрашивал, между прочим.

— И что ты ему сказал?

— Сказал: это одна моя знакомая ведьмочка... — промурлыкал Малянов, предпринимая кое-какие разведывательные действия.

— А он?

— А он... всякие глупости спрашивал... про общих знакомых...

— А ты?

Малянов не ответил.

Он проснулся утром от выстрела. Выстрел ахнул у него прямо над ухом, так что он подскочил на тахте и сел, озираясь. В комнате все было, как вчера, но из раскрытого окна доносился какой-то галдеж, там рычали двигатели, высокий голос повторял: «Не создавайте препятствия... Проезжайте... Проезжайте

быстрее...» И какой-то смутный галдеж доносился из-за входной двери, с лестничной площадки.

Малянов спрыгнул с тахты и прежде всего высунулся в окно. У подъезда толпился народ, стояли неподвижно и ерзали, пристраиваясь поудобнее, многочисленные автомобили: милицеевская ПМГ с мигалкой, «скорые», газик Снегового и еще четыре «Волги» — три пропыленные, жеванные, черные и одна новенькая, ослепительно белая. Половина проезжей части была всем этим перегорожена. Проезжающие машины притормаживали, останавливались, гаишник с жезлом прогонял их прочь, покрикивая высоким голосом. Белая «Волга» вдруг газанула, из выхлопной трубы вылетел клубок светлого дыма, выстрелило оглушительно, и «Волга» заглохла...

Малянов кое-как оделся и выскочил на лестничную площадку.

Здесь, оказывается, тоже было полно народу. Малянов узнал кое-кого из соседей, но были и незнакомые, и все они концентрировались около распахнутой настежь квартиры Снегового. Были там среди прочих майор милиции, сержант милиции, двое в штатском, врач в белом халате и дворничиха...

— Что случилось? — спросил Малянов давешнего старикашку из квартиры снизу.

— Смерть случилась, дорогой мой, — торжественно и печально произнес старикашка. — Смерть, голубчик... Беда-то какая, а?

— Кто?.. С кем?

— Снегового, Арнольда Павловича, знали вы? Из одиннадцатой квартиры...

— Ну?!

— Умер. Все. Ушел из жизни.

— Не... не может быть... — пролепетал Малянов, холодея.

— Увы. Уже и вынесли. Все. Финита ля комедия.

— Да что случилось?

Старикашка приблизил горбатый нос к маляновскому уху и прошептал:

— Застрелился он этой ночью. Вот сюда пулю послал... — Он постучал себя по виску. — И ни записки, ничего...

Малянов дико глянул на него и, оскользаясь в домашних шлепанцах, ссыпался по ступенькам. Внизу, в маленьком вестибюле,

опять же толклись люди. Здесь был лопоухий мальчишечка-шофер — он силился отворить вторую половинку двери в подъезде. Еще один сержант милиции. Какие-то вовсе бездельные, глазающие люди и два санитаря, держащие на весу носилки с длинным громоздким телом, укрытым простыней...

Пока давались со всех сторон советы, пока ковыряли дверь, пока со скрипом распахивали ее, Малянов стоял столбом, глядя на белое, длинное, мертвое... Он не в силах был ни уйти, ни подойти ближе.

Потом дверь распахнулась, носилки понесли, и только тогда Малянов протолкался к ним и пошел рядом. И вдруг он увидел глаз. Простыня была продрана, и сквозь дыру смотрел на Малянова широко открытый мертвый и потому совсем незнакомый глаз.

Вернувшись домой, Малянов сразу бросился к телефону, набрал номер и долго слушал длинные гудки. Потом пробормотал: «Ну да, у него же лекции с утра...» — и положил трубку. Он все еще не мог прийти в себя. Все еще стоял у него перед глазами огромный страшный Снеговой — как он выволакивает из кармана пижамы и засовывает в стол черный тусклый пистолет... И звучал мрачный голос: «Не имею права...» И мертвый глаз сквозь дыру в простыне смотрел на Малянова, словно с того света...

Малянова передернуло. «Жуть-то какая, господи!.. И глупо же, глупо!» Он бормотал эти слова, не замечая собственного бормотания, а сам снова и снова набирал телефон Вечеровского, уже забыв, что тот с утра на лекции. Телефон вел себя странно: то было занято, то шли бесконечные длинные гудки.

Потом он швырнул трубку и помчался к дверям детской. Постучал. Никакого ответа. Потряс дверь. То же самое. Заглянул внутрь. Все очень чисто, все прибрано и... пусто. Ничего и никого. И исчез громоздкий чемодан, занимавший весь передний угол, где игрушки.

В полном остолбенении Малянов прошел по квартире, заглядывая во все углы. Никого и ничего. И все прибрано, вычищено, вылизано — ни пылинки в доме. И только в ванной на бельевой веревочке сиротливо покачивались на сквознячке розовый лифчик и розовые же трусики.

— Нет, отцы, это чушь какая-то, — громко сказал Малянов.

Медленно, шаркая ступнями по полу, он вернулся в свой кабинет, присел было за стол, но тут же сорвался в прихожую, схватил с вешалки пиджак, обшарил карманы, вытащил бумажник, несколько скомканных кредиток, оглядел все это со стыдливым изумлением и сунул обратно.

— Все равно, — сказал он громко. — Тут что-то не то. Что-то тут, отцы мои, не получается...

Он вернулся в кабинет, снова набрал номер Вечеровского, снова оказалось занято. Он бросил трубку, рассеянно взял несколько листочков из папки, пробежал их глазами, нашарил в столе фломастер и старательно вычеркнул из рукописи очередное «легко видеть, что...».

И в этот момент в кухне звякнула ложечка.

Малянов вздрогнул и уронил листки.

В кухне кто-то был. Кто-то двигался там — шаркнули подошвы, снова брякнул металл о стекло, чиркнула спичка... Малянов слез с края стола и осторожно двинулся в направлении кухни.

Там спиной к Малянову стоял теперь низкорослый странный человек. Он колдовал с чайником над газовой плитой и, когда повернулся к Малянову, в одной руке держал заварочный чайник, в другой — распечатанную пачку чая.

Это был огненно-рыжий горбун в душном черном костюме. Сорочка под пиджаком у него была тоже черная, а галстук белый. И лицо белое, длинное, а борода клином, рыжая и ухоженная.

Малянов только рот раскрыл, чтобы рявкнуть: «Кто вы такой, черт вас побери совсем!», как горбун быстро заговорил:

— Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Меня зовут Губарь, Захар Захарович Губарь... Нет-нет, меня не Лидия сюда к вам пустила, нет, ее уже не было здесь... Я сам зашел, ибо дверь была настежь... Нет-нет, это вам показалось только, что кухня пуста, я вот тут стоял, видите? А вы заглянули и сразу же ушли. Вот я и решил, куда вы звоните Филиппу Павловичу, дай-ка я чайку заварю... Но Снеговой, а? Какой кошмар! Тут уж поневоле голова кругом пойдет и всякое начнет мерещиться... Но нельзя, нельзя, Дмитрий Алексеевич! Нельзя! Поддаваться никак нельзя,

крепиться надо, держаться... Да вы садитесь, садитесь, я уж у вас тут успел разобраться, где что, и вас обслужу по первому разряду, и себя не забуду, правильно?

Он говорил быстро, весело, но в то же время как бы и с приличествующей печалью, он отвечал на незаданные вопросы Малянова и упреждал его инстинктивные действия. И стоило Малянову подумать (с некоторым испугом): «Губарь?.. Это ведь Снеговой что-то там говорил о Губаре...», как горбун уже подхватывал:

— Губарь, Губарь моя фамилия. И Снеговой вас именно обо мне спрашивал, мы с ним были знакомы... познакомились в свое время...

Какая-то неприятно угрожающая интонация прорвалась у горбуна в последней фразе, но он тут же спохватился:

— А вот и чаек! Прошу вас, Дмитрий Алексеевич. Сейчас, сейчас я все вам расскажу, зачем я у вас оказался, и почему, и с какой целью... Тогда вы сами убедитесь, Дмитрий Алексеевич, насколько все это серьезно и важно...

Малянов молча принял свою любимую чашку — большую цветастую — и отпил из нее. Ему по-прежнему не удавалось вставить ни одного слова, но ответы на большинство своих вопросов он уже получил.

— Знаю, Дмитрий Алексеевич, — продолжал между тем горбун, орудуя чайником, — сам знаю — странно. Все странно. И мое появление тут странно, и мое поведение, и сами слова, коими я ваши вопросы заглушаю. Однако же — терпение. Терпение, Дмитрий Алексеевич, и скоро все разъяснится. Ситуация складывается не совсем обычная, вот почему так странно все и необычно...

В паузах горбун не забывал отхлебнуть чайку. Он и чай даже пил не как все. Редко кто пьет сейчас чай так — из блюдца, поставив его на растопыренные пальцы, с шумом и подсасыванием, через кусочек рафинада.

— Нам с вами надобно разрешить всего лишь одну проблему, Дмитрий Алексеевич, но проблема эта... как бы это выразиться... мучительная проблема, Дмитрий Алексеевич. И для меня мучительная, и в особенности для вас... А для начала позвольте вопросик, всего один: над чем вы сейчас работаете?

Вопрос этот показался Малянову не менее странным и неуместным, чем все прочее. Он представить себе не мог, что, собственно, понадобилось этому удивительному горбуну в его, Малянова, доме. Скорее всего, что-то связанное с исчезновением Лидочки, но, может быть, и не с этим... может быть, с кончиной Снегового... В самом деле, не маляновская же работа привела его сюда!

— Над чем работаю? — повторил Малянов, растерявшись. — Что-то последнее время все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — сейчас же спросил горбун. — Кто еще интересовался?

Он сидел напротив Малянова, далеко отведя в сторону руку с растопыренными пальцами, на которых картинно дымились блюдце с чаем, и смотрел пристально и недобро, как смотрят на противника, а не просто на собеседника.

Впрочем, выражение лица его тут же переменялось на приятное.

— Ну да, ну да! — проворковал он, заговорщически подмигивая. — Снеговой же и спрашивал... Естественно! Что ему оставалось делать? Никак он не мог поверить, что все это никак не случайное совпадение...

— Что «не случайное совпадение»? — спросил Малянов резко. — О чем это вы все время говорите?

Торжество и неприязнь почудились ему в голосе горбуна, и он вдруг почувствовал приступ страха. Пусть пока еще необоснованного. Инстинктивного. И как всегда в такие минуты, голос его сел и захотелось откашляться. Он откашлялся.

— Да все — не случайное совпадение, — небрежно сказал горбун, вновь принимаясь отхлебывать и причмокивать. — Неужели же и вы, Дмитрий Алексеевич, ученый, интеллигент, неужели и вы считаете, что все это случайные совпадения? И что вам директорство предложили, филиал... в прошлом году и кандидатуру вашу обсуждать не стали, а в этом — бац! — безо всякого обсуждения взяли и предложили? И что телефонные звонки вам жить не дают? И омаров вам на дом поставляют... и женщин... Причем очень недурных женщин, согласитесь!..

Страшная и отвратительная мысль поразила Малянова, но горбун снова не дал ему раскрыть рта.

— Нет, нет, и нет! — очень громко и очень напористо вскричал он. — Ни в коем случае! И думать не можете, Дмитрий Алексеевич! Вы же и сами должны понимать, что это смехотворно. Ну какой же я агент иностранной разведки? Ну сами же посудите: агент должен быть человек тихий, скромный, малоприметный... А я? Да на меня же любая лошадь на улице оборачивается! Каждый, можно сказать, верблюд! Нет, нет и нет!.. Да вы ведь и тайн-то никаких не знаете. Может быть, вы думаете, что нам неизвестно, над чем вы сейчас работаете? Да прекрасно известно! Вы же в прошлом году на семинаре сообщение делали, а в феврале догадались, что надо преобразования Гартвига применить, вот у вас дело сразу и сдвинулось с мертвой точки, пошло как по маслу... Я ведь вам вопрос о работе только потому задал, что проблема у нас с вами, повторяю, мучительная... Ее не то что решить — даже и подойти-то к ней трудно. Надо же было мне как-то завязывать разговор, вот я и начал с вашей работы — для плавности, так сказать...

— Ну вот что... — начал было Малянов и даже поднялся почти, упираясь кулаками в столешницу, но горбун вдруг сказал ему: «Сядьте!» — да так жестко, что Малянов сразу же сел.

— Давайте без истерик! — продолжал горбун все так же жестко и уже без всякого ерничества в голосе. — Никакой измены Родине от вас не потребуются. Выкиньте этот бред из головы. Речь будет идти только о вас и о вашей работе. Больше ни о чем. Никаких государственных и военных тайн, никаких подписок, ничего подобного. Все дело в вашей работе, точнее, в вашей последней статье, еще точнее — в вашей теореме о макроскопической устойчивости. Нам это мешает, и мы самым убедительным образом просим вас дальнейшие размышления в этом направлении прекратить. Самым убедительнейшим образом, Дмитрий Алексеевич! — Он постучал ногтем указательного пальца по крышке стола, для вящей убедительности, что ли, и продолжал все так же жестко, словно гвозди вбивал: — К сожалению, скрытыми средствами отвлечения вас остановить не удалось. Администратором вы стать не пожелали, даже крупным. Обыкновенные житейские помехи на вас не действуют. Женщина вас по-настоящему ни отвлечь, ни увлечь не в состоянии. Даже смерть

Снегового... — Горбун резко и словно бы с отвращением отодвинул от себя блюдце с недопитым чаем. — Даже смерть Снегового, к сожалению... — Он снова не закончил фразы. — Впрочем, об этом у вас еще будет время подумать... Сейчас вы должны ясно понять следующее. Ваша работа нам мешает. Следовательно, она вредна. Следовательно, ее надлежит прекратить. Следовательно, она и будет прекращена. Настоятельно советую вам проявить благоразумие, Дмитрий Алексеевич!

Малянов слушал все это, холодея. Неправдоподобность и даже иррациональность происходящего возбудила в нем животный страх, какой у нормального добропорядочного человека бывает разве что в тяжелом душном кошмаре. И, как в кошмаре, он испытывал дурное оцепенение, язык не слушался его и руки ноги тоже.

А горбун — опять же ни с того ни с сего, словно его переключили на другую программу, — вдруг засуетился, замельтешил почти угодливо.

— А как насчет еще чайку? А? Свеженького? Пóнято! Айн момент! — И он мигом принялся за дело, вновь и вновь опережая Малянова в вопросах и движениях. — Кто такие «мы», чтобы требовать от вас чего-то, советовать, угрожать и так далее? Какое мы на то имеем право и откуда у нас на это власть? Резонно, резонно, но вы уж поверьте мне, Дмитрий Алексеевич, есть у нас и такое право, и такая власть... Ах, почему не живем мы с вами в благословенном девятнадцатом веке! Представился бы я вам генералом какого-нибудь таинственного ордена или жрецом Союза Девяти... Слыхали про Союз Девяти? Он учрежден был в незапамятные времена легендарным индийским царем Ашокою и существует до сих пор. Чудесно, тайно, авторитетно... Девять почти бессмертных старцев пристально следят за развитием науки на Земле, следят, чтобы слепая жажда познания не привела людей к преждевременной кончине человечества. Вы же знаете, какие бывают ученые: все ему трын-трава, лишь бы узнать, возможна какая-нибудь там цепная реакция или нет. Потом он узнает, конечно, что реакция да, возможна, но уже поздно! Вот Союз Девяти и следит за порядком в этой области. Если кто-то вырвется слишком далеко вперед, опасно вырвется, не вовремя, вот

тут-то и принимаются надлежащие меры! А иначе нельзя, Дмитрий Алексеевич. Никак нельзя! Знаете, что было бы, если бы Эйнштейну удалось построить единую теорию поля? Ведь там, в этой теории, есть такие нюансы... Бац! — и тишина. Надолго!

— Так вы что, жрец Союза Девяти? — спросил Малянов с усмешкой, принимая новую чашку чая.

Горбун замер в неудобной позе. Глаза его торопливо забегали по Малянову, лицо неприятно перекопилось, словно он забыл контролировать свою мимику.

— Не похоже, верно? — проговорил он наконец. — Чушь какая-то получается... Но ведь мы же с вами не в благословенном девятнадцатом. У нас на дворе — конец двадцатого. Электричество вот, газ, на мысу атомный опреснитель строят... Какие уж тут могут быть жрецы?

— Что вам от меня надо, вот чего я никак не могу понять, — сказал Малянов почти благодушно. — Если вы жулик, то...

— Стоп-стоп-стоп! — запротестовал горбун. — Мне от вас вот что надо: а — чтобы вы поняли свое положение, и бэ — чтобы при этом не свихнулись, не принялись бы драться или — упаси бог! — палить себе в висок из казенного пистолета... Понимаете? Чтобы вы все осознали, повели бы себя правильно и чтобы все было тихо-мирно, по-семейному. Вот что мне надо. Я вам специально передышку даю, психологическую, когда рассказываю про Союз Девяти. Бог с ним, с союзом этим, не до него нам сейчас...

— Ну а если я сейчас сюда милицию вызову? Приедет ПМГ...

— Да бросьте вы, в самом деле, милицией пугать, Дмитрий Алексеевич! Что это, в самом деле, за манера: чуть что — сразу милиция, ПМГ... Вы лучше судьбу Глухова вспомните!

— Какого Глухова?

— Да Владлен Семеныча.

— Не знаю я никакой судьбы Глухова...

— Ну тогда Снегового вспомните, Арнольд Палыча. Вспомните ваш с ним последний разговор... вспомните, какой он был, наш Арнольд Палыч... Между прочим, очень, очень твердый человек оказался. Иногда просто вредно быть таким твердым, честное слово... И куда он только ни обращался — и в милицию, и по начальству... Да только кто же ему поверит, посудите сами?

Тогда Малянов вытянул губы дудкой, поднялся с демонстративной неторопливостью и, повернувшись спиной, направился к телефону. Горбун продолжал говорить ему вслед, все повышая голос и все быстрее выстреливая слова:

— ...Вот и осталось ему одно, бедолаге, — пулю в висок. А куда деваться? Куда? Показания его — бред. А, так сказать, обвиняемый, то есть лично я, сегодня здесь, а завтра...

Он вдруг замолчал, словно его выключили. Малянов обернулся. Кухня была пуста. На столе оставался обсосанный кусочек сахара, блюдце с чаем, чашка... И все. И тишина. Особенная, тяжелая, ватная тишина, какая бывает в болезненном бреде.

И вдруг свет в кухне померк, будто облако закрыло солнце. Но небо за окном было по-прежнему чистое, знойное, белесое. И, однако, что-то там тоже было не в порядке: там, на улице, пронесся вдруг желтый пыльный вихрь, хлопнуло где-то окно, стекла зазвенели разлетаясь и раздались какие-то крики — не то отчаянные, не то радостные. И вдруг завyla собака. И другая. И еще...

Малянов, лунатически переступая, вышел на балкон, огляделся (никого на балконе, разумеется, не было), поднял глаза к небу.

Начиналось затмение.

Некоторое время Малянов следил равнодушно, как черный диск наползает на солнце, как бегают и прыгают ребятишки на улице, размахивая закопченными стеклами, как мечутся собаки... Потом вернулся на кухню, налил в стакан воды из-под крана, жадно выпил, залив себе грудь и живот. Резко повернулся: горбун сидел на прежнем месте, улыбался — почему-то грустно — и наливал чай из чашки в блюдце.

— Сегодня я здесь, а завтра... А завтра меня здесь нет, — проговорил он. — И никакая милиция меня не найдет. Так что давайте уж лучше без милиции, Дмитрий Алексеевич...

— Кто вы? — хрипло спросил Малянов.

— Меня зовут Губарь Захар Захарович, — с готовностью представился горбун еще раз. — Но я понимаю, вы не об этом меня спрашиваете... Кто мы? Это трудный вопрос, вот в чем дело. Давайте не будем его обсуждать. Поверьте, это совершенно неважно, кто мы. Важно, что мы — сила, неодолимая сила, или, как говорят на флоте, форсмажорная сила. Преодолеть нас вы не сможете,

вот что важно. Вы либо подчинитесь, либо погибнете — вот и весь ваш выбор, вот это, Дмитрий Алексеевич, вам действительно важно понять. А кто мы? В девятнадцатом веке мы назвали бы себя Союзом Девяти, в Средние века я был бы Мефистофелем, а нынче... Ну, разумеется, вы считаете меня ловким иллюзионистом, гипнотизером, хотя и сами в это не верите... Нет-нет, я не умею читать мысли, успокойтесь, я только умею их вычислять... Поймите, я не жулик и не шпион, я не гипнотизер и не фокусник...

— Пришелец с другой планеты...— хрипло сказал Малянов и откашлялся.

Горбун вскинул на него глаза — веселые, с сумасшедшинкой.

— Вы это сказали!

— Чушь, вздор...

— Не такая уж и чушь, голубчик! Не такой уж и вздор! Пришелец с другой планеты, представитель сверхмощной внеземной цивилизации — это такая же информационная реальность двадцатого века, как Мефистофель пятнадцатого или какие-нибудь туги-душители девятнадцатого... Не отмахивайтесь с пренебрежением! Подумайте! Ведь вам же легче станет, проще, понятнее... Сопоставьте факты. Ваша работа обещает в далеком будущем могучий рывок для всей земной цивилизации. А нашей цивилизации совсем не нужен соперник в Галактике, зачем нам соперник? И поэтому мы этот рывок уничтожаем самым безболезненным способом, еще в зародыше,— работу вашу останавливаем и прекр...

— Убирайтесь,— сказал Малянов негромко.— Убирайтесь вон!

— Дмитрий Алексеевич! Подумайте хорошенько.

— Пошел вон, сволочь! Работу тебе мою? Вот тебе — мою работу! — Малянов привстал со стула и сделал малопрстойный жест.— Я ее вам не отдам. Я ее доведу до конца, понял? Она моя. Я эту идею двенадцать лет вынашиваю, она меня измучила. Пошел вон отсюда! Ничего не получишь, пришелец ты или жулик... Мне все равно... Работу ему мою!..

Он замолчал и принялся гулко глотать остывший чай. Молчал и горбун. А в кухне становилось все темнее, и выли за окном собаки.

Потом зазвонили в дверь. Малянов поднялся было, но приостановился и поглядел на горбуна. Тот покивал.

— Давайте-давайте. Это к вам.

Малянов все смотрел на него. В дверь позвонили снова.

— Открывайте-открывайте,— сказал горбун.— Не мытьем, так катаньем, Дмитрий Алексеевич. У нас, знаете ли, тоже выхода нет. Приходится пользоваться самыми разными средствами...

Тогда Малянов осторожно снял с гвоздя шипастый тяжелый молоток для отбивания мяса, демонстративно взвесил его в руке и неспешно двинулся через прихожую к входной двери.

За порогом, на площадке, стоял мальчик лет семи. На мальчике были трогательные короткие штанишки с двумя ляпочками через плечо и с поперечной ляпочкой на груди — так одевали обеспеченных мальчиков в тридцатые-сороковые годы, и вообще он производил впечатление ребенка из тех времен, а короткая стрижка с челочкой еще усиливала это впечатление.

Больше на лестничной площадке никого не было. Мальчик стоял один — хмурый, насупленный, руки за спиной.

— Тебе кого надо? — спросил Малянов, не зная, куда теперь девать шипастый молоток.

— Я к тебе,— ясным голосом ответил мальчик.— Я теперь буду у тебя жить.

— Что еще за глупости,— сказал Малянов сурово.— Кто это тебя, интересно, подучил?

— Ай! — вскричал вдруг мальчик, отступая на шаг и заслоняясь ладонями и локтями. Он глядел мимо Малянова, за спину ему, в коридор, и Малянов сейчас же обернулся, заранее отводя молоток для удара.

Но в коридоре никого не оказалось, а мальчишка, довольно гадко хихикнув, прошмыгнул мимо Малянова и по-хозяйски пошел по квартире, отворяя все двери и заглядывая во все комнаты. Ошеломленный Малянов следовал за ним как привязанный.

— Это детская, ясно...— говорил мальчик, подшмыгивая носом.— Твоего Петьки комната? Ничего себе комнатка — светлая, квадратная... Ага. Это у тебя санузел. А почему ванна грязная? Ванну надо мыть — и до и после... И полотенца небось месяц не стираны... Кухня. Ясенько...— В кухне мальчик чуть задержался,

искоса поглядел на стол (пустое блюдце, обсосанный кусочек сахара, чашка, а горбуна, разумеется, и в помине нет), но ничего не сказал, проследовал на балкон. — Здесь что? Ага, здесь затмение... Хорошо. И балкон у тебя хороший, только бутылки надо вовремя сдавать... — Он вернулся в кухню и снова задержался у стола. — А этот... Ушел, что ли? Давно?

Малянов обрел наконец дар речи:

— Послушай-ка, — сказал он. — Кто тебя подослал?

— А в общем-то, ушел — и слава богу, — сказал мальчик, не обращая внимания на вопрос. — Главное, что его тут нет. И воздух чище. Ты знаешь, ты с ним лучше не связывайся. Ты вообще с ними не связывайся...

— С кем?!

— Тебе-то, может, и ничего не будет, а вот меня они не пожалуют...

Тут Малянов поймал его за плечи и, усевшись, поставил у себя между колен.

— А ну, давай рассказывай все, что знаешь!

Но мальчик вывернулся. Он не хотел стоять (по-сыновьи) между маляновских колен.

— А я еще меньше твоего знаю, — сказал он небрежно. — Да тут и знать-то нечего. Сказано тебе: прекрати, вот и прекращай. А то грамотные все очень стали, рассуждают все: что да как... А тут, знаешь, рассуждать нечего. Тут — закон джунглей. Или ты ложись на спинку и лапки кверху, или... это... не жалуйся.

Малянов поднялся.

— Пойдешь со мной, — объявил он.

— Куда это?

— Пошли, — сказал Малянов, беря мальчика за плечо.

Мальчик послушно позволил вывести себя в прихожую, подождал, пока Малянов отворит наружную дверь, и тут вдруг словно взорвался.

Он мигом вскарабкался по Малянову, как кот по столбу, и принялся лупить его коленками, кулаками, локтями, драл его ногтями и все норовил прихватить зубами щеку или ухо. При этом он орал. Он ужасно орал, выл и верещал, как истязуемый.

— Ой, дяденька, не надо! Ой, больно! Ой, я больше не буду! Дяденька! Не надо! Это не я! Это не я! Не бей меня, я больше не буду!..

Малянов шарахнулся, пытаясь отодраться от себя этого маленького дьявола, но тщетно. Мальчишка дрался и орал как оглашенный, а по всей лестнице уже захлопали двери, зашаркали шаги.

— Что там такое?.. — раздавались голоса. — Что случилось? У кого это? Кажется, ребенок...

Малянов ввалился обратно в квартиру, и мальчишка тут же очень ловко ногой захлопнул входную дверь. Потом он отпустил Малянова, легко соскользнул на пол, шмыгнул носом.

— Вот так-то лучше, — сказал он как ни в чем не бывало. — А то выдумал — милицию в это дело впутывать. Это же — дело деликатное, неужели до сих пор не ясно? Посадят тебя в психушку — и все дела. Не балуй, дядя!

И он не спеша, руки в карманы, проследовал в маляновский кабинет. Огляделся там. Подошел к столу, вскарабкался в маляновское рабочее кресло, небрежно переброешил несколько листков.

— Все истину ищешь... — пробормотал он осудительно. — Гармонию!.. Не подпирай стенку, сядь. Придется мне вогнать тебе ума в задние ворота... Это кто? — Он выкопал из бумаг фотографию мальчика под стеклом на подставочке. — А, Петька... Сын, стало быть. Вот ты гармонию ищешь, — обратился он к Малянову проникновенно, — а понимаешь ли ты, что вот сына твоего не тронут, это, видите ли, дешевый прием, запрещенный, видите ли... Тебя самого, скорее всего, тоже не станут уничтожать, хотя это вопрос более сложный... А вот со мной церемониться не будут!

— Почему? — спросил очень маленький и очень тихий Малянов, сидящий на краешке тахты у двери.

— А чего со мной церемониться? Кто я такой, чтобы со мной церемониться? Нет, со мной церемониться не будут, не надейся! Ты будешь искать здесь вечную гармонию, весь такой погруженный в мир познания, а меня тем временем... — Он не закончил, сполз с кресла и пошел наискосок через комнату к книжным полкам. — А меня тем временем за это, то есть за искания твои, за

твои чистые, бескорыстные искания истины... Вот! — Он перелистнул том Достоевского. — «Да не стóит она (то есть твоя гармония, дяденька) слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!» Помнишь, откуда? «Братья Карамазовы». Это Иван говорит Алеше. «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Вот сказал так сказал! На сто лет вперед сказал! А может, и на двести? Ведь слова-то никогда и ничего не решали... — Он захлопнул книгу и вдруг попросил: — Кушать хочу! Кушинькать!..

Он сидел на кухне на толстом справочнике, подложенном под него на табуретку, уплетал ложкой яичницу из сковородки и продолжал уговаривать Малянова:

— А ты брось, в самом деле. Брось, и все. Не ты первый, не ты последний... Главное, было бы из-за чего спорить! Я ведь посмотрел, что там у тебя, — закорючки какие-то, циферки, ну кому это надо, сам посуди! Кому от них легче станет, чья слеза высохнет, чья улыбка расцветет?..

— Нет, старик, ты не понимаешь... — проникновенно втолковывал в ответ Малянов. Он основательно хватил из фигурной бутылки с ликером, и настроение его теперь менялось в очень широком диапазоне. — Во-первых, глупости, что это никому не надо. Тогда и Галилеевы упражнения с маятниками, они тоже никому были не нужны? Или там про вращение Земли — кому какое дело, вертится она или не вертится? Да и не в этом дело! Не могу! Не могу я это бросить, паря! Это же моя жизнь, без этого я ничто... Ну, откажусь я, ну, забуду — и чем же я тогда стану заниматься? Жить для чего? И вообще — что делать? Марки собирать? Подчиненных на ковре распекать? Ты способен понять, какая это тоска, вундеркинд ты с лялочками? И потом — никакая сволочь не имеет права вмешиваться в мою работу!..

— Галилей ты задрипанный! — убеждал мальчик. — Ну что ты строишь из себя Джордано Бруно? Не тебе же гореть на костре — мне! Как ты после этого жить будешь со своими макроскопическими неустойчивостями? Ты об этом подумал? Без работы он, видите ли, жить не сможет...

— Да вранье все это. Запугали они тебя, паря! Ты мне только скажи, кто они такие...

— Дурак! Ой, дурак какой!

— Не смей взрослого называть...

— Да поди ты! Сейчас не до церемоний! Вот подожди... —

Мальчик снова раскрыл том Достоевского и прочитал с выражением: — «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка... м-м-м... и на его слезках основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях...» А? Согласился бы?

Малянов слушал его, полуоткрыв рот. Мальчишка читал плохо, по-детски, но смысловые ударения ставил правильно. Он понимал все, что читает. И когда мальчик кончил, Малянов замотал щеками, словно силясь прийти в себя, и пробормотал:

— Бред, бред... Ну и ну!

— Ты не нуинукай! — наступал мальчик. — Ты отвечай, согласился бы или нет?

— Как тебя зовут, странное дитя?

— Не отвлекайся! Да или нет?

— Ну, нет! Нет, нет, конечно.

— О! Все говорят нет, а посмотри, что кругом творится! Крохотные созданища мрут, как подопытные мухи, как дрозофилы какие-нибудь, а вокруг все твердят: нет! ни в коем случае! дети — цветы жизни!.. — Он вдруг широко зевнул. — Спатиныки хочу. А ты думай. И не будь равнодушным ослом. Я ведь знаю, ты детей любишь. А начнешь себя убеждать да накачивать: дело прежде всего! потомки нас не простят!.. Ты же понимаешь, что ты не Галилей. В историю тебя все равно не включают. Ты — человек средненький. Просто повезло тебе с этими полостями устойчивости — додумался раньше прочих... Но ведь ты человек вполне честный? Зачем тебе совесть-то марать, ради чего?.. — Он снова зевнул. — Ой, спатиныки хочу. Спатки!

Он протянул к Малянову руки, вскарабкался ему на колени и положил голову на грудь. Глаза у него тут же закрылись, а рот приоткрылся. Он уже спал.

Некоторое время Малянов тихо сидел, держа его на руках. Он и в самом деле любил детишек и ужасно скучал по сыну. Потом все-таки поднялся, осторожно уложил мальчика на тахту в кабинете, а сам взялся за телефон.

— Вечеровский? Фил, я зайду к тебе. Можно?

— Когда? — спросил Вечеровский, помолчав.

— Немедленно.

— Я не один.

— Женщина?

— Нет... один знакомый.

У Малянова вдруг широко раскрылись глаза.

— Горбун? — спросил он, понизив голос. — Рыжий?

Вечеровский хмыкнул.

— Да нет. Он скорее лысый, чем рыжий. Это Глухов. Ты его знаешь.

— Ах, Глухов? Прелестно! Не отпускай его! Пусть-ка он нам кое-что расскажет. Я иду! Не отпускай его. Жди.

Малянов подкатил на своем старинном велосипеде к высокому антисейсмическому дому, окруженному зеленым палисадником, соскочил у подъезда и принялся привычным движением заводить велосипед в щель между стеной и роскошной белой «тридцать второй» «Волгой» (с белыми «мишленовскими» шинами на магниевых литых дисках).

Пока он этим занимался, дверь подъезда растворилась и из дома вышел давешний лопухий шофер, который возил только вчера Снегового. Выйдя, он оглянулся по сторонам как бы небрежно, но небрежность эта была явно показной. Шофер чувствовал себя не в своей тарелке и сильно вздрогнул, даже как-то дернулся, словно собирался броситься наутек, когда из-за угла вывернула и протарахтела мимо какая-то безобидная малолитражка. Малянова и появление шофера, и поведение его несколько удивили, но ему было не до того, и когда шофер, торопливо усевшись в кабину своего газика, уехал, Малянов тут же забыл о нем.

Он вошел в подъезд и нажал кнопку квартиры 22.

— Да? — отозвался хрипловатый радиоголос.

— Это я, — сказал Малянов, и дверь перед ним распахнулась.

Он медленно пошел по лестнице на четвертый этаж. Он ступал тяжело, тяжело сопел, и лицо его стало тяжелым и мрачным. Лестница была пуста и чиста — до блеска, до невозможности. Сверкали хромированные перила, сверкали ряды металлических заклепок на обитых коричневой кожей дверях — Вечеровский жил в каком-то образцово-показательном доме, где все было по классу «А».

У Вечеровского и квартира образцово-показательная, где все было по классу «А». Изящная люстра мелкого хрустала, строгая финская стенка, блеклый вьетнамский ковер, несомненно, ручной работы, круглый подсвеченный аквариум с величественно-неподвижными скаляриями, ультрасовременная хай-фай-аппаратура, тугие пачки пластинок, блоки компакт-кассет... В углу гостиной — черный журнальный столик, в центре его — деревянная чаша с множеством курительных трубок самой разной величины и формы.

Хозяин в безукоризненном замшевом домашнем костюме (белая сорочка с галстуком! дома!!!) помещался в глубоком ушастом кресле. В зубах — хорошо уравновешенный «бриар», в руках — блюдечко и чашечка с дымящимся кофе. Все дьявольски элегантно. Антикварный кофейник на лакированном подносе. И по чашечке кофе (чашечки — тончайшего фарфора) — перед каждым из гостей.

По левую руку от Вечеровского прилепился в роскошном кресле Глухов, совсем не роскошный маленький человечек, лысоватый, очкастенький, в рубашечке-безрукавочке, в подтяжках, с брюшком. Бледные волосатые ручки сложены и засунуты между колен. Все внимание направлено на Малянова.

Малянов — особенно крупный, потный и взлохмаченный сейчас, среди всей этой невообразимой элегантности, — закончил свой рассказ словами:

— ...Я лично считаю, что все это — ловкое жульничество. Но не понимаю, зачем и кому это нужно. Потому что на самом деле... на самом деле! Ну что с меня взять? Ну, кандидат, ну, старший

научный сотрудник... Ну и что? Сто рублей на сберкнижке, во-семьсот рублей долгу...

Он энергически пожал плечами и, помотав щеками, откинул-ся в кресле. При этом задел ногой столик, чашечка его подпрыг-нула в блюдце и опрокинулась.

— Пардон... — проворчал Малянов рассеянно.

— Еще кофе? — сейчас же осведомился Вечеровский.

— Нет. А впрочем, налей...

Вечеровский принялся осторожно, словно божественную амброзию, разливать кофе по чашечкам, а Глухов глубоко вздох-нул и забормотал как бы про себя:

— Да-да-да... Удивительно, удивительно... И ведь в самом деле, не пожалуешься, не обратишься... никто не поверит. Да и как тут поверить?

— Ты полагаешь, — сказал Вечеровский Малянову, — что твоя работа действительно тянет на Нобелевскую премию?

— А черт его знает, на самом деле. Как я могу судить? Что я тебе — Нобелевский комитет? Классная работа. Экстра-класс. Люкс. Это я гарантирую. Но мне же ее еще надо докончить! Они ведь мне ее докончить не дают!

— Да-да-да... — снова заторопился Глухов. — Да! Но ведь с другой-то стороны... Вы только вдумайтесь, друзья мои, пред-ставьте это себе отчетливо... Дмитрий Алексеевич! Кофе какой — прелесть! Сигаретка, дымок голубоватый, вечер за окном — про-зрачность, зелень, небо... Ах, Дмитрий Алексеевич, ну что вам эти макроскопические неустойчивости, все эти диффузные газы, сингулярности... Неужели это настолько уж важно, что из-за это-го следует... Ну, вот, например, возьмем звезды. Право же, есть что-то в этой вашей астрономии, что-то такое... непристойное, что ли, подглядывание какое-то... А зачем? Звезды ведь не для того, чтобы подглядывали за ними, за их жизнью... Звезды ведь для того, чтобы ими любовались, согласитесь...

Он не спорил, не настаивал, этот маленький тихий Глухов, он, скорее уж, уговаривал, просил, умолял даже каждой черточкой сво-его невыразительного серого личика. Но на Малянова эта его речь подействовала почему-то раздражающе, и он, не думая, брякнул:

— А ведь он и вас упоминал, Владлен Семенович!

— Кто?

— Горбун. Рыжий этот, бандит-пришелец.

— Меня?

— Вот именно, вас. «Вспомните, — говорит, — что случилось с Глуховым!..» — Тут Малянов осекся, потому что Глухов побе-лел, даже позеленел как-то и совсем задвинулся в глубину ог-ромного кресла. Никогда еще Малянов не видел до такой степе-ни испуганного человека.

— А что со мной случилось? — пробормотал Глухов затрав-ленно. — Со мной все в порядке. Ничего со мной не случилось... и не случалось...

Вечеровский, не глядя, протянул руку вправо, извлек из скрытого холодильника сифон и высокий стакан. Зашипела струя, стакан очутился перед Глуховым, но тот пить не стал, даже в руки его не взял и посмотрел на него, как будто это отравка ка-кая-то. Он только облизнул сухие губы сухим языком и еще глуб-же засунул слабые свои лапки между колен.

— Это все вздор... Это вздор какой-то, Алексей Дмитр... Дмит-рий Алексеевич, — шелестел он. — Вы не верьте. Как можно ве-рить?.. Явные жулики...

Малянов смотрел на него пристально.

— Если это жулики, надо их вывести на чистую воду, так? — спросил он свирепо.

— Конечно, конечно... Но как?

— Для начала каждый должен рассказать все, что знает про них.

— Безусловно, разумеется... — Глухов снова облизнулся. — Но ведь я... Вы, кажется, решили, будто я что-то знаю про них. Но ведь я ничего не знаю, уверяю вас.

— Ничего?

— Право же, ничего... Тут какая-то ошибка...

— Так-таки и ничего? — продолжал наседать Малянов, зна-чительно прищуриваясь.

— Ни-че-го! — неожиданно твердо отчеканил Глухов. Слов-но точку поставил на этой теме.

Глухов выпростал руки из колен, проглотил свой кофе и сей-час же запил водой из стакана. На лице его вновь обозначился

румянец. Он улыбнулся и, неумело изображая развязность, вольготно расположился в кресле, засунув большие пальцы рук под подтяжки.

Малянов ел его глазами, но Глухова все эти взгляды вроде бы и не волновали вовсе — он, казалось, совершенно оправился от своего неодолимого страха и держал теперь себя как ни в чем не бывало.

— Но сами-то вы верите, что это жулики? — спросил наконец Малянов.

— А представления не имею, — ответил Глухов все с той же судорожной развязностью. — Откуда же мне это знать, посудите сами, Дмитрий Алексеевич?

— Ну а все-таки?..

— Отстань от человека, — негромко сказал Вечеровский. — Ты прекрасно понимаешь, что это не жулики.

— То есть? Откуда это следует?

— Если бы ты считал их обыкновенными жуликами, ты бы уже был в милиции, а не здесь...

— Как это, интересно, я попрусь в милицию? А факты?

— Вот именно, — сказал Вечеровский. — Факты. Факты, дорогой мой! Так что не тешь себя иллюзиями, это не жулики. Какое дело жуликам до твоих полостей устойчивости?

— А какое дело до них инопланетным пришельцам?

— Тебе же объяснили, какое. И объяснили весьма логично. Твоя работа в перспективе выводит человечество в ряды сверхцивилизаций, делает нас их соперниками во Вселенной. Естественно, они предпочитают расправиться с соперником, пока тот еще в колыбели. Как это сделать? Высаживать десанты? Взрывать арсеналы? Зачем? Надо именно так: тихо, бесшумно, почти безболезненно скальпелем по самому ценному, что есть у человечества, — по перспективным исследованиям...

— Бог ты мой, Фил! Ты же сам говоришь — это сверхцивилизация, а значит, сверхразум, сверхгуманность, сверхдоброта!..

Вечеровский кривовато усмехнулся.

— Милый мой, откуда тебе знать, как ведет себя сверхдоброта? Не доброта, заметь себе, пожалуйста, а сверхдоброта.

— Все равно, все равно... — Малянов замотал щеками. — Методы... Методы, Фил! Ты пойми, это сверхмощная организация...

Он же способен исчезать и появляться мгновенно... это же как волшебство! Если сверхцивилизация, то они, с нашей точки зрения, почти всемогущи. И вдруг такая дешевка — доведение до самоубийства, шантаж, подкуп...

— Что ты знаешь о сверхцивилизациях?

— Нет-нет. Все равно. Нецелесообразно.

— Какова целесообразность моста — с точки зрения рыбы? — провозгласил Вечеровский. — Когда тебе на щеку садится комар, ты бьешь по нему с такой силой, что мог бы уничтожить всех комаров в округе. Это целесообразно?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но дело даже не в этом. Как ты не чувствуешь несообразности? При их всемогуществе... Ну зачем им поднимать весь этот шум? Зачем им нужно, чтобы Малянов бегал по знакомым и жаловался в милицию? Зачем? Ведь куда проще было подсунуть ему тухлого омара — и концы.

— Н-ну, значит, они принципиальные противники убийства, — сказал Вечеровский, снова принимаясь разливать кофе. — Сверхгуманность.

— Ага, ага, шантажировать можно, а убивать нельзя. Ну ладно... Можно же и без убийства, в рамках, так сказать, гуманности... Можно так, например, — садится Малянов работать над своей статьей, и сейчас же у него разбалывается живот, да так, что никакого терпению нет, и уже ни о какой работе говорить невозможно. Отложил работу — все прошло, снова взялся за нее...

Тут Малянов замолчал, потому что заметил, что Вечеровский его не слушает. Вечеровский сидел к нему боком и, крутя в пальцах драгоценную трубку, пристально глядел на Глухова, а Глухов вдруг забеспокоился, зашевелился, снова съезжился в кресле, и глазки его приняли выражение, как у загнанного зверька.

— Что вы на меня смотрите, Филипп Павлович? — жалобно проскрипел он.

— Прошу прощения, — сейчас же отозвался Вечеровский и, отведя глаза, принялся старательно выбивать и вычищать трубку.

— Нет, позвольте! — снова закрипел Глухов, но теперь уже не жалобно, а скорее даже вызывающе. — Я ваш взгляд понимаю вполне определенным образом... Я и раньше замечал такие взгляды... И ваши прежние намеки! Я хотел бы изъясниться сейчас же

и окончательно! И пусть Дмитрий Алексеевич присутствует... Посудите сами, Дмитрий Алексеевич, — он повернулся к Малянову, — будьте судьей. Да, у меня было нечто подобное... Но это аллергия, и не более того. Болезнь века, как говорится...

— Не понимаю, — сказал Малянов сердито.

— Действительно, это было как-то связано с моей работой. Какая-то связь, пожалуй, была... Но ведь не более того. Не более того, Филипп Павлович! Аллергия — и не более того!..

— Я вас не понимаю, Владлен Семенович! — сказал Малянов, оживляясь, ибо кое-что ему стало понятно.

— Все очень просто, — сказал Вечеровский лениво. — Начиная с прошлого марта, стоило Владлену Семеновичу сесть за свою диссертацию, уже почти готовую, между прочим, как его поражала головная боль, причем столь сильная, что он вынужден бывал свою работу прекращать. Это длилось несколько месяцев и кончилось тем, что Владлен Семенович свою диссертацию и вовсе отставил...

— Позвольте, позвольте! — живо вмешался Глухов. — Все это так, но я хочу подчеркнуть, что я отставил ее, как вы выражаетесь, только временно и исключительно по совету врачей... И я попросил бы никаких аналогий здесь не проводить. Всякие аналогии здесь совершенно неправомерны...

— Над чем вы работали? — резко спросил Малянов. — Тема?

— «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа», — с готовностью отбарабанил Глухов.

— Господи, — сказал Малянов. — При чем тут культурное влияние...

— Вот именно! — подхватил Глухов. — Вот именно!

— А тема у вас не закрытая была?

— Ни в какой степени! Совершенно!

— А Губаря, Захара Захаровича, вы не знаете?

— Да в первый раз слышу!

Малянов хотел спросить еще кое о чем, но спохватился: он вдруг понял, что задает Глухову такие же вопросы, какие Снеговой задавал вчера ему, Малянову.

— Вы понимаете, что я не мог не последовать совету врачей, — продолжал между тем Глухов. — Врачи посоветовали, и я отложил пока эту работу. Пока! В конце концов, в мире достаточно прелести и без этой моей работы... И потом я, знаете ли, амбиций никаких не имею, да и не имел никогда... Я ученый маленький, а если по большому счету, то и не ученый, собственно, а так, научный сотрудник. Конечно, я люблю свою работу, но, с другой стороны... — Он поглядел на часы и всполошился. — Ай-яй-яй-яй! Поздно-то как! Я побегу... Я побегу, Филипп Павлович! Извините, друзья мои, но сегодня же детектив по телевизору... Ах, друзья мои, друзья мои! Ну много ли человеку надо? Если честно, если без дурацкой, простите, романтики? Добротный детектив, стакан правильно заваренного чая в чистом подстаканнике, сигаретка... Право же, Дмитрий Алексеевич, было трудно, очень болезненно было мне выбрать более спокойный путь, но врачи врачами, а если подумать: что выбирать? Ну конечно же, жизнь надо выбирать. Жизнь! Не абстракции, пусть даже самые красивые, не телескопы же ваши, не пробирки... не затхлые же архивы! Да пусть они подавятся всеми этими телескопами и архивами! Жить надо, любить надо, природу ощущать надо... Именно ощущать, прильнуть к ней, а не ковырять ее ланцетом... Когда я теперь смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я ощущаю физически: это мой друг, мы нужны друг другу... Ах, Дмитрий Алексеевич!

Он вдруг махнул рукой и пошел из комнаты, на ходу вдевая руки в рукава серого своего занюханного пиджачка. Он даже не простился ни с кем. Пронесся по гостиной сквознячок, колыхнул облако табачного дыма над головой Вечеровского, потом ахнула вырвавшаяся, видимо, из рук входная дверь, и все стихло.

— Ну и что ты думаешь? — осведомился Малянов агрессивно.

— О чем?

— Что ты думаешь о своем Глухове? По-моему, его запугали. Или даже купили. Какая гадость!

— Не суди и не судим будешь.

— Ты так ставишь вопрос? — сказал Малянов саркастически.

Вечеровский наклонился вперед, выбрал в чаше новую трубку и принялся медленно, вдумчиво набивать ее.

— Мне кажется, Митя, — сказал он, — ты плохо пока понимаешь свое положение. Ты возбужден, ты слегка напуган, сильно озадачен и в высшей степени заинтригован. Так вот, тебе надлежит понять, что ничего интересного с тобою не произошло. Тебе предстоит очень неприятный выбор. Неприятный в любом случае, ибо если ты поднимешь руки, то станешь таким, как Глухов, и никогда не простишь себе этого, ты же очень высокого о себе мнения, я тебя знаю. Если же ты решишь бороться, тебе будет так плохо, как бывает только человеку на передовой...

— На передовой люди тоже жили, — сказал Малянов сердито.

— Да. Только, как правило, плохо и недолго.

— Ты что, запугиваешь меня?

— Нет. Я пытаюсь только объяснить тебе, что в твоём положении нет ничего интересного. На тебя действует сила — чудовищная, совершенно несоразмерная и никак не контролируемая...

— Ты все-таки считаешь, что это сверхцивилизация?

— Послушай, дружище, какая тебе разница? Тля под кирпичом, тля под пятаком... Ты — одиночный боец, на которого прет танковая армия.

— Клопа танком не раздавишь, — пробормотал Малянов.

— Верно. Но ты же не согласен быть клопом.

— Хорошо, хорошо, но что ты мне посоветуешь? Я ведь пришел к тебе за советом, черт тебя дери, а не философией заниматься...

— Я тебе могу посоветовать только одно: пойми и осознай, что ничего интересного...

— Это я уже понял!

— ...По-моему, нет.

— Это я уже понял! — сказал Малянов, повышая голос. — И легче мне от этого не стало. Если это жулики, то я их не боюсь. Пусть они меня боятся. А если это действительно сверхцивилизация, если это действительно вторжение... Во-первых, я не очень-то в это верю... А во-вторых, что ж, мы так и будем сдаваться — один за другим? Мы ляжем на спинку, все по очереди, и будем жалостно махать лапками в воздухе, а они беспрепятственно станут отныне определять, чем нам можно заниматься, а чем нельзя? Нет, отец, этого допускать нельзя, как хочешь...

— Логично, — сказал Вечеровский без всякого, впрочем, одобрения в голосе. — И даже красиво. Только на передовой нет ни логики, ни красоты. Там — грязь, голод, вши, страх, смерть...

Малянов не слушал его. Он глубоко вдруг задумался. Рот приоткрылся, глаза стали бессмысленными. Потом он вдруг улыбнулся.

— Слушай, Фил, — сказал он. — А мощную, наверное, я сделал работу, если целая сверхцивилизация поднялась на нее войной. А?

Дома он снова засел за работу. Он махнул рукой на все, все отринул, все забыл — он работал. Он исписывал формулами листок за листком и швырял черновики прямо на пол. Было уже поздно. Гасли окна в домах напротив. Стало совсем темно. Из открытого окна летели мотыльки, кружились вокруг лампы, падали на бумагу перед Маляновым. Он их досадливо смахивал, но они возвращались на ярко-белое — снова и снова.

Мальчик как с вечера заснул, так и спал беспробудно, обняв во сне мохнатого олимпийского мишку. Малянов прикрыв их обоих шалью. По кушетке разбросаны были книги: том Спинозы, Достоевский, «Популярная медицинская энциклопедия» и какие-то детские, с картинками.

Работалось Малянову очень хорошо, он ни на что не отвлекался, только один раз почудилось ему боковым зрением, что в кресле для гостей сидит, прикрыв лицо ладонью, большой темный человек... Малянов вздрогнул так, что ручка вылетела у него из пальцев и закатилась под бумаги. Еще мгновение он совершенно отчетливо видел человека в кресле и успел понять, что это Снеговой сидит там, упершись локтем в подлокотник, и смотрит одним глазом через расставленные пальцы... Потом страшное видение исчезло — купальный халат лежал в кресле, разбросав пустые рукава. Но Малянов вынужден был встать и пройти несколько раз по комнате, чтобы успокоиться. Халат он сложил и унес в ванную.

А потом, это было уже часов в одиннадцать, раздался вежливый тихий звонок в дверь, и мальчик сразу сел, словно подброшенный, словно он и не спал вовсе.

— Это за мной! — сказал он с отчаянием.

Малянов с трудом оторвался от своих бумаг.

— Что ты сказал?

— Ты все-таки засел за свою проклятую работу...— продолжал мальчик, отползая по тахте в самый угол.— Я все проспал, а ты опять засел за эти проклятые формулы... Я же предупредил тебя... Эх ты, Галилей задрипанный...

В дверь зазвонили снова.

Малянов, заранее хмурясь, вышел в прихожую и щелкнул замком. На пороге стоял приятной внешности мужчина лет тридцати в потертых джинсах и какой-то курточке, накинутаю прямо поверх майки,— по-домашнему. А на ногах у него вместо ботинок были шлепанцы, тоже по-домашнему.

— Прошу извинить,— сказал он, прижимая руку к сердцу.— Но мне сказали, что мой Витька у вас...

— Витька?

— Вы знаете, он у нас парнишка с фантазиями... Уж извините, если он вас утомил, но у него манера появилась: натворит что-нибудь, а потом удерет, спрячется у соседей, навдумывает там с три короба...

— Прошу,— сказал Малянов сухо.

Он и сам не мог объяснить себе, чем не нравился ему этот вежливый папаня, явно и очевидно угнетенный невоспитанностью и самодовольством своего капризного сына. Они вместе вошли в комнату, и папаня прямо с порога залебезил:

— Ну что ты, Витька... Что ты, в сам-деле, вытворяешь. Ну, пошли домой, пошли... Хватит. Подумаешь, графин раскокал... Будто тебя за это бить будут. Пошли. Мама там плачет, волнуется... Пошли, а?

Мальчик молча, поджав по-взрослому губы, принялся послушно слезать с тахты, а папаня все продолжал говорить как заведенный:

— Беда мне с ним, беда и беда. Хоть к врачам обращайся. Растет дикий, как камышовый кот. Не признает ну ни малейшей строгости... Витя, застегни, пожалуйста, сандалики... свалятся... Вы только представьте себе: ну, я — мужик, ладно, но матери-то каково, Дмитрий Андреевич!..

— Алексеевич,— машинально поправил Малянов.

— Разве? А мне сказали «Андреевич».

— Кто сказал?

— Да в жакте какая-то тетка... Ты готов, Витька? Ну, пошли... Извините, ради бога, за беспокойство. Ох, дети, дети...

Мальчик взялся за протянутую руку мужчины и только сейчас глянул на Малянова, и взгляд у него был такой странный, что Малянов подобрался и, преодолевая неловкость, проговорил:

— М-м-м... Вы простите, но... Документы ваши... Все-таки чужой ребенок... Разрешите взглянуть...

— Ну конечно, ну ясно! — всполошился мужчина, хлопая себя по карманам курточки и джинсов.— Мы здесь же и живем, в этом же доме, только в четвертом подъезде... Милости прошу, в любой момент... Будем очень рады... Вот, пожалуйста.— Он протянул Малянову маленькую аккуратную визитную карточку.— Полуянов Александр Платонович, работаю на СМУ-16, главный инженер... так что человек довольно известный... Прошу, так сказать, любить и жаловать. Очень было приятно познакомиться, но в будущем лучше было бы встречаться в более приятной ситуации, правильно? Извините еще раз. Витька, попрощайся с Дмитрием Андреевичем и скажи «спасибо».

— До свидания,— сказал мальчик без выражения.— Спасибо.

И Малянов остался в прихожей один.

Он вернулся к столу, швырнул вверх бумаг визитную карточку и встал около распахнутого окна так, чтобы видеть свой подъезд. Ртутный фонарь мертво светил сквозь черную листву. Прошла заплетающимся шагом парочка в обнимку и скрылась в палисаднике. Две старухи молчали, сидя рядышком на скамеечке около подъезда. Из дома никто не выходил.

Тогда Малянов перегнулся через стол и снова взял в руки визитку. Только теперь это была не визитка. Это был маленький прямоугольник очень белого картона, чистый с обеих сторон.

И вдруг за окном заплакал, забился в истерике ребенок: «Ой, не надо! Ой, я больше не буду!.. Ой-ей-ей... я не буду больше!» Малянов тотчас высунулся из окна по пояс — на улице никого, только хлопнула где-то в отдалении дверь и сразу же стихли отчаянные детские вопли.

В два огромных прыжка Малянов пересек всю свою квартиру и оказался на лестнице. И там, конечно, было пусто тоже. Только

лежал на верхней ступеньке пролета какой-то непонятный желтый предмет. Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчищенные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Он собрался быстро.

Все бумаги, лежавшие на столе, все листки, разбросанные по полу, чистовые страницы статьи с еще не вписанными формулами, графики, таблицы, красиво вычерченные для показа по эпидиаскопу, — все это он аккуратно и ловко собрал, подровнял и сложил в белую папку «Для бумаг». Папка раздулась, и он для вящей прочности перетянул ее хозяйственной резинкой. Потом нашарил в ящике стола черный фломастер и неторопливо, со вкусом вывел на обложке: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости».

Закончив все дела, он взял папку под мышку, внимательно оглядел комнату, будто рассчитывал обнаружить что-нибудь забытое впопыхах, и выключил лампу. Стало темно, только светились насыщенным красным светом цифры на дисплее калькулятора. Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Он подъехал к дому Вечеровского на велосипеде, которым управлял одной рукой, правой, — потому что под мышкой левой у него была зажата толстая белая папка. Медленно, грузно, словно больной, он сполз с седла, прислонил велосипед к стене и поднялся по лестнице к подъезду.

Дверь была распахнута. В проеме, прямо на пороге, сидел какой-то человек. Он поднял навстречу Малянову лицо, и Малянов узнал Глухова. Лицо у Глухова было измученное, перекошенное и вдобавок измазанное не то сажей, не то краской.

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич, — проговорил Глухов. — Туда сейчас нельзя.

Он загораживал проход, и Малянов молча стоял перед ним и ждал.

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции... — Глухов закричал и медленно, в три разделения, поднялся на

ноги, держась за поясницу. В руках у него оказалась серая, сильно помятая шляпа. Он нацепил ее на лысину и сейчас же снял.

— Понимаете... — проговорил он. — Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать...

— В нашем — тоже случалось, — сказал Малянов.

— Да, конечно, конечно. Но в нашем веке стреляются главным образом потому, что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с собой человек всегда сумеет договориться... — Он хлопал себя шляпой по бедру. — Не знаю, почему это так. Мы все стали как-то проще, циничнее даже, мы стесняемся краснеть и стараемся спрятать слезы... Может быть, мир все-таки стал сложнее за последние сто лет? Может быть, теперь, кроме совести, гордости, чести, существует еще множество других вещей, которые годятся для самоутверждения?..

Он смотрел выжидательно, и Малянов сказал, пожав плечами:

— Не знаю. Может быть. Я не знаю.

— И я тоже не знаю, — сказал Глухов как бы с удивлением. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени уже думаю об этом... только об этом... сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокойся будто, и убедишь вроде бы себя, и вдруг заноеет. Конечно, двадцатый век — это не девятнадцатый, разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты уже и забыл о них вовсе, а потом переменится погода, и они заноеют. И всегда так это было, во все века.

— Это вы про совесть говорите, да?

— Про совесть. Про честь. Про гордость.

— Да, — сказал Малянов. — Все это правильно. Только иногда чужие раны больнее.

— Ради бога! — прошептал Глухов, прижимая шляпу к груди обеими руками. — Я бы никогда не осмелился... Как я могу вас отговаривать или советовать вам? Да ни в коем случае!.. Но я все думаю и никак не могу разобраться: почему мы так мучаемся? Ведь совершенно же ясно, ведь каждый же скажет, что поступаем мы правильно... иначе поступить нельзя, глупо поступать иначе...

детский сад какой-то, казаки-разбойники... А мы уже давно не дети... Все правильно, все верно... Почему же так мучительно стыдно? Не понимаю! Никак не могу понять.

Тут он вдруг захихикал совершенно неуместно, а потому и мерзко, и принялся махать шляпой кому-то за спиной Малянова. Малянов оглянулся. Там под фонарем, шагах в двадцати от них, стояла женщина — в летах уже, полная и почему-то с тростью... или с зонтиком?

— Так что все в порядке! — искусственно бодрым и повышенным голосом провозгласил вдруг Глухов. — Если зуб болит, его беспощадно удаляют. Такова логика жизни. Не так ли, Дмитрий Алексеевич? Ну, желаю вам всяческого...

Он снова захихикал, закивал, заулыбался — ясно было, что делает все это и говорит он исключительно для женщины с тростью, но это было глупо: она стояла слишком далеко, чтобы различать его ужимки. А он снова замахал ей шляпой и ссыпался по лестнице — этак молодо, энергично, по-студенчески — и быстро зашагал к фонарю, все еще продолжая размахивать шляпой. «...Тревоги наши позади!.. — доносилось до Малянова, — ...солнце снова лето возвестило!.. вот и я!..» Он подошел к женщине, попытался обнять ее за плечи одной рукой, но это у него не получилось — он был слишком мал для такой крупной женщины, тогда он просто взял ее под руку, и они пошли прочь, она сильно прихрамывала и опиралась на трость, а он все размахивал свободной рукой с зажатою в ней шляпой и все говорил, говорил не переставая: «...всяческая суета!.. и совершенно напрасно!.. как я и говорил... ну что ты, маленькая!»

Малянов проводил их взглядом, взял свою папку поудобнее и стал подниматься по лестнице.

Вечеровский открыл ему дверь не сразу. Узнать его было нелегко — Вечеровский словно только что выскочил из пожара. Элегантный домашний костюм изуродован: левый рукав почти оторван, слева же, на животе, большая прожженная дыра. Непонятно белоснежная сорочка — в грязных разводах, и все лицо Вечеровского в грязных пятнах, и руки его.

— А! Заходи, — сказал он хриловато, повернулся к Малянову спиной и пошел в глубь квартиры.

В гостиной все было разгромлено, словно лопнул здесь только что картуз дымного пороха. Копоть чернела на стенах, копоть тоненькими нитями плавала в воздухе... Зияла обугленная дыра посреди ковра... И горы рассыпанных, растрепанных книг... и осколки аквариума... и расплющенные обломки звукоаппаратуры... Все искорежено, искромсано и будто опалено адским огнем.

Они прошли в кабинет, где все было, как прежде, безукоризненно чисто и элегантно, и Малянов, обернувшись на разгром в гостиной, спросил:

— Что это было?

— Потом, — сказал Вечеровский и откашлялся. — Что у тебя?

Тогда Малянов положил на стол свою папку и проговорил сквозь зубы:

— Вот. Они забрали мальчика. Пусть это пока у тебя полежит.

— Пусть, — спокойно согласился Вечеровский. Он поднял к глазам чумазные руки и весь перекосялся от отвращения. — Нет, так нельзя. Подожди, я должен привести себя в порядок.

Он стремительно вышел, почти выбежал из комнаты, а Малянов, оставшись один, прошел к дверям в гостиную и еще раз, теперь уже очень внимательно, оглядел царивший там разгром.

Когда он вернулся к столу, лицо его было угрюмо, а брови он задрал так высоко, как это только было возможно.

Потом он оглядел стол.

Стол был завален папками. Там была толстая черная папка с наклеенной на обложке белой карточкой: «В. С. Глухов. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». Там была еще более толстая, чудовищная зеленая папка с небрежной надписью фломастером: «А. Снеговой. Использование федингов». Собственно, там было даже две такие папки... Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Реввертаза и пр.»), и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков, «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради, и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

И там, с краю, лежала белая папка с надписью: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости». Малянов взял ее и, усевшись в кресло, прижал к животу.

Вернулся Вечеровский — свежeweмытый, с мокрыми еще волосами, снова весь элегантный и по классу «А»: белые брюки, черная рубашка с засученными рукавами, белый галстук, на ногах какие-то немьслимые мокасины.

— Вот так гораздо лучше, — объявил он. — Кофе?

— Что все это значит? — спросил Малянов, показывая на стол.

— Это значит, — сказал Вечеровский, усмехнувшись, — что каждому хочется верить, будто рукописи не горят.

— Значит, все это вот... — Малянов повел рукой в сторону разгромленной гостиной.

— Не без того, не без того... Итак, кофе?

— Но почему все они притащили это именно к тебе?

— А ты? Ты почему?

— Не знаю, — сказал Малянов растерянно. — Я же не знал, что тут у тебя делается... Мне показалось, что... пусть полежит пока у тебя... раз иначе нельзя...

— Вот и им тоже показалось. Всем. В последний раз спрашиваю: кофе?

— Да, — сказал Малянов.

Они пили кофе на кухне, где все сверкало чистотой, все стояло на своих местах и все было только самого высокого качества — на мировом уровне или несколько выше. Папку свою Малянов положил на стол рядом с собою и все время держал ее под локтем.

— Зачем тебе понадобилось связываться с нами? — спрашивал он. — Что за глупая бравада!

— Это не бравада. Это проблема. — Вечеровский отхлебнул кофе из чашечки кузнецовского фарфора и запил ледяной водой из высокого запотевшего стакана. — Посуди сам. Снеговой занимался изучением федингов. Это — радиотехника, прикладная физика, в какой-то степени атмосферная физика. Глухов — специалист по новейшей истории, социолог, «Культурное влияние» его — это чистая социология. У тебя — астрофизика и теория гравитации... Я хочу понять, что общего у всех ваших работ. Повидимому, где-то в невообразимой дали времен они сходятся в точку, и точка эта очень важна для нас... для человечества, я имею

в виду. — Он снова с аппетитом отхлебнул кофе. — Сверхцивилизация, как я понимаю, это сила настолько огромная, что ее вполне можно считать стихией, а все ее проявления — это как бы проявления нового закона природы. Воевать против закона природы — глупо. Капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Именно этим я и намерен заняться.

— Глупо, — сказал Малянов. — Глупо! — сказал он, все более раздражаясь. — Зачем тебе в это ввязываться? Ты же уникальный специалист... Ты же лучший в Европе. Они же просто убьют тебя, и все.

— Не думаю, — сказал Вечеровский. — Промахнутся. Пойми, они слишком огромны, они все время промахиваются.

— Откуда ты все это можешь знать?

— Господи, — сказал Вечеровский. — Откуда я могу это знать? Ты видел мою гостиную? Промах! А в прошлую субботу... Да что там говорить! Они лупят меня уже вторую неделю. За мою собственную работу. За мою. Собственную. А вы все здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, коттики-песики... Ну что, Митька, я таки умею владеть собой, а?

— Пр-рвались ты!.. — сказал Малянов и поднялся. Он был красен и зол.

— Сядь! — сказал Вечеровский, и Малянов сел.

— Налей в кофе коньяк.

Малянов налил.

— пей. Залпом!

И Малянов осушил чашечку, не почувствовав ни вкуса, ни запаха.

— Ты очень спешишь, — сказал Вечеровский назидательно. — А спешить нам некуда. Предстоит работа... Ты все еще никак не можешь понять, что ничего интересного с нами не произошло. Предстоит работа. Долгая. Тяжелая. Скорее всего, грязная. Не один год, а, может быть, сто лет, или тысячу, или миллиард... Опасно? Да, опасно. Заниматься настоящей научной проблемой всегда было опасно. Архимеда зарезали солдаты. Ньютон свихнулся в мистику. Жолио-Кюри умер от лучевой болезни... Научная

проблема — это всегда опасно. А тут — настоящая проблема. На всю жизнь.

— Идиот! — сказал Малянов. — Гордыня проклятая, сатанинская... Архимед, Ньютон... Проблему себе отыскал. Здесь детей убивают, а он проблему себе выдумал на миллиард лет вперед...

— Я вижу, они тебя основательно запугали, — сказал Вечеровский, покусывая губу.

— А тебя они не запугали? — спросил Малянов злобным шепотом. — У тебя под твоей проклятой лощенной маской, скажешь, не прячется маленький, голенький, дрожащий человечек?! Когда у тебя в доме бомбу рвали, этот человечек что — не плакал, не рвался под кровать — забиться в угол, закрыть глаза и ни о чем не думать?..

Вечеровский молчал, опустив белесые ресницы.

— Вот они меня запугали! — заорал вдруг Малянов, крутя у него перед носом потной дулей. — Я ничего не боюсь! Но на совесть свою гирию навесить не позволю! Нет, ради чего? Во имя человечества? За достоинство землянина? За галактический престиж? Вот тебе! Я не дерусь за слова! За себя драться, за семью, за друзей, даже за мальчишку этого чудовищного, которого я раньше и не видел никогда, — пожалуйста! До последнего, без пощады! Но за какие-то там проблемы? Увольте. Это вам не девятнадцатый век! Кому будет принадлежать Галактика через миллиард лет, нам или им? Да плевал я на это!

Он вскочил и забегал по кухне, размахивая руками.

— Нет, вы подумайте только, какой страшный выбор мне предлагают: или мы тебя сделаем директором великолепного современного института, из-за которого два членкора уже глотки друг другу переели, — или мы тебя шлепнем, как гада, или, хуже того, моральным калекой сделаем до конца дней твоих! Ничего себе выбор! Да я в этом своем институте десять нобелевок заложу, понял? Институт — это тебе не чечевичная похлебка, можно его и на право первородства променять. Не хотите, чтобы я макроскопической устойчивостью занимался, — пожалуйста! Обойдусь! Я в своем институте десять новых идей заложу, двадцать идей, а если вам не понравится еще какая-нибудь, ну что ж, снова поторгуемся!.. И не коптите мне мозги красивы-

ми словами! Через миллиард лет от меня и молекул не останется. А я человек простой, я хочу умереть естественной смертью и совесть свою не пачкать...

Он вдруг замолчал, словно ему заткнули рот, уселся на прежнее место, схватил папку, бросил ее на стол, снова схватил.

— Не знаю, что делать, — сказал он жалобно. — Может быть, они только запугивают?

— Может быть, — сказал Вечеровский.

— Однако Снегового они до смерти запугали.

— Похоже на то.

— Ч-черт! Работу жалко. Экстра-класс. Люкс. У меня, может быть, никогда больше ничего подобного не выйдет.

— Возможно, — сказал Вечеровский.

— Но мальчишка-то? Мальчишка-то как? Или, может быть, запугивают? Ну невозможно же себе это представить, чтобы они осмелились... А может быть, это вовсе и не мальчишка даже? Уж очень он странный... Может быть, это робот какой-нибудь, а?

Вечеровский, не отвечая, поднялся и снова принялся заваривать кофе. Малянов следил за ним бездумным взглядом.

— А если они тебя угробят? — спросил он.

— Вряд ли.

— А если все-таки?.. Куда же тогда все это денется? — Он потряс папкой.

— Ну ты же в курсе, — сказал Вечеровский, не оборачиваясь. — Да и не один ты. Вас довольно много.

— Только не я, — сказал Малянов, мотая щеками. — Я в это дело впутываться не желаю. Уволь.

Тогда Вечеровский повернулся к нему и прочитал негромко: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

Малянов застонал, как от боли.

Он сидел, прижав папку к животу, и раскачивался взад-вперед, плотно зажмурив глаза, скрипя стиснутыми зубами, и в голове у него не было ни одной мысли, только глуховатый голос Вечеровского в десятый, двадцатый раз повторял одно и то же: «...с тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

* * *

А в пяти километрах от этой кухни, на плоском песчаном морском берегу, на мелководье, в неподвижной, похожей на застывшее стекло воде лежал навзничь, неловко подвернув под себя руку, мальчик в коротких штанишках с лялочкой и с сандалией только на одной левой ноге. Он был совершенно неподвижен, и смотреть на него было неприятно и страшно, потому что он казался давно и безнадежно мертвым.

Над сопками-скалами, окаймляющими город, над недалеки-ми отсюда домами окраины показалось солнце. Длинные синие тени легли на пляж. Легкий ветерок пронесся и зарябил воду у берега. И тогда мальчик вдруг пошевелился. Упираясь ладонями в песок, он поднялся и поглядел сонными глазами вокруг. Потом он вдруг вскочил и запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха и приговаривая: «Ухо, ухо, вылей воду на дремучую колоду...»

И был пляж, и было стеклянное море, и солнце вставало самым жизнеутверждающим образом, и мальчуган, вполне живой, здоровый, веселый, разве что несколько мокрый, а потому слегка озябший, бредет вдоль берега босиком, загребая ногами влажный песок, держа в руке одинокую сандалию.

ТУЧА

Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальтовому шоссе движется колонна машин: длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки «опасный груз».

На заднем сиденье лимузина, сложивши руки на груди, расположился хозяин этой колонны, известный метеоролог и атмосферный физик профессор Нурланн, человек лет сорока, с надменным лицом. Впереди рядом с шофером сидит его ассистент, личность вполне бесцветная, доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофере и говорить нечего, голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок.

Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито-сладким голосом:

— Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет?

Нурланн молчит.

— Пятнадцать лет! С ума сойти. Я понимаю ваше волнение — вернуться в родной город, даже при таких обстоятельствах...

Нурланн молчит.

— А может быть, именно при таких обстоятельствах? Вернуться как бы избавителем. Избавителем от большой беды...

— Сядьте прямо и заткнитесь, — холодно говорит Нурланн.

Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка.

Видимость отвратительная — не больше пятидесяти метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносятся назад:

шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и сну-
ющие среди них солдаты в плащ-накидках;

необозримое стадо пустых пассажирских автобусов;

походная радарная установка;

еще одна походная радарная установка, окруженная стадом
пасущихся коров;

обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней;

бензоколонка, очередь легковых машин с трейлерами, на кры-
шах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился
фермер с телегой и взирает на это с видом глубокой задумчи-
вости.

И вообще: то и дело проносятся навстречу лимузину легко-
вые машины, тяжело нагруженные барахлом.

Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города
обозначена гигантским медным барельефом городского герба:
обнаженный богатырь с ослиной головой поражает трезубцем
гидру о трех головах — две из них мужские, третья женская.

Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под
навесом за походным столом кормятся несколько военных впе-
ремежку со штатскими. Ослепительная молния вдруг обруши-
вается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое
дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свис-
тящий шелест, но вспышки очень яркие и молнии очень страш-
ные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и
обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.

В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена
карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десант-
ных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских.
В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в
стол, лиц почти не видно.

На карте центр города занят угольно-черным пятном непра-
вильной формы, по очертаниям немного напоминающим бабоч-
ку с распростертыми крыльями.

— Я полагаю ударить сюда, — говорит Нурланн, показывая
пальцем. — Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы
сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный мери-
диан, вот по этому проспекту...

— Дорога чистых душ, — негромко произносит кто-то из воен-
ных.

— Что? — надменно спрашивает Нурланн. — А! В мое время
это был проспект Реформации... Очень удачно, что он проходит
прямо по малой оси, можно бить прямой наводкой. Для начала,
полковник, мне нужен дивизион «корсаров». Полагаю, его надо
развернуть где-нибудь здесь... или здесь... А после того как она
развалится надвое, будем бить в этом и этом направлении.

— А если не развалится? — насмешливо и раздраженно спра-
шивает кто-то.

Нурланн, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть
в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит:

— Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы
здесь уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевоз-
можных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеме-
ты... и вообще огонь...

Тот же насмешливо-раздраженный голос вставляет:

— Пока горит.

— Вот именно, — говорит полковник. — Пока горит, она не
двигается.

— Там, где горит, — вставляет голос.

— Капитан, я попросил бы вас! — сердито говорит полковник.

Нурланн, несколько смягчившись, снисходит до объяснения:

— Я привез сорок пять снарядов, начиненных «Одеколоном
АБ». Это коагулянт, который осаждает любое аэрозольное образо-
вание. Подчеркиваю: любое. Газетчики распространяют легенду,
будто Туча — живое существо. Это вздор. Туча — это аэрозольное
образование довольно сложной и не вполне понятной структуры.
Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населенном
районе, у нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным
образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал.

— То есть вы полагаете, — уточняет полковник, — что эвакуа-
цию можно отменить?

Нурланн, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает:

— Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не... ну, некоторые обстоятельства... некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость Тучи увеличивается, вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки.

— Увольте, полковник, — недовольно говорит Нурланн. — В этом вопросе я не компетентен. Могу сказать только, что «Одеколон АБ» — штука очень ядовитая и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы?

Робкий голос:

— Правда, что вы родились в этом городе?

Нурланн ухмыляется:

— Правда. Вот здесь я родился (показывает пальцем на карте). Вот здесь жил. Здесь венчался (палец упирается в центр черного пятна). Так что, господа мои, эта штука (стучит по черному пятну) нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен.

— Аминь, — произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением.

— Вот и славно, — произносит Нурланн покровительственно. — Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра, восемнадцать ноль-ноль, раньше все равно не управимся. А утром, часов в десять, я бы хотел посмотреть на нее сверху. Напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет?

Возникает нечто вроде замешательства.

— М-м-м... — тянет полковник. — Вертолет я, конечно, дам...

— Но? — спрашивает удивленный Нурланн.

— Смысла никакого нет, — говорит полковник. — Как бы это вам объяснить...

— Вы ничего не увидите, — говорит кто-то.

— Почему? — спрашивает Нурланн. — Облачность? Но Туча выше облаков!

— Нет, вы увидите, только не то, что есть на самом деле.

— А что? Мираж?

— Мираж не мираж, — говорит полковник в затруднении и от этого сердясь. — А, да что мне — вертолета жалко? Я распоряжусь.

— Вы лучше, профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей, — говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий.

Нурланн небрежно перебирает их одну за другой.

— Это я видел... и это видел...

Его внимание задерживается только на одной фотографии: Туча просачивается через дом. Светлый тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысяча черных языков, выливающих из окон. Нурланн бросает фотографию на стол и говорит:

— Хочу проехаться по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это (он щелкает пальцем по фотографиям) вблизи.

— Конечно, — говорит полковник. — Разрешите представить вам сопровождающего: старший санитарный инспектор Брун.

При первых словах полковника лицо Нурланна неприязненно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой.

— Господи, Брун! — восклицает Нурланн. — Откуда ты здесь?

Лимузин профессора Нурланна неторопливо катит по улицам.

В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается на сквознях в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. Человек — незванный гость на этих улицах, дождь его не жалуется, и людей почти не видно.

— Как это ты заделался санитарным инспектором? — спрашивает Нурланн сидящего за рулем Бруна. — Ты же, помнится, был по дипломатической части.

— Мало ли что... Вон Хансен — сидел-сидел у себя в суде, а теперь кто? Великий бард! Менестрель!

— О да. Давно ты его видел?

— Да два часа назад, он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет как лошадь, старый хрен.

* * *

Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из Тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него, оплетает тысячами огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточки. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, ошумело крутя головой, заспешил дальше.

— Невозможно поверить, что это безвредно, — говорит Нурланн, провожая прохожего взглядом.

— Даже полезно, — откликается Брун.

Лимузин сворачивает за угол и останавливается.

— Это еще что такое? — озадаченно спрашивает Нурланн. — Кто они такие, что они здесь делают?

На обширном газоне расположился странный лагерь. Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла — не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмо и трельяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке; кто-то стоя читает толстенький томик, видимо молитвенник; а кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика новую порцию диванов, торшеров и кроватей...

— Агнцы Страшного Суда, — произносит Брун с неопределенной интонацией. — Прочь из-под тяжких крыш. Они не спасут, они раздавят. Прочь из затхлых обиталищ. Они не согреют, они задуют. Под небо! Под очищающее небо! Причащайтесь

чистой влагой! Только тот спасется, кто успеет очиститься. И так далее. Агнцы Страшного Суда. У нас их много.

— При чем здесь Страшный Суд?

— А при том, что вы все считаете Тучу аэрозольным образованием. А для них это начало Пришествия Того, кто грядет. И когда Туча закроет всю Землю, начнется Страшный Суд.

Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, этакая помесь «скорой помощи» и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ошетиенная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно бы брошенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек.

— Я развелся тогда, пятнадцать лет назад, — говорит Нурланн, — и нисколько об этом не жалею...

— Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе, — откликается Брун. — Был гран-прием у отцов города... Она у тебя очень, очень светская дама.

— Да провались она совсем, — говорит Нурланн раздраженно. — Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму.

— У тебя дочка есть? — спрашивает Брун, насторожившись.

— Да. Вижусь с ней раз в два года... то ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпустить, стерва высокомерная...

— Угу, — произносит Брун. — А у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе.

Туча.

Она перегораживает проспект и выглядит как непроницаемо-черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и уходящая вершиной в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда.

— Экая красотища, — произносит Нурланн сдавленным голосом.

- Жалко? — Брун криво ухмыляется.
 — Не знаю... Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя?
 — Нельзя.
 — Брось, давай подьедем.
 Брун цитирует:
 — Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох.

Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных агнцев, но довольно много среди них и простых горожан, они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками — великое разнообразие зонтиков: огромные черные викторианские; пестрые веселенькие курортные; прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса... В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках.

Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы:

— ...Последнее знамение! ...бедные, бедные агнцы мои! ...очищайтесь! ...и число его — шестьсот шестьдесят шесть! ...отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое!

Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом из облаков лиловая молния и неторопливо, с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится набок, как мешок с тряпьем, но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал и, откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все: все прожектора, все окна, все фары, и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светя-

щимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном, человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно:

— Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!

Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет:

— Коридор... Коридор вижу... Они уходят...

Он замолкает, и глаза его вновь закатываются.

— Дальше! Дальше! — надывается главный. — Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори!

— Малыш... — бормочет пострадавший. — Малыш и Карлсон... По коридору... Длинный...

Тут взор его окончательно проясняется, он отпихивает от себя главного и садится.

— Все. Проехало, — говорит один из санитаров.

Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик.

— Спасибо, — запинаясь, бормочет пострадавший. — Ох, большое спасибо.

А в толпе хоть бы кто голову повернул.

Лора, бывшая жена Нурланна, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи.

— Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями, — говорит Лора. — У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение. Он должен прийти с минуты на минуту.

— Прекрасно, — произносит надменно Нурланн. — Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма?

— Прекрасно, — в тон ему произносит Лора. — Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает

большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг — сын гостиничного швейцара.

— Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу.

— Ну конечно, было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в Президентском колледже в столице... Мы же демократы! Мы плоть от плоти народа!

Нурланн не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурланн не сразу соображает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы.

— Знакомьтесь, — произносит Лора. — Мой адвокат. А это — мой бывший муж, профессор Нурланн.

— Прошу прощения, я несколько опоздал, — говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь. — Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись.

Нурланн молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются. Он поднимает глаза на Лору.

— Позволь, — несколько растерянно говорит он. — На кой черт тебе это надо? Кому какое дело?

— Тебе трудно поставить подпись? — холодно осведомляется Лора.

— Мне не трудно поставить подпись. Но я хотел бы понять, на кой черт это нужно? И потом, это все вранье! Ты никогда не была верной женой. Ты никогда не ходила в церковь. Аборты ты делала! Только в мое время ты сделала три аборта!

— Господа, господа, — примирительно вступает адвокат. — Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения. Она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений. Считайте свою подпись под этим документом просто актом прощения, актом братского примирения...

Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздается какой-то лязг, дребезг, звон разбитого стекла. Нурланн еще успе-

вает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как прищипился, втянув голову в плечи, клетчатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, и на пороге возникает Ирма.

Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб. Босая. И мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от «мокрой курицы», она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды.

Лора и адвокат встают. Физиономии их выражают покорность, в них что-то овечье.

Ирма с бешенством произносит:

— Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате! Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все.

Лора, совершенно белая, пытается что-то сказать, но из горла её вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувши голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурланна. Тонем ниже, без всякой приветливости, произносит:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, здравствуй, — говорит Нурланн озадаченно. — Что это ты сегодня так развоева...

Ирма прерывает его:

— Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен.

И вновь — матери:

— Я в двадцать первый раз повторяю: не закрывай окна в моей комнате. В двадцать первый и последний.

Она поворачивается и уходит.

Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит:

— Дети — дар божий, и дети — бич божий.

И тут Лора срывается.

— Ну что — доволен? — визжит она, перегнувшись через стол к Нурланну. — Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо? Как вытирает об меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе,

наверное, тоже захотелось? Плюй! Топчи! Унижай! Не надо со мной церемониться! Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей! Я убивала нерожденных младенцев моих, я блудила, я ненавидела тебя и блудила, с кем только могла! Я смеялась над богом... я, тля ничтожная! Это ты, ты научил меня смеяться над богом! А теперь втаптываешь меня в ад, в вечный огонь... В серу меня смердящую, в уголья! Дождался! Вон она, тьма страшная, крошечная, надвигается на мир! Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это Суд идет! Последний Суд! Все перед ним предстанем, и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобою единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее! Лжец! Лжец! Чистая я! Перед Последним Судом говорю, я — чистая! Не было ничего, клеветешь! Подписи пожалел, единого росчерка!

— Да провались ты... — бормочет ошеломленный Нурланн и хватается за авторучку.

Вечер. На улицах тьма крошечная. Дождь льет как из ведра, а молний почему-то нет. Нурланн ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются посередине улицы какие-то неопределенные фигуры. Нурланн совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобрать, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя.

А происходит там вот что.

Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков в блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится вьюном — и все это почему-то молча.

Лимузин Нурланна останавливается в пяти шагах от этой потасовки, фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет:

— Назад! Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свинячье!

Поскольку ошеломленный Нурланн и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее вдребезги.

Это он зря.

— Ах ты сволочь, — произносит Нурланн, достает из-под сиденья монтировку и вылезает под дождь.

Он не трус, наш Нурланн. Но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурланна вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма.

Четверть века назад подросток Нурланн поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурланна двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловито его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотне, а маленький Нурланн, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер и дождь брызнул ему в лицо...

— Профессор... Профессор... Очнитесь, профессор!

Тьма расходится перед глазами Нурланна, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, большеглазое, со свежей ссадиной на скуле. Волосы схвачены белой лентой.

Это не тот мальчик. Тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты. Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик.

Нурланн, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит: печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещая уцелевшей фарой пустую мостовую.

— А эти где? — спрашивает Нурланн.

— Уехали, — отвечает мальчик. Он сидит перед Нурланном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо.

— А мальчик где?

— Вы можете встать? — спрашивает мальчик вместо ответа. Нурланн с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть.

- Надо же, как он меня...
- Давайте я сяду за руль, — говорит мальчик.
- Валяй. Мне нужно в «Метрополь».
- Я знаю, — говорит мальчик. — Садитесь, я вас отвезу.

Лимузин катит по улицам.

— Что это было? — спрашивает Нурланн. — Кто эти громилы? Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы:

- Не знаю.
- Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил?

Пауза.

- Может быть. Только это никого не касается.

— Он удрал?

Пауза.

- Нет.

— Значит, в полицию сдали... Это твой приятель, надо понимать. Я вижу, тебе тоже попало.

Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает сиденье на скуле.

— Так что же вы все-таки натворили? — спрашивает Нурланн.

— Ничего особенного.

— А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызывать твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать, кто мне разворотил фару и отбил печенки.

— Нет, — твердо произносит мальчик. — Я не могу тратить время на полицию.

Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное многоэтажное здание. Несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль.

— Спасибо, — говорит Нурланн. — Кстати, как тебя зовут?

— Циприан.

— Очень рад. Нурланн. Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? Откуда знаешь, что я профессор, что я здесь живу?

— Мы дружим с вашей дочерью.

— Ага. Очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь? — Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите?

Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль, мимо швейцара, приложившего при виде Нурланна два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле никого больше нет, только портье сидит за стойкой.

Пока Нурланн берет у портье ключи, у входа происходит разговор.

— Ты зачем сюда вперся? — шипит швейцар на Циприана.

— Меня пригласил профессор Нурланн.

— Я тебе покажу профессора Нурланна, — шипит швейцар. — Манеру взял — по ресторанам шляться...

— Меня пригласил профессор Нурланн, — повторяет Циприан терпеливо. — Ресторан меня не интересует.

— Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал! Вот я тебя отсюда вышвырну, чтобы не разговаривал...

Нурланн оборачивается к ним.

— Э-э... — говорит он швейцару. — Парнишка со мной. Так что все в порядке.

Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.

У себя в номере Нурланн прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как давеча Ирма, отнюдь не выглядит «мокрой курицей».

— Раздевайся, — говорит ему Нурланн. — Сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню.

— Валяй.

Нурланн, прилепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает — негромко, спокойно и неразборчиво. Только однажды, повывисив голос, он отчетливо произносит: «Не знаю».

Затягивая пояс халата, Нурланн выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму; Циприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, она перекинула мокрые голые ноги через подлокотник.

— Здрасьте! — говорит Нурланн, впрочем, обрадованный.

— Слушай, папа, — капризным голосом произносит Ирма. — Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду!

— Где меня носит... Циприан, где меня носит? Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы.

— Что вас всех будто заклинило, — говорит Ирма. — Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком...

— Ну, мне кажется, это естественно, — благодушно произносит Нурланн, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца. — Если мокрый человек...

— То, что наиболее естественно, — негромко говорит Циприан, — наименее подобает человеку.

Нурланн застывает со стаканом на полпути ко рту.

— Естественное всегда примитивно, — добавляет Ирма. — Амеба — да, она естественна. Но человек — существо сложное, естественное ему не идет.

Нурланн смотрит на Ирму, потом на Циприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов.

— Ну, разумеется, — говорит он. — Поэтому давайте колоться наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения...

Ирма прерывает его:

— Нет! Противоестественное — это просто естественное на выворот. Мы говорим совсем не об этом...

Нурланн перебивает в свою очередь.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — объявляет он покровительственно. — Зато я знаю, о чем вам следовало бы говорить. Не убий. Не укради. Не сладострастничай. Люби ближнего своего больше себя. Кумира себе не сотвори, лидера, пастыря, интерпретатора... Вот правила воистину неестественные, и они-то более всего по-добают человеку. Не так ли? Тогда почему же на протяжении

двадцати веков они остаются красивыми лозунгами? Разменной монетой болтунов и демагогов... Нет, мокренькие вы мои философы. Не так все это просто. Никому еще пока не удалось придумать, что подобает человеку, а что — нет. Я лично думаю, что ему все подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом.

С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает стакан залпом.

Циприан и Ирма переглядываются.

— Вполне, — говорит Циприан.

— А я тебе что говорила?

— Ну, тогда я пойду.

— Подожди... Папа, — Ирма поворачивается к Нурланну, — мы приглашаем тебя поговорить.

— Говорите, — благодушно предлагает Нурланн.

— Нет. Не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста.

— Почему со мной? Что я вам — модный писатель?

— С модным писателем мы уже встречались, — говорит Ирма. — А ты — ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе.

— Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти-семи дней. Можете быть совершенно спокойны. Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием...

— Нет, папа, — качает головой Ирма. — Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие.

— Какие? Я больше ничего не знаю.

— Папа, ну пожалуйста!

— Мы вас очень просим, профессор, — присоединяется Циприан.

— Хорошо, — решается Нурланн. — Тогда завтра. Между двенадцатью и двумя. Где?

— В гимназии. Тебя устроит?

— В которой?

— В нашей... и в твоей тоже. Где ты учился.

— Где я учился...— задумчиво произносит Нурланн.— О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли... изнурительные допросы у доски... О, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенных в принцип! Договорились.

— Ну, тогда я пошел,— снова говорит Циприан.

Нурланн неохотно поднимается с кресла.

— Подожди, я тебя провожу. А то наш швейцар что-то тебя невзлюбил.

— Не беспокойтесь, профессор,— говорит Циприан.— Все в порядке. Это мой отец.

Ресторан отеля «Метрополь». Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один — у столика, за которым ужинают Нурланн, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и бард Хансен.

— Разом сработало великое множество независимых факторов,— объясняет Нурланн.— Выбросы ядерных станций на севере. Раз. На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы. Два. На западе загубили Страну Озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому — специфическая роза ветров этого района. И еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем...

— Ни черта мы не понимаем,— злобно прерывает Брун.— Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! — Он выставляет три пальца.— И ни один профессор пока не объяснил — почему.

— Да,— соглашается Нурланн.— В активной зоне — там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется...

— Погоди,— говорит ему Хансен.— Я сейчас все объясню.

На самом деле было так.

В доходном доме рядом с химическим заводом жил многолетний коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три

комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой.

Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп спуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью»,— шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя...» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются — осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего спуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!». В полном отчаянии

коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось.

— Что именно? — спрашивает Нурланн.

— Лопнуло, — поясняет Хансен. — Лопнуло у них терпение. Сколько можно?

Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно:

— Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая.

— Да, муниципальная площадь, — соглашается Хансен. — Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век — восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забилла водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век — инквизиция, разом сожгли полтора ста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век — оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней... Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер, сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов... Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнуло.

— Да что лопнуло-то? — с раздражением спрашивает Брун. — Опять ты надрался...

— Брун, — укоризненно-весело произносит Нурланн, — ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санитспектор.

— Это все дожди, — заявляет Хансен. — Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоем все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и когда земля напитаётся, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

— О боже! — восклицает Брун. — О чем ты говоришь?

— Я говорю о будущем, — с достоинством пьяного отвечает Хансен.

— О будущем... — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее — это просто тщательно обезвреженное настоящее.

— Точка зрения санитарного инспектора, — бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы.

— Они очень молоды, — произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. — У них впереди все, а у меня впереди — только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек... И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы...

На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху.

То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался...

— Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор.

— Туча, — отвечает пилот меланхолично.

— Откуда вода? Вы видите воду?

— Нет. Вижу Тучу... молнии... воронка какая-то крутится над серединой... А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов... Миражи. Только у каждого свой.

Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная

триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами.

Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту.

Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках.

Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут.

Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки:

— Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит.

— Там будет мой наблюдательный пункт, — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому.

Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту:

— Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна.

— К сожалению, ничего не выйдет, профессор, — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. — Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона.

— Не возражаю, — благосклонно кивает Нурланн. — Извольте распорядиться, — говорит он офицеру.

— У меня нет приказа, — говорит тот, едва разжимая губы.

— Вот я вам и приказываю, — отчеканивает Нурланн.

— А вы мне не начальник. И если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз.

Нурланн, словно не слыша его, говорит ассистенту:

— Я буду здесь в семнадцать тридцать. Все должно быть готово и отрегулировано.

Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит — и непонятно, то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком:

— Я имею приказ к семнадцати ноль-ноль установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать.

Тогда Нурланн поворачивается к офицерам, и такого Нурланна они видеть не ожидали.

— Вы, государи мои, — негромко говорит он, — плохо понимаете свое положение. Здесь командую я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина. — Он показывает на ассистента.

В вестибюле гимназии Нурланна поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурланн помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас.

— Какая честь, какая честь, профессор! — блеет директор, надвигаясь на Нурланна с простертыми дланями. — Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо! Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам: мой поверенный в делах...

— Мы уже знакомы, — говорит Нурланн, с изумлением обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника.

— Совершенно верно, — мягко произносит адвокат, берет Нурланна под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки. — Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно...

На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурланн берет из бювара листок с текстом, пробегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами.

— Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подписи.

Тогда Нурланн поворачивается к директору.

— Господин классный наставник, — говорит он. — Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Ведь вы не религиозный маменька, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это, — он трясет листком, — сплошное вранье. Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы были аспид суций, вы были дракон, вы

были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас. Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом. Ну, пусть Страшный Суд. Неужели вы всерьез верите, будто на Страшном Суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить!

Адвокат торопливо вмешивается:

— Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен...

Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся.

— Молодой человек, — говорит он Нурланну. — Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать. А тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны и вас ждут великие дела. И не приведи вам бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша.

— Ты победил, галилеянин, — произносит Нурланн и берет ся за авторучку.

В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь, половина зала залита водой. С окон, с потолка, с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так же как попало и где попало расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Все они голоногие и голорукие, у многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки, не сразу понимаешь, что это очертание Тучи, как она видится сверху.

Нурланн стоит на кафедре, все глаза устремлены на него. Одни смотрят со спокойным ожиданием, другие — с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с таким выражением, будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены.

Нурланн с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит:

— Как вам, может быть, известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие: преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой Рогатая Гадюка. Должен сказать, что это довольно обычное преломление достижений науки в сознании широких масс.

Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма, кажется, недовольна.

— То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало, — это семестровая контрольная по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча...

Его прерывает смех. Он нахмуривается.

— Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой, многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут Страшного Суда. Город на военном положении. Готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле Туча? Представьте себе...

Посередине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами.

— Господин профессор, — говорит он. — Про Тучу мы все знаем. Не надо про Тучу.

— Вот как? — Нурланн прищуривается на него. — И что же вы знаете про Тучу?

Вопрос этот повисает в воздухе. Его пропускают мимо ушей.

— Меня зовут Миккель, — объявляет толстенький подросток. — Разрешите задать вопрос.

Нурланн пожимает плечами.

— Задавай.

— Что такое, по-вашему, прогресс?

— При чем здесь прогресс? — с недоумением и раздражением спрашивает Нурланн.

— Одну минуту,— громко произносит Циприан и встает.— Господин Нурланн, разрешите, я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы. Только общие. Самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы. Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего.

— Послушайте,— говорит Нурланн.— Каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу... При чем здесь я?

— Социолога мы уже спрашивали,— терпеливо говорит Циприан.— Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее, существуют разные мнения...

— Вот мы и хотим знать ваше мнение по этому поводу,— подхватывает Миккель.— Только мнение, больше ничего.

Некоторое время Нурланн смотрит на него, затем говорит:

— Хорошо, пожалуйста. Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем.

— Любой ценой? — звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть.

— При чем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы; скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой, и так далее. Но вообще говоря, прогресс — штука жестокая, и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется.

— Значит, может быть безнравственный прогресс? — Это тощая девочка прямо перед Нурланном.

— Не может, но бывает,— парирует Нурланн.— Прогресс, повторяю,— это штука жестокая.

Встает Миккель.

— Ваш прогресс — это прогресс науки. А человек?

— Это все связано. Прогресс науки — прогресс общества. Прогресс общества — прогресс человека.

— Вы верите в то, что говорите? — осведомляется Миккель.— Это же несерьезно.

— Почему несерьезно? — изумляется Нурланн.

— Потому что прогресс науки есть определенно. Прогресс общества? Возможно. А уж прогресса человека — точно нет.

Нурланн слегка сбив с толку.

— Н-ну... Это, наверное, все же не так... Есть все же разница между нами и...

Его перебивают.

— Какими вы бы хотели видеть нас в будущем?

Нурланн совсем теряется и поэтому ожесточается:

— Вас? В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть?

Все смеются.

— В самом деле,— говорит Нурланн, несколько приободрившись.— Станный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков.

Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурланн сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать.

— И это все? — спрашивает тощенькая девочка.

Нурланн пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, вполголоса обмениваются репликами.

Поднимается Циприан.

— Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненадобностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых... Ну, и летающих к звездам тысяч сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете?

— Не знаю,— говорит Нурланн сердито.— Это и не хорошо и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это хорошо или плохо?

— Наверное, я неправильно выразился,— вежливо отвечает Циприан.— Я хотел спросить: нравится ли вам лично такое

состояние общества? Или вот вопрос еще более общий: какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым?

— Боюсь, я разочарую вас, — высокомерно произносит Нурланн. — Меня лично вполне устраивает нынешнее состояние общества.

Смуглая девочка яростно говорит:

— Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет!

Нурланн пожимает плечами.

— Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его костях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить, — например, тайная полиция, — особенно легко приспосабливается к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей.

— Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор, — возражает Миккель. — Мы вовсе не собираемся разрушать старый мир. Мы собираемся строить новый. Только строить! Ничего не разрушать, только строить.

— За чей счет? — насмешливо спрашивает Нурланн.

— Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текущей воды... за счет звезд.

— В точности как все, кто был до вас, — говорит Нурланн.

— Нет, потому что они вытаптывали траву, рассеивали облака, останавливали воду... Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория.

— Ну что ж, валяйте, стройте, — говорит Нурланн. — Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются. Они норовят помешать.

— Нынешний старый мир, — загадочно произносит Циприан, — нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — говорит утомленно Нурланн. — Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса...

Но Миккель прерывает его:

— Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

Раздается гомон: «Спасибо... Спасибо, господин Нурланн...», зал понемногу пустеет, а Нурланн стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя болваном, и знает, что красен и что вид являет собой растерянный и жалкий.

Проспект между триумфальной аркой и черной стеной Тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков — это все, что осталось от эвакуированных. Три «корсара» в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой, пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы Агнцев Страшного Суда в клетчатых балахонах.

Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена Тучи видна вполне отчетливо.

На часах без двух минут шесть.

Нурланн смотрит на Тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги и перекачываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с микрофоном у рта.

— Синхронизации хорошей не получится, — с улыбочкой сообщает ассистент.

— Это несущественно, — отзывается Нурланн сквозь зубы.

— Готовность шестьдесят, — бросает командир дивизиона.

— Готовность пятьдесят девять, — бормочет в микрофон радист.

В этот момент Нурланн вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки.

— Что за черт! — говорит он громко. — Там люди!

— Где? — Командир дивизиона утыкается лицом в нарамник стереоприцела.

— Это дети, — говорит Нурланн сердито. — Отмените стрельбу. В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят, голоногих и голоруких, они идут к Туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает.

— Где вы кого видите? — рявкает командир.

— Да вон же, у самой Тучи, посередине проспекта!

— Нет там никого! Пусто!

— Никого нет, профессор, — подтверждает ассистент.

Нурланн дико глядит на него, потом на командира.

— Отменить стрельбу! — хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки, в мрачном каменном колодце с осклизлыми стенами. Нурланн сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед:

— Еще чего — отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков и еще командует...

Нурланн бросается в лимузин, машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут...

Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурланна с раздирающим скрежетом и воем проносятся к черной стене огненные шары ракетных снарядов. Нурланн инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и, когда Нурланн на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, насколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, ни детей.

Шепча молитву, Нурланн долго смотрит на то место, где только что были дети, а тем временем, прямо у него на глазах, справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливая открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него: ужасные вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой... Он оборачивается.

На позиции «корсаров» медленно кипит людская каша — Агнцы Страшного Суда, прорвав оцепление, лезут на «корсары», ломая все, что им под силу...

— Никого там не было! — гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурланна, засунув руки за брючный ремень, а Нурланн, обхватив голову руками, скрючился в кресле. — Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя, она же морочит людей, это все знают.

— Зачем? — спрашивает Нурланн, не поднимая головы.

— Откуда я знаю — зачем? Мы здесь полгода бьемся как рыба об лед и ничего не узнали. Не хотела, чтобы ты в нее палил, вот и обморочила.

— Господи, — вздыхает Нурланн. — Взрослый же человек...

Он берет бутылку и разливает по стаканам.

— Да, взрослый! — рявкает Брун. — А вот ты — младенец. Со своим детским лепетом про аэрозольные образования... Младенец ты, девятнадцатый век ты, Вольтер — Монтескье, рационалист безмозглый!

Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурланна.

— Слушай, — говорит он. — Ты же сегодня был в гимназии. Ты видел здешних детей. Ты где-нибудь когда-нибудь еще видел таких детей?

Нурланн отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруна. В глазах его вспыхивает интерес.

— Ты что имеешь в виду? — спрашивает он осторожно.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие! Вот что ты попытайся понять. Ну, не понять, так хотя бы взять к рассмотрению как некую гипотезу. Нашествие! Только идет не марсианин и не мифический Антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас. Будущее-е! И если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок. Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века!

— Ты... вот что, — произносит Нурланн встревоженно. — Ты давай-ка успокойся. Налить тебе еще? — Не дожидаясь согласия, он разливает бренди. — Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбудился.

— В том-то и трагедия, — произносит Брун, мучительно сдерживаясь. — Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь — нет, нельзя докладывать, бред. Роман, а не доклад...

Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен.

— Проходи, — бросает он кому-то через плечо, но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним.

— Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности странные вещи, — говорит он. — Как прикажешь это понимать?

— Что там еще стряслось? — раздраженно-устало произносит Брун, не глядя на него.

— Твои громы хватают детей, бросают их в твои застенки и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом?

— Чушь. Болтовня.

— Минуточку! — говорит Хансен. — У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. Миккель! — обращается он в пустоту рядом с собою. — Повтори господам то, что ты рассказал мне.

Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него:

— Заткнитесь! Извольте не перебивать!

И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурланна явственно написано: в этом мире все сошли с ума. У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол без всякого выражения.

— Так, — говорит Хансен. — Что вы можете на это сказать?

— Ничего, — угрюмо говорит Брун.

— Но я требую ответа! — возвышает голос Хансен. — Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки! Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно! Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком! — Он обращается к Нурланну. — Ты представляешь, Нурланн? Твою Ирму подстерегают вечером в темном переулке, хватают, насильно увозят...

И тут до Нурланна доходит.

— Послушай, Брун, — говорит он встревоженно, — это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал — разбили мне фару, дали по печени... а мальчишку, значит, увезли?

— Идиоты, — говорит Брун сквозь стиснутые зубы. — Боже мой, какие болваны. Слепые, безмозглые кретины! Ни черта не понимают. Жалуют их. Это надо же — сопли пораспустили! Ну еще бы — они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки! А это враг! Понимаете? Враг жестокий, непонятный, беспощадный. Это конец нашего мира! Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это — о! А они смотрят на вас и видят кучу дерьма. Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю — дерьмо, и по Шпенглеру вы — дерьмо. Дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были...

Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит, в глазах его ужасом стынет видение страшного мира.

— Подожди... — бормочет Нурланн потерянно. — Дети-то здесь при чем?

— Да при том, что мы ничего не знаем! А они знают все! Они шляются в Тучу и обратно, как в собственный сортир, они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет, и в соплях ваших я путаться не намерен!

— Вы негодяй, — холодно говорит Хансен. — Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках?

Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера.

— Тройной идиот! — шипит он, хватая Хансена за грудки. — Какие застенки? Какие пытки? Проклятое трепло! Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь, в министерском люксе...

Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурланн еле поспевает за ними. У последней по коридору

двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распахивается.

Широко шагая, Брун проходит через холл, распахивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сладостями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты.

Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате.

Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол, голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке и красных шортах. Тот самый.

Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину.
— Врача! — кричит он хрипло. — Скорее!

Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурланн и швейцар.

— Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок, — тихо говорит швейцар, — они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами. Даже хуже. Воду они как раз любят. Дай им волю, они бы из воды и не вылезали. Пыль мы для них, деревяшки гнилые...

— Ну зачем же так, — говорит Нурланн. — Мне ваш Циприан очень понравился, замечательный парнишка.

— Да? — Швейцар как бы приободряется. — А что, может, еще и породнимся... если так.

Оба усмеваются, но как-то невесело.

— Уж нас-то они не спросят, — говорит швейцар, — будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы — до того ненавижу. А другой раз так жалко, так жалко их, ей-богу, слезы из глаз... Смотрю я на него и думаю: да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь? Или, может, он уже и не человек вовсе? — Он наклоняется к Нурланну и понижает голос. — Говорят же, что ходят они в Тучу эту и обратно. Туда и обратно. Как хотят. Вот вы рассказываете: утром... Они же в Тучу шли! И вы не сомневайтесь, были они там, были! Офицеры — дураки, что они понимают? Слепые они.

Это — таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть. Вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда...

— Да уж какое счастье, — произносит Нурланн, кривя лицо. — Получается, что я их убил...

— Ну что ж, — говорит швейцар. — Значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу? Я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? — Он совсем притрагивает рот к уху Нурланна. — Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... в Тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. Обличьем похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь: да сын ли он мой? Моя ли это кровь?

— Призраки, мороки... — бормочет Нурланн, уставясь перед собой. — Это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их. Каждый день убиваем. И знаете почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать. Только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их в таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать.

Маленькому Нурланну не повезло с отцом. Отец был художником — огромный, громогласный, неумный и неопишимо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей. Он не понимал детских страхов. Он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурланна нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все было огромно: огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри и огромные колышавшиеся волосы вокруг всего этого. Огромная, испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человечка за ухо, и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана, и швыряла его туда, и рушились сверху какие-то картонки, какая-то рухлядь, и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса...

В конце проспекта Реформации (он же Дорога чистых душ), в сотне метров от черной стены Тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками, над толпой мокрых клетчатых

Агнецв Страшного Суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурланн, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома.

— Город тот расположен четырехугольником! — гремит проповедник. — И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город — чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо светильник его — Агнец... Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет вовсе... Среди улиц его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов...

Пока он говорит, от толпы Агнецв один за другим отделяются адепты, человек десять или двенадцать, они идут один за другим к стене Тучи. Им очень страшно, одного трясет, будто в лихорадке, у другого безумные глаза и губы, закушенные до крови, какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый как простыня.

— И принесут в него славу и честь народов! — ревет проповедник. — И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Прииди! Жаждающий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром...

Люди, идущие в Тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот уже они поют все, с каждым шагом все более иступленно и уверенно. Это — псалом, это крик отчаяния и надежды, это иступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности.

И они уходят в Тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека, изо всех сил

спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя.

Нурланн, вскочивший от ужаса, медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.

Темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена Тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок.

Нурланн сидит, где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проемы плаща, и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых маскировочных штанинах.

— Господин профессор, — произносит прокуренный голос. — Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб.

Нурланн поднимает глаза и видит перед собой молодежавшего вояку в берете набекрень, черноусого и чернобрового, с наглыми сержантскими глазами.

— Передайте полковнику, — с трудом ворочая губами, произносит Нурланн. — Здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон.

Вояка мельком взглядывает на Тучу и говорит:

— Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела.

— Заслон, — упрямо повторяет Нурланн. — Никого не пропускать!

— Прикажут — поставим, — бодро говорит вояка. — Только вряд ли прикажут. А вас ждет полковник. Пожалуйте в машину.

Нурланн некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно:

— Оставьте меня в покое.

И уже совсем ночью озябший и измученный Нурланн слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя приближающийся странный разговор:

— Свадебные машины катят к церкви! — с издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. — Это не может не тревожить!

— Мы научились критиковать религию! — в тон ему отзывается девчоночий голос. — Но не противопоставляем ей ничего своего, положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом!

— Человеку нужен обряд! — с издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. — Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям!

И все трое говоривших, словно бы не выдержав, раздражаются хохотом. Этот хохот так заразителен (хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано), что Нурланн, не в силах поднять тяжелые веки, сам улыбается в полусне.

— А вот папа сидит, — говорит девочка.

Нурланн наконец просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые: дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда, они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой Тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии.

Нурланн с трудом встает.

— Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить.

— Отрекохом, — серьезно произносит Циприан. — Отрекохом от сатаны, от скверны.

— Я не шучу, Циприан, — говорит Нурланн.

— Но это же присно и во веки веков, — убеждающе произносит Миккель. — Во веки веков, профессор!

— Ребятки! — проникновенно говорит Нурланн. — Вы одурманены. Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму. А там — смерть. И хорошо еще, если моментальная... Слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как липучка для мух... Я вам все объясню.

— Церковь, — серьезным голосом объявляет Миккель, — учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан.

Это явное издевательство, но Нурланну не до свары.

— Хорошо, — говорит он. — Хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Только пойдете отсюда! Вам хочется поиздеваться надо мной — пожалуйте. Но сейчас я плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать...

Циприан, подняв палец, важно произносит:

— Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах. Но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов.

— Папа, — говорит вдруг Ирма обыкновенным голосом. — Пойдем с нами. Это так просто.

И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к Туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается, охваченный жаждой схватить, остановить, оттащить. И вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем.

Он видит зеленую равнину под ясным синим небом, и купы деревьев, и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают: серьезный, сосредоточенный Циприан; задумчивая, очень хорошенькая Ирма; ехидно ухмыляющийся Миккель...

И какой-то вкрадчивый полужнакомый голос шепчет ему на ухо:

— Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой?

— Я вижу свою дочь.

— А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно.

— По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка.

— Рассказывай, рассказывай!

— Циприан... Хорошая пара.

Голос становится назойливым и крикливым.

— Говори! Говори, Нурланн! Что ты видишь? Говори!

Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромный орущий рот, раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн...

— Говори, Нурланн! Говори! Говори, скотина!

* * *

Ранним утром в номер Нурланна врываются Лора и Хансен. Нурланн, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый: как пришел накануне, как повалился на кушетку в чем был, так и заснул, словно в омут провалился.

Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут.

— Нурланн, боже мой, сделай что-нибудь! — стонет Лора. — Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется... Боже, за что мне это? За какие грехи?

— Нурланн, надо что-то делать, — хрипит мучительно трезвый Хансен. — Дети ушли! Все! В городе не осталось ни одного ребенка. Да черт же тебя возьми, проснись же! Пьян ты, что ли?

Нурланн садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный: его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись.

— Я боюсь, Нурланн, — ноет Лора. — Сделай что-нибудь! Я ничего не понимаю... Почему, за что?

— Сволочи! — хрипит Хансен, бегая по комнате. — Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит, кончилось мое терпение. Кончилось! Да поднимайся же ты, нашел время дрыхнуть!

— Ну хорошо, хорошо... — бормочет Нурланн, растирая лицо ладонями. — Сейчас. Дайте штаны надеть. Где здесь у меня штаны? А! Да что случилось-то, в самом деле? — Он грузно поднимается на ноги. — Что вы раскудахтались?

— Дети ушли из города! — орет Хансен. — Увели наших детей!

Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли согнувшись, промокшие насквозь, сжимаемая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры как бы без лиц — железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежали на автоматах, и дождь лил на вороненую

сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы...

— Чепуха! — говорит Нурланн, трясая головой и зажмуриваясь. — Это совсем не то...

— Да очнись ты, черт тебя подери! — орет Хансен. — Их Туча заманила! Туча их сожрала, ты понимаешь?

— Погоди, — говорит Нурланн. — Надо без паники. Погоди.

— У тебя оружие есть? — спрашивает Хансен. — Пистолет какой-нибудь, автомат... Хоть что-нибудь?

— Какое оружие, дурак, — огрызается Нурланн. — При чем здесь оружие?

Лимузин Нурланна с трудом пробирается между брошенными как попало многочисленными автомобилями. За рулем Нурланн, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой Лора, на заднем сиденье озверелый Хансен.

Дальше ехать невозможно, и все они выбираются наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации, он же Дорога чистых душ. Тысячи людей, мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закаченными в обмороке глазами, оскаленных. Утопившие в толпе автомобили — роскошные лимузины, потрепаннные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурланн не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди, — тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам.

Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает:

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господа?

— Идиоты! Слюнтяи! Давным-давно надо было их за ухо — и вон из города! Говорили же умные люди...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, босяками ходили, лишь бы их одеть-обуть...

— Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...
 — Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там!
 — Они давно собирались, я видела, да боязно было спрашивать...
 — Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!
 — Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Надо же что-то делать!
 — Да я его в жизни пальцем не тронула! Я видела, как вы своего-то ремнем гоняли. А у нас в доме такого и в заводе не было.
 — В кр-р-ровь! Зубами рвать буду!
 — Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту Тучу ушли... Да брось ты, сами они ушли, никто их не притягивал...
 — Муничек мой! Муничка!
 — Надо телеграмму господину президенту! Десять тысяч подписей — это вам не шутка!
 — Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими и распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть!

И тут раздался Голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздается как бы в мозгу у Нурланна, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорит через плечо, оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его, наконец, пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать,— произносит Голос.— Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны.

Пока Голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена Тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо. И неподвижно стоит перед нею толпа. Люди словно боятся пошевелиться.

— Вы очень любите подражать своим предкам,— продолжает Голос,— и полагаете это важным человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами, не хотят они, чтобы из них сделали преступников против Человечества, не хотят ваших семей и вашего государства. Поглядите на себя! Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом. А теперь — уходите.

Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать. А у Нурланна в мозгу вспыхивают только отдельные странные и страшные картинки — собственные воспоминания вперемежку с виденным в кинохронике:

...огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью...

...кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц, шприц вонзается в бедро прямо сквозь джинсы...

...дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке...

...несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке...

...и подростки-фанаты, с ревом громящие стадион...

...и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубашках до колен, подпоясанные армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами — эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на румяной морде — и значки, значки, значки...

...и сам Нурланн омерзительно, потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она орет на него, похожая на отвратительно красивую мегеру, и маленькая Ирма с ужасом и недоумением смотрит на них, забившись в угол с большой куклой...

...и какой-то молодой отец с кружкой пива у ларька — хлеба-ет сам и дает отхлебнуть сынишке, который держится за его брючину...

— Ну, что же вы стоите? — произносит Голос.— Пошли вон. Уходите!

И черная стена Тучи толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать.

— Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь, пока целы!

И снова Туча делает огромный шаг на толпу.

Город прорвало как нарыв.

Впереди, по обыкновению, драпают избранные, драпает магистратура и полиция, драпает промышленность и торговля, драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, вострепанные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом шуме сигналов, во вспышках фар спецмашин — рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавливается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь — собственноряд, на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных «фольксвагенах», «тойотах» и «фордиках», на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее.

За народом отступает армия. Идут вездеходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные «корсары»... Последними идут танки, с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей Тучи.

И гремит над этим громадным бегством голос проповедника:

— ...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в тебе найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...

К рассвету город опустел.

Утро хмурое, но дождь прекратился. По пустому проспекту Реформации мимо мрачных домов с мертвыми окнами бредет

нога за ногу Нурланн, растерзанный, небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь.

На асфальте проспекта, на тротуарах разбросано затоптанное тряпье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку — сам грузовик, перекошенный, с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб; и опрокинутая детская коляска; и остатки стойбища Агнцев, а на углу переулка и какой-то Агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурланн равнодушно проходит мимо.

Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен, в руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза осоловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурланна.

— Все убежали... — доверительно сообщает он. — То есть все удрали. До последнего человека. Пустой город. Представляешь?

Нурланн ничего не отвечает. Похоже, он просто не слышит Хансена. А тот продолжает на ходу:

— А я вот решил остаться и посмотреть все-таки. Ведь это будущее, Нурланн! Ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали. И что же теперь? Удирать? Глупо! Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдем. Верно, Нурланн?

Нурланн молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки.

— Очень страшно, — признается он. — Просто мороз по коже — до чего страшно. Понимаешь, Нурланн? Будущее создается тобой, но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир. Глупость ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. Но с другой-то стороны — что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя! Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый... Ведь я ему не нужен, я в нем — нуль! Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... И выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланн, они там не пьют, совсем!

На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. «Фольксваген» его поломался, стоит с задранной капотом. Швейцар, потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается:

— Да пропади они все пропадом! Сунул их в какой-то автобус, и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, этот сервис? «Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи...» Светопреставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли! Дал я ей коленом под задницу толстую... А вы как же, господа? Не страшно?

— Страшно, — говорит Хансен. Нурланн молчит.

— И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, а они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же: дети-то наши не испугались? Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются... А?

Они идут и идут, черная стена Тучи все ближе и ближе, сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, — и от него идет пар.

Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, желтая машина во всей своей красе — с фарами, мигалками и антеннами — и резко тормозит перед идущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда подтянутый, резкий, решительный.

— В чем дело? — спрашивает он свирепо. — Почему вы здесь?

— Идем туда, — важно отвечает швейцар.

— Куда — туда? Вы что — с ума сошли?

— Тебя не спросили, — неприязненно произносит Хансен. — Проезжай, чего встал?

Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди.

— Предатели, — говорит он сквозь зубы. — Подонки.

Нурланн ни с того ни с сего вдруг широко улыбается.

— Бедный прекрасный утенок, — говорит он. — До чего же хлопотно тебе жить! Все суетишься, все бегаешь, совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее. А на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться.

— Идиоты! — шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину и с силой захлопывает за собой дверцу.

И вот они стоят перед черной стеной, все трое, и всем им страшно, а швейцар монотонно читает вполголоса:

— И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай... и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными...

Черная стена надвигается и поглощает их.

Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой: неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама — сплюснутые ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми кольями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клошья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними — полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом...

И над всем этим — ослепительно-синее небо, а над горизонтом медленно поднимается сплюснутый рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна.

И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами:

— Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы.

Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости.

Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием.

— Мы поносили тебя,— продолжает Нурланн.— Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распорядились друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норавли в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу... И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз.

Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья — на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица.

И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники.

Циприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремя, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег.

Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза.

Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба.

В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей.

Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.

Ирма занята своей стрекозой — слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони.

У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается...

...и вдруг подносит трубу к губам и трубит — звонко, чисто и сильно.

Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников.

Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.

ЧАРОДЕИ

По улице небольшого северного городка катит запыленный «икарус». По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками, «икарус» разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры — с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек лет двадцати пяти, современного вида: бородка без усов, модная прическа-канадка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными «молниями».

Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий — тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстуке. Следуют рукопожатия, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан.

Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую, старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали швед-

ские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изящно: «ул. Лукоморье».

— Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме. — Но вам только эту ночь и придется здесь провести. А завтра прямо с утра...

— Да ничего, не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. — Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет?

— Что вы! Это же музей!..

Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша читает вывески на воротах. На левой воротине строго блестит толстым стеклом солидная синяя вывеска: «НИИЧАВО АН СССР. ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ. ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка «ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось: «КОТ НЕ РАБОТАЕТ. Администрация».

— Это что у вас тут за КОТ? — спрашивает Саша. — Комитет оборонной техники?

Молодой человек в костюме смеется.

— Сами увидите, — говорит он. — У нас тут интересно. Прощу.

Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом — приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами, справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот.

— Здравствуйте, Василий, — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. — Это Василий, Саша. Будете знакомы.

Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома.

— А вот и хозяйка, — продолжает молодой человек в костюме. — По здоровью ли, баушка, Наина свет Киевна?

Хозяйке, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здорова, здорова, внучек, Эдик Почкин, что мне сделается? — произносит она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать.

Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный: старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображениями Атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчат редкая седая щетина.

— Позвольте вам, Наина Киевна, представить... — начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его.

— А не надо представлять, — басит она, пристально разглядывая Сашу. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот сорок шестой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, брильянтовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гм! — громко произносит Эдик, и бабка сразу замолкает.

Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону.

— Можно звать просто Сашей, — выдавливает из себя новый программист.

— И где же я его положу? — осведомляется старуха.

— В запаснике, конечно, — говорит Эдик. — Пойдемте, Саша...

Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом.

— А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она.

— Ну ведь обо всем же договорились, — терпеливо поясняет Эдик. — Вам же звонили. Вам директор звонил?

— Звонить-то звонил, — бубнит бабка. — А ежели он что-нибудь стибрит?

— Наина Киевна! — с раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь...

Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши: «Виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе:

— Это наш новый заведующий вычислительным центром! Ученый!

— Ученый... — брызжит бабка. — Я тоже ученыя! Всяких ученых видала...

— Наина Киевна!.. Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо...

Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешанным ситцевой занавесочкой. У окна — массивный стол и две дубовые скамьи, на бревенчатой стене — вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки; в углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа — очень современный низкий диван, совершенно новенький.

— О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо...

Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой.

— Как это так? — бормочет он. — Позвольте...

Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становится на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату заваливается старуха со стопкой постельного белья.

— А ежели он тут у меня, скажем, молиться зачнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога.

— Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — Он показывает на диван. — Давно привезли?

— Опять же вот диван! — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалится он на этот диван...

— Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана... Позвольте, — говорит он, озираясь. — Здесь же была раскладушка...

Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплюснутая луна. Вдали лают собаки, из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы — полночь.

Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зеваает. На полу — раскрытый чемодан, в нем книги вперемешку с носками и галстуками. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же мгновение раскладушка с лязгом разваливается.

Тишина. Потом храп за стеной возобновляется, Саша, чертыхаясь вполголоса, выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову — наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — произносит Саша через левое плечо.

Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату.

Диван.

Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану. Расстилает постель, несколько раз с силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание.

— Ну-с, так... — произносит хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был жил царь по имени... мнэ-э-э... Ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э-э... Полуэкт...

Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенный луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки.

— Мнэ-э-э... — тянет он, задумчиво подняв глаза к небу. — У него было три сына-царевича. Первый... мнэ... Третий был дурак, а вот первый?

Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба.

— Хорошо, — цедит он сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица... У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, погиряет лоб когтистой лапой.

— Пр-роклыйтый склероз, — говорит он. — Но ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» А дальше? — Кот делает фехтовальные движения. — Три головы долой, Иван вынимает три сердца и... и... — Плечи его поникают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли.

— Кря-кря, мои деточки, — поет он, пощипывая струны. — Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э-э... Я слезой вас отпаивала... Вернее, выпайвала... — Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немзыкально кричит: — Сладок кус недоедала! — Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. — Труд, труд и труд! — провозглашает он. — Только труд! — Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча: — Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... — Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча лапой по лбу. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... н-ну, хорошо, скажем, Полуэкт...

Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным рокочущим «Ко-о, ко-о, ко-о...». Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах, двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога — проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-о, ко-о, ко-о» переходит в звук тормозящейся магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.

Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно.

Саша наконец вскакивает, выбегает в прихожую и хватается за трубку.

- Алло! — хриплым со сна голосом говорит он.
- Такси вызывали? — гнусаво осведомляется трубка.
- Какое такси?
- Это два-семнадцать-шестнадцать?
- Н-не знаю...
- Такси вызывали?
- Нет... Не знаю... Откуда мне знать?

В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и... остолбеневаает на пороге.

Диван исчез.

На полу, там, где стоял диван, валяется постель. И больше ничего.

Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает и похлопывает ладонью то место, где стоял диван.

— По-моему, я на нем спал, — говорит он вслух. — Даже приснилось что-то...

Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной, в отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя борду.

Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, осторожно отодвигает засов.

На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза.

— Прошу прощения, Александр Иванович, — с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами. — Я отниму у вас не больше двух минут.

— Да-да... прошу... — растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую.

Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу.

— Извините, — лепечет он. — Может быть, здесь... А то у меня там, знаете, беспорядок... даже сесть толком негде...

— Как негде? — Незнакомец резко поднимает брови. — А диван?

Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — шепотом спрашивает Саша.

Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови.

— Ах вот как... — медленно произносит он наконец. — Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения.

Он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной.

— Куда вы? — бормочет Саша. — Вам не туда... Вам...

— Ах, это безразлично, — говорит незнакомец, не оборачиваясь, и скрывается за дверью.

Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка.

Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату.

— Стаканá нет? — раздается за его спиной хриплый голос.

Саша оборачивается.

Верхом на скамье под зеркалом сидит какой-то тип в кепке, сдвинутой на правый глаз. Щетина. К нижней губе прилип окуроч.

— Стаканá, говорю, нет? — повторяет тип.

Саша молча трясет головой.

— Значит, с горлá будем, — оживает тип. — Ну, давай.

Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть.

— А собственно, кто вы такой? — спрашивает он. — Что вам здесь надо?

Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван.

— Чего мне здесь надо, того уже здесь нету, — произносит он с сожалением. — Опоздал, понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим. — Он снова обращает глаза на Сашу. — Этого, значит, не держишь, — говорит он, щелкая себя по щеке. — И красного тоже нет? Жаль. Обидел ты меня, друг. — Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста. — А что это там приходило? — спрашивает он, ставя бутылку на стол.

— Не знаю, — отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный. — В берете какой-то...

Тип понимающе кивает.

— Кристоаль Хозевич, значит. — Он снова запускает руку в зеркало. — Тоже, значит, опоздал. Во Витек дает... — Он сосредоточенно шарит в «зазеркалье» и бормочет: — Всех сделал. Шефа моего сделал, Кристоалья Хозевича — и того сделал... — Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка, опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими. — Это же надо — сколько старуха пьет! Как ни придешь, меньше чем две пустышки не бывает... А одеколону у тебя тоже нет? — спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську.

— Нет, — говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську. — А что здесь вообще происходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?

Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно-почтительное выражение.

— Пардон, — говорит он кому-то, глядя поверх Сашиного плеча.

Саша оглядывается. У дверей, куда смотрит тип, никого нет.

— Пардон, — повторяет тип, пятясь. — Айн минут, мерси, гуд бай.

Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в «зазеркалье», мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.

Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него. Отшатывается: своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу — все что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за трусы.

На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец.

Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр, комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампочки, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает.

Саша, закусив губу, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается, тьма, грохот, летят искры, и Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, с шумом обрушивается на него.

Раскачивается лампочка на длинном шнуре, на потолке явно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает.

Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндрик. Руки у него трясутся.

— В-вот это в-вы и-напрасно, — раздается голос.

— Что — напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не обращившись.

— Я г-говорю про умклайдет. Вы н-напрасно накрыли его шапкой.

— А что мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и наконец оборачивается. В комнате никого нет.

— Это ведь, к-как говорится, в-волшебная палочка,— поясняет голос.— Она т-требует чрезвычайно осторожного об-обращения.

— Поэтому я и накрыл,— говорит Саша.— Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Б-благодарю вас.

Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, нетопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, саваофова борода волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него рочучий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно.

— Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться,— говорит он.— Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся — обойдется как-нибудь... Этот диван, черт его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул — и сюда.

— Насчет дивана вы опоздали,— с сожалением говорит Саша.— Украли его уже.

Человек в халате величественно отмахивается.

— Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут... Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умклайдет здесь потерял... волшебную свою палочку... а это, дружок, не шутка.

Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке.

— Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров,— продолжает гость,— и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, ум-

клайдет электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова—Лавуазье...— Он сочувственно разводит руки.

— Да о чем речь! — восклицает Саша.— Я и не претендую! — Он спохватывается.— Может, вы присядете?

— Благодарю вас, мне так удобнее... Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработаете у нас годик-другой...— Он прерывает самого себя.— Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. Мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя...

Саша поднимает руку.

— Ради бога! Все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый... кум... ум... эту самую волшебную палочку! — Он останавливается.

Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется.

— Так будет лучше, уверяю вас,— объявляет незнакомец в халате.— А то, знаете ли, могло так бабахнуть... А вот забрать умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит.

Саша в полной готовности отчаянно машет руками.

— Да, я ведь еще не представился,— продолжает незнакомец.— Киврин Федор Симеонович. Заведую у нас отделом Личнейного счастья.

Саша застывает в почтительном изумлении.

— Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности.— Ну еще бы!.. Я вот только позавчера вашу статью... В «Успехах физических наук»... Ну, знаете, эту... о квантовых основах психологии...

— Знаю, знаю,— благодушно говорит Федор Симеонович.— И как вам эта статейка?

Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга.

— Да... гм... Пожалуй,— басит Федор Симеонович не без некоторого самодовольства.— Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо

можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хома Брут... вот этот, в кепочке, с бутылками... Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун... Правда, привержен...— Федор Симеонович щелкает себя по бороде.— Дурное влияние, черт бы его побрал... Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятьями... А то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, «Алдан-12», а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чародейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики! Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся...

Саша чешет затылок.

— Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень... Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли... Вообще я это как-то в переносном смысле понимал... как иносказание...

Федор Симеонович добродушно хохочет.

— Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы — молодец, что приехали. Вам у нас понравится. Вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите...

Саша стесняется.

— Да, конечно...— говорит он.— Но сейчас что об этом? Там видно будет...— Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора.— Вот диван пропал,— говорит он.— Вы мне не скажете, Федор Симеонович, что все это означает? Диван... суета какая-то...

— Ну, видите ли, это не совсем диван,— говорит Федор Симеонович.— Я бы сказал, это совсем не диван... Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется...

— Ну что вы! — восклицает Саша.— Наоборот! У меня к вам еще тысяча вопросов!

— Нет, нет, дружок. Вы же устали, утомлены с дороги...

— Нисколько.

— Александр Иванович,— внушительно произносит Киврин.— Но ведь вы действительно утомлены! И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: «Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Симеонович...», кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает.

Федор Симеонович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает.

Становится темно и тихо.

Сильный грохот. Саша открывает глаза и поднимает голову.

Комната полна утренним солнцем.

Дивана по-прежнему нет, а посередине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет двадцати пяти, в тренировочных брюках и пестрой гавайке навыпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спрашивает Саша хриплым со сна голосом.

Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком.

— Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь.

— Тихо, ты, смертный,— откликается детина.

Он прекращает свои пассы, берет умклайдет и выпрямляется во весь рост. Рост у него — под лампочку. И весь он кряжистый, широкий, узловатый.

— Эй, друг,— говорит Саша.— А ну-ка положи эту штуку на место и очисти помещение!

Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыню и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу.

Детина гогочет.

— А ну, положи умклайдет! — рявкает Саша, поднимаясь.

— Что ты орешь, как больной слон? — осведомляется детина.— Твой он, что ли?

— А может, твой?

— Ну, мой!

Сашу осеняет.

— Ах ты, скотина! — говорит он. — Так это ты диван спер?

— Не суйся, братец, не в свои дела, — предлагает детина, за-
пихивая умклайдет в задний карман брюк. — Целее будешь.

— А ну, верни диван! Мне отвечать за него, понял?

— А пошел ты к черту, — говорит детина, озираясь.

Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватается Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подраться.

Но тут дверь распахивается и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой — папка на «молнии».

— Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван?

Детина и Саша сразу отпускают друг друга.

— Какой еще диван? — вызывающе осведомляется детина.

— Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой. — Сами знаете, какой диван.

Он проходит в комнату, а за ним входят: Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный; плешивый и бородатый, странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах; Хома Брут в своей кепочке, сдвинутой на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандалчик.

— Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев.

— Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван, это есть прибор...

— Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий полоторный, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте: обшивка порвана, пружины поломаны.

— Там нет никаких пружин, — терпеливо объясняет Эдик. — Это прибор. С ним работают.

— Этого я не знаю, — заявляет Модест Матвеевич, пряча книжку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, как вы работаете, — утрюмо говорит Корнеев.

— Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении!

— Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом плешивый, — могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отмести, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры, с одной стороны, соответствующие, а с другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — решительно прерывает его Модест Матвеевич. — Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван, и немедленно.

— Правильно! — подхватывает профессор Выбегалло. — Мы решительно отменяем все и всяческие споры, и мы требуем, общественность требует, наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен. В распоряжение моего отдела.

Все четверо начинают говорить разом.

Э д и к. Модест Матвеевич, это не диван! Это транслятор универсальных превращений! Ему не в музее место, его здесь вы по ошибке поместили, мы на него заявку еще два года назад написали!..

К о р н е е в (*Выбегалле*). Ну да, конечно, в ваш отдел. Чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали! Вы же с ним обращаться не умеете, опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям!..

М о д е с т М а т в е е в и ч. Вы мне это прекратите, товарищи! Диван есть диван, и кто на нем будет спать или там работать, это решает администрация! Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен! Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев!..

В ы б е г а л л о. Я ваши происки, товарищ Корнеев, отмечаю решительно, раскаленной метлой! Я такую форму научной дискуссии не приемлю! Принципиальности у вас не хватает, товарищ

Корнеев! Чувства ответственности! Нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку!..

Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке.

Хома Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолке, достал из-за уха сигаретку, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря: «Во дают!»

Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит:

— Она сама развалилась... Я встал, а она — раз!..

— Почему вы здесь спите? — грозно осведомляется Модест Матвеевич.

— Это наш новый заведующий вычислительным центром, — вступается Эдик. — Привалов Александр Иванович.

— Почему вы здесь спите, Привалов? — вопрошает Модест Матвеевич. — Почему не в общежитии?

— Ему комнату не успели отремонтировать, — поспешно говорит Эдик.

— Неубедительно.

— Что же ему — на улице спать? — злобно спрашивает Корнеев.

— Вы это прекратите, — говорит Модест Матвеевич. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей. Госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда, Привалов?

— Из Ленинграда, — мрачно отвечает Саша.

— Вот если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

Саша пожимает плечами.

— Пожалуйста!

Эдик обнимает Сашу за талию.

— Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки... — Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается.

— Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили... Лифт у нас не кондиционный...

Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы.

— По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом, — визгливо и мстительно вмешивается Выбегалло.

Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву.

— Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он. — Немедленно верните диван.

Корнеев приходит в неопишемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свиристый порыв ветра сотрясает дуб. Где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловецкие огни.

Выбегалло отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хома Брут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Корнееву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся...»

И только Модест Матвеевич остается непоколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит:

— Неубедительно, Корнеев. Вы это прекратите.

И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место.

Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет:

— В таком вот аксепте. И попрошу.

Затем он поворачивается ко всем спиной и громко провозглашает:

— Товарищ Горыныч!

— Иду, батюшка, иду! — доносится из прихожей испуганный голос.

Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалло приходит в себя и устремляется за ним с криком:

— Модест Матвеевич! Вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания! Я без этого дивана как без рук! Модель идеального человека тоже без этого дивана будет как без рук!..

Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Хома Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется:

— Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза...

— Бр-р-рысь, пр-р-ропойца! — рычит Корнеев, и объятый ужасом Хома Брут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверью.

Корнеев садится на диван и, наклонивши голову, вцепляется себе в волосы костистыми пальцами.

— Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пни стоеросовые! К черту их всех! Сегодня же ночью опять уволочу!

— Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик. — Ну что ты, право... Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит Хунта...

— Хунте самому диван нужен, — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы.

— Ну, знаешь! С Крестобалем Хозевичем всегда можно договориться. Это тебе не Выбегалло...

При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, шелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый профессор Выбегалло, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди: «Выбегалло 92/К». Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется.

— Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик.

Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате.

— Тьфу на тебя! — орет он фигуре.

Фигура послушно исчезает, а Корнеев, дуя на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.

Эдик, глядя ему в спину, качает головой.

— Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша. — В чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий...

— Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например... Ну, что бы... — Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. — Вот видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите...

Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову.

И сейчас же исчезает.

— Шапка-невидимка, понимаете? — раздается его голос.

Он снова появляется и вешает шапку на место.

— А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком-спальчик в сапогах... Возись потом с тобой.

— Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует.

Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.

— Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с головы до ног.

— Да, — отвечает Саша небрежно. — Попытаюсь.

— Ты машину-то знаешь нашу, «Алдан-12»...

— Приходилось, — говорит Саша.

— Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растабарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне, зануды, дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван... Ну что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?

— Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо, какая модель?

Корнеев делает движение, как будто собирается бежать за чем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги,

авторучку, бросает все на стол и с ходу принимается писать, приговаривая:

— Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина, понял? Граничные условия такие... Нет, здесь в квадрате, так?

Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.

— Оператор Гамильтона... — продолжает Корнеев. — Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания... Ну чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется...

Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам.

Появляется кот Василий, обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается.

Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр.

Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным, временного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска: «Научно-Исследовательский Институт ЧАродейства и ВОлшебства».

Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор.

Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер-ифрит, в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече, распаивает перед ними двери.

* * *

И полетели дни и ночи, заполненные работой.

Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки; бешено несется за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша просматривает таблограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряды цифр, с досадой рвет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест.

Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги: «Уравнения математической магии».

Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды исчерченной исписанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан исписанной бумагой. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожая на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: «Корнеев 186/К». Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшейся абстрактной модели вспыхивают латинские буквы А, В, С и т. п. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать.

* * *

Снова перед пультом машины. Крестобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст: «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: ДА, ВОЗМОЖНО. ВТОРОЙ ОТВЕТ: НЕТ. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МНЕ ПАМЯТЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ: ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ХР ХР ХР ХР...» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше, Саша разевает рот: у Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули.

Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь.

Саша отрывает таблограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему таблограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком — обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки, Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки.

Саша у себя в кабинетике просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять — все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие, у каждого на груди надпись: «Выбегалло 11», «Хунта 1244», «Киврин 67», «Корнеев 421»... В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его «Выбегалле 11».

— Я тысячу раз просил на машинке печатать, — строго говорит он. — Почерк же, как курица лапой. Перепечатать!

Тут он замечает человека с портфелем.

— А! — говорит он. — Проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста... Вы ведь с рыбозавода? Мне звонили... Да идите же сюда!

Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула.

— Неудобно как-то, — бормочет он, опасливо косясь на очередь. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, ничего, это не товарищи... — Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля.

— Ну, граждане...

— И не граждане... — Саша начинает просматривать бумаги. — Это называется дубль, — объясняет он, не поднимая глаз. — Времени сотрудникам не хватает: в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии... Кого сюда, кого за получкой... кого в магазин... кого на свидание... Я что-то тут не понимаю, к какому же вам числу это нужно? А, понятно...

Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь.

— Дубли... То-то же я смотрю — не мигают оне... а вот этот, с бородой, он, по-моему, и не дышит даже...

Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться! Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу. Пробуют так и эдак. Лица у них становятся серьезными.

Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.

Саша работает у пульта машины — очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег.

Входит дубль Эдика — «Почкин 107».

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы.

— Хозяин... просит... явиться... на доклад... Выбегаллы... — монотонно бубнит дубль.

— Не могу, не могу, занят, — нетерпеливо отвечает Саша. — Пошел вон.

Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка.

— Саша, — говорит она, — чего же ты? Пойдем!

Саша смотрит на нее, мотает головой.

— Стеллочка, не могу, — говорит он. — Честное слово, не могу.

— Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное...

Саша опять трясет головой.

— Нет-нет, не могу. Не проси.

Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В дверь левым плечом вперед вдвигается Хома Брут, руки в карманы, кепочка на глаз.

— Слышь, Саш, — сипит он. — А ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный...

— Отстань, отстань! — говорит Саша со злостью.

— Во дает! — удивляется Хома. — Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем — закачаесть! Весь институт на воздух пустим...

Саша поворачивается к нему.

— Вместе со своим шефом, — говорит он громким шепотом, — иди, иди и иди. Понятно? Занят я! — орет он. — Некогда мне вашей чепухой заниматься!

Хома обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хома немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот.

Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. (Саша рассеянно отгоняет дым ладонью.) Глаза съезжают и развезжаются.

Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт».

Хома укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы.

Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин.

— Ну что же ты, Саша? — говорит он. — Я же тебя звал.

— Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша. — Занят я. Не нужен мне ваш Выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен...

— Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша.

Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит:

— Сашка? Ты что там отсиживаешься, хомяк? Трусишь?

Саша поражен.

— Да что вы, в самом деле, ребята, — лепечет он. — Ну пожалуйста, ну пошли...

Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену.

По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хома Брут.

Перед распахнутыми воротами ангара оживление: только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо; спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели, глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжения, его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами; толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида.

Надпись на плакате: «Внимание! Внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалло! Демонстрация совершенной модели идеального человека! Доклад профессора Выбегалло А. А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать».

Саша входит в ангар — огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В глубине ангара на дощатом помосте вышатается знакомый диван-транслятор. От него в разные стороны

бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста стоят генераторные башни с металлическими шарами наверху, между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома.

Почти сразу же Саша натывается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Кристоаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной палкой и профессор Выбегалло — в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке.

— Достаточно того, — говорит Хунта, обращаясь к Выбегалло, — что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение двадцати минут был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — огрызается Выбегалло фальцетом. — Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь течет живая вода, я себе в ей все валенки промочил...

— Г-голубчик, — рокошет Федор Симеонович. — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принимать во внимание возможные осложнения... Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом...

— У меня не дракон! У меня идеальный счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин! Странные у вас аналогии! Чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!

— Г-голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить!

— Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович, вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между мужчиной и женщиной... Но замазывать пропасть мы вам не позволим!

— К-какую пропасть? Что за чертовщина? Кристоаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили! Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен! Понимаете? Институт можно повредить, понимаете?

— Я-то все понимаю, — визжит Выбегалло. — Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру! И Модест Матвеевич вот тоже понимает! Там мы имеем что? — Он указывает в пространство. — Природу! Стихии! Снег вон идет. Значит, считайте: обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу!

— Это убедительно, — говорит Модест Матвеевич раздумчиво.

— Да он весь ангар вам разворотит, — говорит Федор Симеонович. — Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города! А лучше дальше...

— Ах, вам лучше, чтобы дальше? — зловеще вопрошает Выбегалло. — Понятно. Тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Симеонович, а прямо уж на пять тысяч километров? Подальше где-нибудь, на Аляске, например! Так прямо и скажите! А мы запишем!

Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— За такие слова, — цедит сквозь зубы Хунта, — лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и провертел бы в вас дыру для вентиляции...

— Ничего, ничего, — отвечает Выбегалло, — это вам не Португалия. Критики не любите...

— А ведь вы пошляк, Выбегалло, — неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Симеонович. — Вас, оказывается, гнать надо.

— Критики, критики не любите, — отдуваясь, твердит Выбегалло. — Самокритики не любите...

— Значит, так, — вмешивается Модест Матвеевич. — Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно: обшивка должна остаться целой, и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые?

С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется.

— Критики не любите! — в последний раз торжественно восклицает Выбегалло и тоже удаляется.

Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга.

— А что если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта.

— Лучше уж в стул, — говорит Федор Симеонович.

— Можно и в стул, — говорит Хунта. — Я охотно буду на нем сидеть.

Федор Симеонович спохватывается.

— Г-голубчик, о чем это мы с тобой говорим? Это же негуманно... — Взгляд его падает на Хому. — Минуточку, дружок! Подите-ка сюда, подите!

Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь.

— Скажите-ка, дружок, — спрашивает Федор Симеонович. — Какие там у вас с Выбегаллой задействованы мощности?

Хома пытается уменьшиться в размерах, но Хунта ловко хватает его за ухо и распрямляет.

— Отвечайте, Брут! — гремит он.

— Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хома. — Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят на десять тысяч сил, я и дал десять тысяч!

— Каких сил?! — восклицает Федор Симеонович, раздувая бороду.

— Ма... магических, — мямлит Хома.

— Десять тысяч магических сил?! — Ошеломленный Хунта отпускает Хому, и тот мгновенно улечучивается. — Теодор, я принимаю решительные меры.

Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага.

И сейчас же в открытые ворота ангара с ревом вкатываются гигантские МАЗы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает

возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений.

— Десять тысяч магосил! — бормочет Федор Симеонович, ошеломленно качая головой. — Однако ж, друзья мои! Это же нельзя просто так... Это ж рассчитать надо было!.. Это же в уме не считаешь!

Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться.

— А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. — Ну, рассчитал я ему... заявка была... модель идеального человека... Почему я должен был отказывать?

— А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Симеонович, — что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? По-тре-би-тель!

— Выбегалло — демагог, — добавляет Хунта. — Бездарь. Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответных дурачках, как вы и этот алкоголик — золотые руки.

Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хома Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалло.

Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком. Один из них приносит магнитофон.

Выбегалло залпом выпивает стакан воды и начинает:

— Главное — что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, ета, все, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. (Корреспондентам.) Вы, товарищи, все пока пишите, а потом я сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то-сё... Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет,

и хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем?..

Пока Выбегалло говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара.

— Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у ей внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, ета, становятся в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется...

Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване садится удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись: «Выбегалло-второй Счастливый». Человек, ни на кого не глядя, хватая ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее.

— Видали? Видали? — радостно кричит Выбегалло. — Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите! Видали, как оно может?.. Ух ты мой милый, ух ты мой радостный... Во! Во как оно может!.. Вы там, товарищи в прессе, свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык! Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии! Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади, или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме...

Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидываются ведра молока. Модель заметнo раздуло, полосатая пижама ей уже тесна.

— Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои матпотребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясню для прессы. Когда временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно пере-

ходить к удовлетворению духпотребностей. То есть: посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уж об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение матпотребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем.

Профессор Выбегалло дает сигнал ассистентам.

Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку.

— Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает Выбегалло.

Магнитофон сладко поет: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят».

Два ассистента с журналами в руках становятся перед моделью и наперебой читают вслух, а Хома Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то заливчатское.

Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опорожнив последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрывает.

Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу.

Толпа пятится.

Саша мужественно заслоняет собой Стеллочку.

Пятятся чтецы с журналами, Хома Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки.

Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалло заканчивает свою речь:

— И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.

Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен, пиханная пара свисает с него ключьями.

Встретив внимательный взгляд, Выбегалло нервно поправляет пенсне и произносит:

— Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?

Ему отвечает спокойный голос Хунты:

— Спасайтесь, старый дурак.

Но Выбегалло еще не понимает.

— Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отместить...

Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает неимоверно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегалло замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана.

Выбегалло, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор.

— Это, значить, все будет мое, — рокошующим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то. При этом он непрерывно облизывается.

С головы Саши вдруг срывается финская шапочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плешь.

Стеллочка взвизгивает: с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету.

— Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос Хунты.

Все бросаются в проходы между проволочными ограждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут полягушачьи, летят птичками полущубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки — и все на помост, все на помост.

Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает.

— Мне! — хрипит он. — И это мне! И это! Мое!

За валом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди.

Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хома Брут в одной длинной рубахе до колен. Выбегалло отдувается и кричит фальцетом:

— Критики! Критики не любите!

Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрыгается в телефонную трубку:

— Милиция! Милиция? Немедленно выезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки — некий Выбегалло из НИИЧАВО!

Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груды фото- и киноаппаратов и жадно озирается, ища, чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных ограждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов.

— Машину! — капризно басит упырь. — Машину желаю!

И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный МАЗ, подкатывает к помосту и останавливается.

Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину, ревет:

— Еще!

В пролом один за другим катят: автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик — из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом; два «Москвича»; «Жигули»; старая «Волга», новая «Волга», кадиллак...

— По-моему, пора, — говорит Федор Симеонович Хунте, который не отрываясь наблюдает за упырем в стереотрубу.

— Начнем со снотворного, — говорит Хунта. — Давайте! — командует он кому-то через плечо.

Из-за вала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря брандспойт, присоединенный к серебристой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть.

Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под

струей как под душем Шарко, гогоча и шлепая себя под мышками, потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока — терпения у него не хватает: он протягивает руку на все двадцать метров, хватая брандспойт (сотрудники — врассыпную), тянет к себе, за брандспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владения упыря втягивается цистерна.

— Ну, с меня хватит! — объявляет Федор Симеонович.

Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Симеонович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии, он кричит:

— Дайте его мне! Сколько же можно терпеть!

— Пускайте Голема! — громовым голосом командует Хунта.

Слышится могучее шипение и свист.

Все приседают и втягивают головы в плечи.

Перемахнув через вал, на середину ангара ловко выскакивает Голем — не глиняный Голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся четыре пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.

Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длинными руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплят.

— Не дам! — рычит он. — Катись отседова!

Робот с пневматическим шипением и свистом приближается.

Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага.

— И-иэх-х!!

Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб.

Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врезается в помост.

Над валом ликование. Свист, аплодисменты.

Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота.

И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой.

Новый взрыв ликования на валу.

Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала.

Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему.

На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделием.

— Хочу! — хрипит он. — Желаю!!

Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет:

— Это будет мое! Это мне! Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный!..

Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут.

— Давай, давай! — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста. — Давай, дело делай. Нечего тебе тут стоять...

И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло.

Упырь радостно хохочет, раззевая пасть на весь ангар.

— Ну, все, ребята, — говорит за валом Витька Корнеев. — Теперь наша очередь.

Саша с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутылки, залитое сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки.

Корнеев легко, одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык:

— «Джин Зло́йдух ибн Джафар. Выдержка с 1015 года до нашей эры. Опасно! Не взбалтывать!»

Виктор старательно трясет бутылку, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.

Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар.

Все замирают.

Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю.

Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу.

Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар.

Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову.

Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент...

— Ложи-и-ись! — орет Корнеев на весь ангар.

Падает ничком сержант.

Падают ничком все за стеной.

Корнеев, заноса назад правую руку с бутылкой, разбегается и, как гранату, швыряет бутылку прямо в разверстую пасть.

Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой.

В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью.

Громовые удары, рычание, хохот... Отчаянный вопль: «Не отдам, не отдам, милиция!..»

Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару.

Рушатся мешки с песком. Рвется в клочья колючая проволока. Валятся столбы генератора Ван де Граафа, летят в воздух доски постаментов, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутятся, переворачиваясь в воздухе, цистерны с надписью «Пиво»...

Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит.

В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в разные стороны струи огня.

Тишина. Там, где был постамент и горой высилось награбленное, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма.

Закопченный и основательно ободренный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон.

По всему ангару зашевелились, поднимаясь, люди. Тоже закопченные и оборванные, словно побывавшие под бомбежкой.

Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает:

— Потерпевших и свидетелей прошу записываться.

В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова, Эдик пришивает пуговицу к куртке, Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу пригорюнившись сидит Хома Брут в больших, не по росту, штанах.

— Выбегаллу-то в милицию забрали, — говорит, похохатывая, Корнеев. — Массовое ограбление под видом научного эксперимента... Модест помчался выручать. Потеха!

— Этому гаду голову оторвать надо, — плачущим голосом говорит Хома. — Таковую гитару мне загубил...

— Гитара — бог с ней, — замечает Эдик. — Диван погиб.

— Ничего, ребята! — говорит Корнеев, подмигивая. — Без гитары мы проживем, а что касается дивана — как-нибудь с диваном уладится.

— Самим нам такой транслятор не смастерить, — говорит Эдик грустно.

Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный.

Всеобщее изумление.

— Главное — что? — объявляет Корнеев. — Главное — вовремя схватить и рвануть когти.

— Ну, братва, — восхищенно восклицает Хома, — по этому поводу надо выпить. Я сбегаю, а?

— Сядь, Хомилло! — властно гремит Корнеев, и Хома покорно опускается на стул. — Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека.

* * *

И снова полетели дни и ночи.

После долгих усилий из Хомы Брута сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хома Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок.

— Давай! — командует Эдик.

Хома силится поднять пистолет — не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер.

— Давай, давай, Хома! — приказывает Эдик. — Это враг! Это лично профессор Выбегалло! Гитару свою вспомни!

Хома, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хоме в затылок.

— Глядеть! — командует Эдик.

Хома гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину. Гремят выстрелы. Бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремит гуш.

Саша и Стеллочка подносят Хоме новую гитару. На глазах у Хомы слезы, он судорожно принокшивается и вдруг чихает и мотает головой.

Федор Симеонович проводит серию экспериментов по омоложению. К «Алдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Симеонович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых имеют место рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Симеонович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних

лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ощущает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Симеоновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке.

Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним основательно потрепанный том «Уравнений математической магии», распухший от многочисленных закладок, счетная машина «мерседес», стопка бумаги. В руке — умклайдет, деревянный, для начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колене, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдце с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы.

А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь, в окно Витькиной лаборатории всюду светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном — циферблат, и еще один циферблат — между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране — прокуренная комната: Выбегалло, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране —

Хома Брут, трезвый и бритый, в белом халате, собирает какой-то прибор: работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время, секундные движутся с одной и той же скоростью. Витка набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хома же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка: собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хома Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витка поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствие с центральным, движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хома. «Ну, я все закончил,— говорит он. Смотрит на часы.— Обалдеть можно, за десять минут управился, а думал, до утра не кончу!» — «Я тебе всегда говорил, что водка — яд»,— угрюмо говорит Витка.

Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом: с машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом.

— Стеллочку можно? — говорит Саша в трубку.

На другом конце провода Федор Симеонович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она сотрудница отдела Линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь.

— Алё! — говорит Стеллочка.

— Ну как ты там? — со вздохом осведомляется Саша.

— Я хорошо,— отвечает Стеллочка, косясь на Федора Симеоновича.— А ты?

— Пошли сегодня в кино,— предлагает Саша.

— В кино? Ты же работать грозился всю ночь.

Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию.

— У меня машина полетела,— говорит он жалобно.— Чинят.

Долго будут чинить. Так пошли?

— Не знаю,— нерешительно говорит Стеллочка.— У нас сегодня...

— С-сходите, с-сходите, Стеллочка,— басит добродушно Федор Симеонович.— П-посмотрите что-нибудь т-такое... Потом р-расскажите...

— Что у тебя сегодня? — спрашивает Саша нетерпеливо.

— В шесть часов,— говорит Стеллочка.

— Где? — спрашивает Саша.

— Где обычно.

Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хома с тестером.

— Ты бы сдвинулся куда, Сашка,— говорит он.— Мешаешь...

Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках.

— Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович,— говорит тот недовольно.— Только мешааетесь...

— Иди, иди,— говорит Хома.— Там получку дают.

— Получку так получку,— со вздохом говорит Саша.— Но к завтрашнему-то дню вы управитесь?

Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и выходит.

Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распахивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошечку кассира.

— А, Александр Иванович? Что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста...

Саша расписывается в ведомости.

— А что, профессор Выбегалло в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги.

Саша пожимает плечами.

— Вы его не видели? — спрашивает кассир.

— Слава богу, нет, — говорит Саша.

— Вы знаете... — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять... Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко открываю, а он уж тут как тут, самый первый...

— Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще.

— Проспал? — Кассир с сомнением качает головой. — Чтобы профессор Выбегалло проспал в день полочки?

— Может быть, заболел? — Саша заинтересовался.

— Дубля бы непременно прислал, что вы!

— Действительно, странно, — говорит Саша.

Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— Бог спас, — бросает сотрудник и устремляется дальше.

Саша останавливает другого сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— А что это такое?.. А, Выбегаллу? Что ты, конечно нет!

Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему:

— Выбегалло? Оно где-то здесь болталло... Но вот когда — не помню. Давно.

— Один раз видел. Хватит с меня.

— А зачем он тебе? Делать нечего?

Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка: «Заведующий отделом Разнообразных приложений тов. проф. Выбегалло А. А.». На ходу на всякий случай дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела Разнообразных приложений.

Атмосфера здесь не самая деловая. Все курят. Двое играют в крестики и нолики. Кто-то читает Сименона, поглощая бутерброды. Кто-то вытаскивает красивый мундштучок. Играет магнитофон.

— Выбегаллу не видели? — спрашивает Саша.

Все взоры обращаются на него. Затем все вопросительно переглядываются.

— А зачем он тебе? — спрашивает тот, что читал Сименона. — Что тебе — плохо без него?

— Серьезно, ребята, где Выбегалло? — спрашивает Саша.

— Был здесь как-то... — нерешительно говорит тот, что читал Сименона. — Дня три, наверное, назад.

— Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштучком. — Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил... Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв.

— А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестики и нолики.

Со всех сторон сыпятся предложения: диван, тумба, одеял. Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано: «Группа самонадевающейся обуви». Здесь работают. Один сотрудник сидит в носках в специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный мокроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает мокроступ по полу. Мокроступ с жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в визг, сидящий с воплями принимается стаскивать мокроступ. Когда ему удается извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях.

Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломачами. Выслушав указания, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее.

Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят — рассматривает что-то в бинокулярный микроскоп, рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит:

— Выбегалло пропал.

— Это хорошо... — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. — То есть, позволь... В каком смысле пропал?

— В буквальном. Нет его нигде. И давно.

Эдик хмурится.

— В бухгалтерии спроси, — говорит он. — Сегодня полочка...

— Спрашивал.

— Подожди, подожди,— испуганно говорит Эдик.— Он и за деньгами не пришел?

Саша мотает головой. Эдик тихонько свистит, затем решительно берет телефонную трубку.

— Алло-оу? — откликается томный женский голос.

— Извините, пожалуйста,— говорит Эдик.— Профессора Выбегалло можно к телефону?

— Кого?

— Это квартира профессора Выбегалло?

— Да-а... кажется. Толик, твой папа профессор?

В трубке вдруг раздается мужской голос:

— В чем дело?

— Профессор Выбегалло дома? — спрашивает Эдик.

— Слава богу, нет.

— Вы не скажете, где он?

— Ушел покупать «Огонек»*.

— Давно?

— Недели две.

Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее.

— Плохо дело,— говорит он.— Неужто пропал?

Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается.

— Нет, Саша, так нельзя,— решительно говорит он.— Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню.

— А он тут, в коридоре...

Они выходят в коридор. Пролом уже сделан, Модест Матвеевич примеряется к нему. Рука с палкой не проходит. Модест Матвеевич дает лучшим новые указания. Грохочут ломы, гремит осыпающийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.

* Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х годов.

* * *

Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит:

— Вы полагаете, иностранная разведка?

— Вряд ли,— отвечает Эдик.— Это было бы слишком хорошо.

— Возможно, пьяный где-нибудь лежит,— раздумчиво говорит Модест Матвеевич.— Бывали прен-цен-денты... И в кабинете нет?

— Кабинет заперт.

— Есть предложение,— провозглашает Модест Матвеевич.— Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель — Камноедов М. М., то есть я, члены комиссии — Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?

Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом.

Около кабинета Выбегаллы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь.

Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор Выбегалло неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника.

Модест Матвеевич снимает шляпу.

— Мир тебе, дорогой товарищ,— произносит он торжественно.— Ты погиб на посту.

Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора ооченелая, как палка.

— По-моему, он жив,— неуверенно говорит Эдик.— Рука теплая.

— Как так — жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу.— Значит, спит?

Эдик вглядывается в лицо профессора.

— Да нет,— говорит он.— Глаза открыты.

— Это еще ничего не значит,— уверенно возражает Модест Матвеевич.— Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами.

Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль.

Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Симеонович и Крестобаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу: Федор Симеонович ощупывает Выбегаллу, а Крестобаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воздух.

К и в р и н. Ан-набиоз...

Х у н т а. Похоже... Анабиоз во внешнем поле.

К и в р и н. Д-да, внутреннего поля не ощущается... Т-ты знаешь, Кристо, это пох-хоже на остановку... А какое там у тебя поле?

Х у н т а. Похоже на темпоральное. Но очень мощное. Источник примерно там...

Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение.

— Странно... — говорит он. — В моем отделе... Двести вторая комната...

Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.

Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и запыхавшись останавливается перед дверью, на которой обозначен номер 202 и красуется табличка: «Лаборатория Корнеева В. П.». Он дергает ручку. Дверь заперта. Он стучит. Никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь.

В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелый Выбегалло, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, настороженно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В отвсетах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти не виден. С невероятной скоростью он двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры.

— Витька! — испуганно кричит Саша.

Мгновение, и Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает.

Профессор Выбегалло оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит:

— Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... О... Т...

И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него.

— В чем дело, товарищи? — раздраженно осведомляется он. — Вы же видите — я занят! Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить!

Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет. Вид у Витьки ужасен: он небрит, осунулся, двухнедельная щетина покрывает его щеки.

— Засекли все-таки... — бормочет он хрипло.

— Что все это значит, Виктор? — спрашивает Саша.

— Мне бы еще часов пятнадцать, — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет. — Видал?

— Ничего не понимаю, — говорит Саша. — Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?

— Я живую воду сделал, балда! — хрипит Корнеев. — Смотри!

Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками.

— Колоссально! — восклицает Саша, загораясь.

— Мне бы еще часиков пятнадцать... ну, десять! — бормочет Корнеев. — Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!

Саша опомнился.

— Подожди, — говорит он. — А Выбегалло-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?

— Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев. — Две недели времени у него отобрал, у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает да в преферанс дуется... Да это вздор! Ты мне лучше вот что... ты мне лучше подсчитай вот такую штуку...

Он наклоняется над столом и принимается быстро писать. Между тем в кабинете Выбегаллы назревает очередной скандалчик.

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — орет Модест Матвеевич. — Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство?

— Никогда! — вопит Выбегалло. — Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума! Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды! И великий Ломоносов решал кроссворды! И этот... как его... великий этот...

— Вы это прекратите! — перебивает Модест Матвеевич. — Работой временной комиссии установлено, что вы четырнадцать суток провели в данном кабинете, следовательно, четырнадцать ночей ночевали здесь, следовательно, четырнадцать раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непробывании!

Выбегалло вытаращивает глаза.

— То есть как это — четырнадцать суток? Это какое же нынче число?

— К вашему сведению, сегодня девятнадцатое!

Выбегалло медленно поднимается.

— Так позвольте же! — произносит он. — Это, значить, получку дают! Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи! — Он устремляется было от стола, но паутина не пускает его. — Да позвольте же! — в полный голос вопит Выбегалло, рвет паутину и, распахивая присутствующих, пулей вылетает в коридор.

— В таком вот аксепте, — говорит Модест Матвеевич, строго озирая присутствующих. — Трудовое законодательство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо. — Он делает движение, чтобы уйти, но любопытство пересиливает, и он наклоняется над кроссвордом. — Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... О... Т... Гм!

В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо.

— Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую... — бормочет Саша.

— Да не в нашей луже, балда, — огрызается Корнеев.

— Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку...

— Да при чем здесь речка, кретин! Всю воду, понимаешь? Всю воду на Земле можно превратить в живую. Всю!

— Вот этого я не понимаю, — говорит Саша. — Энергии же не хватает.

— Да как же не хватает? — плачущим голосом восклицает Корнеев. — Ну что ты за дубина? Я же тебе показываю...

Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распадается. На пороге — Киврин, Хунта, Эдик Почкин, Стеллочка и прочие другие.

— Что же это вы, г-голубчик, затеяли? — укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Симеонович.

— В уголовщину ударились, Корнеев? — неприятным голосом произносит Хунта.

Корнеев стоит, набычившись.

— Почему это — в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты... Может же человек...

— Н-нет, голубчик! — строго говорит Федор Симеонович. — Н-не может. Человек — не может.

— Федор Симеонович! — восклицает Саша, выскакивая вперед. — Крестобаль Хозевич! Он же живую воду сделал!

— Живая вода — это прекрасно, — говорит Хунта. — Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности Господа Бога — решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не Господь Бог! Вы всего лишь маг и волшебник. Способный маг и волшебник, но не более того.

Корнеев открывает было рот, чтобы начать спор, но Федор Симеонович останавливает его властным движением руки.

— Н-нет, голубчик, — говорит он. — И вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытия — все это прекрасно. Но не за чужой счет, голубчик. Не кажется ли вам, что усматривается некоторая параллель между вашими действиями и действиями

некоего профессора, специалиста по разнообразным приложениям? Н-нет уж, вы не морщитесь, голубчик. А к-как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете ч-чужое время. Н-не годится, и н-не верю я, что вы об этом не думали.— Он подходит к дивану, ласково гладит обшивку.— Вот и диван вы украли... д-деградируете, Витя, деградируете...

— Вы не младенец, Корнеев,— говорит Хунта.— Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время — у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на Земле — понимаете? — ни у кого! — не было лишнего времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье!

Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается.

— Так! — произносит он.— Я вижу здесь диван, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три, каковой диван числится у нас списанным.

Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает.

Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша, теперь уже втроем, работают за столом в корнеевской лаборатории. Трещит «мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги. Из-под знаменитого дивана торчат ноги Хомы Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату.

— Порядок,— говорит он.— Принимайте.

Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы, с досадой бьет кулаком по столу.

По берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно.

По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись «Привалов 12», у девушки — «Стелла 56»...

НЕТ-НЕТ,— говорит за кадром голос Саши.— ЭТО ПРОСТО ШУТКА...

Парень счищает надпись у девушки со спины.

...ЭТО, КОНЕЧНО, ШУТКА, ТАК ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ У НАС В ИНСТИТУТЕ.

Девушка счищает надпись со спины парня.

...НО ЗАТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА, ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА... И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

БЕЗ ОРУЖИЯ

Пьеса в 2-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Румата
Кира
Будах
Арата
Рэба
Кондор
Окана
Аба
Уно
Цупик
Хозяин
Пилот
Торговец
Маршал Тоц
Неизвестный
Горожане, штурмовики, монахи

БЕЗ ОРУЖИЯ

ПРОЛОГ

На темной авансцене в луче прожектора появляется Румата — в черном трико с головы до ног.

Румата. То были дни, когда я познал, что значит страдать; что значит стыдиться; что значит отчаяться.

Мужской голос из темноты. Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?

Женский голос из темноты. Спаси, спаси нас! Нам бы хоть как-нибудь да пожить!

Луч прожектора гаснет. Румата уходит, занавес раздвигается. Лесная поляна. На заднем плане — Угрюмая Берлога, приземистая бревенчатая изба, наполовину вросшая в землю. Посередине сцены — покосившийся идол-чучело, на одной из растопыренных деревянных лап висит зажженный фонарь. У подножия идола в круге света сидит дон Кондор в средневековом плаще и ботфортах, в шляпе с пером, рассеянно царапает какие-то фигуры у ног своих концом шпаги в ножнах и насвистывает печальную мелодию — «Летят утки». Из темноты доносятся знакомые звуки: лошади переступают копытами, звякают уздечками, шумно вздыхают, отфыркиваются.

Дон Кондор вдруг поднимает голову, прислушиваясь. Нарастает характерное жужжание приближающегося вертолета. Заржала лошадь в темноте. По поляне, по стволам деревьев пробегают летучий голубой луч прожектора, сразу гаснет. Жужжание усиливается, затем резко обрывается. Дон Кондор встает. Справа на сцену выходят двое.

Первый — дон Румата в средневековом дорожном костюме, при шпаге и в шляпе, с ковровым мешком в руке. Второй — Пилот, в серебристом комбинезоне.

Дон Кондор быстро идет им навстречу, но, не дойдя нескольких шагов, срывает шляпу и делает глубокий поклон. Румата тоже кланяется.

П и л о т. Познакомьтесь, товарищи. Резидент Института экспериментальной истории в торговой республике Соан Александр Васильевич Симонов, он же генеральный судья и хранитель государственных печатей упомянутой республики дон Кондор. Новый резидент Института в герцогстве Арканарском Малышев Антон Константинович, он же...

Р у м а т а. Барон Румата дон Эстор. Покинул метрополию в надежде быть представленным ко двору герцога Арканарского и предложить ему свою честь и шпагу.

К о н д о р. Здравствуй, Антон...

Они пожимают друг другу руки.

Р у м а т а. Простите, Александр Васильевич, чтобы не забыть... Вам письмо с Земли, от внушки... *(Достаёт из-за обшлага конверт, протягивает Кондору.)*

К о н д о р. Спасибо... *(Отходит под свет фонаря, быстро проглядывает письмо, затем прокашливается.)* Спасибо, Антон... Ну что ж, друзья, присядем, поговорим... *(Усаживается под идолом, хлопывает ладонью возле себя.)* Садитесь...

Румата и Пилот садятся.

К о н д о р. Долетели благополучно?

П и л о т. Над Зеленой бухтой немного покачало, штормит... А так ничего, всё в порядке.

К о н д о р. Вы ведь с Полярной базы добирались?

П и л о т. Так точно, Александр Васильевич. На субмарине. Снялись с борта только в Зеленой бухте.

К о н д о р. Так... На базе с тобой говорили, Антон? Положение знаешь?

Р у м а т а. Говорили. Знаю. Положение неважное.

К о н д о р. Да, наделал нам Орловский хлопот. Придется тебе все начинать сначала.

Р у м а т а. Это я еще на Земле знал.

К о н д о р. Что на Земле говорят?

Р у м а т а. На месте, говорят, ориентируешься.

К о н д о р. Будем надеяться... Думаешь отсюда прямо в Арканар?

Р у м а т а. Если вы не возражаете.

К о н д о р. Нет, я не возражаю. Действительно, чего оттягивать. Я только тебе посоветовал бы не сразу устраиваться капитально. Есть там постоянный двор... «Серая Радость» называется... Как тебе такое название? Остановись первоначально там, оглядись, послушай, немножко себя покажи... так, самую малость...

Р у м а т а. Да, мне на базе тоже так рекомендовали.

К о н д о р. Вот и я тоже рекомендую. И именно «Серую Радость». Там сейчас окопался Будах.

Р у м а т а. Будах? Тот самый? Будах Арканарский?

К о н д о р. Тот самый знаменитый Будах. Математик и астроном.

Р у м а т а. И еще немножко поэт, немножко колдун, немножко мистификатор, как я понял... Почему он окопался в «Серой Радости»?

К о н д о р. Снимает там конуру, пьет, скандалит. Три недели назад у него сгорел дом... вместе с обсерваторией и библиотекой.

Р у м а т а. Сгорел? Или...

К о н д о р. Сожгли, конечно. Он сам чудом спасся, между прочим, он был большим приятелем Орловского...

Р у м а т а. Да, знаю. Орловский ведь переводил его на русский... «Как лист увядший, падает на душу...» Ну, хорошо. Значит, для начала «Серая Радость», Будах. Что еще?

К о н д о р. Оборудование для тебя спрятано в этой избе *(показывает через плечо)*, в подвале. Там замаскирован сейф. В сейфе ты найдешь ранцевый птицелет, приемо-передатчик для прямой связи с Полярной базой, кое-какие мелочи... Да, там еще полевой синтезатор. Дает до полутора килограммов золота в час в отливках по двести граммов... *(Усмехается.)* Все на случай бегства, на случай сомнений, на случай бедности...

Р у м а т а. Понятно. Спасибо.

К о н д о р. Кстати, деньгами тебя снабдили?

Р у м а т а. Триста золотых.

К о н д о р. Этого для начала хватит. А потом свяжешься с ювелиром одним, с ним покойник Орловский...

Румата. Да, я знаю. Отец Гаук, улица Молочников.

Кондор. Все-то ты знаешь... Ладно. Еще я хочу предупредить тебя. Мир, с которым ты войдешь в соприкосновение уже завтра утром, он потребует от тебя предельного напряжения совести. Мир нормального средневекового зверства... Да, да, тебе об этом рассказывали, тебя инструктировали, тебе показывали фильмографии, но это все не то... Подожди, пока впервые втянешь носом запах горелого мяса...

Румата. Не беспокойтесь, Александр Васильевич. Я выдержу.

Кондор. Если бы я хоть несколько первых недель мог быть рядом с тобой ежеминутно, с утра и до вечера... *(Машет рукой.)* Мы здесь поняли кое-что такое, чего у нас в Институте на Земле никак не могут понять. Нас готовили так, чтобы мы не сорвались, выдержали. Но ведь выдерживать-то тоже нельзя, Антон. Если когда-либо поймешь, что способен выдержать здесь всё, беги тогда отсюда без памяти. Это будет значить, что ты прочно вошел в роль. Что ты уже не коммунар, а благородный поденок барон Румата. Бойся войти в роль! В каждом из нас здесь благородный поденок борется с коммунаром. И всё вокруг помогает подонку, а коммунар — один-одинешенек, до Земли тысяча лет и тысяча парсеков...

Пауза. Румата внимательно смотрит на Кондора, Пилота, напротив, отвернулся от них.

Румата. Но это же азбука, Александр Васильевич. Все мы отлично понимаем, что мы историки, а не физики. И что мы здесь находимся вовсе не для того, чтобы утолять наше чувство справедливости...

Кондор. Да... да... *(Глубоко вздыхает.)* Я здесь, голубчик, пятнадцать лет. Я уж и сны про Землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию одной женщины, долго соображал, кто это такая... А это дочь была, мать вот этой... *(Прижимает ладонь к груди, куда, очевидно, спрятал полученное письмо.)*

Румата. А ведь вам отдохнуть надо, Александр Васильевич.

Кондор *(резко выпрямляется)*. Подожду, подожду еще отдыхать... *(Встает. Румата и Пилот тоже вскакивают.)* Да, все

это лишнее. Пора. Итак, твое дело — наблюдение, изучение, в лучшем случае — спасение деятелей культуры и культурных ценностей... Впрочем, ты это, конечно, знаешь.

Румата. Знаю.

Кондор. Ты все знаешь. Но вот что ты мог знать, но забыть. Все мы разведчики. И все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас в качестве заложника.

Он резким движением нахлобучивает шляпу. Румата склоняется перед ним в церемонном поклоне.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

По авансцене перед закрытым занавесом под грохот барабана маршируют серые штурмовики — серые рубахи до колен, серые штаны, черные сапоги, на правом плече топор. Последние два штурмовика волокут на веревке связанного избитого человека в партикулярном.

За занавесом шумит толпа, слышны крики:

— Братья! Вот они, защитники! Разве эти допустят? Да ни в жисть!

— А мой-то! На правом фланге! Вчера еще его порол!

— Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, спокойствие! Ура, серые роты!

— Ура, дон Рэба! Слава доброму герцогу нашему!

— Мужичье — в кровь!

— Баронов — на фонарь!

— Грамотеев — на кол!

— Ура, орел наш дон Рэба!

Штурмовики проходят, шум стихает, занавес раздвигается.

Харчевая зальца в нижнем этаже постоянного двора «Серая Радость». Тяжелая стойка, за нею полки с глиняными бутылками и бочонкообразными кружками. На переднем плане — тяжелые столы и тяжелые скамьи. За стойкой — Хозяи, толстый,

красный, в кожаной безрукавке, он неторопливо беседует с Торговецом, который сидит за ближайшим к нему столом над кружкой пива. Кира, дочь Хозяина, хорошенькая, в белом передничке, вытирает столы тряпкой.

Торговец. Конечно, порядку нынче против прежнего больше стало. Хоть герцог у нас еще малолетка, зато канцлер при нем — всем канцлерам канцлер. Орел, одним словом. Опять же хлеб подешевел, а на сукно, скажем, или там на оружие цены растут... А все-таки... *(Крутит головой и припадает к кружке.)*

Хозяин. А вы их, почтеннейший, не жалейте. Они сами себе на уме. Выдумают, надо же!.. Мир круглый! Да по мне хоть квадратный, а умов не мути!.. Не-ет, много от грамотеев этих гноя идет, почтеннейший. Не в деньгах, мол, счастье, мужик, мол, тоже человек, дальше — больше, оскорбительные стишки, а там и до бунта недалеко...

Торговец. Да разве я что говорю? Я говорю только, не надо бы так жестоко. Все-таки человек, живое дыхание... Ну грешен — так накажите, поучите, а зачем вот так-то — сапогами да по лицу, да под ребра, а он как зайдет криком, а кровяца кругом во все стороны...

Хозяин. Вы, почтеннейший, главное, не сомневайтесь. Раз власти поступают — значит, знают, что делают. Орел наш дон Рэба...

Слева быстрыми шагами входит штурмовик в серой рубахе, рукава засучены, руки до локтей забрызганы в чем-то черном. Это — Аба, брат Киры и сын Хозяина. Швырнув топор в угол, он подходит к стойке.

Аба. Налейте-ка пивка, папаша, в глотке пересохло... *(Залпом выпивает кружку.)* Уф-ф... Там во двор благородный какой-то заехал, пошли бы встретили... *(Хозяин торопливо выходит. Аба поворачивается к Киры.)* Эй, рыжая, поди слей мне воды, руки помыть...

Кира. Сейчас...

Аба. Не сейчас, а иди, когда тебе говорят!

Кира *(оглядываясь на него, прижимает кулачки к груди)*. Ой, Аба, в чем это у тебя руки-то?

Аба. В чем, в чем... В чем надо, в том и руки... Ну чего стоишь, вытаращилась? Идем!

Они скрываются в помещении за стойкой. Входит Румата, за ним Хозяин с его ковровым мешком.

Румата. Чтобы помещение было самое лучшее, достопочтенный. Белье чистое, полотняное...

Хозяин. Все будет сделано, благородный дон...

Румата останавливается посередине зала, оглядывается. Торговец приподнимается, кланяется. Румата небрежно кивает.

Румата. На завтрак подашь... Что у тебя есть?

Хозяин. Собачьи уши, отжатые в уксусе... Тушеный крокодил в болотных травках...

Румата. Гм... Смотри мне, промашек не потерплю!

Хозяин. Не будет промашек, благородный дон... Я же понимаю... Завтрак прикажете сюда подать?

Румата опять оглядывается.

Румата. Нет. Подашь мне в комнаты. Иди все устраивай, а я пока посижу здесь, выпью пива...

Хозяин. Сию минуту... Кира! Кружку пива благородному дону!

Из-за стойки торопливо выходит Кира. За нею, на ходу отворачивая закатанные рукава, появляется Аба. Румата и Кира секунду глядят друг на друга. Затем Румата усаживается за стол.

Румата. Из рук такой прелестной девицы... А нет ли у тебя ируканского, хозяин? Я бы охотно чокнулся с этой красавицей...

Хозяин. Подай благородному дону бутылку ируканского...

Хозяин поднимается по лестнице, ведущей на второй этаж. Кира приносит от стойки и ставит перед Руматой глиняную бутылку и стакан. Наливает.

Р у м а т а. Отлично придумано, прекрасная девица. Я наме-
ревался чокнуться с тобой, но будет гораздо приятнее пить из
стакана, которого коснулись твои розовые губки... (*Протягива-
ет стакан Кире.*) Пей, мне не терпится узнать твои мысли...

К и р а. Как это — узнать мои мысли?

Р у м а т а. У меня на родине есть поверье, что кавалер, кото-
рый пьет из стакана после девушки, узнает все ее мысли...

Кира испуганно отстраняет стакан. Аба, который стоит, облокотившись на стойку, гогочет. Торговец тоже хихикает. Румата холодно оглядывает их, затем указывает на Абу.

Р у м а т а. Кто этот молодой... гм... каторжник?

К и р а. Это мой брат, сударь... Его зовут Аба...

Аба приближается, ослабляясь.

А б а. Совершенно в точности, благородный дон. Брат я ей.
И потому знаю, что вина она не пьет, хотя в остальном девица
вполне толковая...

Р у м а т а. Гм... Аба... А почему на тебе такое нелепое одеяние?

А б а. Какое же оно нелепое? Это потому, что я состою в штур-
мовых отрядах канцлера и орла нашего дона Рэбы...

Р у м а т а. Видишь ли, любезный, я из далеких стран... Впро-
чем, ты можешь взять этот стакан и вернуться на свое место у стой-
ки... (*Аба хочет что-то сказать, но Румата предупреждает его
движением руки.*) Можешь взять с собой даже всю бутылку. По-
скольку твоя очаровательная сестра не пьет, я тоже бросаю...

Аба хватая бутылку и стакан и, кланяясь, пьтится к стойке.

Р у м а т а. Ну что ж, раз судьба не судила нам познать в вине
вкус губ друг друга, давай хоть побеседуем... Садись. (*Кира не-
смело присаживается напротив Руматы.*) Как тебя зовут, пре-
красная девица?

К и р а. Кира, благородный дон.

Р у м а т а. Чудесное имя. А меня зовут Румата. Это имя но-
сило восемнадцать поколений моих благородных предков, и ты

сячи прекрасных дев произносили его с нежным трепетом... Ты
тоже будешь произносить его с нежным трепетом, не так ли,
Кира?

К и р а. Вы смеетесь надо мной, благородный дон...

Она пытается подняться, но Румата удерживает ее.

Р у м а т а. Нет, я не смеюсь. Это у меня такая манера разго-
варивать. Хотя нет, кажется, я действительно немножечко сме-
юсь. Не обижайся. Дорога была долгая и скучная, вот я и решил
слегка повеселиться. Но можешь мне поверить...

*Он останавливается. Со второго этажа доносятся отчет-
ливо слышные голоса. Голоса Хозяина и Будаха.*

Б у д а х. Да не ворчи ты, старое копыто! Мало тебе от меня
перепало?

Х о з я и н. За что заплачено, за то заплачено, а за что не за-
плачено, за то надо платить вовремя...

Б у д а х. Скупердяй старый... Скажи лучше, для кого это ты
такие хоромы готовил?

Х о з я и н. Не для таковских, как некоторые. Благородный
дон у нас остановились...

Б у д а х. Ага... Кто таков?

Х о з я и н. Сам скажет, коли захочет. Мне ни к чему. Пять
золотых задатку дали, не как некоторые...

Б у д а х. Пять золотых! Ай-яй-яй! Да ведь вся твоя ночлеж-
ка этого не стоит... А в кости он как? Играет?

Х о з я и н. Сами спросите...

Б у д а х. Он где? Внизу?

Х о з я и н. Внизу. Вино пьют.

Б у д а х. Что же ты раньше не сказал, полено толстомордое?

*На лестнице появляется Будах — огромный, встрепанный, в
расстегнутом кафтане. Он спускается медленно, со ступеньки
на ступеньку, оглядывая зальцу, затем взгляд его останавлива-
ется на Румате и Кире.*

Будах. Пристроился, прохвост... Успел уже...

Он садится поодаль за отдельный стол.

Румата. Кто это?

Кира. Это Будах, великий чернокнижник... *(Поднимается.)*

Вы меня простите, благородный дон...

Румата. Зови меня просто Румата.

Кира. Вы меня простите, мне нужно... *(Не закончив, торопливо отходит к Будаху.)* Здравствуйте, отец Будах.

Будах. Здравствуй, лапочка. Что это за хлюст?

Кира. Новый постоялец. Из благородных...

Будах. А чего ты с ним сидишь?

Кира. Так мне положено. Кто меня с собой посадит, с тем и сжигу. Иначе меня здесь со свету сживут, отец Будах, сами знаете.

Будах. Это уж точно... Только уж какой-то он особенно лоцный, противный...

Кира. Да нет, он еще ничего... Чего вам подать, отец Будах?

Будах в затруднении скребет в шевелюре. В зальце спускается Хозяин, подходит к Румате.

Хозяин. Завтрак сейчас же прикажете, благородный дон?

Румата. Что? Нет, потом... Я скажу, ступай.

Хозяин кланяется, отходит, оглядывается на Киру.

Хозяин. Эй, Кира, ты там с ними не очень-то, уши не распускай, а то они тебе назаказывают...

Кира. Ничего они не заказывают, папаша, не беспокойтесь.

Аба *(от стойки)*. Пива ему позавчерашнего и хлеба горбушку, и будет с него...

Будах. Заткнись, губошлеп... Ладно, Кира, лапочка, принеси мне кружку пива и хлеба немного.

Хозяин. Немного... И то много на дармовщинку-то... Погоди, сам налью.

Хозяин уходит за стойку. Румата встает, переходит к столу, за которым сидит Будах, садится. Смотрит на Будаха, на Киру, которая все еще стоит рядом, снова на Будаха.

Румата. Друзья мои, одному мне скучно. Позвольте уж мне с вами.

Будах. А садитесь, коли хотите, мне-то что...

Румата. Рад с вами познакомиться, почтенный Будах... Ведь вы — Будах?

Будах. Ну?

Румата. Отлично. Я вас искал. Но с вами потом. Позвольте сначала закончить разговор с этой вот прекрасной девицей...

Подходит Хозяин, грохает перед Будахом пивную кружку, бросает ломоть хлеба.

Хозяин. Извольте завтракать, почтенный. В последний раз. Больше вам не будет, пока не заплатите...

Будах. Экая ты скотина все-таки... Что ж ты со мной так при других людях, а?

Хозяин. Невелика персона...

Аба *(от стойки)*. Гнать его, колдуна, со двора надо, а вы с ним разговоры разговариваете, папаша...

Румата. Погодите... *(Берет кружку с пивом, нюхает, затем выплескивает пиво Хозяину под ноги.)* Ступайте, достопочтеннейший, и принесите нам с почтенным Будахом по кружке хорошего пива... И если пиво будет плохим, я вас в нем утоплю!

Хозяин. Сию минуту, благородный дон... *(Поспешно уходит.)*

Будах *(качает головой)*. Ну и ну!

Румата. Так вот, сначала я хотел бы закончить разговор с этой прекрасной девицей. Кира, я действительно позволил себе слегка пошутить с тобой, и мне показалось, что ты рассердилась...

Кира. Я не рассердилась...

Румата. Тогда прими от меня маленький подарок... Дай твою руку.

Кира растерянно глядит на Будаха, затем нерешительно протягивает Румате руку. Румата надевает на ее запястье золотой браслет.

Кира. Но как же... Благородный дон, я ведь не могу...

Б у д а х. Дай-ка взглянуть, лапочка... *(Берет ее руку с браслетом, разглядывает.)* Гм, похоже, что золото... Да, настоящее золото. *(Отпускает руку Кире, смотрит на Румату.)* Однако, благородный дон, делать такие подарки вместо того, чтобы извиниться...

Кира пытается снять с руки браслет.

К и р а. Я не могу, право... Это слишком дорого...

Между тем, привлеченные разговором, к ним приближаются Аба и Торговец, а затем подходит и Хозяин с двумя кружками.

А б а. Хвостом ты по голове! И вправду золотой!

Т о р г о в е ц. Верно, золотой. Я золото повидал на веку...

К и р а *(чуть не плача)*. Прошу вас, благородный дон, снимите, заберите обратно...

Х о з я и н. Молчи, дура рыжая! Вся в мать! Ей благородный дон снисхождение делает, так поблагодарила бы...

А б а. Да уж, дура — она дура и есть... Вы ее не слушайте, благородный дон, она у нас... того... вина вот тоже не пьет...

Б у д а х. Слушайте, дон, не знаю, как там вас зовут...

Р у м а т а. Тихо! Друзья мои. Я подарил этот браслет прекрасной Кире и не могу взять его обратно...

А б а. Во! Правильно! Подарил же...

Р у м а т а. Не могу по двум причинам. Во-первых, он не мой... *(Будах и Кира переглядываются.)* Во-вторых, и это самое важное, он не снимается!

Пауза. Кира снова пытается снять браслет, но не может.

Х о з я и н. Видишь ты...

А б а. Ну, это мы еще поглядим...

Р у м а т а *(бешено)*. Молчать, щенок! Голову оторву! *(Аба испуганно пятится.)* Хозяин, поставьте пиво и можете идти. Ей тоже, любезный!

Хозяин, поставив пиво, поспешно ретируется следом за Торговцем.

Б у д а х *(отхлебывает из кружки)*. Вот это пиво...
Р у м а т а. Больше вы не сердитесь на меня, Кира?

Кира вскакивает и выбегает из зала.

Б у д а х. Я вам вот что скажу, благородный дон. За пиво, конечно, спасибо, однако... Ладно, об этом после. Кто вы такой и что вам от меня надобно?

Р у м а т а. Я — барон Румата из Эстора. Припоминаете?

Б у д а х. Нет.

Р у м а т а. И не надо.

Б у д а х. А что же надо?

Р у м а т а. Долг мне вам старый отдать надо. Пятьдесят золотых. *(Он достает увесистый кошелек и принимается отсчитывать, выкладывая на стол золотые кружочки.)* Десять... пятнадцать... двадцать...

Будах с интересом следит за его действиями. Хозяин, Торговец и Аба — тоже, но издали, не решаясь приблизиться.

Б у д а х. Долг, значит...

Р у м а т а. Именно долг, почтенный Будах... Сорок пять... Пятьдесят. Берите.

Сгребает монеты в кучу и придвигает к Будаху. Тот рассказывает деньги по карманам.

Б у д а х. Долг так долг. Правда, благородный дон, надо вам сказать, что в жизни своей я никому в долг не давал. Дарил — это бывало, но чтобы в долг... А вообще-то деньги одинаковые, что их тебе дарят, что в долг дают...

А б а *(у стойки)*. Сколько золота, папаша, видели? Это же сдохнуть можно...

Х о з я и н. Богатый, видно, дон...

Т о р г о в е ц. Предложить ему пеньки купить?..

Б у д а х. Ну хорошо, барон Румата, долг вы мне отдали, душу успокоили. А чего вам все-таки от меня надобно? Или сначала пожрем? Я угощаю!

Румата не успевает ответить. В зале, гремя по-хозяйски каблуками, входит командир серых штурмовиков Цупик в узком сером мундире при шпаге. При виде его Хозяин и Торговец подобострастно кланяются, а Аба вытягивается по стойке смирно. Цупик останавливается посередине зала, зорко оглядывается — взгляд его на секунду останавливается на Будахе и Румате, — затем поворачивается к Абе.

Цупик. Почему здесь околачиваешься? Почему не в казармах?

Аба. Состоял в группе особого задания, господин капитан! По выполнении отпущен до обеда.

Цупик. Особое задание? Какое? В чем дело?

Аба. За мятежного грамотея маленько подержались, господин капитан!

Цупик. А, понял. Стихотворец Гур.

Будах вздрагивает и приподнимается, но снова садится.

Аба. Точно, господин капитан!

Цупик. И как же?

Аба. Обыкновенно, господин капитан. Локти к лопаткам — и в башню. Дело привычное...

Цупик. Недалек день, когда все бесчинствующие... э... персоны в герцогстве на своей шкуре убедятся, что наш канцлер дон Рэба не намерен... *(Снова оглядывается.)* Слушай, а где... э... Кира? Или ты воображаешь, что я пришел сюда, чтобы чесать с тобой язык?

Аба. Понял, господин капитан... Сию минуту... *(Устремляется вон с криком: Кира! Рыжая! Ты где, чертова девка?)*

Цупик *(Хозяину)*. Пива! Моего, черного...

Усаживается за отдельный стол. В это время в зале, едва ли не крадучись, входит закутанный в невообразимые лохмотья горбатый нищий и садится неподалеку от Будаха и Руматы. Хозяин ставит перед Цупиком кружку, подходит к Нищему.

Хозяин. Чего тебе, нищелод?

Нищий. Мне бы пива кружечку, да хлебца с требухой...

Хозяин. Деньги покажи.

Нищий. Есть деньги, почтеннейший, разве я б иначе посмел...

Выкладывает на стол несколько медяков. Хозяин сгребает их в карман и, ворча, уходит к стойке. Будах внимательно присматривается к Нищему, затем придвигает ему свою кружку.

Будах. Отпей, убогий, от моих щедрот.

Нищий. Спасибо, добрый господин, мне сейчас принесут...

Будах. Ну раз моим пивом брезгуешь, прими хоть это...

В твоих делах пригодится, бедолага...

Вынимает золотой, кладет перед Нищим. Нищий быстро взглядывает на Будаха, снова опускает голову.

Нищий. Вовек твоей щедрости не забуду...

Прячет монету в лохмотьях. Хозяин приносит Нищему пиво и еду.

Хозяин. Жри скорей да проваливай... У меня заведение чистое.

Нищий. Да деньги разве не одни и те же, почтеннейший?

Хозяин. Помалкивай, жри вон...

Отходит к стойке. Вбегают запыхавшийся Аба, устремляется к Цупику.

Аба. Не нашел, господин капитан, должно быть, к подружке усвисталась... Да она придет скоро, я знаю...

Цупик. Ладно, подождем. Спешить некуда. Ступай.

Аба отходит, прислоняется к стойке и только тут замечает Нищего.

Аба. Ты что же, скотина горбатая, жрать здесь расположилсь? А ну, пошел отсюда вон!

Н и щ и й. Иду, иду, дорогой человек... *(Залпом допивает пиво, засовывает остатки еды в суму и поднимается.)* Иду, милый, иду...

Бормоча и постанывая, ковзляет к выходу и выходит.

Х о з я и н. Много нынче горбатых да увечных развелось...

Т о р г о в е ц. Это верно, почтенный. Пока до рынка дойдешь, все полы оборвут, все карманы обчистят...

Х о з я и н. Карманы... Здесь, почтеннейший, и не карманами уже пахнет. Горбатый Арата, пропасти на него нет, опять, говорят, зашевелился, уже два замка баронских сжег, под самыми нашими стенами со своими бандитами рыщет...

Т о р г о в е ц. Ох, не быть бы опять мятежу!

А б а. Ну, чего разнылись? Недолго уж ему рыскать! Уж попался бы он мне на глаза...

Будах вдруг раздражается громовым смехом. Все с недоумением глядят на него.

Р у м а т а. Боюсь, достопочтенный Будах, я не совсем понимаю...

Б у д а х. Ох, не могу... Под стенами рыщет... А он по городу, как по своим лесам, прогуливается!

Р у м а т а. Простите... Кто прогуливается?

Б у д а х. Да Арата же! Ведь нищий, который тут с нами только что сидел...

Р у м а т а. Не может быть!

Б у д а х. Это же и был Арата! Знаменитый мятежник!

Пауза. Цупик вскакивает.

Ц у п и к. Врете!

Т о р г о в е ц. Что же вы не сказали?

А б а. Хватать надо было!..

Б у д а х. Еще чего — хватать... Мне за это не платят. Тебе надо — ты и хватай! Ну, чего стоишь? Беги, догони, хватай!

А б а. Да что я один-то...

Б у д а х. А ты капитана своего с собой...

Ц у п и к. Молчать! *(Абе.)* Губошлеп! Бегом в казармы, доложить обо всем, поднять по тревоге, прочесать город! Ж-живо!

Аба, подхватив топор, исчезает. Цупик на негнущихся ногах подходит к Будаху.

Ц у п и к. Вот теперь вы попались наконец, почтеннейший.

Б у д а х. Я? Ничего подобного.

Ц у п и к. Вы оказали помощь мятежнику!

Б у д а х. Брось. Это ты брось. Я тебе не сыщик и докладывать тебе не обязан.

Ц у п и к. Я своими глазами видел, как вы снабдили мятежника золотой монетой!

Б у д а х. Я своими глазами видел, как ты с ним пиво пил чуть ли не за одним столом...

Р у м а т а *(расслабленным голосом)*. Что это такое? Что тут за порядки у вас в Арканаре? Почему мне мешают пить пиво и наслаждаться беседой?

Б у д а х. Сейчас все будет улажено, благородный дон Румата.

Р у м а т а. Хорошо. Только поскорее, пожалуйста. Какие-то нищие, мятежники... Что нужно у моего стола этому господину в сером? Я готов дать ему золотой, но пусть он отойдет...

Ц у п и к. Прошу прощения, благородный дон. Вы приезжий? Прошу предъявить подорожную.

Р у м а т а. Вам? Но я вас не знаю, дражайший! С какой стати? Кто вы такой?

Б у д а х. Это Цупик, бакалейщик с улицы Святого Мики...

Ц у п и к. Я канцлеру своему дону Рэбе покорный слуга и командир серых штурмовиков!

Пауза.

Р у м а т а. Не понимаю. Бакалейщик... покорный командир... Повторите, любезный, чего вы хотели?

Ц у п и к. Предъявите подорожную!

Р у м а т а *(Будаху)*. Предъявить?

Б у д а х. А как хотите, благородный дон. Можете предъявить, можете не предъявить, все равно. Он читать не умеет...

Румата вдруг с криком вскакивает, опрокинув скамью. На лице его ужас и отвращение.

Р у м а т а. Что это?

Б у д а х. Где? А, это? Как — что? Таракан! *(Хлопает ладонью по столешнице.)*

Р у м а т а. Гадость какая... *(Проводит ладонью по лбу.)*

Х о з я и н *(от стойки)*. Всегда они у нас разводятся, когда торговцу пеньку привозят...

Т о р г о в е ц. Это уж точно. Их в пеньке видимо-невидимо...

Цурик хохочет. Все смотрят на него.

Ц у п и к. Ай да благородный дон! Ай да храбрец! Таракана испугался! Ну распотешили вы меня! Таракана струсили!..

В одно мгновение Румата выхватывает шпагу. Цурик умолкает и шархается в сторону.

Р у м а т а. Вы изволили назвать меня трусом, господин бакалейщик? *(Приставляя острие то к лицу, то к груди, то к животу Цурика, теснит его в глубину зальца, пока он не упирается спиной в стойку.)* Трусом? Меня? Восемнадцатого барона Румату Эсторского? Где тебе пустить кровь, серый хам? Из брюха, налитого пивом? Из гнилого и подлого твоего сердца? *(Приставляя острие к горлу.)* Или из твоей гнусной глотки?

Б у д а х. Проси прощения, бакалейщик. Беда будет небольшая, если барон тебя ужокошит, но что-то мне стало тебя жалко...

Р у м а т а. Ты, грязная сволочь, ты всю свою жизнь спишь и жрешь с тараканами и прочей нечистью, тебе она не в диковинку, так ты решил, что и люди благородной крови таковы же, как ты?..

Ц у п и к *(хрипит)*. Не надо... Не убивайте, благородный дон... Это я не со зла... от обиды... Простите, благородный дон...

Р у м а т а. Еще раз!
Ц у п и к. Прошу великодушного прощения, благородный дон Румата!

Румата опускает шпагу, зевает.

Р у м а т а. Фу, вспотел... Хозяин, каплю ируканского на стакан воды. Идите, Цурик, и хорошенько подумайте над своим проступком. И пусть это послужит вам уроком... *(Пьет воду с вином.)*

Цурик, ни на кого не глядя, уходит.

Б у д а х *(ему вслед)*. Это тебе не грамотеям руки крутить...

Р у м а т а. А теперь... Хозяин!

Х о з я и н. Слушаю, благородный дон...

Р у м а т а. Завтракать! *(В этот момент в зальце входит Кира.)* Вот очень кстати Кира. Ты будешь за хозяйку, не возражаешь? Завтрак ко мне наверх, на двоих... *(Глядит на насупившегося Будаха, смеется.)* Мы будем завтракать с моим другом, почтенным Будахом...

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ВТОРАЯ

По авансцене перед закрытым занавесом идут слева направо Кира и Румата. Идут медленно, не прикасаясь друг к другу.

К и р а. Нет, этого я не смею, дон Румата. Я — простая девушка, я свое место понимаю... А я хочу только сказать, что как вы от нас съехали, мне совсем плохо стало. Брат зверем смотрит, того и гляди — прибьет или еще чего хуже...

Р у м а т а. Ты ему скажи, сукиному коту... Ладно, я сам скажу. Но что это он на тебя взвелся?

К и р а. Цупик, командир ихний, с тех пор к нам ни ногой. Брат говорит — из-за меня...
Р у м а т а. Как это?

Пауза.

К и р а. Что здесь непонятного... А Цупик, он говорит, теперь при самом канцлере, при доне Рэбе... А вы теперь в гвардии, дон Румата?

Р у м а т а. В гвардии.

К и р а. При дворе всё, наверное... Дамы там красивые, нарядные...

Р у м а т а. Этого добра там полно. Но ты, Кира, красивее их всех!

К и р а. Это вы просто так говорите... А насчет нарядов — так я, если захочу, тоже могу купить. На рынке один ируканский купец лавку открыл, нарядами торгует, даже заморские есть, сама видела. Давеча ходила... Это знаете где? Вот как по улице Красильщиков на рынок выйдете, так сразу по правой руке она, недалеко от виселиц.

Р у м а т а. Ага...

К и р а. Ага. Шагов сто не доходя, так что мимо них идти не приходится... Я страсть не люблю под виселицами ходить. Там теперь голых вешают, срам смотреть... Раньше, бывало, в одежде или в мешках вешали, да и то один висит, другой... А нынче целыми десятками висят, да не только мужчины, а и женщины... Так я уж стараюсь глаза в землю... А что это одна я все говорю и говорю, дон Румата, а вы все молчите... Конечно, вам наверное скучно со мной, да?

Р у м а т а. Нет, что ты, девочка, я слушаю...

К и р а. Ну да, слушаете... А сами о другом чем-то думаете. Я же вижу...

Р у м а т а. Это верно. О другом. О тебе.

К и р а. Вот уж неправда...

Р у м а т а. Вот уж правда...

К и р а. Если бы вы обо мне думали...

Р у м а т а. Тогда что?

К и р а. Вы бы давно... А то уже тринадцатый день как от нас съехали и ни разу не зашли...

Р у м а т а. Ты даже дни считаешь...

Пауза.

К и р а. Ладно. Мне идти пора.

Р у м а т а. Погоди. Ты по мне соскучилась.

К и р а. Д-да... *(Пытится от Руматы.)*

Р у м а т а. Подойди ко мне. *(Кира отчаянно трясет головой.)*
Подойди же, что ты?

К и р а. Я вот о чем хочу вас попросить, дон Румата. Можно?

Р у м а т а. Конечно.

К и р а. Снимите с меня этот браслет ваш.

Пауза.

Р у м а т а. Почему? Не нравится тебе?

К и р а. Нет, что вы... Только иначе они его мне вместе с рукой отрежут.

Р у м а т а. Кто?

К и р а. Отец да брат... Четвертого дня крутили, крутили, рука даже посинела... Видите? *(Показывает.)* А уж ругались как... *(Румата молчит.)* Снимите, а? Я ведь и без браслета...

Р у м а т а. Пойдем, я тебя провожу.

Уходят, занавес раздвигается.

Апартамент дона Рэбы, канцлера герцогства Арканарского. Зал, узкие, как бойницы, окна. Обширный письменный стол, заваленный бумагами, несколько кресел. В одном из кресел, неестественно выпрямившись, сидит дон Рэба — мужчина лет пятидесяти, с деревянным лицом, в темном простом костюме. В другом кресле развалился, нога на ногу, дон Кондор. В третьем, поджав под себя ноги и привалившись к подлокотнику, располагается некая дон Окана, очень красивая дама лет двадцати пяти, в платье с очень глубоким вырезом.

К о н д о р. Все это очень хорошо, мой дорогой канцлер, но кто же будет покупать?

Р э б а. Да кто угодно! Я, вы, она... Мужик и ремесленник должен только производить! Это о них сказано: пока склонены их вшивые головы над работой, не убивай их, но при всем том не давай им и жить. А тех, кто головы поднимут, убивай, как бешеных волков... И пожелавший переменить этот свыше установленный порядок есть смутьян и разрушитель установления, повинный смерти. Таковыми являются грамотеи, всякие там математики и сочинители, ибо это о них сказано: язык твой — враг мой...

К о н д о р (*смеясь*). Но вы же сами грамотей, дорогой канцлер!

Р э б а. Я имел в виду грамотеев-мечтателей, грамотеев-растлителей, грамотеев-умников! Умные нам не надобны, дон Кондор! Надобны верные... Вот я собираюсь выпустить в свет рассуждение о новом государстве...

О к а н а. Ах, увольте нас от ваших рассуждений, милый!

К о н д о р. Нет-нет, прекрасная дама, это очень интересно. Продолжайте, дорогой канцлер, прошу вас...

Р э б а. Суть сего рассуждения весьма проста. Она всего в трех... как бы это сказать...

К о н д о р. Принципах?

Р э б а. Вот именно. В трех принципах... (*Перегибается к столу и что-то записывает.*) В трех принципах. А именно: слепая вера в непогрешимость власти, беспрекословное оной повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за каждым.

Пауза. Дона Окана зевает.

К о н д о р. Гм... Каждого за каждым — это хорошо. Но позвольте, дорогой канцлер, ведь это, по сути дела, государственные принципы Области Святого Ордена!..

Р э б а. Совершенно справедливо, дон Кондор. В рассуждении своем я тщился лишь довести эти прекрасные... гм... принципы до простоты без всякого украшения.

К о н д о р. Интересно, очень интересно... И вы собираетесь ввести эти принципы в государственное устройство герцогства Арканарского?

Р э б а. Я уже ввожу их.

К о н д о р. А как же бароны? Родовая знать?

Р э б а. Вот именно. Бароны и родовая знать. Но ведь в вашей торговой республике, дон Кондор...

За окнами вдруг раздается громовой топот марширующих сапог. Гремит хриплыми глотками песня:

О чем наш серый парень может мечтать?

О том, чтоб вещи подороже достать!

О том, чтоб днем и ночью пиво хлестать!

О том, чтобы в кустах молодку зажать!..

Дон Кондор поднимается и подходит к окну, глядит вниз. Грохот сапог стихает в отдалении. Дон Кондор поворачивается.

К о н д о р. Высокое небо, что это за ужас?

Р э б а. Мои серые роты, дон Кондор. Мой инструмент в борьбе с баронами, книжочьями и мужичьем.

К о н д о р. Ну и сброд!

Р э б а. Ничего, зато преданны и жадны, как собаки. Главным образом, младшие отпрыски из среднего сословия — лавочников, мясников, скотовладельцев... Плодущий народ эти лавочники, и у всех у них масса младших сыновей. И все рвутся исполнить свой патриотический долг. Казне это не стоит ни гроша...

К о н д о р (*возвращаясь в кресло*). Казне — это вам, дорогой канцлер?

Дона Окана хохочет и хлопает в ладоши.

Р э б а. Они ненавидят баронов и презирают мужиков и мастеровщину. Как раз то, что нам нужно.

К о н д о р. Ловко... Bravo, мой дорогой канцлер! Вы — настоящий реформатор, вы предвосхитили идеи, которыми будут пользоваться через сотни лет!

Р э б а. Благодарю... Так вот. Пока они у меня учатся. Маршируют, наводят ужас, восхищают своих почтенных родителей... А в самом недалеком будущем я задам им кровавую баню. А затем я

окончательно загоню их в казармы, приставлю к ним опытных капралов, и через год-другой...

Неслышно входит Монах в черной рясе с капюшоном.

Монах. Капитан Цупик, ваше преосвященство.

Рэба. Вы позволите, дон Кондор?.. Проси.

Монах выходит, и сейчас же, шумно топая, в апартамент входит Цупик.

Цупик. Будах тоже скрылся, проклятый колдун!..

Рэба. Одну минутку... Вы знакомы?

Цупик поворачивается к Кондору.

Цупик. Нет. Приветствую вас, благородный дон...

Кондор наклоняет голову.

Рэба. Дон Кондор, генеральный судья республики Соан. Капитан Цупик, командир нашей серой гвардии.

Цупик. Рад сделать знакомство. Вот у вас...

Рэба. Дон Кондор направляется в Эстор в качестве торгового посланника и по пути оказал нам честь кратковременным посещением Арканара.

Цупик. Вот у вас в Соане чтут торговое сословие, не то что у нас, у вас бы там...

Рэба. Простите, любезный капитан, вы что-то говорили о Будахе, кажется...

Цупик валится в кресло рядом с Оканой. Та брезгливо отодвигается.

Цупик. Ладно, от соанцев у нас нет секретов. Будах пропал. Не уследили мои стервецы, молоды... Только вот что я вам скажу, господин канцлер, ваша светлость: Будах — это уже шес-

той чернокнижник за последние два месяца, который уходит от нас сквозь пальцы. Может, им и верно нечистая сила помогает?

Рэба. А вы сами как думаете, любезный капитан?

Цупик. Не знаю, что и думать. Думать — это ваша забота. Моя забота — выследить, взять и — на кол! (*Хохочет.*) Вот это мы умеем, будьте спокойны, господин соанец...

Кондор. Не сомневаюсь, капитан.

Цупик. Вы еще нас к себе будете выписывать за большие деньги! (*Хохочет, затем обрывает смех.*) От маршала ничего нет?

Рэба. Пока ничего... (*Кондору.*) Речь идет о баронском ополчении, выступившем под командованием маршала Тоца против мятежника Араты Горбатого... Мы ждем известий о разгроме Араты с минуту на минуту...

Цупик. О разгроме... Этот дурак с железным горшком на макушке и проиграть недорого возьмет... Арата — орешек крепкий... Ладно! (*Поднимается.*) Идти надо, дел полно — три подвала мастеровщины и грамотеев не пытанно... А у меня еще одно дело, господин канцлер, ваша светлость...

Рэба. Да, капитан?

Цупик достает из-за обшлага сложенный лист бумаги.

Цупик. Желательно было бы, чтобы вы подписали, господин канцлер, ваша светлость...

Рэба (*просматривает список*). Дон Кэу... дон Тамэо... Дон Сэра... Простите, капитан, в чем, собственно, дело?

Цупик. Список персон, превратно все понимающих и от коковых многие несчастья для...

Рэба. Ага, вот оно... Приказ об аресте и препровождении в казармы Серых Рот нижеследующих... Гм... Мудро, мудро... Кто здесь еще? Гм... Дон Капада... Дон Румата... (*Кондор вздрагивает, но тут же берет себя в руки.*) Дон Рипат... Гм... Короче, всё ваши обидчики, капитан?

Цупик. Извольте подписать.

Рэба. Хорошо, я подумаю.

Цупик. А чего думать? Подмахните, вот и вся недолга...

Рэба. Как же так можно, капитан! Старейшие роды и иностранные офицеры!

Цупик. Всех под одну гребенку! У меня в казармах они все одинаковы!

Рэба. Возможно, капитан. Но не так быстро. Отложим. Я рассмотрю этот список. Уверю вас...

Входит Монах.

Монах. Маршал Тоц, ваше преосвященство.

Цупик. О! Давай его сюда!

Рэба. Проси.

Монах выходит. Слышится лязг железа, входит маршал Тоц, закованный с ног до головы в железные доспехи.

Тоц. Господин канцлер, ваша светлость! Счастлив доложить вам, что мятежные орды Араты Горбатого разгромлены, сам Арата пленен и доставлен в Арканар, дабы быть повергнутым к стопам...

Цупик. Молодец, маршал! А я-то думал, что ты у нас дурак!

Бросается к Тоцу, пытается его обнять и расцеловать. Впрочем, тот защищен панцирем.

Рэба. Иного не ожидал. От имени герцога Арканарского жалью вас кавалером Ордена Трех Начал...

Тоц (*становится на одно колено*). Слава герцогу! Слава канцлеру, орлу нашему дону Рэбе!

Рэба. Мятежника Арату, заковав, препроводить в башню. Завтра на рассвете четверговать! (*Поворачивается к Кондору.*) Вот и конец угрозе Империи, дон Кондор...

Кондор. Одну минуту, мой дорогой канцлер. Нельзя ли мне взглянуть на прославленного мятежника?

Рэба. Взглянуть? (*Поворачивается к Тоцу.*) М-м?

Тоц. Все натурально, господин канцлер, ваша светлость. Мятежник Арата под стражей во дворе вашей канцелярии.

Рэба. Пусть введут.

Тоц (*подбегает к двери, кричит*). Ввести сюда Арату Горбатого!

Все ждут, слышится звон цепей, двое солдат вводят Арату Горбатого. Он едва передвигается, голова замотана кровавыми тряпками.

Рэба. Как он вам кажется, дон Кондор?

Кондор молчит. Он просто смотрит на Арату и не говорит ни слова.

Окана. Ах, от него так воняет кровью!

Рэба. Что-нибудь хочешь сказать, мятежник?

Арата (*с трудом поднимая слепую голову*). Ничего... ничего... Где казнить-то будете?

Рэба. В башне.

Арата. Жаль... На площади бы... Там бы я сказал... А здесь какой толк? (*Выпрямляется.*) Ох, Рэба, ох, сволочь, ну доберемся мы до тебя, гад, вша недодавленная, гниль недосохшая...

Один из солдат бьет его по голове, он замолкает.

Рэба. Увести. В башню. Соленую рыбу. Живо!

Солдаты уволакивают Арату. За ними уходит маршал Тоц.

Окана. Нахал...

Рэба (*Кондору*). Как он вам?

Кондор. Да, это был опасный враг...

Цупик. Ладно, я пойду. А про списочек вы не забудьте, господин канцлер, ваша светлость. Мы на вашу подпись очень надеемся...

Рэба. Кто это — мы?

Цупик. Ну — я, скажем. Мало? (*Уходит.*)

Пауза.

О к а н а. Мужлан... Лавочник...

К о н д о р. Кандидат в покойники...

Р э б а. Как вы сказали?

К о н д о р. Это я так... Скажите, мой дорогой канцлер... Если это не секрет, конечно...

Р э б а. Пожалуйста, мой гость.

К о н д о р. Вот эти монахи у вас в прихожей... и вас называют ваше преосвященство... Разве вы приняли сан?

Пауза. Рэба ухмыляется, подмигивает Окане.

Р э б а. Это вас удивило бы, дон Кондор?

К о н д о р. Поступки людей, стоящих во главе государств, вызывают не удивление, но либо восхищение, либо ужас.

Р э б а. Да будет вам известно, дон Кондор, что я уже второй год являюсь наместником Святого Ордена в герцогстве Арканарском, епископом и боевым магистром.

Пауза.

К о н д о р. Поразительная новость. Я вас поздравляю, ваше святейшество...

Р э б а. Благодарю.

К о н д о р. Я не сомневаюсь, что эта новость будет воспринята при дворах Империи с необычайным удивлением...

Р э б а. Я буду рад, если эту новость сообщите именно вы.

Входит Монах.

М о н а х. Багаж и слуги посланника торговой республики Соан дон Кондора погружены на корабль. Отлив начнется через полчаса. Капитан просит дон Кондора явиться к этому времени на борт.

Р э б а. Эскорт для господина посланника! *(Монах уходит.)* Жаль. Поужинать не успели.

К о н д о р. Это пустяки, поужинаю в море... Разрешите еще один вопрос, дон Рэба.

Р э б а. Разумеется, дон Кондор.

К о н д о р. Почему вы именно сейчас и именно мне раскрываете свои карты?

Р э б а. Карты?

К о н д о р. Я хочу сказать, почему вы именно сейчас и именно мне сообщаете, что вы — агент Святого Ордена?

Пауза.

Р э б а. Дон Кондор, до Эстора восемнадцать дней морем и сорок дней сушей. И я не раскрываю карты. Я показываю зубы!

Кондор встает.

К о н д о р. Прошу разрешения откланяться.

Р э б а. Расстаюсь с вами не без грусти.

О к а н а. Ах, дон Кондор, на обратном пути...

Внезпно за окнами взрывом возникает гвалт испуганных голосов. По окнам проносится голубой луч и сразу же гаснет. Крики усиливаются и вдруг смолкают. Рэба пятится к своему столу, тащит из ящика огромный арбалет. Кондор обнажает шпагу. Окана выхватывает из складок платья кинжал.

В апартамент вбегают несколько монахов и солдат. Их Начальник падает перед Рэбой на колени.

Н а ч а л ь н и к. Господин канцлер! Ваша светлость! Сам дьявол посетил нас!

Р э б а. Что такое? Какой дьявол?

Н а ч а л ь н и к. Он унес Арату!

Р э б а. Что-о?

Н а ч а л ь н и к. Я сам видел, собственными глазами! Он прилетел... Все залилось адским светом! Дьявол пал на башню с небес, распахнул над нами непомерные крылья, дунул горячим воздухом, схватил Арату и вместе с ним исчез!..

О к а н а. Подлый лжец!

Н а ч а л ь н и к. Не я один видел... Все видели!

Солдаты и монахи. Точно! Мы все видели!
Начальник. Мятажника Арату дьявол уволок с вершины башни!

Пауза.

Кондор. Разрешите откланяться. (Уходит.)
Рэба. Все — вон!

Монахи и солдаты, толкаясь, выбираются из апартамента. Рэба садится за свой стол, подпирает голову рукой, думает. Окан пристально глядит на него.

Рэба. Дьявол... Дьявол. Как сказал этот дурак Цупик? Им нечистая сила помогает...

Окана. Страшное дело!

Рэба. Да, страшное дело... опасное дело... Если он и такое может, то опаснее не придумаешь...

Окана. О ком ты? Ты что-то знаешь, да?

Рэба. Сыск — дело великое. Вот так следишь-следишь за человеками, глядь — и на дьявола наткнешься... Да, опасно, опасно... Ах, изловить бы его да за жабры и на сковородку, а? Или оставить, пренебречь, ничего, мол, не знаем, удивляемся и только... Нет, это нельзя. Надо крючочек подыскать... Только клюнет ли? И если клюнет, то на что?

Окана. Слушай, я боюсь, перестань...

Рэба. Бойся, бойся, сейчас самое время. Ну-ка, поди сюда...

Окана подсаживается к нему вплотную. Он что-то шепчет ей, опасно поглядывая на зрительный зал.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Гостиная в нижнем этаже дома, где поселился Румата. Уно, слуга Руматы, мальчик лет шестнадцати, мрачноватый и угрю-

мый, ходит с пыльной тряпочкой и щеткой, занимается уборкой. Внезапно настораживается, бросает тряпку и щетку, спешит к дверям. Входит темный как туча Румата, молча сбрасывает на руки Уно шляпу и плащ, валится в ближайшее кресло.

Румата. Принеси воды. Вина с водой. Живо.

Уно. Может, кушать будете?

Румата. Воды, я тебе сказал! Пошел! (*Уно уходит.*) Будь оно все проклято! (*Вскакивает, принимается расхаживать по комнате.*) Люди! Это — люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие покорно ждут своей очереди... И каждый думает: вот его — за дело, а меня — не за что, я хороший... Нет, мало того, еще и приговаривает: так его, так его, режьте, чтобы другим неповадно было! Исступленное зверство тех, кто режет, и испуганная благонамеренность тех, кто смотрит... Десять человек стоят, блаженно пуская слюни от преданности, а один подходит, выбирает жертву и режет. Души этих людей полны нечистот, и каждая капля пролитой на их глазах крови загрязняет их все больше и больше...

Румата замолкает. Слово бы издавала, нарастая, накатывается рев толпы, в котором различаются исторические вопли:

— Бей, бей! Огня! Больше огня! Ура, Серые Роты! Ура, дон Рэба! Режьте, бейте, жгите!

Рев нарастает, достигает нестерпимой громкости и разом обрывается. Румата трясет головой, словно отгоняя страшное видение.

Румата. Пулемет бы сюда, пулемет!.. Свинцом по серой сволочи, по бледенькой роже дон Рэбы, по окнам его прокисшей от крови канцелярии!.. Это было бы сладостно, это было бы настоящее дело...

Румата возвращается в кресло, сжимается, прикрыв лицо ладонью. В гостиной темнеет. И из тьмы гулко раздается голос Кондора.

Кондор. Итак, мы хотим стрелять?

Румата. Да.

Кондор. В кого?

Румата. В этих мерзавцев. В дону Рэбу. В бакалейщика Цу-
пика.

Кондор. За что?

Румата. Они убивают все, что мне дорого...

Кондор. Они не ведают, что творят.

Румата. Они ежедневно, ежечасно убивают будущее!

Кондор. Они не виноваты. Они — дети своего века.

Румата. То есть они не знают, что виноваты? Но мало ли
чего они не знают! Я, я знаю, что они виноваты!

Кондор. Тогда будь последовательным. Признай, что при-
дется истребить многих.

Румата. Не знаю, может быть и многих. Одного за другим.
Всех, кто поднимает руку на будущее...

Кондор. Это уже было. Травили ядом, бросали в царей са-
модельные бомбы. И ничего не менялось...

Румата. Нет, менялось! Так создавалась стратегия револю-
ции!

Кондор. Нам не надо создавать стратегию революции. Мы
владеем ею в совершенстве, она перешла к нам от великих пред-
ков, от первых коммунаров. А тебе хочется просто убивать!

Румата. Да, хочется.

Кондор. А ты умеешь?

Румата. Не знаю... Но здесь звери ежеминутно убивают лю-
дей. И здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет
цену, потому что опаздывает...

Кондор. Мы пришли сюда, чтобы научиться помогать это-
му человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедли-
вый гнев. Если ты слаб — уходи. Возвращайся домой. В конце
концов, ты не ребенок, ты знал, на что идешь...

*Пауза. Гостиная вновь освещается. Входит Уно с подносом,
на подносе сверкает чаша с водой.*

Уно. Там девка какая-то пришла. А может, донна. По обра-
щению вроде девка — ласковая, а одета по-благородному... Кра-
сивая... (Румата медленно поднимает голову, смотрит на него, тот
ухмыляется.) Прогнать, что ли?

Румата. Балда ты. Я тебе прогоню. Где она? (Вскакивает.)
Проведи сюда, быстро!

*Уно выходит и возвращается с Кирой. На Кире пышное пла-
тье благородного покроя, она чувствует себя в нем довольно не-
ловко. Румата спешит к ней навстречу.*

Румата. Кира! Вот кстати, вот кстати!

Кира. Здравствуйте, дон Румата.

Румата. Безобразница, мы же договорились...

Кира. Ну пусть — Румата. Просто Румата. (Озирается.) Вот,
значит, как вы живете...

Румата. Постой, постой... (Оглядывает ее.) Какая ты на-
рядная сегодня!

Кира. Вот... Всю свою копилку в ход пустила. Продавец ска-
зал, что все придворные дамы так теперь наряжаются... Правда,
великовато оно мне было, так я к знакомой портнихе снесла...
А теперь ничего, правда? Не сравнить, как я в простонародном
хожу...

Румата. Гм... Да, пожалуй... Однако что же это мы? Садись.
(Он подводит ее к дивану, садится в кресло рядом, звонит в коло-
кольчик. Вбежавшему Уно.) Сладостей, воды фруктовой, быст-
ренько...

Уно выбегает.

Кира. А я шла от портнихи... дай, думаю, зайду, посмотрю,
как дон Румата живет...

Румата. И молодец. Могла бы и раньше зайти. Сколько мы
не виделись? Постой-ка...

Кира. Двадцать четыре дня.

*Пауза. Уно приносит на подносе угощение, ставит на стол,
уходит.*

Румата. Угощайся, придворная дама.

Кира. Благодарствуйте, благородный дон... (Щепотно бе-
рет пирожное, откусывает.) А что же вы?

Румата. Не хочу, не люблю сладостей... Как у тебя дома?

К и р а. Лучше не спрашивайте. Озверели они все.

Р у м а т а. Кто?

К и р а. Все они. Одно слово — «Серая Радость». В вине захлебываются, топорами размахивают, грозятся... Ах, не хочу я о них, дон Румата...

Р у м а т а (*берет ее за руку*). Просто — Румата. Ручка у тебя маленькая, мягкая... Лапка...

К и р а. Не надо... Румата. А то я...

Р у м а т а. Что?

К и р а. Заплачу, вот что... (*Достает платок, отвернувшись, промакивает глаза.*) Вот всегда так... Какой-то вы...

Р у м а т а. Ну-ну, не надо, Кира, девочка...

К и р а. Отец меня теперь от греха подальше к гостям не высылает, так я все дни у соседки сижу, домой только ночевать... И знаете, я у нее книгу одну прочитала, поэта Гура сочинение... Всё как есть в стихах... «Поэма о горном цветке» называется. Читали?

Р у м а т а. Угу...

К и р а. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог, и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя.

Р у м а т а. Это замечательная книга.

К и р а. Я даже плакала. Они так любили, они так любили...

Р у м а т а. Да. Любить они умели, раз умерли от любви.

Пауза.

Р у м а т а. Кира, а ты хотела бы, чтобы тебя полюбил прекрасный принц?

К и р а (*со вздохом*). Что толку хотеть? Прекрасный принц меня не полюбит.

Р у м а т а. А если принц... гм... не прекрасный?

К и р а. Нет. Мой принц — прекрасный.

Р у м а т а. Ага, значит, принц все-таки есть?

К и р а. Есть.

Р у м а т а. Ну если он есть, то обязательно полюбит. Тебя нельзя не полюбить.

Кира встает.

К и р а. Зачем вы меня мучаете? Все знаете и мучаете...

Идет к выходу. Румата бросается за нею, хватая за плечи, поворачивает к себе.

Р у м а т а. Ну прости меня... Прости. Все, все знаю. Знаю и...

С громом каблучным в гостиную вваливается Аба, краснорожий, в подплатии, с боевым топором в руке. Румата отпускает Киру.

Р у м а т а. Ты что это, любезный? Кто это тебя пустил?

Аба, не обращая на него внимания, подходит к Кире, хватая ее за руку и рывком тянет за собой.

А б а. А ну, домой, живо!

К и р а. Пусти... (*Пытается вырваться.*)

Р у м а т а. Отпусти девушку, любезный!

А б а. Я вам не любезный, благородный дон! Я нынче солдат господина канцлера, его светлости! Я нынче на благородных-то поплеываю! (*Кире.*) Ну, сама пойдешь или волоком тянуть?

Кира вырывается, отскакивает от него.

К и р а. Никуда не пойду!

А б а. Ах ты, шлюха, подстилка дворянская!

Делает к ней шаг, но тут Румата хватая его за шиворот и закатывает ему оглушительную затрепцину. Аба, выронив топор, катится по полу, ложится ничком и замирает. Румата смотрит на свои руки, взглядывает на Киру и снова на свои руки. Медленно подходит к лежащему Абе, наклоняется.

Р у м а т а. Послушай...

А б а (*плаксиво*). Не бейтесь, благородный дон, не надо...

Румата. Ты не ушибся?

Аба. Больно же, благородный дон, не бейтесь...

Румата снова смотрит на свои ладони, с гадливостью вытирает их о штаны. В этот момент вбегают запыхавшийся Уно.

Румата. Ты где был? Почему впустил?

Уно. Да коня чистил вашего, а тут сосед прибегает, говорит, серые в дом ворвались... *(Наклоняется, берет Абу за шиворот.)*
А ну, поднимайся, чего разлегся?

Аба поднимается, заслоняясь локтями от Руматы.

Аба. Вы меня лучше не бейте, благородный дон...

Румата. Да не буду, не буду, не бойся...

Аба. Я ведь что? Отец сестренку ищет... Туда-сюда, к соседке — нет ее! Ну я и смекнул, где она может быть...

Румата. Вот что, любезный. Если ты еще раз схамишь Кире...

Аба. Да нет же, благородный дон, это ведь как получилось? Отец, значит, ее хватил. Ну туда-сюда...

Кира. Я пойду, дон Румата.

Румата молчит. Кира, ни на кого не глядя, выходит.

Аба. Я, значит, что? Я, значит...

Румата достает золотой, сует ему в руку.

Румата. Ступай, любезный. И смотри мне!..

Аба *(осклабляясь)*. Да ни в жисть! Покорно благодарим, благородный дон...

Подхватывает топор, выскакивает вон. Уно выходит следом. Румата стоит некоторое время, разглядывая ладони, затем подходит к столу, задумывается. Размышления его прерываются негодующими криками Уно и благодушным басистым ревом Будаха за сценой.

Будах. Пошел, пошел, мальчишка, отдавлю уши!

Уно. Нельзя к нему, говорят вам!

Будах. Брысь, не путайся под ногами!

Уно. Да нельзя же... Ох!

В гостиную вваливается Будах, волоча за собой вцепившегося в него Уно.

Румата. Отец Будах! Как вы очутились в городе, дружище? Уно, оставь отца Будаха в покое...

Будах. На редкость вьедливый мальчишка... *(Приближается к Румате с распростертыми объятиями.)* Но верен, верен, ничего не скажешь... Дайте мне обнять вас! *(Они обнимаются.)*
Я вижу, вы совершенно трезвы, мой друг... *(Оглядывает стол.)*
Ну еще бы... Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец!

Румата. Садитесь, мой друг. Уно, заведи откуда сладости и подавай обед!

Уно. Ученый человек, а дерется. Срам какой.

Будах. Па-шел, волчонок, делай, что тебе хозяин велел... Да принеси пива! Я вспотел, мне нужно возместить потерю жидкости!

Уно, ворча себе под нос, удаляется. Румата и Будах усаживаются за стол.

Румата. Как вы здесь оказались, отец Будах? Ведь вам опасно появляться в городе, капитан Цуник и дон Рэба ищут вас.

Будах. А, вздор! Мне надоело сидеть в вашей Угрюмой Берлоге. Захотелось проветриться... Между прочим, на днях мне удалось установить интереснейшую вещь. Хотя боюсь, для вас это будет не совсем...

Румата. Ничего, я с удовольствием выслушаю вас...

Входит Уно, принимается накрывать на стол.

Будах. Вы представляете себе треугольник, у которого один угол равен четверти окружности?

Румата. Гм... Представляю.

Будах с сомнением глядит на него. Уно фыркает.

Будах. Ну хорошо. Так вот, мне удалось доказать, что сумма площадей квадратов, построенных на коротких сторонах такого треугольника... Вы следите за моим рассуждением?

Румата. Самым внимательным образом.

Уно опять фыркает.

Будах. Так вот. Сумма этих площадей в точности равна площади квадрата, построенного на длинной стороне. А?

Румата (*с искренним восхищением*). Вы молодец, отец Будах!

Будах. Значит, вы меня все-таки поняли? В жизни еще не встречал такого толкового дворянина. Как правило, все вы — непроходимое дубье. Впрочем, вы с самого начала показались мне личностью незаурядной...

Уно. А зачем это?

Румата. Что — зачем?

Уно. Да вот суммы эти... квадраты...

Будах. Дубина молодая.

Румата. Я после объясню тебе, Уно. Ступай.

Уно выходит, покачивая головой и посмеиваясь.

Будах. Разрешите, мой друг... (*Разливает по стаканам пиво, залпом выпивает.*) Недурное пиво... О чем бишь я?

Румата. Вы говорили... (*Неожиданно с силой бьет ладонью по столешнице.*) Черт бы вас всех подрал!

Будах. Что с вами, друг мой?

Румата. Таракан! (*Щелчком сбивает таракана со стола.*) Весь этот город заражен тараканами. Спасенья никакого нет.

Будах. Будто у вас в Эсторе нет тараканов!

Входит Уно.

Уно. Там какая-то дона заявила, вас спрашивает...

Румата (*встает*). Она?

Уно. Нет. Другая совсем. Настоящая сука из благородных.

Будах хохочет.

Румата. Я тебя когда-нибудь выпорю. Проси!

Уно выходит. Входит дона Окана.

Румата. Дона Окана!

Окана. Она самая, благородный дон! Отчаявшись заполнить вас к себе на вечерние блистания, отважилась посетить жилище кавалера разочарованного, обрешшего себя одиночеству...

Румата. Радость нечаянная вдвойне говорит разбитому сердцу... (*Церемонно подводит Окану к столу и усаживает в кресло.*) Осмелюсь просить вас, прекрасная дона, вкусить от скудной пицци моей и от скудного питания моего...

Будах придвигается к Окане.

Окана. От ваших щедрот готова с благодарностью сердечной принять хотя бы и яд смертельный, но — увя мне! — я только недавно из-за стола. Но вы, благородный дон, не мешайтесь моим присутствием и вновь обратите поток благоволения вашего на оставленного в небрежении друга...

Румата. Да, прошу извинения... гм... Позвольте представить вам, прекрасная дона, моего старого знакомого, высокоученого монаха...

Будах (*кладет руку на руку Оканы*). Барон шутит. А скорее всего ревнует. Никакой я не монах, и мне можно все, что остальным мирянам. Прекрасная дона, меня зовут Будах... (*Румата под столом с силой бьет его носком сапога по лодыжке. Будах подскакивает на месте.*) Ох! Какого дьявола, барон? Вы что — с ума спятили? (*Трет лодыжку.*) Да, я — Будах, математик и поэт, и этим горжусь, хотя гиена эта, дон Рэба, нас терпеть не может... И еще я немножко колдун, если угодно.

О к а н а. И немножко государственный преступник, да? Я слышана о вас, достопочтенный Будах.

Б у д а х. Надеюсь, вам говорили обо мне в лестном смысле...

О к а н а. О да. Мне говорили, что вас разыскивает капитан Цупик.

Б у д а х. Серый хам.

Р у м а т а. Отец Будах, мой друг, позвольте представить вам прекрасную очаровательницу и первую даму Арканара дону Окану, возлюбленную наперсницу и confidentку орла нашего и канцлера дона Рэбы!

Будах отдергивает руку от Оканы. Некоторое время, раскрыв рот, смотрит на Окану, затем на Румату и снова на Окану.

Б у д а х. Ничего себе — приятное знакомство!

О к а н а. Вы разочарованы?

Б у д а х (снова кладет руку на руку Оканы). Наплевать. Пусть меня сколько угодно разыскивают за стенами этого дома. В конце концов надо признать, что у этого вашего зловещего кретина совсем недурной вкус.

О к а н а. У какого кретина?

Б у д а х. У зловещего. У вашего дона Рэбы. Так вот, пусть они там себе разыскивают, а мы здесь хорошенько повеселимся. Правда, мы, ученые, не в чести у благородных дур, но уверяю вас, моя красавица, я могу, я очень даже могу... Барон подтвердит.

Р у м а т а. Да, отец Будах даст сто очков вперед самому галантному кавалеру Арканара.

Б у д а х. И постарается тут же, не сходя с места, это доказать... (Оглядывает стол.) Благородный дон, а нет ли в ваших погребах чего-либо более пикантного, нежели пиво?

Р у м а т а. Отличная мысль. (Звонит в колокольчик. Вбежавшему Уно.) Подай вина. Эсторского, моего.

О к а н а. Фи, эсторское... Слишком сладко и крепко.

Р у м а т а. Даме подашь ируканского. А нам с отцом Будахом моего. И быстро.

О к а н а. Я согласна, будем веселиться. Но если под сень веселья беззаботного, когда забудем мы о мире горьких слез под властью поцелуев и вина, сюда явятся серые штурмовики...

Б у д а х. Ну не советую я им являться сюда, когда я буду под властью поцелуев и вина...

О к а н а. Вы будете драться? Как интересно!

Б у д а х. Мечом, правда, я владею средне, но в доме наверняка найдется что-нибудь вроде дубины. В молодости я неплохо дрался на дубинах... (Мечтательно.) Видели бы вы, как я проломил башку этому ослу, казначею Барканского монастыря! А он был большой мастер подраться! А как вы, барон?

Р у м а т а. Что — я?

Б у д а х. Как вы на дубинах?

Р у м а т а. Как-нибудь мы с вами попробуем. Надеюсь в грязь лицом не ударить...

О к а н а. Фи, благородный дон! На дубинах!

Входит Уно с бутылками. Румата принимает у него бутылки, разглядывает.

Р у м а т а. Так... Это ируканское, для прекрасной дамы. (Ставит перед Оканой стакан, наполняет.) А это — эсторское, для крепких голов и грубых желудков мужчин. (Наливает Будаху и себе.) Итак, за прекрасную даму!

О к а н а. Благодарю, благородный дон... (Пьет маленькими глотками.)

Румата подносит свой стакан ко рту, кося глазом на Будаха. Тот крякает, набирает воздуха и выпивает залпом. Лицо его вытягивается, глаза вытаращиваются. Он заглядывает в стакан, затем смотрит на Румату.

Б у д а х. Дьявольщина! Какого черта, барон... (Румата пьет его под столом.) Ох! Ну... Да, крепко, крепко, ничего не скажешь. Глаза на лоб лезут... (Осторожно ставит стакан на стол.) Боюсь, барон, что еще один такой стакан — и мне конец.

Румата осушает свой стакан и сейчас же снова наполняет все стаканы.

Р у м а т а. Угощайтесь, отец Будах. Угощайтесь, мой славный друг.

Б у д а х. Благодарю вас, мой друг. Дайте передохнуть.

О к а н а. Неужели так крепко?

Б у д а х. Это только мы можем выдержать, очаровательница... *(Пытается обнять Окану за талию, та увертывается.)*

О к а н а. Вы слишком нетерпеливы, отец Будах... Лучше ответьте мне на один вопрос.

Б у д а х. Хоть на сто, моя прелесть!

О к а н а. Вы ведь поэт, не так ли? Скажите, как это сочиняют стихи?

Б у д а х. М-м? Вы слышите, дон Румата? Ее интересует, как сочиняют стихи! Нет уж, это не меня надо спрашивать. Спросите лучше барона. После того как он прочел мне несколько своих стихотворений, я не смею называться поэтом в его присутствии...

Р у м а т а. Отец Будах, вы смущаете меня, друг мой.

Б у д а х *(залом осушает стакан)*. Ер-рунда!

О к а н а. Так вы тоже поэт, благородный Румата?

Б у д а х. И еще какой! Возьмите, например...

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

(Роняет голову на руки, бормочет.) Написать это и умереть...

О к а н а. Восхитительно!

Б у д а х. Но и я кое-что могу! *(Берет Окану за руку, проникновенно.)* Зачем увяли все цветы в саду таинственном любви?..

Ну и так далее. А?

О к а н а. Очень мило...

Б у д а х *(отпускает ее руку)*. Впрочем, разумеется, сильная сторона отца Будаха не в этом. Налейте, дон Румата.

Румата наполняет его стакан. Будах выпивает залпом.

Б у д а х. Отец Будах кое-что может. Только больше не хочет. Да! Потому что все получается навыворот. А кто виноват, что навыворот?

О к а н а. Кто?

Б у д а х. Он! Гиена наша дон Рэба! Вот смастерил я одно дело. Проволока с колючками. Скотный двор от волков. Хорошо. Еще —

умнейшая штука, мясокрутка. Нежный мясной фарш. Прекрасно. А дон Рэба... Колючка, грит? Колючка. От волков? От волков. Хорошо, грит, молодец ты, отец Будах. И оплел колючкой рудники, чтобы рабы с рудников не бегали... Мясокрутка... И мясокрутку мою забрал. В башню. И теперь из грамотеев и мужиков нежный фарш делает... Очень, говорят, способствует...

Он хватает бутылку и пьет прямо из горлышка.

О к а н а *(тихо, Румате)*. Ваш друг упился, благородный дон, я покину вас с вашего разрешения...

Р у м а т а. Ни в коем случае. Ведь вы пришли ко мне?

О к а н а. Да, я хотела поговорить с вами...

Р у м а т а. Я сейчас все устрою... *(Будаху.)* Отец Будах, мой друг, вам следует отдохнуть с дороги.

Б у д а х. Отдохнуть? Мне?

Р у м а т а. Непременно.

Б у д а х. Оставить эту прекрасную даму, эту очаровательницу?

О к а н а. Мы еще увидимся с вами, почтенный отец Будах.

Б у д а х. В таком случае... Хорошо. Барон, она прекрасна, как заря. Вы верите?

Р у м а т а. Конечно, верю... *(Звонит в колокольчик.)* Уно, постели отцу Будаху наверху, в моем кабинете. Да скажи... *(Притягивает Уно к себе, что-то шепчет на ухо. Тот быстро-быстро кивает.)* Ступайте, отец Будах, отдыхайте спокойно.

Б у д а х *(встает, пошатываясь)*. Правильно. Пора на покой. Н-но! Я — отец Будах по прозвищу Будах Арканарский. Вот так. И пусть мне принесут к ложу моему кувшинчик пива. На всякий случай. Временно оставляю вас, превосходные дамы и господа...

Уно уводит Будаха. Окана пересаживается поближе к Румате.

О к а н а. Наконец-то мы одни. Вы рады, благородный дон?

Р у м а т а. Я рад видеть вас и наедине, и в обществе друзей...

О к а н а. У вас забавные друзья, мой милый Румата.

Р у м а т а. Вы находите?

О к а н а. Забавные и... очень опасные.

Р у м а т а. Возможно. Если дону Рэбе станет известно... Но я полагаюсь на вашу скромность, прекрасная дама.

О к а н а. Благородный дон, вам нечего опасаться. Конечно, доносить модно, в Арканаре все доносят друг на друга, но сейчас...

Р у м а т а. Да?

О к а н а. Во-первых, сейчас все обстоит наоборот.

Р у м а т а. Не понимаю, дона Окана.

О к а н а. Ну... неизвестно, чей донос был бы страшнее.

Р у м а т а. Я все-таки не понимаю.

О к а н а. Глупый мальчишка! Если дон Рэба узнает, что я была у вас, мне конец!

Пауза.

Р у м а т а. Гм... Он так ревнив, ваш дон Рэба?

О к а н а. А ты полагаешь, что ты недостойн ревности?

Р у м а т а. Не знаю... Никогда об этом не думал...

О к а н а (*грозит пальцем*). Лицемер! А дуэль с доном Сэрой из-за доны Пифы? А поединок на копьях с доном Тамэо? Да у меня пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать...

Р у м а т а. Я ни разу не был зачинщиком, поверьте мне, дона Окана!

О к а н а. Вот именно. Ты получал мои письма?

Р у м а т а. Д-да...

О к а н а. Ты не ответил ни на одно мое письмо!

Р у м а т а. Поверьте...

О к а н а. Ты вынудил меня прийти сюда, бессердечный, ты сделал это нарочно!

Р у м а т а. У меня и в мыслях не было...

Окана звонит в колокольчик.

О к а н а (*вбежавшему Уно*). Никого не впускай и не входи сам, пока не позовут. Ступай! (*Уно медлит, поглядывая на Румату.*) Ну? Я кому сказала?

Р у м а т а. Ступай, Уно... (*Уно уходит.*) Я преклоняюсь перед вашей красотой, прекрасная дона, но я никогда не подавал повода...

О к а н а. Повод подаю я. Понимаешь? (*Обнимает его.*) Какой повод тебе еще нужен?

Румата крепко целует ее.

Р у м а т а. Повод ослепительный, что и говорить... (*Вытирает губы, смотрит на пальцы.*) Почему вы все так краситесь?

О к а н а. Все? (*Вскакивает.*) Кто еще?

Р у м а т а. Нет-нет, не надо меня ревновать. Это я так, к слову пришлось... Все же, чем изводить столько краски, лучше бы мылись почаще.

О к а н а. Вы издеваетесь надо мной, кавалер?

Р у м а т а. Вовсе нет. Просто вы захватили меня врасплох.

О к а н а. А что мне было делать? Я устала ждать!

Р у м а т а. Вы увлекаете меня на опасный путь, дона Окана.

О к а н а. Для тебя я просто Окана. Ты что — боишься?

Р у м а т а. Признаться, да.

О к а н а. Дона Рэбу?

Р у м а т а. Признаться, нет.

О к а н а. Тогда чего же... (*Приникает к нему.*) Я извелась, я потеряла стыд, пожалей меня!

Пауза.

Р у м а т а. Я могу пожалеть тебя. Только...

О к а н а. Что?

Р у м а т а. Ты погибнешь.

Окана в ужасе отшатывается.

О к а н а. Как... Почему я погибну?

Р у м а т а. От любви. С непривычки. Для маленьких душ это слишком большая нагрузка.

О к а н а. Нет, ты все-таки издеваешься...

Р у м а т а. Прости, я просто шучу. Не бойся.

О к а н а. Я хочу, чтобы ты любил меня.

Р у м а т а. А! Это другое дело. Ладно, пусть будет по-твоему.

Охватывает ее левой рукой за плечи, а правой принимается вытирать ее лицо носовым платком. Окана после секундного замешательства принимается отбиваться.

О к а н а. Пусти!.. Что ты делаешь?

Р у м а т а. Не дергайся. Привожу тебя в человеческий вид.

О к а н а. Пусти! Дьявол! Дьявол!

Румата отпускает ее, отбрасывает платок и критически оглядывает ее лицо.

Р у м а т а. Вот. Теперь ты более или менее в норме.

Окана достаёт зеркальце, смотрится.

О к а н а. Что ты наделал, исчадие ада? Во что ты меня превратил?

Р у м а т а. В живую женщину. Теперь тебя, пожалуй, можно любить.

О к а н а. Хорошо. Люби.

Р у м а т а. Минуточку. Соберусь с силами.

Откидывается на спинку кресла, закрывает глаза. Окана смотрит на него.

О к а н а. Румата!

Р у м а т а. Да, дорогая?

О к а н а. Я не понимаю... Что я тебе, когда у ног твоих все красавицы мира?..

Р у м а т а. Ну это уж преувеличение. Это было бы ужасно, ходить по красавицам...

О к а н а. Ты что же — вообще не можешь... любить?

Р у м а т а (*открывает глаза, резко выпрямляется*). Ну уж нет! Не могу любить? Еще как могу! Очень даже могу, как говорит наш друг отец Будах!

О к а н а. Я не о том. Я о сердце. У тебя есть сердце?

Р у м а т а. Есть. И печень есть. И все остальное, что полагается. Но ты понимаешь... Как бы это тебе объяснить... В самом большом сердце уместается всего одна любовь... Нет, боюсь, тебе этого не понять.

О к а н а. Почему же? Я все поняла. Я ее видела... Та самая простушка в платье времен прошлого регентства, которая вышла из твоего дома два часа назад... (*Пожимает плечами*.) Право, у мужчин такие странные вкусы...

Р у м а т а. На мой взгляд она очень недурна...

О к а н а. Да, пожалуй... Стройенькая, личико чистое... Моется, наверное, часто...

Р у м а т а. Мне тоже так показалось...

О к а н а. Правда, великоваты руки... и походка как у... как у рыбачки...

Р у м а т а. Да, сегодня я тоже это заметил. Должно быть, она не привыкла к дамской обуви...

О к а н а. Должно быть... И этот ее наряд! Смотреть на нее было забавно и поучительно... (*Наклоняется к Румате, доверительно кладет руку ему на колено*.) Это пройдет быстро, благородный дон. А я умею ждать. Я не буду терять надежды...

Р у м а т а. Не уставай надеяться... (*Встает, берет за бутылку*.) Позвольте угостить вас, прелестнейшая донна? (*Разливает по стаканам*.) Совершенно пересохло в глотке...

О к а н а. Что вы делаете, кавалер? Вы наливаете мне эсторское? Я же сказала вам, что не пью крепкого...

Р у м а т а. Я тоже не пью крепкого. Это не эсторское, это клюквенный морс...

О к а н а. Но...

Р у м а т а. Отцу Будаху было необходимо срочно покинуть мой дом. И вообще город. Не мог же я поить его эсторским! Чего доброго, он бы свалился с лошади где-нибудь по дороге... А так он благополучно скачет сейчас по одному из двенадцати Арканарских трактов милях в двадцати от городских стен...

Окана встает.

О к а н а. До свидания, благородный дон. В вашем обществе я испытала истинное наслаждение, сравнимое лишь с восторгами, кои вызывает у нас пребывание под сенью райских кущ, даруемыми нам — увьи! — только во снах наших...

Румата молча кланяется. Окана идет к выходу, разглядывая свое лицо в зеркальце.

О к а н а (*в дверях*). Всю краску размазал, дурак... (*Выходит*.)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Гостиная в доме Руматы. Входит, вытирая на ходу лицо и руки полотенцем, Румата — в цветастых штанах, в чулках и башмаках с пряжками, в расстегнутой до пупа сорочке с кружевными манжетами. За ним следует Уно с барским камзолом в одной руке и с огромным гребнем в другой.

Уно (ворчит). У всех как у людей, только у нас с выдумками... Где это видано — в двух сосудах мыться? В отхожем месте горшок какой-то придумали... Полотенце им каждый день чистое... Простыни подавай накрахмаленные... А сами, не помолившись, каждое божье утро голый по комнате скачут, руками машут, ногами выше головы дрыгают...

Румата швыряет ему полотенце, берет гребень и принимается причесываться.

Румата. Я при дворе, не деревенщина вшивая. Придворный должен быть чист и благоухать.

Уно. У его малолетней светлости только и интересу, что вас нюхать. А вот дон Рэба и вовсе никогда не моются. Сам слышал, ихний лакей рассказывал... Не моются, зато молятся, во как.

Румата. Ладно, перестань бурчать... Давай камзол... (облачается в камзол, неторопливо застегивается.) Кто-нибудь заходил?

Уно. Из благородных никто не пожаловал... (Останавливается.) А вот приходили от рыбника, из пекарни... (Снова останавливается. Румата вопросительно смотрит на него.) Требуют задолженности погасить. Как стоворились все. И от молочника... и кондитер...

Румата. Так-так-так, интересно... Ты расплатился с ними?

Уно. Еще чего! Будете со всеми расплачиваться — сами без штанов останетесь. Подождут.

Румата. Уно!

Уно. Ну что — Уно? Что — Уно? (Понизив голос.) Сами знаете, в городе нынче нехорошо. Не время сейчас долги отдавать. Видите, как они — всем скопом на нас навалились: плати, дескать! Узнали что-то такое, не иначе, заторопились...

Румата. Соображаешь, дружок, это хорошо... Ну что ж, подавай завтрак в таком случае.

Уно. Шпагу вашу я на диван положил... (Выходит и сразу же торопливо возвращается.) Кира пришла!

Румата. Кира? Так веди ее сюда, что же ты?

Уно выходит и возвращается с Кирой. Кира одета по-прежнему простолюдинкой, в руке маленький узелок. Румата подбегает к ней, хватая за плечи, смотрит в запрокинутое лицо. Уно деликатно удаляется.

Румата. Почему ты плакала? Кто тебя обидел?

Кира. Никто меня не обидел.

Румата. Нет, ты скажи, почему ты плакала?

Кира. Уедем отсюда.

Румата. Обязательно.

Кира. Когда мы уедем?

Румата. Я еще не знаю, маленькая. Но мы обязательно уедем...

Кира. Далеко?

Румата. Очень далеко. Ко мне.

Кира. Там хорошо?

Румата. Там дивно хорошо. Там никогда никого не обижают.

Кира. Так не бывает.

Румата. Бывает.

Кира. А какие там люди?

Румата. Люди? Обыкновенные. Как ты. Как я.

Кира. Все такие, как ты?

Румата. Не все, конечно. Есть много других, гораздо лучше.

Кира. Вот это уж не бывает!

Румата. Вот это уж как раз бывает!

Кира. Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Аба говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но им я не верю, а тебе всегда верю...

За окнами раздается треск барабана и тяжелый грохот марширующих сапог. Кира вздрагивает и прижимается лицом к груди Руматы.

Кира. Я больше не могу дома. Я больше не вернусь домой. Страшно мне дома. Можно, я у тебя служанкой буду? Я даром, мне от тебя ни гроша не надо...

Румата. Успокойся, лапочка... Успокойся...

Усаживает ее в кресло. Входит Уно, принимается накрывать на стол.

Кира. Дом с утра до ночи полон этих... серых... пьют, песни орут... и всё приводят, приводят... Вчера приволокли каких-то, семью, видно, целую... старика, двух парней, женщину молодую... Били их, так били, Румата, все кровью забрызгали... Они уж и кричать перестали... Не могу я так, не вернусь, лучше убей меня!

Пауза. Уно, застыв у стола, исподлобья глядит на Румату. Румата поворачивается к нему, негромко.

Румата. Кира будет жить у нас. Отведешь ее в угловой покой. Дашь ей мужское платье... из своего, понаряднее, вы с нею одного роста. Жить будет под видом моего пажы, имя потом придумаем... Если болтать за воротами станешь, язык вырву...

Уно. Еще чего — болтать...

Румата. Вот так-то... *(Кире.)* Ступай, маленькая, переоденься, прическу перемени и приходи сюда, будем завтракать...

Кира. В мужское? Так ведь грех это... И не сумею я...

Румата. Этот грех простится тебе... а Уно поможет.

Кира. Не хочу! Он не маленький, как он мне помогать будет?

Уно фыркает, мотает головой.

Румата. Не капризничай!

Кира. Я даже при брате родном переодеваться не стала бы, а при Уно и подавно... Не маленький он — помогать мне одеваться!

Румата. Ладно. Очевидно, самый маленький здесь — я. Пойдем, я тебе помогу.

Кира. Ой, не надо, Румата, что ты? Сама я... *(Поворачивается к Уно.)* Давай свои штаны...

Уно. Пойдем...

Кира и Уно уходят. Румата подходит к столу, барабанит по скатерти пальцами.

Румата. Все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать

у нас и взять в качестве заложника... Кира, ах, Кира, Кира... *(Застывает, прислушиваясь.)* Что такое?

Входит Уно, держась за щеку.

Уно *(мрачно)*. Все исполнено. Дал ей одежду.

Румата. Что случилось?

Уно. Ничего не случилось. Стал показывать, как штаны зашнуровывать... главное, сама же попросила показать... а она как влепит!

Румата. Значит, неделикатно показывал.

Уно. Чего там — неделикатно...

Румата. Ладно, ступай. Да никого в дом не пускай. Хоть герцог, хоть черт, хоть сам дон Рэба!..

Уно уходит. В ту же секунду с другой стороны в гостиную входит сгорбленный монах в черной рясе с капюшоном, надвинутым на лицо. Румата круто поворачивается к нему.

Румата. Кто ты такой? Кто тебя пустил?

Монах *(откидывает капюшон)*. Доброе утро, благородный Румата.

Румата. Ловко! Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось?

Арата. Все как обычно. Моя крестьянская армия разбрелась, все делят землю, на Арканар идти никто не хочет. Маршал Тоц собирает своих недобитых латников и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Приморского тракта. Все как обычно.

Румата. Понятно... Садитесь, Арата. *(Арата садится за стол, Румата придвигает к нему кушанья.)* Подкрепляйтесь.

Арата. Благодарю... *(Принимается за еду.)* Иногда мне кажется, что мы бессильны. Я — вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести... *(В гостиную тихо входит Кира и останавливается. Арата и Румата не замечают ее. Она уже в мужском костюме, волосы подобраны под берет.)* Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами, самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук, а

голыми руками не достанешь раззолоченных свиней, сидящих за крепостными стенами... *(Отодвигает тарелку.)* Спасибо, благородный Румата.

Румата. Как вы здесь очутились?

Арата. Приплыл с монахами.

Румата. Вы с ума сошли. Вас же так легко опознать...

Арата. Только не в толпе монахов. Половина из них юродивые или увечные, как я. Калеки угодны Богу.

Румата. Ну хорошо. И что же вы намерены делать? Свести счеты с доном Рэбой?

Арата. Счеты? *(Смотрит на свои пальцы.)* Да, он вырвал мне ногти в своей канцелярии, когда я попался к нему в первый раз, и хотел четвертовать меня, когда я попался во второй... Но мало ли с кем у меня счеты? С соанскими богатеями — они выжгли мне клеймо на лбу... С каким-то бароном из метрополии — он выбил мне глаз булавой в битве под Эстором... С графом Убанским — у меня горб от его железных палок... Нет, дело не в моих счетах. Но дон Рэба зарвался. Не пройдет и года, как простой люд герцогства Арканарского полезет из своих нор с вилами и топорами — драться с серой сволочью. И снова поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд...

Румата. Вам понадобятся деньги...

Арата. Да, как обычно. И оружие... *(Вкрадчиво.)* Дон Румата, помните, после моего чудесного спасения на ваших крыльях вы рассказали о себе... даже показали в небе звездочку, откуда вы к нам явились... Признаться, я был огорчен. Я ненавижу попов, мне было горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями... Дон Румата, мне очень нужны ваши молнии, чтобы разбивать крепостные стены.

Пауза.

Румата. Это невозможно. У меня нет молний.

Арата. Тогда дайте мне ваши крылья... Нет? Ладно, мы еще вернемся к этому разговору. *(Поднимается.)* Мне пора, благородный дон. Спасибо за угощение.

Румата молча достает из стола мешочек с деньгами. Арата так же молча берет мешочек, прячет за пазуху и поворачивается, чтобы идти. Остается.

Арата *(не оборачиваясь)*. Между прочим, дон Румата...

Румата. Да?

Арата. Я знаю, богам люди не страшны... но хочу все же предупредить вас: дон Рэба что-то готовит. Надвигается гроза.

Румата. Вот как?

Арата. Монахи. В Арканар съехалось множество монахов. Большинство иноземцев.

Румата. Это интересно...

Арата. У многих монахов под рясами оружие...

Румата. Вы опасаетесь переворота?

Арата. Опасаюсь? Я? Серые или черные — не все ли равно, кого рубить?

Арата уходит. Румата смотрит ему вслед, затем оборачивается и видит Киру, которая во все глаза смотрит на него. Он быстро подходит к ней.

Румата. Ну как, переделась? Ты знаешь, тебе идет...

Кира. Румата, я все слышала!

Румата. Что ты слышала?

Кира. Румата, это правда? Ты правда бог с далекой звезды?

Румата. Ну что ты, дурочка, какой же я бог?

Кира. Но он говорил...

Румата. Ты не поняла. Это было иносказание.

Кира. Но ведь он...

Румата. Про молнии и про крылья... Это он все в духовном смысле. Крылья души, молнии мысли, звезды надежды...

Кира садится в кресло.

Кира. Иногда я не могу понять, почему ты не бьешь меня.

Румата. То есть как это — почему не бью? Разве тебя можно бить?

Кира. Ты не просто добрый, хороший человек. Ты еще и очень странный человек. Ты действительно словно архангел. Без иносказаний...

Румата. Ты помнишь «Поэму о горном цветке»? Прекрасная дикарка тоже думала, что он — бог...

Кира. И все-таки любила его...

Румата садится рядом с Кирой, обнимает за плечи.

Румата. Бедная моя дикарка. Тебе так хочется, чтобы я был богом? И не страшно?

Кира. Когда ты со мной, я делаюсь смелой. Сейчас вот я смелая. И я спрашиваю тебя, Румата: ты — не сейчас, а потом, когда все уладится, — расскажешь мне о себе?

Пауза.

Румата. Да. Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая.

Кира. Я буду ждать... А сейчас, если можно... *(Утыкается лицом в его грудь.)* Поцелуй меня...

Румата целует ее. С трудом отрывается, встает, трясет головой.

Румата. Не время... Кира, ах, Кира, не время сейчас... *(Звонит в колокольчик. Вбегает Уно.)* Уно, слушай меня внимательно. Быстро, собери необходимое из вещей, возьми все деньги, что есть в доме, седлай коней. Выбирайтесь с Кирой из города, скачите в Угрюмую Берлогу, там располагайтесь и ждите...

Кира вскакивает, подбегает к нему.

Кира. А ты?

Румата. Мне нужно быть здесь... Обо мне не беспокойтесь. Ждите меня четыре дня. Если не дам о себе знать, тогда... ты слушаешь, Уно?

Уно. Слушаю, хозяин.

Румата. Если через четыре дня я не дам о себе знать, полезай в подпол...

Уно пятится, выставив перед собой дрожащие руки.

Уно. Не надо, хозяин... я не смогу...

Румата. Молчи, дурак! Слушай, что тебе говорят!..

Он обрывает себя, прислушивается. За окнами гостиной возникает многоголосый рев. На стеклах вспыхивают отблески багрового пламени. Румата подбегает к окну, всматривается.

Румата. Так, дело дрянь. Похоже, началось... Уно, Кира, бегите на чердак, уходите по крышам...

Кира. Румата!

Румата. Спокойно, маленькая, спокойно... Уно, что же ты стоишь, как столб? Бегите, я прикрою... *(Хватает с дивана шпагу.)* За меня не бойтесь, бегите!

Множественный грохот сапог. Что-то с треском рушится за сценой, в гостиную вбегают штурмовики во главе с Цупиком.

Румата. Назад!

Штурмовики в замешательстве останавливаются.

Цупик. Дон Румата, вы арестованы! Именем герцога! Отдайте оружие!

Румата. Возьмите!

Цупик. Взять его!

Штурмовики разом кидаются на Румату. Кира визжит. Несколько секунд длится свалка, затем штурмовики откатываются. Румата, слегка встrepанный, стоит на прежнем месте со шпагой в руке, возле него на полу валяется несколько топоров.

Румата. Сунетесь еще раз — буду отрубать руки! А ну, прочь отсюда!

И тут Цупик одним прыжком подскакивает к Кире, хватая за плечо и упирает ей в бок шпагу. Уно пытается помочь Кире, но падает от здорового пинка и замирает ничком, подвернув под себя руки.

Цупик. Бросай оружие, благородный дон, не то я продырявлю кишки этой твоей девке в штанах!

Кира. Отпустите! Отпусти меня, подлый человек!

Румата. Отпусти ее, Цупик...

Цупик. Как бы не так! Ей и со мной хорошо...

Штурмовики гогочут. Румата делает осторожный шаг к Цупику.

Цупик. Стоять на месте!

Румата. Тебе будет плохо, бакалейщик.

К и р а (*пытаясь вырваться*). Бей их, Румата! Не давайся им, они тебя убьют!

Ц у п и к. Не дергайся, тварь!

К и р а. Бей их, бей! Пусть лучше я умру! Бей!

Ц у п и к. Бросай оружие, барон! Считаю до трех, затем кишки наружу. Ну? Раз...

Румата бросает шпагу. В ту же секунду в гостиную в сопровождении двух монахов в черных рясах входит дон Рэба — прямой, как доска, в сером узком мундире.

Р э б а. Ну что тут у вас? Закончили? Связать и ко мне в канцелярию.

Штурмовики осторожно приближаются к Румате, на ходу разматывая веревки. Цупик по-прежнему крепко держит Киру, уперев ей в бок шпагу.

ЗАНАВЕС

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ПЯТАЯ

По авансцене перед закрытым занавесом монахи и штурмовики проводят группу связанных горожан, по виду — ремесленников. Двое штурмовиков волокут под руки дворянина в растерзанной одежде, с окровавленным лицом. Проходит с озабоченным лицом Цупик, за ним, цепляясь за полы его серого мундира, семенил Хозяин «Серой Радости».

Х о з я и н. Верните дочку, господин капитан, не виновата она!

Ц у п и к. Пошел, пошел... Дочь твоя — шлюха, штаны наде-ла, и с нею будет поступлено соответственно...

Х о з я и н. Ну надела... ну штаны... Я сам ее выдеру... Отпустите ее, сделайте милость, господин капитан...

Ц у п и к. И без тебя найдется кому выдрать... Двести палок по обнаженным мягким местам, больше не на что штаны наде-вать будет...

Аба в сопровождении двух монахов проводит связанного и избитого Будаха.

Б у д а х. Серая шпана... Сукины дети, мокрицы мокрые... ли-шай серые!

А б а (*подталкивая его в спину топорщиком*). Пой, пой, книго-чей, на колу еще и не так запоешь...

Проходят. Занавес раздвигается.

Сцена погружена во тьму. Посередине в луче прожектора си-дит Кира, возле нее лежит избитый до бессознательности Уно. Кира держит голову юноши у себя на коленях. Слышится лягз засовов. Кира настороженно поворачивает голову, вглядывается в темноту.

Г о л о с Б у д а х а. Нудная сволочь... бакалейщики вшивые...

Снова лягз засовов.

К и р а. Это вы, отец Будах?

Г о л о с Б у д а х а. Я. Кто это там? Черт, ничего не вижу. Ты где?

К и р а. Это я, Кира! Сюда, сюда идите!

Связанный Будах вступает в круг прожекторного света.

Б у д а х. Кира? Ты-то как сюда попала?

К и р а. Взяли меня... У дон Руматы...

Будах неуклюже, с кряхтеньем садится рядом с нею.

Б у д а х. Вот так так... А меня в трактире... Черт меня дернул в город притащиться... Ну и творится же в городе, я тебе доло-жу... Ты давно здесь?

К и р а. Не знаю... Взяли в полдень...

Б у д а х. Ну сейчас вечер уже... (*Уно стонет.*) Кто это здесь еще?

К и р а. Уно. Слуга дон Руматы. Избитый весь, лежит без памяти, а я не знаю, что делать... (*Всхлипывает.*) Боюсь, помрет...

Б у д а х. Эх, руки у меня связаны... Слушай, а ты?

К и р а. Что?

Б у д а х. Лапочка, да ты же, поди, не связана!

К и р а. Нет...

Б у д а х. Так развяжи меня, что ты сидишь? Вот уж дура, про-
сти меня господи...

Кира принимается на ощупь развязывать Будаха. Веревки падают, Будах с наслаждением распрямляет плечи, потягивается.

Б у д а х. Вот это славно... Вот за это спасибо... Ну мы еще те-
перь посмотрим, мы им еще выдадим... Ладно. Где тут этот маль-
чишка? *(Нащупывает голову Уно, принимается осторожно ощу-
пывать его тело. Уно вскрикивает, стонет.)* Так... так... Видно,
ребра ему изрядно попортили... Гм... Кровь здесь... Ага!

К и р а. Ну что с ним, отец Будах? Он не умрет?

Б у д а х. Не умрет. Парень жилистый, я его знаю... Оторви
от юбки лоскут.

К и р а. Я... У меня... Я не в юбке, отец Будах...

Б у д а х. Как это — не в юбке? Тебя что, голую взяли?

К и р а. Срам вам говорить такое... В штанах я... в мужском...

Б у д а х. Тьфу на тебя... Мне лоскут материи нужен, рану
мальчишке перевязать, а она о глупостях... От штанов оторви!..
Погоди, я сам сделаю... *(Вытравывает из штанов нижнюю со-
рочку, с треском отрывает подол.)* Вот так... А теперь перевя-
жем... *(На ощупь, но искусно перевязывает юноше рану на голо-
ве.)* Бедолага, досталось ему...

К и р а. Отец Будах, что с нами будет?

Б у д а х. Меня, наверное, на кол посадят... Или сожгут живь-
ем, это они умеют, час назад своими глазами видел... А за себя,
лапочка, не беспокойся. Ну, может, выпорют...

*Кира плачет в голос, уткнувшись лицом в его плечо. Он ласко-
во гладит ее по голове. Кира вдруг перестает плакать и выпрям-
ляется.*

К и р а. Нет! Не даст он вам погибнуть!

Б у д а х. Кто?

К и р а. Румата!

Б у д а х. Он что же — спасся? Бежал?

К и р а. Нет, его взяли... Сам дон Рэба... Но все равно, он нас
всех спасет!

Б у д а х. Да-да, конечно. Дон Румата такой, он все может...
К и р а. Я серьезно говорю, отец Будах! Он все может!..

*Лязг засовов. Появляется монах с фонарем, приближается к
узникам. Будах весь подбирается.*

М о н а х. Мальчик из дома Руматы.

Б у д а х. Здесь он. Только без памяти. Вы ему все ребра пе-
реломали.

М о н а х. Это не есть правда. Ломать ребра — не мы. Серые.
Мы никогда не ломаем кость.

Б у д а х. Ну еще бы... Вы добрые.

М о н а х. Ты говоришь глупое, книгочей и колдун. Ломать
кость — легкая смерть. Мы не ломаем кость. Только в битве. Нет
битвы — не ломаем. Мы вынимаем глаза. Снимаем кожу. Выры-
ваем ногти. Кость нет. Довольно болтать... *(Поднимает фонарь.)*
Ты врешь, книгочей и колдун. Мальчик не есть без памяти... *(Бе-
рет Киру за плечо.)* Вставай. Иди со мной. Тебя будет видеть гос-
пожа.

К и р а. Я...

М о н а х. Если разговаривать, я выломаю зубы. Вставай, иди.

Б у д а х. Ступай, Кира... Хуже не будет... Может, выпустят...

Кира встает. Монах, подталкивая ее в спину, ведет к двери.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА ШЕСТАЯ

*Апартамент дон Рэбы. В кресле сидит, положив ногу на ногу,
Окана в роскошном придворном платье, рассматривает ногти.
Входит монах в черной рясе с капюшоном.*

М о н а х. Приказание выполнено, госпожа.

О к а н а. Пусть введут.

*Монах, поклонившись, выходит. Сейчас же другой монах, со
шпагой наголо, вводит Киру.*

Монах со шпагой. Мальчик из дома Руматы.

Окана взглядывает на Киру, вскакивает, подходит к ней вплотную.

Окана. Но это же не он! Это совсем другой!

Кира. Другой не может... Он без памяти... Но я тоже из дома дона Руматы.

Окана. Интересно... *(Обходит Киру кругом.)* Где-то я тебя видела, красавчик... *(Монаху.)* Иди. *(Монах уходит.)* Ну хорошо, давай побеседуем... *(Берет Киру за руку, подводит к креслам, усаживает, садится рядом.)* Значит, ты тоже из дома Руматы... Кто же ты?

Кира. Я... Я его паж...

Окана. Ах, вот как... Паж... Определенно я где-то тебя видела. Мил, очень мил. Невинной юности пушок на розовых щеках... *(Берет Киру за подбородок, Кира отстраняется.)* Ну-ну, не дичись... Вот только глаз тебе подбили, но это пройдет... Если будешь вести себя хорошо, так и быть, возьму тебя к себе...

Кира. Я ни к кому не пойду от дона Руматы.

Окана. Ты так предан ему? *(Кира молчит.)* Ну-ка, посмотри на меня. Нет, где же я тебя видела?.. Ты знаешь, в твоём нежном возрасте лучше служить прекрасной госпоже, нежели самому прекрасному господину. У меня тебе будет хорошо. Да, решено. Беру тебя к себе. Но сначала о доне Румате. Ты у него давно?

Кира. С самого начала.

Окана. С какого начала?

Кира. Ну... с того дня, когда он приехал в Арканар.

Окана. Ого! Почему же я ничего о тебе не знаю?

Кира. Разве вы все знаете про дону Румату?

Окана. Все. И кое-что сверх всего... Но спрашивать буду я. Итак, ты все время при нем... Рассказывай, как он живет, много ли пьёт, с кем встречается?

Кира. Вы же сказали, что все о нём знаете...

Окана. Ты очень дерзкий мальчишка, но у тебя красивые глаза. Ничего, мы поладим. Итак?

Кира. Что — итак?

Окана *(топает ногой)*. Не зли меня! Кто у него любовница?

Кира. У него нет любовницы.

Окана. Врешь, красавчик. Во-первых, этого быть не может. Такой превосходный кавалер, сразу видно столичное обхождение... В нашем маленьком Арканаре любая дама почтет за честь... Он же не железный, твой дон Румата!

Кира. Многие его домогались, да никому ничего не удалось...

Окана. А эта простушка, трактирищица? Я как-то видела ее, ходит в обносках моды столетней давности, ковыляет, как уточка из-под селезня... Не может быть, чтобы ты ее не знал. Выкладывай, не стесняйся. Как у него с нею?

Кира. Ничего такого не знаю... А! Вспомнилось! Дней сорок назад заявила было к нему этакая придворная фря, разодетая, как кукла, накрашена, надушена, шея от грязи и пудры серая...

Окана *(поднимается)*. Что-о?

Кира. Я сама не видела, мне Уно рассказывал, наш слуга. Дон Румата очень потешался...

Окана *(пристально глядит на Киру)*. Не видела... Ну да, вот кто ты, оказывается... Теперь вспомнила. Ах ты сучонка! Холопка! Оскорбительница! В мужское нарядилась, так думаешь — тебя уже и не узнать?

Кира *(тоже встает)*. Чего разоралась? Ну да, меня зовут Кира, и я — единственная возлюбленная благородного дона Руматы, а тебе — шиш! *(Делает оскорбительный жест.)*

Окана. Кто тебе глаз подбил? Смотри, сейчас и другой подобью! *(Хватает из-за пояса кинжал.)* Я тебе сейчас оба глаза выколю, дрянь подзаборная!

Кира *(хватает со стола дон Рэбы медную статуэтку, замахивается)*. Попробуй, подойди, золоченая сволочь! Все твои мозги по стенам раскидаю!

Несколько секунд они стоят в угрожающих позах, затем Окана швыряет кинжал на пол, падает в кресло и закрывает лицо руками.

Окана. И ведь ничего не стоит — кликнуть стражу, и тебя вывесят голую вверх ногами на вершине башни... сварят живой в масле... сожгут на костре...

К и р а (*аккуратно ставит на место статуэтку*). Да, ничего не стоит. Все в ваших руках, прекрасная дона.

О к а н а. Но к чему это все? (*Опускает руки, оглядывает Киру с новым интересом.*) Да, ты хороша собой... и мужской костюм тебе идет... И все-таки я не понимаю... Слушай, Кира, жизнь дона Руматы на волоске, ты знаешь?

Кира энергично трясет головой.

К и р а. Нет. С ним ничего не случится. Правда, его взяли... подло, предательством, из-за меня... но это все равно. Я могу погибнуть, вы можете погибнуть, но он все равно всех ваших победит.

О к а н а. Почему? Каким образом? Никто еще не уходил живым из рук дона Рэбы!

К и р а. Никто. А дон Румата — он уйдет. А дон Рэба... Ну что ж — дон Рэба... Это как паук, к которому в паутину оса попала...

О к а н а. Не понимаю. Ты можешь изъясняться яснее, дерзкая девчонка?

К и р а. Не могу, прошу прощения.

В апартамент входят Рэба и Цупик.

Р э б а. Ага. Я вижу, здесь уже ведут следствие.

Ц у п и к. С этой стервой никакого следствия не требуется, господин канцлер, ваша светлость. Эту паршивую девку надо отправить денка на два в мои казармы, а потом врезать ей две сотни по мягкому и выгнать из города...

Р э б а. Интересное предложение. Заслуживает внимания. Как вы считаете, дона Окана?

О к а н а. Не будем торопиться. Я забираю ее к себе.

Ц у п и к. Вот еще! Я сам ее взял, я и буду распоряжаться, прекрасная дона! Это моя добыча! Всякие здесь будут махать кулаками после драки...

О к а н а. Вы пьяны, капитан Цупик. Не забывайтесь.

Ц у п и к. Это вы не забывайтесь, дона! Кончилось придворное житье, всякие там фигли-мигли...

О к а н а. Молчите, бакалейщик!

Ц у п и к. Придержали бы язычок, прекрасная дона... Был я бакалейщиком, а ныне мне только свистнуть стоит...

Р э б а. Не будем ссориться, друзья. У нас дела поважнее, нежели наказание этой бесстыжей в мужском костюме... Не правда ли, капитан?

Ц у п и к. Пусть скажут спасибо... А то как бы еще кое-кому не прогуляться в казармы...

Р э б а. Вот и хорошо. Дона Окана, забирайте эту девчонку к себе и глаз с нее не спускайте. Вы поняли? Не спускайте с нее глаз.

О к а н а. Поняла. (*Кире.*) Идем.

Окана и Кира уходят. Рэба садится за свой стол, Цупик валится в кресло сбоку. Рэба звонит в колокольчик. Входит монах в рясе с капюшоном.

Р э б а. Приведите дона Румату.

Монах исчезает. Аба и еще один штурмовик вводят связанного Румату — без камзола, в разорванной сорочке. За ними входят двое монахов.

Р э б а. А вот и благородный дон Румата. Наш старый и весьма последовательный недруг.

Ц у п и к. Раз недруг — повесить!

Штурмовики ставят Румату перед столом и, отступив, становятся справа и слева от него. Монахи застывают рядом со штурмовиками.

Ц у п и к. Или еще лучше — сжечь! Нужно сохранять у черни уважительное отношение к высшим сословиям. (*Хихикает.*) Все-таки отпрыск древнего рода...

Р э б а. Хорошо. Договорились, сжечь.

Ц у п и к. Впрочем, дон Румата может облегчить свою участь. Вы меня понимаете, дон Рэба?

Р э б а. Не совсем, признаться...

Ц у п и к. Имуущество, Эсторские Руматы — богатый род!

Р э б а. Вы, как всегда, правы, почтенный капитан. Что ж, тогда начнем по всей форме...

Р у м а т а. Развяжите мне руки.

Цупик вздрагивает, отчаянно мотает головой.

Рэба. А? *(Смотрит на Цупика.)* Я вас понимаю, капитан. Но если принять некоторые меры предосторожности... Развязать его.

Один из монахов подсакивает к Румате и развязывает его.

Цупик поспешно вытаскивает шпагу, штурмовики берут топоры наизготовку.

Румата *(растирая затекшие руки)*. Предупреждаю, герцог будет поставлен в известность об этом безобразии. Самоуправное вторжение в дом благородного дворянина...

Рэба. Герцогу это известно. Собственно, мы действуем по его приказу...

Цупик *(злорадно)*. Вот так-то, благородный дон!

Рэба. Итак, начнем. Ваше имя, род, звание?

Румата. Восемнадцатый барон Румата дон Эстор... *(Озирается. Повелительно Абе.)* Кресло! *(Аба обалдело роняет топор, кидается к ближайшему креслу, придвигает Румате.)* Благодарю. *(Садится.)*

Цупик *(ворчит)*. Болван...

Рэба. Продолжим. Сколько вам лет?

Румата. Двадцать пять.

Рэба. Когда прибыли в Арканар?

Румата. Год назад.

Рэба. С какой целью?

Румата. Предложить честь и шпагу герцогу Арканарскому.

Рэба. Странно. Покинуть блестящую столицу метрополии...

Румата. На то были обстоятельства.

Рэба. Какие же?

Румата. Я убил на дуэли члена августейшей семьи.

Рэба. Вот как? А в чем была причина дуэли?

Румата. Женщина.

Цупик. Врет он все, господин канцлер, ваша светлость. А вы уши развесили...

Рэба. Вы слышите, дон Румата? Мы хотим правды! Одной лишь правды!

Румата. Ага... А мне показалось...

Рэба. Что вам показалось?

Румата. Мне показалось, что вы хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. Не представляю, каким образом вы надеетесь его получить?

Цупик. А дарственная? А дарственная?

Румата. Ты дурак, Цупик... Сразу видно бакалейщика. Тебе, конечно, невдомек, что майорат не подлежит передаче в чужие руки...

Рэба. Вам не следует разговаривать в таком тоне.

Румата. Вы хотите правды? Вот вам правда, истинная правда и только правда: ваш Цупик — дурак и бакалейщик.

Цупик. Ну, сукин сын, дворянская сволочь...

Рэба. Не будем отвлекаться, почтеннейший капитан. Ну-с, значит, вы богаты, барон?

Румата. Я мог бы скупить весь ваш Арканар, но меня не интересуют помойки...

Рэба *(со вздохом)*. Мое сердце обливается кровью. Обрубить столь славный росток столь славного рода! Это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью.

Румата. Поменьше думайте о государственной необходимости и побольше думайте о собственной шкуре...

Рэба. Вы правы. Сейчас самое время.

Он поднимает руку и щелкает пальцами. И сейчас же монахи за спиной Руматы бросаются на Абу и второго штурмовика, закалывают их и волокут прочь из апартамента. Цупик, онемев от неожиданности, приподнимается было, но за его спиной появляются еще двое монахов, хватают его и заворачивают руки в лопаткам.

Цупик. Ой-ёй-ёй-ёй!..

Рэба. Скорее, скорее, не задерживайтесь!

Монахи выволакивают отчаянно брыкающегося и вопящего Цупика из апартамента. Слышится тяжелый удар, вопль резко обрывается. Монахи возвращаются и становятся за спиной дон Рэбы.

Рэба. Как я их, а? Никто и не пикнул. У вас, я думаю, так не могут...

Румата. У нас и не так еще могут.

Рэба. Да? Ну что ж... Хорошо. А теперь поговорим, дон Румата. А может быть, и не Румата? И может быть, даже и не дон?

А? (*Выжидает секунду, затем тычет большим пальцем через плечо.*) При них можете говорить свободно, они не знают языка... Да и языки у них с детства того... вырезаны... Ну?

Румата. Я вас слушаю.

Рэба. Вы не дон Румата. Вы самозванец. Настоящий барон Румата Восемнадцатый дон Эстор умер полтора года назад и покоится в фамильном склепе, и святые давно упокоили его неспокойную и, прямо скажем, не очень чистую душу. Вы как, сами признаетесь или вам помочь?

Румата. Сам признаюсь. Я — барон Румата дон Эстор, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались.

Рэба (*зловеще*). Я вижу, что нам придется продолжить разговор в другом месте.

Румата. У вас что — геморрой, дон Рэба? (*Рэба вздрагивает и выпрямляется.*) Да, маху вы дали, всех врачей в герцогстве перерезали. Впрочем, если вам удастся найти отца Будаха и если он согласится лечить вас...

Рэба. Согласится. У меня все соглашаются.

Румата. Значит, он уже у вас?

Пауза.

Рэба. Итак, вы отказываетесь признаться.

Румата. В чем?

Рэба. В том, что вы самозванец.

Румата. Почтенный Рэба, такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете.

Рэба. Мой дорогой дон Румата! Простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, я никогда ничего не доказываю. Доказывают у меня в башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов. Вы понимаете меня? Известное количество крови, содранной кожи, обугленного мяса... Посудите сами, ну зачем мне доказывать то, что я и так знаю? Кстати...

Румата. Да?

Рэба. Я заметил, что вас совсем не удивило, как я разделался с этим Цупиком.

Румата. А чему здесь удивляться?

Рэба. Признаться, я бы на вашем месте...

Румата. Бросьте, дон Рэба. Это же так понятно. Цупик свое дело сделал: раздавил книжечеев и ремесленников, а сегодня перебил всех враждебных вам дворян... Кстати, малолетнего герцога вы не прикончили?

Рэба. Что за мысль!

Румата. Ну и вот. Цупик стал бесполезен и, следовательно, опасен. Теперь вы загоните штурмовиков в казармы, и в вашем Арканаре воцарится восхитительная могильная тишина.

Пауза.

Рэба. Скажите, дон Румата, вы незнакомы с доном Кондором?

Румата. Не имею чести.

Рэба. Соанский генеральный судья... Он сейчас в Эсторе... Нет? Ну хорошо. Вернемся к нашему делу. Я жду вашего признания, дон Румата. Поверьте, признание ничем вам не грозит.

Румата. Мне не грозит. Оно грозит вам.

Рэба поднимается из-за стола и, заложив руки за спину, идет по апартаменту.

Рэба. Хорошо. Видимо, начать придется все-таки мне. Давайте посмотрим, в чем замечен дон Румата Эсторский за год своей загробной жизни в герцогстве Арканарском. А вы потом объясните мне смысл всего этого. Согласны?

Румата. Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний. Но я с интересом вас выслушаю.

Рэба. Мною были предприняты некоторые действия против так называемых книжечеев, ученых и прочих бесполезных и вредных для герцогства людей. Эти действия за последний год стали встречать некое странное сопротивление. Кто-то неведомый, но весьма энергичный выхватывал у меня из-под носа и прятал самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников — безбожного астролога Багира, преступного алхимика Синду, мерзкого памфлетиста Цурэна и иных, рангом поменьше. Кто-то похищал, спасая от справедливого уничтожения, богохульные библиотеки, развращающие картины, отвратительные астрологические и химические приборы. Кто он?

Румата. Продолжайте.

Рэба. Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и душегуба, атамана крестьянских бунтов Арату Горбатого, и тот сейчас же пошел снова гулять по восточным областям герцогства, обильно проливая благородную кровь... Ну?

Румата. Верю. Он сразу показался мне решительным человеком.

Рэба. Ага! Вы признаетесь?

Румата. В чем?

Рэба возвращается за стол.

Рэба. Я продолжаю. На спасение этих растлителей душ вы, дон Румата, по моим очень неполным подсчетам, потратили не менее пуда золота... Ваше золото! *(Он выхватывает из стола мешочек и высыпает на стол звонкие золотые кружочки.)* Одного этого золота достаточно, чтобы сжечь вас на костре! Это дьявольское золото! Человеческое искусство не в силах изготовить металл такой чистоты!

Румата. Вот тут вы молодец. Этого мы не учли.

Рэба. И вообще вы ведете себя неосторожно, дон Румата. Я все время так волновался за вас... Вы такой дуэлянт, такой задира! Три десятка дуэлей за год! Три десятка блистательных побед! И ни одного убитого... Вывихнутые руки, царапины на задних частях, синяки от ударов плашмя не в счет... Вы — мастер. Вы, несомненно, продали душу дьяволу, ибо только в аду можно научиться этим невероятным, сказочным приемам боя. Я готов даже допустить, что это умение было дано вам с условием не убивать. Хотя трудно представить себе, зачем дьяволу понадобилось такое условие...

Румата. Довольно. Хватит пустой болтовни. Где моя девушка? Где Будах?

Рэба дрожащей рукой утирает вспотевшее лицо.

Рэба. В надежном месте, разумеется.

Румата. Не морочьте мне голову. Где они? Немедленно доставьте их сюда!

Рэба. Не будем торопиться, мне они самому нужны. Геморрой, знаете ли... другие старческие слабости... Ведь ваша невеста — она, знаете ли, штучка. А? Шельмочка этакая. Цупика, знаете ли, нехорошо говорить дурно о покойниках, но это был жестокий и мстительный человек, — за нос укусила, представляете?

Румата вскакивает. Рэба тоже поднимается. Монахи за его спиной делают шаг вперед и угрожающе направляют в сторону Руматы острия шпаг.

Румата. Слушайте, Рэба! Я с вами не шучу. Если с Кирой и Будахом что-нибудь случится, вы подохнете как собака. Я раздавлю вас!

Рэба. Не успеете.

Румата. Вы опытный интриган, но тут вы ничего не понимаете. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру, как сейчас. И вы даже не подозреваете об этом...

Рэба. Ну что это вы, в самом деле... Сидели, разговаривали... Да живы они, целы и невредимы, ваша девчонка и Будах. Он меня еще лечить будет...

Румата. Давайте их сюда! Не сердите меня и перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делаете!

Рэба. Мальчишка! Я никого не боюсь! Это я могу раздавить тебя, как пиявку! *(Слышится множественный грохот копыт, за окнами проплывают силуэты всадников в капюшонах и с копьями. Рэба кидается к окну.)* Смотри! *(Румата подходит к окну.)* Пр-рашу! Смирные дети господи нашего, непобедимая конница Святого Ордена! Вы говорили о герцоге? Герцога больше нет! Малолетний герцог удалился в монастырь, отдав герцогство под покровительство Святого Ордена! И конница его святейшества высадилась нынче в порту для подавления варварского бунта возманивших о себе лавочников!

Румата. Еще бы! Где торжествует серость, к власти всегда приходят черные...

Рэба. Что? Нет, вы еще не знаете. Мы еще не знакомы. Позвольте представиться: наместник Святого Ордена в Арканаре, епископ и боевой магистр раб божий Рэба!

Румата. Подумаешь, новость... Это давно всем известно.

Рэба. Как? Откуда?

Румата. Не ваше дело. Слушайте, Рэба. Я устал. Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюны ваших головорезов. Давайте сюда Киру и Будаха, я ухожу.

Рэба (*указывая в окно*). Их пять сотен копий!

Румата. Немного потише, пожалуйста... И запомните, Рэба, я вижу вас насквозь. Вы хоть и епископ, но все равно всего лишь предатель и дешевый интриган... Я вас ненавижу, учитите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Вы поняли меня?

Рэба. Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при мне, дон Румата. Я не могу вас убить. Не знаю почему, но не могу.

Румата. Бойтесь.

Рэба. Ну и боюсь! Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога. Кто вас знает? Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла, у меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь...

Румата (*зевая*). Это меня не интересует.

Рэба. А что же? Что вас интересует?

Румата. А меня ничто не интересует. Я не дьявол и не бог, я — кавалер Румата Эсторский, я обременен капризами и пред-
рассудками и привык к свободе во всех отношениях. Запомните это. А теперь прикажите доставить сюда Киру и Будаха, и покончим с этим.

Рэба. Еще одну, минуточку. Хорошо, я готов выполнить ваши требования. Я не буду становиться у вас на дороге. Я не трону ни вас, ни ваших друзей... Но почему бы нам не пойти дальше?

Румата. Что вы имеете в виду?

Рэба. Почему бы нам с вами не заключить союз? Вы и я — ведь это была бы такая сила! Соединив усилия, мы бы все перевернули вверх дном, дон Румата! Вы только представьте себе, а?

Румата. Говорите прямо, чего вы хотите?

Рэба. Власть, дон Румата! Что может быть прекраснее безграничной власти над тысячами... нет, над сотнями тысяч тел и душ? Это сладко... это слаще обладания несметными богатства-

ми и прекраснейшими женщинами! Я чувствую, я знаю, вдвоем мы смогли бы... Что там жалкий Цурик? Ступенька, бревно! Мы могли бы подняться на такую высоту, с которой Арканарское герцогство показалось бы ничтожной кучкой грязи... А? Дон Румата! Давайте, а?

Румата. У меня на родине есть такая притча. Ворона спросила орла: Для чего ты летаешь на такой страшной высоте? — Просто я люблю парить в синем небе, — ответил орел. Врешь ты все, — сказала ворона обиженно. — Там наверняка полным-полно дождевых червей...

Пауза.

Рэба. Понимаю. Понимаю и ценю. В конце концов вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их... А вдруг когда-нибудь пойму? Я — человек широких взглядов, я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу...

Румата. Там видно будет... (*Пристально глядит на Рэбу.*) Плечом к плечу...

Рэба. Именно! Плечом к плечу! Во имя идеалов!

Румата. Это мысль. Надо подумать. Хорошо. Обсудим, посоветуемся с народом...

Рэба. Что?

Румата. Ничего... (*Наклоняется к Рэбе, нюхает, брезгливо морщится.*) Господи, дон Рэба! Чем это так несет от вас? Потом протухшим и еще каким-то дерьмом... Это правда, что вы никогда не моетесь?

Рэба. Некогда, дон Румата. Государственные дела, то-се...

Румата. Ну хорошо. Так я пойду. А вы распорядитесь — всех моих к воротам, немедленно...

Рэба. Будет исполнено...

Румата идет к выходу. Рэба, забежав вперед, предупредительно распахивает перед ним дверь.

ЗАНАВЕС

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Гостиная в доме Руматы. Кира с тряпочкой и щеткой обмахивает с мебели пыль. Кира одета и причесана по-современному — по моде последней четверти двадцатого века. Входит, прихрамывая, Уно — через глаз черная повязка, на боку здоровенный палаш.

Уно. Кира, там опять эта сука пришла.

Кира. Которая?

Уно. Эта... нарядная. Которая с доном Рэбой.

Кира. Окана? Приглашай.

Уно. Так обед скоро. А хозяин ее не любит...

Кира. Ничего, я ее быстро спроважу.

Уно выходит. Входит Окана в своеобычном пышном наряде, подбегает к Кире, целует ее в щеку, оглядывает.

Окана. Какая прелесть! Милочка, кто это вас так надоумил? Ножки напоказ... верх до шеи закрыт... Это что, так теперь в метрополии носят? Кто-нибудь из Эстора к дону Румате?

Кира. Нет. Это сам дон Румата. Даже сшил сам.

Окана. Смело, смело... Только боюсь, что во дворце епископа... Вы знаете, какие у дон Рэбы строгие взгляды...

Кира. Нет, конечно, во дворец в этом нельзя... Я и дома-то стесняюсь... Но Румата сказал, что так ему нравится...

Окана. Конечно, конечно... Слово повелителя — закон... А прическа какая... Впрочем, что это я разболталась, я же спешу... Ехала к доне Сатарине, дай, думаю, загляну к моей душечке... Что у вас нового?

Кира. Так, ничего... Всё по-старому.

Окана. Как поживает дон Румата?

Кира. Жив, здоров... Что ему делается?

Окана. Я замечаю, он в последнее время почти нигде не бывает.

Кира. Ему и дома хорошо.

Окана. Конечно, конечно... Епископ не одобряет светских развлечений...

Кира. Дону Румате епископ не указ.

Окана. Это не совсем так, милочка. Просто дон Рэба благоволит к дону Румате.

Кира. Ну кто там к кому благоволит... Дон Румата свободен как ветер. Захочет — уедет, захочет — приедет...

Окана. Мне сказали, что у вас сейчас гостит высокоученый отец Будах...

Кира. Сегодня уезжает. Они с доном Руматой руду какую-то ищут.

Окана. Так они оба уезжают сегодня?

Кира. Оба. Дня на три.

Окана. Какая жалость! Я так хотела пригласить вас к себе...

Кира. Вы же знаете, дон Румата к дону Рэбе только в канцелярию ходит.

Окана. Да... да... Так дон Румата сегодня уезжает...

Кира. Сразу после обеда. Сейчас будет обед.

Окана. Тогда не буду мешать... Прощание влюбленных, даже на срок короче мгновения, даже богам неуместно обременять присутствием своим... Ах, какая вы счастливица!

Окана целует Киру и выходит. Кира задумчиво смотрит ей вслед. Входят Будах и Румата.

Будах. «Когда торжествуют серые, к власти приходят черные...» Да. Отличная мысль. Поздравляю, дон Румата.

Румата. Да мысль, в общем, банальная. Но она в какой-то степени отражает закономерности нашего мира...

Будах. До чего ловко научились выражаться эти дворяне! Не обижайтесь, мой друг...

Румата. Давайте присядем... Кира, принеси отцу Будаху пива.

Они садятся. Кира выходит.

Будах. Собственно, само наличие закономерностей мира свидетельствует о совершенстве мира.

Румата. Вот как? Вы считаете мир совершенным, отец Будах? И это после пожара в вашей библиотеке? После отсидки в подвалах дон Рэбы?

Б у д а х. Мой молодой друг, ну конечно же! Мне многое не нравится в мире, многое я хотел бы видеть другим... Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих...

Входит Кира с кувшином и стаканами, садится рядом с Руматой.

Р у м а т а. А что, если бы можно было изменить высшие предначертания?

Б у д а х. На это способны только высшие силы.

Р у м а т а. Но все-таки представьте себе, что вы бог...

Кира вздрагивает и прижимается лицом к плечу Руматы.

Б у д а х. Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им.

Р у м а т а. Ну а если бы вы имели возможность посоветовать богу?

Б у д а х. Я всегда говорил, что у вас богатейшее воображение...

Р у м а т а. Вы мне льстите... Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что по-вашему следовало бы сделать богу, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хорош?

Б у д а х. Что ж, извольте. Я сказал бы всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, но захоти сделать людей добрыми и счастливыми. Так просто этого достигнуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей...»

Р у м а т а. И это все?

Б у д а х. Вам кажется, что этого мало?

Р у м а т а. Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими».

Б у д а х. Я бы попросил бога оградить слабых. Вразуми жестоких правителей, — сказал бы я.

Р у м а т а. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.

Б у д а х. Накажи жестоких! Чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым!

Р у м а т а. Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг него сильнее его. Когда будут наказаны жес-

токие из сильных, их место займут сильнейшие из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.

Б у д а х. Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.

Р у м а т а. И это не пойдет людям на пользу. Ибо когда получают они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.

Б у д а х. Не давай им всего сразу! Давай понемногу, постепенно!

Р у м а т а. Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.

Б у д а х (*чешет в затылке*). Да, я вижу, это не так просто. Я как-то не думал о таких вещах... Кажется, мы с вами, мой друг, перебрали все возможности. Впрочем, есть еще одна. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы это стало единственным смыслом их жизни!

Р у м а т а. Я мог бы сделать и это. Но стоит ли лишать человечество истории? Нужно ли подменять одно человечество другим? Это же все равно что стереть человечество с лица планеты и создать на его месте новое...

Б у д а х. Понятно... Тогда, господа, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными... или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

Р у м а т а (*медленно*). Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать.

Кира отшатывается от Руматы и закрывает лицо ладонями. Будах медленно поднимается из кресла.

Б у д а х. Слушайте, дон Румата... Хотел бы я знать все-таки... (*Садится.*) Черт знает что!

Румата, пригнув голову, примеривается сбить что-то щелчком со стола.

Б у д а х (*нервно*). Что это вы?

Р у м а т а. Таракан. (*Щелчком сбивает таракана со стола.*) О чем это мы... Да! (*Кире.*) Кто это приходил?

К и р а. Дона Окана.

Р у м а т а. Что-то она зачастила... Чего ей нужно?

К и р а. Так, зашла по дороге... Жалела, что ты уезжаешь, а у самой на морде полпуда краски...

Р у м а т а. Жалела, что я уезжаю? Откуда она узнала?

К и р а. Я сказала... А что, не нужно было?

Румата и Будах переглядываются.

Р у м а т а. Что ты ей сказала?

К и р а. Что вы будете сейчас обедать, а потом скоро уедете... с отцом Будахом... Я не так сделала?

Р у м а т а. Нет-нет, ничего...

Б у д а х. Неосторожно...

Р у м а т а. Вообще-то пустяк, конечно...

Пауза.

К и р а. Простите меня... Я не думала... Я не знала...

Б у д а х. М-да... Ежели дон Рэба знает, что ты собираешься делать, лучше сделать все шиворот-навыворот...

Р у м а т а. Правильно. Береженого бог бережет... (*Звонит в колокольчик. Вбежавшему Уно.*) Коня для отца Будаха.

У н о. А обед как же?

Б у д а х. Сейчас уж не до обедов, братец...

Р у м а т а. Дашь отцу Будаху в дорогу окорок и хлеба...

Б у д а х. Эсторского во все фляги... да смотри, настоящего, а не этой кислой водицы...

У н о. А вы, хозяин, значит, не едете?

Р у м а т а. Остаюсь. Ступай, делай.

Уно выходит. Кира робко подходит к Румате, берет его за руку.

К и р а. Ты не сердисься?

Р у м а т а. Вот еще, стану я на тебя сердиться из-за какого-то задрипанного епископа... Значит, сделаем так, отец Будах, поезжайте к Угрюмой Берлоге и ждите меня там. А я здесь осмотрюсь, погляжу, что к чему...

Б у д а х. Договорились. Гм... А может быть, мне остаться с вами?

Р у м а т а. Нет-нет. Поезжайте, мой друг. И не медлите в городе. Прямо со двора — в галоп и к северным воротам.

Б у д а х. Хорошо, мой друг. Вам виднее...

Р у м а т а. А чтобы вам не было скучно... (*Берет Будаха под руку, отводит его на авансцену.*) Пораскиньте умом, попробуйте доказать, что отношение длины окружности к ее радиусу есть величина постоянная...

Б у д а х. Отношение длины к радиусу... Ого! Любопытная идея! Черт подери, дон Румата, ну и голова у вас!

Входит Уно.

У н о. Все готово.

Р у м а т а. Поезжайте, мой добрый друг...

Б у д а х. Не хочется что-то... Ладно. Берегите себя. (*Обнимает Румату.*) И ты тоже... (*Обнимает Киру.*) Ладно...

Уходит вместе с Уно. Кира и Румата стоят посередине гостиной, прислушиваясь. Слышится стук удаляющихся копыт.

К и р а. Уехал... Я все-таки рада, что ты остался. А ты рад?

Р у м а т а. Я? Я всегда рад, когда я с тобой...

К и р а. Помнишь, ты как-то сказал: все к лучшему... Видишь, хоть я и плохо сделала, что разболталась с этой Оканой, а получилось чудо как хорошо... Так мне не нравится, когда ты уезжаешь, если бы ты знал...

Р у м а т а. Не ври.

К и р а. Я не вру! Я тебе никогда не вру!

Р у м а т а (*обнимает ее*). А кому ты врешь?

К и р а. Кому угодно. А тебе — нет. Вот только...

Р у м а т а. Что?

К и р а (*освобождается из его рук*). Пусти-ка... Вот нужно мне сказать тебе кое-что, а я не знаю, совру или нет...

Р у м а т а. Интересно.

К и р а. Сказать?

Р у м а т а. Конечно. Все равно не утерпишь.

К и р а. Это правда. Не утерплю. Только не знаю еще... не уверена я, правда или нет...

Р у м а т а. Понятно.

К и р а. Что? Что тебе понятно?

Румата. Наверное, так начинали миллионы и миллионы женщин, которых любят.

Кира. Догадался...

Румата. Еще бы не догадаться... *(Обнимает и нежно целует ее.)* Рада?

Кира. Я-то рада. А вот ты, по-моему...

Румата. Если бы ты знала! А как обрадуется Александр Васильевич!

Кира. Алексан... Кто-кто?

Румата. Так, один мой хороший знакомый. Значит, теперь нас трое...

Кира. Да. Деятнадцатый барон Румата.

Румата. Или баронесса. Ты знаешь, я не против и баронессы.

Кира. Мужчины всегда хотят мальчиков. Сыновей.

Румата. Это смотря какие мужчины. Настоящие мужчины больше любят дочерей. Впрочем, сыновей они тоже больше любят...

Кира. О чем ты думаешь?

Румата. Я не думаю. Я боюсь.

Кира. Ты? Боишься?

Румата. Боюсь.

Кира. Ах, да... Ты об отце Будахе... Он славный, веселый...

Румата. Нет, за отца Будаха я не боюсь. Ему что — подхватил какую-нибудь оглоблю и всех раскидал... Ты знаешь, что самое неприятное на свете?

Кира. Конечно, знаю. Это когда тебя нет со мной.

Румата. Это, конечно, неприятно. Но еще неприятней — это держать за хвост тигра. Держать тошно, а отпустить страшно.

Кира. Не понимаю.

Румата. Это я о нашем друге, о епископе Арканарском, о доне Рэбе. Видишь ли, все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника.

Пауза.

Кира. Что ты такое говоришь, я не понимаю...

В гостиную входит черный монах в рясе с надвинутым капюшоном. Румата хватается за шпагу.

Румата. Стой, сукин сын!

Монах. Осторожнее с железом, благородный дон Румата.

Это опять я.

Румата. Арата? Вы?

Арата. Я. У меня срочное дело. *(Румата поворачивается к Кире.)* Ничего. Ваша подруга нам не помешает. А может быть, и поможет. Она хорошая женщина.

Румата. Садитесь, благородный Арата...

Они садятся. Кира, сжавшись в комок в кресле, во все глаза разглядывает их.

Арата. Вы знаете, что творится в стране?

Румата. Представляю.

Арата. Такого даже я еще не видел. Трупы, трупы, трупы... Людишек режут, распинаят и жгут прямо на улицах...

Румата. Знаю... Я пытаюсь вмешиваться, но все бесполезно. Там, где я вытаскиваю из петли одного, немедленно вешают десятерых...

Арата. Ничего. Чем хуже, тем лучше... Дон Румата, почему вы не хотите помочь мне?

В это время в гостиной появляется Уно. Он стоит у входа и слушает. Никто не замечает его.

Румата. Одну минутку. Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом?

Арата. Это неважно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать мне вашу силу?

Румата. Не будем говорить об этом.

Арата. Нет, мы будем говорить об этом! Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или бог просто решил позабавиться?

Румата. Вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог, — вы так и не поверили, и вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием...

Арата. У вас есть молнии?

Румата. Я не могу дать вам молнии.

Арата. Я хочу знать: почему?

Румата. Я повторяю: вы не поймете.

Арата. А вы попытайтесь объяснить!

Румата. Что вы собираетесь делать с молниями?

Арата. Я выжгу черную и золоченую сволочь, как клопов, всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого потомка. Я сотру с лица земли их монастыри, казармы и крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать и поддерживать их. Можете не беспокоиться — ваши молнии будут служить только добру, и когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их.

Румата. Нет. Я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас. Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны. И если вы погибнете и молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда... мне страшно подумать, чем это может кончиться.

Пауза.

Арата. Зачем вы пришли к нам?

Румата. Это вам тоже трудно понять. Мы пришли учиться.

Арата. Учиться? Чему?

Румата. Учиться помогать вам.

Арата. Помогать нам... Но это так просто!

Румата. Нет. Это дело длительное и сложное. Пока мы не знаем еще даже, с какого конца взяться за него...

Арата. Так... Да, это мне не понять. Дон Румата, вам не следовало спускаться с неба. Возвращайтесь к себе. Вы только мешаете нам.

Румата. Это не так. Во всяком случае, мы никому не вредим.

Арата. Нет, вы вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды.

Румата. Кому?

Арата. Мне. Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а вы сделали так, что теперь я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой, а теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что бог примет в них участие.

Румата. Славный Арата, некогда борцы за свободу на моей родине шли в бой с песней — никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой...

Арата. Ага! Они понимали толк в борьбе! Нет, дон Румата, уходите отсюда, вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите... Или без оглядки переходите к нам, обнажите ваш меч и встаньте плечом к плечу с нами! *(Пауза.)* В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг...

Кира вскакивает.

Кира. Вы не смеее так с ним разговаривать! Он добрый, он сильный! Он сильнее всех на свете! Он все-все видит и знает! Что мы ему? Муравьи! Один муравейник воюет с другим муравейником... И вы хотите, чтобы он разорил один муравейник во славу другого?

Уно. Не ври! *(Подбегает к Арате, становится рядом с ним.)* Мы не муравьи! Мы люди! Хозяин, я любил и почитал вас, вы знаете... Но великий Арата прав! Молнии... Нет? Пусть! Мы и без молний! Я уйду от вас, хозяин. Если Арата возьмет меня с собой, я пойду с ним. Если не возьмет, я пойду один. Я сам буду резать этих сволочей, один или не один...

Арата. Я беру тебя, мальчик. Пойдем. Мы не придем сюда больше. Нехорошо мешать богам учиться...

Кира. Погодите... *(Подбегает к Уно, хватая его за плечи, трясет.)* Уходишь? Покидаешь Румату? Он из тебя человека сделал, а ты его предаешь?

Уно. Отпусти меня... Не я предаю. Это он нас предает... Пустяки же!

Уно вырывается из рук Киры, отходит.

Арата. Ну вот и все. Слово сказано. Прощайте, дон Румата. Пойдем, мальчик.

Он поворачивается, чтобы идти, и вдруг останавливается, прислушиваясь. Румата тоже поднимает голову. Слышится цокот множества копыт. И сразу — грубые голоса.

— Это здесь.

— Вроде здесь...

— Сто-ой!

К и р а. Румата, это за нами!

В дверь ударяют кулаки. Грубый голос:

— Во имя господи! Открывай, девушка!

Румата подсакивает к окну, распахивает створку.

Р у м а т а. Эй, вы! Вам что — жить надоело?

Шум мгновенно стихает. Голоса негромко:

— И всегда ведь в канцелярии напутают. Хозяин-то дома, никуда не уехал...

— Что делать будем?

— У меня есть приказ: взять девицу в доме дон Руматы. Будем брать.

— А хозяин?

— Хозяина приведем в неподвижность.

Р у м а т а. Перебью как собак!

Кира подбегает к нему, прижимается к его плечу. Голос за окном:

— Вывернуть столб, бить в дверь. Быстро!

Р у м а т а (Кире). Ну что ты, маленькая? Испугалась? Неужели этой швали испугалась? (Отходит от окна, обнажает шпагу.) Сейчас я их...

А р а т а. Может быть, проще уйти? Я знаю потайной ход...

Р у м а т а. Уйти? Мне это как-то... Послушайте, славный Арата. Возьмите девушку и Уно и уходите. Спрячьте их где-нибудь. А я...

В раскрытом окне появляется занесенная во взмахе рука.

К и р а. Не смей!

Она бросается к окну, заслоня собой Румату. Метательный нож вонзается ей в грудь. Рука исчезает. Кира шатается, падает. Румата подхватывает ее.

Р у м а т а. Кира!

К и р а. Вот... больше не боюсь... хорошо...

Румата относит Киру на диван.

Р у м а т а. Кира... Кира... Маленькая...

Пауза. Румата выпрямляется, некоторое время стоит неподвижно, затем кулаком, в котором зажата рукоять шпаги, проводит себя по глазам. Смотрит на шпагу, выходит на середину залы.

Р у м а т а. Ладно. Все. Конец.

А р а т а. Надо уходить, благородный Румата.

Р у м а т а. Уходить? Мне? (Трясет головой.) Я, видите ли, буду драться. А вы уходите, вы, оба. Это будет мой бой.

А р а т а. Ваш? Как бы не так! (Извлекает из-под ряссы короткий широкий меч. Уно выхватывает палаш.) Нет, дон Румата. Нет, человек с далекой звезды! Это будет наш бой. Вероятно, последний, но НАШ!

Они стоят трое плечом к плечу и слушают, как трещит и ломается под ударами дверь.

ЗАНАВЕС

ЭПИЛОГ

Поляна перед Угрюмой Берлогой. У подножия идола сидит Будах, оперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Рядом стоят Кондор, Пилот и Неизвестный в широкополой шляпе с пером, закутанный в плащ.

П и л о т. Они произвели целое побоище. Изрубили весь отряд и вырвались на улицу. Тут на них навалилось сразу человек пятьдесят, пеших и конных. Они не остановились. Они шли по трупам, с головы до ног в чужой и своей крови. Первым пал мальчик Уно, его изрешетили стрелами. Арата был убит уже на дворцовой площади. А Антон добрался до канцелярии. Там, на ступеньках крыльца...

Пауза.

К о н д о р. Понятно. Тело?

П и л о т. Мы прибыли слишком поздно...

Пауза.

Б у д а х. Он был прав. Величина постоянная. Три и четырнадцать сотых.

К о н д о р. Что — три четырнадцать?

Б у д а х. Отношение длины окружности к радиусу... (*Отпускает руки, поднимает голову и обводит всех взглядом.*) Да не в этом дело! Я не знаю, кто вы — боги или демоны. Но он не был ни богом, ни демоном. Он был одним из нас. Он перестал бояться тараканов. Он был добрый и умный, он умел драться и веселиться, и он погиб за нас и как один из нас. И он любил стихи... Он очень любил мои стихи... Особенно вот эти... (*Встает, декламирует.*)

Теперь не уходят из жизни,
Теперь из жизни уводят.
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумельный
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...

Но я всегда подозревал... (*Достает платок, сморкается.*)... что сам-то он... сам-то он знал, где у спрута... сердце... только вот не добрался... (*Вновь роняет голову на руки, плачет.*)

К о н д о р. Нет, он не знал... И мы пока не знаем. Ну что ж, начнем все сначала. (*Неизвестному.*) Павел Сергеевич!

Н е и з в е с т н ы й. Слушаю вас, Александр Васильевич.

К о н д о р. Итак, с этой минуты вы начинаете свое существование как граф Пампа дон Бау из Ирукана. Но прежде чем пожелать вам успеха и попрощаться с вами, я хочу, чтобы вы повторили мне заповедь, вырезанную на мраморе в актовом зале нашего Института.

Н е и з в е с т н ы й. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах...

К о н д о р. Ни при каких обстоятельствах... Ни при каких?..

МАШИНА ЖЕЛАНИЙ

Отвратительно резкий звонок будильника.

В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенным синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна.

Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника. Угрюмый мужчина отбрасывает одеяло и садится в постели, свешивает ноги и ожесточенно обеими руками чешет взлохмаченные волосы. Неожиданно легким скользящим движением отделяется от постели и оказывается у окна. Оглядывается небо, улицу — неоновый свет равномерно выхватывает из полутьмы и гасит его быстрые внимательные глаза, твердо сжатые губы. Он словно и не спал вовсе.

Тихонько скрипит дверь. В комнате появляется молодая женщина в длинной ночной рубашке, бесшумно подходит к столу и ставит поднос: кофейник и чашка с дымящимся кофе. Мужчина берет чашку, жадно, в два глотка выпивает и сейчас же наливает еще.

— Что Мартышка? — хриплым голосом спрашивает он.

— Спит... — тихо отзывается женщина. — Ночью два раза плакала...

Мужчина залпом выпивает вторую чашку и наливает третью. Женщина закуривает две сигареты сразу, одну протягивает ему. Он глубоко затягивается и, сказавши: «Ну, ладно...», начинает одеваться.

Он снимает пижаму и берет со стула нечто вроде белого длинного жилета из блестящего материала, расправляет его на вытянутых руках с растопыренными пальцами и внимательно оглядывает. Жилет соскальзывает с пальцев и падает на пол со

странным звякающим звуком. Мужчина, чертыхнувшись невнятно, поднимает жилет и натягивает поверх майки.

— Виктор... — тихо говорит женщина.

— Ну? — Он не оборачивается.

Но женщина молчит — курит и глядит, как он напяливает на руки длинные рукава из такого же блестящего материала, пристегивает их к жилету, а затем принимается бинтовать кисти рук полупрозрачной клейкой лентой. Снимает пижамные штаны и натягивает на ноги рейтузы со штрипками, такие же серебристые и, видимо, тяжелые, как жилет. Облачившись, он делает несколько резких гимнастических движений: приседает, нагибается во все стороны, затем берет сигарету, затягивается и снова отхлебывает кофе.

Громко стучит будильник. Стрелки показывают начало третьего.

Виктор влезает в просторный комбинезон, тщательно застегивает все пуговицы, и задергивает все молнии, и натягивает перчатки. Затем опускается на корточки перед ночным столиком и открывает выдвигной ящик. В свете ночника прежде всего бросается в глаза огромный черный пистолет. Виктор сдвигает его в сторону и зачерпывает горстью из россыпи девятимиллиметровых гаек, устилающих дно ящика. Ссыпает гайки в правый набедренный карман, зачерпывает еще одну горсть и ссыпает в левый карман. Закрывает ящик и поднимается. Глоток кофе, затяжка. Он садится на кровать и принимается бинтовать прозрачной лентой голые ступни.

— Хочешь еще кофе? — спрашивает женщина.

— Нет.

Он поднимается, докуривает сигарету, раздавливает окурки о блюде. Не взглянув на женщину, выходит в прихожую. Двигается на редкость легко и бесшумно, как тугая резиновая шина.

В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притопывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает за спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок.

— Сигареты, — говорит он.

Женщина бесшумно скрывается в полутьме комнаты, а он в два шага оказывается у входа в детскую, приоткрывает дверь, смотрит.

В круге слабого света видна детская кроватка, голая детская рука на подушке. Рядом с кроваткой — пара детских костыльков, и на ночном столике — черные детские очки.

Виктор тихо закрывает дверь. Женщина молча стоит возле него с пачкой сигарет в руке. Он берет пачку, засовывает ее в нагрудный карман, неловко действуя одной рукой (в другой у него удочки).

— Все, — говорит он. — Держи хвост пистолетом.

Он прикрывает за собой дверь квартиры и начинает спускаться по лестнице. Грязноватый пролет ярко освещен лампочкой без плафона. На шероховатой стене рядом с дверью грубо выцарапана злая и глупая карикатура: растрепанная и уродливая девочка в огромных черных очках и на растопыренных костылях.

Пролетом ниже, на площадке в углу торчит, заметно покачиваясь, какой-то хорошо одетый человек без шляпы, в испачканном пальто. Широкоплечий цветастый шарф, выбившись, свисает до полу. Когда Виктор проходит мимо него, видно, что человек этот изжелта бледен и мертвецки пьян.

Д и к т о р. Два десятилетия прошло с тех пор, как наш маленький голубой шарик, несущийся по необъятным просторам Вселенной, впервые на памяти человечества стал объектом внимания могущественной сверхцивилизации, родина которой затеряна где-то в безбрежном Космосе. Кто они были? Зачем посетили нас? Куда ушли потом — так же внезапно, как появились? Об этом можно только догадываться. Были они добры или жестоки? Пришли к нам с миром или с войной? Видели в нас равноправных братьев по разуму, или пренебрегли нами, или вообще не заметили нас? В ту страшную ночь двадцать лет назад тысячи людей поседели от ужаса, сотни стариков и детей были растоптаны в обезумевших толпах беженцев, некоторые навсегда лишились рассудка, некоторые временно потеряли зрение и слух, но! — ни один человек не погиб под развалинами, ни один не сгорел, не

погиб от таинственных излучений, ни один человек не пострадал от чудовищных взрывов, сотрясавших окрестности. И могущественной боевой технике Земли, мгновенно изготовившейся к отражению инопланетного нашествия, так и не пришлось вступить в дело. Космические пришельцы посетили нас и ушли, и как след посещения — осталась Зона.

Зона! Неизгладимый шрам на лице нашей матери-Земли, вместилище жестоких чудес, могучее щупальце невероятно далекого будущего, запущенное в наш сегодняшний день!

Первый ученый. Мы — счастливые люди. Нам повезло увидеть своими глазами и пощупать своими руками образцы технологии нашего послезавтрашнего дня...

Второй ученый. Я лично не жду больше никаких открытий. Главное открытие уже сделано: человечество не одиноко во Вселенной...

Третий ученый. Пришельцы так невероятно далеко обогнали нас, что имеет смысл рассматривать Зону со всем ее содержанием не как дело чьих-то рук, а как явление природы, каковое надлежит тщательно изучить и поставить на службу земной науке и технике...

Доктор. Поставить на службу земной науке и технике! Этак — вечный аккумулятор. Никто не знает, как он устроен, но мы научились размножить его, и вот — двигатели на этажах, коренной переворот в малогабаритной технике, миллионы и миллиарды тонн сэкономленной драгоценной нефти... «Синяя Глина»! Никто не знает, как и почему она лечит, но уже теперь человечество навсегда забыло, что такое инфекционные заболевания... Но не так-то просто добраться до тайн и сокровищ Зоны. Всем памятна ужасная катастрофа, которыми закончились первые героические, но неумелые попытки проникнуть в глубину Зоны с земли и с воздуха. Погибли десятки энтузиастов. Взять Зону штурмом не удалось, и тогда человечество перешло к планомерной осаде.

Директор Международного института внеземных культур. Мы по-прежнему бесконечно далеки от победы над Зоной. Однако нам удалось организовать сравнительно безопасные и эффективные мероприятия, обеспечиваю-

щие непрерывный и достаточно обильный поток новой информации из Зоны... Во всяком случае, жертв больше нет, и земная наука не успевает изучать и обрабатывать доставляемые из Зоны материалы... Мне кажется, что проблема сейчас лежит в совсем другой плоскости, относящейся скорее к компетенции не науки, а политики. Я имею в виду прежде всего безответственную и в конечном счете античеловеческую деятельность агентуры военно-промышленных комплексов...

Доктор. Едва возникла Зона, как возникла новая профессия: космический браконьер, расхититель космической сокровищницы. У него нет никакого оборудования. Он знает, что идет на верную смерть. Он знает, что возвращается один из десяти. Один из пяти возвратившихся остается калекой на всю жизнь. У семи из десяти уцелевших рождаются дети-уроды. Он вне закона, он вне морали, но он снова и снова идет в Зону, потому что находятся люди, готовые заплатить огромные деньги за любой экспонат, неизвестный науке.

Ученый — директор военно-промышленного объединения «Альфа-Пегас». Наши лаборатории не имеют дело с космическими объектами, мы уважаем эмбарго ООН. Но лично я никогда не поддерживал этого эмбарго. Опыт показывает, что частные исследования сплошь и рядом оказываются более эффективными, нежели государственные или международные. Я признаю, конечно, что имеет место определенный риск, связанный с бесконтрольностью и прочими отрицательными факторами. Но не кажется ли вам, что ставка достаточно велика и оправдывает этот риск?

Доктор. Ставка невообразимо велика: счастье людей, населяющих нашу планету. Именно поэтому мы не можем, не имеем права рисковать. Человечество защищается. Вокруг Зоны сооружается стена. Полицейские силы ООН днем и ночью патрулируют подступы к Зоне. Никакие меры не могут считаться слишком жестокими, когда речь идет о том, чтобы пресечь утечку космических сокровищ в жадные и нечистые руки. Зона принадлежит только человечеству в целом. Со всеми ее чудесами, жестокими и добрыми. Кто не знает легенды о Золотом Круге? Где-то в глубине Зоны, в мрачном ущелье, опутанном чудовищной

паутиной, лежит огромный золотой диск. Тот счастливец и смельчак, которому удастся преодолеть тысячи смертельных опасностей и ступить ногой на этот диск, получит право на исполнение любого своего желания. Легенда? Сказка? Вот уникальные кадры, полученные искусственным спутником «Европа-711» с высоты сто двадцать километров. После получения этих кадров связь со спутником была утрачена... Но может быть, это и есть таинственный Золотой Круг? Машина, исполняющая желания...

Вагон электрички, битком набитый рабочими ночной смены. Виктор стоит в тамбуре, прижатый к двери, курит и смотрит, как за окном проносятся какие-то огни и отражения огней в мокром асфальте, подсвеченные снизу дымы за высокими кирпичными стенами, залитые ярким светом гектары, уставленные неподвижными автомобилями, фабричные трубы с гирляндами красных опознавательных огней... Электричка останавливается, угрюмые заспанные люди валом вываливаются на перрон, двери захлопываются, и электричка катит дальше. Теперь за окнами темно, и в грязноватом стекле с потеками отражается лицо Виктора и тлеющий огонек его сигареты.

Виктор выходит из пустого вагона на пустой перрон. Здесь — дождь. Блестит асфальт, блестят пустые скамейки. Электричка, блестящая и мокрая, срывается с места и скрывается в темноте. Виктор поглубже натягивает на лоб длинный козырек своей кожаной шапки и, ссутулившись, идет по перрону, шлепая прямо по лужам. Спускается с перрона и сворачивает в темноту, в мокрые кусты. Некоторое время он бредет напролом, кусты кончаются, начинается лес. Под ногами чавкает, вдалеке взвыла и затихла электричка. Однообразно шуршит дождь в ветвях над головой. Виктор идет уверенно — видно, что путь этот хорошо ему знаком. Лес обрывается внезапно, и, перепрыгнув через кювет, Виктор оказывается на заброшенном проселке. Шагах в десяти от него темнеет силуэт автомобиля. Это маленький вездеход вроде «лендровера» или «джипа».

Виктор подходит к машине, распахивает дверцу и садится рядом с водителем. Человек за рулем сразу же заводит двигатель и включает фары.

— Прямо вперед, — говорит Виктор.

Машина трогается.

Дорога скверная. Машина скачет и подпрыгивает на колдобинах, каскады воды из луж то и дело заливают ветровое стекло. Свет фар выхватывает из мокрой тьмы то наполненные водой колеи, то мокрые стволы деревьев, то верхушки телеграфных столбов с оборванными проводами.

— Меньше газу, — говорит Виктор. — Притормозите. Около того белого камня — направо.

Машина сворачивает и осторожно въезжает на покосившийся мостик. Свет фар скользит по крестам и обелискам заброшенного кладбища. Потом начинается заброшенный дачный поселок. Здесь давно уже никто не живет, аккуратные белые заборчики покосились, буйно разрослась сирень в палисадниках, окна домов заколочены, и только на окраине в одном из домиков желтеет освещенное окошко, в его свете мокнет под дождем развешенное белье, и здоровенный пес, задыхаясь от ярости, вылетает наперерез машине и некоторое время мчится следом в вихре грязи из-под колес.

— Позаброшен дом наш, — декламирует водитель, — пуст он и покинут смелыми и верными, выросшими в нем...

— Помолчите, — сквозь зубы говорит Виктор.

Некоторое время они едут сквозь тьму и дождь молча, а потом впереди, за поворотом дороги появляется вилла: крепкая фигурная решетка, домик привратника у запертых ворот, двухэтажное современное здание — стекло и бетон в стиле Райта, смутно белеют абстрактные скульптуры сквозь заросли. Нижний этаж здания залит светом.

— Остановитесь, — произносит Виктор.

Водитель удивленно поворачивает к нему лицо.

— Зачем?

— Остановитесь! — повторяет Виктор, чуть возвысив голос.

Водитель резко тормозит. Чехол с удочками и рюкзак валяются с заднего сиденья, а сачок падает водителю на голову.

— Ч-черт... — шипит водитель, выпутывая из сачка сбитые очки.

Виктор протягивает руку к рулю и дает короткий гудок. Сейчас же свет на вилле гаснет. Окрестность погружается во тьму. Где-то хлопает дверь, слышится веселое посвистывание

и чавканье шагов по грязи. В отсветах фар возле водительской двери появляется мокрое веселое лицо, которое, впрочем, тут же недоуменно вытягивается.

— Пардон,— произносит человек из виллы.— Я думал, это за мной.

— За вами, за вами,— говорит Виктор.— Садитесь сзади.

— А, шеф, вы здесь... Прелестно. А кто же этот тип? По-моему, он в очках...

— Садитесь! Быстро!

Человек из виллы вваливается на заднее сиденье и принимается возиться там, пристраивая свой рюкзак.

— Надо вам сказать,— говорит он, чуть запинаясь,— я испытал некоторый шок. Откуда очки? Почему на моем шефе очки?..

— Вперед,— командует Виктор.

— Вперед и только вперед! — подхватывает человек из виллы.

Водитель, поджав губы, трогает машину.

— Очки — это признак интеллигентности! — объявляет человек из виллы.

Виктор произносит через плечо:

— Все-таки напился.

— Напился? Ни в коем случае. Я выпил. Я выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — напивается, женщины и дети включительно. Ну и бог с ними. А я выпил. Направляясь на рыбную ловлю. Ведь мы направляемся на рыбную ловлю, а, шеф?..

Машина с погашенными фарами стоит на проселке. Вокруг смутно виднеются мокрые кусты, но дождь прекратился. Виктор бесшумно выходит из машины и идет вперед, туда, где в конце проселка влажно поблескивает асфальт. Водитель тоже выходит, догоняет его и идет рядом.

— Зачем вы взяли этого пьянчугу? — говорит он.

— Ничего,— отзывается Виктор.— Он протрезвеет. Это я вам обещаю.— И, помолчав, добавляет: — А потом, его деньги ведь ничуть не хуже ваших...

Водитель быстро взглядывает на него, но не говорит больше ни слова. Они останавливаются на перекрестке и из-за кустов

смотрят на заставу в сотне метров впереди по шоссе. В маленьком деревянном домике-временке горит одинокое окошко. Рядом в мертвом свете мощного прожектора чернеют два мотоцикла с колясками и патрульная машина. Вправо и влево от шоссе уходят в лес столбы с колючей проволокой.

— Они все спят,— шепчет водитель.— Разогнаться как следует и проскочить на полной скорости... Они и мигнуть не успеют.

— М-да...— говорит Виктор.— На полной скорости... Пошли.

Они возвращаются к машине. Водитель направляется было к своему месту, но Виктор молча отстраняет его и садится за руль сам. Водитель безропотно обходит машину и садится на место Виктора. Человек из виллы, дремавший на заднем сиденье, вскидывается.

— А? — зычно произносит он.— Приехали?

Виктор поворачивается и, взяв его пятерней за физиономию, с силой отталкивает назад. Человек из виллы ошеломленно тарачит глаза, затем говорит шепотом:

— Понял... Понял...

Машина трогается, на малых оборотах выползает на шоссе, сворачивает и тихо, очень тихо, в полном соответствии со знаками, ограничивающими скорость, светящимися на обочине, катится мимо заставы. Когда она входит в луч прожекторной лампы, на черном мокром кузове ее видны надписи на разных языках: «ООН. Институт внеземных культур», «ЮНО. Институт ов Экстратерриториал Калчерз»...

Машина на бешеной скорости несется во тьме по широкому мокрому шоссе. Виктор с потухшим окурком в углу рта — за рулем. В отсветах фар поблескивают очки его соседа справа. Человек из виллы, весь подавшись вперед, держится обеими руками за спинки передних сидений и напряженно смотрит на дорогу. Он заметно протрезвел.

Впереди в свете фар справа от дороги появляется огромный щит с флюоресцентными надписями на разных языках: «Внимание! До границы Зоны 300 метров», «Этенши! 300 митерз то зе Зоун лимитс»... Виктор сбрасывает газ и переключается на ближний свет.

* * *

Машина с потушенными фарами — горят одни подфарники — осторожно сползает с шоссе, вваливается в кювет, вылезает из него и, пофыркивая двигателем, вламывается в кусты. Она хрустит и ворочается в зарослях, как некое чудовище, потом двигатель затихает, гаснут подфарники, и голос Виктора произносит во тьме:

— Берите вещи. Выходите. И побыстрой.

Едва заметными тенями они отделяются от темной массы машины. Потом вдруг становится светлее — голубоватым бегущим светом озаряются низкие тучи, и теперь видно, что машина остановилась у подножья четырехметровой стены: верхняя кромка ее резко вырисовывается на фоне голубых сполохов. Потом где-то вдали глухо стучит пулеметная очередь, ей отвечает очередь поближе и более отчетливо.

— Стреляют... — сообщает человек с виллы.

— За мной, — командует Виктор, — рюкзаки нести в руках.

Он идет вдоль стены, время от времени наклоняясь и что-то разглядывая под ногами. Через минуту он опускается на колени и принимается расшвыривать кучу ветвей и листьев. Далекий пулемет за стеной бьет длинными очередями. Виктор садится на пятки, крепче ухватывает рюкзак. «За мной», — командует он и ныряет в подземный лаз, ведущий под стену.

— Прошу вас, Профессор, — говорит человек с виллы.

Профессор крепче насаживает на нос очки и опускается на четвереньки. Пулеметная очередь ударяет совсем близко. Человек из виллы втягивает голову в плечи и приседает.

— Интересно, в кого они стреляют? — бормочет он. — Ведь я еще здесь...

В тот момент, когда Виктор высовывает голову из кучи веток по ту сторону стены, слышится дробная серия хлопков, и в небо взлетает дюжина осветительных ракет. Становится светло, как днем.

Сразу за стеной — кочковатое ровное пространство, высохшее болото, торчат редкие прутьки. Дальше, шагах в двухстах, тянется железнодорожная насыпь.

Ракеты медленно опускаются. Виктор следит за ними, прищурившись. Цедит сквозь зубы:

— Ж-жабы...

Снова наступает тьма. И сейчас же откуда-то слева протягивается голубой луч прожектора. Прожектор далеко, но света от него достаточно, чтобы видеть, как Виктор торопливо выбирается из норы и, вытянув рюкзак, плашмя ложится на землю.

— Быстро! — шипит он. — Быстрее, быстрее!

Неуклюже выбирается Профессор, таща за собой свою поклажу, за ним из норы высовывается сначала рюкзак человека из виллы, а затем высовывается и сам он, но в эту секунду где-то рядом грохочет пулемет, и голова человека из виллы поспешно снова прячется под землей.

— Да быстрее! Быстрее, ты! — шипит Виктор.

Когда человек из виллы выбирается наконец наружу, Виктор говорит вполголоса:

— Ползком за мной. Головы не поднимать, мешок держать так, слева. Не трусьте, они нас не видят. Если кого случайно зацепит, не орать, не метаться — увидят и убьют. Ползи назад, выбирайся на шоссе. Утром подберут. Все ясно?

— Я бы хлебнул... — тихонько говорит человек из виллы.

— Нельзя. Потом. Пошли.

И они ползут в призрачном рассеянном свете, прикрывая головы рюкзаками, и скоро их уже не разглядеть на поле, а пулеметы все постреливают, и то место, где они были минуту назад, вдруг испаривает густая очередь.

Раннее утро, густой молочно-белый туман, видны только мокрые ржавые рельсы. Очень тихо. Потом из тумана доносится железное постукивание. Оно приближается, и вот сквозь него уже пробивается унылое посвистывание на какой-то веселый разбитной мотивчик.

Это дрезина. Впереди на платформе, свесив ноги, сидит Виктор с потухшим окурком на губе. Он напряженно вглядывается в туман перед собой. Рюкзаки свалены у него за спиной. Профессор и человек из виллы, оба грязные и встрепанные, качают рычаги дрезины. Веселый мотивчик насвистывает человек из

виллы. Свистит он чисто, красиво, мелодично и в такт движению рычага. Потом он обрывает свист и взглядывает на часы.

— Без десяти шесть,— говорит он хрипловато.— И все время в гору...

Ему не отвечают.

— А вы в самом деле профессор? — не понимает он.

— Да,— отвечает Профессор.

— Меня зовут...— начинает человек из виллы.

— Его зовут Антон,— не оборачиваясь, громко говорит Виктор.

Человек из виллы потрясен этим сообщением, но молчит.

— Гм...— говорит Профессор.— А меня как?

— А тебя зовут Профессор,— отзывается Виктор.

— Меня зовут Профессор,— сообщает человек в очках.— И я профессор.

— Польщен,— говорит Антон, пытаясь шаркнуть ножкой.—

А я — писатель, но все зовут меня почему-то Антон. Представляете, как неудобно?

— Известный писатель? — спрашивает Профессор.

— Нет. Модный. Видели мою виллу?

Некоторое время они молчат, усердно работая рычагом. Потом Виктор вдруг говорит: «Тихо!» Он наклоняется вперед, всматриваясь, и хватается за ручной тормоз.

Впереди из тумана надвигается что-то большое и темное, и дрезина останавливается в нескольких метрах от буферов товарного вагона.

— Приехали,— говорит Виктор и спрыгивает на шпалы.— Отдых.

— Ф-фу! — произносит Антон, распрямляясь.— Ну теперь-то мне можно хлебнуть?

На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернуты пакеты со снедью. Все трое усердно жуют, прихлебывая кофе из складных стаканчиков. Теперь уже совсем светло, но туман пока не рассеялся, он такой же густой, как и раньше, только уже не молочно-белый, а зеленоватый. Но из всего окружающего мира видна по-прежнему только задняя стенка товарного вагона.

— Вы для меня оба новички,— говорит Виктор.— Я вас в Зоне не видел и ничего хорошего от вас не жду. Вы меня наняли, и я постараюсь, чтобы вы остались живы как можно дольше. А поэтому не извольте обижаться. В Зоне церемониться некогда. Буду просто лупить чем попадая, если что не так...

— Только, пожалуйста, не по левой руке,— говорит Антон.

— А почему не по левой? — удивился Виктор.

— Она у меня сломана с детства. Я ее берегу.

— А...— Виктор усмехается.— А я думал — ты левша, пишешь левой. Ладно, буду по голове. Как она у тебя с детства?

— Уж очень вы с нами суровы, шеф,— говорит Антон и тянется к бутылке.

Но Виктор перехватывает бутылку, накрепко завинчивает пробку и сует бутылку в рюкзак.

— Хватит,— говорит он.

— Эхе-хе-хе-хе,— произносит Антон и наливает себе еще кофе.

— Тихо как,— говорит Профессор. Он задумчиво курит, откинувшись спиной на рычаг.

— Здесь всегда тихо,— говорит Виктор.— До пулеметов далеко, километров пятнадцать, а в Зоне шуметь некому.

— Неужели пятнадцать километров? — говорит Профессор.— Я и представления не имел, что можно так далеко углубиться...

— Можно. Углублялись. Сейчас вот туман рассеется, увидишь, как они тут углублялись.

Длинный скрипящий звук доносится вдруг из тумана. Все, даже Виктор, вздрагивают.

— Что это? — одними губами произносит побелевший Антон.

Виктор молча мотает головой. Он все еще прислушивается, но вокруг снова стоит ватная тишина.

— А может быть, это все-таки правда, что здесь... живут? — говорит Профессор.

— Кто? — презрительно говорит Виктор.

— Не знаю... Но есть легенда, будто какие-то люди остались в Зоне...

— Болтовня это, а не легенда,— обрывает его Виктор.— Никого здесь нет и быть не может. Зона это, понятно? Зона!

На протяжении этого разговора Антон вертит головой, переводя взгляд с одного на другого. Он все еще бледен, но постепенно успокаивается.

— Я, конечно, понимаю,— говорит он,— что Зона — это именно Зона, а не лоно, не два газона и не три, скажем... э... бизона. Но на всякий случай я с собой кое-что прихватил.— Он похлопывает себя по заднему карману.

— Что прихватил? — Виктор уставился на Антона неподвижным взглядом.— Что ты там еще прихватил, голова два уха?

Антон продолжает многозначительно похлопывать себя по заду.

— Дай сюда,— говорит Виктор и протягивает руку.

— Зачем?

— Дай сюда, говорю!

Антон колеблется. Выражение многозначительного превосходства сходит с его лица. Он растерянно глядит на Профессора.

— В Зоне стрелять не в кого, дурак,— говорит Виктор.— Давай свою пушку.

— Не дам,— решительно говорит Антон, но сейчас же добавляет тоном ниже: — Мне нужно, понимаете, шеф?

— Понимаю,— говорит Виктор неожиданно мягко.— Только на самом деле ничего такого тебе там не понадобится. Если долбанет тебя по-настоящему, то ничего тебе уже не поможет. А если прикует тебя или, скажем, прижмет, то я тебя вытащу. Мертвого — да, брошу. Ну, а живого — вытащу. Это я тебе обещаю. Зря денег не беру. Давай.

Антон нехотя вытаскивает из заднего кармана и протягивает ему крошечный дамский браунинг.

— Там всего один заряд,— бормочет он.— В стволе.

— Понятно...— Виктор выщелкивает патрон и небрежно бросает оружие на шпалы.— В Зоне стрелять нельзя,— говорит он поучительно.— В Зоне не то что стрелять — камень бросить иной раз опасно. А у тебя? — обращается он к Профессору.

— У меня на этот случай ампула...— говорит он виновато.

— Чего-чего?

— Ампула зашита. Яд.

Виктор ошеломленно крутит головой.

— Н-ну, ребята!.. Нет, этого я не понимаю. Вы что сюда — помирать пришли? — По-прежнему крутя головой, он соскакивает на шпалы.— Облегчиться никто не хочет? Смотрите, потом, может, и некогда будет... Или негде...

Он отходит от дрезины и сейчас же скрывается в тумане. Профессор смотрит на Антона, высоко задирая брови.

— А действительно, Антон, зачем вы сюда пришли? Модный писатель, вилла... женщины, наверное, на шею гроздьями вешаются...

— Этого вам не понять, Профессор,— рассеянно отзывается Антон, подбрасывая на ладони складной стаканчик.— Есть у писателей такое понятие: вдохновение. Так вот у меня это понятие есть, а самого вдохновения нет. Иду выпрашивать.

— То есть вы что же — исписались? — негромко говорит Профессор.

— Что? А, да. То есть у меня его никогда не было. Это неинтересно. А вы?

Профессор не успевает ответить. Появляется Виктор, на ходу оправляя комбинезон.

— Ч-черт, сбруя проклятая...— Он задирает голову.— Ага, вот скоро и пойдем. Укладываемся...

Тумана больше нет.

Слева от насыпи расстилается до самого горизонта холмистая равнина, совершенно безжизненная, погруженная в зеленоватые сумерки. А над горизонтом, расплываясь в ясном небе, разгорается жуткое, спектрально чистое зеленое зарево — неземная, нечеловеческая заря Зоны. И вот уже тяжело вываливается из-за черной гряды холмов разорванное на несколько неровных кусков раздутое зеленое солнце.

— Вот за этим я тоже сюда пришел...— сипло произносит Антон.

Лицо его зеленоватое, как и у Профессора. Профессор молчит.

— Не туда смотрите,— раздается голос Виктора.— Вы сюда смотрите.

Антон и Профессор оборачиваются.

Справа от насыпи тоже тянется холмистая равнина, но вдаль виднеются какие-то строения, торчит церквушка, среди холмов видна дорога. Насыпь здесь изгибается широкой дугой, и от последнего вагона, где стоят наши герои, хорошо видна голова состава. Этим составом доставлена была сюда когда-то танковая часть. Но что-то случилось там впереди: тепловоз и первые две платформы валяются под откосом; несколько следующих стоят на рельсах наперекосяк — танки с них сползли и валяются на боку и вверх гусеницами на насыпи и под насыпью. Десяток-другой машин удалось, видимо, благополучно спустить под насыпь; видимо, их даже пытались вывести на дорогу, но до дороги они так и не дошли — остались стоять между дорогой и насыпью небольшими группами, пушками в разные стороны, некоторые почему-то без гусениц, некоторые вросшие в землю по самую башню, некоторые наглухо закупоренные, а некоторые — с настезь распахнутыми люками. Это было похоже на поле танковой битвы, но там были не сторевшие остовы, не искореженные взрывами металлические коробки — машины были целы, если не считать сорванных гусениц у некоторых. Целы и безнадежно мертвы.

— А где же... люди? — тихо спрашивает Антон. — Там же люди были.

— Это я тоже каждый раз здесь думаю, — понизив голос, отзывается Виктор. — Я ведь видел, как они грузились у нас на станции. Я тогда еще мальчишкой был. Тогда все еще думали, что пришельцы нас завоевать хотят. Вот и двинули этих... стратеги... — Он сплевывает. — Никто ведь не вернулся. Ни одна душа. Углубились. Ну, ладно. Значит, общее направление у нас будет вон на ту церквушку... — Он протягивает руку, указывая. — Но вы на нее не глядите. Вы под ноги глядите. Я вам уже говорил и скажу еще раз. Оба вы дерьмо, новички. Без меня вы ничего не стоите, пропадете, как котята. Поэтому я пойду сзади. Идти будем гуськом. Путь прокладывать будете по очереди. Первым пойдет Профессор. Я указываю направление — не отклоняться, вам же будет хуже. Берите рюкзаки.

Когда они разобрали и подняли на плечи рюкзаки, Виктор снял дрезину с тормоза и, навалившись, сдвинул ее с места. Дрезина сначала медленно, потом все набирая скорость, постукивая все чаще на стыках, катится обратно. Все провожают ее взглядом.

— Пошла старуха, — с какой-то нежностью произносит Виктор. — Даст бог, еще послужит... Так, Профессор, первое направление — вон тот белый камень. Видишь? Пошел.

Профессор первым начинает спускаться с насыпи. Отпустив его на пяток шагов, Виктор командует:

— Как тебя... Антон! Пошел следом!

И, подождав немного, начинает спускаться сам.

Зеленое утро Зоны закончилось, растворилось в обычном солнечном свете.

Они уже довольно далеко отошли от насыпи и медленно, гуськом поднимаются по склону пологого холма. Насыпь отсюда видна как на ладони. Что-то странное происходит там, над поверженными танками, над разбитыми платформами, над опрокинутым тепловозом: словно бы струи раскаленного воздуха поднимаются над этим местом, и в них время от времени вспыхивает и переливается яркая клочковатая радуга.

Но они не смотрят туда. Профессор идет впереди и перед каждым шагом настороженно высматривает место, куда поставить ногу. Антона мучает плохо уложенный рюкзак, но и он не вертит головой, хотя смотрит не столько под ноги себе, сколько под ноги Профессору. Дистанцию он соблюдает плохо, но Виктор пока молчит. Взгляд его с привычной автоматической быстротой скользит от собственных ног к затылку Антона и затылку Профессора, вправо от Профессора, влево от Профессора и снова к себе под ноги.

Профессор добирается до вершины холма, и Виктор сейчас же командует:

— Стой!

Профессор замирает на месте и осторожно приставляет поднятую было для следующего шага ногу. Они сбиваются в кучку, смотрят вниз. Ниже по склону, метрах в тридцати-сорока лежит обширная проплешина, начисто лишенная растительности, гладкая и даже отсвечивающая на солнце, как мутное стекло. Посередине ее красуется что-то вроде большой металлической лепешки, в которой только по вдавленным в проплешину лопастям можно узнать остатки вертолета.

— Господи, — произносит Антон, вытирая со лба пот. — Что это с ним?

- Гравиконцентрат, — объясняет Профессор.
- Как вы сказали?
- Заткнитесь, — говорит Виктор.

Прищуренными глазами он внимательно разглядывает проплешину и ее окрестности. Он колеблется. Потом решительным движением запускает руку в набедренный карман и извлекает несколько гаек.

— Это область повышенной гравитации, — вполголоса втолковывает Профессор Антону. — В этом месте сила тяжести в тысячи раз выше обычной...

Антон пораженно цокает языком, но, судя по всему, не очень хорошо понимает, о чем идет речь.

Виктор, нешироко размахнувшись, бросает гайку. Описав высокую дугу, она падает в десятке метров впереди.

— Идите за мной, — произносит Виктор. — Шаг в шаг.

Остановившись на месте падения гайки, он бросает вторую, целясь правее края проплешины. Несколько первых метров гайка летит по обычной дуге, а потом словно кто-то невидимый срывает ее с траектории, и она вкось, со страшной скоростью уходит влево по прямой и врезается в почву в метре от края проплешины.

— Ага! — удовлетворенно говорит Виктор. — Расползлась жаба.

И он бросает следующую гайку еще правее от проплешины. На этот раз гайка летит, как ей положено, и падает в тридцати шагах впереди.

— За мной, — командует Виктор. — Шаг в шаг.

Они переходят на место падения третьей гайки, причем Антон следует за Профессором в ногу, прижимаясь грудью к его рюкзаку и опасливо косясь влево, на страшную проплешину.

Виктор кидает следующую гайку, забирая еще правее.

Проплешина осталась позади и выше.

— Теперь впереди Антон, — распоряжается Виктор. — Вон тот кустик видишь?

Профессор трогает его за рукав.

— Простите, Виктор. Могу я вас попросить...

— Ну?

- Разоритесь на одну гайку. Бросьте в самый центр.
- Зачем это тебе? — осведомляется Виктор подозрительно.
- Просто я хочу посмотреть. Никогда этого не видел. Только в кино.

— Хм... Что ж... Так ведь она до центра и не долетит, наверное...

— А вы киньте повыше.

Виктор выбирает гайку покрупнее и, размахнувшись, изо всех сил швыряет ее вверх в сторону проплешины. Им удается проследить полет гайки только до верхней точки траектории. Потом она исчезает, в то же мгновение раздается громовой удар, и они хватаются друг за друга, потому что земля сильно вздрагивает под ногами, а по проплешине и раздавленному вертолету словно бы проходит какая-то рябь. Некоторое время все трое молчат. Затем Виктор произносит с досадой:

— Черт бы тебя драл с твоими опытами... Что тут тебе — институт, что ли, в самом деле? И я тоже, дурак битый, за тобой... Эй, как тебя... Антон! Направление на тот кустик — марш!

Ведет Антон. Профессор, идеально выдерживая дистанцию и глядя себе под ноги, идет за ним. Виктор, ни на секунду не переставая смотреть по сторонам и под ноги, говорит в спину Профессору:

— У нас эту штуку называют «комариная плешь», а у вас как-то по-другому?

— Гравиконцентрат.

— И что это, по-вашему, такое, по-научному?

— Участок повышенной...

— Да нет. Не о том речь. Откуда это взялось? Как она работает?

— Этого никто не знает, — говорит Профессор.

— Вот и у нас никто не знает... А сколько народу на этих плешаках приковалось! Особенно в первое время. Каждый дурак думал: обойду, дескать, ее стороночкой, а его как швырнет набок и либо сразу расплющит, либо еще хуже, так и подыхает с голоду прикованный... — Совершенно механически он вытягивает в сторону левую руку и вдруг кричит: — Стой!

Профессор послушно замирает, а Антон делает еще пару шагов и оборачивается, очень недовольный. Виктор стоит неподвижно, полузакрыв глаза, и шевелит пальцами вытянутой руки, словно что-то ощупывая в воздухе.

— Ну, что там еще, шеф? — брезгливо осведомляется Антон.

Виктор осторожно опускает руку и бочком-бочком придвигается ближе к Профессору. Лицо его напряженное и недоумевающее.

— Не шевелитесь... — хрипло говорит он. — Стоять на месте, не двигаться...

Антон испуганно озирается, втянув голову в плечи.

— Не шевелись, дурак! — севшим голосом шипит Виктор.

Они стоят неподвижно, как статуи, а вокруг — мирная зеленая травка, кусты тихонько колышутся под ветерком, и над всем этим яркое ласковое солнце. Потом Виктор вдруг говорит на выдохе:

— Обошлось... Пошли. Нет, погоди, перекурим.

Он присаживается на корточки и тянет из кармана пачку с сигаретами. Губами вытягивает сигарету и протягивает пачку Профессору, который присаживается рядом. Антон спрашивает с раздражением:

— Ну хоть подойти-то к вам можно?

— Можно, — отзывается Виктор, затягиваясь. — Подойти можно. Подойди. — Голос его крепнет. — Я тебе что говорил? (Антон останавливается на полпути.) Я тебе что говорил, дура? Я тебе говорю «стой», а ты прешься, я тебе говорю «не шевелись», а ты башкой вертишь... Нет, не дойдет он, — сообщает Виктор Профессору.

— У меня реакция плохая, — жалобно говорит Антон. — С детства. Дайте сигаретку, что ли...

— А реакция плохая — сидел бы дома, — говорит Виктор и протягивает ему пачку.

Они прежним осторожным аллюром движутся вдоль поваленной изгороди: Профессор — Антон — Виктор. Солнце уже поднялось высоко, на небе ни облачка, припекает. Слева — изгородь, справа — канава, наполненная черной стоячей водой. Очень тихо: не слышно ни птиц, ни насекомых. Только шуршит трава под ногами.

Антон приостанавливается, вытирает со лба пот, подбрасывает спиной рюкзак, прилаживая поудобнее, и засовывает большие пальцы за лямки. Через несколько шагов он начинает на свистывать, еще через несколько шагов наклоняется, подбирает прутик и идет дальше, похлопывая себя прутиком по ноге.

Виктор тяжелым взглядом наблюдает за его действиями. И когда Антон принимается своим прутиком сшибать пожухлые цветочки справа и слева от себя, Виктор достает из кармана гайку и очень точно запускает ее прямо в затылок модному писателю. Веселый свист обрывается тоненьким взвизгом, Антон хватается за голову и приседает на корточки, согнувшись в три погибели. Виктор останавливается над ним.

— Вот так вот оно и бывает, — говорит он. — Только вот взвизнуть ты на самом деле не успеешь... В штаны не наложил?

Антон медленно распрямляется.

— Что это было? — с ужасом спрашивает он, ощупывая затылок.

— Это я тебе хотел показать, как бывает, — объясняет Виктор. — Неужели и тут не понял? Ну что, по морде тебе дать? Сам убийца...

— Не надо, — отвечает Антон, облизывая губы. — Понял.

Они бредут через свалку, по слежавшимся грудам мусора, мимо облупленных и ржавых ванн, расколотых унитазов, мимо покореженных автомобильных кузовов... блестит битое стекло, валяется мятый электрический самовар, кукла с оторванными ногами, рваное тряпье, россыпи ржавых консервных банок...

Впереди опять идет Антон, лицо у него злое и напряженное, губы кривятся. Он шепчет сквозь зубы:

— Опять дерьмо... и опять дерьмо... и всюду дерьмо... и даже здесь дерьмо... дерьмо, и только дерьмо, и ничего, кроме дерьма, и да поможет мне бог! Аминь.

Посвистывает ветер, катит мятую бумагу, вздымает клубочки пыли. На небе появились облака, они временами закрывают солнце.

Идет Профессор, сосредоточенно глядя себе под ноги. Лицо у него спокойное и даже какое-то умиротворенное. Он меланхолично декламирует вполголоса:

— Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать... Не надо в грядущее взор погружать.

Идет Виктор. Он ничего не шепчет. Он работает: взгляд прямо, взгляд вправо, взгляд влево, взгляд вниз... Время от времени он поднимает над головой руку и снова шевелит пальцами, словно бы что-то ощупывая в воздухе. Очень не нравится ему эта свалка.

И вот в равномерный шум ветра вмешивается новый, посторонний звук. Какое-то тиканье. Стрекотание какое-то. Виктор останавливается и наклоняет голову, прислушиваясь. Стрекотание постепенно усиливается, словно приближается.

— Стой! — командует Виктор.

Все замирают на месте. И вдруг слева, над кучками мусора возникает из ничего темный полупрозрачный вертящийся столб. Он похож на маленький смерч, но это не смерч. Он похож на «пылевого чертика», но это и не «чертик». Он неподвижно стоит, крутясь вокруг оси, над кучей битых бутылок, и от него исходит шуршащее металлическое стрекотание, как будто стрекочет гигантский кузнечик. Виктор, не шевелясь, только скосив глаза, наблюдает за ним. Призрачный столб вдруг сдвигается с места и, описывая замысловатую кривую, скатывается с кучи мусора и проходит между Антоном и Профессором.

— Стоять! Стоять! Не шевелиться! — хриплым шепотом кричит Виктор.

Крутящийся столбик на мгновение задерживается возле Профессора и легко уходит вправо в заросли пыльных лопухов, тая, рассеиваясь, распадаясь на ходу. Стрекотанье, достигнувшее нестерпимо высокой ноты, обрывается.

Все стоят неподвижно. А вокруг снова тишина, только пошвыстывает ветер и шуршит мятая грязная газета, обмотавшаяся вокруг ноги Профессора.

— Вперед, — говорит Виктор и прокашливается.

Но двое впереди не двигаются.

— Погодите, шеф, — говорит Антон. — Ноги что-то шалят...

— Что это было? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь. Антон нервно хихикает, а Виктор говорит:

— Не знаю я... Было и прошло, и слава богу. Вперед, вперед! Скоро привал! — И шипит, озираясь: — Экое дрянное место!

Они расположились в тени церквушки на окраине поселка. Виктор разливает в протянутые стаканчики спиртное. Все выпивают и принимаются за еду.

— Как у вас аппетит, Профессор? — спрашивает Антон, с отращением откусывая от крутого яйца.

— Признаться, тоже неважно, — отзывается тот.

— Пива бы сейчас, — вздыхает Антон. — Холодненького! В глотке пересохло.

Виктор сейчас же разливает еще по стопке. Он единственный из троих, кто ест и пьет с аппетитом. Профессор осторожно спрашивает его:

— Далеко нам еще?

Виктор долго молчит, а потом угрюмо отвечает:

— Не знаю.

— А по карте?

— А что по карте? Масштаба там нет. Стервятник обернулся за двое суток, так то Стервятник...

— Кто это такой — Стервятник? — спрашивает Антон.

Виктор усмехается, неторопливо закуривает.

— Стервятник — это, брат, не нам чета. Последний из стариков. С первых же дней начал, меня водил, когда я подросток. Большой был человек. Ас.

— А почему — был? — спрашивает Антон.

Виктор продолжает, как бы не слыша вопроса.

— И большая была сволочь. Сколько он новичков загубил! Уходили вдвоем-втроем, а возвращался один. Вот вам бы с ним сходить... — Он неприятно смеется, переводя взгляд с Профессора на Антона и обратно. — А впрочем, досюда вы бы и с ним дошли. Ладно! — обрывает он себя. — Вы как хотите, а я приспну. Да не галдите здесь. И из тени не выходите.

Виктор спит, положив голову на рюкзак, а Профессор с Антоном, прислонившись спинами к кирпичной стене церкви, курят и беседуют.

— А что с ним все-таки случилось, с этим Стервятником? — спрашивает Антон.

— Он был единственным человеком, который добрался до Золотого Круга и вернулся,— отзывается Профессор.— Легенда существует много лет, но Стервятник первый подтвердил эту легенду. Вернувшись, он в два дня невероятно, невообразимо разбогател...— Профессор замолкает.

— Ну?

— А потом вдруг повесился.

— Почему?

Профессор пожимает плечами.

— Это какая-то темная история. Он собирался снова идти к Золотому Кругу, вдвоем с нашим Виктором. Виктор пришел к нему в назначенное время, а тот висит, и на столе карта и записка с пожеланием всяческих успехов.

Антон с сомнением смотрит в сторону похрапывающего Виктора.

— А может быть, наш шеф его... того?

— Все может быть,— легко соглашается Профессор.

Некоторое время они молча курят.

— А как вы полагаете, Профессор, этот самый Золотой Круг — действительно Машина Желаний?

— Стервятник разбогател. Он всю жизнь мечтал быть богатым.

— И повесился...

— И повесился. Тут нет никакого противоречия. Просто на самом деле человек никогда не знает, чего он хочет. Человек — существо сложное. Голова его хочет одного, спинной мозг — другого, а душа — третьего... И ни один человек не способен в этой каше разобраться.

— Это верно,— говорит Антон.— Это очень верно вы говорите. Давеча вот я сказал вам, что иду сюда за вдохновением... Вранье это. Плевал я на вдохновенье...

Профессор с любопытством смотрит на него. Антон, помолчав, продолжает:

— Нет, это не объяснить. Может быть, и в самом деле за вдохновеньем. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это какие-то чертовски неуловимые вещи: стоит их назвать, и они пропадают.

ют... Как тропическая медуза — видели? В воде волшебный цветок, а выгатишь — комок мерзкой слизи... А вы тоже не знаете?

— Не знаю. Знаю только, что надо многое менять, что так дальше продолжаться не может... Нет, не знаю. Иду за знанием.

— Во многие знания — многие печали...— бормочет Антон.

— Тоже верно,— со вздохом говорит Профессор.— Давайте считать, что я иду ставить эксперимент — чисто, точно, однозначно... Просто научный эксперимент, связанный с неким фактом. Понимаете?

— Нет,— говорит Антон.— По-моему, фактов не бывает. Особенно здесь, в Зоне. Здесь все кем-то выдуманно. Чья-то бесовская выдумка... Нам всем морочат голову. Кто — непонятно. За чем — непонятно...

— Вот и хотелось бы узнать: кто и зачем.

— А кому это надо? Надо ведь совсем другое. Что толку, если вы и узнаете? Чья совесть от этого станет чище? Чья совесть от этого заболит? Чья душа найдет покой от этого?

Антон безнадежно машет рукой и отбрасывает окурочку. Потом он смотрит на сладко похрапывающего Виктора.

— А он зачем идет? Какие у него такие желания, что он не может их исполнить там, дома?

— Не знаю,— медленно говорит Профессор.— Но ему очень надо добраться до Золотого Круга. Я давно его знаю, это интересный человек, необычный человек...

— Не знаю, что в нем такого необычного,— возражает Антон,— но человек он надежный, положиться на него можно. Он нас доведет, такое у меня впечатление...

Профессор искоса смотрит на него, лицо у него такое, словно он хочет что-то сказать, но раздумывает: стоит ли. Затем он аккуратно гасит окурочку и устраивается прилечь.

— С добычей вернулся — счастье,— говорит он вдруг.— Живой вернулся — удача. Патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба.

— Это еще что за унылая мудрость? — озадаченно спрашивает Антон.

— Фольклор.

— И что из этого фольклора следует?

— По-моему, — отвечает Профессор, — вы все время забываете, друг Антон, что мы находимся в Зоне. В Зоне ни на кого нельзя полагаться.

Антон нервно зевает и озирается.

— Позвольте! — восклицает вдруг он. — Что за притча? Солнце — вон оно, а тень...

— Что? — откликается Профессор. — А... Да. С тенями здесь такое бывает... Давайте-ка поспим немного.

Профессор и Антон спят под стеной церквушки. Виктор открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Затем быстро и бесшумно поднимается, мягко ступая, выходит из тени и выглядывает из-за угла церкви. Шагах в ста перед ним начинается главная улица мертвого поселка, совершенно пустая, залитая веселым ярким солнечным светом. Потом он так же бесшумно возвращается и останавливается над спящими. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, глаза прищурены, взгляд оценивающий. Наконец, покусав нижнюю губу, он негромко командует:

— Подъем!

Они вступили на гладкую улицу поселка. Ведет Антон. Дома по сторонам улицы наполовину обвалились, заросли колючкой, зияют выбитыми окнами. Уцелевшие стены покрыты пятнами и потеками. Но попадаются и абсолютно целые, новенькие с иголочки дома. Они кажутся только что построенными, чистенькими, с промытыми окнами, словно в них никогда никто еще не жил. Словно они только еще ожидают жильцов. Вот только с телевизионными и радиоантеннами на этих домах не все ладно. Они обросли как бы рыжеватым растрепанным мочалом, свисающим иногда до самой земли. Налетающие порывы ветра раскачивают эти странные лохмотья, и тогда слышится тихое электрическое потрескивание.

Улица круто поворачивает, и Антон вдруг останавливается, поворачивается к своим спутникам и растерянно произносит:

— Там машина какая-то... И двигатель у нее работает...

— Не обращай внимания, — говорит Виктор. — Он уже двадцать лет работает. Лучше под ноги гляди и держись середины...

Действительно, слышен звук работающего двигателя, и они проходят мимо стоящего у обочины совершенно новенького, как с конвейера, грузовика. Двигатель его работает на холостых оборотах, из глушителя вырывается и стелется по ветру синеватый дымок. Но колеса его по ступицы погружены в землю, сквозь приоткрытую дверцу и дно кабины проросла тоненькая березка.

Они стоят посредине улицы перед новым препятствием. Когда-то, вероятно, в самый день Посещения, огромный грузовоз тащил по этой улице на специальном прицепе длинную, метрового диаметра трубу для газопровода. Грузовоз врезался в двухэтажный дом слева и обрушил его на себя, превратив в груды кирпичей. Труба скатилась с прицепа и легла слегка наискосок, перегородив улицу. Вероятно, тогда же сорвались и упали поперек улицы телеграфные и телефонные провода. Теперь они совершенно обросли рыжим мочалом. Мочало висит сплошным занавесом, перегородив проход. Пройти можно только сквозь трубу. Жерло трубы черное, закопченное какое-то, и дом справа, на который оно открыто, весь обуглен, словно он горел пожаром, и не один раз.

— Это что — сюда лезть? — спрашивает Антон, ни к кому не обращаясь.

Труба длинная, двенадцатиметровая, и дальний конец ее еле просматривается сквозь заросли мочала.

— Прикажу, и полезешь, — холодно говорит Виктор. — А ну, принеси несколько кирпичей, — приказывает он Профессору.

Профессор переходит улицу, набирает в охапку пяток кирпичей из разрушенного дома и молча складывает их у ног Виктора.

— Ну-ка, отойдите. — Виктор берет кирпич и, далеко отведя руку, швыряет его в жерло трубы, а сам отскакивает.

Слышно, как кирпич грохочет и лязгает внутри трубы. Подождав немного, Виктор швыряет второй кирпич. Грохот, дребезг, лязг. Тишина.

— Так, — произносит Виктор и медленными движениями отрывает ладони. — Можно. — Он поворачивается к Антону. — Пошел.

Антон пытается улыбнуться, но у него только дергаются губы. Он хочет что-то сказать, но только судорожно вздыхает. Он достает из-за пазухи плоскую фляжку, торопливо отвинчивает колпачок, делает несколько глотков и отдает фляжку профессору. Лицо у профессора каменное. Антон вытирает рукавом губы и стаскивает рюкзак. Глаза его не отрываются от лица Виктора. Он словно ждет чего-то. Но ждать нечего.

— Ну? Все остальное — судьба? — произносит он, и ему наконец удается улыбнуться.

Он делает шаг к трубе, и тут Виктор берет его за плечо.

— погоди, — говорит он. — дай-ка еще разок на всякий случай.

Он стаскивает рюкзак, берет в руки сразу три кирпича и с натугой швыряет их в жерло. Грохот, лязг... и вдруг что-то глухо бухает в глубине трубы. Со свистящим воем из жерла вырывается длинный язык коптящего пламени и ударяет в многострадальный обуглившийся дом. Дом снова загорается.

— За мной! Быстро! — дико ревет Виктор и, схватив рюкзак, ныряет в еще дымящееся жерло.

Они стоят у противоположного конца трубы, закопченные, рваные, взлохмаченные. Рюкзаки валяются под ногами. Профессор тщательно протирает очки. Антон осторожно дует на обожженные ладони. Виктор, быстро стреляя по сторонам прищуренными глазами, сосет окровавленный палец, торчащий из дыры в перчатке. Правый рукав комбинезона у него начисто сгорел, тускло отсвечивает серебристый материал панциря.

— Ладно, — хрипло говорит он. — одной жабой меньше...

И снова они идут посередине улицы. Ведет профессор. Небо совсем закрылось облаками, тяжелыми, низкими, медлительными. Здесь по сторонам улицы почти не осталось целых домов, а мостовая покрыта обширными цветными пятнами неправильной формы, которые они осторожно обходят.

Они идут мимо бывшего дома, от которого остался только нижний этаж, а стен нет вовсе. По-видимому, здесь было какое-то учреждение: желтеют деревом шкафы, набитые папками, сто-

ят канцелярские столы, а на столах — гроссбухи, счетные машины, на одном — пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Вся эта обстановка выглядит так, как будто служащие несколько минут назад вышли на обеденный перерыв и скоро вернутся.

Они уже почти миновали этот странный дом, как вдруг совершенно невероятный здесь, абсолютно невозможный здесь звук заставляет их остановиться и замереть в неподвижности.

Звонит телефон.

Медленно, со страхом, не доверяя собственным ушам, они оборачиваются. Телефон звонит — резкими, пронзительными звонками неравной длины. Он стоит возле пишущей машинки — маленький невзрачный аппарат серого цвета.

Это первый случай за весь поход, когда старый профессионал Виктор явно и бесстыдно растерялся. Он совершенно не понимал, что происходит и как следует поступать.

И тут профессор вдруг, не говоря ни слова, широко шагая, устремляется к дому. Он взбегает по ступенькам крыльца, проходит между столами и берет трубку.

— Алло! — говорит он.

Квакающий голос в трубке раздраженно осведомляется:

— Это два — двадцать три — тридцать четыре — двенадцать?

Как работает телефон?

— Представления не имею, — отвечает профессор.

— Благодарю вас. Проверка.

В трубке короткие гудки отбоя. Профессор пальцем нажимает на рычажок и оглядывается на Виктора. Тот озадаченно чешет за ухом. Тогда профессор поворачивается к ним спиной и быстро набирает номер. Через некоторое время в трубке звучит женский голос:

— Да-да, я слушаю...

— Здравствуй, Лола, — говорит профессор. — Это я.

— Филипп, боже мой! Куда ты запропастился? Нет, в конце концов у меня когда-нибудь лопнет терпение! Вчера я вынуждена была идти одна, меня все спрашивают, а я как дура не могу ответить на простейшие вопросы, и эта шлюха смеется мне прямо в лицо, как гиена... и мне нечего ей сказать! Все эти старухи

торчат около меня весь вечер, изображают сострадание... Ты будешь когда-нибудь обдумывать свои поступки? Я не говорю уже о себе, я прекрасно понимаю, что тебе на меня наплевать, но надо же все-таки немножко думать, как это выглядит со стороны...

Пока она говорит, плечи у Профессора ссутуливаются, и на эти сутулые плечи, на шкафы, на мостовую, на все вокруг начинает падать снег. Профессор медленно отнимает трубку от уха и кладет ее на рычажки. Затем он поворачивается. Лицо у него обычное.

— Может быть, еще кто-нибудь хочет позвонить? — спрашивает он.

Его спутники молчат.

Они уже почти достигли окраины поселка. Снег прекратился, на мостовой лужи, снова проглядывает солнце. Здесь, на окраине, почти все дома целы, и даже нет зловещего мочала на антеннах и карнизах.

— Стой! — командует вдруг Виктор. — Переждать придется, сучье вымя, в самую точку угодили, как назло... Снимай рюкзаки. Перекур.

Он смотрит на часы, смотрит на солнце. Он очень недоволен. Антон и Профессор недоуменно переглядываются, снимая рюкзаки, а между тем впереди, закрывая крайние дома поселка, возникает поперек улицы туманная дымка.

— А в чем, собственно, дело? — осведомляется Антон.

— Садись, кино будем смотреть, — отзывается Виктор, садится на рюкзак и достает сигареты.

Туман впереди еще сгущается, и вдруг перед ними возникает, закрыв весь горизонт, необычайно яркая по краскам и глубине панорама.

Целый мир раскинулся перед ними, странный полужнакомый мир. У самых ног их — спокойная поверхность то ли озера, то ли пруда. На пологом берегу, на мягкой траве сидит, поджав под себя ноги, молодая женщина, голова ее опущена, длинные волосы, почти касающиеся воды, скрывают ее лицо. За ее спиной — зеленые округлые холмы под необычайно ярким лазоревым небом, вдали виднеется темно-зеленая стена леса. На верхушке ближайшего холма врыт покосившийся столб с бычьим черепом, надетым на

верхушку. Под столбом сидит, вытянув по траве ноги в лаптях, седой как лунь, старец, лицо у него почти черное, как старый мориленый дуб, глаза под белыми пушистыми бровями слепые, корявые руки покойно сложены на коленях. А пониже старца сидит на камушке полуголый кудрявый мальчик и наигрывает на свирели. Видно, как надуваются и опадают его румяные щеки, как пальцы ловко бегают по отверстиям в дудочке, но ни одного звука не доносится из этого мира. У ног мальчика коричневым бугром дремлет огромный медведь, и еще один лениво вылизывает переднюю лапу, развалившись поодаль. Над тростником, окаймляющим часть пруда, трепещут синими крыльями стрекозы.

— Рерих, — спокойно произносит Профессор. — Рерих-старший. Очень красиво.

Виктор бросает на него короткий взгляд и поворачивает лицо к Антону. Тот, весь подавшись вперед, с полуоткрытым ртом, замороженно и не отрываясь впитывает в себя эту чудную картинку. Потом он поворачивается к Виктору — глаза у него совсем безумные.

— Что это? — спрашивает он. — Где это?

Виктор сплевывает.

— А черт его знает, — говорит он. — То ли где-то, то ли когда-то.

— Вы видели это раньше?

— Вот это — нет. Да картинки все время разные...

— Значит, это картинка...

— Н-ну, можно сказать и картинка... — уклончиво отвечает Виктор.

Взгляд его становится настороженным: теперь он смотрит только на Антона. Тот бормочет, как в лихорадке:

— Как же так — картинка?... Нет, врешь, врешь... Опять врешь... Это же покой, тишина... тишина...

И тут Профессор, жалостливо наморщась, подбирает с мостовой камушек...

— Стой! — яростно кричит Виктор.

Но уже поздно. Камушек, описав дугу, падает в воду в двух шагах от девушки. Всплеск. Девушка поднимает голову, отводит волосы с прекрасного лица. По гладкой воде расходятся круги. Девушка, слегка сведя брови, с некоторым удивлением, но

без всякого страха разглядывает грязных, оборванных, закопченных людей и снова опускает голову. Мир «по ту сторону» начинает таять, заволакиваться дымкой и исчезает. Впереди снова пустая унылая улица с мертвыми домами.

Антон сидит на своем рюкзаке, бессильно уронив руки, и плачет. Виктор поворачивается к Профессору и, злобно гримасничая, стучит себе костяшками пальцев по лбу. Тот растерянно бормочет:

— Я думал, это мираж... Я был уверен...

— Уверен, уверен... — злобно повторяет Виктор. — Ты уверен, а он теперь — видишь? Что с ним теперь делать?

Оба они смотрят на Антона. Антон молча плачет. Виктор вдруг дико орет:

— Подъем!

Профессор вздрагивает и хватается за рюкзак, а Антон медленно поднимает залитое слезами лицо к Виктору и говорит с отчаянием:

— Сволочь ты, не пустил меня туда... Чтоб ты сдох, гадина, чтоб ты сгнил...

Виктор, тяжело вздохнув, с размаху бьет его по лицу. Антон кубарем летит с рюкзака, но сейчас же поднимается. У него кровь на лице, но он смотрит на Виктора по-прежнему с ненавистью.

— Бери рюкзак! — рычит Виктор. — Вперед!

— Не пойду.

Виктор бьет его в живот, по голове сверху, хватая за волосы, распрямляет и хлещет по щекам.

— Пойдешь, пойдешь!.. — цедит он сквозь зубы.

Профессор пытается схватить его за руку, Виктор, не глядя, бьет его локтем в нос, сшибает очки...

— Пойдешь, пойдешь... — бормочет он.

От последнего страшного удара Антон снова летит на землю и лежит, скорчившись. Виктор, тяжело дыша, глядит на него сверху вниз, потуже натягивая перчатки. Антон со стоном поднимается и садится, упираясь руками в мостовую.

— Ну, очухался? — неожиданно мягко говорит Виктор. — Вставай, пойдем, время идет...

Антон отрицательно мотает головой.

— Сгинешь здесь, дурачок, — мягко говорит Виктор.

— Это не твое дело, — отвечает Антон. Он вытирает лицо, смотрит на ладонь. — Я тебе больше не верю, шеф, — спокойно говорит он. — Уходи с богом. Профессор, вы ему не верьте. Он знаете зачем нас с собой взял?

— Догадываюсь, — говорит Профессор. Он нервно курит, руки его дрожат. Одного стекла в его очках нет.

— Он нас взял, чтобы мы для него ходили через огонь, — говорит Антон. — Мы для него отмычки, живые тральщики. Ты зачем нас взял, шеф, а? Польстился на наши две сотни, уважаемый проводник? А?

Виктор присаживается напротив него, закуривает.

— Слушай, ты, — говорит он. — Это Зона. Здесь всегда так было и всегда так будет. Ты пойми: если ты со мной пойдешь, то, может быть, и вернешься живой. А если останешься, то верная смерть. Ты что же, надеешься этого своего покоя дожидаться? Не дождешься. Он, может быть, в следующий раз только через сто лет снова появится...

— Не твое дело, — говорит Антон. — Дождусь.

— А может, и никогда не появится. А со мной пойдешь, будет тебе Золотой Круг, проси все, что хочешь... Покой хочешь? Тишину? На тебе тишину, на тебе покой...

Антон сплевывает тягучую слюну.

— Золотой Круг, говоришь? — медленно произносит он. — А почему это Стервятник повесился, а, шеф?

— Стервятник-то здесь при чем? Ты ж не Стервятник!

— Нет, ты нам скажи: почему Стервятник повесился?

— Потому что сволочь он был, — резко говорит Виктор. — Убийца, дрянь! Потому что он не за богатством к Золотому Кругу пошел, он за братом своим пошел, а его жадность одолела...

— Ну?

— Что — ну? Он брата своего загубил единственного, мальчишку! Повел его в Зону и подставил где-то... Ушел вдвоем, вернулся один. Его совесть замучила. Он потом себя совсем потерял. Вот и пошел за братом, брата пошел вернуть, а когда дошел, натура его поганая свое взяла... Ведь Золотой Круг только одно желание выполняет. Дошел до него — получиай награду, но только

одну. Еще чего-нибудь хочешь — снова иди... Он же дрянь был, понимаешь? Дрянь!

— Понимаю,— говорит Антон, нехорошо улыбаясь.— Это я все понимаю. Тут и понимать нечего. А ты мне скажи, почему он повесился? Почему он снова к Золотому Кругу не пошел? За братом. А?

— Этого я не знаю,— угрюмо говорит Виктор.

— А я знаю! — вкрадчиво произносит Антон.— И ты знаешь, только признаться себе боишься...

Он рывком поднимается и оттаскивает свой рюкзак к стене ближайшего дома.

— Уходите от меня к черту! — говорит он.— Я здесь остаюсь. Ждать буду. Сто лет ждать буду. Сдохну здесь, а к вам не вернусь. Ничего там у вас не осталось. Ни добра, ни любви, ни дружбы. Только подлость и гниль. Я думал — вдохновенье. Я думал — шедевры... Профессор! Ничего этого нет! Понимаете? Нет! Потому что писать — это мерзко. Я не могу больше. И не хочу. Это постыдное, гнусное занятие, все равно что чирьи выдавливать перед зеркалом! А они требуют: пиши, пиши еще, пиши! Ты обязан, ты должен... Хватит. Сами теперь пишете. Я покоя хочу. Мне больше ничего не надо. Покоя и свободы от сволочей! Уходите.

Виктор и Профессор, горбясь под тяжестью рюкзаков, медленно уходят вдоль улицы. Антон смотрит им вслед. А может быть, и не им вслед. Может быть, он ждет, что вот-вот снова появится мир покоя и тишины. И он видит, заранее напрягаясь, как улица заволакивается дымкой, и он уже делает судорожный шаг вперед, но тут в дымке возникают очертания чего-то совсем другого: гигантские многоэтажные здания, отсвечивающие стеклом, потоки машин, толпы спешащих пешеходов, вспыхивающие рекламы... И, уже не дожидаясь, пока этот ненужный, ненавистный мир сформируется окончательно, Антон поворачивается к своему рюкзаку. И замирает, увидев то, чего не замечал раньше.

В десятке шагов у стены — груда каких-то лохмотьев, из-под которой виднеются белые кости и жутко усмехается белый череп, и рядом — полуистлевший ранец.

Тогда он торопливо расшнуровывает свой рюкзак и вытягивает из него бутылку.

Виктор и Профессор идут по проселочной дороге. Поселок давно остался позади. Дорога покрыта тончайшей пылью, при каждом шаге пыль взлетает и некоторое время висит в неподвижном воздухе. Очень жарко, впереди над дорогой ходят марева.

Справа вдоль дороги тянется ветхая полустгнившая изгородь, за изгородью — поле, заросшее сильно засоренной пшеницей.

Потом они видят пролом в изгороди. И рубчатые следы гусениц, протянувшиеся от пролома к дороге и дальше по дороге вперед.

— Ага,— произносит Виктор.— Вот они, значит, где прошли.

— Кто? — спрашивает Профессор.

— Эти, ваши... Ну, экспедиция от вашего института... Ну, ты должен знать. Полгода назад они отправились и пропали...

Профессор останавливается.

— Милованович? — ошарашенно спрашивает он.— Группа Миловановича?

— Ну, это тебе виднее, чья это была группа, а я все думал: каким же путем они шли и где сгнули? Теперь понятно... Ну, досюда они во всяком случае дошли... Углубились. Ладно, посмотрим, где их приклепнуло.

И они идут дальше по рубчатым следам гусениц.

Они стоят у развилки. Одна дорога идет вверх по склону пологого холма, а другая огибает этот холм слева и пропадает за ним. Рубчатые следы ушли по левой дороге.

— Вот досюда я в последний раз дошел,— с удовольствием говорит Виктор.— Стою, как дурак, и не понимаю, что дальше делать. У Стервятника на карте одна дорога, а здесь — две. Стою и не могу. Ни прямо не могу, ни влево. Ну а раз не могу, значит, нельзя. И повернул я оглобли.

— Милованович пошел влево,— нерешительно говорит Профессор.

— И сгинул! — подхватывает Виктор.— Значит, нам куда идти? Постой, впереди пойду я. Не нравится мне этот холмик, все равно не нравится...

* * *

С вершины холма хорошо видно место, дальше которого не смогла пройти экспедиция Миловановича. Это мост через глубокий овраг. Нижняя дорога ведет через этот мост и скрывается за купа́ми деревьев на другой стороне оврага.

Профессор и Виктор смотрят туда, прикрывая глаза от солнца. На лице Профессора выражение ужаса и горестного изумления, а на лице Виктора — что-то вроде мрачного злорадства.

Группа Миловановича идет на трех гусеничных машинах. Передняя машина — обычный военный бронетранспортер, остальные две — вездеходы, оборудованные под походные лаборатории. Людей не видно, только из командирского люка передней машины торчит, высунувшись по пояс, сам Милованович — сухощавый пожилой человек в рубашке цвета хаки с засученными рукавами, черный, горбоносый, с толстыми усами, которые, как у гайдука, опускаются ниже подбородка.

Передняя машина подкатывает к мосту, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает водителю следующей машины какой-то знак пальцами. Бронетранспортер вкатывается на мост, проходит его на малой скорости, выбирается на противоположный берег оврага, и сейчас же на мост выкатывается вторая машина, несущая над кузовом матово отсвечивающий белый купол в несколько метров поперечником, а за ней следует третья машина с огромным вращающимся локатором... Все три машины одна за другой бодро бегут по дороге и словно растворяются в воздухе вместе с поднятой ими пылью, а через мгновение вновь одна за другой появляются на прежнем месте перед мостом. Горбоносый, черный, как ворон, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает какой-то знак пальцами, машины, одна за другой, перекатываются через мост, исчезают, подобно призракам, и вновь появляются на прежнем месте перед мостом, и снова Милованович поднимает руку... и снова, и снова, и снова.

— В петлю, значит, угодили, — произносит Виктор. — На Красной Горке тоже такое местечко есть, Горлохват туда вляпался, так уже десяток лет вот так крутится...

— Бедняга Милованович... — горестно бормочет Профессор. — Какой ученый был... какая судьба...

— Чего там судьба, — пренебрежительно возражает Виктор. — Зато они всех нас переживут... Мы подохнем, дети наши помрут, а они так и будут крутиться, и хоть бы хны... Они же там ничего не понимают и знать ничего не знают... знай себе прутся через мост, и каждый раз это им в новинку... Ну, нечего сопли распускать. Вперед!

Справа маслянисто-черное болото, слева маслянисто-черное болото. Они идут по полусгнившей хлюпающей гати. Над болотом медленными волнами колышутся испарения. Видно шага на четыре, не больше. Виктор идет впереди. Оба они дышат тяжело, видно, что изрядно устали. Профессор еле плетется, спотыкаясь на каждом шагу.

Потом Виктор вдруг останавливается, будто налетев на невидимое препятствие. Он стоит совершенно неподвижно, осторожно поводя носом из стороны в сторону. Профессор останавливается рядом и опирается на жердь, еле переводя дух.

— Ну... что такое? Почему... стоим? — спрашивает он.

— Молчи... — тихо говорит Виктор.

Он делает движение шагнуть, но остается на месте. Запускает руку в набедренный карман, вытаскивает гайку, делает движение замахнуть, но не замахивается. Гайка падает из его руки. Лицо его бледно до зелени, покрыто потом.

— Н-нет, — бормочет он. — Не могу...

Растопырив руки, он пятится, оттесняя Профессора назад. Потом он, не глядя, отбирает у Профессора жердь и тыкает в болото рядом с гатью.

— Так-то оно будет вернее... — сипит он. — А ну, давай за мной...

Он осторожно слезает с гати и сразу проваливается выше колен.

— Зачем? — жалобно спрашивает Профессор. Он очень устал.

Виктор не отвечает. Ощупывая перед собой дорогу жердью, он все круче забирает в сторону от гати.

Они измотаны до предела и облеплены грязью. Туман совсем сгустился. Они бредут по пояс в чавкающей жиже, то и дело падая, погружаясь с головой, отплеываясь и кашляя. Остановиться нельзя, трясина засасывает.

Вдруг Профессор проваливается по шею, пытается вырваться и лечь плашмя, но у него ничего не получается, и он из последних сил кричит:

— Виктор... помогите!

Виктор оборачивается. Самый неподдельный ужас изображается на его лице.

— Ты к-куда? — хрипло кричит он и, расплескивая грязь, бредет к Профессору. — Рюкзак! Рюкзак сбрось!

Профессор мотает головой, торчащей над поверхностью жижи.

— Жердь! — сипит он. — Протяни жердь!

— Бросай рюкзак, тебе говорят!

— Же... — Профессор уходит в болото с головой, снова выныривает и ревет страшным голосом: — Жердь давай, скотина!

Он пытается схватиться за протянутую жердь, промахивается, потом ошупью находит ее и вцепляется обеими руками.

Солнце. Раскаленная кремнистая пустошь. Вдали желтые отвалы породы, торчит задранный ковш брошенного экскаватора. Виктор и Профессор сидят в тени домика, вернее — вагона, снятого с осей: когда-то здесь располагалась контора хозяйства, разрабатывавшего карьер.

Передавая друг другу бутылку, они тянут спиртное и вяло переругиваются.

— Ну и потонул бы, как крыса, — ворчит Виктор. — И меня бы с собой утянул...

— Нечего было в трясику лезть, — огрызается Профессор.

— Это не твоего ума дело — куда мне лезть...

— Вот и мешок этот — тоже не твоего ума дело...

— Да что у тебя там — золото, что ли?

— Нет, это просто уму непостижимо! — произносит Профессор. — Идем по прекрасной ровной дороге. И вдруг он лезет в болото!

— Чутье у меня, ты это можешь понять или нет? Чутье на смерть!

— Оставьте меня в покое со своим чутьем. Это просто чудо, что мы выбрались.

— Вот чудак очкастый! — Виктор хлопает себя по коленям. С него осыпаются ошметки засохшей грязи.

— Мои очки — это тоже не ваше дело. Вы и так меня наполювину ослепили.

— Тебя не ослепить, тебя жердью этой надо бы между ушей! Это надо же, из-за пары грязных подштанников чуть в рай не отправился! Дай сюда бутылку...

— При чем здесь подштанники?

— Ну, что там у тебя в мешке? Ну, консервы... Из-за банки консервов...

— Вы, между прочим, тоже свой рюкзак не сбросили.

— Я, во-первых, не тонул, это раз. А во-вторых, у меня там запасной панцирь! На всякий случай...

Профессор машет безнадежно рукой, кладет рюкзак набок и ложится, положив на него голову. Виктор закуривает, оглядывает местность. Затем тоже ложится на спину, ворочается и достаёт из-под себя ржавую консервную банку. Вертит ее перед глазами.

— Стервятник закусывал... — произносит он и отбрасывает ее от себя. — Вот ведь сволочь, ничего на болоте не указал, а там что-то есть... Может быть, конечно, потом появилось, после него...

— Слушайте, Виктор, — подает голос Профессор, не раскрывая глаз. — Что, Стервятник — единственный человек, который дошел до Золотого Круга?

— Да. Других не знаю.

— А вы знаете таких, которые шли, но не дошли?

— Знаю кое-кого... Я и сам ходил и не дошел.

— А за чем они шли?

— Кто за чем... В основном за деньгами, конечно.

— А вы?

Некоторое время Виктор неприязненно молчит.

— У меня дела свои... семейные...

— Как у Стервятника?

Виктор резко поднимается и смотрит на Профессора. Но тот лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди.

— Ты меня со Стервятником не ровняй, — произносит Виктор угрожающе.

Профессор молчит.

— Ты Стервятника не знал, в глаза не видел, — говорит Виктор, снова укладываясь, — и меня ты не знаешь. Так что нечего нас ровнять.

— Никто никого не знает, — говорит Профессор, не открывая глаз.

— Почему?

— Потому что век наш весь в черном, — говорит Профессор. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем.

— Это еще что за молитва? — презрительно говорит Виктор.

— Это святой Аполлинер.

— А? А-а... Ну, я не верующий.

— Но в Золотой Круг поверили?

— Так Золотой Круг... Как же не поверить? Одна надежда на него... Ты же и сам поверил, хотя и ученый...

— Да, я поверил. Я вообще склонен верить в страшные сказки. В добрые нет, а в страшные — да... — Профессор вдруг поднимается. — А вам никогда не приходило в голову, что будет, когда поверят все? Когда они все сюда кинутся, тысячами, сотнями тысяч...

— Ну и что? И сейчас многие верят, да поди доберись!

— Доберутся, дружок, доберутся. Один из тысячи, а доберется. Стервятник ведь добрался... А Стервятник еще не самый плохой человек. Бывают люди пострашнее... Им не золото нужно, и семейных дел у них никаких нет. Они будут мир исправлять, голубчик! Всех людей на свете переделывать по своей воле... Вы представьте только, сколько их среди нас, все эти несостоявшиеся императоры всея земли, фюреры всех мастей, великие инквизиторы, фанатики, благодетели человечества, просто сумасшедшие... Думали вы об этом?

— Нет, — отвечает Виктор презрительно. — Плевать я на них хотел.

— Напрасно. Вы о них не думаете, но они-то о вас думают. Вы представьте себе на минутку, что вы нашего писателя дове-

ли-таки до Круга... Ведь он же всех ненавидит, ведь у него идеал какой — пустая зеленая земля, тишина и покой, кладбище... Я думаю, что он и сам это понял. Поэтому он и остался...

Некоторое время они молчат. Виктор задумчиво сковыривает с себя ошметки засохшей грязи.

— Нет, — говорит он. — Не знаешь ты людей, Филипп, поэтому и философию разводишь. Он, конечно, может и придет к Золотому Кругу, чтобы всю землю переделать, да ничего у него не выйдет, потому что на самом деле на землю ему плевать, а нужна ему баба, водка нужна и денег побольше... ну, в крайнем случае, чтобы у его начальника морда через пупок проросла... Фанатизмы все эти, фюреры — откуда все это берется? Либо его бабы не любят, либо желудок плохо варит и изо рта у него воняет, вот он и бесится. Вот ты — зачем идешь?

Профессор криво усмехается.

— Н-ну, не ради баб, во всяком случае.

— Да я и сам знаю, что не ради баб. Научное что-нибудь? В экспедицию тебя не взяли, вот ты и решил им всем доказать. И правильно. Правильно! Понимаешь? Не мир переделывать пришел, а свои личные дела поправить, открытие какое-нибудь сделать, чтобы все ахнули. Вот, мол, оказывается у нас Филипп-то какой, дать ему мировую премию! Так?

— Ну, допустим...

— Да не допустим, а так это все и есть! Что я зря, что ли, в вашем институте два года жалованье получал? Я вас всех как облупленных знаю... Хочешь — скажу, что у тебя там в рюкзаке?

Профессор тщательно протирает единственное стекло своих очков.

— Ну, скажите, — произносит он, не поднимая лица.

— Приборы какие-нибудь! Анемометры, понимаешь, радиометры, амперметры, вариометры... Вы же из-за них задавиться готовы. Стервятник из-за золота, а вы из-за этих своих железок с циферблатами! Понаставишь все это свое добро на Золотой Круг и начнешь показания снимать, и ничего тебе, кроме этого, не надо... Ну, угадал? Потонуть ведь был готов, но не бросил...

Профессор надевает очки и с вызовом смотрит на него.

— Угадали, но не совсем. Это экспресс-лаборатория. Автомат.

Виктор смеется, очень довольный.

— Ну, автомат. Какая разница? Телеметрия, значит, еще лучше. Вернешься домой, натянешь белый халат, а оно тебе отсюда все само передает... Так что ты мне тут не философствуй, старичок. Все мы человеки, все мы одним миром мазаны. Ты, понимаешь, на Золотом Круге можешь счастья человечеству пожелать, но Золотой-то Круг — он только СОКРОВЕННЫЕ желания выполняет!

Они идут через кремнистую пустошь, направляясь к желтым отвалам карьера, к задранному, красному от ржавчины ковшу экскаватора. Профессор идет впереди. Он сильно прихрамывает и опирается на жердь.

Они стоят на краю карьера и смотрят вниз, и на грязных их лицах мерцают желтые отблески от Золотого Круга.

Слева — пологий спуск в карьер, разбитый гусеницами и колесами грузовиков. У начала спуска стоит, покосившись на груде выветрившейся породы, экскаватор с заданным ковшом.

— Другого спуска нет, — говорит Виктор. — Здесь кругом «ко-маринные плешки» и всякая другая дрянь...

Профессор вытирает лицо дрожащей ладонью.

— А если попробовать с обрыва, на веревке?

— Я же тебе объясняю, чужак: нельзя. Верная смерть.

Они говорят тихо и даже как-то равнодушно — усталые, вымотанные вконец люди, изнемогающие под беспощадным солнцем.

— А здесь — не верная?

— А здесь — пятьдесят на пятьдесят.

Профессор снова вытирает лицо и смотрит в сторону спуска. Широкая дорога, избитая гусеницами и колесами грузовиков. Ничего страшного, ничего угрожающего.

— А что здесь — огонь, ток?

— Не знаю, — говорит Виктор. — Знаю только, что первый проходит пятьдесят на пятьдесят, а второй — на все сто.

— Это как там, в трубе?

— Примерно.

Профессор смотрит на Виктора.

— Значит, ты для этого меня и взял?

— Да.

Профессор отводит глаза и снова смотрит на спуск.

— А если я не пойду?

— Тогда я тебя убью, — спокойно говорит Виктор. Профессор криво усмехается. — Тебя убью, — продолжает Виктор, — а экспресс-лабораторию твою измельчу на кусочки. Это тебе мое слово.

Профессор медленно стягивает рюкзак и расстегивает клапан. Обнажается верхняя часть массивного цилиндра, тускло отсвечивающего металлом на солнце. Там нет ни циферблатов, ни шкал. Только диск наподобие телефонного в центре верхнего днища.

Профессор медленно набирает четырехзначный номер. Раздается тихий щелчок.

— Ну, положим, такую штуку на кусочки не измельчить... — замечает он.

— Ничего, я уж постараюсь, — говорит Виктор. — Ты уж мне поверь. У меня с собой, между прочим, на всякий случай динамитная шашка. Вот уж не думал, не гадал, для какого дела она мне понадобится...

Профессор выпрямляется.

— Насчет пятьдесят на пятьдесят, — говорит он, — ты, конечно, врешь...

Виктор мотает головой.

— Нет, — говорит он. — Если Стервятник не наврал, то и я не наврал.

Профессор, теперь уже не отрываясь, смотрит на спуск.

— Глянуть смерти в лицо, — бормочет он, — сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели... Может быть, хоть жребий бросим все-таки?

— Нет. Жребий мы бросать не будем. Это не игра. Это вы всё в игры играете, а мне нельзя. У меня дочка калека. Я по Зоне ходил, а она за это расплачивается. Ребенок. Дразнят ее. И ничего

нельзя сделать. Все, что приносил, на докторов ухлопал. Все без толку. Они уже и не обещают ничего. У меня это последняя надежда. Мне рисковать нельзя. Иди, Филипп, иди. Не бойся. Все обойдется. Иди.

Профессору очень страшно. Он делает несколько шагов к спуску, и видно, как у него подгибаются ноги. Потом он останавливается и стоит, понурив голову. Виктор вынимает из кармана нож и, заведя руку за спину, щелкает выскочившим лезвием.

— Это больно? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь.

— Нет, — говорит Виктор. — Нет! И не почувствуешь ничего... Да что я говорю — ничего с тобой не будет! Иди, старик, иди!

И Профессор идет. Сначала медленно, спотыкаясь на колдобинах, затем все быстрее и быстрее, и вот он уже бежит, выставив перед лицом согнутую руку.

Виктор отворачивается. Глаза его крепко зажмурены, кулак с зажатым в нем ножом он прижимает ко рту, голова его втягивается в плечи. Несколько секунд он еще слышит за спиной удаляющееся буханье подкованных сапог Профессора, а потом этот звук внезапно обрывается, и раздается короткий сдавленный вопль. Виктор прижимает к ушам ладони, и к его ногам падают и вдребезги разбиваются очки.

Некоторое время он стоит неподвижно, затем осторожно отводит ладони от ушей.

Тишина. Нет, не совсем тишина. Слышится слабое тиканье. Виктор нагибается, подбирает оправу, зажимает ее в кулаке и осторожно оборачивается.

На спуске — никого. И ничего. А тиканье все громче. Это тикает экспресс-лаборатория, торчащая из развязанного рюкзака Профессора. В злобе и отчаянии Виктор пинает ее сапогом, и она тяжело заваливается набок. Ждать больше нечего.

Поминутно утирая единственным уцелевшим рукавом залитое потом лицо, Виктор начинает спускаться в карьер. Губы его беззвучно шевелятся, глаза полузакрыты. Он похож на одержимого. Он и есть одержимый.

Увязая по шиколотку в белом песке, он бредет по дну карьера и подходит к краю огромного желто-сверкающего диска. Не задерживаясь, он ступает на него, и нога его проваливается, и он бредет по золотой пленке, оставляя за собой черные рваные дыры, не переставая что-то беззвучно твердить, шевеля губами, полузакрыв глаза и откинув голову назад... И он сходит на песок и идет по песку, а в карьере стущаются сумерки, а он все идет по песку, и карьер погружается во мрак, и слышится скрип, словно отворяется деревянная дверь, и шорох шагов по песку сменяется стуком каблучков по камню, и в сером свете Виктор поднимается по лестнице и вступает на лестничный пролет своего дома. Здесь все тот же режущий яркий свет лампочки без плафона, грязноватая лестница, уродливая карикатура на стене, и только пьяный в цветастом шарфе уже не стоит, а сидит в том же углу, широко раскинув ноги, бессильно уронив голову на грудь.

Трясущейся рукой Виктор отпирает дверь своей квартиры и входит в пустую прихожую, распахивает дверь в гостиную и останавливается на пороге.

Жена стоит у стола и смотрит на него, а рядом с нею стоит девочка-калека, опершись на костылики и высоко подняв острые плечи, косолапо поставив тоненькие больные ноги, и тоже смотрит — не на него, а немного мимо, сквозь черные очки.

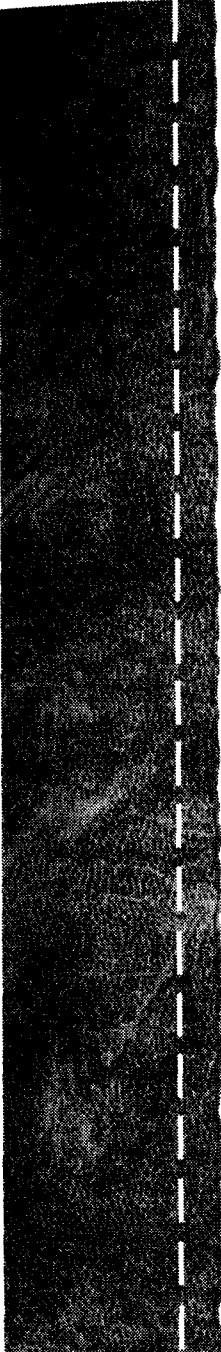
Он сразу сникает. Опустив голову, он неловко стягивает с себя рюкзак и бросает его на пол. И рюкзак лопаается во всю длину, и из прорехи извергается на пол поток золотых монет вперемешку с обандероленными пачками банкнот.

Он тупо смотрит на эту кучу, и жена его с окаменевшим лицом смотрит на эту кучу, и только девочка смотрит черными очками куда-то в сторону.

Они молчат. И в тишине слышно нарастающее тиканье. Это тиканье вдруг прерывается, и ослепительный свет заливают окна. Виктор и его жена, вскрикнув, закрывают лица руками, а девочка быстро поворачивает голову к окнам. Свет за окнами меркнет, и страшный удар сотрясает дом. С лязгом и дребезгом вылетают стекла, распахиваются рамы, и в опустевших проемах видно,

как над черными силуэтами домов вспухает, раздувается гнойным пузырем огненный гриб атомного взрыва.

И тогда Виктор опускает взгляд на свой сжатый кулак и разжимает пальцы. Черная искореженная оправа очков соскальзывает с его ладони и падает на поток золота, еще продолжающий медленно изливаться из прорехи в рюкзаке.



КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

Борис Стругацкий

*Комментарий начат в 1997 году
(самая ранняя дата файла: 10.03.97)
Черновик закончен 8.03.98.*

Внезапно обнаруживаешь, что забыл, оказывается, то, что, казалось бы, всегда раньше помнил и что должен был бы помнить всегда.

Например: когда мы задумали и начали собирать материал по сказочной повести, названной тогда условно «Маги» и ставшей впоследствии известной под названием «Понедельник начинается в субботу»? В архиве есть разрозненные наброски. Есть заметки. Есть заготовленные впрок смешные имена и хохмочки специального назначения. А вот даты — нет. Нет даты.

Разумеется, сохранился (в значительной степени) архив. Сохранилось большинство писем. Сохранились рабочие дневники. Сохранились кое-какие черновики, заметки и наброски. Брульоны. Но!

Вот, скажем, запись в рабочем дневнике (26.09.1976). Подробный список имен действующих лиц, с указанием возраста и профессии — как бы для пьесы. Подробное расписание событий под названием «вид общий».

- («...7. Симода уводит в горы радиста; через 7 дней придет корабль, а надежда на связь плохая.
8. Смерть повара. Симптомы.
9. Похороны.
10. Расправа с пилотом, лишенным алкоголя...» и т.д.).

Описание событий — с точки зрения каждого из участников (пока он еще жив).

Помню, что все они погибают. Помню, что задумывалось все это как фантастический детектив. Помню, что действие происходит на острове... Но ЧТО ИМЕННО там происходит? Отчего они все умирают, один за другим? Болезнь? Чудища из моря? Пришельцы?

Почему пилот (он же охотник-профессионал Уоллес Уиллер, 50 лет) был «лишен алкоголя»? Кем лишен? С какой целью? И как с ним, черт побери, «расправились»?

В чем исповедался доктор («...18. Исповедь доктора. Истерика Меллера. Самоубийство...»)? Доктор — это, видимо, Махи-ро Симода, 40 лет. Но может быть и Пак Хин, 55 лет, который был врачом некоего миллионера Роберта Монака, 60 лет. Меллер — это Готфрид Меллер, 30 лет, палеобиолог, но что за истерика с ним случилась?..

Ясно, что в те далекие годы, двадцать с лишним лет тому назад, основная ситуация задуманной повести была настолько очевидна, что мы даже не потрудились записать ее (не в первый и не в последний раз). А потом замысел был отставлен, и все благополучно позабылось. (Тогда, в ноябре, мы занялись разработкой «Отчета Абалкина», хотя сам Абалкин к тому времени еще не был даже придуман, а разведку на планете Надежда вел Макс-сим Каммерер.)

Примеров такого рода абсолютных и окончательных провалов в памяти я могу привести, может быть, не слишком много, но они имеют место, и это не только раздражает, но и пугает меня. Нельзя. Жалко же! Надо, пока не поздно, заняться такими вот специфическими воспоминаниями, а то, глядишь, через десяток лет и вспоминать будет нечего. Да и некому.

Разумеется, эти мои заметки не могут представлять сколько-нибудь широкого интереса, и вряд ли можно рассматривать их как самостоятельный и самодостаточный текст. Это — всего лишь комментарии к данному собранию сочинений АБС, и вне такового они и рассматриваться-то не должны.

Более того. Далеко не каждому читателю, пусть даже и поклоннику АБС, эти заметки будут интересны. В конце концов, кому какое дело, как именно задумывалась «Улитка на склоне»

и какие перипетии претерпевала в процессе написания? Кто был прообразом Горбовского и откуда взялось название «Понедельник начинается в субботу»? Почему «Гадкие лебеди» существовали изначально как совершенно самостоятельное произведение, а потом, пятнадцать лет спустя, вдруг сделались содержанием «Синей папки», романом в романе?..

Не думаю, чтобы меня самого в возрасте 15—20 лет заинтересовали бы вопросы такого рода применительно к обожаемому Г. Дж. Уэллсу или нежно любимому А. Р. Беляеву. Однако в возрасте 30—40 лет мне уже, помнится, было интересно знать, почему Г. Дж. так круто ушел вдруг от фантастики в суконный реализм, и правда ли, что в творческой жизни А. Р. Беляева роковую роль сыграл ныне уже почти позабытый А. Р. Палей?

Так что определенный круг благосклонных читателей предлагаемых заметок обрисовывается: это, во-первых, фэны, фанаты, которых интересует ВСЁ, а во-вторых, — серьезные читатели, склонные копаться глубоко и широко в поисках «золотой жилы смысла».

Ни в коей мере не следует рассматривать эти заметки как «Воспоминания о пережитом» и, тем более, как мемуары типа «Наша жизнь в литературе». Для этого нет никаких оснований. Жизнь моя (да и АН, пожалуй) отнюдь не изобиловала — слава Богу! — ни увлекательными приключениями, ни загадочными событиями, ни социально-значимыми поступками, ни — хотя бы — тесными контактами с великими людьми XX века. Поэтому мемуары мне писать просто не о ком и не о чем, и «Комментарии» эти суть не более чем по возможности систематизированные заметки относительно написанного АБС за тридцать пять лет — то, что показалось мне (лично мне!) любопытным; или заведомо неизвестно широкой публике; или представляет собой ответы на вопросы читателей, накопившиеся за все эти годы.

1955—1959 гг.

«СТРАНА БАГРОВЫХ ТУЧ»

Если бы не фантастическая энергия АН, если бы не отчаянное его стремление выбиться, прорваться, *стать* — никогда бы не было братьев Стругацких. Ибо я был в те поры инертен, склонен к

философичности и равнодушен к успехам в чем бы то ни было, кроме, может быть, астрономии, которой, впрочем, тоже особенно не горел. От кого-то (вполне может быть, что от АН) услышал я в ранней молодости древнюю поговорку: «Лучше идти, чем бежать; лучше стоять, чем идти; лучше сидеть, чем стоять; лучше лежать, чем сидеть; лучше спать, чем лежать...» — и она привела меня в неопишываемый восторг. (Правда, последнего звена этой восхитительной цепочки: «...лучше умереть, чем спать», я, по молодости лет, разумеется, во внимание никак не принимал.) АН же был в те поры напорист, невероятно трудоспособен и трудолюбив и никакой на свете работы не боялся. Наверное, после армии этот штатский мир казался ему вместилищем неограниченных свобод и невероятных возможностей.

(Потом все это прошло и переменялось. АН стал равнодушен и инертен, БН же, напротив, взыграл и взорлил, но, во-первых, произошло это лет двадцать спустя, а во-вторых, даже в лучшие свои годы не достигал я того состояния клубка концентрированной энергии, в каком пребывал АН периода 1955—1965 гг.)

К 1955 году у нас было:

— «Пепел Бикини» — художественно-публицистическая повесть, написанная АН в соавторстве со своим армейским приятелем Л. Петровым (опубликована в журнале «Юность»);

— фантастическая повесть «Четвертое Царство», написанная АН в одиночку, нигде не опубликованная и (кажется) никуда, ни в какое издательство никогда так и не посланная;

— фантастический рассказ «Виско», написанный БН в одиночку и получивший высокую оценку учительницы литературы (впоследствии уничтожен автором в приступе законного самобичевания);

— фантастический рассказ «Затерянный в толпе», написанный БН в одиночку — вымученная и нежизнеспособная попытка выразить обуревавшую его тогда идею «приобретения памяти» — путешествий сознания по мирам Вселенной;

— «Первые» — чрезвычайно эффектный и энергичный набросок несостоявшейся фантастической повести, задуманной некогда АН (и использованный позже в «Стране багровых туч»);

— «Как погиб Канг» — фантастический рассказ АН, написанный им еще в 1946 году (от руки, черной тушью, с превосходными иллюстрациями автора);

— «Песчаная горячка» — первый опыт работы вдвоем, фантастический рассказ, сделанный в манере эдакого прозаического буриме: страницу на машинке — один, затем страницу на машинке — другой, и так — до конца (без предварительного плана, не имея никакого представления о том, где происходит действие, кто герои и чем все должно закончиться)...

(Году этак в 54—55 в мамином доме появилась откуда-то старинная пишущая машинка — странной вертикальной конструкции, вся облупившаяся, пыльная, нелепая, но с удивительно точно отрегулированными мягкими клавишами, нажимая на которые ты испытывал почти физическое наслаждение. Все, что написано было нами — и порознь, и вместе — до 58-го года, написано было на этой машинке. Иногда я совершенно серьезно думаю: а состоялись бы вообще братья Стругацкие, если бы эта машинка не попала к ним, а своевременно обрела бы законный свой покой на какой-нибудь свалке? Воистину, серьезные последствия имеют зачастую в источке своем самые что ни на есть пустяковые причины.)

В соответствии со сложившейся уже легендой АБС придумали и начали писать «Страну багровых туч» на спор — поспорили в начале 1955 (или в конце 1954) на бутылку шампузы с Ленкой, женой АН, а поспорив, тут же сели, все придумали и принялись писать.

На самом деле «Страна» задумана была давно. Идея повести о трагической экспедиции на беспощадную планету Венеру возникла у АН, видимо, во второй половине 1951 года. Я смутно помню наши разговоры на эту тему и совершенно не способен установить сколько-нибудь точную дату. Подавляющее большинство писем БН того периода утрачено, но большинство писем АН, слава богу, сохранилось, так что некий хронологический пунктир проследить все-таки можно. Вот несколько цитат.

Между 1.11.51 и 12.04.52 (видимо, первое письмо АН с Камчатки): «Обдумываю повесть о Тарзане — новом, другом, настоящем звере — жестоком, хитром, мстительном: назову

его Румата — каково? “Берег Горячих Туманов” меня не удовлетворяет, придется много переделывать, вплоть до изменения фабулы».

Это самое первое документальное упоминание повести о Венере. (И самое первое упоминание имени Румата, между прочим.)

10.12.52 — письмо АН. «...меня заинтересовали твои возражения по поводу “БГТ”. В связи с этим смею задать пару-другую вопросов. Во-первых: писал ты, что вода на Венере исчезла, когда солнце жарило раз в сто сильнее, чем <нынче>. Любопытен я знать, когда это могло быть и существовала ли тогда сама Венера? Второе: ежели нет на Венере воды, что же собой представляет облачный покров, ее (Венеру) покрывающий? Третье: ежели (опять же) нет на Венере воды, то лепо ли полагать ее (Венеру) обитаемой даже репейниками и муравьями, ибо известно, что жизнь вообще-то зиждется на воде и белках? Четвертое: почему надо считать, что небо на Венере должно выглядеть черным при красных сумерках? (Хотя бедному Аиду хватило бы и черных сумерек при белом небе.) Все это мне подробно пропиши, ибо, хотя название “Страна Багровых Туч” очень мне нравится, но изменение моей концепции Венеры влечет за собой весьма сугубые последствия, в частности изменение или даже вообще усекновение мест в моей повести, кои мне дали с трудом и мнятся вельми эффектными».

Видимо, это самое первое упоминание собственно о «Стране багровых туч». АН активно размышляет на эту тему, а БН помогает, чем может, — дает «научно-техническое обоснование».

23.02.53 — письмо АН: «...План моей литературной деятельности (на 1953 год): 1. “Страна Горячих туч” — повесть; 2. “Румата и Юмэ” — повесть... “Страну” начал бы уже давно, но ты не отличаешься внимательностью: где сведения <о дегтериевой и тритиевой воде>? Кроме того, мне нужно знать, намного ли выше была температура в области прото-Венеры температуры в области прото-Земли в критический для <водорода> момент?.. А идея крепнет и развивается. “Хиус versus Линда” все-таки имеет быть. Насчет “Румата” — пока только наброски. Получается что-то похожее на “Сына Тарзана” — но все равно, буду писать...»

Замечу в скобках, что повесть «Румата и Юмэ» так никогда и не была написана. Не видел я и набросков. Надо думать, эта работа у АН не пошла. Что же касается «Страны...», то некое — и существенное! — продвижение имело-таки место.

Вот отрывок из письма АН от 5.03.53: «...хочешь мужского разговора — давай поговорим. Прежде всего — о моих литературных талантах. Очень уж ты их преувеличиваешь. Конечно, теоретически можно представить себе этакий научно-фантастический вариант “Далеко от Москвы”, где вместо начальника строительства будет военно-административный диктатор Советских районов Венеры, вместо Адуна — Берег Багровых Туч, вместо Тайсина — нефтеносного острова — “Урановая Голконда”, вместо нефтепровода — что-нибудь, добывающее уран и управляющее его на Землю... Четыре раза пытался я начать такую книгу, написал уже целых полторы главы... И каждый раз спотыкался и в отчаянии бросал перо. Дело не в том, что я не могу себе представить людей в таких условиях, их быт, нравы, выпивки, мелкие ссоры и большие радости — слава богу, хоть в этом ты не ошибся, мне просто было бы достаточно описать людей, окружающих меня сейчас. Дело гораздо глубже и проще — я совершенно неподготовлен технически, не имею ни малейшего представления о возможных формах производства или там добычи урана, о возможных организационных формах не только такого фантастического, но даже и обычного предприятия, о том, чем роль инженера отличается от роли мастера или техника, и т.д. и т.п. Моя полная неграмотность в этой области жизни лишила меня способности дать фон всем моим большим и маленьким конфликтам, и они, несчастные, беспомощно повисли в пустоте. Вот почему приходится признать полное поражение на фронте “Б.Б.Т.”. Согласись, ну какой тут к черту реализм, когда ничего мало-мальски реального я не могу поставить в основу повести? Поэтому я сузил задачу и написал просто рассказ о гибели одной из первых экспедиций на неведомую планету — Венеры я бегу, ибо там из-за твоих песков и безводья не развернешься. Рассказ типа Лондоновского “Красного божества” — последний кусочек судьбы человека, гибнущего в одиночестве...»

Здесь имеется в виду названный выше рассказик «Первые». Он, помнится, произвел на БН сильнейшее впечатление, и многие эпизоды из него в дальнейшем попали в «Страну...»

Ни одного письма, датированного 1954-м годом, не сохранилось. Существует письмо БН без даты, относящееся, видимо, к весне 1955 года. Судя по этому письму, работа, причем СОВМЕСТНАЯ, над СБТ идет уже полным ходом — во всяком случае, составляются подробные планы и обсуждаются различные сюжетные ходы. В апреле 1955 АН еще в Хабаровске, ждет не дожидается увольнения из армии и заканчивает повесть «Четвертое царство». Но уже в своем июльском 1956 года письме БН рецензирует первую часть СБТ, вчерне законченную АН, и излагает разнообразные соображения по этому поводу. В постскриптуме он обещает: «Начну теперь писать как бешеный — ты меня вдохновил».

Таким образом историческое пари было заключено, скорее всего, летом или осенью 1954 года, во время очередного отпуска АН, когда он с женой приезжал в Ленинград. Мне кажется, что я даже помню, где это было: на Невском, близ Аничкова моста. Мы прогуливались там вдвоем, АН с БНом, как обычно, костерили современную фантастику за скуку, беззубость и сюжетную заскорузлость, а Ленка слушала, слушала, потом терпение ее иссякло, и она сказала: «Если вы так хорошо знаете, как надо писать, почему же сами не напишете, а только все грозитесь да хвастаетесь. Слабо?» И пари тут же состоялось.

Писалась «Страна...» медленно и трудно. Мы, оба, представления не имели, как следует работать вдвоем. У АН, по крайней мере, был уже определенный опыт работы в одиночку, у БН и того не было. Планы составляли вместе, но главы и части писали порознь, каждый сам по себе. В результате: АН закончил черновик первой части — БН завяз еще в первой главе; АН всюду пишет вторую часть — БН кое-как закончил первую главу первой части, и она, разумеется, ни в какие ворота не лезет в сравнении с уже сделанным — там другие герои, другие события, и сама стилистика другая...

В июле 1956 года АН пишет отчаянное письмо: «...Единственно приемлемыми, хотя и практически неравноценными являются 2 пути.

1-й — длинный и сложный, сулящий массу осложнений: ты будешь писать свое, не обращая внимания на то, что сдела-

но мною. Синтезировать наши работы будет в таком случае гораздо сложнее.

2-й — наилучший, по моему глубокому убеждению, состоит в следующем: на базе имеющейся теперь в твоём распоряжении схемы создавать новые эпизоды, вычеркивать то, что тебе не нравится, добавлять и убавлять, изменять как угодно в пределах основной идеи и заданных действующих лиц и ситуаций (их, впрочем, тоже — можно изменять). Все эти изменения по мере их накопления пересылать мне на просмотр и оценку, на что я буду отвечать согласием или несогласием... Это очень ускорит нашу работу, и тогда можно надеяться, что к моему отпуску — я приеду в Ленинград в конце декабря — вчерне у нас все будет готово...»

Увы. К декабрю ничего не было готово. АН привез с собою черновик второй части, ознакомился с жалкими плодами деятельности БН и сказал: «Так. Вот машинка, вот бумага, садись и пиши третью часть. А я буду лежать вот на этом диване и читать «Порт-Артур». Я — в отпуске».

Так оно все и произошло.

В апреле 1957 года рукопись «Страны багровых туч», выправленная и распечатанная по всем правилам была уже в Московском Детгизе и ждала внутренней рецензии. (Что касается исправлений и распечаток, то не могу не привести здесь чрезвычайно характерного отрывка из письма АН от 29.04.1957: «...Кстати, о 3-й части. Видно, по грехам моим господь послал мне соавторов-клизмачей: один вообще пальцем не притронулся к рукописи <имеется в виду соавтор АН по повести «Пепел Бикини». — прим. БНС>, другой любезно предоставляет мне всю техническую часть работы, считая для себя зазорным отделать по-человечески оформление. Скажу тебе откровенно, что я, как редактор, на порог не пустил бы автора с рукописью в таком виде — текст подслеповатый, неаккуратный, изобилует грамматическими ошибками. В общем, свинья ты, брат мой...»)

Рукопись пролежала в Детгизе два года (сдана в набор в апреле 1959). Это был довольно обычный срок прохождения, по тем временам. Но нам-то тогда казалось, что идет, бредет, ни в какую не желает окончиться вечная вечность.

Редактор наш, милейший Исаак Маркович Кассель, пребывал в очевидном раздвоении чувств. С одной стороны, рукопись ему явно нравилась — там были приключения, там были подвиги, там воспевались победы человечества над косной природой — и все это на прочном фундаменте нашей советской науки и диалектического материализма. Но с другой стороны, все это было — совершенное, по тем временам, не то. Герои были грубы. Они позволяли себе чертыхаться. Они ссорились и чуть ли не дрались. Косная Природа была беспощадна. Люди сходили с ума и гибли. В советском произведении для детей герои — наши люди, не шпионы какие-нибудь, не враги народа — космонавты! — погибали, окончательно и бесповоротно. И никакого хэппи-энда. Никаких всепримиряющих победных знамен в эпилоге... Это не было принято в те времена. Это было идеологически сомнительно — до такой степени сомнительно, что почти уже непроходимо.

Впрочем, в те времена не принято было писать и даже говорить с автором о подобных вещах. Все это ПОДРАЗУМЕВАЛОСЬ. Иногда на это — намекалось. Очень редко (и только по хорошему знакомству) говорилось прямо. Автор должен был сам (видимо, методом проб и ошибок) дойти до основ правильной идеологии и сообразить, что хорошее (наше, советское, социалистическое) всегда хорошо, а плохое (ихнее, обреченное, капиталистическое) — всегда плохо. В рецензиях ничего этого не было.

27.05.57 — АНС: «Получил (наконец-то!) рецензию и беседовал с редактором. Изумление мое при чтении рецензии было неопишваемым. Можно ожидать хорошей рецензии, можно ожидать плохой рецензии, можно ожидать кислой рецензии... но мы получили пьяную рецензию. Рецензент не понял ни черта. <...> Держал рукопись он почти пять месяцев, третью часть проглядел для порядка и накатал “по первому впечатлению”, причем все перепутал и многого не заметил, и вообще was jumping at the conclusions. Обгадил он нас с головы до ног, но, strange though it may seem, написал, что над повестью следует работать и у нее есть задатки и пр.»

(Как мало тогда мы знали о рецензиях — каковы они бывают и каким именно образом пишутся! Фамилия рецензента была М. Ложечко — я запомнил ее на всю жизнь, ибо прочитав — не-

которое время спустя — его труд, был от него в полной и бес- сильной ярости и бегал по стенам как разозленный гигантский паук-галеод из рассказа Конан Дойла-сына. Сама рецензия, к сожалению, не сохранилась.)

Сохранилось, к счастью, письмо АНС от 29.09.57, содержащее программные, совершенно необычные по тем временам соображения о том, как нам надлежит писать. Сначала он перечисляет произведения НФ последнего времени и делает вывод:

«...все эти вещи (кроме, конечно, «Туманности») объединяют по крайней мере две слабости: а) их пишут не писатели — у них нет ни стиля, ни личностей, ни героев; их язык дубов и быстро приедается; сюжет примитивен и идея одна — дешевый казенный патриотизм. б) их писали специалисты-недоучки, до изумления ограниченные узкой полоской технических подробностей основной темы. <...> И еще одно — этого, по-моему, не учитываешь даже ты. Они смертельно боятся (если только вообще имеют представление) смешения жанров. А ведь это громадный выигрыш и замечательное оружие в умелых руках. В принципе это всем известно: научная фантастика без авантюры скучна. Голого Пинкертона могут читать только школьники. Но пользоваться этим законом никто не умеет. Первую серьезную пробу <...> сделали мы в “СБТ”, хотя еще не подозревали об этом...»

Далее приводится цитата из предисловия А. Аникста к «Тихому американцу»: «<Это> произведение разностороннее, содержащее и элементы детектива, и черты романа тайн; это и психологическая драма, и военный репортаж, и произведение с откровенно эротическими мотивами, и острый политический памфлет. <...> и читателю только остается удивляться тому, как убедительно звучит это неожиданное сочетание столь разнородных элементов».

И снова АНС: «Понял, браток? Понимаешь теперь, какой громадный козырь упускают наши горе-фантасты! Наши произведения должны быть занимательными не только и не столько по своей идее — пусть идея уже десять раз прежде обсасывалась дураками — сколько по а) широте и легкости изложения научного материала; “долгой жульверновщину”, надо искать очень точные, короткие умные формулировки,

рассчитанные на развитого ученика десятого класса; б) по хорошему языку автора и разнообразному языку героев; в) по разумной смелости введения в повествование предположений “на грани возможного” в области природы и техники и по строжайшему реализму в поступках и поведении героев; г) по смелому, смелому и еще раз смелому обращению к любым жанрам, какие покажутся приемлемыми в ходе повести для лучшего изображения той или иной ситуации. Не бояться легкой сентиментальности в одном месте, грубого авантюризма в другом, небольшого философствования в третьем, любовного бесстыдства в четвертом и т.д. Такая смесь жанров должна придать вещи еще больший привкус необычайного. А разве необычайное — не наша основная тема?»

Авторы все еще пока — НАУЧНЫЕ фантасты. Они еще далеки от формулы: «настоящая фантастика — это ЧУДО-ТАЙНА-ДОСТОВЕРНОСТЬ». Но интуитивно они уже чувствуют эту формулу. В отечественной же фантастике послевоенных лет чудеса имели характер почти исключительно коммунально-хозяйственный и инженерно-технический, тайны не стоили того, чтобы их разгадывать, а достоверность — то есть сцепление с реальной жизнью — отсутствовала вовсе. Фантастика была сусальной, слюнява, розовата и пресна, как и всякая казенная проповедь. А фантастика того времени была именно казенной идиотической проповедью — проповедью ликующего превосходства советской науки и, главным образом, техники.

Мы инстинктивно отталкивались от такой фантастики, мы ее не хотели, мы хотели ПО-ДРУГОМУ. Мы уже даже догадывались, что это значит — «по-другому». И кое-что нам удалось.

В процессе редакционной подготовки «Страна багровых туч» переписывалась весьма основательно по крайней мере дважды. Нас заставили переменить практически все фамилии. (До сих пор не понимаю, зачем и кому это понадобилось.) Из нас душу вынули, требуя, чтобы мы «не вторгались на всенародный праздник (по поводу запуска очередной ракеты) с предсказаниями о похоронах». «Уберите хотя бы часть трупов!» — требовали детгизовские начальники теперь уже напрямую. Книга зависала над пропастью.

Из писем АН начала 1959 года: «... Безнадежно. Понимаешь, совершенно безнадежно. Дело не в трупах, не в деталях,

а в тоне и колорите». «... Повторяю: чего они хотят — я не знаю, ты не знаешь, они, он тоже-таки не знают. Они хотят “смягчить”, “не выпячивать”, “светлее сделать”, “не так трагично”. Конкретно? Простите, товарищи, мы не авторы. Конкретные пути ищите сами...» «...Товарищу Н не нравятся умертвия, тов. НН — колорит, тов. ННН — сумасшествие, и все они не согласны друг с другом, но согласны в одном: надо смягчить, светлее сделать, не так мрачно и пр.»

А когда авторы, стеная и скрежеща, переписали-таки полкнижки заново, от них по высочайшему повелению потребовали убрать какие-либо упоминания о военных в космосе: «... ни одной папачи, ни одной пары погон быть не должно, даже упоминание о них нежелательно», — и танкист Быков «двумя-тремя смелыми мазками» был превращен в БЫВШЕГО капитана, а ныне зампотеха при геологах.

За два года, пока шла эта баталия, АБС написали добрую полдюжину различных рассказов и многое поняли о себе, о фантастике, о литературе вообще. Так что эта злосчастная, заредактированная, нелюбимая своими родителями повесть стала по сути неким полигоном для отработки новых представлений. Поэтому, наверное, повесть получилась непривычная и свежая, хорошая даже, пожалуй, по тем временам — хотя и безнадежно дурная, дидактично-назидательная, восторженно казенная, — если смотреть на нее с позиций времен последующих, а тем более — нынешних. По единому мнению авторов, она умерла, едва родившись, — уже «Путь на Амальтею» перечеркнул все ее невеликие достоинства.

Здесь я позволю себе повторить то, что писал несколько лет назад в предисловии к 12-му тому «ТЕКСТовского» собрания сочинений. «Страна...» получилась типичной повестью переходного периода, — обремененная суконой назидательностью и идеологическими благоглупостями Фантастики Ближнего Прицела и в то же время не лишенная занимательности, выдумки, подлинной искренности и наивного желания немедленно, прямо сейчас, создать нечто, достойное пера Уэллса или хотя бы Беляева.

Она, надо признать, произвела впечатление на тогдашнего читателя. Например, повесть эта понравилась Ивану Антоновичу Ефремову, мэтру отечественной фантастики того времени, и, по слухам, — Мариэтте Сергеевне Шагинян — одному из мэтров

тогдашней литературы вообще. Сергей Павлович Королев читывал ее и выписал оттуда на отдельный листок песню про «Детей Тумана»... Она, видимо, понравилась даже чиновникам из Министерства Просвещения РСФСР. Во всяком случае, именно «Страна багровых туч» оказалась единственным произведением АБС всех времен, удостоенным государственной премии, а именно — третьей премии «конкурса на лучшую книгу о науке и технике для детей школьного возраста». (В размере 5000 рублей. Неплохие деньги по тем временам — четыре мамины зарплаты.)

Более того, она понравилась даже читателю зарубежному. В течение первых пяти-шести лет она была переведена и вышла в Польше (дважды), Чехословакии (дважды), ГДР (дважды), Румынии, Западном Берлине, Югославии и Испании. Было время, когда мы даже гордились ею, но это время быстро миновало. Достаточно сказать, что на русском языке мы не переиздавали ее с 1969 года. И в ТЕКСТовское собрание сочинений мы решились вставить ее только, как говорится, под давлением общественности.

Между прочим, нежелание наше имело под собою подоплеку вполне практическую. Во-первых, для того, чтобы подготовить повесть к переизданию, ее, согласитесь, надобно как минимум перечитать, а перечитывать не хотелось решительно. Во-вторых, во весь рост вставал вопрос о необходимости как-то модернизировать текст. Все-таки прошло больше тридцати лет, многое в повести воспринимается сейчас не только как забавный анахронизм, но и как авторская глупость, невежество и вообще бред собачий. Достаточно вспомнить хотя бы то обстоятельство, что действие там у нас разворачивается как раз в девяностых годах нашего века — и ведь практически ничего, ну ничегошеньки в повести не похоже на то, что реально окружает сегодня ее читателя!

И все-таки мы решили модернизацией текста не заниматься. Совсем. Не менять ни строчки, ни буквы. Пусть повесть эта остается в фантастике как некий уродливый памятник целой эпохе со всеми ее онерами — с ее горячным энтузиазмом и восторженной глупостью; с ее искренней жадностью добра при полном непонимании, что же это такое — добро; с ее неистовой готовностью к самопожертвованию; с ее жестокостью, идеологической слепотой и классическим Оруэлловским двоемыслием. Ибо это было

время злобного добра, жизнеутверждающих убийств, «фанфарного безмолвия и многодумного безмыслия». И это время не следует вычеркивать из социальной памяти. Самое глупое, что мы можем сделать — это поскорее забыть о нем; самое малое — помнить об этом времени, пока семена его не истлели.

К настоящему изданию повесть подготавливали Людены-добровольцы. Они раскопали множество разночтений в черновиках, обнаружили целые утраченные при давней редактуре страницы, восстановили многочисленные купюры. Не думаю, что от этого повесть стала лучше, но, с точки зрения знатока и ценителя, она безусловно обрела некое дополнительное измерение. Спасибо вам огромное, дорогие Людены, и особенно Вам, Светлана Бондаренко, — ведь именно Вы пределали основную часть этой титанической работы!

«ИЗВНЕ»

Летом 1957 года БН поехал со своим другом-археологом в экспедицию в Таджикистан, в район Пенджикента. Тамошние пейзажи и приключения натолкнули его на идею написать о вторжении на Землю (и как раз в те дикие и прекрасные места) инопланетных пришельцев-исследователей. Так появился на свет рассказ «Пришельцы» — черновик первого опубликованного произведения АБС «Извне» и эмбрион будущей повести того же названия.

Читающая публика Пулковской обсерватории, где в те поры работал БН, благосклонно откликнулась на публикацию следующим замечательным текстом:

Писатель Стругацкий с фантастикой дружен,
Научно подкован вполне —
Блестает мыслями внутри и снаружи
Бессмертная повесть «Извне».

(Братья Стругацкие названы здесь «писателем Стругацким», а короткий рассказик — «повестью», надо понимать, из соображений сугубо эстетических — размер там, рифма, то-сё...)

В «Технике — молодежи» рассказ был опубликован с очень сильными искажениями, авторы впервые тогда напрямую столкнулись

с редакторским произволом: первоначальный вариант то сокращался без всякой пощады, то в него требовали вставить что-нибудь новое и совершенно неожиданное (советско-китайскую дружбу, например), то без объяснения причин настаивали на изменении названия «Пришельцы»... Авторы терпеливо и безропотно шли на все. Точнее сказать, терпеливо и безропотно уродовал рассказ АН, — это он принимал на себя все удары, а БН отсиживался в окопах в Питере и ничего этого знать не знал, ведать не ведал. Впрочем, и в первой, авторской, редакции, рассказ представлялся ему суховатым, хороша была только идея: Разуму незачем бродить по космосу лично, достаточно послать туда разумные автоматы. Идея по тем временам была свежая и даже в некотором смысле революционная, если учитывать, что само понятие «кибернетика» и все, этому понятию сопутствующее, было тогда ДСП.

Рассказ еще и в свет не вышел, когда появилась идея создать на его основе повесть, в которой и отыгаться за все унижения. Окончательный план повести созрел в апреле 1958, и работа тут же пошла.

Нетрудно сообразить, что в основе первого рассказа повести лежат личные впечатления АН от восхождения на Авачинскую сопку, за которое (восхождение) он был даже удостоен значка альпиниста какой-то там степени (невысокой). Вообще совершенно равнодушный к спорту, АН очень этим значком гордился и хранил его в специальной коробочке вместе с прочими наградами.

В повести «Извне» герои АБС впервые обретают прототипов. АН описывает своих друзей-однополчан, БН — начальника Пенджикентской археологической экспедиции. Сходство, надо признать, получилось чрезвычайно отдаленным: прототипы себя не узнали. Впрочем, это, видимо, свойство всех (за малым исключением) прототипов: они не способны узнать себя в литературных героях, как редкий человек умеет узнавать свой голос, записанный на магнитофон.

«СПОНТАННЫЙ РЕФЛЕКС»

Сильно подозреваю, что рассказ этот начался вот с чего: в конце октября 1957 года АН, дежуря на библиотечной выставке,

встретился с неким симпатичным и весьма на вид интеллигентным человеком, который оказался биологом, беззаветным любителем НФ и потенциальным писателем-фантастом, собирающимся писать не о чем-нибудь, а о кибернетике.

«...Тему, брат, он берет рискованнейшую и интереснейшую, — пишет АН в письме от 20.10.57. — Эрудиция у него огромная — то есть, с моей точки зрения, он специально следит за этой областью и читает все новое, что выходит у нас и за рубежом по “зоомеханизмам” и “машинному анимализму”. Думаю, что печатать его не будут, а жаль. Даже независимо от литературных достоинств это будет очень интересно. <...> Для чего я это рассказываю? Тема эта — кибернетика, логические машины, механический мозг — висела в воздухе у нас под носом, но никому из нас она и в голову не приходила — как таковая. Ты понимаешь меня? Может быть, есть еще земные темы, не замеченные нами? Думай, думай, думай!»

Если учесть, что АН еще до войны был приведен в совершеннейший восторг кинофильмом «Гибель сенсации», снятым по мотивам пьесы Карела Чапека «R.U.R.»... Если вспомнить, что уже тогда он заполнил десятки тетрадных и альбомных листов рисунками с изображениями взбунтовавшихся человекообразных машин, управляемых по радио... Если принять во внимание, что интерес его к этой проблеме зашел так далеко, что он построил тогда из картонных коробок модель робота (точнее, верхней его половины), способную по велению творца своего вертеть картонной головой и двигать картонными же руками... Словом, появление рассказа о разумном роботе было, сами понимаете, предопределено.

27.02.58 — АН: «Сегодня высылаю тебе “Спонтанный рефлекс”. По моему мнению тему эту необходимо было обработать, ибо по этому вопросу никто еще в нашей литературе ничего не писал...»

Далее АН излагает свои соображения по поводу возможного улучшения текста — сокращение научно-описательной части, «оживляж», добавление юмора и прочее. Ничего этого БН делать не стал — исправил несколько абзацев, переписал концовку, на том весь оживляж и закончился.

Но, может быть, даже этот оживляж оказался излишним: «Техника — молодежи» рассказ отвергла, потому что робот показался им «слишком живым». Время андроидов в отечественной фантастике еще не наступило. Однако же, когда АН отнес нашего робота в «Знание — сила», дело пошло веселее.

27.05.58 — АН: «...В пятницу с работы позвонил в “Знание — сила”. “А-а, товарищ Стругацкий? Приезжайте немедленно. Не можете? А когда можете?” Короче, я поехал к ним вчера. С. Р. им весьма понравился, за исключением конца (твоего конца). Я это предвидел и привез им свой конец. Мой конец им не понравился еще больше. Их собралось надо мной трое здоровенных парней в ковбойках с засученными рукавами и маленький еврей — главный редактор, и все они нетерпеливо понукали меня что-нибудь придумать — “поскорей, пожалуйста, рассказ идет в восьмой номер, его пошлют в США в порядке обмена научной фантастикой <...>” И вдруг главному редактору приходит в голову идея: дать рассказ вообще без конца...»

Сколько эмоций! Какие дискуссии! Впоследствии авторы дружно не любили этот свой рассказ, и интересовал нас в связи с ним только один, совершенно внелитературный, вопрос: «Оказался ли “Спонтанный рефлекс”, действительно, ПЕРВЫМ в отечественной фантастике рассказом о разумном роботе, или Анатолий Днепров со своей “Суэмой” нас все-таки опередил?»

Но именно с этого посредственного рассказа начался роман АБС с журналом «Знание — сила», и длился он, этот роман, эта взаимная и горячая любовь-дружба, тридцать лет и три года, во все времена — и в добрые времена Первой оттепели, и в период Нового похолодания, и на протяжении Ледяных Семидесятых, когда никто, кроме «Знания — силы» (да еще ленинградской «Авроры»), со Стругацкими дела иметь не хотел, — и так вплоть до самой перестройки...

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАСИФИДЬ»

Второй рассказ АБС. Нелюбимый. Нелюбимый по причинам очевидно-понятым: антиамериканская идеологическая дешевка в манере Казанцева—Тушкана. Включен в это издание

под сильнейшим давлением Издателя — во имя вящей полноты издания. Ну и бог с ним. Включен и включен... Спокойно можно было бы и не включать.

«ШЕСТЬ СПИЧЕК»

Этот небольшой и в общем-то довольно средний по своим достоинствам рассказик имеет богатую предысторию и не менее богатую историю.

Все началось еще в школьные годы БН, когда от своей приятельницы (в которую влюблен он был безнадежно и безответно и у которой родители были сотрудниками Института мозга имени Бехтерева) услышал он совершенно фантастическую историю об исследованиях воздействия на человеческое сознание препарата мексиканского кактуса пейотля. Психика испытуемого под действием таинственного препарата получала якобы совершенно необыкновенные свойства — в частности, у испытуемого вроде бы появлялась способность видеть с закрытыми глазами и вообще — сквозь непрозрачные преграды. Это было — НЕЧТО! С помощью той же приятельницы (она тоже была девочка увлекающаяся и очаровательнейшим образом напоминала Катю из «Двух капитанов») БН раздобыл XVIII том «Трудов института Мозга» и там на странице 55 (ссылка сохранилась) обнаружил статью «К вопросу о психофизиологическом действии “пейотля”».

О «видении сквозь стены» в статье не было ни слова, но и то, что там было, поражало воображение не хуже беляевского романа. «Калейдоскопическая смена образов...» «Во много раз повышается интенсивность зрительных и слуховых ощущений...» «Долгое сохранение в сознании зрительных образов при закрытых уже глазах...» (Я цитирую сохранившийся чудом конспект статьи.) «Аккорды на рояле вызывают ощущение вспышек света разных цветов...» «Впечатление полета времени...» «Перемещение магнита у затылка вызывало впечатление полета метеорита. Поворачивание его на 180 градусов вызывало поворачивание на 180 градусов зрительного образа...» Это, конечно же, было прикосновение к Невероятному! Невероятное, оказывается, и на самом деле существовало в этом суконно-скупном мире, и оно было рядом, рукой

подать — тут же, через Неву, простым глазом видно было здание Бехтеревского института.

С тех пор БН надолго заболел проблемами сознания, фантастическими свойствами человеческой психики и прочей паранормальной психологией — хотя и не знал в те поры этого термина (а может быть, его тогда, в конце 40-х, и не существовало вовсе). Преобразования сознания. Пересадки сознания. Возникновение «несуществующего» сознания... В августе 1955 БН написал рассказ «Затерянный в толпе», но тут же оказалось, что это попытка с негодными средствами. Через год-два очередная попытка, рассказ с претенциозным названием «Кто скажет нам, Эвидаттэ?». Здесь уже появляется фамилия Комлин и эксперименты по облучению мозга быстрыми частицами. Однако реакция АН оказалась совершенно недвусмысленной и — увы! — совершенно справедливой.

29.01.58 — АН: «Получил твой вариант и, надо сказать, испытал вовсе не восторг. Знаю и ценю в тебе отвращение к “тривиальности”, но здесь ты хватил через край. Собственно, нетривиальность сюжета — единственное достоинство твоей вещи, причем загнута так смачно, что, несмотря на явную непригодность вещи, я все же некоторое время колебался и раздумывал над тем, как и что в ней можно исправить. Но по зрелом размышлении решил, что такого горбато не исправит даже наш советский колумбарий...»

1.06.58 — АН: «...Какое-нибудь животное после воздействия абвгдеж-лучами ведет себя очень странно — видит за стенами, за углом и т. д. Короче, оно приобретает свойство “видеть” в четвертом измерении. И человек, чтобы проверить это, подвергает такой обработке и свой собственный мозг. И тоже начинает видеть “за углом”. Смелый эксперимент (или эксперимент, фор чууз), героизм советского ученого, руководящая роль и пр. А? И назвать рассказ “За углом”. А?..»

Контуры будущего рассказа обрисовываются все отчетливее.

9.06.58 — АН: «... насколько я знаю по твоим же рассказам, некоторые препараты начинают так влиять на головной мозг, что человек видит все либо в перевернутом виде, либо начинает видеть через непрозрачные преграды и так далее. Так что в проекте “За углом” я только развиваю эту идею.

Можно наделить облученного новыми свойствами — отсутствие необходимости во сне, способность работать сразу несколько дел а ля Вагнер и все прочее. Я не настаиваю на 4-м измерении, как это ни заманчиво, но решительно протестую против миражей. Миражи — патентованная моча, и ты сам это хорошо понимаешь. Не стоит облучать, чтобы только увидеть миражи. Для этого достаточно напиться».

Потом, месяц или два спустя, появился, наконец, вариант, близкий к окончательному. Назывался он «Восьмой за полгода» и был принят журналом «Знание — сила» после изменения названия на «Шесть спичек». Забавно, это оказался чуть ли не самый знаменитый наш рассказ! Множество раз и по самым разным поводам переводился он на разные языки и в самых разных странах. У меня нет достоверной статистики, но, по-моему, он и сейчас остается самым «переводным» из всех рассказов АБС.

«ИСПЫТАНИЕ СКИБР»

Этот рассказик был придуман и в черновом варианте написан АН. Замысел его возник, впрочем, из размышлений по поводу «Забывтого эксперимента».

Начало января 1959 — АН: «... Я все-таки не оставляю мысли о “Забывтом эксперименте”. Психология — психологией, а фантастика без смелейшей фантастики — это тоже не дело. Можно сделать небольшую повестушку а ла “Извне” в трех-четырёх главах, написанных от лица разных людей. <...> И роботы. И робот-матка, который управляет рабочими роботами. И прочее...»

Никакой повести а ла «Извне» мы из «Забывтого эксперимента» делать не стали, а вот о роботах для исследования чужих планет рассказ появился. Первоначально он назывался «Репетиция СРР».

19.03.59 — АН: «... Сейчас я заканчиваю “Репетицию «СРР»» и полагаю прислать ее тебе еще до конца марта. Возвращай, пожалуйста, поскорее. У меня странное чувство: не то это потрясающее говно, не то что-то до странности любопытное, хотя и не в литературном смысле. В общем, посмотришь и исправишь...»

АН ошибался: ничего экстраординарного в этом рассказе не было. После неоднократных авторских доводов и переделок он был опубликован в журнале «Изобретатель и рационализатор». Что характерно.

«ЗАБЫТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

Кажется, весной 1957 года состоялся расширенный Ученый совет Пулковской обсерватории, на котором доктор физматнаук и профессор Николай Александрович Козырев прочел (впервые) свой доклад на тему «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении». Доклад вызвал взрыв профессиональных и полупрофессиональных (журналистских) эмоций и сразу же стал сенсацией, не столько, впрочем, научной, сколько околонучной.

Н. А. Козырев был тогда фигурой в советской астрономии значительной, яркой и даже таинственной. Эта фигура сама по себе достойна большой статьи, а может быть и отдельной книги. Он был другом и научным соперником Амбарцумяна и Чандрасекара. Он отсидел десять лет в сталинских лагерях. Он создал теорию, доказывающую существование нетермоядерных источников излучения звезд. Он рассчитал новейшую и для своего времени совершенно парадоксальную модель атмосферы Венеры. Он обнаружил на Венере грозы с молниями длиной в тысячи километров. В начале 60-х ему удалось получить редчайший и сенсационнейший спектр вулкана, извергающегося на Луне, до той поры считавшейся абсолютно мертвым небесным телом... А в 57-м он объявил: «...принципиально возможен двигатель, использующий ход времени для получения работы. Иными словами, время обладает энергией».

АБС раньше уже использовали полученные Н. А. Козыревым результаты, когда создавали, рисовали, выдумывали мир Страны багровых туч. Разумеется, «эффект Козырева», двигатель, вырабатывающий энергию из хода времени, не мог пройти мимо их внимания. Как и все настоящие НАУЧНЫЕ фантасты, они жадно обшаривали все доступные им околонучные пространства в поисках нетривиальных идей, теорий и, конечно же, сенсаций.

1.06.58 — АН: «...Козырев. Господи, если бы я так представлял себе всю эту механику, как ты, и если бы имел воз-

можность спросить у Козырева, я бы давно уже оформил сюжет, и это было бы как гром с ясного неба для всех фантастов Поднебесной. Ведь на тему “Вечный двигатель” никто никогда не фантазировал, никто себе не мог представить подоплеку научную этого дела. А ты... Эх ты... Заср, одним словом».

Но дело, конечно, было совсем не в том, чтобы «представить себе механику» и проконсультироваться у самого Козырева. Нужна была СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ идея, а не научные детали, тем более что к этому времени уже ясно стало, что сама по себе причинная механика Козырева висит в безвоздушном пространстве, ибо НИ ОДИН из опытов Козырева не казался безукоризненным. (В дальнейшем ВСЕ они были опровергнуты, так что и по сей день теория Козырева остается лишь красивой, но сомнительной гипотезой.)

9.06.58 — АН: «... а через сколько лет начнет излучать энергию маятник весом в сто тонн? Другими словами, нельзя ли передвинуть время действия в двадцать первый век, ну, в худшем случае, в 22-й век? Если можно, то можно что-либо придумать».

Тепло, тепло!.. И вот наконец:

Июль 1958 — АН: «...рассказ называется “Забытый эксперимент”. Рабочий сюжет: в конце нашего века впервые в истории человечества институт неклассических механик поставил опыт, рассчитанный на столетия, — где-то в Сибири, в подземельях поставлен этот самый маятник и запущен. <...> В середине двадцать первого века научный город над этим маятником уничтожен в результате опытов с мезонными реакциями.<...> Последующие 50 лет человечество занято огромным наступлением на природу: строятся искусственные спутники, сооружаются термоядерные станции и пр. О маятнике все забыли. И вот в конце двадцать второго века начинается в Сибири кутерьма. А это место было заблокировано из-за радиации, и на него никто не покушался. Посылается экспедиция и пр. и т. д.

Твоя задача: разработать явления, которые там будут наблюдаться, и степени опасности. А также разработать литературный

сюжет. Смачно — покажем людей двадцать второго века. Они освободились от родимых пятен капитализма, но не свободны от печати адамовой — от наследства своих животных предков. Приключения экспедиции, их недоумение, затем их отзывают: в Ак. Наук найдено объяснение. Можно и гибель описать, а главное — отношение к этой гибели. И дать перспективы. Ты напишешь объяснительную часть и дашь отдельные эпизоды. Потом возьмусь я и перешлю тебе...»

По этому плану все и было реализовано, но значительно позже, в апреле 1959, и с тем отличием, что БН не в силах оказался написать «объяснительную часть» и написал ее АН. Рассказ получился неплохим и даже — для своего времени — хорошим, если бы не эта проклятая объяснительная часть, висевшая на всем остальном, вполне приличном, тексте «гниющим трупом альбатроса».

23.05.59 — АН: «...Вчера вечером мне звонил Варшавский. (Один из редакторов журнала «Знание — сила». — прим. БНС) Он сообщил, что “ЗЭ” всем в редакции очень понравился, в том числе и ему самому по вторичном чтении. Это очень симптоматично: рассказ просто непривычен для этого жанра. Он не традиционен. “Это настоящая художественная литература без скидок. Попробуйте читать Нагибина, если вас в шутку предупредят, что это детектив. Вы будете разочарованы. Вот также и здесь”. Одним словом, претензия одна: нужно либо дать больше в научной части, либо меньше. Я думаю, лучше меньше...»

Никак, никак мы еще не умели тогда преодолеть гнет вековых традиций, хотя лучше любого нашего редактора понимали уже, что каждое научное или даже пусть квазинаучное объяснение рвет любую художественную ткань, словно ржавый тесак.

По-моему, именно в этом рассказе впервые у АБС и вообще в фантастике появляется термин «кибер» — для обозначения любой достаточно сложной многофункциональной «разумной» машины. И именно после опубликования «Забывтого эксперимента», как бы подводя итог целому этапу творчества АБС, научный сотрудник ГАО АН СССР Лидия Камионко разразилась пародией, которая никогда нигде не публиковалась и которую я не могу удержаться чтобы здесь не привести целиком:

СПОНТАННЫЙ ПОИСК

Бр. С-гацкие

Иван Федотович открыл люк и высунулся. Было темно. Вдали виднелся лес. Он был зубчатый и темный. Пахло мокрым. Вездеходный танк стоял перед гигантской котловиной. Он был похож на блоху странного сиреневого цвета. Суставчатые ноги были поджаты и казалось, что гигантское насекомое дремлет. Что-то гудело и похрустывало, шелкали тумблеры и кенотроны.

— Черт, — сказал Иван Федотович, — не позавтракать ли? Ты как, Термус?

Термус мрачно повертел ручки пульта управления и вытащил откуда-то снизу бутылку коньяка.

— Киберов я послал, — сказал он бесцветным голосом. — Надо ждать.

Он налил по стакану себе и Ивану Федотовичу.

— Дерьмо собачье, — сказал Иван Федотович. — Но как выдержал реактор?

— Мезонная плазма, — сказал Термус. — И не то выдержит.

Они сидели в толстой тени танка.

— Киберы возвращаются, — тускло сказал Термус.

Киберы резво бежали, похожие на поросят на восьми ножках. Они повизгивали, поминутно меняя цвет. Они остановились и сразу стали красными.

— Плохо дело, — сказал Иван Федотович.

А в котловине творилось что-то странное. Края ее заволакивались оранжевым туманом, сквозь который сверкали голубые молнии.

— Быстро в машину, — невыразительно сказал Термус.

Двигатель взревел, машина понеслась. Волны тумана захлестывали ее, рушились скалы, извивались красные кольца. Термус потерял сознание. У Ивана Федотовича онемела голова. Звон стоял в ушах. Трескали счетчики.

— Вот сволочь, — подумал Иван Федотович. — Радиация.

Вездеход мчался вперед. Все по бокам слилось в полосы. Промелькнул комар ростом с козла.

— Дьявол, ОТТУДА, — подумал Иван Федотович.

Вездеход начал взрываться. Ивана Федотовича выбросило на черные и скользкие деревья. Он застонал и потерял сознание.

Очнувшись, он почувствовал, что у него оторван левый бок. Рядом лежал обгоревший Термус. Иван Федотович взвалил Термуса на плечи и пополз вперед. Уцелевший кибер деловито шлепал сзади. Он был нежно-голубого цвета.

*Выдержка из Б. С. Э. ***** г. изд.*

ТУМАН ОРАНЖЕВЫЙ. Открыт в ***** г. Термусом и Пафнутьевым. Продукт реакции мезонов, тиратронов, гиперонов, клистронов, экситонов, мегатронов и позитронов. Выделяющаяся энергия равна ***** электрон-вольт. Применяется в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей.

«ЧАСТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ»

В середине 1958 года БН, изучавший тогда для собственного удовольствия и общего развития книгу академика В. А. Фока «Теория пространства, времени и тяготения», наткнулся там в параграфе «О парадоксе часов» на вполне удобопонятный и замечательный расчет, из коего у академика выводилось, что при длительном космическом полете в условиях равноускоренного движения никакого ОТСТАВАНИЯ часов, характерного для знаменитого «парадокса близнецов», не происходит. Более того, получается даже ОПЕРЕЖЕНИЕ! Параграф при этом заканчивался словами: «Не следует, впрочем, забывать, что формула <...> не является общей, а выведена в довольно частных предположениях относительно характера движения».

Идея рассказа напрашивалась сама собою.

21.11.58 — АН: «...Мне очень нравится идея парадокса профессора Фока с растяжением времени. Пусть это не будет строго научно, но надо сделать именно так, как ты предложил: звездолет возвращается из пятнадцатилетнего рейса через сто часов. <...> ...командир звездолета заранее знал, что так получится, и нарочно произвел эксперимент. Пожертвовать для человечества молодостью, научить человечество добегать до звезд быстро — заманчивая идея. Рассказ назвать "Букет роз". Кто-то перед

стартом дарит пилотам букет, они по рассеянности оставляют его в вестибюле и, возвратившись, видят, что букет только начал осыпаться. А ведь для них прошло полтора десятка лет!»

Рассказ этот многократно переделывался обоими авторами — и поодиночке, и совместно. В последнем варианте от «Букета роз» не осталось даже лепестка.

Это один из первых наших рассказов, написанных в новой, «хемингуэевской», манере — нарочитый лаконизм, многозначительные смысловые подтексты, аскетический отказ от лишних эпитетов и метафор. И самый необходимый минимум научных объяснений — тот минимум, без которого читатель бы ничего вообще не понял, да и сама идея «частных предположений» оказалась бы утраченной.

Кажется, здесь в первый и последний раз у АБС появляется текст, написанный от лица героини, женщины, и, кажется, именно в этом рассказе впервые упоминается звездолетчик Горбовский и его корабль «Таризель».

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Сюжет этого рассказа осенил БН в конце лета 1959 года, когда он, проживая в гостинице-общежитии Пулковской обсерватории, яростно и безуспешно боролся с мухами в своем номере. «Да что же это такое! — воскликнул он, наконец, в полном отчаянии. — Кажется, чем больше я их бью, тем больше их становится!» Идея рассказа тут же выкристаллизовалась.

АН получил черновик (под названием ТЧ (??)) в середине сентября и подверг его вполне нелицеприятной, а равно и справедливейшей критике:

«...Сюжет скверен. Как только читатель добирается до того места (стр. 7), где становится понятным, что мухи представляют опасность, он, читатель, немедленно представляет себе, что будет дальше: безнадежная борьба экипажа, стремление взорваться, лишь бы не завезти заразу на Землю и, наконец, полная и безусловная дезинсекция на платформе инсектицидов или ультранасадок. Спасти сюжет могла бы только неожиданная, по возможности юмористическая развязка...»

Юмористической развязки не получилось и у АН, но после переделки рассказ (теперь он назывался «Мухи») безусловно стал лучше, хотя по-прежнему не сверкал и всеми цветами радуги отнюдь не переливался. Рассказ как рассказ. В нем не было ничего для нас нового. Свежести не было. Никакой. Нам явно надоело писать рассказы. Надвигалась эпоха повестей.

«ПУТЬ НА АМАЛЬТЕЮ»

Между прочим, изначально эта маленькая повесть называлась «С грузом прибыл». Она и придумана, и исполнена была как «производственная». Самым ценным для авторов была в ней атмосфера обыденности, повседневности, антигероизма, если угодно.

(Задумывалась она под названием «Страшная большая планета» и в самом своем первом воплощении была мало похожа на себя. Я бы сказал — вообще не похожа.

5.06.57 — АНС: «... срочно выясни мне все данные о Юпитере и его спутниках — все возможное, гипотетическое, предположительное и т.д. Расстояния до Юпитера, размеры, период обращения, атмосферы, природу и т.д. О самом Юпитере — все, начиная с расстояния до Солнца и кончая гипотезами внутреннего строения. Затем, нельзя ли взять Юпитер как наилучший объект для проверки “эффекта Козырева”. Эти все данные необходимы мне СРОЧНО».

31.08.57 — АНС: «...Между прочим, “Страшную большую” буду продолжать, душа с тебя вон. Нужно сделать, обязательно. Пусть будет тривиально, но нельзя отдавать Юпитер таким, как <...>»

8.02.58 — АНС: «...Теперь о “Страшной большой”. План ты предложил отличный, и он нуждается лишь в некоторых доработках. Преимущества его такие: 1) Первая в СССР вещь на тему о межпланетном пиратстве; 2) Отличная преемственность с “СБТ”; 3) Снова это не флаги и стяги во всепланетном масштабе, а только эпизод; 4) Энергичный сюжет; 5) И тк дл.»

К сожалению, упоминаемый выше план не сохранился, — а интересно было бы почитать его сейчас! Там были сражения в

космическом пространстве, там были таинственные «Симмонсы», — настоящие, без дураков, пираты, жестокие, омерзительные и беспощадные, оседлавшие межпланетные коммуникации и готовые нанести удар из космоса по Советским республикам...

Ничего этого в первом варианте «Страшной большой...» не осталось. Да и не могло остаться.

19.03.59 АН пишет: «... наша идея СБП горит синим огнем. НИКАКИХ боев в межпланетном пространстве. Даже смотреть не будут. Надо придумать что-то другое».

Сама государыня Идеологическая Система была против этого варианта. Обойдясь без пиратов и боев в космическом пространстве, АН, конечно, довел-таки его до конца, но после совместного обсуждения и разбора вариант был отвергнут — уже самими соавторами. В окончательный текст ПнА вошли из него только несколько кусочков.)

Кажется, именно «Путь на Амальтею» была первой нашей повестью, написанной в новой, упомянутой выше, манере «хемингуэевского лаконизма». Кроме того, она впервые работалась и самым новейшим способом: оба соавтора сидят у большого обеденного стола в маминной комнате в Ленинграде напротив друг друга, один за машинкой, другой — с листом бумаги и ручкой (для записи возникающих вариантов) и — слово за словом, абзац за абзацем, страница за страницей — ищут, обсуждают и шлифуют «идеальный окончательный текст».

...Конец октября — начало ноября 1959 года. На улице холодно. Трещат поленья в большой кафельной печи. Мама хлопот на кухне, иногда заходит к нам на цыпочках — что-нибудь взять из буфета. Все еще живы и даже, в общем, здоровы. И все впереди. И все получается. Найден новый способ работы, работает удивительно легко, и все идет как по маслу: повесть «С грузом прибыл» и три рассказа — «Странные люди», «Почти такие же», «Скатерть-самобранка» — закончены (или почти закончены) были меньше чем за месяц. Казалось, теперь всегда будет так — легко и как по маслу. Но это нам только казалось.

1960—1962 гг.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПОЛДЕНЬ, XXII ВЕК»

Этот роман задуман был, видимо, в самом начале 1959 года. Вот первое упоминание о нем:

19.03.59 — АН: «Теперь о “Возвращении”. Пришли мне три своих неудачных варианта, хочу поглядеть, по какому пути ты идешь. Все три. У меня сильное подозрение, что ты прешься не по той дорожке — слишком тебя занимает психология. От одной психологии добра не жди. Буду ждать с нетерпением...»

Работа шла трудно. Изначально будущее сочинение мыслилось авторами как большой утопический роман о третьем тысячелетии, но в то же время и как роман приключенческий, исполненный фантастических событий, то есть отнюдь не как социально-философский трактат.

16.12.59 — АН: «...Срочно давай идеи для “Возвращения”. Я более или менее разработал первую часть, но мне нужны хорошие планы для части о “кхацкхах” и, самое главное, для части последней — “Творцы Миров”, о человечестве в канун четвертого тысячелетия. Расстарайся, брат. Часть о перелете к кхацкхам должна быть сильно приключенческая, а последняя часть — психологически-утопическая с диковинами и гвоздиками».

Сохранилась копия заявки, которую в декабре 1959 года АН подал в издательство «Молодая Гвардия». Там сюжет «Возвращения» выглядит так (повторяю — это конец 1959-го: написано несколько вариантов начала, ни один из них не представляется авторам окончательным и даже просто годным к употреблению):

«... В самом начале 21 века одна из первых межзвездных экспедиций, производившая эксперименты по движению на возлесветовых скоростях, выпадает из “своего” времени и возвращается после перелета, продолжавшегося несколько лет, на Землю конца 22 века. Перелет был трудный, выжили только два человека — штурман и врач. Они и являются героями

повести. Оказавшись в коммунистическом будущем, они сначала теряются, не зная, смогут ли стать полезными членами общества, но затем находят свое место в общем строю, спешно наверстывают каждый в своей области все, чего добилось человечество за прошедшие два века, и приглашаются принять участие в дальней звездной экспедиции, имеющей целью найти во Вселенной братьев Человека по разуму. На новейшем по новому времени корабле (гравитабль, оборудованный “двигателями времени”) они достигают довольно отдаленной планетной системы, на одной из планет которой обнаруживают разумную жизнь. Следует встреча с иным человечеством, описание их жизни и приключения на незнакомой планете. Земляне с точки зрения этих людей являются новой, чрезвычайно стремительной и активной формой жизни. “Медленное человечество” по условиям эволюционного развития на их планете очень плохо приспособлено к быстрому и активному прогрессу, настолько плохо, что, несмотря на значительно более длительную историю, чем история человечества на Земле, они едва успели добраться до употребления не очень сложных машин. Тем не менее “медленное человечество” продолжает упорно, хотя и очень замедленными темпами, двигаться вперед. Оказав “братьям по разуму” посильную помощь, земляне, несколько разочарованные, возвращаются на Землю. Они прибывают в Солнечную систему через тысячу лет. Земля изменилась неузнаваемо, все планеты земного типа “выправлены” и стали такими же цветущими и заселенными мирами, как сама Земля. Планеты-гиганты “разрабатываются” в качестве неисчерпаемых источников даровой энергии для грандиозных экспериментов по исследованию структуры пространства и времени и для сверхдальней связи с другими мирами Вселенной. Люди научились “творить” любые вещи из любого вещества. Оказавшись в этом мире, герои снова на некоторое время теряются и снова находят свое место среди многих миллиардов “властелинов” необычайных машин, “творцов” новых миров и замечательных художников. ИДЕЯ. Показать две последовательные ступени развития человечества будущего. Показать неисчерпаемые технические и творческие возможности человечества. Показать, что люди будущего — именно люди, не утратившие ни любви, ни дружбы,

ни страха потерь, ни способности восхищаться прекрасным. Показать некоторые детали коммунизма “во плоти”. Показать несостоятельность “теории” ограниченных возможностей познания для человека, взятого отдельно».

Даже со скидкой на специфику издательской заявки, как некоего особого жанра, по прочтении этого текста приходится признать, что авторы явно так и не уяснили себе сами, что же они хотят писать — приключенческий роман или утопию. Это им еще предстоит выяснить. Методом проб и ошибок.

Сохранились наброски к роману в экспедиционном дневнике БН времен Харбазы и Кинжала — это была экспедиция АН СССР по поиску места для строительства на Северном Кавказе гигантского по тем временам 6-метрового телескопа, специальные наблюдения за качеством изображений производились на горах Харбаз, Кинжал и Бермамыт.

8.07.60: «Хорошо бы вставить в “В” “Г<игантскую> Ф<луктуацию>” как рассказ Горбовского (или Лурье)».

10.07.60: «Заставить героев “В” решать кроссворды 2300 года».

16.07.60: «Хорошо бы ввести в “В” маленькие рассказы из нынешней жизни — для контраста и настроения — а la Хемингуэй или Дос-Пассос. Не позволят, наверное. (Блокада, война — Сталинград, военный коммунизм, 37 год, смерть Сталина, целина, запуск спутника и ракеты...)»

28.07.60: «Юра <шофер>: “Я когда в конце сезона с машиной прощаюсь, каждый раз целую ее в баранку — прощай, милая”. — Использовать для Горбовского или Кондратьева».

12.08.60: «Не забыть в “В”: “Можно я здесь прилягу” — встреча с Горбовским».

«В конце главы VII. Горбовский (вдруг встает): Я вижу, вы томитесь, штурман Кондратьев. Завтра я познакомлю вас с одним человеком. Его фамилия Званцев. Он глубоководник».

«Двое немцев держали политрука, завернув ему руки за спину, а третий срывал с него петлицы, срезал пистолет, рванул ворот. Он выстрелил из автомата, и все четверо упали, а он побежал в кусты. Немцы издевались над политруком. Он не знал, правильно ли сделал. Это были его первые».

13.08.60: «Глава “Собиратели информации”. Марс. Машина, собирающая информацию о прошлом Марса. Информаторы — маленькие машины. Машина начинает вести себя. Вызывают телепата. Лурье едет, едва услышав. Приключения — все в юмористическом духе. ИДЕЯ — бунт машины вещь забавная, а не страшная, ибо машина старается угодить, а не навредить человеку».

15.08.60: «Информаторы — микроскопические машины размером с бактерию. Механические бактерии (и в медицине)».

«Глава “Двое в беде”. Наш пилот попадает в ловушку, туда же попадает еще кто-то, с другой планеты. («И только тут он понял, что это не человек».) Потом они выбираются и расстаются. Тот убегает, страшно спешит, неужели навсегда».

21.08.60: «Коммунизм — сообщество людей и честных с собой, с другими и в работе. Такие люди есть и сейчас».

24.08.60: «Идея: уже сейчас есть люди, годные для коммунизма; такими вы будете».

Там же и тогда же — один из первых планов повести:

«Ч. I

- 1) Возвращение
- 2) Чужие (больница) — сюда вставить историю корабля
- 3) Злоумышленники
- 4) Второе возвращение (одиночество). Идея: не гожусь я для коммунизма
- 5) Свечи перед пультом
- 6) Скатерть-самобранка
- 7) Знакомство с Горбовским (он рассказывает «ГФ»)

Ч. II

- 1) У рифа “Октопус”
- 2) Странные люди
- 3) Улавливатели информации! (Думать!)
- 4) Благоустроенная планета
- 5) Заповедник (звероящеры и акклиматизированные существа, Лурье терпит там крушение)
- 6) Телепато-станция
- 7) Таковыми вы будете...»

«Профессии:

- 1) Ассенизатор

- 2) Дрессировщик
- 3) Телепат
- 4) Десантник
- 5) Глубоководник
- 6) Оператор-информатор («собиратель информации»)
- 7) Учитель».

28.08.60: «Лурье и Кондратьев не первые и не единственные». Две экспедиции так уже возвращались (сто и сто пятьдесят лет назад). Одна погибла в поясе тяжелых систем. Вторая прибыла. Там было трое, и они жили долго и работали как надо и умерли в штанах».

«Вставить в главу “Риф Октопус” дрессированных кальмаров, уничтожающих косаток. И дрессировщика».

По крайней мере половина этих наметок в дело не пошла. Особенно жалко мне сейчас тех самых «маленьких рассказиков из нынешней жизни а la Хемингуэй или Дос-Пассос». Мы называли их — «реминисценции». Все реминисценции эти были во благовремение написаны — каждая часть повести открывалась своей реминисценцией. Однако в Детгизе их отвергли самым решительным образом, что, впрочем, понятно — они были, пожалуй, слишком уж жестоки и натуралистичны. К сожалению, потом они все куда-то пропали, только АН использовал кое-какие из них для «Дьявола среди людей». На самом деле, в «Возвращении» они были бы на месте — они давали ощущение почти болезненного контраста — словно нарочитые черно-белые кадры в пышно-цветном роскошном кинофильме.

В те времена нас часто, охотно и все кому не лень ругали за то, что мы «не знаем реальной жизни». При этом безусловно имелось в виду, что мы не знаем ТЕМНЫХ сторон жизни, нас окружающей, что мы ее идеализируем, что не хватили мы еще как следует шилом патоки, что знать мы пока не знаем, насколько кисла курятина, и что петух жареный нас в маковку еще настоящему не клевал, — словом, совсем как у Александра Исаевича: «...едете по жизни, семафоры зеленые».

Отчасти это было, положим, верно. Жизнь не часто и не систематически загоняла нас в свои мрачные тупики (АНа — почаще, БНа — совсем редко), а если и загоняла, то сама же из этих тупиков милостиво и выводила. Не было в нашей жизни насто-

ящего безысходного невезенья, и с настоящей свинцовой несправедливостью встретиться никому из нас не довелось. На всякое невезенье случалось у нас через недолгое время свое везенье, а несправедливости судьбы и времени мы преодолевали сравнительно легко — как бегун преодолевает барьеры, теряя в скорости, но не в азарте. Как мне теперь ясно, оптимизм наш и даже некоторый романтизм тех времен проистекали отнюдь не из того факта, что в жизни мы редко встречали плохих людей, — просто мы, слава богу, достаточно часто встречали хороших.

Однако, жизнь, нас окружавшая, была такова, что не требовалось обязательно быть ее окровавленной или обгаженной жертвой, чтобы понимать, какая гигантская пропасть лежит между сегодняшним реальным миром и миром Полудня, который мы стремились изобразить.

Не углубляясь излишне в подробности наших биографий, приведу только два маленьких примера, два отрывка из все того же экспедиционного дневника:

«...Вчера читал чабанам краткую лекцию по астрономии. Их было четверо. Двое тупо молчали, и было видно, что они просто ничего не знают, ничего не понимают и об устройстве мира никогда не думают. Один — ветработник — кое-что кумекает, но смутно. Разницы между звездой и планетой для него не существует. Один — чабан — уверен, что Земля плоская, Солнце вращается вокруг нее, а на Луне сидит голый чабан. Он ничего не знает об искусственных спутниках и облете Луны. Это — 52 км от Кисловодска».

Помню, особенно поражало меня тогда, что все они — молодые парни, кончили десятилетку и отслужили действительную. Как? Как ухитрились они сохранить такую первобытную девственность в простейших мировоззренческих вопросах? Каким образом получилось, что титаническая машина общеобразовательного процесса, а тем более машина радио-газетно-телевизионной пропаганды прокрутились над их головами вхолостую?

Второй отрывок — запись, сделанная сразу после того, как наша группа, благодаря отчаянному мастерству шофера нашего Юры Варовенко и поистине большевистскому напору нач группы Виктора Борисовича Новопащенко (Фельдмаршала), провралась по неезженным горным дорогам на мрачную плоскую

гору с характерным названием Кинжал (чуть больше 4000 метров над уровнем моря).

«...Ночью Кинжал прекрасен. Вверху Луна, внизу — облака, под облаками тьма. Днем — Мухаммед. Рассказ о “точках”, где человек спать не может — “начинает брОдить”, с ним случается “произведение” — дУхи, шайтаны. Поверил (м.б. газы?), а пять минут спустя он говорит, что у удавов — уши, “как у криси”. Мысленно развожу руками.

Выехали обратно и попали в лапы к партайгенацвале (инструктор КПСС от Совета Министров Дагестана). Потребовали документы. Взгляд на <фото>карточку — взгляд на Фельдмаршала. Вопросы: “А кто директор в Пулкове? А кто начальник II кабардинского штаба? А кто там парторг? Не м.б., что вы проехали на Кинжал. Это неправда...” Собственно, это основной пункт обвинения: невозможно проехать на Кинжал, они врут. Местная власть — человек с серебряной челюстью и лицом японца; во френче. На столе — “Казбек” (не предлагает), радиоприемник, какие-то списки. Потом извинились (“Вы должны понимать, что живете в Советском Союзе... в такой момент...”), подали армян и лепешки — мы гордо отказались...»

Да, мы (с АН) очень хорошо понимали, что живем именно в Советском Союзе и именно в «такой момент», и тем не менее мысль написать утопию — с одной стороны вполне а la Ефремов, но в то же время как бы и в противопоставление геометрически-холодному, совершенному ефремовскому миру, — мысль эта возникла у нас самым естественным путем. Нам казалось чрезвычайно заманчивым и даже, пожалуй, необходимым изобразить МИР, В КОТОРОМ БЫЛО БЫ УЮТНО И ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ — не вообще кому угодно, а именно нам, сегодняшним, выдернутым из этого Советского Союза и из этого самого «момента».

Мы тогда еще не уяснили для себя, что возможны лишь три литературно-художественные концепции будущего: Будущее, в котором хочется жить; Будущее, в котором жить невозможно; и Будущее, Недоступное Пониманию, то есть расположенное по «ту сторону» сегодняшней морали.

Мы понимали, однако, что Ефремов создал мир, в котором живут и действуют люди специфические, небывалые еще люди,

которыми мы все станем (может быть) через множество и множество веков, а значит, и не люди вовсе — модели людей, идеальные схемы, образцы для подражания, в лучшем случае. Мы ясно понимали, что Ефремов создал, собственно, классическую утопию — Мир, каким он ДОЛЖЕН БЫТЬ. (Это — особая концепция Будущего, лежащая за пределами художественной литературы, в области философии, социологии и научной этики — не роман уже, а скорее слегка беллетризованный трактат.)

Нам же хотелось совсем другого, мы отнюдь не стремились выходить за пределы художественной литературы, наоборот, нам нравилось писать о людях и о человеческих судьбах, о приключениях человек в Природе и Обществе. Кроме того, мы были уверены, что уже сегодня, сейчас, здесь, вокруг нас живут и трудятся люди, способные заполнить собой Светлый, Чистый, Интересный Мир, в котором не будет (или почти не будет) никаких «свинцовых мерзостей жизни».

Это было время, когда мы искренне верили в коммунизм, как высшую и совершеннейшую стадию развития человеческого общества. Нас, правда, смущало, что в трудах классиков марксизма-ленинизма по поводу этого важнейшего этапа, по поводу, фактически, ЦЕЛИ ВСЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ сказано так мало, так скупо и так... неубедительно.

У классиков сказано было, что коммунизм это общество, в котором нет классов. ...Общество, в котором нет государства. ...Общество, в котором нет эксплуатации человека человеком... Нет войн, нет нищеты, нет социального неравенства...

А что, собственно, в этом обществе ЕСТЬ? Создавалось впечатление, что есть в том обществе только «знамя, на коем начертано: от каждого по способностям, каждому по его потребностям».

Этого нам было явно недостаточно. Перед мысленным взором нашим громоздился, сверкая и переливаясь, хрустально чистый, тщательно обеззараженный и восхитительно безопасный мир, — мир великолепных зданий, ласковых и мирных пейзажей, роскошных пандусов и спиральных спусков, мир невероятного благополучия и благоустроенности, уютный и грандиозный одновременно, — но мир этот был пуст и неподвижен, словно роскошная декорация перед Спектаклем Века, который все никак не начинается, потому что его некому играть, да и пьеса пока еще не написана...

В конце концов мы поняли, кем надлежит заполнить этот сверкающий, но пустой мир: нашими же современниками, а точнее, лучшими из современников — нашими друзьями и близкими, чистыми, честными, добрыми людьми, превыше всего ценящими творческий труд и радость познания... Разумеется, мы несколько идеализировали и романтизировали своих друзей, но для такой идеализации у нас были два вполне реальных основания: во-первых, мы их любили, а во-вторых, их было, черт побери, за что любить!

Хорошо, говорили нам наши многочисленные оппоненты. Пусть это будут такие как мы. Но откуда мы возьмемся там в таких подавляющих количествах? И куда денутся необозримые массы нынешних хамов, тунеядцев, кое-какеров, интриганов, бездельных болтунов и принципиальных невежд, гордящихся своим невежеством?

Это-то просто, отвечали мы с горячностью. Медиана колоколообразной кривой распределения по нравственным и прочим качествам сдвинется со временем вправо, как это произошло, скажем, с кривой распределения человека по его физическому росту. Еще каких-нибудь три сотни лет назад средний рост мужика составлял 140—150 сантиметров, мужчина 170 сантиметров считался чуть ли не великаном, а посмотрите, что делается сейчас! И куда делись все эти стосорокасантиметровые карлики? Они остались, конечно, они встречаются и теперь, но теперь они редкость, такая же редкость, как двухметровые гиганты, которых три-четыре века назад не было вовсе. То же будет и с нравственностью. Добрый, честный, увлеченный своим делом человек сейчас относительно редок (точно так же, впрочем, как редок и полный отпетый бездельник и абсолютно безнадежный подлец), а через пару веков такой человек станет нормой, составит основную массу человеческого общества, а подонки и мерзавцы сделаются раритетными особями — один на миллион.

Ладно, говорили оппоненты. Предположим. Хотя никому не известно, на самом деле, движется ли она вообще, эта ваша «медиана распределения по нравственным качествам», а если и движется, то вправо ли? Ладно, пусть. Но что будет двигать этим вашим светлым обществом? Куда дальше оно будет развиваться? За счет каких конфликтов и внутренних противоречий? Ведь развитие — это борьба противоположностей, ведь все мы марк-

систы (не потому, что так уж убеждены в справедливости исторического материализма, а скорее потому, что ничего другого, как правило, не знаем). Ведь никаких фундаментальных («антагонистических») противоречий в вашем хрустальном сверкающем мире не осталось. Так не превращается ли он таким образом в застойное болото, в тупик, в конец человеческой истории, в разновидность этакой социальной эвтаназии?

Это был вопрос посерьезнее. Напрашивался ответ: непрерывная потребность в знании, непрерывный и бесконечный процесс исследования бесконечной Вселенной — вот движущая сила прогресса в Мире Полудня. Но это был в лучшем случае ответ на вопрос: чем они там все будут заниматься, в этом мире. Изменение же и совершенствование СОЦИАЛЬНОЙ структуры Мира из процедуры бесконечного познания никак не следовало.

Мы, помнится, попытались было выдвинуть теорию «борьбы хорошего с лучшим», как движущего рычага социального прогресса, но вызвали этим только взрыв насмешек и ядовитых замечаний — даже Би-Би-Си, сквозь заглушки, проехала по этой нашей теории, и вполне справедливо.

Между прочим, мы так и не нашли ответа на этот вопрос. Гораздо позднее мы ввели понятие Вертикального прогресса. Но во-первых, само это понятие осталось у нас достаточно неопределенным, а во-вторых, случилось это двадцатью годами позже. А тогда эту зияющую идеологическую дыру нам нечем было залатать, и это раздражало нас, но в то же время и побуждало к новым поискам и дискуссионным изыскам.

В конце концов мы пришли к мысли, что строим отнюдь не Мир, который Должен Быть, и уж конечно же не Мир, который Обязательно Когда-нибудь Наступит, — мы строим Мир, в котором НАМ ХОТЕЛОСЬ бы ЖИТЬ и РАБОТАТЬ, — и ничего более. Мы совершенно снимали с себя обязанность доказывать ВОЗМОЖНОСТЬ и уж тем более — НЕИЗБЕЖНОСТЬ такого мира. Но, разумеется, при этом важнейшей нашей задачей оставалось сделать этот мир максимально правдоподобным, без лажи, без логических противоречий, восторженных сусальностей и социального сюсюканья.

Впрочем, ясное понимание этих довольно простых соображений пришло к нам значительно позже, добрый пяток лет спустя,

когда мы работали над тем текстом романа, который помещен в этом вот издании. Первоначальный же текст (опубликованный в 1962 году) еще носил в себе все признаки исходного замысла: показать, как вживается человек сегодняшнего дня в мир Светлого Будущего. Впоследствии мы от этой затеи фактически отказались, мы просто рисовали панораму мира, пейзажи мира, картинку из жизни мира и портреты людей, его населяющих.

Но уже тогда, в 60-м, мы решительно отказались от сквозного сюжета в пользу мозаики, так что роман оказался разбит на отдельные, в общем-то не связанные между собою, главки, значительная часть которых представляла собою совершенно посторонние друг другу рассказы, написанные в разное время и по самым разным поводам. В частности:

— «Поражение» — рассказ задуман был еще в июне 1959 года. (АН: «Вот научная сторона: яйцо. Не куриное яйцо, и не твое, а кибернетическое яйцо, семя. Представь себе устройство, в которое заложена программа и возможности развития. Создано оно для того, чтобы обеспечивать межпланетникам уют при прибытии в иной мир...») Рассказ этот многократно переделывался и шлифовался, был опубликован вначале под названием «Белый конус Алаида», потом в сборнике «Шесть спичек» под названием «Поражение» и окончательно угнезвился в романе «Полдень, XXII век» под тем же названием.

— «Странные люди» — воплощение идеи Десантников, «людей, которые сбрасываются на планеты, которые по разным причинам невозможно обследовать приборами». Идея эта возникла тогда же, в июне 1959 года. Позже (в ноябре 1959-го) был написан рассказ с этим названием, который опубликовать нигде не удалось. Главный редактор «Знание — сила» его решительно отверг, начальству «Смены» не понравился «этот странный героизм», а в «Юности» рассказ вызвал «недоумение, смешанное с легким испугом и робким удовольствием». Впрочем, Катаев его отверг, и больше мы его никуда не давали, а потом вставили в «Возвращение» под названием «Десантники».

— «Почти такие же» — первый черновик был закончен в конце ноября 1959-го. Неоднократно переписывался, как са-

мостоятельный рассказ был опубликован в сборнике «Путь на Амальтею», и уже только в 1967 году вошел в роман.

— «Скатерть-самобранка» — закончен в конце 1959-го, отвергнут «Огоньком», потом вставлялся в «Возвращение» 1962-го и 67-го, был выброшен (за нехваткой места) в переиздании 75-го... В общем, как говорится, непростая судьба довольно простенького рассказика.

— «Ночь на Марсе» — первый вариант упоминается под названием НС (я не помню, как расшифровывается эта аббревиатура, помню только, что сначала рассказ назывался «Ночь в пустыне»), закончили мы его в январе 1960-го. После ряда доводок, переделок и доработок он пошел в журнал «Знание — сила» и окончательно утвердился в романе в 67-м году.

— «Благоустроенная планета» написана была в апреле 1960-го как совершенно самостоятельный рассказ, попала сначала в альманах «Мир приключений», а уж потом только в «Возвращение», где оказалась очень на месте.

— «О странствующих и путешествующих» — рассказ написан был, видимо, в конце 62-го года. Неоднократно менял названия: «Мигранты», «Мещанин» и, наконец, «О странствующих...» (Это последнее название есть строчка из старинной молитвы: «О странствующих, путешествующих, страждущих, недугующих, плененных и о спасении их Господу помолимся!...») Слава богу, из редакторов никто этой идеологической диверсии не заметил, а если и заметил, то промолчал). Прежде чем попасть в новый вариант «Полдня...» рассказ этот был опубликован в одном из ежегодных сборников фантастики.

И так далее. В издании 1967 года всего 19 рассказов, и 9 из них написаны были, так сказать, «сами по себе» и лишь позже оказались (после соответствующей обработки и доводки — приходилось менять героев, а иногда и время действия) включены в роман.

Вообще-то говоря, сам роман вырос из небольшого незаконченного рассказика (составившего впоследствии основное содержание главки «Перестарок»). Назывался этот рассказик «Возвращение», по той простой причине, что речь в нем шла о возвращении на Землю XXII века людей века двадцать первого, ставших так сказать жертвой известного «парадокса близнецов».

Впоследствии, общаясь между собой, мы для простоты называли будущий роман «Возвращение», потому только, что это (посредственное) название у нас уже было, а настоящее (хорошее) название надо было еще придумать. И в авторской заявке будущий роман фигурировал как «Возвращение». И в планы редакционной подготовки его занесли под этим же названием. Так что когда пора настала книжку выпускать, произошло то, что происходило неоднократно и до того, и после: выяснилось, что во всех бумагах, списках, планах и прочих важных документах название уже зафиксировано, и теперь его не вырубить топором.

А у нас уже было наготове название, которое нам действительно нравилось. Его придумал АН, прочитавший к тому времени роман Эндрю Нортон «Рассвет — 2250 от Р.Х.» — роман о Земле, еле еле оживающей после катастрофы, уничтожившей нашу цивилизацию. «Полдень, XXII век» — это было точно, это было в стиле самого романа, и здесь, кроме всего прочего, был элемент полемики, очень для нас, тогдашних, важный. Братья Стругацкие принимали посильное участие в идеологической борьбе. Сражались, так сказать, в меру своих возможностей на идеологическом фронте. (Господи! Ведь мы тогда и в самом деле верили в необходимость противопоставить мрачному, апокалиптическому, махрово-реакционному взгляду на будущее наш — советский, оптимистический, прогрессивный, красноречивый и единственно верный!)

Новое название разрешено нам не было, но удалось-таки его втиснуть на обложку хотя бы и в качестве лишь подзаголовка. Впрочем все это — пустяки. Нас ожидали неприятности покруче. Начались они с совершенно невинного сообщения АН (письмо от 23.03.62):

«...“Возвращение” по новому постановлению о порядке опубликования научно-фантастических и научно-художественных произведений отправлено цензурой в Главатом и вернется в Издательство в понедельник или во вторник, после чего выйдет в ближайший месяц...»

Не могу удержаться и передаю все дальнейшие события в строго хронологическом порядке.

8.04.62 — АН: «...“Возвращение” все еще томится в застенках Главатома...»

12.04.62 — АН: «...Новостей никаких. “В” все еще томится в гнусных застенках цензуры...»

25.04.62 — АН: «...Из Главатома молчат. Возможна эвакуация главы о телепатах...»

7.05.62 — АН: «...Так вот — неприятность № 1. Группа цензоров предложила Детгизу воздержаться от издания “Возвращения”. Главбух Детгиза уже робко приближался <...> в рассуждении — с кого и как содрать расходы по производству. Если ты собираешься раздражаться тирадами, сбереги дыхание. Цензоры тебя не слышат...»

12.05.62 — АН: «... С “В” пока без изменений. Условия таковы, что сейчас пока предпринять ничего невозможно...»

29.05.62 — АН: «Даю информацию. 1. Вчера из Главатома пришло “В” с резолюцией, дословно такой: “В повести А. и Б. Стругацких секретных сведений не содержится, но она написана на низком уровне (!) и не рекомендуется к опубликованию”. Так-то. Сейчас же Нина Беркова отнесла эту резолюцию в Главлит. Но главлитского начальства не было на месте, и как отнесется Главлит к этой идиотской цидуле — неизвестно. Самое смешное — что книга наша Главлитом уже подписана, но из-за гнусной рекомендации ее опять задержали и могут вообще не выпустить...»

Для новых россиян считаю нужным пояснить: Главлит, то есть Главное управление по делам литературы, — это была та организация, которая ведала охраной государственной и военной тайны в литературе, дабы никакая секретная информация не проскочила в книгу лопухого — а может быть и злонамеренного! — писателя и не сделалась достоянием врага. До сих пор у нас была всего парочка мелких столкновений с цензурой — например, когда в «Извне» цензор потребовал, чтобы изменили все упоминавшиеся там номера автомашин — на любые, но другие. Как было сказано выше, в отношении «Возвращения» Главлит до сих пор вроде бы не питал никаких враждебных намерений, но вот теперь возник некий Главатом, организация новая, с иголочки, с неясными пока задачами, но, видимо, с немалыми амбициями, раз с ходу берет на себя право судить об уровне художественного произведения.

3.06.62 — АН: «...С “В” перемен никаких. Главлит не хочет подписывать разрешение к печати, пока не выяснится

окончательно, что имели в виду подонки из Главатома, когда отписали, что повесть “на низком уровне”. Этим теперь занимается главный редактор Детгиза тов. Компаниец В. Г.».

7.06.62 — АН: «...Все без перемен...»

И вот, наконец... Дальше я даю фактически полный текст письма АН, отправленного в интервале 8.06—12.06 (точной даты нет). Это обширный текст, но он, по-моему, представляет определенный интерес для каждого, кому захочется погрузиться в ностальгически-светлые, истинно советские времена, когда был Порядок и все было Нормально. Особенно считаю нужным подчеркнуть, что это — июнь 1962 года, совсем недавно отгремел XXII съезд КПСС, на дворе — разгар Первой Оттепели, «Один день Ивана Денисовича» вот-вот выдвинут на Ленинскую премию... и вообще — так вольно дышится в возрожденном Арканаре!

«...Вот и дождались светлого праздника: “Возвращение” из Главлита получено, сдано в производство и выйдет, по утверждению нач. производственного отдела, в июле. Т.е. выйдет сигнал.

Но получилось все так, что мне даже не радостно. Мерзость случившегося беспредельна. Вот как это было:

“Возвращение возвращения”

Действующие лица:

А. Стругацкий — автор.

Н. Беркова — редактор. <Нина Матвеевна Беркова — наш редактор на протяжении долгих лет, сделавшая очень много для АБС в Детгизе.— БНС>

Компаниец — главный редактор Детгиза.

Пискунов — директор Детгиза.

Калинина — чин в Главлите.

Кондорицкий — крупный чин в Главатоме.

Калинин, Ильин — его референты.

Как ты помнишь, “В” было передано в Главатом по требованию Главлита в середине марта. В середине апреля, после троекратного напоминания о том, что книгу нельзя задерживать так долго, что стоит производство и т.д., а также о том, что от них требуется всего-навсего сообщить, содержатся ли

в книге закрытые сведения по атомной энергетике, в Детгиз пришла официальная бумага за подписью Кондорицкого: “Закрытых сведений в книге не содержится, но книгу печатать нельзя, потому что она написана на низком уровне”. Уповая на благоразумие Главлитовских работников, мы переслали бумагу к ним. Действительно, через день Калинина сообщила, что книгу она несмотря ни на что подписала, но чтобы отдать ее нам, она должна знать, что думает по поводу этой резолюции Детгизовское начальство. И вот тут-то и началось. Пискунов сказал: “Очень сожалею, но из-за одной книжки я ссориться с государственным учреждением не буду”. Компаниец вместо того, чтобы позвонить Калининой и сказать, что плевал он на мнение Главатомщиков, стал звонить к Кондорицкому, чтобы выяснить, что тот имел в виду под словами “написано на низком уровне”. Но тут оказалось, что сам Кондорицкий книгу не читал, а читал ее Калинин, а Калинин уехал в отпуск и вернется к середине июня. Так тянулось две недели. Беркова неумоимо сидела на Компанийце и заставляла его говорить с Кондорицким серьезно. В конце концов Кондорицкий не выдержал и сознался, что развернутое заключение на книгу, написанное Калининным, имеется, но дать он нам его не может, потому что оно секретное. “Хорошо, — сказал Компаниец, — я пришлю к вам своего сотрудника Беркову, пусть она посмотрит на это заключение”. Кондорицкому ничего не оставалось, кроме как согласиться. И вот Беркова отправилась в Главатом. Кондорицкий ее, конечно, не принял, а выслал ей второго своего референта, Ильина. Тот, рассыпаясь в извинениях, сказал, что заключение показать ей не может, оно-де не для посторонних глаз, но что он его помнит и может сообщить основные положения. Дальше произошел следующий разговор (имей в виду, что тут нет ни слова преувеличения):

Б е р к о в а: Итак, что имеется в виду, когда вы утверждаете, что книга на низком уровне?

И л ь и н: Книга очень сложна.

Б.— В чем же? Она содержит закрытые сведения?

И.— Нет, что вы...

Б.— В ней есть утверждения, противоречащие нашим взглядам на науку и технику?

И.— Нет, об этом в заключении не сказано.

Б.— Так при чем же здесь низкий уровень?

И.— Имеется в виду низкий литературный уровень.

Б.— Об этом судить не Главатому, но что же все-таки имеется в виду?

И.— В книге употребляется много сложных научно-технических терминов, которые непонятны рядовому читателю.

Б.— Например?

И.— Ну... всякие. Вот, например, есть термин, который, может, и употребляется среди узких специалистов, но сам он непонятен.

Б.— Какой именно?

И.— Сейчас вспомню. А... Абра... Ага, вот. Абракадабра. (Помнишь, Боб? «Это не сигналы, это абракадабра»)

Б. (сдерживаясь) — Это не научный термин. А еще?

И.— Еще, например, есть термин... Ки... Кибер.

Б.— Вы слышали про такую науку — кибернетику?

И.— Слышал.

Б.— Вот это слово от этой науки.

И.— Вот я и говорю — не всем будет понятно.

Б.— И все остальные ваши замечания в таком вот духе?

И.— Да.

Беркова вернулась в Детгиз, доложила Компанийцу, тот сейчас же позвонил в Главлит, и через час мы с Берковой пошли в Главлит и забрали "В". Сразу же отдали в производство. Вот и все.

Вот и все, что я хотел тебе сообщить. Здорово, правда?

Почти три месяца нервогруппки, остановка производства, убыток в несколько тысяч...

Это было наше первое серьезное столкновение с машиной цензуры, причем, заметьте, не с Главлитом даже, а лишь с дочерним его филиалом. Мы тогда с огромным облегчением перевели дух, но мы и представления еще не имели, каково это бывает НА САМОМ ДЕЛЕ.

Вообще надо признать, что «Возвращение» совсем немного пострадало от идеологической правки и — только на редакционно-издательском уровне. Высшие инстанции, слава богу, не вме-

шивались. Во-первых, не та была фигура АБС, чтобы ими интересовались идеологические вожди, во-вторых, к фантастике относились в те времена вполне пренебрежительно, да и сами времена, повторяю, были чертовски либеральные.

Однако парочку-другую «лакейских» абзацев мне-таки пришлось из повести выбросить, готовя ее к настоящему изданию. И первой же жертвой чистки стала многометровая статуя Ленина, установленная над Свердловском XXII века по настоятельной просьбе высшего редакционного начальства — таким образом начальство хотело установить преемственность между сегодняшним и завтрашним днем. Мы, помнится, покривились, но вставку сделали. Кривились мы не потому, что имели что-нибудь против вождя мировой революции, наоборот, мы были о нем самого высокого мнения. Но от всех этих статуй, лозунгов и развевающихся знамен несло таким идеологическим подхалимажем, что естественное наше чувство литературного вкуса было покороблено и оскорблено.

Внимательному читателю надлежит иметь в виду, что подготавливая это издание, я выбросил из старого «советского» текста все то, что мы оказались ВЫНУЖДЕННЫ вписать, но оставил в неприкосновенности все идеологические благоглупости, которые вставлены были авторами добровольно, так сказать, по зову сердца. Как-никак, а мы были людьми своего времени, наверное, не самыми глупыми, но уж отнюдь и не самыми умными среди своих современников. Слова «коммунизм», «коммунист», «коммунары» — многое значили для нас тогда. В частности, они означали светлую цель и чистоту помыслов. Нам понадобился добрый десяток лет, чтобы понять суть дела. Понять, что «наш» коммунизм и коммунизм товарища Суслова — не имеют между собой ничего общего. Что коммунист и член КПСС — понятия, как правило, несовместимые. Что между советским коммунистом и коммунизмом в нашем понимании общего не больше, чем между очковой змеей и интеллигенцией. Впрочем, все это было еще впереди. А тогда, в самом начале 60-х, слово «коммунизм» было для нас словом прозрачным, сверкающим, АБСОЛЮТНЫМ, и обозначало оно МИР, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.

«Возвращением» начался длинный цикл романов и повестей, действующими лицами которых были «люди Полудня».

В романе был создан фон, декорация, неплохо продуманный мир — сцена, на которой сам Бог велел нам разыгрывать представления, которые невозможно было по целому ряду причин и соображений разыграть в декорациях обычной, сегодняшней, реальной жизни. Мир Полудня родился, и авторы вступили в него, чтобы не покидать этого мира долгие три десятка лет.

«СТАЖЕРЫ»

Я не берусь назвать, даже с точностью до полугода, время, когда впервые мы заговорили об этом романе. В письме АН от 25.11.1960 я нашел строчку: «...Пора приступить и к “Стажеру”. Я начну с начала декабря. <...> сейчас я освободился и готов к работе».

Судя по всему тогда же была подана некая заявка на новый роман под таким названием в «Молодую Гвардию», но начать работу никак не удавалось — мы еще всю продолжали работать над «Возвращением».

19.03.61 — АН: «...Теперь о стажерстве. Ты зря взялся сейчас за восьмое небо. Давай все-таки делать стажера. Идея вот какая. Надо написать хорошую историю пацана-стажера (безотносительно к его профессии) в столкновении с людьми и обстоятельствами. Фантастика — только фон. Соответственно создать и новый план на фоне плана формального, который у нас уже есть. Дать образ удачливого смелого веселого парня. Можно или нет? Я вот-вот начну. Если хочешь, пиши “Седьмое небо”, а я “Стажера”. А потом — взяли! — и сделали сразу две вещи. А?»

Из этого письма следует, что у нас уже был тогда некий план нового романа и что этот роман назывался «Стажер». Как выглядел этот план, этой истории нам не сохранила, а вот что касается «Седьмого (оно же — восьмое) неба», то так мы называли сначала роман о магах XX века, впоследствии получивший условное название «Маги», а в конце концов — «Понедельник начинается в субботу».

Вообще-то, надо признать, что со «Стажером» этим мы не слишком долго запрягали, но еще быстрее ехали — 1–2 мая в Ленинграде «составили более или менее окончательный план

“Стажера” — весьма развернутый и с эмбрионами эпизодов». А уже 23.07 АН пишет: «...“Стажера” в “Мол. Гв.” сдал, пока, конечно, никаких известий нет». Роман был написан единым духом и за один присест в мае–июне 1961-го. Это было время, когда нам ничего не стоило писать по десять–двенадцать страниц черновика в день и так — на протяжении месяца, каждодневно, без уик-эндов и перерывов. Хорошее было время!

Впрочем, работа с романом (или повестью? никогда не понимал этих градаций) на самом деле продолжалась еще долго, до самого конца 1961-го. Осенью 61-го произошла смена названия. Насколько я помню, дело было в том, что многочисленные рецензенты (как штатные, так и доброхоты) дружно упрекали нас за то, что роман получился у нас про что угодно, но никак не про мальчика-стажера. Коренное же изменение названия было невозможно по причинам, уже привычным: заявка, редакционный план, издательский план — везде стоит уже черным по белому «Стажер», менять нельзя, ни-ни, ни в коем случае, и думать не можете!.. «Букву, однако же, одну только букву изменить можно?» «Н-ну...разве что одну... пожалуй...» В результате появились «Стажеры» — роман (или, все-таки, повесть?) о Стажерах Будущего — Быкове, Жилине, Юрковском и иже с ними.

Закончив его (или — ее), авторы еще не подозревали тогда, что их интерес к освоению космоса как к важнейшему занятию людей ближнего будущего, уже окончательно исчерпан и они никогда более не вернутся к этой теме. «Главное — на Земле», — они вложили этот лозунг в уста своему герою, не догадываясь, что это на самом деле отныне их собственный лозунг — и ныне, и присно, и до скончания веков, аминь!

Странное произведение. Межеумочное. Одно время мы очень любили его и даже им гордились — нам казалось, что это новое слово в фантастике, и в каком-то смысле так оно и было. Но очень скоро мы выросли из него. Много из того, что казалось нам в самом начале 60-х очевидным, перестало быть таковым. Очевидным стало нечто противоположное.

Я никогда не забуду одного эпизода, связанного со «Стажерами». Одно из самых стыдных воспоминаний моей молодости. Выступал я как-то в школьной библиотеке (было это вскоре после выхода «Стажеров», скорее всего, зимой 62/63 г.). Сначала

все шло как обычно — гладко и скучно, а потом вдруг встал какой-то мальчик лет двенадцати и спросил (невинное дитя): «Почему у вас в романе рабочие из капиталистических стран не едут все в СССР? Ведь у нас хорошо, а у них там плохо?» Это был удар в поддых. Действительно, почему? Понятно, почему они не едут к нам сейчас — чего ради, да и кто их сюда пустит: граница на замке. Понятно, почему в страну Жилина и Юры Бородина не рвутся трактористы Джойсы — чего им делать в стране победившего социализма? Но рабочие! Братья по классу! Почему? Как мы могли прохлопать эту очевидную проблему?.. Я неприлично онемел, а потом принялся лепетать какую-то чушь, которой теперь уже, слава богу, не помню. Положение спасла председательствующая учительница. Опытный педагог не потерялась ни на секунду: «Борис Натанович хочет сказать, — сообщила она, — что рабочие капиталистических стран любят свою родину и хотят бороться за социализм у себя дома». Борис Натанович тихонько вякнул что-то там в том смысле, что так, мол, оно и есть, и вечер вопросов и ответов покатылся дальше уже без неприятных толчков и ухабов.

Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера — важнее, но зато факты — сильнее. И если факты начинают подтачивать веру — беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Не знаю, что проще, но хорошо знаю, что хуже. В «Стажерах» Стругацкие меняют, а сразу же после — ломают свое мировоззрение. Они не захотели стать фанатиками. И слава богу.

«В НАШЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ»

Этот маленький рассказ был написан, видимо, в конце 60-го или в самом начале 1961 года — явно под впечатлением успехов в изучении Луны советскими космическими ракетами. Впервые он упоминается в письме АН от 19.03.61 в достаточно грустном контексте: «...ВНИВ не идет. Никто не желает брать. Некоторые рассматривают его как неудачную шутку. Послал в известинскую “Неделю”, но оттуда уже две недели ни слуха, ни духа».

Так его и не взяли. Никто. А жаль: для своего времени рассказик выглядел вполне нетривиально. Ведь тогда главным в

фантастике (в НАУЧНОЙ фантастике) считалось — сверкнуть новой оригинальной научной или околонучной идеей. Мы и сами такую установку оценивали достаточно высоко. Но чудились нам уже тогда в фантастике еще и другие, неуловимые пока, тенденции, и может быть, работая над этим рассказом, мы тщились выразить неясное, но уже живущее в нас предчувствие другой литературы, которую сами же пять-шесть лет спустя мы определим как «реалистическую фантастику», или «фантастический реализм». Тогда же, в начале 60-х, получив всеобщий и беспросветный отказ, мы сунули этот рассказик в папку с архивами и обнаружили его там спустя лет двадцать пять, когда печатать его нам было уже неинтересно.

Первые две страницы утрачены безвозвратно. Мы собирались, собирались, да так и не собрались их восстановить. Впрочем, насколько я помню, ничего особенно интересного там не происходит: сидит у себя на даче мученик-редактор, клянет дурную погоду и правит скучнейшую рукопись...

1961—1963 гг.

«ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

Эта небольшая повесть сыграла для нас огромную роль, она оказалась переломной для всего творчества ранних АБС. Сами авторы дружно считали, что «настоящие Стругацкие» начинаются именно с этой повести.

«Попытка...» это наше первое произведение, где пересеклись Прошлое, Настоящее и Будущее, и мы впервые поняли, насколько эффективно и продуктивно — в чисто литературно-художественном плане — такое пересечение.

Это первое наше произведение, где мы открыли для себя тему Прогрессоров, хотя самого термина этого не было еще и в памяти, а был только вопрос: следует ли высокоразвитой цивилизации вмешиваться в дела цивилизации отсталой, — даже и с самыми благородными намерениями? Вопрос, по тем временам отнюдь не тривиальный, ибо любой идеологически подкованный гражданин СССР (включая братьев Стругацких, естественно)

уверен был, что вмешиваться да, надо, и даже необходимо, и всегда был готов привести пример Монголии, «которая из феодализма, благодаря бескорыстной помощи СССР, перескочила прямо в социализм».

Далее, это первое наше произведение, в котором мы ощутили всю сладость и волшебную силу ОТКАЗА ОТ ОБЪЯСНЕНИЙ. Любых объяснений — научно-фантастических, логических, чисто научных или даже псевдонаучных. Как сладостно, оказывается, сообщить читателю: произошло ТО—ТО и ТО—ТО, а вот ПОЧЕМУ это произошло, КАК произошло, откуда что взялось — НЕ СУЩЕСТВЕННО! Ибо дело не в этом, а совсем в другом, в том самом, о чем повесть.

И наконец, это было первое наше произведение, к которому мы пришли через жесточайший кризис, который казался нам абсолютно непреодолимым целых десять мучительных часов.

Первые попытки разработать сюжет относятся к январю 1962 года. Далекая планета, население на уровне рабовладельческого строя, остатки техники, брошенные здесь неряшливой сверхцивилизацией в незапамятные времена (между прочим, похоже на «Пикник», не правда ли?). Попытки жрецов и «античных» ученых исследовать и применить эту технику. А потом — прибытие на планету землян-коммунаров (в сопровождении дружественных гуманоидов из системы Сириуса-А) и — война, страшная, беспощадная, бессмысленная война, когда с одной стороны применяется сверхтехника, кое-как, методом тыка, освоенная невежественными жрецами, а с другой — не менее мощная техника землян и «сириусян», не понимающих, что происходит, но вынужденных отбиваться изо всех сил.

Черновик писался в феврале—марте 1962 года. Причем, помнится, поначалу мы не особенно даже спешили. Нам казалось, что план разработан вполне удовлетворительно, конец, правда, неясен пока, но разных эпизодов напридумано предостаточно, надобно только сесть и написать. Поэтому предварительно мы не спеша сделали рассказ под названием «Дорожный знак» (ставший впоследствии прологом к «Трудно быть богом»), а потом уже только перешли к повести.

У этой повести не было пока никакого названия, даже условно-кодowego, и в рабочем плане ее теперь отсутствовали какие-либо

сириусяне, а была там компания молодых ребят ХХII века — два парня и девушка, — которые отправились на малоисследованную планету — поохотиться и вообще размять кости. С ними летел странный, скучный и диковатый дядька, напросившийся чуть ли не в последний момент. Этот дядька на самом деле был специалист по экспериментальной психологии, и намерен он был на протяжении всего путешествия тайно производить разнообразные психологические опыты над своими молодыми, ничего не подозревающими спутниками. Изюминка сюжета состояла как раз в том, что разные странные события на борту (эксперименты дядьки-психолога) плавно переходят в странные и страшные события на самой планете. Этот сюжетный ход мы спустя десяток лет не без успеха применили в фантастическом детективе «Дело об убийстве» («Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»). Здесь же ход не сработал. Почти сразу возник некий эмоциональный, а потом и логический тупик, писать стало трудно, вязко, тяжело, скучно. Написано было уже две или три главки, страниц двадцать, но ощущение тупика не проходило, оно усиливалось с каждой страницей. Стало ясно, что писать этот сюжет мы не хотим. Писать его неинтересно. Какое, черт побери, нам дело до всех этих молодых бездельников и до психологических над ними экспериментов? И при чем тут этот скучный зануда-дядька? И на кой черт нам вообще все эти войны, затеянные по недоразумению людьми, до которых нам нет никакого дела?.. Работа остановилась.

АН в отчаянии откупорил бутылку водки и хлопнул полстакана без всякой закуски. БН, как человек, к спиртному безразличный, мрачно бродил по комнате и садил сигарету за сигаретой. Оба молчали. Говорить было не о чем. И незачем. Это был тупик — абсолютный, замшелый, ледяной и тесный тупик. Первый настоящий тупик в нашей рабочей биографии.

Конечно, нам и раньше приходилось сталкиваться с «сопротивлением материала». Еще бы! И не раз, и не два. Возникало как бы временное удушье, хотелось вырваться, прорваться, пробиться, потому что там, за непроходимой чащей неподатливого эпизода, был свет, видна была дорога, обрисовывалась ясная и привлекательная сюжетная цель. В таких случаях мы просто бросали работу над заупрямившимся эпизодом, огибали его и двигались дальше. Мы уже научились оставлять в тылу мелкие,

несущественные очаги сопротивления. «Вперед! — восклицал обычно в таких случаях АН.— Вперед! Они уже выдыхаются!» (Он цитировал «Сталинградскую», кажется, «битву» — фильм, безусловно лакейский и лживый, но не без впечатляющих режиссерских находок.) И не было еще случая, чтобы такая вот тактика «танковых клиньев» давала осечку. Недобитый эпизод впоследствии либо без труда приводился в соответствие с основным текстом, либо отбрасывался вовсе, ибо смотрелся ненужным на фоне уже выстроенной вещи.

Однако на этот раз мы столкнулись с явлением, нам доселе неизвестным. Перед нами была стена — мрачная и абсолютно непроницаемая, и за этой стеной ничего не было видно. Это была УТРАТА ЦЕЛИ. Нам стало неинтересно все, что мы до сих пор придумали, и уже написанные 10–20 страниц никуда нас не вели и ни для чего не годились.

Ощущение безысходности и отчаяния, обрушившееся на меня тогда, я запомнил очень хорошо — и сухость во рту, и судорогу мыслей, и болезненный звон в пустой башке... Но совершенно не помню, кого из нас осенила эта гениальная идея: сделать дядьку-психолога пришельцем из прошлого. «...А как он туда попал, в ХХІІ век?» — «А никак. Тошно ему здесь у нас стало, он и сбежал...» — «Правильно! Прямо с допроса сбежал!» — «Или из концлагеря!...» Непроницаемая стена рухнула, и как сразу сделалось ясно и светло вокруг, несмотря на глубокую уже ночь на дворе! Как стало нам снова интересно, как заработала фантазия, как предложения посыпались — словно из творческого рога изобилия! Весь план тут же, в ту же ночь, за несколько часов оказался вывернут наизнанку, выстроен заново и засверкал неопикуемыми возможностями и перспективами... Великая вещь творческий кризис! Переживать его нестерпимо мучительно, но когда он пережит, ты словно заново рождаешься и чувствуешь себя, словно каменный питон Каа, сбросивший старую кожу, — всемогущим, великим и прекрасным...

Повесть написана была на одном дыхании — за две-три недели — и получила название «Возлюби ближнего», очень скоро, впрочем, переделанное на «Возлюби дальнего». В первом варианте у нее вовсе не было эпилога, кончалась она расстрелом колонны равнодушных машин из скорчера (называвшегося тогда

бластером) и отчаянием Саула, осознавшего, что нет на свете силы, способной переломить ход истории. Потом (когда повесть попала уже в редакцию) вдруг выяснилось, что «возлюби дальнего» — это, оказывается, цитата из Ницше. («Низ-зя!») Тогда мы придумали эпилог, в котором Саул Репнин бежит из СОВЕТСКОГО концлагеря и заодно переменяет название на «Попытку к бегству». Этот номер у нас, впрочем, тоже не прошел — концлагерь пришлось все-таки переделать в немецкий (по настоящему требованию начальства в «Молодой Гвардии»), но даже и после всех этих перемен и переделок повесть смотрелась недурно и оказалась способна произвести небольшую сенсацию в узких литературных кругах. Даже такой ревнитель строгой, без всяких вольностей, научной фантастики, как Анатолий Днепров, объявил ее, помнится, гениальной: так ему понравился необъяснимый и необъясненный сквозьвременной скачок героя, — скачок, не имеющий никакого внутреннего обоснования, кроме самого того ни на есть главного: сюжетно-смыслового.

«Можно нарушать любые законы — литературные и реальной жизни, — отказываться от всякой логики и разрушать достоверность, действовать наперекор всему и всем мыслимым-немыслимым предписаниям и правилам, если только в результате достигается главная цель: в читателе вспыхивает готовность к сопереживанию, — и чем сильнее эта готовность, тем большие нарушения и разрушения позволяет совершать автору». Так, или примерно так, сформулировали мы для себя итоговый опыт работы с «Попыткой...», и этот вывод не раз в дальнейшем позволял нам «выходить из плоскости обычных (в том числе и собственных) представлений» — как происходило это и в «Понедельнике», и в «Улитке», и в «Граде обреченном», и в «Отягощенных злом» много-много лет спустя...

«ДАЛЕКАЯ РАДУГА»

В августе 1962 года в Москве состоялось первое (и, кажется, последнее) совещание писателей и критиков, работающих в жанре научной фантастики. Были там идейно нас всех нацеливающие доклады, встречи с довольно высокими начальниками (например,

с секретарем ЦК ВЛКСМ Леном Карпинским), дискуссии и культурные междусобойчики, а главное — был там нам показан по большому секрету фильм Крамера «На последнем берегу».

(Фильм этот сейчас почти забыт, а зря. В те годы, когда угроза ядерной катастрофы была не менее реальна, чем сегодня угроза, скажем, повальной наркомании, фильм этот произвел на весь мир такое страшное и мощное впечатление, что в ООН было даже принято решение — показать его в так называемый День Мира во всех странах одновременно. Даже наше высшее начальство, скрепя сердце, пошло на этот шаг и показало «На последнем берегу» в День Мира в одном (!) кинотеатре города Москвы. Хотя, могло бы, между прочим, и не показывать вовсе: как известно, нам, советским, чужда была и непонятна тревога за ядерную безопасность — мы и так были уверены, что никакая ядерная катастрофа нам не грозит, а грозит она только гниющим империалистическим режимам Запада.)

Фильм нас буквально потряс. Картина последних дней человечества, умирающего, почти уже умершего, медленно и навсегда заволакиваемого радиоактивным туманом под звуки пронзительно-печальной мелодии «Волсинг Матилда»... Когда мы вышли на веселые солнечные улицы Москвы, я, помнится, признался АН, что мне хочется каждого встречного военного в чине полковника и выше — лупить по мордам с криком «прекратите, ...вашу мать, прекратите немедленно!» АН испытывал примерно то же самое. (Хотя при чем тут, если подумать, военные, даже и в чине выше полковника? В них ли было дело? И что они, собственно, должны были немедленно прекратить?)

Разумеется, это было совершенно, однозначно и безусловно исключено — написать роман-катастрофу на сегодняшнем и на нашем материале, а так мучительно и страстно хотелось нам сделать советский вариант «На последнем берегу»: мертвые пустоши, оплавленные руины городов, рябь от ледяного ветра на пустых озерах, черные землянки, черные от горя и страха люди и — тоскливая мелодия-молитва над всем этим: «Летят утки, летят утки да два гуся...» Мы обдумывали все возможные и невозможные варианты такой повести (у нее уже появилось название — «Летят утки»), строили эпизоды, рисовали мысленные картинки и пейзажи и понимали: все это зря, ничего не выйдет и никогда — при нашей жизни.

Почти сразу же после совещания мы поехали вместе в Крым и там, наконец, придумали, как все это можно сделать: просто надо уйти в мир, где нет ядерных войн, но — увы! — все еще есть катастрофы. Тем более что этот мир у нас уже был придуман, продуман и создан заранее и казался нам немногим менее реальным, чем тот, в котором мы живем.

Первое документированное упоминание:

15.09.62 — АН: «Думаю насчет “Катастрофы”. <...> ...придумал такой эпизод: к моменту возникновения Волны многие жители находятся в поле, на необозримых просторах планеты. Их бросаются разыскивать. И вот двое — он и она — кэмпуют где-то на берегу речки <...> узнав, в чем дело, возвращаться отказываются. Зачем? — говорят они. Мы здесь дождемся. Все равно не нам дадут место в ракете. А им напоминают, что в городе много работы по отправке и переоборудованию ракеты, каждая пара рук нужна. И вот проблема: возвращаться им тошно. Перед лицом неизбежной смерти человеком овладевает пассивность. Как им поступить?..»

БН тоже упорно размышлял на заданную тему. Сохранились заметки. Разнообразные варианты реакции различных героев на происходящее; готовые эпизоды; подробный портрет-биография Роберта Склярова; подробный план «Волна и ее развитие», любопытное «штатное расписание» Радуги:

- «500 человек: 100 детей (ясли, д/с, школа)
- 20 воспит<ателей>
- 40 ученых по нуль-проблеме
- 20 планетологов
- 50 строителей
- 50 пицевиков-ассенизаторов
- 20 административный аппарат, координация (включая связистов, инж<енеров> стат<истических> машин и пр.)
- 50 туристов без опр<еделенных> занятий
- 20 человек искусства (писатели, художники, композиторы, привлеченные тишиной и спокойствием)
- 20 летчиков-испытателей, изнывающих от безделья
- 10 врачей-профессионалов»

Почти все эти заметки позднее пошли в дело: мы были готовы писать, материала хватало, можно было начинать — и мы начали. Первый черновик «Далекой Радуги» начат и закончен был в ноябре–декабре 1962-го, но потом мы еще довольно долго возились с этой повестью — переписывали, дописывали, сокращали, улучшали (как нам казалось), убрали философские разговоры (для издания в альманахе издательства «Знание»), вставляли философские разговоры обратно (для издания в «Молодой Гвардии»), и длилось все это добрых полгода, а может быть, и дольше.

Потом было несколько ругательных статей в журналах и довольно много писем от читателей. В том числе — от ученика 4-го класса Славы Рыбакова, который был очень недоволен тем, что в повести все гибнут, и предлагал свой вариант концовки: «Припишите там что-нибудь, вроде: Вдруг в небе послышался грохот. У горизонта показалась черная точка. Она быстро неслась по небосводу и принимала все более ясные очертания. Это была “Стрела”. Вам лучше знать. Пишите, пожалуйста, больше». Я привожу здесь цитату из этого письма по двум причинам. Во-первых, она демонстрирует типичное отношение части читателей к повести, а во-вторых, ученик 4-го класса Слава Рыбаков со временем вырос и превратился в знаменитого писателя Вячеслава Рыбакова, имя которого известно сейчас любому читателю фантастики.

Впрочем, главный вопрос, связанный с «Далекой Радугой», это вопрос о Горбовском. Погиб ли Горбовский в смертоносном пламени Волны или все-таки уцелел? Если уцелел, то как ему это удалось? Если погиб, то почему во многих последующих повестях он появляется как ни в чем не бывало? Существует несколько вариантов ответа на эти вопросы. Но правду следует искать в записи, которую АН делает в своем дневнике 23 ноября 1962 года, в пятницу. Там он упоминает «Радугу» как «нашу последнюю повесть о “далеком” коммунизме, которую мы пишем».

Я наткнулся сейчас на эту запись и вздрогнул. А ведь и верно! Ведь и на самом деле говорили мы тогда, в конце 62-го, друг другу: «Все! Хватит об этом. Надоело! Хватит о выдуманном мире, главное на Земле — даешь сугубый реализм!..» И ведь так (или почти так) оно и получилось: закончив ее, мы в течение долгих последующих лет не возвращались больше в Мир Полудня, — аж до самого 1970 года.

Если, впрочем, не считать «Трудно быть богом» и «Обитаемого острова». Но можно ли считать эти романы произведениями о Светлом Будущем, да и вообще о будущем?

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

Можно ли считать этот роман произведением о Светлом Будущем? В какой-то степени, несомненно, да. Но в очень незначительной степени. Вообще, в процессе работы над ним этот роман претерпел изменения весьма существенные. Начинаясь он (на стадии замысла) как веселый, чисто приключенческий, мушкетерский:

1.02.62 — АН: «...Ты уж извини, но я вставил <в Детгизовский план 1964 года> “Седьмое небо”, повесть о нашем соглядатае на чужой феодальной планете, где два вида разумных существ. Я план продумал, получается остросюжетная штука, может быть и очень веселой, вся в приключениях и хохмах, с пиратами, конкистадорами и прочим, даже с инквизицией...»

Сама по себе идея «нашего соглядатая на чужой планете» возникла, еще когда мы писали «Попытку к бегству». Там мельком упоминается некто Бенни Дуров, который как раз и работал таким соглядатаем на Тагоре. Идея промелькнула (не до того было), но не пропала бесследно. Теперь вот дошла очередь и до нее, хотя мы еще плохо себе представляли все возникающие здесь возможности и перспективы.

Почему название «Седьмое небо» отобрано было у ненаписанной повести о магах и оказалось передано ненаписанной же повести «о нашем соглядатае», становится ясно из письма АН, большой отрывок из которого, я не могу удержаться, чтобы здесь не воспроизвести, дабы читатель мог на конкретном примере представить себе, насколько первоначальные авторские планы и заметки способны отличаться от окончательного воплощения идеи. Даты на письме нет, относится оно, видимо, к середине марта 1963.

«...Существует где-то планета, точная копия Земли, можно с небольшими отклонениями, в эпоху непосредственно перед Великими географическими открытиями. Абсолютизм, веселые пьяные мушкетеры, кардинал, король, мятежные

принцы, инквизиция, матросские кабаки, галеоны и фрегаты, красавицы, веревочные лестницы, серенады и пр. И вот в эту страну (помесь Франции с Испанией или России с Испанией) наши земляне, давно уже абсолютные коммунисты, подбрасывают “кукушку” — молодого здоровенного красавца с таким вот кулаком, отличного фехтовальщика и пр. Собственно, подбрасывают не все земляне сразу, а скажем, московское историческое общество. Они однажды забираются к кардиналу и говорят ему: “Вот так и так, тебе этого не понять, но мы оставляем тебе вот этого парнишку, ты его будешь оберегать от козней, вот тебе за это мешок золота, а если с ним что случится, мы с тебя живого шкуру снимем”. Кардинал соглашается, ребята оставляют у планеты трансляционный спутник, парень по тамошней моде носит на голове золотой обруч с вмонтированным в него вместо алмаза объективом телепередатчика, который передает на спутник, а тот — на Землю картины общества. Затем парень остается на этой планете один, снимает квартиру у г-на Бонасье и занимается тасканием по городу, толканием в прихожих у вельмож, выпитием в кабачках, дерется на шпагах (но никогда не убивает, за ним даже слава такая пошла), бегаёт за бабами и пр. Можно написать хорошо эту часть, весело и смешно. Когда он лазает по веревочным лестницам, он от скромности закрывает объектив шляпой с пером.

А потом начинается эпоха географических открытий. Возвращается местный Колумб и сообщает, что открыл Америку, прекрасную как Седьмое Небо страну, но удержаться там нет никакой возможности: одолевают звери, невиданные по эту сторону океана. Тогда кардинал вызывает нашего историка и говорит: помоги, ты можешь многое, к чему лишние жертвы. Дальше понятно. Он вызывает помощь с Земли — танк высшей защиты и десяток приятелей с бластерами, назначает им randevu на том берегу и плывет на галеонах с солдатами. Прибывают туда, начинается война, и обнаруживается, что звери эти — тоже разумные существа. Историки посрамлены, их вызывают на Мировой Совет и дают огромного партийного дрозда за баловство.

Это можно написать весело и интересно, как “Три мушкетера”, только со средневековой мочой и грязью, как там пахли женщины, и в вине была масса дохлых мух. А подсудно

провести идею, как коммунист, оказавшийся в этой среде, медленно, но верно обращается в мещанина, хотя для читателя он остается милым и добрым малым...»

Не правда ли, это уже почти ТО, но притом же и не совсем вроде бы ТО, а в некотором смысле даже и вовсе НЕ ТО. Такого рода планы у АБС было принято называть «крепким основательным скелетом». Наличие подобного скелета было необходимым (хотя и недостаточным) условием начала настоящей работы. По крайней мере в те времена. Позже появилось еще одно чрезвычайно важное условие: надо было обязательно знать, «чем сердце успокоится» — каков будет конец задуманного произведения, последняя пограничная вешка, к которой и надлежит тянуть линию сюжета. В начале 60-х мы еще не понимали, насколько это важно, а потому частенько рисковали и вынуждены были по ходу дела менять сюжет целиком. Как это и произошло с «Седьмым небом».

«Крепкий основательный скелет» романа, предложенный АН, был без всякого сомнения хорош и обещал замечательную работу. Но, видимо, уже на ранней стадии обсуждения между соавторами возникли какие-то различия в подходах, еще за стол они не сели, чтобы взяться за работу, а уже возникла дискуссия, деталей которой я, разумеется, не помню, но общий ход ее можно проследить по отрывкам из писем АН. (Письма БН вплоть до 63 года включительно, напоминаю, утрачены — увы! — безвозвратно.)

17.03.63 — АН: «... Всю программу, тобою намеченную, мы выполним за пять дней. Предварительно же мне хочется сказать тебе, бледнопухлый брат мой, что я за вещь легкомысленную — это о “Седьмом небе”. Чтобы женщины плакали, стены смеялись, и пятсот негодяев кричали: “Бей! Бей” и ничего не могли сделать с одним коммунистом...»

Последняя фраза — слегка измененная цитата из любимой нами трилогии Дюма, а вообще-то речь идет, видимо, о том, в каком именно ключе работать новый роман. У БНа есть какие-то свои соображения по этому поводу. Какие именно, можно догадаться из следующего отрывка.

22.03.63 — АН: «...О “Наблюдателе” (так я переименовал «Седьмое небо»). Если тебя интересует бьющая кругом ключом жизнь, то ты будешь иметь полную возможность

ывалить свои внутренности в “Дни Кракена” и в “Магов”. А мне хотелось создать повесть об абстрактном благородстве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить. Хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. На коленях прошу, мерзавец! Шпаг мне, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!..»

Вся эта переписка шла на весьма интересном внутривнутриполитическом фоне. В середине декабря 1962 года (точной даты не помню) Хрущев посетил выставку современного искусства в Московском Манеже. Науськанный (по слухам) тогдашним главою идеологической комиссии ЦК Ильичевым, разъяренный вождь, великий специалист, сами понимаете, в области живописи и изящных искусств вообще, носился (опять же по слухам) по залам выставки с криками: «Засранцы! На кого работаете? Чей хлеб едите? Пидарасы! Для кого вы все это намазали, мазила?» Он топал ногами, наливался черной кровью и брызгал слюной на два метра. (Именно тогда и именно по этому поводу родился известный анекдот, в котором озверевший Никита-кукурузник, уставившись на некое уродливое изображение в раме, орет не своим голосом: «А это что за жопа с ушами?» На что ему, трепещая, отвечают: «Это зеркало, Никита Сергеевич...»)

Все без исключения средства массовой информации немедленно обрушились на абстракционизм и формализм в искусстве, словно последние десять лет специально готовились, копили материал, того только и ждали, когда же им, наконец, разрешат высказаться на эту животрепещущую тему.

И это было еще только начало. «17 декабря в Доме приемов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с деятелями литературы и искусства». Брежнев, Воронов, Кириленко, Козлов, Косыгин, Микоян, Полянский, Сулов, Хрущев и другие крупнейшие в стране литературоведы попеременно с искусствоведами в штатском собрались в одном месте, чтобы «высказать свои замечания и пожелания по вопросам развития литературы и искусства».

Соображения были высказаны. Пресса уже не ревела, она буквально выла. «КОМПРОМИССОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ» «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА» «СВЕТ ЯСНОСТИ» «ОКРЫЛЯЮЩАЯ ЗАБОТА» «ИСКУССТВО И ЛЖЕИСКУС-

СТВО» «ВМЕСТЕ С НАРОДОМ» «НАША СИЛА И ОРУЖИЕ» «ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ, ЕСТЬ ТАКОЕ ИСКУССТВО!» «ПО-ЛЕНИНСКИ» «ЧУЖИЕ ГОЛОСА»...

Словно застарелый нарыв лопнул. Гной и дурная кровь заливали газетные страницы. Все те, кто последние «оттепельные» годы попритих (как нам казалось), прижал уши и только озирался затравленно, как бы в ожидании немислимого, невозможного, невероятного возмездия за прошлое, — все эти жуткие порождения сталинщины и бериевщины, с руками по локоть в крови невинных жертв, все эти скрытые и открытые доносчики, идеологические ловчицы и болваны-доброхоты, все они разом взвились из своих укрытий, все оказались тут как тут, энергичные, ловкие, умелые гиены пера, аллигаторы пишущей машинки. **МОЖНО!**

Но и это было еще не все. 7 марта 1963 в Кремле «обмен мнениями по вопросам литературы и искусства» был продолжен. К знатокам изящных искусств добавились Подгорный, Гришин, Мазуров. Обмен мнениями длился два дня. Газетные вопли еще усилились, хотя, казалось, усиливаться им было уже некуда. «ВЕЛИЧИЕ ПОДЛИННОГО ИСКУССТВА» «ПО-ЛЕНИНСКИ!» (Уже было раньше, но теперь — с восклицательным знаком) «ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА — ПУСТОТА, РАЗЛОЖЕНИЕ, СМЕРТЬ» «ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО — ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА» «НЕТ «ТРЕТЬЕЙ» ИДЕОЛОГИИ!» «ТВОРИТЬ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА» «ПРОСЛАВЛЯТЬ, ВОСПЕВАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ ГЕРОИЗМ» «ТАК ДЕРЖАТЬ!» (Положительно, число восклицательных знаков нарастает) «ПОИСКИ В ПОЭЗИИ, ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ» «СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД!»

Солнце светит, но не греет, это не беда,
Разлилось половодье, полая вода.
К радости для каждого крупного скота
Оттепель настала, да не та!

Это Юлий Ким откликнулся — немедленно и как всегда ядовито и безукоризненно точно:

Полая вода, весенняя вода,
Мутная, беспутная, распутная вода...
Хватайте невода, бросайте кто куда,
Тащите, братцы, рыбку из пруда!
МОЖНО!

Из всех магнитофонов, во всех интеллигентских кухнях звенели его куплеты, исполняемые нарочито приторным и даже ласковым голоском:

Ах, какое времечко! Не времечко — мечта!
Как раскукарекались повсюду кочета!
Ведь такого пения, какое на дворе,
Я не слышал даже в «Октябре»!

(Под кочетами здесь подразумеваются безусловно соратники и сподвижники В. Кочетова, тогдашнего главного редактора махрового просталинского журнала «Октябрь», отъявленного сталиниста, антисемита и мракобеса, которого даже начальству приходилось время от времени одергивать, дабы сохранить приличия «в глазах международного рабочего движения».)

Начали с художников-модернистов — с Фалька, Сидура, Эрнста Неизвестного, а потом, никто и ахнуть не успел, а уже взялись и за Эренбурга, за Виктора Некрасова, за Андрея Вознесенского, за Александра Яшина и за фильм «Застава Ильича». И уж все кому не лень прошлись ногами по Аксенову, Евтушенко, Сосноре, Ахмадулиной и даже — но вежливо, с реверансами! — по Солженицыну. (Солженицын все еще оставался в фаворе у Самого. Но вся остальная свита, боже ж мой, как все они его ненавидели и боялись! Милостив царь, да немилостив псарь.)

Во благовременье гнойная волна докатилась и до нашей околицы, до тихого нашего цеха фантастов. 26 марта 1963 состоялось расширенное совещание секции научно-фантастической и приключенческой литературы Московской писательской организации. Присутствовали: Георгий Тушкан (председатель секции, автор ряда приключенческих произведений и НФ-романа «Черный смерч»), А. П. Казанцев, Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Роман Ким (автор повестей «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Девушка из Хиросимы», «По прочтении сжечь»), Сергей Жемайтис (заведующий НФ-редакцией в «Молодой

гвардии»), Евгений Павлович Брандис и многие другие. Вот характерный отрывок из подробного отчета АН по этому поводу:

«... И вот тут началось самое страшное. Выступил Казанцев. Первая половина его выступления была целиком посвящена Альтову и Журавлевой. Вторую я уже не слушал, потому что мучился, не зная, как поступить. Вот тезисы того, что он говорил. Альтовское направление в фантастике, слава богу, так и не получило развития. И это неудивительно, потому что в массе советские фантасты — люди идейные. Альтов на совещании в 58 году обвинял «нас с Днепровым» в том, что мы (Днепров и он, Казанцев) присосались к единственной, всем надоевшей теме — столкновение двух миров. Нет, товарищ Альтов, эта тема нам не надоела, а вы — безыдейный человек (стенографистки пишут наперебой. Вообще все стенографировалось). В «Полигоне «Звездная река»» Альтов выступает против постулата скорости света Эйнштейна. Но в тридцатых годах фашисты мучали и преследовали Эйнштейна именно за этот постулат. Все вещи Альтова так или иначе играют на руку фашизму (стенографистки пишут! Не думай, я не преувеличиваю, мне самому казалось, что я во сне). Мало того, все вещи Альтова так далеки от жизни, настолько пусты и лишены жизненного содержания, что можно смело назвать его абстракционистом в литературе, это мазила, дегтемаз и прочее.

Дальше я не слушал. У меня холодный пот выступил. Все сидели, как мертвые, уставясь в стол, никто ни звука не проронил, и вот тогда я понял, что в первый раз в жизни столкнулся с Его Величеством Мстящим Идиотом, с тем, что было в 37-м и 49-м. Выступить с протестом? А если не поддержат? Откуда мне знать, что у них за пазухой? А если это уже утверждено и согласовано? Трусость мною овладела страшная, да ведь и не даром, я же боялся и за тебя. А потом я так расщипал, что трусость исчезла. И когда Казанцев кончил, я заорал: Разрешите мне! Тушкан, недовольно на меня поглядев, сказал: Ну что вам, ну говорите.

Стругацкий: При всем моем уважении к Александру Петровичу я решительно протестую. Альтова можно любить и не любить, я сам его не очень люблю, но подумайте,

что вы говорите. Альтов — фашист! Это же ярлык, это же стенографируется, мы не в пивной сидим, это черт знает что, это просто непорядочно! (Это я помню, но я еще что-то нес, минут на пять.)

Секунда мертвой тишины. Затем железный голос Толи Днепрова: Я со своей стороны должен заявить, что не слышал, чтобы Альтов обвинял меня в пристрастии к теме борьбы двух миров. Он обвинял меня в том, что действующие лица у меня не люди, а идеи и машины. Ким: И не абстракционист он никакой. Наоборот, когда был у меня и увидел картину такого-то, очень ее ругал.

Затем все зашумели, заговорили, Казанцев начал объяснять, что он хотел сказать, а я трясся от злости и больше ничего не слышал. И когда все закончилось, я встал, выругался (матом, кажется) и сказал Голубеву: пойдём отсюда, здесь ярлыки навешивают. Громко сказал. Мы пошли вниз, в кабак, и там выдули бутылку настойки какой-то».

Вот теперь уже, кажется, всем без исключения сестрам было наконец-то выдано по серьгам.

Впрочем, никого не посадили. Никого даже не исключили из Союза Писателей. Более того, посреди гнойного потока разрешили даже построить две или три статьи с осторожными возражениями и изложением своей (а не партийной) точки зрения. Возражения эти тотчас же были затоплены и затоптаны, но факт их появления уже означал, что намерения бить насмерть у начальства нет.

И вот уже сам величайший советский драматург Анатолий Софронов (на коем пробы, извините, негде поставить) высокомерно успокаивает перепугавшихся: «Сейчас кое-кто высказывает опасения: как бы не было перегибов, как бы не “зажали” кого-то и т.д. Да не “зажмут”, не надо бояться. У нас Советская власть добрая, партия у нас добрая, человечная. Работать надо честно, добросовестно, тогда будет все в порядке».

Но нам было не столько страшно, сколько тошно. Нам было мерзко и гадко, как от тухлятины. Никто не понимал толком, чем вызван был этот стремительный возврат на гноище. То ли власть отыгрывалась на своих за болезненный щелчок по носу, полученный совсем недавно во время Карибского кризиса. То ли по-

ложение в сельском хозяйстве еще более ухудшилось, и уже предсказывались на ближайшее будущее перебои с хлебом (каковые и произошли в 1963-м). То ли просто пришло время показать возмнившей о себе «интеллигузии», кто в этом доме хозяин и с кем он — не с Эренбургамы вашими, не с Эрнстами вашими Неизвестными, не с подозрительными вашими Некрасовыми, а — со старой доброй гвардией, многожды проверенной, давным-давно купленной, запуганной и надежной.

Можно было выбирать любую из этих версий или все их вместе. Но одно стало нам ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий. Не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них коммунизм — это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства.

Осознание этих простых, но далеко для нас не очевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами «веселая, мушкетерская» история стала смотреться совсем в новом свете, и БНу не потребовалось долгих речей, чтобы убедить АНа в необходимости существенной идейной коррекции «Наблюдателя». Время «легкомысленных вещей», время «шпага и кардиналов», видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки средневековья.

Из дневника АН:

«...12–16 <апреля 1963> был в Ленинграде. <...> Составили приличный план “Наблюдателя” (бывш. «Седьмое небо»)»... 13.08.63.

«...В июне написано “Трудно быть богом”. Сейчас колеблемся, неизвестно, куда девать. В Детгиз не возьмут. М.б. попробовать в “Новый мир”?»

В «Новый мир» давать мы так и не попробовали, но вот в толстый журнал «Москва» — попытались. Безрезультатно. Рукопись была нам оттуда возвращена с рецензией, помнится, снисходительно-отрицательной — «Москва», оказывается, фантастики не печатает.

Вообще, роман вызвал разноречивые отклики у читающей публики. В особенности озадачены были наши редакторы. В этом романе все им было непривычно, и масса пожеланий (вполне дружеских, между прочим, а вовсе не злобно-критических) была высказана. По совету И. А. Ефремова мы переименовали министра охраны короны в дон Рэбу (раньше он у нас был дон Рэбия — анаграмма, слишком уж незамысловатая, по мнению Ивана Антоновича). Более того, нам пришлось основательно поработать над текстом и добавить целую большую сцену, где Арата Горбатый требует у героя молнии и не получает их. Поразительно, что роман этот прошел через все цензурные рогатки без каких-либо особых затруднений. То ли тут сыграл роль либерализм тогдашнего «молодогвардейского» начальства, то ли точные действия замечательного редактора нашего, Белы Григорьевны Клюевой, а может быть, дело было вовсе в том, что шел некий откат после недавней идеологической истерики — враги наши переводили дух и благодушно озирали вновь захваченные ими плацдармы и уголья.

Впрочем, по выходе книги реакция определенного рода последовала незамедлительно. Пожалуй, это был первый случай, когда по Стругацким ударили из крупных калибров. Академик АН СССР Ю. Францев обвинил авторов в абстракционизме и сюрреализме, а почтенный собрат по перу В. Немцов — в порнографии. К счастью, это были пока еще времена, когда разрешалось отвечать на удары, и за нас в своей блестящей статье «Миллиарды граней будущего» заступился И. Ефремов. Да и политический градус на дворе к тому времени поуменьшился. Словом, обошлось. (Идеологические шавки еще иногда потягивали на этот роман из своих подворотен, но тут подоспели у нас «Сказка о Тройке», «Хищные вещи века», «Улитка на склоне» — и роман «Трудно быть богом» на их фоне вдруг, неожиданно для авторов, сделался даже неким образцом для подражания. Стругацким уже выговаривали: что же вы, вот возьмите «Трудно быть богом» — ведь можете же, если захотите, почему бы вам не работать и дальше в таком ключе?..)

Роман, надо это признать, удался. Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие — крутую фантастику. Тинэйджерам нравился острый сюжет, интеллигенции — диссидентские идеи и анти тоталитарные выпады. На протяжении доброго десятка лет по всем социологическим опросам роман этот делил первое-второе рейтинговое место с «Понедельником». На сегодняшний день (октябрь 1997 года) он вышел в России общим тиражом свыше 2 миллионов 600 тысяч экземпляров, и это — не считая советских изданий на иностранных языках и на языках народов СССР. А среди зарубежных изданий он до сих пор занимает прочное второе место сразу за «Пикником». По моим данным, он вышел за рубежом 34-мя изданиями в семнадцати странах. В том числе: в Болгарии (4 издания), Испании (4), ФРГ (4), Польше (3), ГДР (2), Италии (2), США (2), Чехословакии (2), Югославии (2) и т.д.

«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»

Повесть о магах, ведьмах, колдунах и волшебниках задумана была нами давно, еще в конце 50-х. Мы совершенно не представляли себе сначала, какие события будут там происходить, знали только, что героями должны быть персонажи сказок, легенд, мифов и страшилок всех времен и народов. И все это — на фоне современного научного института со всеми его онерами, хорошо известными одному соавтору из личного опыта, а другому — из рассказов многочисленных знакомых-научников. Долгое время мы собирали шуточки, прозвища, смешные характеристики будущих героев и записывали все это на отдельных клочках бумаги (которые потом, как правило, терялись). Реального же продвижения не происходило: мы никак не могли придумать ни сюжета, ни фабулы.

А практически все началось с дождливого вечера на Кисловодской Горной станции, где дружно изнывали от скуки два сотрудника Пулковской обсерватории — м.н.с. Б. Стругацкий и старший инженер Лидия Камиионко. На дворе стоял октябрь 1960 года. БН только что прекратил труды свои по поискам места для Большого Телескопа в мокрых и травянистых горах Северного Кавказа

и теперь ждал, пока закончатся всевозможные формальности, связанные с передачей экспедиционного имущества, списанием остатков, оформлением отчета и прочей сукотишей. А Л. Камионко, приехавшая на Горную станцию отлаживать какой-то новый прибор, отчаянно бездельничала по причине полного отсутствия погоды, пригодной для астрономических наблюдений. И вот от скуки принялись они как-то вечером сочинять рассказик без начала и конца, где был такой же вот дождь, такая же тусклая лампа на шнуре и без абажура, такая же сырая веранда, заставленная старой мебелью и ящиками с оборудованием, такая же унылая скука, но где при всем при том происходили всякие забавные и абсолютно невозможные вещи — странные и нелепые люди появлялись из ничего, совершались некие магические действия, произносились абсурдные и смешные речи, и кончалась вся эта четырехстраничная, вполне сюрреалистическая абракадабра замечательными словами: «ДИВАНА НЕ БЫЛО!!!».

Домой БН возвращался через Москву с заездом к брату-соавтору и там, в кругу семьи, зачитал вслух эти брульоны, вызвавшие дружный смех и всеобщее одобрение. Впрочем, тогда все на том и закончилось, нам и в голову не пришло, что таинственно исчезнувший диван — это на самом деле сказочный диван-транслятор, а разные странные типы, описанные там же, это маги, которые за названным транслятором гоняются. Все шло своим чередом, впереди был еще не один год размышлений и самонастройки.

Замечательно, но история написания «Понедельника...» совершенно вылетела из моей памяти. Вылетела до такой степени, что сейчас, перечитывая разрозненные строчки из писем и дневников, я ловлю себя на том, что не всегда понимаю, о чем там идет речь.

Письма:

19.03.61 — АН: «...Ты зря взялся сейчас за восьмое небо...»

(Странность номер один. «Восьмое небо» — это одно из самых ранних условных названий «Понедельника». Но неужели же я «взялся за него» так рано — в марте 61-го? Сегодня это представляется мне совершенно невозможным.)

23.07.61 — АН: «...что, если нам попробовать <...> добить «Магов»? Если не более 4-х листов — вышло бы очень неплохо...»

4.08.61 — АН: «...Соображения по магам. Не знаю. Это должна быть небольшая веселая вещица. Листа три от силы. Три части. Первая написана...»

(Странности номер два и три. Как так — «добить магов»?! Значит ли это, что у нас уже есть нечто готовое, которое остается теперь только «добить»? И в каком смысле — «первая написана»? По-моему, так ничего у нас тогда еще не было написано, даже в черновом варианте... Странно, странно...)

«...Вторая. Герой уверен, что теперь его маги оставят в покое. Но весь день, куда бы он ни пошел, маги преследуют его а ля секретарь Прыща. Они жалобно высовываются из стен и канализационных люков, делают ему непонятные знаки, мешают ему на свидании с девушкой и с тоскливым воем улетают, когда он начинает свирепеть. Серость и неграмотность их наводит изумление. Мага легко отличить от прочих людей, спросив таблицу умножения на семь. На Земле собрались маги со всех концов Вселенной. Им нужен Белый тезис, утраченный в незапамятные времена — его спрятали в какое-то дерево, потом он перешел в мастерской в диван, а потом в нашего героя...»

И так далее.

(Кто такой Прыщ? О чем вообще речь? Однако, написано у нас было к этому моменту что-нибудь или не было написано ничего, но ясно, что будущий «Понедельник» смотрелся в начале своем совсем иначе, чем в конце.)

1.11.62 — АН: «... Я вставил нас в план Детгиза на 64-й год под названием «Седьмое небо». Название пока не обязательное, но книжечку надо бы написать. Про магов. Легкомысленную. Веселенькую. Без затей. А? Мечта! А?»

«... Выступал в Политехническом музее совместно с Андреевым, Громовой, Днепровым, Полещуком, Парновым и Емцовым. <...> Я с амвона как трахнул: «Нужно будет — про ведьм и колдунов напишем, нам наука не указ». Что тут было! Хохот, аплодисменты, негодование!...»

Я сильно подозреваю, что к этому моменту у нас всего-то и было в заглавнике, что Кисловодский брульон, переработанный и развернутый до размеров будущей главки из «Суеты...» Но вот, наконец:

Дневник АН, 6.09.63:

«Приезжал Борис, кое-что переделали в ТББ, составили план на “Суету вокруг дивана”» <...>

Дневник АН, 18.01.64:

«26 декабря <1963> вернулся из Л-да. Написали “Суету вокруг дивана”» <...>

Наконец-то! Первая часть будущей повести образовалась — не прошло и трех лет. Однако до полного текста было еще далеко. Сохранилось довольно много заметок, набросков, хохмочек и идей того времени.

«Человек — это животное, которое может стать магом. Волк рождается волком и всю жизнь остается волком. Свинья рождается свиньей и всю жизнь остается ею. Человек рождается обезьяной, но вырасти он может волком, свиньей и магом».

«Директор института — оборотень Кир Янус. Он может растраиваться. <...> Отец, сын и дух святой».

«Контраст — заставляют магов заниматься ерундой: собрания, поездки в колхоз».

«Бухгалтерия, где берегут копейку (а не миллионы и не время)».

«Маги страшно хотят сделать всех людей счастливыми. Основная сюжетная линия — работа отдела “Счастья”. ИДЕЯ: нельзя обрушить благосостояние на головы нынешних людей. А ДЛЯ НИХ ЭТО САМОЕ ЛЕГКОЕ».

«Отдел “Счастья и довольства”. Там все время получает не то, что задумано».

«Отдел “Цирковой техники”. Исторически институт сложился как НИИЦИРТЕХ. Об этом вспоминают с благоговением, и до сих пор образцом служит отдел “Циртех”. (Аналогия с астрометрией)».

«Показать, как мешает работать догматическая, все подавившая официальная теория».

И так далее. «Понедельника...» еще нет, авторы только нащупывают пути к нему, но это — верные пути. Дело идет на лад. И идет быстро.

Дневник АН, 25 июня 1964:

«...Май провел в Л-де, где писали и написали остальные две части СВД — “Ночь перед рождеством” и “О времени и о себе”...»

Обратите внимание на чехарду с названиями. Авторы еще не знают, как должны называться части новой повести, да и сама повесть тоже. А между тем название «Понедельник начинается в субботу» к тому времени уже существовало. Это название имеет свою историю и довольно забавную.

Надо сказать, что начало 60-х было временем повального увлечения Хемингуэем. Никого не читают сейчас с таким наслаждением и восторгом, ни о ком не говорят так много и так страстно, ни за чьими книгами не гоняются с таким азартом, причем все — вся читающая публика от старшеклассника до академика включительно. И вот однажды, когда БН сидел у себя на работе в Пулковской обсерватории, раздался вдруг звонок из города — звонила старинная его подруга Наташа Свенцицкая, великий знаток и почитатель (в те времена) Хемингуэя. «Боря, — произнесла она со сдержанным волнением. — Ты знаешь, сейчас в Доме Книги выбросили новый томик Хэма, называется “Понедельник начинается в субботу”...» Сердце БН тотчас подпрыгнуло и сладко замлело. Это было такое точное, такое подлинно хемингуэевское название, — сдержанно грустное, сурово безнадежное, холодноватое и дьявольски человеческое одновременно... Понедельник начинается в субботу, это значит: нет праздника в нашей жизни, будни переходят снова в будни, серое остается серым, тусклое — тусклым... БН не сомневался ни секунды: «Брать! — гаркнул он. — Брать сколько дадут. На все деньги!...» Ангельский смех был ему ответом...

Шутка получилась хороша. И не пропала даром, как это обычно бывает с шутками! БН сразу же конфисковал прекрасную выдумку, заявив, что это будет замечательное название для будущего замечательного романа о замечательно-безнадежной любви. Этот роман никогда не был написан, он даже никогда не был как следует придуман, конфискованное название жило в записной книжке своей собственной жизнью, ждало своего часа и через пару лет дождалось. Правда, АБС придали ему совсем другой, можно сказать, прямо противоположный, сугубо оптимистический

смысл, но никогда потом об этом не жалели. Наташа тоже не возражала. По-моему, она была даже в каком-то смысле польщена.

Таким образом, историческая справедливость требует, чтобы было воздано по заслугам двум замечательным женщинам, бывшим сотрудницам Пулковской обсерватории, стоявшим у истоков самой, видимо, популярной повести АБС. Исполать вам, дорогие мои, — Лидия Александровна Камионко, соавтор знаменитой, сюжетообразующей фразы «ДИВАНА НЕ БЫЛО», и Наталия Александровна Свенцицкая, придумавшая этот бесконечно грустный, а может быть, наоборот, радостно оптимистический афоризм «Понедельник начинается в субботу»!

Вообще, «Понедельник» — в значительной степени есть капустник, результат развеселого коллективного творчества.

«Нужны ли мы нам?» — такой лозунг действительно висел в одной из лабораторий, кажется, ГОИ.

«Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим» — гениальный стих моего старого друга Юры Чистякова, великого специалиста по стихосложению в манере капитана Лебядкина.

«Мы хотим построить дачу. Где? Вот главная задача...» — стишок из газеты «За новое Пулково».

И т.д., и пр., и т.п.

В заключение не могу не отметить, что цензура не слишком трепала эту нашу повесть. Повестушка вышла смешная, и придирки к ней тоже были смешные. Так, цензор категорически потребовал выбросить из текста какое-либо упоминание о ЗИМе. («Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим».) Дело в том, что в те времена Молотов был заклеямен, осужден, исключен из партии, и автомобильный завод его имени был срочно переименован в ГАЗ (Горьковский автомобильный завод), точно так же как ЗИС (завод имени Сталина) назывался к тому времени уже ЗИЛ (завод имени Лихачева). Горько усмехаясь, авторы ядовито предложили, чтобы стишок звучал так: «Вот по дороге едет ЗИЛ, и им я буду задавим». И что же? К их огромному изумлению Главлит охотно на этот собачий бред согласился. И в таком вот малопрстойном виде этот стишок издавался и переиздавался неоднократно.

Многое тогда нам не удалось спасти. «Министра государственной безопасности Малюту Скуратова», например. Или строчку в рассказе Мерлина: «Из озера поднялась рука, мозоли-

стая и своя...» Еще какие-то милые пустячки, показавшиеся кому-то разрушительными...

Всё (или почти всё), некогда утраченное, в настоящем издании благополучно восстановлено, благодаря опять же дружным и самоотверженным усилиям люденев, перерывшим кучу разных переизданий и черновики. Света Бондаренко, Володя Борисов, Вадим Казаков, Виктор Курильский, Юрий Флейшман — спасибо вам всем!

Дневник АН, 18.01.64:

«26 декабря <1963> вернулся из Л-да. Написали «Суету вокруг дивана», «К вопросу о циклотации», «Первые люди на первом плоту», «Бедные злые люди»...»

Увы, почти ничего не помню про рассказ «К вопросу о циклотации». Там был, кажется, пришелец из будущего, и судьба его была печальна. И еще, кажется, он принес герою рассказа, нашему современнику, трагическую весть об изначальной обреченности человечества. В генах человечества, оказывается, заложена — еще при создании вида Homo sapiens sapiens прародителями нашими, учеными некоей сверхцивилизации — биологическая бомба, рассчитанная на «автоматический останов» в энном поколении... Что-то в этом роде. Сохранилось в архиве начало одного из черновики. Чистовик пропал бесследно. Странно, не правда ли? Загадочная какая-то история. Тем более что, судя по письмам, этот рассказ посылался летом 1964-го в «Уральский следопыт» и был даже там вроде бы принят благосклонно. Но был ли он там опубликован? По-моему, нет. Ей-богу, странная история.

«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ПЕРВОМ ПЛОТУ»

Один из последних рассказов АБС. Написан, скорее всего, в 1963 году. В письмах ни разу не упоминается. Первоначально он назывался «Дикие викинги» и был даже опубликован журналом «Костер» в 1968 году в составе такого коллективного романа-буримы «Летающие кочевники». Название «Первые люди...» возникло позже, когда в начале 64-го рассказ был переписан начисто. Это строчка из любимой нами поэмы Н. Гумилева «Капитаны»:

...А вы, королевские псы, флибустьеры,
Хранившие золото в темном порту,
Скитальцы-арабы, искатели веры
И первые люди на первом плоту!
И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостытели страны отцов...

«БЕДНЫЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ»

Я думаю, это последний рассказ АБС. После него мы рассказов более не писали. Никогда. Как и «Первые люди...», написан он в 63 году (под кодовым названием «Молитва») и переписан начисто в 64-м, — уже, так сказать, на излете: авторам более не нравилось писать рассказы, но они как бы по инерции все еще продолжали над ними работать.

Рассказик этот интересен, на мой взгляд, прежде всего тем, что первоначально назван был «Трудно быть богом». Такими же словами он и заканчивался. Название это авторы впоследствии использовали для романа, а сам рассказ, ни разу нигде не опубликованный, так и пролежал в архивах до конца 80-х.

1964—1966 гг.

«ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА»

В дневнике АН сохранилась цитата из Саймака: «The darkness of the mind, the bleakness of the thought, the shallowness of purpose. These were the werewolves of the world». («Time is the simplest thing». Clifford Simak.)

«Темный ум, холодная мысль, мелкая цель. Вот какие они были — оборотни нашего мира».

Сначала именно эти строчки хотели мы сделать эпиграфом к новой повести о людях, ставших жертвами фантастического электронного наркотика — слега (хотя само это слово тогда еще не было придумано). События должны были развиваться на острове Булли, что в Рижском заливе, — там АН отдыхал с семьей в июле 1963-го, и места эти поразили его воображение. Называться новая повесть должна была — «Крысы».

Дневник АН, 6.09.63: «Приезжал Борис, <...> попробовали представить сюжет “Крысы” — дневник писателя, попавшего в соседство с новыми наркоманами — электронного типа».

Не помню уже всех деталей, помню только, что вещь задумывалась как совершенно реалистическая. Время действия — наши дни. Место действия — Латвийская ССР. Действующие лица — наши современники, только странные и страшные, словно оборотни. Собственно, они и были оборотнями, ночным ужасом острова Булли.

Идея была такая: под воздействием мощного электронного галлюциногена, воздействующего напрямую на мозг, человек погружается в иллюзорный мир, столь же яркий, как и мир реальности, но гораздо более интересный, насыщенный замечательными событиями и совершенно избавленный от серых забот и хлопот повседневности. За наслаждение этим иллюзорным миром надобно, однако, платить свою цену: пробудившись от наркотического сна, человек становится беспощадным животным, стремящимся только к одному — вернуться, любой ценой и как можно скорее, в мир совершенной и сладостной иллюзии.

Дело, впрочем, застопорилось в самом начале. Название «Хищные вещи века» придумано было, видимо, еще в конце 1963-го, и эта строчка из Андрея Вознесенского («О, хищные вещи века! На душу наложено вето...») взята была в качестве нового эпиграфа, но построить сюжет никак не удавалось.

21.01.64 — БН: «...Много думаю над ХВВ. Есть в нашем замысле что-то, что отталкивает меня от него, как от «Кракена». Наверное, это — сугубый реализм обстановки. Он имеет массу минусов. Невозможность писать *все, что левая нога захочет*. Неуверенность в достаточном знании материала. Ограниченность картины в такой постановке сюжета. Можешь меня ругать, но чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к мысли делать что-то вроде “ТББ” — чужой мир, другие люди, широкая картина, множественность линий, более острый сюжет, меньшая рыхлость, большая концентрированность идей и проблем. Я тоже давеча перечитал тот план — где Бенни Дуров попадает на страшную планету мешан. Что-то в этом есть. Подумай и разубеди меня...»

Сюжет про Бенни Дурова на планете мещан — это что-то совершенно ныне забытое и, видимо, в принципе невозвратимое. А вот упоминаемый выше «Кракен» — это повесть, над которой АБС бились несколько лет, заходили то с одного боку, то с другого, написали несколько десятков страниц (писал в основном АН, в одиночку), да так и не сумели довести ее до конца. И как я понимаю, именно из-за «сугубого реализма обстановки». Там, в этой повести, привозят в один современный НИИ гигантского спрута-кракена, который, как потом выясняется, умеет проникать в сознание людей и превращать их в холодных эгоистов, абсолютно лишенных морали. Вообще, замысел был хорош, много обещал, но не давал возможности как следует развернуться: АБС еще не сформулировали тогда свой основной принцип — «писать следует либо о том, что знаешь хорошо, либо о том, чего никто не знает», — но инстинктивно уже следовали ему. В достоверно построенном, хорошо придуманном мире, снабженном необходимым количеством реалий, они чувствовали себя свободнее, чем в мире, сугубо реальном, списанном с природы.

Ответ АН на предыдущее письмо не сохранился. Но сохранилось очередное письмо БН, где он снова пытается сформулировать свои сомнения.

27.01.64 — БН: «...Дело, Аркашенька, не в других планетах, которые мне самому осто и насто. Дело в ограниченности замысла. <...> Дело в том, что придуманный нами аппарат не позволяет рассматривать проблему мещанства под многими углами зрения. Аппарат этот есть в общем-то не что иное, как разновидность наркотика, очень мощного, может быть, но всего лишь наркотика. Как-то проблема мещанства заменяется в этом случае совсем другой проблемой: какую жизнью лучше жить — реальной или галлюцинированной. Проблема интересная, но не та, что меня волнует. Да и тебя тоже. Слабым местом замысла является именно этот аппарат. Галлюцинации и электронный онанизм. По-моему, это не то, что надо. В общем, надо много говорить и думать. Писать, по-видимому, начнем не сразу. Сначала будем долго и нудно ругаться. Как-то все это очень не просто...»

На самом деле, писать повесть мы начали уже в первых числах февраля. Причем начали сразу с, так сказать, окончательно-

го варианта: курортный городок в некоей стране, — сытый, яркий, богатый, но крайне неблагополучный мир. Все это возникло, видимо, после двух-трех дней обсуждений. Мир оказался придуман, декорации построены, и сюжет немедленно заработал.

Черновик повести был закончен в два приема — первая половина в начале февраля, а вторая половина — в марте 1964 года. Добрых полгода черновик «вылеживался», а в ноябре единым махом был превращен в чистовик. Авторы остались работой довольны, они, естественно, тогда и предположить не могли, какие неприятности ждут их впереди, и были полны оптимизма. А вот первые читатели (родственники, друзья) оказались гораздо прощательнее. Все считали необходимым высказать свои опасения, а один из них выразился не без изящества: «Повесть будет иметь несомненный успех среди лиц, которые ее прочтут. Разумеется — в списках».

Когда читаешь подряд переписку АН и БН периода май 63/февраль 64 возникает явственное ощущение надвигающейся грозы. Уже и аванс получен, и рукопись благополучно сдана и ушла в производство, отзывы о ней в редакции, вроде бы, самые благосклонные, а все-таки что-то не так, какая-то туча конденсируется, пока еще за горизонтом, какая-то угроза нарастает, и непонятно даже, в чем, собственно, дело.

Первый предупредительный звоночек — письмо АН, полученное БН 3.02.64: «...Как я уже говорил, ХВВ дали на предисловие Ефремову. Позвонил мне старик, попросил зайти. И вот, что он мне сказал. <...> Мир, нами описанный, настолько яркое и страшное, что не оставляет никакой надежды на что-либо хорошее для человечества. Это не советская фантастика, а западная, с ужасом и горечью перед будущим. Агентишки, как он величает Марию и Жилина, производят жалкое впечатление, совершенно очевидно, что и мир, который они представляют, так же жалок и беспомощен. Кстати, настолько нищие и убогие духом людишки в этой стране (впечатление: во всем мире), что слег выглядит бледным, никому не нужным атрибутом. Он сказал, что предисловие, конечно, напишет, потому что любит нас и считает единственной надеждой советской фантастики (а он не очень-то разорителен на комплименты, впервые от него такое слышу), но судя по

разговору с Жемайтисом <тогдашний заведующий редакцией фантастики в издательстве “Молодая Гвардия”. — БН>, с которым он виделся за день до этого, предисловие само по себе нам не поможет, и книгу просто останоят. <...>

Что он предлагает? Либо: а) Написать заголовок, вроде: “Хищные вещи века. Часть 1-я. Страна торжествующих дураков”. Это даст возможность ему написать в предисловии, что мы собираемся писать вторую часть, где покажем, как человечество справилось с раковой опухолью, возникшей на его теле.

Либо: б) Напихать известное количество вставок, в которых показать торжество и могущество мира, откуда пришел Жилин. <...>

Мне лично не улыбается ни то, ни другое. Вопрос вот в чем: будем мы публиковать эту книгу или нет? Прими во внимание то, что главная редакция эту книгу в нынешнем ее виде не пропустит ни о чем...»

Что ответил БН, неизвестно: ответ его не сохранился. Может быть, АН специально приехал в Ленинград на пару дней, и какие-то поправки и вставки, «облагораживающие» безнадежный текст, были сделаны? Не помню. Видимо, да. Видимо, именно тогда появились в рукописи большие вставные куски в последней главе, куски, должностующие придать мрачной картине мира хоть какие-то обнадеживающие проблески. И надо сказать, временно, но это помогло делу.

20.02.65 — АН: «...ХВВ подписана главным редактором без чтения (вероятно, прочитал авторское предисловие и удовлетворился), потери — убран эпиграф из Вознесенского и все. Бела <Бела Григорьевна Клюева, наш редактор и главный благодетель в тогдашней “Молодой Гвардии”. — БН> нагло убрала “Книгу первую” и “Авгиевы конюшни”, а также все, что касается этой “Книги первой” из предисловия Ефремова. Молодчина она, ей-ей».

Первая схватка закончилась с минимальными потерями для повести. Сегодня я этого не помню, но, видимо, вдобавок ко всему авторы написали еще и предисловие, куда и вставили всю необходимую идеологию, оставив основной текст почти в неприкосновенности. И номер этот, — вроде бы, пока, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — у них прошел.

Впрочем, все еще было впереди. Главное сражение разразилось четыре месяца спустя, когда казалось, что все уже на мази.

24.06.65 — АН: «Как ни печально, но придется тебя огорчить: цензура задержала ХВВ.

Коротко итог такой: по ХВВ будет совещание главной редакции, и тогда возможны три варианта (в порядке понижения вероятности): либо сделают «ряд замечаний» и нам придется калечить книжку дальше; либо книжку запретят и снимут с плана вообще; либо — это наименее вероятное — замечания цензора будут признаны необоснованными. Впрочем, так вообще, кажется, не бывает.

Как все произошло? (со слов Бела). Цензорша уже какое-то время боролась с кем-то из главной редакции и решила доказать свою правоту — она добивалась “повышения ответственности главной редакции, которая все подписывает в печать, не читая”. Взяла она нашу книгу, “возникли у нее сомнения”, и она с торжествующими воплями бросилась в главную редакцию: вот, глядите, что вы в печать подписали! Главред, естественно, к Беле: что там опять эти жида натворили? Бела к цензорше: в чем дело, какие у вас претензии? Цензорша: никаких политических и идеологических претензий у меня нет, у меня просто возникли сомнения. Бела: почему же вы с сомнениями вылезли сразу на главную редакцию, вы же знаете, что сомневающийся цензор улаживает дело с редактором. Цензорша: ах, простите, я так замоталась, что даже упустила из виду этическую сторону дела, но мне надо было приструнить главную редакцию. Бела: это плохо, что вы забыли об этике, а какие у вас сомнения? Сомнений оказалось три, и за каждое хочется стрелять: 1) не может быть богатых стран, где все есть, и одновременно нищих азиатских стран; 2) этот шпионаж в капиталистической стране — очень отдален привнесением революции на штыках; 3) в этой стране нет ничего, что можно было бы противопоставить разложению (это последнее замечание самое дельное, но это же не дело цензора!). Короче говоря, делу дан ход, главная редакция заverteлась, остается ждать. <...>

А Котляр ходит в ЦК регулярно и гадит. А? Об этом замглавного Беле шепнул...»

Надо признать, впрочем, что главная редакция вертелась без всякого энтузиазма и поспешала не спеша. Истекали срок за сроком, и ничего не происходило. Рукопись прочли заведующие редакциями зарубежной литературы и эстетического воспитания, крамолы не обнаружили: «повесть хороша и надобно ее скорее печатать». Прочитал «некто Митрохин, работник Института философии и друг Мелентьева <тогдашнего директора “Молодой Гвардии”.— БН>», ему не понравилось «литературно» и «что не определена социология мира и страны». Однако, сказал, что будет за. Прочитали еще какие-то члены редсовета, сказали, что можно издавать. Все ждали Мелентьева, директора, пребывающего в длительной заграничной командировке.

5.07.65 — АН: «Ты спрашивал о том, в каком состоянии ХВВ. В самом что ни на есть готовом. Это сверка, последняя верстка. Матрицы поставлены в машины и готовы начинать шлепать десятки тысяч экз-ов в день. Со склада привезли сто пятнадцать тысяч готовых обложек. Все наготове. Только цензор оказался сукой. <...> новостей по-прежнему нет. Будем ждать».

Ждать нам оставалось еще недели две. АН, так и не дождавшись, улетел с семьей на юг, в отпуск, БН приехал в Москву и жил один в пустой квартире, ожидая, пока его вызовут. И вот, наконец.

17.07.65 — БН: «Встреча состоялась. Присутствовали: Мелентьев, Гусев <зам. главного редактора>, Фальский <видимо, член редсовета>, Бела <Клюева, редактор книги>, Сергей <Жемайтис, заведующий редакцией НФ литературы>. Говорил в основном Мелентьев, остальные молчали. Фальский не сказал ни единого слова. Бела, практически, тоже. Сергей пару раз проснулся и сообщил: один раз — что речь идет о расставовке акцентов, а второй — что Жилин — старый герой Стругацких и из прежних книг видно, что он коммунист. Гусев встревал в разговор каждый раз, когда мне удавалось остановить словоизвержение Мелентьева (было несколько таких случаев, и каждый раз Мелентьев был весьма недоволен — ему хотелось говорить). Гусев говорил очень странно: то за нас, то вдруг ни с того, ни с сего против. <...>

Мелентьев начал с нападения («Как вы себе представляете мир, Землю в вашей повести в описываемое время?») и напал практически все время. Несколько раз мне удавалось остановить его наступление (я тоже орал), но он возрождался вновь и вновь, пытался ловить меня («Авторы прекрасно понимают, что имеют в виду не только капитализм»), лягал редакцию, «излишне влюбленную в авторов», нес околесицу — совершенно, между прочим, нецензурную — об экспорте революции, об Испании, о Китае — одним словом, излагал.

Я окончательно перешел к защите, когда он прямо сказал, что конец повести находится в противоречии с идеологией издательства. «Это толстовство, мы за экспорт революции, и вы нас не собьете. Извольте, чтобы в конце стало ясно: 1. Что Жилин не один. 2. Что никаких столетних разговоров быть не может. 3. Что Жилин намерен опираться на прогрессивные силы страны и заниматься не воспитанием, а делами похлеще». <...> Если отвлечься от тона и собрать воедино его рассуждения (зачастую противоречивые), то образуется такая картина:

Книга важная и нужная. Мы готовы издать ее и защищать в дальнейшем перед цензором и от котляров. Прделанные исправления уже внесли определенную ясность, этот процесс надлежит завершить. Издательство не защищает ничьих позиций, кроме позиций издательства. Издательство проводит определенную линию и базируется на определенной идеологии.

Для того, чтобы издательство и в дальнейшем могло следовать этому пути, издаваемые книги должны лежать в русле издательской идеологии. Для этого осталось внести последний акцент: сделать Жилина одним из многих и показать, что он намерен заниматься не воспитательной работой (во всяком случае — не только), а помощью прогрессивным силам. В этом случае книга станет нашей, и мы будем готовы за нее отвечать, хотя там останется еще масса двусмысленностей и крючков для повешения собак. Распрошались мы дружески. Я сел и внес все необходимые исправления, а именно:

1. Выбросил слово «угнетение» в одном из размышлений Жилина, когда тот думает: «здесь нет угнетения, здесь никто не умирает с голоду». Мелентьев решительно настаивал на уничтожении первой части этой фразы, дабы не дать оружия в руки котлярам. Ладно.

2. Выбросил слово “столетний”. Жилин теперь предлагает просто “план восстановления” и т.д. Слово “столетний” приводило Мелентьева в неистовство, и не помогали никакие ссылки на Ленина. Он просто замолкал, а через некоторое время принимался говорить о том же.

3. Расширил уже сделанную нами ранее вставку в последний абзац книги. Теперь Жилин думает примерно так: я не один, даже здесь должны быть люди, которые ненавидят все это так же, как мы (МЫ). Они просто не знают, как. Но МЫ-то знаем. Мы им поможем, мы их научим, что надо делать и как не растрачивать ненависть на мелочи. НАШЕ место здесь. И мое место здесь... и т.д.

Как видишь, я бросил им огромный кусок, но странно — я не испытываю особых угрызений совести. Во время этого разговора я вдруг осознал, что дело ведь совсем не в том, что предлагает Жилин делать. Это все моча, болтовня. Я даже предложил Мелентьеву вообще выбросить всю резолюционную часть книги, оставить только постановку проблемы, но он требовал крови. “Короче, вы стоите на позиции Марии?” — спросил я. “Да”, — сказал он прямо. Мне стало смешно и страшно...

Мне стало страшно, потому что Мелентьев был в этот момент без пяти минут в ЦК, и я воспринимал его уже как человека из правительства, и вот этот человек из правительства ОТКРЫТО, ПРИЛЮДНО занимает позицию политического экстремиста, готового вмешиваться, вторгаться, переделывать «под себя» любое государство, устройство которого противоречит его идеологии. Это был открытый и уверенный в своей правоте сторонник «привнесения революции на штыках». И мне было смешно, ибо весь сыр-бор загорелся ведь именно потому, что глупая цензорша как раз и обвинила НАС в том, что мы ратем за такое «привнесение». Директор издательства требовал от авторов того, что цензура полагала недопустимым.

(Это противоречие, несомненно, было следствием невероятного идеологического бардака, который царил в головах начальства еще с 20-х годов. С одной стороны, «революция на штыках» была выдумкой Троцкого и официально была заклеена самым решительным образом. А с другой стороны, вся политическая практика — всегда! — опиралась именно на эту доктрину, и как

раз именно в середине 60-х уже вовсю напористо шло невидимое вторжение СССР в Африку и в Латинскую Америку.)

Собственно на этом эпопея и закончилась. И вроде бы, ко всеобщему удовлетворению. Цензоршу убедили дать «добро». Мелентьев ушел в Большой ЦК, сказавши на прощанье, что единственное темное пятно, остающееся у него за спиной, это «Хищные вещи века». Авторы остались в убеждении, что им удалось отделаться малой кровью.

Но спустя месяц АН писал: «... ХВВ еще немного покалечили и сдали наконец в печать. У меня уже выработалось к этой повестушке некое брезгливое отношение, слишком уж она захватана грязными руками, и не отмыться ей никогда...»

А еще пару месяцев спустя, после того, как книга вышла, БН писал: «... Выслушиваю много разговоров о ХВВ. Все они строятся по принципу: “Это здорово сделано, но...” Противу наших ожиданий большинство людей так и не поняло, что цензура порезвилась — все недочеты на наш счет...»

Не-ет, идеологические инстанции знали свое дело! Они умели ПРЕВРАЩАТЬ текст и превращали его в нечто межеумочное, причем руками самих авторов. Авторский замысел смазывался. Черное становилось серым, светлое — тоже. Острота произведения в значительной степени утрачивалась, и в то же время текст оставался открыт для ударов. Так, по «Хищным вещам века», спустя положенное время, ударила самая тяжелая артиллерия — журнал «Коммунист», основной теоретический и идеологический орган ЦК КПСС. Это было неизбежно: авторы покусились на фундаментальнейший тезис коммунистической пропаганды — они изобразили КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ мир, изнывающий от изобилия, и никакие исправления и оговорки не могли этого вызывающего факта заслонить...

Парадоксально, но уже в новейшее время, подготавливая текст к очередному переизданию, я снова вошел в конфликт с одним из издателей, причем — что замечательно! — с человеком пишущим, умным и большим знатоком и любителем АБС. Дело в том, что все вставки, сделанные в свое время под давлением, я, разумеется, из повести убрал. Текст сделался таким (или почти таким), каким он вышел из пишущей машинки в ноябре 1964 года. Но тут вдруг выяснилось, что многие из НЫНЕШНИХ редакторов, с детства

привыкших к старому, подслащенному и исковерканному, тексту, ни в какую не хотят с ним расставаться! Меня всячески упрасивали оставить все, как есть, ну, хотя бы частично, ну, хотя бы только то-то и то-то... Воистину, на всех не угодишь. Я понимал их, я ценил их чувства и намерения, но уговорить себя не дал. Все, что написано в «Хищных вещах» тридцать с лишним лет назад, сохраняет свою актуальность и сегодня. Мы стоим на пороге Мира Изобилия, и должны быть готовы принять решение, как к этому миру относиться. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности. Спасения от этого мира по-прежнему не видно, и — хуже того — непонятно даже, надо ли спасаться. И недопустимо, чтобы милые благоглупости, которые авторы вынуждены были (под давлением начальства и от полной безысходности) вложить в уста и в мысли своего героя, смягчали или сглаживали остроту проблемы. Литература способна служить социальным болеутоляющим, но мне совсем не нравится такая литература.

Между прочим, с представлениями самих авторов относительно мира «хищных вещей», ими же созданного, произошла любопытная метаморфоза. Изначально авторы были уверены, что написали антиутопию, изобразили мир, в котором каждому уважающему себя человеку тошно и стыдно жить. Но как-то, добрый десяток лет спустя, один мудрый читатель задал мне совершенно неожиданный вопрос: «А чем, собственно, так уж плох этот ваш мир? Ведь, на самом деле, он существует по принципу “каждому — свое”, а это далеко не самый плохой из принципов существования». И я впервые тогда глянул на мир «хищных вещей» глазами непредубежденного, неангажированного человека, далекого от очевидных, но не так уж чтобы общепринятых, хотя и вполне достойных, постулатов типа «человек создан для творчества», «человек это звучит гордо», «правильно мыслить — вот основной принцип морали» и так далее, в том же духе. И этими глазами я увидел мир, не лишенный, разумеется, своих недостатков, в чем-то — убогий, в чем-то — пакостный, в чем-то — даже непереносимо отвратный... Но при всем при том — содержащий в себе немало светлых уголков и оставляющий, между прочим, широчайший простор и для духовной жизни тоже. Ведь человек в этом мире — свободен. Хочешь — обжирайся и напивайся, хочешь — развлекай себя нейростимуляторами, хочешь — предавайся персональному мазохизму. Но с другой-то стороны: хочешь учиться — учись; хочешь читать —

читай, все, что угодно и сколько угодно; хочешь самосовершенствоваться — пожалуйста; хочешь, в конце концов, чистить и улучшать свой мир, хочешь драться за достоинство человека — ради бога! — это отнюдь никем не запрещено, действуй, и дай тебе бог удачи! Ты волен в этом мире стать таким, каким сможешь и захочешь. Выбор за тобой. Действуй.

Наше отношение к этому миру, как к АНТИУТОПИИ, переменялось. Мы поняли, что этот мир, конечно, не добр, не светел и не прекрасен, но и не безнадежен в то же время, — он способен к развитию. Он похож на дурно воспитанного подростка, со всеми его плюсами и минусами. И уж во всяком случае, среди всех придуманных миров он кажется нам наиболее ВЕРОЯТНЫМ. Мир Полудня, скорее всего, недостижим, мир «1984», слава богу, остался уже, пожалуй, позади, а вот мир «хищных вещей» — это, похоже, как раз то, что ждет нас «за поворотом, в глубине». И надо быть к этому готовым.

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ»/«БЕСПОКОЙСТВО»

С марта 1965 года у братьев Стругацких появляется наконец постоянный рабочий дневник. Нельзя сказать, что записи в этом дневнике кардинально решают проблему восстановления забытых или утраченных фактов, но тем не менее определенная польза от этих записей есть. Именно опираясь на дневник, БН в 1987 году на заседании ленинградского семинара писателей-фантастов прочитал нечто вроде лекции на тему «Как создавалась “Улитка на склоне”, история и комментарии». И именно эту лекцию, произведя в ней необходимые исправления, сокращения и дополнения, я взял за основу предлагаемого ниже текста.

4 марта 1965 года два молодых новоиспеченных писателя — и года еще не прошло, как они стали членами Союза писателей — впервые в своей жизни приезжают в Дом творчества в Гагры. Здесь все прекрасно — замечательная погода, великолепное обслуживание, вкусная еда, почти безукоризненное здоровье, прекрасное самочувствие, в записниках полно новых идей и годных для разработки ситуаций. Все очень хорошо! Их поселяют в корпусе для особо избранных лиц — никогда в жизни они в этот корпус попасть в будущем уже не смогли. А в те дни — попали, потому что

было это межсезонье, и в гагринском Доме творчества писателей жили только братья Стругацкие да футбольная команда «Зенит», проводившая в тех краях сборы.

Все было бы изумительно хорошо, если бы не выяснилось вдруг, что, оказывается, Стругацкие-то находятся в состоянии творческого кризиса! Они этого пока не знают. Им кажется, что все в порядке, что все у них ясно и понятно. Ясно, чем надо заниматься, и понятно, о чем они будут писать. Они ведь привезли с собою неплохой задуманный роман. Впрочем, точнее было бы сказать, что это не роман, а пока еще только недурно придуманная ситуация. Представьте себе остров. На этом острове каким-то образом оказываются люди — терпят, например, кораблекрушение или, скажем, прибыли туда в составе научной экспедиции. И они видят там обезьян. Обезьяны эти ведут себя как-то не так, как-то очень странно, совсем не по-обезьяньи. Они жирны и медлительны, и они совсем не боятся людей, наоборот — стараются держаться к ним поближе. И на острове начинают происходить загадочные события, внезапные сумасшествия среди людей, странные необъяснимые смерти... И обнаруживается в глубине острова поселок, где туземцы живут попеременно с этими обезьянами — жалкое, явно вымирающее племя, состоящее как бы из одних слабоумных дебилов... Ну и потом выясняется, что во всем виноваты именно эти странные обезьяны. Выясняется, что это не обычные обезьяны, что это некие ПАРАОБЕЗЬЯНЫ, псевдо-обезьяны, которые, оказывается, питаются человеческими мыслями. Они высасывают из человека его интеллект, используют его интеллект так же, как мы с вами используем энергию Солнца. Только Солнце от этого не страдает, а люди вот сходят с ума и умирают. Символ, как вы понимаете, достаточно прозрачный: жирные, жадные, жаждущие одних только плотских радостей существа живут за счет человеческого интеллекта, активно превращая духовное в плотское, идеи и замыслы — в дерьмо. Да еще и убивая носителя разума при этом. Обыватели. Мещане. Жлобье...

Вот как это выглядело первоначально. И весь первый день в Гаграх мы занимались тем, что всячески обрабатывали и достраивали эту сюжетную ситуацию. На второй день мы отказались от обезьян. Какое нам до всего этого дело — обезьяны какие-то, какой-то остров, туземцы... Нас общество интересует! Социум! Обезьяны были решительно похерены. Зачем запускать в наш

достаточно сложный социум еще и обезьян? Да и не напечатает такого никто и никогда...

(Все, что сохранилось в дальнейшем от обезьяньего варианта, это маленький, очень развлекавший нас время от времени ритуал. Когда у нас происходили размышления по поводу какого-нибудь нового сюжета и когда работа ни в какую не шла, кто-нибудь обязательно и с самым глубокомысленным видом предлагал вариант: «Попадают это они на остров...», а другой тут же подхватывал с готовностью: «...А там обезьяны. Странные!»)

Не надо обезьян и не надо острова. В конце концов, можно взять некое государство неопределенного социального устройства. И там будут не обезьяны. Там будет параллельная эволюция! ТЕНЬ БЕЛКОВОЙ ЖИЗНИ на Земле. Оказывается, с незапамятных времен на Земле существует параллельный тип живых существ, не имеющих самостоятельной формы. Это, как зафиксировано в нашем дневнике, некая ПРОТОПЛАЗМА-МИМИКРОИД. Протоплазма-мимикриод внедряется в живые существа и питается их соками. Она уже уничтожила в свое время трилобитов. Потом она уничтожила динозавров. Потом эта страшная протоплазма-мимикриод напала на неандертальцев. Это было трудней, неандертальцы имели уже зачатки разума, с ними ей было труднее бороться, но и неандертальцы тоже, как известно, сошли с дороги эволюции — они, разумеется, были уничтожены протоплазмой... А сейчас эта протоплазма вовсю размножается на людях, на нас с вами. Замечательно, что при этом человек, оккупированный протоплазмой, не меняется, в общем-то, в своих проявлениях. Он остается, вроде бы, прежним человеком — просто он перестает интересоваться какими-либо духовными проблемами. У него остаются только проблемы материальные — пожрать, выпить, переспать, поглазеть... Что же мешает протоплазме захватить сей мир? А дело в том, что когда человек усиленно размышляет, протоплазма этого не способна выдержать, она начинает распадаться, гибнет и разливается омерзительным, быстро испаряющимся киселем...

Вот такие вот мало аппетитные картинки возникали тогда перед нашими глазами. Легко видеть, здесь была и социальная символика, и концепция, и новая по тем временам сюжетная ситуация — все было... Но ничего не получилось. Сейчас я уже не знаю (или не помню), почему. Не шло. Застопорило. Опять

застопорило, как это уже случилось с нами четыре года назад, во время работы над «Попыткой к бегству». Опять был тупик, и опять мы испытали панику того рода, какую мог бы испытать Дон Жуан, которому врач вдруг сказал: «Все, сударь. Увы, но вам следует забыть об этом. И навсегда».

Исполненные паники, мы принялись судорожно листать наши заметки, где у нас, как и у всякого порядочного молодого писателя, был громадный список всевозможных сюжетов, идей и ситуаций. И на одной из этих ситуаций, издавна нас привлекавшей и увлекавшей, мы и остановились. Представьте себе, что на некоей планете живут два вида разумных существ. И между ними идет борьба за выживание, война. Причем война не технологическая, формы которой земному человеку знакомы и привычны, а — биологическая, которая для постороннего, земного, наблюдателя на войну вообще не похожа. Военные действия на этой планете воспринимаются землянином, как некое, скажем, пока необъясненное физиками сгущение атмосферы, либо вообще как созидательная деятельность чужого разума. Но уж никак не война. В дневнике перечисляются некоторые приемы военных действий: «Заблачивание, и обджунгливание, и обизвесткование (метод обороны); прямое отравление болезнями: вирусы, бактерии; расшатывание наследственности мутагенными вирусами; уничтожение <старых> и внедрение новых инстинктов; вирусы, стерилизующие мужчин...» Земляне прилетают, и — ах! — оказываются в такой вот невероятной каше, где совершенно невозможно отличить чьи-то целенаправленные действия от судорожных движений слепой Природы.

Когда-то, несколько лет назад, такой сюжет казался нам привлекательным и многообещающим, и вот теперь, пребывая в состоянии паники и даже отчаяния, мы решили попробовать его. Мы сели, как сейчас помню, на пляже и, продуваемые ледяным мартовским ветерком и согреваемые уже ласковым мартовским солнцем, принялись внимательно и осторожно прорабатывать ситуацию.

...Пандора. Конечно, планетой должна была стать Пандора. Давно уже нами придуманная странная и дикая планета, где обитают странные и опасные существа. Прекрасное место для наших событий — планета, покрытая джунглями, сплошь заросшая непроходимым лесом. Из этого леса кое-где торчат, наподобие амазонских

мезас, описанных Конан-Дойлем в «Затерянном мире», белые скалы, плоскогорья, практически необитаемые, — именно здесь земляне устраивают свои базы. Они ведут наблюдение за планетой, практически не вмешиваясь в ее жизнь и, собственно, не пытаясь даже вмешиваться, потому что земляне просто не понимают, что тут происходит. Джунгли живут здесь своей загадочной жизнью. Иногда там исчезают люди, временами их удается найти, временами нет. Пандора превращена землянами в нечто вроде охотничьего заповедника. Тогда, в середине 60-х, мы еще ничего не знали об экологии и слыхом не слыхали о Красной книге. Поэтому одним из распространенных занятий людей нашего будущего была охота. И вот охотники приезжают на Пандору для того, чтобы убивать тахоргов, удивительных и страшных зверей... И там же, на этой планете, который месяц уже живет Горбовский, и никто не понимает, что ему здесь надо и на что тратит он свое драгоценное время великого звездолетчика и члена Мирового Совета.

Горбовский — наш старый герой, в какой-то степени он — олицетворение человека будущего, воплощение доброты и ума, воплощение интеллигентности в самом высоком смысле этого слова. Он сидит на краю гигантского обрыва, свесив ноги, смотрит на странный лес, который расстилается под ним до самого горизонта и чего-то ждет.

В Мире Полудня давно-давно уже решены все фундаментальные социальные и многие научные проблемы. Разрешена проблема человекоподобного робота-андроида, проблема контакта с другими цивилизациями, проблема воспитания, разумеется. Человек стал беспечен. Он словно бы потерял инстинкт самосохранения. Появился Человек Играющий. (Вот когда впервые появляется у нас это понятие — Человек Играющий.) Все необходимое делается автоматически, этим заняты миллиарды умных машин, а миллиарды людей занимаются только тем, чем им нравится заниматься. Как мы сейчас играем в шахматы, в крестики-нолики или в волейбол, так они занимаются наукой, исследованиями, полетами в космос, погружениями в глубины. Так они изучают Пандору — небрежно, легко, играя, развлекаясь. Человек Играющий...

Горбовскому страшно. Горбовский подозревает, что добром такая ситуация кончиться не может, что рано или поздно человечество напорется в Космосе на некую скрытую опасность,

которую представить себе сейчас даже не может, и тогда человечество ожидает шок, человечество ожидает стыд, поражение, смерти — все что угодно... И вот Горбовский, со своим сверхъестественным чутьем на необычайное, таскается с планеты на планету и ищет СТРАННОЕ. Что именно — он и сам не знает. Эта дикая и опасная Пандора, которую земляне так весело и в охотку осваивают уже несколько десятков лет, кажется ему средоточием каких-то скрытых угроз, он сам не знает, каких. И он сидит здесь для того, чтобы оказаться на месте в тот момент, когда что-то произойдет. Сидит для того, чтобы помешать людям совершать поступки опрометчивые, торопливые, поймать их, как расшалившихся детей «над пропастью во ржи»...

(Любопытно, что в рабочем дневнике сохранилась запись: «Горбовский, разобравшись в ситуации на Пандоре, понимает, что ничего страшного для человечества здесь нет. И сразу теряет интерес к этой планете. «Пойду полетаю, есть несколько планет, на которые стоит заглянуть. Например, Радуга»). Видимо, нас тогда еще беспокоила проблема «безвременной смерти Горбовского» — проблема, которую мы так и не собрались разрешить.)

Горбовский, охотники, подготовка к пандорианскому сафари — все это происходит на Горе. В Лесу же происходят свои дела. По-моему, в самиздатовской статье известного, тогда опального, советского генетика Эфроимсона, мы вычитали броскую фразу о том, что человечество могло бы прекрасно существовать и развиваться исключительно за счет партеногенеза. Берется женское яйцо, и под воздействием слабо индуцированного тока оно начинает делиться, — через положенное время получается, разумеется, девочка, обязательно девочка и притом точная, разумеется, копия матери. Мужчины — не нужны. Вообще. И мы населили наш Лес существами по крайней мере трех видов: во-первых, это колонисты, разумная раса, которая ведет войну с негуманоидами; во-вторых, это женщины, отколовшиеся от колонистов, размножающиеся партеногенетически и создавшие свою, очень сложную биологическую цивилизацию; и, наконец, несчастные крестьяне — мужики и бабы, — про которых за бранными своими делами все попросту забыли. Они жили себе в деревнях... Когда нужен был хлеб, они были нужны. Научились выращивать хлеб без крестьян — про них забыли. И живут они теперь сами по себе, со своей

старинной технологией, со старинными своими обычаями, совершенно оторванные от бурно текущей реальной жизни. И вот в этот шевелящийся зеленый ад попадает землянин. В первоначальном варианте это наш старый знакомец Атос-Сидоров. Он там живет, пропадает от тоски и исследует этот мир, не умея выбраться, не в силах найти дорогу домой...

Вот так возникают первые наброски повести, ее скелет. Идет разработка глав. Мы уже понимаем, что повесть должна быть построена таким образом: глава «вид сверху, с Горы», глава «вид изнутри, из Леса». Мы придумываем, что речь крестьян должна быть медлительна, вязка и многословна, и все они беспрестанно врут. И врут они не потому, что нехорошие или такие уж аморальные, а просто их мир так устроен, что никто ничего толком не знает, все только передают слухи, а слухи почти всегда врут... Эти медлительные существа, всеми заброшенные, никому не нужные, становятся для нас как бы символом человечества, оказавшегося жертвой равнодушного прогресса. Выясняется, что нам очень интересно писать этих людей, появляется какое-то сочувствие к ним, готовность к сопереживанию, жалость, обида за них...

Мы начинаем писать, пишем главу за главой, глава «Горбовский», глава «Атос-Сидоров», и постепенно из самой ситуации начинает выкристаллизовываться концепция, очень важная, очень для нас существенная и новая. Это концепция взаимоотношения между человеком и законами природы-общества. Мы знаем, что все движения наши, и нравственные, и физические, управляются определенными законами. Мы знаем, что каждый человек, который пытается противостоять этим законам, рано или поздно будет сломлен, повержен, уничтожен, как был сломлен пушкинский Евгений, осмелившийся крикнуть Вершителю Истории: «Ужо тебе!..» Мы знаем, что оседлать Историю может только тот человек, который действует в полном соответствии с ее законами... Но что же тогда делать человеку, которому НЕ ПРАВЯТСЯ САМИ ЭТИ ЗАКОНЫ?!

Когда речь идет о законах физических, что ж, там проще, мы как бы привыкли, притерпелись к их непреложности. Или же научились их обходить. А иногда и использовать себе во благо. Человек должен падать, — но летает. В том числе и в космос. Должен тонуть, — но живет у самого морского дна. А если жесткий

закон природы не позволяет ему, скажем, двигаться вспять по оси времени — что ж, это грустно, конечно. Но это факт, с которым можно, в конце концов, смириться, и причем без особого напряжения чувств. Это факт, который (почему-то) не задевает ни гордости нашей, ни нашего достоинства.

Гораздо труднее смириться с неодолимой силой законов истории и общества. Попробуйте представить себе, например, мировосприятие людей, которые до революции были ВСЕ, а после революции стали НИЧТО, людей, принадлежавших к привилегированному классу. С детства они знали, что мир создан для них, Россия создана именно для них, и все у них будет замечательно хорошо. И вдруг мир рухнул. Вдруг те социальные условия, к которым они привыкли, куда-то подевались, и возникли совершенно новые, безжалостные к ним и невероятно жестокие. И при этом самые умные из этих людей прекрасно понимали, что таковы законы развития общества, что это не чья-то там злая воля бросила их в грязь, на самое дно жизни, а слепая, но непреклонная закономерность истории. Как они должны были к этому относиться? Как должен относиться человек к закону общества, который ему кажется плохим? Можно ли вообще ставить так вопрос? Плохой закон общества и хороший закон общества — что это такое? То, что производительные силы непрерывно развиваются — это хорошо или плохо? То, что производительные силы рано или поздно войдут в противоречие с производственными отношениями — это закон человеческого общества. Хорошо это или плохо? Я помню, мы много рассуждали на эти темы. Это было интересно. А потом — очень скоро — мы поняли, что фактически об этом и пишем, потому что судьба нашего землянина, оказавшегося среди крестьян, замордованных и обреченных — эта судьба как раз и содержит в себе если не ответ, то, по крайней мере, сам этот вопрос. Ведь там у нас существует и властвует прогрессирующая цивилизация, эта вот биологическая цивилизация женщин. И есть остатки прежнего вида гомо сапиенс, которым суждено неумолимо и обязательно погибнуть под напором «передового, прогрессивного». Так вот наш землянин, наш собрат по виду, попавший в этот мир, — как он должен относиться к открывшейся ему картине? Историческая правда здесь на стороне крайне неприятных, чужих и чуждых ему, самодоволь-

ных и самоуверенных амазонок. А сочувствие героя целиком и полностью на стороне этих туповатых, невежественных, беспомощных и нелепых мужичков и баб, которые его, все-таки, как-никак, а спасли, выходили, жену ему дали, хату ему дали, признали его своим... Что должен делать, как должен вести себя цивилизованный человек, понимающий, куда направлен ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ему прогресс? Как он должен относиться к прогрессу, если этот прогресс ему — поперек горла?!

6 марта мы написали первые строчки: «Сверху лес был как пятнистая пена...» 20 марта мы закончили первый вариант. Мы писали быстро. Коль скоро план был разработан в подробностях, мы начинали писать очень быстро. Но тут нас ждал сюрприз — поставивши последнюю точку, мы обнаружили, что написали нечто, никуда не годное, не лезущее ни в какие ворота. Мы вдруг поняли, что нам нет абсолютно никакого дела до нашего Горбовского. При чем здесь Горбовский? При чем здесь светлое будущее с его проблемами, которые мы же сами и изобрели? Елки-палки! Вокруг нас черт знает что творится, а мы занимаемся выдумыванием проблем и задач для наших потомков. Да неужели же сами потомки не сумеют в своих проблемах разобраться, когда дело до того дойдет?! И уже 21 марта мы решили, что повесть считать законченной невозможно, что с ней надо что-то делать, что-то кардинальное. Но тогда нам было еще совершенно неясно — ЧТО ИМЕННО?

Было ясно, что те главы, которые касаются Леса, — годятся. Там «ситуация слилась с концепцией», все закончено и закручено. Эта повесть внутри повести может даже существовать отдельно. А вот что касается части, связанной с Горбовским, то она никуда не годится. И дело не в том, что она, скажем, дурно написана. Нет, написана она вполне достойно, но вот к тому произведению, над которым мы сейчас работаем, она никакого отношения не имеет. Она нам НЕ ИНТЕРЕСНА сейчас. Главы с Горбовским надлежит вынуть из общего текста и отложить в сторону. Пусть пожелат.

(Так они и пролежали «в стороне» аж до середины 80-х. В начале перестройки, когда стало возможным напечатать ВСЕ, когда издатели готовы были вырвать из рук любую не публиковавшуюся ранее вещь, мы достали нашего «Горбовского» из архива,

перечитали его и к огромному своему изумлению обнаружили, что это — вовсе недурно! Текст выдержал испытание временем, читался легко и способен был, как нам показалось, заинтересовать нового читателя... Так появилась и стала жить собственной жизнью повесть «Беспокойство».)

Вынуть главы было легко, трудно было их достойным образом заменить. Чем заменить? Ответа на этот мрачный вопрос мы пока не знали. Кризис породил половину повести, но никуда не делся, он по-прежнему нависал над нами. Такого вот двойного кризиса («с разделяющимися боеголовками») мы еще не видели. Но настоящего отчаяния уже не было — мы были (почему-то) уверены, что с проблемой справимся.

В следующий раз мы встретились в конце апреля. Увы, я уже не помню сейчас, как и кому пришла в голову генеральная идея, определившая содержание и суть второй половины повести. В дневнике, к сожалению, этого нет. В дневнике, собственно, и сама по себе формулировка идеи отсутствует. Просто 28 апреля вдруг появляется запись: «Горбовский — Перец, Атос — Зыков». И тут же: «1. Убежавшая машинка. 2. Сборы в лес. 3. Уговаривает всех, чтобы взяли в лес...» Идея о том, что из повести надо убрать будущее и заменить его настоящим, возникла и заработала. В дневнике появляются новые имена. Начинается разработка линии «Перец», уже в том виде, в котором она потом реализовалась. «Не состоялась встреча-рандеву с начальником, который иногда выходит делать зарядку...» «договаривается с шофером на завтра...» «ждет в грузовике, с грузовика снимают колеса...» Что-то здесь с нами произошло, что-то важное. Возникла идея Управления по делам Леса — этой бредовой пародии на любое государственное учреждение. Каким-то образом и кому-то пришло в голову, что одну фантастическую линию, линию Леса, надо дополнить второй, но уже, скорее, символической. Не научно-фантастической, а именно символической. Один человек мучительно пытается выбраться из Леса, а какой-то другой человек, совсем другого типа и другого склада, должен мучительно стараться попасть в Лес, чтобы узнать, что там происходит.

30 апреля в дневнике впервые появляется слово «Управление», а за ним идет «штатное расписание»: Группа Искоренения, Группа Изучения, Группа Вооруженной Охраны, Группа Науч-

ной Охраны... Идет подробный план первой главы, обрывки будущих рассуждений героев, и вот — фундаментального значения строчка: «Лес — будущее».

Именно с этого момента все встает на свои места. Повесть перестает быть научно-фантастической (если она и была таковой раньше) — она становится просто фантастической, гротесковой, символической, как вам будет угодно. Во всем появляется скрытый смысл, каждая сцена наполняется новым содержанием. Что такое Лес? Лес — это Будущее. Про которое мы ничего не знаем. О котором мы можем только гадать, как правило, безосновательно, о котором у нас есть только отрывочные соображения, так легко распадающиеся под лупой сколько-нибудь пристального анализа. О Будущем, если честно, если — положи руку на сердце, — о Будущем мы знаем сколько-нибудь достоверно лишь одно: оно совершенно не совпадает с любимыми нашими представлениями о нем. Мы не знаем даже, будет ли мир Будущего хорош или плох — мы в принципе не способны ответить на этот вопрос, потому что, скорее всего, он будет нам безмерно чужд, он будет до такой степени не совпадать с любимыми нашими о нем представлениями, что к нему нельзя будет применять понятия «хороший», «плохой», «неважнецкий», «ничего себе». Он будет просто чужой и ни с чем не сравнимый, как мир современного мегаполиса ни с чем не сравним и ни с чем не сообразен в глазах современного каннибала с острова Малаита.

Тот Лес, который мы уже написали, прекрасно вписывался в эту концепцию. Почему бы не представить себе, что в отдаленном будущем человечество сольется с природой, сделается в значительной мере частью ее? Человек перестанет быть человеком в современном смысле этого слова. Не так уж много для этого надо. Деформируйте у *homo sapiens* всего лишь один инстинкт — инстинкт размножения. Этот инстинкт, как на фундаменте, стоит на гетеросексуальности, на двуполости вида. Уберите один из полов — у вас получатся абсолютно новые существа, похожие на людей, но уже не люди. У них будут совершенно другие, чуждые нам, нравственные принципы, совершенно другие представления о том, что должно и что можно, другие цели, другой смысл жизни, в конце концов... Оказывается, мы сидели месяц и писали — не зря! Мы, оказывается, создавали совершенно новую модель Будущего!

Причем не просто гипотетическую структуру, не застывший мертвенно-стабильный мир в манере Олдоса Хаксли или, скажем, Оруэлла, а мир в движении, мир, который еще не закончил сооружать себя, мир, который все еще строится. И при этом в нем сохранились остатки прошлого, живущие своей жизнью, психологически близкие нам и задающие как бы систему нравственных координат...

И в этом аспекте совершенно по-другому выглядел не написанный еще мир Управления. Что такое Управление — в нашей новой, символической схеме? Да очень просто — это Настоящее! Это Настоящее, со всем его хаосом, со всей его безмозглостью, удивительным образом сочетающейся с многоумудренностью, Настоящее, исполненное человеческих ошибок и заблуждений пополам с окостенелой системой привычной антигуманности. Это то самое Настоящее, в котором люди все время думают о Будущем, живут ради Будущего, провозглашают лозунги во славу Будущего и в то же время — гадят на это Будущее, искореняют это Будущее, всячески изничтожают ростки его, стремятся превратить это Будущее в асфальтированную автостоянку, стремятся превратить Лес, свое Будущее, в английский парк со стриженными газонами, чтобы Будущее сформировалось не таким, каким оно способно быть, а таким, каким нам хотелось бы его сегодня видеть...

Интересно, что эта счастливая идея, которая помогла нам сделать сюжетную линию «Управление» и которая совершенно по-новому осветила всю повесть в целом, в общем-то, осталась совершенно недоступна массовому читателю. По пальцам одной руки можно пересчитать людей, которые поняли авторский замысел целиком. А ведь мы по всей повести разбросали намеки, расшифровывающие нашу символику. Казалось бы, одних только эпитафий для этого достаточно. Будущее, как бор, будущее — Лес. Бор распахнут тебе навстречу, но ничего уже не поделаешь, Будущее уже создано... И улитка, упорно ползущая к вершине Фудзи, это ведь тоже символ движения человека к Будущему — медленного, изнурительного, но неуклонного движения к неведомым высотам...

И вот вопрос — должны ли мы, авторы, рассматривать как наше поражение то обстоятельство, что идея, которая помогла нам сделать повесть емкой и многомерной, осталась, по сути, не понята читателем? Не знаю. Я знаю только, что существует мно-

жество трактовок «Улитки», причем многие из этих трактовок вполне самодостаточны и ни в чем не противоречат тексту. Так может быть, это как раз хорошо, что вещь порождает в самых разных людях самые разные представления о себе? И, может быть, чем больше разных точек зрения, тем больше оснований считать произведение удачным? В конце концов, оригинал картины «Подвиг лесопроходца Селивана» был «уничтожен как предмет искусства, не допускающий двойного толкования». Так что, может быть, единственная возможность для «предмета искусства» уцелеть как раз в том и состоит, чтобы иметь не одно, а множество толкований?

Впрочем, «Улитке» возможность множественного ее толкования не слишком помогла. Уничтожить ее не уничтожили, но на много лет сделали запретной для чтения. В мае 1968 года некто В. Александров (видимо, титанического ума мужчина) в партийной газете «Правда Бурятии» посвятил «Улитке» замечательные строки (цитирую с некоторыми купюрами, ни в малой степени не меняющими смысла филиппики):

«...Авторы не говорят, в какой стране происходит действие, не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Но по всему строю повествования, по тем событиям и рассуждениям, которые имеются в повести, отчетливо видно, кого они подразумевают. Фантастическое общество, показанное А. и Б. Стругацкими <...> — это конгломерат людей, живущих в хаосе, беспорядке, занятых бесцельным, никому не нужным трудом, исполняющих глупые законы и директивы. Здесь господствует страх, подозрительность, подхалимство, бюрократизм...»

Поневоле задумаешься: а не был ли автор критической заметки скрытым диссидентом, прокравшимся в партийный орган, дабы под благовидным предлогом полить грязью самое справедливое и гуманное советское государственное устройство? Впрочем, эта заметка была только первой (хотя и самой глупой) в целой серии разгромных рецензий по поводу «Улитки». В результате повесть была впервые опубликована целиком, в ее настоящем виде, уже только в новейшие времена, в 1988 году. А тогда, в конце 60-х, номера журнала «Байкал», где была опубликована

часть «Управление» (с великолепными иллюстрациями Севера Гансовского!), были изъяты из библиотек и водворены в спецхран. Публикация эта оказалась в Самиздате, попала на Запад, была опубликована в мюнхенском издательстве «Посев», и впоследствии люди, у которых при обысках она обнаруживалась, имели неприятности — как минимум по работе.

Сами соавторы дружно любили, более того — уважали эту свою повесть и считали ее самым совершенным и самым значительным своим произведением. В России (СССР) по понятным причинам общий тираж ее изданий сравнительно невелик — около 1200 тысяч экземпляров, а вот за рубежом ее издавать любят: 27 изданий в 15 странах — уверенный третий результат после «Пикника» и «Трудно быть богом».

«ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН»

Ни одно, кажется, из произведений АБС не писалось так легко и весело, как эта повесть. Сама идея о вторжении марсиан (и вообще инопланетян) на Землю сегодняшнего дня интересовала авторов давно. В частности, эта идея промелькнула, скажем, в «Хищных вещах века»: Жилин там мрачно констатирует — для собственного сведения, — что в наши дни уэллсовским марсианам не понадобился бы ни тепловой луч, ни ядовитые газы, — достаточно было бы предложить человечеству иллюзорное бытие, человечество вполне созрело для того, чтобы погрузиться в виртуальную действительность немедленно и с охотой. Мысль о том, что современное нам человечество в массе своей настроено дьявольски конформистски и начисто лишено таких понятий, как ЦЕЛЬ, СМЫСЛ, НАЗНАЧЕНИЕ применительно ко всем людям сразу, — мысль эта неизбежно приводила к естественному сюжетному ходу: человечество не надо завоевывать — его можно без особого труда просто купить.

Повесть была начата и закончена в апреле 1966 года, причем черновик ее получилась настолько удачным, что сколько-нибудь существенной чистки, правки и доработки не понадобилось. Повесть состоялась с первого же захода — большая редкость в нашей практике!

Друзья наши и знакомые встретили ее довольно прохладно, официальная критика — раздолбала, главным образом, за то, что горы позволяют себе оскорблять святые для всех нас слова — «атриотизм», «ордена», «ветеран», — вкладывая их в уста обывателей и прочих неположительных персонажей. Сами же авторы, преки всему, нежно ее с самого начала любили и — не понимали! Мы не понимали главного — существуют, все-таки, понятия: ЦЕЛЬ, МЫСЛ, НАЗНАЧЕНИЕ — применительно ко всему человечеству разом? А также смежные с ними понятия: ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ГОРДОСТЬ — опять же в самом общечеловеческом, ли угодно, даже космическом, смысле? Или не существуют? Каждый отдельный человек — это понятно — может променять право первородства на чечевичную похлебку. А человечество в лом? Может или не может? А если может, то позволительно ли о или, наоборот, позорно и срамно? И кто, все-таки, в нашей вести прав: старый, битый, не шибко умный гимназический учитель астрономии или его высококошлый зять-интеллектуал?

Мы так и не сумели ответить — себе — на этот вопрос.

1967—1968 гг.

«СКАЗКА О ТРОЙКЕ»

Я весьма основательно забыл, с чего начиналась работа над «Сказкой». В письмах и в дневнике фигурируют аббревиатуры ИПС, ГС и даже ЖОП — совершенно не помню, как они расшифровываются. Если базироваться только на документах, то здается впечатление, что никакой предварительной подготовки у нас вообще не было — просто съехались 6 марта 1967 года в оме творчества, что в подмосковном поселке Голицыно, понаридумывали на протяжении четырех дней разных хохмочек, написали план Китежграда, построили какой-никакой сюжетец а и начали — на пятый день — помолясь работать черновой текст.

Очень возможно, что так оно все и было. Первый план не соранился, — видимо, составлен был на отдельном листочке, который потом либо выбросили, либо потеряли. Сохранилась только апись в дневнике: «Составлен 1-й план повести. 18 пунктов. Из

них 5, 9, 13, 17 — Кодло обедает. Составлен подробный план 1-го пункта. Имя резонера — Панург». «Кодло» — это несомненно прообраз Тройки. Похоже, само понятие «Тройка» появляется только 11 марта:

«Комиссия-тройка (ТПРУНЯ[с]) Тройка по рационализации и утилизации необъясненных явлений [сенсаций].

Председатель Вунюков Лавр Федотович

Члены: полковник мотокавалерии б/и <то есть — Без Имени>

пищевик-хозяйственник Рудольф Архипович Хлебодов

процедурщик Фарфуркис

научный консультант и секретарь Саша Привалов

Представитель горисполкома, комендант колонии тов. Зубо Иннокентий Филиппович»

Здесь мы видим, кажется, единственное в истории упоминание имени-отчества товарища Зубо, а что же касается товарища Хлебовводова, то здесь он пока еще зовется Хлебодовым. (Между прочим, фамилия Хлебовводов означает по замыслу авторов «хлеб вводящий», но многие воспринимают ее как «Хлебов+водов», и в ФРГ даже перевели эту фамилию на немецкий буквально: Brotundwasser.)

Не могу не рассказать о возникновении имени Фарфуркис.

22.12.66 — БН: «...Получил еще одно письмо из-за границы (вернее, из Ленинграда, но от какого-то заезжего туриста Мойры Фарфуркиса). Написано по-русски на бланке Роял-отеля и начинается так: «Дородой госродин! Длинное время я бываю ваш поклонник через ваши книги. Я приехал Ленинград, желая участвовать вами беседе. Прошу собчить мне вашу возможность... и т.д.» Сообщить ему мою возможность я не в состоянии, потому что он забыл написать, где остановился и где его здесь искать. Но он дает обратный адрес в Лондоне...»

БН не только написал АН об этом курьезном послании неведомого М. Фарфуркиса, но и рассказал о нем же друзьям и коллегам в ресторане Дома Писателей. Коллеги восприняли его рассказ довольно равнодушно, но в прищуренных глазах Ильи Иосифовича Варшавского появился вдруг странный, прямо ска-

жем, дьявольский блеск, и заметивший этот блеск БН моментально догадался обо всем. Варшавский был тут же разоблачен, во всем (с явным удовольствием) признался и благосклонно подарил БНу замечательную фамилию «Фарфуркис» для дальнейшего и произвольного употребления.

Вообще же, в отличие от «Понедельника», «Сказка» мало напоминает коллективный капустник — практически все там придумано АБС, и практически одновременно, на протяжении этих трех Голицынских недель. Может быть, именно поэтому авторы оказались к концу срока выжаты, как лимон, и вымотаны, словно галерные каторжники.

25 марта 1967 появляется запись: «Сделали 8 стр. и ЗАКОНЧИЛИ ЧЕРНОВИК на 132 стр. Устали до опупения. Последние страницы брали штурмом — не кровью — сукровицей!»

Признание в своем роде уникальное. Мы, действительно, устали от «Сказки» необычайно, непривычно и мучительно. Очень и очень нелегкая это работа: непрерывно хохмить и зубоскалить на протяжении двадцати дней подряд. Полагаю, это под силу только безукоризненно молодым, здоровым и энергичным людям. Во всяком случае, никогда более на подобный подвиг АБС не оказывались способны. Укатали сивку крутые горки, «Сказка» оказалась их последним юмористическим произведением. Хотя попытки продолжить «Сказку» делались неоднократно — сохранились наметки, специально придуманные хохмочки, даже некие сюжетные заготовки. Последние по этому поводу записи в рабочем дневнике относятся к ноябрю 1988 года:

«Тройке поручено решать межнациональные отношения методом моделирования в НИИЧАВО, Китежграде и окрестностях. Пренебрежение предложениями ученых. Главное — чтобы Тройка ничего не теряла — фундаментальное условие. Поэтому все модели ведут к чуши.

— Гласность! — произнес Лавр Федотович, и все замолчали и выкатили на него зенки преданно и восторженно.

— Демократизация! — провозгласил он с напором, и все встали руки по швам и выразили на лицах решимость пасть смертью храбрых по первому требованию председателя.

— Перестройка! — провозгласил Лавр Федотович и поднялся сам. <...>

Мучительные и опасные поиски бюрократа. Нет таких. Кругом — только жертвы бюрократизма».

Однако мы так и не собрались взяться за это продолжение — пороку не хватило, заряда бодрости и оптимизма, да и молодости с каждым годом оставалось в нас все меньше и меньше, пока не растворилась она совсем, превратившись в нечто качественно иное.

Как продолжение «Понедельника» — сюжетное, идейное, стилистическое — «Сказка», скорее, не получилась. «Понедельник» — сочинение веселое, юмористическое, «беззубое зубоскальство», как говаривали Ильф с Петровым. «Сказка» — отчетливая и недвусмысленная сатира. «Понедельник» писали добрые, жизнерадостные, веселящиеся парни. «Сказка» писана желчью и уксусом. Жизнерадостные парни подрастеряли оптимизм, добродушие свое, готовность понять и простить и сделались злыми, ядовитыми и склонными к неприязненному восприятию действительности. Да и времена на дворе образовались соответствующие. Слухи о реабилитации Сталина возникали теперь чуть не ежеквартально. Фанфарно отгремел смрадный и отвратительный, как газовая атака, процесс над Синявским и Даниэлем. По издательствам тайно распространялись начальством некие списки лиц, публикация коих представлялась нежелательной. Надвигалось 50-летие ВОСР, и вся идеологическая бюрократия по этому поводу стояла на ушах... Даже самому изумрудно-зеленому оптимисту ясно сделалось, что Оттепель «прекратила течение свое» и пошел откат, да такой, что в пору было готовиться сушить сухари.

(Замечательно, что в переписке АБС почти никаких примет времени подобного рода нет. Предусмотрительность и осторожность! Всем известно было о наличии «в тени власти» Любителей Читать Чужие Письма, — точнее сказать, не любителей, конечно, а как раз профессионалов, каковых Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин называл некогда «собирателями статистики», а также «гороховыми пальто». Дневники тех времен тоже не блистают откровенностями, — из тех же соображений предусмотрительности и осторожности, — однако БН 14.06.68 не удержался — таки и переиначил в духе времени соответствующую статью

тогдашней Конституции СССР: «СВОБОДА вступительного СЛОВА. СВОБОДА круглой ПЕЧАТИ. СВОБОДА отчетно-перевыборных СОБРАНИЙ. СВОБОДА первомайских ШЕСТВИЙ И ДЕМОНСТРАЦИЙ».)

«Сказка» писалась для Детгиза и по заказу Детгиза. Но то, что у нас получилось, Детгиз вряд ли рискнул бы напечатать даже и в лучшие времена, а уж теперь о публикации и речи быть не могло.

Еще в конце мая 1967-го АН пишет: «СоТ <“Сказку о Тройке”> ждут очень — и в “Детгизе” и в “Мол. Гв.”...» В этот момент положение дел было таково: повесть отдана в распечатку; авторы все еще исполнены надежд; первые читатели (жены) отозвались о «Сказке» вполне одобрительно, но при этом дружно усомнились, что ТАКОЕ можно будет напечатать. Тем не менее, авторы продолжают размышлять над текстом, готовят какие-то изменения и дополнения. БН беспокоится, что в булгаковской «Дьяволиаде», оказывается, «тоже имеет место “Чрезвычайная Тройка в составе шестнадцати человек”. Что делать?» В том же письме (3.06.67) он сообщает: «Мне еще пришло в голову, что в послесловие надо обязательно включить обсуждение данной рукописи на заседании Тройки. Пусть повысказываются наши орлы — так сказать от лица будущей критики. <...> В СоТ знаешь чего недостает? Сюжет не выровнен, не построен прочно и сплошняком, как у нас обычно. Рыхлость имеет место. И еще меня смущает мизерность разворачивающей сюжет пружины: “Как одолеть Тройку”. Это что-то не то. В общем будем еще думать. У меня есть ощущение, что нам будет предоставлено много времени для размышлений над этой вещью...»

Святые слова! Как в воду глядел БН. 12 июня 1967-го в рабочем дневнике появляется запись: «Б. прибыл в Москву в связи с отвергнутием СоТ Детгизом...» Далее идет набросок сюжета повести «Обитаемый остров», а на следующий день: «Афронт в МолГв с СоТ» — «Молодая Гвардия» тоже отказалась иметь дело с этим опасным материалом («Не те времена, ребята, не те времена!»). Все было кончено. Отныне — вслед за «Улиткой» — и для «Сказки» тоже начинался длинный и печальный период литературного небытия.

Авторы, впрочем, еще барахтались. В конце июля повесть отнесли в ленинградскую «Неву». Одновременно разрабатывались

титанические планы раздать ее по главам и даже вообще по кусочкам в разные дружественные журналы — в «Знание — сила», в «Искатель», в «Химию и жизнь»...

Ничего из этой затеи, естественно, не вышло. Отказ последовал в разное время, но отовсюду. Как правило, отказывали на уровне знакомых редакторов — вежливо и сожалительно, но иногда «Сказка» доходила до начальства, и тогда она удостаивалась высокого раздражения, переходящего в высочайшее негодование. С особенно громким скандалом выброшен был из журнала «Знание — сила» отрывок с монологом Клопа Говоруна.

27.04.68 — АН: «...Отрывок велели снять. Начальник цензора, который ведает журналом, давать объяснения отказался, однако стало известно, что и сам он в недоумении. Оказалось, что отрывок читал сам Романов (!) — это глава Главлита — и заявил, что в отрывке есть некий вредный подтекст. Будучи робко спрошен, что это за подтекст, Романов якобы только буркнул: “Знаем мы, какой”...»

Вот загадка, так и оставшаяся неразгаданной: почему всех их так пугал (либо приводил в праведное негодование) Клоп Говорун? Какая, скрытая даже от самих авторов, антисоветская аллюзия заключалась в этом образе — несомненно, ярком и выпуклом, но, по замыслу авторов, ведь не более, чем шутливом и вполне балаганном? Мы так и не сумели выяснить этого в те времена, а теперь эта тайна, видимо, умерла вместе со своей эпохой. Ходили смутные слухи, что кто-то из начальников среднего звена заподозрил в Клопе (осмелился заподозрить!) кого-то из самых наисильнейших мира сего, но — кого именно? И заподозрил ли? Ведь заподозрить несложно. Но как донести до подчиненных свое подозрение? Не является ли подозревающий крамолу такого рода уже и сам, в свою очередь, в некотором смысле крамольником? Имел ли, на самом деле, место факт подозрения, как таковой, а если имел, то кому, когда и каким именно образом сделался известен? Нет ответа.

В октябре вдруг открылась возможность опубликовать «Сказку» в альманахе «НФ» издательства «Знание». Составителем очередной книжки альманаха оказался Север Гансовский, прекрасный писатель, чудесный, милый человек и наш хороший приятель. Он выразил готовность попытаться пробить «Сказку», но при

условии, что она будет сокращена до 5–6 авторских листов. То есть почти наполовину. Мы решили взяться за эту работу, и взялись очень энергично, так что закончили сокращенный вариант (черновик) буквально в три дня (23–25 октября 1967). И это при том, что, противу ожиданий, работать пришлось в полную силу: повесть решительно отказалась подвергнуться простому механическому сокращению, ее фактически пришлось переписать заново, создать новый, вполне самодостаточный, вариант, опубликованный в настоящем издании как «Сказка о Тройке-2».

Этот вариант, единожды родившись, зажил своей, самостоятельной жизнью, отдельной от печальной судьбы «Сказки-1» (так и оставшейся в архиве), жизнью особенной, в какой-то степени не зависимой даже от самих авторов. В альманахе «НФ» он, разумеется, не попал (начальство поднялось на дыбы), снова рассмотрен был и снова отвергнут и в Детгизе, и в «Молодой гвардии», а потом, спустя некоторое время, оказался, по случайному знакомству, в иркутском альманахе «Ангара», где и был благополучно (поначалу) опубликован в двух номерах.

Но авторы радовались этой маленькой «победе сил разума и прогресса» совершенно напрасно. Как любила в таких случаях говорить наша мама: «Рано пташечка запела — как бы кошечка не съела!» Кошечка была тут как тут. В середине 1969-го грянул в далекой Сибири краткий яростный скандал, вспыхнули партийные страсти, и вот уже в 9-м номере журнала «Журналист» в разделе «Партийные комитеты о печати (Иркутск)» появилась лапидарная, но чрезвычайно емкая информация, вполне в духе Лавра Федотовича Вунюкова:

«Обком КПСС рассмотрел вопросы об идейно-политических ошибках, допущенных редакцией альманаха “Ангара”. На страницах этого издания была опубликована вредная в идейном отношении повесть А. и Б. Стругацких “Сказка о тройке”. <...> За грубые ошибки, следствием которых явилась, в частности, публикация идейно несостоятельной повести А. и Б. Стругацких, главному редактору альманаха “Ангара” Ю. Самсонову и главному редактору Восточно-Сибирского книжного издательства В. Фридману объявлен строгий выговор. Решением бюро Иркутского обкома КПСС Ю. Самсонов освобожден от работы...»

И это было только начало. Главные неприятности прорезались полтора года спустя, когда до начальства дошло, что «Сказка о Тройке» не просто идейно вредная вещь, она еще вдобавок опубликована на Западе и не где-нибудь, а в антисоветском журнальчике «Грани».

На этот случай существовала хорошо отработанная и отлаженная организационная процедура. Так называемый «секретарь по оргвопросам» того отделения Союза писателей, к коему приписан был проштрафившийся писатель, вызывал последнего к себе на ковер, вставлял ему приличествующий общему положению дел фитиль и предлагал в письменной форме отмежеваться от вражеской провокации с последующим опубликованием этого самого отмежевания в печати. Если писатель соглашался следовать начальственным указаниям, дело благополучно закрывалось и штрафник, красный от злости и стыдобищи, возвращался в строй. Если же писатель артачился, принимался вдруг разглагольствовать о свободе творчества, конституционных правах и прочих экзотических вещах, — словом, «строил из себя декабриста», — тогда дело его автоматически передавалось по инстанциям в ведение «компетентных органов», которые на то и были созданы, чтобы обламывать рога, выбивать бубну и полировать мослы. Тем паче, что прен-цен-дент (дело Синявского—Даниэля) был уже своевременно создан.

АН (как полномочный представитель АБС) был вызван к секретарю по организационным вопросам Московской писательской организации тов. Ильину (бывшему не то полковнику, не то даже генерал-майору КГБ) и был там спрошен:

— Что такое НТС, знаете? — спросил его тов. Ильин.

— Знаю, — сказал АН с готовностью. — Машино-тракторная станция.

— Да не МТС, а НТС! — гаркнул тов. Ильин. — Народно-Трудовой Союз!

— Нет, не знаю, — сказал АН и почти что не соврал, ибо имел о предмете самое смутное представление.

— Так полюбуйте, — зловеще произнесло начальство и, выхватив из огромного сейфа белую книжечку, швырнуло ее на стол перед обвиняемым. Книжечкой оказался номер журнала «Грани», содержащий хорошо знакомый текст.

Далее произошел разговор, после которого АН почти сразу же собрался и поехал в Ленинград, в Дом творчества Комарово пи-

сать с братом-соавтором повесть, как сейчас помню, «Пикник на обочине».

Без малого тридцать лет прошло с тех пор, но я отчетливо помню те чувства, которые охватили меня, когда услышал я рассказ АН и понял, какое мерзопакостное действие нам предстоит. Чувства были: самый унижительный страх, бессильное бешенство и отвращение, почти физиологическое.

В отличие от многих и многих АБС никогда не строили планов и нисколько не хотели нелегально публиковаться за рубежом. Действия такого рода представлялись нам всегда не только опасными, но и совершенно бессмысленными. Наш читатель — здесь, и писать нам должно именно для него и ни для кого (и ни для чего) больше — так, или примерно так, формулировали мы для себя суть этой проблемы. Ни в какой мере, разумеется, не осуждая тех, кто, не видя иного выхода, вынужден был печататься «за бугром», иногда даже восхищаясь их смелостью и готовностью идти на самые серьезные жертвы, мы в то же время всегда полагали этот путь для себя совершенно неприемлемым и ненужным. Наши рукописи («Улитка», «Сказка о Тройке», «Гадкие лебеди») попадали на Запад самыми разными путями, некоторые из этих путей мы позднее, уже после перестройки, узнали, некоторые — остаются и до сих пор тайной за семью печатями, но никогда эти публикации не совершались с нашего ведома и согласия. Более того, когда нам предлагали такой вариант действий, мы всегда от него отказывались, — в более или менее резкой форме.

И вот теперь нам предстояло выразить свое отношение к акту, который нам был неприятен, к акту, который представлялся нам совершенно бессмысленным и бесполезным да еще и бестактным по отношению к нам. При этом, выражая наше к этому акту отношение, — отрицательное, безусловно самое отрицательное! — мы одновременно и помимо всякого нашего желания как бы поддерживали и одобряли тех, кто заставил нас это отношение выражать, мы как бы объединялись с ними в едином порыве казенного негодования, становились по сю сторону баррикады, где не было никого, кроме негодаев, жлобов и дураков, где собрались все наши враги и не было (не могло быть!) ни одного друга.

О, это было более чем тошнотворное занятие! Полдня мы обдумывали свое коротенькое послание-отмежевание, а потом еще полдня его писали. Тошнило от того, что делать это мы

ВЫНУЖДЕННЫ. От того, что сами мы не видели ничего дурного в происшедшем («ну напечатали и напечатали... кому какое дело? Чего тут огород-то городить, ей-богу!»), а изображать нам лежало самое что ни на есть искреннее возмущение и негодование. От злости на дураков, переправивших рукопись за рубеж, и от доброхотов, радостно ее опубликовавших (из самых лучших побуждений, естественно!) — тоже тошнило, да еще как...

«Нам сообщили, что в № 78 журнала “Грани” за 1970 год перепечатана наша повесть “Сказка о Тройке”, вышедшая в свет в 1968 году (альманах «Ангара» №№ 4–5). Нам сообщили также, что журнал “Грани”, являющийся органом НТС, придерживается ярко выраженной антисоветской ориентации. По этому поводу мы имеем заявить следующее:

1. Повесть “Сказка о Тройке” задумана нами как сатира на некоторые отрицательные явления, сопровождающие развитие науки и представляющие собой неизбежные издержки бурного научно-технического прогресса в наше время. Мы не беремся сами судить о достоинствах и недостатках нашей повести, но по мнению ряда компетентных товарищей (в большинстве — ученых) “Сказка о Тройке” оказалась произведением своевременным и была хорошо принята в научно-технических кругах нашего общества.

2. Нам совершенно очевидно, что необоснованные и беспочвенные нападки на “Сказку о Тройке” и другие наши произведения со стороны некоторых работников местного значения и неквалифицированных журналистов не дают редакции антисоветского журнала “Грани” никакого права рассматривать нас как своих авторов.

3. Мы категорически протестуем против опубликования нашей повести на страницах антисоветского журнала «Грани», как против провокации, мешающей нашей нормальной работе, и требуем, чтобы подобное впредь не повторялось.

Дата — 30.03.1971.

Подписи.

Написали — и тут же яростно принялись доканчивать первый черновик «Пикника». Чтобы стереть поганую слизь с ленты пишущей машинки. Чтобы отбить привкус идеологической ипе-

какуаны во рту. Чтобы снова почувствовать себя если не человеками, то хотя бы вполне человекоподобными...

Слава богу, этот текст наш никуда не пошел. Рассказывали, что товарищ Чаковский, тогдашний главред «Литературной газеты», который по замыслу начальства должен был опубликовать наше покаянное опровержение, прочитавши его, якобы, произнес с отвращением: «Не понимаю, против кого они, собственно, протестуют — против “Граней” или против наших журналистов» — и печатать ничего не стал. На том дело о забугорных изданиях АБС и закрылось. До поры, до времени.

На протяжении многих лет «Сказка о Тройке-2» распространялась в списках и в виде ксерокопий с «ангарского» текста. Мне лично она нравилась даже больше, чем более полный вариант-1. Она представлялась мне более компактной, более стилистически совершенной, хотя концовка была, на мой взгляд, лучше в первом варианте. Слишком уж концовка второго варианта смахивала на пресловутое DEUS EX MACHINA («Бог из машины»), к которому прибегали в отчаянии древние драматурги, запутавшиеся в хитросплетениях собственного сюжета. АН, впрочем, всегда предпочитал именно полный вариант, любил его цитировать, и спорить с ним мне было нелегко. Да и зачем?

Как только возможность возникла, мы полный вариант немедленно опубликовали — в журнале «Смена», в 1987 году, через двадцать лет после написания. А когда готовили свой первый двухтомник в издательстве «Московский рабочий», попытались соединить оба варианта, взяв самое лучшее из каждого. К нашему огромному удивлению оказалось, что такая работа требует полноценных творческих усилий, ее невозможно повернуть между делом, надобно фундаментально сидеть и придумывать, и перелопачивать, и переписывать все заново, — короче говоря: надо писать новую, третью, повесть. На это мы не пошли. Время было горячее, вовсю шла работа над «Отягощенными злом», а силы были уже не те, что прежде, на все сразу нас уже не хватало, приходилось выбирать, и мы выбрали ОЗ. В дальнейшем БН, уже оставшись один, принял решение впредь публиковать «Сказку» по принципу: «либо или-или, либо и-и», то есть — либо один из

вариантов, либо оба варианта рядом — как это и сделано в настоящем издании.

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

Совершенно точно известно, когда был задуман этот роман, — 12 июня 1967 года в рабочем дневнике появляется запись: «Надобно сочинить заявку на оптимистическую повесть о контакте». И тут же:

«Сочинили заявку. Повесть “Обитаемый остров”. Сюжет: Иванов терпит крушение. Обстановка. Капитализм. Олигархия. Управление через психоволны. Науки только утилитарные. Никакого развития. Машиной управляют жрецы. Средство идеальной пропаганды открыто только что. Неустойчивое равновесие. Грызния в правительстве. Народ шатают из стороны в сторону, в зав.<исимости> от того, кто дотягивается до кнопки. Психология тирании: что нужно тирану? Кнопочная власть — это не то, хочется искренности, великих дел. Есть процент населения, на кого лучи не действуют. Часть — рвется в олигархи (олигархи тоже не подвержены). Часть — спасаются в подполье от истребления, как неподатливый материал. Часть — революционеры, как декабристы и народники. Иванов после мытарств попадает в подполье».

Любопытно, что эта нарочито бодрая запись располагается как раз между двумя сугубо мрачными — 12.06.67: «Б. прибыл в Москву в связи с отвергнутием СоТ Детгизом» и 13.06.67: «Афронт в МолГв с СоТ». Этот сдвоенный удар оглушил нас и заставил утратить на время сцепление с реальностью. Мы оказались словно бы в состоянии этакого «творческого прогни».

Очень хорошо помню, как, обескураженные и злые, мы говорили друг другу: «Ах, вы не хотите сатиры? Вам более не нужны Салтыковы-Щедрины? Современные проблемы вас более не волнуют? Оч-чень хорошо! Вы получите бездумный, безмозглый, абсолютно беззубый, развлеченческий, без единой идеи роман о приключениях мальчика-е...чика, комсомольца XXII века...» Смешные ребята, мы словно собирались наказать кого-то из властимущих за отказ от предлагаемых нами серьезностей и

проблем. Наказать тов. Фарфуркиса легкомысленным романом! Забавно. Забавно и немножко стыдно сейчас это вспоминать. Но тогда, летом и осенью 67-го, когда все, самые дружественные нам, редакции одна за другой отказывались и от «Сказки» и от «Гадких лебедей», мы не видели в происходящем ничего забавного.

Мы взялись за «Обитаемый остров» без энтузиазма, но очень скоро работа увлекла нас. Оказалось, что это дьявольски увлекательное занятие — писать беззубый, бездумный, сугубо развлеченческий роман! Тем более, что довольно скоро он перестал видиться нам таким уж беззубым. И башни-излучатели, и выродки, и Боевая Гвардия — все вставало на свои места, как патроны в обойму, все находило своего прототипа в нашей обожаемой реальности, все оказывалось носителем подтекста — причем даже как бы помимо нашей воли, словно бы само собой, будто разноцветная леденцовая крошка в некоем волшебном калейдоскопе, превращающем хаос и случайную мешанину в элегантную, упорядоченную и вполне симметричную картинку.

Это было прекрасно — придумывать новый, небывалый мир, и еще прекраснее было наделять его хорошо знакомыми атрибутами и реалиями. Я просматриваю сейчас рабочий дневник: ноябрь 1967-го, Дом творчества Комарово, мы работаем только днем, но зато как работаем — 7, 10, 11 (!) страниц в день. И не чистовика ведь — черного текста, создаваемого, извлекаемого из ничего, из небытия! Этими темпами мы закончили черновик всего в два захода, 296 страниц за 32 рабочих дня. А чистовик писался еще быстрее, по 12–16 страниц в день, и уже в мае готовая рукопись была отнесена в московский Детгиз, и почти одновременно — в ленинградский журнал «Нева».

Таким образом, роман (рекордно толстый роман АБС того времени) написан был на протяжении полугода. Вся дальнейшая история его есть мучительная история шлифовки, приглаживания, ошкуривания, удаления идеологических заусениц, приспособления, приведения текста в соответствие с разнообразными и зачастую совершенно непредсказуемыми требованиями Великой и Могучей Цензурирующей машины.

«Что есть телеграфный столб? Это хорошо отредактированная сосна». До состояния столба «Обитаемый остров» довести не удалось, более того — сосна так и осталась сосной, несмотря

на все ухищрения сучкорубов в штатском, но дров таки оказалось наломано предостаточно, и еще больше оказалось испорчено авторской крови и потрепано авторских нервов. И длилась эта изнурительная борьба за окончательную и безукоризненную идеологическую дезинфекцию без малого два годика.

Два фактора сыграли в этом сражении существеннейшую роль. Во-первых, нам (и роману) чертовски повезло с редакторами — и в Детгизе, и в «Неве». В Детгизе вела роман Нина Матвеевна Беркова, наш старый друг и защитник, редактор опытнейший, прошедший огонь, воду и медные трубы, знающий теорию и практику советской редактур от «А» до «Я», никогда не впадающий в отчаяние, умеющий отступить и всегда готовый наступать. В «Неве» же нас курировал Самуил Аронович Лурье — тончайший стилист, прирожденный литературовед, умный и ядовитый, как бес, знаток психологии советского идеологического начальства вообще и психологии А. Ф. Попова, главного тогдашнего редактора «Невы», в частности. Если бы не усилия этих двух наших друзей и редакторов, судьба романа могла бы быть иной — он либо не вышел бы вообще, либо оказался изуродован совсем уж до неузнаваемости.

Во-вторых, общий политический фон того времени. Это был 1968 год, «год Чехословакии», когда чешские горбачевы отчаянно пытались доказать советским монстрам возможность и даже необходимость «социализма с человеческим лицом», и временами казалось, что это им удастся, что вот-вот сталинисты отступят и уступят, чашки весов непредсказуемо колебались, никто не знал, что будет через месяц — то ли свободы восторжествуют, как в Праге, то ли все окончательно вернется на круги своя — к безжалостному идеологическому оледенению и, может быть, даже к полному торжеству сторонников ГУЛАГа.

...Либеральная интеллигенция дружно фрондировала, все наперебой убеждали друг друга (на кухнях), что Дубчек обязательно победит, ибо подавление идеологического мятежа силой невозможно, не те времена на дворе, не Венгрия это вам 1956-го года, да и жидковаты все эти брежнев-сусловы, нет у них той старой доброй сталинской закалки, порохи у них не хватит, да и армия нынче уж не та... «Та, та у нас нынче армия, — возражали самые умные из нас. — И порохи хватит, успокойтесь. И брежне-

вы-сусловы, будьте уверены, не дрогнут и никаким дубчекам не уступят НИКОГДА, ибо речь идет о самом их, брежневых, существовании...»

...И мертво молчали те немногие, как правило, недоступные для непосредственного контакта, кто уже в мае знал, что вопрос решен. И уж конечно помалкивали те, кто ничего точно не знал, но чуял, самой шкурой своею чуял: все будет как надо, все будет как положено, все будет как всегда — начальники среднего звена, и в том числе, разумеется, младшее офицерство идеологической армии — главные редактора журналов, кураторы обкомов и горкомов, работники Главлита...

Чашки весов колебались. Никто не хотел принимать окончательных решений, все ждали, куда повернет дышло истории. Ответственные лица старались не читать рукописей вообще, а прочитав, выдвигали к авторам ошеломляющие требования, с тем, чтобы после учета этих требований, выдвинуть новые, еще более ошеломляющие.

В «Неве» требовали: сократить; выбросить слова типа «родина», «патриот», «отечество»; нельзя, чтобы Мак забыл, как звали Гитлера; уточнить роль Странника; подчеркнуть наличие социального неравенства в Стране Отцов; заменить Комиссию Галактической Безопасности другим термином, с другими инициалами...

В Детгизе (поначалу) требовали: сократить; убрать натурализм в описании войны; уточнить роль Странника; затуманить социальное устройство Страны Отцов; решительно исключить само понятие «Гвардия» (скажем, заменить на «Легион»); решительно заменить само понятие «Неизвестные Отцы»; убрать слова типа «социал-демократы», «коммунисты» и т.д.

Впрочем, как пел в те годы В. Высоцкий, «но это были еще цветочки». Ягодки ждали нас впереди.

В начале 1969 вышло в «Неве» журнальное издание романа. Несмотря на всеобщее ужесточение идеологического климата, связанное с чехословацким позорищем; несмотря на священный ужас, охвативший послушно вострепетавших идеологических начальников; несмотря на то, что именно в это время созрело и лопнуло сразу несколько статей, бичующих фантастику Стругацких, — несмотря на все это, роман удалось опубликовать, причем ценою

небольших, по сути минимальных, потерь. Это была удача. Более того, это была, можно сказать, победа, которая казалась невероятной и которой никто уже не ждал.

В Детгизе, вроде бы, дело тоже шло на лад. В середине мая АН пишет, что Главлит пропустил «Обитаемый остров» благополучно, без единого замечания. Книга ушла в типографию. Более того, производственный отдел обещал, что хотя книга запланирована на третий квартал, возможно, найдется щель для выпуска ее во втором, то есть, в июне-июле.

Однако ни в июне, ни в июле книга не вышла. Зато в начале июня в газете «Советская литература», славившейся своей остротой и даже в каком-то смысле запредельной национально-патриотической направленностью, появилась статья под названием «Листья и корни». Как образец литературы, не имеющей корней, приводился там «Обитаемый остров», журнальный вариант. В этой своей части статья показалась тогда БНу (да и не ему одному) «глупой и бессодержательной», а потому и совсем не опасной. Подумаешь, ругают авторов за то, что у них нуль-передатчики заслонили людей, да за то, что нет в романе настоящих художественных образов, нет «корней действительности и корней народных». Эка невидаль, и не такое приходилось АБС о себе слышать!.. Гораздо больше взволновал их тогда донос, поступивший в те же дни в ленинградский обком КПСС от некоего правоверного кандидата наук, физика и одновременно полковника. Физик-полковник попросту, с прямоотой военного человека и партийца, без всяческих там вуалей и экивоков обвинял авторов опубликованного в «Неве» романа в издевательствах над армией, антипатриотизме и прочей неприкрытой антисоветчине. Предлагалось принять меры.

Невозможно ответить однозначно на вопрос, какая именно соломинка переломила спину верблуду, но 13 июня 1969 года прохождение романа в Детгизе было остановлено указанием свыше и рукопись изъяли из типографии. Начался период Великогостояния «Обитаемого острова» в его детгизовском варианте.

Не имеет смысла перечислять все слухи, в том числе и самые достоверные, которые возникали тогда, бродили из уст в уста и бесследно исчезали в небытии, не получив сколько-нибудь основательных подтверждений. Скорее всего, правы были те ком-

ментаторы событий, которые полагали, что количество скандалов вокруг имени АБС (шесть ругательных статей за полгода в центральной прессе) перешло наконец в качество и где-то кем-то решено было взять строптивцев к ногтю и примерно наказать. Однако же и эта гипотеза, неплохо объясняя дебют и миттельшпиль разыгранной партии, никак не объясняет сравнительно благополучного эндшпиля.

После шести месяцев окоченного стояния рукопись вдруг снова возникла в поле зрения авторов — прямиком из Главлита, испещренная множественными пометками и в сопровождении инструкций, каковые, как и положено, были немедленно доведены до нашего сведения через посредство редактора. И тогда было трудно, а сегодня и вовсе невозможно судить, какие именно инструкции родились в недрах цензурного комитета, а какие сформулированы были дирекцией издательства. По этому поводу существовали и существуют разные мнения, и тайна эта никогда теперь уже не будет разгадана. Суть же инструкций, предложенных авторам к исполнению, сводилась к тому, что надлежит убрать из романа как можно больше реалий отечественной жизни (в идеале — все без исключения) и прежде всего — русские фамилии героев.

В январе 1970 АБС съехались у мамы в Ленинграде и в течение четырех дней проделали титаническую чистку рукописи, которую правильнее было бы назвать, впрочем, не чисткой, а поллюцией, в буквальном смысле этого неаппетитного слова.

Первой жертвой стилистических саморепрессий пал русский человек Максим Ростиславский, ставший отныне, и присно, и во веки всех будущих веков немцем Максимом Каммерером. Павел Григорьевич (он же Странник) сделался Сикорски, и вообще в романе появился легкий, но отчетливый немецкий акцент: танки превратились в панцервагены, штрафники в блитттрегеры, «дурак, сопляк!» — в «Dumkopf, Rotznase!»... Исчезли из романа: «портянки», «заклученные», «салат с креветками», «табак и одеколон», «ордена», «контрразведка», «леденцы», а также некоторые пословицы и поговорки, вроде «бог шельму метит». Исчезла полностью и без следа вставка «Как-то скверно здесь пахнет...», а Неизвестные Отцы Папа, Свекор и Шурин превратились в Огненосных Творцов Канцлера, Графа и Барона.

Невозможно перечислить здесь все поправки и подчистки, невозможно перечислить хотя бы только самые существенные из них. Юрий Флейшман, проделавший воистину невероятную в своей кропотливости работу по сравнению чистовой рукописи романа с детгизовским его изданием, обнаружил 896 разночтений — исправлений, купюр, вставок, замен... Восемьсот девяносто шесть!

Но это уже был если и не конец еще истории, то во всяком случае ее кульминация. Исправленный вариант был передан обратно на площадь Ногина, в Главлит, и не прошло и пяти месяцев, как получилось письмо от АН (22.05.70):

«...Пл. Ногина выпустила, наконец, ОО из своих когтистых лап. Разрешение на публикацию дано. Стало, кстати, понятно, чем объяснялась такая затяжка, но об этом при встрече. Стало известно лишь, что мы — правильные советские ребята, не чета всяким клеветникам и злопыхателям, только вот настрой у нас излишне критически-болезненный, да это ничего, с легкой руководящей рукой на нашем плече мы можем и должны продолжать работать. <...> Подсчитано, что если все пойдет гладко (в производстве), то книга выйдет где-то в сентябре...»

В сентябре книга, положим, не вышла, не вышла она и в ноябре. В январе 1971 года закончилась эта история — поучительная история опубликования развеселой, абсолютно идеологически выдержанной, чисто развлекательной повестушки о комсомольце XXII века, задуманной и написанной своими авторами главным образом для ради денег.

Интересный вопрос: а кто все-таки победил в этом безнадежном сражении писателей с государственной машиной? Авторам, как-никак, а все-таки удалось выпустить в свет свое детище, пусть даже и в сильно изуродованном виде. А вот удалось ли цензорам и начальникам вообще добиться своего — выкорчевать из романа «вольный дух», аллюзии, «неуправляемые ассоциации» и всяческие подтексты? В какой-то мере — безусловно. Изуродованный текст, без всяких сомнений, много потерял в остроте своей и сатирической направленности, но полностью кастрировать его, как мне кажется, начальству так и не удалось. Роман еще долго и охотно пинали ногами разнообразные доброты. И хотя критический

нафос их редко поднимался выше обвинений авторов в «неуважении к советской космонавтике» (имелось в виду пренебрежительное отношение Максима к работе в Свободном Поиске), несмотря на это, опасно-недоброжелательное отношение начальства к «Обитаемому острову», даже и в «исправленной» его модификации, просматривалось вполне явственно. Впрочем, скорее всего, это была просто инерция...

В настоящем издании первоначальный текст романа в значительной степени восстановлен. Разумеется, невозможно было вернуть «девичье» имя Максиму Каммереру урожденному Ростиславскому — за прошедшие двадцать лет он (как и «Павел Григорьевич» Сикорски) стал героем нескольких повестей, где фигурирует именно как Каммерер. Тут уж — либо менять везде, либо не менять нигде. Я предпочел — нигде. Некоторые изменения, сделанные авторами под давлением, оказались, тем не менее, настолько удачными, что их решено было сохранить и в восстановленном тексте — например, странно звучащие «воспитуемые» вместо банальных «заклоченных» или «ротмистр Чачу» вместо «капитана Чачу». Но подавляющее большинство из девяти сотен искажений было, конечно, исправлено, и текст приведен к «каноническому виду».

...Я перечитал сейчас все вышеизложенное и ощутил вдруг смутное опасение, что буду неправильно понят современным читателем, читателем конца XX — начала XXI века.

Во-первых, у читателя могло возникнуть представление, что АБС все это время только тем и занимались, что бегали по редакциям, клянчили их ради Бога напечатать, рыдали друг другу в жилетку и, рыдая, уродовали собственные тексты. То есть, разумеется, все это было на самом деле — и бегали, и рыдали, и уродовали, — но это занимало лишь малую часть рабочего времени. Как-никак именно за эти месяцы написан был наш первый (и последний) фантастический детектив («Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»), начата и закончена повесть «Малыш», начат наш «тайный» роман «Град обреченный» и закончены в черновике три части его, задуман и начат «Пикник на обочине». Так что рыдания рыданиями, а жизнь и работа шли своим чередом, и некогда нам было унывать и ломать руки «в смертельной тоске».

Теперь во-вторых. Во-вторых, вспомнился мне рассказ известного писателя Святослава Логинова («внезапного патриарха

отечественной фэнтези»), как выступал он недавно перед нынешними школьниками, пытался, в частности, поразить их воображение теми невероятными и нелепыми трудностями, с которыми сталкивался писатель середины 70-х, и неожиданно услышал из рядов недоуменное: «Если было так трудно печататься, что же вы не организовали собственного издательства?...» Сегодняшний читатель просто представить себе не может, каково было нам, шестидесятникам-семидесятникам, как беспощадно и бездарно давил литературу и культуру вообще всемогущий партийно-государственный пресс, по какому узенькому и хлипкому мосточку приходилось пробираться каждому уважающему себя писателю: шаг вправо — и там поджидает тебя семидесятая (или девяностая) статья УК, суд, лагерь, психушка; в лучшем случае — занесение в черный список и выдворение за пределы литературного процесса лет эдак на десять; шаг влево — и ты в объятиях жлобов и бездарей, предатель своего дела, каучуковая совесть, иуда, считаешь-пересчитываешь поганые сребреники... Сегодняшний читатель понять этих дилемм, видимо, уже не в состоянии. Психологическая пропасть между ним и людьми моего времени уже разверзлась, трудно рассчитывать заполнить ее текстами наподобие моих комментариев, но ведь другого способа не существует, не правда ли? Свобода, она как воздух или как здоровье, — пока она есть, ты ее не замечаешь и не понимаешь, каково это — без нее или вне ее.

Существует, правда, мнение, что свобода никому и не нужна — нужно лишь освобождение от необходимости принимать решения. Это мнение довольно популярно сейчас. Ибо сказано: «Часто лучший вид свободы — свобода от забот». Возможно, возможно... Но это, впрочем, тема совсем другого разговора.

1969–1973 гг.

«ОТЕЛЬ "У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА"»

Нам давно хотелось написать детектив. Мы оба были большими любителями этого вида литературы, причем АН, свободное владение английским, был вдобавок еще и большим знатоком — знатоком творчества Рекса Стаута, Эрла Гарднера, Дэшила

Хеммита, Джона Ле Карре и других мастеров, в те годы мало известных массовому русскому читателю.

Разговоры на тему «а хорошо бы нам написать с тобой этакий заковыристый, многоходовый, с нетривиальной концовкой...» велись на протяжении многих лет, но снова и снова кончались ничем. Нам был совершенно ясен фундаментальный, можно сказать — первородный, имманентный порок любого, даже самого наизабойнейшего детектива... Вернее, два таких порока: убогость криминального мотива, во-первых, и неизбежность скучной, разочаровывающе унылой, убивающей всякую достоверность изложения, суконной объяснительной части, во-вторых. Все мыслимые мотивы преступления нетрудно было пересчитать по пальцам: деньги, ревность, страх разоблачения, месть, психопатия... А в конце — как бы увлекательны ни были описываемые перипетии расследования, — неизбежно наступающий спад интереса, как только становится ясно: кто, почему и зачем.

В каком-то смысле образцом, — если не для подражания, то во всяком случае для любования и восхищения, — стал для нас детективный роман Фридриха Дюренматта «Обещание» (с подзаголовком «Отходная детективному жанру»). Требовалось что-то вроде этого, нечто парадоксальное, с неожиданным и трагическим поворотом в самом конце, когда интерес читателя по всем законам детектива должен падать, — ЕЩЕ ОДНА ОТХОДНАЯ ДЕТЕКТИВНОМУ ЖАНРУ виделась нам, как желанный итог наших беспорядочных обсуждений, яростных дискуссий и поисков по возможности головоломного подхода, приема, сюжетного кульбита. По крайней мере несколько лет — без всякого, впрочем, надрыва, в охотку и даже с наслаждением — ломали мы голову над всеми этими проблемами, а вышли на их решение совершенно для себя неожиданно, в результате очередного (умеренной силы) творческого кризиса, случившегося с нами в середине 1968 почти сразу после окончания работы над «Обитаемым островом».

Собственно, кризис вызван был не столько творческими, сколько чисто внешними обстоятельствами. Вполне очевидно стало, что никакое сколько-нибудь серьезное произведение опубликовано в ближайшее время быть не может. Мы уже начали тогда работать над «Градом обреченным», но это была работа в стол — важная, увлекательная, желанная, благородная, — но абсолютно

бесперспективная в практическом, «низменном» смысле этого слова — в обозримом будущем она не могла принести нам ни копейки. («Все это очень бла-ародно, — цитировали мы друг другу дона Сэра, — но совершенно непонятно, как там насчет бабок?..») Мы заставляли себя быть циничными. Наступило время, когда надо было либо продавать себя, либо бросать литературу совсем, либо становиться циниками, то есть учиться писать ХОРОШО, но ради денег.)

В дневнике сохранились следы наших мучительных поисков темы, достаточно увлекательной для того, чтобы писать книгу было интересно, и в то же время достаточно «проходной», способной усыпить или обмануть бдительность идеологических церберов.

«Люди и боги» — видимо, повесть о прямом контакте со сверхцивилизацией, изучающей человечество на предмет выяснения его разумности-неразумности. Повесть о трагедии человечества, обнаружившего себя вдруг объектом научного исследования. Повесть о Великом Шоке, о котором мы не раз упоминали и раньше, и впоследствии, но о котором так и не собрались написать.

14.12.68. «Арк приехал в Лрд. Раздумали ЛиБ, задумали “Кракена”...»

Тоже старая наша тема — столкновение людей с гигантским, древним, почти вечным головоногим, обладающим способностью прямого воздействия на человеческий мозг. К этому моменту был хорошо разработан и отчасти даже и написан сюжет с Кракеном, попавшим в московский научно-исследовательский институт, где он превратил всех сотрудников в ледяных эгоцентриков, не знающих пощады в достижении своих вполне низменных целей. В новом «Кракене» события должны были развиваться на некоем морском побережье, где рыбаки стали вдруг видеть один и тот же сон и декламировать друг другу классику (к собственному своему изумлению). Героями там должны были быть: Петер Глебски — книгоноша, Цвирик — учитель, прапорщик Рашба — из погранвойск, Хинкус — переводчик, девушка Гута, а также: бабка Мирл, Мозес, Исхак, Иозеф, Герош, Цмыг, Шухат, Згут и другие. Не правда ли, много знакомых имен? Но дальше имен дело у нас с новым «Кракеном» так и не пошло.

16.12.68. «Раздумали “Кракена”. Задумали “Скучные пустышки”. “Это вовлечение бога в скучные пустышки подавляло меня...” М. Горький («В людях»)...»

От этого замысла осталась тщательно нарисованная карта, где имеет место какой-то завод, рабочий поселок при нем, городок с банями, железнодорожная ветка, ведущая через реку... Совершенно не помню, что это был за сюжет, при чем здесь скучные пустышки и кто такие эти тщательно выписанные в столбик «Гуннар Богессен, Алек (Александр) Пеккала, Барн (Барнстокр) Луарвик и Кайса Сневарски...»

Впрочем, сохранилась запись: «Повесть вот о чем: “Допустив, что мы можем все, что мы собираемся делать с этим нашим всемогуществом?” (Жан Ростан) — из статьи Пьеретты Сартен». Кто такая Пьеретта Сартен? Не помню. Какой Жан Ростан имеется в виду? Могу только догадываться. Отрывистые же фразы: «Они ищут атмосферу счастья. М. б., желанья исполняют человекообразные роботы (блаженные люди; черные люди; вонючие люди)?» — отрывистые эти фразы — материал, явно недостаточный, чтобы восстановить в памяти хотя бы отдельные звенья сюжетной цепочки. Видимо, этой цепочки, как чего-то целого, просто никогда не существовало.

11.01.69. «Прибыли в Комарово. Долго, мучительно думали. Придумали: человек, живущий вторично и заново; человек, приглашенный на работу в космический синдикат — все отвергли. Остановились временно на ВНИВ».

«Человек, приглашенный в космический синдикат» — полагаю, это был какой-то совсем уж тупиковый сюжет, от которого в памяти не осталось совершенно ничего. Ни единого воспоминания. И никакой зацепки.

«Человек, живущий вторично...» — зародыш весьма плодотворной и богатой сюжетобразующей идеи, из которой много лет спустя образовалась повесть «Подробности жизни Никиты Воронцова» С. Ярославцева.

А ВНИВ означает «В наше интересное время» — самое первое название фантастического детектива об инспекторе полиции Петере Глебски.

Писался наш детектив легко и азартно. Дьявольски увлекательно было вычерчивать планы гостиницы, определять, где кто живет, тщательнейшим образом расписывать «time-table» — таблицу, определяющую, кто где находился в каждый момент времени и что именно подделывал... Достоверность изложения — один из трех китов фантастики, и, несомненно, Большая Черепаха детектива. Черновик мы закончили в два захода, чистовик — в один. 19 апреля 1969 повесть была готова, а уже в июне с чувством исполненного долга и со спокойной совестью (будущее обеспечено по крайней мере на год вперед) мы вернулись к работе над «Градом».

Нельзя, впрочем, сказать, что мы были вполне довольны результатом. Мы задумывали наш детектив как некий литературный эксперимент. Читатель, по нашему замыслу, должен был сначала воспринимать происходящее в повести как обыкновенное «убийство в закрытой комнате», и лишь в конце, когда в традиционном детективе обычно происходит всеобщее разъяснение, сопровождающееся естественным провалом интереса, у нас сюжет должен был совершить внезапный кульбит: прекращается одна история, и начинается совершенно другая — интересная совсем по-своему, с другой смысловой начинкой, с другой проблемой, по сути, даже с другими героями...

Так вот, замысел был хорош, но эксперимент не удался. Мы это почувствовали сразу же, едва поставив последнюю точку, но уже ничего не могли поделать. Не переписывать же все заново. И, главное, дело было не в том, что авторы плохо постарались или схалтурили. Дело, видимо, было в том, что нельзя нарушать вековые каноны таким образом, как это позволили себе АБС. Эксперимент не удался, потому что он и не мог удался. Никогда. Ни при каких стараниях-ухищрениях. И нам оставалось только утешаться мыслью, что чтение все равно получилось у нас увлекательное, не хуже (а может быть и лучше), чем у многих и многих других.

Утешившись этим соображением, мы изменили у нашего детектива название — теперь повесть называлась «Дело об убийстве. Еще одна отходная детективному жанру» — и понесли его по редакциям. Здесь нас ожидал новый неприятный сюрприз. Мы-то воображали, что написали добротную, проходную, сугубо развлекательную повестуху с моралью, и повестуху эту главные редакторы станут у нас рвать из рук, опережая друг друга — ан не тут-то

было! Мы забыли, в какое время живем. Мы как-то не учли, что сама фамилия наша вызывает сейчас у главных упомянутых выше редакторов душеспасительную оторопь и чисто инстинктивное желание отмежеваться — отказаться от сотрудничества, не думая и по возможности даже не читая. Что они и делали.

Выяснилось, что мы перехватили с аполитичностью и асоциальностью. Выяснилось, что главным редакторам не хватает в повести борьбы — борьбы классов, борьбы за мир, борьбы идей, вообще хоть какой-нибудь борьбы. Борения инспектора Глебски с самим собой борьбой не считались, их было недостаточно. Повесть лежала в «Неве», в «Авроре», в «Строительном рабочем», повесть была переработана в сценарий и в этом виде лежала на Ленфильме — и везде начальство ныло по поводу аполитичности-асоциальности и просило (на редкость дружно!) ввести в повесть ну хотя бы неонацистов вместо вульгарных гангстеров. Нам очень не хотелось этого делать. Не то чтобы мы любили неонацистов больше, чем бандитов, но от неонацистов (обманувших лопуха-пришельца Мозеса) явственно пованивало, как нам казалось, дурной политической ангажированностью и конъюнктуркой, в то время как гангстеры — они и есть гангстеры, и в Африке они гангстеры, и в Америке, и в Европе, и сегодня, и вчера, и завтра, — что с них взять, такова реальная жизнь, и никакой политической конъюнктуры.

В конце концов, уже имея дело с журналом «Юность», мы все-таки сдались и с отвращением переделали гангстеров на неонацистов. «Нате, ешьте». В благодарность за послушание «Юность» потребовала еще изменить и название. Нам было уже все равно. Так появился «Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (без всякого теперь уж подзаголовка) — провалившийся эксперимент профессиональных фантастов, попытавшихся написать детектив нового типа.

(В дальнейшем, выпуская повесть в Детгизе, мы сумели вернуть в текст гангстеров, но зато попали под яростную антиалкогольную кампанию — шла очередная бескомпромиссная борьба за искоренение в детской литературе «взрослостей» вообще и каких бы то ни было алкоголических мотивов, в частности. Как результат такой борьбы инспектор Глебски в этом варианте повести пьет черный кофе болезненно огромными кружками, — теми самыми, которыми в оригинале он пил горячий глинтвейн.)

«МАЛЫШ»

Был задуман 22 февраля 1970 года под названием «Операция МАУГЛИ».

«На планете, населенной негуманоидным пассивным племенем (вырождающимся после биологической войны), разбился звездолет с супружеской парой и ребенком. Ребенка спасают аборигены. Через десяток лет прибывает новая экспедиция, обнаруживает человеческие следы, а аборигенов принимает за животных. В поисках невольно разрушают дома и пр. Возникает конфликт. Маугли отзывается, как <обычно> привык защищать своих медлительных отчимов от диких зверей. Его захватывают. Дальше — на Землю. Приключения на Земле...» И так далее. Появляется Горбовский со своей внучкой, тайно переправляется на остров, где живут аборигены, и улаживает все конфликты ко всеобщему удовлетворению. Deus ex machina.

Замысел, как видите, достаточно сильно отличается от последующей его реализации, но какие-то (фундаментальные) позиции определились у нас уже в самом первом разработанном плане, и в том числе образ Малыша: «...У Маугли могучая способность к звукоподражанию, сразу все запоминает, слова и интонации, так его отчиму заманивают быстрых зверей. Обмазан слизью, которая обладает способностью менять цвет под цвет фона — мимикрия...»

Впрочем, все это были только наброски. Писать повесть мы начали гораздо позже, в июне 1970, причем вначале основательно перелопатили сюжет: медлительные вымирающие аборигены превратились у нас в могучую цивилизацию «гетероморфов», населяющую подземные пустоты мрачных и загадочных «Морщинистых островов»; неловкие действия ничего не понимающих в ситуации землян (вернее, их кибернетических ловчих) приводят к конфликту, в который, разумеется, вмешивается Малыш... маленькая, но беспощадная война... разъяснение всех недоразумений... земляне уходят. По этому, новому, плану мы даже начали работать и написали целых восемь страниц, но уже на другой день: «...Думаем заново. Написанное похерили».

Словом, «Малыш» дался нам нелегко — по крайней мере, на этапе разработки сюжета. Писался он, впрочем, бойко, в хорошем темпе, без каких-либо новых задержек и перебоев, — энергично, гладко, но как-то невесело. Ощущение даром растрачиваемого времени не покидало нас, и если бы не то обстоятельство, что эту повесть ждал от нас Детгиз (в полном соответствии с ранее заключенным договором), мы, может быть, и не стали бы эту работу доводить до конца.

А может быть, и стали бы. Нам нравился Малыш, у нас хорошо получился Вандерхузе с его бакенбардами и верблужьим взглядом вдоль и поперек собственного носа, да и Комов был там на месте, не говоря уж о любимом нашем Горбовском, которого мы здесь с удовольствием воскресили из мертвых раз и впредь навсегда. И тем не менее, мысль о том, что мы пишем повесть, которую можно было бы и не писать — сегодня, здесь и сейчас — испортила нам немало крови, и, я помню это совершенно отчетливо, окончив чистовик в начале ноября 1970-го, мы чувствовали себя совершенно неудовлетворенными и почему-то — дьявольски уставшими. Наверное, это была реакция — расплата за ощущение НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ своего труда.

Разумеется, ощущение это посещало не только авторов. Очень уважаемый нами критик Рафаил Нудельман, большой в те времена поклонник творчества АБС, задумчиво сказал как-то по поводу «Малыша»: «Может быть, чем писать такое, лучше вообще не писать ничего?..» Я, помнится, довольно резко ему возразил. Он, помнится, не стал особенно спорить. Каждый остался при своем мнении.

Мы уже не могли не писать. Мы прекрасно понимали, что имеет в виду Нудель, мы и сами мучились мыслью о том, что выпуская «нейтральные», внеполитические вещи, мы как бы занимаемся коллаборационизмом и против собственной воли подерживаем — молчанием своим, внеполитичностью, добровольной своей самоустранимостью — этот поганый режим. Но мы уже не могли не писать. Нам казалось (как нашему герою Виктору Баневу из «Гадких лебедей»), что если мы перестанем писать вообще — это будет ИХ победа: «замолчали, заткнулись, перестали брэнчать...» А так мы все-таки сохраняли хоть мизерную, но все-таки возможность сказать то, что говорить было при

прочих равных условиях не разрешено, да и негде, — вроде той фразы в «Малыше» про «фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают». На эту фразу, разумеется, мало кто из читателей и внимание-то обратил, но для нас она звучала как лозунг, как вызов и даже, в каком-то смысле, как оправдание всех наших действий.

Словом, мы невысоко ценили нашего «Малыша», но, иногда перечитывая его, признавались друг другу (в манере Вандерхузе): «А ведь недурно написано, ей-богу, как ты полагаешь?» — и были при этом совершенно честны перед собою: написано было и в самом деле недурно. В своем роде, конечно.

И опять же не одни только авторы придерживались такой точки зрения. Ведь недаром эта повестушка и инсценирована была, причем вполне прилично, и экранизирована (довольно, впрочем, посредственно), и переиздавалась многократно как дома, так и за рубежом. В начале 72-го мы даже подумывали, не написать ли нам продолжение: «Малыш рассказывает» — операция «Ковчег» глазами Малыша. А сейчас я иногда думаю (не без горечи), что именно в силу своей аполитичности, антиконъюнктурности и отстраненности эта повесть, вполне возможно, переживет все другие наши работы, которыми мы так некогда гордились и которые считали главными и «вечными».

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

История написания этой повести (в отличие, между прочим, от истории ее опубликования) не содержит ничего занимательного или, скажем, поучительного. Задумана повесть была в феврале 1970, когда мы съехались в ДТ Комарово, чтобы писать «Град обреченный», и между делом, во время вечерних прогулок по пустынным заснеженным улочкам дачного поселка, придумали там несколько новых сюжетов, в том числе сюжеты будущего «Малыша» и будущего «Пикника».

Самая первая запись выглядит так:

«...Обезьяна и консервная банка. Через 30 лет после посещения пришельцев, остатки хлама, брошенного ими — предмет охоты и поисков, исследований и несчастий. Рост

суеверий, департамент, пытающийся взять власть на основе владения ими, организация, стремящаяся к уничтожению их (знание, взятое с неба, бесполезно и вредно; любая находка может принести лишь дурное применение). Старатели, считающиеся за колдунов. Падение авторитета науки. Брошенные биосистемы (почти разряженная батарейка), ожившие мертвецы самых разных эпох...»

Там же и тогда же появляется утвержденное и окончательное название — «Пикник на обочине», — но понятия «сталкер» еще нет и в помине, есть «старатели». Почти год спустя, в январе 1971, опять же в Комарово мы разрабатываем очень подробный, тщательно детализированный план повести, но и в этом плане, буквально накануне того дня, когда мы перестали, наконец, придумывать сюжет и начали его писать, даже тогда в наших разработках нет слова «сталкер». Будущие сталкеры называются пока еще «трапперами»: «траппер Рэдрик Шухарт», «девушка траппера Гута», «братишка траппера Сэввик»... Видимо, сам термин «сталкер» возник у нас в процессе работы над самыми первыми страницами текста. Что же касается «старателей» и «трапперов», то они нам не нравились изначально, это я помню хорошо.

«Сталкер» одно из немногих придуманных АБС слов, сделавшееся общеупотребительным. Словечко «кибер» тоже привилось, но, главным образом, в среде фэнов, а вот «сталкер» пошел и вширь, и вглубь, правда, я полагаю, в первую очередь, все-таки, благодаря фильму Тарковского. Но ведь и Тарковский не зря же взял его на вооружение — видимо, словечко получилось у нас и в самом деле точное, звонкое и емкое. Происходит оно от английского to stalk, что означает, в частности, «подкрадываться», «идти крадучись». Между прочим, произносится это слово, как «стоок», и правильнее было бы говорить не «сталкер», а «стокер», но мы-то взяли его отнюдь не из словаря, а из романа Киплинга, в старом, еще дореволюционном, русском переводе называвшегося «Отчаянная компания» (или что-то вроде этого) — о развеселых английских школярах конца XIX — начала XX века и об их предводителе, хулиганистом и хитроумном юнце по прозвищу Сталки. АН в молодые годы свои, еще будучи курсантом ВИАК, получил от меня в подарок случайно купленную на развале книжку Киплинга «Stalky & Co», прочел ее, восхитился и тогда

же сделал черновой перевод под названием «Сталки и компания», сделавшийся для меня одной из самых любимых книг школьной и студенческой поры. Так что, придумывая слово «сталкер», мы несомненно имели в виду именно проныру Сталки, жесткого и даже жестокого сорванца, отнюдь не лишнего, впрочем, и своеобразного мальчишеского благородства, и великодушия. При этом мы и думать не думали, что он на самом деле не Сталки, а, скорее всего, Стоки.

Повесть написана была без каких-либо задержек или кризисов всего в три захода: 19 января 1971 года начали черновик, а 3 ноября того же года закончили чистовик. В промежутке мы занимались самыми разнообразными, как правило, дурацкими, делами — писали жалобы в «Правительствующий Сенат» (то есть в Секретариат Московского отделения Союза писателей), отвечали на письма (что, сидя рядом, мы делали достаточно редко), сочиняли заявку на полнометражный научно-популярный фильм «Встреча миров» (о контактах с иным Разумом), написали три киноминиатюры для «Фитиля» (или для чего-нибудь в том же роде), придумали сюжет для телефильма «Выбор пал на Рыбкина», разработали в первом приближении сюжет новой повести «Странные события на рифе Октопус» и тэ дэ, и тэ пэ — никакого продолжения и окончательного завершения все эти пробы пера не получили, и никакого отношения к дальнейшим событиям они не имеют.

Замечательно, что «Пикник» сравнительно легко и без каких-либо существенных проблем прошел в ленинградской «Авроре», пострадав при этом разве что в редакции, да и то не так уж чтобы существенно. Пришлось, конечно, почистить рукопись от разнообразных «дерьм» и «сволочей», но это все были привычные, милые авторскому сердцу пустячки, ни одной принципиальной позиции авторы не уступили, и журнальный вариант появился в конце лета 1972 года, почти не изуродованным.

Эпопея «Пикника» в издательстве «Молодая Гвардия» в это время еще только начинается. Собственно эпопея эта, строго говоря, началась вместе с 1971 годом, когда повести «Пикник» на бумаге еще не существовало и в заявке на сборник эта повесть предлагалась только лишь в виде самого общего замысла. Предполагаемый сборник назывался «Неназначенные встречи», по-

свящался проблеме контакта человечества с иным разумом во Вселенной и состоял из трех повестей, двух готовых — «Дело об убийстве» и «Малыш» — и одной находящейся в работе.

Неприятности начались сразу же.

16.03.71 — АН: «...начальство прочитало сборник, но мнется и ничего определенного не сказала. По его требованию сборник дали на рецензию некоему доктору исторических наук (?) Маркову — на том основании, что он очень любит фантастику. <...> Затем рукопись с этой рецензией пойдет снова к Авраменке <тогдашняя заместительница главного редактора> (вероятно, для того, чтобы дать ей возможность переоценить имеющуюся, но содержащуюся в тайне оценку?), а затем уже пойдет к Осипову <главный редактор>, а только тогда мы узнаем свою судьбу. Бляди. Л-литературоведы».

16.04.71 — АН: «Был я в МолГв у Белы. Она сказала, что ничего нам не отломится. Авраменко просила ее открыть это нам как-нибудь дипломатично: мол, нет бумаги, да договорный портфель полон, то-сё, но она мне прямо сказала, что на каких-то верхах дирекции предложили до поры до времени со Стругацкими дела не иметь никакого. <...> Вот навалился класс-гегемон!»

А ведь «Пикник» еще даже не написан, и речь идет по сути о повестях, никогда не вызывавших Большого Идеологического Раздражения, о повестушках совершенно невинных и даже аполитичных. Просто начальство не хочет иметь дело с «этими Стругацкими» вообще, и это общее нежелание вдобавок накладывается на тяжелую внутрииздательскую ситуацию: именно в это время происходит там смена власти и начинается выкорчевывание всего лучшего, что создала тамошняя редакция НФ литературы при Сергее Георгиевиче Жемайтисе и Беле Григорьевне Ключевой, заботами и трудами которых расцвела отечественная фантастика Второго поколения...

В начале 80-х мы с АН самым серьезным образом обдумывали затею собрать, упорядочить и распространить хотя бы в Самиздате «Историю одной публикации» (или «Как это делается») — коллекцию подлинных документов (писем, рецензий, жалоб, заявлений, авторских воплей и стонов в письменном

виде), касающихся истории прохождения в печати сборника «Неназначенные встречи», гвоздевой повестью которого стал «Пикник». БН даже начал в свое время систематическую работу по сортировке и подбору имеющихся материалов да забросил вскорости: дохлое это было дело, кропотливый, неблагодарный и бесперспективный труд, да и нескромность ощущалась какая-то во всей этой затее — кто мы, в конце концов, были такие, чтобы именно на своем примере иллюстрировать формы функционирования идеологической машины 70-х годов, — в особенности, на фоне судеб Солженицына, Владимова, Войновича и многих, многих других достойнейших из достойных.

Затя была заброшена, но мы вновь вернулись к ней уже после начала перестройки, когда наступили новые и даже новейшие времена, когда возникла реальная возможность не просто пустить по рукам некое собрание материалов, но опубликовать его по всем правилам, с поучительными комментариями и ядовитыми характеристиками действующих лиц, многие из которых в те времена еще сохраняли свои посты и способны были влиять на литературные процессы. К работе подключились неутомимые людены — Вадим Казаков со товарищи. БН передал им все материалы, сборник был в значительной степени подготовлен, но довольно скоро выяснилось, что издать его реальной возможности нет — ни у кого не оказалось денег на подобное издание, которое вряд ли могло представлять коммерческий интерес. Кроме того, события неслись вскачь: путч, уход АН, распад Союза, демократическая, хоть и «бархатная», но несомненная революция — затея буквально на протяжении нескольких месяцев потеряла даже самую минимальную актуальность.

И вот сейчас я сижу за столом, смотрю на три довольно толстые папки, лежащие передо мною, и испытываю разочарование пополам с растерянностью и с заметной примесью недоумения. В папках — наши письма в издательство «Молодая Гвардия» (редакторам, завредакции, главному редактору, директору издательства), жалобы в ЦК ВЛКСМ, слезницы в отдел культуры ЦК КПСС и в отдел печати и пропаганды ЦК КПСС, заявления в ВААП (Всесоюзное Агенство по авторским правам), и, разумеется, ответы из всех этих инстанций, и наши письма друг другу — гора бумаги, по самым скромным подсчетам двести с лиш-

ним документов, — и я представления не имею, что со всем этим сейчас делать.

Первоначально я предвкушал, как расскажу здесь историю опубликования «Пикника», назову некогда ненавистные нам имена, вдоволь поиздеваюсь над трусами, дураками, доносчиками и подлецами, поражу воображение читателя нелепостью, идиотизмом и злобностью мира, из которого мы все родом — и буду при этом ироничен и назидателен, нарочито объективен и беспощаден, добродушен и язвителен одновременно. И вот теперь я сижу, гляжу на эти папки и понимаю, что я безнадежно опоздал и никому не нужен — ни с иронией своей, ни с великодушием, ни с перегоревшей своей ненавистью. Канули в прошлое некогда могущественные организации, владевшие почти неограниченным правом разрешать и вязать — канули в прошлое, и забыты до такой степени, что пришлось бы скучно и занудно объяснять нынешнему читателю, кто есть кто, почему в отдел культуры ЦК жаловаться не имело смысла, а надобно было жаловаться именно в отдел печати и пропаганды, и кто такие были Альберт Андреевич Беляев, Петр Нилыч Демичев и Михаил Васильевич Зимянин, — а ведь это были тигры и даже слоны советской идеологической фауны, вершители судеб, «роководители» и «роконосцы»! Кто их помнит сегодня и кому интересны теперь те из них, кто еще пока числится среди живых? А что же тогда говорить о малых сих, — о визгливом сонме мелких чиновников от идеологии, об идеологических бесах, имя коим легион, вред от коих был неизмерим и неисчислимым, злобность и гнусность коих требует (как любили писать в XIX веке) пера, более опытного, мощного и острого, нежели мое! Я даже упоминать их здесь не хочу — пусть сгинут в прошлом, как ночная нечисть, и навсегда...

Если бы мне вздумалось все-таки опубликовать здесь хотя бы простой перечень всех относящихся к делу документов с краткой их характеристикой, перечень этот выглядел бы примерно так:

.....

30.04.75 А→Б (у редакции «серьезные сомнения» по поводу ПнО)

5.06.75 Письмо АБС Медведеву с просьбой о редзаклучении

25.06.75 Письмо Зиберова с объяснением задержки

8.07.75 Редзаклучение Медведева и Зиберова

- 21.07.75 Ответ АБС на редзаклучение
 23.08.75 Б→А (сборник обработан и отослан в редакцию еще в июле)
 1.09.75 Уведомление Зиберова о получении рукописи
 5.11.75 Письмо Медведева с отказом «Пикнику»
 17.11.75 Письмо АБС Медведеву с аргументацией против отказа
 17.11.75 Письмо БН Медведеву с выражением недоумения
 8.01.76 Письмо АБС Полещуку с жалобой на Медведева
 24.01.76 Уведомление Паршина о получении письма в ЦК ВЛКСМ
 20.02.76 Письмо Паршина о принятых мерах
 10.03.76 Б→А (проект писем Паршину и Синельникову)
 24.03.76 Письмо АБС Паршину с напоминанием
 24.03.76 Письмо АБС Синельникову с напоминанием
 30.03.76 Письмо Паршина о принятых мерах
 5.04.76 А→Б (предложение составить письмо в высшие инстанции)
 12.04.76 Письмо Медведева с отказом «Пикнику»

И так далее, в этом же духе. Кому это сегодня нужно, и кто это сегодня станет читать?

Но если не об этом, то о чем же остается тогда писать? Как без этого суконно-скучного перечня и уныло-злобного комментария к нему рассказать историю публикации «Пикника» — историю в известном смысле даже загадочную. Ибо повесть эта, наверное, не лишена была каких-то недостатков, но ведь в то же время не лишена она была и очевидных достоинств: она была безусловно увлекательна, способна произвести на читателя достаточно сильное впечатление (вдохновила же она такого замечательного читателя, как Андрей Тарковский, на создание выдающегося фильма); и притом она безусловно не содержала в себе НИКАКИХ нападок на существующий строй, а наоборот, вроде бы, лежала в русле господствующей антибуржуазной идеологии... Так почему же тогда, по каким таким загадочным — мистическим? inferнальным? — причинам обречена она оказалась на прохождение через издательство в течение ВОСЬМИ с лишним лет!

Сначала издательство вообще не хотело заключать договор на сборник; потом заключило, но почему-то восстало против повести «Дело об убийстве»; затем вроде бы согласилось заменить «Дело об убийстве» на апробированную ранее повесть «Трудно быть богом», но зато решительно восстало против «Пикника»... Даже вкратце невозможно здесь изложить историю этой борьбы — получается слишком длинно: как-никак восемь лет все-таки. Тут были и неожиданные отказы от собственных требований (вдруг ни с того, ни с сего: долой «Трудно быть богом!»..), и пяти- или даже шестикратные перезаключения договора, и даже внезапные попытки вообще разорвать все и всяческие отношения (вплоть до суда!), но главное, и все время, и неуклонно, и неизменно, из года в год, из разговора в разговор, из письма в письмо: убрать из «Пикника» оживших покойников; изменить лексику Рэдрика Шухарта; вставить слово «советский», когда речь идет о Кирилле Панове; убрать мрачность, безысходность, грубость, жестокость...

Сохранился замечательный документ: постраничные замечания редакции по языку повести «Пикник на обочине». Замечания располагаются на восемнадцати (!) страницах и разбиты по разделам: «Замечания, связанные с аморальным поведением героев»; «Замечания, связанные с физическим насилием»; «Замечания по вульгаризмам и жаргонным выражениям». Не могу позволить себе не привести оттуда несколько выдержек. При чем обратите внимание: я ни в коем случае не подбираю цитат, не ищу глупостей специально, я даю все подряд.

«ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АМОРАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ГЕРОЕВ

<всего 93 замечания, приводятся первые десять>

должен зад свой толстый задрать — с.21

уж я на зубах пойду, не то что на руках — с.21

да на карачках — с.32

вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп — с.25

высосал флягу досуха — с.35

одного последнего глотка, конечно, не хватило — с.35

Напьюсь сегодня как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что!

Надо же, стервец, как играет — с.38

А мне выпить хочется — никакого терпеху нет — с.42

С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства — с.42

...не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул — с.43...»

«ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ

<всего 36 замечаний, приводятся последние десять>

цапнул со стола тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти — с.179

Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул <и т.д.> — с.182

А в следующий раз надаю по зубам — с.182

лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался <и т.д.> — с.185

судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил — с.185

Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла <и т.д.> — с.185

Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу — с.186

душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал — с.202

он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу — с.202...»

«ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВУЛЬГАРИЗМАМ И ЖАРГОНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ

<всего 251 замечание, приводится произвольный десяток из середины>

и вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными, грязными словами, брызгая слюной... — с.72

— Надевай зубы и пойдём — с.72

Мясник выругался — с.74

Сволочь ты... Стервятник — с.74

гад — с.76

жрать охота — сил нет! — с.77

Мартышка безмятежно дрыхла — с.77

грязен он был как черт — с.78

Кой черт! — с.82

бибикнул на какого-то африканца — с.85...»

«Разумеется <сообщалось в сопроводительном письме редакции>, мы выписали только те выражения и слова, которые, на наш взгляд, нуждаются либо в устранении, либо в замене. Эти замечания продиктованы прежде всего тем, что Ваша книга предназначена для молодежи и подростков, для комсомольцев, которые видят в советской литературе учебник нравственности, путеводитель по жизни».

Помню, получивши в руки этот блистательный документ, я кинулся прямиком к своим стеллажам и радостно извлек на свет божий любимого нашего и непревзойденного Ярослава Гашека. С каким невероятным наслаждением я прочитал оттуда:

«Жизнь — это не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут говорит совсем иначе, чем хозяин трактира “У чаши” Паливец. А наш роман не пособие для салонных шаркунов и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе...» «Правильно было когда-то сказано, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: “Он высморкался и вытер нос”. Это, мол, идет вразрез со всем тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература. Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под лунной...»

Ах, как было бы сладостно процитировать все это господам из «Молодой Гвардии»! И добавить кое-что от себя в том же самом духе. Но, увы, это было совершенно бессмысленно и, может быть даже, тактически неправильно. Кроме того, как стало нам ясно много-много лет спустя, мы совершенно неправильно понимали мотивы и психологию всех этих людей.

Мы ведь искренне полагали тогда, что редакторы наши просто боятся начальства и не хотят подставляться, публикуя очередное сомнительное произведение в высшей степени сомнительных авторов. И мы все время, во всех письмах наших и заявлениях, всячески проповедовали то, что казалось нам абсолютно очевидным:

в повести нет ничего криминального, она вполне идеологически выдержана и безусловно в этом смысле неопасна. А что мир в ней изображен грубый, жестокий и бесперспективный, так он и должен быть таким — мир «загнивающего капитализма и торжествующей буржуазной идеологии».

Нам и в голову не приходило, что дело тут совсем не в идеологии. Они, эти образцово-показательные «ослы, рожденные под луной», и НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК ДУМАЛИ: что язык должен быть по возможности бесцветен, гладок, отлакирован и уж ни в коем случае не груб; что фантастика должна быть обязательно фантастична и уж во всяком случае не должна соприкасаться с грубой, зримой и жестокой реальностью; что читателя вообще надо оберегать от реальности — пусть он живет мечтами, грезами и красивыми бесплотными идеями... Герои произведения не должны «ходить» — они должны «выступать»; не «говорить» — но «произносить»; ни в коем случае не «орать» — а только лишь «восклицать»!.. Это была такая специфическая эстетика, вполне самодостаточное представление о литературе вообще и о фантастике в частности — такое специфическое мировоззрение, если угодно. Довольно распространенное, между прочим, и вполне безобидное, при условии только, что носитель этого мировоззрения не имеет возможности влиять на литературный процесс.

(Впрочем, судя по письму БН от 4.08.77: «... С Медведевым поступлено так: а). Сделано 53 стилистических поправки из списка “Вульгаризмов” — объяснено в письме, что это делается из уважения к требованиям ЦКмола; б). Вставлено толкование покойников как киборгов для исследования землян, а Шара — как некоего бионического устройства, улавливающего биотоки простых желаний — объяснено в письме, что это делается, дабы отвязаться; в). Написано далее в письме, что прочие требования редакции (связанные с насилием и пр.) являются идеологической ошибкой, ибо приводят к лакировке капдействительности. Все отослано с уведомлением и, судя по уведомлению, получено в МолГв 26 июля с.г. В жопу, в жопу...»)

Это был самый разгар битвы. Много и многое еще было впереди: очередные пароксизмы редакционной бдительности, по-

пытки вообще разорвать с авторами договор, жалобы наши и слезницы в ВААП, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС... Сборник «Неназначенные встречи» вышел в свет осенью 1980 года, изуродованный, замордованный и жалкий. От первоначального варианта остался в нем только «Малыш» — «Дело об убийстве» потерялось на полях сражений еще лет пять тому назад, а «Пикник» был так заредактирован, что ни читать его, ни даже просто перелистывать авторам не хотелось.

Авторы победили. Это был один из редчайших случаев в истории советского книгоиздательства: Издательство не хотело выпускать книгу, но Автор заставил его сделать это. Знаток считали, что такое попросту невозможно. Оказалось — возможно. Восемь лет. Четырнадцать писем в «большой» и «малый» ЦК. Двести унижительных исправлений текста. Не поддающееся никакому учету количество на пустяки растроченной нервной энергии... Да, авторы победили, ничего не скажешь. Но это была Пиррова победа.

Впрочем, «Пикник» был и остается по сей день популярнейшей из повестей АБС — во всяком случае, за рубежом. Тридцать восемь изданий в двадцати странах (по данным на конец 1997), в том числе: в Болгарии (4 издания), ГДР (4), США (4), в Польше (3), в Чехословакии (3), Италии (2), Финляндии (2), ФРГ (2), Югославии (2) и т.д. Рейтинг повести в России тоже достаточно высок, хотя и уступает, скажем, рейтингу «Понедельника». Повесть все еще продолжает жить и, может быть, даже доживет до XXI века.

Разумеется, текст «Пикника», приводимый здесь, полностью восстановлен и приведен к авторскому варианту. Но сборник «Неназначенные встречи» мне и сегодня неприятно даже просто брать в руки, не то что читать.

«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Начало семидесятых было для АБС временем лихорадочных попыток приспособиться к новым условиям существования. Начиналось новое, совсем пока еще непривычное время — время опалы, явно обозначившейся и уже несомненной, — то знаменательное десятилетие «тощих коров», на протяжении которого

нам не удалось выпустить НИ ОДНОЙ новой книги — только парочка переизданий вышла у нас за все эти десять лет. Издатели более не рисковали (и не хотели) иметь с нами дело. Новые повести удавалось, правда, время от времени печатать в журналах — ленинградская «Аврора» и московский журнал «Знание — сила» выручали как могли, но это было — всё, и жить на это было невозможно. Начались судорожные и беспорядочные попытки прорваться в кино, хотя бы в мультипликационное или даже научно-популярное, в театр, хотя бы и в кукольный, ну куда-нибудь. Это — тема отдельного разговора, не слишком, впрочем, интересного, ибо практически все потуги наши окончились тогда ничем.

Неважно обстояли дела и с новыми сюжетами. После «Пикника» мы вчерне закончили «Град обреченный» и теперь мучались проблемой выбора. В марте 1973 у нас было намечено пять сюжетов, разной степени готовности и привлекательности.

«События на рифе Октопус». Еще один, третий, кажется, вариант «Кракена» — о гигантском древнем головоногое, умеющем вызывать у людей «снижение уровня мотивации поступков», когда человек становится способен убить своего ближайшего друга за неловкую шутку, показавшуюся обидной.

«Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах». Дневник человека, которого принимают за пришельца, хотя он всего-навсего талантливый фокусник-любитель. Он пишет в дневнике некий роман о мире, где установленная кем-то (и зачем-то) машина отлавливает и забрасывает в будущее произвольно выбранных людей — некая появляющаяся где попало и потом без следа исчезающая телефонная будка, глотающая абонентов телефонной сети. Герой пишет обо всем этом, как о собственной судьбе.

«Новосел». Комическая история про молодого рабочего, только что справившего новоселье. Отделкой квартиры у него занимаются исключительно бывшие интеллигенты — циклевщик, грузчик, водопроводчик, — сплошь кандидаты наук. «Все застревают в квартире: циклевщик защемил палец в паркете, грузчика заставили шкафами, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит деви-

ца...» (Собственно, сюжета как такового нет — есть набор картинок, и не более того.)

«Июль с пришельцем». История о пришельце, который со своим кораблем вперся в детскую нашего героя. Пришелец — законченный осел, ничего не знает, ничего не может и ничего не понимает. Совершенно жалкая личность, к тому же еще и запуганная до судорог своими властями. «Запах духов. Милиция (из за соседней квартиры). Дворник. Соседи. Гости. Подозрения. Проблема питания. Мучения без всякой научной пользы». (Все это вполне неопределенно, опять же картинки, но никак не связанная фабула.)

«Мальчик из преисподней». Мальчик с другой планеты, «его спасают, когда он ранен; держат в интернате; он увлекает ребят на свою планету, и там — убийство».

В дневнике целая страница посвящена подробному математическому исследованию: какой из этих сюжетов более других подходит для немедленного взятия в работу. По десятибалльной системе определяются: степень разработанности сюжета; вероятность будущего опубликования; пригодность для Детгиза; желание этот сюжет писать; способность (готовность) писать; общественная потребность в данной повести, а также (по десятибалльной шкале) «повесть может получиться на баллов». Затем определяется для каждого сюжета некое среднее взвешенное и получается в результате, что писать нам надобно в первую очередь «Июль с пришельцем» — вывод, в высшей степени озадачивающий и разочаровывающий.

На самом деле, писать мы решили все-таки «Мальчика из преисподней», но далеко не сразу, а восемь месяцев спустя, в октябре 1973-го. При чем начиналась эта повесть как сценарий, который мы разрабатывали сначала для Мосфильма, потом для Одесской киностудии, — разработали, написали (сценарий назывался «Бойцовый Кот возвращается в преисподню»), получили аванс и одобрительные отзывы, но, в конце концов, все оказалось напрасно: фильм запретили. (Говорилось что-то о пресловутом и надоевшем уже «экспорте революции», а тогдашний глава Госкино в разговоре с Тарковским соизволил даже предостеречь его: «Имейте в виду, что Стругацкие сложные люди... В детском сценарии “Бойцовый Кот” они протаскивают сионистскую

идею о том, что все евреи должны вернуться к себе на родину и воевать за ее интересы».)

Ну, запретили и запретили. И ладно. Ничуть не жалко. Мне этот сценарий никогда не был по душе (как и подавляющее большинство наших сценариев), да и АН был от него не в восторге. Впрочем, время, на него потраченное, не пропало зря: повесть писалась легко и даже не без вдохновения, хотя нового в ней было для нас — чуть.

На протяжении многих лет главным возбуждающим к активности и вдохновляющим элементом в нашей работе было сознание того, что мы пишем каждый раз нечто ранее не писанное — если не по идее своей, то, значит, по форме, если не в мировом масштабе, то хотя бы в пространстве отечественной литературы, или хотя бы в рамках личного писательского опыта. Это ощущение НОВИЗНЫ было для нас, может быть, главным двигателем творческого процесса, без новизны не было азарта, без азарта само желание писать увядало, как цветочек без поливки.

В «Малыше» был новый образ — космический Маугли. В «Пикнике» — совершенно новая ситуация — человечество на обочине межзвездной трассы; кроме того в «Пикнике» был Рэдрик Шухарт — герой для Стругацких невиданный и восхитительно незнакомый. В «Мальчике из преисподней» нового, на самом деле, не было для авторов ничего. Суть сюжета стопроцентно сохранилась в давнем образе, порожденном воображением Руматы Эсторского: гадкий паук Вага Колесо, оказавшийся вдруг в мире Полудня. Сами по себе приключения Гага, бойцового кота, не были да и не могли быть настолько увлекательны, чтобы стоило тратить на них время и «цветы своей селезенки»... Правда, небезынтересен был сам Гаг — порождение очень хорошо нам знакомого мира, фигура характерная и, если подумать, отнюдь не простая. Думать за Гага, вживаться в Гага, смотреть на мир Полудня глазами Гага — оказалось интересно в достаточной мере, чтобы получить от работы над (заказной по сути) повестью известное удовлетворение. И название, к которому мы в конце концов естественным образом пришли — «Парень из преисподней», — так живо напоминавшее нам о знаменитом некогда фильме, показавшем нам удачным, уместным и достаточно точным.

Много лет с тех пор прошло, много бумаги исписано, много миров придумано, а Гаг и до сих пор остается одним из любимых

моих героев — загадочным человеком, о котором я до сих пор не способен сказать: хороший он или плохой. Среди друзей своих я никак не хотел бы его увидеть, но ведь и среди врагов — тоже!

1973—1978 гг.

«ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА»

23 апреля 1973 года в нашем рабочем дневнике появляется запись:

«Арк приехал писать заявку в «Аврору».

1. «Фауст, XX век». Ад и рай пытаются прекратить развитие науки.

2. «За миллиард лет до конца света» («до Страшного Суда»).

Диверсанты

Дьявол

Пришельцы

Спруты Спиридоны

Союз 9-ти

Вселенная...»

Далее следует заявка, в которой суть и сюжет будущей повести излагаются достаточно подробно и вполне узнаваемо. Редкий случай, когда «скелет» повести нам удалось построить фактически за один-единственный рабочий день.

Разработка продолжена была еще и во время майской встречи, мы даже начали писать черновик и написали десяток страниц, но потом вынуждены были прерваться — сначала для работы над сценарием «Бойцового кота», а потом над повестью «Парень из преисподней». И только в июне 1974 года, переписав уже написанные десять страниц заново, мы взялись за «Миллиард» основательно и закончили его вчистую в декабре.

Я уверен теперь, что задержка почти на год пошла этой повести только на пользу. Весной 1974 года БН оказывается вовлечен в так называемое «дело Хейфеца»: он впервые лоб в лоб сталкивается с нашими доблестными «компетентными органами», к счастью, правда, только лишь в качестве свидетеля. Столкновение это

(достаточно подробно описанное у С. Витицкого в «Поиске предназначения») оставило в душе БН впечатления неизгладимые и окрасило (по крайней мере лично для него) всю атмосферу «Миллиарда» совершенно специфическим образом и в совершенно специфические тона. «Миллиард» стал для БН (и разумеется, — по закону сообщающихся сосудов — и для АН тоже) повестью о мучительной и фактически бесперспективной борьбе человека за сохранение так сказать «права первородства» против тупой, слепой, напористой силы, не знающей ни чести, ни благородства, ни милосердия, умеющей только одно — достигать поставленных целей, — любыми средствами, но зато всегда и без каких-либо осечек. И когда писали мы эту нашу повесть, то ясно видели перед собою совершенно реальный и жестокий прообраз выдуманного нами Гомеостатического Мироздания, и себя самих видели в подтексте, и старались быть реалистичны и беспощадны — и к себе, и ко всей этой придуманной нами ситуации, из которой выход был, как и в реальности, только один — через потерю, полную или частичную, уважения к самому себе. «А если у тебя хватит пороку быть самим собой (как писал Джон Апдайк), то расплачиваться за тебя будут другие».

Замечательно, что подтекст этой повести, казалось бы, тщательно замаскированный, все-таки неуправляемо выпирал наружу и настораживал начальство без промаха. Так, «Аврора», с нетерпением ждавшая эту нашу повесть, фактически заказавшая ее и даже заплатившая за нее аванс, — несмотря на хорошие рецензии, несмотря на совершенную невозможность придаться к чему-то определенному, несмотря на изначально доброе к авторам отношение, — несмотря на все это, сразу же потребовала перенести действие в какую-нибудь капстрану («например, в США»), а когда авторы отказались, тут же повесть и отвергла — с сожалением, но решительно.

Повесть удалось опубликовать в журнале «Знание — сила», причем ценою сравнительно небольших переделок. Первой жертвой цензуры пал, разумеется, Лидочкин лифчик, объявленный ядовитой бомбой, заложенной авторами под народную нравственность... Но более всего, помнится, удивило нас решительное и совершенно бескомпромиссное требование убрать из текста предостерегающую телеграмму («БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ...»). У кого именно из начальства и какие «неуправляемые ассоциации» вызвала эта телеграмма, так и осталось редакционной тайной. Вообще-то начальство требовало сначала убрать Гомеостатическое Мироздание en grand, но нам с нашими друзьями-редакторами удалось отбиться сравнительно недорогой ценой: упразднив понятие «гомеостазис» (которому начальство придавало почему-то некое социально-мистическое значение) и введя понятие «Сохранение Структуры» (видимо, этого социально-мистического духа напрочь лишенное). Кроме того, пришлось поменять «следователя уголовного розыска» на «следователя прокуратуры». Или наоборот. Не помню. Какой-то из этих следователей решительно не устраивал надзирающие органы — какой именно? почему? Одному Богу это известно. Или, может быть, дьяволу — по-моему, это, скорее, его епархия.

Я подумал сейчас: а ведь ВСЕ действующие лица повести имеют своего прототипа. Редкий случай! Никто не придуман совсем уж из головы — разве что следователь Зыков, да и тот есть некое среднее взвешенное из Порфирия Петровича (см. «Преступление и наказание») и того следователя ГБ, который вел дело Хейфеца. Может быть, именно поэтому «Миллиард...» числился у нас всегда среди любимейших повестей — это был как бы кусочек нашей жизни, очень конкретной, очень личной жизни, наполненной совершенно конкретными людьми и реальными событиями. Как известно, нет ничего более приятного, как вспоминать благополучно миновавшие нас неприятности.

«ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ»

Впервые идея «Града» возникла у нас еще в марте 1967 года, когда вовсю шла работа над «Сказкой о Тройке». Это было в Доме творчества в Голицыно, там мы регулярно по вечерам прогуливались перед сном по поселку, лениво обсуждая дела текущие, а равно и грядущие, и во время одной такой прогулки наткнулись на сюжет, который назвали тогда «Новый Апокалипсис» (о чем существует соответствующая запись в рабочем дневнике). Очень трудно и даже, пожалуй, невозможно восстановить сейчас тот

облик «Града», который нарисовали мы себе тогда, в те отдаленные времена. Подозреваю, это было нечто весьма непохожее на окончательный мир Эксперимента. Достаточно сказать, что в наших письмах конца 60-х встречается и другое черновое название того же романа — «Мой брат и я». Видимо, роман этот задумывался изначально в значительной степени как автобиографический.

Ни над каким другим нашим произведением (ни до, ни после) не работали мы так долго и так тщательно. Года три накапливали — по крупицам — эпизоды, биографии героев, отдельные фразы и фразочки; выдумывали Город, странности его и законы его существования, по возможности достоверную космографию этого искусственного мира и его историю — это было воистину сладкое и увлекательное занятие, но все на свете имеет конец, и в июне 1969-го мы составили первый подробный план и приняли окончательное название — «Град обреченный» (именно «обреченный», а не «обречённый», как некоторые норовят произносить). Так называется известная картина Рериха, поразившая нас в свое время своей мрачной красотой и ощущением безнадежности, от нее исходившей.

Черновик романа был закончен в шесть заходов (общим счетом — около семидесяти полных рабочих дней), на протяжении двух с четвертью лет. 27 мая 1972 поставили мы последнюю точку, с облегчением вздохнули и сунули непривычно толстую папку в шкаф. В архив. Надолго. Навсегда. Нам было совершенно ясно, что у романа нет никакой перспективы.

Нельзя сказать, чтобы мы питали какие-либо серьезные надежды и раньше, когда только начинали над ним работу. Уже в конце 60-х, а тем более, в начале 70-х, ясно стало, что роман этот опубликовать не удастся — скорее всего, никогда. И уж во всяком случае — при нашей жизни. Однако в самом начале мы еще представляли себе развитие будущих событий достаточно оптимистично. Мы представляли себе, как, закончив рукопись, перепечатаем ее начисто и понесем (с самым невинным видом) по редакциям. По многим и по разным. Во всех этих редакциях нам, разумеется, откажут, но предварительно — обязательно прочтут. И не один человек прочтет в каждой из редакций, а, как это обыкновенно бывает, несколько. И снимут копии, как это обыкновенно

но бывает. И дадут почитать знакомым. И тогда роман начнет существовать. Как это уже бывало не раз — и с «Улиткой», и со «Сказкой», и с «Гадкими лебедями»... Это будет нелегальное, бесшумное и тайное, почти призрачное, но все-таки существование — взаимодействие литературного произведения с читателем, то самое взаимодействие, без которого не бывает ни литературного произведения, ни литературы вообще...

Но к середине 1972-го даже этот скромный план выглядел уже совершенно нереализуемым и даже небезопасным. История замечательного романа-эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», рукопись которого прямо из редакции тогдашнего «Знамени» была переправлена в «органы» и там сгинула (после обысков и изъятий чудом сохранилась одна-единственная копия, еще немного и роман вообще прекратил бы существование, словно его никогда и не было!), — история эта хорошо нам была известна и служила сумрачным предостережением. Наступило время, когда рукопись из дома выносить не рекомендовалось вообще. Ее даже знакомым давать сделалось опасно. И лучше всего было, пожалуй, вообще помалкивать о ее существовании — от греха подальше. Поэтому черновик мы прочли (вслух, у себя дома) только самым близким друзьям, а все прочие интересующиеся еще много лет оставались в уверенности, что «Стругацкие, да, пишут новый роман, давно уже пишут, но все никак не соберутся его закончить».

А после лета 1974-го, после «дела Хейфеца—Эткинда», после того, как хищный взор компетентных органов перестал блуждать по ближним окрестностям и уперся прямоком в одного из соавторов, положение сделалось еще более угрожающим. В Питере явно шилось очередное «ленинградское дело», так что теоретически теперь к любому из «засвеченных» в любой момент могли ПРИЙТИ, и это означало бы (помимо всего прочего) конец роману, ибо пребывал он в одном-единственном экземпляре и лежал в шкафу, что называется, на самом виду. Поэтому в конце 1974-го рукопись была БНом срочно распечатана в трех экземплярах (заодно произведена была и необходимая чистовая правка), а потом два экземпляра с соблюдением всех мер предосторожности переданы были верным людям — одному москвичу и одному ленинградцу. Причем люди эти были подобраны таким образом, что, с одной стороны, были абсолютно и безукоризненно честны,

вне малейших подозрений, а с другой — вроде бы и не числились среди самых ближайших наших друзей, так что в случае чего к ним, пожалуй, не должны были ПРИЙТИ. Слава богу, все окончилось благополучно, ничего экстраординарного не произошло, но две эти копии так и пролежали в «спецхране» до самого конца 80-х, когда удалось все-таки «Град» опубликовать.

И даже сама первая публикация (в ленинградском журнале «Нева») прошла не просто, а сопровождалась какими-то нервными и судорожными действиями: роман был разбит на две книги, подразумевалось, что книга первая написана давно, а вот книга вторая закончена якобы только что; почему-то казалось, что это важно и помогает (каким-то не совсем понятным образом) забить баки ленинградскому обкому, который в те времена уже не сжимал более издательского горла, но по-прежнему когтистой лапой придерживал издателя за полу; «первую книгу» выпустили в конце 88-го, а «вторую» — в начале 89-го, даты написания в конце романа поставили какие-то несусветные... Перестройка еще только разгоралась, времена наступали дьявольски многообещающие, но и какие-то неверные, колеблющиеся и нереальные, как свет лампы на ветру...

Сильно подозреваю, что современный читатель совершенно не способен понять, а тем более прочувствовать всех этих страхов и предусмотрительных ухищрений. «В чем дело? — спросит он с законным недоумением. — По какому поводу весь этот сырбор? Что там такого-разэтакого в этом вашем романе, что вы накрутили вокруг него весь этот политический детектив в духе Фредерика Форсайта?» Признаюсь, мне очень непросто развеять такого рода недоумения. Времена изменились настолько, и настолько изменились представления о том, что в литературе можно, а что нельзя...

Вот, например, у нас в романе цитируется Александр Галич («Упекли пророка в республику Коми...»), цитируется, естественно, без всякой ссылки, но и в таком, замаскированном виде это было в те времена абсолютно непроходимо и даже попросту опасно. Это была бомба — под редактора, под главреда, под издательство. Вчуже страшно представить себе, что могли бы сделать с издателем власть имущие, проскочи такая цитатка в печать...

А чего стоит наш Изя Кацман, — откровенный еврей, более того, еврей демонстративно вызывающий, один из главных героев, причем постоянно, как мальчишку, поучающий главного героя, русского, и даже не просто поучающий, а вдобавок еще регулярно побеждающий его во всех идеологических столкновениях?..

А сам главный герой, Андрей Воронин, комсомолец-ленинец-сталинец, правовернейший коммунист, борец за счастье просто народа — с такою легкостью и непринужденностью превращающийся в высокопоставленного чиновника, барина, лощеного и зажавшегося мелкого вождя, вершителя человеческих судеб?..

А то, как легко и естественно этот комсомолец-сталинец становится сначала добрым приятелем, а потом и боевым соратником отпетого нациста-гитлеровца, — как много обнаруживается общего в этих, казалось бы, идеологических антагонистах?..

А крамольные рассуждения героев о возможной связи Эксперимента с проблемой построения коммунизма? А совершенно идеологически невыдержанная сцена с Великим Стратегом? А циничнейшие рассуждения героя о памятниках и о величии?.. А весь ДУХ романа, вся атмосфера его, пропитанная сомнениями, неверием, решительным нежеланием что-либо прославлять и провозглашать?

Сегодня никакого читателя и никакого издателя всеми этими сюжетами не удивишь и уж конечно не испугаешь, а тогда, двадцать пять лет назад, во время работы над романом, авторы повторяли друг другу, как заклинание: «Писать в стол надобно так, чтобы напечатать этого было нельзя, но и сажать чтобы тоже было вроде бы не за что». (При этом авторы понимали, разумеется, что посадить можно за что угодно и в любой момент, например за неправильный переход улицы, но рассчитывали все-таки на ситуацию «непредвзятого подхода» — когда приказ посадить еще не спущен сверху, а вызревает лишь, так сказать, внизу.)

Главная задача романа не сначала, но постепенно сформировалась у нас таким примерно образом: показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека, как переходит он с позиций твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве, без какой-либо опоры под ногами. Жизненный путь, близкий авторам и

представлявшийся им не только драматическим, но и поучительным. Как-никак, а целое поколение прошло этим путем за время с 1940 по 1985 год.

«Как жить в условиях идеологического вакуума? Как и зачем?» Мне кажется, этот вопрос остается актуальным и сегодня тоже — причина, по которой «Град», несмотря на всю свою отчаянную политизированность и безусловную конъюнктурность, способен все-таки заинтересовать современного читателя, — если его, читателя, вообще интересуют проблемы такого рода.

«ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕДРУЖБЕ»

Начиналась она как сценарий «полнометражного телефильма-сказки для юношества». Сохранился черновик заявки, где карандашом, отворотительным почерком, но довольно подробно излагается сюжет будущей повести (которая еще и задумана-то не была).

Любопытно, что тогда же, в разгар работы над сюжетом, в дневнике появляется краткая злобешая запись: «25.06.74 Б. был в ГБ». Это, насколько я помню, был первый вызов БН в «Большой Дом» по делу Хейфеца. Однако сколько-нибудь существенного влияния на разработку сюжета и на окончательный текст сказочки это мрачное обстоятельство в дальнейшем не оказало.

А впрочем, как знать... Недаром же один из рецензентов отметил: «Повесть написана усталым человеком...» Это было дьявольски обидно читать, но в то же время чувствовалась в такой оценке и некая — существенная! — доля прискорбной истины. Ведь и на самом деле, никакого вдохновения по поводу нового своего сюжета авторы отнюдь не испытывали. Проходили годы — сюжет оставался втуне, работать с ним решительно не хотелось, и длилось это «пренебрежение достижимым» аж до самого конца 1977 года.

20.10.1977 — БН: «...Очень пора нам с тобой что-нибудь написать, а? А то все сценарии да мюзикомедии... Может, сказку напишем? Для “Костра”. Про “дружбу и недружбу”, помнишь? Я тут обдумывал этот вопрос — может получится очень мило...»

АН ответил десяток дней спустя (без всякого энтузиазма): «...Насчет сказки для “Костра” — отчеё ж... встретимся, поговорим. Кстати, мы с Ленкой намерены приехать в Ленинград числа 11 или 12 <ноября 1977>. Тогда все и согласуем».

Встретились. Согласовали. Решено было (чтобы серьезно не отвлекаться на эти мелкие пустяки) писать сказочку допотопным методом, по очереди: сначала весь текст пишет БН, потом исправляет АН, потом снова смотрит БН и так далее. Называлась вся эта процедура в наших письмах «обязаловкой», и заняла она общим счетом около трех месяцев. Причем мы так и не нашли ни времени, ни желания «сесть рядком и поработать ладком». В результате получилось то, что получилось. Нелюбимый и нежеланный ребенок. Заморыш.

Издатель, видимо, это очень хорошо почувствовал. Рукопись последовательно отклонили: «Аврора» (как слишком детскую), «Пионерская Правда» (после долгой возни, сокращений и редактуры — без объяснения причин) и, наконец, «Костер» («...Повесть написана усталым человеком... неулыбчива и предсказуема... энтропия сюжетных ходов невелика...» и т. д.). Так что впервые повесть вышла только в 1980 году, в альманахе «Мир приключений», и публикация эта долгое время оставалась единственной, — пока не появилось первое собрание сочинений АБС, выпущенное издательством «Текст». По зарубежным изданиям она тоже «чемпион»: единственный перевод за двадцать пять лет (почему-то — в Японии). Ну и господь с ней, с этой сказочкой. Я за все прошедшие годы так в нее и не заглянул ни разу: не люблю ее перечитывать, точно так же, как «Страну багровых туч» или, скажем, какой-нибудь «Спонтанный рефлекс».

Есть такое понятие — «проходная повесть». Так обычно называют произведение, которое автором честно написано и даже опубликовано, но которое можно было бы и не писать вовсе — оно не есть ступенька вверх для автора и вообще не составляет никакого этапа на его пути. У АБС таких «проходных», слава богу, немного: «Малыш», «Парень из преисподней», самые последние рассказы начала 60-х, ну и, конечно, «Повесть о дружбе и недружбе». Вполне могли бы мы ее не писать совсем. А если уж написали, — печатать под псевдонимом, чтобы не портила нам творческой статистики. Однако слово из песни не выкинешь.

Был, был у нас этот сбой — лишнее доказательство фундаментальной теоремы сочинительства: «То, что не интересно писателю, не может быть по-настоящему интересно и читателю тоже».

1979—1984 гг.

«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»

Все началось с того, что давным-давно, в совсем уж незапамятные времена, малолетний сынишка БНа неожиданно для себя и для окружающих сочинил вдруг песенку-считалку:

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

Выкрикивая на разные лады эти странноватые и диковатые, недетские какие-то, стишки, носился он по квартире, а БН смотрел на него и думал: «Черт побери, какие замечательные слова! Надо же как ловко придумал, паршивец. Отличный эпиграф может получиться к чему-нибудь!..» И воображению его рисовались какие-то смутные картинки... какие-то страшные и несчастные чудовища... трагически одинокие и никому не нужные... уродливые, страждущие, ищущие человеческой приязни и помощи, но получающие вместо всего этого пулю от перепуганных, ничего не понимающих людей...

Смутные эти ощущения удалось передать и АНу, состоялся довольно бессвязный, но тем не менее плодотворный обмен эмоциями и картинками, и возник некий замысел, пока еще совершенно неопределенный и никак не формулируемый, ясно было только, что повесть должна называться «Стояли звери около двери» и эпиграфом у нее будет «стишок маленького мальчика», — в первый и последний раз у АБС замысел нового произведения возник из будущего эпиграфа к нему (или — из названия, что в данном случае одно и то же).

В сентябре 1975 появляются первые наброски будущей повести. Там есть уже и саркофаг с двенадцатью зародышами, и ги-

потезы, объясняющие этот саркофаг, и Лев, 20-ти лет, ученик-прогрессор, и Максим Каммерер — начальник контрразведки Опекунского совета, и еще множество обстоятельств, ситуаций и героев, вполне годящихся к употреблению. Сюжета, впрочем, пока нет, и совершенно неясно, каким именно образом должно развиваться действие.

Обсуждение СЗод продолжается и в октябре, и в декабре, а потом планы резко меняются — мы начинаем писать сценарий для Тарковского, — и в работе над новой повестью наступает длительный перерыв.

На протяжении 1976-го мы несколько раз возвращаемся к этой повести, продолжаем придумывать детали и эпизоды, новых героев, отдельные фразы, но не более того. Сюжет не складывается. Мы никак не найдем тот стержень, на который можно было бы нанизать уже придуманное, как шашлык нанизывают на шампур. Поэтому, вместо настоящей работы, мы конструируем (причем во всех подробностях) сюжет фантастического детектива, действие которого развивается на некоем острове в океане: масса трагических событий, тайны, загадки, многочисленные умертвия, в финале все действующие лица гибнут до последнего человека, — подробнейшее расписание эпизодов, все готово для работы, осталось только сесть и писать, но авторы вместо того (а это уже ноябрь 1976) вдруг принимаются разрабатывать совсем новый сюжет, которого раньше и в замысле не было.

Это история нашего старого приятеля Максима, который со своим дружком голованом Щекном идет по мертвому городу несчастной планеты Надежда. Бедные «Звери...», казалось бы, заброшены и забыты окончательно и навсегда. В феврале 1977-го мы начинаем и единым духом (в один присест) заканчиваем черновик повести о Максиме и Щекне, и тут же обнаруживаем, что у нас получилось нечто странное — нечто без начала и конца, и даже без названия. Исполненные недоумения и недовольства собою, мы откладываем в сторону эту нежданную и нежеланную рукопись и возвращаемся к работе над сценариями. (Забавно: тогда нам казалось, что мы ловко придумали «бешенство генных структур на Надежде», странную и страшную болезнь, когда ребенок за три года превращается в старика, — нам казалось это эффектной и оригинальной выдумкой. И только много лет спустя

узнали мы о хорошо известном современной науке эффекте преждевременной старости — прогерии — и том, что сконструированные нами фантастические явления описаны еще в начале XX века под названием синдром Вернера. Воистину, ничего нельзя придумать: все, что тобою придумано, либо существовало уже когда-то, либо будет существовать, либо существует сегодня, сейчас, но тебе неизвестно.)

То было время (почти весь 1977 и почти весь 1978), когда мы отделяли, доводили до ума и шлифовали сразу три сценария: по «Понедельнику», по «Отелю» и по «Трудно быть богом» (очередной бесперспективный вариант для очередного малоперспективного режиссера). Все остальные дела были заброшены, и только в ноябре 1978 года возвращаемся мы к нашим «Зверям» и, что характерно, сразу же начинаем писать черновик — видимо, количество перешло у нас наконец в качество, нам сделалось ясно, как строится сюжет (погоня за неуловимым Львом Абалкиным) и куда пристроить уже написанный кусок со Щекном на планете Надежда.

Черновик мы закончили 7 марта 1979 года, решительно преодолев два возникших к концу этой работы препятствия. Во-первых, мы довольно долго не могли выбрать финал. Вариант гибели Льва Абалкина был трагичен, эффектен, но достаточно очевиден и даже банален. Вариант, когда Максиму удастся-таки спасти Абалкина от смерти, имел свои достоинства, но и свои недостатки тоже, и мы колебались, не в силах сделать окончательный выбор, все время, по ходу работы, перестраивая сюжет таким образом, чтобы можно было в любой момент использовать ту или иную концовку. Когда все возможности маневрирования оказались исчерпаны, мы вспомнили Ильфа и Петрова. Были заготовлены два клочка бумаги, на одном написано было, как сейчас помню, «живой», на другом — «нет». Клочки брошены были в шапку АН, и мама наша твердой рукою извлекла «нет». Судьба концовки и Льва Абалкина оказалась решена.

(Дьявольские, однако, шутки играет с нами наша память. Предыдущий абзац я написал, будучи АБСОЛЮТНО уверен, что так оно все и было. И вот месяц спустя, просматривая рабочий дневник, я обнаружил вдруг запись, датированную 29.10.1975, из коей следует, что жребий, да, имел место, но ре-

шал он отнюдь не вопрос, будет ли концовка трагической — «со стрельбой» — или мирной. Совсем другую он проблему разрешал: как скоро Лев Абалкин узнает всю правду о себе. Рассматривалось три варианта:

- «1. Лев ничего не знает и ничего не узнаёт.
 2. Лев ничего не знает, затем постепенно узнаёт.
 3. Лев знает с самого начала.
- Мама выбрала (3) со стрельбой».

Вот тебе и на! Но ведь на самом-то деле АБС, фактически, писали вариант (2)! Правда, — «со стрельбой». И на том спасибо. Ведь даже и месяц спустя в дневнике мы пишем: «М.б. кончить не смертью, а подготовкой к ней? Странник провожает его взглядом». Не-ет, всегда, с незапамятных времен, сомневался я как в достоверности истории вообще, так любых мемуаров, в частности, — и правильно, надо думать, сомневался... Оставляю, впрочем, предыдущий абзац без каких-либо изменений. Пусть вдумчивый читатель получит в свое распоряжение образец мемуарного «прокола», характерного именно для данных комментариев. Может быть, это поможет ему оценить меру достоверности всего текста в целом.)

Теперь о другом препятствии, гораздо более серьезном. Мы прекрасно понимали, что у нас получается нечто вроде детектива — история расследования, поиска и поимки. Однако детектив обладает своими законами существования, в частности, в детективе не должны оставаться какие-либо необъясненности, и никакие сюжетные нити не имеют права провисать или быть оборванными. У нас же таких оборванных нитей оказалось полным-полно, их надобно было специальным образом связывать, а нам этого не хотелось делать самым решительным образом. Застарелая нелюбовь АБС к каким-либо объяснениям и растолкованиям текста вспыхнула по окончании повести с особенной силой.

1. Что произошло между Тристаном и Абалкиным там, на Саракше?
2. Как (и зачем) Абалкин оказался в Осинушке?
3. Зачем ему понадобилось общаться с доктором Гоаннеком?
4. Зачем ему понадобилось общаться с Майкой?
5. Что ему нужно было от Учителя?

6. Зачем звонил он журналисту Каммереру?
7. Зачем ему понадобился Щекн?
8. Как удалось ему выйти на доктора Бромберга?
9. Зачем в конце повести он идет в Музей Внеземных культур?
10. Что, собственно, произошло там, в Музее?

И наконец, самый фундаментальный вопрос:

11. Почему он, Абалкин (если он, конечно, не есть в самом деле автомат Странников, а по замыслу авторов он, конечно, никакой не автомат, а несчастный человек с изуродованной судьбой), почему не пошел он с самого начала к своим начальникам и не выяснил по-доброму, по-хорошему всех обстоятельств своего дела? Зачем понадобилось ему метаться по планете, выскакивать из-за угла, снова исчезать и снова внезапно появляться в самых неожиданных местах и перед самыми неожиданными людьми?

Во всяком добропорядочном детективе все эти вопросы, разумеется, должно было бы подробно и тщательно разложить по полочкам и полностью разъяснить. Но мы-то писали не детектив. Мы писали трагическую историю о том, что даже в самом светлом, самом добром и самом справедливом мире появление тайной полиции (любого вида, типа, жанра) неизбежно приводит к тому, что страдают и умирают ни в чем не повинные люди, — какими благородными ни были бы цели этой тайной полиции и какими бы честными, порядочнейшими и благородными сотрудниками ни была эта полиция укомплектована. И в рамках таким вот образом поставленной литературной задачи заниматься объяснениями необъясненных сюжетных второстепенностей авторам было и тошно, и нудно.

Сначала мы планировали написать специальный эпилог, где и будут поставлены все точки над нужными буквами, все будет объяснено, растолковано, разжевано и в рот читателю положено. Сохранился листочек с одиннадцатью сакраментальными вопросами и с припиской внизу: «30 апреля 1979 г. Вопрос об эпилоге — посмотрим, что скажут квалифицированные люди». На самом деле, я полагаю, вопрос об эпилоге был нами решен уже тогда, вне всякой зависимости от мнения «квалифицированных людей». Мы уже понимали, что написана повесть правильно: все события даны с точки зрения героя — Максима Каммере-

ра — так, что в каждый момент времени читателю известно ровно столько же, сколько и герою, и все решения он, читатель, должен принимать вместе с героем и на основании доступной ему (отноюдь не полной) информации. Эпилог при такой постановке литературной задачи становился абсолютно не нужен. Тем более что, как показал опыт, «квалифицированные люди» оборванных нитей либо не замечали вовсе, либо, заметив, каждый посвоему, но отноюдь не без успеха, связывали их сами.

На самом деле, ответы на большинство из вопросов рассыпаны в неявном виде по всему тексту повествования, и внимательный читатель без особенного труда способен получить их вполне самостоятельно. Например, любому читателю вполне доступно догадаться, что в Осинушке Абалкин оказался совершенно случайно (уходя от слезки, которая чудилась ему в каждом встречном и поперечном), а к доктору Гоаннеку он обратился в надежде, что опытный врач-профессионал без труда отличит человека от робота-андроида.

Принципиально особенным является первый вопрос. Чтобы ответить на него, недостаточно внимательно читать текст — надо ПРИДУМАТЬ некую ситуацию, которая авторам, разумеется, известна во всех деталях, но в повести присутствует лишь как некое древо последствий очевидного факта: Абалкину откуда-то (ясно, откуда — от Тристана) и каким-то образом (каким? — в этом и состоит загадка) удается узнать, что ему почему-то запрещено пребывание на Земле и запрет этот каким-то образом связан с КОМКОНОм-2 (отсюда — бегство Абалкина с Саракша, неожиданный и невозможный звонок его Экселенцу, вообще все странности его поведения). Разумеется, я мог бы здесь изложить суть этой исходной сюжетобразующей ситуации, но мне решительно не хочется этого делать. Ведь ни Максим, ни Экселенц ничего не знают о том, что произошло между Тристаном и Абалкиным на Саракше. Они вынуждены только строить гипотезы, более или менее правдоподобные, и действовать, исходя из этих своих гипотез. Именно процедура поиска и принятия решений как раз и составляет самую суть повести, и мне хотелось бы, чтобы читатель строил СВОИ гипотезы и принимал СВОИ решения одновременно и параллельно с героями — на основании той и только той информации, которой они обладают. Ведь знай Экселенц,

что на самом деле произошло с Тристаном на Саракше, он воспринимал бы поведение Абалкина совершенно иначе, и у повести нашей было бы совсем другое течение и совершенно другой, далеко не столь трагичный конец.

Использовать эти мои комментарии для объяснений необъясненного означало бы фактически дописать тот самый эпилог повести, от которого авторы в свое время отказались. Потому я и не стану ничего здесь объяснять, оставив повесть в первоизданном ее виде в полном соответствии с исходным замыслом авторов.

Чистовик мы добились окончательно в конце апреля 1979 года и тогда же — но никак не раньше! — приняли новое название «Жук в муравейнике» вместо старого «Стояли звери...». От исходного замысла остался только эпиграф. За него, помнится, нам пришлось сражаться буквально не на жизнь, а на смерть с окончательно сдуревшим идиотом-редактором из Лениздата, которому втемяшилось в голову, что стишок этот авторы на самом деле придумали, переиначив (зачем?!) какую-то богом забытую маршевую песню гитлерюгенда (!!!). Причем эту — истинную — причину редакторской активности мне сообщил по секрету «наш человек в Лениздате», а в открытую речь шла только о нежелательных аллюзиях, акцентах и ассоциациях, каким-то таинственным образом связанных со злосчастным «стишком маленького мальчика».

9.09.82 — БН: «...В общем, битых полтора часа мы с Брандисом (который также был вызван, как составитель и автор предисловия) доказывали этому дубине, что нет там никаких аллюзий и что не ночевали там ни акценты, ни ассоциации, ни прочие иностранцы, а есть там, напротив, только Одержание и Слияние... Скажи мне: почему они всегда одерживают над нами победы? Я полагаю, потому, что им платят за то, чтобы они напирали, а нам за то, чтобы мы уступали...»

Отстоять эпиграф так и не удалось. С трудом удалось оставить в тексте сам стишок, основательно его, впрочем, изуродовав. (Никогда в жизни не согласились бы мы на такое издевательство, но повесть шла в сборнике вместе с произведениями других авторов, и получалось так, что из-за нашего «капризного упрямства» страдают ни в чем не повинные собраты-писатели.)

«ХРОМАЯ СУДЬБА»

История написания этого романа необычна и достаточно сложна, так что, приступая сейчас к ее изложению, я испытываю определенные трудности, не зная, с чего лучше начать и в какой последовательности излагать события.

Во-первых — название. Оно было придумано давно и предназначалось для совсем другой повести — «о человеке, которого было опасно обижать». Эту повесть мы обдумывали на протяжении многих лет, то приближаясь к ней вплотную, то отдаляясь, казалось бы, насовсем, и в конце концов АН написал ее сам, в одиночку, под псевдонимом С. Ярославцев и под названием «Дьявол среди людей». Первоначальное же ее название — «Хромая судьба» — мы отдали роману о советском писателе Феликсе Сорокине и об унылых его приключениях в мире реалий развитого социализма.

Роман этот возник из довольно частного замысла: в некоем институте вовсю идет разработка фантастического прибора под названием *Menzura Zoili*, способного измерить ОБЪЕКТИВНУЮ ценность художественного произведения. Сам этот термин мы взяли из малоизвестного рассказа Акутагавы, и означает он в переводе что-то вроде «Измеритель Зоила», где Зоил — это древнегреческий философ, прославившийся в веках особенно злобной критикой Гомера, так что имя его стало нарицательным для обозначения ядовитого, беспощадного и недоброжелательного критика вообще. Первое в нашем рабочем дневнике упоминание о произведении с таким названием относится аж к ноябрю 1971 года! Но тогда задумывалась пьеса, а не роман.

Самые же первые подробные обсуждения именно романа состоялись, судя по дневнику же, только в ноябре 1980-го, потом снова возник перерыв длиной почти в год, до октября 1981-го, и только в январе 82-го начинается обстоятельная работа над черновиком. К этому моменту все узловые ситуации и эпизоды были определены, сюжет готов полностью, и окончательно сформулировалась литературная задача: написать Булгаковского «Мастера-80», а точнее, не Мастера, конечно, а бесконечно талантливого и замечательно несчастного литератора Максудова из

«Театрального романа» — как бы он смотрелся, мучился и творил на фоне неторопливо разворачивающихся, «застойных» наших «восьмидесятых». Прообразом Ф. Сорокина взят был АН с его личной биографией и даже, в значительной степени, судьбой, а условное название романа в этот момент было — «Торговцы псиной» (из все того же рассказа Акутагавы: «С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, всем им — крышка...»).

Обработка черновика закончена была в октябре 1982, и тогда же совершилось переименование романа в «Хромую судьбу», и эпиграф был найден — мучительно грустная и точная хокку старинного японского поэта Райдзана об осени нашей жизни. (Мало кто это замечает, а ведь «Хромая судьба» это — прежде всего — роман о беспощадно надвигающейся старости, от которой нет нам ни радости, ни спасения — «признание в старости», если угодно.)

«Хромая судьба» — второй (и последний) наш роман, который мы совершенно сознательно писали «в стол», понимая, что у него нет никакой издательской перспективы. Журнальный вариант его появился только в 1986 году, в ленинградской «Неве», — это было (для нас) первое чудо разгорающейся Перестройки, знак Больших Перемен и примета Нового времени. И именно тогда впервые встала перед нами проблема совершенно особенного свойства, казалось бы, вполне частная, но в то же время настоятельно требующая однозначного и конкретного решения.

Речь шла о Синеи Папке Феликса Сорокина, о заветном его труде, любимом детище, тщательно спрятанном от всех и, может быть, навсегда. Работая над романом, мы, для собственной ориентировки, подразумевали под содержимым Синеи Папки наш «Град обреченный», о чем свидетельствовали соответствующие цитаты и разрозненные обрывки размышлений Сорокина по поводу своей тайной рукописи. Конечно, мы понимали при этом, что для создания у читателя по-настоящему полного впечатления о второй жизни нашего героя — его подлинной, в известном смысле, жизни — этих коротких отсылок к несуществующему (по понятиям читателя) роману явно недостаточно, что в идеале надобно было бы написать специальное произведение, наподобие «пилатовской»

части «Мастера и Маргариты», или хотя бы две-три главы такого произведения, чтобы вставить их в наш роман... Но подходящего сюжета не было, и никакого материала не было даже на пару глав, так что мы сначала решились, скрепя сердце, пожертвовать для святого дела двумя первыми главами «Града обреченного» — вставить их в «Хромую судьбу», и пусть они там фигурируют как содержимое Синеи папки. Но это означало украсить один роман (пусть даже и хороший) ценой разрушения другого романа, который мы нежно любили и бережно хранили для будущего (пусть даже недостижимо далекого). Можно было бы вставить «Град обреченный» в «Хромую судьбу» ЦЕЛИКОМ, это решало бы все проблемы, но в то же время означало бы искажение всех и всяческих разумных пропорций получаемого текста, ибо в этом случае вставной роман оказывался бы в три раза толще основного, что выглядело бы по меньшей мере нелепо.

И тогда мы вспомнили о старой нашей повести — «Гадкие лебеди». Задумана она была в апреле 1966, невероятно давно, целую эпоху назад, и написана примерно тогда же. К началу 80-х у нее уже была своя, очень типичная судьба — судьба самиздатовской рукописи, распространившейся в тысячах копий, нелегально, без ведома авторов, опубликованной за рубежом и прекрасно известной «компетентным органам», которые, впрочем, не слишком рьяно за ней охотились — повесть эта проходила у них по разряду «упаднических», а не антисоветских.

Писались «Гадкие лебеди» для сборника наших повестей в «Молодой Гвардии». Этот сборник («Второе нашествие марсиан» плюс «Гадкие лебеди») был даже объявлен в плане 1968-го, кажется, года, но вышел он в другом составе: вместо «Лебедей» поставлены там были «Стажеры». «Лебеди» — не прошли. От них веяло безнадежностью и отчаянием, и даже если авторы согласились бы убрать оттуда многочисленные и совершенно неистребимые «аллюзии и ассоциации», этого горбатого (как говаривали авторы по поводу некоторых своих произведений и до, и после) не смог бы исправить даже наш советский колумбарий. Это было попросту невозможно, хотя авторы и попытались разбавить мрак и отчаяние, дописав последнюю главу, где Будущее, вымета все поганое и нечистое из настоящего, является читателю в виде этакго Homo Novus, всемогущего и милосердного

одновременно. (В самом первом варианте повесть кончалась сценой в ресторане и словами Голема: «...бедный прекрасный утенок».)

Второй и последний вариант «Гадких лебедей» был закончен в сентябре 1967 года и окончательно отклонен «Молодой Гвардией» в октябре. Больше никто ее брать не захотел. Повесть перешла на нелегальное положение.

1.10.68 — БН: «...Люди, приехавшие из Одессы, рассказывают, что там продается с рук машинопись ГЛ — 5 руб. штука. Ума не приложу, каким образом это произошло. Я давал только проверенным людям».

БН сильно подозревал в потере бдительности и в распространении АНа, АН — БНа. Но дело было в другом: рукопись шла в нелегальную распечатку прямо в редакциях, куда попадала вполне официально и откуда, растиражированная, уходила «в народ». Авторы не сразу поняли, что происходит, но и поняв, отнюдь не смутились и продолжали давать рукопись все в новые и новые редакции — у нас это называлось «стрелять по площадям», на авось, вдруг где-нибудь, как-нибудь, божьим попусцем и проскочит.

Не проскочило. Сейчас уже невозможно вспомнить, в каких именно журналах побывала рукопись. Сохранились отдельные об этом упоминания в письмах и в дневниках. Так, видимо, летом 1970 повесть лежала в «Новом Мире», а зимой — в «Неве».

9.01.71 — БН: «...информация о том, что Ю. Домбровский дал якобы положительную рецензию на ГЛ, есть информация ложная. Изя Кацман виделся с Домбровским на Новый год, и тот сказал, что ему действительно предлагали ГЛ на рецензию, но он отказался ее брать, ибо «в фантастике ничего не понимает и рецензировать то, в чем не разбирается, не может». В «Неву» насчет ГЛ я не звонил еще...»

10.02.71 — БН: «Как и следовало ожидать, дело с ГЛ в «Неве» не выгорело...»

Сохранилось несколько любопытных образцов обмена информацией по поводу публикации «Гадких лебедей» в журнале «Юность» (где главредом в то время был Борис Полевой).

30.09.71 — АН: «...Перед самым отъездом зашел в ЦДЛ и натолкнулся на Полевого. Он взял меня за руку и строго сказал: «Мы вас рекламируем. Давайте вещь». Я нагло ответил: «Мы-то дадим, а вот возьмете ли вы?» На этом разговор закончился. Я не успел больше ни слова сказать, его уже увлекли. Забавная ситуация. Я тут пораскинул умом и подумал: может, дать небольшую повестушку на основе спрута Спиридона, листов этак на 3—4? Что-нибудь либо о суде над кашалотами, либо о дипломатии, все с героями ПНвС...»

3.10.71 — БН: «...Поведение Полевого любопытно. <...> знаешь, что я предлагаю? Сунь им ГЛ! Чем мы в конце концов рискуем? Может, хоть какой-нибудь «журнальный» вариант да пройдет. Ну, а если не пройдет, тогда можно будет дать заявку и на Спиридона. <...> вдруг ГЛ все-таки пройдет? Ведь у них тираж падает, дела у них неважные, а то бы они к нам хрен бы обратились. А тут повесть о загнивании буржуазной морали, о том, что капитализм будущее губит. То-се. Ей-богу, стоит попробовать...»

6.10.71 — АН: «...Идея сунуть Полевому ГЛ мне прихотила в голову, но я отмел ее как недостаточно безумную. Что ж, если ты так считаешь, то я сделаю. Только нужно изменить название. ГЛ — очень уж одиозно. Пожалуй, возьмем что-либо вроде «Прекращение дождя» или «Когда перестал дождь». Вышли свои соображения по названию...»

11.10.71 — БН: «...Вместо ГЛ я предлагаю названия: «Год Воды»; «Время ковчега»; «Сделай себе ковчег из дерева гофер» (это слова Бога — Ною); «Сорок дней и сорок ночей» (время излития дождя накануне потопа); «Время дождя». А вообще, наверное, неважно, какое будет название — если они примут, придумаем. Но хорошо бы его связать с Великим Потопом — так сказать Великий потоп коммунизма на одряхлевшего Ноя капиталистической идеологии...»

13.11.71 — АН: «...ГЛ (он же «Время дождей») вручил при потешнейших обстоятельствах. Перед тем как идти на Маяковскую, куда переехала «Юность», зашел я в наш кабак пообедать. Стою, смотрю, где есть место, и вдруг меня тянут за брючину. Гляжу — сидит за столиком Мери Лазаревна Озерова, зав. отделом худлитературы в «Юности».

- Где обещанная рукопись?
- У меня. Я хотел поговорить с Полевым...
- Где она? У вас с собой?
- Да, но я хотел переговорить...
- Нечего вам переговаривать. Давайте сюда.
- Вот, пожалуйста, но мне нужно...
- Потом, потом. Вот прочитаем, тогда и будем разговаривать.

Так все и закончилось. Унесла она в хищном клюве ГЛ (ВД), пообещав позвонить...»

На этом все «препотешнейшее», что связывалось с ГЛ в «Юности», закончилось раз и навсегда. Начались сумрачные будни. Собственно, ничего такого уж неожиданного не произошло.

29.01.72 — АН: «...В “Юности” полнейший разгром. На нижнем уровне вещь приняли на ура, но прочитал Полевой и объявил, что это никуда не годится, при этом долго втолковывал нижнему уровню насчет Маркузе и насчет того, что никакого нацизма в ФРГ нет. <...> Тут же подключился Преображенский и написал, что совершенно согласен с мнением Бориса Николаевича. Любопытная деталь: никто на нижнем уровне в глаза не видел рецензий Полевого и Преображенского. Обе рецензии были выполнены в одном экземпляре и сразу же переданы в бухгалтерию на предмет оплаты. Рукопись я забрал и положил на полку. Пусть пока полежит...»

И рукопись легла на полку. Теперь уже прочно. Надолго. Авторы временно перестали трепыхаться и совать ее туда-сюда. Они еще не знали тогда, а судьба этой их повести уже была решена и на много лет вперед. В ноябре 1972 АН передал БНу с оказией письмо, содержащее отчет о своей встрече с пресловутым, ранее уже упоминавшимся в связи со «Сказкой о Тройке», товарищем Ильиным (бывшим генералом КГБ, а в те времена — секретарем Московской писательской организации по организационным вопросам).

24.11.72 — АН: «...В понедельник 13-го я был у Ильина. Перед этим (вот совпадение!) я отнес в “Мир” рецензию, и тут Девис, криво ухмыляясь и глядя в угол, рассказал: во

Франкфурте-на-Майне имела состояться выставка книгопродукции издательств ФРГ, всяких там ферлагов. От нас выставку посетили Мелентьев (ныне зам. председателя ГК по печати) и руководство “Мира” и “Прогресса”. Добрались до стенда издательства “Посев”. Выставлено пять книг: Исаич “1914”, двухтомник Окуджавы, реквизированный Гроссман, “Семь дней творения” В. Максимова и Мы с Тобой “ГЛ”. Поверх всего этого — увеличенные фотопортреты авторов вышеперечисленных и, якобы, надпись: “Эти русские писатели не примирились с существующим режимом”. <...> Ну, прямо от Девиса пошел я, судьбою палимый, к Ильину. Думаю, быть мне обосрану, а нам — битыми. Ан нет. Встретил хорошо, даже за галию, по-моему, обнял, не за стол — в интимные угловые креслица усадил и принялся сетовать на врагов, которые нас так спровоцировали. Ласков был до чрезвычайности. Коротко, все сводится к тому, что нам надобно кратко и энергично, с политическим акцентом отмежеваться. Эту бумагу должен составить ты, перешлешь ее мне (это не опасно, сам понимаешь), а я уж понесу ее Ильину и буду тянуть...»

(Странно читать это сегодня, правда? Письмо из другого времени и с другой планеты... Дабы усилить это ощущение, не могу удержаться, чтобы не процитировать из того же письма кусочек, прямого отношения к литературе не имеющий: «...Как стало достоверно известно, Петр Якир, просидев на площади около месяца, вдруг затребовал свидания с дочерью и, оное получив, велел передать ей, что в корне изменил свои убеждения и просит всех прежних своих сторонников своим сторонником его, Петра Якира, не считать. После этого он принялся закладывать ВСЕХ. Повторяю: ВСЕХ. <...> Прошу тебя иметь это в виду и, если есть у тебя основания, сделать выводы...»)

Разумеется, БН немедленно набросал и переслал в Москву текст решительного отмежевания от «акции, произведенной без ведома и согласия авторов, явно преследующей провокационные политические цели и являющей собою образец самого откровенного литературного гангстеризма». Или что-то в этом же роде, — не помню точно, в каком именно виде это оказалось опубликовано в «Литературной газете», а в архиве сохранился только самый первый черновик.

На этой истерически высокой ноте эпопея «Гадких лебедей» обрела свой заслуженный конец. Отныне (и присно, и во веки веков) ни о какой публикации названной вещи не могло быть и речи. Она теперь уж окончательно оказалась занесена в черные списки и сделалась «табу» для любого издательства в СССР, а равно и в странах социализма.

Согласитесь, повесть с такой биографией вполне годилась на роль содержимого Синей папки. «Гадкие лебеди» входили в текст «Хромой судьбы» естественно и ловко, словно патрон в обойму. Это тоже была история о писателе в тоталитарной стране. Эта история также была в меру фантастична и в то же время совершенно реалистична. И речь в ней шла, по сути, о тех же вопросах и проблемах, которые мучили Феликса Сорокина. Она была в точности такой, какой и должен был написать ее человек и писатель по имени Феликс Сорокин, герой романа «Хромая судьба». Собственно, в каком-то смысле он ее и написал на самом деле.

Предложенный ленинградской «Неве» вариант «Хромой судьбы» уже содержал в себе «Гадкие лебеди». Впрочем, из этой первой попытки ничего путного не получилось. Я, разумеется, рассказал (обязан был рассказать!) историю «Лебедей» главному редактору журнала, и тот пообещал выяснить ситуацию в обкоме (1986 год, самое начало, перестройка еще пока только чахнет и дымит, никто ничего не знает, ни внизу, ни на самом верху, все возможно — в том числе и мгновенный поворот на сто восемьдесят градусов). Видимо, «добро» получить ему не удалось, «Хромая судьба» вышла без Синей папки, да еще вдобавок основательно покуроченная в тупых шестернях бушующей вовсю антиалкогольной кампании имени товарища Лигачева.

Но уже в 1987-м журнал «Даугава» рискнул напечатать «Лебедей» (пусть даже и под ублюдочным названием «Время дождя»), и ничего ужасного из этого не проистекло — небеса не обрушились, и никакие карающие молнии не ударили в святотатцев: времена изменились, наконец, и ранее запрещенное сделалось разрешенным. И — о смех богов! — сделавшись разрешенным, запрещенное сразу же стало всем безразлично. Так что и появление в 1989 году полного текста «Хромой судьбы» в великолепном издании ленинградского отделения «Советского писателя» не произвело ни шума, ни сенсации, и вообще вряд ли даже было замечено читающей публикой. Новые времена внезапно наступили, и

новый читатель возник — образовался почти мгновенно, словно выпал в кристаллы перенасыщенный раствор, — и возникла потребность в новой литературе, литературе свободы и пренебрежения, которая должна была прийти на смену литературе-из-под-глыб, да так и не пришла, пожалуй, даже и по сей день.

Нам хотелось написать человека талантливого, но безнадежно задавленного жизненными обстоятельствами, его основательно и навсегда взял за глотку «век-волкодав», и он на все согласен, почти со всем уже смирился, но все-таки позволяет иногда давать себе волю, — тайно, за плотно законопаченными дверями, при свечах, потому что в отличие от булгаковского Максудова отлично знает и понимает, что сегодня, здесь, сейчас можно, а чего нельзя, и всегда будет нельзя... Феликс Сорокин представлялся нам этаким «героем нашего времени», и может быть, он и был таковым в каком-то смысле, но вот время — прямо у нас на глазах! — переменялось, а вместе с ним и многие-многие наши представления, и героями стали совсем другие люди, а наш Феликс Сорокин, как тип, как герой, канул в небытие — во всяком случае, мне очень хочется на это надеяться.

А вот у романа его, у «Гадких лебедей», по-моему, актуальность отнюдь покуда не пропала, потому что проблема будущего, запускающего свои щупальца в сегодняшний день, никуда не делась, и никуда не делась чисто практическая задача: как ухитриться посвятить свою жизнь будущему, но умереть при этом все-таки в настоящем. И чем стремительнее становится прогресс, чем быстрее настоящее сменяется будущим, тем труднее Виктору Баневу оставаться в равновесии с окружающим миром, в перманентном своем состоянии неослабевающего футурошока. Всадники Нового Апокалипсиса — Ирма, Бол-Кунац и Валерьянс — уже оседлали своих коней, и остается только надеяться, что Будущее не станет никого карать, не станет никого и миловать, а просто пойдет своей дорогой.

«ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР»

Это последнее, десятое, произведение АБС из цикла «Мир Полудня». Мы, правда, планировали написать еще один роман — под условным названием то ли «Белый Ферзь», то ли «Операция

ВИРУС», — но так и не собрались даже начать его. Любопытно, что задуман этот роман был раньше, чем «Волны». В дневнике от 6.01.83 сохранилась запись: «Думали над трилогией о Максиме. Максим внедряется в Океанскую империю, чтобы выяснить судьбу Тристана и Гурона». И уже на следующий день (7.01): «Странники прогрессируют Землю. Идея: человечество при коммунизме умирает в эволюционном тупике. Чтобы идти дальше, надо синтезироваться с другими расами». Очевидно, что это еще искаженный, деформированный, очень приблизительный, но уже тот самый замысел, из которого родились «Волны».

В истории написания этой повести нет ничего особенного и, тем более, сенсационного. Начали черновик 27.03.83 в Москве, закончили чистовик 27.05.84 в Москве же. Все это время вдохновляющей и возбуждающей творческий аппетит являлась для нас установка написать по возможности документальную повесть, в идеале — состоящую из одних только документов, в крайнем случае — из «документированных» размышлений и происшествий. Это была новая для нас форма, и работать с ней было интересно, как и со всякой новинкой. Мы с наслаждением придумывали «шапки» для рапорт-докладов и сами эти рапорт-доклады с их избытком нарочито сухих казенных словообразований и тщательно продуманных цифр; многочисленные имена свидетелей, аналитиков и участников событий сочиняла для нас особая программка, специально составленная на мощном калькуляторе «Хьюлетт-Паккард» (компьютера тогда у нас еще не было); а первый вариант «Инструкции по проведению фукамизации новорожденного» вполне профессионально набросал для нас друг АН — врач Юрий Иосифович Черняков...

Что же касается замысла «Странники прогрессируют Землю», то мы отказались от него как от центрального и сюжетообразующего довольно быстро. Гораздо интереснее оказалось использовать его в качестве обманного, отвлекающего приема, тем более что идея человечества, нечувствительно и постепенно порождающего внутри себя Человека Нового (хомо супер, хомо новус, хомо луденс), волновала и привлекала нас издавна, еще со времен «Гадких лебедей», которые изначально как раз и задумывались, как встреча поручика пограничных войск Виктора Банева с первыми сверхчеловеками — мокрецами.

Неожиданно трудно оказалось придумать название. Сначала (в письмах и дневнике) мы называли эту рукопись просто «Повесть о Тойво». Потом мелькнул вариант — почему-то на французском — «Fait accompli» («Совершившийся факт»), и только в самом конце работы над черновиком появляется название «Волны гасят ветер», причем сначала — только как название темы рапорт-доклада номер 086/99. Это название показалось нам удачным, и мы решили взять его для всей повести в целом — действительно, удачное название, спокойное и многосмысленное, что от названия и требуется.

А вот с эпиграфом получился маленький конфуз. Афоризм этот придумал БН, лично, экспромтом, в разгаре некоей полемики, все обстоятельства которой я великолепно помню до сих пор. Придумал — и восхитился собственной выдумкой, ибо почудилась ему в этой максиме поистине гёделевская глубина и нетривиальность. «Понять значит упростить» — как, однако, сказано! АНу это тоже понравилось, афоризм было решено приписать нашему легендарному писателю Дмитрию Строгову («Толстому XXI века»), придуманному нами еще в 60-м, и, приписав, сделать его эпиграфом. А несколько лет спустя я совершенно случайно узнал, что это, оказывается, слова из повести Михаила Анчарова — кажется, «Самшитовый лес». А может быть, — «Сода-солнце». О, это был тяжелый удар! Это была — проблема! Однако отказываться совсем от такого замечательного эпиграфа показалось нам тогда невыразимо жалко, а заменять имя выдуманного двадцать лет назад Строгова на имя всем известного Михаила Анчарова — как-то нелепо: повесть именно с таким эпиграфом была уже опубликована, и не раз. И мы решили оставить все как есть. «Совершенно не вижу, почему бы благородному дону (читай: Дмитрию Строгову) спустя сотню лет не переоткрыть заново афоризм Михаила Анчарова совершенно независимым образом?..» Тем более что в действительности это удалось же сделать Б. Стругацкому, спустя всего лишь двадцать, или сколько там, лет.

Повесть «Волны...» оказалась итоговой. Все герои наши безнадежно состарились, все проблемы, некогда поставленные, нашли свое решение (либо — оказались неразрешимыми), мы даже объяснили (вдумчивому) читателю, кто такие Странники и откуда они берутся во Вселенной, ибо людены наши это Странники и

есть — точнее, та раса Странников, которую породила именно цивилизация Земли, цивилизация Homo sapiens sapiens (как называется в Большой науке вид, к которому все мы имеем честь принадлежать). Осталась, правда, недописанной одна из задуманных в рамках Полуденного цикла историй — история проникновения Максима Каммерера в таинственные недра страшной Океанской империи.

Об этом ненаписанном романе среди фэнов ходят легенды, мне приходилось слышать рассказы людей, которые точно знают, что роман этот был по крайней мере наполовину написан, пущен авторами «в народ», и кое-кто даже лично держал в руках подлинную рукопись... Увы. Роман этот НИКОГДА НЕ БЫЛ НАПИСАН, он даже придуман не был как следует. Вот как выглядит его самый общий предполагаемый план:

1. Пролог. Гнилой Архипелаг
2. ч. I. Прибрежная зона
3. ч. II. Леса и поля
4. ч. III. Солнечный круг
5. Эпилог.

Действие романа должно было происходить где-то вскоре после событий «Жука в муравейнике», лет через пяток после этого и задолго до времен Большого Откровения. Пролог разработан действительно в деталях. БН мог бы написать его за несколько дней (это всего десяток страниц), но ему не хочется этим заниматься: не интересно, да и ни к чему. Часть I продумана хорошо, известны основные эпизоды, но без многих и многих существенных деталей. Часть II — ясна в общих чертах и с некоторыми эпизодами. Часть III — в самых общих чертах. Известен только один эпизод из этой части, заключительный (см. ниже — из предисловия БН к сборнику «Время учеников»). Что же касается эпилога, то это по идее должно было быть что-то вроде итогового комментария, скажем, Гриши Серосовина (или другого какого-нибудь комконовца) по поводу всего вышеизложенного. Но здесь нет даже самых общих наметок.

В предисловии к сборнику «Время учеников» БН писал об этом романе примерно следующее:

«В последнем романе братьев Стругацких, в значительной степени придуманном, но ни в какой степени не напи-

санном; в романе, который даже имени-то собственного по сути лишен (даже того, о чем в заявках раньше писали “название условное”); в романе, который никогда теперь не будет написан, потому что братьев Стругацких больше нет, а С. Витицкому в одиночку писать его не хочется, — так вот в этом романе авторов соблазняли главным образом две свои выдумки.

Во-первых, им нравился (казался оригинальным и нетривиальным) мир Островной Империи, построенный с безжалостной рациональностью Демиурга, отчаявшегося искоренить зло. В три круга, грубо говоря, укладывался этот мир.

Внешний круг был клоакой, стоком, адом этого мира — все подонки общества стекались туда, вся пьянь, рвань, дрянь, все садисты и прирожденные убийцы, насильники, агрессивные хамы, извращенцы, зверье, нравственные уроды — гной, шлаки, фекалии социума. Тут было IX царствие, тут не знали наказаний, тут жили по законам силы, подлости и ненависти. Этим кругом Империя оцетинивалась против всей прочей ойкумены, держала оборону и наносила удары.

Средний круг населялся людьми обыкновенными, ни в чем не чрезмерными, такими же как мы с вами — чуть похуже, чуть получше, еще далеко не ангелами, но уже и не бесами.

А в центре царил Мир Справедливости. “Полдень, XXII век”. Теплый, приветливый, безопасный мир духа, творчества и свободы, населенный исключительно людьми талантливыми, славными, дружелюбными, свято следующими всем заповедям самой высокой нравственности.

Каждый рожденный в Империи неизбежно оказывался в «своем» круге, общество деликатно (а если надо — и грубо) вытесняло его туда, где ему было место, — в соответствии с талантами его, темпераментом и нравственной потенцией. Это вытеснение происходило и автоматически, и с помощью соответствующего социального механизма (чего-то вроде полиции нравов). Это был мир, где торжествовал принцип “каждому — свое” в самом широком его толковании. Ад, Чистилище и Рай. Классика.

А во-вторых, авторам нравилась придуманная ими концовка. Там у них Максим Каммерер, пройдя сквозь все круги и добравшись до центра, ошарашенно наблюдает эту райскую

жизнь, ничем не уступающую земной, и общаясь с высокопоставленным и высоколобым аборигеном, и узнавая у него все детали устройства Империи, и пытаясь примирить непримиримое, осмыслить неосмысливаемое, состыковать нестыкуемое, слышит вдруг вежливый вопрос: «А что, у вас разве мир устроен иначе?» И он начинает говорить, объяснять, втолковывать: о высокой Теории Воспитания, об Учителях, о тщательной кропотливой работе над каждой дитячьей душой... Абориген слушает, улыбается, кивает, а потом замечает как бы вскользь: «Изящно. Очень красивая теория. Но, к сожалению, абсолютно не реализуемая на практике». И пока Максим смотрит на него, потеряв дар речи, абориген произносит фразу, ради которой братья Стругацкие до последнего хотели этот роман все-таки написать.

— Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали,— говорит абориген.— Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал — до вас и без вас,— а вы не догадываетесь об этом...

По замыслу авторов эта фраза должна была поставить последнюю точку в жизнеописании Максима Каммерера. Она должна была заключить весь цикл о Мире Полудня. Некий итог целого мировоззрения. Эпитафия ему. Или — приговор?..»

Именно над этим романом думали АБС во время своей последней встречи в январе 1991 года, в Москве («18.01.91. Писали письма. Снова обсуждается «Операция ВИРУС»...») Я очень хорошо помню, что обсуждение наше шло вяло, нехотя, без всякого энтузиазма. Время было тревожное и неудобное, в Ираке начиналась «Буря в пустыне», в Вильнюсе группа «Альфа» штурмом взяла телецентр, нарыв грядущего путча готовился прорваться, и приключения Максима Каммерера в Островной Империи совсем не казались нам увлекательными — придумывать их было странно и даже как-то неприлично. АН чувствовал себя совсем больным, оба мы нервничали и ссорились... Это была финальная прямая, хотя никто из нас об этом, разумеется, не знал и даже подумать не мог...

... Но почему мне иногда кажется, что этот — или очень похожий на него — роман будет все-таки со временем написан? Не братьями Стругацкими, разумеется. И не С. Витицким. Но кем?

1985—1990 гг.

«ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ»

Впервые над этим романом мы начали думать еще в октябре 1981-го, когда возникла у нас с братьями Вайнерами странная, нелепая даже, но показавшаяся нам плодотворной идея написать совместный фантастический детектив — так сказать, «в четыре башки». Чтобы состоял этот детектив из двух частей — «Преступление» и, сами понимаете, «Наказание». Чтобы в части «Преступление» (условное название «Ловец душ») описывалась бы совершенно фантастическая и даже мистическая ситуация, как по некоему райцентру российской глубинки бродит никому не знакомый Бледный Человек (БЧ) и скупает живые человеческие души. Причем никто не знает (да и знать не хочет), что это, собственно, означает вообще, и как, в частности, понимать словосочетание «живая человеческая душа» в последней четверти двадцатого века. Писать эту часть должны были АБС, как специалисты по мистике-фантастике, а на долю Вайнеров приходилась при таком раскладе часть «Наказание», где Бледного Человека (в скобках БЧ) отлавливает милиция и соответствующие органы возбуждают против него уголовное дело. Что это будет за уголовное дело, в чем, собственно, можно обвинить «ловца душ» и по какой статье УК РСФСР судить — не было ясно никому из соавторов, и именно поэтому профессионалы Вайнеры очень всеми этими мистико-юридическими проблемами заинтересовались.

В ноябре 81-го придуманы были и Сергей Корнеевич Манохин, астроном (область интересов — теория двойных и кратных объектов во Вселенной), и маленький бледный человечек Агаффер Кузьмич Прудков, загадочный «ловец душ», и место действия — город Ташлинск, дальний аналог того райцентра Ташла (Оренбургской области), где АН и БН побывали в эвакуации в 1942—1943 гг. И многочисленные определения души были

выписаны про запас, и составлен был проект типовой расписки о передаче таинственному Агасферу Кузьмичу души («особой нематериальной субстанции, не зависящей от тела», по определению Советского Энциклопедического Словаря). И многое другое было заготовлено для того, чтобы приступить к написанию части «Преступление», она же — «Ловец душ». Собственно, тогда был составлен подробный план этой повести вплоть до того момента, когда за Агасфером Кузьмичом приезжает милиция. Но на этом работа с «Ловцом душ» прервалась — АБС занялись «Хромой судьбой».

По записям в дневнике невозможно определить тот момент, когда «Союз четырех» распался окончательно и навсегда. Некоторое время в дневнике еще попадаются заметки, предназначенные вроде бы для «Ловца душ», но в дальнейшем использованные в «Хромой судьбе». Например: «У Манохина привычка — всем встречным и поперечным дает (мысленно, конечно) клички. “Ойло союзное”. Еще? “Клепсидра”...» Потом мы сосредотачиваемся на «Хромой судьбе» целиком и полностью, начинаем и заканчиваем ее, беремся за «Волны», начав, заканчиваем и «Волны» тоже, потом начинаем и заканчиваем сценарий «Пять ложек эликсира», и только лишь в феврале 1985 года снова возникает в наших рабочих записях Агасфер Кузьмич.

К этому моменту от «Союза четырех» осталось только несколько распечатанных на машинке страничек «Протокола собеседования двух пар чистых», приятные воспоминания о двух-трех встречах (в разное время и в разных составах) да смутные воспоминания о фонтанах идей, бивших в небо во время этих замечательных встреч. АБС с удовольствием листают странички протокола, перечитывают записи в дневнике четырехлетней давности, сюжет с «ловцом душ» симпатичен им по-прежнему, но теперь, когда идея фантастического детектива похерена, и окончательно, чудится им в этом замысле нечто большее, чем просто история о толстеньком комичном Мефистофеле конца XX века.

Во время встречи в Москве, которая началась 15 февраля 1985 года, обсуждается совершенно новый замысел: что стало бы с человечеством, если бы оно вдруг лишилось чувства страха. Плюсы и минусы страха. Определение страха... Генезис страха... Отдельные фразы:

«Свита дьявола — смертные, но бесстрашные как бессмертные...»

«Антихрист. Проба. Или уступил ангелу, уверенному, что все беды людские — от страха...»

«История с Агасфером Кузьмичом — скупщиком душ — сюда же? Начало: Христос и вновь назначенный Антихрист стоят на крыше только что построенной многоэтажки и беседуют. Антихрист — человек, которому Христос передает человечество.»

Возникает и обдумывается даже такая идея: «...сделать повесть 3-й книгой ПНвС...» Двадцать лет миновало, в Соловце возведен дом-небоскреб, все события описываются с точки зрения сына Саши Привалова — современного, практичного до цинизма, но тем не менее после окончания МГУ двинувшего «по магии» (против всякого желания отца). НИИЧАВО уж не тот, что раньше: «несуны» тащат все, что плохо лежит; процветает принцип «ты — мне, я — тебе»; на Кристобая Хунту работают одни только зомби да капризные привидения; у Эдика Амперяна постоянно в ходу портативный реморализатор, а Хунта соорудил для своих нужд огромный, стационарный... И в этих вот условиях, приближенных к боевым, Кристобал Хозевич во взаимодействии с Агасфером Кузьмичом проводят эксперимент по «обесстрашиванию» научного контингента. При этом выясняется любопытное обстоятельство: первое, что делают «обесстрашенные», — это перестают работать вообще... И итоговая запись 17.02.85: «Осознание огромного и безнадежного отставания от мирового уровня — во всем». «Нет победителей и побежденных — все в говне, все несчастны, все недовольны...» (Довольно-таки симптоматичные рассуждения конца «застойного периода», не правда ли? — к сведению тех, кто сегодня столь истерически ностальгирует по минувшим временам колбасы за два двадцать.)

Очередная идея продолжить «Понедельник» в очередной раз была отброшена. Но на протяжении всего 1985-го в дневнике идут записи, из которых видно, как АБС постепенно приближаются к окончательной формулировке новой своей литературной задачи.

«Поскребите любое дурное свойство человека, и выгянет его основа — страх». С. Соловейчик (НМ, 3, 1985).

«Обстоятельная подготовка к Страшному Суду... Герой взят в качестве секретаря-переводчика, ему обещано исполнение желания — изменение законов природы. Он заступается за человечество, и ему предлагают “искупить его грехи”... История нового Христа...»

«Суд над человечеством. Разбираются случаи из жизни: подлость, низость, корыстолюбие, нищета духа. В т. числе странные истории из жизни японцев, новогвинейцев (каннибалов) и т. д. — другая мораль, другие нормы».

«Имена Демиурга: Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник... Гэфест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Мулунгу, Моримо, Мукуру».

И вот, наконец: «...у гностиков Демиург — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом» (Е. М. Мелетинский, Миф. Словарь, т. I, стр. 366).

«Вариант названия: ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ».

К этому моменту одна из линий романа становится нам ясна окончательно, и мы принимаемся ее активно разрабатывать и даже (начиная с 25 января 1986 года, в Ленинграде) писать. Это — история Второго (обещанного) пришествия на Землю Иисуса Христа. Он вернулся, чтобы узнать, чего достигло человечество за прошедшие две тысячи лет с тех пор, как Он даровал ему Истину и искупил его грехи своей мучительной смертью. И Он видит, что НИЧЕГО существенного не произошло, все осталось по-прежнему и даже подвижек никаких не видно, и Он начинает все сначала, еще не зная пока, что он будет делать и как поступать, чтобы выжечь зло, пропитавшее насквозь живую разумную материю, Им же созданную и так любовно слепленную много тысячелетий назад.

Наш Иисус-Демиург совсем не похож на Того, кто принял смерть на кресте в древнем Иерусалиме — две тысячи лет миновало, многие сотни миров пройдены Им, сотни тысяч благих дел совершены, и миллионы событий произошли, оставив — каждое — свой рубец. Всякое пришлось Ему перенести, случались с Ним происшествия и поужаснее примитивного распятия — Он сделался страшен и уродлив. Он сделался неузнаваем. (Обстоятельство, вводящее в заблуждение множество читателей: одни негодуют, принимая нашего Демиурга за неудачную копию бул-

гаковского Воланда, другие — попросту и без затей — обвиняют авторов в проповеди сатанизма, в то время как наш Демиург на самом деле — это просто Иисус Христос две тысячи лет спустя. Вот уж поистине: «Пришел к своим, и свои Его не приняли».)

Сейчас, листая рабочие дневники, я обнаружил вдруг, что совсем позабыл, оказывается, как писался этот наш роман! Оказывается, мы сначала почти до конца, а может быть и не «почти», а действительно до самого конца написали всю линию Манохин — Агасфер — Демиург, и лишь потом вышли на идею заслуженного учителя города Ташлинска — Г. А. Носова — с его печальной историей современного Иешуа Га-Ноцри. Только 27 февраля 1987 года в дневнике появляется запись:

«40 лет спустя». Учитель, проповедующий права людей, живущих в свое удовольствие и никому не мешающих. Общество его ненавидит. Уходят ученики, грозят родители, директор, РОНО, Академия Педнаук. Мир 20... года».

А уже в середине марта приняты все принципиальные решения: история Демиурга есть рукопись Манохина, «попавшая к автору от его Учителя, найдена при сносе древней гостиницы при обсерватории»; «все апостолы <Демиурга, которого мы время от времени называем еще и Ужасным Иешуа> — соискатели, предлагают улучшить человечество путем ампутаций»; Демиург ищет Великого Терапевта — «...Все они хирурги или костоправы, и нет среди них ни одного терапевта» (парафраз слов умирающего генерала иезуитов из «Виконта де Бражелона»); история борьбы и гибели Настоящего Учителя становится сюжетным стержнем нового романа... Этот новый и окончательный вариант романа мы начинаем писать в конце апреля 1987 года, а последнюю точку в чистовике ставим 18 марта 1988-го.

Это был последний роман АБС, самый сложный, даже, может быть, переусложненный, самый необычный и, наверное, самый непопулярный из всех. Сами-то авторы, впрочем, считали его как раз среди лучших — слишком много душевных сил, размышлений, споров и самых излюбленных идей было в него вложено, чтобы относиться к нему иначе. Здесь и любимейшая, годами лелеемая идея Учителя с большой буквы — впервые мы сделали попытку написать этого человека, так сказать, «вживе»

и остались довольны этой попыткой. Здесь старинная, годами лелеемая мечта написать исторический роман — в манере Лиона Фейхтвангера и с позиции человека, никак не желающего поверить в существование объективной и достоверной исторической истины («не так все это было, совсем не так»). Здесь даже попытка осторожного прогноза на ближайшие сорок лет, — пусть даже и обреченного изначально на неуспех, ибо нет ничего сложнее, чем предсказывать, что будет с нами на протяжении одной человеческой жизни (то ли дело строить прогнозы лет на пять-сот вперед, а еще лучше — на тысячу)...

Любопытно сегодня, с высоты последнего десятилетия XX века, смотреть на эти прогностические упражнения авторов, честно пытавшихся в меру сил своих и способностей нарисовать правдоподобную и, по возможности, содержательную картинку российской жизни третьего десятилетия века XXI. Эта картинка рисовалась уже в самый разгар перестройки, когда нам ясно стало, что серьезные изменения неизбежны и надвигаются, но нам тогда и в голову не могло прийти, насколько радикальными они будут. Говоря сегодняшними терминами, АБС предполагали, что Россия (на самом деле, СССР, конечно) пойдет по «китайскому пути»: постепенная, очень медленная либерализация экономики под неусыпным контролем слегка реформированной, но по-прежнему всемогущей КПСС. Более радикальные перемены нетрудно было, разумеется, себе представить — и раскол Партии, и сам распад СССР, и даже новую гражданскую войну, — но почти инстинктивное неверие наше в резкие исторические переломы было слишком сильно. Такие переломы всегда казались нам возможными, но чрезвычайно маловероятными, и уж в особенности маловероятным всегда казался нам практически одномоментный (в историческом масштабе) развал могущественной государственной машины, создававшейся десятилетиями, основательно проржавевшей, конечно, абсолютно бесперспективной и уже начинающей сбоить, но еще вполне и до отворачивания жизнеспособной и самодостаточной.

Мир, каким он у нас стал «сорок лет спустя», существенно отличается даже от сегодняшнего. Он гораздо более стабилен, спокоен, более сыт и доволен собой. Он менее свободен, но тоталитарность его не бросается в глаза — перестройка не прошла

для него даром. Горком партии по-прежнему является в этом мире авторитетом номер один, но влияние его сильно смягчено и облагорожено по сравнению с годами застоя. Это — сегодняшний Китай, может быть, несколько более привлекательный и благополучный, чем Китай конца 90-х, но уж никак не сегодняшняя наша Россия, гораздо дальше продвинувшаяся по торной дороге постиндустриальной цивилизации и заплатившая за это продвижение дороговую цену.

Короче говоря, попытка среднесрочного прогноза нам, скорее, не удалась. Но иногда, наблюдая нынешние события, эту страшную, роковую, холопскую тягу нашу к стабильности любой ценой, к пресловутому «порядку», к «твердой руке и железной метле», — наблюдая все это, я без всякого удовлетворения думаю: «Черт побери, а может быть, ошибившись в частностях, АБС угадали-таки конечный результат? Где, в конце-то концов, гарантия, что горком партии не вернется к нам опять на протяжении ближайшего поколения? А кроме того, у нас ведь ни слова в романе не сказано, горком КАКОЙ ИМЕННО ПАРТИИ правит в Ташлинске начала 2030-х годов...»

«ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА, ИЛИ НЕВЕСЕЛЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ПРИ СВЕЧАХ»

На протяжении многих лет Стругацкие мечтали написать пьесу. Первое упоминание об этой сладостной мечте я обнаружил еще в письмах начала 60-х.

27.12.61 — АН: «... Идея № 2 — мысль написать пьесу. Давай попробуем, а? На современную тему. Про людей современных, удивительных, веселых, немного злых и оптимистов великих. А? Давай, Боря, а? А пьеса у нас с тобой преотлично бы пошла, уверяю тебя. Диалоги, монологи, полилоги — так бы и посыпались. И образА бы создали смачные. Как ты, дружище? Про веселых свирепых оптимистов, умных, знающих, честных. А? Давай попробуем?...»

Но мы не попробовали. То есть АН сам, на свой страх и риск, пробовал и неоднократно. Но — либо не удавалось довести до

конца, либо удавалось, но получалось «типичное не то», — вроде пьесы «Без оружия», по мотивам «Трудно быть богом». Написанная АН практически в одиночку, на взгляд БН она совсем не удалась, и не стоит, наверное, жалеть, что она так и не увидела (кажется) сцены, хотя какие-то областные театры вроде бы за нее брались, что-то там колдовали, репетировали, но не получалось у них ничего с этой пьесой.

4.11.66 — АН: «...Перед спектаклем Высоцкий сводил меня познакомиться с Любимовым. Очень понравился он мне. И в частности, тем, что попросил поработать для них. Мы ему страшно нравимся, родственные души. Он не навязчив, просто просит посмотреть его работы и подумать, получится ли у нас что-нибудь. Проклял я, что ты не в Москве. Надо выписать тебе командировку, чтобы ты приехал специально на театр. Пьесу будем писать! <...> И Володя хорош (Высоцкий, то есть). Он бы отлично сыграл Румату».

7.03.71 — АН: «Был у режиссера из Театра Сатиры, написал им с ходу ничего не обязывающую заявку. Режиссер снес заявку к Плучеку и к директору театра, они будут принимать меня в среду вечером в театре. <...> Хочу дать сценку с Эдельвейсом или начало сценки с Пришельцем...»

14.03.71 — БН: «...пришло письмо от Ренца (Оренбургский театр кукол). <...> Он, Ренц, лично готов быть нашим соавтором. В этом случае он берет на себя консультации по композиционно-сценической организации пьесы. Мы организуем литературу». <Речь идет об инсценировании «Отеля...»>

16.03.71 — АН: «...был я у Плучека. Тоже дерьмо. Выслушал отрывок благосклонно, попенял, что нет-де этакой здоровой сумасшедшинки, нет бредятинки... Я его попытался прервать, что уж чего-чего, а этого... но он не слушал и нес, блистал эрудицией, говорил час подряд и все без толку, и когда наш редактор — молодец! — спросил его в лоб, как насчет договора, Плучек сразу скис, и тут выяснилось, что они не могут, что их так часто подводили... пусть принесут первый вариант и тогда будет видно. Короче, я встал, поблагодарил за внимание и ушел...»

23.06.71 — АН: «Мы с тобой получили приглашение на инсценировку или написание самостоятельной пьесы для те-

атра-студии «Жаворонок». <...> Они намекают на смесь ТББ и ОО. А театр очень оригинальный — актеры, маски и куклы...»

Я привожу эти обрывки и выдержки из писем без всякой системы и практически наугад. Мог бы привести еще и еще. Попыток войти в контакт с театром и поработать для сцены было несколько, даже, я сказал бы, много, но чем дальше, тем меньше оставалось у нас энтузиазма по этому поводу, и в конце концов мы, отчаявшись создать для театра что-нибудь путное, махнули рукой на эту идею, полностью сосредоточившись на киносценариях. Похоже, сама судьба хотела, чтобы пьеса стала последней работой АБС.

Первые обстоятельные наброски, хотя еще вполне приблизительные, появляются в дневнике 6 октября 1989 года во время краткого наезда БН в Москву «для переговоров и обсуждений». Условное название — «Ночь страха», но уже есть среди будущих героев и еврей, получающий повестку, начинающуюся словами «Жида города Москвы!...» Эпиграф предполагалось взять у Гойи: «Сон разума рождает чудовищ», но в общем и целом сюжет с первого же захода определился вполне, и даже последняя немая сцена была придумана — с непрерывно звонящим телефоном, на который все молча смотрят и никто не решается взять трубку.

Первая половина названия — «Жида города Питера» — была принята позже («7.12.89. БН приехал в Мск писать ЖГП»), а вторую половину мы позаимствовали из старых записей еще конца 1988 года. Собственно, идея пьесы возникла именно тогда: «1.12.88. Б. прибыл в Мск обсуждать ситуацию. Пьеса: «Веселенькие беседы при свечах» <...> Все начинается так:

- 1). Телевизор — детектив
- 2). Выключ. света
- 3). Разговоры о неуютности жизни...»

И несколько позднее: «...«Разговорчики при свечах»». Действие происходит спустя лет 10. Полный развал, всё вырубается одно за другим, тихий разгул органов, абсурд крошечный».

Позднее кое-кто приписывал нам особую проницательность: АБС якобы предвидели и описали путч 1991 года. Это и верно, и неверно. В самом конце восьмидесятых было уже совершенно

очевидно, что попытка реставрации должна воспоследовать с неизбежностью: странно было бы даже представить себе, чтобы советские вседержители — партийная верхушка, верхушка армии и ВПК, наши доблестные «органы», наконец, — отдадут власть совсем уж без боя. Гораздо труднее было представить себе ту конкретную форму, в которую выльется эта попытка повернуть все вспять, и уже совсем невозможно было вообразить, что эта попытка окажется такой (слава Богу!) дряблой, бездарной и бессильной. Дракон власти представлялся нам тогда хромым, косым, вялым, ожиревшим, но тем не менее все еще неодолимым.

Другой вопрос казался нам гораздо менее тривиальным, когда мы писали свою пьесу: а нужно ли ИМ совершать путч вообще — двигать танки, вводить войска, сгонять арестованных на стадионы по методике генерала Пиночета? Может быть, вполне достаточно только припугнуть нас хорошенько, и все мы тут же послушно — с отвращением к себе и к своей судьбе, бормоча проклятия в адрес поганой власти, но послушно и безотказно как всегда — встанем по стойке смирно?

В реальности оказалось намешано всего понемножку — и беззаветного бунта, и покорности, и равнодушия, и радостной готовности подчиниться, — но одно АБС угадали точно: отношение к происходившему молодежи. Молодежь с удивительным единодушием сказала перевороту либо «нет», либо, в крайнем случае, «плевать!». И это было лучшим доказательством тому, что Старый мир прекратил существование свое в прежнем, привычном качестве и облике. Новое поколение устами Виктора Цоя объявило: «Перемен! Мы хотим перемен!» Ничего не зная о Новом мире, оно без колебаний отвергло Старый. Как это, впрочем, обычно и происходит с каждым новым поколением, только далеко не каждому новому поколению везет оказаться на взлете своем именно в эпохе перемен.

Мы закончили пьесу в начале апреля 1990 года, и уже в сентябрьском номере «Невы» она была опубликована. Свообразный рекорд, однако. Напоследок.

Надо сказать, мы совсем не планировали ее для театра, и полной для нас неожиданностью оказалось, что пошла она неожиданно широко: Ленинград, Москва, кажется, Воронеж, Новоси-

бирск, еще где-то, — был момент, когда она шла в доброй дюжине театров разом. В Киеве ее (с разрешения авторов) поставили под названием «Жида города Киева», в Ленинграде (или уже в Петербурге?) сделали остроумную публицистическую телепередачу, в которой сцены из постановки перемежались вполне документальными разговорами на улицах Питера — наугад выбранным прохожим задавали вопрос, как бы они поступили, получивши, подобно героям пьесы, повестку соответствующего содержания...

Было довольно много хлопот с названием. Звонили из разных театров, произносили речи об опасности антисемитизма, просили разрешения переменить название, оставить только «Невеселые беседы при свечах» — мы отказывали, дружно и решительно. Название пьесы представлялось нам абсолютно точным. И дело здесь было не только в том, что название это перекидывало прочный мостик между страшным прошлым и несколько не менее страшным виртуальным будущим. («Жида города Киева!» — так начинались в оккупированном Киеве 1942 года обращения немецко-фашистского командования к местным евреям — приказы, собрав золото и драгоценности, идти на смерть). Ведь все наши герои, независимо от их национальности, были в каком-то смысле «жидами» — внутри своего времени, внутри своего социума, внутри собственного народа — в том же смысле, в каком писала некогда Марина Цветаева:

...Жизнь — это место, где жить нельзя:
Ев-рейский квартал...
Так не достойнее ль во сто крат
Стать Вечным Жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев-рейский погром —
Жизнь...

Эти слова, написанные много лет назад, и по сей день остаются в значительной мере актуальными, — как тогда, как всегда. И, мне кажется, так же и по тем же причинам все еще остается актуальной наша пьеса, хотя очередного путча вроде бы пока и не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).

КИНОСЦЕНАРИИ

В этом издании опубликованы далеко не все сценарии, написанные АБС за добрые тридцать лет. Некоторые из сохранившихся представляются мне (и представлялись в свое время обоим авторам) неудачными — например, сценарий по «Жуку в муравейнике», опубликованный в свое время в журнале «Уральский следопыт». Некоторые — безвозвратно утеряны: такие, скажем, как самый первый из наших киносценариев, писанный по роману «Страна багровых туч» еще в начале 60-х, или, скажем, сценарий «Бойцовый кот возвращается в преисподнюю», который мы делали для Одесской киностудии, — он был зарулен Госкино по стандартному обвинению в «экспорте революции» (именно из него впоследствии произросла повесть «Парень из преисподней»).

Обоих вышеназванных сценариев, впрочем, ни чуточки не жалко. А вот самый первый сценарий по «Трудно быть богом» — жалко. У него своя, со специфическими хитросплетениями и неожиданными поворотами история, его несколько раз начинали и бросали, были моменты, когда дело было, казалось, совсем уже на мази: еще немножечко, еще чуть-чуть, и фильм начнут снимать, — но каждый раз возникало какое-нибудь препятствие (иногда — вполне исторических масштабов, вроде вторжения в Чехословакию в 1968-м), и все надежды рушились, и все вновь откладывалось до морковкина заговенья. Сценарий добрых два года влачил по всем Ленфильмовским инстанциям (от редсовета к худсовету), не пропуская ни единой. В обсуждениях его принимало участие множество людей, причем не только редакторы и кинокритики, «широко известные в узких кругах», но и литераторы знаменитые — Вера Федоровна Панова (выступавшая «против» с резкостью и жесткостью, меня, помнится, поразившими) и Александр Моисеевич Володин, заступавшийся за сценарий решительно, блестяще и неизменно. Но в результате этих редакционных перипетий все без исключения экземпляры (очень, на мой взгляд, недурного) сценария, который писался вместе с Алексеем Германом и специально для Алексея Германа, пропали безвозвратно.

Безвозвратно утрачены практически все варианты сценария фильма «Сталкер». Мы начали сотрудничать с Тарковским в середине 1975 года и сразу же определили для себя круг обязанностей — свое, так сказать, место в этой многомесячной работе. «Нам посчастливилось работать с гением, — сказали мы тогда друг другу. — Это значит, что нам следует приложить все свои силы и способности к тому, чтобы создать сценарий, который бы по возможности исчерпывающе нашего гения бы удовлетворил».

Я уже рассказывал и писал раньше, что работать над сценарием «Сталкера» было невероятно трудно. Главная трудность заключалась в том, что Тарковский, будучи кинорежиссером да еще и гениальным кинорежиссером вдобавок, видел реальный мир иначе, чем мы, строил свой воображаемый мир будущего фильма иначе, чем мы, и передать нам это свое, сугубо индивидуальное видение он, как правило, не мог, — такие вещи не поддаются вербальной обработке, не придуманы еще слова для этого, да и невозможно, видимо, такие слова придумать, а может быть, придумывать их и не нужно. В конце концов, слова — это литература, это высоко символизированная действительность, совсем особая система ассоциаций, воздействие на совсем иные органы чувств, наконец, в то время как кино — это живопись, это музыка, это совершенно реальный, я бы даже сказал — беспощадно реальный мир, элементарной единицей которого является не слово, а звучащий образ...

Впрочем, все это теория и философия, а на практике работа превращалась в бесконечные, изматывающие, приводящие иногда в бессильное отчаяние дискуссии, во время коих режиссер, мучаясь, пытался объяснить, что же ему нужно от писателей, а писатели в муках пытались разобраться в этой мешанине жестов, слов, идей, образов и сформулировать для себя наконец, как же именно (обыкновенными русскими буквами, на чистом листе обыкновеннейшей бумаги) выразить то необыкновенное, единственно необходимое, совершенно непередаваемое, что стремится им, писателям, втолковать режиссер.

В такой ситуации возможен только один метод работы — метод проб и ошибок. Дискуссия ... разработка примерного плана сценария... текст... обсуждение текста... новая дискуссия... новый

план... новый вариант — и опять не то... и опять непонятно, что же надо... и опять невозможно выразить словами, что же именно должно быть написано СЛОВАМИ в очередном варианте сценария...

(К сожалению, не вели мы тогда никаких протоколов наших бесед, и ничего от них не осталось ни в памяти, ни на бумаге, кроме нескольких строчек типа: «19.12.75 Тарковский. Человек = инстинкт + разум. Есть еще что-то: душа, дух (мораль, нравственность). Истинно великое м.б. бессмысленным и нелепым — Христос». Совершенно не помню, в каком контексте шла речь об этих существеннейших проблемах и почему мы именно об этом тогда говорили...)

Всего получилось не то семь, не то восемь, не то даже девять вариантов. Почти все они утрачены. Здесь публикуется самый последний. Его мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, после того как Тарковский решительно и окончательно заявил: «Все. С таким Сталкером я больше кино снимать не буду»... Это произошло летом 1977-го. Тарковский только что закончил съемки первого варианта фильма, где Кайдановский играл крутого парня Алана (бывшего Рэдрика Шухарта), фильм при проявлении запороли, и Тарковский решил воспользоваться этим печальным обстоятельством, чтобы начать все сызнова.

АН был там с ним, на съемках в Эстонии. И вот он вдруг, без всякого предупреждения, примчался в Ленинград и объявил: «Тарковский требует другого Сталкера». — «Какого?» — «Не знаю. И он не знает. Другого. Не такого, как этот». — «Но какого именно, трам-тарарам?!» — «Не знаю, трам-трам-трам-и-тарарам!!! ДРУ-ГО-ГО!»...

Это был час отчаяния. День отчаяния. Два дня отчаяния. На третий день мы придумали Сталкера-юродивого. Тарковский остался доволен, фильм был переснят. И вот именно тот сценарий, который мы за два дня переписали и с которым АНС помчался обратно в Таллин, этот последний вариант «Сталкера» публикуется здесь в своем (насколько я могу вспомнить) первоначальном виде.

Кроме того, сохранился третий (или четвертый?) вариант сценария — он опубликован в НФ в 1981 году. И сохранился (чудом!) самый первый вариант — он приведен здесь под названием «Машина желаний», хотя, мне кажется, что самое первое,

условное название фильма было все-таки «Золотой Шар». Сохранились в архиве еще какие-то разрозненные обрывки, вырезки и клочки — то, что осталось от предпоследнего варианта после того, как мы превратили его в последний. И осталась (естественно) литературная запись. Она очень похожа на самый последний вариант, хотя в нашем тексте, помнится, никогда не было великолепного финального прохода Сталкера с дочкой на плечах.

Мне кажется, знатокам и любителям как повести «Пикник на обочине», так и фильма «Сталкер» будет небезлюбопытно сравнить, насколько первый вариант киносценария отличается от самой повести, а последний вариант — от первого.

Вообще говоря, история написания киносценария есть, как правило, история жесткого взаимодействия сценариста с режиссером. История беспощадной борьбы мнений и представлений, зачастую несовместимых. Сценарист, как мне кажется, обязан в этом столкновении творческих подходов всегда идти на уступки, ибо кинофильм — это вотчина именно режиссера, его детище, его территория, где сценарист есть хоть и творческий, но лишь наемный работник.

На протяжении тридцати лет нам приходилось иметь дело с самыми разнообразными типами, вариациями и разновидностями кинорежиссеров. Самый среди них распространенный вид — бурнокипящий, говорливый, абсолютно уверенный в себе энтузиаст. Он стремителен. Он, как гром с ясного неба, возникает вдруг из небытия, обрушивает на автора ворох соблазнительнейших предложений и остроумных (льстящих авторскому воображению!) идей и так же стремительно, подобно молнии, исчезает опять в своем небытие — навсегда и без всякого следа. Таких у нас было множество. Если бы все их проекты реализовались, АБС были бы богаты и знамениты, не в пример своему нынешнему положению. Они были бы, наверное, самыми знаменитыми киноавторами в мире — куда там Федор Михайловичу Достоевскому или даже самому Стивену Кингу!

Если же говорить о серьезных режиссерах, то они все были очень не похожи друг на друга. Они были такие же разные, как и их фильмы.

Андрей Тарковский был с нами жёсток, бескомпромиссен и дьявольски неуступчив. Все наши робкие попытки творческого

бунта подавлялись без всякой пощады и неукоснительно. Лишь однажды, кажется, удалось нам переубедить его: он согласился убрать из сценария и из фильма «петлю времени» (которую мы сами же для него и придумали — монотонно повторяющийся раз за разом проход погибшей некогда в Зоне бронеколонны через полуразрушенный мостик) — этот прием почему-то страшно его увлекал, он держался за него до последнего, и только соединенными усилиями нам удалось убедить его в том, что это банально, общеизвестно и тысячу раз «было». Он согласился, наконец, да и то, по-моему, только оттого, что ему пришлось по душе наша общая идея: в Зоне должно быть как можно меньше «фантастики» — непрерывное ожидание чего-то сверхъестественного, максимальное напряжение, вызываемое этим ожиданием, и — ничего. Зелень, ветер, вода...

Александр Сокуров, снявший замечательный фильм «День затмения», был, напротив, мягок, уступчив, готов к компромиссам, его совсем нетрудно было убедить и переубедить. Сценарий проходил по начальственным инстанциям долго, трудно, даже мучительно, идиотские вопросы и рекомендации сыпались градом («Какие именно работы ведут ученые? Почему сверхцивилизация агрессивна? Убрать бытовые сцены и карлика!!!»). Авторы (теперь уже опытные, битые, многожды пытаные), скрипя зубами, соглашались переделывать целые сцены и переделывали их — режиссер оставался спокоен и тих. Просто он ТОЧНО знал, что там будет в конце концов и на самом деле — в его кино, в объективе камеры, на пленке, на экране. И когда настал момент, он предложил свой, выношенный и любимый вариант (сделанный для него Юрием Арабовым) и именно по этому сценарию и отснял фильм, — фильм значительный, мощный, превосходный в своем роде, — но очень далекий и от исходной повести («За миллиард лет до конца света»), и от последнего варианта авторского сценария.

Мне приходилось работать с Григорием Кромановым («Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА») — это был тоже человек, скорее, мягкий, но в то же время отнюдь не уступчивый. У него явно была своя позиция, свой образ снимаемого кино, и фильм в результате получился неплохой — особенно для тех лет. Жалко только, что не удалось нам убедить его отказаться от

финальной «дьявольской гонки» роботов-андроидов на лыжах — нам казалось, что это невозможно снять сколько-нибудь достоверно, и так оно, к сожалению, и вышло.

Безусловно интересно было работать с Константином Лопушанским. Но я знаю его, главным образом, по работе с фильмом «Письма мертвого человека», сценарий которого на девяносто процентов написал Вячеслав Рыбаков, а БН был там, скорее, на подхвате, — «для придания весу». (Прекрасно помню несколько последних авральных дней, когда до окончания всех сроков остается всего ничего, киноматериал уже отснят, но еще не смонтирован, и совершенно непонятно, как его монтировать, начальство стоит на рогах, требуя, чтобы фильм был антивоенным и «антиядерным», но чтобы, в то же самое время, ядерной катастрофы и духу в нем не было, — и вот мы втроем — Лопушанский, Ролан Антонович Быков и БН — трое суток подряд, по четырнадцать часов в сутки, сидим, запершись, в номере Быкова в ленинградской «Астории», и думаем, и сочиняем, и мучаемся в поисках хитрого и, одновременно, простого хода, чтобы выкрутить из тупика... Толку, впрочем, от этого мозгового штурма оказалось чуть: понадобился еще один мозговой штурм — с участием Арановича и Германа, — чтобы довести материал до ума.) А когда, много лет спустя, АБС написали сценарий «Туча» специально по заказу Лопушанского, дело не пошло — сценарий оказался «не тот», а как сделать, чтобы он стал «тот», ни авторы, ни режиссер так и не сумели придумать.

Аналогичная история произошла со сценарием «Пять ложек эликсира». Мы писали его (год спустя после «Хромой судьбы» и на материале «Хромой судьбы») специально для хорошего знакомого АН — белорусского режиссера Бориса (кажется) Ивченко. Я уже толком не помню, что там, собственно, случилось — то ли Минская киностудия «Беларусь» заартачилась, то ли режиссеру сценарий не показался, но в результате фильм (под странным названием «Искушение Б.») был снят лишь несколько лет спустя совсем другим режиссером и на совершенно другой киностудии. Неплохой, между прочим, оказался фильм. Отличные актеры. Точная режиссура... Крепкая «четверка», на мой взгляд, что, согласитесь, немало. (Как говаривала наша мама, старая учительница: «Четверка — хорошая отметка. Ее надо заслужить».)

А вот с Константином Бромбергом мне работать не пришлось совсем, я с ним лишь едва знаком. Первый вариант сценария по «Понедельнику» был написан очень давно, и писался он для студии Довженко в Киеве. Неплохой был сценарий (именно он и публикуется здесь, в этом издании), и сначала он пошел было в студии на ура, но потом там образовалось, как водится, новое начальство и объявило его издевательством и клеветой на советскую науку, чем дело в те времена (начало 70-х) и закончилось. Фильм «Чародеи» задумывался режиссером как мюзикл (песенки для него писал наш любимый Юлий Ким, — я так и не понял, почему эти песенки не попали в фильм). Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но посмотревши его пару раз, я к нему по привычке и теперь вспоминаю его без отвращения. Кроме того, невозможно не учитывать того простого, но весьма существенного обстоятельства, что на протяжении множества лет этот мюзикл РЕГУЛЯРНО и ЕЖЕГОДНО идет по ТВ под Новый Год. Значит, нравится. Значит, народ его любит. Значит, — есть за что...

Я прикинул сейчас: за тридцать лет АБС написали в общей сложности десять полнометражных сценариев. Плюс добрую дюжину короткометражек и мультяшек. Плюс еще одну дюжину (насколько мне известно) полнометражных сценариев написали с нашего ведома и одобрения всевозможные сценаристы-доброхоты, среди которых были и любители, и матерые профессионалы. А реализовалось из всего этого многообразия потенциальных возможностей восемь фильмов — пять сняты были у нас и три за границей. Не густо. Правда, история пока еще не прекратила течение свое — регулярно на моем горизонте продолжают возникать (для того, чтобы тут же исчезнуть) энергичные энтузиасты со своими ультрарадикальными предложениями, а раз в два года удается даже продать какие-нибудь права на очередную экранизацию. Я наблюдаю за всеми этими перипетиями, разумеется, не без интереса, но ничего особенно от них более не жду. Вероятность появления действительно хорошего кинофильма — невелика. А времена самой интересной (с Алексеем Германом) и самой плодотворной (с Андреем Тарковским) работы уже миновали, и, думается мне, навсегда.

**С. ЯРОСЛАВЦЕВ,
ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПСЕВДОНИМА**

Почему, собственно, «С. Ярославцев»? Не помню. Понятно, почему «С»: все наши псевдонимы начинались с этой буквы — С. Бережков, С. Витин, С. Победин... Но вот откуда взялся «Ярославцев»? Совершенно не помню. .

В нашей замечательной стране, где бухгалтерия не выдаст автору ни единого рубля из его гонорара без предъявления самых исчерпывающих сведений о паспорте, месте жительства и о количестве детей, — в этой удивительной стране нашей сохранить тайну псевдонима, казалось бы, совершенно невозможно. И тем не менее следует признать, что «загадка С. Ярославцева» выдержала испытание временем более чем удовлетворительно.

Разумеется, тысячи читателей почти догадывались who is who, сотни были весьма близки к правильному ответу, но только, может быть, десятки знали этот ответ точно. Лично мне приходилось встречаться с четырьмя основными гипотезами по поводу персоны С. Ярославцева.

1. С. Ярославцев — это А. и Б. Стругацкие, пытающиеся таким вот образом, с помощью псевдонима, прорваться сквозь цензурно-редакторские рогадки;
2. С. Ярославцев — это А. Стругацкий без какого-либо участия Б. Стругацкого;
3. С. Ярославцев — это Б. Стругацкий без какого-либо участия А. Стругацкого;
4. С. Ярославцев — это некий молодой начинающий писатель Имярек, рукописи которого А. и Б. Стругацкие (из чистого альтруизма, во имя Литературы, Святой и Великой) «причесывают, доводят до кондиции, а затем — проталкивают в печать».

Помнится, мне доставляло известное удовольствие с непроницаемым лицом выслушивать такого рода версии, а потом отвечать в манере Рэдрика Шухарта: «Комментариев не имею...» Это было забавно. Это была такая забавная игра.

Но в том, как эта игра начиналась, не было абсолютно ничего забавного. Все три произведения С. Ярославцева были задуманы и разработаны в исключительно неблагоприятное и тяжелое для АБС время — в интервале 1972—1975 гг., — когда период Уклончивого Поведения Издательств только еще начинался, новые договора не заключались, а те, что были заключены раньше, не исполнялись, перспективы и горизонты решительно затянуло туманом, и вопрос «Как жить дальше, и зачем?» встал перед нами во всей своей неприглядной определенности.

В январе 1972 года мы начали писать сценарий мультфильма под названием «Погоня в Космосе». Сценарий этот сначала очень понравился Хитруку, через некоторое время — Котеночкину, но потом на него пала начальственная резолюция (в том смысле, что такие мультфильмы советскому народу не нужны), и он перестал нравиться кому бы то ни было. И вот тогда АН взял сценарий и превратил его в сказку. Так появился С. Ярославцев — девяносто процентов А. Стругацкого и десять процентов А. и Б., вместе взятых.

Примерно в то же время мы придумали сюжет про человека, сознание которого крутилось по замкнутому кольцу времени. В этом сюжете изначально было много любопытных позиций: тщетные попытки героя вмешаться в историю... предупредить генералиссимуса насчет войны... Жданова — насчет блокады... ну хотя бы родного отца — насчет ареста! Идея неслучайности, предопределенности, неизбежности истории мучила нас, раздражала и вдохновляла. Сохранилась запись в дневнике, относящаяся к второй половине 1979 года: «Человек, проживший много жизней. Давно понял, что историю изменить нельзя. Сейчас находится в стадии активного альтруизма — спасает отдельных хороших людей. Но ничего в людях не понимает и спасает подонков и ничтожеств...» Ничего подобного напечатать в те времена, разумеется, было нельзя, и тогда АН взял этот сюжет и написал все, что только и можно было в те времена написать, — историю Никиты Воронцова. И это было — второе произведение С. Ярославцева.

23 января 1975 года в нашем рабочем дневнике появляется запись: «Человек, которого было опасно обижать», и на другой день: «Имя ему — Кимм». Первый сюжет был разработан тогда же, причем достаточно подробно — хоть садись да пиши. Кроме

Кимма, который обладал загадочной способностью помимо воли своей наносить ущерб людям, вознамерившимся нанести ущерб ему самому, были там у нас: гангстер Шевтц (наемный убийца), некий сенатор, ученый генерал из ВПК («генерал-чума»), священник, культурист-мазохист... Действие, вполне бурное и исполненное захватывающих приключений, должно было протекать в курортном городе некоей маленькой страны — не то Греции, не то Мальты... Сейчас я уже не помню, почему мы тогда решили писать не эту повесть, а сценарий по «Понедельнику...». А уже в мае перед нами предстал вдруг Андрей Тарковский с идеей будущего «Сталкера», и мы отвлеклись от нашего Кима надолго — но не навсегда.

В дневниках отдельные упоминания этой темы, идейки и предложеньица «по поводу», фразы, замечания, наметки встречаются неоднократно. Например: «Не сделать ли для ХС спец. главу <...> “Охота на василиска” — погоня за человеком, которого было опасно обижать» (самое начало 1984-го). А в самом начале 1986-го: «Василиск — человек, который страшно мстит обидчику, сам того не желая, инстинктивно, зачастую не зная об этом. Представить себе мир, где василиски редки, но обычны (как, скажем, мастера спорта или доктора наук)». В «Отягощенных злом» мы даже в какой-то мере реализуем образ такого «василиска»-громобоя, но все это — лишь скольжение по поверхности. До настоящего дела руки у нас все еще не доходят.

Основательно мы возвращаемся к этому сюжету снова лишь в мае 1990 года. В дневнике записано: «Обсуждали Несчастливого Мстителя». И дальше: «Нужна биография НМ, с родословной, подробно. История, как человек обнаруживает в себе дьявола». Теперь нашего героя звали Ким Волошин, и главные события повести должны теперь были разворачиваться сегодня, сейчас, и у нас в стране. Никаких Греций, никаких Мальт, никаких сенаторов — заштатный российский городок, обком-райком, милиция, УКГБ... И должно было это все называться теперь «Бич Божий» — мы не знали тогда, что произведение с таким названием уже существует.

Мы обсуждали новый сюжет на протяжении всего 90-го года. Будь на то моя только воля, мы обсуждали бы его и дальше — мне казалось, что времени впереди еще навалом, куда спешить?..

АН думал иначе. Может быть, он что-то предчувствовал. Может быть, догадывался. Может быть, знал. Здоровье его уже заметно пошатнулось тогда, но он перемогся и заставил себя работать — сел и к началу лета 1991 года закончил последнее произведение С. Ярославцева — «Дьявол среди людей». Третье и последнее.

Вот, по сути, и вся история этого псевдонима — короткая история длиной в двадцать, без малого, лет.

Vita brevis, ars longa.

С. ВИТИЦКИЙ

Происхождение *этого* псевдонима лежит на поверхности. Традицию основал АН еще в незапамятные времена. Надо было опубликовать под псевдонимом какой-то перевод (кажется, «Дни триффидов»), и АН выбрал «С. Бережков», — просто потому, что жил тогда на Бережковской набережной. Совершенно аналогично БН, живший на улице Победы, не мудрствуя лукаво, при необходимости варьировал все свои псевдонимы, перебирая соответствующую цепочку: «Победа — Виктория — Виктор — Витя».

Задуман «Поиск предназначения» был давно, но теперь нет уже возможности установить, когда именно. И нет возможности проследить даже основные этапы работы. Вот они — разрушительные последствия всеобщей компьютеризации: бумажные архивы исчезли; теперь всё — на диске, и если нет предусмотрительно проставленной даты, то уже и не установишь, ни по каким косвенным признакам, когда именно был написан тот или иной текст.

Последняя компьютерная дата файла IZPTRBVM.T — 22.06.91, 6:30р. Это означает, что последний раз я обращался к наброскам по поводу романа «ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» (название, естественно, условное) в конце июня 1991-го, но когда я эти наброски начал впервые делать, когда сама мысль о новой вещи появилась, теперь уже установить невозможно.

Сохранившиеся заметки выглядят примерно так (цитирую, не выбирая, с самого начала, исправляю только грамматические ошибки и — местами — пунктуацию):

«Герой в прошлом: научник, писатель, бизнесмен, издатель. Ныне — богатый человек, миллионер, глава издательского концерна, культуртрегер. Поздно вечером пришло известие: в Москве умирает друг. Очередной (пятый) инфаркт. Наш герой обладает свойством вытаскивать его из комы.

— Стоит ли ехать? Есть ли шанс?

— Да как тебе сказать? Буду позванивать...

Но герой уже начинает шуровать насчет билетов. Никакого энтузиазма, это просто чувство долга. Билеты ни за что не достать. Самолеты: забастовка. Поезд — уже ушел. Автобус: через три часа. Такси — отказываются ехать. Тогда — автомобиль, но шофер пьян. Шофера — на заднее сиденье отсыпаться, сам за руль.

В районе (километров 70 после Новгорода) гигантская автокатастрофа (м. б. с участием военных?). Обехать невозможно. Попытка договориться с милицейским вертолетом («четыре белых — и все будет нормалек...»), но вмешивается подъехавший майор: «Воображаете, что все можно за деньги купить? Не выйдет». Съезжает с магистрали и пытается прорваться через глубинку.

Оцепление. Совхозы, колхозы — там остались только алкаши да тунеядцы — превратились в малины и банды. Фермы — крепости, блиндажи, проволока, специально выведенные псы — БАСКЕРы. Война. Везде разъезжают на бронев автомобилях восточные люди — меняют оружие на с/х продукцию.

Фабрика-лаборатория: выводят природу, способную противостоять напору цивилизации. Раз невозможно сохранить «природную» природу, то, может быть, можно вывести компромиссную, альтернативную, годную и для существования людей, и для существования технологической цивилизации.

Удирая, сходу влетают с грунтовой дороги на асфальт, ведущий в заросли. Сквозь шлагбаум. Вскоре обнаруживают, что заросли СМЫКАЮТСЯ за ними — они в заповеднике НОВОЙ природы. Приключения там. Там же, может быть, живут и Новые Люди (мокрецы?). Они пытаются вывезти героя на автостраду — нападение — гибель мокреца — голый одинокий герой.

Машину отбирают. Телохранитель предает. Последняя радиограмма: еду, еду, я уже на Кольцевой, дождись во что бы то ни стало. Повесть о том, что все умерло, все потеряло смысл, но вечны Дружба, Любовь (жена) и Работа. Герою 78 лет. На дворе 2011-й.

В самом начале он мчится по шоссе, не обращая внимания на голосующих. В том числе — абсолютно голый человек на коленях умоляет подобрать его — некогда, некогда, куда мне его девать... “В жопу, в жопу — летом, летом...” Скользко, страшно, метель слепит... А в конце — он, ограбленный, голый, в одних подштанниках выбирается на шоссе, и мимо мчат лимузины, возвращающиеся в Москву от места аварии, — некогда, некогда, не до тебя... И метель, и холод, и смерть...

В районе — колония для дефективных людей и детей. Жуткие типы окружают машину — остров доктора Моро. Чудовищный урод с гнойным плевком вместо левого глаза доверительно сообщает герою: “Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!”

Идея: на шоссе — Америка, XXI век; в сельской местности — жуть, мрак и бредовая антиутопия — чужая планета...»

И так далее. Легко видеть, многое из придуманного здесь вошло впоследствии в «Поиск предназначения», но сам этот роман начал формироваться заметно позже: в моем компьютерном архиве заготовки к нему находятся в файле SUDBA.T:

«...Человек обнаруживает (заподозривает), что некая сила ведет его по жизни, оберегая от опасностей и направляя в некоем (непонятном) направлении.

1941, август. “Взорвался” следователь, который вел дело Амалии Михайловны — хотел ее засадить, а ее судьба — спасти мальчика. С этого эпизода и начинается расследование.

1942, январь. “Счастливый мальчик”. Людоед разорван в клочки — все думают, что от прямого попадания, но мальчик-то знает, что ни снаряда, ни осколка не было. Эта история прошла мимо следствия, но послужила толчком для понимания ситуации мальчиком.

1950, август. Поступление на физфак. Единственный преподаватель, который настаивал (и настоял бы!) на приеме,

вдруг — у окна — разлетается на куски. Всех потом посадили за теракт. Но герой в атомщики не попал, и, следовательно, уцелел.

1958, ноябрь. Страшно и непонятно («словно бомбу проглотил») погиб писатель Каманин (значительная фигура в Ленинграде), пришедший в восторг от его рукописи. И герой не стал писателем. На писателя и рукопись выходят через редакцию журнала “Красная заря”, куда герой отнес рукопись. Рукопись — роман-воспоминание на тему “Как, собственно, удалось мне уцелеть?” Эпизоды см. ниже.

1965, декабрь. То же произошло с ученым, которому передал шеф героя по матинституту его работу. Ученый, побеседовав, решил двигать героя на международные конференции и “взорвался”...»

И т.д., и т.п., и пр. По сути, это уже законченный план будущего романа. Последняя дата входа в этот файл — 27.12.92, 12:55р, — после чего я, видимо, уже начал работать собственно над текстом.

Писался роман трудно и долго. Черновик закончен был в августе 1994-го и потом правился еще неоднократно в течение примерно полугода. Ко мне все время приставали (да и сейчас пристаю время от времени) интервьюеры с вопросом, как мне пишется в одиночку. Ответы «трудно», «дьявольски трудно», «медленно и мучительно» вопрошающих не удовлетворяют. Я придумал несколько сравнений, вот самое точное из них: представьте, что много лет подряд вы с напарником пилите двуручной пилой огромное бревно; теперь напарник ушел, вы остались в одиночестве, а бревно и пила никуда не делась, надо пилить дальше... Те, кому приходилось пилить толстые стволы двуручной пилой в одиночку, меня понимают.

Еще меня не раз спрашивали, а зачем, собственно, вообще понадобился Б. Стругацкому псевдоним? Предостерегали: псевдоним помешает коммерческому прохождению романа. Присили (издатели): нельзя ли где-нибудь, на той же обложке, где «С. Витицкий», поставить хотя бы и петитом «Б. Стругацкий»... Мне все эти разговоры были вполне понятны (время такое: продаются не столько книги, сколько имена), всем своим советчикам

и просителям я искренне сочувствовал, но я не мог позволить себе действовать по-другому.

Много-много лет назад мы с АН договорились, что каждый из нас, если случится опубликовать что-либо серьезное в одиночку, будет делать это только под псевдонимом. АН следовал этому правилу неукоснительно, как же могу я позволить себе нарушить старый договор? И в то же время делать из своего псевдонима мрачную тайну я тоже отнюдь не собираюсь: каждый, кто хотел узнать истину, мог и может это сделать без каких-либо трудностей и хлопот.

Я очень рад, что С. Витицкому удалось не только начать, но и закончить свою работу. Ниоткуда не следовало, что это получится вообще, и уж совсем непонятно было, удастся ли, даже доведя свою работу до конца, сохранить приличный уровень. Кажется, удалось. Слава Богу. Но бревно никуда не делось — вот оно, всегда передо мной. И пила на месте. Надо пилить дальше. Однако, противу некоторых ожиданий, второй роман осилить в одиночку еще труднее, чем первый. Если подумать, ничего странного или удивительного здесь нет: типичный для начинающего писателя «синдром второго романа». Второй роман всегда писать на порядок труднее, чем первый. И если первый свой роман С. Витицкий писал — словно груженный воз перед собою толкал, то теперь это выглядит в точности так же, но только воз этот приходится толкать уже в гору.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

Согласиться опубликовать неопубликованное вынудила меня только последовательная настойчивость Издателя, задавшегося целью выпустить как можно более полное собрание произведений АБС. Откровенно говоря, я и сейчас толком не понимаю, в чем смысл выставлять на всеобщее обозрение тексты, которые сами авторы, по той или иной причине, не считали достойными публикации. Согласитесь, принцип ПОЛНОТЫ собрания уместен, скорее, в коллекционировании (в филателии, скажем, или в нумизматике), нежели в книгоиздательском деле. Наверное — и даже наверняка — этот принцип работает плодотворно,

творно, когда речь идет об издании Великих, каждая строчка которых может оказаться исполнена для потомков глубокого смысла. Но в данном случае...

Впрочем, Издателю виднее. Ему всегда было виднее, виднее сейчас и будет виднее в дальнейшем. В конце концов, он рискует своими деньгами, — в отличие от автора, который практически ничем не рискует, публикуя свои старинные, «детские» упражнения или черновики несостоявшихся произведений. Тем более, если всего этого у него сравнительно немного.

Специфика работы АБС, когда любой мало-мальски серьезный текст создается обязательно вдвоем, одновременно, слово за словом, абзац за абзацем, страница за страницей; когда любая фраза черновика имеет своими предшественниками две-три-четыре фразы, предложенные в качестве вариантов, произнесенные некогда вслух, но нигде не записанные; когда окончательный текст есть сплав двух — иногда очень разных — представлений о нем, и даже не сплав, а некое химическое соединение на молекулярном уровне, — специфика эта порождает, помимо всего прочего, еще и два следствия, носящих чисто количественный характер.

Во-первых, количество бумаги в архивах уменьшается до минимума. Каждый роман существует в архиве всего в виде одного, максимум — двух черновиков, каждый из которых на самом деле есть занесенный на бумагу, отредактированный и спрессованный текст двух-трех-четырех УСТНЫХ черновиков, в свое время *проговоренных* авторами и отшлифованных в процессе более или менее свирепой дискуссии.

Во-вторых, такой метод работы требует жесточайшей экономии. Слишком много нервной энергии и душевных сил требует любой серьезный текст, чтобы авторы могли позволить себе роскошь оставить его пылиться в архиве. Такой текст должен быть доработан (при необходимости), либо заново переработан, но так или иначе пристроен к делу, — даже если бы для этого пришлось соорудить вокруг него совершенно новый текст (как это произошло, в частности, с несостоявшейся повестью «Операция ЩЕКН», которую авторы во благовременье нашли удобным погрузить в роман «Жук в муравейнике»).

Неудивительно поэтому, что среди неопубликованного у АБС остались только рассказы, сочиненные в свое время каждым из

соавторов в одиночку и признанные впоследствии негодными для дальнейшей совместной работы. (Исключение составляют лишь «Песчаная горячка» — рассказ-эксперимент да пляжная хохмочка «Адарвинизм», никогда ни на что и не претендовавшая.)

«КАК ПОГИБ КАНГ»

Насколько я знаю, это самое раннее из сохранившихся произведений АН — самодельная тетрадошка в четырнадцать листов, текст аккуратно написан черной тушью и снабжен очень недурными (на мой взгляд) иллюстрациями автора. Рассказ датирован: «Казань 29.5.46». Это было время, когда курсант Военного института иностранных языков Аркадий Стругацкий был откомандирован в распоряжение МВД Татарии, в качестве переводчика с японского. В Казани он участвовал в допросах японских военных преступников: шла подготовка Токийского процесса — восточного аналога Нюрнбергского процесса над гитлеровцами. АН не любил распространяться об этом периоде своей жизни, а то немногое, что мне об этом стало от него все-таки известно, рисует в воображении картинку, исключительно мрачные: угрюмая беспросветная казарма; отвратительные сцены допросов; наводящее ужас и омерзение эмвэдэшное начальство... Неудивительно, что начинающий и очень молодой (всего двадцать полных лет!) автор бежит от этого мира в морские глубины — там он, по крайней мере, свободен, там он продолжает жить в мире любимых книг своего детства — «Следы на камне» Максвелл-Рида и «Тайны морских глубин» Бийба, изобретателя батисферы.

«ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО»

Этот большой рассказ (или маленькую повесть?) АН написал, сидя в Петропавловске-Камчатском, весной или летом 1952 года. Судя по сохранившемуся письму, рассказ этот первоначально назывался «Амадзи» («в переводе — смерть с неба») и темой его была «неорганическая жизнь, жизнь, энергия которой идет за счет энергии распада радиоактивных веществ». На мой, нынеш-

ний, взгляд публикация этого текста представляет интерес прежде всего исторический: так в те времена понимали, задумывали и писали фантастику. Так и только так! Тут, сами понимаете, «не убавишь, не прибавишь — так это было на земле...». Впрочем, «красная пленка» «Страны багровых туч» — родом именно отсюда. Идея жизни, существующей за счет радиоактивного распада, казалась нам в те поры чрезвычайно оригинальной, свежей и, более того, — значительной.

«ПЕСЧАНАЯ ГОРЯЧКА»

Этот рассказик — первая законченная попытка АБС написать что-нибудь вдвоем. Попытка, впрочем, совершенно экспериментальная, на авось, вдруг получится что-нибудь интересенькое. Не было ни предварительного обсуждения, ни плана, ни даже сюжета — сел один из соавторов (по-моему — БН) за машинку и отстучал первые две странички; за ним другой — прочитал написанное, поковырял в ухе и отстучал еще две; потом — снова первый, и так — до самого конца. К огромному изумлению авторов в результате получилось нечто вполне осмысленное, этакая багрово-черная картинка, кусочек чужой, совершенно неведомой жизни — нечто, напомнившее обоим любимый ими рассказ Джека Лондона «Тропой ложных солнц» (тем, кто не помнит, советую перечитать). Замечательно, что рассказик наш получился вполне литературно грамотным, его даже редактировать не пришлось — только некоторое время спустя вычеркнуто было «...по законам Черной Республики» и вставлено — «...по законам Страны Багровых туч» — верный признак того, что именно в те времена работа над первым нашим романом шла уже вовсю. (На обороте последней странички рассказа сохранился расчет явно для «Страны»: «...Груз 1). Три маяка 180г3 = 540 кг 2). Радиоэлем. 300 кг ...» и т. д.)

«ЗАТЕРЯННЫЙ В ТОЛПЕ»

Рассказ этот написан БН и датирован августом 1955-го. На мой нынешний взгляд, интереса не представляет вовсе и помещен здесь исключительно из соображений полноты картины.

«ЗВЕЗДОЛЕТ „АСТРА-12“»

Так (или примерно так), по мнению БН, должна была выглядеть самая первая глава повести «Страна багровых туч». Однако, пока он мусолил эти тринадцать неполных страниц, АН успел закончить целиком первую часть и в значительной степени часть вторую. Вариант БН угодил в архив, где ему предстояло (и следовало бы) находиться и дальше, если бы не напористость Издателя. Впрочем, не обладая никакими литературными достоинствами, предлагаемый текст тем не менее представляет известный интерес, как некий образец тогдашних (сорокалетней давности) представлений авторов о характере и специальных обстоятельствах так называемой «космической экспансии человечества».

«КТО СКАЖЕТ НАМ, ЭВИДАТТЭ?..»

Рассказ написан БН примерно в 57—58 гг. и представляет собою попытку переписать «Затерянный в толпе», но на этот раз с точки зрения «затерянного». Сочинение это было совершенно справедливо раздолбано вдребезги АН, но оказалось не совсем бесполезным — кое-что из него было впоследствии использовано в рассказе «Шесть спичек».

«СТРАШНАЯ БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА»

Эта маленькая повесть (или, правильнее, рассказ?) была предтечей повести «Путь на Амальтею», попыткой АН взять в одиночку, штурмом, сюжет о звездолете, провалившемся в Юпитер. Написано где-то в 57—58 гг. Признано негодным для совместной переработки, но в значительной мере использовано позже, когда мы писали (уже вместе) «С грузом прибыл».

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Попытка БН написать «что-нибудь этакое», «непривычно-необычное», с уклоном в мистику и в «литературу ужасов» (хотя такого понятия у нас в то время еще не существовало). Совер-

шенно не помню, когда это писалось. Судя по шрифту машинки, — где-то в интервале 1956—1958. Никакого интереса у АН не вызвало и было беспощадно отправлено в архив.

«НАРЦИСС»

Этот рассказик — попытка теперь уже АН написать «что-нибудь этакое», мистическое, «изысканное и светское», «с налетом аристократического вырождения». Относится эта попытка к новым временам, — скорее всего, к самому началу 60-х. Написано, в общем, недурно, но после совместного обсуждения было признано непригодным для дальнейшего использования. (И, однако, пригодилось-таки! Смотри соответствующие странички из «Хромой судьбы».)

«ВЕНЕРА. АРХАИЗМЫ»

Это — несостоявшаяся глава из «Стажеров». АН написал ее, как я понимаю, главным образом для того, чтобы перебросить эмоциональный и информационный мостик из «Страны багровых туч» в новый наш роман. Но к этому моменту сюжет «Стажеров» был уже выстроен окончательно и места для новой главы не нашлось, а основные идеи ее (если это можно назвать идеями) вошли в главу «Бамберга. Нищие духом».

«ГОД ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ»

Единственный нефантастический рассказ, написанный АБС, — вероятнее всего, в интервале 1961—1965 гг. Черновик написал БН. Этот черновик долго лежал без движения, потом АН затребовал его себе и попытался довести до ума, но фактически ничего в нем не изменил, только перепечатал начисто. Публиковать этот рассказ мы никогда по-настоящему не собирались — просто потому, что считали саму эту тему не своей. Что мы, в конце концов, могли сказать о Тридцать Седьмом такого, чего не сказали еще А. Солженицын, В. Шаламов, Ю. Домбровский? Я бы и сейчас не стал этот рассказ публиковать, но раз уж сказано «возможно более полное», то пусть так оно и будет.

«ДНИ КРАКЕНА»

С самых ранних детских лет АБС, оба, интересовались крупными головоногими, будь то спруты, осьминоги или гигантские таинственные кракены-мегатойтисы. Трудно сказать, откуда пошел этот повышенный интерес и как именно стал он быть. То ли осьминогоподобные (во всяком случае — на иллюстрациях) марсиане Уэллса тому первопричиной, то ли блистательный рассказ того же Уэллса «Пираты морских глубин», а может быть, новелла ныне совсем забытого писателя по имени, кажется, Чарльз — про подводного фотографа, схваченного и пожранного чудовищным осьминогом, — не знаю, не помню и не берусь ответить с полной определенностью. Однако же, по той или иной причине, но образ гигантского спрута, что называется, красной нитью проходит через многие и многие сочинения АБС, а было время (несколько лет из середины 60-х), когда мы напряженно и сосредоточенно обдумывали фантастическую повесть, главным героем которой должен был стать гигантский спрут-кракен, отловленный на Дальнем Востоке и привезенный в Москву на предмет научных исследований. Сохранились планы, заметки, вопросы, которые надлежало нам в повести поставить, и даже варианты эпиграфов («Раз в году можно безумствовать» — из Скиапарелли, и: «Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину... и от центра ее во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд...» — из «Моби Дика» Германа Мелвилла). Повесть у нас, впрочем, не получилась. Нельзя, правда, сказать, что труды наши пропали совсем уж втуне. Много и многое из придуманного попало в романы и рассказы разных лет: в «Сказку о Тройке», например, или в рассказ «О странствующих и путешествующих», или в «Волны гасят ветер». Приведенный в настоящем издании не оконченный и никогда раньше не публиковавшийся вариант повести под названием «Дни Кракена» писался АН в одиночку в начале 1963 года, был примерно в те же времена рассмотрен обоими соавторами, принят как первый черновик и отложен на неопределенный срок. Работа не пошла. Насколько я помню, нас остановили два соображения. Во-первых, общая и очевидная «непроехимость» — то, что мы собирались писать в повести даль-

ше, не годилось ни для «Молодой Гвардии», ни, тем более, для «Детгиза», а писать в стол мы тогда не умели, — во всяком случае, не были еще готовы. А во-вторых, вещь показалась нам слишком уж «бытовой», мы побоялись впасть в так называемый «бэлпингтонизм-блепскизм» (специально придуманный АБС термин, происходящий от названия романа Уэллса «Бэлпингтон Блепский» и означающий безнадежную утрату автором сюжетной энергии и живой фантазии при торжестве суконного бытоописательства и унылого реализма). Позже мы не раз возвращались к этой повести, но, видимо, время ее прошло окончательно, мы так и не взялись за нее и только беспощадно растаскивали ее по кускам, следуя жестокому принципу литературной целесообразности: «все, годное к утилизации, должно быть своевременно утилизировано». В те времена, помнится, заниматься утилизацией было ничуть не жалко, а сегодня вот вспоминать об этом жалко, но поздно.

«МЫСЛИТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?»

Эту пародию на нежно любимого и почитаемого Деда — Илью Иосифовича Варшавского — БН набросал на одном из скучнейших писательских заседаний году этак в 1963 или 64-м. Забавно: сегодня этот текст воспринимается как набор заскорузлых банальностей, надерганных из Роберта Шекли и Станислава Лема, а тогда, по сути, он представлял собою очень вкусную солянку из отборнейших, хотя и пародизированных, но свежайших идей, живо обсуждавшихся между фантастами-профессионалами, главным образом, во время застолий и возлияний. (Впрочем, нельзя не признать, что вопрос «Мыслит ли человек?» и по сей день, согласитесь, далек от своего разрешения.)

«АДАРВИНИЗМ»

Это несколько листочков из блокнота, исписанных от руки и соединенных металлической скрепкой. Написано на веранде дома в местечке Рыбколхоз, в Крыму, где АБС со своими друзьями диким образом отдыхали в сентябре 1963 года. Запись, насколько я помню, почти стенографическая, хотя для «художественности» несколько стилизованная. Шутки шутками, а ведь это ЕДИНСТВЕННАЯ запись, иллюстрирующая — и довольно точно —

манеру работы АБС вдвоем! Была когда-то магнитофонная запись обсуждения, как сейчас помню, сюжета рассказа «Загадка Задней Ноги», — так и ее в один прекрасный день по ошибке стерли. А больше ничего не осталось «для истории» — мы терпеть не могли работать под магнитофон и совершенно не переносили присутствия кого-либо рядом во время нашей работы — ни друзей, ни жен, ни даже мамы.

ПУБЛИЦИСТИКА

По-настоящему (то есть профессионально) АБС никогда не интересовались теорией литературы вообще и теорией фантастики в частности. Однако уже в начале 60-х нам стало ясно, что совсем без теории обойтись невозможно. Сама литературная жизнь того времени вынуждала этим заниматься, хотя, строго говоря, никакая это была, конечно, не теория, а всего лишь отчаянные попытки объяснить всем заинтересованным лицам — литературным критикам, рецензентам, братьям-писателям и, в особенности, работникам издательств — вещи, которые всегда казались нам совершенно очевидными.

— Что фантастика не есть «литература крылатой мечты» для любознательных подростков, увлекающихся авиамоделизмом. Она шире этого определения.

— Что фантастика не есть «литература о замечательных достижениях науки и техники». Она значительно глубже этого определения.

— Что фантастика и научно-художественная литература — это не одно и то же. Эти литературы лишь пересекаются, но отнюдь не совпадают.

— Что фантастика это прежде всего ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, то есть собрание книг о человеческих судьбах, о приключениях человека среди людей, и что ничего на свете интереснее и важнее этого нет и быть не может.

Фантастика, как бы мы ее ни определяли, есть нечто весьма широкое, емкое, красочное, сложное, органически слитое с «большой» литературой и в то же время особенное от нее — мощный приток огромной реки, снежная вершина горного хребта, славный отпрыск знатного рода...

...Это волшебный сплав чуда, тайны и достоверности.

...Это судьбы людей и идей в мире, который изменен, искажен, преобразован Небывалым, Невиданным, Невозможным.

...Это призма, зеркало, светофильтр, электронно-оптический преобразователь, позволяющий в нагромождениях обыденного, привычного, затхлого различить зернышки необычайного, нового, поражающего воображение.

...Как никакой другой вид литературы, она находится в совершенно особенных отношениях с воображением — и писательским, и читательским. Она одновременно есть и аккумулятор, и стимулятор, и усилитель воображения.

...Как никакой другой вид литературы, она находится в совершенно особенных отношениях с будущим. Она подобна проектору, озаряющему страшные лабиринты будущего, которое никогда не состоится, но которое могло бы реализовать себя, если бы его вовремя не высветила фантастика...

(Если угодно, этот маленький панегирик можно рассматривать как некое описательное определение фантастики. Но — только хорошей фантастики. Плохая фантастика определяется как-то иначе. Фантастика без тайны — уныла и скучна. Фантастика без достоверности — фальшива, напыщенна и назойливо дидактична. А фантастика без чуда — и не фантастика вовсе.)

Сейчас уже можно сказать с определенностью, что тридцать лет своей жизни АБС положили на то, чтобы доказать все эти вышеизложенные и вполне элементарные истины (давным-давно доказанные уже самим фактом существования таких писателей, как Свифт, По, Уэллс, Чапек, Брэдбери, Булгаков, Лем, Воннегут). Главным образом, разумеется, мы, по мере сил и возможностей, стремились обосновать эти утверждения, так сказать, собственным примером, то есть рассказами своими, повестями, романами и сценариями. Однако отнюдь не гнушались мы и статьями, интервью, а также разнообразными эссе. Некоторые образцы подобного рода деятельности представлены здесь, и все они в совокупности вполне иллюстрируют историю развития представлений АБС по поводу фантастики, а главным образом — историю их персональной борьбы за воспитание цивилизованного редактора и издателя, — борьбы изнурительной, неравной и в значительной степени безнадежной.

НАША БИОГРАФИЯ

Есть еще одно, никогда в России широко не публиковавшееся сочинение АБС, которое я считаю себя обязанным включить в настоящее собрание. Называется оно «Наша биография» и нуждается, на мой взгляд, в некоторой преамбуле.

Признаюсь, я всегда был (и по сей день остаюсь) сознательным и упорным противником всевозможных биографий, анкет, исповедей, письменных признаний и прочих саморазоблачений — как вынужденных, так и добровольных. Я всегда полагал (и полагаю сейчас), что жизнь писателя — это его книги, его статьи, в крайнем случае — его публичные выступления; все же прочее: семейные дела, приключения-путешествия, лирические эскапады — все это от лукавого и никого не должно касаться, как никого, кроме близких, не касается жизнь любого, наугад взятого, частного лица. АН безусловно придерживался того же мнения, и поэтому предлагаемый вниманию читателя текст представляет собою документ в творчестве АБС редкий и даже экзотический.

Откуда этот текст взялся, я помню смутно. Кажется, готовился какой-то перевод какого-то нашего романа — то ли в АПН, то ли в издательстве «Прогресс», — кажется, на испанский. А переводчиком был некий весьма настырный знакомец АН. И этот знакомец загорелся почему-то идеей нашей автобиографии и с АНа буквально не слезал в течение нескольких месяцев. Дело кончилось тем, что осенью 86-го в Репино АН предложил моему вниманию этот вот самый текст.

Писали мы тогда, помнится, сценарий «Туча», работа шла туго, мы были раздражены, и я «Нашу биографию», помнится, раскритиковал вдрызг — за неточности, за «лояльности», за неправильности и вообще за то, что она появилась на свет. В ответ АН — вполне резонно — предложил мне самому «пройтись рукой мастера». Я с ужасом отказался, и вопрос на этом был закрыт.

Больше мы об этом никогда не говорили, и вторично я увидел «Нашу биографию» только несколько лет спустя, когда разбирал архивы АН. А в 1993-м Владимир Борисов сообщил мне, что, оказывается, этот текст был передан ВААПом в одно из польских книжных издательств, где его и отыскал польский ис-

следователь творчества АБС — Войцех Кайтох. Сообщение это меня удивило, но не слишком — видимо, знакомец-переводчик доел-таки в свое время АНа и получил от него желаемое.

В основном и главном «Наша биография» вполне достоверна. Перефразируя известную формулу: она содержит правду, вполне достаточно правды, но не всю правду и не одну только правду. По мере сил и возможностей я дополнил этот текст своими собственными соображениями, некоторыми известными мне фактами, а равно и комментариями, — в тех случаях, когда мои представления о «правде» не вполне стыковались с представлениями АНа. В самом тексте АНа я не изменил ни слова. Хотел бы это подчеркнуть особо: ведь АН писал свой текст в те времена, когда перестройка еще лишь едва тлела, разгораясь, времена в общем и целом оставались «старыми, советскими» со всеми их онерами, и некоторые фразы в соответствии с духом времени носят у АН ритуальный характер идеологических заклинаний, от чего мы, нынешние, уже, слава богу, успели отвыкнуть.

С учетом всех этих оговорок предлагаемый текст и надлежит читателю принимать. Или — не принимать.

«НАША БИОГРАФИЯ»

АН. Аркадий родился 28 августа 1925 года в грузинском городе Батуми на берегу Черного моря. Борис родился 15 апреля 1933 года в русском городе Ленинграде на берегу Финского залива.

БН. Много лет назад мы развлекались, вычисляя «день рождения братьев Стругацких», то есть дату, равноудаленную от 28.08.1925 и 15.04.1933. Для людей, знакомых с (чисто астрономическим) понятием юлианского дня, задача эта не представляет никаких трудностей. День рождения АБС есть, оказывается, 21 июня 1929 года — день летнего солнцестояния. Желающие могут принять это обстоятельство к сведению и делать из него сколь угодно далеко идущие астрологические выводы.

АН. Семья наша была несколько необычной даже по меркам тогдашнего необычного времени — первого десятилетия после победы Великой Революции. Наш отец, Натан Стругацкий, сын провинциального адвоката, вступил в Партию большевиков в

1916 году, участвовал в Гражданской войне комиссаром кавалерийской бригады и затем политработником у замечательного советского полководца Фрунзе, после демобилизации работал партийным функционером на Украине, причем по специальности он был искусствоведом, человеком глубоко и широко образованным. Мать же, Александра Литвинчева, была дочкой мелкого прасола (торгового посредника между крестьянами и купцами), простой, не очень грамотной девушкой. В родном городке на северо-востоке Украины она встретила Натана Стругацким, вышла за него замуж против воли родителей и, как водится, была проклята за мужа-еврея. В дальнейшем судьба их сложилась интересно и поучительно, при всех ее поворотах они верно и крепко любили друг друга, но мы пишем свою, а не их биографию и здесь заметим только, что в январе 1942 года отец, сотрудник знаменитой Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и командир роты народного ополчения, погиб при попытке выбраться из блокированного немцами города, а мать всего несколько лет назад тихо скончалась пенсионером, в звании заслуженной учительницы Российской Федерации и кавалера ордена «Знак Почета».

Вскоре после рождения Аркадия отец был направлен на партийную работу в Ленинград, там Аркадий вырос и прожил до ужасного января 1942 года. За это время родился его младший брат и будущий соавтор Борис Стругацкий.

БН. Я почти не помню отца. Все, что я знаю о нем, известно мне от мамы, в частности — из оставленных ею воспоминаний. Он был честнейшим и скромнейшим человеком. Он был верным большевиком-ленинцем, безукоризненно выполнявшим любую работу, на которую бросала его партия. Никаких особо высоких постов никогда не занимал, но во время и сразу после Гражданской, по утверждению мамы, «носил на френче два ромба. По тому времени это чин генерала». Потом в Батуми, после демобилизации, был редактором газеты «Трудовой Аджаристан». Потом в Ленинграде — сотрудником Главлита. Потом в 1933-м (в день моего рождения!) брошен был на сельское хозяйство — начальником политотдела Прокопьевского зерносовхоза в Западной Сибири. А в 1936 году назначен был «начальником культуры и искусств города Сталинграда». (Видимо, заведующим отдела культуры то ли горкома партии, то ли горисполкома). Здесь в 1937 году его

исключили из партии — формально за антипартийные и антисоветские высказывания («заявлял, что Н. Островский — щенок по сравнению с Пушкиным, и утверждал, что советским художникам надо учиться у иконописца Рублева»), а фактически за то, видимо, что стоял у тамошнего начальства поперек горла: «запретил бесплатные ложи и первые кресла для начальства, ввел для начальства платный вход в театр и кино, отменил всяческие начальственные льготы, изучил бухгалтерию, обнаружил незаконные перерасходы, ложные накладные» и пр. Как я теперь понимаю, — чудом избежал ареста и уничтожения, ибо сразу же уехал в Москву хлопотать о восстановлении и хлопотал об этом всю оставшуюся жизнь. В июне 1941-го пришел в военкомат, но в действующую армию его не взяли — 49 лет и порок сердца. А в ополчение — взяли, уже в конце сентября, когда блокада стала свершившимся фактом, и он успел еще повоевать на Пулковских высотах, но в январе 1942-го был комиссован вчистую — опухший от голода, полумертвый, с остающимся сердцем.

АН. Началась война, город осадили немцы и финны. Аркадий участвовал в строительстве оборонительных сооружений, затем, осенью и в начале зимы 41-го года, работал в мастерских, где производились ручные гранаты. Между тем положение в осажденном городе ухудшалось. К авиационным налетам и бомбардировкам из сверхтяжелых мортир прибавилось самое худшее испытание: лютый голод. Мать и Борис кое-как еще держались, а отец и Аркадий к середине января 42-го были на грани смерти от дистрофии. В отчаянии мать, работавшая тогда в районном исполкоме, всунула мужа и старшего сына в один из первых эшелонов на только что открытую «Дорогу Жизни» через лед Ладожского озера.

БН. Это было не совсем так. Тогдашняя мамина работа в Выборгском райжилотделе здесь совсем ни при чем. Просто открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников Публичной библиотеки, которые не успели эвакуироваться вместе с библиотекой еще осенью в город Мелекесс. В семье считалось, что малолетний Борис эвакуации не выдержит, и потому заранее решено было разделиться. Все произошло внезапно. «...паровоз был уже под парами, — пишет мама. — Когда я вернулась с работы, их уже не было. Один Боренька сидел в темноте в страхе и в голоде...» Мне кажется, я запомнил минуту расставания:

большой отец, в гимнастерке и с черной бородой, за спиной его, смутной тенью, Аркадий, и последние слова: «Передай маме, что ждать мы не могли...» Или что-то в этом роде.

АН. Мать и Борис остались в Ленинграде, и как ни мучительны были последующие месяцы блокады, это все же спасло их. На «Дороге Жизни» грузовик, на котором ехали отец и Аркадий, провалился под лед в воронку от бомбы. Отец погиб, а Аркадий выжил. Его с грехом пополам довели до Вологды, слегка подкормили и отправили в Чкаловскую область (ныне Оренбургская). Там он оправился окончательно и в 43-м был призван в армию.

БН. Они уехали 28 января 1942 года, оставив нам свои продовольственные карточки на февраль (400 граммов хлеба, 150 «граммов жиров» да 200 «граммов сахара и кондитерских изделий»). Эти граммы, без всякого сомнения, спасли нам с мамой жизнь, потому что февраль 1942-го был самым страшным, самым смертоносным месяцем блокады. Они уехали и исчезли, как нам казалось тогда, — навсегда. В ответ на отчаянные письма и запросы, которые мама слала в Мелекесс, в апреле 42-го пришла одна-единственная телеграмма, беспощадная как война: «НАТАН СТРУГАЦКИЙ МЕЛЕКЕСС НЕ ПРИБЫЛ». Это означало смерть. (Я помню маму у окна с этой телеграммой в руке — сухие глаза ее, страшные и словно слепые.) Но 1 августа 42-го в квартиру напротив, где до войны жил школьный дружок АН, пришло вдруг письмо из райцентра Ташла, Чкаловской области. Само это письмо не сохранилось, но сохранился список с него, который мама сделала в тот же день.

«Здравствуй, дорогой друг мой! Как видишь, я жив, хотя прошел, или, вернее, прополз через такой ад, о котором не имел ни малейшего представления в дни жесточайшего голода и холода. <...> Мы выехали морозным утром 28 января. Нам предстояло проехать от Ленинграда до Борисовой Гривы — последней станции на западном берегу Ладожского озера. Путь этот в мирное время проходил в два часа, мы же голодные и замерзшие до невозможности приехали туда только через полтора суток. <Позволю себе напомнить: эвакуация шла в дачных, неотапливаемых вагонах, температура же в те дни не поднималась выше 25 градусов мороза. — БН.> Когда поезд остановился и надо было вылезать, я почувствовал,

что совершенно ооченел. Однако мы выгрузились. Была ночь. Кое-как погрузились в грузовик, который должен был отвезти нас на другую сторону озера (причем шофер ужасно матерился и угрожал ссадить нас). Машина тронулась. Шофер, очевидно, был новичок, и не прошло и часа, как он сбился с дороги и машина провалилась в полынью. Мы от испуга выскочили из кузова и очутились по пояс в воде (а мороз был градусов 30). Чтобы облегчить машину, шофер велел выбрасывать вещи, что пассажиры выполнили с плачем и ругательствами (у нас с отцом были только заплетные мешки). Наконец, машина снова тронулась, и мы, в хрустящих от льда одеждах, снова влезли в кузов. Часа через полтора нас доставили на ст. Жихарево — первая заозерная станция. Почти без сил мы вылезли и поместились в барак. Здесь, вероятно, в течение всей эвакуации начальник эвакуопункта совершал огромное преступление — выдавал каждому эвакуированному по буханке хлеба и по котелку каши. Все накинудились на еду, и когда в тот же день отправлялся эшелон на Вологду, никто не смог подняться. Началась дизентерия. Снег вокруг барачков и нужников за одну ночь стал красным. Уже тогда отец мог едва передвигаться. Однако мы погрузились. В нашей теплушке или, вернее, холодушке было человек 30. Хотя печка была, но не было дров. <...> Поезд шел до Вологды 8 дней. Эти дни, как кошмар. Мы с отцом примерзли спинами к стенке. Еды не выдавали по 3—4 дня. Через три дня обнаружилось, что из населения в вагоне осталось в живых человек пятнадцать. Кое-как, собрав последние силы, мы сдвинули всех мертвецов в один угол, как дрова. До Вологды в нашем вагоне доехало только одиннадцать человек. Приехали в Вологду часа в 4 утра. Не то 7-го, не то 8-го февраля. Наш эшелон завезли куда-то в тупик, откуда до вокзала было около километра по путям, загромажденным длиннейшими составами. Страшный мороз, голод и ни одного человека кругом. Только чернеют непрерывные ряды составов. Мы с отцом решили добраться до вокзала самостоятельно. Спотыкаясь и падая, добрались до середины дороги и остановились перед новым составом, обойти который не было возможности. Тут отец упал и сказал, что дальше не сделает ни шагу. Я умолял, плакал — напрасно. Тогда я озверел. Я выругал его последними матерными словами и

пригрозил, что тут же задушу его. Это подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. <...> Больше я ничего не помню. Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах. Затем заснул. На другой день мне сообщили о смерти отца. Весть эту я принял глубоко равнодушно и только через неделю впервые заплакал, кусая подушку <...>».

Ему, шестнадцатилетнему дистрофику, еще предстояло тащиться через всю страну, до города Чкалова — двадцать дней в измученной, потерявшей облик человеческий, битой-перебитой толпе эвакуированных («выковыренных», как их тогда звали по России). Об этом куске своей жизни он мне никогда и ничего не рассказывал. Потом, правда, стало полегче. В Ташле его, как человека грамотного (десять классов), поставили начальником «маслопрома» — пункта приема молока у населения. Он отъезжая, кое-как приспособился, оклемался, стал писать в Ленинград, послал десятки писем — дошло всего три, но хватило бы и одного: мама тотчас собралась и при первой же возможности, схватив меня в охапку, кинулась ему на помощь. Мы еще успели немножко пожить все вместе, маленькой ампутированной семьей, но в августе Аркадию исполнилось семнадцать, а 9 февраля 43-го он уже ушел в армию. Судьба его была — окончив Актюбинское минометное училище, уйти летом 43-го на Курскую дугу и сгинуть там вместе со всем своим курсом. Но...

АН. Судьба распорядилась так, что он стал слушателем японского отделения Восточного факультета Военного института иностранных языков. За время его службы в этом качестве ему довелось быть свидетелем и участником многих событий, но для настоящей биографии имеет смысл отметить только два: самое счастливое — Победа над немецким фашизмом и японской военщиной в 1945 году; и самое интересное — в 46-м его, слушателя третьего курса, откомандировали на несколько месяцев работать с японскими военнопленными для подготовки Токийского и Хабаровского процессов над японскими военными преступниками. Было еще и событие глупое: перед выпуском в 49-м году Аркадий скоропалительно женился, и не прошло и двух лет, как молодая жена объявила, что вышла ошибка, и они разошлись. Слава богу, детей у них не случилось.

После окончания института и до демобилизации в 55-м году Аркадий служил на Дальнем Востоке, и это был, вероятно, самый живописный период в его жизни. Ему довелось испытать мощное землетрясение. Он был свидетелем страшного удара цунами в начале ноября 52-го года. Он принимал участие в действиях против браконьеров (это было очень похоже на то, что в свое время описал Джек Лондон в своих «Приключениях рыбацкого патруля»)... И еще возникло тогда некое обстоятельство, которое в значительной степени определило его (и Бориса) дальнейшую судьбу. Судьбу писателей.

В марте, кажется, 1954 года американцы взорвали на одном из островков Бикини свою первую водородную бомбу. Островок рассыпался в радиоактивную пыль, и под мощный выпад этой «горячей пыли», «пепла Бикини» попала японская рыболовная шхуна «Счастливый Дракон № 5». По возвращении к родным берегам весь экипаж ее слег от лучевой болезни в самой тяжелой форме. Теперь это уже история — и порядком даже подзабытая, — а в те дни и месяцы мировая пресса очень и очень занималась всеми ее перипетиями.

И именно в те дни и месяцы Аркадий по роду своих обязанностей на службе ежедневно имел дело с периодикой стран Дальневосточного «театра» — США, Австралии, Японии и т. д. Вместе со своим сослуживцем Львом Петровым изо дня в день Аркадий следил за событиями, связанными со злосчастным «Драконом». И вот, когда умер Кубояма, радист шхуны, первая жертва «пепла Бикини», Лев Петров объявил, что надлежит написать об этом повесть. Он был очень активным и неожиданным человеком, Лева Петров, и идеи у него тоже всегда были неожиданные. Но писать Аркадию давно хотелось, только раньше он об этом не подозревал. И они вдвоем с Львом Петровым написали повесть «Пепел Бикини». (Впоследствии Лев Петров стал большим чиновником в советском Агентстве печати «Новости», Аркадий не раз встречался с ним в Москве, хотя пути их разошлись. Он безвременно умер в середине 60-х.)

БН. «...писать Аркадию давно хотелось, только раньше он об этом не подозревал...» Еще как подозревал! Уже написаны к тому времени были и «Как погиб Канг», и рассказик «Первые», и ввсю шла подготовка к будущей «Стране багровых туч»... Я не говорю уж о зубодробительном фантастическом романе «Находка

майора Ковалева», написанном (от руки, черной тушью, в двух школьных тетрадках) перед самой войной и безвозвратно утраченном во время блокады.

АН. К огромному изумлению Аркадия «Пепел Бикини» был напечатан. Сначала в журнале «Дальний Восток» (во Владивостоке), затем в журнале «Юность» и отдельной книжкой в издательстве «Детгиз» (в Москве). Но это было уже после демобилизации Аркадия.

А демобилизовался он в июне 55-го и сначала поселился у мамы в Ленинграде. К тому времени он был уже второй раз женат, и у него было двое детей — дочка трех лет и дочка двух месяцев. И в Ленинграде он крепко и навсегда сдружился с братом своим, Борисом. До того братья встречались от случая к случаю, не чаще раза в год, когда Аркадий приезжал в отпуск — сначала из Москвы, затем с Камчатки и из Приморья. И вдруг Аркадий обнаружил не юнца, заглядывающего старшему брату в рот, а зрелого парня с собственными суждениями обо всем на свете, современного молодого ученого, эрудита и спортсмена. Он закончил механико-математический <правильнее — математико-механический, «матмех». — *БН*> факультет Ленинградского университета по специальности «звездный астроном», был приглашен аспирантом в Пулковскую обсерваторию и работал там над проблемой происхождения двойных и кратных звезд.

Выяснилось, что у нас сходные взгляды на науку и литературу, выяснилось также, что и Бориса давно уже тянет писать, а к шансам на опубликование «Пепла Бикини» он отнесся скептически, и не потому, что повесть так уж плоха, а просто не верит он, что в писатели выходят так легко. Много, много было у нас бесед, споров и совещаний за те месяцы, последние месяцы 55-го года.

В начале 56-го года Аркадий переехал в Москву и для начала поступил работать в Институт научной информации, а затем перешел в Восточную редакцию крупнейшего в стране издательства художественной литературы, именовавшегося тогда Гослитиздат.

Как уже упоминалось, за это время трижды была опубликована повесть Л. Петрова и А. Стругацкого «Пепел Бикини», и Борис Стругацкий поверил, наконец, что не боги горшки обжигают, и мы написали первое свое научно-фантастическое произведение «Страна багровых туч» и отдали его в издательство «Дет-

ская литература», и уже рукопись этого произведения удостоилась премии на конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации, а в 59-м повесть эта вышла первым изданием, и еще ее переиздавали в 60-м и 69-м годах.

И мы принялись работать.

1960 — «Путь на Амальтею», «Шесть спичек».

1961 — «Возвращение (Полдень, XXII век)».

1962 — «Стажеры», «Попытка к бегству».

1963 — «Далекая Радуга».

1964 — «Понедельник начинается в субботу».

Одновременно Аркадий активно занимался переводами японской классики.

Одновременно Борис ходил в археологические экспедиции и участвовал в поисках места для сооружения телескопа-гиганта, а также обучался на инженера-программиста.

БН. Уточнение. Борис никогда не обучался на инженера-программиста. Диссертацию ему защитить не удалось, ибо в последний момент (вот это был удар!) выяснилось, что построенная им, не лишенная изящества, теория уже была построена и даже опубликована в малоизвестном научном журнале еще в 1943 году. Автором этой теории был, правда, великий Чандрасекар, но от этого было не легче. Диссертация рухнула. Борис пошел работать на Пулковскую счетную станцию в должности «инженера-эксплуатационника по счетно-аналитическим машинам». Профессионального ученого из него не вышло, хотя еще много-много лет он с огромным удовольствием занимался разнообразными теоретическими изысканиями в области звездной астрономии. Но только как любитель. И, как любитель, самопально осваивал программирование на ЭВМ, сделавшись со временем не самым безнадежным из юзеров-чайников.

АН. Собственно, можно утверждать, что событийная часть нашей биографии закончилась в 56-м году. Далее пошли книги. (Кто-то не без тонкости заметил: биография писателя — это его книги.) Но никогда не бывает вредно определить причинно-следственные связи времени и событий.

Почему мы посвятили себя фантастике? Это, вероятно, дело сугубо личное, корнями своими уходящее в такие факторы, как детские и юношеские литературные пристрастия, условия воспитания и обучения, темперамент, наконец. Хотя и тогда еще, когда писали

мы фантастику приключенческую и традиционно-научную, смутно виделось нам в фантастическом литературном методе что-то мощное, очень глубокое и важное, исполненное грандиозных возможностей. Оно определилось для нас достаточно явственно несколько позже, когда мы поднабрались опыта и овладели ремеслом: фантастическому методу имманентно присуще социально-философское начало, то самое, без которого немислима высокая литература. Но это, повторяем мы, сугубо личное. Это — сторону.

Гораздо уместнее ответить здесь на другой вопрос: какие ВНЕШНИЕ обстоятельства определили наш успех с первых же наших шагов в литературе? Этих обстоятельств по крайней мере три.

Первое. Всемирно-историческое: запуск первого спутника в 57-м.

Второе. Литературное: выход в свет в том же 57-м велико-лепной коммунистической утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».

Третье. Издательское: наличие в те времена в издательстве «Молодая Гвардия» и в издательстве «Детская литература» превосходных редакторов, душевно заинтересованных в возрождении и выходе на мировой уровень советской фантастики.

Совпадение во времени этих обстоятельств и нашего выхода на литературную арену и определило, как нам кажется, наш успех в 60-х годах.

БН. И снова уточнение. По поводу составляющих успеха.

Наши добрые друзья и замечательные редакторы: Сергей Георгиевич Жемайтис, Бела Григорьевна Ключева и Нина Матвеевна Беркова — да, несомненно! Без них нам было бы втрое тяжелее, они защищали нас перед тупым и трусливым начальством, отстаивали наши тексты в цензуре, «пробивали» нас в издательские планы — в те времена, когда Издатель был — ВСЕ, а Писатель, в особенности начинающий, — НИЧТО.

«Туманность Андромеды» — да, пожалуй. Ефремов продемонстрировал нам, молодым тогда еще щенкам, какой может быть советская фантастика — даже во времена немцовых, сапаринных и охотниковых — вопреки им и им в поношение.

Но вот при чем здесь искусственный спутник?

Другое дело, что нам повезло начинать литературную работу свою в период Первой Оттепели; когда одна за другой стали раскрываться страшные тайны мира, в котором нам довелось

родиться и существовать; когда весь советский народ, вся наша несчастная Страна Дураков начала стремительно уметь и понимать — и нам довелось и повезло уметь и понимать вместе со всеми, совсем ненамного обгоняя большинство и, слава богу, отнюдь от него не отставая. Открытия, которые мы делали для себя, становились одновременно открытиями и для самых квалифицированных из наших читателей — и именно их любовь и признание обеспечили наш тогдашний успех.

АН. Ну, а дальше все покатило практически само собой. В 1964-м году нас приняли в Союз Писателей, и творчество наше было окончательно узаконено.

Итак, биография по сегодняшний день закончена. А что такое мы сегодня?

Аркадию Стругацкому 61 год. У него ишемическая болезнь, ни единого зуба во рту (проклятая блокада!), и он испытывает сильную усталость.

Борису Стругацкому 53 года. Он пережил инфаркт, и у него вырезали желчный пузырь (тоже блокада).

БН. «Ну-ну-ну! — укоризненно приговаривал, помнится, Борис, прочитав это место «Биографии». — Это ты, брат, хватанул! При чем здесь блокада?..» По крайней мере, желчный пузырь его, без всякого сомнения, был жертвой отнюдь не блокады, а, наоборот, — самого простительного из смертных грехов, чревоугодия. Единственное последствие блокады, которое он в себе действительно наблюдает, — это почти болезненная бережливость, когда рука не поднимается выбросить зачерствелую, забытую в хлебнице горбушку. Но это уж, видимо, навсегда.

АН. В семейной жизни мы вполне счастливы. У Аркадия жене 60, две дочери, внучка и внук. У Бориса жене 54, сын и внук.

Наши друзья нас любят, враги же ненавидят и справедливо опасаются нас. Кстати, о друзьях и врагах. Друзья наши — люди значительные, среди них — крупные ученые, космонавты, труженики-врачи, деятели кино. А враги, как на подбор, все мелкие, бездарные, взаимозаменяемые, но зато некоторые занимают административные посты...

Аркадий — никудышный общественник. На международные конференции его не посылают. Он даже не числится в Совете по фантастической литературе. Справедливо, наверное. А Борис уже много лет ведет один из самых мощных семинаров молодых

писателей-фантастов в стране, член правления Ленинградской писательской организации, член местной приемной комиссии.

БН. Аркадий скромничает. Не такой уж он никудышный общественник. Неоднократно и на протяжении многих лет избирался он членом различных редколлегий, был членом обоих Советов по фантастике (РСФСР и СССР) и даже, кажется, председателем одного из них. Другое дело, что мы никогда не придавали значения общественной деятельности такого рода (если не считать только работы Бориса в Семинаре молодых фантастов — работы, которую он любит и которой гордится).

АН. Аркадий наделал в жизни своей много глупостей и потерял много драгоценного времени. Борис может отчитаться за каждый поступок в своей жизни.

БН. Ума не приложу, что здесь имеется в виду. Скорее всего, то обстоятельство, что семейная жизнь старшего не всегда была безоблачной — в отличие от семейной жизни младшего.

АН. Мы написали 25 повестей (не считая рассказов, предисловий, статей). Насколько нам известно, 22 наших повести переведены и опубликованы за рубежом в 24-х странах 150-ю изданиями и переизданиями.

Аркадий продолжает работать над переводами японской классической прозы (главным образом, средневековой). Борис может по 12—14 часов в сутки не отходить от своего домашнего компьютера.

Мы являемся лауреатами одной отечественной и нескольких зарубежных литературных премий. По нашим сценариям сняты четыре фильма: один очень скверный, два сносных и один на мировом уровне.

Нас не покидает, а, наоборот, все усиливается у нас ощущение, что самая наша лучшая, самая нужная книга еще не написана, между тем как писать становится все трудней — и не от усталости, а от стремительно нарастающей сложности проблематики, интересующей нас.

Аминь.

Москва, 20 августа 1986 года.

Санкт-Петербург 22 апреля 1998 года.

12 октября 1991 года Аркадий Натанович Стругацкий скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Писатель «А. и Б. Стругацкие» перестал существовать.

И вот еще один документ. Последний.

«Настоящим удостоверяется, что 06 декабря 1991 года прах АРКАДИЯ НАТАНОВИЧА СТРУГАЦКОГО, писателя, был принят на борт вертолета МИ-2, бортовой номер 23572 и в 14 часов 14 минут развеян над ЗЕМЛЕЙ в точке пространства, ограниченной 55 градусов 33 минуты С. широты, 38 градусов 02 минуты 40 секунд В. долготы. Воля покойного была исполнена в нашем присутствии.

Черняков Ю. И.

Соминский Ю. З.

Мирер А. И.

Ткачев М. Н.

Гуревич М. А.

Петников Г. И.

Составлено в количестве

ВОСЬМИ пронумерованных экземпляров».

Всего братья Стругацкие написали и опубликовали 27 повестей (включая одну пьесу и без учета рассказов, статей, сценариев и предисловий). К началу 1998 года повести эти вышли в России общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. В 27 странах мира выпущено 365 изданий и переизданий этих повестей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И в заключение — некоторые итоги. Некие окончательные суждения о самой процедуре литературной работы, некие практикой доказанные теоремы, имеющие чисто прикладной характер. Если угодно — основные принципы и заповеди литературного труда, к которым АБС постепенно пришли и которым следовали по возможности неукоснительно. Кое-кто сочтет их, может быть, самоочевидными или даже тривиальными, но, тем не менее мне захотелось здесь и сейчас их заново и для всех сформулировать — по возможности кратко и ясно.

Первое. НАДО БЫТЬ ЩЕДРЫМ. Надо помнить, что щедрость — писательская щедрость, щедрость воображения — всегда окупается. Не надо бояться отставить идею, которая кажется

дьявольски соблазнительной, но по какой-то причине сопротивляется своей реализации. Надо уметь отбросить ее без колебаний, пусть полежит в архиве в ожидании своего часа. Каждая такая идея уже сделала свое дело — самим фактом своего появления на свет. Она уже осветила для вас какой-то уголок бытия, и в этом уголке теперь всегда будет светло. Дурацкую идею отбросить не жалко, она никому, кроме вас, не нужна. А идея достойная обязательно к вам вернется со временем и в самый нужный момент. Как вернулась к АБС идея «нашего человека на Тагоре», через два года после своего возникновения, или идея «человека играющего» — спустя без малого двадцать лет.

Второе. НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ! Следует привыкнуть к мысли, что кризис, так мучительно переживаемый и кажущийся мертвенным тупиком, — это, на самом деле, прекрасно! Надлежит помнить: если не получается, не идет, заколодило — значит начались настоящие роды! Ведь роды, — и это скажет вам любая мать — это всегда мучительно, трудно и больно. Конечно, приятно и радостно писать, когда текст словно бы сам собою выливается из-под пера. И далеко не всегда — это известно из опыта — легко и весело рожденная повесть легковесна или плоха. Это верно. Но всякая повесть, родившаяся в муках и в отчаянии, — она всегда какая-то особенная. Она всегда не такая, как всё то, что было до нее, и не такая, как то, что будет после. Она — любимая, и навсегда.

И наконец, «тройное правило», о котором все знают и которое всегда — в бесплодных поисках *Mensura Zoili* — забывают.

НАДО БЫТЬ ОПТИМИСТОМ. Как бы **ПЛОХО** ни написали вы свою повесть, у нее обязательно найдутся читатели — многие тысячи читателей, которые сочтут эту повесть без малого шедевром.

В то же время **НАДО БЫТЬ СКЕПТИКОМ.** Как бы **ХОРОШО** вы ни написали свою повесть, обязательно найдутся читатели, многие тысячи читателей, которые будут искренне полагать, что у вас получилось сущее барахло.

И, наконец, **НАДО БЫТЬ ПРОСТО РЕАЛИСТОМ.** Как бы **ХОРОШО**, как бы **ПЛОХО** ни написали вы вашу повесть, всегда обнаружатся миллионы людей, которые останутся к ней совершенно равнодушны, им будет попросту безразлично — написали вы ее или даже не начинали вовсе.

Dixi et animam levavi.

ПРИЛОЖЕНИЯ

От составителя

Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в составлении комментариев к произведениям Аркадия и Бориса Стругацких.

До 1990 года я составлял цитатник в одиночку, а с этого времени благодаря любезности И. Евсеева, Ю. Флейшмана и В. Борисова — имею честь входить в группу «Людены», среди задач которой было и составление комментариев к книгам АБС. Я внес в копилку группы свой цитатник (каким он был в то время). И почти все члены группы в той или иной степени помогли мне в его пополнении.

Владимир Борисов — человек, обладающий огромным авторитетом в Фэндоме, знающий лично практически всех писателей-фантастов, прекрасный специалист-компьютерщик, старейший пользователь сетей Фидо и Интернет — был поистине незаменимым помощником. Теперь я понимаю, что ему гораздо лучше были видны цели и задачи группы «Людены»; говоря словами Высоцкого: «Он стратег, он даже тактик, словом — спец». Боюсь, что я частенько надоедал ему сиюминутным, требованиями немедленной его реакции на каждую мелочь.

Вадим и Юлия Казаковы тоже с радостью помогали мне с цитатником. Не сомневаюсь, что они и сами могли бы составить подобный, если не лучший, комментарий. Знаний у них наверняка побольше моего. Тем более благородна была их всесторонняя помощь.

Юрий Флейшман, Верховный координатор группы, брался за «добивание» совершенно глухих позиций цитатника. Я и сам не чужд упорства, но упорству Юры частенько мог только позавидовать.

Не хотел бы обидеть никого из неназванных здесь членов группы. Своими успехами, добрыми письмами, истинной любовью к Стругацким они стимулировали мои попытки соответствовать общему уровню группы.

Необходимо также сказать о помощи Константина Душенко. Переводчик с польского, прекрасный журналист, он известен и как систематизатор цитат. Выработав свой, очень взвешенный подход, он составил несколько словарей цитат, как тематических, так и общих, в которых выверено буквально все — первоначальная фраза, все вариации и переводы ее, сведения об авторах. Я много лет пользовался его советами и конкретными справками, за что чрезвычайно благодарен.

Но конечно, самой ценной была помощь Бориса Натановича Стругацкого. Членство в группе «Людены» позволило мне «терзать» его своими вопросами буквально постоянно. После очередной правки и систематизации найденного я представил ему свою работу. Конечно, и тогда это был все еще весьма сырой черновик. Тем не менее Борис Натанович терпеливо просмотрел его, указал на методологические просчеты, привел источники многих цитат. Такое же внимание оказывал Борис Натанович мне и в последующем, мало того — позволял спорить с собой и иногда соглашался с иным мнением.

В 1998 году Владимир Борисов познакомил с моим списком цитат с найденной атрибуцией сеть Фидо. Откликнулись Владислав Заря и Юрий Жиловец, с помощью которых были закрыты несколько позиций.

В 1999 году мой цитатник был опубликован в качестве приложения в первом томе издания «Миры братьев Стругацких: Энциклопедия» (М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica), а в начале 2001-го — помещен на официальном сайте Стругацких (<http://rusf.ru/abs/ludeni/>). Это позволило найти еще немало единомышленников, активно помогающих мне в пополнении цитатника.

Это в первую очередь Илья Юдин, с которым мы решили немало интересных задач. Он всегда безотказно откликается на мои сколь угодно сложные вопросы. Сам по себе он очень инте-

ресный автор и обладает обширными знаниями в разных областях литературы. С помощью Ильи удалось воспользоваться и фондами Библиотеки Конгресса США, американскими университетскими библиотеками.

И конечно — Роман Муринский. Количество цитат у АБС, подаренное им мне, просто огромно. Роман — наглядный пример несовпадения наших «кругов чтения». (Я с упорством, достойным лучшего применения, не устаю повторять, что эти самые круги чтения у людей, даже достаточно близких по возрасту и книжным пристрастиям, весьма сильно разнятся.) Его осведомленность в тех областях литературы, что незнакомы мне, подчас очень выручала.

Нельзя забыть и о многолетней помощи программиста Олега Владимировича Елфимова.

При работе над цитатником я пользовался следующими библиотеками:

- центральной городской библиотекой им. И. Рядченко, г. Ильичевск;
- Одесской государственной научной библиотекой им. М. Горького;
- Одесской областной библиотекой им. М. Грушевского (тогда — им. В. Ленина);
- библиотекой Одесского национального университета им. И. Мечникова;
- Российской национальной библиотекой им. М. Салтыкова-Щедрина, С.-Петербург;
- библиотекой Института русской литературы (Пушкинский дом), С.-Петербург.

Кроме того, выясняя мои вопросы, РНБ также пользовался Ю. Флейшман, а московскими РГБ и Государственной публичной научно-технической библиотекой — Л. Ашкинази.

СПИСОК МОИХ ПОМОЩНИКОВ

Антропов Владимир Николаевич
 Ашкинази Леонид Александрович и Кузнецова Алла Владимировна
 Борисов Владимир Иванович
 Воробьев Глеб Олегович
 Громов Александр Николаевич
 Громова Наталья А.
 Дмитриев Владимир
 Душенко Константин Васильевич
 Дьяконов Владимир Юрьевич
 Жиловец Юрий
 Заря Владислав Викторович
 Казаковы Вадим Юрьевич и Юлия Геннадиевна
 Кобринский Александр Аркадьевич
 Лапудев Антон Анатольевич
 Назаренко Михаил Иосифович
 Недилько Владимир Всеволодович
 Макаров Дмитрий Гарьевич
 Муринский Роман
 Первушин Антон Иванович
 Ронен Омри
 Рябенко Анна
 Салватори Франко
 Светличный Антон Александрович
 Семенова Елизавета Петровна
 Симон Эрик
 Флейшман Юрий Гершович
 Шестопалов Олег Вадимович
 Шехтман М.Б.
 Шютце-Кобурн Мари
 Юдин Илья Давидович

Виктор Курильский

КОММЕНТАРИИ

Хромая судьба

С. 7. *Как пляшет огонек! / Сквозь запертые ставни / Осень рвется в дом. Райдзан* — перевод В. Марковой.

С. 9. «Адъютант Его превосходительства» — т/ф, реж. Е. Ташков.

С.10. «Тарзан» — сериал Э. Берроуза.

С. 12. *Униженные и оскорбленные* — заглавие романа Ф. Достоевского.

С. 14. *Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени.* — ироническая перефразировка строк «Агни Йоги» («Знаки Агни Йоги», предисловие).

С. 15. «— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...», Киплинг, «Сталки и компания» — цитата в оригинале: «“I zee 'un! I zee 'un!” roared Rabbits-Eggs, now that he had found a visible foe — another shot from the darkness above».

С. 18. *Правительствующий сенат* — характерное выражение М. Салтыкова-Щедрина («История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге»).

С. 19. *Исчезающее яйцо* — этот же артефакт упоминается в рассказе Г. Уэллса «Волшебная лавка». Перевод К. Чуковского.

С. 20. «Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет» — Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления», 4, 41:

«Человек — это душонка, обремененная трупом», как говорит Эпиктет» (перевод С. Роговина). Источник — «Беседы Эпиктета (записанные Флавием Аррианом)», 1, 9, 34.

Цветок душистых прерий — песенка Джима из мюзикла «Роз-Мари», музыка Р. Фримля и Х. Стотхарта, либретто О. Харбаха и О. Хаммерстайна, рус. переладка В. Типота и А. Феона, перевод песни — Б. Тимофеева.

«Против кого дружите?» — фраза по различным источникам приписывается Ф. Раневской либо М. Светлову.

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин» — «Дневник провинциала в Петербурге», 3, Проект «О переформировании де сиянс академии», § 2. «Что такое в науках свет?».

С. 23. ...ничего не забыл. И никого не забыл. — ср.: «Никто не забыт и ничто не забыто» — последняя строка эпитафии О. Бергольц, высеченной на стеле мемориального Пискаревского кладбища.

С. 27. Я в третьем круге, там, где дождь струится... Хотя проклятым людям, здесь живущим, / К прямому совершенству не прийти, / Их ждет полнее бытие в грядущем... — Данте А., «Божественная комедия», Ад, 6, стихи 7, 109–111. Перевод М. Лозинского.

...фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей. — Н. Рерих, «Град обреченный».

С. 29. Аллегорические телодвижения — выражение М. Салтыкова-Щедрина, «Современная идиллия», 8 («Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении, § 1 «О благопристойном поведении на улицах и площадях», ст. 11: «<...> Буде же встретится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь в молчании, не позволяя себе никаких аллегорических телодвижений»).

С. 31. «В движенье мельник должен жить...» <...> «Вода примером служит нам!..» — «В путь», музыка Ф. Шуберта, слова

В: Мюллера, рус. текст И. Тюменева: «В движенье мельник жизнь ведёт, в движенье. / Плохой тот мельник должен быть, / Кто век свой дома хочет жить».

С. 32. *Равнодушная природа* — слова из стихотворения А. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» («...равнодушная природа...»).

Добрый доктор Айболит — начало «Айболита» К. Чуковского.

С. 35. *Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска...* — ср. параллель в романе Я. Гашека «Положение бравого солдата Швейка во время мировой войны» (2, 1): «Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет тому назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале задержат Швейка без документов». Перевод П. Богатырёва.

С. 37. — *Брось! <...> Какой закон? Напирай плотней! <...> Главное, напирай плотней!* — М. Салтыков-Щедрин, «Помпадур и помпадурши», глава «Сомневающийся»: «— Брось! — Куда тут бросишь! Закон, братец! — Ну и пушай его! Закон в шкафу стоит, а ты напирай! <...> напирай плотней!».

С. 38. ...и вышел. Весь в белом. — анекдот «И тут выхожу я — весь в белом!».

С. 41. *На манер Пушкина <...> «Пожалуй, будь себе татарин?»* — строка эпиграммы «На Булгарина» («Не то беда, что ты поляк...»).

С. 42. *Благородное безумие* — восходит к фразе, приписываемой Н. Бору: «Ваша теория, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной».

С. 43. «Тихий Дон» — заглавие романа М. Шолохова.

С. 44. ...ничего на свете придумать нельзя. Придуманно уже все. — восходит к: Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius (лат.). Нет ничего сказанного, что было бы сказано впервые. Теренций, «Евнух», пролог, 41.

С. 44, 136. «С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, — всем им теперь крышка!», — Мяса!

<...> *Но только не псыны.* — цитата и реминисценция из рассказа Акутагавы Р. «Menzura Zoili». Перевод Н. Фельдман («...которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им — крышка»).

С. 55. *Зеркало русской революции.* — фрагмент заглавия статьи В. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции».

С. 55–56. *...образ искры, возжигаящей пламень...* — аллюзия на строку стихотворения А. Одоевского «Струн вещей пламенные звуки...»: «Из искры возгорится пламя».

С. 56. *...Валдайские горы походом форсировать...* — «Переход через Валдайские горы» — сатирический образ М. Салтыкова-Щедрина («Помпадуры и помпадурши», глава «Он!!»; «Дневник провинциала в Петербурге», 7).

А мы люди маленькие. — «Мы люди маленькие» — характерная фраза А. Чехова. См., например, «Ненужная победа», 4, «Черный монах», 5.

С. 59. *...отвечает ему знаменитым аверченковским: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...»* — фраза А. Аверченко из «Почтового ящика «Сатирикона»» (1909, № 48, с. 8): «*Рудольфу.* — Вы пишете в рассказе: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал деньги?» Иностранных произведений не печатаем». Прочитировано в биографической статье О. Михайлова в издании А. Аверченко, «Юмористические рассказы», М.: Художественная литература, 1964. С. 16.

С. 60. *...бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли.* — аллюзия на «Евгения Онегина» А. Пушкина.

...у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тищится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. — Ричард Гордон из романа «Иметь и не иметь», 3, 19.

С. 61, 116. — *Однако все это философия...; Все это, государи мои, философия...* — по словам БНС более полная цитата такова:

«Однако, все это, господа, философия. А не выпить ли нам водки?». Источник не обнаружен.

С. 63. *...речь не мальчика, но мужа.* — цитата из трагедии А. Пушкина «Борис Годунов», сцена «Ночь. Сад. Фонтан».

С. 69. *...при сем присутствуют...* — восходит к анекдоту о Суворове. Получив известие о взятии Ф. Ушаковым острова Корфу, А. Суворов воскликнул: «Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?» Е. Фукс, «Анекдоты князя Итальянского, графа Суворова-Рымнижского». 2-е изд. СПб., 1900. С. 64 (1-е изд.: СПб., 1827).

...я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме... — «Сказание о Ёсицунэ», 3. М.: Художественная литература, 1984. С. 62, 71. Перевод А. Стругацкого (с. 62: «...по плечам и коленям...», с. 71: «...по плечам...»).

С. 70. *...постоянный запах <...>, образующий как бы его [Петеньки Скоробогатова. — В.К.] собственную атмосферу.* — ср. описание Петрушки в поэме Н. Гоголя «Мертвые души» (1, 2): «...носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха...».

С. 73. *...юношей бледных со взором горящим...* — строка стихотворения В. Брюсова «Юному поэту»: «Юноша бледный со взором горящим...».

С. 76. *Кирие элейсон!* — Kyrie eleison — латинская транслитерация греческих слов «Господи помилуй». Одна из частей мессы.

С. 78. *...наподобие Счастливлчика Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы.* — отсылка к повести К. Эмиса «Счастливлчик Джим», см. главу 20 и другие.

Нет спасения... — Г. Уэллс, «Остров доктора Моро», глава 12 и далее.

С. 80. *...мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаювках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвержение, то ли вообще*

инстинктивное желание держаться подальше. — ср.: К. Саймак, «Кольцо вокруг Солнца», 16: «Все началось с того, что в автобусе рядом с ним никто не садился. Жил он тогда в старом семейном пансионе на окраине города, недалеко от конечной остановки. Он ездил на работу по утрам и всегда занимал в автобусе свое любимое место. На остановках в автобус входили люди, но они не садились рядом. <...>

Люди входили в автобус, усаживались рядом с другими пассажирами, с которыми так же не были знакомы, как и с ним, поскольку не обменивались ни единым словом. Они садились рядом с другими людьми, пока оставались свободные места. И место рядом с ним занимали лишь тогда, когда приходилось выбирать — сесть или остаться стоять. <...>

Его коллеги часто подходили друг к другу, по несколько человек собирались вокруг чьего-нибудь стола, чтобы поболтать, похвастаться своими успехами в гольфе, рассказать сальный анекдот и посетовать на службу «в этой лавочке». Однако никто и никогда не подходил к его столу. Он пробовал сам подходить к другим столам, но с его приближением группа тут же рассыпалась по местам. При попытках поговорить коллеги проявляли особую корректность, но неизменно оказывались чрезвычайно занятыми. Виккерс быстро уходил». Перевод А. Григорьева.

С. 81. *...с тухлым взглядом отпетого дроздовца...* — искаженная цитата из романа А.Н. Толстого «Хмурое утро» (19): «...у дроздовцев — в лице ирония, любят носить пенсне — в честь их покойного шефа; у корниловцев — традиционно тухлый взгляд и в лице презрительное разочарование...».

«Марсианские хроники» — заглавие повести Р. Брэдбери.

С. 87. *...как в анекдоте, захотелось загордиться от него руками и заверещать: «Разговаривает!..»* — некий наш гражданин, наткнувшись случайно на здорового роскошно одетого негра, говорит ему: «У, обезьяна черная, дикая». Ему вежливо объясняют: не обезьяна, а посол дружественной нам африканской страны, доктор наук, так что извинитесь, пожалуйста. Гражданин — негру: «Виноват. Вы вовсе не обезьяна. Сболтнул. Более не повторится». Негр (добродушно): «Ничего, ничего. Все ОК...». Гражданин (в ужасе заслоняясь от негра локтями): «Разговаривает!!!»

С. 89. *...у Ефремова <...> описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов...* — «На краю Ойкумены», 2, 8.

С. 100. «*Как ныне собирается вещей Олег...*» — А. Пушкин, «Песнь о вещем Олеге».

С. 103. «*избрали часть благую*» — Евангелие от Луки (10, 42). *Дама с собачкой* — заглавие рассказа А. Чехова.

С. 104. «*Боже, царя храни*» — российский гимн (1833–1917). Музыка А. Львова, слова В. Жуковского.

«*Хорст Вессель*» — гимн нацистской партии. Слова Х. Весселя, использован мотив старой морской песни.

С. 107. *Все долги уплачены до захода солнца..., юный мистер Коркран* — измененная цитата и персонаж романа Р. Киплинга «Сталки и компания».

С. 108. «*Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй*» — начальная фраза романа М. Булгакова «Белая гвардия», 1, 1 («<...> страшен год по Рождестве <...>»).

С. 109. *Швамброния* — вымышленная страна из повести Л. Кассиля «Кондуит и Швамброния».

...своею собственной рукой... — слова «Интернационала», музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца.

С. 113, 122. *Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!* — О. Мандельштам, «Газелла» («Почему ты все дуешь <...>»).

С. 114. *Ирония и жалость* — название песни из главы 12 романа Э. Хемингуэя «Фиеста (И восходит солнце)». Перевод В. Топер.

С. 115, 132. *...рукописи не горят!, ...рукописи сгорают дотла. Сколько бы Он не утверждал обратное.* — М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», 2, 24.

С. 117, 135. *...и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя; ...ни света, ни покоя.* — аллюзия на слова из романа М. Булгакова

«Мастер и Маргарита» (2, 29): «Он не заслужил света, он заслужил покой...».

С. 121. ...*сопьемся там в гастрономическом экстазе.* — от «Сопьемся в экстазе». Фраза из англ. к/ф реж. Дж. Карстэрса «Мистер Питкин в тылу врага» (название в советском прокате, оригинальное название: «The Square Peg»).

С. 125. «*ел хлеб беззакония и пил вино хищения*» — Притчи Соломона (4, 17): «...ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения».

С. 131. *Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул. Гашек* — цитата из романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», 1, 3. Перевод П. Богатырёва («Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот <...>»).

«*Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!*» — цитата из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 1, 18.

**Жиды города Питера,
или Невеселые беседы
при свечах**

С. 139. *Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами.* Р. Акутагава — «Из «Слов пигмея»», перевод Н. Фельдман.

С. 156. «*А глаза добрые-добрые!..*» — из анекдота о Ленине и ребенке: «Глаза добрые-добрые! А мог бы и ударить...» (вариант: «А мог бы и ножичком полоснуть...»).

...*в такси не содют...* — цитата из песни В. Высоцкого «Милицейский протокол».

С. 158. ...*удалился под сень струй.* — цитата из комедии Н. Гоголя «Ревизор» (4, 13): «Мы удалимся под сень струй...».

С. 162. «*Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!*...» — перифраз строк стихотворения А. Пушкина «К Чаадаеву».

С. 166. *Гребенщиков, Этот поезд в огне — и нам не на что больше жать, / Этот поезд в огне — и нам некуда больше бежать. / Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе...* — строки песни «Поезд в огне», группа «Аквариум», слова и музыка Б. Гребенщикова.

С. 167. «*Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!*» — цитируется повесть М. Горького «Детство» (2): «— Что, ведьма, народила зверья? <...> А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро мое, промотают. <...> Эх вы-и...».

С. 168. *Виктор Цой, Мы хотели пить — не было воды, / Мы хотели света — не было звезды, / Мы шли под дождь и пили воду из луж... / Мы хотели песен — не было слов, / Мы хотели спать — не было снов.* — строки песни «В наших глазах», группа «Кино» («<...> Мы выходили под дождь <...>»).

С. 169. *Епиходов кий сломал?* — реплика из пьесы А. Чехова «Вишневый сад» (3): «Епиходов бильярдный кий сломал!..».

С. 170. «*Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины...*» — приблизительная цитата из повести Н. Гоголя «Страшная месть» (4): «— Для чего же не любить свинины? — сказал Данило. — Одни турки и жиды не едят свинины».

Юрий Шевчук, «*Предчувствие-е-е... гражданской войны!*...» — «Предчувствие гражданской войны», группа «ДДТ». Название песни заимствовано от названия картины С. Дали «Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны».

Извне

С. 190. *Славяне шумною толпою...* — перефразировка зачина поэмы А. Пушкина «Цыганы»: «Цыганы шумною толпой...».

С. 195. *Тартарен из Алакана* — реминисценция заглавия романа А. Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона».

С. 205. *Пан шеф* — восходит к именованию из рассказа Я. Гашека «Обручение моей сестры»: «пан шеф-отец».

С. 220, 239. «*Летучий Голландец*», *ван Стратен, ван дер Деккен* — ван Стратен — одно из легендарных имен Летучего голландца, Вандердеккен — персонаж романа Ф. Марриета «Корабль-призрак».

Шесть спичек

С. 246. <заглавие> — такое же заглавие носит и рассказ А. Грина.

С. 249. <сцены из романа Ши Най-ань «Речные заводы»> — том 2, глава 56.

С. 258. *Славное время, хорошее время.* — ср.: «Доброе дело! Хорошее дело!» Э. Багрицкий, «Контрабандисты».

Испытание «СКИБР»

С. 310. *Панургово стадо* — см. эпизод из главы 8 части 4 романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Частные предположения

С. 347. *Сегодня в Космос пущена ракета. / Она летит в двенадцать раз быстрее света. / И долетит до цели в шесть утра / Вчера.* — точная цитата: «Сегодня в полдень пущена ракета. / Она летит куда скорее света / И долетит до цели в семь утра / Вчера». Стихотворение С. Маршака «По теории относительности» публиковалось с подзаголовком «Перевод английской анонимной эпиграммы». В действительности это переложение лимерика А. Буллера: «There was a young lady named Bright, / Whose speed was far faster than light; / She set out one day / In a relative way, / And returned home the previous night» («Punch», 19 декабря 1923 г.).

Сталкер

С. 360. *Голый король* — сказка Г.-Х. Андерсена.

С. 377. *...проверим алгеброй...* — аллюзия на строки «Моцарта и Сальери» (1) А. Пушкина: «Поверил / Я алгеброй гармонию».

Весь в белом — анекдот «И тут выхожу я весь в белом!»

Мене, текел, фарес — церковнославянский текст Книги пророка Даниила (5, 25).

Дело об убийстве

(Отель

«У погибшего альпиниста»)

С. 416. *...в позе мадам Рекамье...* — см. «Портрет г-жи Рекамье» Ж.-Л. Давида.

С. 429. *...потусторонний мир — это все-таки ведомство церкви, а не полиции...* — А. Конан Дойл, «Собака Баскервилей», 4: «Вы как будто еще не решили, чьей компетенции это дело: полиции или церкви». Перевод Е. Ломиковской. Издание рассказа: СПб.: тип. А.С. Суворина, 1902. С. 22.

День затмения

С. 453. *Чего тебе надобно, Захаров?* — перифраз слов из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина: «Чего тебе надобно, старче?»

В приятном далеке. — приблизительная цитата из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» (1, 11): «...из <...> прекрасного далека...».

С. 458. *Я на это наплевал и забыл.* — «Наплевать и забыть!» — фраза из к/ф «Чапаев», реж. Г.Н. и С.Д. Васильевы.

С. 465. «*Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоровивший многие племена...*» — строка стихотворения Н. Гумилёва «Мои читатели».

С. 467. *Ньютон, ...гипотез <...> не измышляю.* — Hypotheses non fingo (лат.) — цитата из труда «Математические начала натуральной философии».

С. 467. *Гордое смирение!* — так же назван документальный фильм 1965 года П. Когана о Пулковской обсерватории (в котором участвовал и Б. Стругацкий). Выражение восходит к редакции Ф. Достоевского строки А. Пушкина из поэмы «Цыганы»: «Смирись, гордый человек...» («Пушкинская речь»). У Пушкина: «Оставь нас, гордый человек». Фраза часто цитируется со ссылкой на Достоевского в следующей форме: «Смирися, гордый человек!» Здесь возможно влияние В. Капниста: «Смирися ж, гордый ум! Смирися, человек!» («Мысль о боге»). Также слова «гордое смирение» присутствуют в письме В. Белинского Н. Гоголю от 15 июля 1847 г.: «И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».

— *Дети и книги делаются из одного материала... Либо детей делать, либо книги.* — Ф. Ницше в книге «Сумерки идолов» («Набеги несвоевременного», 27) приводит императив «Aut liberi aut libri» (лат.) «Или дети, или книги».

С. 488, 489. Он перелистнул том Достоевского: «— Да не стоит она <...> слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!» <...> «Братья Карамазовы», «И если страдания детей пошли — истина не стоит такой цены», «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — и на его слезках основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях...» — цитаты из главы 4 книги 5 части 2 романа («Не стоит <...> ребенка...» — к с. 488, «<...> и на неотомщенных слезках его основать <...>» — к с. 489).

С. 489. — *Как тебя зовут, странное дитя?* — восходит к заключительным словам пьесы А. Пушкина «Русалка»: «Откуда ты, прекрасное дитя?».

Дети — цветы жизни! — штамп начала двадцатого века. В литературе — М. Горький, «Бывшие люди»: «Дети — живые цветы земли»; И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев», 1, 14: «...дети — цветы жизни».

С. 497. — *Не суди и не судим будешь.* — см. Евангелие от Матфея (7, 1).

С. 504. *...Тревоги наши позади!.. <...> солнце снова лето возвстало!..* — искаженные строки трагедии У. Шекспира «Ричард III» (1, 1): «Зима тревоги нашей позади, / К нам с солнцем Йорка лето возвратилось». Перевод М. Лозинского.

...всяческая суета!.. — церковнославянский текст Книги Екклесиаста (1, 2).

С. 506. *...рукописи не горят.* — цитата из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 2, 24.

С. 508. *Чечевичная похлебка, право первородства* — см. Книгу Бытия (25, 27–34).

С. 509. *«Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие окольные тропы...»* — Ёсано А., «Трусость». Перевод В. Марковой («<...> повернула вспять. С тех <...> передо мной <...>»).

Туча

С. 518. *Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох.* — цитата из романа Г. Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь», 3, 5. Перевод С. Займовского и Е. Бируковой: «Мегатерии <...> так медленно передвигаются, что жертвы зачастую не замечают их приближения и бывают застигнуты врасплох».

И число его — шестьсот шестьдесят шесть!.. — см. Откровение Иоанна (13, 18).

С. 519. *Мальш и Карлсон* — персонажи произведений А. Линдгрен.

С. 522. *Сосуд мерзостей* — стилизация под библейское: «мерзкое в сосудах» (Книга пророка Исаии 65, 4), «чаша мерзостей» (Откровение Иоанна 17, 4).

...единой плотью... — Бытие (2, 24), Евангелие от Матфея (19, 5).

С. 526. *Не убий. Не укради.* — церковнославянский текст Исхода (20, 13, 15).

Люби ближнего своего больше себя. — см. Левит (19, 18).

Кумира себе не сотвори... — см. церковнославянский текст Исхода (20, 4).

С. 529. «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!» — подобная надпись была обычной на стенах домов блокадного Ленинграда. Ср. мемориальную надпись на доме по Невскому проспекту, 14: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее ОПАСНА».

С. 530. *...поэт и санинспектор.* — перифраз заглавия стихотворения В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии».

С. 531. *...будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.* — «The future cannot be predicted, but futures can be invented» — положение Д. Габора. D. Gabor, «Inventing the Future», ch. 11, «On Optimism and Pessimism». Penguin Books, 1964. P. 161.

С. 534. *Вас ждут великие дела* — «Вставайте, граф. Вас ждут великие дела!» — слова, которыми слуга А. де Сен-Симона должен был будить своего хозяина.

— *Ты победил, галилеянин...* — восклицание, приписываемое боровшемуся против христианства римскому императору Юлиану Отступнику.

С. 538. *...разрушить старый мир и на его костях построить новый.* — наиболее известное изложение «старой идеи» — «Интернационал»: «Весь мир насилия мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим...». Музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца.

Прежняя история прекратила течение свое — цитата из главы «Подтверждение покаяния. Заключение» «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина.

С. 546. — *Город тот расположен четырехугольником! <...> И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город — чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освеще-*

ния своего, ибо светильник его — Агнец... Ворота его не будут заперты днем, а ночи там не будет вовсе... Среди улиц его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов... — сокращенный и измененный текст Откровения Иоанна (21, 16, 18–20, 23, 25; 22, 2).

С. 546. — *И принесут в него славу и честь народов! <...> И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Прииди! Жаждающий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром...* — немного сокращенный текст Откровения Иоанна (21, 26, 27; 22, 3, 17).

С. 554. — *...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, удобных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — и ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голова жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в тебе найдены кровь пророков и святых и всех убитых на земле...* — Откровение Иоанна (18, 10, 14, 22–24).

С. 556. *Прекрасный утенок* — инверсия заглавия сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок» (перевод А. Ганзен).

С. 557. — *И вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай... и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными... — сокращенный текст Откровения Иоанна (6, 2, 4–6, 8).*

С. 558. *...не ведали, что творят.* — церковнославянский текст Евангелия от Луки (23, 34).

С. 559. *Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.* — ср. параллель в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (2, 32): «...скакал <...> темно-фиолетовый рыцарь с мрачайшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь <...>, он думал о чем-то своем...».

Чародеи

С. 561–562. *Лукоморье, дуб, кот, изба на куриных ногах, Наина* — аллюзии на «Руслана и Людмилу» А. Пушкина.

С. 572. *Хома Брут* — персонаж «Вия» Н. Гоголя.

С. 591. *«Мы с милым расставались, клялись в любви своей»* — «За дальнею околицей», слова Г. Акулова, музыка Н. Будашкина («<...> расставаяся <...>»).

Без оружия

С. 613. *То были дни, когда я познал, что значит страдать; что значит стыдиться; что значит отчаяться.* — Л. Фейхтвангер, «Испанская баллада», 3, 3. М.: Издательство иностранной литературы, 1958, с. 329. Перевод Н. Касаткиной и И. Татариновой. Эти слова в повести приписаны П. Абеляру. Обработка Фейхтвангера («Das waren die Tage, da ich erfahren habe, was es heißt: leiden, was es heißt: sich schämen, was es heißt: verzweifeln.») перевода «Письма Абеляра другу» или «Первого письма Абеляра» в издании В. Фреда («Die Briefe von Abälard und Heloise». Herausgegeben und eingeleitet von W. Fred. Leipzig: Insel Verlag, 1911, S. 83): «Das waren die Tage, in denen ich erfahren habe, was Leiden sind, was Schämen heißt, wohin einen Verzweiflung treiben kann». Оригинальная латинская цитата из Абеляра: «Quanto autem dolore aestuarem, quanta erubescencia confunderer, quanta desperatione perturbarer; sentire tunc potui, proferre non possum».

Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли? — Э. Хемингуэй, «Пятая колонна», 1, 3, перевод Е. Калашниковой и В. Топер («<...> оружии, для <...>»).

Спаси, спаси нас! Нам бы хоть как-нибудь да пожить! — цитата из романа А.Н. Толстого «Аэлита», глава «Контратака» (слово марсиан в изложении Гусева): ««Спаси, говорят, спаси нас...» Цепляются... «Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить...»».

С. 634. *...не убивай их, но <...> не давай им жить.* — «Не убивай холопа, но и жить ему не давай» — принцип японского правителя Токугавы Иэясу.

С. 644. *Не ведают, что творят.* — церковнославянский текст Евангелия от Луки (23, 34).

С. 654. *Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом. / Что ищет он в стране далекой? / Что кинул он в краю родном?* — строфа стихотворения М. Лермонтова «Парус».

С. 693. *«никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой...»* — строки «Интернационала», музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца.

Машина желаний

С. 700. *...вместилище жестоких чудес...* — от «...не прошло время ужасных чудес». Заключительные слова «Соляриса» С. Лема. Перевод Д. Брускина.

С. 703. — *Позаброшен дом наш <...>, пуст он и покинут смелыми и верными, выросшими в нем...* — строки песни «Скиталец Вилли» из романа Р. Стивенсона «Владелец Баллантра», 9. Перевод И. Кашкина («Позаброшен дом наш, пуст он и покинут / Смелыми и верными, выросшими в нем»).

С. 718. — *Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть*

осудит. Не надо в грядущее взор погружать... — Г. Аполлинер, «Я вспомнил задорный куплет». Перевод М. Кудинова.

С. 721. — Во многие знание — многие печали... — Книга Екклезиаста 1, 18 (искаженная цитата).

С. 726–727. <видение>, Рерих — коллаж из нескольких ранних картин Н. Рериха, например, «Идолы», «Человечьи праотцы».

С. 736. — Потому что век наш весь в черном <...>. Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем. <...> Аполлинер. — «Звуки рога». Перевод М. Кудинова.

С. 739. Глянуть смерти в лицо <...> сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели... — Р. Киплинг, «Эпитафии войны. Трус». Перевод Ю. Манина. Отдельно от повести Стругацких перевод не публиковался.

Комментарии к пройденному

С. 745. Брульоны — см. «Смерть Вазир-Мухтара» (2, 32) Ю. Тынянова. От фр. bouillon — черновик.

С. 748. Взорлил — неологизм И. Северянина, «Эпилог “Эго-футуризм”»: «Взорлил, гремящий, на престол!»

С. 749, 750. Тарзан, «Сын Тарзана» — персонаж и заглавие одной из книг Э. Берроуза.

С. 751. «Далеко от Москвы» — заглавие романа В. Ажаева.

С. 753. «Порт-Артур» — заглавие романа А. Степанова.

С. 754. was jumping at the conclusions, strange though it may seem — «делал поспешные выводы», «как это не покажется удивительным» (англ.).

С. 755. ...гигантский паук-галеод из рассказа Конан Дойла сына. — рассказ Адриана Конан Дойла «Ужас в Дептфорде». Первая публикация — журнал «Юность». 1957. № 12. С. 65–71. Перевод И. Вилькомира и Ю. Сазонова.

С. 755. «Туманность» — роман И. Ефремова «Туманность Андромеды».

...до изумления... — оборот, характерный для романа А.Н. Толстого «Петр Первый», также использованный в одноименном к/ф по этому роману реж. В. Петрова.

...цитата из предисловия А. Аникста к «Тихому американцу»: «<Это> произведение разностороннее, содержащее и элементы детектива, и черты романа тайн; это и психологическая драма, и военный репортаж, и произведение с откровенно эротическими мотивами, и острый политический памфлет. <...> и читателю только остается удивляться тому, как убедительно звучит это неожиданное сочетание столь разнородных элементов». — точнее, из послесловия А. Аникста «Грэм Грин и его роман “Тихий американец”» к следующему изданию «Тихого американца»: М.: Издательство иностранной литературы, 1956; со с. 185 (перевод Е. Гольшевой и Б. Изакова).

С. 758. Оруэлловское двоемыслие — понятие из романа «1984».

С. 759. «фанфарного безмолвия и многодумного безмыслия» — А. Галич, «Мы не хуже Горация»: «...Что ни день — фанфарное безмолвие / Славит многодумное безмыслие».

С. 761. Кинофильм «Гибель сенсации» — реж. А. Андриевский.

С. 763. «Два капитана» — заглавие романа В. Каверина.

...XVIII том «Трудов института Мозга» и там на странице 55 (ссылка сохранилась) обнаружил статью «К вопросу о психофизиологическом действии “пейотля”» <...> «Калейдоскопическая смена образов...» «Во много раз повышается интенсивность зрительных и слуховых ощущений...» «Долгое сохранение в сознании зрительных образов при закрытых уже глазах...» (Я цитирую сохранившийся чудом конспект статьи.) «Аккорды на рояле вызывают ощущение всплеск света разных цветов...» «Впечатление полета времени...» «Перемещение магнита у затылка вызывало впечатление полета метеорита. Поворачивание его на 180 градусов вызывало поворачивание на 180 градусов зрительного образа...» — том 18 «Институт Мозга в 1941–1946 годах. Обзор и авторефераты трудов, библиография», Л., 1947, публикация № 73. Авторы: Л. Васильев, Е. Гальвас, Я. Периханянц, И. Терентьев.

Цитаты, соответствующие конспекту: «Калейдоскопическая смена зрительных образов началась у испытуемой Г. через 1,5 часа после приема последней пилюли. Вместе с тем резко повысилась интенсивность ощущений, не только зрительных, но и слуховых: окружающие предметы стали казаться более ярко окрашенными, звуки — более звонкими. По закрытии глаз восприятия предметов длительно сохранялись в виде зрительных образов, которые казались не менее реальными, чем сами предметы. В то же время можно было наблюдать феномен синестезии, уже отмеченный при отравлении пейотлем Ости (Ostu, 1925): взятые на рояли аккорды различной тональности казались оглушительными и всякий раз вызывали ощущение вспышки света, окрашенной в тот или иной цвет» (с. 56), «Казалось, что время летит с невероятной быстротой, и потому действия и речь окружающих казались раздражающе замедленными. Мысль лихорадочно работала и давала непредвиденные скачки и обороты» (с. 56), «Быстрое перемещение сильного подковообразного магнита сверху вниз, на расстоянии нескольких сантиметров от затылочной области, каждый раз вызывало появление движущегося фосфена в виде «следа от падающей звезды»» (с. 57), «Менее понятен другой наблюдавшийся нами феномен: поворачивание на 180° магнита, приближенного к затылку испытуемой Г., много раз подряд вызывало такой же поворот спонтанного зрительного образа, имевшегося в данный момент в поле зрения испытуемой» (с. 57).

С. 764. *Наш советский колумбарий* — цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1, 4).

С. 765. *Вагнер* — персонаж цикла рассказов А. Беляева «Изобретения профессора Вагнера».

С. 768. *«гниющим трупом альбатроса»* — Дж. Пристли, «Затемнение в Грэтли», 5, перевод М. Абкиной (в части редакций перевода).

С. 770. *Книга академика В.А. Фока «Теория пространства, времени и тяготения»* — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. Приведенная цитата — из главы 5 «Основа теории тяготения», § 62 «О парадоксе часов» со с. 287.

С. 778. *...как у Александра Исаевича: «...едете по жизни, семафоры зеленые»*. — приблизительная цитата из рассказа «Один день Ивана Денисовича»: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые...».

С. 778–779. *«свинцовых мерзостей жизни»* — М. Горький, «Детство», 12: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни...».

С. 781. *«знамя, на коем начертано: от каждого по способностям, каждому по его потребностям»* — К. Маркс, «Критика Готтской программы» («Замечания к программе германской рабочей партии», 1): «...общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

С. 788. *«Один день Ивана Денисовича»* — заглавие рассказа А. Солженицына.

С. 798. *«Вперед! — восклицал обычно в таких случаях АН. — Вперед! Они уже выдыхаются!»*, фильм «Сталинградская битва» — реж. В. Петров. Точная цитата: «Наступать! Наступать! Не жалейте сил. Они выдыхаются».

Питон Каа — персонаж «Книг Джунглей» Р. Киплинга.

«Возлюби дальнего». *Ницше* — «Так говорил Заратустра» (1, Речи Заратустры, О любви к ближнему): «Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему». Перевод Ю. Антоновского.

С. 800. *Волсинг Матилда* — «Waltzing Matilda», австралийская песня, использованная в фильме «На последнем берегу», слова Э. Патерсона, музыка К. Макферсон.

С. 804. *Бонасье, «Три мушкетера»* — персонаж и заглавие романа А. Дюма.

С. 805. *«женщины плакали, стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: «Бей! Бей!»*... — цитата из романа А. Дюма «Виконт де Бражелон» (2, 4): «Женщины плакали, сами стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: «Бей, бей!»» Перевод под редакцией Н. Таманцева.

Гиены пера — цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1, 13).

С. 807. «Застава Ильича» — первый вариант фильма «Мне двадцать лет», реж. М. Хуциев.

С. 815. ...преследуют его а ля секретарь Прыща. — точнее, не как секретарь, а как предводитель дворянства из гл. «Эпоха увольнения от войн» «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина, заподозривший, что у градоначальника Прыща фаршированная голова.

...наводит изумление. — Н. Гоголь, «Мертвые души» (1, 4): «...крепость черных мясов просто наводит изумление...».

С. 818. Капитан Лебядкин — персонаж «Бесов» Ф. Достоевского.

С. 821. Все, что левая нога захочет — от слов купца Курицына из драмы А. Островского «Грех да беда на кого не живет» (2, 1, 2): «Чего моя нога хочет?»

С. 830. «человек это звучит гордо», «правильно мыслить — вот основной принцип морали» — цитата из пьесы М. Горького «На дне» (4): «Чело-век! <...> Это звучит... гордо!» и положение Б. Паскаля, опубликованное в посмертном сборнике «Мысли».

С. 831. «1984» — заглавие романа Дж. Оруэлла.

«за поворотом, в глубине» — см. эпиграф из Б. Пастернака к «Улитке на склоне».

С. 836. Над пропастью во ржи — заглавие повести Д. Сэлинджера.

С. 837. Пушкинский Евгений, «Ужо тебе!..» — персонаж и цитата из поэмы «Медный всадник» (2).

С. 838. ...до революции были ВСЕ, а после революции стали НИЧТО... — аллюзия на строку «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем». Музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца.

С. 845. ...променять «право первородства» на чечевичную похлебку. — Книга Бытия (25, 27–34).

С. 848. ...«беззубое зубоскальство», как говаривали Ильф с Петровым. — см. фельетон «Отдайте ему курсив» и сценарий комедии «Под куполом цирка» (совместно с В. Катаевым).

...понять и простить... — от афоризма «Все понять — значит все простить».

«прекратила течение свое» — М. Салтыков-Щедрин, «История одного города», гл. «Подтверждение покаяния. Заключение».

Салтыков-Щедрин, «собиратели статистики», «гороховые пальто» — см., например, авторское примечание в гл. 17 «Современной идиллии»: «Гороховое пальто — род мундира, который, по слухам, одно время был присвоен собирателям статистики».

С. 849. ...в булгаковской «Дьяволяде», оказывается, «тоже имеет место «Чрезвычайная Тройка в составе шестнадцати человек». — «Роковые яйца», 7: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой в составе шестнадцати товарищей».

С. 859. В. Высоцкий, «но это были еще цветочки» — «Милицейский протокол».

С. 863. ...ломать руки «в смертельной тоске». — «Двойник», музыка Ф. Шуберта, слова Г. Гейне, рус. текст М. Свободина: «Но кто там в тени и плачет и стонет, / Ломая руки в смертельной тоске?»

С. 864. «Часто лучший вид свободы — свобода от забот» — слова Дж. Рёскина.

С. 867. «Это вовлечение бога в скучные пустыки подавляло меня...» М. Горький («В людях») — цитата из главы 4.

«Допустив, что мы можем все, что мы собираемся делать с этим нашим всемогуществом?» (Жан Ростан) — из статьи Пьеретты Сартен — статья франц. социолога и публициста «Я боюсь этого идола!» напечатана в «Литературной газете», 1969 г., 1 января, с. 12. Жан Ростан — сын драматурга Эдмона Ростана, ученый-генетик, писатель, философ, моралист.

С. 869. Борения <...> с самим собой... — цитата из стихотворения Б. Пастернака «Художник» (1): «С кем протекли его боренья? / С самим собой, с самим собой».

- С. 870. *Маугли* — персонаж «Книг Джунглей» Р. Киплинга.
- С. 875. *Вот навалился класс-гегемон!* — цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (3, 35).
- С. 877. *Разрешать и вязать* — Евангелие от Матфея (16, 19): «что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
- С. 881. *Ярослав Гашек, «Жизнь ~ обществе...» «Правильно ~ под луной...»* — «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», послесловие к первой части «В тылу», перевод П. Богатырёва.
- С. 882. *Грубо, зримо* — цитата из вступления к поэме В. Маяковского «Во весь голос»: «...весомо, / грубо, / зримо...».
- С. 883. «*тощие коровы*» — Книга Бытия (41, 3).
- С. 886. <заглавие> «*Парень из преисподней*», — так живо напоминавшее нам о знаменитом некогда фильме... — к/ф «Парень из нашего города» снят реж. А. Столпером и Б. Ивановым по одноименной пьесе К. Симонова.
- С. 888. «*А если у тебя хватит пороха быть самим собой (как писал Джон Апдайк), то расплачиваться за тебя будут другие*» — цитата из романа «Кролик, беги», перевод М. Беккер («Если <...>»).
- С. 890. *Надолго. Навсегда.* — ср. высказывание В. Ленина: «Эту политику мы проводим всерьез и надолго, но конечно, <...> не навсегда» (доклад на IX съезде Советов 23 декабря 1921 г.).
- С. 894. «*пренебрежение достижимым*» — автоцитата из повести «Волны гасят ветер» (Документ 1).
- С. 898. *...вспомнили Ильфа и Петрова. Были заготовлены два клочка бумаги...* — см. предисловие «От авторов» к роману «Золотой теленок».
- С. 905. *Наш советский колумбарий* — цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1, 4).
- С. 907. *...недостаточно безумную.* — аллюзия на фразу, приписываемую Н. Бору: «Ваша теория, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной».

- «*Сделай себе ковчег из дерева гофер*», «*Сорок дней и сорок ночей*» — Книга Бытия (6, 14; 7, 12).
- С. 909. *...пошел я, судьбою палимый...* — реминисценция из стихотворения Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»: «...И пошли они, солнцем палимы...».
- Ласков был до чрезвычайности.* — ср.: «пушист до чрезвычайности», И. Ильф и Е. Петров, «Двенадцать стульев», 2, 23.
- С. 911. *Из-под глыб* — заглавие сборника статей А. Солженицына, И. Шафаревича и др. Первая публикация: Париж: YMCA-Press, 1974.
- «*век-волкодав*» — цитата из стихотворения О. Мандельштама «За гремящую доблесть грядущих веков...».
- Герой нашего времени* — заглавие романа М. Лермонтова.
- С. 913. *...слова из повести Михаила Анчарова...* — «Сода-солнце», гл. «Разве это собеседник?»: «— У Шекспира есть выражение: понять — значит простить. Но не кажется ли вам, что понять — значит упростить?» «Сода-солнце», М.: Молодая гвардия, 1968. С. 62.
- С. 917. «*Преступление и наказание*» — заглавие романа Ф. Достоевского.
- С. 927. *Марина Цветаева, ...Жизнь — это место ~ погром — Жизнь...* — строфы из «Поэмы конца», 12.
- С. 934. *...история <...> прекратила течение свое...* — М. Салтыков-Щедрин, «История одного города», гл. «Подтверждение покаяния. Заключение».
- С. 937. «*Бич Божий*» — заглавие романа Е. Замятина.
- С. 940. *Остров доктора Моро* — заглавие романа Г. Уэллса.
- «*Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!*» — заключительная фраза Программы КПСС (1961 г.) (<...> поколение советских людей будет <...>).
- С. 944. «*Следы на камне*» Максвелл-Рида и «*Тайны морских глубин*» Бийба — Рид У. Максвелл, «Следы на камне. История Земли и жизни на ней», М.—Л.: ОНТИ — Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы, 1936. (W. Maxwell

Reed, The Earht for Sam, NY). Переработка Л. Савельева под ред. акад. В.А. Обручева. Вторая книга — У. Биб (W. Beebe), «В глубинах океана. Спуск в батисфере на глубину 923 метров», М.—Л., 1936, или же: «На глубине километра. Описание морской глубины». М., 1937.

С. 945. *«не убавишь, не прибавишь — так это было на земле...»* — А. Твардовский, «За далью — даль», гл. «Так это было» («Тут ни убавить, / Ни прибавить, — / Так это было на земле...»).

С. 948. *«Раз в году можно безумствовать»* — из Скиапарелли — перевод латинской поговорки «Semel in anno licet insanire», использованной Скиапарелли в качестве эпиграфа к своей статье «La vita sul pianeta Marte» («Жизнь на планете Марс», итал.), опубликованной в обзоре «Natura ed Arte», 1895, № 11. Факт упомянут в книге И. Полака «Планета Марс и вопрос жизни на ней», М.: ГОНТИ, 1939. Полак перевел поговорку так: «Раз в год разрешается наговорить глупостей» (с. 48). Вариант перевода АБС взят из книги М. Ивановского «Солнце и его семья» (9), Л.: Детгиз, 1957. С. 203.

«Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину... и от центра ее во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд...» — из «Моби Дика» Германа Мелвилла — цитата из главы 59. Перевод И. Бернштейн.

С. 966. *«наш человек на Тагоре»* — перифраз «Нашего человека в Гаване» Г. Грина.

Dixi et animam levavi — «Сказал и облегчил душу» (лат.).

Именной указатель

Абеляр, Пьер Abaelarde, Abailard (1079, Палле — 21.4.1142, аббатство Сен-Марсель, близ Шалон-сюр-Сон) — французский монах, писатель. 3 — 7; 10 — 613.

Абкина Мария Ефремовна — переводчик. 1 — 37; 4 — 507; 10 — 768.

Аввакум Петрович (1620 или 1621, с. Григорово «в Нижегородских пределах» — 14.04.1682, Пустозерск) — старообрядческий священник, писатель. 8 — 19; 9 — 101.

Аверченко Аркадий Тимофеевич (15(27).03.1881, Севастополь — 12.03.1925, Прага) — писатель, журналист. 6 — 491; 8 — 15, 28; 10 — 59.

Авторханов Абдурахман Геназович (7.11.1908, Нижний Наур (Надтеречный район Чечни) — 24.04.1997, Мюнхен) — историк, писатель, публицист. 9 — 73.

Агатов Владимир Исидорович (1901 (по другим данным 1884) — 1966 (по другим данным 1964)) — поэт. 8 — 113.

Агранович Евгений Данилович (р. 14.11.1919 (фактически — 13.10.1918), Орел) — сценарист, поэт, прозаик, бард. 6 — 491.

Агренева-Славянская Ольга Христофоровна (1847–1920) — композитор. 9 — 132.

Адамов (Гибс) Григорий Борисович (18.05.1886, Херсон — 14.07.1945) — писатель. 5 — 188.

* Определения «русский», «советский», «российский» — опущены.

Ажаев Василий Николаевич (30.01(12.02).1915, деревня Соцкое Московской губернии – 27.04.1968, Москва) – писатель. **10** – 751.

Акоминат Никита Хониат Nicetae Choniatae (сер. 12 в., Хоны – 1213, Никея) – византийский историк, писатель, священник. **8** – 484.

Аксаков Иван Сергеевич (26.09(8.10).1823, с. Надёжино (Куроедово) Оренбургской губернии – 27.01(8.02).1886, Москва) – писатель, общественный деятель. **9** – 575.

Акулов Глеб Григорьевич (1916, Ставрополь – 30.07.1941) – поэт. **5** – 145; **7** – 428; **10** – 591.

Акутагава Рюноске Akutagawa Ryunosuke (1.03.1892, Токио – 4.07.1927, Токио) – японский писатель. **4** – 380; **8** – 94, 533; **10** – 44, (136), 139.

Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич (23.01.1903, Екатеринбург – 16.12.1983, Москва) – режиссер, сценарист, актер. **9** – 100.

Алымов Сергей Яковлевич (24.03(5.04).1892, Славгород – 29.04.1948, Москва) – поэт. **7** – 432.

Альффорд, Кеннет Джозеф (настоящее имя Риккетс, Фредерик Джозеф) Alford, Kenneth Joseph (Ricketts, Frederick Joseph) (5.03.1880 (по другим данным – 1881) – 15.05.1945) – английский композитор. **7** – 427.

Алябьев Александр Александрович (4(15).08.1787, Москва – 22.02(6.03).1851, Москва) – композитор. **9** – 137.

Аммосов Александр Николаевич (1823–1866) – поэт. **9** – 132.

Амундсен, Роальд Amundsen, Roald Engelbregt Gravning (16.07.1872, Борге, близ Сарпсборга – 18.06.1928, Арктика) – норвежский полярный исследователь, писатель. **9** – 303.

Амусин Иосиф Давидович (29.11.1910, Витебск – 12.06.1984, Ленинград) – историк, гебраист. **1** – 533.

Андерсен, Ханс Христиан Andersen, Hans Christian (2.04.1805, Оденсе – 4.08.1875, близ Копенгагена) – датский писатель. **4** – 621; **7** – 461; **10** – 360, 556.

Андреев Александр Яковлевич (17??–18??) – переводчик, преподаватель. **5** – 24; **10** – 98.

Андривеский Александр Николаевич (11.02.1899, Петербург – 04.09.1983, Москва) – режиссер, сценарист. **10** – 761.

Аникст Александр Абрамович (16.07.1910, Цюрих – 24.12.1988) – литературовед. **10** – 755.

Антоновский Юлий Михайлович (21.06.1857, С.-Петербург – 31.10.1913, С.-Петербург) – переводчик. **2** – 533; **7** – 630; **8** – 584; **10** – 798.

Анчаров Михаил Леонидович (28.03.1923, Москва – 11.07.1990, Москва) – писатель, поэт, бард. **4** – 507; **10** – 913.

Апдайк, Джон Хойер Updike, John Hoyer (р. 18.03.1932, Шиллингтон, Пенсильвания) – американский писатель. **10** – 88.

Аполлинер, Гийом (настоящее имя Вильгельм-Альберт-Владимир-Александр-Аполлинарий Костровицкий) Apollinaire, Guillaume (Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzki) (26.08.1880, Рим – 9.11.1918, Париж) – французский поэт. **8** – 51, 85, 596; **10** – 718, 736.

Апулей Луций Lucius Apuleius (ок. 125 – ок. 180) – римский писатель. **3** – 298.

Апухтин Алексей Николаевич (15(27).11.1840 (по другим данным 1841), Волхов Орловской губ. – 17(29).07.1893, Петербург) – поэт. **9** – 575.

Аристотель из Стагиры Aristotle of Stagira (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ. **8** – 289.

Арманд Павел Николаевич (23.04.1902–16.08.1964) – поэт, композитор. **5** – 18

Арнольд Владимир Игоревич (р. 12.06.1937, Одесса) – математик, популяризатор науки. **9** – 73.

Асеев Николай Николаевич (27.06(9.07).1889, Льгов – 16.07.1963, Москва) – поэт. **8** – 597.

Астафьев Виктор Петрович (1.05.1924, с. Овсянка Советского района Красноярского края – 29.11.2001, Красноярск) – писатель. **7** – 147.

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (11(23).06.1889, Одесса — 5.03.1966, Домодедово Московской области) — поэтесса. **9** — 21, 557.

Бабель (Бобель) Исаак Эммануилович (1(13).07.1894, Одесса — 27.01.1940, Москва) — писатель. **4** — 513; **8** — 26; **9** — 536.

Багрицкий Эдуард Григорьевич (Дзюбин Эдуард Гodeлевич) (3.11.1895, Одесса — 16.02.1934, Москва) — поэт. **1** — 64; **10** — 258.

Бальмонт Константин Дмитриевич (4(16).06.1867, дер. Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии — 23.12.1942, Нуази-ле-Гран, близ Парижа) — поэт. **5** — 417.

Барбье, Поль Жюль Barbier, Jules (8.03.1825, Париж — 16.01.1901, Париж) — французский драматург, либреттист. **1** — 267–268; **8** — 582.

Бартольд Василий Владимирович (3(15).11.1869, С.-Петербург — 19.08.1930, Ленинград) — историк, арабист. **7** — 156, (157).

Басё, Мацуо Басё (настоящее имя Мунэфуса) Matsuo Bashô (1644, близ Уэно, пров. Ига — 28.11.1694) — японский поэт. **7** — 515.

Баснер Вениамин Ефимович (1.01.1925, Ярославль — 3.09.1996, С.-Петербург) — композитор. **9** — 82.

Бауман, Ханс Baumann, Hans (22.04.1914, Амберг — 7.11.1988, Мурнау) — немецкий поэт, переводчик. **6** — 421.

Безыменский Александр Ильич (6(18).01.1898, Житомир — 26.06.1973) — поэт. **5** — 469.

Бейлезон Семён (Беллисон Симеон) Bellison, Simeon (4.09.1881, Москва — 1953) — кларнетист, композитор. **5** — 489.

Бекетова Елизавета Григорьевна (??).12.1834 (по другим данным 1836), Оренбург — 1(14).10.1902, Петербург) — переводчик. **7** — 610.

Беккер Мери Иосифовна (р. 1920) — литературовед, критик, переводчик. **10** — 888.

Белинский Виссарион Григорьевич (30.05(11.06).1811, крепость Свеаборг, Финляндия — 26.05(7.06).1848, Петербург) — критик, литературовед. **10** — 467.

Белый Виктор Аркадьевич (14.01.1904–1983) — композитор. **6** — 698.

Бельский Владимир Иванович (1866–1946, Германия) — либреттист. **1** — 414.

Беляев Александр Романович (4.03.1884, Смоленск — 6.01.1942, Пушкин, Ленинградская обл.) — писатель. **4** — 347; **8** — 440; **10** — 765.

Беляев Дмитрий Герасимович (1905–1961) — журналист, фельетонист. **5** — 39.

Беляев Евгений Александрович (9(21).02.1895, Ржев — 5.09.1964, Москва) — историк, арабист. **7** — 156, 157, 170.

Беляева Л.Д. — переводчик. **9** — 551.

Беранже, Пьер-Жан Beranger, Pierre-Jean de (19.08.1780, Париж — 16.07.1857, Париж) — французский поэт. **9** — 137.

Берг Фёдор Николаевич (12.09.1839, с. Титово Нижнеломовского уезда Пензенской губ. — 4.04.1909, Москва) — переводчик. **4** — 373.

Берггольц Ольга Фёдоровна (3(16).05.1910, Петербург — 13.11.1975, Ленинград) — поэтесса. **5** — 281, (451, 497, 558); **8** — 7; **10** — 23.

Бердник Олесь Павлович (25.12.1927, с. Вавилово Смигуровского р-на Николаевской обл. — 18.03.2003, с. Гребени на Киевской обл.) — писатель. **5** — 190.

Березина Э. (настоящее имя Бер Эстер Айзиковна) (1903, Речица, Белоруссия — 1997) — переводчик, редактор. **1** — 386.

Бержье, Жак Bergier, Jacques (8.08.1912, Одесса, Россия (сейчас — Украина) — 23.11.1978, Париж) — французский химик, историк науки, журналист, писатель. **4** — 71–72; **6** — 209, 415.

Берковский Виктор Семенович (р. 13.07.1932, Запорожье — 22.07.2005, Москва) — композитор, бард. **9** — 305.

Бернс, Роберт Burns, Robert (25.01.1759, Аллоуэй, Шотландия — 21.07.1796, Дамфрис) — шотландский поэт. **3** — 293.

Бернштейн Инна Максимовна (р. 03.10.1929, Москва) — переводчик. **10** — 948.

Берроуз, Эдгар Райс Burroughs, Edgar Rise (1.09.1875, Чикаго, Иллинойс — 19.03.1950, Энчино, Калифорния) — американский писатель. **10** — 10, 749, (750).

Бёлль, Генрих Теодор Böll, Heinrich Theodor (21.12.1917, Кельн — 16.07.1985, близ Бонна) — немецкий писатель. **5** — 175; **9** — 240.

Биб, Чарльз Уильям Beebe, Charles William (29.07.1877, Бруклин, Нью-Йорк — 4.06.1962, исследовательская станция Симла, Тринидад) — американский инженер, изобретатель батисферы. **10** — 944.

Бирукова Евгения Николаевна (21.07.1899, Смоленск — 1987) — переводчик, писательница. **8** — 503; **10** — 518.

Битнер Вильгельм Казимир Вильгельмович (21.02(5.03).1865, Ковно — 24.04.1921, Петроград) — писатель, популяризатор науки. **5** — 25.

Блейк, Уильям Blake, William (28.11.1757, Лондон — 12.08.1827, Лондон) — английский поэт. **9** — 466.

Блок Александр Александрович (28.11.1880, С.-Петербург — 7.08.1921, Петроград) — поэт. **3** — 69; **5** — 417; **9** — 315.

Блохинцев Дмитрий Иванович (29.12.1907 (11.1.1908), Москва — 27.01.1979) — физик. **5** — 230.

Богатырёв Пётр Григорьевич (16(28).01.1893, Саратов — 15.08.1971) — переводчик. **6** — 711; **8** — 539; **9** — 45; **10** — 35, 131, 881.

Богданович Татьяна Александровна (3(15).08.1872, С.-Петербург — 31.12.1942, Свердловск) — переводчик, писательница. **5** — 103.

Богословский Никита Владимирович (22.05.1913, С.-Петербург — 4.04.2004, Москва) — композитор, писатель. **8** — 113.

Бодхидхарма Bodhidharma (китайск. Дамо, японск. Дагута) (ок. 440 — ок. 528) — индийский монах, первый патриарх дзен-буддизма. **9** — 558.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (28.06.1873, Москва — 14.07.1955, Москва) — политический деятель. **9** — 100.

Бор, Нильс Генрик Давид Bohr, Niels Henrik David (7.10.1885, Копенгаген — 18.11.1962, Копенгаген) — датский физик. **5** — 233; **8** — 81; **9** — 43; **10** — 42, 907.

Борзедж, Фрэнк Borzage, Frank (23.04.1893, Солт-Лейк-Сити, Юта — 19.06.1962, Голливуд, Калифорния) — американский режиссер, сценарист, продюсер, актер. **7** — 441.

Борн (Фюльборн), Георг Ф. (5.09.1837, Эльбталь — ?) — немецкий писатель. **9** — 164.

Бородин Александр Порфирьевич (31.10(12.11).1833, Петербург — 15(27).02.1887, Петербург) — композитор, химик. **7** — 121.

Брауде Р.А. — переводчик. **2** — 430.

Бреславец А.И. — переводчик. **9** — 558.

Брук М. — переводчик. **8** — 596.

Брускин Дмитрий Михайлович (1936–1993) — переводчик. **6** — 116; **7** — 342; **8** — 462; **10** — 700.

Брэдбери, Рэй Дуглас Bradbury, Ray(mond) Douglas (р. 22.08.1920, Уокиган, Иллинойс) — американский писатель. **10** — 81.

Брюсов Валерий Яковлевич (1(13).12.1873, Москва — 9.10.1924, Москва) — поэт, писатель, критик. **4** — 647; **5** — 290, (505); **7** — 506; **10** — 73.

Будашкин Николай Павлович (6.08.1910, дер. Любоховка Мосальского уезда Калужской губ. — 1989) — композитор. **5** — 145; **7** — 428; **10** — 591.

Булаич, Велько Bulajic, Veljko (р. 23.03.1928, Вилуши, Черногория, Югославия) — югославский режиссер, сценарист, актер. **5** — 40.

Булгаков Михаил Афанасьевич (3(15).05.1891, Киев — 10.03.1940, Москва) — писатель, драматург. **4** — 562; **6** — 552; **7** — 10, 330, (369, 408); **8** — 524, 584; **9** — 365, 417; **10** — 108, 115, (132), 117, (135), 131, 506, 559, 849.

Буллер, Артур Генри Реджинальд Buller, Arthur Henry Reginald (19.08.1874, Бирмингем, Англия — 3.07.1944, Канада) — английский, канадский ботаник, поэт. **10** — 347.

Буль, Пьер Франсуа Мари Луи Boule, Pierre-Francois-Marie-Louis (20.02.1912, Авиньон — 30.01.1994, Париж) — французский писатель. **7** — 427.

Буш, Вильгельм Busch, Wilhelm (15.04.1832, Видензаль, Нижняя Саксония — 9.01.1908, Мехтсхаузен, там же) — немецкий поэт, художник. 4 — 589.

Бюргер, Готтфрид Август Burger, Gottfried August (1.01.1748, Хальберштадт — 8.06.1794, Гёттинген) — немецкий писатель. 3 — 403, (451); 8 — 573.

Вагнер, Рихард Wagner, Richard (22.05.1813, Лейпциг — 13.02.1883, Венеция) — немецкий композитор, дирижер, либреттист, эссеист. 6 — 600; 9 — 466.

Вайнберг Мечислав Самуилович (8.12.1919, Варшава — 27.02.1996, Москва) — композитор. 2 — 329, (332); 8 — 484.

Вайншток Владимир Петрович (11.03(28.02).1908, С.-Петербург — 18.10.1978, Москва) — режиссер, сценарист. 8 — 441.

Варламов Александр Егорович (15(27).11.1801, Москва — 15(27).10.1848, С.-Петербург) — композитор. 2 — 377.

Варшавский Илья Иосифович (14.12.1908, Киев — 4.07.1974, Ленинград) — писатель. 7 — 12.

Варшавский Марк Маркович (1841 или 1845 или 1848, Житомир — 1907, Киев) — юрист, поэт, композитор. 9 — 341.

Васильев Георгий Николаевич (25.11.1899, Вологда — 18.06.1946, Любляна) — режиссер, сценарист. 6 — 619, (690); 7 — 424, (431); 8 — 483; 9 — 605; 10 — 458.

Васильев Дмитрий Иванович (21.10.1900, Ейск — 5.01.1984) — режиссер, сценарист. 8 — 530.

Васильев Иван Васильевич (1810-е — 1870-е) — гитарист, композитор. 7 — 441.

Васильев Леонид Леонидович (1891—1966) — физиолог, биофизик, парапсихолог. 10 — 761.

Васильев Сергей Дмитриевич (4.11.1900, Москва — 16.12.1959, Москва) — режиссер, сценарист. 6 — 619, (690); 7 — 424, (431); 8 — 483; 9 — 605; 10 — 458.

Вахтин Борис Борисович (3.11.1930, Ростов-на-Дону — 12.11.1981, Москва) — синолог, поэт, писатель. 10 — 82.

Вега Карпю Лопе Феликс де Vega Carpio, Лопй Félix de (25.11.1562, Мадрид — 26.08.1635, Мадрид) — испанский драматург. 2 — 481; 5 — 90.

Вейнберг Пётр Исаевич (16.06.1830, Николаев — 3.07.1908, С.-Петербург) — писатель, критик, переводчик. 9 — 271.

Вейс, Христиан Феликс Weiße (Weisse), Christian Felix (28.01.1726, Аннаберг — 16.12.1804, Лейпциг) — немецкий поэт. 8 — 121.

Велле Гораций Аркадьевич (15(02).04.1909, С.-Петербург — 11.05.1975, Москва) — переводчик, биограф. 2 — 7; 8 — 23.

Венгерская Н. — поэтесса. 7 — 341.

Вендель, Отто Wendel, Otto — шведский криминалист. 5 — 29.

Вергилий (Публий Вергилий Марон) Vergilius Maro, Publius (15.10.70, Андес близ Мантуи — 21.09.19 до н.э.) — римский поэт. 6 — 689.

Верн, Жюль (Габриэль) Verne, Jules (Gabriel) (8.02.1828, Нант — 24.03.1905, Амьен) — французский писатель. 1 — 371; 3 — 275; 4 — 399; 5 — 181; 7 — 285; 9 — 579.

Вершинин Михаил Максимович (1923—1987) — поэт, прозаик. 6 — 422.

Вессель, Ханс Хорст Wessel, Horst (9.09.1907, Билефельд — 23.02.1930, Берлин) — немецкий штурмовик, поэт. 10 — 104.

Вилькомир И.М. — переводчик. 10 — 755.

Вильнов Г. — поэт. 7 — 430.

Вирхов, Рудольф Людвиг Карл Virchow, Rudolf Ludwig Karl (13.10.1821, Шифельбейн, Померания, ныне Свидвин, Польша — 5.09.1902, Берлин) — немецкий физиолог. 8 — 314.

Вознесенский Андрей Андреевич (р. 12.05.1933, Москва) — поэт. 2 — 5; 9 — 583.

Вольтер (настоящее имя Аруэ, Франсуа-Мари) Voltaire (Arouet, Francois-Marie) (21.11.1694, Париж — 30.05.1778, Париж) — французский философ, писатель. 1 — 260; 7 — 60, (96); 8 — 149; 9 — 193, (268), 290, 475.

Воннегут, Курт Vonnegut, Kurt Jr. (р. 11.11.1922, Индианаполис) — американский писатель. **6** — 115; **8** — 545, 597.

Вуд, Роберт Вильямс Wood, Robert Williams (02.05.1868, Конкорд, Массачусетс — 11.08.1955, Эмитивилль, Нью-Йорк) — американский изобретатель. **8** — 79.

Вульф, Бернард Wolfe, Bernard (28.09.1915, Нью-Хейвен, Коннектикут — 27.10.1985) — американский писатель. **7** — 629.

Высоцкая Наталья Васильевна — переводчик. **3** — 606; **8** — 281; **9** — 11–12.

Высоцкий Владимир Семенович (25.01.1938, Москва — 25.07.1980, Москва) — поэт, бард, актер. **5** — 264; **7** — 426, 431; **8** — 84, 127, 541, 547, 574, 594; **9** — 227, 296; **10** — 156, 859.

Габор, Деннис (Денеш) Gabor, Dennis (Gábor, Dénes) (5.06.1900, Будапешт — 9.02.1979, Лондон) — английский физик, социолог. **7** — 14, 180, 480, 629; **9** — 531.

Гайдай Леонид Иович (30.01.1923, Свободный, Амурская обл. — 19.11.1993, Москва) — режиссер, сценарист, актер. **7** — 114, 237.

Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич (19.10.1918, Екатеринослав (ныне Днепропетровск) — 15.12.1977, Париж) — поэт, бард, сценарист. **6** — 423, 682; **8** — 458, 487, (492); **9** — 74, 191, 504, 533; **10** — 759.

Гальвас Е.Т. — биолог, физиолог. **10** — 761.

Ганзен Анна Васильевна (1869–2.04.1942) — переводчик, писательница. **7** — 461; **10** — 556.

Гарднер, Эрл Стенли Gardner, Erle Stanley (17.07.1889, Мэлден, Массачусетс — 11.03.1970, Темекула, Калифорния) — американский писатель. **7** — 455, 652.

Гарсиа Маркес, Габриэль Гарсиа Márquez, Gabriel (р. 6.03.1928, Аракатака) — колумбийский писатель. **10** — 440, 499.

Гашек, Ярослав Напек, Jaroslav (30.04.1883, Прага — 3.01.1923, Липнице) — чешский писатель. **6** — 711; **7** — 369; **8** — 539; **9** — 44, 45; **10** — 35, 131, 205, 881.

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (27.08.1770, Штутгарт — 14.11.1831, Берлин) — немецкий философ. **2** — 488.

Гейне, Генрих Heine, Heinrich (Heine, Harry) (13.12.1797, Дюссельдорф — 17.02.1856, Париж) — немецкий поэт. **4** — 653; **8** — 427, 537; **9** — 81, 336, (339–340); **10** — 863.

Герман Павел Давыдович (1894, Каменец-Подольский — 1952, Москва) — поэт. **5** — 489.

Гёте, Иоганн Вольфганг фон Goethe, Johann Wolfgang von (28.08.1749, Франкфурт-на-Майне — 22.03.1832, Веймар) — немецкий писатель, поэт, философ. **2** — 55; **7** — 151; **9** — 94–95, 465, 590.

Гильберт, Давид Hilbert, David (23.01.1862, Кёнигсберг, Пруссия — 14.02.1943, Гёттинген) — немецкий математик. **9** — 531.

Гладков Геннадий Игоревич (р. 18.02.1935, Москва) — композитор. **7** — 352, (364, 377, 384).

Глинка Фёдор Николаевич (8(19).06.1786, имение Сутоки, ныне Смоленская область — 11(23).02.1880, Тверь) — поэт. **9** — 89.

Глиэр Рейнгольд Морицевич (30.12.1874 (11.01.1875), Киев — 23.06.1956, Москва) — композитор, дирижер, педагог. **4** — 400.

Гоголь Николай Васильевич (20.03(1.04).1809, Великие Сорочинцы Миргород. у. Полтав. губ. — 21.02(4.03).1852, Москва) — писатель, драматург. **1** — 151, 445, 518; **2** — 355, 437; **3** — 69, 434; **4** — 587; **5** — 6, 21, 31, (177, 204), 84, 86, 186, 289, (584), 614; **6** — 173, 434, 619, (690); **7** — 247, 372, (373, 373–375), 413; **8** — 17, 393, 461, 464, 521, 576; **9** — 46, 268, 388, 394, 437, 527, 536, 612; **10** — 70, 158, 170, 453, 572, 815.

Гойя-и-Лусьентес, Франсиско Хосе де Goya y Lucientes, Francisco José de (30.03.1746, Фуэндетодос, близ Сарагосы — 16.04.1828, Бордо) — испанский художник. **5** — 637; **7** — 97; **8** — 427.

Голдинг, Уильям Джералд Golding, William Gerald (19.09.1911, Сент Колумб Майнор, Корнуолл — 19.06.1993, Перранарворгал, Корнуолл) — английский писатель. **4** — 615; **9** — 481.

Голсуорси, Джон Galsworthy, John (14.08.1867, Кингстон Хилл, Суррей — 31.01.1933, Гроув Лодж, Гэмпшир) — английский писатель, драматург. **1** — 562.

Голубев Глеб Николаевич (р. 15.01.1926, Тверь) — писатель, журналист, публицист. **4** — 5.

Голубков Василий Васильевич (8(20).01.1880, Вичуга, ныне Ивановской обл. — 9.02.1968, Москва) — филолог, методист. **5** — 82.

Гольшев Виктор Петрович (р. 26.04.1937, Москва) — переводчик. **6** — 7; **9** — 399.

Гольшева Елена Михайловна (26.08.1906, С.-Петербург — 01.03.1984, Москва) — переводчик, редактор. **7** — 62; **8** — 131; **10** — 755.

Гораций (Квинт Гораций Флакк) (8.12.65, Веноза — 27.11.8 до н.э.) — римский поэт. **3** — 277; **5** — 72; **6** — 97, 690.

Горкина Ирина Аркадьевна (1895—?) — переводчик. **6** — 586; **8** — 516.

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (16(28).03.1868, Н. Новгород — 18.06.1936, Горки, под Москвой) — писатель, драматург, публицист. **1** — 547; **3** — 14; **4** — 464; **6** — 685; **7** — 60, 89, 146, 524; **8** — 435, 494, 584; **9** — 62, (205), 214, 315, 419; **10** — 167, 489, 778–779, 830, 867.

Гофман, Эрнст Теодор Амадей Hoffmann, Ernest Theodore Amadeus (24.01.1776, Кёнигсберг — 25.06.1822, Берлин) — немецкий писатель. **3** — 484; **4** — 615; **9** — 270, 481.

Гофман фон Фаллерслебен, Август Генрих Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich (2.04.1798, Фаллерслебен, близ Брауншвейга — 19.01.1874, Корвей, близ Хёкстера) — немецкий поэт, германист, филолог. **7** — 426.

Гребенка Евгений Павлович (21.01(02.02).1812, хутор Убежище Пирятинского уезда Полтавской губ. — 3(15).12.1848, С.-Петербург) — поэт. **1** — 140.

Гребенников Сергей Тимофеевич (1920–6.10.1988) — поэт. **5** — 241.

Гребенщиков Борис Борисович (р. 27.11.1953, Ленинград) — поэт, композитор. **10** — 166.

Грибоедов Александр Сергеевич (4(15).01.1790 (по другим сведениям 1795), Москва — 30.01.(11.02).1829, Тегеран) — драматург, дипломат. **5** — 351; **6** — 580; **7** — 52, (144), 117, 269, 370; **8** — 502, 558; **9** — 525.

Григорьев А.М. — переводчик. **10** — 80.

Григорьев Аполлон Александрович (18(28).07.1822, Москва — 25.09 (7.10).1864, Петербург) — поэт. **7** — 441.

Григорьев (Горин, настоящая фамилия Горинштейн) Павел Григорьевич (1895–1961) — поэт. **5** — 101.

Гримм, Якоб Людвиг Карл Grimm, Jakob Ludwig Karl (4.01.1785, Ханау — 20.09.1863, Берлин) и Вильгельм Карл Grimm, Wilhelm Karl (24.02.1786, Ханау — 16.12.1859, Кассель, близ Берлина) — немецкие писатели, братья. **7** — 352, (364, 377, 384).

Грин Александр (настоящее имя Гриневский Александр Степанович) (11(23).08.1880, г. Слободской бывш. Вятской губ. — 8.07.1932, Старый Крым) — писатель. **10** — 246

Грин, Грэм Greene, Graham (2.10.1904, Беркемстед — 3.04.1991, Веве, Швейцария) — английский писатель. **7** — 62; **8** — 29–30, (35), 131; **10** — 755, 966.

Гринфельд Н.Е. — переводчик. **8** — 405.

Губер Пётр Константинович (16.09.1886, Киев — 13.04.1940, Кулойлаг, Архангельская обл.) — писатель, литературовед, переводчик. **5** — 97.

Гумилёв Николай Степанович (3(15).04.1886, Кронштадт — 24.08.1921, Петроград) — поэт. **1** — 552; **2** — 498; **6** — 720; **8** — 226, 227; **9** — 251, 344, 483, 509; **10** — 465.

Гуно, Шарль Gounod, Charles (17.06.1818, Париж — 18.10.1893, Сен-Клу, пригород Парижа) — французский композитор. **1** — 267–268; **8** — 582.

Гурилев Александр Львович (22.07(3.08).1803, Москва — 30.08(11.09).1858, Москва) — композитор. **8** — 483.

Гурьян Я.Г. — переводчик. **9** — 45.

Гюго, Виктор Мари Hugo, Victor-Marie (26.02.1802, Безансон — 22.05.1885, Париж) — французский писатель. **9** — 246, 571.

Давид, Жак Луи David, Jacques-Louis (30.08.1748, Париж — 29.12.1825, Брюссель) — французский художник. **6** — 250; **8** — 391; **10** — 416.

Дайдодзи Юдзан Daidouji Yuuzan (1636–1730) — японский военный философ, писатель. **9** — 543.

Д'Актиль (Френкель) Анатолий Адольфович (1890–1942) — поэт. **7** — 453.

Дали-и-Доминик, Сальвадор Фелипе Хасинто Dali Y Domenech, Salvador Felipe Jacinto (11.05.1904, Фигерас близ Барселоны — 23.01.1989, Фигерас) — испанский художник, сценоарист. **8** — 591; **10** — 170.

Данилов Юлий Александрович (21.08.1936, Одесса — 24.10.2003, Москва) — физик, переводчик, эссеист, популяризатор науки. **9** — 576.

Данте Алигьери Dante Alighieri (между 21.05 и 20.06.1265, Флоренция — 13.09.1321, Равенна) — итальянский поэт. **1** — 195; **6** — 471; **10** — 27.

Дегейтер, Пьер Degeyter, Pierre (8.10.1848, Гент, Бельгия — 27.09.1932, Сен-Дени) — французский композитор. **5** — 101, 359; **7** — 146, 525; **10** — 109, 528, 693, 838.

Декарт, Рене Descartes, Ren (латинизированное имя **Картезий, Renatus Cartesius**) (31.03.1596, Лаэ в провинции Турень — 11.02.1650, Стокгольм) — французский математик, философ. **3** — 392, 408.

Державин Гавриил Романович (3(14).07.1743, Казань — 20.06(8.07).1816, деревня Званка Новгородской губернии) — поэт. **2** — 270; **8** — 438; **9** — 349.

Дефо, Даниэль Defoe, Daniel (1660, Криплгейт — 24.04.1731, Мурфилдс) — английский писатель. **4** — 5, 7, (14).

Джекобс, Уильям Уаймарк Jacobs, William Wymark (8.09.1863, Лондон — 1.09.1943, Лондон) — английский писатель. **6** — 594

Дзэсо Найто Dhioso (Joso) Naito (1662–1704) — японский поэт. **2** — 506.

Дизраэли, Бенджамин лорд Биконсфилд Disraeli, Benjamin 1st Earl of Beaconsfield (21.12.1804, Лондон — 19.04.1881, Лондон) — английский политический деятель, писатель. **4** — 335.

Диккенс, Чарльз Джон Хаффам Dickens, Charles John Huffham (7.02.1812, Портсмут, Гэмпшир — 9.06.1870, Гэдз Хилл, Рочестер, Кент) — английский писатель. **3** — 479; **4** — 429; **5** — 22, 200; **8** — 485.

Диоген Лаэртский Diogenes Laertius (1-я пол. III в.) — древнегреческий биограф. **7** — 89.

Диоген Синопский Diogenes of Sinope (ок. 412, Синопа — 323 до н.э., Коринф) — древнегреческий философ. **7** — 89.

Днепров (Мицкевич) Анатолий Петрович (18.11.1919, Днепрпетровск — 1975, Москва) — писатель. **5** — 190.

Добронравов Николай Николаевич (р. 22.11.1928, Ленинград) — поэт. **5** — 241.

Доброхотова-Майкова Наталья Александровна — художник, писательница. **9** — 62, (192, 565).

Доген Dogen Zenji (19.01.1200–22.09.1253) — японский дзэн-буддистский монах. **9** — 558.

Доде, Альфонс Daudet, Alphonse (13.05.1840, Ним — 17.12.1897, Париж) — французский писатель. **10** — 195.

Дойл, Адриан Малкольм Конан Doyle, Adrian Malcolm Conan (19.11.1910, Кроуборо — 3.06.1970, Женева, Швейцария) — английский писатель, спортсмен. **10** — 755.

Дойл, Артур Игнатус Конан Doyle, Arthur Ignatius Conan (22.05.1859, Эдинбург — 7.07.1930, Кроуборо) — английский писатель. **1** — 173; **4** — 455, 516, (579); **5** — 181, 214; **6** — 301; **9** — 15, 317, (320), 579; **10** — 429.

Долоцкий Василий Иванович (4(16).01.1815–21.11(3.12).1885, С.-Петербург) — преподаватель, переводчик, редактор. 8 — 484.

Доронин В. — переводчик. 5 — 190.

Достоевский Фёдор Михайлович (30.10(11.11).1821, Москва — 28.01(9.02).1881, С.-Петербург) — писатель, публицист. 1 — 565; 2 — 81, 450; 3 — 304; 7 — 51, 106, 548; 8 — 41, 106, 413; 9 — 60, 130, 315; 10 — 12, 467, 488, (489), 818, 917.

Драйзер, Теодор Dreiser, Theodore (27.08.1871, Терре-Хот, Индиана — 28.12.1945, Голливуд, Калифорния) — американский писатель. 9 — 500.

Дулов Александр Андреевич (р. 15.05.1931, Москва) — хик, поэт, композитор, бард. 7 — 282, 9 — 359.

Дунаевский Исаак Осипович (Иосифович) (30.01.1900, Лохвица — 25.07.1955, Москва) — композитор. 2 — 192; 3 — 384; 6 — 554; 7 — 453; 9 — 132.

Дынкин Евгений Борисович (р. 11.05.1924) — математик, популяризатор науки. 1 — 555.

Дьяконова Мария Павловна (1886 (?)-?) — переводчик. 9 — 303.

Дюма Дави де Ла Пайетри, Александр (отец) Dumas Davy de la Pailletterie, Alexandre (24.06.1802, Виллер-Котре близ Парижа — 5.12.1870, Пью близ Дьеппа) — французский писатель. 1 — 111; 2 — 216; 3 — 13; 5 — 344, (347); 6 — 558; 7 — 5, 55, 57, 193, (195), 199, 214, 225, 285, 398, 416; 8 — 116, 527; 9 — 64, 212, 395, 462, 579; 10 — 804, 805.

Дюрренматт, Фридрих Dürrenmatt, Friedrich (5.01.1921, Конольфинген — 14.12.1990, Нешатель) — швейцарский писатель. 4 — 512; 6 — 165.

Евдокимова Нелли (Нинель) Морицовна — переводчик. 9 — 211.

Евтушенко Евгений Александрович (р. 18.07.1933, ст. Зима Иркутской обл.) — поэт, режиссер. 9 — 101.

Ершов Пётр Павлович (22.02(6.03).1815, с. Безруково Ишимского уезда Тобольской губ. — 18(30).08.1869, Тобольск) — поэт. 5 — 107

Ефремов Иван Антонович (9(22).04.1907, д. Вырица, ныне Ленинградской обл. — 5.10.1972, Москва) — писатель, палеонтолог. 1 — 252; 5 — 48, 192, 241, 466; 8 — 580, (581); 9 — 486; 10 — 89, 755.

Ёсано Акико Yosano Akiko (7.12.1878, Сакай, Осака — 29.05.1942) — японская поэтесса, критик, редактор, переводчик. 8 — 102; 10 — 509.

Жан, Альбер Jean, Albert (1892-?) — французский писатель. 5 — 259.

Жан-Поль (Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих) Jean Paul (Richter, Johann Paul Friedrich) (21.03.1763, Вунзидель — 14.11.1825 Байрёйт) — немецкий писатель. 4 — 191.

Жванецкий Михаил Михайлович (Маньевич) (р. 6.03.1934, Одесса) — писатель. 9 — 370, 500, 584.

Жданов Игорь Николаевич (р. 1937, д. Малое Сытьково Московской обл.) — поэт. 9 — 359.

Жемчужников Алексей Михайлович (10(22).02.1821, Почеп, ныне Брян. обл. — 25.03(7.04).1908, Тамбов) — писатель («Козьма Прутков»). 2 — 325.

Жемчужников Владимир Михайлович (11(23).04.1830 — 6(18).11.1884) — поэт, писатель («Козьма Прутков»). 2 — 456; 8 — 86.

Жид, Андре Поль Гийом Gide, André Paul Guillaume (22.11.1869, Париж — 19.02.1951, Париж) — французский писатель. 6 — 248; 9 — 606.

Жуковский Василий Андреевич (29.01(9.02).1783, с. Мишенское, ныне Тульской области — 12(24).04.1852, Баден-Баден, Германия) — поэт, переводчик. 7 — 57; 9 — 465; 10 — 104.

Займовский Семен Григорьевич (1876–1950) — переводчик, составитель словарей. 1 — 547; 3 — 469; 7 — 151; 8 — 311, 503; 10 — 518.

Залесский, Юзеф Богдан Zaleski, Jzref Bogdan (14.02.1802, д. Богатырка близ Киева — 31.03.1886, Вильпрё, близ Парижа) — польский поэт. **6** — 685.

Замятин Евгений Иванович (20.01(1.02).1884, Лебедянь, ныне Липецкой обл. — 10.03.1937, Париж) — писатель. **10** — 937.

Захаров Марк Анатольевич (р. 13.10.1933, Москва) — режиссер. **9** — 517.

Захонер Борис Владимирович (9.09.1918, Кагул, Молдавия — 7.11.2000, Москва) — поэт, переводчик. **8** — 484; **9** — 466.

Зенгер, Евгений (Ойген) Sänger, Eugen (22.9.1905, Прешниц (сейчас — Чехия) — 10.02.1964, Берлин) — немецкий инженер. **1** — 89.

Зубов Николай Владимирович (22.07.1867–1906(?)) — поэт, композитор. **1** — 159.

Ибаррури, Долорес Ibárruri (Gymez), (Isidora) Dolores (9.12.1895, Галларта, близ Бильбао — 12.11.1989, Мадрид) — испанский политический деятель. **8** — 115.

Ибрагимов Алев Шакирович (1925, Москва — 1999) — переводчик. **9** — 14.

Иванов Борис Григорьевич (20.04.1908, Рязань — 14.11.1964, Москва) — режиссер. **10** — 886.

Иванов Валентин Дмитриевич (18.07.1902, Самарканд — 7.04.1975, Москва) — писатель. **8** — 484.

Ивановский Михаил Петрович (13.12.1905–1954) — популяризатор науки. **10** — 948.

Иванцов Николай Александрович (30.12.1863, Москва — 3.08.1927, Неаполь) — переводчик. **9** — 95.

Изаков Борис Романович (1903–1988) — переводчик. **7** — 62; **8** — 131; **10** — 755.

Изразцов В. — переводчик. **7** — 140; **9** — 95.

Ильф (Файнзильберг) Илья Арнольдович (4(16).10.1897, Одесса — 13.04.1937, Москва) — писатель. **1** — 95; **2** — 288, 357, 421; **3** — 298; **5** — 114, 346; **7** — 280, 300, 435; **8** — 153, 230, 494; **9** —

69, 181, 303, 353, 483, 486; **10** — 489, 764, 805, 848, 875, 898, 905, 909.

Ильченко Виктор Леонидович (2.01.1937, Борисоглебск — 21.01.1992, Москва) — актер. **9** — 500.

Инститорис, Генрикус Institoris, Henricus (он же Krämer, Heinrich) (1430?, Шлеттштадт, Эльзас — 1505, Моравия) — немецкий монах, теолог, инквизитор. **5** — 108.

Иордан, Эрнст Паскуаль Jordan, Ernst Pascual (18.10.1902, Ганновер — 31.07.1980, Ганновер) — немецкий физик. **6** — 222.

Ирвинг, Вашингтон Irving, Washington (3.04.1783, Нью-Йорк — 28.11.1859, Саннисайд) — американский писатель. **4** — 526.

Иринова Т. — переводчик. **7** — 520.

Исаковский Михаил Васильевич (7(19).01.1900, деревня Глотовка Ельнинского уезда, ныне Смоленской обл. — 20.07.1973, Москва) — поэт. **9** — 132.

Исса Кобаяси Issa, Kobayashi (настоящее имя Kobayashi Nobuyki, также именовался Kobayashi Yataro) (5.05. (?) 1763–5.01 (по некоторым данным 19.11). 1827, Касивабара) — японский поэт. **8** — 141.

Йост, Ханс Johst, Hanns (8.07.1890, Зеерхаузен, близ Дрездена — 23.11.1978, Рупольдинг) — немецкий писатель, поэт, драматург. **6** — 209, 415.

Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (6(19).04.1902, Псков — 2.05.1989, Москва) — писатель. **1** — 284; **7** — 416, (431, 439); **10** — 761.

Казанский П.А. — переводчик. **5** — 103.

Казанцев Александр Петрович (2.09.1906, Целиноград — 13.09.2002, Переделкино Московской области) — писатель. **5** — 191.

Казмин Николай Васильевич (1881–?) — редактор, переводчик. **5** — 259.

Калашников Пётр Иванович (1828–1897) — писатель, переводчик, либреттист, журналист. **1** — 267–268; **8** — 582.

Калашникова Евгения Давыдовна (1906, Киев — 1976) — переводчик. **1** — 566; **3** — 7; **10** — 613.

Каменская Анна Алексеевна (25.08.1867, Павловск близ С.-Петербурга — 23.06.1952, Женева) — теософ, переводчик. **5** — 66.

Кампанелла, Томмазо Campanella, Tommaso (Tommaso — имя, данное при посвящении, настоящее имя — Giovan Domenico) (5.09.1568, Стило, Калабрия — 21.05.1639) — итальянский писатель. **8** — 189, 580, (581).

Канаев Иван Иванович (1893–1984) — биолог, историк науки, писатель, переводчик. **9** — 94–95.

Капнист Василий Васильевич (12(23).02.1758 (или 1757), с. Великая Обуховка, ныне Миргородск. р. Полтав. обл. — 28.10(9.11).1823, с. Кибинцы, там же) — поэт. **6** — 471; **8** — 100; **10** — 467.

Карем, Морис Carême, Maurice (12.05.1899, Вавре — 13.01.1978, Андерлехт) — бельгийский поэт. **7** — 282.

Карминский Марк Вениаминович (1930–19.10.1995) — композитор. **7** — 419, (420–421, 459).

Карон (Бомарше), Жюли Caron (Beaumarchais), Marie-Julie de (1735–9.05.1798) — французская писательница. **5** — 24; **9** — 98.

Карпов Павел Иванович (1873–?) — психиатр, писатель. **5** — 26.

Карре, Мишель Carré, Michel (20.10.1821 (по другим данным — 1819), Безансон — 27.06.1872, Аржентель) — французский либреттист. **1** — 267–268; **8** — 582.

Карстэрс, Джон Пэдди Carstairs, John Paddy (1910, Лондон — 12.12.1970, Лондон) — английский режиссер, сценарист, продюсер. **10** — 121.

Карцев Роман Андреевич (Кац Роман Аншелевич) (р. 20.05.1939, Одесса) — актер. **9** — 500.

Касаткина Наталья Григорьевна (1902, Коломна — 1985) — переводчик. **3** — 7; **10** — 613.

Кассиль Лев Абрамович (27.06(10.07).1905, слобода Покровская, ныне г. Энгельс — 21.06.1970, Москва) — писатель. **9** — 344; **10** — 109.

Катаев Валентин Петрович (16(28).01.1897, Одесса — 12.04.1986, Москва) — писатель, поэт. **6** — 349; **10** — 848.

Катон Марк Порций (Старший) Caton (Marcus Porcius Cato) (234, Тускулум — 149 до н.э.) — римский оратор, писатель. **5** — 114.

Кауэлл, Адриан Cowell, Adrian (1934, Тонгшань, Китай) — английский режиссер, путешественник, писатель. **3** — 606; **8** — 281; **9** — 11–12.

Кашкин Иван Александрович (24.06(06.07).1899, Москва — 26.11.1963, Москва) — переводчик, литературовед, педагог. **5** — 120; **10** — 703.

Квинтилиан Марк Фабий Quintilianus Marcus Fabius (ок. 35, Калагуррис, совр. Калаорра, Испания — ок. 95) — римский оратор, педагог, писатель. **2** — 245.

Кейт (Кит), Артур Keith, Arthur (5.02.1866, Эбердин — 7.01.1955, Даун) — шотландский анатом, антрополог. **7** — 629.

Керн, Джером Дэвид Kern, Jerome David (27.01.1885, Нью-Йорк — 11.11.1945, Нью-Йорк) — американский композитор. **9** — 342.

Ким Юлий Черсанович (23.12.1936, Москва) — поэт, бард. **7** — 216, 508; **8** — 511; **9** — 59, 382, 517.

Киплинг, Джозеф Редьярд Kipling, Joseph Rudyard (30.12.1865, Бомбей — 18.01.1936, Лондон) — английский поэт, писатель. **1** — 547; **2** — 31, 177, 260; **3** — 360, 469; **4** — 347; **5** — 352, (570); **6** — 483, 708; **7** — 151, 418; **8** — 47, 311, 504; **9** — 541; **10** — 15, 107, 739, 798, 870.

Клемент, Хол (настоящее имя Стаббс, Гарри Клемент) Clement, Hal (Stubbs, Harry Clement) (30.05.1922, Сомервилль, Массачусетс — 29.10.2003, Милтон, Массачусетс) — американский писатель. **4** — 71–72.

Ключевский Василий Осипович (16(28).01.1841, с. Вознесенское Пензенской губернии — 12(25).05.1911, Москва) — историк. **7** — 167; **9** — 73.

Клягина-Кондратьева Мелитина Ивановна (1896–?) — переводчик. **3** — 479; **9** — 460, (464–465).

Коган Павел Давидович (7.07.1918, Киев — 23.09.1942, в боях под Новороссийском) — поэт. **9** — 42, (140, 315, 344).

Коган Павел Симонович (р. 9.06.1931, Ленинград — 1998, С.-Петербург) — режиссер. **9** — 96.

Кожевников Вадим Михайлович (9(22).04.1909, Нарым, ныне Томской обл. — 20.10.1984, Москва) — писатель. **9** — 96.

Колдуэлл, Эрскин Caldwell, Erskine (17.12.1903, графство Ковета, Джорджия — 11.04.1987, Парадиз-Велле, Аризона) — американский писатель. **1** — 546.

Колпаков Александр Лаврентьевич (р. 1922, с. Мачеха Киквидзенского р-на Сталинградской обл.) — писатель. **5** — 188, (189, 193).

Кольцов Алексей Васильевич (3(15).10.1809, Воронеж — 29.10(10.11).1842, Воронеж) — поэт. **8** — 483.

Кориолис, Гаспар Гюстав де Coriolis, Gaspar-Gustave de (21.05.1792, Париж — 19.09.1843, Париж) — французский математик, физик. **6** — 205.

Костарев Николай Константинович (10.01.1893, Пермь — 1941) — писатель, поэт. **9** — 506.

Костер, Шарль де Coster, Charles (Charles-Théodore-Henri) de (20.08.1827, Мюнхен — 7.05.1879, Брюссель) — бельгийский писатель. **8** — 430; **9** — 69.

Костюкович Елена Александровна (р. 1958) — переводчик, литературовед, эссеист. **9** — 366.

Котенко Роман В. — переводчик. **9** — 543.

Котов Владимир Петрович (30.05.1928 — 1975) — поэт. **5** — 122.

Котовский Григорий Иванович (12(24).06.1881, Ганчешты, Бессарабской губернии — 6.08.1925, Чабанка, близ Одессы) — политический деятель, командир бригады Красной Армии. **2** — 245.

Коц (Данин) Аркадий (Аарон) Яковлевич (03(15).10.1872, Одесса — 13.05.1943, Свердловск) — переводчик. **5** — 101, 359; **7** — 146, 525; **10** — 109, 538, 693, 838.

Крамер, Стэнли Kramer, Stanley (29.09.1913, Бруклин, Нью-Йорк — 19.02.2001, Вудленд-Хиллз, Калифорния) — американский режиссер, продюсер. **5** — 311, (524).

Крачковский Игнатий Юлианович (4(16).03.1883, Вильнюс — 24.01.1951, Ленинград) — историк, арабист. **7** — 157.

Крейн Александр Абрамович (20.10.1883, Нижний Новгород — 21.04.1951, Старая Руза, Московская область) — композитор. **2** — 481; **5** — 90.

Кремнев (Эпштейн) Борис Григорьевич (р. 1914) — переводчик. **8** — 260.

Кривцова Александра Владимировна (?29.09.1958, Москва) — переводчик. **5** — 22, 200; **8** — 485.

Кристи, Агата Мэри Кларисса Миллер Christie, Agatha Mary Clarissa Miller (15.09.1890, Торквей, Дэвон — 12.01.1976, Уоллингфорд, Оксфордшир) — английская писательница. **6** — 211.

Кристи Сергей Михайлович (1922, Москва — 1986, Воскресенск) — поэт, журналист. **6** — 685.

Кронеберг Андрей Иванович (1815 или 1816, Харьков — 10(22).04.1855, Харьков) — переводчик, критик. **7** — 178; **9** — 595.

Крониг, Ральф де Лаер Kronig, Ralph de Laer (1904, Дрезден — 1995) — немецкий, американский математик, физик. **6** — 222.

Кручёных Алексей Елисеевич (9(21).02.1886, д. Олевка Херсонской губернии — 17.06.1968, Москва) — поэт. **9** — 330.

Кручинин Валентин Яковлевич (25.06.1892–1970) — композитор. **5** — 489.

Крылов Иван Андреевич (2(13).02.1769 (по другим данным 1768), Москва — 9(21).11.1844, С.-Петербург) — баснописец. **2** — 249, 450; **6** — 643; **7** — 165, 335; **9** — 192, 242, 525.

Крэйвен, Уэс Craven, Wes (р. 2.08.1939, Кливленд, Огайо) — американский режиссер, сценарист, продюсер, актер. **8** — 499.

Ксанина Ксения Афанасьевна (1897–1951) — переводчик. 7 — 214.

Кудинов Михаил Павлович (5.11.1922–1993) — поэт, переводчик. 7 — 282; 8 — 51, 85, 596; 10 — 718, 736.

Куняев Станислав Юрьевич (27.11.1932, Калуга) — поэт, редактор. 7 — 69.

Куприн Александр Иванович (26.08(7.09).1870, г. Наровчат, ныне Пензенской области — 25.08.1938, Ленинград) — писатель. 2 — 306; 3 — 332.

Курелла Валентина Николаевна (1909–1989) — переводчик. 1 — 91, (102).

Кушнер Александр Семенович (р. 14.09.1936, Ленинград) — поэт. 9 — 289, 365, (561).

Кэрролл, Льюис (настоящее имя **Доджсон, Чарльз Лутвидж**) **Carroll, Lewis (Dodgson, Charles Lutwidge)** (27.01.1832, Дэрсбери Чешир — 14.01.1898, Гилфорд, Суррей) — английский математик, писатель. 3 — 480; 5 — 66; 8 — 500.

Лавров (Миртов) Пётр Лаврович (2(14).6.1823, Мелехово, ныне Псковского района Псковской области — 25.01(6.02).1900, Париж) — социолог, публицист, поэт. 1 — 299.

Лазарев Владимир Яковлевич (р. 1936) — поэт, прозаик, литературовед. 8 — 547.

Ландор Михаил Белович (1935–1998) — переводчик, литературовед. 5 — 30.

Ланн Евгений (настоящее имя **Лозман Евгений Львович**) (13.05.1896 — 2.10.1958, Москва) — литературовед, поэт, переводчик. 8 — 485.

Лебедев-Кумач (настоящая фамилия **Лебедев**) **Василий Иванович** (24.07(5.08).1898, Москва — 20.02.1949, Москва) — поэт. 2 — 192; 3 — 384; 6 — 554.

Левик Вильгельм Вениаминович (13.01.1907, Киев — 1982, Москва) — поэт, переводчик, литературовед. 7 — 298.

Лем, Станислав Lem, Stanislaw (р. 12.09.1921, Львов — 27.03.2006, Краков) — польский писатель, философ, социолог. 5 — 48; 6 — 116; 7 — 113, 342; 8 — 462; 10 — 700.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (22.04.1870, Симбирск, ныне Ульяновск — 21.01.1924, Горки под Москвой) — политический деятель, глава государства. 1 — 144; 2 — 474; 7 — 60, 164; 8 — 592, 597; 9 — 62, 128, 276, (302, 315); 10 — 890.

Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805, Москва — 9(21).12.1860, Москва) — переводчик, писатель, актер. 9 — 137.

Леонов Леонид Максимович (19(31).05.1899, Москва — 8.08.1994, Москва) — писатель. 1 — 35, 297; 4 — 604–605; 6 — 581; 7 — 271, 349; 8 — 241, 461.

Лепский Георгий Соломонович (23.08.1919, Барнаул — 23.02.2002, Москва) — композитор, поэт, бард, педагог. 9 — 42, (140, 315, 344).

Лермонтов Михаил Юрьевич (3(15).10.1814, Москва — 15(27).07.1841, Пятигорск) — поэт, писатель. 2 — 398; 5 — 78; 6 — 221; 7 — 94; 8 — 22, 427, 506, 519; 9 — 236, 305; 10 — 654, 911.

Летурнер, Пьер Letourneur (Le Tourneur), Pierre (1736–1788) — французский писатель, переводчик. 5 — 24; 9 — 98.

Ливанов Василий Борисович (р. 19.07.1935, Москва) — актер, режиссер, писатель, сценарист. 7 — 352, (364, 377, 384).

Лившиц Дебора Григорьевна (1903, Нижний Новгород — 1988) — переводчик. 7 — 285; 8 — 527.

Лин, Дэвид Lean, David (25.03.1908, Кройдон — 16.04.1991, Лондон) — английский режиссер, сценарист, редактор, продюсер, актер. 7 — 427.

Линдгрэн, Астрид Анна Эмилия Эрикссон Lindgren, Astrid Anna Emilia Ericsson (14.11.1907, Виммербю — 28.01.2002, Стокгольм) — шведская писательница. 6 — 282; 7 — 436; 10 — 519.

Лиознова Татьяна Михайловна (Моисеевна) (р. 20.07.1924, Москва) — режиссер, сценарист. 7 — 413.

Липатов Виль Владимирович (10.04.1927, Чита — 1.05.1979, Москва) — писатель. 9 — 101.

Лихтенштадт Владимир Осипович (16.12.1882–15.10.1919, Ямбургский фронт, под Кипенью) — политический деятель, переводчик. 9 — 94–95.

Лог, Кристофер Logue, Christopher (р. 23.11.1926, Портсмут) — английский поэт, переводчик, драматург. **5** — 98.

Лозинский Михаил Леонидович (20.7.1886, Гатчина — 31.01.1955, Ленинград) — поэт, переводчик. **3** — 17; **9** — 56, 606; **10** — 27, 504.

Ломиковская Е.Н. — переводчик. **6** — 301; **10** — 429.

Ломоносов Михаил Васильевич (8(19).11.1711, Денисовка Архангельской губернии — 4(15).04.1765, Петербург) — ученый-естествоиспытатель, поэт. **1** — 140, 568; **9** — 55.

Лондон, Джек London, Jack (Griffith Chaney, John) (12.01.1876, Сан-Франциско, Калифорния — 22.11.1916, Глен-Эллен, Калифорния) — американский писатель. **1** — 91, (102); **4** — 522; **6** — 676; **7** — 298; **8** — 570; **9** — 100, 460, (464–465).

Лопырева Елена Александровна (1904–?) — переводчик. **7** — 398.

Львов Алексей Фёдорович (5.06.1798–16.12.1870, имение Романи близ Ковно) — композитор. **7** — 57; **10** — 104.

Львов Владимир Евгеньевич (1904–2000) — журналист, популяризатор науки. **5** — 231.

Любимов Николай Михайлович (20.11.1912, Москва — 22.12.1992) — переводчик. **8** — 430.

Людовик XI Louis (3.07.1423, Бурж — 30.08.1483, Плесси-ле-Тур) — французский король. **3** — 296.

Макиавелли, Никколо Machiavelli, Niccolo (3.05.1469, Флоренция — 21.06.1527, Флоренция) — итальянский политический и военный мыслитель, писатель. **3** — 296; **9** — 73.

Макферсон, Джеймс Macpherson, James (27.10.1736, Рутвен, Баденох, Инвернес — 17.02.1796, Баденох) — шотландский поэт. **4** — 443.

Макферсон, Кристина Macpherson, Christina (1870?–1950?) — австралийская композитор. **10** — 800.

Малиновский Александр Александрович (12.07.1909, Париж — 16.04.1996) — биолог, генетик, социолог, переводчик. **1** — 196.

Мандельштам Исая Бенедиктович (1885, Киев — 1954, Алма-Ата) — переводчик. **4** — 653; **8** — 427.

Мандельштам Осип Эмильевич (3(15).01.1891, Варшава — 27.12.1938, пересыльный лагерь под Владивостоком) — поэт. **2** — 480; **8** — 79; **10** — 113, (122), 911.

Манин Юрий Иванович (р. 16.02.1937, Симферополь) — математик, поэт, приятель АБС. **8** — 47, 79; **10** — 739.

Манциарли Ирма Владимировна де (ум. ок. 1945, по другим данным — в 1950-е гг.) — теософ, журналист, переводчик. **5** — 66.

Марк Аврелий Marcus Aurelius (26.04.121–17.03.180, Виндобона, совр. Вена) — римский император, философ. **6** — 724; **7** — 136; **9** — 276; **10** — 20.

Маркевич С. — переводчик. **4** — 347.

Маркова Вера Николаевна (4.03.1907, Минск — 1995, Москва) — переводчик, поэтесса. **2** — 506; **7** — 515; **8** — 102, 141; **10** — 7, 509.

Маркс, Карл Генрих Marx, Karl Heinrich (5.05.1818, Трир — 14.03.1883, Лондон) — немецкий философ, экономист, политик. **2** — 288, 565; **3** — 392, 408, 453, 629; **5** — 185; **6** — 592; **9** — 74, 419; **10** — 781.

Марриет, Фредерик Marryat, Frederick (10.07.1792, Лондон — 9.08.1848, Ленгем, графство Норфолк) — английский писатель. **10** — 220, (239).

Мартынов Георгий Сергеевич (2(15).10.1906, Гродно — 26.10.1983, Ленинград) — писатель. **5** — 189.

Мартынов Леонид Николаевич (9(22).05.1905, Омск — 27.06.1980, Москва) — поэт, переводчик. **5** — 98.

Маршак Самуил Яковлевич (22.10(3.11).1887, Воронеж — 4.07.1964, Москва) — поэт, переводчик. **3** — 293, 392; **5** — 231; **8** — 500; **9** — 440, 466; **10** — 347.

Матвеев Венедикт Николаевич (псевдоним: Март) (1896, Владивосток — 1937, Киев) — поэт, писатель. **9** — 506.

Маяковский Владимир Владимирович (7(19).7.1893, село Багдади, Грузия — 14.04.1930, Москва) — поэт, драматург. 1 — 62, 535, 565; 2 — 480; 5 — 178, 185, 198, 343; 7 — 108, 368, 455; 8 — 115; 9 — 62, 244, 434, 605; 10 — 530, 882.

Мелвилл, Герман Melville, Herman (1.08.1819, Нью-Йорк — 28.09.1891, Нью-Йорк) — американский писатель. 5 — 354; 7 — 333; 10 — 948.

Мелетинский Елеазар Моисеевич (р. 22.10.1918, Харьков — 16.12.2005, Москва) — философ, культуролог. 7 — 9.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (2(14).08.1866, Петербург — 9.12.1941, Париж) — писатель, философ. 5 — 198.

Мижо, Марсель Migeo, Marcel (1902–19??) — писатель, биограф. 2 — 7; 8 — 23.

Миллер Фёдор Богданович (22.01.(3.02).1818, Москва — 20.01.(1.02).1881, Москва) — поэт, переводчик. 1 — 452; 2 — 298.

Милн, Алан Александр Milne, Alan Alexander (18.01.1882, Хэмпстэд — 31.01.1956, Хартфилд) — английский писатель. 8 — 316; 8 — 484; 9 — 466.

Мильтон, Джон Milton, John (9.12.1608, Чипсайд, Лондон — 8.11.1674, Шальфонг-Сент-Жильс, Бэкингемшир) — английский поэт. 7 — 29, 49, 643.

Михайлов Михаил Ларионович (4(16).01.1829, Оренбург — 3(15).08.1865, Кадая, ныне Читин. обл.) — поэт, публицист, критик, переводчик. 9 — 81.

Михайлов Олег Николаевич (р. 18.06.1933) — писатель, литературовед. 6 — 491; 10 — 59.

Мичурин Иван Владимирович (15(27).10.1855, пом. Вершина близ д. Долгое, ныне Мичуровка Пронского р. Рязанской обл. — 7.06.1935, Мичуринск Тамбов. обл.) — селекционер. 5 — 149, 343.

Мишин (Литвин) Михаил Анатольевич (р. 2.04.1947, Ташкент) — писатель. 9 — 541.

Мищенко А.А. — переводчик. 9 — 385, (411, 440), 543.

Мокроусов Борис Андреевич (14(27).02.1909, Нижний Новгород — 27.03.1968, Москва) — композитор. 7 — 432.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (25.02.1890, слобода Кукарка Нолинского уезда Вятской губернии — 8.11.1986, Москва) — политический деятель. 5 — 348; 9 — 348.

Мольер (настоящее имя Поклен, Жан Батист) Molière (Roquelin, Jean Baptiste) (15.01.1622, Париж — 17.02.1673, Париж) — французский драматург. 6 — 697; 9 — 511.

Монро, Роберт Аллан Monroe, Robert Allan (1915, Лексингтон, Кентукки — 17.03.1995) — американский бизнесмен, психолог, исследователь паранормальных явлений, писатель. 9 — 484.

Монтень, Мишель де Montaigne, Michel Eyguem de (28.02.1533, замок Монтень близ Бордо — 13.09.1592, там же) — французский философ, писатель. 5 — 311.

Мопассан, Ги (полное имя — Анри Рене Альбер Ги) де Maupassant, Henri René Albert Guy de (5.08.1850, замок Миромениль близ Турвиля-сюр-Арк, Приморская Сена — 6.07.1893, Париж) — французский писатель. 5 — 103.

Морозова Ксения Алексеевна (1880–1948) — писательница, переводчик, пианист. 5 — 184.

Моцарт, Вольфганг Амадей Mozart, Wolfgang Amadeus (Johannes Chrisostom Wolfgangus Theopilus Sigismundus) (27.01.1756, Зальцбург — 5.12.1791, Вена) — австрийский композитор. 5 — 311, (524).

Мстиславский С. (настоящее имя Масловский Сергей Дмитриевич) (23.08(04.09).1876, Москва — 22.04.1943, Иркутск) — писатель. 8 — 544.

Муравьёва Галина Даниловна — переводчик, преподаватель. 9 — 73.

Мурадели Вано Ильич (24.03.1908, Гори Тифлисской губернии — 14.08.1970, Томск) — композитор. 6 — 422.

Мурасаки Сикибу Murasaki Shikibu (около 978 — около 1016) — японская писательница. 1 — 561.

Мусоргский Модест Петрович (9(21).03.1839, с. Карево, ныне Торопецкого района Калининской области — 16(28).03.1881, Петербург) — композитор. 7 — 57.

Мэлори, Томас Malory, Thomas (р. между 1414 и 1420, Нью-Болд Ревел, Уорикшир — 14.03.1471, Лондон) — английский писатель. **5** — 100.

Мюллер, Вильгельм Müller, Wilhelm (7.10.1794, Дессау — 3.09.1827, Дессау) — немецкий поэт, переводчик. **10** — 31.

Навроцкий Александр Александрович (псевдоним: Н.А. Вроцкий) (1(13).03.1839, С.-Петербург — 28.05(10.06).1914) — поэт, композитор. **9** — 106.

Назаров Эдуард Васильевич (р. 23.11.1941, Москва) — режиссер-аниматор, художник. **9** — 419.

Налимов Василий Васильевич (4.11.1910, Москва — 19.01.1997, Москва) — математик, философ. **9** — 467.

Нейман, Джон фон Neumann, John von (28.12.1903, Будапешт — 8.02.1957, Вашингтон) — американский математик, конструктор. **9** — 125.

Некрасов Андрей Сергеевич (17.06.1907, Москва — 1987) — писатель. **5** — 125.

Некрасов Николай Алексеевич (28.11(10.12).1821, местечко Немиров, ныне Винницкой области — 27.12.1877 (8.01.1878), Петербург) — поэт, журналист. **3** — 26; **5** — 322, (486, 567); **6** — 589; **7** — 33, 54, 143; **8** — 188, 448; **9** — 378; **10** — 909.

Немирович-Данченко Василий Иванович (24.12.1848 (5.01.1849), Тифлис — 18.09.1936, Прага) — писатель, переводчик; см. Славянский В.И. **6** — 685. **6** — 685.

Нефедьев В. — переводчик. **5** — 175.

Никитин Сергей Яковлевич (8.03.1944, Москва) — композитор, бард. **9** — 305.

Николсон, Рейнольд Аллейн Nicholson, Reynold Alleyne (18.08.1868, Кигли, Йоркшир — 27.08.1945, Честер, Чешир) — английский историк-арабист. **7** — 170.

Ницше, Фридрих Вильгельм Nietzsche, Friedrich Wilhelm (15.10.1844, Рёккен — 25.08.1900, Веймар) — немецкий философ. **2** — 57, 104, 533; **5** — 416; **7** — 140, 630; **8** — 94, 584; **9** — 95, 305; **10** — 467, 798.

Нишанов Рафик Нишанович (р. 15.01.1926, с. Газалкент Бостанлыкского района Ташкентской области) — политический деятель. **9** — 561.

Новиков Анатолий Григорьевич (18(30).10.1896, Скопин, ныне Рязанской области — 23.09.1984) — композитор. **8** — 569.

Нордау, Макс (Сюдфельд, Симон Максимилиан) Nordau, Max (Sudfeld, Simon Maximilian или Simcha Miksa) (29.07.1849, Будапешт — 23.01.1923, Париж) — французский еврейский писатель, философ, один из основателей Всемирной Сионистской организации. **9** — 584.

Нортон, Эндрю (настоящее имя Нортон, Алиса Мэри) Norton, Andrew/Andre (Norton, Alice Mary) (17.02.1912, Кливленд, Огайо — 14.03.2005, Мерфрисборо, Теннесси) — американская писательница. **2** — 171.

Ньютон, Исаак Newton, Isaac (4.01.1643, Вулсторп, Линкольншир — 31.03.1727, Лондон) — английский физик, математик, астроном. **10** — 467.

Обручев Владимир Афанасьевич (28.9(10.10).1863, село Клепенино, ныне Тверской области — 19.06.1956, Москва) — геолог, географ, писатель. **10** — 944.

Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич (29.08.1905, Москва — 30.04.1997) — писатель, журналист. **6** — 496.

Овечкин Валентин Владимирович (9(22).06.1904, Таганрог — 27.01.1968, Ташкент) — писатель, публицист. **8** — 457.

Овидий (Публий Овидий Назон) Publius Ovidius Naso (20.03.43 до н.э., Сульмона — 17 или 18 н.э., Томы, совр. Констанца, Румыния) — римский поэт. **9** — 69.

О. Генри (настоящее имя Портер, Вильям Сидни) O. Henry (Porter, William Sydney) (11.09.1862, Северная Каролина — 5.06.1910, Нью-Йорк) — американский писатель. **5** — 221.

Одоевский Александр Иванович (26.11(8.12).1802, С.-Петербург — 15(27).08.1839, укрепление Псезуапэ, ныне поселок Лазаревское, близ Сочи) — декабрист, поэт. **10** — 55–56.

Оккам, Уильям William of Ockham (or Ockham) (1285, Оккам, Суррей — 1349, Мюнхен) — английский монах, философ, писатель. 4 — 494; 9 — 42.

Окуджава Булат Шалвович (9.05.1924, Москва — 12.06.1997, Париж) — поэт, бард, писатель. 5 — 101; 6 — 607; 7 — 216, 449, (460); 8 — 138, 524, 541, 569; 9 — 59, 74, 382.

Ольгин Алексей (настоящее имя Моргачев Лев Семенович) (р. 18.05.1931, Ленинград) — поэт. 9 — 79.

Оношквич-Яцьна Ада (Олимпиада) Ивановна (1896—1935) — переводчик. 6 — 708; 8 — 504.

Оруэлл, Джордж (настоящее имя Блэр, Эрик Артур) **Orwell, George (Blair, Eric Arthur)** (25.06.1903, Мотихари, Бенгалия, Индия — 21.01.1950, Лондон) — английский писатель. 7 — 629; 8 — 584; 10 — 758, 831.

Осипов Иван (Ванька-Каин) (1718 — после 1756) — разбойник, сыщик, поэт. 6 — 466.

Осипова Е. — переводчик. 9 — 6.

Островский Александр Николаевич (31.03(12.04).1823, Москва — 2(14).06.1886, Щельково, ныне Островского района Костромской области) — драматург. 10 — 821.

Островский Николай Алексеевич (16(29).09.1904, село Виля, ныне Острожского района Ровенской области — 22.12.1936, Москва) — писатель. 8 — 439.

Охрименко Алексей Петрович (16.01.1923, Москва — 17.06.1993, Москва) — поэт, журналист. 6 — 685.

Ошанин Лев Иванович (17(30).05.1912, Рыбинск, ныне Ярославской области — 31.12.1996) — поэт. 8 — 569.

Панина Полина Георгиевна — певица, поэтесса. 7 — 216; 9 — 59, 382.

Паскаль, Блез Pascal, Blaise (19.06.1623, Клермон-Ферран — 19.08.1662, Париж) — французский математик, физик, философ, писатель. 5 — 37; 6 — 163; 10 — 830.

Пастернак Борис Леонидович (29.01(10.02).1890, Москва — 30.05.1960, Переделкино Ленинского района Московской обл.) — поэт, писатель, переводчик. 2 — 18; 3 — 610; 8 — 141, 286; 9 — 302; 10 — 831, 869.

Патерсон, Эндрю Бартон «Банджо» Paterson, Andrew Barton «Banjo» (17.02.1864, Нарамбла, близ Оринджа, Новый Южный Уэльс — 6.02.1941) — австралийский поэт, писатель, журналист. 10 — 800.

Пахмутова Александра Николаевна (9.11.1929, Бекетовка, Волгоградской обл.) — композитор. 5 — 241.

Пацкевич В.М. — переводчик. 1 — 89.

Периханянц Яков Иванович (1879—?) — биолог, физиолог. 10 — 761.

Петров Владимир Михайлович (10(22).07.1896, С.-Петербург — 7.01.1966, Москва) — режиссер, сценарист. 7 — 451; 8 — 442; 10 — 755, 798.

Петров (Катаев) Евгений Петрович (13.12.1903, Одесса — 2.07.1942, в авиакатастрофе между Севастополем и Москвой) — писатель, сценарист. 1 — 95; 2 — 288, 357, 421; 3 — 298; 5 — 114, 346; 7 — 280, 300, 435, 451; 8 — 494; 9 — 69, 181, 303, 353, 483, 486; 10 — 489, 764, 805, 848, 875, 898, 905, 909.

Петров Л. — переводчик. 8 — 596.

Петровский Михаил Александрович (1887, Москва — 1937, Томск (по другим сведениям — 1940, лагерь близ Томска)) — писатель, литературовед, переводчик. 5 — 177.

Пикуль Валентин Саввич (13.07.1928, Ленинград — 17.07.1990, Рига) — писатель. 4 — 457.

Писарев Дмитрий Иванович (2(14).10.1840, с. Знаменское, ныне Липецкой области — 4(16).07.1868, Дуббельн, ныне часть г. Юрмала, Латвия) — публицист, критик, философ. 8 — 537.

Пифагор Самосский Pythagoras of Samos (ок. 560, о. Самос — 480 до н.э.) — древнегреческий математик, философ. 1 — 589.

Плавильщиков Николай Николаевич (17(29).05.1892, Москва — 7.02.1962, Москва) — зоолог, переводчик. **5** — 305, (518).

По, Эдгар Аллан Рое, Edgar Allan (19.01.1809, Бостон — 7.10.1849, Балтимор) — американский поэт, писатель. **5** — 43, 90.

Повель (Пауэлл), Луи Pauwels, Louis (02.08.1920, Paris — 28.01.1997) — французский писатель, журналист. **4** — 71–72; **6** — 209, 415.

Пожлаков Станислав Иванович (04.01.1937, Ленинград — 26.09.2003, С.-Петербург) — композитор. **9** — 79.

Покрасс Самуил Яковлевич (1897 (по другим данным 1895), Киев — 15.09.1939, Нью-Йорк) — композитор. **5** — 101.

Полак Иосиф Федорович (1881 — 1954) — астроном, популяризатор науки. **10** — 948.

Поллок, (Пол) Джексон Pollock, (Paul) Jackson (28.01.1912, Коди, Вайоминг — 11.08.1956, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американский художник. **9** — 54.

Поляков Владимир Соломонович (1.12.1909, Петербург — 15.02.1979) — писатель. **9** — 152.

Померанцева Раиса Николаевна (6.06.1923, Москва — 12.09.1989, Москва) — переводчик. **5** — 43.

Помяловский Николай Герасимович (11(23).04.1835, С.-Петербург — 5(17).10.1863, С.-Петербург) — писатель. **2** — 472; **7** — 384, 530; **9** — 377.

Попов А.И. — редактор. **3** — 13.

Потье, Эжен Эдин Pottier, Eugène Edine (4.10.1816, Париж — 6.11.1887, Париж) — французский поэт. **5** — 101, 359; **7** — 146, 525; **10** — 109, 538, 693, 838.

Похитонов И. — композитор. **7** — 216; **9** — 59, 382.

Пригожин Илья Романович Prigogine Пиа (25.01.1917, Москва — 28.05.2003, Брюссель) — бельгийский физик, химик, философ. **9** — 576.

Пристли, Джон Бойнтон Priestley, John Boynton (13.09.1894, Брэдфорд, Йоркшир — 14.08.1984, Стратфорд-на-Эйвоне, Уорикшир) — английский писатель. **5** — 507; **10** — 768.

Прозоровский Борис Алексеевич (30.06.1891, Петербург — 1937, лагерь, Хабаровский край) — композитор. **5** — 489.

Пророков Борис Иванович (26.04(9.05)1911, Иваново-Вознесенск, ныне Иваново — 19.09.1972, Москва) — художник. **5** — 39.

Публилий Сир Publilius Syrus (I в. до н.э.) — римский драматург, актер, моралист. **1** — 521.

Пушкин Александр Сергеевич (26.05(6.06).1799, Москва — 29.01(10.02).1837, С.-Петербург) — поэт, писатель, драматург. **1** — 21, 70, 202, 314, 421, 441, (491), 465, 524; **2** — 298, 460, 464, 503; **3** — 15, 277, (339); **5** — 6, 11, 136, 448, 480; **6** — 116, 652; **7** — 25, 51, 93, 98, 154, 209, 377, 456, 572; **8** — 23, 95, 156, (189), 413, 438, 484, 529, 576, 581, 593; **9** — 60, 62, 72, 79, 221, 319, (324), 349, 356, 417, 469, 476, 536, 547, 549, 574, 575, 602, 612; **10** — 32, 41, 60, 63, 100, 162, 190, 377, 453, 467, 489, 561–562, 837.

Пушкин Василий Львович (27.04(8.05).1770, Москва — 20.08(1.09).1830, Москва) — поэт. **9** — 602.

Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886, СПб. — 1940, Голицыно Московской обл.) — поэт, переводчик. **5** — 137, 152.

Пятницкий Владимир Павлович (1938–1978) — художник, писатель. **9** — 62, (192, 565).

Рабле, Франсуа Rabelais, François (около 1494, близ г. Шинон, Турень — 9.04.1553, Париж) — французский писатель. **5** — 137, 152, 268; **10** — 310.

Радищев Александр Николаевич (20(31).08.1749, Москва — 12(24).09.1802, Петербург) — писатель, публицист. **8** — 506.

Райдзан Кониши Raidzan Konisi (1653–1716) — японский поэт. **10** — 7.

Райкин Аркадий Исаакович (11(24).10.1911, Рига — 20.12.1988, Москва) — актер. **9** — 152.

Райт-Ковалева Рита Яковлевна (настоящее имя Черномордик Раиса Яковлевна) (19.04.1898, Курск — 30.12.1988) — переводчик. **3** — 629; **6** — 115; **8** — 545, 597.

Раневская Фаина Георгиевна (настоящее имя Фельд Фаня Григорьевна) (27.08.1896—19.07.1984) — актриса. **10** — 20.

Распе, Рудольф Эрих Raspe, Rudolf Erich (1737, Ганновер — ?11.1794, Макросс, Керри, Ирландия) — немецкий писатель. **3** — 403, (451); **8** — 573.

Рахим Зея Абдул Карим оглы (25.12.1923, Мукден (фактически 1922, Токио) — 30.01.1998, Москва) — переводчик. **5** — 19.

Рельштаб, Людвиг Генрих Фридрих Rellstab, Ludwig Heinrich Friedrich (13.04.1799 Берлин — 28.11.1860 Берлин) — немецкий писатель, поэт, драматург, музыкальный критик, либреттист. **4** — 373.

Ремарк, Эрих Мария Remarque (Remark), Erich Maria (22.6.1898, Оснабрюк — 25.9.1970, Локарно, Швейцария) — немецкий писатель. **7** — 630; **8** — 260, 547.

Ременникова Юлия Сергеевна (1914—1942, Ленинград) — переводчик. **7** — 610.

Ренар, Морис Renard, Maurice (28.02.1875, Шало-Сен-Мар — 18.11.1939, Рошфор) — французский писатель. **5** — 259.

Репин Илья Ефимович (24.7(5.8).1844, Чугуев, ныне Харьковской области — 29.09.1930, Куоккала, Финляндия, ныне Репино Ленинградской области) — художник. **1** — 516.

Рерих Николай Константинович (27.9(9.10).1874, Петербург — 13.12.1947, Нагар, долина Кулу, штат Пенджаб, Индия) — художник, философ. **6** — 347; **10** — 27, 726—727.

Рёскин, Джон Ruskin, John (8.02.1819, Лондон — 20.01.1900, Брэндвуд, Ланкашир) — английский теоретик искусства, критик. **10** — 864.

Рид, Джон Reed, John (22.10.1887, Портленд — 17.10.1920, Москва) — американский журналист, писатель. **7** — 405; **9** — 62.

Рид, Уильям Максвелл Reed, William Maxwell (12.01.1871, Бат, Мэриленд — ?09.1962) — американский популяризатор науки. **10** — 944.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (6(18).03.1844, Тихвин — 8(21).06.1908, усадьба Любенск, близ Луги, ныне Ленинградской области) — композитор. **1** — 414.

Робинсон, Эрл Холи Robinson, Earl Hawley (2.07.1910, Сиэтл — 20.07.1991, Сиэтл) — американский композитор. **9** — 342.

Роговин С.М. — переводчик. **6** — 724; **7** — 136; **9** — 276; **10** — 20.

Рождественский Роберт Иванович (20.06.1932, с. Косиха Алтайского края — 19.08.1994, Переделкино Московской области) — поэт. **9** — 137.

Розанов Всеволод Михайлович (1915—1985) — переводчик. **5** — 413.

Розенталь Роза Абрамовна (1889, Гомель — 1960) — переводчик, писательница. **6** — 586; **8** — 516.

Розенталь Феликс Абрамович — переводчик, журналист. **8** — 596.

Розенфельд Ефим Маркович (1894—1964) — композитор. **7** — 341.

Ромм Александр Ильич (5(18).03.1898, С.-Петербург — 2.10.1943, Сочи) — переводчик. **7** — 405.

Ростан, Жан Rostand, Jean (30.10.1894, Париж — 3.09.1977, Виль-Д'Эвре) — французский генетик, философ. **10** — 867.

Роу Александр Артурович (21.02.1909, Москва — 28.12.1973, Москва) — режиссер. **5** — 84.

Руже де Лиль, Клод Жозеф Rouget de Lisle, Claude Joseph (10.05.1760, Лон-ле-Сонье — 26 или 27.06.1836, Шуази-ле-Руа) — французский композитор. **1** — 299.

Румер Осип Борисович (1883—1954) — переводчик, филолог-полиглот. **4** — 467.

Рыбаков Вячеслав Михайлович (р. 19.01.1954, Ленинград) — синолог, писатель. **7** — 368.

Рыкова Надежда Януарьевна (29.12.1901, Симферополь — 1996) — поэтесса, переводчик, редактор. **7** — 398.

Рыленков Николай Иванович (2(15).02.1909, дер. Алексеевка, ныне Рославльский район Смоленской области — 23.06.1969, Смоленск) — поэт. **9** — 66.

Рюльер, Клод Шарлемань де Rulhière, Claude-Carloman de (12.06.1734 (или 1735), Бонди — 30.01.1791, Бонди) — французский дипломат, историк, мемуарист. **9** — 537.

Сабатини, Рафаэль Sabatini, Rafael (29.04.1875, Италия — 13.02.1950, Швейцария) — английский писатель. **9** — 518.

Савельев (Липавский) Леонид Савельевич (1904–1941) — писатель, популяризатор науки, переводчик. **10** — 944.

Савченко Владимир Иванович (15.02.1933, Полтава — 27.01.2005, Киев) — писатель. **7** — 368.

Савченко Игорь Андреевич (28.09 (11.10).1906, Винница — 14.12.1950, Москва) — режиссер. **1** — 434.

Сазонов Ю.П. — переводчик. **10** — 755.

Саймак, Клиффорд Дональд Simak, Clifford Donald (3.08.1904, Милвилл, Висконсин — 25.04.1988, Миннеаполис, Миннесота) — американский писатель. **10** — 80.

Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия Салтыков; псевдоним Н. Щедрин) Михаил Евграфович (15(27).01.1826, с. Спас-Угол, ныне Калязинский р. Калининской обл. — 28.04(10.05).1889, Петербург) — писатель, публицист. **6** — 589, 660; **7** — 71, 142, 168, 379, 420, 451, 526; **8** — 91, 343, 344, 502, 588; **9** — 74, 80, 100, (172, 243); **10** — 18, 20, 29, 37, 56, 538, 815, 848, 934.

Сартен, Пьеретта Sartin, Pierette (р. 10.11.1911) — французская социолог. **10** — 867.

Свенссон, Арне Svensson, Arne (16.04.1920, Хуннестед) — шведский криминалист. **5** — 29.

Светлов Михаил Аркадьевич (4(17).06.1903, Екатеринослав, ныне Днепрпетровск — 28.09.1964, Москва) — поэт. **7** — 69, 114, 419, (420–420, 459); **8** — 503; **9** — 124; **10** — 20.

Свешников Александр Васильевич (30.08(11.09) 1890, Коломна — 3.01.1980, Москва) — композитор. **9** — 89.

Свифт, Джонатан Swift, Jonathan (30.11.1667, Дублин — 19.10.1745, Дублин) — ирландский писатель. **5** — 309, (522); **9** — 448, 480.

Свободин Михаил Павлович (1880–1906) — журналист, поэт, переводчик. **9** — 336, (339–340); **10** — 863.

Северянин Игорь (настоящее имя Лотарев Игорь Васильевич) (4(16).05.1887, С.-Петербург — 20.12.1941, Таллин) — поэт. **10** — 748.

Селин, Луи-Фердинанд Céline, Louis-Ferdinand (настоящая фамилия Destouches) (27.05.1894, Курбеуа, близ Парижа — 1.07.1961, Мёдон) — французский писатель. **9** — 500.

Сельвинский Илья (Карл) Львович (12(24).10.1899, Симферополь — 22.03.1968, Москва) — поэт. **9** — 309.

Семенов А. — переводчик. **5** — 190.

Семенов К. — переводчик. **9** — 484.

Семенов (Тауб) Юлиан Семенович (8.10.1931, Москва — 5.09.1993) — писатель, сценарист. **7** — 90, 414.

Сен-Симон, Клод Анри де Рувруа Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy (17.10.1760, Париж — 19.05.1825, Париж) — французский социолог, философ. **10** — 534.

Сенека Старший Луций Анней Marcus (Lucius) Annaeus Seneca (Seneca the Elder) (ок. 54 до н.э., Кордова, Испания — ок. 39 н.э.) — римский ритор, историк, писатель. **5** — 311.

Сент-Экзюпери, Антуан Жан Батист Мари Роже де Saint-Exupéry, Antoine Jean Baptiste Marie Roger de (29.06.1900, Лион — 31.07.1944, в авиакатастрофе у побережья Марселя) — французский летчик, писатель. **2** — 7; **8** — 23.

Сервантес Сааведра, Мигель де Cervantes Saavedra, Miguel de (крещен 9.10.1547, Алькала-де-Энарес — 23.04.1616, Мадрид) — испанский писатель. **5** — 181; **8** — 119; **9** — 203, (212).

Сертис, Роберт Смит Surtees, Robert Smith (17.05.1803, Дарем, Ридинг, Нортумберленд — 16.03.1864, Брайтон, Сассекс) — английский писатель. 9 — 541.

Сигер, Пит (Питер) Seeger, Pete (Peter) (р. 3.05.1919, Нью-Йорк) — американский поэт, бард. 2 — 396; 3 — 339.

Сиделев Сергей Ильич (21.12.1906, Москва — 4.10.1962, Ленинград) — режиссер. 1 — 166, (173).

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (15(28).11.1915, Петроград — 28.08.1979, Москва) — поэт, писатель. 10 — 886.

Симонов Павел Васильевич (р. 20.04.1926, Ленинград — 2002) — физиолог. 8 — 116.

Синг В. — переводчик, редактор. 5 — 25.

Скиапарелли, Джованни Вирджинио Schiaparelli, Giovanni Virginio (14.03.1835, Савильяно, Пьемонт — 4.07.1910, Милан) — итальянский астроном. 10 — 948.

Скляр Е. — композитор. 7 — 430.

Скотт, Вальтер Scott, Walter (15.08.1771, Эдинбург — 21.09.1832, Абботсфорд) — английский писатель, поэт. 7 — 610.

Смехов Вениамин Борисович (р. 10.08.1940, Москва) — актер, режиссер, писатель. 9 — 305.

Смирнов Игорь Павлович (р. 1941) — эссеист, литературовед, философ. 9 — 530.

Снорри Стурлусон Snorri Sturluson (1178, Хвамм — 23.09.1241) — исландский историк, поэт, государственный деятель. 9 — 429.

Соболь Марк Андреевич (1918, Москва — 20.02.1999, Москва) — поэт. 2 — 329, (332).

Солженицын Александр Исаевич (р. 12.12.1918, Кисловодск) — писатель, публицист, общественный деятель. 9 — 73, 79, 582; 10 — 788, 911.

Соловейчик Симон Львович (1.10.1930—18.10.1996) — педагог, писатель, журналист. 7 — 186.

Сологуб Фёдор (настоящее имя Тетерников Фёдор Кузьмич) (17.02(1.03).1863, С.-Петербург — 5.12.1927, Ленинград) — поэт, писатель. 6 — 565.

Спиноза, Бенедикт (Барух) Spinoza, Benedictus (Baruch) (24.11.1632, Амстердам — 21.02.1677, Гаага) — нидерландский философ. 9 — 95.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12.1879, Гори — 5.03.1953, Москва) — политический деятель, глава государства. 5 — 348, 432, (540); 6 — 415, 458, 660; 7 — 99, 100; 8 — 587; 9 — 62, (205), 315, 348.

Сталь-Гольштейн, Анна Луиза Жермена де Staël-Holstein, Anne Louise Germaine Necker de (16 или 22.04.1766, Париж — 14.07.1817, Париж) — французская писательница. 4 — 507; 5 — 319.

Станевич-Анисимова Вера Оскаровна (14.12.1890, С.-Петербург — 26.12.1967, Москва) — переводчик. 8 — 594.

Старцев (Кунин) Абель Исаакович (1909, Мариамполь, Литва — 2005) — редактор, критик, переводчик. 8 — 579.

Стаут, Рекс Stout, Rex (Todhunter) (1.12.1886, Ноблсвилль, Индиана — 27.10.1975, Данбери, Коннектикут) — американский писатель. 9 — 453.

Стенгерс, Изабелла Stengers, Isabelle (р. 22.09.1949, Брюссель) — бельгийский философ, химик, историк науки. 9 — 576.

Стендаль Фредерик (настоящее имя Бейль, Анри Мари) Stendhal, Frederick (Beyle, Henri-Marie) (23.01.1783, Гренобль — 23.03.1842, Париж) — французский писатель. 1 — 195, (202).

Степанов Александр Николаевич (21.01(2.02).1892, Одесса — 30.10.1965, Москва) — писатель. 10 — 753.

Стерлинг, Джордж Sterling, George (1869, Лонг-Айленд, Нью-Йорк — 17.11.1926, Сан-Франциско, Калифорния) — американский поэт. 7 — 298.

Стёрджес, Джон Элиот Sturges, John Eliot (3.01.1911, Оук-Парк, Иллинойс — 18.08.1992, Сан-Луи-Обиспо, Калифорния) — американский режиссер. 7 — 432.

Стивенсон, Роберт Льюис Бальфур Stevenson, Robert Lewis Balfour (13.11.1850, Эдинбург — 3.12.1894, о. Самоа) — английский писатель. 5 — 218; 8 — 441; 9 — 449, 561; 10 — 703.

Столпер Александр Борисович (30.07(12.08).1907, Двинск (Даугавпилс), Латвия — 12.01.1979, Москва) — режиссер, сценарист. 10 — 886.

Стотхарт, Херберт Stothart, Herbert (11.09.1885, Милуоки, Висконсин — 1.02.1949, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский композитор. 10 — 20.

Стржелинский Юрий С. (1936–2004) — композитор. 7 — 114.

Стромилов Семен Николаевич (1810–?) — поэт. 2 — 377.

Стругацкий Аркадий Натанович (28.08.1925, Батуми — 12.10.1991, Москва) — писатель, переводчик. 2 — 139, 177; 5 — 19; 10 — 69.

Стругацкий Борис Натанович (р. 15.04.1933, Ленинград) — писатель, переводчик. 4 — 507.

Суворов Александр Васильевич (13(24).11.1730, Москва — 6(18).05.1800, С.-Петербург) — военачальник, военный теоретик. 1 — 501; 2 — 188; 7 — 451, 513; 8 — 489, 508; 10 — 69.

Суриков Иван Захарович (25.03(6.04).1841, д. Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии — 24.04(6.05).1880) — поэт. 6¹ — 423.

Сэй-Сэнагон Sei Shonagon (Senagon) (966 — 1017) — японская писательница. 8 — 158.

Сэлинджер, Джером Дэвид Salinger, Jerome David (р. 1.01.1919, New York) — американский писатель. 3 — 629; 4 — 656; 10 — 836.

Тааббата Шарран Taabbata Sharran (Taʿabbata-sharran) (6 в. н. э.) — арабский поэт. 7 — 170.

Табачников Модест (Манус) Ефимович (1913, Одесса — 1977) — композитор. 9 — 46.

Таманцев Николай Алексеевич (1918–1960) — редактор. 7 — 57, 199, 225; 8 — 527; 9 — 64; 10 — 805.

Татарина И.С. — переводчик. 3 — 7; 10 — 613.

Ташков Евгений Иванович (р. 1.01.1927, с. Быково Сталинградской области) — режиссер, сценарист, актер. 10 — 9.

Твен, Марк (настоящее имя Клеменс, Сэмюэль Ленгхорн) Twain, Mark (Clemens, Samuel Langhorne) (30.11.1835, Флорида, Миссури — 21.04.1910, Реддинг, Коннектикут) — американский писатель, журналист. 2 — 430; 3 — 483; 4 — 335; 5 — 100; 6 — 120; 7 — 529; 8 — 579.

Теннисон, Альфред Tennyson, Alfred (5.08.1809, Сомерсби, Линкольншир — 6.10.1892, Олдворт, Суррей) — английский поэт. 1 — 284; 5 — 351; 7 — 416, (431, 439)

Терентьев И.В. — биолог, физиолог. 10 — 761.

Теренций Афр Публий Publius Terentius Afer (Terence) (ок. 195, Карфаген — 159 до н.э.) — римский поэт, драматург. 4 — 507; 9 — 69; 10 — 44.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс Tertullianus Quintus Septimus Florens (ок. 160, Карфаген — после 220) — римский раннехристианский писатель, богослов. 7 — 80, (100).

Тимофеев Борис Николаевич (1899–1963) — переводчик. 10 — 20.

Тимофеева М.Н. — переводчик. 5 — 103.

Типот (Гинзбург) Виктор Яковлевич (16.03.1893–2.10.1960) — режиссер, сценарист. 10 — 20.

Токугава Иэясу Tokugawa Ieyasu (31.01.1543, Оказаки — 1.06.1616, Сумпу) — японский политический деятель. 7 — 393; 10 — 634.

Толстой Алексей Константинович (24.08(5.09).1817, С.-Петербург — 28.09(10.10).1875, Красный Рог, ныне Почепский район Брянской области) — поэт, писатель, драматург («Козьма Прутков»). 5 — 32, 90, (204); 8 — 573; 9 — 100.

Толстой Алексей Николаевич (29.12.1882 (10.01.1883), г. Николаевск, ныне г. Пугачев Саратовской области — 23.02.1945, Москва) — писатель. 1 — 69, 562; 2 — 60, 89–91; 3 — 8, 24; 4 — 561, 595; 5 — 16, 22, 31, 58, 88, 210, 335, 492; 7 — 35, 120, 231, 350, 436, 436–437, 437, 459; 8 — 95, 430, 442, 481; 9 — 101, 115, 158, 291, 426, 492, 525, 559; 10 — 81, 613, 755.

Толстой Лев Николаевич (28.08 (9.09).1828, усадьба Ясная Поляна Тульской губернии — 7(20).11.1910, станция Астапово (ныне станция Лев Толстой) Рязано-Уральской ж.д.) — писатель, философ, публицист. 1 — 562; 4 — 36; 5 — 94, 142, 142–143, 146, 169, 172, 181, 319, 329, 330, 333, 339, 426, (427, 535), 451, 468, 506; 7 — 114, 128; 8 — 19, 438, 501; 9 — 302, 378, 527.

Том, Рене Thom, René (2.09.1923, Монбельяр — 25.10.2002, Бюр-сюр-Иветт) — французский математик, философ. 9 — 73.

Томенко Николай (Микола) Данилович (25.05.1937) — украинский поэт. 8 — 540.

Топер Вера Максимовна (1890–1964) — редактор, переводчик. 3 — 7; 7 — 525; 9 — 315; 10 — 114, 613.

Торо, Генри Дэвид Thoreau, Henry David (12.07.1817, Конкорд, Массачусетс — 6.05.1862, Конкорд, Массачусетс) — американский писатель. 7 — 13.

Тредиаковский Василий Кириллович (22.02(5.03).1703, Астрахань — 6(17).08.1768, С.-Петербург) — поэт, переводчик. 2 — 241; 8 — 506.

Тренева Наталья Константиновна (1914–1980) — переводчик. 4 — 516, (579).

Трифиллий — старообрядческий писатель (реальное существование пока не подтверждается). 7 — 7.

Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев (Лейба) Давидович (25.10(7.11).1879, село Яновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии — 21.08.1940, Койокан, Мексика) — политический деятель. 7 — 405.

Тулп, Николай (Петерзоон, Клаас) Tulp, Nicolaas (Pieterszoon, Claes) (11.10.1593, Амстердам — 12.09.1674, Гаага) — голландский врач. 7 — 604.

Тургенев Иван Сергеевич (28.10(9.11).1818, Орёл — 22.8(3.9).1883, Буживаль, близ Парижа) — писатель, поэт. 2 — 52; 4 — 520; 7 — 140.

Туфанов Александр Васильевич (1877 — не ранее 1941) — поэт, переводчик. 5 — 68.

Тхоржевский Иван Иванович (1878, Тифлисская губ. — 1951, Париж) — переводчик. 3 — 284.

Тынянов Юрий Николаевич (6(18).10.1894, Режица, ныне г. Резекне, Латвия — 20.12.1943, Москва) — писатель, литературовед. 2 — 13; 9 — 18, 349; 10 — 745.

Тюменев Илья Фёдорович (1855–1927) — писатель, художник, либреттист, переводчик. 10 — 31.

Тютчев Фёдор Иванович (23.11(5.12).1803, село Овстуг, ныне Брянской области — 15(27).07.1873, Царское Село, ныне г. Пушкин Ленинградской области) — поэт, дипломат. 1 — 211; 7 — 120; 8 — 483, 531; 9 — 513.

Уайльд, Оскар (полное имя: Уайльд, Оскар Фингел О'Флагерти Уиллс) Wilde, Oscar Fingal O'Flahertie Wills (16.10.1854, Дублин — 30.11.1900, Париж) — английский поэт, писатель. 1 — 37; 9 — 100.

Уваров Сергей Сергеевич (25.08(5.09).1786, Москва — 4(16).09.1855, Москва) — политический деятель. 9 — 315.

Уитмен, Уолт Whitman, Walt (Walter) (31.05.1819, Лонг-Айленд, Нью-Йорк — 26.03.1892, Кэмдэн, Нью-Йорк) — американский поэт. 5 — 120; 8 — 135.

Улицкий Михаил Абрамович (1894–1976) — переводчик, драматург. 9 — 536.

У-мэнь Хуэй-кай (Мумон) Wu-men Hui-kai (Mumon Ekai) (1183–1260) — японский даосский монах. 9 — 468.

Уоррен, Роберт Пенн Warren Robert Penn (24.04.1905, Гатри, Кентукки — 15.09.1989, Стрэттон, Вермонт) — американский писатель. **6** — 7; **8** — 500; **9** — 399.

Успенский Владимир Андреевич (р. 27.11.1930, Москва) — математик, популяризатор науки. **1** — 555.

Успенский Эдуард Николаевич (р. 22.12.1937) — писатель. **7** — 201.

Утёсов Леонид Осипович (настоящее имя Вайсбейн Лазарь Иосифович) (9(21).03.1895, Одесса — 9.03.1982, Москва) — певец, дирижер. **2** — 472.

Уэда Акинари Ueda Akinari (Ueda Shūsei) (1734, Осака — 27.06.1809, Киото) — японский писатель, поэт. **5** — 19.

Уэллман, Уильям Огастес Wellman, William Augustus (29.02.1896, Бруклин, Массачусетс — 9.12.1975, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский режиссер, сценарист, продюсер, актер. **8** — 516.

Уэллс, Герберт Джордж Wells, Herbert George (21.09.1866, Бромли — 13.08.1946, Лондон) — английский писатель. **1** — 386; **2** — 141; **5** — 30, 68, 184, 196, 609; **7** — 28, 455; **8** — 36, 51, 503; **9** — 596; **10** — 19, 78, 518, 940.

Фабр, Жан Анри Казимир Fabre, Jean-Henri Casimir (22.12.1823 — 11.10.1915) — французский энтомолог, писатель. **5** — 305, (518).

Фадеев Александр Александрович (11(24).12.1901, Кимры — 13.05.1956, Москва) — писатель. **8** — 439.

Фальво, Родолфо Falvo, Rodolfo (1873 (по другим данным — 1874), Неаполь — 1936 (по другим данным — 1937), Неаполь) — итальянский композитор. **9** — 536.

Федр Phaedrus (ок. 15 до н.э., Македония — 65, Рим) — римский баснописец. **9** — 242.

Фейхтвангер, Лион Feuchtwanger, Lion (7.07.1884, Мюнхен — 21.12.1958, Лос-Анджелес) — немецкий писатель. **3** — 7, 320; **6** — 586; **8** — 516, 594; **10** — 613.

Фельдман-Конрад Наталья Исаевна (1903, Новомосковский Екатеринославской губ. — 1975) — филолог, переводчик, составительница словарей. **8** — 94, 533; **10** — 44, (136), 139.

Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот Fenelon, Salignac de La Mothe (6.08.1651, замок Фенелон, Перигор — 7.01.1715, Камбре) — французский писатель, религиозный деятель. **8** — 506.

Феона Алексей Николаевич (18(30).03.1879—20.09.1949) — актер оперетты, режиссер. **10** — 20.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (23.11(5.12).1820, с. Новосёлки, ныне Мценского района Орловской обл. — 21.11(3.12).1892, Москва) — поэт, переводчик. **2** — 55; **5** — 72.

Филипп II Македонский (ок. 382 до н.э. — 336 до н.э.) — македонский царь. **3** — 296.

Флавий Арриан Луций Ксенофон Lucius Flavius Arrianus Xenophon (95, Никомедия, совр. Измит, Турция — 175, Афины) — древнегреческий историк, писатель. **6** — 724; **7** — 136; **9** — 276; **10** — 20.

Флобер, Гюстав Flaubert, Gustave (12.12.1821, Руан — 8.05.1880, Круассе, близ Руана) — французский писатель. **5** — 177; **7** — 520.

Фок Владимир Александрович (10(22).12.1898, С.-Петербург — 27.12.1974, Ленинград) — физик. **10** — 770.

Фолкнер, Уильям Катберт Faulkner, William Cuthbert (25.09.1897, Нью-Олбани, Миссисипи — 6.07.1962, Байхелиа, Миссисипи) — американский писатель. **7** — 574, (598).

Фоменко Пётр Наумович (р. 13.07.1932, Москва) — режиссер. **9** — 82.

Фонвизин Денис Иванович (3(14).04.1744 или 1745, Москва — 1(12).12.1792, С.-Петербург) — драматург. **1** — 192; **5** — 422, (530); **8** — 534.

Фрадкин Марк Григорьевич (21.04 (4.05).1914, Витебск — 4.04.1990, Москва) — композитор. **8** — 547; **9** — 66, 137.

Фред, В. (настоящее имя Векслер, Альфред) Fred, W. (Wechsler, Alfred) (1879–1924) — немецкий философ, историк искусства, переводчик, редактор. **3 — 7; 10 — 613.**

Френкель Илья Львович (9(22).10.1903, Курган — ?03.1994, Москва) — поэт. **9 — 46.**

Фридлянд Софья Львовна (р. 1928, Минск — 2006) — переводчик. **5 — 175.**

Фримль, Карл Рудольф Friml, Karl Rudolph (Rudolf) (7.12.1884, Прага — 12.11.1972, Голливуд, Калифорния) — американский пианист, композитор. **10 — 20.**

Фрич, Мартин Frič Martin (Mac) (29.03.1902, Прага — 26.08.1968, Прага) — чешский режиссер, сценарист, педагог. **5 — 256.**

Фролов Иван Тимофеевич (1.09.1929, с. Доброе Добровского района, ныне Липецкой области, — 18.11.1999) — биолог, философ. **8 — 405.**

Фукс Егор Борисович (1762–1829) — дипломат, историк, писатель. **7 — 513; 10 — 69.**

Фуско, Энцо Fusco, Enzo (?–1940-е) — итальянский поэт. **9 — 536.**

Хайек, Фридрих Август фон Hayek, Friedrich August von (8.05.1899, Вена — 23.03.1992, Фрайбург) — немецкий философ, экономист. **9 — 6.**

Хайям, Омар Хауат, Omar (18.05.1048, Нишапур, Таджикистан — 4.12.1123, там же) — персидский поэт. **3 — 284; 4 — 467.**

Хаммерстайн, Оскар Hammerstein, Oscar, II (12.07.1895, Нью-Йорк — 23.08.1960, Дойлзтаун, Пенсильвания) — американский поэт, либреттист, продюсер, режиссер. **9 — 342; 10 — 20.**

Хантер, Джон А. Hunter, John A. — английский профессиональный охотник, проводник, писатель. **9 — 368.**

Харбах, Отто Абельс Harbach (Hauerbach), Otto Abels (18.08.1873, Солт-Лейк-Сити, Юта — 24.01.1963, Нью-Йорк) — американский поэт, либреттист. **10 — 20.**

Хармс Даниил (Ювачев Даниил Иванович) (30.12.1905(12.01.1906), С.-Петербург — 2.02.1942) — поэт, писатель, переводчик. **4 — 589; 9 — 365, 469.**

Харрис, Джоэл Чандлер Harris, Joel Chandler (8.12.1848, Итонтон, Джорджия — 3.07.1908, Атланта, Джорджия) — американский писатель, журналист. **9 — 480.**

Хейс, Альфред Hayes, Alfred (18.04.1911–14.08.1985, Шерман-Окс, Калифорния) — американский поэт. **9 — 342.**

Хемингуэй, Эрнест Миллер Hemingway, Ernest Miller (21.07.1899, Сайсиро (Ок-Парк), Иллинойс — 2.07.1961, Кетчем, Айдахо) — американский писатель, драматург. **1 — 566; 2 — 12, 472; 3 — 7; 7 — 525, 530; 8 — 596; 9 — 69, 269, 315; 10 — 60, 114, 613.**

Хемницер Иван Иванович (5(16).01.1745, Енотаевская крепость, ныне Астраханская область — 19(30).03.1784, Бунава, близ Смирны, ныне Измир, Турция) — поэт. **6 — 471; 8 — 100.**

Херасков Михаил Матвеевич (25.10(5.11).1733, Переяслав — 27.09(9.10).1807, Москва) — поэт. **5 — 24.**

Хитрук Фёдор Савельевич (р. 1.05.1917, Москва) — режиссер-аниматор, художник. **8 — 484.**

Хлудова Ольга Флорентьевна — биолог, художник, подводный фотограф, переводчик. **7 — 36.**

Холодковский Николай Александрович (19.02 (3.03).1858, Иркутск — 2.04.1921, Петроград) — переводчик. **9 — 94–95.**

Хуциев Марлен Мартынович (р. 04.10.1925, Тбилиси) — режиссер, сценарист, актер. **10 — 691.**

Цветаева Марина Ивановна (26.09(8.10).1892, Москва — 31.08.1941, Елабуга) — поэтесса, писательница. **10 — 927.**

Цицерон Марк Туллий Cicero Marcus Tullius (3.01.106, Арпинум — 7.12.43 до н.э.) — римский философ, оратор, писатель, государственный деятель. **1 — 314; 5 — 114; 9 — 62.**

Цой Виктор Робертович (21.06.1962, Ленинград — 15.08.1990, под Ригой) — поэт, композитор, музыкант. **10** — 168.

Цунэтомо Ямамото Tsunetomo Yamamoto (12.06.1659–1719) — японский военный философ, писатель. **9** — 385, (411, 440), 543.

Чайковский Модест Ильич (1(13).05.1850, Алапаевск — 2(15).01.1916, Москва) — либреттист. **1** — 441, (491); **7** — 456.

Чайковский Пётр Ильич (25.04(7.05).1840, селение при Камско-Воткинском заводе Вятской губернии, ныне г. Воткинск Удмуртской АССР — 25.10(6.11).1893, С.-Петербург) — композитор. **1** — 441, (491); **5** — 90, (204); **7** — 456.

Чапек, Карел Sapек, Karel (9.01.1890, Мале Святоновице, Богемия, Австро-Венгрия (сейчас — Чехия) — 25.12.1938, Прага) — чешский писатель, журналист. **7** — 629.

Черная Людмила Борисовна (р. 13.12.1917) — переводчик, публицист. **9** — 240.

Честертон, Гилберт Кит Chesterton, Gilbert Keith (29.05.1874, Лондон — 14.06.1936, Биконсфилд, близ Лондона) — английский писатель. **9** — 14.

Чехов Антон Павлович (17(29).01.1860, Таганрог — 2(15).07.1904, Баденвейлер, Германия) — писатель, драматург. **1** — 166, (173); **2** — 261; **3** — 68; **4** — 596; **6** — 418, 590, 664; **7** — 455; **8** — 111; **9** — 40, 267, (275); **10** — 56, 103, 169.

Чаурели Михаил Эдишерович (25.01(6.02).1894, Тбилиси — 31.10.1974, Тбилиси) — режиссер, сценарист, актер, скульптор, художник. **7** — 61.

Чуковский Корней Иванович (настоящее имя Корнейчуков Николай Васильевич) (19(31).03.1882, С.-Петербург — 28.10.1969, Москва) — писатель, поэт, журналист, литературовед, переводчик. **7** — 324, (337, 338); **8** — 135, 413; **9** — 72, 179; **10** — 19, 32.

Чуковский Николай Корнеевич (20.05(2.06).1904, Одесса — 4.11.1965, Москва) — писатель, переводчик. **5** — 100, 218.

Шагин Дмитрий Владимирович (р. 29.10.1957, Ленинград) — художник, писатель. **9** — 613.

Шаллер, Джордж Билз Schaller, George Beals (р. 26.05.1933, Берлин) — американский биолог, писатель. **7** — 36.

Шанфара, аш-Шанфара Shanfara (рубеж 5–6 вв.) — арабский поэт. **7** — 157.

Шатобриан, Франсуа Огюст Рене Chateaubriand, François-René de (4.09.1768, Сен-Мало — 4.07.1848, Париж) — французский писатель. **9** — 547.

Шатров Игорь Владимирович (20.02.1918, Киев — 25.07.1991) — режиссер, сценарист, кинооператор. **9** — 101.

Шафаревич Игорь Ростиславович (р. 3.06.1923, Житомир) — философ, критик. **10** — 911.

Шварц Евгений Львович (9(21).10.1896, Казань — 15.01.1958, Ленинград) — писатель, драматург. **4** — 621; **9** — 517.

Шварц Исаак Иосифович (р. 13.05.1923, Ромны Черниговской обл.) — композитор. **8** — 541.

Шварц Лев Александрович (17.11.1898–24.02.1962) — композитор. **7** — 449, (460)

Шведов Яков Захарович (22.10.1905–1985) — поэт. **6** — 698.

Швейцер Михаил (Моисей) Абрамович (16.03.1920, Пенза — 02.06.2000, Москва) — режиссер, сценарист. **9** — 547.

Шевцов Иван Михайлович (р. 9.09.1920, дер. Никитиничи, Белоруссия) — писатель. **7** — 146.

Шевчук Юрий Юлианович (р. 16.05.1957, пос. Ягодный Магаданской обл.) — поэт, композитор, музыкант. **10** — 170.

Шейнман-Топштейн Сесиль Яковлевна (р. 20.01.1923) — философ, переводчик. **9** — 193, (268).

Шекли, Роберт Sheckley, Robert (16.07.1928, Бруклин, Нью-Йорк — 9.12.2005, Пукипси, Нью-Йорк) — американский писатель. **9** — 211.

Шекспир, Уильям Shakespeare, William (крещен 26.04.1564, Стратфорд-на-Эйвоне — 23.04.1616, Стратфорд-на-Эйвоне) — английский драматург, поэт. 2 — 18; 3 — 17, 51, 204; 7 — 178, 513; 9 — 56, 60, 271, 595; 10 — 504.

Шелли, Мэри Уоллстонкрафт Shelley, Mary Wollstonecraft (30.08.1797, Лондон — 1.02.1851, Лондон) — английская писательница. 6 — 124.

Ши Найань Shi Nai'an (1296 — 1370) — китайский писатель. 10 — 249.

Шиллер, Иоганн Кристоф Фридрих Schiller, Johann Christoph Friedrich (10.11.1759, Марбах, Вюртемберг — 9.05.1805, Веймар) — немецкий драматург, поэт. 2 — 57; 5 — 413.

Шишкин Иван Иванович (13(25).01.1832, Елабуга Вятской губ. — 8(20).03.1898, Петербург) — художник. 1 — 415.

Шиямарёва Мария А. — переводчик. 3 — 479.

Шкловский Виктор Борисович (12(24).01 (по другим данным 25.01.(6.02.)) 1893, С.-Петербург — 5.12.1984, Москва) — писатель, сценарист, литературовед. 7 — 15.

Шмальгаузен Иван Иванович (11(23).04.1884, Киев — 7.10.1963, Москва) — биолог, цитолог. 8 — 405.

Шолом-Алейхем (настоящее имя Рабинович Соломон (Шолом Нохумович)) (2.03.1859, Переяслав — 13.05.1916, Нью-Йорк) — еврейский писатель. 9 — 474.

Шолохов Михаил Александрович (11(24).05.1905, хутор Кружилин станицы Вешенской Донской области — 2.02.1984) — писатель. 5 — 181; 9 — 46; 10 — 43.

Шопенгауэр, Артур Schopenhauer, Arthur (22.02.1788, Данциг — 21.09.1860) — немецкий философ. 9 — 95, 498.

Шпренгер, Якоб Sprenger, Jacob (Iacobus) (между 1436 и 1438, Базель — 1494) — монах, инквизитор. 5 — 108.

Шрайбер Исаак М. — переводчик. 7 — 630; 8 — 260.

Шредингер, Эрвин Рудольф Йозеф Александер Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander (12.08.1887, Вена — 4.01.1961, Вена) — австрийский физик, математик. 1 — 196.

Шрейберг Владимир Фёдорович (1924, Москва — 1979, Москва) — поэт, сценарист. 6 — 685.

Шуберт, Франц Петер Schubert, Franz Peter (31.01.1797, Химмельфортгруд, близ Вены — 19.11.1828, Вена) — австрийский композитор. 4 — 373; 9 — 336, (339-340); 10 — 31, 863.

Шульц Евгений Александрович (1870-?) — биолог. 8 — 405.

Шуман, Роберт Александер Schumann, Robert Alexander (8.06.1810, Цвиккау — 29.07.1856, Эндених) — немецкий композитор. 9 — 81.

Шустер Эдуард (р. 1935?) — переводчик. 4 — 347.

Шют, Нэвил Shute, Nevil (17.01.1899, Лондон — 12.01.1960, Мельбурн) — австралийский писатель. 5 — 311, (524).

Щедрин Родион Константинович (р. 16.12.1932, Москва) — композитор. 5 — 122.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (12(24).01.1874, Москва — 27.07.1952, Москва) — переводчик. 2 — 481; 5 — 90.

Щипачев Степан Петрович (26.12.1898 (7.01.1899), дер. Щипачи, ныне Камышловского района Свердловской обл. — 31.12.1979, Москва) — поэт. 5 — 407.

Эддингтон, Артур Стенли Eddington, Arthur Stanley (28.12.1882, Кендал, Уэстморленд — 22.11.1944, Кембридж) — английский физик. 8 — 228.

Эзоп Esopus (VI в. до н.э.) — древнегреческий баснописец. 9 — 138.

Эзрохи (Буркова) Зоя Евсеевна (р. 21.07.1946, Ленинград) — поэтесса. 9 — 606.

Эйзенштейн Сергей Михайлович (10(22).01.1898, Рига — 11.02.1948, Москва) — режиссер, сценарист. 8 — 530; 9 — 265, 343, 396.

Эйльдерман, Генрих Арнульф Eildermann, Heinrich Arnulf (1881-1956) — немецкий поэт. 5 — 469.

Эйнштейн, Альберт Einstein, Albert (14.03.1879, Ульм, Германия — 18.04.1955, Принстон, США) — немецкий, американский математик, физик, философ. 9 — 452.

Эко, Умберто Eco, Umberto (р. 5.01.1932, Алессандрия, Пьемонт) — итальянский писатель. **9** — 366.

Эмис, Кингсли Уильям Amis, Kingsley William (16.04.1922, Лондон — 22.10.1995, Лондон) — английский писатель, поэт, литературовед. **2** — 139; **10** — 78.

Энгельс, Фридрих Engels, Friedrich (28.11.1820, Бармен, Пруссия, ныне Вупперталь, Германия — 5.08.1895, Лондон) — немецкий философ, экономист, политик. **2** — 390; **7** — 351; **8** — 572; **9** — 419.

Энний Квинт Ennius Quintus (239 до н.э., Калабрия — 169 до н.э.) — римский писатель, драматург. **1** — 314.

Энтин Юрий Сергеевич (р. 21.08.1935, Москва) — поэт. **7** — 352, (364, 377, 384).

Эпиктет Epictet (ок. 50 — ок. 140) — римский, древнегреческий философ. **6** — 724; **7** — 136; **9** — 276; **10** — 20.

Эпштейн В. — переводчик. **3** — 606; **8** — 381; **9** — 11–12.

Эразм Роттердамский, Дезидерий (настоящее имя Герхардс, Герхард) Desiderius Erasmus Roterodamus (27.10.1466 (вероятно, родился в пределах 1465–1469), Роттердам — 12.07.1536, Базель) — немецкий философ. **5** — 97.

Эрлангер Максимилиан (Максим Максимович) (1811 или 1812, Франкфурт-на-Майне — 12(24).03.1873, Москва) — композитор, дирижер. **2** — 306.

Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан) (331–363) — римский император. **10** — 534.

Юнг (Янг), Эдуард Young, Edward (крещен в 3.07.1683, Алем, близ Уинчестера — 5.04.1765, Уэлин, Хартфордшир) — английский писатель, философ. **5** — 24; **9** — 98.

Юнь-мэнь Вэнь-янь (Уммон) Yūnmén Wényuán (Ummon Bun'en) (862 или 864, близ Чжучжоу — 949) — японский даосский монах. **9** — 468, (471).

Якоби, Георг Jacoby, Georg (23.07.1883, Майнц — 21.02.1964, Мюнхен) — немецкий режиссер, сценарист, продюсер, актер. **7** — 259.

Яковенко Л. — переводчик. **7** — 630.

Содержание

ХРОМАЯ СУДЬБА	5
ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА	137
<i>РЕТРОСПЕКЦИЯ</i>	
ИЗВНЕ (повесть в трех рассказах)	187
ШЕСТЬ СПИЧЕК	246
ЗАБЫТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ	266
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ	291
ИСПЫТАНИЕ «СКИБР»	308
БЕДНЫЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ	327
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ	331
<i>КИНОСЦЕНАРИИ</i>	
СТАЛКЕР	355
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ (ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»)	395
ДЕНЬ ЗАТМЕНИЯ	451
ТУЧА	511
ЧАРОДЕИ	560
БЕЗ ОРУЖИЯ (пьеса в 2-х действиях)	612
МАШИНА ЖЕЛАНИЙ	697
КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ	743
<i>ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	
От составителя	969
Список моих помощников	972
Комментарии	973
Именной указатель	999